

АКАДЕМИЯ НАУК

СССР

XIV

АКАДЕМИКУ

Н.Я.МАРРУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР — МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

1935

Март 1935 г.

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Непременный секретарь академик *В. Волин*

Редактор издания акад. *И. И. Мещанинов*

Технический редактор *Г. А. Стратановский*. — Ученый корректор *С. М. Шнейдер*

Сдано в набор 19 сентября 1934 г. — Подписано к печати 26 марта 1935 г.

781 стр. + 9 табл.

Формат бум. 72×110 см. — $50^{5/8}$ печ. л. — 40257 экз. в печ. л. — Тираж 3250

Ленгорлит № 6000. — АНИ № 451 — Заказ № 451

Типография Академии Наук СССР. В. О., 9 линия, 12

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	1
I	
В. М. Алексеев. Современные системы современных китайских иероглифов	3
А. М. Деборин. Новое учение о языке и диалектический материализм	31
Н. С. Державин. Изучение языкового развития ребенка русской речи	75
А. Н. Самойлович. Туркология и новое учение о языке	113
II. ЯЗЫК	
W. Abajeff. Zur Paläontologie der 'Liebe' und des 'Hasses'	121
Н. Adjagian. 1. Arm. <i>խոց</i> хус. 2. Pehlévi <i>dašn</i>	125
Л. Г. Башинджагян. Зачем нужны четыре элемента?	127
Т. А. Бертагаев. Западно-бурятский диалект на материалах лексики	143
А. К. Боровков. Природа «турецкого изафета»	165
С. Л. Быховская. Показатели множественности как классовые показатели в грузинском и баскском языках	179
О. Л. Вильчевский. К семантической палеонтологии живых языков Ирана	191
М. М. Гитлиц. Проблемы омонимов	199
М. М. Гухман. К палеонтологии германского <i>skop'a</i>	207
Ш. В. Дзидзигури. О плюральном вербальном объекте в грузинском	213
И. Г. Лившиц. Время — пространство в египетской иероглифике	223
Б. М. Ляцунов. О некоторых образованиях имен нарицательного значения из первоначальных имен собственных личных в славянских языках	247
Н. М. Каринский. Дифтонги ваниловского говора и их синтаксическая роль	263
С. Е. Малов. К изучению турецких числительных	271
И. В. Мегрелидзе. Животный мир в языке и фольклоре	279
И. И. Мещанинов. Халдо-грузинские параллели	287
Б. В. Миллер. О полистадиальности иранских языков	293
М. Я. Немировский. Заметки по морфологии яфетических языков Кавказа	321
С. П. Обнорский. Заметки по русским числительным	327
Н. Н. Поппе. К словарному изучению бурят-монгольских говоров	333
И. Л. Снегирев. Числительные в языке Зулу	337
В. В. Струве. Стадиальная семантика египетской глагольной формы « <i>sdm.-f</i> »	345
В. Г. Тан-Богораз. Древнейшие элементы в языке азиатских эскимосов	353
Г. Ф. Турчанинов. К стадиальной характеристике кабардинского глагола <i>ja-se-n</i> 'говорить'	367
Ф. П. Филин. К вопросу о происхождении понятий измерения (термин «верста»)	371
О. М. Фрейденберг. Из до-гомеровской семантики	381
В. И. Чернышев. Темные слова в русской языке	393
М. П. Чхаидзе. Термины 'глаз' и 'соль' в марийском языке	409
Р. М. Шаумян. Агмециаса — <i>Lesgisa</i>	419
М. А. Ширяев. Вопрос о скрытой префиксации в протетидских (индо-европейских) языках	427
Р. О. Шор. Семантика ведийского <i>аарста</i>	433
Л. В. Щерба. О «диффузных звуках»	451

III. ПСИХОЛОГИЯ И ЯЗЫК

А. М. Бескровный. К вопросу о процессе образования общих и отвлеченных понятий	455
Н. Р. Мегрелидзе. О ходячих суевериях и «прагматическом» способе мышления	461

IV. ФОЛЬКЛОР, ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ

В. Адрианова-Перетц. Символика сновидений Фрейда в свете русских загадок	497
Д. К. Зреленин. Магическая функция слов в словесных произведениях	507
С. И. Макалатия. Культурные места и связанные с ними ритуальные обряды у грузин-мохевцев	517
А. И. Маленин. Полемика против «закона убывающего плодородия в почве» в древности	523
Т. С. Пассек. Круг чувашских праздников	527
Э. К. Пекарский. Песня о сотворении вселенной (перевод)	543
Л. П. Семенов. К вопросу о мировых мотивах в фольклоре ингушей и чеченцев	549
И. И. Толстой. Инвективные песни аттического крестьянства в древней комедии	565
И. Г. Франк-Каменецкий. К космической семантике камня и металла	573

V. ЛИТЕРАТУРА

М. К. Азадовский. Об одном сюжетном совпадении. («Смерть атеиста» в романе Оммулевского и у Ипполита Тэна)	583
Н. А. Белгородский. О некоторых особенностях персидской стилистики. (Классовый момент в стилистике современного персидского литературного языка)	593
М. С. Грушевский. З историчної «абулістики» кінця XVII в.	607
Ю. Н. Марр. Персидский прототип поэмы «Некто в барсовой шкуре»	613

VI. ИСТОРИЯ, ЭТНОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

А. Vorisov. Some New Fragments of Isaak Israeli's Works	621
Л. Т. Гюзальян. Персидская надпись Кей-Султана Шедлади в Ани	629
В. Д. Дондуа. К быту в социально-экономической жизни средневековой Грузии по анийской надписи (1218) Епифания	643
В. А. Крачковская и И. Ю. Крачковский. Из арабской эпиграфики в Ани (надпись на мечети Манучехра)	671
Б. А. Латынин. К вопросу об истории ирригации	697
Ст. Лисициан. Кошун-Даш. Мегалитические городища в Сисиане (Зангезуре)	709
Я. А. Манандян. Средневековый итинерарий в армянской рукописи X столетия	723
Л. М. Медиксет-Беков. К вопросу об обычаях кувады на Кавказе в связи с языковыми пережитками матриархата	729
С. А. Пахомов. Ганджинский клад 1929 г. и переломный момент арабской торговли в Закавказьи	737
М. А. Полиевктюв. Из переписки северно-кавказских феодалов XVIII века	745
А. Ц. Рифтин. Старовавилонский договор об аренде из Сиппара	757
С. Н. Чернов. О смердах Руси XI—XII вв.	761
И. И. Яковкин. К вопросу о роли понтификов в древне-римском религиозном процессе	779
Список сокращений	781

ПРЕДИСЛОВИЕ

На сорокапятилетний юбилей академика Николая Яковлевича Марра широко откликнулась научная общественность. Откликнулись в особенности те учреждения, с которыми имя юбиляра было теснейшим образом связано.

На долю Академии Наук падает двадцатипятилетний период служения Н. Я. Марра науке. Избранный в Академию в 1909 г., через 20 лет научной работы в стенах Университета, юбиляр с честью выполнял ряд ответственных поручений в академических учреждениях в должности директора институтов, а последние годы и вице-президента.

Видный политический и общественный работник, Н. Я. Марр увековечил свое имя упорной борьбой на культурном фронте, упорною борьбою за созидание нового лингвистического учения, материалистического языкознания, заменившего формально сравнительные построения индо-европейстики основами языковедческой теории, воздвигаемой на устоях марксизма-ленинизма.

Яфетидологическая языковедная концепция Н. Я. Марра росла и революционно перестраивалась в течение всего сорокапятилетнего периода неустанных работ юбиляра. Вместе с этим менялась и постановка исследовательского направления основанного и руководимого им Яфетического института, преобразованного затем в Институт языка и мышления. Выдвинутое за последние годы задание подхода к языку как к практическому действительному сознанию выдвинуло также и органическую увязку языковедческой проблематики с проблемами мышления, приведя яфетическое языкознание к стыку с марксистской философией.

На этом пути прервалась творческая работа юбиляра, скончавшегося 20 декабря 1934 г. после продолжительной тяжелой болезни.

В настоящем сборнике, предназначенном чествованию гениального ученого, объединились статьи как непосредственных учеников покойного, так и ряда других специалистов, пожелавших откликнуться на знаменательный юбилейный год, внести свою дань уважения неумолимому и вели-

кому научному труженику, которого выход в свет юбилейного издания застал уже в могиле.

Конечно, от настоящего сборника, как и от всякого юбилейного, трудно требовать согласованности тематики и направления. Научные специалисты различных научных школ откликнулись на юбилей непосредственно их интересующими темами, разработанными в путях привычного им метода. В связи с этим изложение некоторых статей, представляющих большой интерес по своему материалу, не всегда оказалось выдержанным в духе того лингвистического направления, основателем которого является юбиляр.

Считаясь с исключительным научным авторитетом Н. Я. Марра и его выдающимися заслугами на языковедческом фронте, редакция сборника пошла широко навстречу всем ученым, пожелавшим откликнуться на юбилейную дату, и этот живой отклик на юбилейный год служит лучшим подтверждением своевременности заложенных Н. Я. Марром основ нового о языке учения.

Имя Н. Я. Марра остается по-прежнему живым и вечно дорогим, как имя любимого учителя, образцового товарища и неизменного руководителя.

И. Мещанинов

В. М. АЛЕКСЕЕВ

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ¹

Потребность в систематизации письменных обозначений сосуществует, очевидно, с самым началом письменности, и вряд ли китайцы составляли в этом отношении исключение, тем более что их безалфавитная письменность, а также характер письменного материала (деревянные и бамбуковые дощечки, впоследствии же отчасти имитирующие их по традиции отдельные странички бумажных книг) всегда требовали особо трудной и сложной работы по приведению письменного материала, напр., в архивах и государственных учреждениях, в канцеляриях и книжном хозяйстве к какой-либо ощутительной и ясной системе.

Думается, что первая попытка первого китайского систематизатора вряд ли совпадает с историческими показаниями. С иероглифического словаря Сюй Шэня (II в. н. э.) начинается история общепризнанной систематизации иероглифов словарного типа, который, конечно, не был единственным — особенно, повторяю, в практике канцелярий и архивов, которые, вероятно, и тогда, как и теперь, создавали множество независимых друг от друга систем, небезынтересных для историка китайской письменности.² Мне нет надобности излагать здесь все те любопытные перипетии китайской изобретательности на всем протяжении китайской истории, которые достаточно известны, и я хотел бы сразу же обратиться к современной эпохе, которая столкнулась с вопросами совершенно иного порядка, вызвавшими к жизни целый поток изобретений в области иероглифической систематики, — поток, все время усиливающийся³ и рвущийся к упрощению системы, к ясности и легкости овладения ею.

В самом деле и прежде всего, тяжесть и сложность школьной иероглифической тренировки, которая раньше была неразрывно связана с традиционным конфуцианским образованием, давая учащемуся и форму и содержание в неразрывной и неотделимой друг от друга постепенности, и которая

теперь, в многопредметной программе современной школы более или менее европейского типа, по необходимости отходит на роль только одного из предметов, — эта тяжесть и сложность, связанные с большою затратой времени, ставят на очередь вопрос о таком упрощении и о такой механизации иероглифического наследства, которые позволяли бы дать в руки учащемуся простейший словарь-каталог иероглифов для справки и руководства.⁴ С другой стороны, все те же архивы, библиотеки, канцелярии, работающие теперь на совершенно иных началах и совершенно иными темпами, чем раньше,⁵ повелительно требуют создания таких систем — а главное, такой единой системы — которая была бы ясна, понятна, удобна и проста — все в одно и то же время — и, прежде всего прочего, пригодна для научной и строго деловой кодификации.

Между тем, прежние системы иероглифики и, прежде всего, самая распространенная из них, называемая у европейцев вульгарным порядком «ключевою» или «корневою» (clefs, radicals), а по-китайски — более основательно — «группною» (бушоу фа), давно перестали удовлетворять потребностям быстроты и ясности, и, вслед за реформами европейцев (Callery, Васильев, Розенберг), китайцы столь энергично принялись за изобретательство наилучшей иероглифической системы (цзяньцзы фа, цзяньцзы мулу, хань цзы пайцзянь фанфа, пайде фа, пай цзы фа, пайде фа, сюйцы фа, соинь фа и др.), что статьи нанкинского профессора, специалиста по данному вопросу, Вань Година,⁶ уже к 1926 г.⁷ зарегистрировали 40 систем, изложенных и зафиксированных в печати, китайской и европейской,⁸ чрезвычайно любопытных, разнообразных и показательных, которым хотелось бы посвятить особую статью,⁹ чтобы выяснить и общую их сводку, и принципы, положенные в их основу, их взаимозависимость, наконец, их историю и практическое, уже действующее применение многих из них в словарях, энциклопедиях, каталогах, указателях, именных списках, товарных перечнях, телеграфных кодах, телефонных списках, архивах, канцеляриях и т. д. К сожалению, все это придется отложить на неопределенное время, как по недостатку места для таких информации в печати, так и особенно по условиям собирания сведений о системах, которые, повидимому, и в Китае теперь не легко зарегистрировать, систематизировать и научно выяснить.

Однако, как и следовало, конечно, ожидать, лишь очень немногие из этих изобретенных систем оказались жизнеспособными, нашедшими себе то или иное признание и применение, и еще меньшее их число находится на арене борьбы за признание и применение, если и не исключительные, то наиболее широкие. По условиям китайской как прежней, так и совре-

менной книжной действительности, не отделяющей формы от содержания, традиционные системы иероглифов, владеющие наиболее ценным иероглифическим наследием, легко одерживают верх и в школе и всюду, а потому речь о них должна естественно предшествовать речи о прочих.

В порядке актуальности, и потому не останавливаясь на сюжетных («по материям») и тональных («рифмических») системах, явно отживающих или отживающих свой век в повседневной (но не научной) действительности, нужно прежде всех прочих сосредоточить свое внимание на счетной системе («и хуачжи догуа вэй сюй, хуашу фа, цзишу фа»), по существу самой простой из всех — ибо она состоит в расположении иероглифов по количеству входящих в них черт — но, к сожалению, не самостоятельной, ибо ясно, что в группах, полученных таким порядком, теснятся ряды слишком разных иероглифов, чтобы их можно было с удобством и легкостью, без дальнейшей под-классификации обзреть, а эта под-классификация требует уже, конечно, не данной системы, а какой-то другой, основанной на признаке конфигурации, а не автоматического счета черт.

Тем не менее, едва ли не все важнейшие пособия: словари, каталоги, указатели и т. п. прибегают именно к ней, как к подсобной, а иногда и как к основной системе,¹⁰ и даже некоторые из новых, не считающихся с традицией систем, в конце концов, прибегают к ней же, как к добавочной, а порою и основной.¹¹

Гораздо более сложна самая старая по исторической традиции, но вряд ли сама по себе более старая, чем предыдущая — «ключевая» система («бушоу фа»),¹² имеющая полное право на признание её универсальной. Система эта, датируясь официально со II в. н. э. и мало, в общем, развиваясь за громадный промежуток времени: II—XVII вв. н. э.,¹³ к XVII в. сформировалась в нечто окончательное, доминирующее с тех пор по сей час и в Китае и в Японии. Эта система, как известно, состоит в расположении всех иероглифов по особым категориям, определяемым детерминативами, по идее весьма близкими к египетским, и потому более заслуживающими именно этого установленного уже в науке названия, чем вульгарные обозначения их, идущие от первых китаеведов (ключи, радикалы и т. д.). Эти детерминативы объединяют (конечно, не всегда с достаточной и убедительной очевидностью) в группы (числом 214, в том числе 162 группы, заключающие в себе ничтожные количества иероглифов: от 20 до одного) довольно стройные по внешнему виду ряды иероглифов, иногда очень многочисленных,¹⁴ которые во второй классификации — уже внутри группы — подтверждены указанной выше счетной системе, хотя в особой ее обработке,

закрывающейся в изъятии (совершенно, конечно, естественном) из общего счета черт самого детерминатива.¹⁵ Для иероглифов, в которых детерминатив не ясен или спорен, существуют оптимистические, более краткие, и пессимистические, более полные справочные таблицы «разыскиваемых» (в смысле трудных) знаков (цзяньцзы), к которым и следует обращаться, не особенно раздумывая, в каждом трудном случае. Эти таблицы, в свою очередь, расположены прежде всего в счетной, и уже потом в детерминативной системе.

Эта весьма сложная по первому впечатлению, но весьма легко и быстро усваиваемая в основных своих манипуляциях система имеет, прежде всего, очень много достоинств, которые и держат ее на поверхности, — если не считаться, конечно, с рутинной и традицией в руках учащихся и их смен, боящихся всяких вообще педагогических экспериментов.

Во-первых, несомненно, что эта система есть именно тот самый компромисс, и та самая золотая середина между абсолютной механизацией и смысловыми началами, которая всегда и везде в таких системах была искомого. Во-вторых, она объединяет весьма очевидным порядком сотни иероглифов, соответствующие которым слова алфавитных языков будут разъединены (напр., русские слова: птица, петух, феникс, гусь, утка, лебедь, аист и почти все названия птиц в китайской письменности и в детерминативной её системе объединены одним и тем же детерминативом, составляющим весьма заметную и значительную часть иероглифа), а это дает возможность весьма быстро находить искомый иероглиф, особенно в таких случаях, как этот (а их несоизмеримое большинство), не зная ни его чтения, ни его значения. В-третьих, даже если дальше сравнивать эту систему с алфавитною, то мы увидим, что детерминативы, вообще отнюдь не дающие «ключа» к смыслу (как видно хотя бы из предыдущего примера), объединяют группы не хуже, чем в алфавитных словарях, а в выше данном примере даже лучше, ибо чем проще будет русская словарная группа про в словах: про-извол, про-казы, про-лаза, про-фессор, про-винция, и далее: пробка, просо, прок и т. д. — по сравнению с группой иероглифов, называющих птиц и все птичье? В третьих, если мы будем производить сравнение этой системы уже не с алфавитными словарями, а со словарями идей («сокровищницами-тезаурами»), которые подсказываются словами, в роде, напр., известнейших книг: Роджета для английского языка (*Thesaurus of English words and phrases classified and arranged so as to facilitate the expression of ideas and to assist in literary composition, by P. M. Roget... New impression, London, 1926*); Руэ для французского (*Dictionnaire-manuel*

illustré des idées suggérées par les mots contenant tous les mots de la langue française groupés d'après le sens... par Paul Rouaix... 14^e édition, Paris, 1924); Шлессинг-Верле для немецкого (Schlessing-Wehrle, Deutscher Wortschatz, Ein Hilfs- und Nachschlagebuch sinnverwandter Wörter und Ausdrücke der deutschen Sprache, mit einem ausführlichen Wort- und Sachverzeichnis... Stuttgart, 1927), то найдем у них с нею довольно много общего, причем китайская система, считая пропорционально, иногда — и довольно часто — объединяет собою значительно большие по численности и более интересные по значениям группы. Так, напр., под словами: see, perceive, look, regard, askance, eye, sight, view, outlook, spectacles, lookout, eyebrow и др. объединено детерминативом и, следовательно, общею конфигурацией, вовсе отсутствующей в английском ряде, втрое (и, пожалуй, не только втрое) большее количество иероглифов.¹⁶ Само собою разумеется, что семантические и этимологические «гнезда», вместе с иностранными заимствованиями, живущими в языке параллельно основным (как, напр., «гнездо» глаз: глазеть, глядеть, зреть, видеть, зеркало, разглядывать, всматриваться, окулист, офтальмология и т. д.) в китайской системе объединены, и на этот раз уже в определенно больших размерах.

Однако, едва ли не основным достоинством детерминативной системы является ее согласованность с духом языка и с историей письменности. Так, ею соединены в зрительное целое совершенно слышимые и полноправные слова разговорного языка, вроде: яншу, суншу (и прочие названия деревьев), и далее — бесконечный ряд всяких других слов-названий (цветов, рыб, насекомых и т. д.), и соединены на основании истории сложения иероглифов, в которых она, как бы, запечатлена. Далее, если мы примем весьма правильное утверждение проф. Карлгрена (в его *Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese*, by Bernhard Karlgren, Paris, 1923), что девять десятых всего состава китайских иероглифов принадлежат к так наз. у китайцев «гармонической» категории (сешэн), т. е. состоит из детерминатива и звукообразующего (вернее — звукоподсказывающего, звуконамекающего) элемента, т. е. некоего другого иероглифа, утерявшего или почти утерявшего в данном случае свое значение (вроде слова ком в словах: коммуна, командир, комедия и т. д.), — то в таком случае данная система является системою огромного большинства, и потому естественно наиболее близкою к универсальной. А если теперь учесть, со всею должной справедливостью, быструю помощь таблицы трудных знаков, которая в новых словарях все расширяется и уточняется, то система эта не только может, но и должна быть названа универсальною, и не удивительно, что

она таковою и является во всех странах Дальнего Востока, пользующихся китайскою иероглификою (в Китае и его колониях, в Японии, Корее, Аннаме). Не удивительно также, что и во многих из новых систем она неизменно является, вместе со счетною, стержнем, так сказать, порядка.¹⁷

С точки зрения научной, эта система во всяком случае дает чрезвычайно удобный и почти готовый (вопрос будет лишь в дальнейших улучшениях) материал как для исторических, так и для психо-семантических этюдов китайской письменности, ибо основана на ее истории — к сожалению, далеко не без произвольных выкладок и группировок.

К числу достоинств этой системы надо отнести и ее большую педагогичность, о которой я уже говорил. В самом деле, человека, никогда не видевшего китайских иероглифов, можно научить внешней манипуляции со словарем по этой системе в несколько минут, причем, в отличие от всех других языков и их словарей, не требуется предварительного знания грамматики, особенно морфологических функций. И даже затрудняющий на первых порах подсчет графических элементов («черт») отнюдь не является балластом, так как для обучения письму эта же процедура является существенно и основною, ибо без строгой выучки в данном направлении невозможно вести иероглифическую беседу, в случае диалектических и языковых расхождений разговаривающих между собою лиц, что приближает их, таким образом, к состоянию как-бы безграмотности.

Наконец, повторяю, эта система есть универсальный факт, и незнание ее, культивируемое педагогами (китайцами и китаистами-иностранцами) в начале преподавания, больно сказывается на обращении с первым же серьезным справочным пособием.

В литературе об этой системе высказывается обычно очень много резких, уничтожающих суждений — наряду, конечно, с признанием ее, как факта и неустранимого фактора.¹⁸ Однако и сюда, так же как и для ее универсальности, надо внести новый постулат, необязательный для других систем мира, а именно: эта система не одинакова для начинающих (китайцев и китаистов) и для опытных, владеющих письменностью в совершенстве. В самом деле, в то время как к алфавитному словарю люди привыкают *crescendo* и к концу жизненной практики доходят до естественной виртуозности, китайская система на какой угодно стадии развития китайца и китаиста доставляет ему много досадных хлопот (счет черт, определение детерминатива, пробег скученных и рябящих бессистемных — в подгруппах — знаков и т. д.), так что кажется естественным отращивание к ней зрелых китаистов, но для начинающих, не знающих фонического эквивалента

графики («чтения»), она является, как я уже говорил, большим подспорьем, и не даром самые новые словари, рассчитанные на молодежь, отнюдь не приверженную к традиции (Цы юань, Сюэшэн цзыдянь, *Tsang's Complete Chinese-English Dictionary*), неизменно составляются единственно по этой универсальной системе.¹⁹

Однако и недостатков эта система — тем более, как система универсальная — имеет немало, и о них существует, как я уже упоминал, целая литература.²⁰ Начать хотя бы с упомянутого уже мною хаоса сотен знаков, стоящих в одной и той же счетной подгруппе — хаоса, не устранимого иным порядком, кроме введения в действие некоей третьей (после детерминативной и счетной) системы. Далее, большинство детерминативов (162 из 214) редко употребляются как группы и как иероглифы²¹ и т. д.

Кроме этих общих возражений, завершающихся резким отвержением системы как со стороны современных китайцев, так и европейцев XIX в.,²² есть еще много других, не менее серьезных, хотя и не приводящих к огульному отвержению системы в целом. Так, прежде всего, на систему нападают за ее причуды, резко расходящиеся с ее претензиями на научность построения, «ищущую происхождения знака», с одной стороны, и опирающуюся только на один почерк — с другой. Кому из нас, действительно, не ведом произвол автора этой системы, Мэй Инцзо (XVII в.)? Кого из нас он не удручал и не нервировал своими причудами в разделениях и группировках (фынь хэ гуай и)? Этот пункт серьезнее прочих (во из него они и исходят), так что можно бы на нем и остановиться; однако, для полноты критики я кратко их перечислю.

Система плоха тем, что групп слишком много (большинство неважных и ненужных), но даже простейших знаков (напр., числительных) в основных группах не отыскать; приурочивания «трудных» знаков более чем спорны (примеров, за краткостью изложения, не даю); счет черт, опирающийся не на печатный псевдо-«сунский» шрифт, а на каллиграфический современный почерк (кай), и тут не выдерживает никакой критики²³ и нерврует управляющегося, так что проф. Вань Годин признается, что в детстве он прямо-таки боялся детерминативного словаря, и т. д.

Но есть возражения и призрачные. Так, утверждение В. П. Васильева, что ключевая система всегда препятствовала распространению изучения китайского языка и являлась неодолимою преградой изучающего, легко опровергается фактами; другое его порицание системы за то, что она якобы идет против естественного хода самой письменности, выглядит только курьезом; технические трудности, как я указал, большею частью легко

предложены, особенно с помощью таблицы трудных знаков; и, во всяком случае, свести все эти возражения к полному отрицанию системы, как это сделал Каллери,²⁴ а за ним Васильев и Розенберг, было бы несправедливо, ибо, прежде всего, все ее недостатки исправимы. Действительно, я уже указывал, что при надлежащей обработке таблицы «трудных знаков», которая проделана во многих современных китайских и японских словарях, дело можно считать уже исправленным;²⁵ далее, введением третьей системы в подгруппы,²⁶ улучшением таблицы детерминативов²⁷ и другими мероприятиями можно довести систему до совершенства, и, право, вряд ли стоит изменять ее во всех статьях, — как это отчасти предложено одним современным китайским автором,²⁸ а отчасти сделано в крупнейшем из современных словарей китайского языка Чжун-Хуа да цзыдянь.²⁹

После изложения и критики универсальной системы Мая, занявшей большинство моей статьи, остается, во имя пропорции реальных вещей, лишь бегло остановиться на тех безжизненных системах словарей, которые уже прошли через эксперимент европейской китаистики, и сейчас проходят таковой же в Китае. В. П. Васильев в своих трудах, и особенно в своем словаре, о котором будет речь далее, назвал свою систему «графической», в отличие от «ключевой». Если мы не будем особенно критиковать это название (на самом же деле, неграфических систем графики не бывает, за исключением, пожалуй, сюжетных), то временно можем распространить это название и на все прочие системы такого же порядка, причем сразу же сделаем, вопреки основателям этих систем, основную разницу между «чертою» («элементом китайской письменности») и буквою и, наоборот, проведем скорее сходство между китайской «чертою» и элементом буквы.³⁰

В этих «графических» системах попрежнему делается установка на почерк кай, а не на уставный, книжный, так наз. «сунский» шрифт,³¹ но была попытка, оставшаяся, к сожалению, только в рукописи, приспособить «графическую» систему и к труднейшему почерку каллиграфической скорописи, цао.³²

Все изобретатели, в общем, разбрелись в погоне за основной, «ключевой» чертою (яо би), за количеством их, направлением черт и анализом их, за таблицами-схемами и, вообще, поиски основных принципов у них чрезвычайно разнообразны. Все они по разному насилуют свои же принципы, вгоняя в отдельные группы черты разного порядка, и, наоборот, разъединяя те из них, что невольно напрашивались бы на соединение; все придумывают, вместо желанного упрощения, одно осложнение за другим; все разбредаются в определении количества основных черт (3, 4, 5, 7, 8,

9, 10, 12, 26 и т. д.), в направлении их (слева, справа, сверху, снизу), в чертежах, таблицах и прочих приемах наглядности, и т. д. При этом, две «черты» останавливают на себе внимание изобретателей: верхняя и нижняя. Само собою разумеется, что и та и другая — явления далеко не очевидные, и что шаткость систем, всецело на них основанных, можно предполагать уже до знакомства с ними.

Из всех этих систем наибольшим успехом, повидимому, пользовалась — и до сих пор пользуется — так наз. «графическая» система В. П. Васильева, по которой был составлен особый словарь, литографированный в ничтожном количестве экземпляров, и потому быстро вышедший из употребления, но отчасти замещенный «Китайско-русским словарем» Д. А. Пешурова.³³ Этой своей системе основатель ее придавал излишне большое значение («...мы уверены в превосходстве нашей системы»), идущее вплоть до пренебрежения к словарю, как к содержанию, во имя демонстрации системы, долженствующей воевать с китайцами, и не «итти на помочах у этого народа (не мудреного уже)».³⁴ Вкратце, система эта заключается в следующем. В основу положена все та же ненавистная изобретателю «ключевая» система, знание элементов которой, детерминативов, должно быть полным, точным и предпосланным обращению с «графическим» словарем. Далее, анализ иероглифа исходит из нижней правой черты, на которую наращаются постепенно все другие, создавая группы, которые, при подстановке к ним детерминативов,³⁵ образуют искомые иероглифы. Достоинства этой системы, сильно преувеличенные старыми русскими китаистами,³⁶ в общем, сводятся к следующим статьям. Прежде всего, совершенно несомненно, что после беглого ознакомления с ее 19 элементами и их таблицею, по ней можно найти иероглиф в словаре тремя процессами: а) выделить детерминатив и исключить его из операции, б) определить нижнюю правую черту у опознанной уже основной группы, в) отыскать ее в оглавлении, дающем страницу, — в то время как универсальная система Мэя требует не менее 5 процедур, и процедур, как я говорил, непростых — даже для опытного китаиста. На нашей практике дознано, что это преимущество данной системы не призрачно, и что ее здоровое восприятие сложного иероглифа, резкое отличие простого от сложного, а главное, мнемонический успех тех из нас, кто не ленится посмотреть на соседей искомого иероглифа, достаточно доказаны и ясны каждому из нас. Как будто и жаль, что писавший текст словаря и, затем, ди-фирамбы системе «глубокоуважаемого учителя», признаваемой за «гениальную», П. С. Попов, свой собственный (в некоторых частях) Китайско-русский

словарь не расположил, однако, по гениальной системе, а предпочел одиозную систему Мэя.

Однако недостатки этой системы также серьезны. Она страдает большою искусственностью, проанализировать которую перекрестными ссылками авторы вышеуказанных словарей не сочли нужным. Ненаучность ее очевидна, и идея «преобладающей черты, нарастающей на себя группы» ничем не оправдана,³⁷ как не исходящая из истории письменности и археологических, палеографических данных.³⁸ Но и с чисто механической точки зрения она также не состоятельна, ибо отходов от принципа и принципов слишком много, начиная с самого выбора, отделения и соединения «черт» элементов письменности,³⁹ причем автор живет иллюзией органичности и «естественности» всей своей системы, а главное, ее педагогичностью, которая-де должна устранить собою непедагогичную китайскую универсальную систему. Однако, как уже указано, предпосылки и требования этой системы таковы, что нам, педагогам, приходится при началах занятий ею репетировать задачу какого-то безвыходного круга.⁴⁰ Далее, особенно в версии Пещурова, где даны исключительно «сунские» иероглифы, учащийся натывается сразу же на резкие противоречия действительности с установками лексикографа, и противоречия эти прямо удручают, тем более, что небрежностей и ошибок в этих словарях — как в системе их, так и особенно в содержании — столько, что пользоваться ими в настоящее время только предосудительно. Тем не менее, можно и в данном случае утверждать, что, с усовершенствованием этой системы, — а это сделать не так уже трудно,⁴¹ — она будет вполне приемлема, и я лично не задумался бы свой китайско-русский словарь расположить только по ней. До тех же пор, пока она не будет приложена к большому и основному словарю китайского языка, она является безжизненною и актуальному учету вовсе не подлежит, как равно и те многие китайские системы, которые исходят из аналогичного принципа.

Испробовав, таким образом, и верхнюю и нижнюю черту, и увидев тщету принципа, основанного исключительно на той или другой, изобретатели, естественно, обратились к комбинации обеих черт в одной системе. Из этих систем наилучше приложенною к содержательному словарю и потому заслуживающею упоминания является система О. О. Розенберга, имевшая претензии (которых я точно также не стал бы отрицать) стать универсальною на всем Дальнем, иероглификою пишущем Востоке, — и прежде других, среди японцев, многие из которых помогали и всячески сочувствовали составителю. Система эта чрезвычайно подробно и ясно

описана в английском предисловии автора к своему японскому иероглифическому словарю (Arrangement of the Chinese Characters according to an Alphabetical System with Japanese Dictionary of 8000 characters and list of 22 000 characters, by O. Rosenberg, Tokyo, Kobunsha. 1916). Она оказалась еще менее жизненной, чем система Васильева, из которой она исходит, ибо даже у нас не имела применения у китайстов, и реже всего у японистов, а потому о ней, в виду сокращения статьи, я не имею права распространяться наравне с прочими.

Эта система имеет свою задачу и претензией не более и не менее как дать иероглифистам урок точной лексикографии, производящей подобно алфавитное — вернее, алфавитообразное расположение знаков. В систему Васильева она вносит ряд коррективов, из которых наиболее важным является, несомненно, корректив точной установки знака на его место, точно так же, как это делается в алфавитных словарях. Для этого каждый иероглиф подвергается «дезинтеграции» (типа S-e-a-s-o-n), определяются его нижние и верхние черты и их направление, после чего на основании весьма тщательно составленной таблицы (или, по усвоении себе всех манипуляций, даже без нее), производится поиск, часто ведущий к преждевременному результату: можно иероглиф найти ранее ожидаемого срока. Это и составляет главное достоинство системы, точная механика которой исключила, наконец, вмешательство детерминатива и, вообще, тщательно продумана.

Однако и здесь не обошлось без недоразумений. «Алфавитный» принцип признан самим автором не без существенных оговорок, из которых наиболее убийственны эти «иногда», «в других случаях» и т. д. Научного порядка, несмотря на заверения автора, в его системе все же не оказалось; одинаковые графические элементы порою разобщены; сноски, отсутствующие у Васильева, здесь, наоборот, удручают своею сложностью; процедура отыскания знаков сложнее, чем у Васильева на 3—4 операции, и, вообще, усовершенствованная в своем собственном принципе система Васильева, вероятно, окажется проще этой точной системы.

Опуская системы более эфемерные, скажу еще несколько слов о другом усовершенствовании системы Васильева в Китайско-русском словаре А. П. Хионина, который на этот раз напечатан и пользуется, новидимому, широкой распространенностью.⁴² Система Хионина есть развитие системы Васильева, которой он, однако, не видел в оригинале, а только в версии Пешурова. Как бы то ни было, система Васильева оказалась непонятой (что весьма странно) и извращенною до самой своей основы. В самом деле,

система Васильева построена, как я уже указывал, на исключении детерминатива из конфигурации иероглифа, чтобы получить, таким образом, ничем не осложненную основную группу. Здесь же этот, если не вполне научный, то наукообразный прием заменен общим хаосом иероглифов, так что получилось вместо системы Васильева нечто смешанное, чего именно боялся Васильев: часть словаря, как будто, графическая, часть же как бы детерминативная, но та и другая не выдержаны до полного в них разочарования, тем более, что в «графическую» систему вмешана еще алфавитная, предполагающая в пользующемся словарем знание «чтений» иероглифов,⁴³ что только усиливает общий хаос. К этому надо присоединить резкую противоположность книгам Васильева и Розенберга, которые с большой заботливостью о читателе в предисловиях наглядно и подробно свои системы объясняют, в то время как у Хиоина его «система» почти не объяснена. Таким образом, и этот словарь, как продукт системы, не удачен, хотя и надолго введен в печатное обращение.

Все эти искусственные выборы «основной» (ключевой) черты и постройки из них химерических систем естественным порядком приводят новых изобретателей к новым искусственным приемам. Так, сильно распространяемая сейчас «четырёхугольная» система Ван Юньу,⁴⁴ легшая в основу его большого и, по-моему, довольно ценного иероглифического словаря,⁴⁵ а в своем дальнейшем развитии — и в ряд самых ценных справочных пособий словарного характера, когда-либо на китайском языке появлявшихся,⁴⁶ естественно, пришла к убеждению, что, если охват иероглифа одною чертой, или даже двумя, недостаточен, то, следовательно, охват надо распространить, и, действительно, система распространяет этот охват на все четыре угла иероглифа. Затем, все черты этих углов изображаются арабскими цифрами, так что каждый иероглиф выражается четырехзначною цифрою. Неясности и неточности допускаются, ибо пользование словарем рассчитано на людей, хорошо знакомых с иероглификой, и затем, вообще, вооруженных догадкой. У некоторых преподавателей-синологов Западной Европы, в такт с китайскими, уже стоит на очереди вопрос о введении этой системы в практику преподавания китайского языка взамен детерминативной. Я же считаю ее слишком сложною для роли добавочной, и пока не имеющей реального базиса для роли основной, тем более что к довольно ценному для нас словарю автора системы приложен счетно-детерминативный указатель (бихуа соинь), дающий возможность с большим удобством им пользоваться, не прибегая к предварительной сложной тренировке.

Среди других, довольно многочисленных приверженцев цифровой системы надо отметить тоже очень хороший иероглифический словарь проф. Вань Година, носящий показательное название «Нового моста» (Синьцяо цзыдянь) и имеющий задачей выражение иероглифа в цифрах, и притом порядком, напоминающим геометрический.⁴⁷

Однако, и в этом отношении русское изобретательство шло впереди китайского, ибо задолго до Вань Юньу небезызвестный китаист А. В. Тужилин изобрел весьма аналогичную по принципу охвата иероглифа со всех сторон систему, лишь выразив черты буквами, а не цифрами.⁴⁸ К сожалению, автору не удалось, несмотря на его чрезвычайно энергичные старания, довести дело до печатного завершения.

В заключение этой статьи, слишком затянувшейся, но, как легко заметить, вовсе не исчерпывающей сюжета, и особенно с показательной стороны, надо высказать несколько определенных положений.

Ясно, повидимому, что нет и не может быть для китайского иероглифического комплекта одной какой-либо исчерпывающей системы, хотя бы на линиях алфавитных словарей, которые также не дают ключа к всестороннему языковедному справочнику.⁴⁹ Нужно к каждому словарю (а может быть, и ко всем другим справочникам) приложить сразу две, а еще лучше — три и четыре системы, охватывающие иероглифический комплект с разных сторон, вроде упомянутых выше «стезавров-сокровищниц» разных языков.⁵⁰

Для педагогических целей нужно образовать особые синологические лаборатории по типу китайского «Бюро указателей» при Яньцзинском университете в Пекине, с тем чтобы они непрерывно изготовляли указатели по добавочным системам к вышедшим и выходящим ценным словарям и указателям, системы которых оказываются недостаточными (напр., Цы-Юань) или, что еще хуже, извращенными до неузнаваемости (Чжун-Хуа да цзыдянь). Это задача большая и сложная, требующая времени и средств (чем больше средств, тем меньше времени) и использования большого мелноративного опыта, особенно идущего из японских словарей китайской письменности. Этим китайские иероглифические словари будут введены в общее обращение, без специального приурочивания их то к начинающим, то к опытным, каковое разделение, с моей точки зрения, вредно.

Наконец, романизация, которая сейчас не только в Европе, но и в самом Китае получила небывалое до сих пор значение,⁵¹ должна быть усовершенствована на линиях, указанных уже компетентными лицами (Karlgren, *The Romanization of Chinese*), но в то же время стремиться к латинизации. Последняя же возможна лишь при условии отделения иеро-

глифического языка от слышимого и живого, для которого неоглифика, а вместе с нею все большие и сложные проблемы систематизации естественно отпадают.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Эта статья представляет собою резюме слишком большого материала, чтобы он мог быть уложен в ней весь и должным образом. Я предполагал вначале сделать ряд очерков, каждый из которых должен был бы превышать размеры этой статьи.

² Так, в нижеприводимой статье проф. Вань Година упоминается система неоглифов, принятая в Цинских архивах и совершенно не считавшаяся с какими-либо иными (так наз. четырехлинейная система Юань-хэн-ли-чжен).

³ К сожалению, следить за ним совершенно невозможно, но, если и удастся напасть на след этой литературы (напр. по «Указателю синологической литературы», Госсиэз луньвэнь соинь, и по дополнению к нему, Сюйбянь), то и это достаточно безрадостно, ибо цитированных им журнальных номеров, как показал мне многократный опыт, в Китае не разыскать.

⁴ Над этим очень много и хорошо трудились и трудятся составители современных словарей, особенно словарей китайского языка для учащихся (Сюэшан цзыдянь).

⁵ Количество библиотек в Китае, регистрируемых в «Квартальном Бюллетене Библиотечковедов» (Тушугуань сюэ цзякань) и в особых справочниках (из них мне известен весьма важный новый «Указатель научных организаций Бэйпина» за 1933 г. — Бейпин сюэшу цыгуань чжинань), чрезвычайно велико и все увеличивается; вместе с этим ростом растет и потребность в договоренности каталогизаторов, от которых, главным образом, и исходит данное движение.

⁶ Их несколько. Та, которую я буду все время иметь в виду, называется: Гэ цзя цзян цзы синь фа шу пин, с аналитическим подзаголовком «A Critical Study of the New Methods of Filing Chinese Characters — в «Library Science Quarterly» (Тушугуань сюэ цзякань, II. 4). Сам автор является профессором по кафедре указателей и классификации (соинь юй сюйле). За последнее время он много пишет по истории землевладения в Китае.

⁷ Несмотря на все мои разновременные и разносторонние запросы по этому поводу, за последующие годы мне не удалось получить удовлетворительных сведений (из Нанкина и Китая вообще).

⁸ Список этот не полон чрезвычайно: нет системы Каллри, Васильева, Розенберга, Тужицина, Колоколова. Благодаря принятым мною мерам, система В. П. Васильева, в версии Д. А. Пещурова, теперь проф. Вань Годину известна.

⁹ Собственно говоря, следовало бы эту статью проф. Вань Година целиком перевести, воспроизвести и дополнив ее чертежи и схемы, ибо ждать пока выйдет (и выйдет ли вообще) ее дополнение, придется, вероятно, слишком долго. Еще лучше было бы эту статью переработать, дополнительно описав многие интересные системы, намеченные и очерченные у проф. Ваня лишь схематично, без достаточного количества примеров и объяснений. Однако достать оригиналы этих систем, вероятно, и ему не легко.

¹⁰ Таково, напр., расположение знаков в биографическом (Чжун-Го жэнь пин да цыдянь) и географическом (Чжун-Го гу-цзинь ди мин да цыдянь) словарях, изданных Коммерческой Печатью (Commercial Press) Шанхая за последние годы. Всякий из нас знает, как досадно к ним прибегать из-за этой самой счетной системы, заставляющей нас считать число черт знаков (в соб. именах), кончающих собою каждую страничку.

¹¹ Она комбинируется с другими, новейшими, но стоит и во главе их. См., напр., в статье Ваня системы №№ 28 и 33.

¹² Проф. Карлгрен, протестуя против английского ее обозначения корневую (radicals), предлагает термин «показательной» (signific). Хорошо бы, однако, воспользоваться другим английским названием «ключей» — classifiers — и назвать ее, например, системой рубрик, меток и т. д. «Ключ», как дословный перевод с французского, вошел в китайские графич-

ские системы, о которых дальше, где он в роли прилагательного, обозначает «ключевую черту» (яо би).

12 Эта невероятная стабильность системы объясняется, кроме рутинности и веры в ее высокую рациональность, еще и малою потребностью в словарях языка при синтетическом его усваивании. Кроме того, «рифмическая» и другие сосуществовавшие ей системы удовлетворяли потребности в более механических подходах. Можно также, я думаю, предположить, что отношение подсказа со стороны детерминатива к целому иероглифу напоминало китайцам подсказку иероглифом целого слова.

13 Так, в словаре «императора Канси» (Канси цзыдянь) под «ключом» «травы» 1956 знаков, «воды» 1645 и т. д.

14 Но и эта операция создает слишком многочисленные подклассы. Так, в том же классе «травы», с 8 чертами (минус 4 черты детерминатива) имеем 205 знаков, под 9 чертами — 204 и т. д. Никакой подсистемы эти подклассы не признают, и получаются, в общем, абсолютно иррациональные ряды, которых из хаоса может вызвать лишь какая-нибудь новая, третья или по счету система.

15 Так, на «глядеть, видеть, и т. д.» приходится 46 и более иероглифов, на «глаз» и «вести его» 18 и т. д.

16 В. П. Васильев, всесторонне понесший эту систему и от нее отмежевавшийся, все же, свою систему, систему «графическую», основал на ней же.

17 Во всяком случае, ее «удобство» признают и ее противники по всем статьям проф. Вань Годзи, также желавший от нее уйти и придумавший свою особую систему, по которой он расположил свой словарь (Синь Цю цзыдянь). К сожалению, он видит в ней лишь «удобство для общего пользования».

18 Из 33 новых словарей, зарегистрированных в другой статье проф. Ваня, специально этой теме посвященной (Цзыдянь луньюэ, On the Chinese Dictionaries, — в Тушугуань сюэ Цзыдянь I, March 1926) — «несколько отходят от системы Канси цзыдяня» только 5 словарей.

19 Нападают на эту систему наиболее видные современные китайские научные реформаторы (Цай Юаньпей, Ху Ши, Цянь Сюаньтун и др.) и составители новых словарей и их систем (Вань Годзи, Ван Юань, Чань Гуан'ю и др.)

20 Только в курьезных стихах можно встретить иероглифы-детерминативы, в роде № 60 и других. Факт тот, что большинство китайцев вовсе не знают чужих детерминативов этого рода, которые столь равномерно изучаются европейцами-китаистами.

21 Особенно у Васильева и Розенберга (в их предисловиях к своим словарям).

22 Был один случай, зарегистрированный, например, в предисловии к китайско-английскому словарю Джайлза, когда одна и та же фонетическая часть размещена в разных подгруппах. Иногда глазу, привыкшему к определенному начертанию знака (напр., цзи и — герновини), не удастся его найти на ожидаемом месте (напр., в Цююане), в то время как в другом словаре (напр., японском) он может быть как раз там, где его ждут.

23 «Китайцы, у которых не имеется духа порядка и метода, характеризующего европейский гений, никогда не думали о том, чтобы установить в своих словарях достаточную систему классификации» (J. Callery, Dictionnaire encyclopédique de la langue chinoise, 1842, p. X.).

24 Так, в одном из японских словарей все иероглифы числятся под всеми детерминативами, на которые только можно подумать (ха о под и ю и под цзы и т. д.). Далее, в таблице трудных знаков можно было бы добавочно ввести алфавит, и тогда опытным искателям в словаре было бы дано серьезное облегчение.

25 Напр., ввести алфавитный порядок. Система Полетти, вводящая сюда слова детерминативы, неудачна: сложное к сложному.

26 Над этим уже много работали и европейцы (напр., Williams в предисловии к своему словарю, Д. М. Позднеев в предисловии к своему японо-русскому словарю и др.), и японцы, которые достигли в этом отношении наилучших результатов, подлежащих ближайшему использованию, и, наконец, — позже всех — сами китайцы, создавшие за последнее время очень удобные таблицы детерминативов (напр., в Байхуа сюэшан цзыдянь).

28 A Revised Radical System for Indexing Chinese Characters by K. V. Chen (Чэнь Гуан'яо), в Library Science Quarterly (Тупшугуань союз цзикань), III, 4, декабрь, 1929. Предлагаемая реформа состоит из сокращения групп на 54; в расположении их по встречаемости, с уничтожением редких групп и т. п. Но автор надеется, что вскоре вся групповая система погибнет — и его собственная тоже, как лишь временная. Я сам пользуюсь тем же составленным алфавитом детерминативов, что проще всего прочего. В своей статье «О разговорном обозначении китайских так наз. ключевых знаков» я попутно выделил из 214 самые нужные и подлежащие усвоению, именно в их реальной номенклатуре, у меня обозначенной.

29 Хотя изменения порядка детерминативов допущены лишь в пределах одной и той же подгруппы, однако доставляют много неприятных хлопот, и мне лично пришлось сделать особую ссылочную таблицу.

30 Об этом см. мою книгу «Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация», стр. 26, 130, 131. См. также у О. О. Розенберга, в предисловии к его японскому словарю.

31 Кажется, из всех 40 систем, приведенных у Ваня, система № 19 (Чжоу Бяньмина) определенно заявляет, что делает установку на «сунские знаки».

32 Это расположение во всяком случае лучше того путаного, которое принято в словаре скорописи Мильо (S. Millot, Dictionnaire des formes cursives des caractères chinois, p. 202, 1909). По этой же системе были сделаны попытки расположить и тангутские знаки (а за ними могли последовать и чжурчженские и киданские). Это, впрочем, относится и ко всем так наз. «графическим» системам.

33 «Графическая система китайских иероглифов. — Опыт первого китайско-русского Словаря. Составлен для руководства Студентов Профессором Санктпетербургского Университета Васильевым. Санктпетербург, 1867». Ср. его же: Графическая система китайских иероглифов. Журнал Мин. Нар. Пров., 1866, № 12). «Хань Нгэ хуа-фа хэби цзыхуй. Китайско-русский словарь (по графической системе) Д. А. Пешурова... СПб., 1891.

34 ... Европейский ум предчувствовал, что ему нужно своеобразное воззрение на предмет и самостоятельный метод, выходящий из общепризнанной колена.

35 Само собой разумеется, что и к китайскому языку не подходит теория перемещений и сочетаний, и только некоторые комбинации реальные и семантически жизненны.

36 В том числе П. П. Шмидтом в его «Опыте мандаринской грамматики». В словаре Хионина взят эпиграф из П. П. Шмидта, особенно преувеличивающий достоинства системы.

37 Это «наращение черт» высмеяно в известном китайском графическом анекдоте о карьере счастливица: от одного чоха (= одной черты) до цзоу хао юнъ ци, счастливой судьбы (ю нъ, в 13 черт) — и, во всяком случае, не безызвестно.

38 Даже самые термины этой системы не выработаны: пересекаются, прикасаются, прицеплены и т. д.

39 Система Васильева, не выдержанная ни в одном отделе, дает всюду крайне искусственные графические «развития» и погибает от борьбы фактической черты с «преобладающей».

40 Особенно удручает учащихся утверждение В. П., что, не зная фонетических групп (а их до 1500), нельзя ничего запомнить (как бы не зная азбуки). Между тем, как раз наоборот: очень рекомендую не запоминать их до случая, так как чаще всего они являются мертвым балластом.

41 Надо в нее ввести щедрой рукою перекрестные ссылки, цифровые обозначения элементов и групп, и т. д.

42 Дун Шэи ванью яньцзю хуй — Общество изучения Маньчжурского Края. Секция ориенталистов (б. Общество ориенталистов). Год издания XVII, № 56. Вестник Азии. Хань Нгэ Синь цыдянь. Новейший китайско-русский словарь). Более 10 000 отдельных иероглифов и около 60 000 сочетаний (по графической системе). А. П. Хионин. Лектор китайского языка в Институте ориентальных и коммерческих наук в Харбине, том I, Харбин, 1928, т. II, 1930.

43 И даже сам алфавитный список иероглифов расположен... по «ключам», но без обозначения их хотя бы цифрами, что для начинающих, во всяком случае, не приемлемо.

⁴⁴ Изложена в первом своем виде в книге: «Wong's System of Chinese Lexicography, The Four-corner Numerical System in Arranging Chinese Characters»; Ssu chio haoma chien tzu fa, da V. W. Wong, The Commercial Press. Shanghai, 1926.

⁴⁵ Ван Юнь да цыдянь. Шанхай, 1930.

⁴⁶ Целая серия указателей слов, названий, имен к наиболее важным китайским текстам, подготовленных с большой точностью особым бюро в Бэйдине (Harvard-Yenching Institute Sino-logical Index Series), из которых едва ли не самым важным указателем является указатель на всем библиографическом отделе всех китайских династийных историй (Combined Indices to Twenty Historical Bibliographies, Ивэнь чжи эрши чжун цзунхэ иньде, Peiping, 1933)

⁴⁷ Ряд цифровых клеток локализируют иероглифы (после некоторых предварительных с ним манипуляций).

⁴⁸ А. В. Тузилин. «Метод графического (словарного) расположения иероглифов в китайских словарях». Она предназначалась «для китайцев, для наборщиков китайских газет, для пишущих машин и... для всех народов».

⁴⁹ В том же смысле высказывается и проф. Вань Гоцик из 40 систем нет ни одной, удовлетворяющей его четырем основным требованиям (особенно: точности, ясности, простоте).

⁵⁰ Большие словари (Палладия, Джайлза, Куврера и др.) держатся одновременно расположения двух систем. Но к ним надо еще прибавить две-три для них новых.

⁵¹ Особенно в изданных китайцами для китайцев же географических и других словарях. Один из реформаторов-пессимистов (Чэнь Гуан'яо, упомянутый выше) заявляет, что природа китайских иероглифов такова, что никакие системы их кроме... алфавитной, по существу, не пригодны. — Ко всем указателям-иньде приложены романизированные инициалы, как и к словарю Ван Юнь, строго держащегося своей системы.

А. И. ДЕВОРИН

НОВОЕ УЧЕНИЕ О ЯЗЫКЕ И ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ

(К 45-летию ученой деятельности Н. Я. Марра)

I

Юбилей Н. Я. Марра — большой советский праздник. В его лице мы подводим итог, в специальной, правда, области, замечательным достижением советской, точнее, марксистско-ленинской науки. Н. Я. Марр принадлежит к дореволюционному поколению ученых; однако, его новое учение о языке расцвело пыльным цветом, как он это сам постоянно подчеркивает, только в послеоктябрьские годы. Только революционная эпоха могла придать такой невиданный размах полету научной мысли нашего замечательного ученого-революционера. Только революционная эпоха могла раскрыть те широчайшие горизонты и величайшие перспективы, которые заложены в новом учении о языке. Только наша революционная эпоха могла поднять самосознание творца новой науки, оформить развитие его мысли и дать ему, наконец, то орудие познания — диалектический материализм, — при помощи которого ему удалось совершить переворот в области науки о языке. Яфетидология в качестве общей теории языка есть новая наука, новая научная дисциплина, построенная в основном на принципах марксизма-ленинизма.

Но творчество Н. Я. Марра не ограничивается областью материалистической теории языка, Н. Я. Марр, в силу специфики предмета его науки и благодаря размаху его творческой мысли, вместе с тем расширил наш общий научный горизонт, осветил ярким светом ряд объектов научного исследования начиная от языка, искусства, истории религии, продолжая историей и кончая философией.

Новое мировое строительство с небывалыми безграничными перспективами в будущее, эпоха перестройки мира и людей, мировоззрения, мышления, категорий логики, самой техники мышления требуют для своего глубокого понимания столь же небывалых безграничных перспектив

и в прошлое, говорит справедливо Н. Я. Марр. Ключом же к раскрытию этого прошлого, «зари самоочеловечившегося зверя» и всего дальнейшего процесса становления человеческого разума, способен служить только язык.

Начав с изучения яфетических языков, этого сохранившегося наиболее глубокого слоя отложения многовекового языкотворческого процесса, Н. Я. Марр в полном созвучии с переживаемой нами социалистической эпохой, стимулировавшей и определявшей направление его деятельности, поднял из бесконечных глубин истории на поверхность современной жизни богатейшие отложения и окаменелости человеческого творчества в области материальной и идеологической культуры, вдохнув в них новую жизнь и заставив этих немых свидетелей исторической деятельности людей рассказать нам о глубоком прошлом, осветить нашу современность и наметить перспективы будущего.

Палеонтологический метод позволил нашему ученому добраться до основных элементов звуковой речи, осуществить анализ отдельных словесных выражений на их составные части и затем реконструировать процесс «химического» синтеза, т. е. процесс образования из основных четырех элементов всего богатства человеческой речи. При этом Н. Я. Марром был нанесен смертельный удар всяким расовым теориям, опирающимся в значительной степени на ложные языковедные учения с их признанием избранного «пра-языка» и «пра-народа», являвшегося якобы творцом и носителем человеческой культуры, стремясь таким образом оправдать господство современных «высших» культурных наций, как непосредственных наследников пра-народа, над «низшими» нациями. Переворот, произведенный Марром его учением о языке, идет в этом отношении теми же путями, какими идет наше социалистическое строительство, призывавшее к исторической и культурной жизни десятки забытых и задавленных господствующими классами национальностей, призванных мертвыми и «неисторическими», чем-то вроде исторических отбросов.

Тов. Сталин в своей классической работе «Об основах ленинизма» пишет след.: «Раньше национальный вопрос замыкался обычно тесным кругом вопросов, касающихся, главным образом, „культурных“ национальностей. Ирландцы, венгры, поляки, финны, сербы и некоторые другие национальности Европы, — таков тот круг неполноценных народов, судьбы которых интересовались герои II Интернационала. Десятки и сотни миллионов азиатских и африканских народов, терпящих национальный гнет, в самой грубой и жестокой форме, обычно оставались вне поля зрения;

белых и черных, „культурных“ и „некультурных“ не решались ставить на одну доску. Две-три пустых и кисло-сладких резолюции, старательно обходящих вопрос об освобождении колоний, — это все, чем могли похвастать деятели II Интернационала. Теперь эту двойственность и половинчатость в национальном вопросе нужно считать ликвидированной. Ленинизм вскрыл это вопиющее несоответствие, разрушил стену между белыми и черными, между европейцами и азиатами, между „культурными“ и „некультурными“ рабами империализма и связал, таким образом, национальный вопрос с вопросом о колониях. Тем самым национальный вопрос был превращен из вопроса частного и внутригосударственного в вопрос общий и международный, в мировой вопрос об освобождении угнетенных народов зависимых стран и колоний от ига империализма».¹

Октябрьская революция разрешила в нашей стране национальный вопрос, призвав к новой жизни все, казалось бы, „вымершие“ народы. „Она общественно упразднила деление народов на «отприродные» и «культурные», предоставив не только раскрепощенным нациям с историческим прошлым самоопределение, но и призвав к активному самопроявлению по науке и просвещению все народы и племена, не исключая и отсталых, не исключая народов и племен с одним этнографическим культурным багажом, народов и племен без исторического прошлого, народов, казалось бы, лишь «отприродных»“ (Н. Я. Марр).

«Современный строй, — говорит правильно Н. Я. Марр, — выдвинул значение каждого языка, как орудия пропаганды, как средства массовой общественной работы во всех уголках нашего Советского Союза, независимо от его исторических заслуг, независимо от его культурных достижений; часто вопреки его наличной непригодности для такой задачи, можно сказать, для такого общественно налагаемого нашим строем подвига, собственно для такой не более, не менее, как культурной революции. Ясное дело, что для производства такой культурной революции необходимо не только быть знатоком языка, как он есть, но знать и то, как язык сделался тем, чем он есть; как бы он ни был несовершенен, значит, как он возник и развивался и, следовательно, как он может стать тем, чем он общественно должен быть».

Новое учение о языке является иллюстрацией правильности ленинско-сталинской национальной политики. Проникнутое глубочайшим интернационализмом и историзмом, новое учение о языке рассматривает языкотворчество, как и логотворчество всех народов мира, как единый

¹ И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 9-е, 1933, стр. 46.

процесс, различая в нем лишь различные стадии, ступени развития, определяемые общим состоянием материальной базы данной эпохи. Этим марксистским подходом совершенно устраняются всякие идеалистические концепции о происхождении и развитии языка, об «избранных» народах на земле, об особых расовых способностях к культурному творчеству, присущих якобы исключительно европейцам, арийцам, — словом, все те теории, которые отстаиваются в целях оправдания политики угнетения и эксплуатации идеологами буржуазии и господствующих классов общества вообще.

Переходя к вопросу о взаимоотношении языка и мышления, к основному вопросу, интересующему нас в данной статье, позволим себе предварительно подчеркнуть, что новое учение о языке, поскольку оно построено на основах марксизма, раскрывает широкие горизонты в деле материалистического, т. е. марксистско-ленинского освещения проблем мышления, философии, как относительно происхождения мышления, так и становления развития человеческого разума. Учение марксизма-ленинизма по вопросу о происхождении мышления из условий материального производства и производственных отношений получает благодаря новому учению о языке новое подтверждение, конкретное выражение и объяснение.

II

Что такое язык и каково его отношение к мышлению?

«Язык, — говорит Маркс, — так же древен, как и сознание; язык — это практическое, существующее для других людей, а значит, существующее также для меня самого, реальное сознание, и язык, подобно сознанию, возникает из потребности сношений с другими людьми. Мое отношение к моей среде есть мое сознание».¹ В другом месте Маркс говорит: «Die unmittelbare Wirklichkeit des Gedankens ist die Sprache» — язык есть непосредственная действительность мысли.² Мысль и язык являются лишь проявлениями действительной жизни; ни мысль, ни язык не существуют сами по себе, не образуют самостоятельного царства. Подобно тому, как философы превратили мышление в самостоятельную сущность (*verselbständigt haben*), так они должны были превратить в самостоятельное царство и язык. В этом состоит тайна философского языка, где мысли в качестве слов имеют собственное содержание.

¹ См. Marx-Engels. Gesamtausgabe, I Abt., Bd. 5, S. 20.

² Marx-Engels, I. c., S. 424.

«Производство идей, представлений, сознания сначала непосредственно влетает в материальную деятельность и в материальные сношения людей — в язык реальной жизни. Представления, мышление, духовные сношения людей являются здесь еще прямым истечением (Ausfluss), порождением их материальной практики» (Маркс. Немецкая идеология).

Язык и мышление составляют, по Марксу, как и по Ленину, единство. Мышление неотделимо от языка, и язык неотделим от мышления. Однако, единство не есть тождество. И поэтому, несмотря на то, что язык и мышление составляют единство, и друг от друга неотделимы, обе стороны единства различаются друг от друга качественно и по своей структуре. Язык Маркс определяет как практическое и реальное сознание (мышление), как непосредственную действительность мысли. Язык есть мышление, выраженное в словах или в знаках; мышление есть внутренняя речь,¹ речь с самим собою. Язык и мышление возникают и развиваются одновременно, из материальных условий производства, являющихся их единым и общим источником или корнем. Мышление и язык, — как говорит Маркс, — являются прямым порождением материальной практики людей, влетаясь на первичных ступенях их развития непосредственно в материальную деятельность и в материальные сношения людей. Маркс прямо говорит о производстве идей, представлений, сознания, языка.

Н. Я. Марр эту основную марксистскую установку насчет происхождения всей идеологии из материального производства и производственных отношений иллюстрировал конкретно на огромном материале, дающем, между прочим, возможность при правильном подходе и умении раскрыть возникновение и развитие основных логических категорий, форм мышления. Марровское учение о языке показывает, каким незаменимым научным орудием является диалектический материализм; его учение подтверждает правильность марксизма-ленинизма во всех его частях. Мы не только считаем, таким образом, учение Марра марксистским в смысле применения им метода и мировоззрения марксизма-ленинизма к специальной области языкознания, но мы утверждаем, что его теория языка помогает и в дальнейшем своем развитии еще больше должна помогать осветить ряд принци-

¹ Кант выразил это в следующих словах: «Alle Sprache ist Bezeichnung der Gedanken, und umgekehrt die vollzöglichste Art der Gedankenbezeichnung ist durch Sprache, dieses grösste Mittel, sich selbst und andere zu verstehen. Denken ist Reden mit sich selbst (die Indianer auf Otaheite nennen das Denken: die Sprache im Bauch), folglich sich auch innerlich (durch reproduktive Einbildungskraft) Hören» (I. Kant. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, herausg. von Karl Vorländer, 1922, S. 101).

циальных марксистских установок в области философии диалектического материализма. Весьма возможно, что многое из того, что нами будет развито, в работах Н. Я. Марра не сказано *expressis verbis*, но мы убеждены в том, что наши выводы неизбежно вытекают из основных предпосылок нового учения о языке. Мы стоим на той точке зрения, что это учение способно оплодотворить науку о мышлении, стало быть, философию, и поэтому считаем необходимым теснейший союз философии с лингвистикой и психологией, как общей теорией языкознания, бросающей ослепительный свет на теорию и историю познания.

Н. Я. Марр, в полном согласии с марксизмом, рассматривает язык как надстроечную категорию, как продукт и орудие общественности, имеющий свои корни в производстве. Язык не отделим от мышления и является отражением (как и мышление) строя общественности. «Язык, — говорит Марр, — есть не просто звучание, а и мышление, да и не одно мышление, а накопление смен мышления, смен мировоззрения, также двигающих сил, и потому в нем, мышлении, имеем магическое средство для сдвигов в производстве и производственных отношениях не только при их зарождении и зачаточных формах социальной структуры, но и в наши дни».¹

В языке-мышлении мы имеем отложения отдаленнейших исторических эпох; в нем наслаиваются одни пласты на другие и, распирывая эти пласты или «геологические» слои, мы получаем возможность изучить смену исторических эпох, смену форм мышления, мировоззрения, социальных порядков и т. п. Это вместе с тем дает возможность отсева в нашем современном мышлении сохранившихся «пережитков», часто затемняющих и искажающих смысл новых идей. Ведь мы часто вынуждены пользоваться старыми словами для выражения нового содержания, новых понятий, а слова, форма выражения отличаются определенной инерцией, стремятся сохранить традиционный смысл, с ними связанный, отчего и получается, что старое содержание влечется вместе с старой формой и просачивается в новое миропонимание, придавая ему искаженный смысл.

Этот вопрос в области мышления имеет огромное значение. Но это между прочим.

Н. Я. Марр, постоянно увязывающий свои исследования, относящиеся к отдельным историческим эпохам, с современностью, подчеркивает значение и роль языка-мышления как орудия организации человеческого труда, как «магического средства» в наши дни социалистической

¹ Н. Я. Марр. Язык и современность, стр. 9.

стройки поднять настроение, усилить темпы, организовать труд в целях перестройки, изменения мира. Употребив термин «магическое средство», Н. Я. Марр намеревался сблизить отдаленную эпоху, когда язык-слово составляли часть магии, с нашим временем, когда язык-мышление также играет чудодейственную роль организатора миллионных масс народа, отнюдь, разумеется, не желая в какой бы то ни было мере отождествить магическое мышление с современным, научным, марксистским мышлением.

Новое учение о языке показало, что первоначальная функция языка — не разговорная, а производственная. «Язык — магическое средство, орудие производства на первых этапах создания человеком коллективного производства, язык — орудие производства. Потребность и возможность использовать язык как средство общения — дело позднейшее и это относится одинаково как к ручной или линейной (и кинетической) речи, так и к язычной или звуковой речи (также кинетической)».¹

Н. Я. Марр правильно подчеркивает, что одной из основных предпосылок правильной постановки проблемы о мышлении, это осознание того колоссального значения, которое присуще ручной речи, как средству, организующему в производстве, поведении, мировоззрении и т. д. Освещая отдельные этапы развития языка-мышления, Н. Я. Марр пишет: «За многие сотни тысяч лет, миллиона три, сменились орудия производства стандартизованных языков, при учете мышления качественно четырех языков: ручного языка, победившего комплексный не дифференцированный пантомимо-мимическо-звуковой пиктографический со зрительным мышлением; локализовав мышление в правой руке, ручной язык взял верх и, стандартизованный, охватил весь мир; его сменил звуковой язык в первой стадии своего развития с тотемическим мышлением, космическим и микрокосмическим, развернутым в пределах возможностей ручной речи, на второй стадии — с формальным логическим мышлением, когда оно стало воспринимать мир аналитически, все более и более проникая в технику его построения и утрачивая чувство целого, синтез, со сменой орудия выявления (всего тела, рук и лица, полости рта и звуков), орудия восприятия (сердца, ушей) и локализации мышления в правой руке (сердце и, наконец, в голове)».²

Зрительное мышление, связанное с комплексным не дифференцированным пантомимо-мимико-звуковым пиктографическим языком, со свойствен-

¹ Н. Марр. К бакинской дискуссии, стр. 7.

² Н. Я. Марр. Язык и мышление, стр. 61.

ным ему способом мышления отличается примитивно синтетическим характером: в нем слиты мимика, жесты, звуки в единое целое. Все тело, все органы человека говорят своими движениями; нет еще дифференцированного органа речи. Хотя здесь еще нет дифференциации, все же преобладающая роль в языке жестов и мимики принадлежит руке, которая и могла в следующую эпоху взять верх, победив недифференцированность и слитность пантомимо-мимико-звукового языка.

Идеалистическая философия, исходящая из признания готового, застывшего состояния сознания, не выдерживает с точки зрения материалистического учения о языке и мышлении никакой критики. В основу развития языка и мышления мы кладем принцип движения и развития. Мимическое движение представляет недифференцированное единство субъекта и объекта, внутреннего и внешнего, телесного и «духовного». «Аффект и его выражение; внутреннее напряжение и его разряжение даны в одном и том же временно-неразрывном акте».¹

Язык жестов отводит руке основную руководящую роль. «Руки (Die Arme und Hände), — говорит Вундт, — с самого раннего развития человека действуют как органы, при помощи которых он схватывает предметы и овладевает ими».² Отсюда, т. е. из этого первоначального применения хватательных органов, в чем человек сходен с животными, различаясь от них сначала только по степени, развитие ведет к первым примитивным формам мимического движения. Эти мимические или пантомимические движения генетически суть лишь ослабленные хватательные движения, говорит правильно Вундт. Хватательные движения переходят постепенно в указательные движения (Deutebewegung). Этот переход представляет собою важнейший этап на пути от животного к специфически-человеческому развитию.³

На примитивной ступени проявления аффектов и влечений всякое понимание (Erfassen) предмета сводится к его непосредственному чувственному схватыванию (Ergreifen). Таким образом, познание вещей на ступени языка жестов означает схватывание их руками. Здесь в основе познания лежит чувственно-тактильное восприятие, основным органом которого является рука. Всякое мышление носит конкретный, чувственный, образный характер. Отвлеченного мышления еще не существует, ибо отвлеченное мышление связано теснейшим образом с словесным выражением, т. е. с звуковой речью, с понятиями, которых нет еще и быть не может

¹ Ernst Cassirer. Philosophie der symbolischen Formen, Bd. I, S. 125.

² W. Wundt. Völkerpsychologie, 2, I, S. 129.

³ E. Cassirer. Philosophie der symbolischen Formen, I, S. 126 и сл.

на этой примитивной ступени развития, где человек живет преимущественно в мире непосредственных чувственных впечатлений или восприятий.

Развитие мышления совершается путем перехода от схватывания к пониманию (vom «Greifen» zum «Begreifen»), от «указания» к «доказыванию» (vom «Weisen» zum logischen «Beweisen»), как говорит Кассирер. Или по-русски: от «схватывать», к «понимать».¹ На ступени логического мышления познание теряет свой непосредственный характер и приобретает характер опосредствованный через понятия, суждения и заключения. В этом именно и состоит развитие, эволюция человеческого разума.

Ручной язык есть язык эпохи матриархата, это — женский язык, который сохранился в виде пережитка на Кавказе, в армянских деревнях, не говоря уже о народах, стоящих на более низкой ступени исторического развития. Для старой науки о языке, — говорит Н. Я. Марр, — ручная речь вовсе и не существует. «Между тем ручная речь в ручное мышление в глоттогоническом (языкотворческом) процессе сыграла громадную роль; за время ее многотысячелетнего существования в мышлении произошли громадные сдвиги, благодаря ей мышление оформилось; за то же время количественного и качественного роста ручной речи человечество пережило не одну ступень стадияльного развития. Является вопиющим с подлинным положением дела расхождением, но вполне натуральным для буржуазной науки, когда самый факт нахождения ручной речи и ручного мышления у колониальных для них народов рассматривается как доказательство нахождения соответственных коллективов на первобытной ступени развития или как случайный придаток, позднее возникший местами из дополнительных к звуковой речи жестов, исторически, следовательно, не обусловленных бытием. Между тем, ручной язык сам по себе есть стандартизованный позднейший вид линейной речи мирового обихода, уступивший место звуковой речи весьма поздно в борьбе, борьбе женской матриархальной организации, это женский язык, и лишь постепенно загнанный в отдельные районы в результате антагонизма говоривших на них противоборствующих сторон социально-экономических образований. Эти изолированные ныне районы охватывают отнюдь не одни местности с населением так наз. первобытного мышления Африки, Америки и Австралии. В каждом районе они увязаны генетически (по происхождению) с переживающим в той или иной степени прежним бытием того же коллектива».²

¹ Понятие схватывания в русском языке имеет двойкий смысл: схватывать руками и схватывать умом.

² Н. Я. Марр. Язык и мышление, стр. 35—36.

Где же корни происхождения ручного языка? В особой роли руки как орудия производства, как орудия труда. Труд создал самого человека, говорит Энгельс. Но первым орудием труда была рука как орган тела, отделившийся по своей функции от задних конечностей, от ног. Эта дифференциация рук от ног и сделала возможным развитие обезьяны, животного, в человека. Освобожденная от функции хождения, рука специализировалась на труде. Рука, говорит Энгельс, является не только органом труда, но и его продуктом, ибо она развилась и достигла высокой степени совершенства в различных областях деятельности благодаря процессу труда. Рука, таким образом, есть орган, орудие всякого производства, всякого труда и всякой деятельности. Без руки нет труда, но и без труда не было бы руки. Можно сказать, что рука и труд рождаются одновременно, и с этого именно исторического момента начинается господство человека над природой. Энгельс правильно подчеркивает, что вместе с развитием руки и труда развиваются и органы чувств, из них прежде всего чувство осязания.¹ Из непосредственного процесса труда Энгельс выводит также и происхождение языка. Однако, Энгельс говорит лишь о звуковой речи. Новейшие исследования — а из них первое и главное место занимают работы Марра — привели к выводу о существовании ручного языка, причем ручной язык, как и звуковая речь были вначале производственными, а не разговорными языками.

«Орудия производства на начальных этапах у мышления и языка, — говорит Н. Я. Марр, — были общие с производством, и до выработки из них специального инструмента для языка, до разлучения их с орудиями самого материального производства, не могло быть никакой самостоятель-

¹ Jaensch проводит в своем труде «Über den Aufbau der Wahrnehmungswelt, 2 Aufl., Teil I, 1927 — ту мысль, что во всех примитивных языках и на ранних стадиях развития среди содержаний восприятия преимущественное место занимают оптические восприятия. Он указывает, что *visu* первоначально означало воспринимать, восприятие и что еще у Гомера *gnanai* означает видеть; знают то, что видят (S. 271—272). По этому поводу следует заметить, во-первых, что замечание Иенша подтверждает, вопреки его желанию, материалистическое происхождение мышления. Что же касается перичного характера оптических восприятий, то ведь Иенш имеет в виду уже высоко развитые языки и связанные с ними формы мышления. Что оптические восприятия играли значительную роль с самого начала развития человека, это не подлежит сомнению. Но что одним зрением, безрассудным ирра нельзя ничего в нем сделать — это тоже факт. Чтобы человек мог опираться не только на зрение, ему прежде всего необходимо было обратиться к труду, а трудиться он мог только при помощи своих рук. Зрение играло при этом большую, но лишь вспомогательную роль. Кроме того, само зрение развивалось вместе с трудом и рукой. Мы потому считаем нужным обратить внимание на это обстоятельство, что за последнее время в западной литературе усиленно разрабатывается теория, согласно которой чуть ли не вся история человеческой культуры является продуктом «зрения». Странная теория, не правда ли?

ной речи: не было отрешенного мышления, не было языка вне производства».¹

Эта идея Марра представляет собою конкретное развитие мысли Маркса и Энгельса о том, что производство мышления и языка сначала непосредственно вылетается в материальную практику людей, являясь непосредственным ее порождением. Человек начинает свою историческую жизнь с недифференцированного, слитного, синтетического состояния, при котором один и тот же орган его тела — рука — служит и орудием производства, и орудием языка. Кэшинг, изучивший на месте среди зуны ручной язык и напечатавший известную работу под названием «Manual Concepts»² (ручные понятия) правильно указывает, что «у них руки были так связаны с интеллектом, что они действительно составляли его часть»,³ а полковник Маллери в работе «Язык знаков», как говорит Леви Брюль, показал, что в ручном языке «мы имеем дело с настоящим языком, у которого есть свой словарь, свой синтаксис, свои формы». Все исследования свидетельствуют о том, что ручной язык весьма богатый язык. Мышление и язык здесь проявляются в движениях рук.⁴ Мысли и слова — выражались в движениях рук, а сами движения, гибкость рук, разнообразие движения развивались естественно в процессе труда, и сами мысли и слова-«понятия» являлись прежде всего производственными мыслями и словами, известными образами, выражавшими функциональное и подражательное движение в производственной деятельности. «Прежде всего, — говорит Леви Брюль, — опираясь на исследование Кэшинга, и в языке жестов, как и в словесном языке, живым и реальным единством является не изолированный жест или знак, как равно и не изолированное слово, а фраза или более или менее длинная сложная совокупность, выражающая нераздельным образом какой-нибудь полный законченный смысл. Смысл жеста определяется „контекстом“. Так, напр., жест „бумеранг“ может выражать не только идею этого предмета, но также (судя по

¹ Н. Я. Марр. В семантической палеонтологии в языках неафетических систем, стр. 37.

² American Anthropologist, 1892, vol. 5.

³ См. Леви-Брюль. Первобытное мышление, русск. пер., стр. 106.

⁴ «Кэшинг, — пишет Леви Брюль, — показывает, как крайняя специализация глаголов, констатированная нами повсюду в языках «первобытных», оказывается естественным последствием той роли, которую движения рук играют в умственной деятельности первобытных. «Здесь, — говорит он, — существовала грамматическая необходимость. Таким образом, в сознании первобытных людей еще скорее, чем у них появлялось равнозначное глагольное выражение или с такой же быстротой, должны были возникать мысли-выражения, выражения-понятия, сложные и, тем не менее, механически систематизированные» Л. Брюль. Первобытное мышление, стр. 106).

„контексту“) и идею попадания или умерщвления кого-нибудь с его помощью, или идею его изготовления, похищения и т. д.».

Огромной заслугой Н. Я. Марра является то, что он поставил предметом изучения ручной язык, указав его историческое место и связав его с определенной общественной формой, что он проблему происхождения языка довел, таким образом, до самых ранних ступеней человеческого развития. Это обстоятельство дало ему возможность раскрыть глубокую связь ручного языка с языком звуковым, учесть огромное наследство, полученное последним от первого, и показать, что звуковой язык на первых порах питался этим именно наследством, жил за его счет. Но мало этого, в свете изучения ручного языка удалось, хотя бы отчасти, реконструировать мировоззрение самых отдаленных исторических эпох. Звуковая речь, как это доказано теперь Н. Я. Марром, возникла в борьбе и в противоположность ручной речи. Можно считать установленным, что звуковая речь возникла в связи и в результате изобретения искусственных орудий труда. «Как звуковая речь возникла лишь на известной ступени развития материальной культуры, ибо до выработки орудия производства, уже отделанного и усовершенствованного, не было и не могло быть звуковой речи, так до определенного момента, эпохи нового сдвига в технике производства и с ним в социальной структуре, социальном быте, не было и не могло быть логического мышления».¹

Заслуживает быть отмеченным, что никто иной как Гегель сближал, правда, на свой идеалистический лад, труд с рукой, речью и письмом. Наряду с органом речи, говорит он, человек больше всего проявляется и осуществляет себя при помощи руки. «Dass die Hand das Ansich der Individualität in Ansehung ihres Schicksals darstellen muss, ist leicht daraus zu sehen, dass sie nächst dem Organ der Sprache am meisten es ist, wodurch der Mensch sich zur Erscheinung und Verwirklichung bringt» (Hegel. Phänomenologie des Geistes, herausg. v. H. Glockner, 1927, S. 244).

О руке, говорит он, можно сказать, что она есть то, что человек делает, само же бытие, или истинное бытие человека определяется его деятельностью.

Интересно также указать в этой связи, что Гегель понимает связь между орудием труда и языком и проводит между ними любопытную аналогию. Орудие есть то, что человек помещает между собою, как субъектом и внешним миром как предметом труда, как объектом. «Im Werkzeug

¹ Н. Я. Марр. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком (Сб. Языковедение и материализм, стр. 21).

nacht das Subjekt eine Mitte zwischen sich und das Objekt, und diese Mitte ist die reale Vernünftigkeit der Arbeit».

Что же касается речи, точнее материальных, телесных знаков речи, то они составляют «идеальность орудия труда», как он выражается на своем языке, или иначе говоря, идеальное отражение и выражение орудия труда. Подобно тому, далее, как орудия труда составляют середину, т. е. посредствующий орган между субъектом и объектом, так и звуковая речь объединяет объективность телесного знака с субъективностью жеста и мимики.

«Wie die Miene und Gebärde eine subjektive Sprache ist, so ist das körperliche Zeichen eine objektive. Die tönende Rede vereinigt die Objektivität des körperlichen Zeichens und die Subjektivität der Gebärde» (Hegels Sämtliche Werke, herausg. von G. Lasson, B. VII, 2 Aufl., S. 428—431). Плуг, говорит Гегель, имея в виду вообще всякое орудие труда, почтеннее тех непосредственных наслаждений, которые им доставляются человеку.

«Der Pflug ist ehrenvoller, als unmittelbar die Genüsse sind, welche durch ihn bereitet werden und die Zwecke sind. Das Werkzeug erhält sich, während die unmittelbaren Genüsse vergehen und vergessen werden. An seinen Werkzeugen besitzt der Mensch die Macht über die äusserliche Natur wenn er auch nach seinen Zwecken ihr vielmehr unterworfen ist» (Hegel. Wissenschaft der Logik, II, S. 226, herausg. von H. Glockner, 1928).

Гегель очень метко и остроумно говорит поэтому, что делать орудия гораздо разумнее, чем делать детей... По поводу приведенного нами последнего рассуждения Гегеля об орудиях труда Ленин в своем конспекте «Науки логики» отмечает, что здесь мы у Гегеля имеем зачатки исторического материализма (Ленинский сборник, т. IX, стр. 217).

Подобно тому, как величайшую революцию в процессе очеловечения зверя и становления человека сыграла сначала рука как органическое орудие труда, так и отделение орудия труда от организма, переход от органа-орудия к искусственным орудиям, знаменовали собою величайший переворот в истории человечества, ибо искусственные орудия труда, производство и употребление орудия составляют самую существенную отличительную черту человека. Если прав Дарвин, утверждающий, что «человек никогда не достиг бы господствующего положения в мире без употребления рук, столь удивительно послушных его воле», то столь же прав и Франклин, назвавший человека а toolmaking animal, животным, делающим орудия и еще более прав Маркс, приемлющий положение Дарвина и Франклина, но развивший эти фрагментарные, хотя и весьма глупо-

кие, положения в целостное учение. Он пишет: «Такою же важностью, как строение останков костей, имеет для изучения организации исчезнувших животных видов, останки средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно-экономических формаций. Экономические эпохи различают не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда».¹

Производственные органы общественного человека составляют, по словам Маркса, материальный базис каждой особой общественной организации. Поэтому совершенно правильным и великим научным достижением следует признать обоснование и доказательство того, что именно в результате перехода к искусственным орудиям труда возникает и развивается членораздельная звуковая речь и само логическое мышление с его категориями, а также совершенно новая социальная организация.

Как же сложилась звуковая речь в противоположность и вместе с тем как продолжение ручной речи? Н. Я. Марр по этому поводу говорит следующее: «Никаких натуральных слов не существовало.² Слова создались с тех пор, как стала слагаться звуковая речь, в удовлетворении потребностей, возникавших с развитием хозяйственной жизни и социальной структуры коллективов в путях достигнутой в то время техники в зависимости от мышления тех же эпох. Но создались слова не на пустом месте в путях отвлеченного мышления, хотя бы в увязке с общественностью и ее материальными предпосылками и ее мировоззрением, а в постепенно протекавшем диалектическом расхождении с кинетической речью, языком жестов и мимики, рядом с которым элементы звуковой речи служили долго лишь подсобным материалом, ограничившим свое использование кругом предметов и представлений магического порядка. Когда же сложилась звуковая речь и вышла за пределы магических потребностей в мир обыденных предметов и представлений, победительница сраженной кинетической речи оказалась забравшей все достижения линейного языка: первичные слова и производные образования звуковой речи не что иное, как перевод линейных или кинетических символов, сигнализовавшихся рукой, на звуковые символы. И, конечно, техника этого перевода, вообще техника построения слова была не только формально, но и идеологически различна, как самое мышление, на различных стадиях человеческого развития».³

¹ К. Marx. Das Kapital, 4 Aufl., herausg. von F. Engels, Hamburg, 1890, S. 142.

² Маркс в одном месте говорит: «Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой» «Der Name einer Sache ist ihrer Natur ganz ausserlich», *Ibid.*, S. 65.

³ Н. Я. Марр. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком? (Сб. Языковедение и материализм, стр. 39—40).

Первоначальная техника этого перевода строилась по ассоциации образов и связанных с ними функций. Так, «топор» представляет функциональное унаследование названия, в конечном счете (через каменный топор, камень) руки, передавшей свое название предмету, взявшему на себя ее функции. Идя по этому пути, Н. Я. Марр раскрыл много интересного и важного для освещения не только чистых языковедных вопросов, но и вопросов мышления ранних эпох. Нас, однако, в данной связи интересуют главным образом проблемы мышления. Что дает нам учение Марра для освещения вопросов теории познания, категорий логики, развития мышления вообще — вот что нас занимает в первую очередь. И, нужно сказать, что в этой области уже достигнуты результаты, которые должны быть учтены философами-марксистами.

III

В. И. Ленин настойчиво подчеркивал необходимость критического изучения и диалектической обработки истории человеческой мысли, науки и техники, видя в такой обработке «продолжение дела Гегеля и Маркса». Теория познания и диалектика должны быть выведены из истории и практики человека. Он указал, из каких областей знания должна сложиться марксистская теория познания, отведя истории языка среди этих дисциплин особое место. Поскольку диалектика есть обобщение истории мысли, то задача состоит в том, чтобы категории мышления проследить конкретно, исторически. «Тысячелетия прошли с тех пор, — пишет Ленин, — как зародилась идея „связи всего“, „цепи причин“. Сравнение того, как в истории человеческой мысли понимались эти причины, дало бы теорию познания бесспорно доказательную».¹ То же самое относится ко всем категориям мышления. С другой стороны, доказанное исторически материалистическое происхождение всего нашего мышления, всех его форм и категорий из материальных условий производства и производственных отношений, изменчивость мышления в зависимости от последних, наносит смертельный удар всякому идеализму.

Такая работа может быть выполнена лишь при помощи нового учения о языке, дающего возможность посредством палеонтологического анализа соответственных терминов, слов, выражений, добраться до источников возникновения, происхождения и трансформации наших мыслей, идей и понятий. Каждое понятие, термин, идея имеет свою историю, и выяснение исторических смен их содержания (а также формы) имеет для науки перво-

¹ Ленинский сборник, XII, стр. 307.

степенное, решающее значение. Процесс развития и смены орудий труда играют при этом важнейшую роль. Орудия труда, — говорит Маркс, — есть комплекс предметов, которые человек помещает между собою и предметом труда в целях воздействия на внешний мир. «Он пользуется механическими, физическими, химическими свойствами тел для того, чтобы в соответствии со своей целью заставить их как силы действовать на другие тела. Предмет, которым рабочий овладевает непосредственно, — мы оставляем в стороне захват готовых средств существования, напр., плодов, причем только органы тела рабочего и служат средствами труда, — есть не предмет труда, а средство труда. Итак, предмет, данный самой природой, становится органом его деятельности, органом, который он присоединяет к органам своего тела, удлиняя таким образом, вопреки библии, естественные размеры последнего».¹ Действуя на внешнюю природу при помощи орудий труда и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу, в том числе, конечно, и природу своего мышления.

В приведенных словах Маркса содержатся глубочайшие мысли насчет движущих сил человеческого развития. В них заложена в основном и вся теория исторического материализма. Изготовление и употребление искусственных орудий труда составляет поворотный пункт в истории развития как материальной, так и духовной культуры, в истории развития мышления. Маркс говорит о том, что орудия труда суть внешний предмет, предмет природы, который человек превращает в орган деятельности, в орган своего тела, присоединяя его к своим естественным органам. В виду этого представляется еще более значимой правильность теории Н. Я. Марра о передаче рукой своего названия топору, мечу, ножу и другим соответствующим орудиям. Топор или молот только взяли на себя функцию руки, они являются, так сказать, искусственными руками.

Но с точки зрения истории мышления существенно, как это обстоятельство изменяет природу человека, его способ мышления в особенности. В труде человек формирует не только внешнюю природу, но и свое мышление. Искусственные орудия труда создают возможность для человека выйти за пределы непосредственного чувственного восприятия вещей, играющего на этой ступени преимущественную роль, и подняться на более высокую ступень духовного и умственного развития, познания мира. Процесс активного воздействия человека на природу, благодаря посреднику орудия, помещаемому между человеком и предметом труда, ведет к развитию преимущественно непосредственного восприятия в опосредство-

¹ К. Маркс. Das Kapital, 4 Aufl., S. 141—142.

ванное знание, к развитию представлений и отвлеченных понятий. Отделение орудия от тела и усиление благодаря этому активного воздействия человека на мир создают условия для возникновения и выделения в мысли категорий субъекта, объекта и причинности — этих основных категорий познания.

«Палеонтология речи, — пишет Н. Я. Марр, — вскрывает состояние языка, а, следовательно, мышления, когда не было еще полноты выражения мысли, не выражалось действия, т. е. не было глагола, сказуемого, более того, не было субъекта, так называемого подлежащего по схоластической грамматике. Какая же могла быть мысль при отсутствии действия-сказуемого, глагола, и субъекта — подлежащего? Очень просто: действие было, но не в высказывании, во фразе, а в производстве, и субъект был, но не во фразе, а в обществе, но ни это действие, ни этот субъект не выявлялись в предложении самостоятельно, не выявлялись ручной речью вне производства и производственных отношений: довольствовались указанием на орудие производства как на действие (трудовой процесс, впоследствии в предложении сказуемое), самостоятельно глагол (часть речи) и на трудящийся коллектив как на субъект (впоследствии в предложении подлежащее, часть речи — существительное). А что же выражалось в предложении, тогда лишь в ручной? Объект, но не по четкому представлению нашего мышления как „дополнение“, а как комплекс цели, задачи и продукции (предмета потребления). Цель — обслуживание „производительных“ сил природы (впоследствии тотем, ныне в представлении тех эпох — магических сил), задача — обработка потребного материала и продукция — полученный продукт, объект, он же и следствие.

«Здесь-то и нарождается в мышлении восприятие каузальности, причины и следствия, опоры для логического мышления. Но это уже при звуковой речи».¹

Таким образом, палеонтология речи вскрывает «первичное» состояние диффузного мышления, при котором в мысли не было ни субъекта, ни объекта, но которые существовали, конечно, в реальной жизни, в самом производстве и производственных отношениях. Вне производства и производственных отношений, в речи и в сознании они самостоятельно не были еще выделены. Мы имеем при господстве ручной речи и естественных орудий труда — органах неразличное, слитное, сращенное единство производства, производственных отношений с категориями речи и мышления. Из этого «симбиоза» прежде всего выделяется объект (а потом только, позже

¹ Н. Я. Марр. Язык и мышление, стр. 51—52.

субъект), объект, как полученный продукт и результат труда, как его следствие, как овеществленный и объективированный труд. В дальнейшем, не только синтаксис, строй речи, но и мышление, логика представляют собою отражение сначала непосредственно процесса производства и производственных отношений. Если объект, как мы видели, в качестве логической и надстроечной категории, а дополнение как категория грамматическая являются отражением продукта труда, то субъект (логически и надстроечно), подлежащее (грамматически) существительное — часть речи, отражает трудящийся коллектив — творца, он же и орудие. Орудие производства означало действие (причина), трудовой процесс; продукт производства — следствие.¹

Таким образом, наши познавательные категории — субъект, объект, причина, действие являются первоначально простым отражением и переводом процесса производства на язык мысли. Надстройка выделяется и отделяется непосредственно от базиса, с которым она сначала совершенно слита и нераздельна, подобно тому как первичное орудие труда — рука составляет нераздельную часть тела. Искусственные орудия, эти производительные органы общественного человека отделены от человеческого тела; они составляют самостоятельный мир, образующий особую, искусственную среду, через которую «преломляются» желания и стремления, деятельность человека, подчиненная определенным объективным условиям. Между субъектом и объектом в виде орудий труда помещается промежуточное звено, чем создается, по выражению Кассирера, «дистанция» между субъектом и объектом. И это именно обстоятельство и определило возникновение в мысли (и в языке) соответственных категорий.²

«Выделением языка-мышления из трудового процесса как его противоположности начинается процесс отпочкования в единой речи,

¹ Ср. также Н. Я. Марр. К семантической палеонтологии в языках не восточных систем, стр. 12.

² «Indem jetzt, — пишет Кассирер, — zwischen dem «Inneren» und dem «Äusseren» eine Schranke errichtet ist, die das unmittelbare Überspringen vom sinnlichen Trieb zu seiner Erfüllung verwehrt, indem sich zwischen dem Trieb und dem worauf er sich richtet, immer neue Zwischenstufen einschieben, wird damit erst eine wirkliche „Distanz“ zwischen Subjekt und Objekt erreicht. Es sondert sich ein fester Kreis von «Gegenständen» heraus, die eben dadurch bezeichnet sind, dass sie in sich selbst einen eigentümlichen Bestand haben, mit dem sie dem unmittelbaren Verlangen und Begehren «entgegenstehen». Das Bewusstsein der Mittel, die zur Erreichung eines bestimmten Zweckes unumgänglich sind, lehrt zuerst das «Innere» und das «Äussere» als Glieder eines kausalen Gefüges begreifen und ihnen innerhalb desselben je eine eigene unvertauschbare Stelle anzuweisen — und heraus wächst nun allmählich die empirisch-konkrete Anschauung einer Dingwelt mit realen „Eigenschaften und Zuständen“ hervor“ (E. Cassirer. Philosophie der symbolischen Formen, Zweiter Teil, S. 264).

языке-мышлении, двух противоположных не сторон, а моментов — мышления и его выявления, когда речь звуковая — звукового выявления, и в связи с этим образуются два различных технических средства, техника мышления, идеологического момента, и техника звукового выявления, формального момента. Однако оба момента одинаково идеологически обоснованы своей генетической связью с материальной базой».¹ Подобно тому, как искусственное орудие не связано непосредственно с организмом человека, так и речь освобождается от непосредственной связи с рукой, с внешним миром, становясь чрезвычайно гибким, условным и отвлеченным, символическим. И то же самое относится к мышлению, приобретающему способность оперировать отвлеченными, внеобразными понятиями, часто в полном отрыве от вещей (спекуляция идеалистов), от реального мира, но в союзе со словами, чистыми символами, также лишенными конкретного содержания. Мышление и язык, как было уже сказано, не тождественные вещи, но между ними существует теснейшая связь, ибо язык ведь есть орудие мышления. Между грамматикой и логикой существует родство, внутренняя связь. И недаром Аристотель абстрагивал свою логику, т. е. логические категории от грамматических категорий. Сила и слабость мышления имеют одинаково своим источником язык, звуковой язык, являющийся одновременно символическим и отвлеченным языком. Без отвлеченных понятий (и слов, разумеется, их выражающих) невозможна была бы наука, не достигнуты были бы человечеством те колоссальные успехи во всех областях, которыми мы вправе гордиться. Но то обстоятельство, что наше современное мышление и его орудие — современный язык (ибо каково мышление, таков язык) дают возможность спекулировать часто пустыми словами, пустыми абстракциями, отражается очень вредно на развитии культуры. Достаточно вспомнить схоластическую науку и философию с ее специфической т. е. феодальной терминологией, выражавшей феодальное мышление и мировоззрение. Конечно, каждый общественный класс оформляет соответствующим языком свое мышление, свое мировоззрение. Но дело в том, что часто старое наследство извращает новое мышление, мышление нового общественного класса. Язык оказывает на мышление огромное влияние, так как он консервирует, сохраняет рудименты всех предшествующих эпох, всех ступеней и эпох мышления.

И наш современный язык изобилует понятиями религиозного, метафизического, логического, морального порядка совершенно иных эпох, часто отдаленных наших предков, прямо или косвенно влияющих на наше

¹ Н. Я. Марр. Язык и современность, стр. 14.

мышление, часто для нас совершенно бессознательно. Господствующие классы используют язык с его пережиточными словами-понятиями в целях угнетения и эксплуатации трудящихся. Нам поэтому представляется, что марровская историческая «критика языка», направленная на раскрытие корней и источников наших современных слов и понятий, их происхождение от материальных условий производства и производственных отношений, имеет совершенно неопенимое, не поддающееся еще учету значение для новой, социалистической культуры, не говоря уже о том материале, который доставляется им для критической истории и теории познания и диалектики, для критической истории человеческого разума.

Мы выше показали, как и при каких общественных условиях возникают первые основные четыре категории мышления. Теперь обратимся к категориям времени и пространства. Н. Я. Марр показал, что человечество долго никакого понятия о времени не имело, что «прошел не один десяток тысячелетий, прошла не одна сотня тысячелетий с тем, что человечество не имело понятия о времени, как об единице меры длительности: слово «день» воспринималось не как длительность, а как противоположность «ночи», как противоположность «мраку». В представлении первобытного человека не было различия пространства и времени. Оба эти понятия, — говорит Н. Я. Марр, — обозначались одним словом «небо». Но это уже на ступени космического мировоззрения. Первичное единство противоположностей — времени и пространства — раздваивается, поляризуется опять-таки в процессе труда, в процессе производства. Противоположные понятия движения и стояния, сначала нерасчлененно пребывающие в единстве коллектива, последним в процессе производства, в действии, вырабатываются время-движение и в противодействии — пространство-место, стоянка. Без представления движения ни понятия времени, ни понятия пространства не могли бы возникнуть в нашем сознании. И если верно утверждение Макса Мюллера, что наши собственные действия являются первыми объектами знания,¹ если, далее, верно, что указательные корни или элементы языка, как это опять-таки подчеркивает тот же Мюллер, играют наряду с качественными корнями огромную роль, то они служат нам ныне в качестве доказательства того, что представления времени и пространства возникли из наших действий, связанных естественно с движениями нашего тела, руки, органов труда. Но то, что только нащупывал Мюллер, Гейгер и Нуаре, то, о чем они лишь смутно

¹ Макс Мюллер. Наука о мысли, русск. пер., 1891, стр. 238.

догадывались, то получило свое полное развитие в учении Марра. В самом деле, по мысли Мюллера, указательные элементы указывают на предмет в пространстве и времени (здесь, там, тогда, этот, сверху, снизу), но Мюллер вынужден признать эти элементы необъяснимыми.¹

Н. Я. Марру удалось раскрыть основные закономерности ручного языка, имеющие свои корни в руке как первичном орудии производства. Ему же удалось установить основной характер диффузного, т. е. комплексного мышления, из которого развилась последующая, высшая форма мышления. Диффузное мышление характеризуется приматом общности названий для разнородных понятий, приматом всеобщего перед единичным, нераздельного перед раздельным, целого перед частями и пр. Неразрывно с такой первобытной структурой мышления связано то, что часть как бы приравнивается целому, отождествляется с ним и поэтому носит его наименование. То же самое относится и к вопросу о соотношении свойства и вещи, которые не расчленены, а слиты в сознании. Свойство вещи отождествляется с самой вещью и носит ее название. Общее и единичное также не различаются, одно равно другому, так что отдельное животное носит название животного вообще.

Противоположные понятия составляют по существу неразрывное единство и поэтому они также обозначаются одним наименованием: жизнь и смерть, добро и зло, свет и тьма называются одними и теми же словами.

Не только язык, но и мышление было первоначально неразрывно слито с трудовым процессом, с производством. Быть может, латинское *cogito* действительно указывает еще на это обстоятельство, ибо *cogito-coagito* значит совместно, коллективно работать, действовать вместе.² Пытались открыть первичную форму человеческой деятельности. Людвиг Нуаре полагает, что копание³ и было этой формой деятельности. Вряд ли можно ныне безошибочно определить, с чего человек начал свою трудовую жизнь. Но с чего бы

¹ «Мы нашли, — пишет он, — что то, что мы назвали указательными корнями или элементами, должно быть рассматриваемо, как остаток самого раннего или почти пантомимического фазиса языка, такого фазиса, в котором язык едва ли был тем, что мы считаем языком, а именно логосом, не собиранием, а только указанием. Каким образом некоторые из этих элементов с течением времени были ограничены известным значением, как, напр., здесь, там, он, ты, я и пр., мы не знаем» («Наука о мысли», стр. 179). В другом месте он пишет: «Наконец, между тем как другие предпочитают считать все указательные элементы за нечто вроде остатков первых корней, то я не вижу причины, отчего бы не принять их за настоящие остатки такого периода языка, когда пантомима, жесты, указывание пальцами на существующие вещи были необходимыми частями всякого разговора» (там же, стр. 423).

² См. Макс Мюллер. Наука о мысли, стр. 1.

³ L. Noiré. Das Werkzeug und seine Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Mainz, 1880, S. 18.

он ни начал, несомненно одно: рука была тем органом-орудием, при помощи которого он воздействовал на внешний мир и видоизменял его. С переходом человечества на искусственные орудия труда, возникает новая форма мышления, как и новый звуковой, членораздельный язык.

В триединстве субъекта труда, орудия труда и его предмета, или объекта, заложены в зародыше источник и возможность диалектического развития языка и мышления, как и всего процесса человеческой трудовой деятельности. Впервые создается возможность «опосредствованной» деятельности. Между субъектом и объектом помещается орудие труда в качестве промежуточного члена. Активная роль руки переходит к искусственному орудью, которое само составляет единство субъекта и объекта, их синтез, являясь частью субъекта и вместе с тем объектом. Орудие труда является творческим принципом, активным началом, объект же играет пассивную роль.

Эта производственная деятельность человека, отражаясь в его мышлении и в языке, дает возможность перейти постепенно и к опосредствованному мышлению (от чисто эмоционального, чувственного), при котором человек строит суждения и делает умозаключения. Недаром Ленин подчеркивает, что «в любом предложении можно и должно как в ячейке (клеточке) вскрыть зачатки всех элементов диалектики, показав таким образом, что всему познанию человека вообще свойственна диалектика».¹ Триединство субъекта, орудия труда и объекта (или природы) в процессе производства отражается в нашем мышлении и в языке, которые по своей внутренней структуре подобны или тождественны, по крайней мере, на начальных стадиях развития человеческого общества.

Людвиг Нуаре говорит в одном месте, что принципом происхождения разума является тот же самый принцип, который действует в области труда. Две основные функции — разложение и соединение, насильственное разделение, раздирание (рытье) и соединение, связывание (плетение) — эти две противоположные функции лежат в основе всей производственной деятельности первобытного человека. Человеческий разум поступает точно так же: он связывает различные вещи в единство, различая в нем это различие.²

¹ Ленинский сборник, XII, стр. 325.

² «Alle Begriffe des gewaltsamen Trennens, Zerreißens u. s. w. scheinen aus dem Graben alle Begriffe des Verbindens, Zusammenfügens u. s. w. aus dem Flechten hervorgewachsen zu sein. So zeigt sich auch hier bei dem Ursprung der Vernunft schon gleich ihr einziges und wahrhaftiges Prinzip wirksam: die Zwei zu der Eins verbunden und zugleich in der Eins unterscheidend» (L. Noiré. Das Werkzeug, 277).

Нуаре далее утверждает, что все наши нынешние понятия и представления группируются в нашем уме согласно этим двум основным воззрениям и могут быть сведены в последнем счете к сложению и вычитанию, к синтезу и анализу, т. е. к функции связывания и разделения (Treppen), как к последним и высшим категориям мышления. Согласно Энгельсу, мышление состоит в разложении объектов на их элементы и в соединении родственных между собою элементов в единство.¹ Таким образом, происхождение всех категорий мышления приходится искать не в самом мышлении, как это делают все философы-идеалисты, а в человеческой практике, в материальном производстве и производственных отношениях людей.² И вот, возвращаясь к Н. Я. Марру, мы должны установить, что его теория языка дает уже очень много для разрешения ряда важнейших философских проблем, для разрешения прежде всего основного вопроса о происхождении логических категорий, т. е. нашего мышления вообще. Сам Марр обычно воздерживается от широких философских выводов, которые напрашиваются сами собою из достигнутых им результатов в области языкознания. Но он превосходно отдаст себе отчет в их решающем для философии значении. Так он пишет: «Окончательное решение вообще философских проблем, состоятельное и в то же время возможно наглядное их решение в историческом и нераздельном с ним философском разрезе, если не достигается, то иллюстрируется наиболее четко на данных языка».³

IV.

Марр неопровержимо доказал, что язык есть форма мысли, а мысль — содержание языка, что они составляют единство двух различных, противоположных моментов, что, в сущности, изучать одно без другого невозможно, что они между собою неразрывно связаны. И подобно тому, как существуют различные стадии в истории развития языка, так принцип стадийности действителен и для мышления, так как оно как и язык является выражением общественных отношений, надстройкой над материальным базисом. Поэтому мы считаем, что изучение истории мысли, изуче-

¹ Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, 1928, стр. 36; Диалектика природы, 1929, стр. 40 («Уже разбивание ореха есть начало анализа» и пр.).

² «Что сказал бы старик Гегель, — пишет Маркс, — если бы узнал на том свете, что „общее“ (Allgemeine) означает у германцев и северян не что иное, как общинную землю (Gemeinland) а „частное“ (Sondre, Besondre) — не что иное, как выделившуюся из этой общинной земли частную собственность (Sondereigen)? тут логические категории — проклятие — прямо вытекают из ваших отношений» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, XXIV, стр. 34—35).

³ Н. Я. Марр. Сдвиги в технике языка и мышления. Труды ноябрьской Юбилейной сессии АН, стр. 525.

ние философии прежде всего может быть плодотворно лишь при учете ныне всех достижений нового учения о языке. При этом необходимо всегда помнить, что слово, как и понятие, имеют длинную историю, что на протяжении истории, в зависимости от изменения общественных отношений, в зависимости от сдвигов в материальном производстве происходят коренные сдвиги в языке и мышлении, совершается процесс превращения (метаморфоз) слов и понятий. Нужно особенно подчеркнуть открытый Марром в языке закон единства противоположностей, выражающийся в нераздельном, слитном существовании противоположных значений (стало быть, и понятий) в одном наименовании и в процессе дальнейшего расщепления, раздвоения, поляризации наименования и значений. Выше было уже указано, что свет и тьма, добро и зло, жизнь и смерть называются одними и теми же словами. Понятия вообще раскрывают свое содержание в процессе исторического развития и поэтому первая задача исследователя, ученого — это раскрыть ряд изменений, метаморфоз понятия и его первичный источник, его происхождение.

Марр довел наше знание языкотворчества, звукового языка до открытия первичных четырех элементов, которые оказываются в то же время и первыми четырьмя категориями мышления. «С завершением пятилетки, — пишет он, — совпало разъяснение четырех элементов — как категорий, но не логики формальной, а конкретной по языковому материалу мышления, мышления первобытного общества, с историей их становления, точнее созидания и осознания, первично в образном представлении о тотеме по производству до полноты четырех категорий, средств, необходимых для полноты мышления, именно мышления, отображающего первобытный коммунизм. С первобытным коммунизмом, естественно, связано диалектико-материалистическое мышление, разумеется, ступени его стадияльного развития, первобытной ступени. Все это языковыми данными иллюстрируется в историческом его развитии, захватывая собою и разрешая проблему возникновения субъекта и объекта, положения, что в начале субъект и объект представляли единство, а при расщеплении субъект выделился, сначала коллективный, из объекта. Это важнейшая часть всех достижений новой языковедной теории, с нею связано и практически, и теоретически имеющее громадное значение достижение — это то, что работа пошла не по исследованию языка и мышления, а по выработке техники языка и техники мышления».¹

¹ Н. Я. Марр. Сдвиги в технике языка и мышления, стр. 533.

Таким образом, мы в первобытном мышлении действительно имеем, с одной стороны, первобытный материализм, а, с другой, первобытную диалектику, т. е. первобытную ступень диалектико-материалистического мышления, отражающего первобытный коммунизм. Разрешение проблемы субъекта и объекта как двух противоположностей, выделяющихся из первичного единства, при расщеплении которого субъект выделяется из объекта, действительно имеет огромное теоретическое, философское значение,¹ прежде всего в том отношении, что такие открытия наносят последний, смертельный удар идеализму и служат для подкрепления и обоснования материализма, причем материализма диалектического.

Категории времени и пространства, являющиеся с точки зрения Канта и его последователей априорными формами созерцания, в свете нового учения о языке и мышлении получают также совершенно иное, новое обосно-

¹ Кстати, отметим, что многие упрочившиеся философские и научные понятия весьма недавнего происхождения. Достаточно сказать, что логические противоположности — субъект и объект введены в философию только Дунс Скотом, причем в смысле противоположном нынешнему: объект означал субъект, а под субъектом он понимал объект. И только со времени первой половины XVIII ст. субъект и объект поменялись местами и содержанием значения. Кантовская философия сыграла в этом отношении решающую роль. Историк логики Прантль указывает, что под субъективным понимали то, что относится к конкретным предметам мышления, т. е. к объектам, под объективным же понимали то, что относится к сфере представления. Начиная с Лейбница под субъектом стали понимать мыслящий дух (Leibniz. Subjectum ou l'âme même). И только Кант четко разграничил в интересах своей идеалистической философии эти понятия в том их значении, в каком они сохранились до настоящего времени (K. Prantl. Geschichte der Logik, Bd. III, 208. — R. Eucken. Geschichte der philosophischen Terminologie, SS. 185, 203—204). Чрезвычайно важно раскрыть те социальные условия, при которых происходят такие метаморфозы, как и зарождение новых понятий-слов. Возьмем такие понятия, как эволюция. У Николая Кузанского мы впервые встречаем противоположные понятия *complicatio* и *explicatio* (= закручивание и развертывание), развитие *explicatio* заменяется у него часто словами *evolutio* («Linea est puncti evolutio»). У Якова Беме термин этот передается словом «Auswicklung». Со второй половины XVIII ст. понятие эволюция, развития начинает применяться к реальному, материальному миру, в то время, как до того *explicatio*, *evolutio*, *Auswicklung*, *Entwicklung* применялись в области логического или математического доказательства определенных положений (R. Eucken. Geschichte der phil. Terminologie, SS. 82, 187 и др.). *Revolutio* в астрономии означает вращение небесного тела вокруг ли своей оси или вокруг другого тела, например движение или вращение земли вокруг солнца. Но революция означает и само время, в течение которого небесное тело совершает свой круговорот. «Революция» означала также определенный цикл или период времени — эпоху. «Революция», употребляясь в смысле оборота, приобрела также значение поворота, изменения, крупного изменения. В то же время *revolutio* = *re-evolutio* означала, в противоположность эволюции, как поступательного движения, попятное, обратное движение. И наконец, «революция» в общественной жизни стала употребляться в смысле переворота — насильственного или общественного строя классом, прежде угнетенным, в целях установления нового государственного и общественного порядка.

вание. Как все другие категории, так и время и пространство по своему происхождению восходят к человеческой практике, к условиям материального производства и производственных отношений. Время и место составляют первоначально два момента одного явления — пространства. Процесс развития приводит впоследствии к расщеплению их. «При учете, однако, мобильности или изменчивости всех трех элементов идеологического восприятия, — говорит Н. Я. Марр, — мы получаем протяжение, смену пространства с двумя моментами, уже выделенными, временем — длительностью и местом — пространством». Марр подчеркивает далее «неделимость воздействия двух моментов языка и мышления на материальный базис, именно времени-движения — динамики-действия, в схоластической грамматике глагола-действия, в синтаксисе, активных падежей и целевых частей сложного предложения, и места-пространства стоянки-опоры, в грамматике состояния, среднего глагола, в синтаксисе-пассивных падежей».¹

Какие же общепhilosophische выводы можем мы сделать из учения Марра о языке насчет времени и пространства? Происхождение этих представлений и понятий неразрывно связано сначала с материальным произ-

¹ Н. Я. Марр. Сдвиги в технике языка и мышления, стр. 526. Мимоходом заметим, что следы первоначального единства времени и места еще сохранились во многих языках, причем время, как длительность жизни человека, человеческого рода связывается с общим местом селения, со «стоянкой». Гейгер указывает на то, что древнееврейское существит. *dog* (поколение, род) имеет глагольную форму *dog* — иметь пребывание в определенном месте. Арабское 'amrūn 'umrūn означает 'жизнь', 'долгое время', 'долгий век', а 'umrān населенное место (см. L. Geiger. Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft, 1872, Bd. 2, SS. 149—150. Немецкое Welt, от Wēralт и англосаксонское weorold (world) составились из готского wair (человек) и alds поколение, возраст. Collitz считает, что лат. *a e s u l u m* происходит от *ksoitlom* или *kzaitlom*. Санскритское *ksetra* —, *kaiti* —, лат. *situs* — означает совокупность поселенцев и поколение, век (см. Reallexicon der Indogermanischen Altertumskunde von O. Schrader, 1929, B

В нем. яз. Stadt — город и Statt — место. На литовском языке *mijestas*, а на польском *miasto* означают 'город' (Geiger, там же, стр. 155). Можно еще указать на англ. *room*, означающий место, пространство и помещение, комнату. То же самое относится, и к немецкому Raum 'пространство', Räume 'помещения'. С другой стороны, лат. *templum* 'храм', 'дом божества' и *tempus* 'время' указывают на первоначальную связь и единство времени-места (см. Н. Я. Марр. К вопросу о происхождении арабских числительных. Зап. Колл. востоковедов, V, стр. 659). См. также Н. Usener. Götternamen, 1896, SS. 191—192, следующее место: «Die „Schneidung“ der Ostwestlinie (lat. *decumanus*) durch die Angellinie (*cardo*) ist für die arischen Völker Europas die Wurzel der Raumvorstellungen geworden: sie heisst gr. *τέμενος* und *τέμκος*, (erhalten plur. *τέμκος*), lat. *tempus* und *templum* und weitergebildet *tempestas*; oder Schneidepunkt lat. *discrimen*. Die Grundworte *τέμενος* (*tempus*), *templum* bedeuten nichts anderes als Schneidung, Kreuzung: zwei sich kreuzende Dachsparren oder Balken bilden noch im Mund der späteren Zimmerleute ein *templum*; in natürlichem Fortschritt hat sich daraus die Bedeutung des auf solche Weise getheilten Raums entwickelt, in *tempus* ist der Himmelsabschnitt (z. B. Osten) in die Tageszeit (z. B. Morgen) und dann allgemein in die Zeit übergegangen».

водством.¹ Вся деятельность людей связана теснейшим образом с определенным, конкретным местом, имеющим кстати свою качественную характеристику: Из конкретных, локальных различий только постепенно развивается отвлеченное понятие пространства. Необходимо в этой связи подчеркнуть, что все интеллектуальные, «духовные» — процессы и отношения выражаются словами пространственно-материальных значений. Слова, обозначающие пространственные понятия, служат для обозначения самого субъекта и отграничения его от других субъектов.² Наречия места: здесь, тут и там послужили основанием для трехчленной дифференциации лица: я, ты, он.³ Повидимому, наречия места — здесь, тут, там — принадлежат к более глубокому и древнему историческому периоду в развитии языка, когда они являлись «указательными элементами» ручной речи, из которой они и развились. Личные местоимения и возникли из этих указательных элементов, причем утверждение Н. Я. Марра, что множественность (мы) предшествует единичности (я и он), что единичность выделяется из своей противоположности-множественности, коллектива, не противоречит несколько тому, что личные местоимения произошли из «определений места». Совершенно справедливо указание Н. Я. Марра, что человечество начинает свою историю не с индивидуалистического восприятия мира, что долго не было личных местоимений, особенно первого лица, и что когда возникло местоимение и первого лица, то это было представление не об индивидуальности, единичном лице, а о коллективе, «мы» значило — мы — коллектив, впоследствии — мы — племя, и местоимение третьего лица — это было коллективное множественное лицо, социальная группировка, клан, племя.

Очень важным и существенным для языка и мышления мы считаем доказательство Н. Я. Марра, что местоимение возникло вместе с представлением о собственности. «Возникновение местоимений, — говорит Марр, —

¹ Грими (см. Deutsches Wörterbuch, Bd. VIII, 1893, SS. 275—283) указывает, что первоначальное значение слова Raum (пространство) = das freie Feld (открытое поле, поле жавшее возделыванию). В дальнейшем понятие Raum было перенесено на любовную стоянку или местопребывание, где производилась какая-либо деятельность. Впоследствии тем же словом Raum обозначали и время.

² «In fast allen Sprachen, — пишет Кассирер, — sind es die Raumdemonstrativa gewesen, die den Ausgangspunkt für die Bezeichnung der persönlichen Fürwörter gebildet haben» (E. Cassirer. Philosophie der symbolischen Formen, Bd. I, S. 164).

³ «Hier, — пишет Габелентц, — ist allemal, wo ich bin, und was hier ist, nenne ich dieses, im Gegensatz zu dem und jenem, was da oder dort ist. So erklärt sich der lateinische Gebrauch von hic, iste, ille — meus, tuus, ejus, so auch im Chinesischen das Zusammentreffen der Pronomina der zweiten Person mit Conjunctionen für örtliche und zeitliche Nähe und für Aehnlichkeit» (Gabelentz. Die Sprachwissenschaft, S. 230, f.; цит. по Кассиреру, указ. соч., т. I, стр. 165).

это поворотный пункт в истории развития языка, начало новой эры морфологической, сначала агглюгинативной, затем флективной на смену аморфной.¹ Раньше личных местоимений возникли притяжательные местоимения, или собственнические местоимения, указывающие принадлежность всему племенному коллективу, а они могли возникнуть лишь после возникновения осознанного представления о праве собственности.²

Из представления пространства выделилось представление времени, с его также трехчленным разделением: теперь, раньше и позже, соответствующим трем пространственным определениям. Сначала одни и те же слова употреблялись для обозначения пространства и времени: наречия места одинаково употреблялись и для обозначения времени: «здесь» и «теперь» выражались одним и тем же словом. Только впоследствии из пространственных определений возникают временные определения. Подобно тому, как в отношении пространства дифференциация между «здесь» и «там» происходит в результате осознания дистанции между двумя разделенными точками пространства, так и дифференциация различных моментов времени является результатом осознания различия между далеким и близким во времени.³

Мы видим еще здесь глубокую связь времени и пространства и происхождение первого от последнего. В основе обоих представлений лежит, разумеется, движение, изменение, выражающееся, прежде всего в деятельности человека в процессе производства, а позже это движение вместе с пространством-временем переносится на «небо» и связывается с космическими явлениями. День воспринимался сначала, как говорит Марр, не как длительность, а как противоположность ночи, как противоположность мраку.

В тесной генетической связи с развитием понятий времени и пространства стоит и категория каузальности. Восприятие каузальности, причины и следствия этой «опоры для логического мышления», возникло в процессе производства, в результате которого в сознании выделились орудие труда как действие, причина и объект как его следствие. И здесь мы имеем трехчленный ряд: субъект, объект и опосредствующее орудие труда.⁴

¹ Н. Я. Марр. Языкологическая теория. Баку, 1928, стр. 122.

² Н. Я. Марр. Значение и роль изучения национальностей в краеведении. Краеведение, т. IV, стр. 8

³ E. Cassirer. Philosophie der symbolischen Formen. Bd. I, S. 169.

⁴ Cp. L. Noiré. Das Werkzeug, S. 181. «Diese Erweiterung des Zwischenraums zwischen dem Bedürfnisse und der Befriedigung derselben durch bewusste, zweckvolle Thätigkeit findet also durch das Einschleichen immer zahlreicher und mannigfaltiger werdender Zwischenglieder statt, deren jedes zu dem folgenden im causalen Zusammenhange, d. h. äusserlich von Ursache und Wirkung, innerlich von Mittel und Zweck steht. Diese Mittelglieder waren nicht von jeher

Обычно разного рода исследователи склонны объяснить происхождение категории причинности из закономерной смены дня и ночи или из «свободной воли» человека, не говоря уже о тех философских концепциях, вроде кантовской, которая исходит из признания причинности априорной категорией рассудка. Все эти теории не выдерживают критики. «Благодаря деятельности человека создается представление о причинности, представление о том, что одно движение есть причина другого», пишет Энгельс.¹ В том же отрывке Энгельс подчеркивает, что «естествоиспытатели и философы до сих пор совершенно пренебрегали исследованием влияния деятельности человека на его мышление; они знают, с одной стороны, только природу, а с другой, только мысль. Но существеннейшей и первой основой человеческого мышления является как раз изменение природы человеком, а не одна природа как таковая, и разум человека развивался пропорционально тому, как он научился изменять природу».² Деятельность человека, добавляет Энгельс, дает возможность доказательства причинности. Стало быть, не только представление о причинности создается благодаря деятельности человека, но в ней коренится и возможность доказательства причинности, т. е. возможность того, что одно движение есть причина другого движения. Соотношение цели и средства есть лишь другая, субъективная сторона соотношения причины и действия. Между человеком и природой создается все более многообразный и многочисленный мир промежуточных членов в виде орудий и средств труда, находящихся во взаимной причинной связи между человеком и природой. Когда первобытный человек раскалывает найденный им орех камнем или рукой, то он получает наглядное представление о причине и действии, о взаимной связи этих трех членов — субъекта деятельности, орудия и объекта деятельности, а вместе с тем и о последовательности этих событий, изменений во времени: причина предшествует действию. Повторяемость этих актов деятельности впоследствии приводит человека к представлению о закономерной связи причины с действием вообще, к той мысли, что всякое изменение имеет свою причину, что в природе существует закономерность, т. е. определенные законы связи вещей и явлений.

Таким образом, применение уже самых примитивных орудий труда — и только благодаря этому применению и пользованию ими — порождает

im Besitze des Menschen, sie hatten einmal einen Anfang, einen ersten Keim, aus dem sich nachmals die ganze vielverzweigte menschliche Werkthätigkeit in ihren wunderbaren organischen Wechselwirkung entwickelte, und dieser erste Keim war — das Werkzeug» (Ibid., S. 33).

¹ Фр. Энгельс. Дialeктика природы, 1929, стр. 15.

² Фр. Энгельс. Дialeктика природы, стр. 16.

в человеческом сознании мысль о единстве трех членов связи; благодаря этому применению возникает категория причивности, являющаяся выражением деятельности человека, направленной на изменение природы.¹

Нерасчлененные вначале субъект-производитель и объект-продукция, говорит Н. Я. Марр, вместе с самим производством-действием (орудием), по осложнении общественности, когда нарастает потребность выразить специфическое действие в звуках, это действие благодаря развитой технике получает выражение в глаголе. «Выразителем действия служит соответственное орудие или соответственная материя в громадном большинстве первое орудие, т. е. рука».² «Нет глагола, который не происходил бы прямо или непосредственно от образа, для нас понятия, „рука“, т. е. нет глагола-действия, который не происходил бы от слова „рука“, орудия действия».³ Для разрешения вопроса о возникновении категории причинности эти соображения имеют огромное значение. Но для нашей задачи важно было восстановить связь восприятия причинности с орудиями труда, и, в особенности, с искусственными орудиями, при которых возникает, так сказать, рефлексия и при которых постепенно складывается новый тип мышления, а именно дискурсивное логическое мышление.

V

В связи со всем сказанным для марксистской теории познания приобретает особый интерес вопрос об отвлеченных понятиях. Новое учение о языке установило, что ручная речь есть по существу образная речь и соответственно образное, конкретное мышление. Вместе же с возникновением и развитием звуковой речи и искусственных орудий, развивается логическое или отвлеченное мышление. «В первичные эпохи жизни языка, — говорит Марр, — нет общих отвлеченных понятий, присущих общественному восприятию исторических времен». «У племен примитивов было всего на всего по одному слову, т. е. у племен в примитивной стадии их развития еще не было звуковой речи; люди говорили жестикующею и мимикою, воспринимая мир и всю окружающую их жизнь в образах и по средству образов и соответственно объясняясь друг с другом линейными движениями, симво-

¹ «Wenn das Werkzeug, — пишет Huape, — nur ein eingeschaltetes Causalglied (Medium) ist zwischen der subjectiven Orgau- und Willensthätigkeit und der äusseren objectiven und zweckmässigen Veränderung, so folgt bei dem gegenseitigen inneren Bedingtsein dieser beiden Factoren, dass dieselben bei dem Werkzeuge, als einer sichtbaren Einheit, in die Erscheinung treten und sich mithin zur Einheit des Gedankens verbinden» (Das Werkzeug, S. 249).

² Н. Я. Марр. К семантической палеонтологии в языках неафетических систем, 1931, стр. 49.

³ Н. Я. Марр. Чувашско-яфетиды, 1926, стр. 9.

лами тех же образов и форм. Когда же началась звуковая речь, слова служили символами-образами: первобытный доисторический человек представления имел образные, ассоциации у него были в образах, не в отвлеченных понятиях.¹

Звуковая речь началась сравнительно поздно, во всяком случае в связи с переходом человечества с естественных орудий производства на искусственные, **или** созданные и отработанные, после этого перехода».²

Возникновение общих отвлеченных понятий Н. Я. Марр связывает с эпохой возникновения звуковой речи и введения искусственных орудий труда. Только с этого времени совершается переход от образного мышления, конкретного, эмоционального к отвлеченному мышлению. Этот переход означает вместе с тем качественно новую ступень в развитии человеческого разума. Развитие способности человека к образованию абстракций, способности его к образованию отвлеченных понятий неразрывно связано с развитием орудий труда. Уже Нуаре выдвинул ту мысль, что орудие труда отличается характером «общей идеи», характером универсальности. Опираясь на высказанную Кантом в прагматической «Антропологии» мысль, что в форме и организации руки заложено специфическое отличие человека, как разумного животного, что рука приспособлена к различным и многообразным родам деятельности, Нуаре приходит к выводу, что рука приобрела в ходе развития и упражнения в различных родах деятельности характер универсальности, что рука в качестве орудия орудий (вспомним аристотелевское *ὄργανον τῶν ὄργανων*), в качестве всеобщего орудия, универсального орудия является тем источником, той основой, из которой произрастают абстрактные общие понятия. Но если рука в этом отношении является исходным пунктом развития, то при искусственных орудиях труда и при звуковой речи развитие отвлеченных понятий совершает свое победное шествие.³

¹ «Versucht man das primitive Denken kurz zu charakterisieren, so muss es als ein Denken gekennzeichnet werden, das sich vorwiegend an das Komplex der Erscheinungen hält, ohne diese zu zerlegen die Realität des Gedankens nicht von der des Objekts zu unterscheiden gelernt hat. . . Es ist konkret, aber nicht wirklichkeitstreu» (Max Ebert. Reallexicon der Vorgeschichte, Bd. X, S. 296).

² Н. Я. Марр. К происхождению языка. Сб. «По этапам развития языческой теории», стр. 271.

³ Нуаре по этому поводу пишет следующее: «... so musste einmal eine Zeit kommen, wo das Bedürfniss der Werkzeuge allgemein empfunden wurde, demnach das Schaffen der Werkzeuge eine allgemeine Angelegenheit wurde. Damals generalisierte sich als das Bedürfniss, das Werk, und ich habe triftige Gründe zu vermuthen, dass damals auch zuerst der Begriff des bestimmten Werkzeugs sich generalisierte. «So sehen wir, wie und unter welchen Bedingungen das höchste Wunder der Schöpfung, die allgemeinen Begriffe sich bildeten» (Das Werkzeug, S. 153).

Более глубокое и широкое обоснование этой мысли о возникновении общих понятий мы находим у Н. Я. Марра. Ручное мышление, говорит Н. Я. Марр, имело возможность в осознании окружающего мира использовать одну правую руку, как свой видимый центр мышления, располагая в области понятий, как способом их выявления, представлениями, а не понятиями. С переходом к искусственным орудиям труда и связанной с ними звуковой речи, человек получает впервые возможность мыслить отвлеченными понятиями. «Коллективность представлений, — пишет Н. Я. Марр, — в свою очередь служит отправным пунктом для скачка от материальной базы в надстроечный мир, ибо такой предмет, напр., как „топор“, находясь во владении всего производственного коллектива, первобытного общества, воспринимался двояко, — и как конкретный предмет „топор“ и как общее понятие „орудие“, и потому одно слово, сигнализовавшее его, обозначало и „топор“, и „орудие“, и в то же время, так как с эпох возникновения коллективного права в звуковом языке принадлежность „топора“ всему обществу выражалась постановкой выразителя его коллектива в целостности, т. е. тотема, то тот же звуковой комплекс, присоединявшийся к слову с начала или с конца для характеристики отношения предмета к обществу, его принадлежности коллективу и нахождения в общем пользовании его, переключался на характеристику самого предмета, и от такой придаточной части, присоединялась ли она спереди и становилась префиксом, присоединялась ли сзади и становилась суффиксом или окончанием, слово, сигнализовавшее предмет, получало все значения, присущие коллективу, именно собирательность (мн. ч.), общность (собирательное значение) и общее или отвлеченное значение».¹

Таким образом, Н. Я. Марр выясняет происхождение отвлеченных понятий на несравненно более широкой базе, с учетом изменений производственных отношений и всей структуры общества, но связывая их происхождение и соответственные изменения структуры самого языка с процессом перехода человека к искусственным орудиям труда. Орудие есть, с одной стороны, конкретная, единичная вещь; с другой стороны, это общий предмет, т. е. предмет, выполняющий множество различных функций.

Орудие выявляет в деятельности человека свой генерализирующий характер. На ранних ступенях развития один и тот же предмет «топор» раздваивается на конкретный топор и на общее понятие топор-орудие. Поэтому одно слово в соответствии с понятием обозначало

¹ Н. Я. Марр. Язык и мышление, стр. 27.

и «стопор» и «орудие». Помимо этой стороны дела Н. Я. Марр подчеркивает в этом вопросе еще взаимоотношение производственного коллектива и предмета («стопор»), находящегося во владении и в общем пользовании коллектива, принадлежность предмета всему обществу, коллективное право всего общества на данный предмет.

Отсюда «коллективность представлений», т. е. социальный характер всех наших представлений и понятий. «Нет ни одного представления, ни одного понятия, как нет ни одного слова, которое вошло бы в осознание на этапах возникновения, сложения и дальнейшего развития речи, не пройдя функции производственной значимости, какое бы, казалось, совершенно отвлеченное и общее первично магическое значение оно ни получало» (Марр). Стало быть, каждое представление и понятие, как и слово, выполняют функции производственной значимости и в осознании членов общества приобретает характер коллективного, социального мышления посредством коллективных представлений и понятий. «Мышление в первичном состоянии, — говорит Н. Я. Марр, — есть коллективное осознание коллективного производства с коллективным орудием и производственных отношений». Язык — коллективное выявление коллективного осознания в оформлении и объеме в зависимости от техники мышления и мировоззрения.¹

Если принять во внимание, что вопрос о происхождении понятий есть, один из важнейших вопросов философии, то станет ясным то огромное значение, которое приобретает для нас эта проблема. Ныне, благодаря новому учению о языке, мы с уверенностью можем констатировать, что отвлеченные понятия зародились на определенной ступени исторического развития в теснейшей генетической связи с искусственными орудиями и звуковым языком. Общие действия, производимые первобытным коллективом при коллективном орудии труда, постоянная повторяемость определенных действий и сознание повторяемых действий — привело человечество к отвлеченным понятиям. Но понятие не существует без названия, без имени; отсюда ясно, что понятия могли возникнуть и получить свое развитие благодаря новому языку, звуковому языку. Место «ручного мышления» заняло новое, языковое мышление, мышление не образами, а представлениями и отвлеченными понятиями. «Первый круг предметов, получивших звуковое наречение, это культовый, но хозяйственные предметы, напр., орудия земледельческого производства, сам хлеб, процесс пахания и т. п. ведь также явления культового порядка».

¹ Н. Я. Марр. Язык и мышление, стр. 45.

«Постепенность расширения круга использования элементов, звуковых комплексов, как слов, т. е. постепенное увеличение предметов, вовлекавшихся в круг представлений и понятий, обозначавшихся звуковыми словами, представляло трудное дело не одного роста, но и борьбы за позиции, прочно занятые уже кинетической речью за долгие эпохи ее господства».¹ Звуковая речь выделилась, когда недифференцированное человечество, в котором господствовала линейная речь, разбилось на производственно-социальные профессиональные группы. Звуковая речь возникла как язык одной профессиональной группы, в противоположность языку всего остального коллектива. Это была «первоначально логическая речь, подбор магических выражений трудового процесса, одновременно с частным изменчивым значением, зависимым от производства, с общим, сигнализирующим значением, зависимым от производства, и общим, сигнализирующим источником магии, неведомые силы природы, для нас естественно-производительные силы, для ветхого человечества, смотря по эпохам стадийного развития, идя вглубь — «бог», «тотем» и т. д.

Сам звуковой язык многие сотни веков, если не тысячелетия, имел функцию орудия производства согласно мировоззрению людей тех эпох, и в отличие от орудий из природного материала мы словесное или звуковое орудие вынуждены были назвать магией. В свете этих соображений становится более ясной роль магии, как части примитивной техники, где слово имеет функцию орудия производства, когда магическое мышление считает возможным воздействовать на трудовой процесс, на внешнюю природу при помощи слова.

Слово является частью действительности, самой вещью. «Нужда заставила человека искать возмещения своих физических недостатков в развитии способов труда, искусственных приемов и создании искусственных орудий, в развитии прежде всего концентрации сил, общности и организации коллективного труда, с чем органически связаны и усиление потребности в языке, неизбежная работа над его сознанием».² Надо иметь в виду, что на первых этапах язык — орудие производства и потому уже магическое средство. Звуковая речь возникает в процессе диалектического расхождения с кинетической речью, выделяясь из последней как ее противоположность, играя на первых порах подсобную роль, ограничивая свое использование кругом предметов и представлений магического порядка.

¹ Н. Я. Марр. Язическая теория, стр. 109.

² Н. Я. Марр. По этапам развития язической теории, стр. 320.

«Когда четыре звуковых комплекса (А, В, С, D), возникшие в труд-магическом процессе, став лингвистическими элементами, легли в основу вновь складывавшегося звукового общественного языка, то среда была уже социально-дифференцированная, и звуковая речь существовала классовая, являясь орудием классовой борьбы в руках господствующего слоя, как впоследствии письменность». Говоря о звуковой речи, как о «классовой», Н. Я. Марр имеет в виду, что первобытно-недифференцированная общественность, при ручной речи, теперь расслоилась на различные профессиональные группировки, как следствие разделения труда, без чего звуковая речь и, стало быть, новая форма мышления были бы невозможны.

Вокруг звуковой речи и новой формы мышления происходила борьба различных профессиональных групп. Как новое мышление, так и новый язык долго не являлись общим достоянием всего коллектива, а лишь достоянием высшей, господствующей группы. Эта разность среды сказывалась на непримиримых расхождениях и в восприятии предметов и самой техники такого восприятия. Между возникновением звуковой речи как культовой и превращением ее в обиходную как достояние всего коллектива лежит долгий период, период взаимной борьбы групп одной и той же общественности, тем более, что звуковая речь и новая форма мышления были неразрывно связаны с новой общественной формой, с иными орудиями производства и производственными отношениями.

Н. Я. Марр относит «классовую»¹ борьбу к самым отдаленным историческим временам. Но речь собственно должна идти не о классах, а о профессиональном расчленении общества на базе разделения труда. Появление звуковой речи и связанной с ней новой формы мышления (в отличие от ручного мышления) было революцией. «Громадно, — говорит он, — революционное значение замены „руки“ и „глаза“ аппаратом, целиком сосредоточенным в головной части тела, в непосредственной связи с мозгом,

¹ Любопытно, что Klasse, как указывает Grimm, означает первоначально Spalt, Riss, 'трещина', 'разрыв', 'расселина', 'разделение'. Слово класс употреблялось впоследствии также в смысле 'качества' (см. A new English Dictionary on Historical Principles, edited by James A. H. Murray, vol. II, p. 466). После того, как римский народ был разделен на пять классов (реформа, приписываемая Сервию Туллию), тот, кто принадлежал к высшему классу, воплощал в себе высшее качество, «классическое». «But he who was in the highest was said emphatically to be of the class, Classicus» (Murray). Отсюда «классический» в смысле высшего качества. В этой связи приведем цитату из Геллия. Он пишет: «Item ergo nunc et quando forte erit otium, quaerite, ad quadrigam' et „harenas“ dixerit e cohorte illa dumtaxat antiquiore vel oratorum aliquis vel poetarum, id est classicus adsiduosque aliquis scriptor, non proletarius» (A. Gellii Noctium Atticarum Libri XX; XIX, 8, 15, L., Teubner, 1903. Классическое противопоставлялось „пролетарскому“. Слово classicus, как поясняет Murray, означает high-class (высший класс), в противоположность «low-class» низшему классу римских

в его окружении с полостью рта и ушами. Действенности нового аппарата содействовало усиление общественной работы мозга от роста хозяйственной жизни и усложнения социальных взаимоотношений, вместе с тем расширение умозрительного кругозора коллективов, уже скрещенного племени. При таких данных использование технических и идеологических преимуществ звуковой речи представляло собою власть над тьмой и отчетливость в даче и восприятии материальных и надстроечных понятий, конкретных и отвлеченных представлений, образов и понятий, а в условиях общественной тех эпох, в зависимости от производственной среды возникновения звуковой речи и способа ее распространения, звуковой язык (и новое мышление. А. Д.) не мог не стать и орудием власти, как впоследствии письменность, литература и пресса».¹

Будучи частью, магической частью (или элементом) трудового процесса, звуковой язык был вначале чисто производственным языком социально дифференцирующейся общественности. Звуковой язык в связи с новыми искусственными орудиями труда и новой формой мышления, оперирующей не одними образами, а понятиями, знаменовал собою новую высшую ступень в развитии всей общественности. Отсюда становится ясной неизбежность борьбы производственно-социальной группировки, обладавшей новой техникой, с производственно-социальной группировкой старой техники.

Замена руки звуковыми символами, равно как и замена «ручного мышления» языковым, более абстрактным мышлением, генетически должна быть связана с новым видом труда, что является особой актуальной проблемой. «Без уточнения вида этого труда, — пишет Н. Я. Марр, — в общей форме можно и сейчас отстаивать положение, что возникновение самой членораздельной речи не могло произойти ранее

пролетариев. Таким образом, не вдаваясь здесь в дальнейшие рассуждения по этому вопросу, считаем только необходимым подчеркнуть, что в самом слове класс с самого начала содержалось понятие раскола, разрыва общества на враждебные части, причем «высший класс» приписывал себе высшее качество, все возможные добродетели, противопоставляя себя низшему классу, как выразителю высшего качества. Классический писатель это писатель высшего качества уже по тому одному, что он принадлежит к высшему классу. Таким образом, слово «классический» содержит в себе одновременно два смысла: высший класс, класс как таковой (the class), классовый и высшее качество, связанное с принадлежностью к высшему классу. Понятие классический в современном смысле вышло в обиход со времени Меланхтона. Что касается слова «пролетарий», то оно, как известно, происходит от proles 'потомство', 'дети', 'новое поколение'. На пролетариев возлагалась римским государством обязанность производить потомство, т. е. увеличивать население, необходимое для набора рекрутов.

¹ Н. Я. Марр. Языкогенетическая теория, стр. 97.

перехода человечества на производственный труд с помощью искусственно сделанных орудий. До замены ими руки в производстве материальной ценности совершенно немыслима замена руки в производстве духовной ценности, речи из членораздельных звуков».

«Звуковая речь не могла, следовательно, начаться раньше распространения навыка искусственной обработки хотя бы камня. Да и после изобретения соответственных орудий производства не сразу, а лишь в процессе развития древнейшей палеолитической индустрии, по достижении ею совершенных форм, в Ашельскую и ближайшую к ней эпоху, имеем мы основание поместить зачатки звуковой речи, т. е. зачатки ее в первые этапы развития совпадают со временем за сотню тысяч лет».¹

Если звуковой язык формируется мышлением, — а человек мыслил еще на стадии стадного общества, на грани с общественностью животных, когда он еще не творил вещей, а лишь использовал дары природы в готовых формах, — то, с другой стороны, язык, и в особенности звуковой язык, оказывал решающее влияние на развитие мышления, ибо только вместе со звуковым языком стало возможно отвлеченное мышление, мышление понятиями. «У доисторического человека, — говорит Н. Я. Марр, — сознание вытекало, возникало и двигалось вперед от восприятия природным инстинктом видимости предмета, видимости соотношений предметов, силой воображения и в образах раньше, чем в отвлеченных понятиях. «Доисторический язык — это особое лишь доисторическое общественное мышление, это доисторические верования и эпос, доисторическое художественное творчество, доисторические формы хозяйственной жизни и продукции».²

Специфический характер этой формы мышления состоял в отождествлении слова и вещи, в мифотворчестве, т. е. в творчестве со словом и сказаниях в образах, мифах. Только постепенно, в связи с развитием производства и производственных отношений, четко выделяются представления и отвлеченные понятия. Уже первые нерасчлененные звуковые комплексы обозначали не отдельные, единичные вещи, а определенные социальные категории, развившиеся впоследствии в грамматические и логические категории, отражавшие социальный строй. Новая техника и новые производственные отношения перестроили человеческое мышление. Переход от использования готовых даров природы на искусственные орудия труда породил новое мышление и перестроил самый строй речи. «Вместо словотворчества по увязке самих предметов

¹ Н. Я. Марр. По этапам развития фетической теории, стр. 327—328.

² Н. Я. Марр. По этапам развития фетической теории, стр. 193.

в представлении первобытного человека на очередь выступало словотворчество по техническому восприятию предмета или явления». При смене руки орудием, стали появляться надстроечные, вообще отвлеченные понятия; для обозначения их использовались слова материального значения.

VI

Н. Я. Марром созданы основные предпосылки не только для палеонтологии языка, но и для палеонтологии человеческого ума, человеческого мышления. Им впервые действительно вскрыты историко-материалистически на языковом материале земные корни таких фетишей, как бог, душа и пр. Ныне имеется возможность проследить по стадиям всю историю «бога», начиная от «доисторического» периода, когда подобного представления в человеческом уме вовсе не было, продолжая эпохой его рождения, когда «всякое племенное название восходит к наименованию первичной производственно-социальной группировки, ее же тотему, который затем становится предметом культа, определенной конкретной святыней или конкретным божеством, впоследствии общим понятием «бог», и кончая нашим временем, когда боги умирают вместе с капитализмом.

От ручного языка, языка жестов и мимики звуковая речь унаследовала все свои основные представления. Это сказалось и на том, как использовались слова в том или ином значении. И по возникновении звуковой речи рука, служившая в эпоху языка линией орудия общения, игравшая роль языка, отличая «человека» от «животного» и составляя сущность его, означала прежде всего «человеческий коллектив» и его «тотем», символ проявляемого им производства, впоследствии племенного «бога», и лишь в последующие эпохи рука стала обозначать индивидуально «человека» и «душу». Когда при изображении древних царей мы видим «руку» как символ «власти», это пережиток все еще той эпохи, когда «рука» означала «бога», являясь символом «права» и «власти», и потому при царях, притязавших на то, чтобы быть богом, сохраняла значение символа божественной силы. Изображения руки начинаются еще с палеонтологических эпох.¹

Рука в качестве первичного орудия производства даже при звуковой речи, когда она была заменена искусственным орудием производства, продолжала лежать как глубочайший пласт истории в основе всех первичных слов. Нет глагола, который не происходил бы прямо или посредственно

¹ Н. Я. Марр. Значение и роль изучения национализма в краеведении. Краеведение, т. IV, стр. 9.

от образа руки как орудия действия. Палеонтология речи вскрывает культовое значение руки как орудия производства. Одновременно производительные силы — сначала растительные, звериные, затем космические — стали производственными тотемами, уступившими место культовому тотему. Слово «бог» для исторических эпох означало «небо», но на более ранних ступенях хозяйства, в зависимости от различных его форм, оно означало и «орел», и «дуб», и «лес», и «камень», а первоначально руку. Что касается понятия «души», то оно также очень позднего происхождения. Душа и тело воспринимались диффузно, нерасчлененно и обозначались одним словом. Раздвоение одного и того же представления, или понятия, происходит уже на ступени аналитического мышления.

Как бог, так и душа являются отвлеченными понятиями, которые, как мы уже неоднократно говорили, возникли на высокой ступени развития искусственных орудий и всей материальной культуры. Процесс развития отвлеченных понятий представляет одну из чрезвычайно важных глав всей истории человеческой мысли. Чем более развивается материальная культура, производство и техника, а вместе с ними и производственные отношения и отношения классов, чем более нарастает в связи с этим «духовная» культура, тем более надстройка и идеология отрываются от базиса, от непосредственного материального производственного, тем более отрешенный от живой жизни характер принимают складывающиеся на материальном базисе мировоззрения, и тем более духовный мир противопоставляется миру материальному, как мир совершенно самостоятельный, приобретающий в сознании людей даже примат над материальным миром.

На этой основе происходит отделение умственного труда от труда физического. Этот переворот становится возможным благодаря новой форме мышления, благодаря прежде всего развившейся в высокой степени способности человека к абстракциям, к образованию отвлеченных понятий. Отвлеченные понятия делают возможным, с одной стороны, создание науки, более глубокого проникновения человеческого ума в строй природы и общества, но, с другой стороны, в них коренится и опасность отрешения, отрыва от реальной жизни, ибо они являются тем фундаментом, на котором создаются религиозные и всевозможные идеалистические системы, где отвлеченные, абстрактные понятия гипостазируются в качестве самостоятельных реальных сущностей: бог, дух, абсолютная идея, душа как субстанция и пр.

Узенер обращает внимание на тот факт, что у древних греков и римлян абстрактные понятия: *Σωφροσύνη*, *Δίκη*, *Φόβος*, даже *Δημοκρατία*,

virtus, fides, veritas, были возведены в ранг божеств,¹ что имена богов имеют своим источником отвлеченные понятия и что самый процесс создания человеком сначала мгновенных богов (Augenblickgötter, затем Sondergötter) и личных богов (persönliche Götter) и, наконец, абстрактных богов является выражением процесса образования и развития абстрактных понятий. В виду этого становится понятным, что абстрактное понятие, как таковое, обоготворялось в новейшее время, напр., у Гегеля, где само понятие является субстанцией мира.

Идеализм, вопреки мнению буржуазных философов, не родился вместе с человечеством, а является довольно поздним продуктом исторического развития. Энгельс утверждает, что античная философия представляла в начале первобытный, естественный материализм. «Как таковой, она не была способна выяснить отношение мысли к материи. Но необходимость выяснения этого вопроса привела к учению об отделимой от тела души, далее, к утверждению бессмертия души этой, и, наконец, — к монотеизму. Старый материализм был, таким образом, отрицаем идеализмом».² Идеалистическое миро-созерцание сложилось, по Энгельсу, к эпохе падения античного мира.³

Понятие идеи (как и другие понятия) пережило на протяжении истории ряд любопытных превращений. Отвлекаясь даже от палеонтологических изысканий и беря так наз. историческую эпоху, мы видим, что у Анаксагора, Демокрита и др. слово *idéa* означает образ, вид.⁴ У Платона она приобретает значение предвечной формы или совершенный прообраз класса вещей, несовершенными копиями которого (прообраза) являются отдельные вещи этого же класса. У Плотина и Филона, стало быть в эпоху падения античного мира, идея становится первичной духовной сущностью, имеющей своим источником божественный дух. Это значение термина идея сохраняла в течение всех «средних веков», т. е. вплоть до нового времени.⁵ У Локка идея означает просто представление. У Канта

¹ H. Usener. Götternamen, S. 369.

² Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, стр. 126.

³ Ф. Энгельс. Диалектика природы, стр. 69.

⁴ Греческое *idéiv* означает 'видеть'. «Идея» первоначально обозначала просто 'зрительный образ', т. е. имела чисто материалистическое значение. Зрительный образ со временем, в связи с развитием отвлеченного мышления, определенным развитием общественных отношений, постепенно превращается в чисто умственный образ, выражающий абстрактное и общее понятие. И чем дальше, тем все больше этот умпостигаемый образ отрывается от материальной основы и превращается в самостоятельную сущность, в отдельное существо. Расщепление, раздвоение познания, скажем, на вещь и идею вещи заключает в себе, как говорит Ленин, возможность идеализма. И эта возможность дана уже в первой, самой элементарной абстракции.

⁵ R. Eucken. Geschichte der philosophischen Terminologie, S. 198, ff.

она является необходимым понятием разума, которому в реальном мире ничто не соответствует. «Ideen sind a priori durch keine Vernunftgeschaffene Bilder» (Kant). Для Гегеля же идея есть абсолютная истина, единство понятия и его реальности.

Остановимся несколько на Канте. Разум, пишет он, сам создает себе объекты; поэтому каждое мыслящее существо имеет бога. Понятие бога — идеальное существо (ein ideales Wesen, was sich die Vernunft selbst schafft), которое разум себе сам создает. Бог есть лишь чисто мысленная сущность (ein Gedankenwesen), продукт человеческого разума, иначе говоря, чистейший вымысел, фикция. И если Кант все же утверждает, что такого рода идеи не являются пустыми понятиями, то только потому, что они имеют практическую, этическую (для господствующих классов, прибавим от себя) ценность. Но по существу, чисто теоретически, как заявляет сам Кант, идеи суть не что иное, как «Dichtungen der Vernunft», т. е. чистейшие вымыслы, фикции.¹

Ганс Файгингер, философ фикционализма, исходя от Канта, считает все идеи и все отвлеченные и общие понятия фикциями, т. е. вымышленными, вымышленными («als rein erfunden und erdichtet»), но имеющими практическую ценность.² Атом, напр., по мнению Файгингера, не реален, но в качестве фикции он имеет практическую ценность в области физики. То же самое относится и ко всем категориям мышления, являющимся чистыми фикциями. Номиналисты в средние века рассматривали все общие понятия как *fiktionem rationes*. Но отличие Файгингера от номиналистов состоит в том, что он считает эти фикции практически необходимыми для мышления. «Они логически полезны, говорит Файгингер, потому что они логически невозможны» (стр. 410).

Язык же является истинным хранителем и творцом фикций. Вместо того, чтобы иметь дело с вещами, мыслители и ученые спекулируют словами и понятиями. Вся формальная логика говорит Файгингер — система фикций, т. е. закономерных и целесообразных извращений действительности, ибо каждое общее или абстрактное понятие есть внутренне-противоречивое образование: они логически невозможные вымыслы (*Erdichtungen*), и в то же время необходимые и полезные вспомогательные средства мышления. Гегель поэтому прав в своей борьбе с формальной логикой и,

¹ Kant. Kritik der reinen Vernunft. Ср. также H. Vaihinger. Die Philosophie des Als Ob. 7 n. 8 Aufl., S. 729—730.

² См. особенно главы «Die abstrakten Begriffe als Fiktionen» и «Die Allgemeinbegriffe als Fiktionen», S. 383—412.

в особенности, с законом противоречия, но он де не понял другой стороны вопроса — полезного и целесообразного характера формальной логики.

Файгингер хочет вместе с водой выплеснуть из ванны ребенка. Нет никакого сомнения, как мы уже это подчеркнули, что слова, и, в особенности, слова, выражающие отвлеченные понятия, таят в себе большие опасности в смысле возможности пустой спекуляции. Схоластическое мышление является в этом отношении предостерегающим примером, хотя, с другой стороны, нужно понять, что оно являлось надстройкой над феодальным общественным строем. Оно являлось феодальным мышлением. При переходе к капитализму, когда нарождалась новая наука и философия, новая буржуазная форма мышления вела борьбу в течение продолжительного времени с феодальным мышлением, и с его терминологией, и с его логикой, и с его языком. Такая же борьба происходит в наше время и, в особенности, в нашей стране, в условиях социалистического строительства, с унаследованными от буржуазии формами мышления. Ведь над нами тяготеют старые понятия, окристаллизовавшиеся и застывшие в языке, прочно с ним сросшись. Язык и вместе с ним и старое мышление давят на нашу мысль и отчасти господствуют над нами.

Задача преодоления буржуазных пережитков в сознании, в результате их преодоления в экономике, теоретически теснейшим образом связана с научной критикой языка и мышления, возможной только с точки зрения исторического материализма. Поэтому достижения Н. Я. Марра в области языкознания имеют огромное непосредственное значение для социалистического строительства. И можно только пожалеть, что учение Н. Я. Марра до сих пор не нашло того признания, которого оно заслуживает. И тут над многими довлеют старые традиции, предрассудки, невозможность высвобождения из плена буржуазных идей и понятий.

Итак, без отвлеченных понятий нет науки и философии, а без развитого звукового языка нет отвлеченных понятий. Эта взаимная связь языка и мышления имеет решающее значение для них обоих. Но отвлеченные понятия в логике диалектического материализма имеют совершенно иную природу и выполняют иную функцию, чем в формальной логике. «История мысли с точки зрения развития и применения общих понятий и категорий логики — вот что нужно», пишет Ленин.¹ История же происхождения, развития и применения общих понятий невозможна без истории развития языка. Вместе с тем Лениным всегда подчеркивается «неразрывная связь всех понятий и суждений», переход их друг в друга

¹ Ленинский сборник, IX, стр. 183—185.

и тождество противоположностей. Формальная же логика разрывает связи, изолирует понятия и не видит этого единства противоположностей. «Мышление, — говорит Ленин, — восходя от конкретного к абстрактному, не отходит — если оно правильное — от истины, а подходит к ней. Абстракция материи, закона природы, абстракция стоимости и т. д., одним словом все научные (правильные, серьезные, не вздорные) абстракции отражают природу глубже, вернее, полнее. От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности».

Ленин высказывает чрезвычайно глубокую мысль о роли общих идей или понятий в истории человечества. Он пишет: «Идеализм первобытный: общее (понятие, идея) есть отдельное существо. Это кажется диким, чудовищно (вернее: ребячески) нелепым. Но разве не в том же роде (совершенно в том же роде) современный идеализм, Кант, Гегель и идея бога? Столы, стулья и идея стола и стула; мир и идея мира (бог); вещь и „нумен“, „вещь-в-себе“, связь земли и солнца, природы вообще и закон, логос, бог. Раздвоение познания человека и возможность идеализма (= религии) даны уже в первой, элементарной абстракции („дом вообще“ и отдельные дома).

«Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка (понятия) с нее не есть простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, включающий в себя возможность отлета фантазии от жизни; мало того: возможность превращения (и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения) абстрактного понятия, идеи в фантазию (в последнем счете бога). Ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее („стол“ вообще) есть известный кусочек фантазии (наоборот: нелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке: ср. Писарева о мечте полезной, как толчке к работе, и о мечтательности пустой».¹

Итак, Ленин показывает, что первобытный идеализм превращает идею, понятие, в отдельное существо. К этому в значительной степени сводится всякий идеализм, в том числе и идеализм Канта и Гегеля. Здесь же надо искать и источник возникновения идеи бога, стало быть, всякой религии вообще. В первой, элементарной абстракции, как говорит Ленин, уже содержится возможность религии и идеализма, возможность отлета фантазии от жизни, от реальности. Единство противоположностей, со-

¹ Ленинский сборник, XII, стр. 337—338.

держащееся в абстракции, объединяет фантазию и реальность, идею и жизнь.

Раздвоение познания на реальные, единичные, материальные предметы и на всеобщее, на идеи или понятия включает в себе возможность превращения идеи, понятия в фантазию, в конечном счете — в бога, ибо уже в самом простом обобщении имеется известный кусочек фантазии. Первобытное сознание действительно обожествляет всякое абстрактное понятие, начиная с самого названия племени. Но точно так же поступает и современный идеализм, как, напр., Гегель, который обожествляет идею, понятие как таковое. Раздвоение нашего познания на действительный мир и идею мира ведет у идеалистов, как и у первобытных людей, к отрыву идеи от действительности, абстракции от единичных, конкретных предметов и к возведению этой абстракции в бога или в самостоятельную сущность, стоящую якобы над миром.

Ленин в другом месте подчеркивает еще одну очень важную мысль: это связь и соотношение на различных исторических ступенях развития науки и мифологии. У первобытных людей мифология преобладает или поглощает зачатки научного мышления. В современном мышлении наука преобладает над мифологией, но оно не свободно от нее совершенно. Только последовательный материализм очищает науку от последних остатков мифологии.

В свете этих ленинских положений становится понятным, насколько велика заслуга Н. Я. Марра, исследования которого дают возможность добраться до той исторической ступени в развитии человечества, когда начали складываться в уме человека первые абстракции, и выяснить переход от единичных предметов к отвлеченным понятиям, ибо только с этого момента открывается новая эпоха, начинают складываться первые зачатки науки.

В этой связи нельзя пройти мимо еще одной крайне важной мысли Ленина. Это связь абстрактных понятий с познанием закономерности мира. «Образование абстрактных понятий и операций с ними, — пишет Ленин, — уже включают в себе представление, убеждение, сознание закономерности объективной связи мира. Выделять каузальность из этой связи нелепо».¹ Уже самое простое обобщение, разъясняет Ленин далее, первое и простейшее образование понятий (суждений, заключений...) означает познание человеком все более и более глубокой объективной связи мира.

¹ Ленинский сборник, IX, стр. 197.

Таким образом, возникновение идеи причинности теснейшим образом связано с возникновением и дальнейшим развитием абстрактных понятий.

Но каким образом образуются отвлеченные понятия и создаются фигуры логики? В процессе человеческой практики. «Практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании человека фигурами логики», — пишет Ленин. — «Фигуры эти имеют прочность предрассудка, аксиоматический характер именно (и только) в силу этого миллиардного повторения».¹

Общие понятия возникают из общей коллективной деятельности людей. Как общее орудие, так и объект общего труда (яма, пещера и пр.) являются первыми общими понятиями. При этом следует особо подчеркнуть, что понятие, как это уже было указано Нуаре, с самого начала содержит в себе противоположности. «Никогда еще, — говорит Нуаре, — не возникало понятия в языке, которое одновременно не носило бы в себе свою противоположность и которое не породило бы ее уже одним своим возникновением».² В самом деле, понятие внутреннего одновременно рождается с понятием внешнего, понятие правого с понятием левого, понятие света с понятием тьмы, понятие покоя с понятием движения и т. д. Это вполне естественно, если вспомнить, что уяснить себе определенное понятие мы можем через его противоположность, без ясного представления о которой данное понятие остается для нас «непонятым».

Н. Я. Марр убедительно доказал и развил этот весьма важный тезис. Одно и то же слово употребляется вначале для обозначения противоположных вещей, понятий и явлений и только в процессе развития это единое слово поляризуется, выделяя различные слова для обозначения противоположных «полюсов», понятий. Возьмем такие понятия, как тело и душа. Вначале было диффузное представление, не расчленившее еще явлений телесных и духовных. В абхазском и армянском языках, как доказал Марр, одно и то же слово служило для обозначения души и тела.³

Только отвлеченные понятия сделали возможным логическое мышление, а вместе с ним возможным и предвидение будущего. Что касается времени возникновения отвлеченных понятий, то Н. Я. Марр

¹ Ленинский сборник, IX, стр. 267.

² Ludwig Noiré, Logos, 1885, S. 301. Хотя Нуаре имеет в области языкознания большие заслуги, тем не менее надо помнить, что он был кантианцем и в качестве кантианца стоял на почве априоризма времени, пространства и причинности. Словом, Нуаре был идеалистом, а не материалистом, как об этом пишут иногда у нас.

³ Н. Я. Марр. Стадия мышления при возникновении глагола «быть», стр. 73—74.

См. в честь Н. Я. Марра.

относит его к эпохе космического мировоззрения и связывает его с изобретением водяной мельницы. «Только с установлением космического, в первую очередь, астрального мировоззрения с главенством одного из пары великих светил, раньше „Луны“, затем „Солнца“, получается возможность созидания отвлеченных понятий... С ним же связано и представление о непрерывности движения времени безотносительно к ночи и дню, к зиме и лету и трудовому процессу материального производства, как обходившегося без активного участия людского коллектива как трудовой силы. В материальном базисе предпосылкой является мельница (водяная мельница в первую очередь), чему, однако, предшествует искусственное непрерывное использование водяной силы накачиванием текучей жидкости, без колеса, жолобом и рычажно оборудованным *regretium mobile*, где рычаг сменил „руку“ (кстати и русский „рычаг“ / ruč-a — g потому носит название „руки“, основу его „уменьшительной“ разновидности ruč-ka) для дробления-молочения ударами использовавшихся вместо хлебных злаков древесных плодов, как-то: „желудей“, „буковых шишек“ и т. п.»¹

Нам кажется, что возникновение отвлеченных понятий следует отнести к более раннему периоду. Первое орудие, сменившее руку, будь то топор, молот или соха, уже явилось предметом отвлеченного понятия (равно как и общий продукт коллективной деятельности). История образования отвлеченных понятий представляет собою длительный процесс, различные стадии которого подлежат еще изучению в связи с различными степенями развития общественных отношений. Прежде чем образовать, напр., родовое понятие дерева, понятие дерева как такового, человек предварительно прошел через видовые образования (яблоня, грушевое, вишневое дерево и т. п.).² Полное развитие отвлеченных понятий, повидимому, связано с периодом образования дифференцированных орудий труда.

Маркс в полемике с Ад. Вагнером подчеркивает, что люди не начинают с теоретического отношения к предметам внешнего мира, а с практического отношения к ним. Они начинают с того, что едят и пьют, т. е. с активного действия, при помощи которого овладевают известными предметами внешнего мира и удовлетворяют свои потребности. Люди начинают, словом, с производства.

¹ Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры, 1933, стр. 74—75.

² Проф. Гребнер пишет следующее: «Alte, besonders natürlich die primitiven Sprachen, sind konkret. Dem Wortschatze nach enthalten sie etwa reiche Benennungen für die verschiedenen Formen, besonders Gebrauchsformen derselben Pflanzengattung, oder ihrer Teile, wie des Jam, der Kokosnuss u. s. w. die einfachsten Abstraktionen, Worte für Tier, Pflanze im allgemeinen fehlen» (Das Weltbild der Primitiven, 1924, стр. 72).

«Благодаря „повторению этого процесса способность этих предметов „удовлетворять потребности“ людей запечатлевается в их мозгу, люди и звери научаются и „теоретически“ отличать внешние предметы, служащие удовлетворению их потребностей, от всех других предметов.

«На известном уровне дальнейшего развития, после того как умножались и дальше развивались потребности и виды деятельности, которыми они удовлетворяются, люди дают отдельные названия целым классам этих предметов (разрядка моя. А. Д.), которые они уже отличали на опыте от остального внешнего мира. Это необходимо наступает, так как в процессе производства, т. е. в процессе присвоения этих предметов, люди постоянно находятся в трудовой связи (werktätiger Umgang) друг с другом и с этими предметами и вскоре начинают также борьбу с другими людьми из-за этих предметов, но это словесное наименование лишь выражает в виде представления то, что повторяющаяся действительность превратила в опыт (разрядка моя. А. Д.), а именно: что людям, уже живущим в определенной общественной связи (а такое предположение вытекает необходимо из наличия речи), определенные внешние предметы служат для удовлетворения их потребностей. Люди дают этим предметам особое. (родовое) название лишь потому, что им уже известна способность этих предметов служить удовлетворению их потребностей и что они стараются при помощи более или менее часто повторяющейся деятельности овладеть ими и сохранить их в своем владении; они, возможно, называют эти предметы „благами“, или как-нибудь иначе, что обозначает, что они на практике употребляют эти продукты, что последние им полезны; они приписывают предмету характер полезности, как будто присущий самому предмету, хотя овца вряд ли сочла бы „полезным“ свойством тот факт, что она годится в пищу человека.

«Итак, люди начинали фактически с того, что присваивали себе предметы внешнего мира как средства для удовлетворения их собственных потребностей и т. д. и т. д., впоследствии они пришли к тому, что словесно начали называть их средствами удовлетворения их потребностей, — каковыми они уже были в практическом опыте, — предметами, которые их „удовлетворяют“. Если назвать то обстоятельство, что люди не только на практике относятся к подобным предметам как к средствам удовлетворения их потребностей, но также в представлении и в словесном выражении характеризуют их как предметы, „удовлетворяющие“ их потребности, а тем самым и их самих (пока потребность человека не удовлетворена, он находится в состоянии недовольства своими по-

требностями, а следовательно и самим собой), — если „в соответствии с немецким словоупотреблением“, сказать, что это значит „придавать стоимость“ предметам, то мы доказали, что общее понятие „стоимость“ (разрядка моя. А. Д.) проистекает из отношения людей к предметам внешнего мира, удовлетворяющим их потребности, что, следовательно, это и есть родовое понятие „стоимости“ и что все другие виды стоимости, например, химическая валентность (Wert) элементов, представляют лишь разновидность этого понятия».¹

В этом отрывке Маркс выясняет с материалистической точки зрения условия возникновения и развития языка и мышления, в особенности же родовых или отвлеченных понятий, а равно и соответствующих им словесных выражений (названий). Соображения Маркса имеют огромную ценность и для понимания его теории познания вообще.

Маркс прежде всего исходит, в противоположность идеалистам, из того факта, что практика предшествует теории, что люди начинают с практического, активно-производственного отношения к внешнему миру. Теоретическое отношение есть производное, вторичное явление, порожаемое практической деятельностью людей. Поскольку люди в этой своей деятельности имеют дело с определенными предметами внешнего мира, то они прежде всего и «воспринимаются» ими, т. е. делаются предметами их мысли, запечатлеваются — вследствие повторения процесса деятельности — в их мозгу. Эти именно предметы выделяются из всей совокупности окружающего мира; люди теоретически отличают эти привычные им предметы от всех других предметов. Вначале, как известно, люди мыслят конкретно, они дают каждому предмету особое название. Для каждого действия, в зависимости от предмета, на которое действие направлено, употребляется особый глагол. Напр., у гренландцев нет общего слова «удить рыбу», а для каждого вида рыбы употребляется в этом случае особый глагол.² По мере того, как процесс деятельности повторяется, по мере того, как предметы внешнего мира и различные виды деятельности осваиваются людьми, они дают отдельные, т. е. общие на-

¹ Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, кн. V, стр. 387—388.

² «Die Grönländer, — sagt Cranz, — drücken z. B. das Wort „fischen“ bei jeder Gattung von Fischen mit einem eigenen Verbum aus. Der allgemeine Begriff „Fischen“ ist also noch nicht gebildet. Ebenso gibt es in der Aymarásprache zwölf Worte für „Tragen“, je nachdem man grosse oder kleine, schwerere oder leichtere Sachen, Tiere oder Menschen trägt, und in papuanischen Sprachen finden wir besondere Ausdrücke für „nach Westen, Osten, Süden, Norden gehen“ in Bantusprachen sogar ein besonderes Wort für „durch eine von Hitze wild zerrissene Ebene hüpfend gehen“ (Theodor-Wilhelm Danzel. Kultur und Religion des primitiven Menschen. 1924, S. 21).

звания целым классам предметов (напр., животное, охватывающее в виде общего понятия все виды животных) или общим формам деятельности («судить рыбу» вообще). Теоретическое различие предметов и форм деятельности следует за практическим опытом. Таким образом слово или словесное наименование, как говорит Маркс, лишь выражает в виде представления то, что повторяющаяся деятельность превратила в опыт. Маркс устанавливает поэтому следующий ряд: практический опыт — представление — словесное выражение, связывая эти три момента в одно целое. Отвлеченные понятия, как мы видим, возникают на довольно поздней ступени развития и в результате повторяемости действия.

VII

Язык в качестве исторического источника имеет неопенимое значение. Язык отражает в себе все этапы и изменения, происходящие на протяжении истории. Вместе с изменением общественных отношений изменяется и язык. «Изменения в укладе жизни людей, — пишет Лафарг, — как, например, переход от сельской жизни к городской, а также политические события, кладут свой отпечаток на язык. Народы, у которых политические и социальные сдвиги быстро следуют друг за другом, видоизменяют быстро свой язык; наоборот, у народов, не имеющих истории, язык становится неподвижным».¹

Анализ различных терминов дает возможность восстановить историческое их происхождение, а равно и древние общественные формы, в условиях которых они возникли, и все последующие этапы их развития как результат развития общественных отношений. Буржуазные ученые, склонные рассматривать существующий общественный и государственный строй как вечную и неизменную форму, переносят современное содержание слов на все времена, используют язык как средство для доказательства вечности и неизменности существующих общественных отношений. В этих целях и самый язык, естественно, рассматривается как нечто застывшее, неизменное, как нечто, данное человеку «от природы» и не подчиненное законам исторического развития. А между тем язык есть идеологическая область, весьма подвижная и изменчивая. Он изменяется вместе с развитием всей совокупности общественных отношений. Революция в области социальной и политической сопровождается обычно революционными изменениями и в области языка и мышления. Поскольку каждому общественному

¹ П. Лафарг. Сочинения, т. III, изд. 1931 г., стр. 212.

классу свойственна особая идеология, особое мировоззрение, эти последние естественно требуют для оформления новых понятий и идей нового языка.

Обновление нашего русского языка после Октябрьской революции и возрождение множества национальных языков в результате нашей национальной политики свидетельствует лишний раз о творческой роли подлинной народной революции и в области языка. Язык есть не только орудие разрушения, но и орудие строительства новой жизни. Уже Ленин указывал на то, что русское слово «советы» стало международным термином, одним своим названием дающим рабочим целую программу. То же самое относится и к слову «пятилетка». Не только в пределах СССР, но и во всем мире после нашей революции в обиход вошло много новых слов. Посмотрите, говорит Ленин, как распространяются во всем мире наши уродливые слова, вроде слова «большевизм».

После Великой французской революции на смену аристократическому языку пришел язык буржуазии. У нас после Октябрьской революции аристократически-буржуазный язык сменился в основном пролетарским языком, языком трудящихся масс. К сожалению, это обстоятельство еще мало осмыслено. В классовом обществе существует столько же языков (диалектов), сколько в нем существует классов. Энгельс в своей книге «Положение рабочего класса в Англии» по этому поводу писал следующее: «Буржуазия (английская. А. Д.) имеет со всеми другими нациями земли больше родственного, чем с рабочими, с которыми она живет бок-о-бок. Рабочие говорят на другом диалекте, имеют другие идеи и представления, другие нравы и нравственные принципы, другую религию и политику, чем буржуазия».¹ В бесклассовом обществе нет классовых языков. Мы находимся на пути создания первого бесклассового языка. Однако, национальные языки еще долго будут держаться. «Может показаться странным, — говорит тов. Сталин, — что мы сторонники слияния в будущем национальных культур в одну общую (и по форме и по содержанию) культуру, с одним общим языком, являемся вместе с тем сторонниками расцвета национальных культур, в данный момент, в период диктатуры пролетариата. Но в этом нет ничего странного. Надо дать национальным культурам развиваться и развернуться, выявить все свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в одну общую культуру с одним общим языком. Расцвет национальных по форме и социалистических по содержанию культур в условиях диктатуры пролетариата в одной стране для слияния их в одну общую социалистическую (и по форме и по содержанию) культуру с одним общим

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том III, стр. 415.

языком, когда пролетариат победит во всем мире и социализм войдет в быт, — в этом именно и состоит диалектичность ленинской постановки вопроса о национальной культуре».¹

Н. Я. Марр заложил прочные основы диалектики языка, стало быть, и диалектики исторического процесса развития мышления, необычайно раздвинув рамки истории, открыв возможность научного разрешения важнейшего вопроса о происхождении человека, его языка, его ума, его мышления, в связи с развитием соответственных форм социальной организации. Н. Я. Марру удалось при помощи великого учения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина разрушить теорию о национальных и расовых замкнутых мирах — теорию, являвшуюся и являющуюся идеологическим орудием порабощения народов.

Все народы земли оказались ввергнутыми в бурный поток истории, где они были расплавлены в огне единого исторического процесса, занимая в нем по своей культуре, в зависимости от развития производственных отношений, определенные исторические ступени, но не отличаясь никакими особыми, природными преимуществами. Н. Я. Марр необычайно углубил изучение языков, а с ними и культур как в смысле интенсивном, так и экстенсивном, охватывая все языки всех времен и народов мира. С другой стороны теория Марра по самому существу своему носит характер универсальный и синтетический, ибо она требует объединения целого ряда ныне разрозненных научных дисциплин.

Огромное теоретическое и практическое значение имеет выяснение Н. Я. Марром вопроса о связи различных систем языков — аморфной (синтетической), агглютинативной и флективной — с определенными формами производства и производственных отношений, идеологическими, надстроечными отражениями которых они являются. То же самое относится и к различным системам мышления, которые также находятся в неразрывной связи как с общественными формами, так и с определенными системами языков.

«Смены мышления, — говорит Н. Я. Марр, — это три системы построения звуковой речи, по совокупности вытекающие из различных систем хозяйства и им отвечающих социальных структур: 1) первобытного коммунизма, со строем речи синтетическим, с полисемантизмом слов, без различия основного и функционального значения; 2) общественной структуры, основанной на выделении различных видов хозяйства с общественным разделением труда, т. е. с разделением общества по профессиям, расслоения единого общества на производственно-технические группы, представляю-

¹ И. Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 9-е, дополненное, 1933 г., стр. 566.

щие первобытную форму цехов, когда им сопутствует строй речи, выделяющий части речи, а во фразе различные предложения, в предложениях — различные его части и т. п., и другие с различными функциональными словами, впоследствии превращающиеся в морфологические элементы, с различием в словах основных значений и с нарастанием в них рядом с основным функционального смысла; 3) сословного или классового общества, с техническим разделением труда с морфологиею флективного порядка».¹

Н. Я. Марр не считает эту классификацию и периодизацию окончательной. Она, может быть, даже слишком схематична, в особенности в применении к вопросу о системах. Марр исходит из трех основных систем мышления: синтетической, при которой господствуют коллективные представления и которая наглядно увязана корнями с материальной базой, отличаясь, по преимуществу, образностью, малой абстрактностью, конкретностью, представляя собою как бы первобытную ступень диалектико-материалистического мышления, соответствующего первобытному коммунизму.

Синтетический строй мышления в результате коренных сдвигов в технике и производственных отношениях, с переходом человечества на искусственные орудия и по возникновении собственности, уступает свое место аналитическому мышлению, формально логическому, при котором происходит расщепление целостности на части, целых образов на частные, расщепление тотема на две пары противоположностей коллективного субъекта, смену коллективных тотемов в общественности, на множество и единство (в грамматике единственное и множественное число), и субъекта единичного, смену частного субъекта с возникновением частной собственности и возникновением независимых от среды частных и представлений и понятий, с корнями в производстве высокой техники;² эта вторая стадия мышления характеризуется аналитическим восприятием мира, возникновением в технику его построения и утратой чувства целого. Формально-логическое, аналитическое мышление есть классовое мышление, соответствующее классовому строю социальной организации.

На смену формально-логическому мышлению и создавшему ему классовому обществу приходит диалектико-материалистическое мышление пролетариата.

«У диалектико-материалистического мышления нет смены, но нет и замыкания, в нем неисчерпанные возможности сдвигов вширь и вглубь, пространство и время; диалектико-материалистическое мышление переросло

¹ Н. Я. Марр. Актуальные проблемы и очередные задачи языческой теории, стр. 23—24.

² Н. Я. Марр. Язык и современность, стр. 15.

линейную речь, с трудом умецается в звуковую и, перерастая звуковую, готовится к лентке, созиданию на конечных достижениях ручного и звукового языка нового и единого языка, где высшая красота сольется с высшим развитием ума». ¹ Это будет иметь место «в коммунистическом бесклассовом обществе».

«Мышление и техника и подчиняют всю вселенную беспрекословно человечеству, как единственному разумеющему хозяину, вышедшему из производственного труда, им пересозданному из животного в человека, и в осознанном слиянии с ним имеющему взломать новыми знаниями замыкания во времени и пространстве и творить бесконечно и беспредельно». ²

Таковы величественные перспективы, открываемые перед нашим чувственным взором выдающимся революционером-мыслителем Н. Я. Марром, разрушителем глубоко укоренившихся предрассудков в области языковедения и мышления, и творцом новой науки, заказанной пролетариатом и служащей мощным орудием в борьбе за бесклассовое коммунистическое общество.

¹ Н. Я. Марр. Язык и мышление, стр. 44—45.

² Н. Я. Марр. Язык и мышление, стр. 63.

The first part of the book is devoted to a general introduction to the subject of the history of the United States. The author discusses the various factors which have influenced the development of the country, and the role of the individual states in the formation of the national government. He also touches upon the economic and social conditions of the early years of the Republic.

The second part of the book is a detailed account of the American Revolution. The author describes the causes of the war, the military campaigns, and the final victory of the Continental Army. He also discusses the significance of the Revolution in the history of the United States.

The third part of the book is a study of the early years of the Republic. The author discusses the formation of the Constitution, the early years of the administration of George Washington, and the development of the federal government. He also touches upon the economic and social conditions of the time.

The fourth part of the book is a study of the expansion of the United States. The author discusses the westward movement of the population, the acquisition of new territories, and the role of the federal government in the process. He also touches upon the economic and social conditions of the time.

The fifth part of the book is a study of the American Civil War. The author discusses the causes of the war, the military campaigns, and the final victory of the Union. He also discusses the significance of the Civil War in the history of the United States.

The sixth part of the book is a study of the Reconstruction period. The author discusses the efforts to rebuild the South, the role of the federal government, and the economic and social conditions of the time. He also touches upon the role of the individual states in the process.

The seventh part of the book is a study of the Gilded Age. The author discusses the economic and social conditions of the time, the role of the federal government, and the efforts to reform the government. He also touches upon the role of the individual states in the process.

The eighth part of the book is a study of the Progressive Era. The author discusses the economic and social conditions of the time, the role of the federal government, and the efforts to reform the government. He also touches upon the role of the individual states in the process.

The ninth part of the book is a study of the World War I period. The author discusses the causes of the war, the military campaigns, and the final victory of the United States. He also discusses the significance of the war in the history of the United States.

The tenth part of the book is a study of the interwar period. The author discusses the economic and social conditions of the time, the role of the federal government, and the efforts to reform the government. He also touches upon the role of the individual states in the process.

The eleventh part of the book is a study of the World War II period. The author discusses the causes of the war, the military campaigns, and the final victory of the United States. He also discusses the significance of the war in the history of the United States.

The twelfth part of the book is a study of the postwar period. The author discusses the economic and social conditions of the time, the role of the federal government, and the efforts to reform the government. He also touches upon the role of the individual states in the process.

Н. С. ДЕРЖАВИН

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА РУССКОЙ РЕЧИ

Первые исследования в области развития речи у ребенка возникли на почве изучения развития «душевных способностей» человека: к исследованию ребенка обратились потому, что этот объект в своем развитии рассматривался как норма развития человека вообще. Основание изучению ребенка в этом смысле было положено немецким ученым Дитрихом Тидеманом (Dietrich Tiedemann), напечатавшим в 1787 г. сочинение под заглавием: «Наблюдения над развитием душевных способностей у детей» (Beobachtungen über die Entwicklung d. Seelenfähigkeit bei Kindern), в котором он поделился своими наблюдениями над развитием своего сына, известного впоследствии немецкого биолога, Фридриха Тидемана. Однако, более широкое и углубленное изучение «душевных способностей» ребенка начинается только с середины XIX в. в тесной связи с общими успехами естествознания и широкою постановкою проблемы о «развитии». У немцев эти изучения открываются работами венского врача I. E. Löbisch: «История развития души ребенка» (Entwicklungsgeschichte der Seele des Kindes, 1851) и Berthold Sigismund. «Дитя и мир» (Kind und Welt); у французов — трудами Ипполита Тэна (De l'acquisition du langage chez les enfants et dans l'espèce humaine, 1876. — О возникновении языка у детей и в человеческом роде) и Emile Egger (Observations et réflexions sur le développement de l'intelligence et du langage chez les enfants, 1879 — Наблюдения и мысли о развитии разума и языка у детей); у англичан — трудами Дарвина (1877 и др.).

Классическим трудом, открывшим собою новый и блестящий период в изучении детской «души», был, однако, знаменитый труд немецкого профессора, физиолога Вильгельма Прейера «Душа ребенка» (Die Seele des Kindes, 1882); с этого труда в Германии начинается огромное движение в области изучения детской «психики»; такую же роль в Америке одновременно сыграли труды профессора психологии и педагогики в Вортчестерском университете, G. Stanley Hall.

На почве этих трудов в Европе и Америке выросла огромная литература, посвященная изучению ребенка и его развития, причем развитию языка ребенка в ней уделяется существенное внимание ввиду того, что язык рассматривается здесь обычно как важнейшее орудие мысли или «мыслящего духа» и наиболее верное зеркало души ребенка (G. Lindner. *Aus dem Naturgarten der Kindersprache*, 1898). Вместе с тем, изучение детского языка некоторыми исследователями ставится в связь и с разрешением проблемы происхождения языка (James Sully. *Studies of childhood*, London, 1903; Fritz Schultze. *Die Sprache des Kindes*, 1886, и др.); работы обращают большое внимание на развитие и рост словарного багажа ребенка, не без основания усматривая в этом процессе показание развития психики ребенка, ее состояние в известном возрасте, а также и общелингвистического его развития. Так ставят проблему изучения языка ребенка, напр., Clara u. William Stern в своем известном труде «*Die Kindersprache. Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung*». Leipzig, 1907. Они следят за ростом и развитием словарного запаса ребенка, наблюдают относительный рост слов различных грамматических категорий в их процентном отношении к общему словарному запасу, усматривая в этом показание роста в сознании ребенка известных логических категорий. Так же точно подходят к этой проблеме Ernst Meumann (*Die Entstehung der ersten Wortbedeutungen beim Kinde*. II Aufl., Leipzig, 1908), и чех František Čadd (*Studium řeči dětské, II Vyvoj dětske zasoby slovní*. Praha, 1908) и болгарин, проф. Ив. А. Георгов в своем капитальном труде *Словниятъ имотъ въ дѣтския говоръ*. София, 1910—1911 гг. В последнем труде мы имеем огромнейшую, исчерпывающую библиографию вопроса,¹ а также и собственную работу исследователя в этой области, проделанную им с исключительной тщательностью над двумя своими детьми. Однако, несмотря на наличие огромной литературы и целого ряда тонких наблюдений в области развития и роста словаря у детей, автору не удалось прийти к каким-либо положительным результатам, ввиду все еще недостаточного материала и отсутствия единства метода в наблюдениях (т. II, стр. 302).

В другом своем труде, посвященном тому же вопросу, говоря о значении детской лингвистики для общего языковедения (*Значение на*

¹ См. также Wilhelm Ament. *Die Entwicklung von Sprechen u. Denken beim Kinde*. Leipzig, 1899, стр. 7—28 (*Geschichte d. Forschung u. Litteratur*); из последних работ подробный библиографический обзор изучения ребенка дает проф. Мэтир. *Поведение ребенка*, русск. изд., М. 1926, гл. I, стр. 9—31, 47 и сл.; указатель доведен здесь до 1916 г. См. также Н. Румянцев. *Педагогя, ее возникновение, развитие и отношение к педагогике*. СПб., 1910.

дѣтската лингвистика. С., 1913), проф. Георгов приводит огромный материал из языков всего земного шара для слов-названий отца и матери, т. е. лиц, ближайшим образом стоящих к ребенку, и приходит к заключению, что эти названия обязаны своим происхождением детскому языку, чем и объясняет он полное звуковое совпадение их почти у всех известных нам народов мира, каковая точка зрения впервые была высказана еще в середине XVIII ст. знаменитым ученым и путешественником Ch. M. de la Condamine в его сочинении «Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique meridional»; затем в 1853 г. эта же точка зрения была высказана немецким ученым J. C. E. Buschmann'ом (Über den Natural. Berlin); на ней стоял в 1870 г. Дж. Либбок «The origin of civilisation and the primitive condition of man» (русск. пер. «Начало цивилизации и первобытное состояние человека», изд. 2-е, СПб., 1896, стр. 282—296); ее же мы находим у автора «Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache» W. Prellwitz'a (1882); совершенно определенно в пользу этой точки зрения в 1889 г. высказался Дельбрюк (Die indogermanischen Verwandtschaftsnamen. Ein Beitrag zur vergleichenden Alterthumskunde) в 1896 г. — P. Kretschmer (Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache) и W. Wundt (Völkerpsychologie, I Bd. Sprache) в 1900 г. и др.

К числу таких же слов по происхождению, т. е. слов, вошедших в языковую обиход из детского языка, проф. Георгов относит слова для обозначения: едения, сосания, рта и т. п., а также термины личных местоимений 1-го и 2-го лица (Значение на дѣтската лингвистика. С. 1913, стр. 61—62).

Небезынтересно отметить, что F. de Saussure призвал полную несостоятельность попыток индо-европейской лингвистики дать этимологическое объяснение таких терминов родства, как 'отец', 'мать' и пр. За исключением только одного слова 'сын' (sūnus), объясняемого им из корня, имеющего значение 'рождать', 'производить на свет' (см. A. Giraud-Teulon. Les origines du mariage et de la famille, 1884, Appendice C, 494).

Однако, для правильного понимания вещей следует иметь в виду, что язык-речь есть прежде всего явление социальное, и при том социальное не только в том смысле, что он есть продукт общественности, вне образования которой не мыслимо было бы и возникновение языка, но также и в том смысле, что он отражает в себе самую общественность: в категориях языка преломляется самый строй первобытной общественности. Тем более это надо иметь в виду, когда мы говорим о терминах родства. В первобыт-

ной общественности социальные взаимоотношения мыслятся не по линии кровного родства и физической связи, но по линии, прежде всего, хозяйственно-племенных, впоследствии — сословных и классовых отношений. Так, напр., известным др.-инд. *duhitar*, лит. *duktė*, арм. *dustər*, слав. дъшти, русск. 'дочь' соответствует в кавказском арчинском языке *doš-dur*, означающее 'дочь' и 'сестра', в основе которого *doš* вскрывается племенное имя *гош* || *гуш*, т. е. этруск, сохранившееся в своем чистом виде в кавказском рутульском *гэш* | *гуш* 'дочь'; что касается второй части того же слова — *dur*, то она восходит к племенному имени *салов* или *италов* и в форме *-tur* присутствует в арчинском *eyt-tur* 'мать', *ab-tur* 'отец', чуваш. *pul-dəg* 'брат жены' — «шурин» (см. Н. Я. Марр. Доклады Акад. Наук, 1925, стр. 46); в форме — *sur* то же племенное имя выступает в мегрельском *o-sur-i* 'женщина', 'жена', в груз. *a-sul-i* 'дочка', в чанском *o-sur-e* 'девушка', далее: мегрельское *osurisqua* 'дочь' буквально значит: 'женщина-сын' или 'женщина-дитя'; этруск. *tusurđig* или *tusurđi*, 'девушка', 'дочь' по своему образованию совершенно совпадает с названным мегрельским: *tusur* ← **tosur* ← **dosur* || *osur* + *đig* 'дитя' (см. Н. Я. Марр. Доклады Акад. Наук, 1924, стр. 113).

В албанском языке мы имеем одно и то же слово, в двух звуковых вариациях, для терминов 'сын' и 'дочь': *bir* и *bil'ε*; однокоренные с ними латинские *filius* 'сын' и *filia* 'дочь' восходят к племенному имени *ибер* и известны на Кавказе в чанском языке в значении 'сын' (см. Н. Я. Марр, ЯС, I, стр. 62).

Правда, говорит акад. Н. Я. Марр, для понятий 'брат' и 'кровь' у яфетидов было одно слово; правда, для понятий 'три' и 'небо' у яфетидов — одно слово, но ни представления о 'брате' в яфетических языках не давалось из материального восприятия 'брата', общности его «крови» с «кровью» брата, ни представления о числе 'три' не получалось от фигуры материального восприятия *голова* — *горы* — *неба*. Между тем, не только 'три', но и 'брат' в яфетических языках, действительно, представляет одно слово с термином, означающим понятие 'небо', однако, 'небо' с учетом представления доисторического человечества о «небесах», как о живых существах трех плоскостей — 'верхней' (нашей 'небесной'), 'нижней' или 'средней' (нашей 'земной') и 'преисподней' или 'глубинной' ('водной'). Эти три живые существа космической общественности, три мира образов, без изъятия проходящие через всю подоснову словотворчества яфетидов, явились наиболее конкретным для доисторического человека образом, дающим представление о числе 'три', они же легли и в основу определения общественного

значения того, что мы называем «братом», собственно вначале всегда «трех братьев», как это мы шаблонно встречаем и в сказках... (ЯС, III, 1925, стр. 26).

Исходя из этих данных, вскрываемых новейшими достижениями в области яфетического языкознания и палеонтологии речи, мы должны отказаться от попыток искать в детском языке и в наблюдениях над фактами его звукового и лексического развития разрешения сложной проблемы происхождения и развития человеческого языка вообще, и должны ограничиться более скромными, чисто педологическими и педагогическими задачами. Наблюдения над детскою речью и ее развитием для нас ценны исключительно с точки зрения интересов правильной установки методов воспитания речи ребенка — и только, а поскольку развитие речи теснейшим образом связано с развитием функциональной деятельности мозга, уже этого вполне достаточно для того, чтобы изучение детской речи и ее развития заслуживало самого серьезного внимания исследователей-специалистов.

Первою русскою работою, посвященною интересующему нас вопросу, была статья Я. Симоновича «О детском языке», напечатанная в журн. «Мысль» за 1880 г. (май) и вышедшая затем в 1884 г. отдельно вторым изданием (СПб.) под заглавием «Сравнение периодов индивидуального развития ребенка с эпохами человечества, № 2. О детском языке». За исключением тенденции видеть в развитии ребенка репродукцию вкратце развития человечества, в остальном, надо признать, автор совершенно правильно подходит к проблеме изучения детского языка. Первым же специальным исследованием в этой области была статья проф. И. А. Сикорского, «О развитии речи у детей», напечатанная первоначально в «Ежедн. клинич. газ.», изд. Боткиным, в 1881 г., перепечатанная затем на французском яз. в журнале «Archives de Neurologie», red. par Charcot, t. VI, 1883 и вошедшая в 1899 г. в кн. 2-ую собр. соч. проф. Сикорского (Киев, стр. 135—168). Автору были известны труды его предшественников — Сигизмунда, Дарвина, Фирордта, Прейера, Кусмауля, Тэна, Лёбиша, Шульце, а также психологические сочинения Вундта и Штриккера, и Штейнталя — по языкознанию, содержащие в себе некоторые данные по вопросу о детской речи (см. стр. 8).

Подводя итог их достижениям, проф. Сикорский пишет:

«У перечисленных авторов мы встречаем следующую программу исследований вопроса: 1) время появления речи, 2) характер и значение первых звуков, произносимых и усваиваемых ребенком, 3) последовательность в развитии звуковой гаммы. Главнейшие данные, добытые по этой

программе, состоят в следующем. Уже очень рано, а именно — во вторую, или даже в первую четверть года после рождения — в голосе ребенка более или менее ясно чувствуется оттенок того или другого гласного звука, как выражение некоторого самочувствия; так, напр., голос с оттенком *э* обозначает неудовольствие, с оттенком *а* — удовольствие. Но, кроме того, в голосе ребенка более или менее ясно чувствуются оттенки звуков *е* и *и*. Из согласных звуков первым возникает звук *м*, потом мгновенный звук *б*, затем постепенно появляются другие губные и язычные звуки. На 3—4 месяце впервые замечается характеристическое комбинирование звуков в форме слогов, вроде: *мам*, *амм*, *пья*, *тль* и т. п. Эти звуки не имеют пока решительно никакого символического значения, никаких соотношений к идеям, тем не менее, ребенок часто и с большим удовольствием произносит их, исключительно ради акустического эффекта, который, видимо, очень приятен ему. К концу первого года в процессе издавания звуков становится очевидной намеренность, и с этого момента обучение фонетике речи становится весьма деятельным. Ребенок довольно быстро научается произносить некоторые простейшие слова. Несмотря на быстрый успех, ему, в сущности, предстоит впереди большие трудности. Хотя до известной степени он уже овладел подражательной речью, но количество звуков, которыми он располагает, еще довольно ограничено, а приобретение новых идет медленно шаг за шагом. Первые слова ребенка обильны гласными, из согласных сначала появляются губные, потом язычные и позже всех — гортанные звуки. Впрочем, эту последовательность далеко нельзя назвать всеобщим правилом. Пока не развились звуки известной категории — положим, гортанные — ребенок заменяет их в словах другими; напр., вместо: *Карл* — говорит *Тарл*; *вм.* кушать — *тусать*. Последовательность в развитии звуковой гаммы тщательнее всех была изучена Шульце (*Die Sprache des Kindes*. Leipzig, 1880). Этот автор даже гласные звуки распределяет в известный ряд, по трудности их для ребенка; но другие исследователи (Прейер, Фирордт) держатся мнения, что все гласные звуки с одинаковой легкостью даются ребенку. Согласные звуки Шульце распределяет в следующую таблицу по порядку их явления в речи ребенка, или, что то же, по относительной их трудности:

	Мгновенные	Отзвуки	Придувные	Дрожащие
Зубные	<i>п, б</i>	<i>м</i>	<i>ф, в</i>	<i>р</i> зубн.
Язычные	<i>т, д</i>	<i>н</i>	<i>л, с, ш</i>	<i>р</i> языкн.
Гортанные . . .	<i>х, г</i>	<i>к</i> горт.	<i>х, й</i>	<i>р</i> горт.

В двух верхних горизонтальных рядах трудность звуков увеличивается слева направо, в нижнем — наоборот; если же рассматривать вертикальные

ряды, то трудность возрастает сверху вниз. «Эту Шульцеву схему, — замечает проф. Сикорский, — можно признать правильной, с чем согласен и такой наблюдатель, как Фирордт».

Следуя программе исследования названных выше авторов, проф. Сикорский в собственных своих наблюдениях обращает внимание, главным образом, на историю развития речи и на механизм возникновения и усложнения звуковых комбинаций, т. е. на образование слогов и слов речи. При собирании материала автор, по его показаниям, пользовался следующими правилами: 1) записывал отдельно речь каждого ребенка; 2) продолжал записи понескольку месяцев; 3) сличал последовательные звуковые редакции, которые ребенок дает одним и тем же словам в различные эпохи своего детского говора.

Выводы проф. Сикорского из его наблюдений следующие:

«Прежде всего детская речь не содержит в себе многосложных слов, а состоит, большею частью, из односложных или двусложных комбинаций. Обыкновенно дети избирают какой-либо слог слова, и он служит для них представителем целого слова; напр., один мальчик называл молоко — *ко*, моя девочка выражала это понятие звуком — *мо*; тот же мальчик вместо: *прощайте* говорил: *тате*; одна девочка называла сапоги — *поки*, чулки — *ки*, принеси — *си*...

Вторую особенность детской речи составляет элементарная структура слогов. Детский язык не выдерживает в слоге двух или трех согласных рядом, а допускает только один согласный звук с гласной или даже один гласный звук в качестве представителя целого слога, из скольких бы звуков он в действительности ни состоял; напр., мальчик, о котором была речь, говорил: *тол* вместо стол, *тах* вм. трах; одна девочка из Воспитательного дома говорила: *пэка*, *күку* вм. печка, куклу...

Дальнейшую особенность детского лепета составляет неясность и неотчетливость отдельных звуков в смысле специализированного говора взрослых... Неустойчивость и неясность выражается и в том, что гласные *о* и *у* так мало дифференцированы в известных словах, что трудно сказать, который из них говорит ребенок. То же должно сказать об *е* и *и*. Кроме того, в детской речи часто встречаются укороченные (?) гласные: Согласные также отличаются неопределенностью и неотчетливостью; напр., детское *ч* и *и* звучит то ближе к *т*, то ближе к *ц* в слове *хочет*; *с* часто есть среднее между *ш* и *с* подобно английскому шепелеватому *th*.

Но более всего характерна всеобщая мягкость детских консонантов, особенно язычных; ребенок говорит, напр., скорее: *дадут чаю*, чем — дадут чаю. Этот признак — весьма важный в теоретическом отношении — составляет выдающееся и резкое явление.

Одну из самых характеристических особенностей детской речи составляет замена одних звуков другими; напр., моя девочка говорила вм. крестик — *тестик*, вместо стакан — *какан*, вместо бросить — *досить*, вм. взгляни-ка — *тнника*, вместо хочу — *тосю*. Это свойство детской речи осталось наименее исследованным; гораздо более обратило на себя внимание почти всех наблюдателей удвоение или, правильнее сказать, повторение звуков. Общеизвестным, элементарным примером этого явления могут служить звуки *мама* и *папа*, свойственные многим языкам; дети вообще часто пользуются удвоениями; напр., говорят: *нюню* вместо одну, *тнтити* вм. кирпичи.

Наконец, одну из редких особенностей детской речи представляет перемещение слогов слова; напр., ребенок говорит: *балёвышек* вместо валобышек (воробышек); *галавит* вместо гавалит (говорит)» (стр. 139 и сл.).

Таковы, по Сикорскому, существенные отличия с внешней стороны детской речи от речи взрослого.

Физиологическое исследование этих особенностей приводит автора, прежде всего, к установлению двух отдельных типов детской речи: звуковой и слоговой. Первый тип тщательно изучает звуки слова и с большою внимательностью и метко схватывает и запоминает один или несколько звуков слова, которые и служат для него представителями целого, иногда длинного слова: *мо* или *моко* вм. молоко; *си* вместо принеси и т. п. Другой тип схватывает, главным образом, слоговую состав слова, мало обращая внимания на ознакомление со звуками; поэтому произносимые этим типом слова большею частью весьма точно отвечают по количеству слогов своему оригиналу в языке взрослых, но по составу звуков чрезвычайно от него отличаются, вроде, напр.: *какой киску*, т. е. *закрой крышку*; *нанандк* — огонек, *нандик* — фонарик; *тнтити* вм. кирпичи и т. п.

Таким образом, по наблюдениям проф. Сикорского, дети в области языка-речи уже очень рано специализируются: одни по преимуществу изучают звуки, другие — слоговую структуру слов. Первые — постепенно обогащаются звуками, прилагают старание к изучению их; недоступные для них звуки они заменяют другими, уже усвоенными, и эта замена, по крайней мере в известном периоде, представляет постоян-

ные отношения, которые легко предусмотреть, ознакомившись с речью ребенка; так, напр., один ребенок вместо *ш* систематически употребляет *т* и говорит: *туба*, *мама́та* вместо *шуба*, *мамаша*; другой звук *ш* систематически заменяет знакомым ему уже звуком *сь* и говорит: *сьоба*, *ка́сей* вместо *шуба*, *кашель* и т. п.

Дети, следующие слоговому или метрическому пути, одни звуки заменяют другими безразлично, сосредоточивая свое внимание главным образом на сохранении надлежащей длины слова и общего очертания слогового состава; вопрос же о звуках, которыми наполняется слог, отступает на второй план, подобно тому, как при пении мотива употребляют безразлично артикуляторные аксессуары — вроде: тра-ля-ля и т. п. У этих, именно, детей проф. Сикорский чаще всего встречается: 1) удвоения или конгломерации тождественных слогов — самый элементарный путь для заполнения определенного слогового скелета артикуляторными звуками; 2) употребление различных звукосочетаний для одного и того же слова; напр. отрицание *не* заменяется повторением первого слога последующего за ним слова: *бубуду* значит — не буду; *кукусяя* — не кушала; *одцит* — не хочет; 3) совершенно произвольные звукосочетания, сохраняющие количественно звуковой состав слова и его ударение, вроде, напр.: *титити* — бисквиты, и то же звукосочетание, но с иным ударением — *титити́* — кирпичи (стр. 143 и сл.).

В общем, наблюдения проф. Сикорского над развитием речи ребенка приводят его к заключению, что ребенок для своего обихода останавливается на весьма немногих звуках и комбинациях и самым простым образом сочиняет довольно удачные имитации действительным словам, причем дети звукового типа никогда не обнаруживают того произвола в употреблении звуков, какой мы постоянно встречаем при слоговом направлении, а в трудных для них случаях они или целиком опускают слоги или оставляют в них одни гласные звуки, отчего у них гораздо чаще встречаются однозвучные слоги; у детей слогового типа гласные звуки почти никогда не остаются однокими, и слоги у них всегда заполняются согласными, хотя бы эти последние несколько не соответствовали надлежащим, действительным звукам слова (стр. 145).

Общий процесс развития речи ребенка проф. Сикорский представляет следующим образом.

Раньше всего (с самого момента рождения) у ребенка начинается деятельность голосового аппарата, ребенок появляется на свет с голосом,

который с этого момента становится одним из самых важных выразительных (эмоциональных) проявлений ребенка.

Весьма скоро после этого начинают выявляться первые проблески деятельности артикуляционного аппарата: приятное расположение духа у ребенка выражается голосом, оформляющимся в звук, который приближается к *a*, дурное расположение выражается звуком *e*;¹ кроме того, около этого же времени слышатся и другие гласные звуки в более или менее ясной форме, потом вскоре согласные звуки *m* и *b* и, наконец, другие губные, причем гласные звуки отличаются гораздо большею резкостью и силой, а согласные — тихи и мало отчетливы. Это объясняется тем, что координация между гортанным аппаратом и дыхательным уже вполне созрела к моменту рождения, но между дыхательным и артикуляционным она еще далеко не установилась, и в первые месяцы жизни является в зачаточной форме. Более окрепшей она становится к третьей четверти года.

С 3—4 месяца жизни ребенка впервые в его языке появляются слоги — то в виде двузвуковых сочетаний (гласный с согласным), то в виде одного гласного звука. В силу того, что координация между дыхательным и артикуляционным аппаратом у ребенка в первые месяцы и даже годы еще слаба, слогопроизнесение ребенка на первых порах отличается упрощенностью, так как слог, по своей физиологической природе, представляет собою ряд артикуляционных модификаций или изменений органов речи, производимых говорящими при одной экспирации, т. е. при одном напоре выдыхания. Этим и объясняется то, что ребенок избегает двусогласных слогов, что в смежных слогах он повторяет те же звуки, или сходные, или близкие им, превращая стрекозу в *аказу*, коробок в *бобобок*, огонек в *нананок* и т. п.; в частности, последние два примера указывают на силу впечатляемости конечных ударенных слогов и на слабую развитость у ребенка акустической памяти.

Параллельно с этим у ребенка постепенно развивается и крепнет артикулирование отдельных звуков, которые из лепетных, представляющих собою вначале только подобия звукам взрослых («звуки раннего периода»), постепенно эволюционируя, переходят чрез ряд промежуточных форм в настоящие артикуляционно оформленные звуки.

К «звукам раннего периода» относятся все гласные, а также согласные, приближающиеся в акустическом отношении к звукам: *м, б, н, ф, т*.

¹ Необходимо при этом иметь в виду, что различение этих звуков ни в какой зависимости, конечно, не стоит от «настроения» ребенка или его «расположения духа», но обуславливается исключительно разницей конституций мускульной системы в том и другом случае. Н. Д.

и, л, к: некоторые же другие звуки абсолютно недоступны в это время ребенку, напр., звуки: *ш, ж, р*, отчасти *з* и *л*. Более позднее появление в речи ребенка звуков *ш, ж, р* в сравнении с губными, зубными и гортанными объясняется проф. Сикорским большою сложностью сочетаний различных артикуляционных движений, потребных для их произнесения. Ранее возникновение в языке ребенка губных объясняется определенностью места их образования и развитием осязательной чувствительности губ, вытекающей из практики сосательных движений. На это было обращено внимание уже в 1880 г. Шульце (*Die Sprache des Kindes*), на этой же точке зрения стоит и Сикорский.

Фонетика раннего периода языкового развития ребенка носит вообще индивидуальный характер. Так, напр., из язычных звуков одни дети отстаиваются преимущественно на *т*, другие на *с*, третьи — на *н* и употребляют, каждый, этот звук во всех случаях, где надлежит быть любому зубному: *вм.* дай одни говорят — *тлй*, другие — *нлй*, третьи — *злй* или *слй* (не *зейот* *вм.* не дает).

Наблюдения над дальнейшим развитием звуков позволяют исследователю установить различные физиологические пути: из *с* в *сьюби* постепенно, через ряд переходных форм, возникает *з'* (*зюби*), откуда, с утратою мягкости, возникает наконец *з* (зубы); в другом случае из первоначального *уби* через поднятие кончика языка к твердому небу возникало постепенно *юби* (*ю* = немецк. *й*); затем *йюби*, откуда — *ж'юби* — *жзуби* — *зубы*; в третьем случае — *спдвга* или *спдвуа* с момента участия в артикулировании языка превращается в *спайа*, откуда затем — *спала*.

В развитии речи проф. Сикорский различает два периода: в первом периоде происходит развитие подражательной речи (*Echosprache*). Таким путем, по Сикорскому, возникают сначала отдельные звуки, а с 3—4 месяцев появляются и группы звуков в форме причудливых слоговых комбинаций; далее этого дело не идет обыкновенно.

На втором году жизни зарождающаяся сознательность ребенка и первые зачатки его волевых движений начинают видимо направляться и на систему подражательной речи. Таким путем возникает преднамеренная комбинация звуков. Первые шаги, которые делаются в этом направлении, дают речевые продукты более несовершенные, чем те, образцы которых давала подражательная речь первого периода. Все наблюдатели заметили, говорит проф. Сикорский, что звуки и звуковые комбинации, которые хорошо удавались в пору подражательной речи, теперь весьма часто не даются ребенку и требуют больших усилий

и долгого упражнения, прежде чем будут вновь приобретены им. Этот факт, по мнению проф. Сикорского, без сомнения, объясняется тем, что в это время импульсы к сложным речевым движениям исходят из другого источника, из других кортикальных центров. В этот период должны установиться постепенно ассоциации между весьма многими центрами и центром речи. Первые импульсы, возникающие автоматически из этого нового источника, попадая в центр речи, развиваются из него довольно диффузно по всем отдельным механизмам. В самом деле, во многих звуках, издаваемых ребенком, участвует вокальный механизм и там, где, по свойству звука, его не должно быть, давая вместо попотных звуков громкие; равным образом, в детской речи сплошь и рядом замечаются более или менее ясно артикуляторные движения языка и в тех случаях, где произносятся одни губные звуки (так, между прочим, проф. Сикорский объясняет всеобщую мягкость детских консонантов) и, наоборот, более или менее ясно выраженное действие губного затвора там, где на очереди стоит ряд одних язычных звуков. Еще нет отчетливого обособления механизмов, и центральный импульс развивается до некоторой степени мимо цели, захватывая в большей или меньшей степени все отделы различных механизмов. Но мало по малу, шаг за шагом, вырабатывается обособленность частных механизмов, и тогда импульсы идут уже по строго раздельным путям, что дает более отчетливую дифференциацию артикуляторных движений и вызываемых ими звуков.

Весь сложный путь, какой проходит ребенок в изучении фонетики речи, запечатлевается удивительным образом в его детских словах. Шаг за шагом идет вперед словесное развитие ребенка, ежедневно его речь обогащается новыми словами, составленными по фонетическим требованиям данного периода, а рядом с этим существуют слова давнего происхождения, приобретшие право гражданства в ежедневном обиходе ребенка; эти слова в виде живой традиции переходят изо дня в день, от одной фазы развития в другую. Таким образом, наряду с словами довольно совершенной конструкции, в живом языке ребенка встречается ежеминутно много продуктов первобытного, несовершенного фонетического творчества. Но подвигаясь вперед в развитии, ребенок время от времени делает реформы в своем лексиконе и преобразовывает старые слова сообразно требованиям текущего периода. Однако же в своих преобразованиях ребенок сплошь и рядом заходит за надлежащие пределы — внося новые формы и там, где следует, и не попадая; так, напр., выучившись произносить звуки *m* и *p*, он не только преобразовывает свое прежнее — *юляца кása* в *юрячая каша*, но в то же

время начинает нередко говорить — *шад*, *рампа* вм. правильного выговора *сад*, *лампа*, который он уже давно практиковал. Такой характер словесного развития служит источником разнообразия и невыдержанности детской речи, пестрого смешения прочных, устойчивых форм с произвольными и непонятными сразу исключениями. Но речь ребенка является тотчас полной смысла и строгой последовательности, как только начнешь ее изучать в историческом порядке: тут она получает правильность и законосообразность (стр. 164—167).

В заключении своей статьи проф. Сикорский обращает внимание на то, что для патологии высокое теоретическое значение имеет тот факт, что некоторые болезни речи (шенелявость, косноязычие и им подобные) представляют собою результат недоразвития или приостановки развития тех или других артикуляторных движений. Специальные наблюдения убедили проф. Сикорского в том, что неправильные артикуляторные движения, как субстрат этих болезненных звукообразований, представляют собою характеристические и бесспорные примеры тех переходных форм, которые при нормальном ходе развития речи являются в виде промежуточных станций между первоначальным и окончательным артикуляторным движением.

Интересные наблюдения в области развития языка и речи ребенка в 1883 г. были опубликованы в Русск. Фил. Вестнике А. Александровым (Детская речь, т. X, стр. 86—120). В развитии звуковой стороны речи ребенка автор, для исследованного им случая, установил три периода. Первый период характеризуется наличием только взрывных согласных: губных *p*, *b*, *m*, переднеязычных *t*, *d*, *n* и среднеязычного *j*; этими звуками ребенок оперирует, заменяя ими все прочие: *d'ip* жив, *mat'à* молока, *ju't'i* руки, *t'at'om* стакан, *ut'i* уши, *t'at'i* часы, *t'aju* чаю. Этот первый период в развитии языка-речи ребенка характеризуется, таким образом, преобладающим действием губ и передней части языка, как более развитых органов. Во втором периоде появляется: 1) губно-губной для звуков *v*, *f*, 2) для звуков *ž*, *z*, *r* ребенок пользуется звуком *j*, 3) звуки *k*, *s*, *š* ребенок заменяет: *t'k* или *k* и *s*. В третьем периоде происходит полное развитие согласных. Что касается гласных, то вначале ребенок не знает ударенных и неударенных гласных: все гласные, в силу слабого развития мускулатуры, произносятся при одинаковом напряжении мускулов, и только в конце первого периода, с появлением в языке ребенка слов трех- и многосложных, начинают выделяться неударные гласные, характеризуемые меньшей артикуляционной выразительностью.

Развитию речи ребенка, по наблюдениям А. Александра, предшествуют первоначальные движения органов произношения и испускание по

временам звуков, что служит ребенку упражнением органов речи и подготовкой его к произношению звуков языка.

После такой подготовки и упражнения органов речи, ребенок, говорит автор, в силу присущаго стремления выражать свои нужды и желания, мало-по-малу начинает, подражая окружающим, произносить некоторые звуки из тех, которые он слышит у окружающих его лиц. На первых порах такие попытки ребенка, конечно, не увенчиваются полным успехом: с этими первыми звуками ребенка не связывается никакого определенного значения, и звуки и слова, произносимые маленькими, бывают неясны для самого произносящего и непонятны не только для посторонних, но даже и для лиц, окружающих ребенка.

Следя за дальнейшим развитием речи ребенка, автор наблюдает постепенное соединение прежних, отдельных, не связанных ни с каким значением, звуков в слова с определенным значением и, таким образом, в речи ребенка возникают названия предметов, их качеств и действий. Расширяя свой круг представлений знакомством с новыми вещами и предметами и воспринимая от окружающих самые названия этих предметов, выраженные в ряде звуков и их сочетаний, ребенок, говорит автор, ассоциирует эти названия с представлениями. Затем, достаточно прислушавшись к произношению окружающими этих звуковых сочетаний, ребенок постепенно начинает их выговаривать сам, но, вследствие плохого и неодинакового физического развития своих органов речи, субституирует их не вполне точно. Так, напр., наблюдаемый ребенок, услышав слово Саша, имя своего брата, воспринимает это название, ассоциировав с представлением брата, начинает употреблять его, но при произношении все сложные и трудные для его органов действия заменяет более простыми, и из слова Саша у него получается *t'at'a*. Воспроизведение услышанного слова вызывает в ребенке радость, удовольствие, он повторяет его несколько раз и таким образом усваивает его. Некоторые слова ребенок составляет сам на основании того впечатления, которое на него производят предметы (*d'abànd'u*) «самовар шипит», *mit'a t'at'at'à* «Митя хочет играть» и т. п., но такие слова, по наблюдениям автора, не находят себе никакой поддержки в произношении окружающих, не могут долго держаться в говоре ребенка, скоро исчезают и заменяются несложными по звукам и нетрудными по сочетаниям словами, заимствованными из речи взрослых (вм. *d'abànd'u* ребенок начинает говорить *d'abàn t'ip'it'*, вм. *mit'a t'at'at'à* — *mikàt'* и т. п.). Таким образом, наблюдения над словарем ребенка приводят автора к заключению, что в речи ребенка слова получаются

большую часть путем заимствования из говора окружающих. Заимствуя какое-нибудь слово, ребенок связывает с ним точно то же значение, какое связывают с ним окружающие, и всегда подчиняет его своей фонетике; при этом бывают изменения, перестановки и, наконец, даже полное исчезновение как отдельных звуков, так точно и целых звуковых сочетаний (слогов): *bad' à* вода, *n'ik' i* книги, *k'ir* гриб, *t'un' ik* сундук, *bas' aj* большой и т. п.

Вместе с заимствованными из языка взрослых словами в язык ребенка приходят в готовом виде и формы, напр., infinit.: *dat'* дать, *ub'jad'* убрать или imperativ на — *aj* и т. п. Повторение одной и той же формы при одном и том же всякий раз оттенке ее значения обособляет в сознании и памяти ребенка данное окончание, ассоциированное с определенным оттенком значения (морфема), и он начинает произвольно пользоваться данным окончанием в тех случаях, когда ему приходится употребить слово в ассоциированном с данным окончанием оттенке значения, откуда в языке ребенка и возникают не только правильные формы, но и такие, как, напр., *p'is' aj* пиши, *kan' aj* гони и т. п.

Наконец, в развитии и формировании языка ребенка действует также и аналогия, т. е. процесс образования новых форм по аналогии с имеющимися уже в языке заимствованиями у взрослых, как, напр.: *n'ik' i s'as'zva* книги Сашины или *jas'ka m'it'zva* ножка Митина; подобные формы, по объяснению автора, обязаны своим происхождением подслушанной в языке взрослых форме *t'aju s'at'kzva* «чаю слаткава» и т. п.

Таким образом, слова и формы, говорит автор, ребенок большей частью заимствует от окружающих, и потом уже, вполне освоившись с ними и подведя их под фонетические особенности своего говора и законы ударения, пускает их в оборот. Затем, когда ребенок сам образует новые слова и формы, то всегда подводит их под те же формы и звуковые сочетания, какие уже имеются в его языке.

По плану наблюдений над языком ребенка предыдущего исследователя детской речи аналогичную работу проделал над своим ребенком в 1886 г. В. Благовещенский, опубликовав свои наблюдения в том же журнале за 1886 г., т. XVI (Детская речь, стр. 73—101). Выводы автора в общем совпадают с выводами А. Александрова. «Дитя, — говорит В. Благовещенский, — большую часть приобретает слова от окружающих людей, менее по звукоподражанию от животных и вещей, еще менее само выдумывает. Смысл слов остается такой же, как и у взрослых, только в фонетическом отношении подвергает их изменениям, выбрасыванию и пр.» (стр. 94—95).

С изложенными выше наблюдениями над развитием детской речи совпадают и наблюдения А. Левоневского, опубликованные им в интересной статье «Материалы к вопросу о психическом развитии ребенка в течение первого года его жизни» (Русская школа, 1909, № 3, стр. 151—176; 1911; № 5—6, стр. 190—224).

В развитии речи ребенка автор различает три периода: 1) подготовительный период — изучение звуков; 2) понимание слов и, наконец, 3) произнесение слов. Явно выраженное желание разговаривать автор заметил у наблюдаемого им ребенка на пятом месяце. На десятом месяце он вполне отчетливо произносил такие слова, как *папа, мама, мамма, няня, баба*; но, замечает автор, повидимому, не соединял с ними никакого определенного представления. Начиная с 11-го месяца ребенок быстро стал подвигаться в понимании слов, он прекрасно знал слово «рыжик» — название кошки, так что достаточно было произнести это слово, чтобы он стал искать глазами кошку и, подражая нам, даже произносил иногда: *кис-кис*. Помимо того, что ребенок в это время понимал уже многие слова, он научился называть некоторые предметы известными звуками. При виде, напр., собаки или ее изображения, он начинал говорить *ав-ав*, что и служило ему для обозначения собаки. На 12-м месяце наблюдаемый ребенок уже ассоциировал определенные представления с известными ему словами: *мама, дядя, няня*, причем *отца* он обыкновенно называл словом *дядя*, а слово *папа* произносил крайне редко; последнее слово давалось ему, повидимому, очень трудно. При виде фотографической карточки отца, ребенок всегда начинал тянуться к ней и повторять: *дядя, дядя*. «Трудно решить, — замечает по этому поводу автор, — узнавал ли он меня именно, т. е. отца (я был снят за три года до его рождения и с более длинными волосами), или же слово *дядя* служило ему вообще для обозначения всех, схожих со мною существ, т. е. мужчин, и в карточке он видел, может быть, не меня, а вообще мужчину».

За второй год наблюдаемый ребенок (Дима) сделал громадные успехи прежде всего в понимании речи других; он быстро рос, переходя от простейших формул (дай папе, маме, кукле и т. п. что-нибудь — назывался знакомый ему предмет) к все более и более сложным, и во второй половине второго года ребенок понимал уже все, что имело какое-либо отношение к нему самому, причем рост понимания чужой речи шел у него несравненно быстрее развития способности говорить, что составляет, вообще говоря, обычное явление у всех детей.

Что касается самой способности говорить, то наблюдаемый ребенок в конце первого года произносил уже не только отдельные звуки и слоги,

но и целые слова, не соединяя, однако, в большинстве случаев с последними никаких определенных представлений. Очевидно, заключает автор, он просто подражал слышанным звукам, не понимая еще смысла сказанного и не связывая слово с относящимся к нему содержанием представления. Такое связывание, появляясь в единичных случаях в конце первого года, сильно растет на втором году, и на 21-м месяце словесное богатство ребенка состояло приблизительно более чем из 30 слов, именно: *мама, папа, дядя, тетя, баба, няня, дедя* (дедушка), *ляля и детя* (дети), *му* (корова), *ти* (птичка), *мо* (конфеты) *у-у-у* (железная дорога и уезжать), *тси* (соска), *бо-бо* (больно), *ав* (собачка), *си* (спички), *а-а-а* (естеств. потребность), *а-а-а-а* (спать — представляет волнообразную смену высоких и низких звуков), *ли* (яйцо), *бух* (упасть), *бу* (булка), *тпруа* (гулять и вообще исчезновение), *тпру* и *нё* (лошадь), *иди, маня* (знакомая девочка), *ах* (для обозначения вкусного или красивого), *гога* (Коля), *дай, иде, тиси* (часы).

При произношении нового слова ребенок брал из слова наиболее легкий его слог, пропуская трудные согласные и ограничивался этим: один слог служил у него вместо всего слова. Таким образом он получил: *не* (копейка), *па* (палка), *бу* (булка), *ли* (гриб), *ми* (мышка), *го* (гвоздь), *ни* (спи).

Первые слова, которые научился произносить наблюдаемый ребенок, относились исключительно к окружающим его предметам и выражали его желание иметь эти предметы или же его радость при узнавании их (субстанциональная стадия). Во второй четверти года он перешел в стадию действия: у него появились первые глаголы; он стал обозначать словами свою и чужую деятельность, напр.: *бух, тпруа, иди*. В конце второго года он стал употреблять, хотя и очень редко, прилагательные, другими словами — вступил в стадию признаков и отношений, напр.: *чолный* (черный), *ку* (вкусный).

Развитие более сложной речи у ребенка шло таким путем: сначала он произносил только отдельные слова, которые заменяли собою целые предложения и выражали желание ребенка что-либо иметь. С 20-го месяца ребенок стал составлять двухсловные, а затем и трехсловные выражения: *баба у-у-у* (бабушка уехала), *няня тпруа* (няня ушла), *гога бу* (Коля дай булку), *папа бух* (папа упал); *мама ди нё нё* (мама, Дима хочет ехать на лошади), *няня баба бу* (няня, бабушка хочет булку) и т. п.

Последовательность появления в языке наблюдаемого ребенка грамматических категорий (частей речи) отмечена автором следующая: 1) существительные и отчасти междометия; 2) в середине второго года — глаголы (*ни* — спи, *иди*); 3) на 20-м месяце отрицательная частица *не*,

которой он выражал свое нежелание делать или иметь что-либо; 4) в конце 2-го года — наречия места (*во вот, тут*), наречия образности (*больно*), некоторые числительные (*раз, пять, семь, десять*); в это время в речи его еще вовсе не было наречий времени и союзов, даже простейшего из них, союза *и*. В конце второго года у наблюдаемого ребенка появились первые попытки склонять имена существительные (дат. и вин. падежи), а также личные местоимения: *мне, ты*, но вряд ли, полагает автор, он связывал с ними какое-нибудь определенное представление.¹

Работы Александрова и Благовещенского в 1913 г. были использованы проф. В. А. Богородицким в его «Лекциях по общему языковедению» (лекция 8. Развитие детской речи. Замечания о происхождении человеческого языка, стр. 91—101). Проф. Богородицкий устанавливает четыре периода в развитии детского произношения: 1) подготовительный, или период рефлекторных криков и «гуленья», начинающийся со дня рождения и заканчивающийся в общем на втором году; 2) период упрощенного произношения слышимых слов, продолжающийся месяца четыре; 3) период большего приближения к произношению окружающих, продолжающийся месяцев шесть, и, наконец, 4) период, когда ребенок, уже достаточно овладевший звуками языка, переходит к обычной речи.

В подготовительном периоде проф. Богородицкий устанавливает три основных момента: 1) рефлекторные крики, возбуждаемые в ребенке обычно чувством голода или боли; 2) с рефлекторными криками, сопровождаемыми мышечным чувством, постепенно ассоциируются получаемые одновременно от этих криков слуховые ощущения и 3) «гуление» независимо от болезненных криков, как забава ребенка самым процессом производства звуков. Во втором периоде ребенок овладевает тремя гласными — *а, и, у* и восемью согласными: *п, б, м, т, д, н, ж*, произносит лишь односложные слова, превращая в таковые и слышимые им двусложные, причем внимание ребенка, по видимому, останавливается преимущественно на начальном слоге, вследствие чего одно и то же звуко сочетание может обозначать у него различные слова, напр., слог *ма* может обозначать «мама», «маленький» и др. К концу второго периода в языке ребенка начинают появляться и двусложные слова, в которых, однако, оба слога, т. е. ударяемый и неударяемый произносятся почти с одинаковым напряжением или силой.

¹ В переработанном и дополненном виде эти статьи А. Левоневского в 1914 г. вышли отдельной книгой: *Мой ребенок* (СПб., изд. О. Богдановой). Языку посвящена гл. VII, стр. 176—212. В 1912 г. некоторый материал по развитию языка ребенка дал акад. В. М. Бехтерев в своей статье «О развитии нервно-психической деятельности в течение первого полугодия жизни ребенка». *Вестн. психологии*.

Постоянную мягкость передне-язычных согласных данного периода проф. Богородицкий объясняет тем, что образование бугра средне-переднею частью языка, требующееся для произнесения этих согласных, стоит ближе к индифферентному укладу и потому легче, чем приподнимание кончика языка к верхним зубам и их деснам при одновременном понижении его средней части, как это требуется для соответствующих твердых согласных. Кроме того, имеющиеся в распоряжении автора материалы дают ему основание констатировать еще один факт: появление глухих, по крайней мере в области язычных, предшествует звонким, что говорит о том, что произношение язычных согласных при открытой голосовой щели дается ребенку легче, чем при суженной. Наконец, характерною для языка ребенка данного периода чертою, по заключению проф. Богородицкого, является господство взрывных согласных. К концу третьего периода ребенок уже владеет полной системой как ударяемых, так и неударяемых гласных; последнее стоит в связи с приобретением навыка регулировать надлежащим образом силу выдыхательных толчков воздуха при произношении неодносложных слов. В области согласных третий период характеризуется появлением придумных. Эту последовательность в появлении согласных проф. Богородицкий объясняет тем, что произношение придумных сопряжено с большими трудностями для усвоения по сравнению с взрывными: в то время как последние требуют простого грубого прижатия органа, для придумных орган произношения должен держаться приближенным или отчасти касающимся, но не нажатым. К концу третьего периода, таким образом, ребенок овладевает уже всеми гласными и почти всеми согласными; исключение составляют наиболее трудные для усвоения звуки: альвеолярные *ш, ж, р* и слитные *ш, ч*. Усвоение этих звуков протекает в четвертом периоде.

Таковы существенные, в общих чертах, итоги изучения языка ребенка, к каким пришел проф. Богородицкий на основании имевшегося в его распоряжении материала.

Более обширный очерк тому же вопросу и в том же 1913 г. посвятил проф. Погодин в своей книге «Язык как творчество» (гл. IX, стр. 146—213). Исходя из общих основ психологии детского возраста, автор знакомит читателя с различными направлениями в разработке вопроса о происхождении и развитии детского языка и, в частности, излагает взгляды на этот вопрос Компэре, Вундта, Пауля, Прейера, Дельбрюка, Георгова, Наузестера, К. Апеля, Меймана и супругов Штерн. Психологические предпосылки автора устарели, но общий процесс развития языка ребенка в его основных моментах: рефлекторный крик, лепет-игра, понимание и подра-

жание, слово, причем вначале слово — аффект и только с течением времени — дифференциация в словесном выражении конкретных представлений — все это у автора представлено весьма обстоятельно и вполне согласно с данными современной науки в этой области, хотя автор, к сожалению, совершенно обошел молчанием уже имевшийся к тому времени, хотя и небольшой, русский материал, ограничившись критическим изложением воззрений по этому вопросу иностранных исследователей.

В том же 1913 г. появилась у нас еще одна книга, затрагивавшая ту же тему о детском языке; это, именно, труд одного из заслуженнейших русских педагогов В. П. Вахтерова «Основы новой педагогики», т. I. (Москва, изд. т-ва И. Д. Сытина). Развитию детской речи посвящен здесь III отд. VI гл.: Из наблюдений над развитием детей (стр. 411—445). Как и проф. Погодин, автор прекрасно знаком с современной педологической литературой по данному вопросу и так же обстоятельно рисует процесс развития языка ребенка в его основных моментах, иллюстрируя при этом, что особенно важно и ценно в его труде, свои тезисы обширным материалом из собственных наблюдений над своими детьми. Подобный материал имеется и у Погодина, но в то время как у Погодина он носит довольно случайный характер, у Вахтерова мы имеем целую систему наблюдений над развитием языка ребенка, разработанную в виде статистических диаграмм, иллюстрирующих ряд основных моментов: 1) развитие речи ребенка (количественный запас слов) в зависимости от возраста; 2) типы детского сочинительства; 3) изменения в употреблении частей речи в зависимости от возраста; 4) изменения в употреблении междометий и числительных в зависимости от возраста; 5) изменения в зависимости от возраста употребления творит. и предложн. падежей и т. п.; в этом порядке автором рассмотрены все грамматические категории.

Наконец, следует отметить, что в 1910 г. был издан в русском переводе обширный популярный труд английского педолога У. Друммонда «Введение в изучение ребенка» (Душевная жизнь детей. Библиотека педагогической психологии под ред. прив.-доц. Н. Д. Виноградова и А. А. Громбаха); в 1912 г. были изданы две знаменитые книги: 1) Габриеля Компаре (в пер. М. В. Владимирского) «Умственное и нравственное развитие ребенка» (G. Compaugé. L'évolution intellectuelle et morale de l'enfant. Paris, 1893), выдержавшая к тому времени уже пять изданий у себя на родине и в 1900 г., т. е. за 12 лет до появления русского издания, переведенная на немецкий язык (Chr. Ufer); развитию языка ребенка в названном труде посвящена гл. XI (стр. 268—311); и 2) классический труд

В. Прейера (под ред. В. Ф. Динзе): «Душа ребенка. Наблюдения над духовным развитием человека в первые годы жизни». СПб., 1912, изд. О. Богдановой (Wilhelm Preyer. Die Seele des Kindes. Leipzig, 1882), в котором 3-я часть посвящена вопросу о развитии рассудка и языка. Разработка вопроса у Прейера носит характер углубленного физиологического анализа процессов развития речи. Если к названным трудам мы прибавим еще книги: немецкого педолога проф. Эрнста Меймана «Лекции по экспериментальной педагогике», изданную в русском переводе в 1910 г. (ч. I—III) под ред. Н. Д. Виноградова; его же «Очерк экспериментальной педагогике», 1914, изданную по-русски в переводе А. Н. Болтунова в 1916 г., и книгу английского психолога J. Sully «Studies of childhood», появившуюся в русском изд. в 1914 г. (Д. Сэлли. Очерки по психологии раннего детства), к тому времени уже имевшуюся в немецком и французском переводах, мы, тем самым, кажется, назовем наиболее существенное, чем располагала наука о русском ребенке и русский педагог и читатель до революции в области изучения языка ребенка.

Выше мы остановились на нескольких старых русских работах по исследованию детской речи и, насколько нам известно, назвали их все, потому что эти именно работы явились у нас первыми и притом немногими работами в области изучения детской речи, не утратившими к тому же интереса и сейчас, когда в этой области у нас в Москве с начала 1925 г. с большой интенсивностью и плодотворностью работает специальная Комиссия по изучению детского языка при Институте экспериментальной психологии (Москва, Моховая, 9), объединяющая работу различных учреждений, изучающих детский язык (Педологического музея Учительского дома в Москве и Центрального педологического института—там же). Эта Комиссия подвела итоги как методологического, так и фактического характера в области изучения детского языка, пересмотрела и проверила главнейшие методы применительно к современному русскому ребенку, уделив особенное внимание экспериментальным методам; организовала систематические массовые наблюдения над детьми в возрасте от 3 до 8 лет в целях «собрать материал для выяснения пригодности системы тестов, предложенной Декер, для испытания речевого развития ребенка», каковой материал «послужил основой для окончательного редактирования тестов по изучению речевого развития русского ребенка», и т. д.

Подробнее о деятельности Комиссии читатель может ознакомиться из ее проспекта, напечатанного в качестве «Приложения» к книге Н. Рыбникова «Язык ребенка» (ГИЗ, 1926).

Однако, необходимо все же отметить, что первая попытка организации планомерного изучения языка ребенка принадлежала Ленинграду. В 1912 г. здесь, именно, при Педологической секции Психо-неврологического института, была организована Комиссия по изучению детского языка, работавшая под председательством проф. И. А. Бодуэна-де-Куртене. В ее состав входили: Бехтерев, Булич, Каптерев, Лазурский, Нечаев, Поварнин, Руднев, Щерба, д-ра Владимирский, Оршанский, Фельдберг и Китерман. В одном из заседаний этой комиссии был заслушан «Проект программы для наблюдений над развитием речи у детей», составленный д-ром Б. П. Китерманом на основании немецкой программы, опубликованной в «Zeitschrift für die angewandte Psychologie», 1908 г., и польской программы «Kwestjonariusz Polskiego Towarzystwa badań nad dziecimi» (см. «Вестник психологии», 1912, т. IX, вып. 2, СПб., 1912, стр. 77—92). Дальнейших сведений о работе Комиссии в литературе нам не удалось найти; видимо, в связи с развернувшимися вскоре событиями мировой войны, ей пришлось продолжить начатую работу. Впоследствии, в 1927 г. программа д-ра Китермана была перепечатана в сборнике статей Института экспериментальной психологии — «Детская речь», изд. под ред. Н. А. Рыбникова.

Как было указано выше, Комиссия по изучению детского языка при Институте экспериментальной психологии в Москве объединяет в настоящий момент работу различных учреждений, изучающих детский язык, в том числе и Центрального педологического института. Последнему принадлежат крупнейшие заслуги в этой области в том отношении, что им было начато «изучение систематических наблюдений над процессом развития ребенка», «выработан план длительных наблюдений над развитием ребенка, разработана методика количественного и качественного анализа дневников и других материалов психогенетического характера», организована «интенсивная работа коллекционирования относящихся сюда материалов», «создан институт корреспондентов, ведущих на местах систематические наблюдения в условиях естественной домашней обстановки»; Институтом же ведутся и собственные наблюдения в детских яслях и домах и пр. В 1923 г. Институтом, между прочим, были напечатаны интереснейшие «Записки о развитии ребенка от рождения до 3-х лет» В. А. Рыбниковой-Шиловой под заглавием «Мой дневник» (Орловское отд. ГИЗ). Ранее этого Педологическим музеем Учительского дома в Москве были изданы аналогичные же записки Гавриловой и Стахорской (Дневник матери, 1916), и Соколова (Жизнь ребенка, 1918). В приложении к первой из названных книг даны программы для наблюдения над душевным развитием ребенка, а также —

Описание коллекций Педологического музея Учительского дома, его деятельности и организации («Как изучать ребенка»).

Очень ценный и обширный материал по детскому языку дает А. Д. Павлова в своем «Дневнике матери» (Записки о развитии ребенка), Гос. изд., М., 1924; то же Э. И. Станчинская: «Дневник матери», М., 1924. Интереснейшие «Записки матери» Е. Кричевской «Моя Маруся» (1916), печатавшиеся частью в журнале «Воспитание и обучение» за 1915 г., не дают, к сожалению, материала по развитию языка ребенка; в том же роде и трогательная книжечка В. Сипайской-Финкельштейн: «Нерасцветшая (История юной души)», изд. «Земля и Фабрика», 1924, под ред. Н. Чуковского с предисл. Максимилиана Волошина.

К сожалению, все это — самый сырой, примитивно сырой материал. Это не знаменитая ученая чета Klaga и William Stern'ы, сумевшие на основании наблюдений над своими детьми создать свой классический научный труд «Die Kindersprache» (1907); это обыкновенные культурные матери, нежно привязанные к своему ребенку и чаще всего вовсе не посвященные ни в вопросы лингвистики, ни даже в вопросы педологии, а потому, естественно, и материалы их представляют собою только лишь относительную научную ценность, как известный фактический материал, хотя и собранный без какого бы то ни было метода и системы.

Указанный выше труд Stern'ов в самое последнее время послужил главнейшим источником и пособием К. Бюлеру при составлении им гл. IV своего труда «Die geistige Entwicklung des Kindes», посвященной развитию речи (немецк. 3-е изд., 1922, стр. 213—236; русск. изд. 1924, стр. 239—261).

В общем, по данным Штернов, совпадающим с данными Прейера, Компаре, Аменты и др., картина речевого развития ребенка представляется в следующем виде.

Первый звуковой рефлекс ребенка, не имеющий пока еще ничего общего с речью, выражается в форме однообразного повторного крика, фонетически характеризуемого как звукочередования артикуляционно недифференцированных гласных, перемежающихся при вдыхании и выдыхании гортанным призвуком. Первоначально этот крик носит характер примитивного произвольного звукового рефлекса, однако — уже в ближайшее время в этом крике можно установить некоторые качественные различия, обусловленные чисто физическим состоянием организма, спокойным или раздраженным. В первом случае примитивное звукочередование приобретает характер некоторой длительности и переходит в лепет, отличаясь

при этом нередко поразительным богатством и разнообразием звукоподобных, артикуляционно все же недифференцированных произнесений. Какой-либо закономерности в порядке выявления тех или иных звуков у ребенка не устанавливается. «Прежде думали, — пишет по этому поводу К. Бюлер, — что чем звук труднее для произношения, тем позднее он появляется; следовательно, первыми должны были быть губные *м, б, п*, последними небные *к, х и р*; но это оказалось неверным; гортанные звуки, в особенности гортанное *р*, скорее принадлежит к первым элементам лепета; но другого какого-нибудь правила пока еще не найдено».

Сопутствуя благополучному состоянию организма, лепет в поведении ребенка становится формой своеобразной игры, в которой момент повторности некоторых звукочередований фиксирует в памяти определенное акустическое представление, соединенное с определенным моторным представлением. Таким образом, из примитивного, произвольного, артикуляционно недифференцированного, рефлекторного звукочередования постепенно в языке ребенка выкристаллизовывается произвольное звукопроизношение, опирающееся прежде всего на самоподражание, а затем и на подражание окружающему, характеризуемое наличием ассоциативной связи между известным акустическим и моторным представлениями.

С этого момента мы уже на пороге человеческой речи ребенка. Переступив за этот порог, ребенок вступает в процесс развития речи, в котором главнейшую роль играет подражание окружающим. Время наступления этого момента в языковом развитии ребенка различно; отмечается 3-й месяц, 4-й, полгода и позже. «Верно то, — говорит К. Бюлер, — что повторение всего слышанного становится на втором и третьем году явлением, бросающимся в глаза: ребенок становится настоящим эхо всех звуков речи и природы, которые он слышит. Вообще же подражание другим вначале готовит ему, очевидно, большие трудности; все наблюдатели утверждают, что многие сочетания звуков, которые ребенок чрезвычайно легко тысячу раз без всякого постороннего побуждения произносил в своих монологах лепета, позднее, — если их перед ним произносили, — оказывались для него очень трудными и удавались только после многих безуспешных попыток и долгого упражнения. Тем более это надо сказать про новые сочетания, которые впервые появляются гораздо позднее, по Штерну — на восьмом или девятом месяце. Причины этой трудности могут быть различны: указывали на значительную разницу в голосе взрослого и ребенка, далее — на недостаточность внимания у ребенка, который

обращает внимание на отдельные элементы сказанных ему слов, а в другие не вслушивается. Вернее, пожалуй, думать, что при подражании другим не хватает мускульных и двигательных ощущений в действующем аппарате речи, которые помогают при самоподражании. Далее есть, конечно, сочетания звуков, трудные сами по себе, и на которых даже взрослые еще могут спотыкаться, — другие звуки затрудняют еще неразвившийся артикуляционный аппарат, так, напр., некоторые зубные не могут быть верно произнесены до появления всех зубов. Процесс выравнивания образования звуков у детей сравнительно с образованием их у взрослых тянется годами и часто не заканчивается еще к началу школьного возраста.

Многие из ранних детских слов не что иное, как звукоподражательные образования, происшедшие от подражания звукам, встречающимся в природе; известны названия животных *ауау*, *муму* и т. п. Но очень немногие из таких слов подслушаны у природы самим ребенком; большинству из них его учат взрослые по известной традиции. Прежде признавали, что дети, кроме того, свободно образуют также некоторые сочетания звуков и пользуются ими, как словами, но это — замечает К. Бюлер — оказалось неверным»...

Развитию осмысленной собственной речи ребенка предшествует понимание чужих слов, проявляющееся в соответственных действиях ребенка. Вначале это понимание есть не что иное, как простая реакция на звуковое впечатление, на звук, независимо от его смыслового значения: словами увещания можно успокоить кричащего ребенка, и теми же словами вызвать возглас радости у спокойно лежащего ребенка; того же эффекта можно достигнуть музыкой, пением. По К. Бюлеру, это — недифференцированные реакции, недифференцированные потому, что в них «результат связан только с впечатлением звука, как такового». К числу этих же реакций К. Бюлер относит и «отыскивание глазами говорящего, потому что и здесь звуки речи принимаются только как впечатление звука, разрешающегося нахождением источника этого звука». Эмоциональные же и двигательные эффекты, вызываемые только определенной речью, К. Бюлер называет дифференцированными реакциями. Сюда он относит: 1) все реакции направления взгляда к названным предметам и 2) всякие результаты дрессировки, когда ребенок по требованию исполняет всевозможные движения, будучи предварительно этому обучен многократным одновременным приговариванием и понуждением к их пассивному исполнению. Ассоциативным стержнем в данном случае, оказывается, может служить или какое-либо одно, в звуковом отношении

характерное слово, или даже какой-либо один господствующий звук, или, наконец, определенная интонация, даже независимо от звукового состава слова: ребенок Тапполета, сообщает К. Бюлер, поворачивал голову на вопрос: где окно? Но он совершенно так же реагировал, когда ему предлагали тот же вопрос на иностранном языке, но с той же интонацией.

На этой ступени развития ребенок, однако, остается недолго. По характеристике Бюлера, он «постепенно начинает схватывать речь, как воздействие на его собственную аффективную и волевую жизнь — с одной стороны; с другой — как проявление подобной же жизни других, и, наконец, как нечто, определенно связанное с предметами его маленького мира, как нечто, означающее предметы, изображающее факты, причем посредствующую роль при этом играют жесты окружающих ребенка людей, которые ребенок понимает раньше, чем их слова. «Уже с середины первого года жизни, а иногда и раньше, — говорит К. Бюлер, — можно видеть, как веселое, смеющееся лицо иначе действует на ребенка, чем грустное или гневное. Ребенок заражается смехом матери и также скоро начинает плакать при виде другого плачущего ребенка или взрослого человека... при передаче жеста может произойти и передача душевного состояния, которое выражается этим жестом у взрослых; передача эта может произойти в силу тесной связи душевного состояния с его выражением, которая существует уже у ребенка. Но взрослый сопровождает свои жесты словами, и эти слова часто и в ребенке ассоциируются с общим комплексом. Подобное же можно сказать об указательных жестах, благодаря которым зрительное на указанные предметы связывается с их названиями».

После этой подготовки в возрасте, в отдельных случаях, от $\frac{3}{4}$ года до конца второго года, в языке ребенка появляются первые осмысленные слова, самостоятельно сказанные ребенком. Эти первые детские слова состоят из губных и зубных согласных в соединении с гласными и, часто из простого или многократного повторения одного и того же слога: *мамам, папапа, дада, нана* и т. д.

Эти звукосочетания заимствованы ребенком или из его лепета или из подражания взрослым и становятся в его языке осмысленными словами с того момента, когда он начинает связывать их с каким-либо определенным значением; другой возможный случай это — когда давно повятое ребенку, но им еще не выговоренное слово произносится им самостоятельно. Характерным для языка ребенка при этом, по определению К. Бюлера, является то, что в первых осмысленных его словах «функция названия стоит вначале совсем на заднем плане, вперед же

выступают скорее желания и аффективные состояния, выражающиеся в слове. *Мама* выражает требование еды, или желание быть взятым на руки, или радость при виде известного лица. *Тул* вовсе не значит — это стул, а дает знать, что ребенок желает, чтобы его по-агли на стул. Проследив различные случаи применения одного и того же слова, — говорит Бюлер, — можно найти доказательство правильности утверждения, что первые слова ребенка прежде всего — выражения желаний и чувств. Сравнивая различные случаи между собою, можно выбрать все, что они могут иметь общего в уме ребенка: и на это общее должно смотреть, как на повод произнесения этого слова, как на ядро его значения».

Из этой языковой стадии, по К. Бюлеру, развивается следующая — именная функция слов.

Прямо наблюдать приобретение и развитие значного сознания у ребенка не было возможности, говорит тот же автор, но думают заключить о нем прежде всего из появления вопросов о названиях. В развитии ребенка есть период, когда он неумолимо спрашивает о названиях предметов. Это время называется первым возрастом вопросов у ребенка, в отличие от второго возраста вопросов, на четвертом году и позднее, когда верх берет вопрос — почему. Во время первого возраста вопросов, около половины второго года, немного раньше или позже, получается впечатление, точно ребенок сообразил, что у каждой вещи есть свое название, потому что он прежде всего хочет знать имя каждого предмета, с которым он знакомится. В результате этого беспрестанного спрашивания получается громадный рост запаса слов, хотя незадолго до этого прибавление слов шло чрезвычайно медленно или просто совсем не двигалось.

Первые слова, произносимые ребенком, аморфны, т. е. лишены формы — в грамматическом смысле этого слова, не изменяются в словосочетаниях. Это бесформенное состояние языка, по определению К. Бюлера, длится год и более; образование форм слов начинается около половины третьего года, причем первые формы ребенок перенимает, повторяя слова окружающих: говорят «надо идти гулять», ребенок повторяет — *ти гулять*; «теперь мы пойдем», ребенок повторяет, как эхо — *идем*. В накопленном ребенком запасе слов каждое слово, хотя бы и однокоренное с рядом других, владеемых им слов, вначале существует в его языке и сознании отдельно, независимо друг от друга, как совершенно самостоятельное слово: «шли» и «пойти», «большой» и «больше» — в начальном языке ребенка совершенно

различные слова, ничего общего друг с другом не имеющие. Морфологические категории в языке ребенка создаются из наличного запаса большого количества словарного материала в процессе дальнейшего собственного словотворчества по аналогии.

Первые предложения в языке ребенка однословны: *туль* значит — я хочу сесть на стул; *мамам* «я хочу есть»; *атта* — «мы пойдем гулять» и т. п. В середине второго года (или несколько позднее) в языке ребенка начинают появляться двусловные предложения: «*мама, дида!*» (мама иди сюда); «*чу мока*» (хочу молока) и т. п. Вскоре после этого в языке ребенка появляются и многословные предложения. В этих многословных предложениях, по характеристике К. Бюлера, часто называются многие лица или предметы, принимающие участие в одном происшествии или, наоборот, несколько происшествий связываются с одним предметом; эти конструкции автор предлагает назвать радиусными, потому что все члены предложения примыкают к одному центру; возможны и другие, целесообразные конструкции. В большом ходу в языке ребенка бывают антитезы, причем то, что ребенок хочет сказать, выделяется им отрицанием противоположного: «не чистый платок — грязный платок»; «не маленькая груша — большая»; «я смолтеть неть, я кушать» и т. п.¹

Основные итоговые тезисы К. Бюлера, построенные им на основе материалов К. и В. Штернов и на данных некоторых немецких педагогов (Stumpf, Liebman, A. Pick), прекрасно могут быть иллюстрируемы и соответствующим русским материалом.

Остановимся на одном из лучших, в этом смысле, источнике, на дневнике В. А. Рыбниковой-Шиловой.

Подведем итоги ее наблюдениям и материалам.

Начальный период речевого процесса у наблюдаемого ребенка проявляется в форме лепета; лепет носит характер разнообразного, фонетически и интонационно, звуко- и слогопроизнесения, сопровождаемого мимикой, причем звукопроизнесение артикуляционно не дифференцировано, вследствие чего определить качественный характер этих звуко- и слогопроизнесений не всегда удается: первые приносимые ребенком звуки и слоги скорее напоминают собою те или иные звуки взрослых, нежели представляют их собою; это результат одновременной не дифференцированной пока еще работы нескольких речевых артикуляционных центров, вследствие чего и звуковая волна чаще всего не может получить определенной модифика-

¹ Ту же схему развития языка в довольно элементарной трактовке дает У. Друммов в своей книге «Введение в изучение ребенка»; русск. изд., М., 1910, стр. 288-308.

ционной устойчивости; какой-либо последовательности в развитии звукопроизнесения на этой ступени звукового развития ребенка установить нельзя; ребенок одновременно, а не в той или иной последовательности, произносит все гласные и все согласные, произносит их комбинаторно, т. е. артикуляционно нерасчлененно и произвольно (*да, па, ашшш, аддд, ккк, эии* и т. п.; «не то *ш*, не то *ки* или *кки* с каким-то гортанным переливом» и т. д.).

Начиная с 6-го месяца в языке ребенка выступают первые признаки нового этапа в его языковом развитии — начатки произвольного звукопроизнесения (*да, мам, мамма*), как результат определенного процесса развития мозга и поведения ребенка и первых опытов его самоподражания, причем общий характер речи (лепет) остается тем же, а произвольные звукопроизнесения на этой ступени языкового развития носят только фонетический характер, т. е. лишены смыслового значения («часто повторяет *мамма*, но без отношения к кому-либо, и как его ни учит бабушка, где мама, он пока еще не знает»).

На 11-м месяце у наблюдаемого ребенка впервые отмечаются подражание окружающим, понимание и дифференцированная реакция. («Много предметов знает, т. е. отыскивает глазами и указывает рукой, если спросишь — где то-то?» — «Стал теперь понимать нашу речь — просьбу или приказание»; «понимает слово горячий»; показали ребенку телятчку и изобразили, как он мычит; ребенок на другой день — «весь день его вспоминал и мычал — *му-у, му-у!*»). Когда ему исполнился один год и 9 дней, он уже знал хорошо 30—35 предметов, т. е. показывал ручкой, где тот или иной из этих предметов находятся. Общий же характер языка остался тот же: лепет, произвольное звуко- и слогопроизнесение, из которого постепенно начинает выделяться, на основе самоподражания, все больше и больше произвольных звукопроизнесений, которые, однако, пока еще остаются неосмысленными, т. е. не носят характера слова.

Появление в языке наблюдаемого ребенка первых осмысленных звукопроизнесений, т. е. слов, отмечено, когда ребенку исполнился 1 год 2 мес. и 2 дня. («Когда приходит теперь домой отец, малыш всегда радостно кричит: „папа, папа!“, тянется к нему, требует себе и папе шляпы и рученкой показывает на дверь, чтобы идти на улицу, где обыкновенно стоит лошадь, которая возит отца на болото... Швейная машина и прятка — *тр-р-р*; и т. д.). Дальнейшее развитие языка ребенка в этом направлении делает быстрые успехи на основе подражания языку окружающих; элемент лепета постепенно идет на убыль.

Первые подлинные слова ребенка грамматически аморфны, а по своему смысловому значению — широки и расплывчаты и выражают собою чаще всего желания и аффективные состояния ребенка, независимо от того, что по форме они могут напоминать собою и имена (мама, баба и т. д.). Развитие именной функции слов в языке наблюдаемого ребенка отмечено, когда ему было 1 год 5 мес. 13 дней, когда он стал называть именами различные предметы, подражая, конечно, взрослым, хотя бы эти имена вначале и представляли собою только один начальный слог воспроизводимого ребенком слова взрослых (*ма* вместо Маня, молоко, мальчик и т. п.; знает хорошо название частей своего тела и многих предметов и т. п.). Первое двусловное предложение в языке ребенка отмечено, когда ему исполнилось 1 год. 7 мес. 19 дней (*папа пи* — папа пишет). Вскоре после этого (через два месяца) уже отмечены в его языке и первые многословные предложения, вроде: *ба-ба мама чититъ, папа деди бах* и т. п., которые особенно усиленно развиваются с началом 3-го года.

К концу 2-го года в языке ребенка появились и первые начатки формальных изменений слов (дат. п. *маме пи*; им. п., прилаг.; вин. п. *баньку*, пов. накл. и т. д.). В 2¹/₂ года наблюдаемый ребенок уже настолько овладел речью, что мог «правильно, хотя и коротко, передавать сказки и разговоры посторонних»; у него «появились вполне правильные ударения слов и различная интонация в разговоре»; он не только «словил фразы на лету и тотчас же старался их повторить, и даже сохранить при этом правильную интонацию», но умел уже самостоятельно составлять «довольно правильно фразы и даже с придаточными предложениями», хотя грамматика у него еще хромала (неправильное производство глаголов, тоже форм мн. ч., прилаг. на — ин и на — ов; сущ. мн. ч. в родит. п. и т. п.).

К концу 3-го года наблюдаемый ребенок уже мог «изречь довольно длинные фразы», т. е. к концу 3-го года начальный период языкового развития ребенка был закончен: ребенок овладел речью.

В новейшей русской литературе языку ребенка посвящена специальная монография Н. Рыбникова «Язык ребенка.» (ГИЗ, М.-Л., изд. 2-е, 1926, стр. 83). Автор широко использовал литературу предмета, а также имевшийся в его распоряжении запас источников — пятнадцать дневников о развитии русского ребенка, и дал на основании этого материала общую схему процесса развития речи ребенка, с детальной характеристикой, на основе фактического материала, каждого из отдельных моментов в этом процессе.

Схема Н. Рыбникова в общем воспроизводит схему Прейера, Штерна, К. Бюлера и др.

1. Первые детские звуковые реакции носят эмоциональный характер и чаще всего служат для проявления неприятных чувствований (крик); они инстинктивны и служат отражением состояний аффективного характера.

2. Спустя некоторый промежуток времени эти крики, в зависимости от различных физических причин и эмоциональных состояний, начинают видоизменяться, и к концу первой четверти года становятся настолько дифференцированными, что способны выражать различные состояния ребенка, быть сигналом, с помощью которого ребенок дает знать окружающим о своих потребностях, причем, как отмечают дневники, ребенок нередко пользуется одними и теми же звуками для выражения различных эмоциональных состояний, лишь придавая этим звукам различный оттенок: они произносятся с большей или меньшей напряженностью, скоростью и т. д. Таким образом, заключает автор, и на этой ступени развития детские крики в звуковом отношении являются сравнительно мало дифференцированными (стр. 7). Как и К. Бюлер, Н. Рыбников на основе своих материалов утверждает, что определенного постоянства во времени появления одних и тех же звуков у различных детей нет, и что это появление не зависит от трудности произнесения, как это полагали раньше. По этому взгляду губные звуки, как более легкие, должны были бы появиться раньше всего, затем небные и т. д. Данные же наблюдений, говорит автор, показывают, что этого нет, что нередко гортанные появляются в первые месяцы жизни ребенка... и т. д. (стр. 9).

3) Вторая ступень предварительной стадии развития языка ребенка — лепет. Появление его обычно отмечается в конце 2-го или в начале 3-го месяца. Как и в развитии других моментов детской речи, здесь возможны индивидуальные колебания. Лепет — есть показатель эмоциональных состояний, правда более разнообразных и не столь резкого характера, как крики; чаще всего имеет место при состоянии насыщенности или подобного ему настроения ребенка, хотя иногда служит показателем и отрицательных состояний ребенка, напр., голода, нездоровья, если эти состояния не слишком сильны; в противном же случае реакция выражается в крике.

Тот факт, что ребенок чаще всего лепечет, при наличии у него приятного самочувствия, отчасти способствует тому, что лепетание превращается у него в своего рода игру. Около этого же времени можно отметить попытку забавляться звуками, как своего рода игрой. Подобно тому, как он забавляется движением своих рук или ног, теперь он стремится ис-

пользовать для этой же цели свои голосовые органы (стр. 9—10). Как и крики, детский лепет носит самопроизвольный характер; звуки лепета являются субъективно бесцельными, лишенными значения, а это имеет то значение, что лишенным смысла звуковым сочетаниям легче навязать любой смысл, чем так удачно и пользуются взрослые в процессе обучения ребенка речи (стр. 11).

4. Самопроизвольные детские крики постепенно заменяются раздражительным лепетом, причем особенное значение этого фактора начинает сказываться в конце первого года и в начале 2-го, когда у ребенка пробудилось понимание некоторых словесных реакций, сознательность их произнесения. Конечно, такое подражание возможно лишь при наличии связи между звуковыми впечатлениями и движением органов речи. Эти связи ребенок создает во время лепета, во время тех игр со звуками, которые его так интересовали наряду с другими его двигательными реакциями. Подобные звуковые игры характеризуются тем, что здесь за двигательным ощущением следует слуховое, за которым опять следует — двигательное, так как ребенок обычно много раз во время лепета повторяет один и тот же слог (па-па-па, ма-ма-ма). Это обстоятельство сильно облегчает повторное воспроизведение тех же слогов. Такая тенденция способствует удлинению лепета, превращаясь порой в своего рода «монологи»; эти длинные ряды можно наблюдать, главным образом, у нормально-слышающего ребенка, что служит подтверждением влияния слуховых впечатлений на дальнейшую тенденцию к воспроизведению. Значит, заключает автор, наряду с подражанием другим, на помощь ребенку приходит подражание самому себе. Таким образом, детский бессвязный лепет постепенно заменяется подражанием как собственным, так и чужим звукам... Ребенок становится как бы эхом, отражающим все, что достигает его уха. Конечно, это отражение первое время имеет своеобразный и несовершенный характер, хотя бы уже по одному тому, что внимание ребенка узко и неустойчиво. А это ведет к тому, что он не в состоянии схватить более или менее сложный комплекс звуков. С другой стороны, звуки голоса взрослого человека сильно разнятся от тех же звуков, произносимых ребенком. Вместе с тем для произнесения целого ряда звуков речевой аппарат ребенка еще долго не приспособлен... Эти трудности по мере роста ребенка исчезают; подражая самому себе, ребенок постепенно научается подражать окружающим, и, благодаря этому, роль подражания становится все более и более значительной. Влияние его особенно заметно в возрасте, когда ребенок уже становится говорящим существом, усвоившим язык взрослого. Но для этого ему необходимо выработать понимание речи, т. е. выработать соответствующие условные рефлексы (стр. 12—13).

Таковы основные моменты доязыкового развития русского ребенка, как они рисуются исследователю на основании конкретных данных его источников. Конечно, никакой хронологии в последовательности развития этих моментов установить нельзя, так как они фактически протекают, влетаясь последующий в предыдущий и наоборот.

5. На почве усвоенного ребенком в доязыковой период его развития материала у него постепенно вырабатывается подлинная речь с того момента, когда — усвоенный в период лепета словесный материал соединяется с определенным представлением, когда создается связь между словом и мыслью о предмете или же ассоциация между мыслью о предмете и произнесением соответствующего слова (стр. 18).

Очень важным, с точки зрения интересов исследуемого вопроса является утверждение автора, что первоначальный язык ребенка не есть продукт творчества самих детей: без помощи взрослых, которые дают ребенку язык и мысль, едва ли можно было воспитать вполне дифференцированные словесные реакции (стр. 19).

Первые слова ребенка чаще всего обозначают не представления, а те или иные чувства, желания (стр. 18). Воспитание с помощью взрослых вполне дифференцированных словесных реакций ведет к постепенному устранению тех эмоциональных и волевых элементов, которые были столь характерны для ранней эпохи развития языка; теперь слово для ребенка становится символом предмета (стр. 19), ребенок пользуется теперь словом, хотя бы по форме оно и не отличалось от лепетной формы предыдущей стадии, как функцией наименования предмета (стр. 20). Появление первых слов в языке ребенка, по итогам автора, колеблется во времени от 7 до 22 месяцев; чаще всего оно совпадает с последней четвертью первого года и первой четвертью — второго; наибольшее число случаев приходится на десятый месяц, причем, как свидетельствует обширный использованный автором материал, — появление первого слова не знаменует собою еще начала непрерывного развития речи ребенка: почти у всех детей наблюдается некоторый промежуток между первым словом и вторым, а также между этими двумя моментами и началом непрерывного развития речи (стр. 23). Длительность периода однословных предложений, по исследованию автора, равна в среднем 6 месяцам, в отдельных случаях она колеблется от 4 до 12 месяцев.

6. В процессе развития языка ребенка, равно как и других его способностей, автор отмечает действие закона минимальной траты сил, что сказывается: а) в отбрасывании целых слогов, в начале, в середине и

в конце слова (*мо* вместо *молоко*, *кам* — *камень*, *ми* — *Миша*), б) в отбрасывании одного согласного, если два или три стоят рядом (*соне* — *солнце*, *лазки* — *глазки*), в) в замене одного звука, гласного или согласного, другим (*какар* — *сахар*, *апал* — *упал*), г) в сокращении слов путем опускания слогов (*моко* — *молоко*, *па* — *упал*, *куся* — *вкусно*), д) в перестановке слогов или звуков (*сяп* — *спать*, *гаюнь* — *огонь*, *шима* — *машина*), е) в удвоении первого слога (*буага* вместо *бумага*, *шитыка* — *яичко*, *фафатка* — *фуражка*).

7) В этот период языкового развития ребенок одним и тем же словом называет различные предметы, что объясняется тем, что слово в это время служит ребенку для выражения целого предложения, т. е. отношения к предметам, а не знаком отдельного представления или понятия.

8. Первая детская речь не знает частей предложения и частей речи.

9. Первая детская речь отличается подвижностью и неустойчивостью.

10. До полутора-двух лет ребенок пользуется однословными предложениями, переходя постепенно к двухсловным. «Наличность двухсловных предложений прежде всего свидетельствует о большей дифференцированности тех элементов, которые получают теперь словесное выражение. И здесь в конечном счете дело сводится к образованию условных рефлексов между предметами, связь между которыми ребенок неоднократно воспринимал» (стр. 31). Спустя 2—4 месяца в языке ребенка появляются трехсловные предложения (стр. 33).

11. В возрасте около полутора лет ребенок буквально засыпает взрослых вопросами. Направленность пробуждающегося конкретного ума ребенка на окружающие предметы ведет к тому, что развивающаяся и становящаяся грамматической речь ребенка в первую очередь обогащается существительными; первые слова ребенка — это названия родителей, няни и других лиц семьи, затем идут животные, пища, одежда, игрушки, обозначение деятельности, связанной с игрой и едой (стр. 34).

Несколько фактов рисуют следующую картину пропорциональности развития в языке русского ребенка грамматических категорий слов:

Возраст	Сущ.	Глаг.	Прочие части речи
1.2	71%	16%	13%
1.6	66	20	14
2.0	63	35	2

До 4 лет процент глаголов в языке ребенка повышается; после этого он начинает идти на убыль за счет развития и увеличения других частей речи, и в первую очередь — прилагательных, что свидетельствует о том, что ребенок начинает разбираться в отношениях между предметами и на-

капливает словесный материал для выражения этих отношений. Таким образом, по заключению автора, в своем языковом развитии ребенок из стадии предметной переходит к действию и, наконец, к отношению (стр. 39—40).

12. Личное местоимение в большинстве случаев в языке ребенка, по данным имеющихся в распоряжении исследователя материалов, появляется в начале 3-го года, хотя и здесь возможны индивидуальные отклонения почти в пределах одного года, и стоит в тесной связи с окружающей ребенка средой; у старших детей этот процесс проходит медленнее, у младших, под влиянием языка старших детей, этот процесс проходит ускореннее (стр. 42).

13. Сознательно ребенок начинает обращаться с числительными около двух лет, причем чаще всего первым сознательно употребляемым числительным бывает «два», и притом как первое обозначение сознательно воспринимаемого множества, вообще же — числительные в языке ребенка появляются не в порядке числового ряда, причем механически повторяемые вначале они постепенно начинают применяться сознательно, т. е. у ребенка начинает постепенно развиваться способность к счету (стр. 44—45).

14. Навык к более тонким формальным изменениям слов ребенок начинает приобретать лишь с третьего года, причем изменение слов по флексиям появляется у ребенка почти одновременно во всех главных своих формах, что автор склонен объяснять тем, что к этому времени ребенок начинает понимать возможное соотношение слов в предложении: если раньше эти слова просто ставились рядом, то теперь ему начинают быть доступны соотношения между ними, связь между предметами и принадлежностью их определенному лицу, причем — по отношению к существительным первым обычно появляется дательный падеж, затем винительный, значительно позже творительный; родительный и предложный падежи чаще всего появляются лишь на четвертом году. Такая последовательность развития в языке ребенка падежных флексий автором ставится в связь с детским эгоцентризмом: ребенок считается только со своими желаниями, постоянно требует, чтобы ему давали (дат. п.) то или другое (вин. п.); на третьем году ребенок начинает интересоваться причинами действия, начинает сознавать себя, как действующую причину, откуда и начало употребления творительного падежа. Что касается предложного и родительного падежей, то они, по предположению автора, имеют для ребенка более отвлеченный характер, а предложный п., кроме того, никогда не употребляется без предлогов, которые ребенок усваивает сравнительно поздно.

К концу второго года отмечается появление в языке ребенка формы 3-го л. наст. времени и повел. накл.; в начале 3-го года ребенок уже

осваивается с формами изъявит. и повелит. наклонений; сослагат. наклонение усваивается позже; формы прош. времени даются ребенку легче, чем формы будущего.

Около двух с половиной лет в языке ребенка появляются придаточные предложения (стр. 50—54), а затем, позже, в связи с усвоением предлогов, союзов и местоимений и более многообразные сложные предложения.

15. Овладев основными формами языка, ребенок широко прибегает к собственному словотворчеству по аналогии: вода вин. над. *воду* (дрова — *дрову*); убить — убитый (срубить — *срубитый*); шалун — глагол *шалунит*; лгу — лгать (жгу — *жгать*) и т. п. (Интересный и обширный материал в этом роде дает К. И. Чуковский в своей статье «О детском языке» в сборнике «Лица и маски», стр. 308—328, а также в книге «Маленькие дети». Изд. «Красная газета». Л., 1928; то же Е. Шабад «Живое детское слово»).

Подходя рефлексологически к онтогенезу речи, т. е. к развитию ее в процессе индивидуальной эволюции, проф. А. Г. Иванов-Смоленский в статье «Биогенез речевых рефлексов и основные принципы методики их исследования», (Психиатрия, неврология и экспериментальная психология, ред. Осипова. Пгр., 1922, № 2) устанавливает следующее.

Самая ранняя стадия развития речи, крик новорожденного есть простой рефлекс на охлаждение кожи (Рыбников, Прейсер) оборонительной реакции, которую следует, очевидно, признать за сложный самозащитный безусловный, т. е. наследственный рефлекс («инстинктивная реакция»). Вскоре в поведении ребенка — «вместо хаотического барахтания всего тела, сопровождающего первые голосовые рефлексы ребенка, в дальнейшем наблюдается, с одной стороны, постепенное концентрирование пантомимических рефлексов в верхней половине тела и дифференцирование голосовых рефлексов (поворачивание глаз, головы, «мимика внимания») на раздражения внешней среды и в том числе на речевые рефлексы окружающих.

Вторая стадия речевого развития ребенка, лепет, представляет собою результат весьма сложного процесса: 1) заторможения первоначальной диффузной хаотической двигательной реакции (барахтанье всем телом); 2) дифференциацию различных условно-двигательных рефлексов оборонительного и наступательного характера, из которых часть упрочивается и надстраивается, часть угасает и затормаживается; 3) постепенной концентрации возбуждения на голосовых рефлексах и усиленного их «размножения» в форме «детского лепета»; «вначале голосовые рефлексы как бы затериваются среди массы пантомимических, вазомоторных и секреторных ре-

флексов, являясь как бы отдельной деталью общего двигательного возбуждения, но постепенно происходит заторможение этой диффузной реакции. Характерной особенностью этих примитивных голосовых рефлексов (лепета), по автору, является обнаруживаемая тенденция к звуковой ассимиляции с окружающим, т. е. звукоподражательный их характер. В этом процессе — часть голосовых рефлексов, составляющих лепет, со временем угасает, часть затормаживается окружающими, часть же этими последними всячески подкрепляется и упрочивается, образуя систему речевых рефлексов, наслаивающихся мало-по-малу друг на друга и обнаруживающих все новые и новые дифференцировки и интеграции. Таким путем, заключает автор, на почве первичных натуральных условно-голосовых рефлексов возникают первые искусственные условно-речевые рефлексы, воспитываемые у ребенка окружающими и все возрастающие в сложности. Эта выработка новых речевых рефлексов происходит, новидимому, при помощи вышеупомянутой «звукоассимилирующей способности» (в слабой степени наблюдаемой и у некоторых птиц — сорок, попугая). Искусственные условно-речевые рефлексы представляют собою созвучные (частично-подражательные) и эхоталические (целиком воспроизводящие) речевые рефлексы. Позднее возникают у ребенка — ориентировочные речевые рефлексы (вопросительные местоимения, наречия). В дальнейшем развитии, замечает автор, почти все исследователи обращают внимание на «конкретно-индивидуальный характер детской речи» (Wundt, Ziehen, Мейманн, Погодин, Нечаев, Лай и др.), т. е. в онтогенезе бросается в глаза начальное преобладание первичных дифференцировок, предшествующее образованию речевых рефлексов высших порядков (удлинению речевых рефлекторных «цепей») и замыканию их в группы (интеграция). Можно думать, заключает автор, что в процессе эволюции речи многократно сменяются фазы дифференцировок и обобщений, приводящие к замыканию условно-речевых рефлексов все более и более высокого порядка, вместе с тем язык все более и более обогащается «общими» и, наконец, «абстрактными» речевыми символами.

Намечаемый автором фило- и онтогенез речи дает ему основание утверждать, что «индивидуальная детская речь показывает, каково было это детство языка у целой расы, и словарь современного человеческого ребенка в возрасте 20 месяцев соответствует, приблизительно, речи взрослых дочеловеческих предков ребенка».

Как ни соблазнительна подобного рода аналогия, нам думается, от нее все же следовало бы воздержаться, даже учитывая «приблизительно», ибо

в языке-речи дочеловеческого примитива отсутствует крупнейший фактор, действующий в языке ребенка, — «звуковая ассимиляция» с языком окружающей взрослой среды. Стало быть, процесс возникновения в языке человеческого примитива искусственных условно-речевых рефлексов (созвучных и эхололических) гораздо более сложен, чем в языке современного ребенка, а отсюда и весь процесс развития языка — речи примитивного человека — проходит, несомненно, несколько иной, и притом более сложный и длительный путь, нежели язык современного ребенка.

Два последние из известных нам трудов в области изучения языка русского ребенка: 1) Сборник статей под редакцией Н. А. Рыбникова «Детская речь», изд. Московского института экспериментальной психологии (М., 1927) и 2) коллективный труд — «Речь и интеллект в развитии ребенка». Экспериментальное исследование речевых реакций ребенка под ред. А. Р. Лурия. Труды Психологической лаборатории Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской. Т. 1 (М., 1927) — представляют собою, главным образом, методологический интерес и в этом смысле весьма ценны, с одной стороны — как руководство, с другой — как показатели наших новейших и весьма значительных достижений в области методологии изучения языка ребенка — в первую очередь, и затем — в области дальнейшего эксперимента и накопления материала. К первой группе относятся: Н. А. Рыбников «Методы изучения речевых реакций ребенка»; А. Шуберт «Тесты на испытание словесного развития детей»; «Программа для наблюдения над развитием детского языка»; А. Р. Лурия «Речевые реакции ребенка дошкольного возраста»; И. А. Котляр «Исследование речевых реакций детей младшего школьного возраста»; Г. С. Фейман — на ту же тему; Д. М. Маянц и Ю. С. Юсевич «Опыт исследования речевых реакций детей 13—16 лет»; М. А. Шнейдер «Речевые реакции нервно-психически-больного ребенка». Последние из названных выше статей составляют содержание сборника «Речь и интеллект в развитии ребенка». Кроме методологического интереса, они же представляют ценность и в смысле богатства фактического материала. В первом из названных сборников интересный новый материал дают статьи А. Э. Гоер и Г. Гоер (Дерягина) «Первый период языковой деятельности ребенка» — и А. Н. Гвоздева «Усвоение ребенком родного языка». Кроме того, здесь же помещен и обстоятельный Указатель литературы по языку ребенка (по октябрь 1926 г.), обнимающий 355 названий и составленный прекрасным знатоком предмета Н. А. Рыбниковым.

А. Н. САМОЙЛОВИЧ

ТУРКОЛОГИЯ И НОВОЕ УЧЕНИЕ О ЯЗЫКЕ

I

Творец яфетической теории, развившейся в новое учение о языке, **акад. Н. Я. Марр**, с детства практически знакомый с восточно-анатолийскими говорами турецкого языка на границах Кавказа, еще при поступлении своем в университет сопоставлял свой родной грузинский язык с «соседним восточным языком, турецким». «Мысль эта, впоследствии временно отпавшая, на самом деле одна из животрепещущих научно-общественных проблем, выдвигаемых ныне яфетической теорией; для нас, впрочем, это уже не проблема, а бесспорное и основное положение, требующее лишь детальной проработки на турецком материале» — писал Н. Я. Марр в своей автобиографии 1927 г.¹

За период времени, в течение которого мысль о генетических связях между языками тюркской системы и яфетическими оставалась «отпавшей», т. е. до 1925 г., Н. Я. Марр касался в различных своих работах по различным поводам отдельных современных и древних тюркских народов, их языков, литературы и их национальных названий: анатолийских турок, азербайджанцев, кумыков, карачайцев, балкар, казаков,² хазар, гуннов,³ якутов.⁴

Задолго до своих работ по чувашскому языку Н. Я. Марр вступил в ряды туркологов. Особого упоминания заслуживает его ценный вклад в изучение живых восточно-анатолийских диалектов, сделанный еще в 1904 г.

¹ Журнал «Огонек», № 27 (223) от 3 июля 1927 г. Перепечатано в т. I *Избранных работ Н. Я. Марра*, Л., 1933, стр. 9.

² См. напр. «Кавказский культурный мир и Армения» (1915 г.) с упоминанием турок, азербайджанцев, кумыков, карачайцев, балкар и с объяснением слова «казак» (стр. 9).

³ См. напр. «К истории передвижения яфетических народов с юга на север Кавказа» (1916 г.), стр. 1392, 1404; «Кавказские племенные названия и местные параллели» (1922 г.), стр. 10, 11, 12, 13.

⁴ Якутские параллели. XV, VI, стр. 352—353.

Сб. в честь Н. Я. Марра.

и опубликованный в 1911 г. Я имею в виду турецкие тексты и слова в грузинской транскрипции, включенные в «Дневник поездки в Шавшетию и Кларджетию», который приложен к книге VII «Текстов и разысканий по армянско-грузинской филологии». К сожалению, материалы по устной художественной литературе восточно-анатолийских турок, в том числе большой отрывок из Kõroğlu (стр. 61—70), собранные в 1904 г. акад. Н. Я. Марром, до сих пор остаются неиспользованными со стороны туркологов. Так, в новейшей работе по Kõroğlu турецкого исследователя Пертев Наили Kõroğlu destanı (Стамбул, 1931 г.) записи Н. Я. Марра не упоминаются (см. стр. 135, 249—256).

Наиболее крупные работы Н. Я. Марра по изучению тюркских языков в свете нового учения о языке связавы с его поездками в 1925 г. в Чувашию, в 1926 г. в Баку и в 1933 г. в Турцию.

II

Весьма увлекательно написанный и прочитанный 30 июня 1925 г. в Чебоксарах доклад «Чуваши-яфетиды на Волге» (Чебоксары, 1926 г.) состоит из трех глав: I — история яфетидологии и родство чувашского языка с яфетическими (стр. 3—18), II — чувашский, русский и финские языки и топонимика Чувашии (стр. 19—53); III — хазары, болгары и чуваша (стр. 53—72).

Если формально эта работа включает тюркские языки чрез чувашский в еще более обширный круг языков, чем старая «туранская» теория, на которую опирались и опираются идеологи «пантюркизма» и «пантуранизма», то по существу она дает для тюркологии совершенно новые установки, направленные одновременно и против идей европейского империализма и великодержавничества в языкознании и против местного национализма угнетавшихся и за пределами СССР угнетаемых народов Востока. К этой и к последующим работам Н. Я. Марра по тюркологии полностью относятся слова вступления к сборнику статей к сорокалетию его научной деятельности, изданному ГАИМК:¹ «Своими многочисленными работами, написанными в этот героический период, Вы увенчали славу победоносного социализма ниспровержением кумиров буржуазной науки с их догматами классового и национального угнетения. В результате Ваших работ оказались разоблаченными самые основы формалистического великодержавного буржуазного языкознания с его обоснованием расовой розни, культурного

¹ «Из истории докапиталистических формаций». М. — Л., 1933.

неравноправия народов, культурной обреченности так называемых «исторических» наций».

Я считаю обязательным для современной туркологии следующие руководящие мысли акад. Н. Я. Марра, которые он высказал в докладе «Чувашский язык и его место в истории языков»: 1) «Различные семьи (по позднейшей терминологии — системы — *А. С.*) языков, семитическая, индоевропейская, уралоалтайская, т. е. турецко-монгольско-угро-финская в языковом отношении не представляют расово различных образований, это семьи (системы — *А. С.*) хозяйственно-общественно народившихся языковых типов, возникавших в процессе сложения и развития общественного хозяйства и связанного с ним схождения, скрещения различных племенных языков. Яфетические языки, в числе их чувашский, представляют по типу переживание до-исторического состояния человеческой речи, следовательно, доисторических яфетических языков, из которых в различные эпохи и в различных странах вылучились семьи (системы — *А. С.*) и хамитическая и семитическая и индоевропейская и, как теперь мы получаем возможность утверждать, также угро-финская и монголо-турецкая, к которым нам перебрасывает мост чувашский язык» (стр. 15). 2) «Бесспорно чувашский язык родственен с турецкими (тюркскими — *А. С.*). Но родство с турками (тюрками — *А. С.*) исходит из того, что чувашский язык — единственный сохранившийся из той тесно связанной группы яфетических языков, из которой сложились впоследствии турецкие (тюркские — *А. С.*) языки¹. Чувашский язык теперь дает возможность разъяснить древности турецкой языковой семьи (системы — *А. С.*), используя через свое посредство все богатства родственных с ними, одинаково с ними до-исторических, яфетических языков. Турецкие (тюркские — *А. С.*) языки, с момента их возникновения исторические (разрядка наша — *А. С.*), также не в силах служить источником для разъяснения подлинных древностей ни своих, ни тем более чувашских, как нельзя возникновение реки разъяснить условиями местоположения устья» (стр. 17).

III

Дальнейшее развитие этих мыслей Н. Я. Марра о системе языков, как одной из стадий единого процесса языкообразования, нового учения о языке и в связи с дальнейшим развитием учения о языке находим в докладе «Расселение языков и народов и вопрос о происхождении ту-

¹ Эта мысль Н. Я. Марра отражена в его работе 1926 г. «К истории языка» (По этапам развития яфетической теории. Сб. статей Н. Я. Марра, 1926, стр. 297, 301, 302, 310, 312—313).

рецких языков», читанном в 1926 г. в Азербайджанском университете в Баку и в ГАИМК'е.¹

Доклад состоит из предисловия (18—22), заканчивающегося перепечаткой вступления к статье «Готентоты-средиземноморцы» с использованием чувашского языка, и из двух глав: 1 — об арабах и исламе (22—24) и критика туркологических работ, написанных по «старому формальному учению об языке» (24—43); 2 — «намечение пути к определению места турецких (тюркских — *А. С.*) языков в едином процессе языкотворчества всего человечества» (43—60).

Туркологи должны безоговорочно признать правильным критическое замечание Н. Я. Марра, что «Рассеянные на обширном пространстве от крайних пределов глубокой Азии до Средиземного моря, представляющие, по совокупности в различных районах, ряд ступеней культурного развития, каждая неразрывно связанная с хозяйственно-общественной жизнью соответственного территориального объединения, турки (тюркские народы — *А. С.*) под пером ученых специалистов трактуются как надстроечные социальные ценности, отвлеченно от истории материальной культуры и общественных форм каждого данного района, трактуются они в разрезе отвлеченно-религиозных или отвлеченно-лингвистических или общих отвлеченно-этнологических интересов без увязки с окружением, с его конкретной жизнью» (24—25). Несовершенная попытка обосновать ту же мысль была сделана мною в 1926 г. в отношении тюркских народов Кавказа² под воздействием в частности таких фактов, как различия в названии дней недели.³ Факты из области числительных, именно различия в системах названий десятков между отдельными группами тюркских языков, отмеченные мною в работе 1927 г.⁴, также достаточно ярко подкрепляют вышеприведенное положение Н. Я. Марра.

Не подлежит оспариванию и второе критическое замечание Н. Я. Марра: «генезис каждого из этих районных культурных миров турецких (тюркских — *А. С.*) народов при единственном пока в академическо-научных кругах формальном методе разъясняется исключительно как результат действия той или иной господствующей культуры на турецкую (тюркскую — *А. С.*) среду или порождение даже одного взаимодействия различных мировых культур в той же турецкой (тюркской — *А. С.*) среде. Турецкая

¹ Под знаменем марксизма, 1927, № 6, стр. 18.

² «Кавказ и турецкий мир». Изв. Общ. общ. и изуч. Азербайджана, № 2, 1926, стр. 3—9.

³ ЯС, II, 98—119 (1923 г.); III, 65—70 (1925 г.).

⁴ «Турецкие числительные количественные и обзор попыток их толкования». Языковедные проблемы по числительным. 1927, стр. 135—156.

(тюркская — *А. С.*) же среда лишь пассивно и как бы случайно приемлет то или иное влияние или переплет столкнувшихся влияний» (стр. 25). Призвая правильным это критическое замечание, тюрколог, само собою разумеется, вместе с тем не может отказаться совершенно от отнесения тех или иных культурных явлений у отдельных тюркских народов к числу заимствований или внешних влияний.¹

Заслуживает быть отмеченным признание со стороны Н. Я. Марра особой лингвистической близости между собою тюркских языков. «Лингвистически близким соотношением турецких (тюркских — *А. С.*) наречий между собою нельзя найти аналогии даже в тех группировках, в которые внутри системы протоеидских (индоевропейских — *А. С.*) языков успели сложиться, особо германские языки, особо романские языки, особо славянские языки, особо иранские, находящиеся также в громадном большинстве и внутри своих групп во взаимоотношениях самостоятельных языков, а не диалектов, наречий и тем менее говоров.... Турецкая (тюркская — *А. С.*) группа взаимоотношениями входящих в ее состав языков, казалось бы, ближе стоит к взаимоотношениям языков, составляющих так наз. семитическую семью, но семитические языки, так близкие друг к другу в большинстве, как, скорее, наречия, чем языки, все-таки сильнее отстоят друг от друга, чем турецкие (тюркские — *А. С.*) в своих взаимоотношениях...» (стр. 31). Такое состояние тюркских языков Н. Я. Марр объясняет, как результат «громадной общественной работы», «громадного отражающего ее динамического языко-творческого процесса, пройденного турецкими (тюркскими — *А. С.*) языками» (31), и тюрколог не может не согласиться с этим объяснением.

IV

Значительная часть главы первой доклада «Расселение языков и народов» уделена критике моего опыта классификации тюркских языков (28—42) в первой редакции, хотя вторая редакция вышла в свет еще в начале 1926 г.² Под влиянием этой критики с точки зрения нового учения о языке, я воздержался от опубликования третьей редакции моей классификации, доложенной на украинском Съезде востоковедов в Харькове в 1929 г., несмотря на то, что и первая редакция продолжает поныне пользоваться относительным признанием у западно-европейских тюркологов.³

¹ Ср. ЯС, VII (1932), стр. 42—43.

² «К вопросу о классификации турецких языков». Бюлл. Орг. комитета по созыву I Всесоюзн. Тюрколог. съезда, № 4, Баку, 28 февраля 1926.

³ См. Gunnar Jarring. Studien zu einer ost-türkischen Lautlehre. Lund-Leipzig, 1933, стр. 56.

Глава вторая доклада «намечает путь к решению, собственно, к определению места турецких языков в едином процессе глоттогонии или языко-творчества всего человечества» (стр. 42), так как в ходе исследовательских работ у автора доклада возникла «потребность увязки и азиатских языков, в числе их и турецких (тюркских — А. С.), с тем единым глоттогоническим процессом, центром которого давно наметилось Средиземноморье» (стр. 43).

Глава эта иллюстрирована рядом блестящих примеров, среди которых особый интерес представляют примеры, связанные с яфетическо-чувашско-тюркским словом kol ↔ kul «рука»: латинские слова cul-tur-a, глагол colo «обрабатываю землю» и «почитаю бога», cul-ter «нож» и др. (стр. 52—54).

Ни один серьезный турколог, если только он не находится в безнадежном плену у традиционного старого языковедения, обреченного на гибель вместе с породившей его и вступившей ныне в стадию загнивания социальной системы — капитализма, не может игнорировать настоящей работы акад. Н. Я. Марра по истории системы тюркских языков, первой и единственной работы, которая действительно «намечает путь к... определению места турецких языков в едином процессе... языко-творчества всего человечества».

Специалисты туркологи, на отсутствие помощи которых справедливо сетует Н. Я. Марр (стр. 52), должны не только развивать дальше новейшие труды Н. Я. Марра по туркологии, но и обогатить внесением туркологических материалов прежние его труды по новому учению об языке, написанные еще без учета или без достаточного учета данных из тюркских языков. При чтении трудов Н. Я. Марра туркологу часто без особых усилий удается вносить дополнения из области своей специальности. Так, для заметки Н. Я. Марра «Берская» лошадь «от моря до моря» (1926 г.) дополнительно к корейскому mal, сохранившему первичную полноту одноэлементности в отличие от китайского ma¹, следует привести и алтайско-тюркское mal тоже в значении коня.²

Турколог может предложить свои дополнения и тогда, когда затрагивается вопрос о «йонском» коне.³ Так, хотя в статье⁴ Н. Я. Марра (1931 г.) «Новый поворот в работе по яфетической теории» подчеркнута необходимость привлечения тюркских языков в лингвистических исследованиях «даже

¹ Доклады Академии Наук, В., 1926, ноябрь — декабрь, стр. 131.

² Радлов. Опыт словаря тюркских наречий. IV, 2036. Ср. заметку Giese в Der Islam 1919, № IX, стр. 258.

³ По этапам развития яфетической теории, стр. 82, 319.

⁴ ИАН СССР за 1931 г., стр. 637—682. — Н. Я. Марр. Избранные работы, т. I, 1933, стр. 312—346.

тогда, когда речь идет о самых ранних эпохах Евразии» (стр. 343), однако, при сопоставлении (стр. 339) русского «коня» (kon-e) и немецкой «собаки» (hun-d) не упомянут один из тюркских¹ «коней» — «yon-d» или «yon-t», сары-югурское «yo-t».

V

Ряд туркологических работ, предпринятых Н. Я. Марром в связи с поездкой в Турцию в 1933 г., еще не закончен или находится в печати, и я могу поэтому пока пользоваться лишь статьей «Культурные отношения между СССР и Турцией. Заметки советского ученого в Турции», помещенной на французском, английском и немецком языках в журнале ВОКС'а «Советские новости» (1933, № 6). Ссылаясь в этих заметках на свою статью «Расселение языков и народов», Н. Я. Марр сообщает, что его исследования прошлого года по языку и материальной культуре на местах в Анатолии и Греции дали новые материалы, подтверждающие «присутствие турок на средиземноморском побережье до образования греко-римского мира, до образования языков греческого и латинского» (стр. 18). «Средиземноморская проблема—это турецкая проблема на современной стадии развития наших исторических знаний» (там же).

Как я понимаю, под турецкой проблемой разумеется совокупность всех стадий исторического процесса анатолийских турок и их языка, начинающая от стадии яфетической, процесса, развивавшегося скачкообразно на одной и той же территории.

Изумительно интересный пример для иллюстрации тесных связей между турецким языком и одним из древних языков Малой Азии — лидийским — приведен Н. Я. Марром в его статье² «К 50-летию смерти Карла Маркса», в которой (стр. 14—18) на основании материалов поездки в Турцию в 1933 г. турецкое название своего рода «петрушки» — «Kağagöz», разъяснившееся по разному прежними исследователями турецкого теневого театра, сопоставлено Н. Я. Марром с именем известного лидийского царя Креза (Kröz).

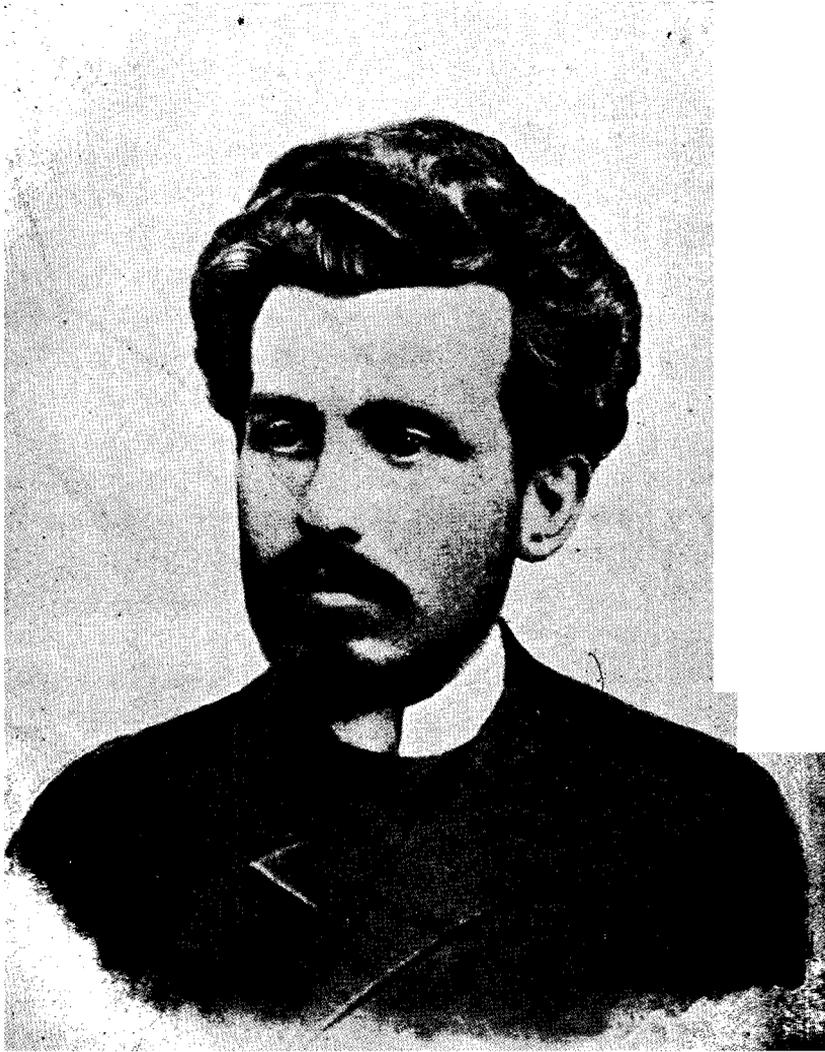
Таким образом, трудами Н. Я. Марра по туркологии в свете нового учения об языке, исследующего язык в неразрывной связи с мышлением и с историей материальной культуры, туркология революционным путем всту-

¹ Словарь Радлова, III, 418—419. Словарь Махмуда Кашгарского, III, 5. Моя статья «К вопросу о двенадцатилетнем животном цикле у турецких народов». Вост. зап., 1, 1927, стр. 153.

² Карл Маркс и проблемы истории докапиталистических формаций. Сборник к пятидесятилетию со дня смерти Карла Маркса. Известия ГАИМК. М. — Л., 1934, стр. 3—21.

пает в новую эру развития, подготовленную Октябрьской революцией и оплодотворяемую философией диалектического материализма и установками Ленина — Сталина по национально-колониальной проблеме.

Эта новая эра в туркологии только еще начинается. Ее дальнейшее развитие по пути марксизма-ленинизма, на который вступило и новое учение о языке Н. Я. Марра, требует от нас обширной, напряженной работы и по укреплению методологической базы, и по овладению богатейшими фактическими языковыми материалами не только в пределах системы тюркских языков, но и других систем и, прежде всего, системы языков яфетических, и по увязке лингвистических исследований с изучением истории материальной культуры и вообще истории. Работы Н. Я. Марра открывают перед туркологией невиданно блестящие, совершенно новые, увлекательные перспективы.



Н. Я. Марр в 1890 г.

W. ABAJEFF

ZUR PALÄONTOLOGIE DER „LIEBE“ UND DES „HASSES“

Liebe und Hass sind von alters her als die zwei mächtigsten Leidenschaften des Menschen anerkannt und in Poesie und Prosa mehrfach geschildert. Als diametral entgegengesetzte Gefühle sollten sie, es scheint, einander ausschliessen. Doch behaupten die Kenner der Psyche, dass in Wahrheit die Sache ganz anders dastehe: dass die Liebe mit Leichtigkeit in Hass übergeht und umgekehrt; dass beide Leidenschaften öfters so eng untereinander verwickelt sind, dass man nicht entscheiden kann, ob man an Liebe oder an Hass denken soll; dass, schliesslich, die Distanz zwischen Gleichgültigkeit und Liebe unermesslich grösser ist, als die zwischen Liebe und Hass.¹

Ist das alles richtig? Der Leser kann die Antwort aus seiner eigenen Erfahrung schöpfen. Ich habe keinen Anspruch diese dunklen Tiefen der menschlichen Seele zu erforschen; doch halte ich es für bemerkenswert, dass die paläontologisch-linguistische Analyse von einem ganz anderem Standpunkte aus die Einheit der Liebe und des Hasses bestätigt. Hier will ich einige sprachliche Tatsachen anführen, aus denen sichtbar wird, auf welche Weise «Liebe» und «Hass» sich aus einem und demselben Begriffe entwickeln können.

Osset. *warz-* 'lieben' setzt ein arisches **varg-* voraus. Dieses letztere aber stimmt ganz mit slav. **vorgu*, aksl. *vragu*, russ. *вораг* 'Feind' überein.

¹ Mit schöner Naivität hat Catullus die verwirrende Nähe der beiden Gegensätze — Liebe und Hass — ausgedrückt:

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

Maupassant schreibt: «Il existe assurément un amour atroce, cruellement torturant, fait de l'invincible enlacement de deux êtres disparates, qui se détestent en s'adorant» („L'épingle“).

Diese «Verwirrung» der Gefühle schildert auch Dostojewsky: «... Из-под беспрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает любовь... Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает ненависть, — самая великая! Я бы никогда не мог вообразить прежде все эти... метаморфозы». («Бесы», II Teil, 6 Kap., VII).

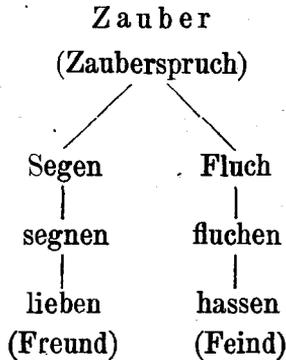
Lautlich ist diese Zusammensetzung einwandfrei. Was nun die Bedeutung anbetrifft, so erschien mir anfangs die Sache etwas zu paradox, bis mir ähnliche Tatsachen aus einem anderen Gebiete bekannt wurden.

Die Bedeutung des arischen **prī-*, ai. *prī-*, aw. *frī-* ist festgestellt, als «lieben, befriedigen». Doch unterliegt es kaum einem Zweifel, dass die ältere, konkrete Bedeutung in dem mit dem Praefix *ā* zusammengesetzten awest. *ā-frī-* 'beschwören' sich erhalten hat (gerade so, wie die ältere, magische Bedeutung von russ. *говорю* 'sprechen' sich in dem mit *за-* zusammengesetzten *за-говор* 'Beschwörung' erhalten hat). Awest. *āfrīti-* bedeutet 'Segen' wie 'Fluch', und aus den Belegstellen ist vollkommen klar zu ersehen, dass es sich um einen Zauberakt handelt. Die Ambivalenz des Wortes folgt notwendigerweise aus der Natur der magischen Handlung. Die magische Weltanschauung setzt einen Dualismus und Antagonismus zwischen den lichten und finsternen Mächten, resp. zwischen dem eigenen und fremden Stamme voraus. Eine und dieselbe Zauberhandlung kann deswegen gleichzeitig ein Akt der Liebe und des Hasses sein, freundlich für die Einen und feindlich für die Anderen. Zum Beispiel, der Zauberspruch bei der Heilung eines Kranken ist zugleich freundlich (gegenüber dem Kranken), also ein Akt der Liebe, — und feindlich (gegenüber den bösen Mächten, welche den kranken Körper in der Gewalt haben), also ein Akt des Hasses. So entwickelt sich aus dem Begriffe des «Zaubers» einerseits die Bedeutung des «Segens» und der «Liebe», andererseits die des 'Fluches' und des «Hasses».

Wenn wir jetzt zu slaw. **vorgu* 'Feind' zurückkehren, so wird dessen Zusammensetzung mit osset. *warz-* 'lieben' nicht so «shocking» aussehen. Neben dem **vorgu* 'Feind' finden wir im Slawischen **vorg-* 'zaubern', dessen Identität mit dem ersteren, trotz Fr. Miklosich, Etym. Wörterbuch der slaw. Spr., S. 395, ausser Zweifel steht (cf. russ. *говорю* 'zaubern', neben *сору* 'Feind'). Die Semantik ist also dieselbe, wie bei aw. *frī-*, *āfrī-*, nur hat im Slawischen die negative («feindliche») Bedeutung die Oberhand gewonnen, nicht die positive («freundliche»), wie im Iranischen. Die positive Seite der ambivalenten Bedeutung des gemeinsamen slawisch-ossetischen Wortes liegt in osset. *warz-* 'lieben' vor.¹

¹ Slav. **vorg-* und das von osset. *warz-* vorausgesetzte ar. **varg-* scheinen mir zu der gemeinindogermanischen Wortsippe **werg-* || **worg-* 'Werk' zu gehören: gr. *ἔργον* 'Werk', *ἐργάζομαι* 'arbeiten' etc., nhd. *wirken*, *Werk*, engl. *work*, awest. *varəz-* 'wirken'. Die ursprüngliche Bedeutung ist wohl — 'Zauberwerk'. Für den magisch-kultischen Ursprung des Wortes sprechen entscheidend gr. *ἄρτυα* 'kultische Handlung', 'Gottesdienst' und gr. *ἑρθεῖν* 'opfern'. Die semantische Abweichung des Ossetischen von Awestischem (aw. *varəz-* 'wirken' — oss. *warz-* 'lieben') dürfte nicht allzu sehr befremden, wenn man die Kompliziertheit der Sprachentwicklung und die

Das Schema der Bedeutungsentwicklung ist also folgender Art:



Ich möchte noch einige nachträgliche Bemerkungen hinzufügen:

1. Osset. *æsnag* 'Feind' und osset. *æljitæg* 'Flucher' (von *æljityn* 'fluchen') sind Synonyma. Man kann in derselben Phrase beliebig das eine oder das andere Wort gebrauchen. Man kann z. B. sagen: *de'æsnag aftæ* 'deinem Feinde (geschehe) so' und *de'ljitæg aftæ* 'deinem Flucher (geschehe) so'.

2. Osset. *arfæ* (mit aw. *āfrī-* und npers. *āfrīn* verwandt) bedeutet nicht nur 'Segen' (Gr. I Anhang, S. 79), sondern überhaupt 'Zauberspruch', 'Beschwörung', z. B. *cæsti arfæ* 'Zauberspruch (gegen das böse) Auge' (Памятники народного творчества осетин II, S. 171 ff). Die Bedeutung ist offenbar magisch und ambivalent.

3. Auf Grund derselben Semantik erkläre ich noch zwei ossetische Wörter: *xæzgul* 'Geliebte' und *fydgul* 'Feind'. Die zweite Hälfte der Wörter enthält oss. *kur-* 'bitten' (*kur* → *gur* → *gul*). Die eigentliche Bedeutung von *xæzgul* ist also 'Gutes bittend' (*xæzgul* aus *xæzkur*, wo *xæz* ← *xorz* 'gut', 'das Gute')¹ und von *fydgul* — 'Böses bittend' (*fydgul* aus *fyd-kur*, wo *fyd* — 'das Schlimme, das Böse'). Das *r* in *xæzr*, bevor es verschwand, bewirkte die Dissimilation: **xæzrgur* → *xæzgul* → *xæzgul*. Nach Analogiebildung wird dann das *l* auch auf *fydgul* übertragen: **fydgur* → *fydgul*.

Die magische Urbedeutung von oss. *kur-* 'bitten' ist heutzutage verblasst, doch in dem davon abgeleiteten *kurdiat* ist sie noch spürbar. In den

besondere Stellung des Ossetischen im iranischen Sprachkreise in Betracht zieht. Diese Abweichung ist übrigens nicht grösser als die zwischen awest. *āfrī-* und npers. *āfrīdan* (s. unten). Man könnte sogar sagen, dass der Bedeutung nach awest. *varaz-* 'wirken (= schaffen)' sich gerade so zu osset. *warz-* 'lieben' verhält, wie npers. *āfrīdan* 'schaffen' zu awest. *frī-* 'lieben'. Die magische Semantik von arisch **vatg-* ist in ormuri *ɣwaž* 'schwören' erhalten (orm. *ɣwaž* = aw. *varaz-*, G. Morgenstierne, Indo-iranian frontier languages I, S. 335, 396).

¹ Falsch bei Miller, Gr. I Anhang, S. 66 ('an der Seite liegend').

ossetischen Sagen bedeutet *kurdiat* die magische Kraft oder Fähigkeit das Erwünschte oder Gebetene zu erhalten. Man kann also die ursprüngliche Bedeutung von *kur-* mit völliger Sicherheit feststellen: 'zaubern', 'beschwören', 'mit Beschwörungen erbitten etwas für sich oder für Jemanden', dann — 'Gutes oder Böses anwünschen'. Es ist ersichtlich, dass die ursprünglich ambivalente Bedeutung von *kur-* mit Hilfe von *xæ^r'z* 'Gutes' und *fyd* 'Böses' in zwei entgegengesetzten Richtungen präzisiert worden ist: *xæzgul* 'Gutes anwünschend' → 'Geliebte' und *fydgul* 'Böses anwünschend' → 'Feind'.

4. Npers. *āfrīdan* 'creare' neben *āfrīn* 'laus' scheint eine schwierige semantische crux darzustellen. P. Horn. Grundriss der Npers. Etym. S. 10, stellt sogar die Frage, ob hier nicht zwei ganz verschiedene Wörter vorhanden wären. Die Lösung liegt in der magischen Semantik des Wortes. Von unserem Standpunkte aus ist die Bedeutung von *āfrīdan* 'creare' ein gesetzmässiges Derivatum der ursprünglichen Bedeutung 'zaubern' (aw. *āfrī-*), denn im primitiven Denken kann «schöpfen» nichts anderes bedeuten, als «mit Zauber hervorrufen».

5. Wir haben gesehen, dass die **Ambivalenz** ein charakteristisches Merkmal der magischen termini ist. Daraus erklärt sich die sonderbare Semantik solcher Wörter, wie das deutsche *bannen* oder lat. *sacer*. Die zwei entgegengesetzte Bedeutungen von *bannen*, 'incantare' und 'expellere', bezeichnen, ins magische Denken übertragen, nichts anderes als 'mit Zauber anlocken' und 'mit Zauber verjagen'. Die Ambivalenz von *sacer*, 'gesegnet' und 'verflucht', beruht auf derselben Semantik. Ein schönes Beispiel der Ambivalenz der magischen termini bietet auch ai. *rakš-* 'hüten' und 'schädigen'.

Zum Schluss sei betont, dass die oben geschilderte Bedeutungsentwicklung keineswegs die einzig mögliche ist für die Begriffe der Sympathie und Antipathie in allen Sprachen. Die Polygenesis der Begriffe ist ein allgemeines Gesetz der Sprachentwicklung, welches für die paläontologische Analyse der *Abstracta* besondere Geltung hat. Es ist nicht nur möglich, sondern höchstwahrscheinlich, dass in anderen Sprachen 'Liebe' und 'Hass' eine andere Entstehung voraussetzen. Es gibt Sprachen (z. B. die georgische), wo die Begriffe 'lieben', 'hassen' nur passivisch sich ausdrücken lassen (wie deutsch 'es gefällt mir'). Diese Ausdrucksform beruht augenscheinlich nicht auf dem Begriffe der aktiven (magischen) Wirksamkeit, sondern auf dem der Ergriffenheit oder Besessenheit.

H. ADJARIAN

1. Arm. *խոց* *xuḥ*

On a expliqué ce mot de différentes manières; voir ces étymologies dans mon Dictionnaire (Armatakan Bararan), t. III, p. 665—666. Elles sont toutes fausses.

Je crois que le mot arm. *խոց* *xuḥ* «cellule (petite chambre)» est emprunté à l'assy. *xuṣṣu* «chaie. 2. partie additionnelle d'un édifice». Le premier sens du mot était «espèce de roseau», d'où «maisonnette de roseau», puis «chaumière, cabane» (v. Muss-Arnolt, Assyrisch-englisch-deutsches Handwörterbuch, Berlin, 1905, p. 331 b.). Etymologiquement le mot assyrien est parent de: hébr. *עָרֵב* *xūš* «das Draussen, Strasse, Gasse, was ausserhalb d. Stadt liegt» (Gesenius, 17, p. 219), ar. *خَصَّ* *xuṣṣ* «maison construite de chaumes: 2. maison dont le plafond est seul de bois, les murs, de chaume. 3. cabaret» (Qamus, éd. Constantinople, t. II, p. 373).

2. Pehlévi *dašn*

Dans son «Hilfsbuch des Pehlévi» (Uppsala 1931), II, 173, Mr. Nyberg traite d'un mot pehlévi *𐭌𐭎𐭓* qu'il lit hypothétiquement **pašn* et qu'il traduit «etwa Vertrag, Vereinbarung».

Je crois qu'il faut corriger le mot, avec une petite correction (*𐭌* au lieu de *𐭌*): *𐭌𐭎𐭓* et lire: *dašn*. Et alors nous trouverons exactement le mot arm. *դաշն* *dašn* qui signifie justement «Vertrag, Vereinbarung». Ainsi le mot arm. *dašn* devient un emprunt au pehlévi, de même que le géorg. *დასნი* *dašni* «соучастник, соумышленник».

Erivan, le 14 août 1933.



Л. Г. БАШИНДЖАГЯН

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА?

(К вопросу о методологии лингвистического исследования)

Заглавие настоящей статьи не придумано автором: оно представляет собой вопрос, много раз задававшийся ему и его товарищам, устно или «запискою» на лекциях и докладах по новому учению о языке.

В сохранившихся у автора записках вопрос обычно излагается страннее: «Яфетическую теорию мы все понимаем и принимаем, как марксистскую, но зачем нам нужны четыре элемента?»

Судя по большому количеству записок, повторяющих в различных вариантах один и тот же вопрос, он является самым неясным и даже большим для широких масс педагогов и вузовской молодежи. Судя же по тому, в какой ничтожной мере используются четыре элемента в специальных научных исследованиях по языку, этот же вопрос «Зачем нужны четыре элемента?» стоит, очевидно, и перед специалистами лингвистами, в том числе и сторонниками нового учения о языке.¹

Между тем, «четыре элемента» являются не только органической составной частью нового учения о языке, но и той конкретной лингвистической базой, на которую оно опирается и, одновременно, единственно действенным для его последователей средством лингвистического анализа.

Это обстоятельство, не раз отмечавшееся печатно самим Н. Я. Марром, делает на первый взгляд особенно непонятным холодное отношение к четырем элементам со стороны даже горячих сторонников нового учения о языке.

Настоящая статья, оставляя в стороне историю учения о четырех элементах, равно как и вопрос о происхождении и развитии четырех эле-

¹ Интересно, напр., отметить, что из 70 статей, помещенных в I—VII тт. Яфетического сб. (не считая работ самого Н. Я. Марра), используются, так или иначе, четыре элемента всего лишь в 11 статьях; из участвующих в Яфетическом сб. 39 авторов пользуются, в той или иной мере, анализом по элементам всего лишь 7 авторов.

ментов в глоттогоническом процессе, как вопросы в принципиальной части своей уже не раз излагавшиеся самим Н. Я. Марром, а для детального изложения нуждающиеся в особой исследовательской по ним работе, ставит своей задачей показать значение четырех элементов в практике лингвистического исследования, с выявлением как преимуществ элементного анализа перед «сравнительно-историческим», так и трудностей, связанных с применением анализа по элементам.

Статья стремится, таким образом, ответить по существу вопроса, сформулированного в заглавии.

По теории же четырех элементов, всесторонняя разработка которой на материалах отдельных языков имела бы, по нашему глубокому убеждению, огромное значение для дальнейшего развития советской лингвистики, в настоящей статье даются лишь фрагменты, необходимые для обоснования или уяснения выставляемых положений.

«Сравнительному методу» индо-европейской лингвистики новое учение о языке противопоставляет палеонтологический анализ, который требует изучения всех языковых явлений, фактов и процессов, как «исторических категорий».

Самый метод сравнения, при этом, сыгравший столь огромную роль в истории индо-европейского языкознания и оказавший значительное воздействие и на развитие многих смежных наук, не отбрасывается вовсе, но, включаясь в состав палеонтологического анализа, приобретает совершенно иной смысл: сравнению подлежат уже не языковые факты, рассматриваемые сравнительно-историческим языкознанием как отвлеченно-лингвистические категории, но лингвистические факты, возведенные в степень общественной значимости. В эту степень они возводятся именно учением о четырех элементах, как основой палеонтологического анализа.¹

Четыре элемента, в качестве элементов всякой человеческой речи (разумеется, звуковой), реально увязывают меж собой языки всего мира, независимо от их типологии (аморфности, агглютинации, флективности, инкорпорации), независимо от принадлежности к той или иной языковой «семье» (индо-европейской, семитической, яфетической, угро-финской и др.) или их предполагаемой изолированности, независимо от того — мертвые они или живые, культурные или примитивные.

¹ «... без предварительного производства такого анализа, без разложения слова на наличное в нем количество элементов, одного, двух или более, нельзя сравнивать, без такого анализа сравнительный метод не действителен». Н. Я. Марр. Яфетическая теория. Баку, 1927, стр. 7.

Дело, однако, не в том, что к развернутому на языковом материале учению о взаимосвязи языков всего мира, о так наз. «едином глоттогоническом процессе» Н. Я. Марр пришел лишь путем палеонтологического анализа, невозможного без четырех элементов, как и не в том дело, что без ~~четырёх~~ элементов невозможно было бы, конкретно, установить генетическую связь между столь различными, повидимому, словами, как груз. ღაღი 'собака' и баск. udagara 'выдра',¹ (сюда же и англ. dog 'собака'), или ~~землю~~ русск. «земля», нем. Himmel 'небо' и фр. semelle 'подошва'.² В этом отношении против необходимости четырех элементов в исследовательском деле всегда можно было бы использовать положение, выдвигаемое самим Н. Я. Марром против теории «праязыка», а именно, что четыре элемента «~~есть~~ сослужившая свою службу научная фикция».

Актуальность четырех элементов в том, что палеонтологический анализ практически и теоретически без них невыносим.

В самом деле, одно признание единства глоттогонического процесса, увязывающего языки всего мира в общий монистический процесс языко-творчества в смысле подчинения их всех в своем развитии одним и тем же всеобщим законам истории языка — недостаточно. Признание одного такого принципиального или «идеологического» «родства» языков всего мира, несмотря на все революционное значение такого признания, еще не дает возможности исследователю порвать революционно и с практикой формально-сравнительного лингвистического исследования.

Если, напр., груз. древне-лит. kur+ḡqal-i-, значащее 'слеза', разъясняется палеонтологически, как 'глаз+вода', и так же точно разъясняется слово «слеза» в баскском (ni + gar), тибетском (mig + ḡu), коми (ḡin + va), русском (sle + za), кабардинском (ne + ḡse), шумерском, китайском, марийском, чувашском и многих других языках различной типологии и различных «семейств», то красноречивые факты эти говорят нам лишь о том, что все указанные языки, несмотря на существующие между ними различия, «строят» слово 'слеза' по одному и тому же принципу, в соответствии с одними и теми же законами мышления на соответствующей ступени развития общества. Эти и многие другие, подобные этим, факты увязывают меж собой языки всего мира только принципиально, подобно тому, как принципиально же увязывают меж собой материальную культуру самых различных народов мира колесо, как средство передвижения, или топор, как орудие.

¹ Н. Я. Марр. Le terme basque udagara «loutre». Яф. сб., 1.

² Н. Я. Марр. Язык и мышление. ОГИЗ, 1931, стр. 41.

См. в честь Н. Я. Марра.

Общность семантических законов, установленных палеонтологией речи (закон наименования по функции¹, наименование части по целому,² закон расщепления слова на два противоположных понятия³ и др.), точно так же, как общность в технике словопроизводства, выявляющая общность путей развития техники мышления, являются в этом отношении наиболее яркими и непосредственными доказательствами единства глоттогонического процесса.

Но четыре элемента не только вскрывают эту наглядную картину «идеологического» единства процесса развития человеческой речи, где бы этот процесс ни осуществлялся, но и материально-лингвистически увязывают языки всего мира в одну неразрывную, хотя и сложнейшую ткань.

Только четыре элемента позволяют нам, напр., вывести китайский язык из его искусственной изолированности и установить общность его истории с историей других языков мира, выявить его «родство» с близкими и далекими от него во времени и пространстве языками.⁴ Любопытно сравнить в этом отношении высказывания А. Мейе, как виднейшего представителя современной «социологической» школы, о китайском языке с точки зрения сравнительного метода с высказыванием о китайском же языке, с точки зрения палеонтологии речи, Н. Я. Марра.

В своей работе: *La méthode comparative en linguistique historique* (Oslo, 1925) А. Meillet пишет: «Au contraire, les langues d'Extrême-Orient qui, comme le chinois ou l'annamite, n'offrent presque pas de particularités morphologiques, n'ont par là même rien où puisse se prendre le linguiste qui essaie de trouver des langues parentes aux parlars chinois ou aux parlars annamites...» (p. 26).

У Марра же, в работе 1927 г. «Яфетическая теория» (Баку), мы находим следующее указание: «Ясное дело, что при сравнительной грамматике *яфетическо-китайской* (курсив мой. — Л. Б.) морфологические признаки должны отпасть, да и фонетические значительно отойти на второй план. Главная работа над словарем, семантикой и синтаксисом. Естественно, в приемах этой сравнительной грамматики главную роль играет палеонтологический анализ формальный и идеологический по элементам» (стр. 150).

Итак, без анализа по элементам привлечение материала для той же «сравнительной грамматики» из языков различной типологии почти невоз-

¹ Напр.: 'одежь' (герр. 'собака') → 'лошадь', 'солнце' → 'соль'.

² Напр.: 'небо' → 'облако', 'звезда', 'птица' и др., 'вода' → 'рыба'.

³ Напр.: 'начало' ↔ 'конец' ← 'голова'.

⁴ См., напр., Н. Я. Марр. Яфетическая теория и семантика китайского языка. ДАН, В, 1926. Его же. Китайский язык и палеонтология речи. ДАН, В, 1926 (3 вып.). Его же. Египетский, шумерский, китайский и их палеонтологические встречи. ДАН, В, 1927.

можно, т. е. невозможно практическое применение в исследовательском деле теоретически утверждаемого (или разделяемого) положения о едином глоттогоническом процессе.

Теснейшим образом увязанное с последним учение Н. Я. Марра о стадильном развитии языка точно так же опирается на анализ по четырем элементам. Однако, и здесь главное заключается не в том, что четыре элемента оказали неопенимую помощь исследователю, дав возможность установить на конкретном материале наличие стадильных смен в истории языка, как бы велико ни было само по себе значение этого открытия, главное в том, что само проникновение в толщу лингвистических стадий практически неосуществимо без анализа по элементам. Одним из доказательств этого является неудача, постигшая так наз. «лингвистическую палеонтологию», зародившуюся было во второй половине XIX ст., но запустившая безнадежно в сетях формальных этимологий.¹

Только стадильный анализ, до четкой постановки которого новое учение о языке доходит с помощью четырех элементов, позволяет установить эту «до невероятности изумительную смену значений, что не может не казаться бессмыслицей группам и лицам, привыкшим к стабильности категорий и заинтересованным в ней».²

Происходит это потому, что четыре элемента открывают нам доступ к древнейшим стадиям развития языка, недоступным для сравнительного метода индо-европейского языкознания.

Сравнительное языкознание знает два способа анализа языкового материала:

а) анализ морфологический, расчленяющий слова на их структурные элементы, так наз. морфемы, и б) анализ фонетический, расчленяющий слова на отдельные звуки, из которых они состоят, так наз. фонемы.

Кроме указанных двух способов, сравнительное языкознание пользуется еще этимологическим анализом, т. е. установлением истории и происхождения отдельных слов, но на деле индо-европейская «этимология» представляет собой не столько особый способ исследования, сколько особую область лингвистики, при изучении которой применяется все тот же фонетико-морфологический анализ.³

¹ См. особенно А. Pictet. Les origines Indo-Européennes ou les Aryas primitifs. Essai de paléontologie linguistique. II éd., vol. I—III, Paris, 1877

² Н. Я. Марр. К семантической палеонтологии в языках не ястических систем. 1931, стр. 7.

³ См., напр., у А. Meillet. La méthode comparative... «Le premier point, sur lequel on est d'accord, en fait sinon en principe, c'est qu'une étimologie est valable seulement si les règles

Не входя по условиям данной работы в подробную и всестороннюю характеристику приемов лингвистического анализа, применяемых сравнительно-историческим языкознанием, ограничимся следующими конкретными замечаниями по самому их существу.

1. Морфологический анализ расчленяет отдельное слово на его конструктивные элементы согласно выполняемой этими элементами (морфемами) грамматической функции и в непосредственной зависимости от строя языка в целом. Естественно поэтому, что данный анализ в отношении языков, не обладающих «грамматическими формами» (напр., китайского), натывается на почти непреодолимые препятствия.

Что же касается языков, обладающих развитой морфологией (особенно — флективных), то обнаруживаемые в этих языках грамматические элементы морфологический анализ рассматривает исключительно статически, отказываясь даже от постановки вопроса об их происхождении.¹ Вопрос о становлении строя языка в целом находится в таком же точно положении.²

Морфологический анализ расчленяет, таким образом, отдельное слово не на те элементы, из которых оно исторически складывалось, а на те, на которые оно может быть расчленено с точки зрения уже сложившейся грамматической структуры данного языка.

Такой статический анализ языковых фактов, ограниченный нормами современного грамматического строя и не занимающийся тем, как складывались сами эти нормы, естественно бессилён обнаружить подлинную историю хотя бы одной формальной стороны словопроизводства, неразрывно связанной с идеологической.

2. Фонетический анализ расчленяет отдельное слово на так наз. фонемы, рассматриваемые сравнительно-историческим языкознанием как основные и простейшие единицы речи.

Если, однако, в слове мы имеем диалектическое единство идеологического и формального моментов — «значения» и «звучания», то в отдельных звуках, на которые расчленяет слова фонетика, мы отнюдь не можем видеть те же принципиально лингвистические категории.

de correspondance phonétique sont appliquées d'une manière exacte, ou, au cas où une divergence est admise, si cette divergence est expliquée par des circonstances particulières rigoureusement définies» (p. 36). Еще категоричней об этом же Meïe говорит на стр. 34 (ib.).

¹ «On observe les résultats des changements, non les changements eux mêmes» (A. Meillet, лит. соч., стр. 11).

² См., напр., у F. de Saussure, Cours de linguistique générale, P., 1922, p. 105 «... le seul objet réel de la linguistique, c'est la vie normale et régulière d'un idiome déjà constitué.»

История фонем и история слов различны, хотя и связаны меж собой неразрывными узами. Это различие, при формальной трактовке языковых фактов, приводит к прямому и полному разрыву между ними в индо-европейской лингвистике, к рассмотрению фонетической стороны языка как самодовлеющей, ничем не связанной ни с семантической, ни с грамматической функцией слов.

Фонетический анализ оперирует, таким образом, с языковыми категориями, принципиально отличными как в логическом, так и конкретно-историческом отношении от категории слов, хотя и расчленяет последние на фонемы.

Социальная значимость отдельной фонемы независима от социальной значимости конкретного слова, в состав которого она входит.¹

В сущности, оба способа исследования языкового материала в сравнительно-историческом языкознании объединяются в один фонетико-морфологический анализ. Основы обоих, устанавливаемые ими законы и соответствия, тесно переплетаются друг с другом, одинаково опираясь на «спрязык»² и одинаково заслоняя собой конкретные закономерности в развитии как отдельных языков, так и процесса языкотворчества в целом.

Этот фонетико-морфологический анализ представлялся ценным для науки о языке до тех пор, пока сами категории морфологии и фонетики казались изначальными и качественно неизменными.

До известной поры он удовлетворял и «яфетическое языкознание» (см., напр., блестящее применение его в работе Н. Я. Марра «Предварительное сообщение о родстве грузинского языка с семитическими», 1908), и только после Октябрьской революции и закладки основ «яфетической теории» основоположник ее, говоря его собственными словами, «почувствовал, что у яфетической теории уходит почва из-под ног, поскольку она орудует все-таки пережиточной техникою старого учения».³

Значение четырех элементов в исследовательском деле заключается прежде всего в новом принципе анализа языкового материала. Этот новый принцип состоит в том, что слова расчленяются не на фонемы,

¹ Лат. слово *arbor* 'дерево' может быть, напр., расчленено на отдельные фонемы *a*, *r*, *b*, *o*, *r*, из которых каждая имеет свою социальную значимость, независимо от значения слова *arbor* в целом и не являясь носителем ни доли, ни ипостаси, ни какого-либо аспекта этого целого.

² См. не раз цитировавшуюся, чрезвычайно четко ставящую вопросы методологии работу Meillet «La méthode comparative», особенно гл. III «Phonétisme, morphologie, vocabulaire».

³ Н. Я. Марр. К семантической палеонтологии в языках не яфетических систем. ГАИМК, 1931, стр. 3.

исторически выделяющиеся в особую лингвистическую категорию с самостоятельной функцией общения позднее, чем сами слова, не на морфемы, т. е. формально-грамматически понимаемые «части» слов, из которых в действительности слова никогда не складывались, как никогда не складывался человек из отдельных частей своего тела, но на элементы, т. е. значимые слова.

Элементный анализ делит слова на слова. Слово, как единство идеологического и формального моментов, расчленяется на такие же «слова», речевые единицы той же принципиально категории, что и целое.

Через «элемент» лингвистика впервые получает возможность проникновения в подлинную историю человеческой речи, так, как она в действительности складывалась, в ее диалектическом единстве «языка — мышления».

Для того, чтобы лучше уяснить себе все значение указываемого нами принципа элементного анализа, заметим, что «элемент» на всех стадиях своего развития представляет собой слово, как «мысль в звуковом воплощении» представляет собой «лингвистическую протоплазму».¹

Именно в этом усматриваем мы принципиальное отличие элементного анализа от всякого другого в практике исследовательской работы, подтверждение чему видим в следующем высказывании Н. Я. Марра:

«Между тем подлинная диахроническая разработка языкового материала по ступеням стадийного развития установила полное, во всех смыслах коренное расхождение яфетического языкознания с индоевропейстикой в самой технике работы. Расхождение в самом принципе восприятия или определения лингвистических протоплазм. Для яфетидолога лингвистический элемент — это значимое слово, т. е. мысль в звуковом воплощении, чем и было положено начало звуковой речи; для индоевропейста лингвистический элемент — звук, так наз. фонема, осознание которого, как самостоятельной функциональной части первичных слов-элементов — явление очень позднее, когда у каждой уже стабилизированной группировки языков имелся в наличии лишь определенный подбор таких звуков от двух-трех десятков до восьмидесяти, изолирующий одну систему языков от другой системы, для индоевропейцев — одну семью языков от другой, тогда как по яфетическому языкознанию всего-навсего четыре лингвистических элемента, первично обязательно значимых слова или, точнее, используемых в определенной обстановке для сигнализации того или иного предмета, gespr.

¹ Н. Я. Марр. Яфетидология в ЛГУ. Изв. ЛГУ, 1930, т. II, стр. 52.

группы предметов, самостоятельно отнюдь не имевших такого уточненного, конкретного смысла звуковых комплексов, которые как части языка не подлежат никакому анализу».¹

Приведенный нами отрывок представляет значительный интерес, четко противопоставляя «технике» индо-европейской лингвистики технику нового учения о языке, которая не только теснейшим образом увязана с новым пониманием языка, языковых процессов и фактов, но и подчинена ему. Новую технику вызвали к жизни новые условия, в которых оказался исследователь, новые потребности исследовательского дела.²

Без этих новых условий и новых задач лингвистического исследования анализ по элементам только формально будет отличаться от фонетико-морфологического анализа.

Твердо опираясь на новую технику палеонтологии речи, новое учение о языке, тем не менее, решительно переносит центр исследовательского внимания на идеологический анализ, стремясь проникнуть не только в историю семантического развития слова, но и в «идеологическую структуру технического оформления»,³ «в процесс организации языкового материала».⁴

Совершенно четко говорит об этом сам Н. Я. Марр: «Следовательно, вопрос не в одних элементах, а в этой до невероятности изумительной смене значений, что не может не казаться бессмыслицей группам и лицам, привыкшим к стабильности категорий и заинтересованным в ней. Одни лингвистические элементы не могли, и по установлении их в числе четырех, явиться поворотным пунктом в направлении яфетической теории (самое установление факта существования четырех элементов далось не легко и, конечно, не сразу. Вначале было сомнение в количестве, не двенадцать ли их, не девять ли, не семь ли и т. д. Позднее выяснилось полностью их качественное значение). Творческая мощь четырех элементов в исследовательском деле — это семантика, порожденная на различных стадиях в различных путях различными орудиями производства. Семантика дала добрать шаг за шагом палеонтологию речи до процесса организации языкового мате-

¹ Ibid., стр. 52—53.

² «Но можно ли было до открытия четырех лингвистических элементов технически справиться с наметившимися в той работе новыми проблемами и проработать имевшиеся достижения во всех подробностях, а иногда и по существу, как мы теперь то понимаем? А в понимании мы дошли до фактических новостей, которые перерастают пределы и нашего научного мировоззрения, хотя оно давно считается с коренными изменениями по стадиям» (Н. Я. Марр. К семантической палеонтологии..., стр. 4).

³ Н. Я. Марр. К семантической палеонтологии..., стр. 9.

⁴ Ibid., стр. 8.

риала, проникнуть в нее. Благодаря ей четыре лингвистических элемента открыли новый путь увязки, уже увязали даже отрешенные фонетические нормы, как производные, с идеологией общественности, как производительницы, в путях диалектического материализма».¹

Фонетико-морфологический анализ, расчлняя слова на морфемы и фонемы, с их особой яко-бы историей, изолированной как друг от друга, так и от истории самих слов, способствовал обособлению самодовлеющих областей лингвистики — фонетики и морфологии, формальное изучение которых привело в свою очередь к противопоставлению им двух других областей языкознания — лексики и этимологии.

Анализ по элементам, напротив, вскрывая в слове его простейшие, неразложимые далее без нарушения единства идеологического и формального моментов, элементы, «лингвистические протоплазмы», синтезирует вновь фонетический, морфологический и семантический моменты в едином «звуковом воплощении мысли», с выдвижением на первое место семантики.

При этом, устоявшееся исторически в своей псевдомонolithicности слово расчленяется, вопреки формально понимаемой морфологии, на элементы, которые реально лежат в его основе.

И наоборот, казавшиеся изначально отделимыми «морфологические элементы», вопреки той же формально понимаемой морфологии, срastaются воедино, обнаруживая историческую природу своей раздельности, как результата стадийного развития слова и позднейшего осмысления его формы.

История слов оказалась, таким образом, отложившеюся в духе и материи самих слов. Слово осветилось изнутри. И, осветившись изнутри, слово обнаружило удивительнейшие тайны языка, необычайные связи между всеми, живыми и мертвыми, языками мира, развернуло перед нами новую, почти фантастическую картину истории языковых отношений, истории мышления и речи человека.

Анализ по элементам дает нам совершенно новое представление об историческом процессе развития языка в целом и конкретных языков в отдельности и освещает многообразные и сложнейшие взаимосвязи их с такой полнотой и яркостью, что у исследователя порой дух захватывает.

Снижаются до своей реальной значимости непроходимые некогда китайские стены, искусственно воздвигавшиеся между отдельными языковыми «семьями». Выходят из своей искусственной изоляции многомиллионные народы с их «одинокими» языками. Воочию видишь, как древняя пестрая

¹ Н. Я. Марр. К семантической палеонтологии, стр. 7—8.

ткань яфетических языков самой основой своей переплетается тысячами крепчайших нитей с основами казалось бы вовсе чуждых им языков: египетского, удмуртского, китайского, индо-европейских, африканских.

Русский язык корнями своими переплетается с грузинским, финский с армянским, латинский с турецким, китайский с коми и т. д.

Только анализ по четырем элементам, как мы говорили вначале, позволяет нам устанавливать общность семантических законов в языках всего мира и генетическую близость между столь различными по своей форме и содержанию словами, как, напр., груз. *dağl* 'собака' и бск. *Uda-gaga* 'выдра', между русск. «земля» и нем. *Himmel* 'небо', арм. *oski* 'золото' и нем. *Gold id*, русск. «бог», чув. *pugaц* 'кукла' и русск. же «погань», русск. «год» и нем. *Gott* 'бог' и т. д. и т. д.

Но дело, как мы опять-таки уже говорили вначале, не только в том, что четыре элемента уже позволили нам открыть или установить в языке, как велика ни была в этом отношении их заслуга, дело в том, что только четыре элемента позволяют нам развивать уже имеющиеся достижения и идти, на их основе, к новым.

Так, элементный анализ русского слова «когда» (ко + g + d + а дает возможность установить за первым его элементом *ко* — первоначальное значение «относительно-вопросительного» местоимения 'какой' (ср. русск. «кой»), а за вторым и третьим элементами (-g+d-) скрещенную двухэлементную основу с конкретным значением *время*, в архетипе *небо*. В буквальном «перевод» *когда* означает *в какое время*. — Сопоставляя это слово с другими родственными с ним русскими словами «все-ид-а», «ино-ид-а», «ни-ко-ид-а» и др., мы предложим для них соответствующие же «переводы»: 'во всякое время', 'в иное время', 'ни в какое время' и т. д.

Это первоначальное значение *времени* за основой g+d (←go+d) в русском языке явственно прослеживается в ряде других терминов, как напр., «по-год-и» = 'повремени' или «по-год-а», причем в последнем случае основа *год* имеет часто конкретное значение 'хорошей (или 'дурной') погоды' (ср. «непогода»), герс. 'времени'. Аналогичное явление наблюдается и в грузинском, где *dag-1* имеет значение и 'погоды' вообще и 'хорошей погоды' (ср. *av-dag-1* 'непогода', 'ливень', букв. 'дурная погода').

Высказывая эти более чем кратко сформулированные соображения по поводу русского слова «когда», мы, конечно, отнюдь не претендуем на какое-либо решение вопроса (не столько потому, что не занимаемся специально русским языком, сколько потому, что не имеем возможности в данной статье развернуть и уточнить наметившийся здесь анализ). При-

веденный пример имеет целью лишь иллюстрировать преимущества элементного анализа перед фонетико-морфологическим: слова, вовлеченные в этот анализ, выступают перед нами в новом, неожиданном освещении и выявляют, взаимно друг друга освещая, новые языковые связи.

Не уничтожая специфики ни одного национального языка, учение Марра о четырех элементах выявляет своеобразную интернациональность слова.

В самом деле, чем можем мы объяснить (возвращаясь к нашему примеру), что русскому «год» со множеством свойственных ему значений ('год', 'время', 'час' и др.) соответствует в элементном анализе нем. Gott со значением 'бог', или русскому «земля» — нем. Himmel 'небо' и фр. semelle 'подошва', русск. «золото» — нем. Gold с тем же значением и т. д., чем можем мы объяснить, что целому ряду русских терминов соответствует ряд немецких терминов того же элементного состава, порой в том же самом звуковом облике (русск. «год», нем. Gott), порой — в различных, хотя и всегда строго закономерных разновидностях, с тем же самым значением, с учетом, конечно, стадияльных изменений и закономерных дериватов так наз. архетипа.

Если в отдельных случаях мы и можем допустить «случайное» происхождение таких соответствий, то там, где они прослеживаются целыми сериями и носят строго закономерный характер, мы не можем не принять положения нового учения о языке о целых «фондовых слоях», общих для двух или множества языков.

Это положение о «фондовых слоях», которыми материально лингвистически увязываются между собой языки самых различных «семейств» и «типологий», так настойчиво и четко утверждается Н. Я. Марром во многих его работах,¹ что специально останавливаться на теоретическом обосновании его в настоящей работе излишне.

Заметим только и особенно подчеркнем, что само понятие элемента, как первичного звукового комплекса, своей историей обоснованного как надстройка, не только как элемент звучания, но и как элемент мышления,² не допускает возможности понимать «фондовые слои», опирающиеся целиком на элементы, как отрешенно-лингвистическое явление.

При такой отвлеченно-лингвистической их трактовке, четыре элемента теряют весь свой революционный смысл. Если анализ по элементам понимать только как новый способ исследования по-старому понимаемых языковых

¹ См., напр., статью «Яфетические языки» в БСЭ, т. 65.

² Н. Я. Марр. Язык и современность, 1932, стр. 5.

фактов, если только в исследовательских приемах видеть то новое, что вносят четыре элемента в науку о языке, то основа основ сравнительно-исторического языкознания — фактический отрыв истории языка от истории общества — останется неизблемой. Лингвистическая общность останется сама по себе, история конкретных носителей этой «общности» сама по себе.

С помощью так понимаемых элементов нам никогда не удастся возвести наблюдаемые нами лингвистические факты и процессы в степень явлений социального порядка, науку о языке превратить в историческую дисциплину.

Допустим, что мы установили для русского слова «золото» двухэлементный (именно А + С) его состав, и такой же двухэлементный (А + С) состав установили для нем. *Gold* 'золото' и арм. *o-ski id.* Какой вывод мы можем сделать из такой общности элементов в словах, обозначающих золото в различных языках?

При отвлеченно-лингвистической трактовке элементов — признать эту общность результатом либо «параллелизма» в истории слов, обозначающих золото в указанных языках, либо «случайных совпадений», либо наконец — «заимствований» и т. д. В этом случае «параллелизм», «случайность», «заимствование» и т. д., не разрешая по существу вопроса, явятся лишь своеобразными этапами в процессе лингвистического исследования, нуждающимися сами в установлении конкретного содержания, вносимого нами в эти термины.

Напротив, при последовательно-материалистической трактовке лингвистических элементов как надстроечных явлений, рассматриваемая нами общность терминов, обозначающих золото в указанных языках, должна пониматься как одно из конкретных проявлений общего «фондового слоя», свидетельствующего о конкретно-исторической общности живых носителей этого «слоя», т. е. об общем социальном слое, вошедшем в качестве компонента в этнические, позднее — национальные объединения, оформившиеся, как *русское, армянское, немецкое* и т. д.

Такая общность фондовых слоев, устанавливаемая на основе целой серии терминов, обозначающих, между прочим, и золото в армянском, русском, немецком и многих других языках, свидетельствует, разумеется, не о мистической общности соответствующих национальных образований: русской, немецкой, армянской и т. д., хотя бы и в отдаленнейшие от нас времена, но лишь о наличии в составе социальных сил, только еще зачинавших эти общественные объединения, одной и той же творческой общности, в данном случае «скифской».

Именно так понимает «скифизмы», «кимеризмы» и др. Н. Я. Марр, когда устанавливает их наличие в общих фондовых слоях. Так, напр., в статье «Яфетические языки» (БСЭ, т. 65) мы читаем:

«...Скифами пропитана вся общественность и в Грузии; само наименование Грузии не что иное, как термин «скиф» (sku-ḡa). Грузия некогда носила название иберов, что опять-таки является разновидностью кимеров, и на месте, в устах части населения в роли собственного национального названия она звучит «кимеры». Терминология различных производств, охоты, военного дела, земледелия, скотоводства, металлургии, равно форм социального строя, а также культа в грузинском и сродных языках полна скифизмов, но не в одиночестве, а совместно с кимерами. В то же время не в самом веществе источник расхождения скифов и кимеров в названиях благородных металлов, не тот факт, что «золото» — скифский термин, а «серебро» — кимерский. Расхождение это — следствие того разделения труда, благодаря которому в руках одной производственной группы находились оборудование и обработка серебра, во владении другой — инструменты золотых дел мастерства, от добычи металла до его той или иной хозяйственной обработки. Меновая функция металла в свою очередь зависела от социально-экономических факторов, отнюдь не считавшихся с какими-либо природно-расовыми, тем менее национальными перегородами: национальностей вовсе и не было, чтобы изменять самое содержание термина или влиять на него...» (БСЭ, Яфетич. языки, стр. 831—832).

Вопрос, следовательно, много сложнее, чем это может показаться с первого взгляда, как это видно из приведенного отрывка.

Не существует ни одного языка с одним только «фондовым слоем». Все языки — слоями, все многослойные. Одними из этих слоев языки объединяются, сближаются, переплетаются, другими — отталкиваются, разъединяются, расходятся. Поэтому, действительное значение «фондовых слоев» мы можем понять, лишь рассматривая их в свидетельствуемой их собственным наличием в языке борьбе и взаимодействии. «Скифский» слой в русском, армянском, немецком, грузинском переплетается с «кимерским»; более того — тот же «скифский» слой переплетается с «готским», который представляет собой лишь разновидность «скифов».

Вот тут-то, при такой именно постановке вопроса, языковед-исследователь вплотную, лицом к лицу встречается с конкретными проблемами истории человеческого общества. Встают во весь рост скифская, готская и многие другие «исторические» проблемы, в разрешении которых лингвистам — работникам по новому учению о языке — также предстоит сказать

свое слово. Но для того, чтобы слово лингвиста внятно прозвучало в самой трудной для человеческой мысли области — истории общества, оно должно опираться на ясные и точные языковые свидетельства. Этими свидетельствами ни в какой мере не могут служить сырые языковые материалы, ничего не говорящие сами по себе факты языка. Они должны быть возведены еще наукой о языке в степень фактов социальной значимости, должны быть освещены научно, как исторические категории.

Значение четырех элементов в исследовательском деле заключается, прежде всего, в такой именно научной переработке сырых языковых материалов, в двойном как бы анализе их: физическом и химическом.¹ «Без такого анализа само сравнение недействительно» и потому без «четырех элементов» нет и нового учения о языке.

24 июля 1934 г.

¹ Н. Я. Марр. Яфетическая теория. Баку, 1927



Т. А. БЕРТАГАЕВ

ЗАПАДНО-БУРЯТСКИЙ ДИАЛЕКТ НА МАТЕРИАЛАХ ЛЕКСИКИ

Для изучения одного из говоров западно-бурятского диалекта летом 1932 г. я был командирован Институтом языка и мышления Академии Наук СССР в Боханский район БМАССР. Так как при определении значения и спецификаума западно-бурятского диалекта важнейшую роль играет его отношение к живому халхаскому разговорному языку, поскольку оно касается принципиально важной проблемы о самобытности бурятского языка, то в этой небольшой работе я ему отвожу главное место.

Под западным диалектом монголисты обыкновенно понимают говор эхиритцев, булагатов и тункинцев (этнически относящихся к булагатам), ныне расположенных в следующих районах:

1. Аларский с бурятским населением в 19 352 чел. об. пола
2. Боханский " " " 14 624 " " "
3. Эхирит-Булагатский " " 24 943 " " "
4. Тункинский с бурятским " " 13 864 " " "

Таким образом, общее количество населения западных бурят до 72 783 чел. обоего пола, что представляет 34.2% к общему числу бурят, входящих в состав Бурято-Монгольской республики. Кроме того, около 11126 чел. западных бурят живут вне пределов БМАССР, отошедших при районировании в Иркутский округ, что составляет 5.4% к общему числу бурят, находящихся на территории своей республики. Итак, процент говорящих на западном диалекте настолько значителен, что даже по одному этому немислимо игнорировать значение этого диалекта для создания нового литературного языка. Но, тем не менее, этот диалект изучен слабее, чем восточный; мы здесь имеем более или менее изученным аларский говор, отчасти исследованными боханский и эхиритский, но совершенно нетронутым тункинский; благодаря этому материалом моей темы послужили главным образом первые три. Территориально западные буряты расположены на северо-западной стороне оз. Байкала, за

исключением тункинских, которые живут к югу от г. Иркутска, западнее оз. Байкала между 99° — 104° в. д. и 50° — 52° с. ш. Оз. Байкал, таким образом, лежит в качестве естественной границы между западными и восточными бурятами. Такая естественно-географическая разъединенность западных бурят от восточных способствовала, наряду с пережитками родового строя, успешной агрессии колониционной политики царизма и русского капитализма. Политика разобщения завоеванной народности осуществляется почти всеми империалистическими захватчиками, чтобы ослабить силу сопротивления трудящихся колоний. Поэтому руссификаторская и колониционная политика русского капитализма была направлена на дальнейшее культурно-экономическое разобщение этой народности на две основные части, не говоря уже о пресловутой политике царского министра внутренних дел Столыпина, который разбил землю бурят на отдельные кусочки, поселив между бурятскими улусами русских крестьян, выгнанных нуждой и земельной теснотой полукрепостнического строя из пределов Европейской части России.

Западные буряты, особенно аларцы и боханцы, занимаются земледелием, эхирит-булагаты имеют смешанное скотоводческо-земледельческое хозяйство, а тункинцы, в основном, скотоводы; таким образом, в отличие от восточных бурят-скотоводов западные — земледельцы и ведут оседлый образ жизни. Несмотря на такой хозяйственный прогресс, западные буряты имели более отсталую форму религии — шаманизм, тогда как восточные — буддисты. Этот вопрос требует тщательного научного исследования.

В первой половине XVII в., т. е. к моменту первого вступления служилых людей Московского государства на землю бурят, у последних встречаем три главных племени: эхиритов и булагатов, живущих на западе, и хоринцев, обитающих на востоке. Все эти племена подразделялись на роды, управляемые шуленгой. Они распадалась на отдельные группы семей, вернее, улусов, во главе с засулами или забулами. Подобная иерархическая лестница в системе управления бурят, конечно, говорит о том, что здесь существовала не родовая община в подлинном смысле слова, а разложившийся родовой строй, но еще не оформившийся в последующую формацию. Кроме того, из исторических данных известно, что буряты имели своих кыштымов, т. е. народ, платящий им ясак; к таковым относятся тунгусы, качинцы и другие мелкие народности. В восточной Бурятии, в отличие от западной, к тому времени мы имеем начальный период феодальной формации, и на этой почве быстрое проникновение ламаизма в конце XVII в. и монгольской феодальной письменности в начале XVIII в.

Я здесь не буду касаться соотношений религиозных культовых терминов, различие которых более или менее ясно ввиду совершенно отличных религиозных мировоззрений шаманизма и ламаизма. Лишь приведу иллюстрации, главным образом, на примерах хозяйственных и бытовых терминов.¹

Восточный (гл. обр. сел. и аг.)²

sūrga аг. сел. замок
 ty'xug сел. ключ
 comxo сел. окно
 debesxer сел. пол
 şala haindabşa сел. земляной пол
 tyşelgetē sandal'a аг. стул
 gol ось телеги
 od'og сел. оглобли
 aral сел. оглобли
 şablā сел. шабла
 şil сел. стекло
 hazlūr сел. тиски
 jinder сел. верстак
 xaşānai yde сел. ворота
 saxa сел. столб
 argal сел. сухой навоз
 samca сел. рубашка
 хунег аг. ведро
 adāir аг. полки, шкафик
 hağūr аг. решето
 sasaxa сел. сеять
 хог сел. сугроб
 oxse сел. подъем
 хуг сел. мертвец, труп
 yge сел. слово
 tōmōs сел. саранки, шулятные яйца
 sawa сел. матка
 umai сел. „

Западный (гл. обр. эхир. и бох.)

barxag, şebexe замок
 şulūsa, in'ēbre ключ
 şagābar окно
 alābx'a, ojōr пол
 нет
 ystyl стул
 tēl'e ось телеги
 aral оглобли
 dalabşa шабла
 şazanxui, gerel стекло
 abarga, şimxurge тиски
 berstāg верстак
 xālga, ergeneg ворота
 zadahan, ostōlbo столб
 argādahan ал. сухой навоз
 urmas'i рубашка
 hūlga ведро
 tēg'danxai полки
 haigūr решето
 хажаха сеять
 xongrog сугроб
 dabān подъем
 bejīn zubalga труп
 хуг слово
 hağāna саранки
 beldōgen шулятные яйца
 exēn baig матка

¹ В случаях сравнительного анализа лексики по материалам отдельных диалектов (также халх. и бурят. языков) нами употребляется для общедоступности упрощенная латинизированная, а не фетиологическая научная транскрипция.

² Материал по аг. говору приведен из работ Н. Н. Поппе «Заметки об агинском говоре», Л., 1933.

salai сел. семенная жидкость	şehen семенная жидкость, моча
am'an beje сел. общепринятое на- звание полового органа	am'an gazaг половой орган
çisaгхаі сел. сало внутренностей (желудка, тонких кишек)	am'anbeje сәм nar'an ухеп сало
toxoі сел. локоть	hemzen „
taг'x'a голова	toxonog локоть
ūrag taг'x'a мозг	tologoi головой
хаг'бан сел. жировой слой	taг'x'a мозг
tyntū аг. лоб	аг'бан жировой слой
doxoі сел. „	mālai лоб
уңсен сел. собственность	magnai „
bogōl сел. батрак	zōr'ө собственность
өngөзүлхе сел. удобрять	xөлөһөңсө батрак
агата аг. лисица	balar bolgoxo, утугузүлхе удобрять
am'ad сел. живые существа	унеген лисица
ab'ihan аг. жены двух братьев	arāta, am'tan живые существа
xуget аг. сел. дети	baza жены двух братьев
hamaгха аг. плавать	ухибүд дети
samaгха сел. „	tamaгха плавать
samūгха сел. ошибаться	hamaгха ошибаться
gal'agāг сел. по-маленьку	baga bagāг по-маленьку
bөmbөгө мяч	m'āç мяч
xengreg сел. барабан	barbān барабан
çөлөлгөлөхө сел. сослать	zагаха сослать
şөтөхө сел. веровать, почитать	нет
ajanga būха сел. удар молнии	perjēr удар молнии
ādar, bogō сел. аг. гроза, ливень	tengrindün гром
bogō сел. дождь	xehег хуга ливень, гроза
xozomdoxo сел. отстать	хуга дождь
gēgdexе сел. „	tahaгха отстать
xongor сел. наивный	hal'amxai наивный, легкомысленный
arbai ygē сел. несостоятельный	şixan чирей
xat'aga сел. чирей	yге семена
xөгөңгө сел. семья, семена, закваска, источник	

degn̄yl сел. кочки	buta кочки
ex'ilexe сел. начинать	zahalaxa начинать
airag сел. кислое молоко	airag процеженное, проваренное, про- сушенное молоко
	xerenge кислое молоко
osnōg сел. сноп	bōdolgo сноп
s'ēgre сел. серп	xadūr серп

Приведенные здесь примеры не дают исчерпывающей полноты соответствий лексики западного и восточного диалекта, так как, кроме отсутствия соотношений социально-надстрочных терминов, не дан подробный материал и из прочих областей. Тем не менее, этих примеров достаточно, чтобы дать представление о диалектологических отличиях лексики восточных и западных бурят, являющихся результатом консервирования, в течение трехвекового господства русского капитализма, прежней родовой обособленности, территориального, культурного и экономического разобщения их.

Здесь попутно нужно указать, что в области социально-экономических терминов на востоке несомненно сказывается влияние литературного монгольского языка, где в разговорной речи встречаем такие литературные слова, как: *iletxel* 'доклад', *ulas toгө* 'государство', *buxii* 'всеобщий', *dөxөm* 'достижение', *son'on beсөг* 'газета', *nebteregylxe* 'распространять', 'пропагандировать' и т. д., которые на западе — почти все заимствованные русские слова. Нужно признать в этой области богатство восточного диалекта в сравнении с западным.

Родовая или племенная обособленность бурятского народа, как признак когда-то существовавшего родового строя, сохранила некоторые черты в пережиточных надстройках прошлого. В этом отношении одним из показательных памятников является бурятский тотем и предания бурят о своем происхождении. Тотем западных бурят *buqa nojon bābā*, трудно переводимый на русский язык, означает подлинно 'бык-начальник-отец'. В этих трех словах, составляющих как бы целое предложение, отражается уклад жизни бурят периода родового строя. 'Начальник-отец' вне сомнения родовая глава или глава семьи, управляющий родом, который в переплетении анималистического тотемизма с анимистическим мировоззрением, в частности, с почитанием культа предков, представляется бурятам в образе божества — быка, тотемистически воспринятого основного фактора экономической жизни бурят (скотоводческое хозяйство), впоследствии антропоморфизированного, при-

мающего образ одного из сыновей 'тэнгрия', 'неба'. Но мы здесь животный тотемизм имеем не без элементов другой стадии мышления — космической. Так, напр., если буряты в своих преданиях называют своего тотема 'сивым быком' $q̄b̄q̄ buqa$, то $q̄b̄q̄$ по одному из турецких языков 'небо', у коб-досских дэрбэтов $q̄b̄q̄tenggi$, восклицания, соответствующие русскому 'боже мой'. Более того; происхождение родоначальника одного из бурятских племен «Ихирита» связано с 'морем', 'водой', 'небом',³ по преданию бурят он пойман шаманкой Асыхан во время игры с «Булгатом», родоначальником другого бурятского племени, происходившего от быка, причем «Ихирит» выходил играть из моря.

Почти то же самое находим в преданиях о происхождении другого бурятского племени хори, родоначальник которого женился на красавице Алунь-гоа, купавшейся в море.

Если у бурят сохранилось астрально-космическое мировоззрение, связанное с небом³ и животным тотемом, то у монгол, по сказаниям летописцев, имеем предания, ведущие к звериному тотему и к небу¹ → солнцу → сиянию. Нам рассказывают, что вначале предками монгольского дома были: 'небом рожденный бурый волк да сивая лань'; сочетавшись между собой, они вместе переплыли воду, называемую *Jengis*, достигли вершины реки, называемой 'Онон' и поселились у горы Бурхан; здесь они произвели на свет человека по имени «Боточиян». Мне кажется, что сходство названия воды *Jen-gis* ← тур. *den-giz* 'море' с монг. *Jen-gi* ∼ *Jen-gi'* 'небо' показывает ту стадию, когда еще дифференциация между 'небом¹' и 'небом³' в воззрении тогдашних племен была недостаточна, что в дальнейшем чрезвычайно четко выступает в мировоззрении монгол, как небо¹. В религиозной шаманской поэзии монголов мы имеем чрезвычайно важное для нас место, проливающее свет на мировоззрение их предков. В обращении к парице огня, матери Ут, сказано так: «Ты, которая зародилась при отделении неба от земли, произошла от стопы матери Этугэн и создана царем Тэнгрием (небом)».¹ Таким образом, мифологические данные и лингвистическое исследование вполне подтверждают замечательное предположение талантливого бурятского ученого Д. Банзарова (умер в молодости), что когда-то в понимании монголов небо и земля представляли нечто

¹ При этом имя *эдиген* — богини земли — в дальнейшем, при своем раздвоении, сохранилось как название женского полового органа в селенгинском наречии, в западном — *эдигин*, и как удобренный, загороженный участок земли, вернее усадьба, сохранилось в западном диалекте. Такое на первый взгляд парадоксальное сочетание этих двух значений вызывает стыдливое смущение в рядах практических работников по языку, налагающая запрет в употреблении слова *эдиг* в смысле удобренной земли.

слитное, неделимое, хаотичное, предположение, высказанное им в труде — «Черная вера или шаманство монголов» в 1846 г., т. е. почти 100 лет тому назад. Так, предок Чингис-хана в десятом колене Бодопчар был рожден своей матерью Арун-гоа от белого сияния, проникавшего через верхнее отверстие юрты и дверь и превращавшегося в златообразного человека, который, уходя от нее, избегал по лучам светил, словно желтый пес. Отражение этого астрально-тотемистического мировоззрения находим в монгольских императорских указах, всегда начинающихся с обращения к «небу» ᠨᠢᠮᠤᠨᠠ ᠰᠢᠨᠢᠮᠤᠨᠠ ᠳᠣᠭ 'силой вечного неба' и, более того, почти до наших дней монгольские княгини не имели права выходить из юрты в обыкновенной будничной одежде и должны были предстать перед 'небом'-отцом, произведшим монгольский княжеский род, в нарядном одеянии. Таким образом, в той или иной вариации, предания о происхождении бурят и животных тотем связаны 'с небом', 'морем', 'водой', а у монгол вначале с звериным тотемом, впоследствии с 'небом' → 'солнцем' → сиянием. Этот сохранившийся в своеобразной форме тотемизм есть пережиточное мировоззрение первобытных людей, тотем коллектива, впоследствии рода или племени, перенесенный через все этапы своеобразного исторического развития бурятского народа, отличного от других монгольских племен, несмотря на их, быть может, тесное сближение, содружество на их историческом пути. Более того, китайский ученый Вань-Гуань-Дай выписывает в одном месте из монголо-китайского текста Юань-чао-би-ши чрезвычайно любопытный факт: названия 11 родов, перешедших на сторону Чингис-хана, когда он стал уже известным завоевателем; он упоминает в числе их, не соблюдая точной транскрипции, род «ихилесунь»; имея в виду, что китайская фонетическая система не терпит 'р', можно думать (без колебаний), что это могло бы звучать 'ихиресунь' (не говоря уже о яфетидологическом вполне законном чередовании $l || r$). Зная, что не только в яфетических языках имеем $s \swarrow t \rightarrow t$, но и в монгольском, особенно в конце слога, ихилесунь несомненно и есть ихирит — название одного из бурятских племен. Таким образом, можно предполагать, что бурятский народ это есть существовавшая когда-то в близких социально-экономических отношениях группа племен на одной более или менее цельной территории, в отличие от племен, образовавших современную Халха-Монголию, находившихся в более отдаленных отношениях с ними. Впоследствии из этих близких племен образовался бурятский народ с общей территорией, более или менее одинаковой экономикой, мировоззрением и, наконец, с одним общим бурятским языком. Но в период родового строя, да и пережиточно кое-где до сих пор,

каждый род или племя имел свой племенной язык, отличный от языка других племен, отчужденность которого была прямо пропорциональна социально-экономической культурной и территориальной отдаленности их друг от друга. Юань-чао-би-ши прямо указывает на существование племенных языков, хотя в переводе они названы наречиями. Эта летопись сообщает: «Впоследствии у Тэб-тэнгрия (волхв или духовное лицо при Чингисхановском стойбище) собралось людей 9 наречий столь же много, как у самого Чингиса». По этому свидетельству Юань-чао-би-ши Чингис вначале покориł людей, говорящих на различных наречиях, т. е. на родовых и племенных языках. В период патриархально-родового строя не было общего языка, кроме племенных языков, так же как не было и не могло быть территориально-экономически объединенной народности или нации, которая появляется впоследствии. Остатки прошлого мы встречаем и сейчас, когда в Селенгинском районе наблюдаем «накающие», «цакающие» говоры отдельных родов, как оронгойцев, с одной стороны, сартулов и цонголов, с другой, хотя и живущих в тесном сближении.

Еще более яркую картину отражения социально-экономических отношений родового строя дает языковый материал.

По новому учению о языке речь является не только орудием классовой борьбы и средством организации труда, но и хранилищем всех прошедших стадий истории культуры, социальных отношений и мышления, поэтому на данных языка бурят с не меньшим успехом можно проследить отношения родового строя, так, напр., буюе двоюродные, троюродные братья и в то же самое время близкий род, из которого по обычному праву бурят нельзя брать жен, в противоположность қага, т. е. 'чужой' из 'чужого рода', когда-то означавшее свой собственный род, что отразилось в глаголе қаг-қа 'пойти домой', где основа қаг совпадает с основой первого, что допустимо по закону противоположного расщепления семантики, тем более что қага может стать любой близкий род спустя 7 поколений. Кроме того, член отчужденного рода или племени называется қуда 'сват', что в своем дальнейшем развитии по закону функциональной семантики, как функции взаимного действия, общения, сделки при развитии торговых отношений, дает дериватное осмысление в глагольной форме қудалдақа 'продавать', 'торговать', где аффикс-lda является показателем взаимной формы, взаимного действия, взаимных отношений. В манчжурском языке имеем қуда в значении 'торговля', 'рынок'. Не менее наглядную картину представляет развитие другого термина анда, означавшего в период родового строя члена дружественного рода, союзника в борьбе с другими родами или

племенами. Наиболее древний исторический памятник монголов, относящийся к XIII в., Юань-чао-би-ши нам повествует о том, что Чингис-хан, когда он еще не был императором, а возглавлял только отдельные племенные и родовые объединения, имел анда. Одним из таких был Чжамуха, родоначальник другой группы, который вначале был в тесной дружбе с Чингисом-Тэмучином (а впоследствии был уничтожен им). Чжамуха происходил по побочной линии от Чингисова рода. Они обращаются друг к другу анда; «толковали промеж себя», повествует Юань-чао-би-ши, «старые люди, что когда делаются анда, то оба имеют как бы одну жизнь; один другого не покидает, и бывают они охраной жизни друг другу. В этих изъяснениях Тэмучин опоясал Чжамуха золотым поясом, добытым у Мэркита, и подарил ему захваченную им кобылу, несколько лет не носившую жеребят; а Чжамуха отдал Тэмучину тоже золотым поясом, отнятым им у Мэркита-Дайир усуня, да захваченной им белой лошастью с чолками. Они устроили в урочище Хормохачжабур у скалы Хадахар, под густым деревом, пир; а ночью спали под одним одеялом». Видимо, взаимная и тесная дружба всегда скреплялась обменом продуктами, о чем и говорит нам этот документ, когда подчеркивает, что Чингис и Чжамуха в детстве во время игры обменялись наконечниками стрелы, а через то делались анда (тот же обряд обмена немного в трансформированном виде мы встречаем у бурят при сватании, когда два *qida* меняют трубки и пояс). В дальнейшем, это слово анда, с развитием феодальных отношений в Монголии, когда Тэмучин объединил монгольские племена и уничтожил наиболее опасных соперников и не нуждался в родовых союзниках, — у монголов исчезает, так как оно почти отсутствует в современном халхаском, а также в ойратском языках, сохранившись в литературном языке в своей глагольной форме, как обмен двух одинаковых предметов, напр., 'лошадь', на 'лошадь' и т. д. Между тем, у западных бурят оно, изменив свое значение союза между племенами, приобрело новое значение — 'друг', 'знакомый', но только из другой нации, анда может быть, напр., 'русский', но никоим образом не бурят, а в производном значении у западных бурят с сохранением функции обмена имеет широкое употребление в глагольной форме *andaldaqa* 'менять', 'обменивать', видимо, развившееся на основе обменной формы торговли, сначала означавшее: общаться, дружить, заключать союз между родами в соответствии с обменом продуктов.

Не менее интересным является дериватное от анда — *andaйда*, означавшее две супружеских четы; сочетавшихся путем обмена женщинами между собой — пережитки, сохранившиеся от патриархально-родовой семьи.

брака. В современном халхаском языке почти не встречается это слово ни в одном из этих значений, но зато сохранилось в литературном монгольском языке в значении более узком, чем в бурятском, как обмен определенными предметами, и в значении 'гость', 'приезжий' аңдаја.

Существует теория, утверждающая, что главное отличие современного разговорного бурятского языка, даже западного диалекта, от монгольского разговорного языка заключается в интонации голоса, темпе речи и фонетических отличиях. Такая мысль основывается на научных концепциях индоевропейцев, доказывающих существование в прошлом единого праязыка, распавшегося впоследствии на отдельные наречия, и утверждающих, что близкие друг к другу языки представляют многочисленные наречия одного прамонгольского языка. Свое доказательство индоевропейцы основывают главным образом на изучении фонетики языка, и то в ее статическом состоянии; они не вникают в сущность семантики слов и законы ее развития, в связи с историей материальной культуры, хозяйства и мировоззрения какого-нибудь народа. Вот почему многим нашим работникам, не ушедшим далеко от индоевропейства, кажется легкой задачей разрешить проблему соотношения бурятского и монгольского языка, и поэтому так часто на практике они терпят неудачи. Однако же доказывать, что бурятский язык совершенно чужд разговорному халхаскому языку, утверждать, что соотношения между ними такие же, как между французским и немецким, значит противоречить фактам языка. Но между бурятским и халхаским языками, несмотря на их близость, существует различие двух языков, неучет которого повлек бы за собой весьма сильные затруднения для нового языкового строительства. Это различие, помимо фонетических, морфологических и синтаксических особенностей, прослеживается на лексике и семантике отдельных слов, о которых отчасти выше говорилось.

Так, напр., слово заја полисемантическое, непозднего происхождения, означает 'край', 'берег', 'граница', 'воротник одежды'; ко всему этому в бурятском оно имеет еще два значения 'начало', 'конец', как видно по звучанию еще недифференцированное, хотя в своих глагольных формах, благодаря аффиксам -la и -da, имеет дифференциацию зајалаја 'начинать', зајадаја 'кончать'. Оно как раз двумя этими значениями выделяется из состава монгольской лексики. В монгольском мы имеем дифференцированные слова для обозначения понятия 'начало' и 'конец' eqi, ešes, dūsqal, güšedqel, в бурятском по эквивалентной огласовке eqin применяется к узкому кругу понятий, как, напр., 'исток реки', да, кроме того, в значении 'первой закваски', 'начальной закваски' кислого молока eqi qöböngö, что значит

мать $qöböngö$, а у селенгинских $qöböngö$ и значит 'начальная закваска', семя, семена растений; таким образом, даже в этом слове выявляется разительное семасиологическое несоответствие слов: то, что на западе означает результат ($qöböngö$ у зап. бурят означает «заквашенное молоко»), то у селенгинцев и у монгол — первоисточник, первоначало. Здесь любопытно то, что у западных бурят $eŋ$ сохранилось в значении более узком, чем у восточных, а в старом литературном языке XIII в. встречаем в полном звучании с носовым согласным $eŋ$ в значении 'головы'; такая увязка 'начала' с понятием 'мать' герср. 'головой' установлена Н. Я. Марром, как закономерное явление в языках яфетической системы. Если предварительно проследить историю первого слова $zaqa / \dot{a}qa$ как 'начало' и 'конец' в бурятском значении, то можно найти его корень в племенном названии $\dot{a}qaq || \dot{a}qaq \searrow saqaq$, с озвончением согласного $\dot{a}qaq$ в усечении плавного дает $\dot{a}qa$. Акад. Владимирцов в своей статье «Mongolica» (Зап. Колл. Вост., 1925, т. I) пишет, что «монг. $\dot{a}qaq$ соотв. дэрб. Астр. торг. Астр. цахр обозначает живущих около княжеского двора или монастыря, бедняков и простолюдинов, слуг и др.; а также местожительство и местопребывание таких лиц. В монгольском языке слово это в настоящее время неизвестно, но зато до сих пор $\dot{a}qaq > цахър \dot{a}xър$, цахр, чахр обозначает название одного южномонгольского племени «чахар»; названия же монгольского племени и родов нередко являются названиями различных должностей; в старой монгольской письменности слово $\dot{a}qaq$ употреблялось в ином значении. Так, в монг. Ганджуре находят такие фразы: $ilaŋ tegüs nögöŋsen čita-yin čečeglig-ün tögerig \dot{a}qaq-tur nom-i nomlabai bhagovan$ 'проповедывал на круглом дворе' $jetavan$; « $qulusun-juer egüdöŋsen küriŋen-ü \dot{a}qartur sa-yin böliŋe$ » 'находимся на дворе с оградой, воздвигнутой из камыша'. Следовательно, монг. $\dot{a}qaq$ значило еще 'двор', 'селение', 'место', быть может, 'замок', 'двор'. Очень близкое значение слова $\dot{a}qaq$ отмечено в османском и джагатайском: место укрепления, окруженное стеной, лежащее вне крепости; военный лагерь вне городских стен, укрепление оградой, стан кочевников, окруженный оградой. Ни на монг., ни на тур. почве $\dot{a}qaq$ не находит себе объяснения. И вот, оказывается, было возможным считать слово иранским — согдийским». Едва ли можно согласиться с акад. Владимирцовым, утверждавшим, что это слово заимствованное согдийское, когда сами факты, приведенные им, наталкивают нас на мысль о законности этого слова на монгольской почве. Племенное название возникает с образованием рода или племени, поэтому оно связано с ним неразрывно и потому не может быть наносным, за исключением отдельных редких случаев, которые не мо-

гут быть возведены в абсолют или в решающий фактор, как это имеет место у некоторых историков по Монголии, считающих названия сохранившихся родовых объединений за названия разбитых остатков отрядов монгольской империи, выполнявших определенные функции при Чингисе. Такой факт не исключен, но это не есть историческая закономерность. В данном случае в нашу пользу говорит значение *ᠶаᠳаᠭ* в смысле стойбища, стоянки, стана кочевников, селения, места укрепления, потом ограды, двора, в смысловом перебое лагеря, расположенного вне крепости, впоследствии перенесенное на жилище бедняков и слуг, расположенных вне монастыря, первично стоянка другого рода, расположенного вне данного рода или племени, находящегося на краю *заᠴа-да*. Если бы это слово было заимствованным, то оно не могло бы иметь столь многочисленные семантические разновидности, исторически прослеживаемые от первичных, глубоко древних понятий, как 'стан', 'стойбище', 'стоянка рода', переходящих в свою противоположность 'стан вне рода', 'стоянка другого рода' и т. д., в дальнейшем перерастая в крепость, монастырь, двор, в эпоху феодализма.

Его широкое почти мировое распространение наталкивает нас также на мысль, что оно не возникло на основе замкнутых этнических групп, а встречалось по всему пространству от Каспия до берегов Тихого океана. Так, напр., *ᠳаᠳа*¹ по звуковой и семантической закономерности совпадает с приведенным Н. Я. Марром мегр. словом *ḍga* (мн. ч. *ḍgal-əf-1*) 'берег', 'край' с усечением огласовки свист. группы и озвончением спиранта, с его эквивалентными шум. *zag* и арм. *tag*. В эпоху космическо-тотемического мышления оно значило тотем 'небо', что обнаруживается в дериватном его значении в бур. *ᠶаᠴ* 'время' и в значении *ᠶа-ᠴаᠭ-аᠴ* 'колесо', 'обод', где второй элемент в спирантной разновидности выявляется в полном звучании, а в арм. в значении веретена, как предмета производственного культа, получившего название в период тотемической общности *ta+qar-ak* (*ᠶаᠴ+ᠴаᠭ-аᠴ*); таким образом, обнаруживаем двухэлементность этого слова, состоящего из удвоенного элемента А сибилантной и спирантной его разновидности.

ᠶа-ᠴаᠭ первично 'тотем' герср. 'название племени' → его 'стоянка' — стоянка другого племени подтверждается не менее интересным примером, связанным с семантикой другого монгольского слова *ᠴо-ᠵо* 'город', бурятского *ᠴо-ᠵон*. Последнее, по свидетельству путешественника XVIII в. Георги, означало у восточных бурят группу в 10 — 12 семей, которую считает он «деревней», имеющей во главе старейшину *заһул*, значит 'род', его стоянка. Впо-

¹ См. «Абхазский аналитический алфавит» (к вопросу о реформе письма), Л., 1926, стр. 47.

следствии в эпоху градостроительства название это переносится в усеченной форме на обозначение 'города' $\text{qo-}\text{do}$ крепости resp. монастыря, у западных бурят, в отличие от монгол градостроителей, в частности, у эхирит-булагатцев 'стойбище скота', 'хлева' $\text{qo-}\text{don}$, что является лишним доказательством различных социально-экономических отношений бурят и монгол в прошлом. Слово состоит из двух элементов А и С, ибо оно находится в несомненной связи с разъясненным Н. Я. Марром удм. словом $\text{gurt} \rightarrow \text{kurt}$ 'деревня', по акающей разновидности kar 'город', а по окающей kig в клинописи название и 'стран' и 'городов'; 'зырян' gurt 'группа лиц', как и в русском 'чучка', группа в значении 'стада' — 'гуртом'. Оно же разъясняется дальше в названии городов, в Африке $\text{Kar-za-go}^{\text{п}}$ — kar-qe-don и в названии г. Кутаис,¹ на монгольской почве в значении потустороннего мира qür-dü-mā-in oüg или в названии божества «неба» $\text{gür zengr}'$ небо $\text{gür}'$.

Таким образом, $\text{za-qaq} \parallel \text{ᠵa-qaq} \searrow \text{sa-qaq} \rightarrow \text{za-qaq}$ в усечении плавного za-qa значит край, граница, другое племя, расположенное вне рода, социальные термины старший, глава, начальник рода в бурятском парном слове a-qa za-qa ; в бурятском же осмыслении, кроме того, 'начало', 'конец', дифференцированные впоследствии, в дальнейшем воротник шубы, удоболяемый в поговорках со старшими в роде, семье 'degel zahtaixᠶə', смысл которой таков: даже шуба с воротником, а почему бы нам не иметь старшего, в монгольском же былинном языке 'aqa zaqa' значит 'близкий родственник', 'брат' и пр.

Если в бур. za-qa находим удвоенный элемент А, то нельзя этого говорить о монг. $\text{e-qi} \leftarrow \text{e-qin}$, находящемся в вполне закономерной связи стур. 'gip' 'солнце' ~ и бск $\text{e-ki} \rightarrow \text{e-qi} (\leftarrow \text{e-kin})$ 'солнце', рассматриваемое Н. Я. Марром² как состоящий из элементов А и С в его спирантной разновидности, а в перебое означавшее социальный дериват бур. ~ qün 'человек' ← 'племя', 'коллектив' → один из племени, член рода, а, может быть, глава, начальник.

Итак, в бурятском и монгольском языках понятие 'начало', 'конец' развивается своеобразными историческими путями, отличными друг от друга, спускаясь корнями своими во всяком случае в дофеодальную формацию, если не сказать в самую глубокую древность, о чем показывает различный

¹ См. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык, Л., 1931 г., стр. 90. Первая выдвигенческая яфетидологическая экспедиция по обследованию мариев, стр. 25.

² См. Марр, Н. Я. Первая выдвигенческая, яфетидологическая экспедиция по обследованию мариев, Ленинград, 1930, стр. 21.

состав элементов. Кроме того, не лишне упомянуть, что монг. язык семантикой вышеразобранных слов и многими другими корнями, о чем речь будет в дальнейшем, выявляет свою связь с языками яфетической системы.

Подобные слова, как, напр., *ᠳᠠᠳᠠ* и пр. со всеми своими многочисленными значениями, отражающими историю их развития, связаны в динамике движения с конкретной общественной средой. Возьмем другое монг. слово *ᠰᠣᠪᠢᠯᠠ* 'свобода' \ *söl-ö* то же самое в бурят., в турецком, да и в самом монг. (*ᠰᠣᠪᠢ* 'пустыня', 'дикое место', *ᠰᠣᠪᠢ ᠳᠠᠮ* 'пустынная дорога') имеем в значении пустыни, в глубоком родовом строе означающее «все то, что лежало вне данного рода», т. е. окружающее этот род: пространство, пустыня, степь, другой род и т. д., иначе говоря, все противоположное данному роду. В родовом строе член рода, совершивший тяжкое преступление, изгонялся из рода, и уходил в «пространство, лежащее вне рода», в «пустыню», отсюда монгольский и бурятский *ᠰᠣᠪᠢᠯᠠ ᠶᠡᠭᠦᠨ* 'ссылка', гонение из рода. В то же время человек, освобожденный от трудов, от обязанностей в роде, обозначается в монг. *ᠰᠣᠪᠢᠯᠠ ᠶᠡᠭᠦᠨ* 'человек свободный от обязанностей, от трудов', точно так же зап. бурятский¹ *bi ᠰᠠᠯ-ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠦ* 'я освободился от работы', где основа разбираемого нами слова 'ᠰᠠᠯ' → *ᠰᠠᠯᠠ* 'степь', 'равнина', 'пространство' есть несомненно акающая разновидность *ᠰᠣᠪᠢᠯᠠ* в подлинной передаче смысла этой фразы, означающей 'я стал со степью, с пространством', но чаще встречающейся у бурят в частно-собственническом переосмыслении *ᠰᠠᠯ-ᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠦᠨ* 'зажиточный человек', т. е. имеющий пространство, степь, но только не в смысле владения ими как собственностью, а в значении человека, имеющего простор, не отягощенного узами общественных отношений, в противоположность бедному *ᠰᠠᠯᠠ-ᠶᠡᠭᠦᠨ ᠶᠡᠭᠦᠨ* — «человеку без степи, пространства», т. е. человеку, несущему весь тяжелый гнет частно-собственнических отношений общества, связанному узами этого гнета, не имеющему простора. Казалось бы, чего легче объяснить все это «без лукавого мудрствования» как явление, вытекающее из частного владения землей, степью и т. д. Тогда мы получили бы противоречие со значением фразы в бурятском осмыслении и, так поспешно вооружившись орудием статического исследования индоевропеизма, подрубили бы корни генетического прослеживания данной фразы. В период родового строя это означало человека, связанного или несвязанного с внутривидовыми обязанностями данного рода, т. е. человека извне,

¹ В письменности древней монг. литературы встречаем слово *tab-arᠴan*, в значении «свободный раб».

из другого коллектива, члена другого рода, что сохранилось в монгольском языке в значении *ᠶал-а*, 'гость', 'приятель', 'друг' → встречается в бурятском только в парном слове *ᠶаᠨᠠᠯ ᠶала* 'знакомый', 'приятель'; в его семантической разновидности в монг. *ᠶал-а-г-ᠷᠠ*, 'угощать', кроме того, делать одолжение, любезность, оказывать внимание, опять-таки встречающееся в бурятском парном слове *ᠶал+а-ᠷᠠ уал-а-ᠷᠠ*. 'tal-ta qün' у древних монголов, а также у бурят в свадебном обряде шафер, дружка невесты, буквально означающее «человек с приятностью, благоденствием и т. д.» (по Жамцарано); в бурятском и монг. культовом ритуале 'tal-ta haḡa' счастливый, благоприятный месяц сватания дочери (*таᠨᠵᠢ basaḡaᠨᠵᠢ talta haḡa*), что значит 'месяц, имеющий приятность, благоденствие, святость и т. д.' *talta* в перебое огласовки а ~ о дает 'tol-to haḡa' 'месяц с сиянием, лучами и т. д.' ← 'небо'. Мы приводили здесь примеры, близкие к современному нашему мышлению, но в нашу задачу входит уловить все их оттенки и краски, наложенные на них различными историческими эпохами, в условиях которых дошло до нас развитие этих слов. Оказывается, в эпоху глубокой седой древности пространство «вне рода» воспринималось как противоположный коллективу мир космоса, ибо основу *ᠶал-а* находим в озвончении исходного согласного в космическом понятии *dal-ä* 'море', с небной огласовкой *dei-qē* 'мир', 'космос', а по губной огласовке с удлинением ее и с ослаблением согласного эх. *sū-l-gaḡ* 'преисподняя', 'обитель богов' ↔ бух. *sō-l* 'печь', ал. 'дом' || эх. *ᠶиг-а* 'дом' ~ *höge* 'жилище', а по спирантной разновидности ~ *gal* 'огонь' ← 'небо' (по известному изречению, посвященному культу огня *gal ᠶеᠨᠭᠢ gal luḡa ᠶgal ᠶᠭᠡ* нет различия между огнем-небом (тотем) и огнем).

Таким образом, все это показывает нам, что 1) абстрактные понятия в языке появляются лишь в эпоху, когда человеческий коллектив осознал себя как таковой и противопоставил себя всему окружающему космическому миру, а впоследствии более дифференцированно пространству вне рода, окружающей пустыне, другому роду, а кроме того эти понятия неразрывно связаны с представлением о космосе-тотеме; 2) указанные абстрактные понятия в своем возникновении кровно связаны также с осознанием трудовых социальных отношений внутри коллектива, а в дальнейшем в более точном оформлении с конкретным представлением о нем; 3) как бы абстрактны ни были эти понятия, они в своем происхождении, т. е. в выявлении того, что лежит в их основе, увязаны с определенным мышлением и миропониманием данной общественной среды, но, главным образом, отношениями внутри общества, определяющими эту мысль.

Исходя из этих данных, нужно вести работу по установлению семантической закономерности лексики отдельных диалектов, не пренебрегая ни малейшими отклонениями от семантической основы, ибо каждое мельчайшее движение или колебание семантики слов связано с динамикой общественного строя.

Родовой строй или отдельные раздробленные коллективы создавали внутри себя лексику, отличающуюся от лексики других коллективов, результатом чего является разность лексики и семантики слов отдельных родов, племени, но эти же коллективы, имея более или менее одинаковые социально-экономические условия и тесное общение между собой, ибо без этого они не могли развиваться, создали общий языковой фонд, который наблюдаем в языке отдельных племен. Таким образом, общность и в то же время разность языков отдельных производственно-социальных коллективов является неизбежным историческим законом, возникшим и действующим на основе определенного социального строя, который должен сойти с исторической сцены и исчезнуть как в экономике, так и в сознании людей, но чтобы добиться этого в языке, в первую очередь необходимо знать точки соприкосновения и расхождения диалектов, чтобы расставить их рационально для сближения отдельных наречий и уничтожения разности с положительным использованием последней. Как раз этой стороне дела посвящен выше и также ниже приводимый материал, но последний относится не к наречиям, а к двум близким языкам халхаскому и бурятскому.

1. Западно-бурятские слова, малоупотребляемые или отсутствующие в халхаском разговорном языке:

hav'aganŭr трусишка, робкий, трепещущий, дрожащий	hydgelexe делать кое-как; плохо относиться к работе
hav'aganaxa дрожать, трепетать	haxan чудак; хлопец
haizgai представительный, степенный, гордый, тщеславный, напыщенный	ardalga предвещание несчастья
haizgaiŭxa возгордиться, возомнить о себе	andal'ata вымененный товар по отношению к своему эквиваленту; девушка, выданная замуж в обмен—в халх. разгов. языке нет
aĵar xezē давно-давно	bod'gōr мы с тобой
bahtai немножко, не особенный, так себе	zuxel'e шкура животного, принесенного в жертву богам, ругательное слово

ailār тихо
 albatai сын
 alba ugē дочь
 gol taha совсем, окончательно
 xoilgo лошадь умершему, кляча
 ardaха предвещать плохое
 has geхе размякнуть

hazūlха косвенно касаться чего-либо
 хū совсем
 hēl слишком, чрезвычайно, ужасно
 jahala очень, замечательно, хорошо,
 добро
 huzaixa вытягивать шею, жадничать,
 зариться
 jalbagar чашеобразный, эллипсо-
 образный
 ongōbl'e (эх.) растяпа, растыка

2. Слова, которые различаются по звуковому со-
 ставу, но семантически эквивалентны:

бур.

монг. (халх. разг.)

nosō лучина
 alga хозяйство, имущество
 adal хозяйство
 zōg'e имущество
 nelexe насыщаться
 netegхе увлекаться, отчаиваться
 matargai талия
 malān плешивый
 muja монхог грубый, хулиганистый,
 задорный
 mejeгхехе конкурировать, соперни-
 чать
 m'igаха срезать, царапать
 sөхө обруч
 sēl пучина, воронка, образуемая тече-
 нием воды
 soxob точный
 sōl печь
 hөх'өхө возбуждать настроение, под-
 стрекать
 haiгам лужа
 hēlē франт

cūrdas лучина
 аза-akuī хозяйство
 » »
 хөгөнгө имущество
 n'ulugх насыщаться
 хөцөх увлекаться
 byslγт талия
 халзан плешивый (по бур. то же самое)
 tab'tarygē грубый, хулиганистый
 atāггах конкурировать
 зөтөгхөх соперничать
 esxөх срезать, царапать ножом
 byslγт обруч
 сагаг'аг (имеется в бурят. яз.)
 usnai ergyleg пучина, воронка, обра-
 зуемая течением воды
 сохот, tot, zipхени точный
 зūха печь
 хөгхө возбуждать настроение
 (имеется в бурятском яз.)
 toirom, şalbāг лужа
 хөмсөг франт

hal'xai неэкономный

haigür сито

hobē клык

hadnag вешалка

hebēlxē зевать

hab'ā друг, ближний

ten'ise пшеница

ow'ōso овес

jašmēn ячмень

baxa лягушка

basagan девушка

dūxē любимая девушка

holgē невнимательный

añāxa заразиться болезнью

xal'daxa наброситься с руганью, ругать

ubā ygē ничего

berxerēgxē показывать свою силу, похвастаться знанием, чваниться

и т. д.

alābşa пол

agām рама

şagābar окно

ama xēgxē попробовать, пригубить

abalsānai имеют одинаковую силу

abargadaxa зацементировать, прицементировать

пазар лето

sen цена, стоимость

segenexē оценивать

hal'axa течь

gam ygē неэкономный (имеется в бурятском яз.)

şegşyг сито (имеется в некоторых бурятских говорах)

sojō клык

olgүг вешалка (имеется в бур.)

ebşēx зевать

xamātan друг, ближний

būdai пшеница

xuşū овес

arbai ячмень

xozogor arbai голый ячмень

xijagtai arba ячмень, семя которого имеет защитный покров

mel'kē лягушка

xүхен девушка

janag, amaгag любимая девушка

manгū невнимательный

xalдах заразиться

zaginaх ругать, наброситься с руганью

zygēг ничего

dērelx похвастаться знанием, чваниться

şal пол

sonkonē хугē рама

sonxo окно

amasxa попробовать, пригубить

tencēnē имеют одинаковую силу (имеется в бурятском)

xoшпохо зацементировать, прицементировать

zip лето

yne цена, стоимость (имеется в бурятском)

yne toktōxo оценивать (имеется в бурятском)

şaг'ax течь

andaldaха менять	sol'ox менять
zahalaxa начинать	exilex начинать
dal'i крылья	dalabça крылья
ongogor зазорный, раздражитель- ный	ongogoi зазорный
omoglon человек, не по способностям берущийся выполнять что-либо	omoglon человек, не по способностям берущийся выполнять что-либо

Слова, которые имеют производные отклонения друг от друга:

Зап.-бур.	Монг. (халхаское)
пазаг лето	пазаг самый жаркий период лета, в класс. монг. языке лето
ujanga поведение, мотив	ujanga мотив, перелив (в смысле по- ведения не употребляется)
xālgа ворота	xālgа дверь
yden дверь	yde кошма, которой покрывают дверь или ворота
hуnehе yгē трусливый	synуsy yгē бездушный, грубый, иногда трусливый
selmexе проясниться, отрезвиться	selmex только в значении tengri selmex небо прояснилось
sabçaxa рубить, косить	sabçax только рубить
çelētab'axа умопомрачиться, падать в обморок	çelētab'ax освободиться от работы
selēогхo очнуться	находиться без сознания
тапаха запастись имуществом, на- коплять	тапах караулить, охранять
netexхе увлекаться	netex, getex только в смысле «жад- ничать»
gāgxa раздражаться, сердиться, дуться, стремиться	gāgxa возбуждаться, повыситься на- строение
хагā вид, пространство обозреваемое,	хагā зрение
хосогхo погибнуть	хосогх отстать
eberхе ушибиться	eberx просушиться
dalabça отвальная доска у плуга, что-либо развевающееся на-по- добие крыльев	dalabça крылья

Зап.-бурятские слова, которые встречаются в литературном монг. языке, но отсутствуют или малоупотребительны в живом разговорном халхаском языке:

Бур.	Монг.
сен цена, стоимость	цjага в лит. языке 'благовоспитанное поведение', а в разговорном только 'мотив'
segenexе установить цену	selmexе становиться умнее, сознательнее отзываться
berxeddeg человек чванливый	пазаг лето
ага пеге псевдоним (редко встречается)	цп'ан дым
minā (встречается только в литературном монгольском яз. XV в.)	

Слова, имеющие фонетические дифференциации, влияющие на семантику:

Зап.-бур.	Монг.
hamaгха ошибаться	samaгх плавать
tamaгха плавать	samūгх ошибаться
holgē невнимательный	
halgai левша	solgē левша
mōгkе защищать	mōгхө мычать
мычать	omōгх защищать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своей книге «Первая выдвигенческая яфетидологическая экспедиция по обследованию мариев» Н. Я. Марр на стр. 32 говорит: «... к марийскому языку надо подходить не как к цельному массиву, надо подходить не как к сумме, слагающейся из физических районных отрезков с цельными местными диалектами, а как к социальной организации с различными классовыми или пережиточно-классовыми языками, классово отлившиеся, более или менее полно, но не вполне, в те или иные местные пределы в процессе смены одного социального слоя другими». Эти слова Марра целиком применимы к бурятскому языку, ибо он не представляет цельный массив или сумму, слагающуюся из физических районных отрезков западного и восточного диалектов, а является языком, возникшим и развивающимся в определенных исторических условиях и с наложенными на него отпечатками различных общественных форм и классов, начиная от родового

строю, кончая капиталистическим способом производства. Поэтому требуется подходить к каждому диалекту с учетом их особенностей, создавшихся благодаря своеобразным историческим условиям, без преклонения перед одним и пренебрежения другими диалектами, о чем и говорит Н. Я. Марр в той же книге, когда он ставит вопрос о разработке литературного языка в отношении лексики и техники (морфологии и синтаксиса) с использованием одинаково всех разновидностей марийского языка «как равноценных его представителей на различных ступенях развития, а не с подходом к тому или иному наречию, как обычно мнится при взгляде на другие диалекты, как на искажения, свойственные отсталым районам». Но это не значит, что мы не должны отдавать предпочтение восточному диалекту, так же, как считать западный искаженным. Западный диалект не есть искаженный, испорченный, обрусевший язык, как представляют некоторые работники. Западный диалект — продукт соответствующих исторических условий развития западных бурят, отражающий это развитие во всех его частностях. При работе над западным диалектом и использовании его особенностей необходимо учесть:

1) Специфичность этого диалекта с его элементами русского языка, которые должны быть приняты во внимание, и полезные из них должны быть включены в общепурятский язык.

2) Семантические отклонения некоторых слов-понятий от халх. разговорного, так же от литер. монг. языка, хотя иногда незначительные, но тем не менее чреватые опасностью при неучете их в работе над практическим строительством языка, и которые коварно готовят неожиданные затруднения, не говоря об их теоретической ценности для выяснения генезиса и закона развития их семантики.

3) Семантическую особенность некоторых слов, связанных с пережитками родового строя и дальнейшим культурно-историческим разобщением восточной и западной Бурятии.

4) Встречи и скрещивания с лит. монг. языком, не наблюдаемые в халхаском разговорном языке.

5) Случайные фонетические совпадения отдельных слов, которые по смысловому содержанию отличны друг от друга.

6) Отдельные слова, различные по своему звуковому составу, но эквивалентные по смыслу, которые насчитываются в значительном количестве и показывают особые условия развития диалектов.

7) Засоренность западного диалекта наносными случайными заимствованиями наряду с исторически необходимыми и закономерными заимствованиями, которые должны войти в состав нового бурят-монгольского

Мы должны из всего этого сделать следующие заключения: 1) бурятский язык не является языком массивно однородным, а в нем отражаются пережитки и влияния различных стадий общественно-экономических отношений и их надстройки;¹ 2) бурятский и халхаский языки при значительном общем фонде лексического запаса имеют и отличия, характеризующие их, как представителей самостоятельных национальных языков, что необходимо учесть в данный период при строительстве нового бурятского языка, чтобы не впасть в ошибки. Научно установив отличительные черты их, необходимо стремиться в дальнейшем к целеустремленному основательно продуманному стиранию таковых в процессе нового языкового строительства обеих наций, для чего требуется включение нужных отличительных элементов в фонд того или иного языка; 3) так называемый западный диалект, поносимый субъективными и несубъективными противниками соцстроительства, как обрусевший, недостойный внимания, язык, обладает богатством национальной формы, иногда имеющим превосходство даже перед халхаским разговорным языком, что требует его глубокого изучения с тем, чтобы использовать для нового языкового строительства; 4) анализируя бурятский язык в его разнообразии, установив момент расхождения и схождения отдельных диалектов, необходимо нам, лингвистам, стараться найти точки соприкосновения и сближения их, рационально использовать моменты расхождения для сближения, следовательно, для строительства нового литературного языка. Путь нелегкий, но необходимый, во всяком случае, гораздо лучший, чем движение по линии наименьшего сопротивления, т. е. по пути изоляции бурятского языка от монгольского, аратского, без учета перспективы развития национальных языков к их сближению в будущем; 5) западный диалект и вообще диалекты в бурятском языке есть пережиток стадии отдельных племенных или родовых языков, которые сейчас, при консолидации бурятского народа, сохранились как диалекты или наречия.²

Ленинград,
июнь 1933 г.

¹ Здесь крайне необходимо учесть более развитые феодальные отношения в восточной Бурятии (в связи с этим распространение ламаизма и возникновение бурят. лит. языка в XVII в., влияние последних на устный язык и значимость их сопротивления русской капиталистической культуре); более слабые феод. отношения на западе со значительными пережитками родового строя и соответственно этому более быстрое проникновение капитализма в западную часть Бурятии.

² Автор готовит статьи, посвященные некоторым проблемам, поставленным им в данной работе, в частности «О заимствовании русских слов» и «О задачах использования диалектов».

А. К. БОРОВКОВ

ПРИРОДА „ТУРЕЦКОГО ИЗАФЕТА“

Грамматический термин «турецкий изафет» не является общепринятым и распространенным в туркологической грамматической литературе. Как грамматический термин «турецкий изафет» употребляется в грамматиках анатолийско-турецкого языка (*terkibi izafî* схоластической грамматической литературы) по аналогии с персидским «изафетом» [безударный гласный *i*, которым соединяется определяемое и определение типа тадж. *zabon-i podagi* 'родной язык' (*zabon*)], перенесенным и на почву анатолийско-турецкого языка: *mesail-i dahiliye* «внутренние (*dahilî*) вопросы (*mesal*)» и т. п.

Понятие «турецкий изафет» распространяется на сочетание двух существительных, из которых (как и во всех случаях в языках турецкой системы) определение предшествует определяемому. Различаются три типа сочетания существительных.

1. Определение и определяемое остаются неизменными, оставаясь каждое в именительном падеже. Существительное определение в таких случаях обозначает: а) меру, вещество, материал: а.-т. *big parca eknek* 'кусочек хлеба'; а.-т. *altın saat* 'золотые часы'; а.-т. *demir yol* 'железная дорога'; *taş köprü* 'каменный мост'; б) занятие, специальность или прозвище: а.-т. *demirci Ali* 'кузнец Али'; а.-т. *muallim Ali* 'преподаватель Али', или в) пол, возраст (определяемое общеродовое понятие): а.-т. *erkek çocuk* 'мальчик, сын'; а.-т. *kız çocuk* 'девочка, дочь'; а.-т. *erkek kedi* 'кот'; а.-т. *dişi kedi* 'кошка' и т. д.

2. Определение остается без изменения, а определяемое принимает местоименно-притяжательный аффикс 3-го лица ед. и множ. числа. В таких случаях существительное-определение обозначает «род в его целом», «единичность или неопределенность» и переводится как прилагательное: а.-т. *kapı anahtar* 'дверной ключ'; а.-т. *şehir kapısı* 'городские ворота'; а.-т. *deniz hamamı* 'морская купальня' и т. д.

3. Изменяется и определение и определяемое. Существительное-определение ставится в родительном падеже, а определяемое с местоименно-при-

тяжательным аффиксом 3-лица ед. и множ. числа и выражает в таком сочетании «отношение или принадлежность определяемого к имени известному»: а.-т. *kapının anahtarı* 'ключ (давней) двери'; а.-т. *şehirin karusu* 'ворота (данного) города' и т. д.

Форма последнего сочетания включает в себя случаи, когда существительное-определяемое обозначает: а) меру, количество: а.-т. *ekmeğin parçası* 'кусочек хлеба'; а.-т. *karguzun dilimi* 'кусочек арбуза' и т. д. и б) прилагательное или числительное: а.-т. *güzellerin güzeli* 'красивая из красивых', а.-т. *dostun biri* 'один из друзей' 'некий друг' и т. п.

Особо выделяются сочетания существительных, которые образуют сложные сочетания с новым определяемым именем, в свою очередь принимающим местоименно-притяжательный аффикс 3-го лица ед. и множ. числа: а.-т. *yüz başı* 'сотник, капитан'; *topçu yüz başısı* 'артиллерийский капитан' (*topçu* — артиллерист); а.-т. *bin başı* 'полковник'; *süvari bin başısı* 'кавалерийский полковник' и т. п.

Наконец, указывается обычно, что в «изафете» могут быть несколько определений и несколько определяемых типа: а.-т. *ipek, ün, keten kumaşlar* 'шелковые, шерстяные и бумажные ткани'; а.-т. *kadın, erkek ve çocuk elbiseleri* 'дамские, мужские и детские платья' и т. п.¹

Французский турколог J. Deny рассматривает атрибутивные отношения имен несколько в ином разрезе, выделяя в широком плане три группы: а) *groupes déterminatifs*, б) *groupes oppositionnels*, в) *groupes propositionels* и в аспекте, близком к рассмотренным выше типам: а) *le nom de quantité en général* типа: *ne kadar tuz* 'какое количество соли'; *az şeker* 'мало сахара', с одной стороны, и *elli kişi* 'пятьдесят человек'; *biñ bir g'ege* '1001 ночь' и т. п., с другой, б) *une série de substantifs de matière*, типа: *taş köprü* 'каменный мост'; *tuz şeker* 'сахарный песок' и т. д. и в) *quelques autres substantifs, qui seront énumérés plus loin* типа: *qiz çoğuc* 'девочка'; *arслан adam* 'смелый (лев) человек' и т. п.²

В общем деление групп сочетаний существительных у J. Deny не идентично делению, о котором мы говорили выше; в частности, сочетание существительного в родительном падеже со следующим за ним существительным J. Deny относит к группе определений вообще.

Во всех случаях «изафет» рассматривается как синтаксическая категория. Категория эта свойственна всем языкам турецкой системы и в этом

¹ Ср. Вл. Гордлевский. *Грамматика турецкого языка (морфология и синтаксис)*, М., 1928, стр. 75—79.

² J. Deny. *Grammaire de la langue turque (Dialecte osmanli)*. Paris, MDCCCXCI, стр. 736 и сл., 745 и сл.

плане рассматривается обычно в грамматической литературе как часть вопроса об определении вообще. Не вдаваясь в историю вопроса, отметим основные точки зрения на тему об определении и его категориях в грамматической литературе.

«Предмет может определяться: а) качеством, указанием, состоянием или действием, порядком, или, выражаясь применительно к русской грамматике, — прилагательным, местоимением указательным, порядковым числительным, причастием, — словами, в русском языке согласующимися с именем в надеже и проч. аӓ тап — белый камень; аӓты кӓжи — добрый человек; ол јол — та дорога; ӓрген кӓжӓ — ходивший человек; ӓчӓнчи јыл — третий год.

б) Количеством, т. е. количественным числительным или именем меры, веса и т. п.; по-русски в этом случае имя ставится в родительном падеже, а по-алтайски количественные слова стоят пред именем, как прилагательное или как простое определение, напр., он чаӓырым — десять верст (букв. десять верста); ӓч пуд кӓмур — три пуда муки (три пуд мука); ӓч кап аӓча — триста рублей (три мешок деньги); пӓр айӓыр мал — один табун лошадей (один жеребец скот); кӓп кӓжӓ — много людей (много человек); ас кӓжӓ — мало людей (букв. мало человек).

в) Определениями могут быть предметные имена (существительные), обозначая: форму предмета, материал; напр. ай малта — аллебарда (букв. месяц, топор, т. е. топор, имеющий форму месяца); ай талай — море, подобное луне по очертанию или по блеску; тап тура — каменный дом (букв. камень дом); алтын јӓстӓк — золотой перстень (золото перстень); сӓт кӓл — молочное озеро (молоко озеро); алтын најы — золотой друг (т. е. драгоценный или любезный, как золото).

г) Предметное имя может служить также определением, показывая: занятие, сан, пол, возраст; напр.: палыӓчы кӓжӓ — рыбак человек; каан кӓжӓ — царь человек; ер кӓжӓ — мужчина; ӓй кӓжӓ — женщина, кӓыс кӓжӓ — девица; пала кӓжӓ — ребенок.

д) Нарипательное имя определяется собственным именем, или нарицательным же, но означающим меньшую группу предметов. Поэтому собственное имя ставится прежде нарицательного и название меньшей группы ставится перед названием большей группы: Том тура — город Томск; Алтай ту — гора Алтай; Адыбас темӓчи — демича Адыбас; пел балып — рыба таймень; карагай агап — дерево сосна...¹

¹ Грамматика Алтайского языка. Составл. членами алт. миссии, Казань, 1869, стр. 113—115.

Приведенная выше точка зрения, изложенная в свое время в «Алтайской грамматике», стала в дальнейшем в известной мере как бы традиционной в тюркологической литературе.

Определения из «Алтайской грамматики» подробно повторил в своей «Краткой грамматике казак-киргизского языка» проф. П. М. Мелиоранский.¹ Проф. Н. Ф. Катанов развил их в своем непревзойденном по обстоятельности «Опыте исследования урянхайского языка».²

Н. Ф. Катанов также рассматривает формы «изафета» как частный случай грамматического определения (*das Attribut, die Beifügung*).

«Если рядом стоят два существительных имени, то предшествующее, играя роль определения по отношению к следующему, может обозначать форму или качество, материал, меру или вес, объем или величину, или возраст предмета, выраженного вторым существительным, по-русски первое существительное переводится обыкновенно прилагательным именем».³

Выделяя типы сочетания существительных в зависимости от их формы, Н. Ф. Катанов, наряду с этим, относит к ним сочетание существительного в родительном падеже и относящегося к нему существительного и вводит при этом новое понятие «оформленного» и «неоформленного» родительного падежа, т. е. существительного-«определения» с аффиксом родительного падежа или без аффикса, стоящего формально в именительном падеже.

«Существительное имя, стоящее в родительном падеже, оформленном или неоформленном, играет всегда по отношению к стоящему вслед за ним, иногда дальше, слову роль определения».⁴ Таким образом, сочетание существительного «определения» в именительном падеже с существительным «определяемым» с местоименным аффиксом 3-го лица ед. и мн. ч. числа. Н. Ф. Катанов рассматривает как сочетание существительного в родительном «неоформленном» со следующим относящимся к нему существительным «определяемым».

«Когда два имени принимаются в обширнейшем значении, составляя название для целой категории предметов, тогда первое из них в родительном падеже стоит только мысленно, наружно же никакого окончания родительного падежа не принимает, а второе часто принимает местоименный аффикс 3-го лица единств. числа».⁵

¹ Краткая грамматика казак-киргизск. языка, ч. II, Синтаксис. Сост. П. М. Мелиоранский, СПб., 1897, стр. 3—6.

² Н. Ф. Катанов. Опыт исследования урянхайского языка с указанием главных родственных отношений его к другим языкам тюркского корня. Казань, 1903.

³ Ibid., стр. 898.

⁴ Ibid., стр. 900.

⁵ Ibid., стр. 770.

Приведенных примеров достаточно, чтобы составить себе отрицательное суждение не только с точки зрения неустойчивости и относительности принятой терминологии, но и с точки зрения существа вопроса. Причиной этому является в первую очередь узко «логическая» и неисторическая точка зрения при рассмотрении вопроса об определении и природе «турецкого изафета».

● Понятие «турецкого изафета» рассматривается как категория синтаксическая. Между тем, сочетания существительных являются, подчас, в такой же мере категорией словообразования, как и синтаксиса. Встав на абсолютную точку зрения «турецкого изафета», мы должны рассматривать конструкцию изафета как частный случай синтаксического определения, известный второстепенный элемент предложения, обозначающий свойства или признаки других членов предложения, выраженных существительными.

В конечном счете, словообразование есть также категория синтаксическая, но это не дает основания не различать в языке явлений словообразования и синтаксиса. В этом плане природа «турецкого изафета» неизбежно ставит нас перед более сложным вопросом о характере «агглютинации» в том понимании, которое нашло свое выражение у де-Соссюра и его предшественников.

Понимание конструкции «турецкого изафета» и определения вообще покоится, о чем мы говорили выше, на логической характеристике. В явлениях языка должно различать логическую сторону и чисто языковое выражение категорий мышления, формы выражения в языке этих категорий. Решающим с этой точки зрения в природе «турецкого изафета» является отсутствие в языках турецкой системы формальных морфологических признаков определения вообще, придагательных в частности.

Определение не управляется, а согласуется с тем существительным, к которому оно относится, это согласование осуществляется в языках турецкой системы синтаксически — порядком слов. Таким образом, логическая сторона в языке находит свое грамматическое выражение в синтаксической его структуре. «Несамостоятельность» определения, зависимость его, как категории, выражающей свойство, от носителя свойства, находит свое выражение в форме синтаксического согласования, но в «изафете», в сочетании существительных, исторически дана и форма словообразования, форма образования новых понятий через посредство абстрагирования предметного свойства, как существенного, определяющего новую природу уже известного в практике предмета, ср. напр. (крч.-б.):

aǵaǵ koıan 'белка' (дерево, лес — овца)
 aǵaǵ taık 'дятел' (дерево, лес — курица)
 alma tereq 'яблоня' (яблоко — дерево)
 emen tereq 'дуб' (жолудь, дуб — дерево)
 sū aǵaǵ 'кормысло' (вода — дерево)
 aǵaǵ ııleıǵı 'плотник' (дерево-работающий).

Такого рода сочетания являются «составными словами», элементом словообразования на основе аморфной синтаксической структуры. Предметный признак, выраженный первым существительным, не относится к следующему за ним существительному как определение, поскольку выражает не одно из многих возможных свойств или признаков, а обозначает характерный признак нового понятия на основе отнесения предметного признака на существовавшее уже в практике понятие (предмет), или на основе ограничения первоначального значения отнесением к определенному понятию, предмету, напр. (крч.-балк.):

bırun teıııq 'ноздря' (нос — дыра)
 bırun bok 'сопля' (нос — навоз, испражн.)

Сравните также следующие примеры крч.-б.:

aǵaǵ ǵıy 'чека' (дерево — гвоздь)
 bal ǵıbın 'пчела' (мед — муха)
 aǵǵa qırǵun 'кошелек' (деньги — сума)
 baıı sıjek 'череп' (голова — кость)
 aıılek baıı 'колос' (зерновой хлеб, зерно-голова)
 aıılek ıy 'амбар' (зерновой хлеб — дом)
 ata ǵurt 'отечество' (отец — селение)
 ǵəbə aw 'паутина' (паук — сеть).
 emen ǵörtlöıq 'жолудь' (дуб — орех)
 kaıa taııı 'эхо' (скала — звук, голос)
 ǵıy kəsǵaǵ 'клещи' (гвоздь — щипцы)

Таким образом, сочетание существительных включает в себя момент словообразования. Отношение существительных в такого рода «составных словах» сохраняет общий структурный характер языков турецкой системы — существительное, определяющее значение нового понятия, ставится перед следующим за ним существительным, основным элементом сочетания. «Определяющее» существительное или обобщает или ограничивает значение основного элемента сочетания и, с другой стороны, изменяет и свое соб-

ственное реальное значение в зависимости от места в сочетании, как это видно из примеров (крч.-б.);

awuz baw 'завязка для меха' (рот, отверстие — связка)

bal awuz 'воск' (мед — рот, отверстие)

baş qün 'понедельник' (голова, начало — день)

aşlak baş 'колос' (зерновой хлеб — голова, начало)

Определяющим новое значение признаком может быть прилагательное наряду с именем существительным, причем в таком случае значение всеобщности свойства, выражаемое прилагательным, «снимается» и ограничивается в новом единичном значении.

крч.-б. sarə ʃibın 'оса' (желтая муха)

крч. sokur ʃibın 'слепень' (слепая муха)

а.-т. kağa göz 'черноглазый (ая)'

крч.-б. böğü qöz 'светлокоричневые глаза (окий)' (букв. волкоглазый)

узб. aksakal 'старшина' (белобородый).

Существительные в составных словах сохраняют в сочетаниях самостоятельное ударение и ряды гласных, но при известных условиях сочетание существительных «сливается» в единое слово с одним главным ударением, ряды гласных гармонизируются, ср., напр.:

крч.-б. balawúz 'воск' (bál-awúz)

туб. taksəl ~ taskəl 'хребет' (tàɔj-sén)

« tārtá 'завтрашнее утро' (táɔ-ártá)

« qöqrāş 'синегузка' (qöq-rāş)

крч.-б. qünörtāzək 'обед' (qün-orta-azək).¹

Единство семантическое составных слов объясняет сложные сочетания — «комплекс» из двух существительных, определяющих значение третьего, или «комплекса» из «составного слова» с «простым» существительным, ср., напр. (крч.-б.):

qün orta azək 'обед'

it burun ʃığana 'терний', назв. растения

it til ɔprak 'название растения' с широкими **границами**.

¹ В практике орфография составных такого рода слов ничем не обусловлена в карач.-балк. литерат. языке, ср. ebze-itburun, albeskun, almujuz, aju-tārtāq и т. д., и не проведены границы определения и приложения в сочетаниях существительных.

К подобным сочетаниям относятся и приведенные выше а.-т.; торси уйз бағиси 'артиллерийский капитан' и т. п., принадлежащие к формально иному типу сочетаний.

К категории «составных слов» необходимо отнести и сочетания существительных, «определяющих пол» одушевленных: а.-т. көз җоқук 'девочка'; еггеқ җоқук 'мальчик'; узб. көз бала 'девочка, дочь'; оғул бала 'мальчик, сын'; крч.-б. ег қиш (пишется вместе егқиш) 'мужчина'; еггеқ ат (произносится: еггеғāt) 'жеребец' и т. д.¹

Сочетания существительных могут представлять параллельные названия одного предмета, или, точнее, первое из существительных, не выражая определяющего признака следующего за ним существительного, может сосуществовать наряду с ним как параллельное название, выделяющее данный предмет из однородных. Иначе говоря, этот особый тип «определения» в такого рода сочетаниях, как и перечисленных выше, составляет форму приложения, как, напр.:

- а.-т. demirdı Alı 'кузнец Али'
- » muallım Alı 'преподаватель Али'
- узб. zārbdar kēz 'девушка-ударница'
- » qālqozqā kēz 'девушка-колхозница'
- » shāhār bostan 'город-сад'

Приложение есть категория, развивающаяся параллельно определению в собственном смысле слова и, следовательно, не равнозначная последнему. Приложение включает в себе и известный элемент предикативности.

Существительное играет роль относительного прилагательного в тех случаях, когда обозначает свойство предмета, выраженного следующим за ним существительным, и именно свойство одного из нескольких возможных. В таких случаях существительное в именительном падеже служит определением следующего за ним существительного также в именительном падеже в порядке синтаксического согласования с ним. Такое сочетание формально есть первый тип «стурецкого изафета», где существительные — определение и определяемое остаются формально неизменными, в именительном (бессуффиксальном) падеже. Ср. примеры:

¹ В современной узбекской орфографии предусмотрен случай, когда сложные имена, из которых каждое в отдельности потеряло или теряет значение и которые понимаются как одно имя, пишутся вместе: Srdarja, Aqqoqjan, gultaçixoqaz и т. д. Ср. Ozbek adabi tlinin, birlaşqan jancı imla lajhası. Taşkent, 1933 jl., стр. 12, § 19.

- а.-т. taş qövrü 'каменный мост' (камень — мост)
 » » altın saat 'золотые часы' (золото — часы)
 крч.-б. arba dol 'колесная дорога' (телега — дорога)
 » » eşiğ dol 'тропинка, горная тропа' (осел — дорога)
 » » emen şeget 'дубовый лес' (дуб — лес)
 » » iñir yıldız 'утренняя звезда' (утро — звезда)
 » » kan ez 'красный след' (кровь — след)
 » » qıyız bığ 'войлочная шляпа' (войлок — шляпа)
 » » kabır taş 'надгробный камень' (могила — камень)
 » » demir balta 'железный топор' (железо — топор)
 » » fevral devrimi 'февральская революция' (февраль — революция)
 » » imperyalist savaş 'империалистическая война' (империалист — война)
 » el keşif 'сельский совет' (селение — совет)
 » tabır qırış 'классовая борьба' (класс — борьба)
 каз. kız süyü 'девичья любовь' (девушка — любовь)
 туб. taş ev 'каменный дом' (камень — дом).

Разумеется, принятое понимание этого типа сочетания существительных в том смысле, что первое существительное-определение означает в таких случаях «меру, вещество, материал» или «занятие, специальность, прозвище», или, наконец, «пол и возраст», слишком ограничено, противоречиво и недостаточно.

Недостаточной надо признать и характеристику второго формального типа сочетания существительного в именительном падеже со следующим за ним существительным с местоименно-притяжательным аффиксом 3-лица в том смысле, что первое существительное выражает в таких случаях: а) род в его целом (в этом случае в русском яз. существительное-определение получает оттенок или даже значение прилагательного, соответствуя французскому предлогу de); б) единичность либо неопределенность, напр.: топчу аскери — артиллерист [солдат, обладающий качествами, присущими этому роду оружия (?!)]¹

Напомним, что проф. Н. Ф. Катанов видел в этого рода сочетаниях «неоформленный» родительный падеж с относящимся к нему существительным с местоименно-притяжательными аффиксом 3-лица.

¹ Проф. В. А. Гордлевский. Грамматика турецкого языка. М., 1928, стр. 76. Впрочем «местоим. приставку 3-го л. принимает и приложение...», говорит здесь проф. В. А. Гордлевский и далее... «выражения, в которых определяемое имеет уже местоим. приставку 3-го л., представляют иногда одно понятие...» и т. д., стр. 76.

Мы бы назвали этого типа сочетание существительных отношением соприложения. С точки зрения отношения определяющего предметного признака данного предмета можно говорить о «прямом» и «обратном» соприложении в такого рода сочетаниях существительных, поскольку синтаксически мы имеем здесь дело с определениями и дополнениями.

Или мы имеем соотнесенность существительного к единичному предмету неопределенному, которое получает в силу этого характер предметного признака, как неопределенно-всякого, как признака всеобщего в своей неопределенности, — тогда мы имеем «прямое» соприложение, или перед нами соотнесенность одного предмета, выраженного существительным к другому, как некоему определенному общему понятию или единичному предмету, именно в смысле соотнесенности к данному общему понятию, как определенно-всякому, — тогда мы имеем «обратное» соприложение, стилистически, следовательно, или определение или дополнение.

«Прямое» соприложение с точки зрения восприятия и перевода на русский язык переводится как сочетание прилагательного-определения с существительным определяемым:

крч.-б. *qeyesh qikumata* 'советская власть' (совет — власть)

» » *shfi tabone* 'рабочий класс'

» *el mülq krujoklaga* 'сельско-хозяйственные кружки'

узб. *bolshевич qoqlashi* 'большевистская весна'

тркм. *türqmenistan shura edebiyata* 'туркменская советская литература'

каз. *kazak kaza* 'казакская девушка'

» *kazak aveldara* 'казакские аулы'

» *kazakstan baspasa* 'казакстанское издательство'

«Обратное» соприложение обнаруживает иное соотношение существительных, ибо мы имеем здесь дело с дополнением, а не определением.

уйг. *ashlik ughishi* 'сбор хлеба, зерновых'

» *qayash sayishi* 'выборы советов'

» *shiri dushman shriyushiri* 'шпионы классового врага'

узб. *urgush qapsuli* 'капсюль ударника'

» *gahat baghasa* 'сад отдыха'

» *buyuq burulash yala* 'год великого перелома'.¹

¹ В буквальной передаче сочетания этого типа необходимо было бы передавать несколько иначе: *ashlik ughishi* 'хлеба собирание «евонное»'; *qayash sayishi* — *soveta[ov] vybory «evonnye»*, и т. п., или с приближением к нашему пониманию «соприложения» — 'хлебо-сбирание', 'советовыборы' и т. д.

Двойкий характер соприложения оправдывает до известной степени понятие «неоформленного» родительного падежа в этого рода сочетаниях, предложенного Н. Ф. Катановым. Понятие «соприложения» мы находим достаточно аргументированным, не ставя шире вопрос о природе «изафета», как разновидности «немецкого» типа составных слов на иной исторической основе, хотя и соприложение смыкается и семантически непосредственно с образованием составных слов, как напр.:

- крч.-б. sū əzə 'берег' (вода, река — след) «евонный»
 » » sū başə 'источник' (вода, река — верх, начало)
 » » qün orta (sə) 'полдень' (день — середина...)
 » » üy başə 'крыша' (дом, голова — верх...)
 » » sūt başə 'сливки' (молоко — голова, верх...)
 » » kabaq eşigī 'ворота' (селение — двери...)
 а.-т. yüz başə 'капитан' (сотня — голова, начало) etc.

Сочетание формально третьего типа «изафета», т. е. сочетание существительного в родительном падеже со следующим за ним именем с местоименно-притяжательным аффиксом 3-лица ед. и множ. числа, по существу, стоит за пределами понятия «турецкого изафета» как синтаксической категории отношения определения и определяемого.

Сочетание родительного-притяжательного падежа существительных с существительными с местоименно-притяжательными аффиксами мы рассматриваем с точки зрения функции родительного притяжательного падежа. В этом смысле имеются основания для разграничения синтаксических функций родительного падежа в трех аспектах, именно, как: а) родительного-притяжательного, б) родительного-определятельного и с) родительного-разделительного.

Эта дифференциация близко связана в языках турецкой системы с понятием «определенности» и «неопределенности» существительных, о которых идет речь. В этом смысле подчеркивается и определенная единичность предмета в противоположность неопределенной единичности, ср., напр.: крч.-б. kamə baw 'петля на рукоятке плети' (им. пад.); kamə sar 'кнутышце'; но, kamañ kəñə 'ножны (кинжала)' (род. пад.); kamañ sabə 'рукоятка кинжала' (род. пад.).

Вообще сочетанием родительного падежа существительного с относящимся к нему существительным выражается отношение последнего к данному, определенному понятию, предмету, или определенно-единичному, причем в последнем случае возможно образование «составных слов» типа

обратного соприложения: крч.-б. *ǰakkəpə aǰə* 'белок' ('яйца белое «евонное»'); *qözni iñisi* 'зрачек' ('глаза перл, жемчужина евовная'); *qözni qıñisi* 'зрачек' ('глаза кукла евовная') и т. д.

Смешение синтаксических функций родительного падежа с категорией определения в собственном смысле слова отражается обычно в параллельном описании конструкции «изафета», с одной стороны, и синтаксической природы родительного падежа, с другой. У Н. Ф. Катанова: «Родительный падеж ставится тогда, когда он обозначает собою определенного владельца какого-либо предмета или виновника действия или состояния... им обозначается или принадлежность одного предмета другому, или отношение содержания к содержащему, части к целому, события ко времени или месту, или отношение действия к действителю, причем имя собственника, целого, содержащего, времени, места или действителя полагается в родительном падеже».¹

Таким образом, по нашему мнению, в конструкции «турецкого изафета» в форме сочетания существительного в родительном падеже со следующим за ним существительным с местоименно-притяжательным аффиксом 3-го лица нет основания видеть одну из форм категории определения, правильнее рассматривать здесь три стороны синтаксического употребления родительного падежа: а) притяжательного, б) определительного и с) разделительного, как это видно из следующих примеров:

крч.-б. *partıyanə XVII siezdı* 'XVII съезд партии'

» » *komsomolnu elde* иш 'работа комсомола в деревне'

» » *partıyanə ǰol başǰələǰə* 'руководство партии'

» » *febral bla oktyabr revolüsialanə zamanənda* 'во время февральской и Октябрьской революции'

каз. *kazak ädebiyetiniñ klassikterı* 'классики казахской литературы'

» *ǰer düziniñ proletarǰyatə* 'пролетариат всего мира'

узб. *bolşevizm ta'ǰəqənəñ bəzi məsäläləri* 'некоторые вопросы истории большевизма'

» *şairnəñ raportə* 'рапорт поэта'

» *qölgözǰənəñ şadləǰə* 'радость колхозника'

а.-т. *eqmeñ parǰasə* 'кусоч хлеба' и т. д.

То обстоятельство, что существительное в родительном падеже разделяется от относящегося к нему существительного второстепенными чле-

¹ Н. Ф. Катанов. Опыт исследования урянхайского языка, стр. 769.

С. Л. ВЫХОВСКАЯ

ПОКАЗАТЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ КАК КЛАССОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ГРУЗИНСКОМ И БАСКСКОМ ЯЗЫКАХ

Категория грамматического рода, как она существует, напр., в индоевропейских языках, является одной из форм перестройки и переосмысления прошедшей через ряд стадий существовавшей некогда классификации объектов. Древнейшим типом такой классификации, прослеженной на языковом материале и поддерживаемой историей общества и историей мышления, является классификация по социальной активности, воспринимавшейся, разумеется, на разных стадиях развития общества и мышления по разному. В процессе смены стадий языковые факты перестраивались, переосмыслились, причем системы классификации объектов позднейших эпох налегали на уже существующие системы. Результатом этого является сложность и полистадиальность в существующих в настоящее время системах, чрезвычайно затрудняющие исследование. Это особенно показательно для языков Банту с их многочисленными классами, не поддающимися до сих пор пониманию исследователей. Эта сложность, с одной стороны, и идеалистический метод индоевропейского языкознания — с другой, являются причиной того, что в наиболее изученных языках, языках индоевропейских, категория грамматического рода объясняется в корне неправильно, как пережиток классификации по одушевленности. Даже поверхностное наблюдение над индоевропейскими языками делает это построение весьма сомнительным: достаточно обратить внимание, что слово «дитя» в русском языке, немецкое *das Kind*, названия большинства животных в том же немецком языке — среднего рода, к которому индоевропейцы относят как раз предметы неодушевленные.

Не останавливаясь сейчас на этом вопросе, мы хотим проследить классификацию объектов на категории глагола, пользуясь выводами, сделанными акад. Н. Я. Марром на материалах грузинского языка.

В своей большой работе на французском языке «La langue géorgienne» (Paris, 1931) он пишет (§ 74, 1⁰): «Le premier pluriel (в грузинском древне-литературном языке. С. Б.) se forme en ajoutant au singulier du nom les indices du pluriel -ბ [-n] ou-თს [-და], аросопé -თ [-ფ] selon que ce nom est le sujet réel du verbe ou son régime réel, c'est-à-dire, selon qu'il désigne un être passif ou un être actif; et dans l'ancien littéraire il se rencontre dans tous les mots qui se déclinent, т. е. «первое множественное число образуется прибавлением к единственному числу имени показателей множественности -ბ [-n] или -თს [-და], сокр. -თ [-ფ], в зависимости от того, является ли это имя реальным субъектом глагола или же его реальным дополнением, т. е. в зависимости от того, обозначает ли оно существо пассивное или существо активное; и в древне-литературном языке оно встречается во всех склоняемых словах» (разрядка наша. С. Б.). Это положение применимо, однако, не к одному грузинскому языку — со свойственной Н. Я. Марру глубокой научной прозорливостью он этим разрешил вопрос о показателе множественности и в других языках яфетической системы. Задачей настоящей статьи является проследить это положение на материалах баскского языка, предварительно напомнив, однако, положение дела в грузинском.¹

Грузинский язык сохранил в своей глагольной системе, правда со значительным уроном, аффиксацию к глаголу местоимений субъекта и объекта, каждого со своим особым показателем множественности. Показателем множественности реального или логического субъекта служит -ფ, показателем множественности реального или логического объекта -n (мы подчеркиваем, что речь идет о реальных, а не грамматических субъекте и объекте в грузинском языке: благодаря особой конструкции переходного глагола они в ряде времен не совпадают):

наст. вр. v-^h-st-av 'я (v) то (h) пряду (st-av)'

v-^h-st-av-ფ 'мы (v-ფ) то (h) прядем (st-av)'

^h-st-av-ფ '[вы] (-ფ, показат. множ.) то (h) прядете (st-av)'²

v- логический субъект, -h- логический прямой объект, -st-av- корень с наращенной основой настоящего времени глагола 'прядь', -ფ показатель

¹ Приводимые формы взяты нами из книги Н. Я. Марра «La langue géorgienne» (Paris, 1931). Мы даем только по одному примеру, так как материал, приводимый нами, представляет только приложение парадигмы к отдельному случаю.

² Переводы 'пряду', 'прядем', 'прядете' условны, так как в -st-av- на лицо только корень (-st-) + наращенная основа настоящего времени (-av-). Это относится и ко всем переводам глагольной основы, которые будут даны в дальнейшем.

множественности реального логического субъекта для первых двух лиц; показателем множественности 3-го л. логического или реального субъекта служит -я, в которых их речь будет в дальнейшем. Показателем множественности реального прямого объекта служит -и. Для иллюстрации мы используем времена 2-й группы, т. е. аористы, так как во временах 1-й группы, или презентных, нет аффиксации показателя множественности объекта. Эта группа времен отошла в целом ряде отношений от яфетического состояния, как, напр., перестроив так наз. «пассивную» конструкцию переходного глагола на конструкцию непереходного, сблизившись тем с индоевропейскими языками; точно так же аффиксация прямого и косвенного объекта носит в ней до известной степени пережиточный характер. В аористе же роль показателей множественности совершенно ясная:

v-st-e-y 'я (v) спрял (-st-e-) то (-y)'

-y (после согласных -i) есть показатель прямого реального объекта.

Deeters¹ возражает против значения -y (||-i) как показателя прямого реального объекта на том основании, что его, якобы, нет в древнейших текстах, не указывая, к сожалению, в каких. Не углубляясь в дискуссии относительно древности текстов, напомним только, что по своей функции это -y (||-i) является именно показателем единственного числа реального прямого объекта; так, при множественном числе объекта оно заменяется -п: вместо v-st-e-y выступает v-st-e-p 'я (v) спрял (st-e) их (п)'; -п здесь показатель множественного числа прямого объекта в отличие от -э — показателя множественности логического субъекта: v-^h-st-e-p-i-э 'мы (v-э-) ему (-h-) прями (-st-e-) их (-п-i-)'. Здесь -э показатель множественности реального субъекта, -п- прямого объекта, множественного числа.² Показательно объективное спряжение, т. е. спряжение *verba sentiendi*, соответствующее конструкции типа 'мне нравится', 'мне хочется' в индоевропейских языках. В грузинском языке, как и в других яфетических языках Кавказа, почти все *verba sentiendi* идут по объективному спряжению:

u-kvar 'ему (u-) любишься (-kvar) [ты]' т. е. 'он любит тебя'

u-kvar-э 'ему (u-) любитеесь (-kvar-) вы (-э)' т. е. 'он любит вас'.

(«ты» в квадратных скобках, так как личного показателя нет). Показатель множественности -э относится здесь к источнику, причине, вызвавшей

¹ Das kharthwelische Verbum. Leipzig, 1930, § 174.

² N. Marr. La langue géorgienne, § 189, 2.

любовь и указывает, что эта причина мыслится активной. Такое понимание чуждо нашему современному мышлению, так как то или иное чувство или ощущение с нашей точки зрения далеко не всегда является результатом волевого акта источника действия; так, в выражении 'мне нравится что-нибудь' мы совсем не мыслим этот предмет, как нечто сознательно вызвавшее в нас это чувство — слово, стоящее в именительном падеже является для нас грамматическим, отнюдь не реальным субъектом. Другое содержание вкладывалось, однако, в это выражение на других стадиях развития человеческого мышления, когда каждое свое чувство, каждое ощущение человек приписывал сознательному воздействию на него со стороны какого-нибудь существа или силы, выражающейся в весьма конкретных представлениях. На доказательстве положения, что чувство или состояние считалось результатом (в более примитивном мышлении считается и в настоящее время) сознательного воздействия какой-либо силы, дружественной или враждебной, не стоит останавливаться, так как это хорошо известный факт.¹ В объективном строе грузинского глагола сохранился этот этап в истории человеческого мышления. Любопытно отметить, что если источник воздействия — 3-е лицо, то показателем множественности служит не -*ә*, а -*п*, т. е. показатель множественности пассивный. Вспомним, что при логическом субъекте 3-го лица в переходных глаголах показателем множественности служит также -*п*. Эта особенность в показателях множественности для 3-го лица в сравнении с первыми двумя лицами есть результат особой трактовки 3-го лица, проявляющейся не в одном грузинском языке. Так, в турецких языках 3-е лицо не имеет личного показателя и показатель множественности имеет отличный от первых двух лиц — -*лаг* вместо -*з*, что, впрочем, и объясняется отсутствием местоименного показателя. Это же явление, т. е. отсутствие личного показателя для 3-го лица, есть и в северокавказских яфетических языках, так, в даргинском: наст. вр. *say-га* 'я есмь', *say-г* 'ты еси', *say* 'он есть' — без показателя субъекта 3-го лица. То же в баскском языке для переходного глагола, то же и в других языках. В даргинском же языке обнаруживается еще одно чрезвычайно любопытное явление: в переходных глаголах личный показатель согласуется с логическим объектом, если этот объект представлен 1-м или 2-м лицом; если же объект 3-го лица, а логический субъект 1-го или 2-го лица, то личный показатель

¹ См. N. Marr. *Verba impersonalia, defectiva, substantiva und auxiliaria* (ИАН СССР, 1932, стр. 722—723). Большую литературу приводит Havers, *Zum Kapitel «Syntax und primitive Kultur»* (Wörter und Sachen, 1929, Bd. XII, Heft 2, стр. 162 сл.). См. также его книгу *Handbuch der erklärenden Syntax*. 1932.

согласуется с субъектом. Особенность в употреблении показателей множественности в 3-м лице в грузинском языке может быть, очевидно, разрешена только при решении более общего вопроса об особой трактовке 3-го лица не в одном только грузинском языке.

Возвращаясь к показателям множественности, можно констатировать, что в грузинском языке они четко делятся, не смешиваясь, на показатели активности и пассивности. Но эти же показатели, -*ფ* и -*ნ*, и в тех же самых функциях, как и в глаголе, наличны и в склонении грузинского древне-литературного языка: -*ნ* является показателем множественности пассивного — именительного падежа; -*და* (→ -*ფ* в местоимении 3-го л.: *შაფ*) — падежа активного, косвенного, выполняющего функцию всех косвенных падежей.¹

На другом конце Европы баскский язык выявляет те же особенности в показателях множественности в глаголе, как и грузинский язык, но еще с большей последовательностью. Но в баскском языке анализ усложняется наличием в нем большого числа диалектов: L. L. Vopararte² насчитывает 8 литературных диалектов с 25 говорами; вследствие постоянного взаимопроникновения этих диалектов нормы и формы одного проникают в другой и усложняют картину;³ к этому надо учитывать еще слабую устойчивость ряда согласных между гласными и сильную ассимилятивную способность гласных, что при большом числе аффиксируемых в глаголе морфологических элементов еще более затрудняет анализ.³ Несмотря на это, все же совершенно четко выделяются два вида показателей множественности: 1) показатели логического или реального субъекта переходного

¹ См. N. Magt, *op. cit.*; его же Происхождение языка, ПЭРЯТ. Сомнения Deeters'a (*op. cit.*, стр. 60) относительно тождественности -*ფ* в глаголе с -*და* (-*ფ*) в именах совершенно непонятны; то обстоятельство, что показатель -*ფ* не встречается в местоимениях первых двух лиц, ровно ничего не говорит против этой тождественности: функцию множественного числа первых двух лиц выполняют местоимения, образованные от других корней, чем местоимение 1-го и 2-го лица единственного числа: 1-е лицо *ჟენ*, 2-е — *ჟენ*. Кроме того, Deeters'у следовало бы уяснить себе, что речь идет не о функции показателя, а не о том, присоединяется ли он к тому или иному лицу, по функции же он совершенно совпадает с показателем множественности, так как относится к косвенному падежу. Соображения Deeters'a, страдающего вообще гиперкритикой, тем более неосновательны, что другой показатель множественности в глаголе, -*ნ*, он считает возможным сопоставлять с показателем множественности именительного падежа, -*ნ* (*ibid.*, стр. 62).

² Le verbe basque en tableaux, Londres, 1869.

³ Факты баскского языка, в частности глагола, совершенно не поддаются обычному оперированию индоевропейцев с «фонетическими законами», что заставляет H. Schuchardt'a иронически воскликнуть: «Zum Glück sind die Lautgesetze in Baskenland noch nicht gedrungen» (Baskische Studien. I. Über die Bezugsformen des baskischen Verbum, Denkschriften der Kais. Ak. der Wiss., Phil.-hist. Klasse, Bd. 42 (1893), стр. 5).

глагола и косвенного объекта *-te*, диалектически *-e*, и субъекта глагола непереходного и реального прямого объекта переходного глагола *-s* (в баскской транскрипции *-z*) с вариантом *-š*, в пределах одного и того же диалекта.

Показатель множественности для субъекта (реального) переходного глагола:¹

Лабурдинский, гипускоанский диалекты.²

Наст. вр. *d-u* 'то (*d-*) имеет (*-u*) [он]' (логический субъект переходного глагола в 3-м лице имеет нулевой показатель, потому слово «он» помещено в квадратные скобки).

d-u-te 'то (*d-*) имеют (*-u-*) они (*-te*)' (*-te* — показатель множественности субъекта).

Бискайский диалект.

Наст. вр. *da-u* 'то (*da-*) имеет (*-u*) [он]'

da-b-e 'то (*da-*) имеют (*-b-e*) [они]'

форма *dabe* получилась из *da-u-te* → *da-u-e* → *da-b-e*.³

Сулетинский диалект.

Наст. вр. *d-ü* 'то (*d-*) имеет (*-ü*) [он]'

d-1-e 'то (*d-*) имеют (*-1-e*) [они]'

die ← *düte*: *t* между гласными выпадает, *ü* переходит в *i*.⁴ Таким образом, показателем множественности реального субъекта служит *-e*.

Косвенный объект переходного и непереходного глагола:

Гипускоанский, лабурдинский диалект.

Наст. вр. *sa-y-o* 'он есть (*sa-*) для (*-y-*) него (*-o*)'

sa-y-o-te 'он есть (*sa-*) для (*-y-*) них (*-o-te*)'.

¹ Н. Schuchardt (op. cit., стр. 51) пишет, что в баскском глаголе порядок морфологических элементов *unterliegt... starken Schwankungen. Das erklärt sich daraus, dass die Zahl dieser Elemente hier eine mehr als doppelt so grosse ist als dort* (т. е. в индоевропейских языках), *dadurch die Menge der Formen sich ausserordentlich steigert, diese sich auf Mannigfachste miteinander assoziieren und so einander beeinflussen*.

² Примеры взяты из L. L. Bonaparte. *Le verbe basque en tableaux* и *Ithurgu. Grammaire basque*, Bayonne, 1895. Как и в грузинском языке, примеры приводятся в числе одного, так как они составляют часть парадигмы. Разумеется, все диалекты и говоры невозможно было бы использовать, так как это очень перегрузило бы статью лишними, в сущности, примерами. Относительно перевода глагольных основ см. прим. 2 на стр. 180.

³ В бискайском диалекте *t* между гласными часто исчезает; *u* между гласными превращается в *b* через *v*.

⁴ См. Н. Schuchardt, op. cit., стр. 47.

Бискайский диалект.

Наст. вр. ja-k-o 'он есть (ja-) для (-k-) него (-o)'

ja-k-e-e 'он есть (ja-) для (-k-) них (e-e)'

(jakee ← jakete, вследствие выпадению -t- между гласными).

Сулетинский диалект.

Наст. вр. sa-y-o 'он есть (sa-) для (-y-) него (-o)'

sa-y-e 'он есть (sa-) для (-y-) них (-e)'

(saye ← sayote: t между гласными выпало, -e-e слились в одно -e). Такого же рода показатели и для косвенного объекта переходного глагола.

Показатель множественности субъекта переходного глагола:

Лабурдинский диалект.

Наст. вр. d-oa 'он (d-) идет (-oa)'

d-oa-s 'они (d-s-) идут (-o-a-)' также doasi, doaša

d-oa-k-o 'он (d-) идет (-oa-) к (-k-) нему (-o)'

d-oa-s-ki-o 'они (d-s-) идут (-oa-) к (-ki-) нему (-o)'

Сулетинский диалект.

Наст. вр. sa-y-o 'он есть (sa-) для (-y-) него (-o)'

sa-y-š-o 'они суть (sa-š-) для (-y-) него (-o)'

Та же картина и в других диалектах: показателем множественности субъекта непереходного глагола служит s / š, чередование для баскского языка весьма обычное: так, повелит. накл. в лабурдинском диалекте:

be-ki-su-te 'пусть он будет (be-) для (-ki-) вас (-su-te)'

be-ki-s-ki-š-u-te 'пусть они будут (be-s-) для (-ki-) вас (-š-u-te)'

su || šu оба обозначают одно и то же местоимение 2-го л. множеств. и единств., вежливое 'вы'.

В том же лабурдинском диалекте Subjonctif prés.:

dakisuen 'чтобы он был вам'

dakiskišuen 'чтобы они были вам'.

В первом случае 'вы' выражено -su-, во втором -š-u-. Имеется одно исключение, когда показатель множественности -te присоединяется для

характеристики субъекта непереходного глагола, именно, 2-е л. множеств. числа:

g-oa-s 'мы (g-s) идем (-oa-)'
s-oa-s-te 'вы (s-s-te) идете (-oa-)'.

Но это только видимое исключение: дело в том, что s-oa-s в баскском языке, кроме значения множественного числа 2-го л., получило значение и единственного числа 2-го лица при вежливом обращении, как в русском языке 'Вы идете'. Для того, чтобы эти формы не смешивались, к множественному числу -s 2-го л. непереходного глагола присоединяется еще показатель множественности -te. Это явление очень позднее, почти современное, когда для мышления современных басков это -te уже не имеет прежнего значения и потому может присоединяться не по принадлежности. Примеры такого употребления множественного числа не по принадлежности можно найти и в абхазском языке, когда -џа показатель существ пассивных употребляется и как показатель активных вместо -џа; употребляется иногда и то и другое.

Показатель множественности прямого (реального) объекта переходного глагола:

Лабурдинский диалект.

Наст. вр. d-i-o-te 'то (d-) для (-i-) них (-o-te) [имеет он]' (личного показателя нет).

d-i-o-ġa-te-te 'тех (d-ġa-) для (-i-) них (-o-te) [имеют] они (-te)'

d-i-o-s-ka-te 'тех (d-s-) для (-i-ka-) них (-te) [имеет он]'

Опять, как видим, s ↗ ġ (|| ġa).

Бискайский диалект.

Наст. вр. de-rau-k-o 'то (de-) для него (-k-o) имеет (-rau-) [он]'

de-rau-s-k-o 'тех (d-s-) для него (-k-o) имеет (-rau-) [он]'

Лабурдинский, гидускоанский диалекты.

Наст. вр. d-i-o-te-t 'то (d-) для (-i-) них (-o-te-) [имею] я (-t)'

d-i-s-ki-o-te-t 'тех (d-s-) для (-i-ki-) них (-o-te-) имею я (t)'.¹

¹ Частица, вводящая косвенный объект, имеет форму -ki- || -k- || -r- || -у- и иногда повторяется в глаголе дважды, затрудняя анализ. Большинство исследователей (L. L. Bonaparte, Le verbe basque en tableaux, Ithuy, Grammaire basque и др.) она присоединяется к показателям множественности и затемняет, таким образом, истинное положение дела. См. об этом у Н. Schuchardt, op. cit., стр. 29—34, 46 и passim.

Таким образом, для субъекта непереходного глагола и логического прямого объекта глагола переходного показателем множественности служит $s \nearrow \dot{s}$; для логического субъекта переходного глагола и логического косвенного объекта глагола переходного и непереходного показателем множественности служит $-te \rightarrow -e$. Разграничение это весьма четкое и никогда не бывает случаев замены показателя одного класса показателем другого. Н. Schuchardt пишет: ¹ «Dieses -z (т. е. s в яфетидологическом письме. С. Б.) geht, wie mir scheint, durch-tzi > *-tji auf eine Urform *-ti (< -it in ditu) zurück, aus welcher sich wohl auch das -te (-de, -e) als Pluralzeichen des Urhebers (т. е. логического или реального субъекта. С. Б.) abzweigt hat». По Schuchardt'у следует, что когда-то не делалось различия в показателях множественности указанных только-что категорий. Замечание его следовало бы учитывать в том случае, если бы он имел в виду первоначальное диалектическое единство субъекта и объекта, но об этом речи быть не может — это ясно для всякого, кто хотя бы немного знает Н. Schuchardt'а. В таком случае его понимание совершенно противоречит всем материалам баскского языка и других языков, имеющих общую с баскским структуру. В статье «К вопросу о происхождении склонения» ² я указывала на то различие, которое делается в баскском языке между первым лицом логического субъекта и логического объекта переходного глагола и связь этого различия с показателями субъекта непереходного глагола и косвенного объекта. Соотношение получается то же самое, какое имеется и между показателями множественности; следовательно, это далеко не случайность, игра «фонетического закона», а выражение определенного мышления, определенного понимания реального соотношения этих категорий.

В самом деле, в этом делении четко проводится классификация по принципу активности: для логического субъекта переходного глагола это ясно без дальнейших объяснений, поскольку в переходном глаголе выражается активное воздействие на окружающий мир и выразителем этого воздействия является логический субъект, как активная категория. Совершенно ясна причина пассивной трактовки и логического прямого объекта. Объяснения требует лишь активная трактовка косвенного объекта и пассивная трактовка субъекта непереходного глагола. Объяснение последнего факта дается в моей статье „Пассивная“ конструкция в яфетических языках („Язык и мышление“, II, стр. 67 сл.) здесь же я только укажу, что

¹ Op. cit., стр. 32.

² ИАН. 1930, стр. 283 сл.

непереходный глагол был первоначально глаголом состояния, и потому грамматический субъект при нем не был субъектом реальным, так как не являлся источником действия. Более сложен вопрос о трактовке косвенного объекта — он еще требует проработки; здесь же мы можем указать, что в целом ряде языков этот объект рассматривается как активный, наряду с логическим субъектом переходного глагола.¹

Факты грузинского и баскского языков с совершенной бесспорностью указывают на то, что показатели множественности в глаголе служат для выражения активности и пассивности предметов. Но эту же функцию выполняют и классовые показатели в языках, имеющих деление имен по грамматическим классам; так, в абхазском языке показателем множественности предметов социально-активных служит -*џа*, социально-пассивных -*џа*. Учитывая общность функций классовых показателей во множественном числе с показателями множественности в глаголе в баскском и грузинском языках, не следует ли сделать вывод, что показатели множественности в этих языках являются пережитком классовых показателей? Но круг классовых показателей может быть тогда еще более расширен, именно: к ним можно присоединить еще показатели множественности в грузинском языке при активном и пассивном падежах, -*џа* (-*џ*) и -*п*. Разница в показателях множественности при склонении и спряжении, с одной стороны, и при именах в абхазском языке — с другой, заключается в том, что во втором случае предмет, носящий показатель того или иного класса, классифицируется, так сказать, раз и навсегда, тогда как в склонении и спряжении он подвижен — он может быть то активным, то пассивным. Но не следует ли предположить, что это свойственно только нашему современному восприятию, что наследие прошлого переосмыслено и использовано в языке для выражения новой системы социальных отношений и мышления? Ведь и местоимение 'я' представляется нам теперь только как прямой падеж, рядом с косвенными падежами от корня 'мы', в то время как на самом деле первое мыслилось, как постоянно активное, второе — как постоянно пассивное.² Это в свою очередь упирается в другой вопрос, вопрос о внутренней флексии: акад. Н. Я. Марр показал,³ что внутренняя флексия, т. е. изменение самого корня или основы, не есть изначально грамматическое явление, а что это использованные для грамматики первоначально слова из разных социальных кол-

¹ См. мою статью в Сб. «Язык и мышление», II.

² Там же.

³ Н. Я. Марр. Яфетическая теория. Баку, 1928. Стр. 58—59.

лективов «своего» и «чужого». Форма своего коллектива используется для выражения активности, форма «чужого» — для выражения пассивности. В именном склонении это оставило слабые следы,¹ но довольно четко сохранилось, как видим, в склонении местоимений. Так и в глаголах: то, что теперь представляется лишь как временное качество, мыслилось первоначально как принадлежность только определенного класса вещей, и потому показатели множественности в глаголе могут рассматриваться так же, как и классовые показатели множественного числа в языках, имеющих деление по классам. Субъектом действия мог быть только мыслящийся активным член коллектива, объектом — только пассивный. Параллель к этому дает средний род в индоевропейских языках — имена среднего рода не имеют показателя для именительного падежа — в индоевропейских языках падежа активного, так как средним родом выражался класс социально-пассивных. Мы делаем особый упор на слове «социальный», так как речь идет именно о социальной, а не физической активности; с точки зрения физической активности, животное, конечно, могло быть субъектом действия, но все языковые материалы согласно указывают, что не по ней классифицировался объективный мир; деление по классам, хотя бы в северо-кавказских языках, делает этот факт бесспорным.² Наше современное мышление переформировало соответственным образом язык, выявляя в классах или родах не только физическую активность, но и временное состояние того или иного предмета. Это же мышление, которое уравнило субъект переходного глагола с субъектом глагола состояния, проведя знак равенства между предложениями «я пишу» и «я сплю», в которых грамматический субъект «я» в первом случае является и реальным субъектом, производящим определенное действие, во втором же он только грамматический, но не реальный субъект, так как никакого действия не производит, а находится только в состоянии сна.

Конечно, необычно для существующего построения грамматики искать классовые показатели в показателях множественности склонения и спряжения, как необычно для нее ставить генетические вопросы вообще. Но неудовлетворительность и устарелость современного построения грамматики осознается в настоящее время очень многими крупными лингвистами; в самом деле, построение это является в сущности повторением и с той же грамматической терминологией системы грамматики, созданной древними

¹ См. мою статью, указанную выше в ИАН, 1930.

² См. статью А. Дирра в Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа, т. XXXVII, вып. 37, отд. III, стр. 95 (= Internationales Archiv für Ethnographie, 1908 стр. 127—128).

греками для греческого языка и окончательно уже оформившейся в I веке н. э. Не пора ли выйти за пределы этой системы и заняться созданием новой, более соответствующей и современному состоянию языкознания и охвату языков? Путь к этому указан, и многое уже сделано юбиляром, которому посвящен настоящий сборник.

О. Л. ВИЛЬЧЕВСКИЙ

В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАЛЕОНТОЛОГИИ ЖИВЫХ ЯЗЫКОВ ИРАНА

В классовой науке наций, наиболее движущихся вперед эксплуатацией остатков своих же частей, создана фикция „эпохи переселения народов“ для объяснения неопытных км. при формальном исследовании, расхождений не только соседних народов, но образующих или до октябрьских дней распределения образовывавших назоэне, так наз. народние слои с особыми говорами, наречиями и прямо-таки особыми языками, всегда с особым мышлением и техникой его выражения.

Н. Я. Марр. Доктрина, пренстория, история и мышление. Изд. ГАНМЕ, вып. 74, Л., 1933, стр. 12.

Термином **живые языки Ирана** мы позволили себе объединить всю сумму языков, наречий, говоров, обычно именуемых «персидскими наречиями», диалектами новоперсидского языка, остатками классических языков доисламских государственных образований Ирана и потому рассматриваемых обычно в генетической и функциональной зависимости от этих последних.

Мы великолепно сознаем всю громоздкость нашего термина, к тому же еще не покрывающего (и не раскрывающего) конкретного многообразия живой речи крестьянского Ирана. Мы учитываем, что употребление этого термина искусственно противопоставляет массе бесписьменных и малописьменных языков цепь сменявшихся на исторической арене письменных, государственных, литературных языков Передней и Средней Азии, языков, подчас, с тысячелетними традициями, языков, претендующих на интернациональное значение на Переднем Востоке.

Однако понять генезис этих мирового значения языков можно, только учтя ту реальную подпочву, на которой они сложились, только уяснив себе, что разительные подчас факты схождения определенных слоев этих языков с «протемеидскими», точнее — с определенными слоями речи господствующих группировок Средиземноморья и Индии, являются функцией факторов, сравнительно молодых в мировом процессе истории.

Поэтому, употребленный в качестве рабочего термина термин наш удобен уже тем, что позволяет, не полемизируя по поводу традиционных

концепций иранистики, попытаться указать некоторые отправные точки для классификации языков Ирана не в узко-краеведческом, а мировом масштабе.

Язык бахтиар донес до наших дней два, до сих пор не подвергавшихся анализу термина родства: *buʃi*¹ 'тетка со стороны матери' и *keʃi*² 'тетка со стороны отца'. Интерес к этим терминам вызван не тем, что в бахтиарском, как и в ряде других языков мы встречаемся с развитой двусторонней системой родственных терминов с резким, четким различием отцовской и материнской родни; это — явление относительно позднее и характеризуется оно силой реминисценций родового порядка. Термины эти интересны как вклад этапов более ранних, как пережитки эпох, далеко уводящих в седую древность человечества.

Начнем с *keʃi* — 'тетка со стороны отца'. Нетрудно, на первый взгляд, подыскать этому термину эквивалент в курдск. *keʃ* 'девушка', 'дочь' с его многочисленными дериватами как на курдско-персидской, так и на армянской почве³ и на этом поставить точку. Однако, во-первых, этимология курдск. *keʃ* столь же темна, как и бахт. *keʃi* и, во-вторых, на базе «сравнительной» статической грамматики вряд ли удастся дать сколько-нибудь удовлетворительное разъяснение долгому, да к тому же еще ударному, *i* в бахт. *keʃi*.

Подходя к вопросу с позиций нового учения об языке, мы, во-первых, вынуждены будем отметить, что *keʃ* в курдском принадлежит к числу слов, оформленных в качестве необходимой принадлежности показателем единичности *ek* \ *ək*, т. е. — обычно налично в форме *keʃ-ek* \ *keʃ-ək*,⁴ причем *ək* в настоящее время уже не воспринимается (или еще не воспринимается) в этом и аналогичных случаях как неопределенный член. Justi в своей грамматике ограничивается констатацией группы слов, где *ek* «steht ohne bestimmte Bedeutung», и высказывает предположение, что «in diesen Wörtern k zum Theil n. p. \hat{c} entsprochen, welches oft eine Modifi-

¹ Бути, в транскр. В. А. Жуковского. *Мат. для изуч. перс. нар.*, т. III, стр. 122, Пгр., 1922, *sout*: Беневісум кбгызі бути Гулбум. *ibid.*, стр. 24.

² *Loc. cit.* стр. 149 *keri*; O. Mann (d. Mundart d. Lür Stämme im Süd Westl. Persiens *kurd. Pers. Forsch.*, т. II, 883 приводит *kici* с тем же значением в Фейли, а для бахтиарского *keci* приводится значение 'Grossmutter'.

³ Приводимое *Jaba* оское *kizge* внушает сильные опасения, не трехэлементное ли оно? во всяком случае непосредственное привлечение его к анализу нашего термина вряд ли возможно (см. *Jaba, Dict. Kurde Français*, S. Pétersb., 1879, 326).

⁴ Самостоятельное употребление *keʃ* — явление довольно редкое и наличное далеко не во всех диалектах; оно сопряжено с привнесением семантического оттенка в основное значение; ср. типологически (но не семантически) русск. *дева* — девушка, жена — женщина и т. п.

cation der Bedeutung des Ursprunglichen Namen ausdrückt»¹ мысль **как** словно правильная, поскольку и курдский показатель единичности **ek** \ **ək**, и курдско-персидские показатели Pluralis'a 'h'a'n' и так наз. неопределенный **числ** (ی و حلت) в персидском и наречиях -ī, и различные **формы изафета**, застывшие в персидском и действенные, с различием **рода и числа в курдском** — все эти категории не могут быть поняты **вне учета их восприятия** как необходимых факторов выделения социально-активных (впоследствии — социально-пассивных) классов, категорий и т. д. К этим же языковым категориям следует без сомнения отнести и исход **ряда слов в персидском** на **ه** resp. ä'h' / ä'g' ~ 'd', временами столь **близкий и формально и идеологически к арабскому форманту слов женского рода a't'** (ة —)

В застывшем, обратившемся в «исключение» суффиксе **ek** (\ **ək**) в слове **keḏ-ek** (\ **keḏ-ək**) и аналогичных случаях, мы вправе видеть поэтому указание на необходимость детерминации этих слов для правильного семантического восприятия их. По нормам курдской речи сегодняшнего дня, такая детерминация выразилась бы при постановке слова в падеж определения (так наз. **изафет**) в снабжении его исходом **ā** (resp. **ä**) при отнесении к женскому роду, и исходом **e** ↔ **i** при отнесении к мужскому.

Таким образом, можем констатировать, что наш термин должен **звучать keḏā** при отнесении его к категории слов женского рода и **keḏi**, при отнесении к мужскому. Поэтому в бахтиарском, «тетка со стороны отца», т. е. — категория родства, осознанная только в связи с осознанием «отца» совершенно последовательно оформлена «мужским» показателем, столь же последовательно в курдском наш термин, воспринимаемый в значении «девушка», «незамужняя женщина» обладает «женским» оформлением. Если на курдской почве наш термин в результате переосмысления женщины из категории социально-активной в социально-пассивную, как память об эпохах зарождения института собственности, получил собственнический привесок «ек» и звучит в изафетной конструкции **keḏ-ək-ā**, то на армянской почве находим его двойник с губной огласовкой — **kuys** (древне-лит. **kuys**) в архетипе — / **koḡ so'n'** в значении «девица», «монахиня». Через э-кающую разновидность древне-лит. арм. **key-s'o'** (народн. — **kes** ↔ **kis**) — «половина» resp. «рука» и груз. **keḡ-ḏo** в том же значении попадем на север к финнам,² чтобы через закономерно-ослабленное тюркское **kəz** → **qəz**

¹ Kurdische Grammatik, S. 112.

² См. Н. Марр. Суоми-карельские и сомах-картские языки, ДАН, 1929, стр. 31 и Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык, М., 1931, стр. 52.

‘девушка’, ‘дочь’ снова вернуться к курдскому (и персидскому, кстати) $kus \swarrow kuz^1$ — ‘vulva’, $\searrow kəz \rightarrow qəz$ ‘девушка’, подчас наличное с перебойной огласовкой $\sim kiz \rightarrow qiz$.²

Во-вторых, при анализе по лингвистическим элементам мы должны учесть, что если в формах $ke\dot{f}i \sim ke\dot{f}a$ огласовка исходного элемента сигнализирующая о восприятии слова в связи с той или иной социальной дифференциацией общества, эта огласовка не отделима от элемента, то в форме $ke-\dot{f} + \dot{e}k-\dot{a}$ восприятие элемента как лексической единицы настолько нарушилось, что позволяет вклинить внутрь элемента — первоначально быть может взамен огласовки — самостоятельную частицу $e\dot{k} \searrow \dot{e}k$.³

Таким образом, в этом и аналогичных случаях флективный на определенной стадии путь развития курдско-персидской речи, типологически приближающийся к семитическим языкам, неожиданно прерывается принципиально отличными и относящимися к иной стадии мышления моментами агглютинации, достигающей своего апогея в речи господствующих классов феодальной эпохи.

Сам по себе анализ по элементам не вызывает затруднений: во второй части мы имеем элемент С с утерей исходного согласного и с различной в зависимости от социальной валентности слова огласовкой; в первой части налицо усеченная форма идеальной спирантной разновидности элемента А.

При губной огласовке первого элемента мы столкнемся с арм. $ko\dot{g}-\dot{f}$ ‘евнух’, анализ которого дан Н. Я. Марром в цитированной выше работе, где он пишет: «отнюдь не случайное созвучие термина с именным названием курдов, разновидности которого то к ним самим в национальном использовании — $gig-\dot{a}n$ ‘курды’, то в применении к другим «племенам», т. е. — социальным образованиям — арм. $ka\dot{g}-\dot{t}a\dot{y}$ ‘армянское племя’, мегр. $ko\dot{g}-\dot{d}i$ ‘грузины’ (груз. $ka\dot{g}-\dot{f}$ ср. $ka\dot{r}dov\dot{u}ci$) свидетельствуют лишь о том, что не только через матриархат вообще, но и в частности через строй с организацией особого производства детей и их, разумеется, натурального питания прошли все народы, все племена, собственно все дородовые еще социально-экономические образования.⁴

¹ Кстати, не следует ли припомнить в этой связи и прс. $kāz$ ‘человек’ (с неопр. членом $kāzi$ некто) и груз. $ka\dot{f}$.

² Ср. *Maḡas. Kurdische Texte* ... Leningrad, 1924, S. 95 (в транскр. автора) на $Qizā$...

³ Об аналогичных типологически случаях см. в моей работе «Лингвистические материалы по истории общественных форм в Курдистане». Сов. этногр., 1932, № 5—6, стр. 135 и сл.

⁴ *Loc. cit.*, стр. 57.

Шипящая форма первого элемента при десибилантизации даст нам ʒo-ʒi 'тетка', в бахтиарском ʒa-ʒi-za (букв. рожденный ʒaʒi) — 'племянник',¹ 'племянница';² столь обычная в курдских палатализация при шипящих формах дает нам русск. 'тетя' — ʒo-ʒa ³, с акающей огласовкой и первого элемента — 'тятя' — ʒa-ʒa и, наконец, с перебойной спирантной огласовкой — 'дтл', в архетипе — $*d\dot{i}-ten$.⁴

Бахтиарский материал, группирующийся в основном вокруг семантического пучка 'рука' — 'огонь': ʒo-ʒ 'мелкие камни', при одноэлементных ʒul 'груда мелких камней', $\leftrightarrow \text{ʒol}$ 'очаг', ʒol 'белолобый конь' — ʒel 'рука от плеча до локтя', этот материал даст нам в линии развития семантики евнуха⁵ (попутно с отражением изменения социальной роли женщины) — бахт. ʒu-su — 'не способный'.⁶

При спирантных формах второго элемента в том же бахтиарском столкнемся с $\text{ʒe-g\ddot{o}}$ (ассус. ʒe-ğon-e) 'высокий холм', 'острая вершина', ʒil-o 'красивый' и, наконец, с термином, увязанным с нашей темой самым тесным образом — $\text{d\ddot{o} ʒur-\ddot{a}}$ / $\text{d\ddot{o}* ʒur-h\ddot{a}}$ 'мать-развратница', 'мать-проститутка'. Интерес к последнему термину диктуется не только тем, что $\text{d\ddot{o} || d\ddot{a}}$ 'мать' по существу является первой частью термина $\text{d\ddot{o}-ka}$, do-ya , do-y-ka непочтено наличного в бахтиарском и курдском с тем же значением 'мать', но и тем, что ʒur , $\text{ʒur-\ddot{a}}$ снова приведет нас к русскому — к достаточно распространенному термину в формулах заклания — «чур меня», «чур-чур» и т. д.

Сюда же мы вынуждены отнести $\text{ʒin-d\ddot{a}}$ прс. 'проститутка', курдск. 'красавица' с восстановлением второго элемента и губной огласовкой — бахт. der-gun / der-kun (быть может $\rightarrow \text{der-qun?}$) — 'комната для новобрачных'.

¹ О. Манн (loc. cit., 192) приводит его в «женском» оформлении в языке мамасени $\text{t\ddot{a}t\ddot{a}}$ и фойли $\text{t\ddot{a}t\ddot{a}}$ в значении 'дядя' (транскрипция О. Манна, в аналит. транскрип., повидимому, $\text{ʒ\ddot{a}-ʒ\ddot{a}}$ и $\text{ʒ\ddot{a}-ʒ\ddot{a}}$).

² Заманчивые на первый взгляд формы de-de 'старшая сестра' и de-du 'сестра' не могут быть привлечены, поскольку они, подобно приводимому ниже ʒol 'белолобый конь' наличному так же в форме ʒol-ʒol , являются результатом удвоения элемента А, в архетипе $*de-del-$ — $*de-dul$. (ср. груз. de-da 'мать', что видно из форм: «dedegunemeti plur. с. vifl rosa. I p. v. voc.) и dedegun (plur.)» Жуковский. Материалы, ч. III, стр. 130.

³ Отметим попутно, идентичность в оформлении русск. ʒo+ʒ+k-a \leftarrow ʒo+ʒ+ok+a (ср. plur. gen. теток) и курдск. $\text{ke-ʒ-ak-\ddot{a}}$.

⁴ См. Марр. К семантической палеонтологии в языках не лествических систем. Изв. ГАИМК, т. VII, вып. 7—8, стр. 35.

⁵ О евнухе в связи с институтом девственниц-матерей, см. Н. Я. Марр. Языков. полит. и удмуртский язык, стр. 53—59.

⁶ Таки лиш у Сеиди Чусу Кенден хувосун. Жуковский. Мат., III, стр. 31.

Переходя к литературному новоперсидскому языку, к языку господствующих классов средневекового Ирана, мы сразу же столкнемся с наметченной Н. Я. Марром проблемой связи имени певца царицы Тамары Шофа из Рустава с прс. Шād — 'почетный титул бога и святых'¹ помимо приволившихся Н. Я. Марром персидско-армянских шеу-dā → ше-э безумный (кстати, один из эпитетов Меджнуна), ши-dā 'солнце' и с. ряда героев Шах наме и фольклора, напомним прс. шī-dan 'обеденный стол' и шā-dī 'радость', 'веселье'.

Подробно разработать этот вопрос — вопрос о «яфетических» переживаниях в персидском — тема заманчивая для ираниста-лингвиста. Именно здесь, вероятно, лежит ключ к пониманию значительной части взаимоотношений литературных языков Ирана, в частности — новоперсидского языка с живой курдско-персидской речью.

Как вывод в части типологии словотворчества отметим, что дифференциация семантического пучка, выделение из диффузного первоначально значений ряда постепенно осознаваемых и переосмысляемых понятий внешне выражалось путем детерминации, сводившейся к вариациям исходного компонента слова (в данном конкретном случае — элемент С). Тот факт, что мы имеем дело не с самостоятельным, независимым фонетическим изменением слова, а с вариациями внешнего облика элемента, — показывает, насколько медленно осознавались «звуки» элемента в процессе распада его на фонемы.

Ви-эі 'тетка со стороны матери' не нуждается в столь сложном экскурсе для своего разъяснения. Достаточно напомнить слишком распространенные в литературных слоях прометевдских языков термины для 'матери', герс. 'отца' и ограничиться констатацией того, что наличие этого термина в бахтиарском, при почти полном отсутствии его в массе живых языков Ирана только подчеркивает интимные связи бахтиарского с определенными слоями литературного новоперсидского, где наличны неизвестные живым языкам фе-dār и mā-dār.²

Спирантная форма второго элемента поведет нас в бахтиарском к 'руке' — bo-ğī \ bo-hī 'рука от плеча до локтя' (ср. прс. ba-zu بازو) и в курдском — опять вернет нас к 'женщине', да к тому же еще с налетом

¹ Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры. ГАИМК, 1933, стр. 32—33.

² Попутно укажем лишь на чрезвычайно любопытную спирантную форму mā-г, наличную в бахтиарском и ряде персидских наречий в значении 'матери' и 'змеи' (в последнем значении и в лит. перс.); с сохранением начальной спиранты она отмечена В. А. Жуковским в форме ме-қог в наречии деревни Сенгисер. Мат., II, стр. 331.

магичности, поскольку *bu-kā* 'невеста', 'сноха' имеет еще значение 'куклы', в частности, особого рода куклы, которую делает девушке-подростку ее старшая замужняя сестра или родственница (иногда подруга); кукла эта обладает именем ее владелицы и служит для привлечения возлюбленного. Сюда же надо отнести и бахт. *bi-hi-k* 'невеста', 'новобрачная'.

Последующие эпохи, приведшие к возвышению мужчины, перенесли на него и наш термин; таков в бахт. *bo-ki* 'старший из родственников' ↘ *be-εi* 'отец'. В линии орудия производства (а быть может и материала производства) имеем *bag-d* 'камень', 'груда мелких камней' и уже связанное с эпохой распространения металлов — *mir-s* 'медь' полная форма прс. *mi-s* — *میس*

Нетрудно показать, что в этом случае, основная нагрузка по детерминации термина падает не на исходный компонент, как в предыдущем, а на начальный (конкретно-*B*). Ср. хотя бы *bu-εi* || → *bā-εi*, прс. 'ребенок', ← 'солнце'; *bu-εi* ~ *bi-hi-k*; *bo-εi* || *bag-d* ср. также прс. *pe-dāg* ~ *mā-dāg*.

Конечно, проводить строгую грань в семантике терминов, проживших столь долгий срок в значительной качественно и количественно языковой группе, проводить эту грань, пользуясь только внешним моментом оформления термина — было бы сознательным опрочением действительности; мы говорим лишь о том, что в данной конкретной языковой среде вариации в огласовке, используемой в целях уточнения значения понятий, в основном, падали на тот элемент «скрещенного» термина, который носил функции детерминатива. Обширная и интереснейшая тема о мотивах, вызывавших закрепление детерминативных функций за тем или иным элементом, в той или другой позиции, нами здесь только ставится. Мы только указываем на значение суффиксальности или префиксальности детерминирующего элемента, как на один из значительных факторов расхождения близких между собой языковых агрегатов.

Поэтому, оставаясь в пределах словотворческой базы живых языков Ирана, мы не можем не отметить ряда вариантов наших терминов, находящихся в непосредственной семантической увязке с разобранным выше материалом. Мы имеем в виду 'собаку', наличную в наших языках, как в форме АС — прс. *sā-g*, наречие дер. Кеурон *ku-εi* курдск. *ku-ε-ek* 'собака', 'маленькая собака', 'щенок' (ср. русск. кутяка, кутенок, кутек — 'щенок', сука), так и ВА — наречие дер. Кеше *ku-vā*, наречие дер. Зефре *ku-ve* (ср. прс. *gā-w* 'бык', русск. говядина и гавкать 'лаять') и АВ — наречие дер. Воишун — *es-bā*, Кохру- ↘ *es-φā*, Сенгисер ~ *es-φe*, Сивенд- ← *es-bi*.

Последний термин наличен в прс. литерат. в значении 'лошади' — as-ф اسب и в наречиях, где часто имеет форму as-m.¹

Что же касается до неоднократно приводимого Н. Я. Марром мадского su-ra-ka, то один из живых языков Ирана — наречие деревни Зефре — донес его до наших дней в форме sō-bō-1 с значением 'заря', а в композиции sōbbī феш 'белок глаза' с диффузным значением макрокосмическим — 'солнце' гесп. 'белый' и микрокосмическим — 'глаз'.

¹ Сивендская форма as-pg-e является удвоением AA ср. kеше-па-ог и Седе es-er 'пруд', 'бассейн', прс. استاج — is-ḏal-ḏ.

М. ГИТЛИЦ

ПРОБЛЕМЫ ОМОНИМОВ

«Слова с различным значением, но с одинаковым звучанием называются омонимами» — так трактует формальная грамматика, которая констатирует только факты, но не пытается вскрыть причины явления омонимов, не говоря уже о месте, занимаемом ими в языкотворческом процессе.

Поставить вопрос об омонимах не формально, а по существу, можно только на базе нового учения об языке, которое, по словам Н. Я. Марра, «перенесло центр тяжести с учения о формах на учение о словах, вообще на слова, как на прямых при учете переживаний носителей идеологии различных стадийальных эпох общественности...» («Актуальные проблемы и очередные задачи»).

Проблема омонимов — это, по существу, проблема взаимоотношений значения и звучания — содержания и формы.

Язык — древнейший памятник человеческой истории. Нет ни одного уголка в социальной жизни человеческого общества на всем протяжении истории, в котором отсутствовал бы язык. Все находит свое выражение в языке. Но поскольку человеческая история непрерывно движется вперед, постольку происходит и непрерывный языкотворческий процесс. Основной непосредственной движущей силой языкотворческого процесса является стремление удовлетворить возрастающую потребность в новых языковых средствах выражения.

Но языкотворческий процесс не является произвольным. Материал, из которого мы конструируем новые слова, не выдумывается, а используется материал человеческих языков, накопившийся в течение всех пройденных этапов развития.

Конструирование новых слов из наследственного материала тоже не происходит произвольно; существует определенная закономерность. Каждый коллектив создает новые слова соответственно своей идеологии, своему мировоззрению и своим производственно-техническим возможностям. Законо-

мерные пути словотворчества на различных стадиях различны. Все языковые явления, фонетические включительно, зависят в конечном счете от того, каким образом ~~каждый~~ коллектив, на различных стадиях, обогащает язык, какими способами, идеологическими и техническими, создаются новые способы языковых выражений.

Это положение нельзя упустить из виду при рассмотрении всяких языковых явлений, всякое отклонение от этого основного принципа неминуемо должно привести к формализму. Исходя из вышеизложенного принципа, надо рассматривать также и явления омонимов.

Какую же роль играют омонимы в процессе обогащения языка и какое место они занимают в языкотворческом процессе?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо раньше указать о каких омонимах у нас идет речь.

Существуют два типа омонимов. К первому типу относятся омонимы, происходящие от различных слов. Слова с различными значениями и с различными звучаниями, попадающие в определенную языковую среду, вследствие специфических особенностей данного языка, начинают звучать одинаково. Так, напр., заимствованное слово *sad* 'фруктовый сад' в идиш-окающем языке, стал звучать *sod*. Также в односложных словах древне-еврейского происхождения огласовка *ou*¹ в идиш звучит *o*, напр., *koul* 'голос' звучит *kol*, *toyc* 'суть, сущность' звучит *toq* и слово *soyd* 'тайна' в идиш звучит *sod*.² Таким образом, слова *sad* (сад) и *saud* 'тайна' в идиш стали звучать одинаково *sod*. Они стали омонимами.

К тому же типу относятся омонимы, образовавшиеся в результате развития структуры языка — омонимы различных грамматических категорий, как, напр.: *shteyn* 'стоять' и *shteyn* 'камень', *kerp* 'себестоимость' и *kerp* 'подметать', *temp* 'тупой' и *temp* 'темп'.

Ко второму типу относятся омонимы, происходящие от одного слова, и в данной работе мы их главным образом будем иметь в виду.

Омонимы этого типа происходят от полисемантического. ~~Когда и каким~~ образом происходит это превращение? Явление омонимов есть историческая категория. Можно ли говорить об омонимах на космической стадии мышления? Очевидно, нет.

Под категорией омонимов подразумеваем такое явление, когда одно слово является носителем двух или более понятий и когда они воспринимаются как различные словопонятия в речевом коллективе. Но такого

¹ Имеется в виду еврейско-литовский диалект.

² Имеется в виду произношение ашкеназских евреев.

восприятия по отношению к полисемантизмам на стадии макрокосмического мышления нет. Полисемантизм, как одна из характерных черт звуковой речи на ее ранних стадиях, является продуктом нашего мышления. Слово «небо», обозначающее одновременно 'небо', 'земля', и 'преисподняя', является полисемантическим только с нашей точки зрения. Для людей космической стадии мышления это слово моносемантически — одно нерасчлененное понятие. Таким образом, тут не может еще быть речи об омонимах. Омонимы появляются позже. Возникают они двумя основными путями.

Первый путь — внутренний, т. е. в результате расщепления диффузного понятия. Омонимы появляются тогда, когда происходит дифференциация мышления и имеется уже, напр., представление о трех небесах, которые обозначаются одним словом, прежним.

Другой путь — внешний, т. е. в результате нарастания понятий. Это происходит тогда, когда появляются новые понятия и они обозначаются, по закону функциональной семантики, старым словом, напр., собака, олень, лошадь. В данном примере понятие о лошади не есть результат расщепления понятия оленя, а новое понятие, появившееся независимо от прежнего. Такие омонимы получаются в результате нарастания. Эти два пути характерны для различных стадий развития звуковой речи. Путь расщепления характерен для переходных стадий от космического к технологическому мышлению. Путь нарастания, в основном, характерен для технологической стадии мышления. Примером омонимов, происшедших от расщепления понятий, может служить слово *hel*, которое в языке *вдш* означает 'светло' и 'ад' и 'дьявол', расщепление по принципу противоположностей.

Примеры омонимов, происшедших от нарастания понятий, следующие: *klal* в значении 'общество' и 'правило'; *feder* 'перо для писания' и 'птичье перо', *blat* 'лист книги' 'лист дерева' 'газета'; 'rat' 'совет (советовать)' и 'Совет (депутатов)'.

Сейчас можно уже поставить вопрос о роли омонимов конкретнее: какую роль играют в обогащении языка омонимы, происходящие от одного слова? Роль огромная. Сущность таких омонимов заключается в том, что для выражения новых понятий, представлений, используются старые слова формально в неизменном виде, т. е. существующие слова получают дополнительную нагрузку и тем самым удовлетворяют потребности в новых выражениях. Принцип дополнительной нагрузки действует почти на всем протяжении развития звуковой речи, но различно на разных стадиях. Чем дальше вглубь веков, тем больше применяется принцип дополнительной нагрузки.

Когда мелкие коллективы были слабо связаны между собой и когда язык на том уровне развития обладал малыми возможностями и средствами для различных путей словотворчества, путь дополнительной нагрузки был самым подходящим, самым легким. Но этот путь применялся не только из-за бедности в языковых средствах, но и потому, что это соответствовало мышлению этих коллективов.

Но этим роль омонимов не исчерпывается. С момента возникновения омонимы содержат в себе и свое собственное отрицание. Явление омонимов есть в одно и то же время факт обогащения и факт обеднения языка. Новая нагрузка идет за счет старого значения, т. е. старое значение слова затемняется, точность названия уменьшается, поэтому омонимы стремятся к дифференциации; полисемантизм стремится к моносемантизму. Но к идеальному моносемантизму слова никогда не приходят. Мы имеем только стремление к моносемантизму. Но как только относительный моносемантизм достигнут, слово получит опять дополнительную нагрузку и это опять ведет к дифференциации. Омонимы появляются, взрываются, из дифференцированных слов возникают новые омонимы и т. д. Мы имеем здесь перманентный процесс. Вот это внутреннее противоречие омонимов беспрерывно обогащает язык новыми словами, новыми формами, новыми комбинациями.

По существу всякое слово многозначимо; но можно ли сказать, что все слова поэтому омонимы? Отнюдь, нет. Они могут при дальнейшем развитии стать таковыми. Но по каким признакам можно установить, являются ли данные слова омонимами или нет? Основной признак следующий: когда слово, отдельно взятое (не в контексте речи) ассоциируется с двумя или более понятиями и только в контексте речи получает свое разрешение о каком значении идет речь, то имеем здесь явление омонимов. Когда слово, отдельно взятое, ассоциируется только с одним понятием, а в контексте речи принимает другое значение в зависимости от других слов, то это еще не есть явление омонимов. Например: stol, glaz не являются омонимами, хотя в контексте они многозначимы (стол как мебель и хороший стол — в смысле хорошего питания), потому что отдельно взятые они имеют только одно значение (стол — мебель и глаз — орган зрения). Но слово, напр., 'совет', даже отдельно взятое, ассоциируется с двумя понятиями и потому тут есть явление омонимов.

Отсюда вытекает, что омонимы не постоянная и не абсолютная величина, не только на различных этапах движения значения слов, но даже на одном каком-нибудь этапе. В различных социальных кругах одно и то же слово, отдельно взятое, может вызвать представление о двух значе-

ниях (явления омонимов) или представление об одном значении (нет явления омонимов). Например, слово *shet* в еврейской мелкобуржуазной религиозной среде означает город и место в синагоге, в еврейско-советской пролетарской среде слово *shet* вызывает представление, исключительно, о городе. То же самое со словом *shul* — в одной среде означает школа и синагога, в другой среде — исключительно школа, а в третьей среде — исключительно синагога. На этом основан еврейский анекдот: вместо того, чтобы перевести на русский язык фразу — *er hot in shul a shet*, что означает 'он имеет в синагоге место', он переводит 'он имеет в школе город'.

Каким образом происходит дифференциация омонимов? Пути дифференциации разнообразны и чем ближе к нашим временам, тем разнообразнее они становятся. Первый путь идет по линии прикрепления ударений. Известно, что для ранних стадий характерны не только многозначность, но и многозвучание. Дифференциация начинается только тогда, когда перестают пользоваться всеми формами для выражения одних и тех же значений, и определенная форма звучания прикрепляется к определенному значению. Таким образом, вместо одного слова появляются два или больше слов. Слова, семантически не нуждающиеся во внешней дифференциации, акцентуруются свободно. Такие случаи свободного акцентирования встречаются еще и сейчас. Например, в литовском языке слово *mokikla* 'школа' звучит *móikla*, *moikla* и *moiklá*; в русском языке слово кладбище звучит *кля́дбище* и *кладби́ще*. Примером дифференциации омонимов путем прикрепления определенного ударения может служить слово *záмок* и *замб́к*.

Второй путь дифференциации омонимов идет по линии изменения огласовки. Пример: в идиш слово *shlesl* 'замочек' и *shisl* 'ключ'; *fotet* 'отец' *feter* 'дядя'; *mame* 'мать' *mime* 'тетя'.

Третий путь — по линии согласных. Например в идиш, *royet* 'крестьянин' и *boyet* 'строитель деревянных домов'.

Четвертый путь по линии скрещения слов. Так мы имеем в древнееврейском языке *ma-im* 'вода' и *sha-ma-im* 'небо', в которых элемент А и В (*ша* и *ма*) означают одно и то же. Явление скрещения (разумеется другого качества) имеем также на почве идиш. Например, *fus-pohé* 'студень', в котором каждая часть в отдельности имеет значение 'нога'. Другой пример: перед послеобеденной молитвой надо мыть руки, вода для мытья получила определенное название: *maim afgoymim* ('вода последняя'), но в разговорном языке эпитет *afgoymim* не воспринимается уже как достаточный признак дифференциации (вода для мытья перед молитвой и вообще вода). Эти два слова (*maim afgoymim*) воспринимаются как одно слово

со значением воды, и поэтому прибавляется к ним еще слово *waser* (вода) и получается *maim aqrounim waser* 'вода'+'вода'. Все перечисленные пути характерны главным образом для прежних стадий развития языка, когда еще было мало внешних средств для дифференциации. Ближе к нашим временам дифференциация идет также и по линии прибавления внешних признаков. Так, напр., одна из функций прилагательного заключается в том, что оно дифференцирует омонимы. Прилагательное возникло, повидимому, тогда, когда все имеющиеся средства оказались недостаточными, чтобы конкретизировать и дифференцировать общие понятия. Вот типичный пример дифференциации посредством эпитетов. В древнееврейском языке слово *sal* (элемент А) означало и 'небо' (*ша-маим*) и 'преисподнюю'. *Sal* в значении преисподней встречается также с эпитетом *taqtiyo* (нижняя). Но для значения 'низ' имеется слово *mata*, а *taqtiyo* означает 'ниже, чем на земле', т. е. под землей. Таким образом *shoyl taqtiyo* означает подземное небо. Эпитет здесь дифференцирует полисемантическое слово *sal*.

Необходимость в дифференциации омонимов посредством изменения звучания слова уменьшается также с возникновением грамматического рода. Так, напр., слово *zup* (сын и солнце) не нуждается в дифференциации, так как *zup* 'солнце' в идиш женского рода и со своим спутником членом звучит *di zup*, а *zup* в значении сына мужского рода и звучит *der zup*.

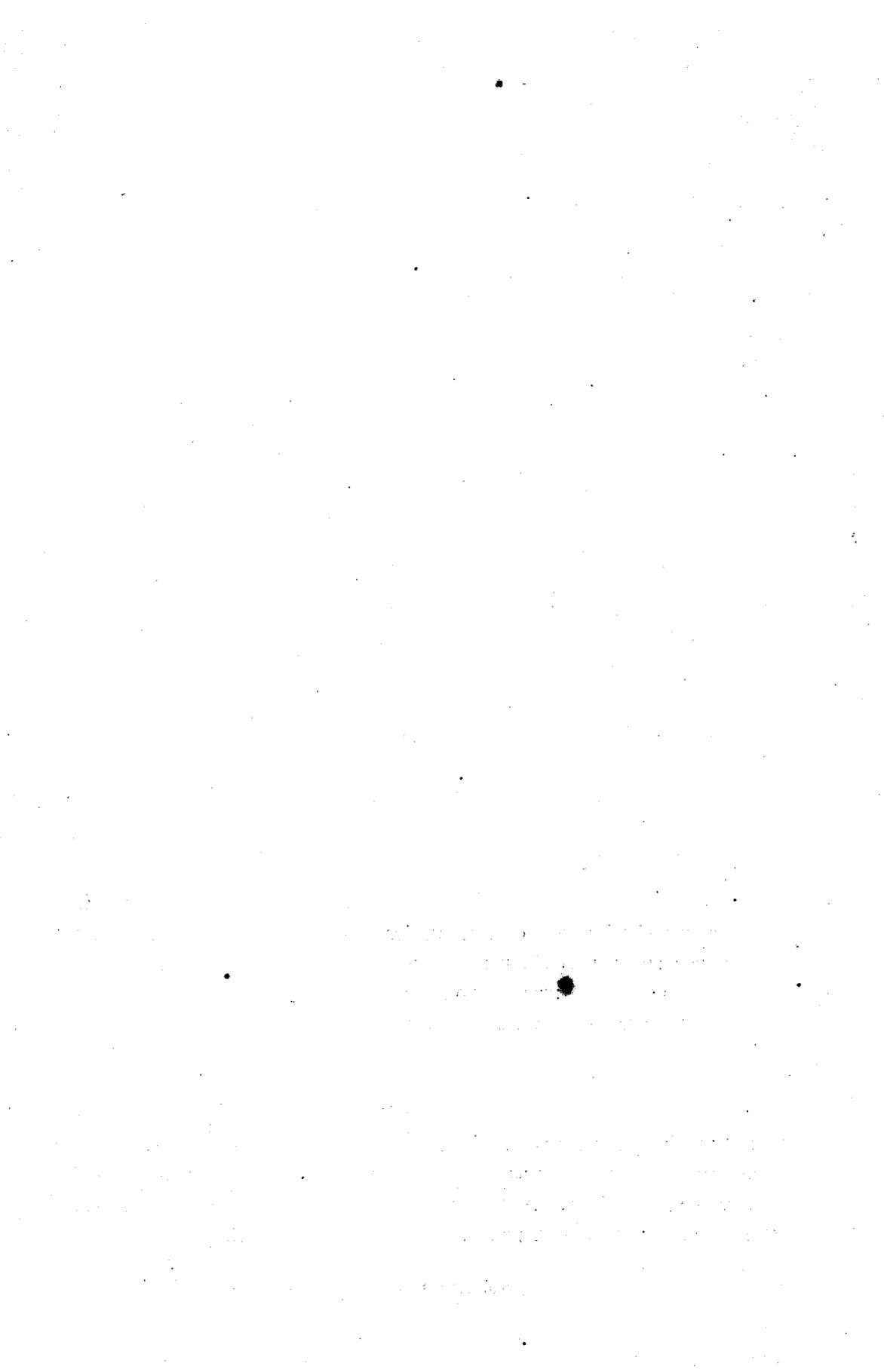
Кроме того, дифференциация может произойти исключительно во множественном числе. Так, напр., слово *shtern* в значении 'лоб' во множественном числе звучит *shterns* (с признаком множественного числа, а *shtern* в значении звезда формального признака множественности не имеет и звучит *di shtern*, или слово *sod* в значении сада во множественном числе звучит *seder*, а *sod* в значении 'тайна' во множественном числе звучит *soydes*.

Всем сказанным здесь вопрос о дифференциации омонимов на исчерпывается. Остается еще вопрос, почему не все омонимы дифференцируются? На этот вопрос можно ответить только при конкретном изучении истории каждого слова в отдельности. Но все же можно с уверенностью сказать, что существенную роль здесь играет социальная значимость слова, которая особенно ярко выступает в классовой борьбе. Возьмем пример из наших дней. Слово «Интернационал» имеет значение «пролетарский гимн» и «Интернациональное пролетарское объединение». В данном случае мы не имеем дифференциации, так как возможная неточность восприятия понятия не имеет такого существенного значения в классовой борьбе. Иначе обстоит дело с другими значениями слова «интернационал». «Интернационал в значении буржуазной агентуры в рабочей среде» и «Интернационал» в значении

штаба мировой революции. Здесь дифференциация необходима. Мы не можем поэтому сказать просто «Интернационал», а должны прибавить «второй», «третий» или «Коммунистический Интернационал». Слово «Коммунистический Интернационал» принимает форму аббревиатуры и вследствие дифференциации возникает новый термин «Коминтерн».

* * *

Таким образом, мы видим, что проблема омонимов затрагивает основные вопросы развития языка в целом. Данная работа не претендует на исчерпывающее разрешение этой сложной проблемы. Мы попытались только наметить те пути, по которым должно пойти разрешение этого вопроса.



М. М. ГУХМАН

К ПАЛЕОНТОЛОГИИ ГЕРМАНСКОГО SKOP'A

Англо-саксонское *skop*, древне-верхне-немецкое, с соответственным чередованием *p* и *f*, *skof* — наименование придворного поэта-певца, выступавшего в эпоху предполагаемого расцвета древне-германской поэзии на пиршествах феодалов. Репертуар его — по преимуществу героическая песня (*Heldensang*). Первые же памятники западно-германской письменности (вторая половина VIII в.), давая своеобразно-вычурные описания раннефеодальных празднеств, отмечают почетную роль *skop'a* на этих пирах и власть и значение его творений. Любопытно отметить, что использование термина «*skop*» в памятниках оригинальных и переводных — неодинаково. В первых «*skop*» только придворный певец, образ, нераздельно связанный с феодальным бытом; переводчики, однако, употребляли этот специфический термин, так тесно сросшийся в ту эпоху с определенной общественной средой, для обозначения поэта вообще. Так любой из поэтов и писателей древнего мира мог называться и действительно назывался в этих переводных памятниках — *skop'om*.

Этимология *skop'a*, по мнению германистов не совсем ясна; попытка разъяснить его, как *poen actoris* от англо-саксонского *skippan*, древне-верхне-немецкого *skerfen*, готского *skarjan*, что значит творить — тем самым поэт тот, кто творит, т. е. *skop* — творец, не вполне удовлетворяла нормам индоевропейского языкознания: а именно, если *skop* рассматривался как *poen actoris* от вышеупомянутого глагола, то согласно закону *Ablaut'a*, II ступень от англосаксонского *skippen* могла дать только *skōp*, т. е. *ō*, верхне же немецкое *skerfen* — соответствующую форму «*skuof*», т. е. дифтонг *uo*; таким образом, с вокализмом разбираемого слова, с точки зрения «классической» фонетики не все обстояло благополучно; к этому прибавлялся еще тот факт, что *skop*, этот отглагольный *poen agentis*, не имел показателя действующего лица герман-

ских языков — *a*, *o*, *e*¹ или более позднего *-agi*, *-egi*, соответствующего современному *-er*; наконец, тот же древне-верхне-немецкий сохранил нам, образованный согласно всем положенным нормам, *nomem actoris* от *skerpen* и именно с тем значением, которое навязывается *skor'u*, со значением творца; — это *skerphio*, *skeffo*, в более позднем оформлении *skerheri*.

Таким образом, с разъяснением разбираемого нами слова, в рамках «общепринятых» лингвистических методов, действительно не все было в порядке.

В противовес попыткам этимологизирования «темного» слова и задумано это небольшое исследование.

Задача моя — показать на истории данного слова, а вместе с тем и родственных с ним семантически и поэлементно слов, движение самого понятия, содержащегося в рассматриваемом термине, генезис его; однако таким образом, чтобы генезис понятия определялся действительным развитием создавших его в процессе общественной деятельности индивидуумов.

Н. Я. Марр во многих своих работах касался семантики, связанной с понятием поэта-сказителя и его творчества. Им же неоднократно отмечалась ближайшая семантическая связь поэта с магом, чародеем, жрецом и поэзии с колдовством. Так и псевдо-собственное имя греческого поэта Гомера оказалось нарицательным обозначением поэта-мага-жреца, а следовательно и божества, *gesp. тотема*.

И так, *skor* и с ним увязываемое некоторыми германистами готское *ska-p-uaп*, вернее немецкое *ske-pf-en*, современное немецкое, с обычным для него соответствием *sk || ш* (см. *skirtа || шirtа*, *ska-š || шаš* и т. д.) *ша-f-en*. Однако и в глаголе *ша-f-en* значение «творить», по видимому, не первоначальное: греческий язык знает глагол *sko-p-eo* «смотреть», «охранять»; термин этот в греческом еще сохранил социально-культурный характер, обозначая первоначально действие бога, тотема, на космической же стадии неба; так, в том же греческом имеем *ske-p-as*, в значении «крыша», «навес», *gesp* «небо»; будучи обозначением тотема и действия его, это *ske-p-as*, *sko-p-eo*, впоследствии, при выделении руководителя хозяйственно-трудовой деятельностью данного коллектива, с нарастанием *-er*, *er*-*sko-p-os* означает, «страж», «руководитель», «властелин»; что этот руководитель был и руководителем зачаточной культовой жизни коллектива, т. е. своего рода

¹ Верхне-немецкое *skirtа* «защитник» от глагола защищать, наряду со *skirtari* с тем же значением; древне-саксонское *skenkeo* «виночерпий», от глагола *skenken*; *skerio* от глагола *skeren* и т. д.

шаманом, за это говорит возможность использования его для обозначения, значительно позже, христианского духовного чина.

Повидимому, по этой же линии с греческим *ske-p-as* и с немецким *skop*, оказывается увязанным русское *sko-p-eđ*, (где окончание *eđ* есть показатель активно-действующего лица, т. е. получаем опять-таки *skop'a*); *sko-p-eđ* в его социальной функции «главы матерей-девственников еще до вхождения мужчин в какую-либо силу».¹ Возвращаясь к немецкому глаголу *schaffen* || *ske-pf-en*, мы можем заключить, что значение 'творить' в нем вторичного порядка, первоначально же он, как и греческое *ske-p-eo*, означал действие коллектива, ранее — тотема; это сохранилось отчасти и в современном немецком языке, где *schaffen* до сих пор не только — 'творить', но и 'действовать', 'организовывать', 'наводить порядок'. Что же касается *skop'a*, то он оказывается связанным с этим глаголом по совсем иной линии, не как творец песен, но как организатор, руководитель производства. Этим мы отнюдь не хотим сказать, что для нас *skop* есть точно так же отглагольный помет *agentis*. Развитие, по нашему мнению, шло в обратном порядке, но об этом подробнее ниже.

Таким образом, нами было высказано предположение, что рассматриваемый нами термин *skop* первоначально обладал гораздо более широкими социальными функциями, нежели творчество германского *skop'a*. И действительно, здесь же на германской почве находим двойник нашего *skop'a*, сохранившийся в более позднюю, уже «историческую» эпоху, в явной форме эти социальные функции: это древне-верхне-немецкий, с акающей огласовкой *ska-f-in*, где *in*, показатель все того же действующего лица; древне-верхне-немецкое же *ske-f-o* с тем же значением, но с иным показателем активного лица, ср. верхне-немецкое || *schef-e*. Древне-верхне-немецкое *ska-f-in*, средне-верхне-немецкое *schefe* означает 'судья', 'управитель', должность, учрежденная по свидетельству историков впервые Карлом Великим, для наименования которой, однако, был использован гораздо более древний термин, означающий в предшествующие эпохи лицо, обладающее аналогичными, с новым чином, функциями.

Мы показали, что *ska-f-in*, *schef-e* являются двойниками *sko-p'a*, но, по существу говоря, это не совсем точно. *Sko-p*, *ska-f-in*, *schef-e* в том виде, как они дошли до нас, результаты языкового оформления различных стадий и наиболее древен в этом смысле именно *sko-p*, не обладающий показателем функции действующего лица (более позднее образование); более

¹ Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры? Стр. 21.

Сб. в честь Н. Я. Марра.

того, *in* и *e* отнюдь не одинаковые, абсолютно параллельные показатели, но и они — свидетели определенных процессов, происходивших в действительной жизни данного коллектива и отраженные в языке. Однако, об этом подробнее в конце статьи. Итак, наш *skor*, скромный придворный поэт, оказался обогащенным целым рядом новых, в действительности, однако, для него более древних социальных функций — судьи, стража, управителя, короче говоря, организатора производственной жизни коллектива, а тем самым впоследствии и руководителем его культовой жизни, ибо функции жреца и вождя дифференцируются уже чрезвычайно поздно. Так, напр., относительно древних германцев Цезарь писал еще в I в. до н. э., что у них отсутствовало специальное жреческое сословие.

Однако, термин *skor*, как обозначение индивидуального руководителя, вождя, жреца выступает лишь на более поздних стадиях; первоначально он один из многих в руководящем слое коллектива и название его равно названию данного слоя,¹ тем самым и названию коллектива, вначале определенного, конкретного, впоследствии — коллектива, племени, народа вообще; так англосаксонский сохранил нам *ski-p-e* в значении именно 'народа' и с этим, повидному, увязывается и русское *ku-p-a*, 'скопом', 'скопнице'. Это наименование коллектива, выразившее до выработки общего понятия народа принадлежность данного коллектива тотему *skor* || *ska-f* || *ша-f*, т. е. тотему «овцы», космически 'солнца', 'неба', греческое *ske-p-as*, о котором уже говорилось, переосмыслиется впоследствии при патриархате, как происхождение от божественного родоначальника, данного племени *Skea-f* (с обычным для англосаксонского разложением *a* на *ea*), явившегося, согласно весьма распространенной германской легенде, неизвестно откуда, на лодке, спящим и ушедшего по прошествии некоторого времени все на той же лодке обратно в море.² От этого *Skea-f*-а происходят скильдинги в Беовульфе, он же является эпонимом лангобардов, согласно их собственному преданию.

На стадии возникновения коллективной собственности имя тотема, коллектива и места поселения данного коллектива, территория его трудовой деятельности, означались одним словом; впоследствии это слово было использовано и для обозначения принадлежавшего данному коллективу жилища. Примером подобного семантического развития может служить готское

¹ Здесь нелишне отметить, что примером такого развития может служить немецкое *gra-fo*, *gra-f-e* 'граф', 'управитель', в некоторых диалектах 'старшина', в Аахене оно означало цехового мастера, однако более раннее значение сохранил гессенский диалект, где *gre-f-e* не старшина, а совокупность всех лиц, управляющих деревней.

² Отголосок солярного мифа.

ga-v-i, древне-верхне-немецкое ge-v-i 'местность, заселенная частью племени', в падении, с губной огласовкой имеем hu-f-e, древне-верхне-немецкое с дифтонгизацией и на *uo* huo-b-a 'определенный участок земли', наконец, ho-f, 'обруг', 'местожительство данного коллектива', но в древне-северном тот же ho-f 'храм', 'дворец феодала'. В этой связи и немецкое ши-p-en 'хлев', англосаксонское закономерное skeo-p-a, 'хижина' как 'жилище', принадлежавшее коллективу одного с ним имени, ибо это наименование накладывало печать принадлежности его именно данному коллективу и его тотему, восходит все к тому же sko-p'у.

Выше нами отмечалось, что на ранних стадиях коллектив-тотем и действие этого тотема-коллектива воспринимались как одно понятие и обозначались одним словом. Англо-саксонское ski-p-en, готское ska-p-uap, о котором уже говорилось, означающее 'распоряжаться', впоследствии более отвлеченно 'делать', как действие все того же sko-p'a || ske-f-o, сначала, как тотема-коллектива, затем руководящего слоя и, наконец, вождя-жреца-поэта выражало это действие еще как синтез трудовой деятельности и того, что впоследствии стало магией. Впоследствии, когда магическое действие получило самостоятельность, отделившись совершенно от трудового акта, для него использовалось другое оформление того же sko-p'a, skip-en, отсюда имеем с одной стороны немецкое ſau-b-er 'колдовство', с другой, с перебоем sk в st, случаи которого засвидетельствованы Яковом Гриммом относительно ранних эпох истории германских языков, древне-северное star-f-a, немецкое ar-beu-t 'работа'. По линии культа все с тем же ſau-b-er оказывается увязанным древне-верхне-немецкое ſe-b-ag, готское ti-b-g, немецкое o-pf-ern, что значит 'приносить в жертву'; развиваясь внутри этой магии-культа, речевая культура, поэзия, обладающая «магической» функцией воздействия на реальность, как деятельность того же skor'a, сохраняет теснейшую связь с колдовством, магией. Так, др.-сев. do-b-ur значит «культовая песнь». S-pe-l, впоследствии s-pi-l есть название особого рода поэтических произведений, с которыми, согласно памятникам, связано творчество skor'a, «поэта», сравни армянское a-ḡa-s-peli- 'миф', 'сказка'; но это же spel означает и 'знание', 'игру', а также 'откровение', т. е. оно означает как раз то широкое, включающее в себя все эти элементы, понятие, как магия. И то же s-p-el, с потерей плавного и аканьем, в древне-северном sра означает 'предсказание'. Наконец, само название стиха, особой формы его sta-b, sta-b-rimem, встречающееся вновь в немецком скрещенном образовании Buq-sta-be через название тех магических палочек, на которых вырезывались руны и функция которых была та же,

что и стиха, т. е. магия; отсюда и одно название,¹ восходит все к той же магии и ее носителю, *skor'у*.

ВЫВОДЫ

1. Германский *skor* оказывается широко распространенным социально-культурным термином весьма древней стадии. Обозначает первоначально — тотем-коллектив и его действия.

2. Являясь наименованием коллектива, множественности (англ. *skipe*), тотема животного (*skaf*), а на космической стадии неба (*skerpas*), он, вместе с тем, дает наименование месту поселения коллектива, первоначально неразделенному в понятии с самим коллективом.

3. Когда впоследствии язык дорабатывается до отдельного выражения действия коллектива-тотема, специальной формой — глаголом, тогда имя тотема дает глагольное обозначение этого действия, поэтому не *skor* от *skerfen*, а наоборот.

4. При выделении, на более поздней стадии родового строя руководителя хозяйственно-культурной жизни коллектива, вождя-шамана, последний получает то же название, что и весь коллектив — разновидность *skor'a*, но уже с показателем действующего лица. Последнее было не нужно на предыдущих стадиях, ибо вне тотема-коллектива иного лица, носителя действия, активного лица, не было. Необходимость подчеркивания активности появляется на стадии возникновения борьбы между отдельными группами коллектива.

5. Дальнейшее осложнение хозяйства и все более четкое разделение между умственным и физическим трудом приводит к дифференциации носителей различных общественных функций, а следовательно, и терминов, означающих их наименование; тогда *skor* закрепляется за певцом-поэтом; судья же или управитель получает иное оформление того же *skor'a*; тем самым мы, однако, находимся на грани феодализма и подведены уже к тому состоянию языка, которое засвидетельствовано письменными памятниками.

6. С эгими многочисленными сменами содержания, вкладываемого различной общественностью в понятие *skor*, теснейшим образом увязан и семантический ряд, показывающий близость самой речевой культуры, на определенной стадии, к магии.

¹ *Sta-b* 'стих' и *Sta-b* 'жезд' обозначаются одним термином не потому, что и стих первоначально писался на палочках, но в результате одинаковости их функций для сознания людей того исторического периода.

Ш. В. ДЗИДЗИГУРИ

О ПЛЮРАЛЬНОМ ВЕРБАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ В ГРУЗИНСКОМ

Прежде всего одно замечание общего характера.

Одной из главных особенностей грузинского языка является то, что в глаголе обозначается два или три лица, все равно — реально или потенциально. Сравнительно мало глаголов, которые содержат в себе только лишь одно лицо, лицо субъекта. Напр.,

v-ḡḡovḡob [me] 'я живу'
ḡḡovḡob [shep] 'ты живешь'
ḡḡovḡob-s [is, igi] 'он живет'

Здесь субъект 1-го л. представлен в глаголе префиксом V, а субъект 3-го л. обозначается суффиксом S. Что касается 2-го л., то оно не имеет своего формального представителя в глаголе, не выражено морфологически, но «симманентно» связано с глаголом: тут выступает синтаксический критерий: нельзя сказать те или is (qi) ḡḡovḡob, — а именно shep ḡḡovḡob, что говорит о том, что здесь мы имеем по смыслу такое же соотношение между субъектом и глаголом, какое мы имели в 1-м и 3-м л. Если в двух последних случаях субъект представлен реально (resp. морфологически, формально), в отношении 2-го л. можно сказать, что он (субъект) выражен в глаголе потенциально.¹ Когда говорим об обозначении одновременно в глаголе двух или трех лиц, подразумевается: субъект + объект¹ + объект². Разберем сперва тот случай, когда в глаголе обозначается специальным «формальным» субъект и один объект. Напр.,

m-aqeb-s [is (igi) me] 'он хвалит меня'
g-aqeb-s [is (igi) shep] 'он хвалит тебя'
aqeb-s [is (igi) mas] 'он хвалит его'

¹ Судя по современному состоянию грузинского литературного языка. Ср. А. Шанидзе. Префиксы. 1920 (на груз. яз.). А. Чикобава. Ах. Сколисаев, № 8—9, 1929 (на груз. яз.).

Суффикс S является показателем грамматического субъекта гесп. вербального субъекта (условно обозначено памп ниже VS), а m, g являются формантами грамматического объекта гесп. вербального объекта (= VO); вербальный объект 3-го л. (mas) в глаголе представлен нулем гесп. потенциально.

$$\begin{aligned} \text{Формула: } S_3 + O_1 &= 1\text{-ое л.} \\ S_3 + O_2 &= 2\text{-ое л.} \\ S_3 + O_3 &= 3\text{-е л.}^1 \end{aligned}$$

Мы взяли глагол объективного строя; разберем субъективный строй:

v-aqeb [me mas] 'я хвалю его'
 aqeb [shen mas] 'ты хвалишь его'
 aqeb-s [is (iqi) mas] 'он хвалит его'

Формула примет такой вид:

$$\begin{aligned} S_1 + O_3 &= 1\text{-ое л.} \\ S_2 + O_3 &= 2\text{-ое л.} \\ S_3 + O_3 &= 3\text{-е л.,} \end{aligned}$$

т. е. VO во всех лицах лишь потенциально связан с глаголом; во 2-м л. и VS разделяет судьбу объекта.

С глаголом связан не только один объект, а в спряжении могут участвовать два объекта; второй объект почти всегда представлен в глаголе потенциально. Напр.,

m-dqov-a [man me igi] 'он просил у меня того'
 g-dqov-a [man shen igi] 'он просил у тебя того'
 s-dqov-a [man mas igi] 'он просил у него того'

VS (man) обозначается суффиксом -a, VO¹ (me, shen) — m, g (s); VO² нулем.

$$\begin{aligned} \text{Формула: } S_3 + O_1 + O_3 &= 1\text{-ое л.} \\ S_2 + O_2 + O_3 &= 2\text{-ое л.} \\ S_3 + O_3 + O_3 &= 3\text{-е л.} \end{aligned}$$

Итак, «местоименные аффиксы в глаголах выражают или субъект, или объект, но в том состоянии, в каком мы изучаем грузинский язык, сами местоименные частицы не являются субъектом или объектом, а местоименным приложением к тому или другому, указателем того или другого, безразлично налицо ли субъект гесп. объект, или он подразумевается. Однако,

¹ S = субъект, O = объект; S₃ = субъективный формант (преф. или суф.) 3-го л. и т. п. (по Шанидзе).

gienne, Paris, 1931, Chrest. I, стр. 582). Этот плюральный формант «из живой грузинской речи... проникал в древне-литературные тексты» (Н. Марр. Грамматика груз. яз., Л., стр. 120). В ново-грузинском, в качестве показателя VO появляется тот же самый переднеязычный придыхательный ∂ ; а в resp. VO с местоимением ∂ qven — ‘вы’ — в определенных случаях:

unda gi ∂ qra- ∂ [me ∂ qven] ‘я должен вам сказать’

unda gi ∂ ivlo- ∂ [me ∂ qven] ‘я должен жаловаться на вас’.

В подобных же случаях появляется суффикс в мегрельском и сванском. Напр.,

мегр.: r ∂ arun- ∂ [∂ qva] ‘вам пишу я’¹

св.: ∂ im ∂ ga- ∂ [sg ∂] ‘вы приготовили’

св.: ∂ omara- ∂ [e ∂ ars] ‘они приготовили’.²

Любопытно, что в внешне-кажском диалекте (განე-კახეთი კოცხი) VO resp. LS оформляется суффиксом ∂ почти систематически. Напр.,

dauda ∂ a- ∂ (sic!) [man ma ∂] ‘он позвал их’ и т. п.³

Итак, VS resp. LS в феодальном грузинском языке во множественном числе имеет своего представителя в глаголе (иначе говоря: согласуется в числе), а VO resp. LS либо LO представлен нулем. В ново-грузинском литературном языке (да и в диалектах), в противовес древнему, Pluralis VO (= LS) обозначается в глаголе. Pluralis LO = VO этим формантом не обозначается (за исключением одного диалекта).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что для оформления во множественном числе VO, «заимствуются» плюральные форманты VS. Напр., ∂ является субъективным суффиксом 1-го и 2-го л.; с другой стороны, en \rightarrow n также субъективный формант 3-го л. Аналогичное явление имеем и в других, так наз. «картвельских» языках; напр., в мегрельском во всех лицах появляется субъективный показатель множественности:

mi ∂ arun-an [∂ q ∂] ‘мы написали’

gi ∂ arun-an [∂ qva] ‘вы написали’

u ∂ arun-an [∂ inens] ‘они написали’.⁴

¹ См. И. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка. Мат. по местн. языкам., VII, СПб., 1914, стр. 76.

² См. ვ. თოფურია, სვანური ენა. I. ტფილისი, 1931, стр. 74.

³ См. ა. ჩიქობავა, კახეთ-კახეთი დიალექტოლოგიურად. Arili. — Festschrift Iv. Dschachischwili, 1925, T flis, стр. 82.

⁴ См. И. Кипшидзе. Грамматика мингрельского языка, стр. 086.

В картвельских языках (груз., мегр., чан., св.) обычным является использование форманта 3-го л. для 1-го и 2-го лл.¹ А этот факт чрезвычайно важен и имеет достаточное палеонтологическое обоснование: «В «проявлении» на сигнализатора третьего лица, тотема, была возложена новая функция выражать народившуюся потребность в первых двух лицах, как активах. В результате единства противоположностей первые два лица, еще не расщепленные, в представлении, как противоположность третьему, стали выражаться одним и тем же элементом» (Н. Марр. Яфетические языки. «Большая Советская Энциклопедия», 65, стр. 834).²

Если для плюрального образования VO используются (или имеются общие) форманты VS, — то мы имеем в самом грузинском же образовании, присущее исключительно VO, изложение которого является центральным пунктом настоящей статьи. Иначе говоря: LS = VO и LO = VO в Pluralis оформляется специальным образом, не имея отщепления (судя по нынешней картине плюральных формантов в грузинском) к VS.

В современных диалектах, как-то в ингилойском, хевском, мтиульском, кизикском, ферейданском, с одной стороны, и в рачино-лечхумском и имерском, — с другой, при глаголе ставится целый комплекс звуков, частица $kep \rightarrow ke \rightarrow k$, которая имеет определенную синтаксическую функцию. Ни древне-церковный, ни феодальный грузинский язык (судя по письмам источников) ее вообще не знают. Правда, с XI в. она из живой речи проникает в письменные памятники (когда начинается, хотя весьма слабый, процесс вторжения языковых особенностей низовых слоев общества в литературный язык), — но настолько спорадически, что нельзя говорить о сколько-нибудь широком ее распространении.³ Ею обычно обозначается в глаголе множественность вербального объекта (= VO resp. грамматич. об.), будет ли он LS или LO.⁴

«Исторически» (судя по встречающимся фактам древне-грузинских письменных памятников) обозначение VO = VS предшествует обозначению VO = LO; ибо только современная живая речь дает нам примеры того,

¹ Исключение бывает с груз. ჯ.

² Перепеч. в т. I Избранных работ, 1933, стр. 297.

³ Полная регистрация памятников и засвидетельствованных форм даны: ა. ნიჭიძე, უფრო სწორად უკუნიჭიძე და მისი მნიშვნელობა ლოგიკო-გრამატიკის უზიარებლობის თვალსაზრისით. Jahrbuch der georgischen Sprachwiss. Ges., I—II, Tiflis, 1924.

⁴ Природа этой частицы вскрывает явное несоответствие между LO и VS, а именно, что в аспекте языкового мышления своеобразно воспринимаются логические категории (нет параллелизма между логическими и грамматическими категориями); в этом наглядно сказывается ложность схоластической логистической концепции в лингвистике, — но эта сторона дела нас сейчас не интересует.

что VO, совпадающий с LO, во множественном числе имеет своего полноправного представителя в глаголе. Приведем примеры:

1. VO = LO: а) [объект в Nominativus]: gasikvita-keⁿ ori dmebi batonma — 'князь (букв. господин) убил двух братьев'. в) [объект в Dativus]: unda misde^d-keⁿ fon ka^deb^s... — 'вы должны дать нашим...'

2. VO = LS: ratvelebma moitanes-keⁿ g^vino 'рачинцы привезли вино.'¹

В одной глагольной форме может выражаться множественность как субъекта, так и объекта (ср. moitan-es-ken: — es = S, ken = O). Эта частица встречается в виде: ken (имер., рач.) → ke (др. литер., мтиулск. ферейд. etc.) → k (ингил.).

Появляется ли этот показатель в Nomen'e, как образователь множественности? Диалектическое kvela-ka-y — 'все' (встречающееся в кахском, рачинском, гурийском, спорадически и в др. литературе, напр., у Шота Руставели) явно показывает, что ka → ka [← kan ↔ ken] придает слову kvela собирательное значение (ср. параллельно встречающееся kvela-n-i, где формантом Pluralis выступает другой показатель n).² Что вербальный суффикс множественности является одновременно и номинальным показателем того же множественного числа, это вполне нормальное явление и имеет достаточное обоснование, хотя бы и на грузинской почве: носовой n является полноценным суффиксом множественного числа как в именах, так и в глаголах; также и переднеязычный придыхат. ъ появляется наряду с глаголом в косвенных падежах и в именах.³ С другой стороны, ken (как тотемное название, о чем ниже) используется и в пространственном соотношении (так наз. 'склонение'); он образует: 1) Ablativus, 2) 'направление' [к чему-нибудь или к кому-нибудь]. Напр.: а) Ablat.: israanisa-ke qa^darⁱ mog^vida — 'из Испании получили бумагу' (ферейд. диал.);⁴ б) «направительный» qalaqis^ra¹-ken (фер., ингил., ках. и имер. диал.)⁵ || qalaqis^ra¹-ken (литерат.) — 'по направлению к городу'. Параллельно мы имеем и переднеязычное придыхательное образование элемента C: *ъen — в грузинском же языке: а) Ablat: qalaq-1- ъ1 — 'из города' (в классич. яз. и диалект. — ингил.); б) «напра-

¹ Примеры взяты из моих неопубликованных горнорачинских материалов.

² Последующая стадия этой формы характеризуется утерей показателя множественности и на самую основу возлагается функция выражать содержание Pl.

³ Любопытно, что тот же ъ образует множ. число и в прямых падежах в осетинском. Ср. В. И. Абаев. К характеристике современного осетинского языка. Яфетический сб., VII, стр. 65.

⁴ См. з. ნიქაძე, ფრეილენდლის მოვარი თავის ბურჯებს. Bull. de l'univ. de Tiflis, VII, стр. 312.

⁵ В имерском часто встречается [s / i →]... t-ken [: qalaqit-ken].

вительный': $\text{Յի: ukən taveli\textcircled{d} ferey\textcircled{d}ansa-\textcircled{d}i}$ — 'пошли обратно по направлению к Ферейдану'¹ (Ферейд.). Также и 'пробывание у чего-нибудь': $\text{saq\textcircled{d}-\textcircled{d}an}$ — 'у дома'.²

Вышеуказанное характеризует древнейшее состояние образования языка, когда еще не раскрыта в одном диффузном понятии противоположное содержание; в этом морфологическом факте сохранилось нерасчлененное восприятие пространственного соотношения: одинаково выражается движение туда и обратно. Последующая дифференциация достигается с помощью разновидности того же фонетического элемента: для Ablativus использован формант $-\text{gan}$; он прибавляется к «первичному виду» ablativ-ной формы: $\text{saq\textcircled{d}-i-\textcircled{d}+gan}$ — 'из дому', а что касается 'движение туда' ('напр. к кому-нибудь или к чему-нибудь'), то для этого остается элемент $-\text{ken}$ (диал.) или дезаспированный $-\text{ken}$ (литерат.).³ В другой диалектической среде (в Ферейд.) наоборот: для Ablativus остается $-\text{ken}$, а направительный *gesp. locativus exterior* оформляется фонетической разновидностью того же элемента $-\text{ճի}[n]$.

Рассматриваемый нами элемент $\text{C-ken} \rightarrow \text{ke} \rightarrow \text{K}$, фигурирующий как в спряжении, также и в склонении, является разновидностью спирантных формантов мпюж. числа, широко распространенных в яфетических языках; он является «принадлежностью» спирантной ветви языков. Эта частица имеет свои эквиваленты в сванском и халдском $-\text{q}$, абхазском и армянском $-\text{q}$ и т. п. Сюда же входит черкесская номинальная частица $-\text{q\textcircled{e}}$, абхазская номинальная $-\text{khu\textcircled{a}}$ и вербальная $-\text{kh}$.⁴

Мы знаем, что один из существенных тезисов нового учения о языке по яфетической теории гласит, что множественное число первичное явление, а единственное число выработалось впоследствии, с одной стороны, и с другой стороны, для образования мпюж. числа используется тотемное название, впоследствии племенное имя, 'дитя' и т. п. Как выяснено акад. Н. Я. Маррем, в грузинских племенных названиях kol-q , taoq , mes-q ... пережи-

¹ ճan семантически содержит смысл и *sociativus*'а: $\text{fem\textcircled{d}an}$ [$\text{er\textcircled{d}ad}$] — 'вместе со мной'. Единство этих двух моментов ('направление' и 'пробывание у чего-нибудь') поддерживается осетинским. Ср. В. И. Абаев. *Op. cit.*, стр. 66.

² В Ферейд-ճի также имеет значение *locativus exterior*'а; сюда же входит древне-груз.- d (*locat. exte\textcircled{r}), но об этом особо. Ср. также свая-ճե (= 'напр').*

³ Впрочем, замечу, что в грузинском *genetivus*, *locativus exterior-instrumentalis* генетически связаны с образованием Ablativus и 'напр.'

⁴ Hugo Schuchardt хотя говорит об этом, но не решается признать эквивалентность между $-\text{ken}$ и $-\text{khu\textcircled{a}}$ etc.: „Ob es mit dem swanischen pluralzeichen $-\text{xe}$ und dem nominalen $-\text{khu\textcircled{a}}$ -verbalen $-\text{kh}$ — des abchasischen verwandt ist, mag ich nicht zu entscheiden“ (см. его *Georgische -qe*, „Melanges Charles de Harlez“, стр. 280).

точно сохранился спирантный показатель \acute{q} , возводимый к племенному названию и осознанный на заре образования звукового языка Pluralis. \acute{q} используется в географических и этнических названиях и в халдском (ср. И. И. Мещанинов. Язык ванских клинописных надписей на основе яфетич. языкозн. Тр. Института языка и мышления АН СССР, 1, Л., 1932, стр. 56). Этот показатель из картвельских языков сохранился только в сванском, что вполне «нормально», поскольку в лице сванского мы имеем представителя спирантной ветви языков (ср. $\acute{q}al\acute{a}t -\acute{q}$ — ‘вы любите его, их’; $\acute{q}alat-\acute{q}$ — ‘они любят его, их’). В грузинском живой спирантный аффикс множественного числа не сохранился, за исключением нашего комплекса ken , стоящего при глаголе и носящего определенную синтаксическую функцию.

Наш ken имеет своего закономерного деривата в халдском показателе множественного числа $\acute{q}^i/\% N$, что означает одновременно ‘страна’, ‘племя’, ‘дитя’ etc. (ср. чан. $o-\acute{q}en + a\acute{q}-u$, ‘рождать’). Напр. $Argint\acute{i}-\acute{q}in-i$ — ‘сын Аргиштия’; тот же $\acute{q}in$ встречается в составе $Etiu-\acute{q}in-i$ и т. п. (см. И. И. Мещанинов. Халдоведение. Баку, 1927, стр. 140). Небезынтересно, что в халдском же параллельно существует усеченная форма $\acute{q}i, \acute{q}e$,¹ вполне аналогичная с грузинской ke ; напр., $Abilani-\acute{q}i$ — ‘стране Абилянихи’ или ‘Абилянихов страна’ (Сардуровские летописи. П., 21. 35 — по Мещанинову, *ibidem*).²

По современному восприятию грузинского языка, ken является «неприродным» и «чужим» элементом; он стоит на пути вымирания: сибилантная природа грузинского языка вытесняет его и обходится без него (объект во множ. числе не выражен в глаголе), либо, в лучшем случае, заменяет его «природным» ему формантом. В сванском \acute{q} является субъективным суффиксом! Это говорит о том, что наш спирантный показатель ken некогда означал Pluralis как вербального субъекта, также и вербального объекта.

Наличные форманты в грузинском языке, обычно используемые для образования множественного числа (я говорю о \acute{d} и s) — являются закономерными эквивалентами известного нам спирантного элемента (элемент C, ken). Фонетическое соотношение между спирантными и сибилантными ветвями выражается в формуле: $s \sim h [\nearrow K]$; s является «природным» форман-

¹ Гласный i в халдском неустойчив и постоянно имеет склонность к перебою в e (Мещанинов).

² По принципу стадильности языка, по формуле ‘рука + женщина + вода’, в силу функциональной семантики, название переходит на ‘руку’ (груз. $mar-\acute{d}qen$; ‘рука \longleftrightarrow нога’: $ken+lb-a, da-ken + lb-a$ — ‘поставить на ноги’; ‘рука \rightarrow топор’: абх. $ay-\acute{q}a$), и на ‘женщ.’ (арм. $ala-\acute{q}in$ — ‘служанка’, мегр. $\acute{q}e[n]$ — ‘женщ.’ и т. п.), но по этой линии я здесь углубляться не буду.

том для сибилантного языка, что мы имеем в грузинском (ср. $k \sim z$ между халдским и армянским: халд. *akaq-kı* и арм. *kaqa-sı*, 'кувшины'. И. И. Мещанинов. *Язык ванских...*, стр. 55). Другой формант *Pluralis* переднеязычн. придыхательный ʒ также является шипящей разновидностью того же элемента (т. е. «эквивалент», «соответствие»).

РЕЗЮМЕ

1. Грузинский пережиточно сохранил образование *Pluralis* по норме спирантной ветви языков.

2. Этот элемент (-*ken*) является по современному состоянию языка, специальным формантом (собственно — частицей) плюрального объекта в глаголе, в то время как обычно, в других случаях, для образования множественности вербального объекта используются субъективные суффиксы; с другой стороны, он показывает единство логического субъекта и логического объекта.

3. Этот звуковой комплекс также показывает процесс образования морфологического элемента г-сп. формата: будучи самостоятельным словом, *ken* постепенно срачивается с глаголом, становится суффиксом и играет определенную синтаксическую функцию ($ken \rightarrow ke \rightarrow k$).

4. По линии функциональной семантики (по данным фактов языковой исторической системы) мы имеем следующее семантическое «развитие»: тотем \rightarrow племя \rightarrow сын \rightarrow Pl.

5. Наличие плюральные форманты в грузинском s и ʒ являются свистящими и шипящими эквивалентами спирантного k ($\leftarrow ken$).

6. *Ken* фигурирует и в склонении и показывает единство двух противоположностей пространственного движения (*Locativus exterior* \leftrightarrow *Ablativus*); раскрытие этой противоположности достигается опять-таки путем фонетической дифференциации того же гуттурального элемента.



И. Г. ЛИВШИЦ

ВРЕМЯ — ПРОСТРАНСТВО В ЕГИПЕТСКОЙ ИЕРОГЛИФИКЕ

Некоторые египетские слова, связанные с понятием времени, имеют, с эпохи Среднего Царства, в качестве детерминатива иероглиф канала xx , обычно в сочетании с иероглифом солнца \odot .¹ Таковы:  'время года' (наводнение),  'время жизни', 'время'  'утро',  'вечность',  'время', 'эпоха',  'время года' (лето),  'время'² и др.

В качестве объяснения этого факта выдвигают предположение, по которому иероглиф xx получил указанное употребление в результате ошибки, именно, вследствие смешения в иератическом письме с детерминативом = (в сочетании \odot), встречающимся в некоторых терминах, связанных с понятием 'второго дня', как, например,  'вчера', *  'утро', 'завтра' и т. п.³

Однако, не говоря уже о том, что в качестве детерминатива в указанных словах иногда выступает другой иероглиф канала = ,⁴ в иератике

¹ Встречаются и варианты , , напр., в 17 главе Книги Мертвых, в редакции, относящейся к эпохе Среднего Царства: , * . См. Recueil d'études égyptologiques dédiées à la mémoire de J. F. Champollion, Paris, 1922, стр. 628—629. В качестве самостоятельного детерминатива во временном термине иероглиф xx употребляется в эпоху Среднего Царства в слове \odot , var. ,  и др., 'день месяца'. См.: Erman und Grapow. Wörterbuch der ägyptischen Sprache, IV, 58.

² J. Polotsky. Zu den Inschriften der 11. Dynastie. L., 1929, стр. 12.

³ Lacaü. Recueil de travaux, 35, стр. 80—81 и Gardiner, Egyptian Grammar, стр. 477.

⁴ См., напр., Budge. Egyptian Sculptures in the British Museum, London, 1914, табл. VIII = Brit. Mus. Eg. Stelae I табл. 49, № 614:  (11 дн., стела ) и М. Мо-

В некоторых из этих значений он является, по употреблению, эквивалентом иероглифа дороги , выступающего в поздних текстах в качестве одного из детерминативов в ряде временных терминов, чередуясь с детерминативом , напр., в слове   'время', 'эпоха',    'время', 'век' и др.¹

Полагают, что иероглиф  изображает сухопутную дорогу.² Это объяснение справедливо, повидимому, лишь по отношению к разновидности иероглифа , принимающему иной раз вид ,³ причем середина иероглифа иногда заполняется точками, обычно употребляющимися для обозначения песка.⁴ Первоначально же дело, очевидно, обстояло иначе.

Petrie, объясняющий иероглиф , как дорогу (насыпь, дамбу), проходящую между двумя каналами, обсаженными по берегам растениями,⁵

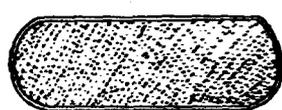
¹ В большинстве случаев, наличие детерминатива дороги в словах, связанных с временными понятиями, объясняется механическим перенесением его вследствие созвучия этих слов с соответствующими пространственными терминами. Ср.   

начать времени и   'дорога',   'время' и 'возле кого-нибудь' (т. е. с суффиксом),    'время' и    'соседство', 'близость' и др.

² Petrie, *Medum*, стр. 30. Murray, *Saqqara*, I, стр. 43. Gardiner, *Gram.*, стр. 478.

³ Guilmant, *Le tombeau de Ramsès IX*, pl. LXV, ср. *ib.*, pl. LXVI и др. Ср. также Totb. (*Nouv.*), I, табл. LVII С. с., LXXVIII и др.

⁴ Guilmant, *op. cit.*, табл. LXVII: . Ср. *ib.*, табл. LXX, где изображено божество в образе обезьяны, сидящей на песчаном холме следующего вида

. Рисунок снабжен надписью:    «находящийся

на своем песке».

⁵ Petrie, *Medum*, стр. 30. К растениям по берегам ср. форму этого иероглифа в эпоху 18 дин.:  (Newberry, *The life of Rekhmara*, табл. XIX, строка 3) и его передачу

в птолемеевскую эпоху:  (LD IV, 4),  (*ib.*, IV, 18) и др., где эти растения имеют вид цветка папируса на стебле. Ср. также Petrie, *Royal Tombs*, I, XVI, 24:

, *Brit. Mus. Eg. Stelae* II, табл. 23 (Ср. II.): , Voessig, *Beschreibung*, II,

исходит при этом из раскраски иероглифа: красная середина, голубые края и зеленые растения. Однако, раскраска одних и тех же космических иероглифов в гробницах Древнего Царства сильно варьирует. Так, в Саккара в той же гробнице, в которой края иероглифа дороги окрашены в голубой цвет и где вода (в иероглифе ) также передана голубым цветом, и земля имеет этот цвет, а в другой гробнице берега в иероглифе  также голубые.¹ С другой стороны, в одной из гробниц Древнего Царства иероглиф , изображающий, как известно, озеро или пруд, окрашен целиком в красный цвет,² а в иероглифе , в котором середина красная, края окрашены в черный цвет,³ между тем как в той же гробнице черный цвет имеют берега в иероглифе канала .

Таким образом, раскраска в данном случае не может иметь решающего значения.

Если обратиться к форме иероглифа, то ряд данных позволяет сопоставить его с иероглифом канала , детерминирующим обычно термины,

табл. IV:  (Ср. П.), LD II 43 d. (5 дин.):  Ср. также детерминативы к слову 

  'берег' в Текстах Пирамид:  (Руг., 279 а W) и  (Руг., 1130 б M) передающие канал или пруд с растениями (?) на одном берегу.

К приведенному в этом примечании иероглифу, заимствованному из Petrie, R. T. I, XVI, 24, ср.  J. Garstang, Mahâsna and Bêt Khallâf, табл. VIII (Bêt Khallâf, 3-я династия),

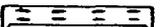
 Davies, The Rock Tombs of Scheikh Saïd, табл. XIX (Др. П.),  Totb. (Nav.) I, табл. XVII, 12, 20, XVIII 16, где также отсутствуют вертикальные линии по краям иероглифа.

¹ См. Murrây, Saqqara, I, табл. XLIII.

² LD II, 96.

³ П., II, 22.

⁴ П., II, 22. Середина в иероглифе  здесь желтая. Ср. ib., II, 19—21, где находим иероглиф дороги , окрашенный целиком в желтый цвет и ib., III, 263 (26-я династия)

иероглиф неба , желтый с черными штрихами. Сочетание желтого цвета и штрихов употребляется обычно для передачи песка, почвы. См., напр., Griffith, Hieroglyphs, табл. III, № 38 (иероглиф горы) и табл. IV, № 50 (иероглиф острова). Ср. также Recueil d'études égyptologiques dédiées à la mémoire de J. F. Champollion, стр. 626 (Книга Мертвых, версия Среднего Царства), где приведено слово p.t 'небо', детерминированное иероглифом страны:

 Небо, большей частью, окрашивается в голубой цвет. Черный цвет, в который, как сказано, окрашены берега канала , обычно служит для передачи воды в иероглифах  и , но также и земли, напр., LD II, 20, чередуясь в последнем случае с зеленым и голубым цветом.

связанные с водой.¹ Так, нередко, особенно в древних текстах, он имеет вид, отличающийся от обычного и сближающий его с иероглифами  и . Именно, он иногда пишется следующим образом ,² ,³ ,⁴ ,⁵ и др., причем часто имеет изогнутый вид ,⁶ ,⁷ ,⁸ напоминающий иероглифы канала ,⁹  ¹⁰ и т. п.

В некоторых же случаях он совершенно тождественен с иероглифом , о котором речь шла выше в связи с детерминативами  и , а также с последним. В Текстах Пирамид чередование иероглифов  и  мы находим лишь один раз¹¹ и его можно было бы объяснить опиской. Однако, аналогичное написание находим и в других памятниках. Так, на одной стеле 12-й династии¹² имя бога Вепуата передано следующим образом:  , т. е. иероглиф  заменен здесь иероглифом канала .

Тот же иероглиф канала, лишь в изогнутом виде наличен в одной из гроб-

¹ То положение, что у египтян представление о дороге было тесно связано с водой, не нуждается в особых доказательствах. Об этом говорят многочисленные термины передвижения, это отразилось и в письме. Приведу характерное выражение    
       (Руг., 1215 а, ср. Lacaui, Sarcoph. antér., 28023, строки 424, 561—572), в котором глагол, несмотря на то, что речь идет о пешеходе, детерминирован судном.

² Напр., Руг., 769 d M, 283 b T.

³ Urk., I, 218.15.

⁴ Напр., Руг., 1434 с P.

⁵ LD II, 19 сл. (4-я дин.).

⁶ Напр., Petrie, Medun, табл. IX, Руг., 1806 bN.

⁷ Напр., Murray, Saqqara, I, табл. XVIII (5 дин.).

⁸ Стела    (11-я дин.) Московского музея изобразительных искусств. Ср. Budge,

Egyptian Sculptures, табл. VIII, стела   (11-я дин.).

⁹ Руг., 596 b P, Urk., I, 189, 12. Petrie, Medun, табл. XII. Аналогичный вид имеет иероглиф и в Руг., 1228 с P, Petrie, Royal Tombs, II, № 154, 161 и I, табл. XVIII, № 6, табл. XXI, № 24 и др.

¹⁰ Руг., 594 d P. Ср. иероглиф дороги в эпитете Нейт, LD II, 10 b (4 дин.), приведенный ниже на стр. 228.

¹¹ Руг., 468 с N в слове    (ib., с W:  , 'проходить мимо'.

¹² См. Brit. Mus. Eg. Stelae. Part II (1912), табл. 14, № 29, строка 5.

ниц Древнего Царства¹ в эпитете богини Нейт, «открывательницы путей»:



На тожество этих иероглифов указывают и их полуиератические варианты на одном из памятников Нового Царства, на котором иероглиф дороги имеет внутри такие же штрихи, как и иероглиф пруда или озера, где эти штрихи передают воду.² О том же свидетельствует, наконец, и рельеф,³ изображающий ритуальную сцену, на котором священное озеро передано совершенно так же, как приведенные выше изогнутые варианты иероглифа дороги (см. фиг. 1).

Таким образом, ряд данных говорит в пользу понимания иероглифа дороги как канала с растениями по берегам.

Подобно тому, как иероглиф становится иероглифом пространства вообще,⁴ так и иероглиф дороги, являясь детерминативом слов, связанных с понятием 'направления', 'указания',⁵ перемещения в простран-

¹ LD II, 10 b (4-я дин.). Ср. форму этого иероглифа на стеле, относящейся к эпохе Ср. Ц., в имени бога Вепута, где он имеет след. вид: (Boeser, Beschreibung der ägyptischen Sammlung des Niederländischen Reichsmuseums der Altertümer in Leiden II, Erste Abteilung, Stelen, табл. III), напоминающий приведенные выше (стр. 226, прим. 5) детерминативы к слову

'берег', а также иероглиф Davies, Deir el Gebrâwi, II, табл. VI, являющийся, повидимому, вариантом иероглифа (см.: A. Erman. Reden, Rufe und Lieder auf Gräberbildern des A. R., Berlin, 1919, S. 26), изображающего пруд или озеро с цветами лотоса (см. Gardiner. Gram. S. 469), ср. Руг., 854 е М и LD II, 130.

² и № 4005 Московского музея изобразительных искусств. Иероглиф пишется аналогичным образом (со штрихами внутри, передающими воду, что в иероглифическом написании соответствует иероглифу) и в других иератических текстах, напр. J. Garstang, Mahâana and Bêt Khallâf, табл. 28 в слове о о о и др. Наряду со штрихами иногда встречаются и кружочки, напр., LD III, 260. 262. 280 (26-я династия, иероглифический текст).

³ M. Mogensen, op. cit., табл. СII, A 703 (3-я дин.?).

⁴ См. выше стр. 224.

⁵ В указательных местоимениях и наречиях места: 'тот', 'там',

'здесь' (ср. наречия места), 'здесь', 'здесь', 'здесь' (ср. наречия места), (в соединении с предлогами *т*, *н* и др.) 'снаружи' и т. п.



Фиг. 1.

стве,¹ связан также с терминами 'границы', 'предела', вообще 'ограниченного пространства'² и 'расстояния' — 'близости', 'дали'³ и т. п.

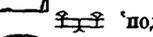
Последнее понятие ('даль'), равно как понятия 'высоты', 'верха', 'поднятия' и т. п., семантически связано с небом.⁴

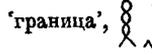
С небом же связан и третий детерминатив к временным терминам, иероглиф солнца ☉ или ○, употребляющийся также в словах, означающих 'свет', 'день' и т. п.

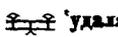
Сопоставление этого иероглифа с другими иероглифами светил и его окраска показывают, что он понимался египетскими писцами, как диск, окруженный сиянием.⁵ Но первоначально он изображал, повидимому, светило, вписанное в круг-небо,⁶ как это можно предположить и по отношению к иероглифу преисподней ⊗, с той лишь разницей, что во втором случае иероглиф неба сочетается с звездой, символом умерших, превратившихся в светила.⁷

То обстоятельство, что в идеограммах ⊗ и ☉ небо передано кругом, на первый взгляд противоречит мнению, по которому небо представлялось египтянами в виде четырехугольника, как это засвидетельствовано и в письме иероглифом неба ⁸. Однако, есть данные, говорящие о наличии у египтян наряду с представлением о плоском четырехугольном небе,

¹ Чередуюсь, а иногда и в сочетании с иероглифом ног  (а в некоторых случаях

судна):  'итти',  'рассеивать',  'мед-
лить',  'подниматься' и др.

²  'конец', 'граница',  'узкий',  'конец'
и др.

³  'близость', 'соседство',  (вар. ) 'далеко', 
 'удаляться' и др.

⁴ Н. Я. Марр. Новый поворот в работе по египетской теории. Избр. работы, I, ГАИМК 1933, стр. 336.

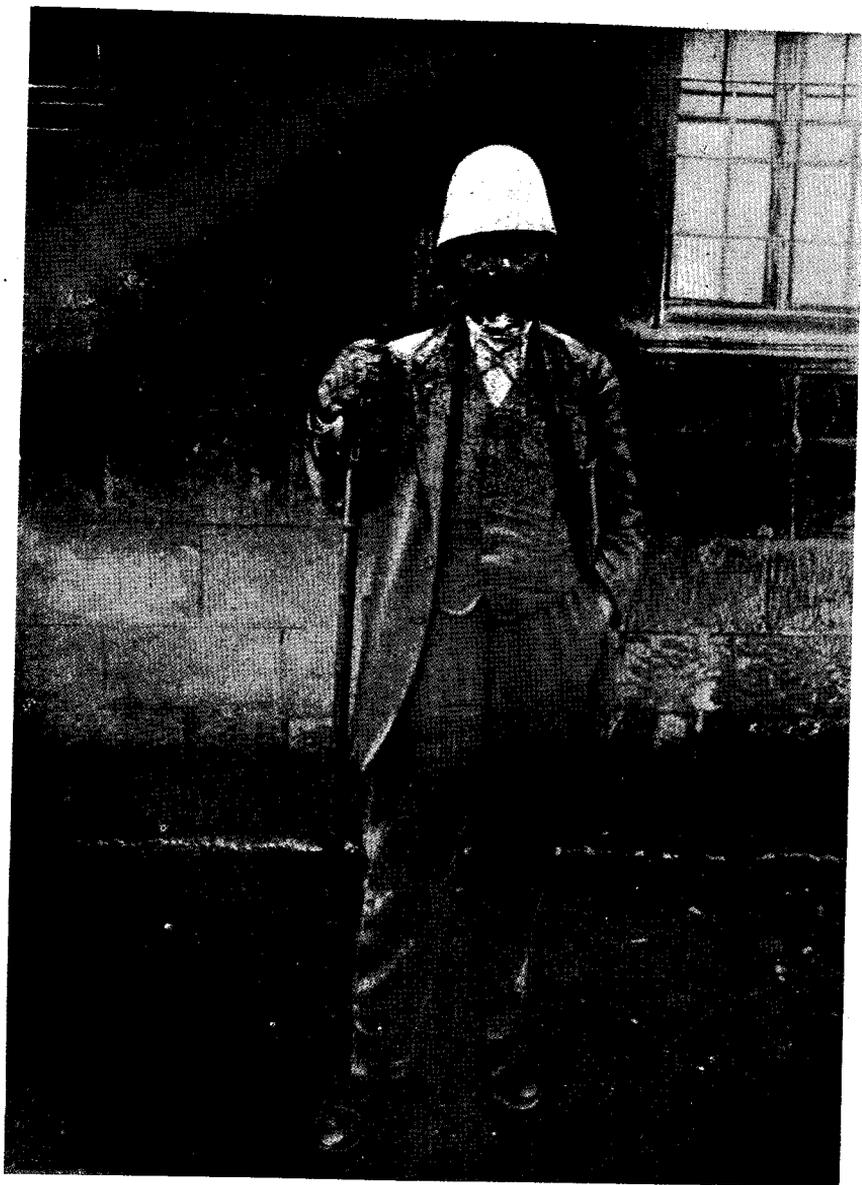
Ср. слова с корнями  и , которые, обозначая 'даль', 'удаляться', имеют в то же время значение 'небо', а также 'дорога'. Ср. также  'поднимать', 
 'нести', 'поднимать', детерминированные иероглифом неба, и др.

⁵ См. мою работу в ЯС, VI, стр. 229, прим. 3.

⁶ См. И. Л. Снегирев. Иероглифическое письмо и палеонтология семантики. ИАН. 1933, стр. 333—336.

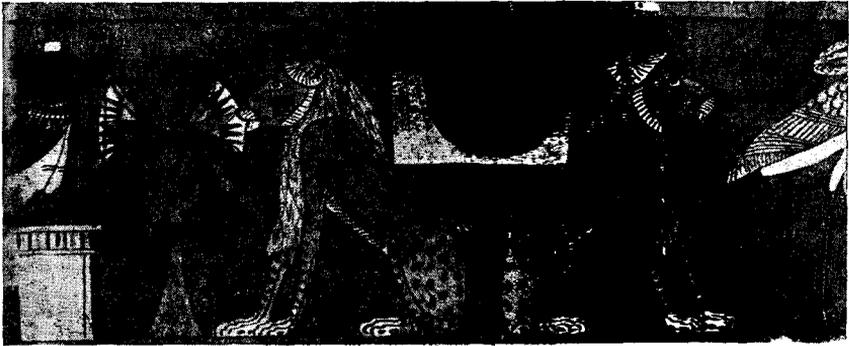
⁷ См. Kees. Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter. Leipzig, 1926, S. 91—92 и мою работу в ЯС, VI, стр. 221 сл. Ср. Gardiner, Gram., стр. 476: «star in circle».

⁸ См. H. Schäfer. Weltgebäude der alten Ägypter, 1928, стр.  сл.

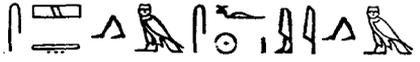


Н. Я. Марр в 1907 г. на раскопках Ани.

вого *  'завтра' (гезр. 'утро'), а текст поясняет: «вчера это Осирис, завтра это Ра в день уничтожения врагов владыки вселенной»,¹ т. е. вчера, прошлое — символ мрака и смерти, мира Осириса, завтра — жизнь, наш дневной солнечный мир.² В этой связи говорится иногда об



Фиг. 3.

'уходящем' и 'приходящем' солнце, напр.,  «ушедший вчера, вернувшийся сегодня»³ (о Фениксе, воплощении солнца, здесь в связи с Осирисом).

¹ Гл. 17 Кн. М. (= Утк., V, стр. 11—12). Говоря об уничтожении врагов в связи с утром, текст как бы намекает, что солнце появляется каждый день лишь после борьбы с водным хаосом (ср. выше, стр. 235), олицетворенном в Апопе (здесь смешение с врагом Осириса), которого Ра победил в начале времен, но не уничтожил совершенно. См. Берлинск. пап. 3050, IV, 2—6, где после указания на то, что Ра заставил врага солнца извергнуть поглощенное им (т. е. солнце), говорится:

«Могуч Ра, жалок враг, высок Ра, повержен враг, жив Ра, мертв враг, велик Ра, ничтожен враг, сыт Ра, голоден враг, напоен Ра, жаждет враг, сияет Ра, погружен враг, прекрасен Ра, мерзок враг» и т. д.

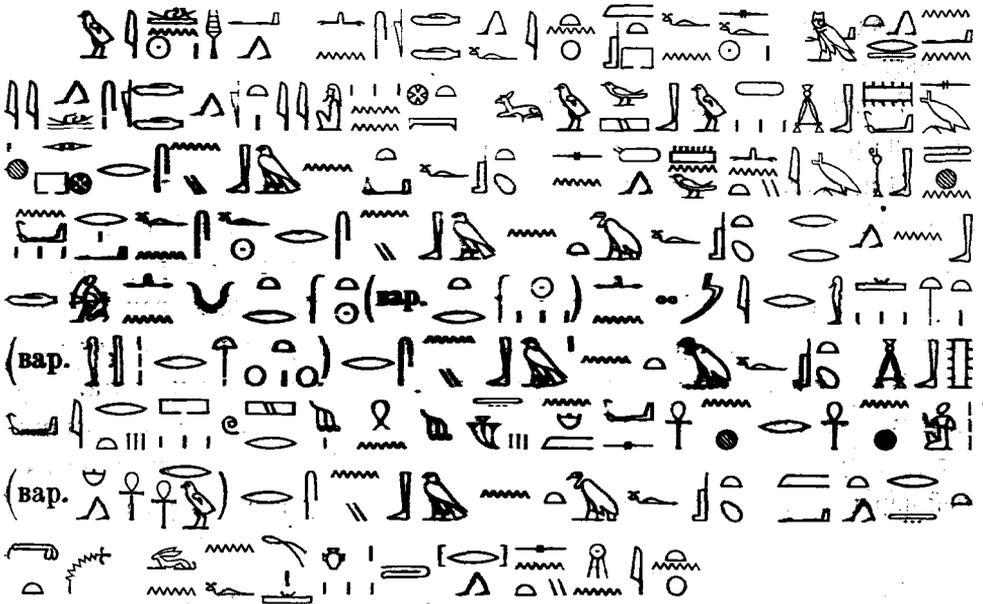
² Ср. Утк., V, стр. 12, где одна из глосс говорит в этой связи о гробе Осириса, а другая о передаче власти сыну его Гору:



О связи Осириса с нижним небом и Ра с небом верхним см. стр. 231, прим. 10

³ Pap. Salt 825, IX, 4.

Мотив прошлого — смерти встречаем и в текстах, связанных с плаванием Ра по небу. Так, в одном магическом тексте, посвященном исцелению Гора,¹ читаем:



«Не движется ладья Ра, не везет она солнечный диск из его вчерашнего места.

Пади на землю,² и поедет ладья, поплывет небесная команда.

Прекратятся жертвы, будут заперты святилища, пока не будет исцелен Гор для матери его Исиды.

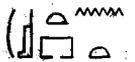
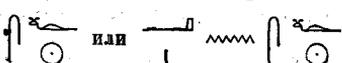
Наступит несчастье, возобновится³ смута, пока не будет исцелен Гор для матери его Исиды.

¹ Metternichstele, 236 сл. и вариант к этому тексту, опубликованный в *Revue de l'Égypte Ancienne*, II fasc. 3—4 (1929), стр. 172—199 (É. Drioton), там же дан перевод.

Опускаю фразу , повторяющуюся каждый раз после фразы



² Обращение к лду, находящемуся в теле укушенного Гора.

³ Буквально: «вернется на свое вчерашнее место». Иногда это выражение  или , употребляется в таком значении и по отношению к солнцу, появляющемуся каждый день в одном и том же месте, напр., *Rochetm., Edfou, I*, стр. 433, ib., стр. 551 и др.

Таким образом, с египетским небом-горизонтом связано, наряду с представлением о времени, представление о пространстве, причем здесь, в связи с солярным мировоззрением, особенно ярко выступает представление о двух странах света,¹ востоке и западе (на иной стадии — о двух небесах: надземном и подземном), а также приурочение определенных временных отрезков к определенным участкам космоса: прошлое связывается с западом (гесп. небом нижним), будущее (гесп. настоящее) — с востоком (гесп. небом верхним).²

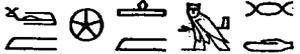
При восприятии неба в образе живого существа идея горизонта получает иное оформление. Это vulva матери-неба, представляемого в виде женщины или коровы. Вместо восхода солнца и отождествленного с ним мертвеца из врат горизонта, тексты и рисунки говорят о его рождении, причем роль восточного горизонта играет vulva, западного — рот.³

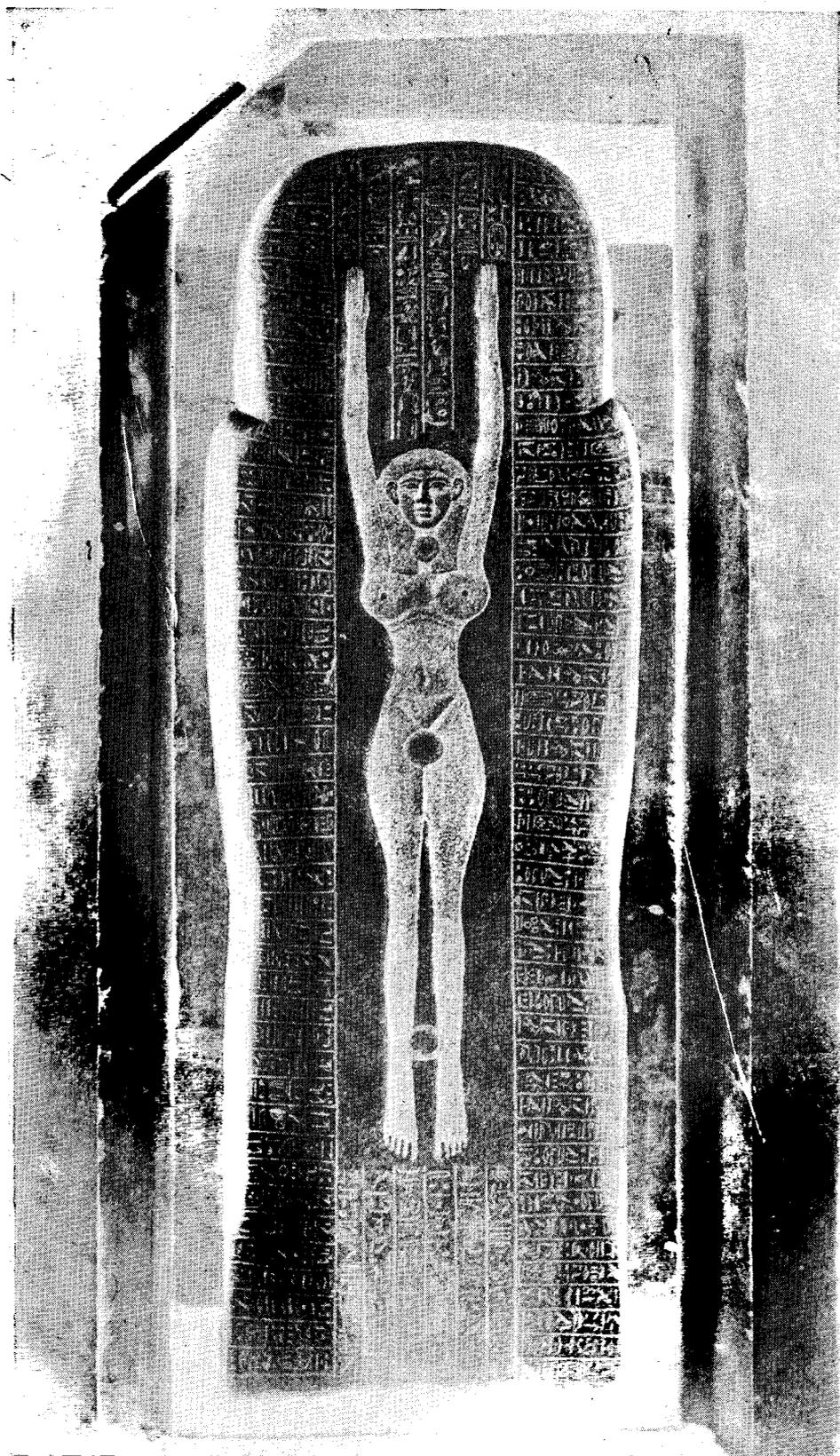
¹ В текстах отложились и иные представления. О четырех странах света см.: Sethe. Zahlen, стр. 31, особенно приведенные там тексты Purg., 1207 и Urk., III, 33 о четырехликих существах, связанных с горизонтом, и Purg., 470 а о четырехрогом быке в связи с четырьмя странами света (ср. четырехголовых керубов в Ветхом Завете, символизирующих, как это показал И. Г. Франк-Каменецкий (ИС, VI, стр. 68—69), четыре страны света и одновременно четыре времени года). С ними нужно сопоставить двуликие небесные существа, о которых шла речь выше (см. стр. 240) и двурогого космического быка в Pap. Chester-Beatty II, 9, 2 сл. С представлением о четырех странах света связаны также тексты, говорящие о четырех вратах неба (Purg., 1252), амулеты в виде четырехголового льва (Lanz., Diz. CVI) и др.

Вместе с тем, сохранились данные, свидетельствующие о наличии у египтян представлений о пяти странах света. Так, в Текстах Пирамид (Purg., 1588, 1593, 1598, 1603) при перечислении стран света после упоминания обитателей запада, востока, юга, севера упоминаются и находящиеся в «середине земли» .

² Эта связь представлений особенно ярко выступает в Мексике. Некоторые древние рукописи сохранили изображения, передающие картину космоса с пятью странами света (востоком, севером, югом, западом и центром), к каждой из которых приурочен один из пяти, хронологически следующих один за другим, периодов, на которые мексиканцы делили свою историю. См. Danzel, op. cit., стр. 39 сл. Характерно, что и здесь (как в Египте: восток-запад, гесп. верхнее и нижнее небо) вертикальное и горизонтальное деления космоса иногда совпадают. Так, 'середина', местопребывание божества огня, в то же время может означать и направление 'низ'—'верх' (см.: Selig. Gesammelte Abhandlungen, I, стр. 602, II, стр. 758).

У северо-американского племени зуны середина играет особую роль в картине космоса, разделенного на семь отделов: север, юг, запад, восток, зенит, надир и середина. См. E. v. Sydow. Kunst und Religion der Naturvölker, стр. 12.

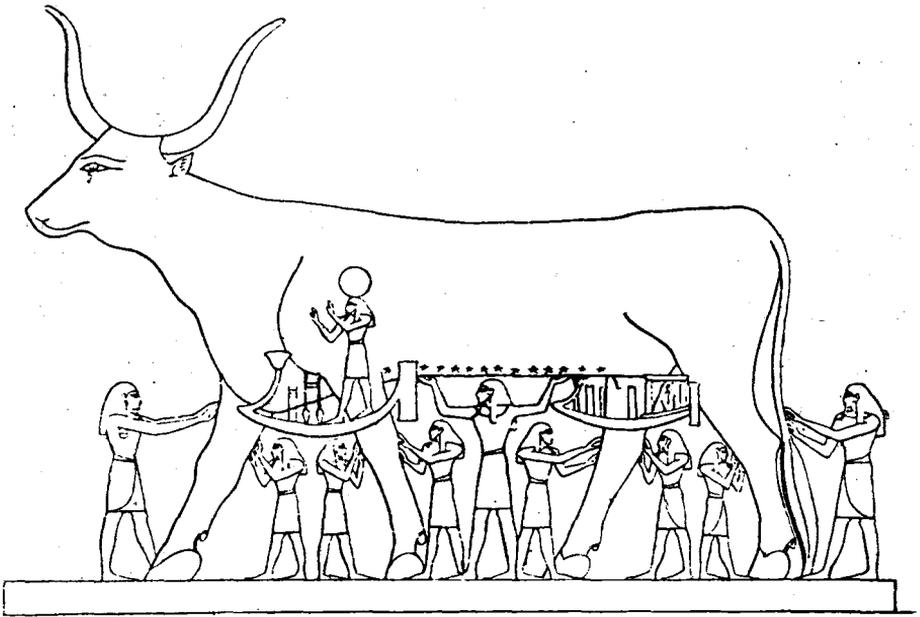
³ См. мою работу, ИС, VI, стр. 225, прим. 2. См. также Mariette, Monum. div., табл. 46, надпись (на крышке саркофага), сопровождающую сцену, передающую ежедневный путь солнца, проглатываемого и вновь рождаемого небом-женщиной: .



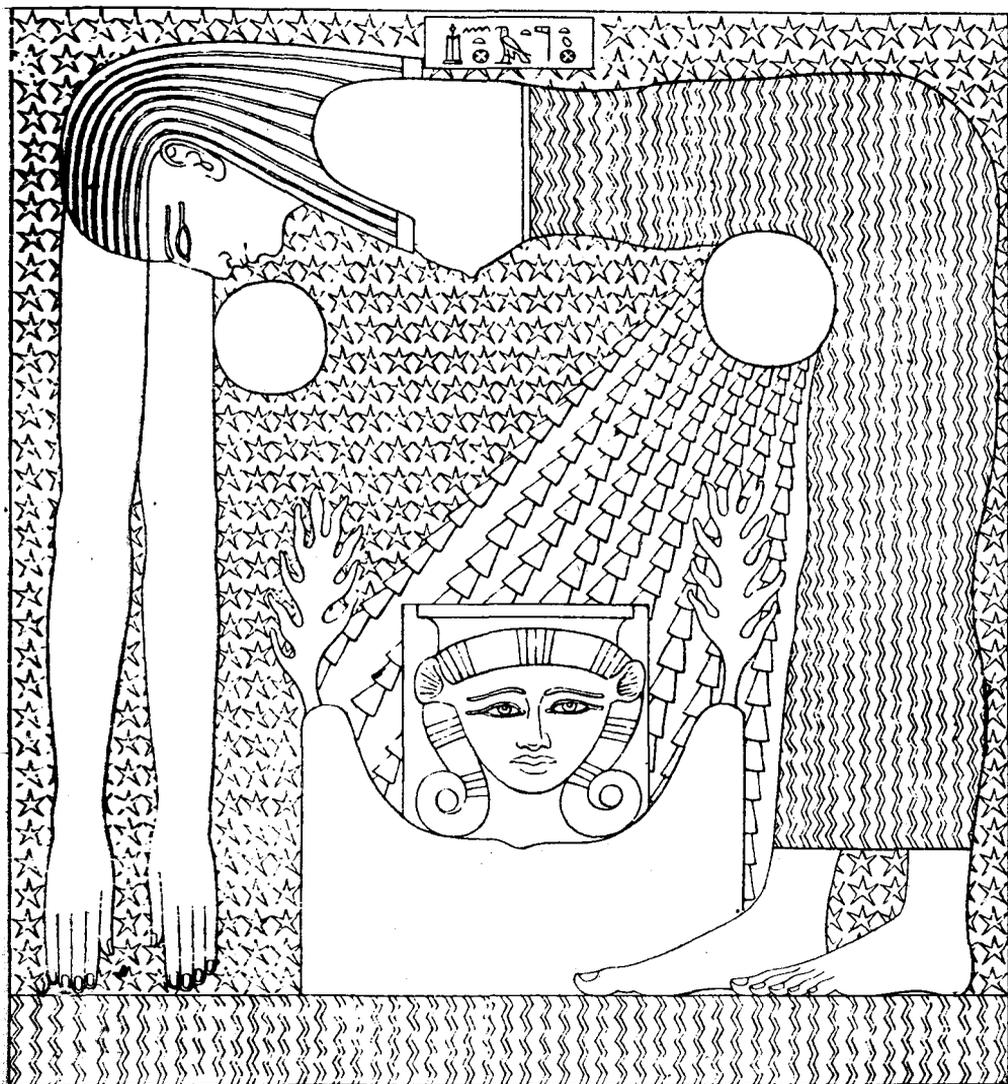
Фиг. 4. Ежедневный путь солнца от восхода — рождения до захода — проглатывания матерью-небом.



Фиг. 5. Космос, Внизу Геб, бог земли, над ним бог воздуха Шу поддерживает богиню неба, Нут, с ладьями солнца (А. Ерман, Die ägyptische Religion, 2 рис. 43).



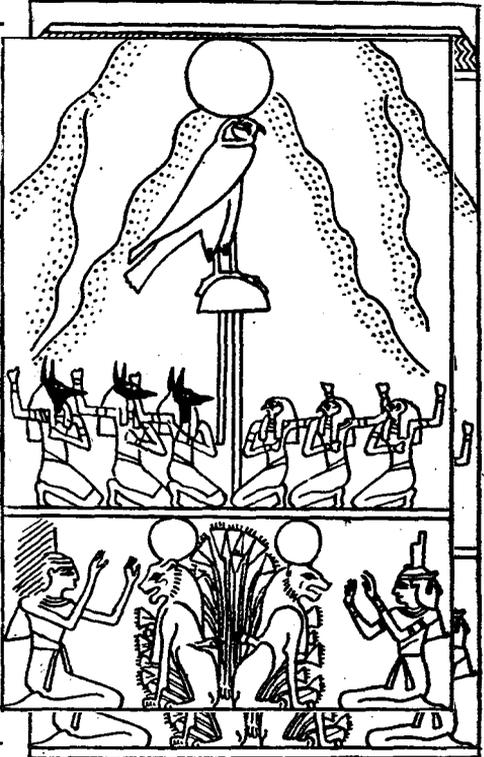
Фиг. 6. Небо в образе коровы с солнечными ладьями и звездами, поддерживаемое богом воздуха Шу (А. Ерман., Die ägyptische Religion, 2 рис. 4).



Фиг. 7. Восход и заход солнца.

Вариантом этого рисунка является иллюстрация Книги Мертвых (см. фиг. 8 из Naville, Das ägyptische Tottenbuch I, табл. 22, L. a.). Солнце передано здесь соколом с диском на голове, а небо двумя иероглифами , помещенными один над другим. Здесь мы снова встречаемся с иероглифом канала в качестве символа небесного пути странника-солнца.

В целом, в представлении о небе-горизонте с его воротами или его семантическим эквивалентом vulv'ой матери-неба мы сталкиваемся с воплощенной для египтянина в конкретные разностадиальные образы идей грани, имеющей несколько аспектов: 1) временной (прошлое — настоящее, resp. будущее), 2) пространственный (страны света, связанные с направлениями горизонта, на иной стадии — различные небеса) и 3) аспект, неотделимый от двух первых, нашедший свое выражение в комплексе представлений, связанных с семантикой смерти и рождения и воплощенных в солярном мифе об умирающем и воскресающем божестве.



Фиг. 8.

Эта связь представлений, иллюстрирующая положение яфетической семантики о связи 'неба' с 'временем' и 'пространством' и 'солнца' с 'рождением',¹ отразившаяся в лексике, например, в омонимах, объединяющих понятия 'рождения' и 'света',²

¹ См., напр.: Н. Я. Марр. Язык и Мышление, стр. 48 («время—небо солнечное, движущееся»); его же: К семантической палеонтологии в языках не яфетических систем, Изв. ГАИМК, VII, вып. 7—8, табл. II; его же: Родная речь могучий рычаг культурного подъема, стр. 17; его же: Яфетические зори на украинском хуторе, стр. 61; его же: Готское слово гыша 'муж', ИАН, 1930, стр. 445; его же: Бретонская нацменовская речь, стр. 26—27 и др.

² Напр. 'светить' и 'рождать', 'рождаться' 'светить' и 'рождать' и др.

нашла свое выражение и в письме, через посредство детерминативов, когда, например, имя небесной богини Нут детерминируется, одновременно с иероглифами неба и женщины, иероглифом воды.¹ С явлением того же порядка мы сталкиваемся и в словах, связанных с понятием времени, детерминируемых иероглифами солнца и канала, являющегося семантическим² эквивалентом иероглифа дороги. Здесь, в конечном счете, отразилась та связь 'времени' и 'пространства', о котором говорят рисунки и тексты, посвященные небу — дороге солнца с его горизонтом.

¹ Ласау, Т. R. № 22, строка 85:  Ср. приведенный выше рисунок из

Дендера. Ср. также выражение  'великий поток' (о небе в образе коровы), детерминированное иероглифом коровы.

² А может быть и графическим, если верны наши выводы относительно иероглифа , см. выше стр. 228.

Б. М. ЛЯПУНОВ

О НЕКОТОРЫХ ПРИМЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН НАРИЦАТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ ЛИЧНЫХ В СЛОВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Предварительно считаю нелишним сделать краткие замечания общего характера об образовании собственных имен в разных языках. Вопрос этот решается не всегда просто. Причина сложности его зависит от того, что, с одной стороны, иногда происхождение собственного имени слишком ясно выступает из тех коренных элементов с реальным значением, которые известны в данной языковой системе, в сложении с известными в этой же системе формальными элементами, с другой стороны, в каждом языке находится известное число собственных имен, перешедших вместе с другими культурными названиями из чужого языка. Эти последние имена, будучи непонятны среди перенявшей их языковой общины, привыкшей к ранее употреблявшимся ею народным именам-прозвищам с реальным значением, в редких случаях переводились на туземные языки теми представителями данной общины, которые знали и свой, заимствующий, и чужой, передающий свои названия, язык. В более частых случаях эти заимствованные слова переходят из одного, большею частью культурно более сильного, языка в другой без перевода, и тогда естественно происходит известное приспособление звуков одного языка к звукам другого, но и тут надо считаться с явлениями разного порядка: имена могут переходить из одного языка в другой то чисто книжным путем через грамотность в связи с общим культурным влиянием и далее естественно изменяться (таковы сербск. Ђбрђије, русск. *Егорий* и далее *Егор* из греч. Γεώργιος, то путем непосредственных живых сношений нескольких национально и классово различных народных масс, пользующихся каждая своим родным языком. К числу собственных имен, перенятых словянами у греков путем живых сношений, я отношу следующие личные именныи и производные от них формы словянских языков: 1) сербск. Грѓур (древне-серб. грьѓурь в Приштинской 1406, Вучетернск. 1405, Стојановић, Старе српске повеље и писма, кн. I, Бео-

град, 1929, стр. 151—154) из греч. Γρηγόριος. 2) Из греч. Γεώργιος древне-сербск. Гюргъ, Гюрьгъ, род. Гюргга, д. Гюргю, грам. Вучетри., Пришт., Дубровницк. и др. 1405, 1406, 1409, 1413 г. (Стојановић, там же, 151, 154, 159, 162), н. сербск. ģŭrġi, ģŭraġ, ģŭrġev, ģŭro, болг. Гѳоро, Джѳуро, Джѳурко, женск. Гѳора, Гѳора и пр. (см. В. Караджича — «Српски рјечник» и Дювернуа-Лаврова — словарь болгарского языка, список личных имен); древне-русское и обще-восточно-славянское *юрм*, позднее *юри* и далее *юри*, известные в наших киевской, новгородской и суздальской летописях и других пам.: *Гюри* Новгор. по Синод. списку XIII в. л. 20^a — *Юри* по Комис. списку XV в. — *юри* Акад. сп. XV в. и Толстовск. XVIII в. и рядом *юрм* во всех трех списках XV—XVIII в. под 1139 г. (изд. Археогр. ком., 1888 г., стр. 132), ф. родит. вин. над. *Гюрга* Синод. 17⁶ — *Юрга* Комис. список XV в. (изд. Археогр. ком., 1888 г., год 1136, стр. 129), городъ Гюргевъ (Новгор. 1133 г. Синод. л. 14⁶, изд. Археогр. ком., 1888 г., стр. 126); с XIV ст. (в 3-ем и других почерках Синод. списка Новгор. л., при описании событий с 1234 по 1352 г., л. 119—169) уже последовательно только *Юри*, *Юргевъ* и т. п.; формы *Гюри*, *Гюргевъ* и т. п. обычны и в списках Лаврентьевском (1377 г.) и Ипатьевском (нач. XV в.) первоначальной, Киевской и Суздальской летописей, заменяясь при описании событий второй половины XII в. в Ипат. сп. рядом с этими формами *Дюрги*, *Дюргевичъ* (напр. под 1155, 1159 и др.) и *Юрги* (1155, л. 172⁶⁶, изд. 1908 г., стр. 479, то же в Лаврент. л. 141, г. 1200, изд. 1927 г., стр. 416), а событий последней четверти XII и XIII вв. обычным во всех восточно-славянских исторических и юридических памятниках *Юри*, откуда современное традиционное *Юрий*, *Юрьев* день и т. п., хотя эти традиционные северно-славянские (сравн. чешск. Jiří) формы в массах русского крестьянского населения вытеснены обычным выше упомянутым «*Еюр*», явившимся в результате переделки церковно-книжного «*Георгий*», причём окончание *-ий*, сохраняясь в языке былин и духовных стихов, отпало так же, как в большинстве имен на *ий* (*Анастасий* > *Настас*, *Антоний* > *Онтон*, *Антон*, *Дионисий* > *Денис*, *Епифаний* > *Епифан*, *Игнатий* > *Игнат*, укр. *Гнат*, *Протасий* > *Протас*, *Θεοδосий* > *Федос* или с переносом ударения, по типу *Сергѳей*, *Алексей*, — *Федосей*).

Резкое изменение звуковой формы собственных перешедших из чужого языка имен наблюдается и в других языках, перенявших эти имена вместе с другими культурными влияниями христианства. Напр. греческ. *Στέφανος*, лат. *Stephanus*, итал. *Stefano*, получившее и в славянских языках значительные изменения звукового вида (рус. *Степѳан* и *Степѳан*, сербохорв.

в южн. говорах Шћепан, в письменных памятниках XIV—XV вв. *стћпань*, стипань, Майков. История серб. яз., стр. 413, чешск. Štěpán, пол. Śćeran с XI в., Бодуэн-де-Куртене, О др. польск. яз., словарь, стр. 79), перешло в форму *Елістте* в языке французском, благодаря тому, что начальное *st* в этом языке развивало перед собой гласн. *e* (сравн. лат. *sperare* и франц. *espoir*, лат. *stella* «звезда» и франц. *étoile*, лат. *status* и фр. *état* и мн. др.), а *s* исчезало после *e* перед *t*.

Очень интересно развитие, может быть, тоже на почве языкового общения южных словян с балканскими греками и румынами, имени латинского происхождения Константин (лат. *Constantinus*) в древнейших стародержавно-словянских (старо-болгарских) памятниках: кроме обычного книжного Костантин Супр. рук. 54 (по изд. 1904 г. Академии Наук) в форме прилагат. — Коста(н)тина града, стр. 471, 479 и др. (Варш. часть, л. 102.15 106.з), перешедшего и в язык сербской (Коста́тин и Коста́дин, Вук Караджич, Срп. рјечник) и болгарской поэзии (болг. Костади́н, Дювернуа-Лавров), в том же старо-словянском, весьма богатом лексическим разнообразием, представляющем параллели и к языку восточно-славянских летописей и к языку современных крестьянских и пролетарских народных масс русских, белорусских и украинских, письменном памятнике XI в. находим и переименованную, очевидно, в живой юго-славянской речи и по недоразумению попавшую, как и многое, употреблявшееся в живой речи, в минейный сборник форму прилагат. Къснаѣиѣ «Константинов»: —на града, къснаѣиѣ — стр. 202 изд. 1904 г. (л. 101⁰⁶ Любл. части, строки 10, 23). И замечательно, что эта форма очень часто употреблялась в наших восточно-славянских летописях, то с изменением *z* в *o* (посадник новгородский *Коснатин* 1018 г. Лаврент., л. 49, изд. Археогр. ком. при Академии Наук СССР, стр. 143, то же — в Хлебн. и Погод. списках, как вариантах к Ипатскому, где Константин, л. 54, изд. 1908, стр. 130; на воеводу на *Косначька*, двор *Косначковъ*, Лавр. л. 57⁰⁶, 1068, изд. Археогр. ком. 1926, стр. 171, Ипат. *косначьков*, в изд. 1908 г., стр. 160; *Коснатиноу* (боярин галицкий) Ипат., л. 258⁰⁶, 1230 г., = *къснаѣиноу* Хл. П., изд. 1908 г., стр. 763), то с сохранением: *z* придоста к *къснаѣиноу*¹ (урочище

¹ Очевидно, вместо *къснаѣиноу* (дат. ед. прилаг.), как названию города: *Къснаѣиѣ-Константинов*, -*оу*, причём окончанию прилагательного -*оу* — современного русского языка в древнерусском и старословянском соответствует оконч. -*ѣ* после смягчённого согласного, который рано начал отвердевать, вследствие чего форма прилагательного стала совпадать с формой существительного, от которой она происходила: *Владимир* теперь означает не только личное имя, но и древнее субстантивированное прилагательное принадлежности *Владимиръ* (или *Володимиръ*) = Владимиров (город).

в Суздальском княжестве) Ипат. л. под 1148 г., л. 135, стр. изд. 1908 г. 371, X. П. ко.-, в Лавр. нет. См. также в Новгородск. л. Синод. 44* (под 1181 г., изд. 1888 г., стр. 157): загорѣса... въ славѣ отъ къснати-тина.

Хотя это очевидная переделка из Константин > Костатин, где правильно о, но в форме къснатинъ считаю более первоначальным з потому, что так пишется эта форма в старословянском памятнике XI в., когда не писали з вместо о, и что здесь мы можем видеть пример столь частого переименования собственного имени под действием так наз. «народной этимологии», т. е. уяснения значения чужого слова путем приближения его по звукам к известному издревле у южных славян глаголу къснѣти или къснити «медлить», ср. сербск. къснити = допнѣти «полагать», «медлить» (имперфект къснѣаше, Лук., I, 21, в Мар. глаг. тексте, Ягич, стр. 191). Что здесь з первоначальнее, чем о, заменившее его в русском яз., доказывают и примеры без з и без о в Ипат., Хлеби. и Погод. списках: Кснатина Ипат. л. 175 (= косн — X. П.) п. 1157 г. (стр. 488 изд. 1908 г.), кстатин Ипат. л. 182 (= къснатин X. П.) п. 1161 г. (стр. 509) и др., в гр. Ягелла Володислава 1411 г. «город снатѣ» (Розов., Ю. рус. грам. 77), как и до сих пор сохранившееся название города Снятин (польск. Sniatyn) в Галиции на левом берегу р. Прута ок. Коломбы. Такого рода переименования обычны, конечно, не только в собственных именах личных или происшедших из них географических; они были обычны и в словах нарицательного значения, поскольку это значение является исторически исконным: славяне не всегда переводили все встречавшиеся им слова в греческом оригинале, может быть, потому, что славянский переводчик не находил в своем языке подходящих по значению слов, которые бы точно передавали смысл греческих слов. Но такие не переведенные слова редко оставались в буквально соответствующей греческим оригиналам форме; обычно они применялись к словам родного языка, иногда казавшимся семасиологически близкими. Из таких слов древних славянских переводов отмечу поро́да из греч. *παράδεισος* в значении «рай» и проныръ, проныръство, проныринъ, проныривъ, соответственно греческим *πονηρός*, *πονηρία* в значен. «злой, лукавый», «злоба, лукавство», которые и являлись в древнейших памятниках в виде зълъ, зълоба, лжавъ и т. п., причём последние именно более свойственны древнейшим евангельским глаголическим текстам, а первые характерны для текстов, переведившихся позднее, каковы минея-четы́я (жития), молитвенник (*euchologium*) и т. п., и может быть, давно, задолго до перевода служебных и назидательных книг, уже употреблялись

в живой речи постоянно общавшегося с греками болгарского населения. Примеры всех категорий собственных имён мы можем указать в словянских языках. Обращаясь к выяснению тех личных имён в словянских языках, которые повидимому составлены из словянских корней и нам кажутся исконно словянскими, мы должны сказать, что среди них есть ряд имён, несомненно переведённых с греческого в связи с распространением христианской культуры. Таковы прежде всего известные в русском языке Вера, Надежда, Любовь (греческие Πίστις, Ἐλπίς, Ἀγάπη), затем некоторые более новые, как сербск. Божидар соответственно Θεόδωρος, рядом с непереведёнными Θεодор > рус. Фёдор, укр. Хвѣдир,¹ с одной стороны, и Тѣдар, Тодѣрка (жен.) болг., Тѣдор, Тѣдора серб. (см. Лавров-Дювернуа, В. Караджич), др. рус. *Тудор* (Тупиков 404), древне-сербск. Туд(о)р: логофетомъ Тоудромъ Метритопоуломъ (грам. 1292 г. царя Андроника Хиландару, Стоянович, Стари српски хрисовуљи и пр., Београд, 1890, стр. 53), с другой. С последним по передаче о через у и греч. џ через т сравните редкое в памятниках русского письма *Тумаш* (Смоленск. грам. 1229 г.) из греч. Θωμᾶς, сравн. древне-сербск. Тома, Томаш в сербских летописях (Стоянович, Стари српски хрисов., акти, ... летописи ..., издан. в «Споменик» Сербской Ак. Н. в 1890 г., III, стр. 149, 152, 155, у Майкова в «Истории сербского языка», М. 1857, стр. 553, из грамот XV в.), чешск. и польск. Томаш и фамилию *Томашевский*.

Но во всех словянских языках существует целая категория слов — имён сложных, имеющих во второй части сложения коренную форму — *слово*, и другая — имён сложных на -мир. Те и другие настолько известны, что достаточно назвать несколько из многих десятков, каковы Болеслав, Браниславъ (пол. Bolesław, Bronisław), Бориславъ, Владиславъ (рус. Володиславъ, пол. Włodisław > Włocław), Врати-славъ — Воротиславъ (Лавр. лет. 1127 г., Ипат. 1228, п. Wrocław), р. Вячеслав = др. пол. Večesław, Večlaw (Więclaw) = чешск. Václav, Жиро-славъ, Мьстиславъ, Сватославъ, Събыславъ > др. русск. Сбыславъ, польск. Zbysław, Твьрдиславъ (в Новгор. л. и др., др.-польск. Tuargdyzlaw грам. 1230, Бодуэн-де-Куртенэ, Древне-польск. словарь, 45), сербск. Војисав, Миросав, Радосав, древне-сербск. — слав: Воислав, Гонслав 1362, 1388 (Стојановић, Београд 1929, Старесрпске повеље, с. 100, 168)

¹ Ср. в грам. 1399 короля Ягелла (Розов Вл., Южнорусск. грамоты, т. I, Киев 1917, стр. 59): «Ходко. Чемеревъ, в гр. купчей «во Львовѣ» 1400 г. (там же 61): «Ходоро Шидловоскѣий»; в жалов. грам. кн. Свидригайла «в лоуцку» 1445 г., рядом с «сѣйроу» и «сприкѣ. пѣ. еедька», «шлахетнѣу. Ходорови» (Розов, там же 148, 149).

и мн. др., извлекаемые из др. русских, южно- и западно-славянских летописей, житий, грамот, народной поэзии и пр., откуда большой материал собран в трудах Тупикова (Словарь древне-русских личных собственных имен, СПб., 1903), Шафарика (Слав. Древности, *Serbische Lesekörner* и мн. др.), Миклошича (*Lexicon palaeoslovenicum, Monumenta serbica* и др., а в особенности в его большом труде «Die Bildung der slavischen Personennamen», *Denkschriften der Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Cl.*, V. X, Wien, 1860, SS. 215—330), Даничича (Речник из књижевних старина српских 1863—1864), Болуэн-де-Куртенэ (О древне-польском яз. до XIV в., Лейпциг, 1870, словарь), Любича, Кукулевича, Ягича (*Die slavischen Composita in ihrem sprachgeschichtlichen Auftreten, Archiv f. slav. Phil.* XX—XXI, 1899), Гебауера, Соболевского, Стояновича (op. cit. и др.).

Множество примеров в тех же источниках истории и языка славянских народов находим и для имён, сложных с *-мир*: Владимир — Володимир и т. п., рядом с *мер-* (Лавр. часто, Ипат. 980 г. *мир-* соотв. *-мер-* в Лавр., но под 1103 г. — Долобск. съезд — в обоих *мерз*) и *-мър-* (Ипат. 1274 г. л. 290^о рядом с *-мер-*, Соболевск., Лекц., 70).

Миклошич в указанном выше, написанном почти 75 л. назад, обширном труде «Образование славянских личных имён» удачно сравнивает (стр. 310, т. X Венских «Denkschriften») славянские имена на *-слав* с греческими на *κλῆς*: Ἀγαθὸκλῆς, Ἀριστοκλῆς, Ἱεροκλῆς и т. п., едва ли правильно, однако, приравнивая эти греческие имена по значению греческим же ἀγαθόνυμος, ἀριστώνυμος, ἱεράωνυμος, и выводя отсюда, что и в указанных славянских сложных именах на *-слав* это *слав* нужно понимать не в смысле латинского gloria «слава», а в смысле латинского пошеп «имя» — грч. ὄνυμ. Этот последний вывод можно принимать лишь, поскольку и *-слов* и *слав-* являются однокоренными, связанными с глаголом *слу* ути, и слово — результат говорения, одно из осмысленных внешних выражений речи-мысли, и слава — общее мнение, составленное на основании слышимых и произносимых слов определенного значения, т. е. того, что слышится и говорится о ком-либо, этимологически связаны с глаголом «*слышь*» (древн. *слути*) и со словами *слух*, *слых*, *слыхать*, *слушать* и т. п., имеющимися «mutatis mutandis» не только во всех славянских языках, но и в близких по звукам и значению именных и глагольных формах других древних и новых языков индо-европейской системы: греч. κλέος «слава» (по звук. буквально = слово), лат. cluere «слыть», др. инд. śrávan «слава», авест. srauvō, готск. hlūtrs = нем. lauter «ясный, выятный», англ. loud, нем. laut «звучно», «громко» («слышно»), лит. šlovė и šlovė «величие», вост.-

лит. *šlāve* «слава», *Kurschat Wörterb.* (1883), латыш. *slavēt* «хвалить» (*Endzelin, Lettisches Lesebuch*... 1922, словарь) и *sluvēt* «слыть» (*Trautmann, Baltisch-slavisches Wörterbuch*, 1923). Скорее по значению греческие вышеуказанные имена близки именно к словянским на *-слав*, которое, конечно, ближайше родственно с русскими словами «слава», «славить» и более отдаленно от — «слово», которое, однако, по звуковым соответствиям (не по значению) тождественно с греч. *κλέφος*. В другом месте того же труда Миклошич (стр. 289—290) говорит, что его поражает звуковое сходство словянской второй части сложных имён на *mir-*, *-mēr-* (на общ. слов. *-mēr-* указыв. чешск. *-mír-* и по мнению Соболевского также данные сербск. языка, Лекции 1907 г., стр. 70) с немецкими на *mēr* (в готск.) и *-mar* (аллем.),¹ что личные имена на *mirz* обычно параллельны именам на *-slavz*, и что это объясняется только допущением, что *-мир* и *-слав* первоначально в значении неразличимы. В более позднем своём труде «*Vergleichende Lautlehre der slavischen Sprachen* (Wien, 1879), стр. 58, он более определённо отождествляет словянское *mērz* с готским *mērs*: «*mērz* [т. е. *-mēr-*] in *vladimērz* usw. got. *gibimērs*, *valimērs*... *nelen hibdemirus*. Grimm, 30, *mērja* «kund, berühmt», ahd. *māri*. Neben *mērz* liest man *marz* und *mīrz*».

Повидимому, Миклошич, может быть опираясь на чешское *í* в *vyšemír*, *damír*, *ludomír*, *namír*, *shotimír* и т. д., на *prz* и *erz* рядом с *ir-* в русских летописях, *dobiemiar* мекленбургских словян, *mojmēg* в словенск., считал во всех словянских личных именах этого типа первоначальным *-mēr-*, как последнюю из четырех предположенных им для второй части разбираемых сложных имен тем (основ) в значении «слава *κλέσς* помен», не объясняя, как явилось *-mir-* в тех языках, которые, как русский, не знали общего изменения *ě* и *i*. Таким образом, принимая этимологию Миклошича, мы должны прийти к заключению, что, кроме собственных имён на *-mērz*, в словянских языках существовали и собственные имена, заключавшие во второй части сложения *mīrz* «Frieden», «рах» и смешались между собою, к чему и пришёл *Berneker, Slav. Etym. Wörterbuch*, 11 (1914), 51, там же указывая, что заимствование из герм. **mēro-* (*Hirt, PBB.* 23, 335) не доказуемо, с чем также нельзя не согласиться. Я остановился на взаимном отношении имён на *-слав* и на *мир* для того, чтобы показать, как трудно решать вопросы об оригинальном и переводном происхождении личных и других собственных имён, — вопросы, впрочем, обычные при исследовании

¹ Древне-верхне-немецк. *māri* 'herrlich, groß', — *mār* в именах *Slodomār*, *Volkmar*, *Berneker, Slav. etymol. Wb.* B. II, 51.

вообще словарного состава того или другого языка. К сожалению, вопрос этот не ставил себе Ягич в вышеуказанном обстоятельном исследовании о словянских сложных словах (*Composita*) в т. XX *Archiv für sl. Philologie*, стр. 534, интересуясь больше первую частью сложения в именах типа *Vladimir* и *Vladislav*.

Что касается заимствованных собственных имён без перевода на свой язык, некоторые примеры изменения которых в новой языковой среде мы уже приводили выше, то они, преобразаясь до неузнаваемости, обычно ассоциировались, как это мы видели в ф. *Къснатинъ*, со словами туземного происхождения и, получая обычные в личных именах так называемые «уменьшительные», «ласкательные» и другие суффиксы *-ко-*, *-зкз-* (> рус. *ок*, польск. *ек*), *х*, *-ох*, *ух*, а иногда и без осложнения новыми формальными наставками, вследствие различных, большею частью скрытых от нашего наблюдения явлений общественной жизни, получали реальное нарицательное значение разных оттенков.

Осмысление собственных имён обычно во всех языках. Укажу на французское *fiacre*, происходящее от собственного имени святого католической церкви латинского *Fiacrius*, жившего в VII столетии (*Walther von Wartburg, Französisches etymolog. Wörterbuch, Lieferung 21, 1930*), и получившее разные реальные значения, из которых с XVIII в. отметим «кучер», «извозчик», а переносно «*homme sans culture*». Д. К. Зеленин в статье: «Этимол. заметки... III. О личных собственных именах в функции нарицательных в русском народном яз.» (*Фил. Зап., Воронеж, 1903*), стр. 31, приводит еще франц. *renard* «лисица» из собственного *Reinhard*.

В словянских языках таких слов разного значения, имеющих источником христианские имена, вошедшие в эти языки через посредство языков греческого и латинского, немало. Я остановлюсь только на нескольких примерах польского и русского языков, так как в указанной статье 1903 г. Д. К. Зеленин предупредил меня, указав много имён личных, получивших нарицательное значение то людей, то животных. Возможно, в виду нередко презрительного значения некоторых имён такого происхождения, предположение о возникновении такого значения в междуклассовых отношениях, но утверждать это предположение вообще нет оснований, так как шутливая насмешка не только над представителями другого класса, но и над равными себе товарищами, и перенос осложнённых добавочными суффиксами личных имён на животных — обычны в народных массах сельского населения всех стран. Очень важно замечание Зеленина (стр. 21), что «собственное личное имя само по себе не является чем-то отвлечённым..., лишённым призна-

КОЮ, И ЧТО ВОТТИ С КАЖДЫМ ЛИЧНЫМ ИМЕНЕМ... В народном сознании связано представление о том или другом признаке или даже... группе признаков — не всякой зашнурованности от природы носящего это имя данного субъекта...: славянской зашнурованности очень близки по своей функции к нарицательным собственным личным именам и определения значения собственных личных имен в народных малограмотных масс Зеленин приводит употребление нарицательных в народных загадках и народный календарь, не знающий ни месяцев, а только святцы. Соглашаясь с Д. К. Зелениным в том, что имя было некогда простым прозвищем, т. е. нарицательным именем, происхождения чему мы имеем, пересматривая хотя бы обильный, почерпнутый из летописей, грамот и писцовых книг материал «Словаря древнерусских личных собственных имен» Н. М. Тупикова, и что этой близости не могло уничтожить и христианство, внесшее... новые, еврейско-греческие имена», на которые распространился «старый народный взгляд» (Зеленин, 23), я к двум, указываемым Зелениным, путям приближения христианских имен к прозвищам — а) созвучия с каким-либо туземным словом и б) исторической и литературной знаменательности (Хам, Фараон, Фома, Альфонс, Крез, Обломов, Загорецкий и мн. др.), благодаря которой у всех славянских народов в VIII в. нашей эры имя Карла (короля Франкского) сделалось нарицательным (юж. слов. и чешск. králj, krâlj, krâl, польск. król, восточно-славянск. корбль), прибавлю еще фактор воздействия звукового комплекса вновь воспринимаемых личных собственных имен на психику говорящих: наличие более узких закрытых гласных в окончании имен Алексей, Елисей, Дмитрий могло казаться свойственным людям худощавого сложения, а переносно, может быть, и более изворотливым, хитрым, в противоположность именам Александр, Иван, Феофан, причём переименование христианских имен путем сокращения узкогласных окончаний изменяло в сознании говорящих представление о физических и психических свойствах их носителей: Антоний, Епифаний, Феодосий, Парфений, Евстафий, Елевферий, Евтихий производят впечатление чего-то более длинного, худого, тонкого, чем их восточно-славянские переделки Антон, Епифан (Епифанъ — обычная форма передачи греч. Ἐπιφάνιος уже в рукописи XII в. русск. письма Г. П. Б-ки, Соф. № 1326), Федось (уже под 1148 г. находим игоумена Федоса в Ипат., изд. 1908 г., стр. 366, л. 133^о, 1156 г. в Суздальск. л. по Лавр. списку, л. 116, стр. 346, изд. 1927 г. Ист.-Археогр. ком.: феодось), Парфен (укр. Пархім), укр. Остап, Олехвір, Олохвір, зап. рус. Олтух-Алтух, укр. Явтух (Гринченко, словарь укр. мови), сравн. также Д(и)митрий (греч. Δημήτριος) и летописное Дмитръ

конюх (Лавр. л. 88, 1097 г., стр. 2-го изд. Арх. ком. 1926 г. 260; Дмитрий Ипат. л. 89^{оо} стр. 234, изд. 1908 г.), Дмитрий Иворович 1109 г. (Лавр. л. 95^{оо}, изд. 1926 г., стр. 284, Ипат. л. 97^{оо}, изд. 1908 г., стр. 260), ср. нынешние названия городов Дмитриев (б. Курской губ.) и Дмитров (Московск. губ.), причём эта разница сказывается еще более, если христианское имя осложняется прибавкою нового суффикса, обычного во многих нарицательных словянского корня, иногда находящего соответствие и в имени, перешедшем из греческого языка; напр. окончание *-ух* прибавлялось к начальным звукам заимствованного имени не только по типу *кбнюх*, *овчүх*, *пастүх*, *петүх*, но и по типу *Овтүх* (укр. *Явтүх*), где словянск. *у* из греч. *υ* (*Εὐθύλος*), как в *Курил* и *Кюрил* > *Чюрил* рядом с литературным *Кирил*, *Кюприян* > *Чюприян*, *Куприян* (фам. *Куприянов*) рядом с *Киприян*, греч. *Κυπριανός*.

Осмысление, конкретизирование личных собственных имён тремя указанными путями в связи с приближением их в звуковом и формальном отношении к нарицательным именам, давно бытующим в родном языке, есть главная причина приобретения ими того или другого качественного значения, но для приобретения общего целой языковой группе конкретного реального значения, конечно, наиболее объективным фактором надо признать историческую знаменательность, причём я разумею под этим не только известность некоторых имён, как имён крупных исторических деятелей, или, как имён, выведенных известным писателем-беллетристом общечеловеческих типов, наделённых теми или другими качествами, но и обусловленную недоступными нашему наблюдению явлениями обыденной жизни никем не регистрированную наделённость некоторых собственных имён реальными значениями, происхождение которых скрыто во тьме многочисленных обстоятельств обыденной жизни масс.

Прежде чем остановиться на примерах такого рода из русского яз., уже достаточно разобранных в статье Зеленина, я укажу несколько примеров из польского языка. Польск. *Bartek* (род. ед. — *tka*), происходящее из личного собственного *Bartolomiej* (*Bartholomaeus*), значит «*prostak*, *gbur*, *cham*» (*Karłowicz — Kryński — Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, I, 1898, str. 100*): «*Bartek za piecem wychowany*», но рядом с этим и в значении «*wiatr wirujący*» («ветер крутящийся»). Более старый словарь *Bogumiła Linde* (начала XIX ст., цитирую по издан. 1854 г., I, 59) даёт значение «*nieokrzesany*», «*ein ungeschliffener Töpel*» («неотёсанный»). Это имя очень распространено у западных словян (чехов, моравян, поляков) с суффиксом *-oš*: польск. *Bartosz* «медведь». Известны фамилии — чешск.

Bartek (именно труд по моравской диалектологии) и польск. Bartoszewicz (именно Bartoszewicz); сравн. и старо-украинск. Бартошь Боуцацкi староста (1454 г., по Уляницкому) № 87 по изд. В. Розова, «Южно-украинские летописи» (Киев, 1917), стр. 162—163.

Brückner, Szugyło (Karłowicz — Niedźwiedzki, I, 406) из греч. лич. Brückner означает не только «śmieszny wytwórniś, chłystek, zawadzaka, wyrywacz» (Kłopotowicz), т. е. «щёголь, хлыщ, озорник», но и растение Брюкнер, Słownik etymologiczny języka polskiego 82, указывает, что название известно уже в XVI в. у Рея и других. Возможно, что название (Szugyło) перешло в польский язык из говоров восточно-славянских, белорусских и западно-русских: Чурило бродовский (= 1385) г. написал дарственную грамоту князю Федору Данильевичу (Розов, ib., 27—28), и что источником значений «wytwórniś» и т. п. является известный герой русских былин Чурило Пленкович, как догадывается Брюкнер.

Польск. Maciek, Maciej i Mateusz... «gbur, prostak, jak i Bartek», говорит Brückner, Słown. etym. 317, а переносно = «macuś, kocur» — кот. Filip — «nazwa zająca» (Brückner, Słownik etymol. 121): «wygwał się jak Filip z konopi» (т. е. на свою беду).

Из русского языка (говоров великорусских), кроме приведённых в указанной статье Д. К. Зеленина и вообще достаточно известных имён с нарицательным значением, как фёфан из Феофан (греч. Θεοφάνης), причём любопытен и перенос ударения, фёфёла (Даль: — «простофиля, растопыря»), Емеля, Елисей (прозвище хитрого человека) и др., укажу несколько менее известных примеров из рукописного «Областного словаря Нижегород. губ.» Н. Добролюбова, любезно одолженного мне из рукописного наследия И. И. Срезневского В. И. Срезневским: «объемелить» (отыменной глагол) — «обмануть, провести» (ср. у Даля «облапошить»), Окулька, Окуля (от собств. Акилина с лат. Aquilina) «дурочка», «немытая», тѣфан = ффан (любопытно т в передаче греч. θ), Улита — «глупая, неповоротливая», «ефела (гр. Θεοφίλης) «неразвязный и бестолковый» (ср. выше у Даля) с неясным е вместо греч. ι, чурилья — «неопрятный, неловкий человек, беспорядочной жизни», что не вполне соответствует типу былинного Чурила Пленковича, в отличие от вышеприведённого польского szugyło, уже твердое ry (не rzy) которого ясно указывает на заимствование из близлежащей восточно-славянской языковой области.

Но из многих имён, получивших нарицательное значение, я обращу внимание на одно, которое не получило до сих пор удовлетворительного

этимологического объяснения и в котором этимологи и исследователи словарного состава русского языка обычно как будто не подозревали личное происхождение. Это слово — *олух* «простак, простофиля, разиня, ... неуч», особенно употребительно в выражениях «олух царя небесного», «вислоухий олух» и производных «олуховатый парень» и т. п. и, может быть, в названии приморской птицы «олуша», если считать синонимом этого названия «глуныш», лат. *sula* (Даль, Толк. словарь, изд. 3-е, 1905 г., т. 2, 1738). Это значение, приводимое В. И. Далем, прекрасно иллюстрируется следующим примером из басни И. А. Крылова 1834 г. «Разбойник и извощик»: «Кричит разбойник: «стой». И на извощика бросается с дубиной; да лих, схватился он не с олухом-детиней. Извощик — малый удалой; злодея встретил мостовиной, стал за добро свое горой...» (цитирую по изданию СПб. Комитета грамотности при Вольном Экон. общ., 1895, ч. III, № 34, стр. 45). И. Т. Смирнов (Капшинский словарь, изд. в Сб. ОРЯС АН, т. LXX, № 5, СПб., 1901, стр. 119) привел еще другое значение: «супрямый, непослушный». А. Г. Преображенский (Этимолог. словарь рус. яз., т. I, 1914, 647—648) говорит о нем: «неизвестного происхождения». Однако приводит объяснение Соболевского (РФВ, LXVI, 346), по которому олух из *волух «пастух волов» (ср. конюх) в бранном значении «сневежа, дурак», и мнение Ф. Е. Корша о заимствовании данного слова из чагатайского: алух «растерянность, одурение» (сообщено в письме).

Но оба приведенных Преображенским мнения о происхождении слова не кажутся убедительными. Этимология А. И. Соболевского не удовлетворяет по двум причинам: 1) в производном от *вол* с ударением на окончании в косвенных падежах (вола, волу и пр.) я бы ожидал также ударение на суффиксе *-ух*, как пасту́х; если конюх имеет ударение на коренном гласном, то это объясняется влиянием им. мн. кони (отлично от во́лы); 2) отпадение звука *в* вначале предположенного А. И. Соболевским *волу́х и образование блух или *олу́х не находит примера, так как начальное *в* не только удерживается в русском языке перед *о* (вода́, вб́дка, воз, вози́ть, вло́к, вбро́х...), повидимому, независимо от ударения, но и развилось вновь, как доказал М. Г. Долобко, перед начальным *о* под старым восходящим ударением, см. *Zeitschrift für slavische Philologie*, III (1926), Н. 1—2, 87—144; что же касается сделанного Ф. Е. Коршем указания на чагатайское алух, то оно не подходит потому, что означает не лицо, а качество, и, может быть, скорее взято из русского, чем обратно. Жаль, что Ф. Е. Корш не высказал своего предположения в печати.

А между тем, громадный материал личных имен, почерпаемый из живой народной речи восточных славянских масс и из грамот и писцовых книг русского севера, дает нам возможность объяснить интересующее нас слово суффиксальным оформлением собственного имени греческо-христианского календаря. Вспомним, какую массу личных имен находим мы с наставкой *x*, перед которой, как в словах *пръха* (кор. рус. *пряд* — из обще-славянского **prǣd-*, сравн. польск. *prządka* «пряжа», *prządś* «прясти», «прясть»), *нръха* (от корня *ряд-* рядить, из **red-*), *лях* (древне-русс. назв. поляков, от корня **lǣd-* в знач. «поле», сравн. прилаг. древне-русс. *лядьскыи* — «польский», и немецк. *land*, а также диалект. *ляда*, *лядына* в значениях «пустошь», «заросль», «чищоба», «починок» и пр., Даль, Толк. сл.), исчезал согласный или группа согласных, которыми оканчивалось личное собственн. имя. Вот, напр., несколько имен лиц из изданной Археогр. ком. под ред. Б. Д. Грекова в 1912 г. описи торговой стороны Новгорода: Пентех, стр. 58 (л. 79), Демех 60 (л. 81^{об}) от полного Дементий (лат. *demens*); Терех 50, 51 (л. 68—69^{об}), 73 (л. 100^{об}) и др. от Терентий (лат. *Terentius*); Тимох 12 (л. 16^{об}), 32 (л. 48), 52 (л. 70^{об}), также Тимоха: место тяглое Тимохи... 53 (л. 72), — от Тимофей (греч. *Τιμόθεος*); Ярох 46 (л. 63^{об}), 52 (л. 70^{об}), может быть от славянского Ярослав, но возможно также, что от Иерофей греч. *Ἱερόθεος*).

Такого же происхождения *ш* из *x* мы видим в многочисленных именных образованиях, как Гриша 13 (л. 18), 39 (л. 55^{об}) и др., Первушка, Петрушка (ср. Петруха) Греков ib. 13 (л. 18^{об}), Осташко горшечникъ... Нечайко Осташковъ сынъ, Греков ib. 44 (л. 61), ср. назв. города б. Тверской губ. Осташков, а также фамилию Остафьев¹ и укр. Остап — от собственн. имени Остафий из Евстафий (греч. *Εὐσταθῖος*). Сравним с вышеупомянутым Ярох фамилии Ярош (как *Бартош*) и Ярошенко.

К числу таких же образований от собственного имени с суф. *x* я отношу и Олух. Вот примеры из той же описи торговой стороны Новгорода, в которых имя это еще не имеет не только укоротительного, но и вообще нарицательного значения, а является еще в функции собственного имени: «Мѣсто пусто тяглое Олуха кожевника...» Греков, Новгор. трг. писц. кн., 44 (л. 61), «Олухъ сараванникъ, молотчей, тянетъ з денги» стр. 62 (л. 85). Что Олух и в уменьшительной форме Олушко, Олушка и Олухно является в XIV, XV и

¹ Денис Остафьев уже в грам. межевых 1606—(7115) г. Арзамасского уезда, С. Б. Веселовский, Арзамасские поместные акты (1578—1618 г.), Чтения в Общ. Ист. и Древн. рос. при Московском унив., 1916 г., кн. 1-я = 256, стр. 298—300, № 214. Безсон Остафьев 1615 г., № 396, стр. 539; Миша Остафьев 1616 г., № 404, стр. 570.

XVI вв. в качестве собственного имени, ясно из материала, приводимого в упомянутом словаре Тушикова 1903 г., стр. 288—289, где находим: Олушко новгородец 1396 (Рус. Лив. акты, 90), — Остапов — крестьянин 1495 (Писц. кн., II, 376), то же крестьянин Писц. II, 576, I, 614, 642, под тем же годом, тоже — Юркин, — Олешков 1500 г. Писц. III, 508, 552, Олух Ивашков, — Васков 1498, Писц. IV, 24, 183, — Панкратов, — Оерёмов, — Карпов 1539 г., Писц. IV, 509, 470, 438... (крестьяне), Олушка Ивашков — городчанин 1500 г. Писц. III, 955; Олушно 1495 г. Писц. кн., II, 728, I, 184, — Микитин 1500 г. Писц. III, 566 (крестьяне), Олушно Неедовъ городчанин 1500 г., Писц. III, 954, Олутко Онкиоовъ — крестьянин 1500 г., Писц. III, 571. Здесь является особенно ценным употребление этих имён по отношению к лицам разных сословий, но желательно проверить неуказанные Тушиковым местности употребления этих имён.

Хотя, повидимому, Тушиков, приводя вышеуказанные лично-именные формы, и не подозревал, что они представляют осложнённые суффиксами *-х-, -хно, -шко* (из **хько*) формы собственного имени греческого происхождения Олуферий из Елевферий (греч. Ἐλευθέριος), такое образование их ясно из следующих данных двух изданных Шахматовым в 1903 г. в 3-м выпуске т. II «Исследований по русскому языку» (изд. ОРЯС АН) двинских грамот XV в.: в грамоте № 22 читаем «лфери григорьевъ, а в № 23 Олухъ григорьевъ (Шахматов. Исслед. о двинск. грамот., ч. II, стр. 38—39). Можно думать, что и Шахматов не сомневался в этимологической связи имён Олуферий и Олух: это видно из того, что он отождествляет их в примечании к изданию грамоты на стр. 38, считая одним и тем же лицом, и в указателе имён собственных, стр. 171. Более определённо Шахматов высказывается в 1-й части «Исследования о двинских грамотах», говоря на стр. 120 о словообразовании: «олухъ № 23 (от Олуферий)». Конечно, суффикс *хз*, который там же Шахматов указывает в оলেখъ (от Олексей) в №№ 111, 76, демехъ (от Дементий) № 83, терехъ № 11 и др., присоединен к абсорбированной более древней форме имени Олу(ферий), встречающейся для того же лица в грамотах № 1 и 3: Олуфѣрья Григорычъ и олуфѣрей — (Шахм., *ib.*, ч. II, с. 3 и 6), где *у* из *оу* перед согласным, как в ф. имени П(а)расковья имеем *ов* из *ев* соответственно греческому Παρασκειῶν. Кроме того окончание *-ух* совпадало, с одной стороны, с обычным в славянских языках суффиксом нарицательных имен, как пасту^х, пету^х и т. п., с другой стороны, с *-ух* из греч. *-ουχ-* в Овтух > Олтух и укр. Явтух из греч. Ἐβτούχος, откуда фамилия Евтушевский и местные

названия Олтухово Вязн. у. Владим. и Горбат. б. Нижегород., Олтушево Вязн. (при р. Клязьме) б. Влад. г., см. списки населённых мест по сведениям 1859 г. (СПб., 1863 г.), ч. VI и XXV; что касается изменения *o* или неслогового *y* (лат. *ц*) в *л* в указанных примерах, то оно давно отмечено в некоторых югозападных говорах переходной от южно-великорусского типа к белорусскому полосы (см. Соболевского, Лекции по истории русск. яз., 1907 г., стр. 124, где отмечены собствен. имена *Алдогья*, *Елтуфий*, *Елхи*, *Алгinya* из Евгения и фамильные *Алпатов*, *Алтухов*, *Олсуфьев*; также Будде, Отчет о поездке в Брянск. у. б. Орловск. губ., Сб. ОРЯС, т. 76, 1904, № 3, стр. 86).

Таким образом, в возможности образования формы Олух из собственного имени греческого происхождения и наличности таких форм в письменных памятниках XV—XVI вв. не приходится сомневаться, но остается нерешённым вопрос о происхождении того нарицательного значения, которое эта форма получила в современном русском языке. Это такой же не порешённый вопрос, как и вопрос о происхождении других таких же имён нарицательных, происходящих из имён собственных. Так как главная причина приурочения того или другого нарицательного значения к собственным именам лежит в социальных взаимоотношениях носивших их лиц, то каждый частный вопрос такого рода мог бы быть разрешен только путем тщательного исследования всех данных диалектологии, с одной стороны, и всех сохранившихся в письменных памятниках намеков на то или другое значение собственных имён, с другой, которые, к сожалению, очень неопределённые, несмотря на обилие словообразовательных вариаций. Эта огромная работа по исследованию собственных имен является задачей для будущих исследователей, мы же, в виду ограниченности предоставленного нам редакцией юбилейного сборника времени и места, пока не идем дальше постановки этих интересных, но очень конкретных вопросов словянской и русской семантики, извиняясь перед глубокоуважаемым юбиляром, так много потрудившимся по исследованию семантических различий и совпадений языков разных систем, в ничтожности наших достижений в этой области.

Н. М. КАРИНСКИЙ

ДИФТОНГИ ВАНИЛОВСКОГО ГОВОРА И ИХ СИНТАКСИЧЕСКАЯ РОЛЬ

1. Раскрытие соотношения между звуковым оформлением и значением на конкретном материале отдельных языков и диалектов является первоочередной задачей.¹ Интерес проблемы оправдывает слишком узкую и специальную тему настоящей заметки, цель которой — уяснить формальную семантику дифтонгов в речи определенной социальной группы одного из русских говоров, дер. Ванилова.²

2. Дер. Ванилово находится возле фабрики имени Цюрупы в Виноградовском районе в 80 км от Москвы. Рабочие на фабрике — крестьяне. Рабочих, не связанных с сельским хозяйством, лишь 20%. Виноградовский район, вместе с непосредственно к нему примыкающими местностями с севера и запада, является ареной столкновения трех территориальных диалектов: 1) умеренно-акающего подмосковного типа, 2) окающего-цокающего владимирского типа и 3) акающего-цокающего, близкого к касимовским говорам, которые исследовал проф. Будде.³ Говор Ванилова, включивший особенности первых двух групп, в основном принадлежит к типу касимовских говоров, обнаруживая с этой группой теснейшие отношения в прошлом.⁴ В виду этого при исследовании говора Ванилова (как в частности и дифтонгов его) необходимо сопоставление его с касимовскими говорами, от которых он отличается прежде всего чертами, приобретенными в условиях взаимодействия с указанными умеренно-акающим и окающим-цокающим говорами.

При взаимодействии с территориальными говорами указанных типов и при сильном влиянии литературного языка говор дер. Ванилово изменялся

¹ Н. Я. Марр в своих работах неоднократно давал руководящие указания по вопросу об этом соотношении. См., напр., *Язык и мышление*, стр. 22 и 43.

² Материал для этой заметки был собран в экспедиции ИЯМ 1932 г.

³ К истории великорусских говоров. Казань, 1896.

⁴ См. Н. Каринский. О говорах восточной половины Бронницкого у. СПб., 1903, гл. II, стр. 29—37 (*Изв. Отд. русск. яз. и слов.*, т. VIII, кн. I и II).

в условиях расслоения ваниловского общества на социальные группы. Бедняцкая, наиболее многочисленная группа крестьян Ванилова, в эпоху до революции испытывала менее значительное влияние города, чем многочисленная группа зажиточных крестьян, имевших лавочки, постоянные дворы и пр. Главным заработком крестьян, кроме земледелия, был ткацкий кустарный промысел, который привязывал, особенно бедняцкую часть, к деревне, так что многие семьи почти не бывали вовсе в городе, несмотря на близость деревни к Москве.¹ В говоре тех слоев деревни, которые имели отношения к городским буржуазным кругам (к купечеству), обнаруживаются многочисленные элементы умеренно-акающего литературного языка того времени. В эпоху диктатуры пролетариата бедняцкие и середняцкие группы начинают ярко отражать на своем языке многочисленные особенности литературного языка, иногда усваивая в основном его систему. Этот процесс не однороден в различных социальных группах Ванилова и уясняется из сложных отношений этих групп в условиях борьбы между частью крестьян, наименее связанных с фабричным производством, с частью крестьян, тесно связанных с этим производством. Наши наблюдения над языком Ванилова в его диалектологическом разнообразии привели к необходимости установить два противоположных социальных диалекта: диалект архаичный, близкий к языку Ванилова, как он наблюдался мною в 1903 г., и диалект передовой, наиболее приближающийся к современному литературному языку. Между этими диалектами находим ряд промежуточных групп.²

3. Дифтонги ваниловского говора и сопутствующая им долгота гласных относятся к особенностям отмирающим. Дифтонги сохраняются у некоторых крестьян, преимущественно, говорящих архаичным говором, которые получили воспитание до революции и, принадлежа к бедноте, по роду своих занятий имели слабое общение с городом.

Такова прежде всего Лукерья Бокова 60 лет, прекрасная рассказчица, у которой дифтонги являются органической принадлежностью ее языковой системы. Спорадически дифтонги отмечены в речи рабочей М., малограмотной, в прошлом затертой нуждою, а также у крестьянина 70 л., старого ткача Логинова, и других лиц. Долгота гласных равным образом не имеет широкого распространения. В 1903 г. это явление в ярком виде было отмечено лишь у некоторых представителей старшего поколения. В настоящее время долгота гласных сохраняется главным образом, как

¹ Каринский, там же, стр. 48—49.

² Описание ваниловского говора на основании материалов экспедиции ИЯМ 1932 г. готовится к печати.

и дифтонги, у представителей архаической речи (крестьянки Бойковой 70 л., указанных: Божовой, рабочей М. и др.). Сильное растяжение гласных, которое мне пришлось отметить у некоторых стариков в 1903 г. и которое возбуждало насмешки окрестных крестьян,¹ в настоящее время не наблюдается.

Дифтонги и долготы ваниловского* говора чрезвычайно близки по своему характеру к тем же явлениям касимовского говора, который нам известен из упомянутой выше диссертации проф. Будде. Как в касимовских говорах, в говоре Ванилова долгота может быть и в ударяемом и в неударяемом слоге как в открытых, так и в закрытых слогах. Долгими в нашем и касимовских говорах могут быть разные гласные, но преимущественно *a*. Долгота «не обязательна», т. е. гласный звук в данном слове может иметь долготу или не быть долгим. Еще большее сходство говор Ванилова имеет с касимовским и в отношении дифтонгов. В говоре Ванилова, как и в касимовских, два дифтонга \widehat{yo} и \widehat{ye} (после отвердевшего согласного вм. \widehat{ye} находим \widehat{ye} ; вероятно, под влиянием аканья иногда проскальзывало \widehat{ia}). Эти дифтонги, как и в касимовских говорах, могут быть как ударяемыми, так и неударяемыми. В ваниловском, как и в касимовских говорах, в дифтонге \widehat{yo} иногда превалирует *y*, иногда *o*. Дифтонг \widehat{ye} в Ванилове, как и в касимовских говорах, более редок и заменяется долгим или отчетливо произносимым *e*. Однако, находим и некоторые отличия, свидетельствующие лишь о меньшем распространении дифтонгов в ваниловском говоре, чем в касимовских. А именно, в Ванилове дифтонг \widehat{yo} почти никогда не соответствует нашему *o*; между тем, в касимовских говорах \widehat{yo} , соответствующий *o*, не редкость. В Ванилове этот дифтонг известен почти исключительно в открытых конечных слогах; в касимовских говорах он встречается и в середине слов и в закрытых слогах. Наконец, употребление дифтонга \widehat{ye} в Ванилове, повидимому, во многих случаях не соответствует касимовскому, и прежде всего этот дифтонг менее распространен в ваниловском говоре, чем в касимовских.

Указанный характер и употребление долгот и дифтонгов в ваниловском говоре подтверждают высказанное нами, на основании сличения других ваниловских особенностей речи с касимовскими, положение, что в прошлом ваниловский говор имел весьма тесное отношение с касимовскими.²

Позднее, в эпоху ослабления связей с касимовцами и установления взаимоотношений с группами, говорящими на окающем-цокающем и уме-

¹ Каринский, там же, стр. 7.

² Я, конечно, везде подразумеваю прежде всего те касимовские говоры, в которых существуют дифтонги.

ренно акающем говорах, предки ваниловцев утратили ряд старых особенностей и приобрели новые.¹ В эту эпоху значительно сократилось и употребление долгот и дифтонгов. Однако, ни долготы, ни дифтонги не исчезли совершенно, но, как сейчас увидим, их употребление в системе вновь организованный говора получило определённый закономерный характер.

4. Проф. Будде в работе о касимовских говорах, как и другие диалектологи в области русского языка, рассматривает постановку дифтонгов и долгот лишь в зависимости от фонетических условий в словах (закрытый или открытый слог, ударяемый и неударяемый и пр.).² Но он не принимает в соображение весь контекст речи, не уясняет роли данного явления в системе говора в целом (имею в виду и значение). Такое исследование привело проф. Будде к выводу, что дифтонги и долгие гласные «не обязательны», а потому представляются как бы «мелочными» диалектологическими явлениями.³

Для уяснения роли долгот и дифтонгов в ваниловском говоре необходимо их рассматривать в связи с интонационным оформлением, куда они входят как существенный элемент.

Интонацией в архаичном диалекте Ванилова выделяется определённая смысловая часть речи: 1) предложение, 2) два предложения, тесно связанные по смыслу, 3) группа слов из предложения и даже одно слово, выдвигаемое говорящим.

Примеры: ⁴ 1) Зѣма тала фс'ивѡ | и н'лажыла взыпкѡ |; ну н'ужнѣ тир'пѣт', нужнѣ с'викрѡви уважѣт |; дѣј мнѣ сурбву н'иткѡ | и дѣј мнѣ игбл'кѡ | и др. 2) А жѣн'ш'ина кѡфту сымѣит, набивѣит живѡт |; глижѣ, жѣн'ш'ина с'нимѣит с'сибѣ кѡфтѡ | и др., 3) хѡчѣт нам п'гадѣт | пра нашу прапѣжѡ; вхѡдѣт | анѣ |; ах, бѣбушкѣ |, давѣј ја п'лицѡ | и пр. под.

Звуковое оформление интонационного единства делится на 2 части. Первая часть содержит более высокие тона. Вторая, заключительная часть, которую называем интонационной концовкой, заметно понижается. Для нас интересна особенно вторая, заключительная часть интона-

¹ Каринский, там же, стр. 33—36.

² Им, между прочим, указано соответствие: «где известна долгота, там известны и дифтонги».

³ Будде, там же, стр. 43.

⁴ Знак | в транскрипции говора указывает на конец интонационного единства. Здесь и в дальнейшем, прежде всего, пользуюсь данными наблюдений на месте, а также фонографическими записями речи упомянутой Лукерьи Боковой. Фонографические записи, фиксируя всё течение речи, без пропусков, дали возможность устанавливать последовательное употребление или неупотребление долгот и дифтонгов в тех или других интонационных положениях.

ционного единства, так как именно в ней сосредоточены и дифтонги и долготы гласных. Эта вторая часть может состоять или из последнего в интонационном единстве ударяемого слога, или из ударяемого слога с одним, двумя и редко с тремя следующими за ним неударяемыми. В концовке, состоящей из одного ударяемого слога, этот слог бывает долгий или представляет дифтонг. В концовке из ударяемого слога с неударяемыми последним (неударяемый) бывает долгим или дифтонгом, ударяемый — нередко долгим, а слога промежуточные между ними — краткими. При этом дифтонги произносятся в конечном открытом слоге ударяемом и неударяемом вместо *у* и *и*, а долгие гласные — в слоге не конечном ударяемом закрытом и открытом и в закрытом конечном вместо тех же *у* и *и* и во всех указанных положениях вместо остальных гласных (кроме *у* и *и*).

Примеры на долготу гласных: А ты́, нѣвѣска́, нѣпрѣятна́ жы́вош |; вѣрати́ли их, уш вѣдѹт |; хѹчит нам пѣгада́т |; гла́т идѹт салда́т | с ружѹ́м |; вѹн та́м вѹн гада́лка́ при́шла́ |; зѣлизѣ́им на ваго́н |; к њ́му пѣда́шла́ |; го́ра Луке́ръѣ вѣ́диль мно́га |; пашла́ па́вѣра́тса́ |; гла́т ли́жат два́ рабо́нка́ |; аднаму́ тѣ́и го́да́ |, а друго́му пѣлта́ра́ |; ка́к ту́т, ветѣ́ж бу́тки, же́сли карѹ́ва |; ста́йт мала́дѣ́ха́ |; пада́ѣ мнѣ́ хрѣста́ра́ди кусѹ́чик хлѣ́бѹшка́ |; сѣ́вѣкры́ руга́ѹца́ | пуска́ѣ ѣ́н ли́жит | рабо́на́к |; катѹ́ра рабо́нка вѣ́лици́ла́ |; ка́к бы́ ле́хце́ пра́жеха́т | и мн. др.

Нужно заметить, что постановка долгот в указанных положениях не обязательна: всего последовательнее стоит долгое *а*, затем *о*, *у* и *е*. Долгие *ы* и *и* встречаются реже.

Примеры на неудлиненные *ы* и *и*: хтѹ́ вѹн ф пѣла́же́нѣ́ѣ, скѹ́рь ра́ѣт |; тѣ́удна́ | сагна́т тѣ́бе́ нас; «дало́ѣ!» гѣ́ва́рѣ́т |; њ́су́т мнѣ́ ка́рты | и др. под.

Но во всяком случае долгота стоит только в указанных положениях концовок.

Употребление дифтонгов отличается большою последовательностью: в конечных открытых слогах концовок вместо *у* всегда имеем дифтонг *ѹо* вместо *и* обычно находим либо дифтонг *ѣе* либо происшедшее из него *е*.¹

Примеры на дифтонг *ѹо*: њ́су́т мнѣ́ ка́рты |, ја́ разло́жила, гѣ́ва́рѹ́о |; и ми́на́ заста́ли у њ́их в даму́о |; (а́х, гѣ́лава́, рабѣ́та́ѣ | — ша́пку

¹ В некоторых случаях в дифтонге *ѣе* первая часть (*ѣ*) чрезвычайно слаба. Потому не всегда можно ручаться, когда наблюдателю слышалось *е*, что не произносился дифтонг с очень слабою первою частью.

куи́лю |, а ни́ бу́диш рабо́таѣ, па́слѣднѹ пра́цѹ |; а́а гла́з зъви́жѹ |; же́м, же́х карма́лю |; хо́чит на́м пѣга́даѣ | пра́ на́шу прапа́жѹ |; ну́ вот даба́влѹ | за ту рабо́тѹ | ја́ | ка́бра рабо́нка вѣли́цила́ |...; ја́ ти́е ка́к на́д жи́во вѣли́ци́лю; | да́ж мнѣ́ суро́ву ни́тку | и да́ж мнѣ́ игбо́лку |; зѣма́тала́ фѣсѣ́во и пѣла́жыла́ в зы́пкѹ |; зама́тыват он но́гу |; и́доѣ | в аднѹ́ дѣре́внѹ |; ва́шла в ѣту́ бу́ткѹ |, а́а и спра́шивѹ | «то́тѣнка, што́ ты́ дѣла́ш |; ја́ же́му́ атви́ца́ѹ | : не́т, ра́дѣма́; до́рѣга́ на́с гна́ѣ ти́е с ваго́нѹ и мн. др.

Случаев, в которых в конечном открытом слоге в интонационной концовке из *у* (ж) не было бы дифтонга *уо*, мы вовсе не находим.

Столь же последовательно, в тех же самых фонетических условиях и даже в тех же самых словах мы имеем *у* вместо дифтонга *уо*, если это *у* не стоит в конечном открытом слоге интонационной концовки.

Примеры: Хо́чит на́м пѣга́даѣ | пра́ на́шу прапа́жѹ |; ја́ на́дѹ карты́ |; пѣлу́цила́ ка́тило́к мѣла́ка́ |, пѣту́шку ка́ртбо́шкѣ |; ва́шла | в ѣту́ бу́ткѹ |; и́доѣ в аднѹ́ дѣре́внѹ |; и ни́су́т мнѣ́ зи́ло́ну ли́гушку́ |; ја́ пра́та́ски́ву же́тѣ́ ли́гушки́ из гла́зу в гла́с игбо́лкѹ |; зама́тывѹ рабо́нка́ ни́тку |; а́ ја́ ду́му пра́ си́ба: што́ мнѣ́ дѣла́ѣ |; гли́жѹ, же́нщи́нина́ сѣни́маѣт сѣи́ба́: кбо́тѹ и мн. др.

Примеры на дифтонг *ие* или заменяющее его отчетливое *e* из *ие*).

Ах, ба́ит, па́дѹ во́т к сѣви́рво́иѣ |; а́паѣ́ мнѣ́ за́пла́ти́иѣ |; и у́ ни́х пра́па́ла́ три́ ло́шади́ |; па́же́дим с на́миѣ |; на́ ваго́н вѣ́зѣиѣ |; мы́ ти́бе́ до́ра́ги́а |; дѣ́ пѣта́му до́раги́а́ |; пѣлу́цила́ ка́тило́к мѣ́лака́ | пѣту́шку ка́ртбо́шкѣ |; и мн. др.

В одном и том же фонетическом положении в одних и тех же словах или формах в тех же интонационных условиях, в каких *у* чередуется с *уо*, и звук *и* чередуется с дифтонгом *ие* (или с образовавшимся из него *e*).

Примеры: А́дин па́ме́ише́, дру́гой пабо́лше́ |; у́ ни́х пра́па́ла́ три́, ло́шади́ |; ло́шади́ нашла́са́ |; же́зди́ли за хлѣ́бом |, на́ пѣ́изда́ вѣ́зѣиѣ |; а́паѣ́ мнѣ́ зы́пла́ти́иѣ |... и пра́вади́ли ми́на́, ка́к на́да бѣ́ѣ |; на́ верхѹ́ же́зди́ли, на́с га́на́иѣ |; ја́ са́ма́ три́ѣ́а́ с три́ми́ дѣта́ме |; абду́ма́ли, ка́к бы́ на́м ле́че́ пра́же́хаѣ́ | и а́паѣ́ же́ та́к абду́ма́ѣ | и др.

Исключений из этого правила весьма мало. Во-первых, фонографом записан один случай *e* вм. *и* в закрытом слоге: «и́доѣ са́даѣ́ | с ру́жѣ́м |... и на́с го́нет |, го́нит на́с к ваго́нѹ». Кроме того, записан один случай постановки *и* вместо ожидаемого *e* в интонационной концовке: «Не́т ли́ в ѣтѣ́ |

бўтҗќи карбўйќи|», хотя рядом же согласно правилу: нъварїла свайи дїїам картбшќе|.

5. **Обозрение** долгот гласных и дифтонгов в говоре Ванилова устанавливает, что **дифтонги** и долготы сосредоточены на концовках интонационных **объединений**, что они совпадают по месту постановки с резким понижением тона и с сопутствующей этому понижению паузой. Можно даже вполне **определённо** сказать, что место постановки дифтонгов стоит вне зависимости от «фонетического положения» звуков в слове (от «фонетических условий»), что оно строго определяется прежде всего интонацией, почему, как мы видели, в одном и том же слове то появляются дифтонги *yo* *ie* (e), то — гласные *y* и *i* в зависимости от интонационной позиции этих звуков.

Отсюда необходимо сделать вывод, что в эпоху формирования¹ той системы деления речи Ванилова на семантические группы слов, которая в настоящее время характеризует наиболее архаичный социальный говор Ванилова, долготы и дифтонги были использованы как факты звукового оформления этой системы в комбинации с паузами и понижениями тона. Весьма редкое употребление, и притом немногих, союзов придаточного предложения (а равно отсутствие оформления сложных предложений частями и деепричастиями) в говоре лиц, употребляющих долготы, дифтонги и определённую их интонацию, в то же время весьма сложное сочетание и соотношение предложений в их речи, для нас весьма любопытно.

Это использование долгот и дифтонгов; как элементов, оформляющих соотношения семантических групп, задержало исчезновение долгот и дифтонгов в ваниловском говоре, и остатки их дошли до нашего времени. Не случайно, что именно у прекрасной рассказчицы Лукерьи Боковой, пользующейся широко средствами интонации в целях выразительности рассказа, сохранилась в наибольшей чистоте описанная система интонационного оформления с долготами и дифтонгами.

Таким образом, здесь выступает формальная семантика в роли ведущего начала при языковых изменениях, и фонетические факты приходится тесно связывать с синтаксическими.

Как мы указали, дифтонги и долготы сохраняются преимущественно у представителей архаичного говора в Ванилове. Другие социальные группы

¹ Выше было указано, что дифтонги являются в ваниловском говоре наследием еще от той эпохи, когда этот говор был тесно связан с касимовскими, что многие изменения ваниловского говора, и в том числе сохранение дифтонгов, произошли в этом говоре в эпоху взаимодействия с умеренно-акающими и цокающими-окающими говорами.

поселка эти особенности утратили. Именно, в период влияния литературного языка уже в дореволюционную эпоху новый для Ванилова способ оформления групп слов (предложений) — в условиях усвояемой редуцированной фонетической системы с ярким выделением ударяемых слогов, на основе ряда лексем, имеющих формально логическую семантику, соответствующих иному, чем в Ванилове, отношению семантических групп слов, новым концепциям мысли, — должен был отразиться на говорах нашего поселка: начали исчезать, особенно у крестьян, связанных с городом и фабрикой, полновесность неударяемых гласных, их растяжное произношение и дифтонги. Влияние современного литературного языка особенно сильно изменяет говор. Победа принципов организации литературной речи во вновь формирующемся говоре Ванилова происходит прежде всего в настоящее время в условиях более или менее тесной связи крестьян с фабрикой. Даже некоторые взрослые из отсталых групп Ванилова приближают свой язык к современному литературному: в Ванилове усваиваются и лексика современной речи, и синтаксис, и редуцированная фонетическая система. Само собою понятно, что при таком изменении языка о сохранении даже остатков дифтонгов и долгот в недалеком будущем не может быть и речи.

С. Е. МАЛОВ

К ИЗУЧЕНИЮ ТУРЕЦКИХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

В 1912 г. вышла в свет статья J. Nemeth'a «Die türkisch-mongolische Hypothese»,¹ где была обстоятельная сводная глава по этимологии турецких числительных. Вслед за ней в 1927 г., но без учета этой статьи J. Nemeth'a, появилась статья А. Н. Самойловича «Турецкие числительные и обзор попыток их толкования».²

В дополнение к этим статьям я здесь даю список и систему числительных по совершенно новому для читателей языку, — именно, по языку желтых уйгуров, проживающих в китайской провинции Гань-су, сопоставляя этот материал с числительными из древних письменных литературных памятников. Мне хотелось бы думать, что числительные у желтых уйгуров дают некоторый ключ и путь к уразумению в турецких языках Сибири (и Монголии) таких синонимичных числительных в устах старшего поколения, как, напр., jǰigme и ekkön или egön '20' (на Чулышмане), odus и öböñ '30', quruq и törtön '40', eñi и reñön '50'³ в одном и том же языке, или — одних числительных в одном языке, а других — в другом.

Имена числительные количественные во всех турецких языках в пределах первого десятка выражаются однообразно с фонетическими только, не этимологическими, вариациями. Начиная же с '11', как в самой системе счета, так и в названиях числительных в древних и современных языках замечаются существенные разности.

¹ ZDMG, LXVI (1912).

² Языковедные проблемы по числительным. I. Сборник статей (под ред. акад. Н. Я. Марра). Л., 1927, стр. 135—156, изд. Инст. лит. и яз. Запада и Востока при Гос. Ленинградском унив. Ср. Н. Н. Поппе. О числительном 'десять' в тунгусских языках. ДАН-В, 1929, стр. 313—320. — А. Луначарский. Материализм и филология. Изв. ЦИК СССР от 12 апреля 1925 г., № 84.

³ Грамматика алтайского языка. Составлена членами Алтайской миссии. Казань, 1869, стр. 31—32.

Числительные количественные первого десятка у желтых уйгуров таковы:

p'əŋ, p'əŋ '1', išk'e, šik'e '2', uš, uš '3', t'ürt (< t'ört) '4', p'is '5', alt'y '6', jet'i, jet'ä (žet'ä) '7', sa'q'ys, sa'q'ys '8', t'o'q'ys t'o'q'ys '9', on '10'.

Из чисел первого десятка обращает на себя внимание у желтых уйгуров — išk'e '2'; подобную форму с привходящим звуком š (вместо *ike, ср. сельдж. اىكى, سىچ, ۲۶, узбекск. اىكىكى) я слышал еще у саларов (в районе г. Сюн-хуа-тина) и у турецкого населения Синь-цзяна (Китайского Туркестана). Отмечена она уже Г. Н. Потаниным для уйгурского (желтых уйгуров) и саларского языков,¹ Ладыгиным и Рокхилем для саларского языка² и Ракеттом и Хартманном для восточно-туркестанского языка.³ Бросается в глаза парность числительных alt'y '6' и jet'i '7', затем sa'q'ys '8' и t'o'q'ys '9'; сходство числительных '8' и '9' в языке желтых уйгуров идет даже дальше большинства других турецких языков: '8' здесь не sägis или säkiz (т. е. с палатальными звуками), а sa'q'ys, очевидно, по аналогии с t'o'q'ys '9', ср. чувашск. sakkar (sa'ŋar) и якутск. ауус '8'.

В числительных после 10 идет по языкам большая разница как в системе счета, так и в названиях имен числительных.

Сложные числительные из десятков и единиц, т. е. 11, 12, 13 и далее, составлялись и составляются в турецких языках двойным образом. В настоящее время самая распространенная и общеупотребительная система счета такова: сначала ставятся десятки, а потом единицы. Напр. (по казанско-татарски): un ber (т. е. 'десять один') '11', un ike (т. е. 'десять два') '12', un dürt (т. е. 'десять четыре') '14', un altı (т. е. 'десять шесть') '16', qırq ber (т. е. 'сорок один') '41', siksän öç (т. е. 'восемьдесят три') '83' и т. д.

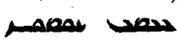
Таков обычный порядок счета. Но в древних турецких памятниках рунической и уйгурской письменностей и отчасти в памятниках сиро-турецких XIII—XIV вв., а из живых турецких языков только в одном языке желтых уйгуров употреблялась и употребляется другая система счета. А именно: для выражения чисел, состоящих из десятков и единиц, берется в основание приближение к следующему десятку, и сначала ставятся

¹ Г. Н. Потанин. Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия. СПб., 1893, т. II, стр. 431 и 437.

² Ф. Пояров и В. Ладыгин. Салары. Этнографическое обозрение, 1893, № 1.— W. W. Rockhill. Diary of a Journey through Mongolia and Tibet. Washington, 1894, p. 373—376. — F. Grenard. Note sur les musulmans Salar. J. A., 1898, XI, p. 546—551.

³ G. Jarring. Studien zu einer Osttürkisch. Lautlehre. Lund, 1933, p. 124.

единицы, а затем уже десятки следующего, чем какой мы ожидали бы, класса или разряда.

Напр., по памятникам рунической письменности (VIII в.) '12' будет , т. е. äki jäg'tmi, по уйгурской письменности  iki jäkirmi, т. е. '2 20', или '2' к '20', или '2 двадцатого разряда', '2 второго десятка', '2 из второго десятка'. Двадцать один будет  bir otuz, т. е. '1 30' '1 к 30', 'один третьего десятка'. 'Двадцать семь' на казакск.-татарск. языке будет 'jegerme žide', т. е. 'двадцать семь', а в памятниках рунической письменности jäti otuz, по уйг.  jiti otuz, т. е. 'семь тридцать'. Так и в языке желтых уйгуров.

В 1906 г. проф. В. В. Баргольд в Восточном отделении Русского Археологического общества делал сообщение 'О системе счисления орхонских надписей в современном диалекте';¹ он приводил запись числительных имен кара-уйгуров² (черных уйгуров) из труда Г. Н. Потанина. Эти данные одного из современных турецких языков совершенно в свое время были упущены из внимания при исследовании хронологии турецких рунических памятников Марквартом, В. Бангом и В. В. Радловым.

Сложные числительные из десятков и единиц у желтых уйгуров будут звучать:

p'əḡ (или: p'əḡ) juḡḡma '11'	t'ürt'ön (<t'ürt on) '40'
üč juḡḡma '13'	t'ürtön öš (<t'ürt on üš) '43'
türt čuḡḡma '14'	p'ison '50'
alt juḡḡma (<alt'y juḡḡma) '16'	p'ison p'əḡ '51'
išk'on (<išk'e on), совсем реже	alt'on (<alt'y on) '60'
žuḡḡma, juḡḡma, juḡḡma '20'	alt'on p'əḡ '61'
p'əḡ ot'ys '21'	žet'on, jet'on '70'
üčön (<üč on) '30'	sa'q'yson '80'
üčön bəḡ (<üč on p'əḡ) '31'	t'o'q'yson '90'
üčön šk'e (üč on išk'e) '32'	(jüz, p'əḡ jüz '100'; meḡ '1000').

Теперь из этих примеров можно видеть, что древняя («руническая» и уйгурская) система счисления существует в настоящее время только в языке желтых уйгуров, но не целиком, а только отчасти, именно в счете

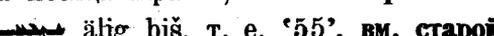
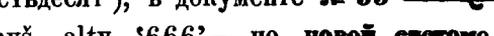
¹ Зап. Вост. отдел., XVII, вып. IV, СПб., 1907, стр. 0171—0173.

² Следует разуметь здесь «желтых уйгуров», см. рецензию С. Е. Малова на С. G. E. Mannerheim. A visit to the Sarö and Shera Yögurs, 1911; см. «Живая старина», XXI (1912), стр. 217.

от 11 до 30. Так 'одиннадцать' в языке желтых уйгуров р'эг јуугта, т. е. 'один двадцать' ('один к двадцати'), а не on biġ, как будет означать 11 во всех других живых турецких языках; үё уугта (у желтых уйгуров) '13', т. е. 'три двадцать', 'три к двадцати', но интересно, что '20' будет при этом išk'on, т. е. 'два десять' (совсем редко желтый уйгур для '20' скажет јуугта); '26' alt'u ot'ys, т. е. 'шесть тридцать', а не ot'ys alt'u, как бы можно было ожидать по теперешней 'обще-турецкой' системе счета, само же ot'üs отдельно не употребляется и не будет означать круглого числа '30', для обозначения '30' у желтых уйгуров употребляется только үёп. Числа с 31 (32, 33 ...) у желтых уйгуров будут выражаться уже обычным общим порядком, т. е. үёп бег '31', а не р'эг t'ürtön ('один сорок') и так далее.

В древних рунических и уйгурских памятниках система приближения к следующему десятку проводится во всех десятках, причем в древних языках не было таких сложных и ясных этимологически форм, как išk'on, үёп, t'ürtön, p'ison и т. п., а имеются только термины с более трудной этимологией: jägirmi (рунич.) '20',  otuz (уйг. и рунич.) '30',  qurg '40' (уйг. и рунич.),  älig  '50' (рунич. и уйг.),  altmyš '60' (енис.-рунич. и уйг.),  jitmiš '70'. Числительные  lton '60' (см. W. Radloff. Alttürkische Inschriften, Zweite Folge, p. XXI) и үёп '30' (JRAS, 1912, I, 186) — довольно сомнительны.

В уйгурских юридических документах (XI—XIII вв.), вообще говоря, система числительных сходна с системой древне-турецкого счета, хотя встречается в документах и новая система, употребляемая теперь почти везде.¹

Напр., в документе № 12 (см. Radloff. Uig. Sprachd.) приводится дата по теперешней, новой системе счета:  Agam ai on säkiz kâ 'восемнадцатого числа месяца Арама', вместо старой säkiz jäkirmigä; в документе № 8  älig biš, т. е. '55', вм. старой формы biš altmyš (т. е. 'пять шестьдесят'); в документе № 35  alty jüz altmyš alty '666' — по новой системе,

¹ W. Radloff. Uigurische Sprachdenkmäler. Materialien... von S. Malov herausgegeben. Leningrad, 1928. — С. Е. Малов. Два уйгурских документа, см. عقد الجمان В. В. Бартольд, Ташкент, 1927. — С. Е. Малов. Уйгурские рукописные документы экспедиции С. Ф. Ольденбурга, см. Зап. ИВАН, I, 1932.

зм. древней формы: *altu jüz altu jetmiş*, хотя документ № 35 по манере письма может относиться к довольно древним документам.

Из этого следует, что новая система числительных начала упорчиваться довольно рано. Это же подтверждается и всеми рукописями *Qutadū bilig*, в которых старая система счета вовсе не употребляется, что определенно указывает, что в Беласагуне и в Кашгаре в середине XI в. новая система счета вытеснила старую. В уйгурско-китайском словаре¹ турков Ханьского оазиса времени династии Мин (1368—1644 г.) одиннадцатый месяц (года) обозначается *bir jikirminç aï* (т. е. по старой системе: '1 20'), так же он называется и у Улуг-бека (XV в.) *بیر ییکرمنج آی*.

В более поздних уйгурских рукописях (XVII—XVIII вв.) тоже, наряду с древней системой счета, употребляется и новая; разумею здесь приписки переписчиков, а не числительные в тексте тех или иных сочинений, или пагинацию, что было стереотипом с давних времен. Пагинация везде в рукописи *Altun jaruq* (Bibl. Buddhica, XVII) старая, а в приписках система счета двойная: и по старому, и по новому. Напр., '24' *جکیرمى تۆرت* *jikirmi tört* (по новому, см. стр. 34 и 498); '28' *جکیرمى سākiz* *jikirmi säkiz* (по новому, см. стр. 199); '15' *بش جکیرمى* *biş jikirmi* ('пять двадцать', по старой системе, см. стр. 344); '22' *جکیرمى iki* *jikirmi iki* (по новому, стр. 403 и 458); '27' *جيتى otusunç* *jiti otusunç* (по старому, стр. 686); двадцать шестой год правления Кан-си в трех местах обозначен через *جکیرمى altunç* *jikirmi altunç* (стр. 34, 343 и 458, по новой системе счета) и один раз по старой системе *altu otuz* (стр. 199). В неопубликованной еще, самой позднейшей (начала XVIII в.) из известных уйгурских рукописей, рукописи 'MI' сорок первый год правления Кан-си обозначен по новой системе счета *قۇرۇق bir* *qurq bir*. Старый счет употреблялся, надо думать, у христианских турок Семиречья, на юг от Иссык-куля; по крайней мере, опубликована одна дата могильного сирийско-турецкого памятника, на кладбище близ сел. Покровского, по старой системе счета: *toquz otuz*, т. е. 'двадцать девять' (а буквально: 'девять тридцать', 'девять к тридцати', или 'девять из третьего, тридцатого порядка' и т. п.). Ошибки здесь предполагать совершенно нельзя, так как эта дата может быть легко проверена по несторианскому календарю и сиро-несторианскому богослужебному ритуалу.²

¹ J. Klaproth. *Abhandlungen über die Sprache und Schrift der Uiguren*. Paris, 1820, p. 13.

² П. К. Коковцов. К саро-турецкой эпиграфике. *Изв. Акад. Наук*, 1909, стр. 781, 788 и 789.

Чисто внешнее сходство с древне-турецкой системой счета имеется в карачаевском языке, где есть, напр., *ekî zijigta*, но значит это не 'двенадцать', как можно бы полагать по древней системе, а 'сорок', т. е. буквально 'два двадцать' ('два раза двадцать'); '60' *üç zijigta* (т. е. три раза двадцать).¹ В анатолийско-турецком (османском) языке можно встретить такое, напр., выражение: *o adam üç otuzunda*, т. е. 'этому человеку девяносто лет' (три тридцать).² Иногда так выражаются и в Казани, напр., торговцы в разговорах о цене (условный язык): *ike un*, т. е. буквально 'два десять', желая этим выразить 'двадцать'. Говорят так и узбеки. То же и в балкарском языке.³

Наличие в языке желтых уйгуров таких числительных, как *jүүгта* '20' и *işk'on* '20' или *ot'ys* '30' и *üçon* '30' с разными значениями: одного (*jүүгта*, *ot'ys*...) для выражения, так сказать, класса, разряда, и другого (*işk'on*, *üçon*...) для выражения целых десятков ('20', '30'...), до некоторой степени объясняют нам факт двойственности имен числительных в Сибири и Монголии, где эти оба вида числительных теперь уже не разнятся по своему значению, различаясь только тем, что числительные типа: *işk'on*, *üçon*, *p'ison*... забываются и употребляются только старшим поколением.

Самостоятельными числительными, судя по языку желтых уйгуров, для выражения целых десятков (без единиц) были: *işk'on* '20', *üçon* '30', *t'ürt'ön* '40', *p'ison* '50', *alt'on* '60', *jet'on* '70', *saq'yson* '80', *t'oq'yson* '90'. Числительные же: *jigirmä* *يكرمه* (турф., кашг., хамийск., кульдж.) '20', *otuz* *اونور* (азерб., кашг.) '30', *qurq* *قرق* (чагатайск.) '40', *ällik* *الليك* (турф., кашг., яркендск.) '50', *altmiš* *آلتميش* (кашг., ярк.) '60', *jätmiš* *يتميش* (кашг., хам., турф.) '70'—служили раньше только для обозначения порядка десятка, или разряда десятка, напр., *p'ëğ ot'ys* '21', т. е. 'двадцать и еще) единица тридцатого класса, единица третьего десятка', сверх полных двух десятков берется единица из тридцатого класса. Но затем, так как круглые десятки (20, 30, 40...) встречаются в счете в каждом десятке только раз, а десятки и единицы девять раз (21, 22, 23—29; 31—39, 41—49...), то я предполагаю, что с течением времени эти часто и более употребляемые в жизни вспомогательные числа, обозна-

¹ W. Pröhle. *Karatshajische Studien*. Keleti Szemle, 1909, p. 225.

² RW, I, 1110.

³ В. Наливкин и М. Наливкина. *Очерк быта женщины... Ферганы*. Казань, 1886, стр. 155. — Н. А. Караулов. *Краткий очерк грамматики горского языка «балкар»*. См. Сб. мат. для описания местностей и племен Кавказа, вып. XLII, 1912, стр. 30—31 Ср. ЗВО, XXI, стр. 0160.

чавшие раньше собственно порядок десятка — *jүүүгта*, *ot'ys*, *q'utq* и далее, вытеснили из употребления в большинстве современных турецких языков и заменили собой самостоятельные числительные «круглых десятков»: *išk'on*, *üçon* и дал.¹

ИЯМ 1934.

¹ К литературе о турецких числительных см. еще: Бьюри (Bury). О летосчислении древних болгар. Пер. с англ. Н. М. Петровского, с доп. Златарского. Изв. Общ. арх., ист. и этногр., XXVII, вып. 6, 1911 (The Chronological Cycle of the Bulgarians. *Byzant. Zeitschr.*, 1910, XIX, 127—144). Ср. еще этимологию некоторых числительных на стр. 574 соч. проф. Э. Ю. Петри «Антропология», т. I, СПб., 1890.

И. В. МЕГРЕЛИДЗЕ.

ЖИВОТНЫЙ МИР В ЯЗЫКЕ И ФОЛЬКЛОРЕ¹

Настоящая работа имеет целью показать на нескольких примерах наблюдаемое нами единство языка и фольклора и общность между этими областями на определенных стадиях развития мышления. Данные о мышлении, полученные из сказок, находят себе подтверждение и в языке. Как в первых, так и во вторых, прослеживаются одни и те же семантические ряды, одни и те же пути развития понятий о явлениях из внешнего мира.

Возьмем хорошо известный в Грузии сюжет одной сказки: *ჭიჭის ტყაგა*.² Эта сказка как в данном, так и в других вариантах, рассказывает о том, как злая мачиха не терпела своего пасынка и решила уничтожить его. Чтобы осуществить свое желание, она притворилась перед мужем больной и нарочно начала плакать и стонать. Когда муж спросил ее, что ей поможет от ее болезни, она ответила «кроме ливера, гусака (*gul-gvidl-i*) твоего сына ничего мне не поможет». Услышав это отец смутился, он отдал предпочтение жене и решил зарезать своего сына. На следующее утро он начал точить ножи. Сын, увидев это, спросил отца, для чего это ему нужно. Отец ответил, что хочет зарезать быка (они имели одного быка, мальчик и бык очень любили друг друга) и предложил сыну напоить его водой. Мальчик погнал быка к речке. Пока бык пил воду, мальчик начал плакать. Слезы его соединялись с водой. — «Чего ты плачешь, мой друг?» — спросил бык. Мальчик отвечает: «Тебя хотят зарезать». Бык приобрел способность говорить по человечески. Он отвечает: «не меня, а тебя хотят зарезать. Беги домой, возьми точило, гребешок и бутылку воды, садись на меня и давай убежим вместе». Мальчик быстро исполнил приказание быка, и они убежали. Узнав об этом, отец сел на проклятую свинью

¹ Печатается в очень сокращенном виде, и сокращена не самим автором.

² Т. Раикашвили, *ხალხური ზღაპრები, კანთოსა და ფშავეთში შეკრებილი*. Народные ~~сказки~~, собранные в Кахетии и Пшавии (Тифлис, 1909). Отд. II, стр. 58—61.

(*kieuli ġori*), взял с собой все выточенные ножи и погнался за ними. Мальчик и бык взятыми вещами создали для свиньи такие препятствия, что отцу и свинье не удалось догнать их.¹

Заглавие этой сказки *Tqaga* — имя быка. В ней бык и свинья применяются как средство передвижения. Очень часто в фольклоре они заменяются лошадьми, оленями, собаками, козами, баранами и другими животными или птицами. Герой какой-нибудь сказки сидит на птице: на орле, коршуне, журавле и т. п., или же птица заменяется рыбой, змеей, драконом и т. д.

В соответствии с этим и героев мы видим то на верхнем небе, то на среднем, то на нижнем.

Очень часто животные не только заменяют друг друга, но и превращаются друг в друга, как это мы видим в сказке «*Sastaul moqmedi maqgaq*» «*სასწაულ მკჷმედო მათგანსი*» (Чудотворный хлыст).² Здесь женщина имеет чудотворный хлыст. Ей не нравится ее муж, она увлечена другим. Она хлестнула своего мужа хлыстом, и муж превратился в осла.³ Используя его в качестве осла, она, когда осел ей уже был не нужен, своим хлыстом превратила его в собаку. Через некоторое время, хлестнув собаку, превратила ее в птичку.

Птичка как-то попала в руки другой женщины, тоже владевшей таким же чудотворным хлыстом. Она хлестнула птичку и птичка превратилась в человека.⁴ Подарив ему хлыст, она отправила его домой.

¹ Содержание сказок передаем в сокращенном виде. Главным образом даем основные мысли из необходимо нужных сказок и не целию сказку, а нужные места из нее.

² См. *ქველი საქართველო* — Древняя Грузия. Сб. Грузинского общ. ист. и этногр. под ред. Е. Такайшвили, т. I (Тифлис, 1909 г.), Отд. IV, стр. 36—39.

³ В сказании «Превращение священника в медведя» — «*ḡvdlis daḡvaḡ gadaqḡeva*» («*ღვდლის ღაḡვათ გაღკვევა*») груз. слово *daḡv*-1 'медведь' имеет народную этимологию. Сказание это мне неоднократно приходилось слышать и записывать в Грузии. Священник Давид (по груз. *David*) отправился в церковь на у т р е н ю («*ღისḡრის ღოცვა*»). По дороге он соблазнился спелым инжиром и поднялся на дерево. Он хорошо знал, что ему ничего не разрешается есть утром до молитвы, но не мог воздержаться. Заметив знакомого человека, Давид, чтобы он не узнал его, начал урчать, как медведь. Знакомый человек узнал все же его и спросил: «Датуня («*Daḡunia*» — ласкательное имя от Давид), что ты тут делаешь? Как это можно?» Давид спустился вниз и убежал в лес, где он действительно превратился в медведя. Потому то его и назвали *daḡvi* = (др.-лит. груз. *феод. ღაḡვ, daḡw*). Ласкательное имя от Давид (*David*) и медведь — и то и другое по грузински будет *Daḡunia*. Вместе с народной этимологией сказание это интересно тем, что в нем тоже дано превращение священника в медведя.

⁴ В сказке «*ფაშკუნძი*» *paḡkunḡ-i*» (см. газ. «*ფურცლი*», «И в е р я» № 133, 1889) царевич превратился в ласточку и потом обратно в человека.

Он вернулся домой и хлестнул жену и ее возлюбленного. Они превратились в ослов.

В этих сказках, и соответственно с этим, на той стадии развития мышления, к которой относится происхождение этих сказок, нет грани между человеком, птицей, четвероногим и рыбой.¹

Имя быка «Tqaga» T¹-qag-a. Если пока оставить первый элемент T¹, второй qag/qag по груз. значит 'бык' (груз. др.-лит. феод. qag). Также и свишня (в сказках фигурирует, как средство передвижения): груз. ḡog 'свишня', одно и то же название с ḡ ← q̇ || q ↘ q, где в первом случае имеем огласовку а, по свистящей ветви, а во втором — шипящую о (a || o).

С той же огласовкой, с потерей аффрикативности первого согласного qog значит 'коршун', 'ястреб', который опять в сказках применяется как средство передвижения. И 'собака', название которой по грузински ḡagl-1 'собака', что восстанавливается акад. Н. Я. Марром в форме ḡagal, т. е. дается второй элемент с огласовкою а ([ḡa] — ḡl ← ḡal), на основе м., ч. ḡo-ḡog 'собака'. С потерей аффрикативности (ḡog ↘ qag) баскск. u-da + qag-a значит 'выдра', букв. 'воды собака'.² Переход этот объясняется не только тем, что они имели материальную социальную функцию, а еще и тем, что они заменяли друг друга, как тотем, т. е. по своей идеологической значимости.

В живом груз. ḡeg-a 'коршун' → ieg-o³ 'журавль', то же самое, что qog 'коршун', 'ястреб'. Здесь мы имеем перебой ḡ → q̇ || q (✓ q) в — i →

¹ См. ზგარაი ცხრა ძმაჲ — Zgaraḡi čḡra ḡmaze (Сказка о девяти братьях. См. Разикашвили. Народные сказки. Собр. в Кахетии и Пшавии, стр. 57—61). Братья превратились в оленей, сестра в русалку (ქალ-სინიპოზი, qal. — siniposi). Вообще: siniposi значит в груз. 'сирена'. В сказке: «იმ რა უთხრა ვარდას, ვარდას რა უთხრა იასას» «Vardma ga iḡga iasa, vardma ga iḡga iasa» (Что сказала фиалка розе и что роза сказала фиалке. См. Разикашвили. Цит. кн., стр. 51—53), змея превратилась в прекраснейшую женщину и вышла замуж (стр. 53). «ზღაპარი ველის ღვაჭლის» «Zḡaraḡi velis ḡvačḡlis» (Сказка о полевом цветке. Там же, стр. 64—67) показывает, как змея превратилась в старика (стр. 65) «ძაბღობას შვილი» «ḡonadḡis švili» (Сын охотника. См. Т. Разикашвили, цит. кн., стр. 24—26). Девушка превратилась в ласточку, в рыбу и опять в девушку. Более того, в одной хевсурской легенде святой Георгий превратился в птичку и перелетел из Сомх[ет]ии в Хевсурию. Георгий божество, дано как Георгий-птица, как Георгий-солнце (см. В. В. Бардавелидзе. Опыт социологического изучения хевсурских верований. Тр. Ист.-эконом. сектора Научно-иссл. института кавказоведения, вып. IV, Тифлис, 1932, стр. 42 и далее).

² Н. Я. Марр. Яфетические зори на украинском хуторе. (Уч. зап., т. I, 1930, М.), стр. 23. Его же. Из Пиренейской Гурни (к вопросу о методе). Изв. КИАИ, т. V (отд. выпуск, Тифлис, 1927), стр. 41.

³ ieg-o 'журавль', о остаток элемента С. о ← on см. Н. Я. Марр и И. И. Смирнов Вишальс, I, Л., 1931, стр. 18. Его же. Яфетические зори на украинском хуторе, стр. 51.

đ — š; груз. qar 'бык', ḡ og 'свинья', qog 'коршун', 'ястреб', и по этой же линии семантически связаны с этими: s-đal → šig ~ šol ← đal → dal 'сестра' → 'женщина', 'жена' (мегр. šig-а 'девушка', груз. šol 'жена') → невеста; с другой стороны связаны со словом dađa форма по сибилантной ветви пипящей группы, множ. ч. dađa по гур. dađa/1. resp. dađe значит 'коршун'; без аффрикативности двухэлементное груз. de-da 'мать' (← 'женщина', de-dal 'курица' 'самка' мегр. da-dul¹ 'самка', чанск. 'курица').¹

Так же гур. dedo 'главный' ↔ 'старший', в выражениях dedo mita 'мир', дословно — 'мать земля', dedo paḡa 'главное шоссе', 'главная дорога', dedo ḡog 'старшая (дослов. мать) свинья', т. е. 'мать', 'главный', 'старший' еще от того времени, когда господствовал матриархат.

Переход из земного среднего мира в мир птиц и рыб, т. е. в небо верхнее и нижнее дан в грузинской сказке ფაშგუნდი «fašgundi»,² в которой фигурируют баран и птица — fašgund. Царевич попал в подземное царство и хочет выйти в надземное царство. Женщина научила его сесть на белого барана, который выведет его оттуда. Он так и сделал, но попал в преисподнюю, еще глубже. Он заслужил у царя преисподней почести и уважение. Царь сказал ему: «Оставайся у нас, я оставляю тебе мой престол». Царевич, как пришлец из верхнего мира, отказался и попросил его помочь вернуться в верхний мир, где живет его красавица-невеста. Царь научил его обратиться к fašgund'у, так как в этом помочь ему может только fašgund. Царевич так и сделал. Он оказал fašgund'у такую услугу, что fašgund не мог отказать ему в помощи. Царевич сел на fašgund'a и действительно попал в верхний мир.³

Имеются различные варианты этой сказки, где вместо fašgund-а фигурируют орел, коршун или какая-нибудь иная большая птица, или же летающий ковер. Встречаются варианты, где герой садится на какое-нибудь животное или на рыбу, или переходит вплавь реку.

Для нас сейчас неважно, на какое животное или на какую птицу он сел. По палеонтологии речи, функциональной или идеологической семантике, они могут заменить друг друга и часто действительно заменяют по каким-нибудь признакам. Нам важнее тот конкретный случай, что царевич в одном случае садится на домашнее животное (баран) и в другом на птицу (fašgund). В одном варианте этой же сказки: ადგებობს და ბუჯდბუჯობს

¹ Н. Я. Марр. Языческие зори на украинском хуторе, стр. 4.

² Разикашвили, цит. соч., стр. 7—11; сравнительно подробнее — перевод этой сказки см. М. Г. Тихая-Церетели. Женский образ шедეპაყავ грузинских сказок (Сб. Триста и Исолда, Тр. ИЯМ, т. II) стр. 152.

³ Разикашвили, упом. соч., стр. 15—19.

«Jadonisa da bulbulisa» мальчик садится на *ogb-1* 'орел' и поднимается в верхнее царство из преисподней, т. е. вместо *faŋgund* фигурирует *ogb-1* — 'орел', и вместо 'барана', 'красная лошадь', 'гап',¹ Больше существенной разницы между этими двумя вариантами нет.

Применение этих существ в сказках для передвижения, в одном случае 'барана' и *faŋgund*, в другом 'лошади' (гап) и *ogb* — 'орел', отражает хозяйственное осознание этих животных на определенной стадии, как средств передвижения. Коршун реально никогда не был средством передвижения, но коршун, как тотем, заменяет другой тотем, который в действительности применялся для этой цели. Такие переходы акад. Н. Я. Марр доказывает с большой убедительностью.² В сказках этот переход четко подтверждается, и выводы акад. Н. Я. Марра находят большую поддержку.

В языке и литературе первобытного общества вскрылся тот факт, что на определенной ступени развития мышления различные существа именовались одним и тем же словом. Раньше человек не различал их по отдельности, не воспринимал как различные существа, живущие на различных небесах. Поэтому-то груз. *ḡqvaq* 'баран' не только 'баран', но по палеонтологии речи вообще животное³ и его дериваты *ḡqovaq* ← *ḡqvaq* 'баран', *ḡqovel* — вообще животное.

ḡqo-vaq 'баран', *ḡqo-vel* 'животное' различаются огласовкой *vaq* ~ *vel*. Первый элемент *ḡqo* / *ḡqog* || *ḡqag* || *ḡqa*^Г значит 'коза'. Груз. *ḡqa*, мегр. *ḡqa*^Г, 'коза', так в полном виде представляется во множ. ч. един. ч. *ḡqa*, мн. ч. *ḡqal-ef-e*¹⁴ 'козлы'. *ḡqal* \ *ḡqa*^Г значит не только 'коза', а также 'баран', что сохранилось в мегрельском яз., где *ŋ-qig* значит 'баран'. В хевсурском, а также тушгинском *ḡqog* 'баран'. С потерей диффузности *ḡq* \ *q* / *qag* 'бык', *ḡog* 'свинья' и *qog* 'коршун', 'ястреб', т. е. 'бык', 'баран', 'свинья' — тотем и, раз тотем — 'небо' — 'дом тотема' и раз 'небо' — также и его дериват 'птица'. Тот же самый элемент с перебоем сохранился в мегрельском, где *qa-ḡag* значит 'коза'.

¹ Ваш 'козь', 'птица', см. Тристан и Исольда. Тр. ИЯМ, т. II, стр. 144, или ЯС, I, стр. 133—136.

² Н. Я. Марр. В тупике ли история материальной культуры? Изв. ГАИМК, вып. 67, 1933, стр. 53. Особенно таблица на стр. 54—57 и предисловие к «Вишань».

³ Н. Я. Марр. Родная речь — могучий рычаг культурного подъема. Изд. Ленингр. Вост. инст. им. Енукидзе, Л., 1930, стр. 28, а также его: В тупике ли история материальной культуры? Изв. ГАИМК, вып. 67, 1932, стр. 16—17.

⁴ И. Кншидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка, МЯЯ, VII, СПб., 1914, стр. 245. — Также: Н. Я. Марр. Новый поворот в работе по языческой теории. ИАН СССР, 1931, стр. 671.

Ṭi-qaq-a 'имени быка' и ðeg-a 'коршун'. Последнее а значит 'дитя', 'отрок', 'сын',¹ т. е. Ṭi-qaq-a, 'дитя земли', ðeg-a 'дитя неба'.

Что касается первого элемента Ṭi, то он может быть остатком элемента С, Ṭi || Ṭi и в полном виде в значении быка не уловлен мной, но мы имеем его дериват — лошадь в форме ṭep-, палеонтологическим путем прослеживаемый из ṭep-eb-a 'гнать лошадь' — ṭep значит 'лошадь'.² ṭip ↔ ṭep (i ↔ e) раз 'лошадь', то в то же время и 'бык' по переходам функциональной семантики. Аналогичное явление (ṭ / ṭep) имеем с названием собаки. С перебоем ṭ в k, без аффрикативности k, k₁ → k₁ восходит к 'коню'.³

Не исключена возможность, что Ṭi элемент А, а не упомянутый С, потому что мы имеем ṭeg-o → ðeg-a 'журавль → коршун' ↔ 'птица', а раз 'птица', она же и 'небо', так как целое и часть носят одно и то же название;⁴ а раз 'небо' и 'птица', то также и 'лошадь', так как лошадь означала 'птицу'⁵, и 'бык' со своим семантическим рядом.

После барана царевич сел на птицу, на φασηγυηδ'а, который дал ему возможность подняться из нижнего мира, из преисподней, из подземного мира в верхний мир, φασηγυηδ, resp. φασηκυηδ — 'маг', 'вестник', 'вещая птица';⁶ 'гриф', как мы выше видели, часто встречается в грузинских сказках и играет ту же самую роль. Трудно в точности сказать, какая это птица. Иногда это и не птица, а какое-то необыкновенное животное. По определению одного грузинского лексикографа, что указывается и акад. Н. Я. Марром, φασηκυηδ телом похож на льва, голова, клюв, крылья и ноги как у орла, он пушистый, некоторые из них четвероногие, а некоторые двуногие; похищает слонов, наносит вред лошадям; иногда совершенно схож с орлом, но весьма крупных размеров.⁷ Акад. Н. Я. Марр подробно

¹ Н. Я. Марр. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык. М., 1929, стр. 28—29.

² Н. Я. Марр. Яфетические зори на украинском хуторе, стр. 24.

³ Н. Я. Марр. Бретонская надменовская речь в увязке языков Афревозазия, стр. 29. Также арм. 'лошадь' элемент С (*ḍip); см. Н. Я. Марр. Китайский язык и палеонтология речи. V. Берская лошадь от моря до моря, ДАН, 1926, стр. 130.

⁴ См. его же: Средства передвижения, орудия самозащиты и производства в до-истории (К увязке языковедения с историей материальной культуры), изд. КИАИ, 1926, стр. 37.

⁵ См. там же, стр. 7. См. его же «Язык и мышление» (М., 1931), стр. 20, 31. Также и более сложные переходы даны в этой работе и также см. его же: В тупике ли история материальной культуры, особенно стр. 53—57. То же: «К семантической палеонтологии в языках не яфетических систем».

⁶ Н. Я. Марр. Ossetica — Japhetica. ИРАН, 1918, стр. 2083. Его же: Ossetica — Japhetica, II, ИАН СССР, 1927, стр. 433; вышеуказанная работа «Визшаны», стр. 22. Его же: Яфетическая теория, Баку, 1927, стр. 106.

⁷ См. цит. Ossetica - Japhetica, I, стр. 2083.

останавливается на этом слове и дает все его формы, которые встречаются как в литературе, так и в устной речи: в армянском, грузинском, осетинском и сванском языках. В грузинском современное понимание *faskund*-'а таково: он похож на 'грифа', 'орла' 'коршуна' и 'ястреба'. В народных стихах он описывается как очень красивая птица, и часто название это употребляется для сравнения, чтобы выразить особую красоту женщины или героя. Наш *fashgund* в этом варианте 'птица', но в другом уже животное с человеческими манерами.¹ В сказках *faskund* не только могущественный по своей физической силе, но также умный, способный, знающий как выйти из трудного положения, способный оказать помощь другим как своей физической силой, так и своими хитростями.

Интересно, что в некоторых вариантах *faskund* заменяется *orb*-1 'орлом'. Это находим не только в сказке, но и в письменной литературе, где в переводах Библии в одном издании сказано: «*orb-i, faskund-i da kanə-1*» в другом «*orb-1 da kanə-1 da ðer-1*»,² т. е. отсутствует *faskund*-1, но прибавлено *ðer*-1 'коршун'.

Мы видим в наших сказках и в языках, из которых мы приводим материал, как хорошо сохранились еще пережитки диффузного, нерасчлененного представления о средствах передвижения, а также представление об единстве трех небес.

Животные, как средства передвижения, действующие в разных видах, заменяют в сказках друг друга, свободно действуют как на земле, так на небе и в воде. Как в памятниках материальной культуры, так и в фольклоре и в языке хранятся пережитки космического и тотемистического мышления. Материалы из этих различных областей так переходят друг в друга и дополняются одно другим, что нет возможности без учета одного изучать другое. Особенно средства передвижения именовались по своим социальным функциям в социальной жизни, и не только животные, рыбы и птицы заменяют друг друга, но также вода, лодка, арба (колесница Илии) и т. д. Фантазия раннего человека подняться на воздух реализована с развитием техники и изобретением самолетов и дирижаблей.

Ленинград, 10 XI 1933 .

¹ См. «*ფაშგუნდი*» (*faskund*). *ფაშგუნდი* № 131, 1889 и № 133, 1889.

² См. Н. Я. Мара. *Ossetica — Japhetica*, I, стр. 2083.



И. И. МЕЩАНИНОВ

ХАЛДО-ГРУЗИНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Памятники древнего письма, в частности и клинописные, и в особенности те из них, число которых весьма ограничено, вызывают значительные сомнения в правильности их интерпретации. К таким памятникам, несомненно, относятся и древне-ванские.

Язык этого письма, по общему мнению всех исследователей, не входит ни в состав индо-европейских, ни в состав семитических. Более того, никто из халдоведов настоящего времени не оспаривает правильности отнесения его к кавказской группе, т. е. к кавказским яфетическим языкам. В связи с этим, обращается особое внимание на кавказоведный подход к речи древнего Урарту и на разъяснительные ее истолкования, основанные на анализе структуры языка и на отдельных сопоставлениях с одностадиальными языками, еще и сейчас наличными на Кавказе.

С этой стороны впервые углубленно подошел к речи халдов-урартов акад. Н. Я. Марр, не только посвятивший ряд исследований изданию халдских текстов, но и использовавший их материал значительно шире одних только кавказских параллелей. Углубленная проработка материала, проведенная Н. Я. Марром в течение целого ряда лет, начиная с 1915 г., уточнила понимание многих спорных мест и раскрыла новые горизонты, недоступные лицам, вовсе не знакомым с характерными явлениями языков яфетических систем.¹

Параллели из других неродственных языков, главным образом соседней Ассирии, не могли вскрыть остов халдской речи, и, нередко, проводимые аналогии не являлись искомым лучом света для уяснения морфологических норм языка, чуждого семитической речи. При таких условиях, ученые интерпретаторы, незнакомые с Кавказом, и потому вынужденные ограничиться формальным анализом клинописных текстов древнего Вана

¹ Список халдоведных работ Н. Я. Марра см. в «Классифицированном перечне печатных работ по яфетологии», изд. 2-е, Л., 1926, стр. 26.

в виду невозможности уловить структурные их особенности на примерах близких языков, не только обходят молчанием некоторые достаточно ясные моменты языковой стройки, но даже становятся втупик перед смущающими их фактами, не поддающимися разъяснению одним только формальным подходом в пределах своего только языка.

К числу таковых фактов относится совпадение в халдской речи местоименных основ 1-го и 3-го лиц. Такое совпадение отметили еще Lehmann-Haupt и Götze, в особенности последний.¹ Основываясь на выводах еще Сэйса, признавшего в слове *me-1* местоимение 3-го лица в родительно-дательном над.,² они сохранили его же перевод хорошо известной формулы проклятия *riei-ni me-1 arqi uruha-ni me-1 ipai-ni me-1... имя его, потомство его...³*, где слово *me-1*, казалось бы, ясно выступает в своем местоименном содержании.

Такой перевод частицы *me-1* ('его') сохраняет силу. Действительно, за это говорит не один лишь контекст заклинательной формулы, но и другие места халдских же текстов, на которых придется остановиться несколько ниже.

Смущающим исследователей оказалось то, что наличный материал выявил ту же местоименную основу *me* не только в 3-м лице, но и в 1-м. Оказалось, что предположения Götze об отнесении к той же основе энклитической местоименной приставки *-me*, выражающей в глагольных и именных формах 1-е лицо, оправдалось последующим анализом текстов.⁴ С этим согласился и J. Friedrich, не оспаривающий правильности переводов таких фраз, как: *Qaldin-me aguni* 'бог Халд мне дал'; *agu-me meshu*, 'дал мне добычу'; *qashal-me DINGIR. MEŠ zatu-me qagi* 'соблаговолили -мне, боги, сделали -они-мне путь' и т. д.⁵

Во всех этих примерах местоименная приставка *-me* выступает в значении первого лица не менее ярко, чем выступает та же основа в формуле проклятия в роли самостоятельного местоимения 3-го лица.

Такое совпадение личного или притяжательного местоимения 3-го лица с энклитическим местоимением 1-го привело к тому, что Götze verquickt sogar zweifelnd *-me* «mir, mich» mit diesem angeblichen *me-1* 'sein',

¹ C. F. Lehmann-Haupt. ZDMG, 56, стр. 110; 58, стр. 850; A. Götze ZA, NF, 5, стр. 121 сл.

² A. H. Sayce, JRAS, 1882, стр. 438 сл., 547 сл.

³ Значение отдельных слов, кроме более точного в своем значении *mei*, восстанавливается условно по ассирийским параллелям.

⁴ Götze ZA, NF, 5, стр. 121 сл.

⁵ J. Friedrich. Caucasia, 7, стр. 71—72; 8, стр. 131; Einführung ins Urartäische, стр. 16, § 74.

unter der Grundbedeutung 'Ich-Person, Er-Person'.¹ С другой стороны, это же совпадение дало основание J. Friedrich вовсе отказаться от признания *me-i* за местоимение вообще и согласиться с Tseretheli, который hat das Richtige getroffen, indem er *me-i* als 'auch' deutet; genauer möchte ich (т. е. J. Friedrich) 'und', 'auch' ansetzen.²

J. Friedrich стал уверенно на путь отрицания и сохранил за местоименною основой *me* значение только 1-го лица. Тем самым, казалось бы, он вышел из получившегося осложнения, вызванного констатируемым смешением форм двух противоположных лиц. Но выход оказался не так прост. Далеко не все разновидности той же основы можно было отбросить с такою же легкостью, в частности *me-i* в значении 3-го лица все же оказалось в халдских текстах в форме *me-i-ni* 'его'.

Встретившееся по пути затруднение в наличии формы *me-i-ni* все же в значении местоимения 3-го лица J. Friedrich обошел, дав данной форме иное истолкование: по его словам, мы имеем здесь частицу *me-i* 'und, auch' и местоимение 3-го лица, представленное частицею *-ni*. Полностью же вся форма получила в его объяснении перевод 'вот его' (*nun ihn*).³ Если бы это толкование оказалось верным, то гармония языковой структуры была бы установлена с точным размещением местоименных основ по лицам (1-е - *me*, 3-е - *-ni*).⁴ Но сами поиски чистоты и безукоризненной выдержанности отдельно взятых языковых форм оправдываются в данном случае не особенностями строя речи, а научным к нему подходом, отрицающим возможность исторически обусловленного стечения форм. Исследователь на этот раз подошел к анализу языка с заранее поставленной себе задачей понять строй изучаемой речи в его формальной выдержанности, а не в содержании самой структуры, допускающей сосуществующие противоречия в самом формальном выявлении.

Выход из затруднительного положения все же не найден, и даваемое объяснение слова *me-i-ni* едва ли приемлемо, хотя J. Friedrich, с полным на этот раз основанием, усмотрел в суффиксе *-ni* местоименное значение объективного содержания (*das Pronominalsuffix, das das Akkusativobjekt beim Verbum noch einmal aufnahm*).⁵ Действительно, названный суффикс выражает объект в глагольном оформлении, напр., *indimtu-ni* 'соорудил-его', а также 'соорудили-его'. В этой приставке глагол выражает только

¹ J. Friedrich. *Caucasica*, 8, стр. 135.

² Там же.

³ Там же, 8, стр. 140; *Einführung ins Urartäische*, стр. 45.

⁴ J. Friedrich. *Einführung ins Urartäische*, стр. 17, § 74 в.

⁵ *Caucasica*, 8, стр. 139—141.

Сб. в честь В. И. Марра.

объект в его единственном числе. Та же приставка -*ni* выступает и в роли объективного падежного окончания: *kaḡi-ni* ^{ср.} *Ḓtiḡi-ni* 'покорил страну Этиуни', буквально 'покорил-его (ее) страну Этиуни' и др.¹ Но дело в том, что частица -*ni* и в спорной форме *mei-ni* выступает не как местоимение, а в том же дериватном значении уже падежного окончания, что явствует из сопоставлений таких контекстов, как:

aluše uliše tiuhe iеше zadubi turinim 'Qaldime... uluhe
aluše uliеше tiuhe iеше zadubi meim 'Qaldime... kulitun

'кто другой скажет: я (это) сделал, виновника бог Халд... низвергнет';

'кто другой скажет: я (это) сделал, его бог Халд... предаст.'²

Здесь оба слова, и *turim-ni* и *mei-ni*, носят одинаковое оформление, и поэтому изложенные выше толкования J. Friedrich опадают. Если он сопоставляет *turim-ni*, по его оформлению, с *ma-ni*, отмечая в обеих формах объективную приставку (-*ni*),³ то на тех же основаниях следует сопоставить его и с *mei-ni*, тем более, когда оба слова заменяют друг друга в совершенно сходных фразах. Следовательно, и в *mei-ni*, в его признаваемом значении местоимения 3-го лица, обнажается основа *mei*.

Таким образом, приходится по данным одного только даже формального анализа клинописного материала констатировать в халдском языке совпадение основ местоимений 1-го и 3-го лиц при установлении той же основы в значении 3-го лица самостоятельного местоимения и 1-го лица в энклитическом.

Подобное своеобразное языковое явление, конечно, может поставить в тупик. И естественно, что исследователь, замкнутый в рамки изолированно берущегося языка, будет искать выход из встретившегося затруднения не в анализе языковой структуры целиком, так как для этого один лишь халдский материал далеко недостаточен, а в интерпретации только формы, каковая при таких условиях нередко приводит к шатким построениям. Между тем, если брать халдскую речь не в ее собственной изоляции, а на фоне кавказских языковых параллелей, то возникшие сомнения разрешаются гораздо проще и яснее.

В кавказских яфетических языках мы наблюдаем в широком распространении именно данного рода явление — смещение 1-го и 3-го лиц. Так, в грузинском имеем местоимение *me* 'я' (1-е лицо), а в косвенных падежах *m-is* 'его', *m-as* 'ему', дат. арханч. *m-an* (3-е лицо), в чанском *m-an* 'я'

¹ Подробнее см. в печатающейся моей работе «Язык ванской клинописи».

² *Corpus* 27; стр. 32—36 и *Corpus* 13 оборотная сторона, стр. 29—31.

³ *Einführung ins Urartäische*, стр. 44—45.

(1-е лицо). В особенности ясно выступает стечение двух указанных противоположных значений в местоименной основе *me* ($\rightarrow m$) при сличении косвенных падежей самостоятельных местоимений в 3-м лице: родит. *mis*, дат. *mas*, и их же энклитических в 1-м лице: родит. *mi* ($\leftarrow mis$), дат. *ma* ($\leftarrow mas$). Напр., самостоятельные, *saqeli mis* 'имя его', энклитические *mi-stav* 'мне-(ты)-ткешь', *mi-stav-s* 'мне-ткет-он' и в объективном строе *mi-ivav-s* 'я-сжег', в относительном спряжении *me-tkw-s* 'мне-скажет-он' и т. д.

Вернемся теперь к халдскому языку, но уже с его грузинскими параллелями. В халдском родительный падеж суффиксируется на *-i*, в грузинском — на *-is*. Отсюда, при местоименной основе *me* ($\rightarrow m$), имеем в халдском *me-i*, в грузинском *m-is*, напр., груз. *saqeli mis* 'имя его', халдск. *mi me-i* 'имя его'. Та же основа *me* ($\rightarrow m$) выступает как в грузинском, так равно и в халдском, в косвенных падежах объективной местоименной приставки 1-го лица в глагольном оформлении, ср. груз. *me-tkw-s* 'мне-скажет-он', халдск. *agu-me* '(он)-дал-мне' и т. д.

Ясно, что в приведенных параллелях мы имеем не случайные созвучные совпадения, а выдержанные соответствия, притом на этот раз не только в корнеслове, но и в структурном состоянии.

Мне кажется, что эти параллели достаточно убедительны для того, чтобы не согласиться с J. Friedrich, который решительно отрицает *die Vergleiche, durch Heranziehung von allerlei Klingklang aus modernen Kaukasussprachen und Armenisch, aus Hethitisch, Subaräisch u. a. die Deutung des Urartäischen zu fördern.*¹

Как раз наоборот, только внутренняя самоизоляция в весьма ограниченной по составу толще халдского языка приводит исследователя в смущение перед ясными при более расширенных горизонтах языковыми фактами. И совершенно напрасно J. Friedrich mit voller Absicht обходит молчанием выводы оспариваемого им метода.

Этим, в свою очередь, обуславливается непонимание фактов, обрекающее на вечное состояние скитания в глубоких потемках мертвого лингвистического материала.

J. Friedrich напрасно пугается подхода к ставшему его специальностью языку с анализом его на общей структурно-стадиальной почве той же языковой системы. Ведь, действительно, приведенные здесь примеры вовсе не *abschreckende Beispiele*, хотя они и заимствуются из *dieser vor allem in Russland geübten etymologisierenden Methode.*²

¹ Там же, стр. IV.

² Там же.

Б. В. МИЛЛЕР

О ПОЛИСТАДИАЛЬНОСТИ ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ

I

Иранские наречия дают обильный материал для проверки некоторых положений нового учения о языке. В них наблюдается немало пережиточных явлений, указывающих на их разностадиальность и позволяющих, хотя бы еще в очень неопределенных очертаниях, наметить некоторые моменты в их эволюции. Все эти наречия, раскинувшиеся на громадной территории от границ Индии и Восточного Туркестана на востоке и до почти границ Сирии на западе, и от ущелий Осетии на севере до берегов Индийского океана на юге, представляют весьма разнообразную и пеструю картину, как разнообразны говорящие на них народы и племена, среди которых мы видим и древнюю историческую персидскую нацию, эволюция письменного языка которой прослеживается на протяжении более двух тысячелетий, и множество других народов и племен, крайне различных и по своей численности (напр., многомиллионные афганцы, таджики, курды, с одной стороны, и некоторые горные племена или сельские общества Памира, Гиндукуша — в несколько тысяч, а то и всего в несколько сот человек), и по социально-экономическому укладу (классово-расчлененные жители персидских городов или скотоводы-полукочевники, живущие в родовом строе) — и по своему окружению и соседству с другими народами самой разнообразной культуры (тюрками Азербайджана и Турции, туркменами, узбеками, индусами, русскими, армянами, арабами и др.), и, наконец, вообще, по степени своего культурного развития и участия в культурной эволюции человечества (изолированные малочисленные группы в глубинах Персии, Афганистана и Белучистана, или же иранцы СССР, осетины, таджики, включенные в интенсивный процесс социалистического строительства).

Следовало бы ожидать, что крайнее разнообразие языковых фактов, констатируемых современными иранистами, заставит их отступить от

шаблонов формального индоевропейского подхода к их изучению, отка-
заться от пресловутого, хотя бы и гипотетически восстанавливаемого
праиранского языка, от втискивания в прокрустово ложе фонетических
законов и грамматических схем подлежащих разъяснению фактов иранских
языков, и от поразительного игнорирования реальных человеческих коллек-
тивов, носителей этих самых языков. Но иранистика до последнего времени
является самым отсталым участком обще-индоевропейского фронта. Ни-
какого, даже хотя бы самого скромного, «социологического» подхода в своих
работах она не проявляет. Мало того, ею до сих пор не проделана даже
та формальная работа, которая сделана по другим «семьям» индоевропейских
языков, не дано характеристики, хотя бы формальной, входящих в обширную
иранскую «семью» языковых групп. Правда, имеется классификация, в основу
которой положен один фонетический признак — отражение древне-иранской
группы *dy* в различных наречиях, на основании которого получены
три диалектических горизонтальных полосы (изоглоссы) — северная,
средняя и южная, — а на основании некоторых других, также фонети-
ческих, особенностей, получилась возможность объединить памирские
наречия с языками афганским и балучским, а персидский язык с курдским,
отчего получились еще две вертикальных изоглоссы — восточная и запад-
ная.¹

Эти классификации, оперирующие случайно выхваченными фонети-
ческими признаками, нисколько не пытаются характеризовать фонетический
состав языков как систему (напр., по ступеням озвончения глухих,
по палатализации, лабиализации, тенденции к сингармонизму гласных
и т. п.) и нимало не смущаются наличием таких языков, как афганский,
осетинский, курдский, наречия Памира, фонетика которых никак не может
быть выведена из праиранского фонда или возведена к нему. Ясно, что
такие классификации по случайным признакам ничего не могут выяснить
в вопросе о сложных взаимоотношениях отдельных наречий и ничего
не дают для понимания их структуры, хотя бы в их внешней статике.
Вопроса же о стадийности в развитии иранских наречий индоевропейцы,
конечно, поставить себе принципиально не могут.

Насколько бесплоден формальный метод строгих индоевропейцев,
когда они себе ставят целью не накопление только новых фактов (издание
текстов на языках, мало или вовсе не исследованных, или работы описа-
тельно-грамматические), а задачи исследования так наз. проблем, можно

¹ А. А. Фрейман. Среднеперсидский язык и его место среди иранских языков. Вост.-
Зап., т. I, Л., 1927.

иллюстрировать примером, взятым из работ покойного талантливого Готтио (кстати сказать, не только кабинетного ученого, но исследователя живых наречий Памира, лично посетившего эту область). Свою громадную эрудицию и блестящую аргументацию он, напр., посвящает доказательству единого происхождения, из одной праиранской формы — *ǰwa двух столь несходных суффиксов мн. числа как *ihā* (в пехлеви, персидском) и *-t*, который мы встречаем в «скифской» (северной) группе иранских наречий (согдийском, ягноби, осетинском).¹ Получился же такой результат от того, что-де в последней группе — *ǰwa оказалось конечным и дало через ряд восстанавливаемых переходов ($*ǰwa > -*twa > -*tw > -*t^w > \cdot t^p > -t$) — *-t*, тогда как в персидском языке это самое *-ǰwa* было подкреплено другим суффиксом *-iya* и сохранилось в косвенной форме в качестве показателя мн. числа, давши в результате *-ihā* ($i+h+a < iya +ǰwa +ā$), (*ā* древний суффикс отложительного падежа). Таким образом, по словам Готтио, *l'unité iranienne se manifeste au nord et au sud*. О наличии зубного показателя мн. числа *-t* в ряде яфетических языков Готтио или не знает, или, если бы знал, то оставил бы этот факт без внимания, как совершенно неинтересный для подтверждения «иранского единства», а если бы он вспомнил о существовании такого же показателя мн. числа в иранском, осетинском (*-tā*) или в курдском языке (*-idā, -dā* и т. п.), то это разве только дало бы ему основание переключить последний из южной полосы изоглосс в северную.

В XX в. появилось в Западной Европе много крупных работ по живым иранским наречиям. Назовем имена Оскара Манна, Г. Моргенштерне, К. Хадавка, А. Христенсена, Г. Юнкера. Каждый иранист не может не чувствовать величайшей признательности этим ученым, обогатившим иранистику новыми и очень ценными материалами. Но обработка ими этих материалов выявляет все основные недостатки, свойственные индоевропейской лингвистике. Везде мы видим крайнюю боязнь обобщений, особенно в области морфологии, и полное отсутствие работ по семантике, так как ведь нельзя отнести к таковым этимологические словари, вроде, напр., *Этимологического словаря Пашто*, Г. Моргенштерне, очень ценного по использованному материалу, но вся этимологизация которого сводится к сведению слов к словам, без установления связи между формой слова и его значением и с традиционным возведением слов к «иранским основам», и сопоставлением с авестийскими формами и со словами других иранских и некоторых других индоевропейских (по преимуществу)

¹ *Mém. d. Soc. Ling.*, t. XX, 2^e fasc., 1916, pp. 71—77. *Du pluriel persan en-ha.*

языков. В некоторых работах¹ мы встречаем малополезное увлечение фонологией, со стремлением отметить в записях самые незначительные моменты индивидуального произношения. Но это, впрочем, не избавляет весьма крупных иранистов от грубейших неточностей в передаче фонетического облика исследуемых наречий. Курдские записи О. Манна воспроизводят, напр., ту же неточную картину курдской фонетики, которую в XIX в. давали записи Лерха, Прима и Соцна, Макаша и др. Европейское ухо этого ираниста, так же, как и ряда других работников в этой области, Соана Бейдара, Фоссума, Джардина (кроме армян Аджариана и Эгиазарова), не сумело различить ряда курдских фонемных звуков, — именно придыхательных *p*, *t*, *k* и двух видов *ç* и *g*, имеющих фонематическое, дифференцирующее слова значение. Фонетические соответствия, установленные компаративистами, до сих пор считаются ненарушаемыми, и лишь у одного ираниста (К. Хаданка) мы находим скептическое к ним отношение, что мною уже раз было отмечено.²

Когда иранистам приходится охарактеризовать какое-нибудь зафиксированное их записями наречие или найти ему место среди других, они проявляют большую безидейность и методологическую беспомощность. Приведем несколько примеров. Арт. Христенсен в своей новейшей работе³ объединяет талышский язык в одну подгруппу с татским, а также мазендеранским и гилеки, воспроизводя целиком (за исключением семнани) имеющую уже сорокалетнюю давность классификацию Гейгера, в основе которой лежала в сущности терригоральная близость этих «прикаспийских» наречий, и совершенно не считаясь с громадным структурным отличием талышского языка, который строго проводит пассивную конструкцию прошедших времен, утраченную татским, мазендеранским и гилеки. Далее, пытаясь охарактеризовать три им изученных говора «центральных» — натанзи, феризенди и ярани, он выхватывает отдельные фонетические и морфологические факты и на их основании устанавливает то отличие между феризенди и ярани, то между феризенди, с одной стороны, и натанзи и ярани, с другой, то между феризенди, с одной стороны, и ярани и натанзи, с другой, то, наконец, между этими тремя говорами и тем натанзи, образцы которого представлены в записях его предшественников — В. Жуковского и О. Манна. Ясно, что такой метод, не дающий никаких обобщений, не

¹ Напр. у F. Junker'a, *Drei Erzählungen auf Yaḡnūbi*. Heidelberg, 1914.

² К вопросу об языке населения Азербайджана до отуречения этой области. Уч. зап. Инст. нар. Востока СССР, т. I, стр. 224, 1930.

³ *Contributions à la dialectologie iranienne*. Copenhague, 1930.

пытающийся проникнуть в былую значимость морфологических элементов, не затрагивающий вопросов синтаксиса, ничего нам дать не сможет, а те бесчисленные комбинации, которые при нем получатся (вспомним, что иранских наречий и говоров несколько десятков), еще более затемнят и усложнят картину взаимоотношений диалектов. К. Хаданк в своей последней работе — обработке текстов наречия заза по записям Манна,¹ работе, кстати сказать, выполненной с той же основательностью, какая отличает и предшествующие работы этого ученого, применяет, в сущности, тот же метод исследования. Он сперва указывает на фонетические и морфологические отличия этого наречия от языка курдского, к которому его причисляли до Манна, а затем отмечает «многосторонность отношений родства» (*die Mehrseitigkeit der Verwandtschaftsbeziehungen*), соединяющих заза то с одним, то с другим из иранских наречий, и тут перед нами проходят и разные наречия Персии (астрабади, мазендерани, сангисари, гурани), и Афганистана (пашто, парачи, ормури) и язык осетинский. Далее Хаданк выходит за пределы иранского мира и ищет связей заза с языком греческим и армянским, связей более тесных, чем какие объяснялись бы «индогерманским родством». Все эти рассуждения свидетельствуют о большой эрудиции автора, но весьма мало продвигают проблему классификации иранских наречий, так как опять-таки мы не видим никакой системы в отборе классификационных признаков, не говоря уже об отсутствии всякой мысли о увязке их с какой-нибудь общей схемой (если не теорией) языкового процесса.

II

В иранских языках имеется немало «яфетидизмов», пережиточных явлений, характерных для более древней стадии мышления. Остановимся на некоторых из них.

Слабая дифференциация времен и наклонений. Одна и та же временная форма служит для выражения ряда времен, что зачастую сбивает с толку европейских исследователей, стремящихся вложить иранские глагольные формы в привычные им схемы европейских языков (ср., напр., работу Христенсена о семнани). Мышление древних эпох, как известно, не знало той дифференциации времен, которая выработалась позднее. Индоевропейцы принимают, что первоначальный «индоевропейский» глагол имел формы для обозначения различных видов действия, понятия же

¹ KPF, Abt. III, Bd. IV, Berlin, 1932.

временных различий, времен абсолютных, развились уже позднее, из понятия первых. Также смутны и неясны были в «индоевропейском» языке понятия наклонений, напр., конъюнктив и оптатив дифференцировались лишь позднее. В семитических языках и теперь смешиваются понятия времени и вида и нет особой от настоящего времени формы для различения будущего времени.

Такую же картину плохого различения времен и наклонений мы видим во многих иранских наречиях, что вполне подтверждает положение яфетидологии о том, что времена и наклонения, в сущности, одно и то же и что учение о наклонениях является продуктом схоластического мышления индоевропейцев. Говоры провинции Фарс плохо различают времена прошедшее совершенное (перфект) и давнопрошедшее, говор хунсар и аорист (наст. время сослаг. наклонения) и претерит, семнани — времена повествовательные и описательные; он смешивает также два будущих (I и II) и три временных формы (претерит, перфект и плюсквамперфект), со-кохруди не различает имперфекта от претерита. Семнани плохо различает наклонения — изъявительное от сослагательного. Как известно, в яфетических языках эти два наклонения также смешиваются, так как соответствующие им понятия не дифференцировались в мышлении.

Многие иранисты зафиксировали в своих записях крайнюю нерегулярность и взаимопроникновение разных глагольных форм, откуда отсутствие стройности и логичности в спряжении. Такова, напр., нерегулярность форм спряжения претерита в наречии авромани.

Поразительно пеструю картину представляют иранские наречия и в отношении числа глагольных форм для выражения временных и модальных оттенков. Наряду с наречиями, богатыми в этом отношении, как, напр., талышский язык, мы встречаем много бедных, мало развивших такие формы (наречия персидского Запада).

К числу архаических черт относят, обычно, и отсутствие инфинитива. В этом отношении опять мы наблюдаем чрезвычайное разнообразие. В одних из персидских (т. е. находящихся на территории Персии) наречий его, повидимому, нет (семнани), или его очень трудно усмотреть (феризенди, ярани, кохруди), или он очень редок (натанзи), или его определенно нет (кендулам). В других же он, как отглагольное имя, играет большую роль в спряжении (талышский яз., балучи, афганский, зебаки, татский и др.). Использование отглагольного имени в спряжении подводит нас к проблеме соотношения или приоритета глагола и имени в примитивном мышлении. Очень интересен способ образования наст.

времени в талышском языке. Презенс глагола 'говорить' (инфинитив — *voté*, основа *vot*): *voté-da-m* (стяженно 'vóttam'), *voté-da-š*, *voté-da*, *voté-da-mon*, *voté-da-on*, *voté-da-n*. Здесь в частице *-da* мы имеем послелог *-da*, используемый для локативного падежа в склонении имен (*kā-da*-в доме), и таким образом устанавливается, как в языках Дагестана, связь глагольного формата и падежного. Форма *voté* является несомненно самостоятельным именем — 'говорение' и весь комплекс, напр., 1-е л. ед. ч. ~~образуется~~ на 'я в говорении (в процессе, в состоянии говорения) есмь'. Глагольный элемент мы здесь имеем только в личном окончании (гл. быть). Нам думается, что в татском языке в образовании презенса мы имеем аналогичное явление: презенс от глагола *bārdān* 'нести', 'я несу' — 'ты...' 'он...' — *bi-bārdān-um*, *bi-bārdān-i*, *bi-bārdān*, где талышскому послелогу *-da* соответствует префикс *bi*. Подтверждается положение яфетидологии о том, что префиксы и суффиксы, признаки взаимоотношений, были те же для глаголов и для имен существительных, различие было не в элементах, а в их функциях. В нашем талышском примере мы видим, что в одном случае *-da*, как падежное окончание, служит для выражения положения в пространстве, а в другом — для выражения положения во времени, что выявляет «пространственный» характер примитивного мышления.

Неразличение залогов. В персидском языке есть немало глаголов, имеющих одновременно переходное и непереходное значение, объединяющих действительный залог и средний: *gīxtān* 'лечь', 'лечься', 'течь', *sūxtān* 'гореть' и 'жечь', *āsūdān* 'отдыхать' и 'давать отдых', 'успокаивать', *āfzūdān* 'увеличивать' и 'увеличиваться', *kāstān* 'уменьшать' и 'уменьшаться', *pāmudān* 'показывать' и 'казаться', *āmūxtān* 'учить' и 'учиться', *āmixtān* 'смешивать' и 'смешиваться', *fārsūdān* 'тереть', 'уничтожать' и 'изнашиваться', 'портиться', *āšoftān* 'волновать' и 'волноваться', *tāftān* 'нагревать' и 'быть горячим', *peivāstān* 'соединять' и 'соединяться', *zādān*, *zā'idān* 'родить' и 'родиться', *šekāstān* 'сломать' и 'сломаться' и т. д. В таком смешении залогов нельзя не видеть весьма архаического пережитка. Примитивное мышление (и язык) удовлетворялось только одним словом для выражения факта, который одновременно был и «действием», если стать в положение агенса, и состоянием или результатом действия, с точки зрения объекта действия. В дальнейшем, персидский язык выработал разные приемы для избежания двусмысленности, с которой уже не хотело мириться уточняющееся сознание; для этой цели был использован «принудительный» залог (*sūzānīdān* 'жечь', наряду с *sūxtān*, за которым преимущественно закрепляется значение 'гореть'), вспомогательные глаголы

(*āsūdā kārđān* 'успокаивать') или разные описательные способы (*pāmājān*, *pāmūdār šodān* 'показываться') и т. п.

Архаической чертой является, несомненно, и неразличение лиц в глаголе. В хунсари мы имеем одну форму для 2-го и 3-го л. ед. ч. в перфекте, в натанзи — одну форму *verbi substantivi* в 1-м и 2-м л. ед. ч. в презенсе и аористе, в нем же — общая форма местоименного суффикса 3-го лица в ед. и во мн. числах, в некоторых говорах Памира (зебаки, ишкашими) — также общая форма местоим. суффикса для всех трех лиц мн. ч. В курдских говорах мы имеем одну форму для всех трех лиц мн. ч. в наст. времени, или же общую форму для 2-го и 3-го л. мн. ч. В курдском говоре Азербайджана (СССР) мною отмечено в записях¹ совпадение глагольной флексии 2-го и 3-го л. ед. ч. в презенсе, чего уже не наблюдается в говоре курдов Советской Армении, где эти лица различаются. В семнани имеется также одна форма для всех трех лиц мн. числа. В татском говоре Рустовского района мною отмечена одна только форма для третьих лиц, именно форма ед. ч. используемая и для 3-го л. мн. числа: *ûşun rîlou bahardən* (вм. *bahardenünd*) 'они едят плов'. Сюда же нужно отнести отмеченное мною в курдских говорах Азербайджана и Армении употребление формы 3 л. ед. ч., личного местоимения *aw* 'он', вместо *awidā* и *awān* 'они'.

Во многих наречиях можно отметить свойственный неясности (диффузности) примитивного мышления полисемантизм глаголов. Так, напр., в махаллати один глагол выражает понятия 'иметь' и 'держатъ', в натанзи — один глагол для 'итти' и 'приходить'. Повидимому, аналогичное явление полисемантизма смешения глагольных понятий, впоследствии дифференцировавшихся, можно встретить в курдском говоре мукри. В текстах О. Манна² мы находим такой интересный пример: *āngō hîc firzândû nâbû* — *ihr hattet keinen Sohn* (по-персидски было бы дословно: *شما هیچ فرزندی نمان بودید*, а по-русски — «вы никакого сына вам (или 'у вас') вы не были», в котором глагол 'быть', очевидно, имеет значение 'иметь'. Манн затрудняется дать объяснение, если только здесь, по его мнению, мы не имеем распространения типа, созданного пассивной конструкцией претерита переходных глаголов на глаголы непереходные. *Firzând*, как видно из контекста, представляет несомненно ед. ч. и никак не может быть понято в смысле коллективном. В подавляющем числе иранских наречий исполь-

¹ На месте, летом 1933 г., когда я участвовал в экспедиции по обследованию курдов Закавказья, организованной Институтом национальностей при Ученом комитете ЦИКа СССР.

² КРФ, Abt. IV, Bd. III, T. I S. XСII.

зается одно слово для понятия «бытия» и «становления», для глаголов «быть» и «стать», именно слово, начинающееся с губного *b* (перс. būdān 'быть'). Когда же в дальнейшей эволюции некоторые наречия вырабатывают систему сложных временных форм, страдат. залога и т. д., то они используют в качестве вспомогательного глагола этот глагол «бытия», употребляя его для выражения «состояния», а для «становления» вводят другие глаголы, напр., в персидском языке использован глагол *šodān*, имевший в нем раньше и имеющий и сейчас во множестве иранских наречий значение 'итти', или же (в класс. перс. яз.) глагол *āmādān* 'приходить'. В таджикском языке в сложных временах глагол «быть» заменяется глаголом 'стоять' *istōdan*, выражающим состояние неподвижности, отсутствие перемны, движения.

Тогда как среднеперсидский язык утратил различение родов, во многих иранских наречиях таковое в смысле деления имен на категории мужского рода и женского сохранилось, причем в одних в большей степени, в других в меньшей; а в некоторых наречиях сохранились лишь слабые намеки. Никаких попыток разъяснения этой сложной проблемы о грамматических родах в иранских языках до сих пор не имеется, за исключением небольшой работы о проблеме рода в курдском языке.¹ Приведем несколько примеров из иранских наречий. В семнани многие существительные — женского рода. В феризенди есть намеки на ж. род, именно, у некоторых глаголов презенс 3-го л. ед. ч. и претерит некоторых непереходных глаголов имеют специальную форму, когда дело идет о существах женского пола. В кендулаи преобладают имена мужского рода, но имена многих животных женского рода; есть также различие по родам в детерминативном суффиксе. В авромани, в шугни и в орошорском наречиях различаются два рода, причем изменяются гласные, а частично и окончания. В мунджани, ормури и в афганском все имена по окончаниям делятся на два рода, мужской и женский. В заза тоже имеется женский род, выявляемый в именах существительных, местоимениях, глагольных флексиях, изафете и, иногда, в прилагательных. Курдский язык тоже знает два рода, причем женский род имеет особую огласовку в изафете, уменьшительном суффиксе, суффиксе звательного падежа и в суффиксе косвенного падежа (последнее, повидимому, в наречии Захо-Джезире).² Наличие

¹ А. Шамиль, И. Цукерман, К. Курдоев. Письменность и революция. Сб., 1, стр. 160—179.

² См статью тех же авторов о изафете в курдском языке (Письменность и революция № 1, 1933) и мою статью «Курдская грамматика Бейдара», в Сб. 1, Письменность и революция, 1933.

форм для ж. рода мною отмечена и для курдского говора Советского Азербайджана в моих записях летом 1933 г.

Проблема грамматического рода принадлежит к одной из труднейших проблем языковедения. У буржуазных лингвистов, напр., у Тромбетти,¹ мы встречаем утверждение о происхождении грамматических родов из классов существ и предметов, на которые делило мир сознание первобытного человечества, и убеждение, что естественный род произошел из грамматического, а не наоборот, а также ценное признание, что для разрешения этой сложной проблемы следовало бы poter rivivere con la mentalità degli uomini primitivi.²

В освещении нового учения о языке грамматическая категория м. и ж. рода тоже отнюдь не указатель пола, а была, генетически, симптомом класса, общественной категории, к которой относились данное существо или предмет, и это разнообразие, которое в этом отношении проявляют иранские наречия, указывает на разностадийность у языковых коллективов в эволюции их мировоззрения, определяемого базисом общественно-производственных отношений. С этой точки зрения материалы иранских наречий заслуживали бы специальной проработки.³

Чрезвычайно интересна и подлежала бы изучению проблема двух противоположных способов постановки определения и определяемого. В «индоевропейском» языке был порядок предшествования определения определяемому, который в новых языках (напр., романских) сменяется обратной тенденцией, «прогрессивной», получающей свое выражение и в синтаксисе.⁴ Эта проблема соотношения определения (посредством род. падежа и прилагательных) и определяемого использована, между прочим, W. Schmidt'ом, с привлечением громадного материала по языкам всего мира в его труде «Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde»,⁵ представляющем методологически совершенно несостоятельную попытку выяснить соотношение языковых «семей» и довольно наивно понимаемых культурных циклов (с бумерангом и матриархатом!). В иранских языках мы встречаем обе конструкции, в одних «прогрессивную», в других же — ей противополож-

¹ Alfredo Trombetti. *Elementi di glottologia*. Bologna, 1923. Cio che generalmente chiamasi genere rientra nel concetto generale di classe (p. 256);... la derivazione del genere dalle classi appare evidente (p. 257).

² Op. cit., p. 258.

³ Интересный материал о различных способах образования родов мы находим у W. Schmidt. *Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde*. Heidelberg, 1926, 334—356.

⁴ См. рецензию F. Brunot на книгу: Ch. Bally. *La pensée et la langue*. Bull. Soc. Ling., t. 23, fasc. 3^e, № 72.

⁵ Op. cit., III, Syntax, 381—487.

ную. Прогрессивная бывает или с изафетом (персидский язык, таджикский, наречия лурские, таджикские говоры Фарса, язык курдский, габри, кендулаи, заза—или же без него (татский, феризенди, ярани). Предшествование определения мы находим в афганском, балучском, талышском, мазендерани, гилеки, татском, осетинском, ягноби, вахи, шугни, сариколи, мунджани. В некоторых наречиях можно одновременно наблюдать обе конструкции (семнани). Персидский изафет проникает иногда в наречия с противоположным строем, испытывающие влияние персидского языка. Наконец, в одних наречиях, напр., в татском, имеется расхождение в постановке род. падежа и притяжательных местоимений, с одной стороны, и прилагательных, с другой (первые следуют за определяемым, вторые ему предшествуют). В других же наречиях все категории определений в постановке совпадают (в талышском — они предшествуют определяемому).

«Единственного числа раньше не было и множественное число выработалось из одного с единственным числом оформления, но раньше все-таки множественность и затем единичность, как ее часть, как ее противоположность».¹

Это положение яфетидологии, как будто бы, расходится с фактами наречий иранских. В них весьма жива тенденция выражать множественность как коллектив, коллективное единство, в соответствии с диффузностью примитивного мышления; из коллектива же диалектически выделилось единственное число, а потом уже, в том же порядке, множественное. Особенно характерен в этом отношении курдский язык, в котором избилуют такие слова для коллективных понятий, объединяющие в одной форме единственное и множественное числа. Таковы,² напр., *zag* 'дитя-дети', *ku* 'сын-сыновья', *dran* 'зуб-зубы', *hejvan* 'животное', *qiz* 'дочь', 'девочка', *rez* 'овца', *xani* 'дом' и др. Примеры: *hejvane sole avun* 'вот дикие животные', *me di xaniye blynd* и *mezy* 'мы увидели высокие и большие дома', *her go drane xo* *tamyz ke* 'ежедневно зубы свои чисти', *roza jake gylane gundije wo* *e sawa dky* 'как проводят ваши сельчане день 1 Мая,' *qiz* и *kye xebatecija*, *zy* и *zare wan ti*, *byrci* и *tazi man* 'дочери и сыновья рабочих, их жены и дети остались жажущими, голодными, нагими'.

Таким образом, выражая первоначально понятие коллективного единства, объединения недифференцированных предметов, такие слова стали затем прилагаться к единицам, выделившимся из коллектива. Пере-

¹ Н. Я. Марр. Язык и мышление, стр. 19.

² Я здесь следую ново-алфавитной транскрипции, беря эти примеры из изданных в Эривани школьных пособий.

житком такого мышления является также вышеуказанное использование глагольной формы 3-го лица ед. ч. для мн. ч.¹ Примитивное («пралогическое») мышление, судя по многочисленным примерам, приведенным у Леви Брюля,² первоначально не пользуется формой мн. ч.;³ оно обладает способами для выражения не просто мн. ч., а различных его видов. В языках папуасов, австралийских, языках Новой Гвинеи, Новых Гебрид и Меланезии мн. ч. выражают с указанием конкретной формы этого множества. Мн. ч. полинезийцев, в действительности, является тройственным числом. На Новых Гебридах и на Соломоновых островах мн. числу соответствуют формы четверного числа. В меланезийских языках двойственные и тройственные числа выражают мн. ч. с указанием конкретных форм этой множественности. Иногда же, в языках Новой Гвинеи, Меланезии и австралийских, мн. числу предшествует и его заменяет так наз. распределительное удвоение. Одним словом, вместе того, чтобы обозначать мн. ч. вообще, эти языки конкретно указывают о каком множестве идет речь, и лишь постепенно вырабатывается отвлеченная категория множественности, и разнообразие форм мн. ч. все более сводится к простому мн. ч. На основании этих примеров надо думать, что категория (грамматическая) множественности выработалась в результате длительной эволюции, пройдя ряд стадий, через понятия двойственного, тройственного, четверного числа, или понятия «больше одного».

«Одна и та же образовательная частица имеет функции и местоимения и множественного числа».⁴ Нам думается, что подтверждением этого положения яфетидологии может явиться частица *-idā* в курдском языке и, в частности, в его азербайджанском говоре. Обычно этот форматив принято считать изафетом мн. ч., т. е. связью между определяемым именем и его определением, функцию которого он, несомненно, также исполняет. Но, наряду с этим, судя по моим записям и по печатным текстам этого говора,⁵ *-idā* имеет значение (по нашему мнению первоначальное) именно указательного (и вместе с тем и личного) местоимения 3-го лица мн. ч. ('они', 'эти') и может в этом значении быть поставлено самостоятельно. Кроме того, в этом говоре *-idā* является суффиксом мн. ч. слов, ничем далее не определяемых, т. е. получило значение форматива, несамостоятельного слова. Эти многообразные функции этой частицы прекрасно объясняются тем, что в своем первоначальном и основном значении — указательного местоимения

¹ Ср. еще, напр., в афганском: *zūalī* 'он бежит', 'они бегут'; *āxli* 'он берет', 'они берут'.

² Первобытное мышление, стр. 97—99.

³ Там же, стр. 97.

⁴ Язык и мышление, стр. 19.

⁵ Ə. Axundov — *Bajdaqca swar*; его же, *Raja zəwadə* — обе изданы в Баку в 1932 г.

3-го лица мн. ч. **-idā** имеет функцию определительную, детерминативную; но ведь детерминативное значение имеет и **изафет**, прикрепляющий определение к определяемому, и логически и произносительно связываемый с определяемым словом. Функция же **-idā**, как только суффикса мн. ч., **только формальная**, является уже дальнейшей эволюцией этого слова. Вот например: **Āzāridā ku zā rāgā māhājak rā dāpīrī idā koṭanī rāgā idā vā dār tājā 'арестане**, когда пройдет один месяц весны, они весенние плуги вытаскают' (т. е. выезжают на весеннюю пахоту), **māzīnidā kē lē tāxīn 'арестане косят траву'**. Здесь **-idā** в значении суффикса мн. ч. и личного (указательного) местоимения 3-го л. мн. ч. **Šūylidā arṭālan 'дела (с.-х.) артелий'**, **ṭījādā Azārbaijān 'селения Азербайджана'**, **čitidā riṅd — 'красивые ситы'**, **āskārīdā swar 'красноармейцы'**; здесь **-idā** играет роль **изафета**. В **говоре курдов Армении -idā**, повидимому, является только последним: **millāted bjeuk 'малые нации' (нацменьшинства)**.

Два основных падежа, наблюдаемых во многих яфетических (и неяфетических языках, о чем ниже) и обусловленные пассивной конструкцией предложения (вместо 'я убиваю волка' — 'волк убиваем мною') — это «активный» (или косвенный) и «пассивный» (или прямой). Истые яфетиды различают, как известно, во мн. ч. всего эти два падежа, причем яфетидология доказывает, что эти падежные окончания — не падежи, а показатели множественности, причем окончания активного падежа — показатели множественности разумных существ, а пассивного — показатели множественности существ неразумных, и что первобытное мышление знало только эти два класса существ активных (разумных) и пассивных, объектов действия (неразумных). В иранских языках, большинство которых, в той или иной мере, удерживает пассивную конструкцию прошедших времен, мы тоже имеем эти два основных падежа. Большинство же остальных образуется путем предлогов и послелогов или даже сочетания обоих. По разным наречиям можно также отметить некоторые суффиксы чаще всего падежа отложительного, а также звательного, иногда винительного и некоторых других. Но разобраться в их семантике не так-то легко, так как иранисты обычно пользуются привычной терминологией и приспособляют падежную систему изучаемых языков к индоевропейской, причем подчас находят падежи несуществующие и, не смущаясь совпадением форм и отсутствием формальных отличий, отмечают, напр., косвенный падеж там, где он давно по форме совпал с прямым, или различают падежи **дательный** и **косвенный**, хотя бы они имели одну форму (особенно в этом **гренат работы Грирсона**).

В отношении двух вышеуказанных основных падежей, косвенного и прямого, иранские наречия представляют большое разнообразие в распределении их по числам. В одних наречиях косвенный (активный) падеж встречается только в формах имен ед. ч. (балучи, шугни, кендулаи, языки тальшский, курдский), в других же активный падеж имеется только во мн. ч. (напр., вахи, сариколи), наконец, в третьих (афганском, мунджани) косвенный падеж есть в обоих числах;¹ при этом очень интересно, что в папшто, в 1-м, 3-м и 4-м склонениях форма косвенного падежа ед. ч. совпала с формой прямого падежа мн. ч. как в мужском роде, так и в женском (sarai — человек, sarī — cas. obliq. sing и cas. directus plur.; šra — ночь, šrē — casus obl. sing. и cas. dir. plur.)

Эта пестрая картина распределения активных и прямых падежей по обоим числам указывает на разностадиальность соответствующих наречий и представляет очень сложную проблему, уводящую нас в глубины примитивного мышления, которую будущие иранистические исследования должны будут осветить в общей увязке с процессом глоттогонии. Формальные же разъяснения, возводящие, напр., памирские окончания косвен. падежа (-af, -ēf, -ēf, -ēv) к «старому» инструментальному на -biš оставляют чувство неудовлетворенности.

Одной из особенностей, если и не слишком архаических, то во всяком случае сближающих иранские наречия со многими яфетическими языками, является широко в них распространенный двадцатиричный счет. Этой теме я посвятил довольно подробное исследование.² К материалам, в ней приведенным, и позволю себе присоединить еще факт счета по двадцаткам в иранском наречии мадаглапти (селение на притоке р. Читрала) — '30' bīst-o dah, '60' sī bīst, — и в говоре курдов Азербайджана, где мною записаны '30' bīstī dāhā, '40' dū bīst, '50' dū bīstī dāhā, '60' sā bīst, '70' sā bīstī dāhā, '80' čār bīst, '90' čār bīstī dāhā и '200' dāhā bīst (наряду с dū sād).

Вигезимальный счет, распространенный в яфетическом мире, сам по себе не является древнейшей счетной системой. В. Шмидт, собравший³ большой материал по языкам всего мира, доказывает, что наиболее древней системой являлась парная, затем счет по четверкам и пятеркам. Последний приводит потом к счету по 10 и 20, вступая с ними в разные комбинации,

¹ Впрочем в некоторых склонениях папшто косвен. падеж в ед. числе отсутствует (см. Grierson, Linguistic Survey of India, X, стр. 19).

² Анализ персидского числительного devist (двести). Яфетический сб., VII, стр. 115^a-140.

³ Op. cit., стр. 357-380.

равно как происходят комбинации и 10-ричного счета с 20-ричным; последний, наконец, иногда приводит к счету по 40 (в сев.-зап. Африке). Но все вообще счетные системы являются уже позднейшим продуктом человеческого мышления, когда оно уже дошло до абстрагирования понятия числа. Мышление «пралогическое»,¹ по мнению Л. Брюля, умело считать еще до того, как были выработаны понятия чисел, для чего первобытное человечество выработало различные приемы для различных видов множественности, и постепенно для отдельных категорий предметов вырабатывались специальные нумеративы.

III

Остановимся теперь несколько подробнее на так наз. пассивной конструкции переходных глаголов. Она является, как известно, одной из самых характерных особенностей яфетических языков. При ней логический субъект есть грамматическое дополнение и ставится в так наз. «активном» падеже (падеже субъекта переходного глагола), а логический объект есть грамматическое подлежащее и ставится в пассивном падеже, выполняющем функцию аккузатива позднейшей активной конструкции. Активный падеж иначе называется косвенным, а пассивный прямым. Надо сказать, что, кроме языков Кавказа и вообще мира яфетического, пассивная конструкция наблюдается во множестве других языков, никакого близкого отношения к языкам яфетической системы не имеющих, как-то: в языках тибето-барманской группы, языках Индо-Китая, в папуасском, австралийских, североамериканских и палеазиатских. Эта конструкция в прошедшем времени глагола широко распространена в иранских наречиях и, можно сказать, преобладает в них до настоящего времени. Она имеется в языках афганском, балучском (наиболее распространенном говоре последнего), в ормури, парачи, в многочисленных говорах курдских, в заза, в тальшском, в наречиях хунсари, махаллати, натанзи, феризенди, ярани, семнани, сенгисари, сивенди, со-кохруди, габри, в наречиях и говорах гурани-баджелани, бивениджи, гехвареи, сейиди, зердеи, кендулаи, в павэ, авромани, в таджикских говорах Фарса, в лари, в калун-абду, в наречиях полосы Кашана-вонишун, кохру, кеше, зефре, Исфагана-седэ, гяз, кефрон, в говоре евреев Кашана, в языках Памира (группа шугнано-рошанская), мунджани (йидга), вахи, язгулями, ягноби, группа ишкашим, зебаки, сангличи. В древнем, согдийском языке тоже было два ряда флексий

¹ Первобытное мышление, М., 1930, стр. 133.

для глаголов переходных и непереходных. Отсутствует эта конструкция в языках персидском, татском, мазендерани, гилеки, в наречиях лурских, в наречии города Шустера,¹ в одном южно-курдском наречии лекки, в осетинском, и в говоре группы балучей, живущих в пределах СССР. Но и в персидском языке пассивная конструкция существовала в его древней и средней форме. Из приведенного нами перечня наречий видно, что пассивная, несомненно более архаическая, конструкция не удержалась и была вытеснена активной в языке наиболее культурного иранского народа — персов, имеющих тысячелетия исторической жизни и выработавших наиболее развитые формы общественности и экономики, а также таджиков, с персами культурно-исторически тесно связанных. Сохранился же пассивный строй речи у народов менее освещенных историей, вроде курдов, афганцев, балучей, и у небольших племен и сельских общин, живущих часто изолированно, в стороне от больших исторических путей, примитивной, малоразвитой жизнью, часто с сохранением еще родового строя.

Пассивный строй иранского глагола часто контаминируется с активным в самых разнообразных формах. Изучение их многое могло бы дать не только иранистике, но и общему языковедению. В своей статье «О диалекте Шустера»² я высказался за необходимость положить в основу классификации иранских наречий именно пассивную конструкцию. Такая классификация должна была бы учитывать социально-экономический уклад соответствующих племен, их физико-географическую обстановку, с одной стороны, а с другой — произвести качественный учет значимости отдельных элементов, входящих в состав пассивной конструкции, напр., учесть момент синтаксический (взаимное положение и связь объекта, субъекта, глагола), семантический (семантику отдельных формативов, местоименных суффиксов, детерминативов) и семантику самих глаголов (категоризация их на глаголы действия, состояния, восприятия и т. д.), момент флексийности и агглютинативности и т. п.

Еще 40 лет тому назад В. Гейгер посвятил пассивной конструкции прошедших времен в иранских языках небольшое, но очень содержательное исследование.³ Он отметил ее наличие в древне-персидском языке [ima tya manâ kartam 'это (есть), что мною сделано'], и обычность ее в средне-персидском, а также случаи ее сохранения в новоперсидском языке у Фердовси (что было уже отмечено Залеманом и Жуковским): گرفتش یکی

¹ См. мою статью: О диалекте города Шустера, Иран, III.

² Иран, III, стр. 93.

³ Festgruss an Rudolf von Roth zum Doktor-Jubiläum 24 VIII 1893, Stuttgart, SS. 1—5.

سنگ 'им был схвачен камень'; у Фердовси же встречаются и контаминированные формы, когда предложение начинается пассивно, а кончается активно (گرفتش سنان و کمان و کمتد, گران گرزرا بهلوی دیوبند—) (стоит уже в аккумулятиве вместе номинатива); далее, прикрепление местоименных суффиксов к непереходным глаголам, напр. глаголу 'итти' (رفته بودش). Гейгер отмечает пассивный строй в наречиях полосы Капшана (по материалам Жуковского), мимоходом говорит о том, что в некоторых наречиях Памира пассивная конструкция выходит из употребления, констатирует ее наличность в курдском языке, в котором, однако, стали употребляться при непереходных глаголах косвенные местоименные формы (me gû niştin 'мы сели'), в балучском, где суффикс косв. падежа -â, по его мнению, есть пережиток (Überrest) старого инструментального падежа с исходом на -â, и где не только более отдаленный объект (косв. дополнение) может быть выражен через присоединение к -â еще послелога -gâ (guşt-ê... birâtâ-gâ 'сказано было им брату'), но и прямой объект [bâdšâhâ â mardâ-gâ kuştâg 'царем того человека (он) убит'], что является несомненным случаем контаминации обеих конструкций. В заключение Гейгер отмечает широкое распространение пассивного строя в наречиях Индии (синдхи, кашмири, хинди, кафири), в санскрите (tatas tēna abhihitam) и в пракрите.

Для Гейгера было несомненно, во-первых, что пассивная конструкция в иранских наречиях была только в претерите, и, во-вторых, что она по самому существу дела могла строиться только при транзитивах, так что, если мы ее встречаем в интранзитивах, то это является переносом ее (Übertragung) на последние с транзитивов.

В дальнейшем, мы приведем несколько типов контаминации пассивной конструкции, используя появившийся в последние десятилетия богатый материал по иранским наречиям, собранный в трудах, известных каждому иранисту — Манна, Хаданка, Грирсона, Моргенштерне, Христенсена, Зарубина. Использовать «Grundriss der Iranischen Philologie» приходится теперь очень осторожно, так как в отделе иранских наречий он в значительной мере уже устарел. Мы не ставим себе задачей дать сколько-нибудь исчерпывающее исследование, а хотели бы остановиться только на некоторых моментах этой проблемы, которые нам представляются имеющими особое значение для дальнейшей ее проработки иранистами и которые, по нашему мнению, доказывают, что процесс замены пассивной конструкции активной гораздо более сложен и представляется далеко не в том виде, как себе его мыслил Гейгер.

1. В ряде наречий пассивная конструкция усматривается не только при глаголах переходных, но и при таких, которые по нашей грамматической терминологии отнюдь таковыми названы быть не могут. Они могут быть разделены на две категории: а) глаголы восприятия, выражающие те или иные ощущения, а также состояния, ими вызываемые; таковы, напр., плакать, смеяться, бояться; б) глаголы, выражающие безъобъектное действие и состояние, являющееся его результатом: сесть-сидеть, умереть-быть мертвым, заснуть-спать, уйти — не быть налицо, притти — быть налицо; также глаголы «итти» и «иметь». Для выражения таких соотносительных понятий довольствовались одним глаголом, отмечавшим происшедшую перемену, переход из одного состояния в другое, который приписывался какому-то внешнему агенту и выражался пассивной конструкцией. Мало того, в такой же конструкции ставится глагол сугубо «волевой» — хотеть. Приведем примеры: таджикские говоры Фарса: *iš-mitārsi* 'он боялся' (ему боялось), *iš-xāndi* 'он засмеялся' (ему засмеялось); балучи: *bādšāhā kandīta* 'царь рассмеялся' (*by the king it was laughed*); натанзи: *ba-m-xoa* 'я заснул', 'я спал' (мне заснулось); тальшский: *ba si nihitē* 'сытой (я) не засыпала' (сытой мне не засыпалось); парачи: *a-nhošt* 'ты сел' (тебе селось) вместо активной формы *n-hašt-a*: шугнанский: *ceiz ar at yat* (вместо *ceiz ar tao yat*) 'почему ты пришел' (... тобою прийдено); ишкашими: *az im šu* 'я иду' (мне идется); персидский: *gāft-āš* 'он ушел' (ему ушло). В зебаки, ишкашими, сангличи нет никакой разницы в глагольных суффиксах при спряжении «итти» и «ударить»: *az im ded* 'я ударил' (мною ударено), *az im šud* — 'я пошел' (мною пойдено), *moxe ded-en* 'мы ударили' (нами ударено), *moxe šud-en* 'мы пошли' (нами пойдено); натанзи: *dard-om*, *dard-et*, *dard-eš* 'я имел', 'ты имел', 'он имел' (букв. имелось мною, тобою, им). В афганском языке глагол «смеяться» Грирсон помещает в раздел глаголов переходных. Примеры на глагол «хотеть» — хунсари: *mup imāgū* 'я хочу' (мне, мною, хочется), *idāgū* 'тобою хочется', *ižgū* 'ему, им хочется'; семнани: *māgāt*, *māgāš* 'тебе, ему хочется'. Весьма знаменательно употребление пассивной конструкции с глаголом «быть». Такую мы встречаем еще в среднеперсидском языке: *ōy drvand zan kē-š rūspik būd* 'та злая женщина, которая была проституткой' (букв. которая ей проституткой было). Сюда же относится и уже приведенный выше пример из мукри: *āngō hič firzāndū nābūn* 'вы никакого сына вам вы не были', а также такой оборот современного персидского языка, как *nīst-āš*, весьма точно передаваемый по-русски через 'нет его', доказывающий кстати, как близки эти примитивные «пассивы» к безличным предложениям (о чем ниже).

2. Встречаются также, правда немногочисленные, примеры пассивной конструкции не только в прошедшем, но и в настоящем времени. Один пример мы только что привели из хунсари: *man imägú* 'я хочу' (мне хочется), *ižagîgú* 'он берет' (им берется). В семнани, повидимому, тоже имеются следы некогда существовавшей и в презенсе пассивной конструкции¹. В ишкашимами очень интересна уже контаминированная форма наст. времени глагола «итти»: 'я иду' наряду с *az šom* может передаваться через *az im šu*; 'я бью', наряду с *az dehem* через *az im deh*. В этом последнем примере, кстати сказать, мы наглядно наблюдаем ту последнюю стадию, которую прошло образование настоящего времени транзитивов, прежде чем окончательно перейти на активную конструкцию.² Появился уже местоименный субъект в форме *az*, стоящий в прямом падеже, прежняя же форма активного падежа, в которой стоял субъект, еще не успела вытесниться и она префигируется глагольной форме, находясь накануне превращения в глагольный суффикс, который станет неразрывной частью флектируемой глагольной формы, выражающей презенс в новой «индоевропейской» активной конструкции глагола. Этого явления Гирсон, между прочим, совершенно не понял и, подходя чисто формально, с недоумением говорит, что здесь *the proper terminations of the present base are treated as separable as they are not*. Так как захват пассивной конструкцией также и настоящего времени является более древней чертой, то приведенные факты указывают на то, что в иранских наречиях имеются пережитки того более древнего 'состояния, которое уже неизвестно многим яфетическим языкам (напр., грузинскому языку, знающему пассивный строй только в аористе).

3. Как известно, в яфетических языках обязательна аффиксация к переходному глаголу местоименного субъекта и объекта. В иранских наречиях эта аффиксация также имеет место, но тогда как в ряде наречий предпочтительно употребляются полные местоименные формы, которые, представляя собою самостоятельные слова, не склеиваются с глаголом, в других мы имеем примеры такой агглютинации, которая придает этим предложениям своеобразный облик словесных комплексов, составные элементы которых подчас не легко семантически выделяются, особенно при первоначальном ознакомлении с этими наречиями. По признаку преобладания в структуре

¹ См., напр., дублетные формы спряжения наст. времени глаголов 'класть' (Христенсен, § 65) и 'хотеть' (там же, § 24).

² Совсем близко к ней подошел язгулами, где наряду с *man xig* или *im xig* можно сказать *xigim* 'я съел'.

предложения полных местоимений или местоименных суффиксов можно было бы также провести классификацию отдельных наречий или отдельных говоров в пределах одного наречия (языка). Нам думается, что такая классификация не была бы только формальной, так как ведь тип в большей степени аффиксирующий является более архаичным, чем мало или менее аффиксирующий, так как является пережитком стадии мышления, неспособной к пониманию и выражению абсолютных форм, без отношения к объекту. В говоре мукри, представленном текстами О. Манна, мы имеем, повидимому, тип более аффиксирующий, чем в других курдских говорах (напр., в говоре курдов Армении). Местоименные аффиксы субъекта и объекта прикрепляются оба к глагольной основе, что представляет наиболее чистый тип аффиксации, или же один из аффиксов прикрепляется к глаголу, а другой к какой-нибудь другой части речи (предлогу, отрицанию или к первой части глагола, составного из двух слов). В дальнейших примерах мы везде имеем пассивную конструкцию глагола в прошедшем времени. Шугни: *zoxt-um*, *zoxt-at*, *zoxt-i* 'я, ты, он взял' (мною, тобою, им взято); таджикские говоры Фарса: *zeš a tī sīna* 'он выстрелил в грудь' (выстрелено им *zeš* = *ze-š*); *guftā biš* 'он сказал' (сказано было им, *biš* = *b-iš*, -давно прош. время), *šu burdām a xunā* 'они понесли меня домой' (ими понесен я домой, *burdām* = *burd-ām*); натанзи: *dardom*, *dardet*, *dardeš* 'я ты, он имел' (мною, тобою, им имелось: *dard-om*, *dard-et*, *dard-eš*); ягноби: *nugustat* 'ты одел' (тобою одето, *nugustat* = *nugust-at*); *vānim* 'он меня бросил' (брошен (им) я, *vānim* = *vān-im*); мукри: *bō nāū dākuštīm (ū-dākušt-im)* 'почему вы меня не убили?' буквально: 'почему-не-вами-убит-я'), *dāi girtīm (dā-i girt-im)* 'оно меня схватило' (им схвачен я) *bōi nāt kuštīn (bōi nā-t kušt-in)* 'почему ты нас не убил?' (почему-не-тобою-убиты-мы). В дальнейших примерах оба местоим. суффикса, субъекта, и объекта, прикреплены к глаголу и получают слитные формы, при которых смысл может стать неясен, тем более, что определенного порядка в расположении их нет. Лари: *zātiš* (*zā* = глагол, *-t* = мест. суфф. объекта, *-iš* = мест. суфф. субъекта) 'он тебя побил' (побит ты им); мукри: *girtinim* (*girt* = глагол, *-in* объект, *-im* субъект) 'я их взял' (взяты они мною). Но этот порядок с инкорпорацией объекта между глаголом и субъектом нарушается, напр. в том же мукри — *girtitīn* — *girt* = глагол, *it* = субъект, *in* = объект — 'ты их взял' (взяты тобою они), где порядок, следовательно, не глагол — объект — субъект, а глагол — субъект — объект. Если объект личное местоимение 3-го лица, то при пассивной конструкции вовсе не ставится аффикса (нулевая аффиксация, подразумеваемая) и ограничиваются только глагольной формой (причастием

прош. времени); мукри: *sāg haḷigirt* 'собака его схватила' (собака — ею (суфф. -i) (он) 'схвачен' (*haḷ-girt*); *hēnātān* — 'вы (его) принесли' (принесен (он) вами).

4. Иногда механизм языка остается в какой-либо части речи и в исторические времена тот же от структуры пережиточного типа, но говорящий на нем народ успел в общем процессе развития жизни и переворота самой природы социального строя, и с ним речи, перейти на новое языковое мышление, мыслит по-новому, и тогда мы наблюдаем, что народ ломает или уродует заветные формы, извращенно понимает их, ибо строит из них новое.

Посмотрим теперь, как ломают пассивную конструкцию иранские наречия, стремясь приспособить старую форму к новому «активному» мышлению. Виды контаминации гораздо разнообразнее и сложнее того который был подмечен Гейгером (постановка в аккумулятиве логического объекта, грамматического субъекта).

1. Когда логический субъект имя существительное и тем более имя собственное, то при общей выдержанности пассивной конструкции при транзитивах, он стоит в прямом падеже, а не в активном. Это бывает особенно, когда глаголу для выражения субъекта плеонастически префигурируется или ему суффигируется местоименный суффикс. Шугни: *vāzīg ... en lowd* — 'везиры сказали' (везиры, ими сказано); тальшский: *pālāng* (вместо косв. формы *pālāngi*) *čai dimiš gāt-še* 'тигр схватил его за лицо' [тигр... лицо его, (т. е. жертвы) было схвачено им (тигром)]; *Pbrāhīm* (вместо *Pbrāhimi*) *xabar saše* — 'Ибрагим спросил' (известие было взято им).

Иногда возможны колебания (чередования) и субъект ставится то в прямом падеже, то в косвенном. Тальшский: *xanīmī votē* или *xanīm votē* 'госпожа сказала'.

В ряде наречий для выражения логического субъекта плеонастически употребляется полная форма местоимения в прямом падеже и затем местоименный суффикс (косв. пад.): натанзи — *āzā b'aḡam bivāt* 'я господину сказал' (я господину мною сказано); тальшском: *avon votšone* 'они сказали' (они сказано ими есть); бивениджи: *tū čāt wit* 'ты что сказал?' (ты, что тобою сказано?).

В диалектах феризенди и ярани плеонастический тип спряжения является как бы нормальным: *mām bām košt* 'я убил' (я мною убит), *tū bāi košt* — 'ты убил' (ты тобою убит), *pon bāš košt* 'он убил' (он им убит) и т. д.

При таких оборотах факультативно логический субъект может быть выражен не прямой формой личного местоимения, а косвенной. Мунджани: наряду с *ze žiem* 'я ударил', можно сказать и *maḡ žiem*.

3. В разных наречиях борьба прямых и косвенных форм личных местоимений принимает самый разнообразный характер. В семнани отдельные прямые и косвенные формы местоимения-субъекта почему-то еще сохраняются для 1-го л. ед. ч. и для 3-го л. ед. и мн. чисел, тогда как для 1-го л. мн. ч. и 2-го лица ед. и мн. ч. имеются теперь только общие формы прямого падежа: 1-е л. ед. ч. 'a' — 'mü'; 2-е л. ед. ч. 'ta' — 'ta'; 3-е л. ед. ч. 'ü' — 'žo'; 1-е л. мн. ч. hama — hama; 2-е л. мн. ч. šama — šama; 3-е л. мн. ч. üi — žop. Таким образом здесь, повидимому, вытесняются косвенные формы. Между тем, в ряде других наречий в борьбе прямых и косвенных форм личных местоимений (1-го лица ед. числа) была вытеснена прямая форма (персидский яз., таджикский, татский, авромани, лурские говоры, курдский говор мукри и ряд других). Сохраняется она в афганском (za), тальшском (az), курдском (äz), в наречиях Памира (wuz, waz, az, ze, zo), ормури (az), заза (äz), семнани (a) и других.

4. В некоторых наречиях мы встречаем дублетные глагольные формы, одновременно употребляемые, из коих одна пассивной конструкции, а другая — активной, что наглядно указывает на деятельный процесс вытеснения первой второю. В семнани наст. время глагола 'хотеть' идет по обеим конструкциям: a или tu mägan — я хочу, ta mägät или mägi ты хочешь, ü mägäš или mägi — он хочет. В балучи разграничение конструкций между говорами прошло территориально — главная масса народа в Персии, Афганистане, Индии ее сохраняет, а белуджи Туркменской ССР ее утратили, так что пассивной конструкции ē mardā ā mard jat 'этот человек того человека побил' (этим человеком тот человек побит) в Туркмении соответствовало бы ē mard ā mardā jat. В махаллати — наречии, в общем выдерживающем пассивную конструкцию, глагол, выражающий «держатель», «иметь», идет одновременно по обеим конструкциям, но здесь, должно быть, мы имеем случай не дублетных форм, свидетельствующий о борьбе двух построений, а дифференциацию по значению, причем вероятно этот глагол в значении 'иметь' воспринимается как непреходный. В ярани, также соблюдающем пассивный строй, исключение составляют глаголы «знать» и «лить», идущие по активной конструкции.

5. К постановке логического объекта не в прямом падеже, а в аккузативе, отмеченной Гейгером, прибавим еще несколько случаев из новоописанных наречий. Натанзи: non jän ketabra be min äšda 'та женщина мне дала книгу' (та женщина книгу мне ею дана); габри dešt xara uš diraz kert 'он протянул свою руку' (руку свою им протянута); парачи: mā mabiya-e waxan dhör 'мы

видели вашего брата' ('ma' — префикс аккузатива: букв. нами брата вашего увиден; семнани — *mū mirdakōj bādīām* 'я увидел человека' (мною человека увиден мною). Наконец, отметим крайне странную форму, непереводимую на другие языки, в которой логический объект, выраженный косвенной формой личного местоимения, и логический субъект, выраженный местоименным суффиксом, объединены в один комплекс, поставленный в винительном падеже: натанзи: *mūp āš gā xūst* 'он меня бросил'.

6. Во многих наречиях с пассивной конструкцией мы, наряду с нею, встречаем и специальные способы образования страдательного залога. В курдском говоре мукри ко всем транзитивным глаголам есть и форма пассива, которая выражается в присоединении к активной основе настоящего времени характеристики -г, сопровождаемой глагольными окончаниями, варьирующими в зависимости от глагольного времени. О. Манн видел в этом доказательство того, что так наз. пассивный глагольный строй уже не воспринимается, как выражение пассива, тем более, что в мукри, в котором этот строй является вполне жизненным и проводится весьма четко, даже проявляя тенденцию к расширению своей области, при настоящих пассивных формах агенс выражается всегда через предлог (от, через — *bō, bā, rē*), даже когда он выражен личным местоимением (*bā mīp* — мною), тогда как в пассивной глагольной конструкции он передается только через *pron. suff.* без предлогов.

Пассивные формы, отмеченные в некоторых наречиях, имеющих пассивную конструкцию, следующие. В кендулаи к глагольной основе прибавляется суффикс -i (*sučīa* 'он сожжен'), в авромани тоже -i (а), в феризенди -i, в ярани-i, в гехвареи (гуранском говоре) -is, в натанзи -i. В хунсари суффикс u: *bigirku* 'взятый', *va-kirtu* 'отворенный'. В таджикских говорах Фарса под влиянием персидского языка образуются формы с вспомогательным глаголом, но не 'стать', как в персидском, а 'быть': *kuštā vā bīdā* 'он был убит'. В талышском тоже встречаются страдательные формы с вспомогательным глаголом *bē* ('быть', 'стать'): *dīvon saon o bigi abān* 'головы дивов оказались отрубленными'. В афганском используется глагол *šwal* 'быть'. В семнани также имеются формы страдательного залога но чрезвычайно сложные, если только они не составляют специального, изобретения того мирзы, с которым работал Христенсен.¹

¹ Le dialecte de Sāmnan, p. 247 rem. 2: Mirza Hāšī Āqā Jāmi m'a donné aussi des formes passives avec un emploi double du verbe auxiliaire: prés. de l'ind.: *vāpārsābābābābin*... futur, passé: *vāpārsābābā bābābiin*; futur: *vāpārsābābā māgān bābin*. Спрягается глагол 'спрашивать'.

IV

Все, говорящие на языках с так наз. пассивной конструкцией, понимают ее теперь активно. В этом не может быть никакого сомнения, и все исследователи отмечают этот факт в своих работах. Действительно, было бы психологически недопустимо, чтобы говорящий, только что произнесший глагол, пассивно построенный в претерите, мог бы сейчас же перестроить свое мышление, переходя на «активный» строй в настоящем времени в своей дальнейшей речи. Но и «пассивное» восприятие мысли в тех языках, в которых, как напр., в чеченском, пассивный строй распространился и на настоящее время, может быть подвергнуто сомнению. Его опровергают факты двуязычия или, по крайней мере, совершенно свободного перехода с родного языка с «пассивным» строем на язык строя «активного». Талыш с величайшей легкостью переходит и переводит со своего языка на тюркский и обратно с тюркского на талышский, гебр Кермана со своего «пассивного» иранского диалекта на иранский же активный диалект своих сограждан-мусульман, с которыми находится в ежедневном непрерывном общении. Таких примеров можно привести сколько угодно. Непассивное восприятие пассивных глагольных форм подтверждается также способностью создания форм страдательного залога, причем это имеет место и в языках, коих пассивный строй, как напр., в мукри, весьма жизнен и не вытесняется активным. Все это, как будто бы, указывает на то, что архамический «пассив» представляет собою качественно нечто отличное от того понятия «страдательности», которое является диалектической противоположностью современного понятия активности.

Припомним также, что глаголы восприятия, ближе всего подходящие к так наз. безличным предложениям, и глаголы безобъектного действия также укладываются в эту форму «пассивности», приспособленную для транзитивов. Если пассивный строй речи, представляя собою более древнюю стадию мышления, когда-то в определенных группах языков безраздельно господствовал, распространяясь на обе главных категории абсолютных времен — прошедшее и настоящее, то он качественно, несомненно, был весьма отличным от того понятия, которое мы теперь вкладываем в этот термин.

Вопрос о пассивном строе человеческой речи — вопрос сугубо философский, весьма сложный, до сих пор нерешенный и все более осложняющийся, и мы здесь, разумеется, не делаем ни малейшей попытки

его разрешить. Осложненности этой проблемы в значительной степени содействовала неустановленность терминологии и ее неясность. Часто исследователи находятся под гипнозом терминов, в которые ими вкладывается неодинаковое содержание или вводят в научный оборот новые термины, столь широкого содержания, что они вносят в проблему еще сугубую неясность. Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.¹ Наибольший материал для исследования проблемы пассива дали ближайшие к иранскому миру яфетические языки Кавказа, язык баскский и языки северо-американские. Главные работы, посвященные этой проблеме в западно-европейской литературе, Шухардта, Уленбека, Финка, Дирра. К ним надо присоединить А. Тромбетти.²

Пассивный характер кавказских глаголов не представлял для Шухардта никакого сомнения, так же, как таковой в баскском языке. Но, с другой стороны, у Шухардта же имеется ряд высказываний, чрезвычайно расширяющих и осложняющих эту проблему, а иногда и взаимно противоречивых. С одной стороны, он дает чисто формальное определение. Для него пассивный характер предложения определяется тремя признаками: 1) порядком — глагол плюс субъект, 2) обозначением реального (логического) субъекта через активный падеж, и 3) реального объекта через нерасширенное суффиксом имя, — активное же предложение характеризуется предшествованием субъекта глаголу, обозначением реального субъекта нерасширенным именем, а реального объекта аккузативом. Но сам же Шухардт подвергает критике тех, кто при определении пассива удовлетворяется тем, что «переворачивает» актив и переставляет роли субъекта и объекта, — и сам же признает, что определение объекта транзитивом, а транзитива — объектом ничего не говорит и что понятие как объекта, так и транзитива, не имеет какой-либо действительной опоры. Его совершенно правильные и плодотворные утверждения, что каждый глагол «первоначально» (von

¹ Faust, I, 1995/1996. Цитирую по Финку. Der angeblich passivische Charakter des transitiven Verbs. (Ztschr. f. vergl. Sprachwiss., XLI, S. 215).

² H. Schuchardt. Über den passiven Charakter des Transitivs in den kaukasischen Sprachen (SB d. Wiener Ak. Phil.-hist. kl., Bd. 133, 1896). Он же: Über den aktivischen und passivischen Charakter des Transitivs (Idg. Forsch., XVIII, 1905—1906). — Его же многочисленные высказывания в статьях: Sprachursprung I, II, III; Exkurs zu Sprachursprung, III, Possessivisch und passivisch, в S. — Ber. d. Berl. Akad., за 1919—1920 гг. F. N. Finck. Der angeblich passivische Charakter ... C. C. Uhlenbeck. Het passieve karakter van het verbum actionis, in tales van Noord Amerika. Amsterdam, 1916. — Эта работа мне была в Москве, к сожалению, недоступна. — A. Dirr. Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen. Lzg., 1928. — A. Trombetti. Elementi di glottologia. Bologna, 1923, Formazioni verbali: Il così detto «verbo passivo»; La pretesa concezione passiva del verbo (pp. 268—289).

Naus aus) является индифферентным, ни активным, ни пассивным, нейтрален; и не может быть ничем иным, а становится активным или пассивным в связи с именными и местоименными элементами, подрываются затем глубочайшим скепсисом, проявляемым в замечании идеалистического характера, что «пассиву и другим грамматическим категориям ничто в реальной действительности не соответствует».¹

Термин «активный падеж» стал в лингвистической литературе применяться чрезвычайно расширенно. Это, *par excellence*, субъект переходного глагола и *agens* пассивно выраженного действия; в первом своем аспекте он сближается с тем, что раньше в грамматике называлось номинативом. Функционально с ним сближаются и падежи отложительный, и инструментальный. С ним иногда разделяет судьбу и падеж «эргативный»; от него мало чем отличается и дательный, поскольку он в глаголах восприятия используется для «дательного» спряжения. Наконец, как грамматическая противоположность падежа прямого он именуется еще и косвенным. Самое разнообразие терминов указывает на сложность и недостаточную ясность того явления, которое лингвисты хотят объяснить. Термин «активный» падеж как будто становится обобщающим обозначением самых разнообразных способов, которыми язык выражает реального виновника выраженного в «пассивной» форме действия.²

В проблему пассива не вносят ясности ни попытки увязать пассивный строй глагола с поссессивным, ни попытки (Финка) увязать ее с двумя основными типами строения предложения, наблюдаемыми в языках человечества — присоединяющим и подчиняющим (*Anreihung und Unterordnung*), ни отрицание всякой пассивности в глаголах восприятия на том основании, что-де их конструкция лишь адекватнее отражает реальную действительность («дом стал виден мне» вместо «я увидел дом») и что к тому же эти глаголы легко переходят на номинативное спряжение (груз. *mi-qwar-s* «мне любо» (есть) и *wi qwareb* «я люблю»).

Дирр определенно отказывается разрешить проблему пассивной конструкции. Вместо того, чтобы говорить о ней он предпочитает термины: конструкция эргативная, когда логический субъект стоит в эргативе, — дательная или аффективная, когда логический субъект стоит в дательном

¹ Exkurs zu Sprachursprung, III. До какой широты взглядов дошел Шухардт при определении понятий активности и пассивности видно из того, что, напр., он предложение «отец тебя зовет» считает активным, а «тебя зовет отец» — пассивным, потому что реальный субъект в нем является психологическим предикатом.

² Finck, *op. cit.*, стр. 217.

или в «аффективном» падеже, и номинативная, когда логический субъект стоит в номинативе.

Исследователь пассивности в северо-американских языках Uhlenbeck¹ дает лишь формальное определение пассивной конструкции: для него решающим является то, чтобы аффиксы субъекта непереходного глагола были идентичны с аффиксами объекта и отличны от аффиксов субъективных глагола переходного.

Тромбетти не верит в пассивную конструкцию. Он убежден, что она произошла от активной и, соглашаясь с тем, что в кавказских языках, конечно, достаточно примеров пассивной конструкции и часты конструкции смешанные, находит, что осложненность так велика, что он отказывается составить себе отчетливое представление.²

Как мы видим, зарубежная лингвистика уже давно поставила проблему пассива, собрала большое количество языкового материала, но бессильна ее разрешить. Никаких принципиальных установок у нее нет, и получается «столкновение» взглядов, из которого, однако, никакой истины не рождается. Только новое учение о языке — яфетидология, столь близко подошедшая к установкам материалистической лингвистики, выдвинувшая положение о стадийности языкового развития, формально отражающей стадийность обусловленного материальной базой человеческого мышления, будет в состоянии до конца осветить и разрешать эту проблему и выяснить, какой именно комплекс чувств и представлений стремился выразить в своей речи человек древней эпохи мышления, когда прибегал к оборотам, которые мы теперь именуем пассивными.

¹ Заимствую у Тромбетти, loc. cit., стр. 284.

² Trombetti. Op. cit., 284... «sono lungi dal veder chiaro nella congerie dei fatti».

М. Я. НЕМИРОВСКИЙ

ЗАМЕТКИ ПО МОРФОЛОГИИ ЯФЕТИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ КАВКАЗА

1

К вопросу о деривации имен существительных в современных яфетических языках Северного Кавказа

„До сих пор дело происходило так, что социалистическая революция не уменьшала, а увеличивала количество языков, ибо она, встряхивая глубочайшие низы человечества и выталкивая их на политическую сцену, — пробуждает к жизни целый ряд новых национальностей, ранее неизвестных или малоизвестных“ (И. В. Сталин. О политических задачах КУТВ. Речь 18 мая 1925 г.).

В языках так наз. прометеидской («индоевропейской») системы важнейшим средством образования имен существительных являются суффиксы. Любой прометеидский язык обладает целым арсеналом этих суффиксов. Так, напр., в русском языке мы можем указать суффиксы: -ик, -чик, -ец, -ок, -очек, -очк-к, -ц, -иц, -ышк, -ушк, -еньк, -ишк, -ник, -ак, -(а)гель, -(и)гель, -арь, -ун, -оч, -ница, -(а)ни(е), -(е)ни(е), -ня, -б(а), -от(а), -изн(а), -ость, -ств(о) и т. д.

В английском языке для образования существительных имеются суффиксы: -craft, -dom, -hood, -ing, -ness, -red, -ship, -ate, -cy, -acy, -ice, -ess, -ion, -ment, -or, -our, -eur, -er, -ier, -yer, -ar, -or, -ter, -ther, -der, -ling, -rel, -ster, -en, -ock, -y, -ie, -ey и друг.

В итальянском языке мы встречаем суффиксы существительных: -aggine, -aggio, -ame, -ime, -ume, -ato, -ile, -io, -ione, -azione, -izione, -mento, -amento, -atore, -itore, -tore, -atrice, -itrice, -one, -cino, -etto, -etta, -atto -uccio, -accio и т. д.

Столь же многочисленны суффиксы существительных в испанском языке, где существуют, напр., суффиксы: -ión, -ción, -tión, -sión, -men, -miento, -ida, -ada, -ata, -ero, -ia, -ario, -ezo, -ez, -tor, -dor, -sor, -or, -ora, -triz, -ado, -ato, -ad, -dad, -tad, -tud, -on, -ona, -azo, -aza, -acho, -acha, -ote, -ota, -ito, -ico, -illo, -uelo и т. д.

Классические языки античности — греческий и латинский — не менее богаты этими структурными элементами слова, и многие из них унаследованы новыми европейскими языками.

Из яфетических языков Кавказа только южно-кавказские обладают значительным запасом деривативных элементов для образования имен существительных.

Так, грузинский язык по обилию суффиксов, служащих для производства имен существительных, не уступит, пожалуй, протетидским языкам.

Например, суффиксы: -oba, -eba образуют *nomina abstracta* и *collectiva*, как: *šavoba* (от *šavi* 'черный') 'чернота', *šaveba* 'делаться черным' (Infinitiv), *sameba* 'триединство' (от *sami* 'три'), *somxoba* 'совокупность армян', 'армянство' (от *somexi* 'армянин'), *gusoba* 'Русь', 'господство Руси или русских'; суффиксы -ob, -obana образуют *nomina loci*, как: *dablobi* 'низменность' (от *dabali* 'низкий', 'низменный'), суффикс -et' названия стран, как: *Ruset'i* 'Россия', *Osset'i* 'Осетия', *črdiloet'i* 'север', 'страна тени'; далее существует целый ряд суффиксов для *diminutiva*: -ak, -ka, -uk, -un-a, -ala, *ila* -iko, напр., *kasina* человек (*kasi* 'человек'), *tagvuna* 'мышенок' (*tagvi* 'мышь'), *danaki* 'ножик' (*dana* 'нож'), *suliko* 'душка' ('suli' душа').

В ряде образований одновременно применяются суффиксы и префиксы. Так, напр., префикс sa+суффикс -o в *Sa-k'art'vel-o* 'Грузия', *sa-mer'-o* 'царство' (*mer'e* 'царь'), префикс sa+суффикс -ur- (-ul, -al, -ar-) в *sa-mzeur-i*, префикс me+суффикс -e в *me-pur-e* 'пекарь' (*pur* 'хлеб'), *me-bagh-e* 'садовник' (*baghi* 'сад'), префикс mo+суффикс -e в *m-osc'avl-e* 'ученик' (*sc'avla* 'учить'), *mo-padir-e* 'охотник' (*padir-i* 'дичь'). Последние два типа сочетаний префикса и суффикса в структуре слова служат преимущественно для образования *nomina agentis*.

Сказанное о деривации имен существительных в грузинском языке может быть распространено и на прочие южно-кавказские языки яфетической системы: мингрельский, лазский и сванский.

Все они обладают не малым количеством деривативных элементов, при помощи которых образуются имена существительные: суффиксов и префиксов.¹

2

Картина резко меняется, как только мы обратимся к яфетическим языкам Северного Кавказа: средства деривации в них крайне ограничены.

¹ См. Н. Марр. Грамматика чанского (лазского) языка. СПб., 1910, стр. 71—76 (§§112—120). — И. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка. СПб., 1914, стр. 0124—0132 (§§ 124—130). — A. Dirr. Einführung in das Studium der kaukasischen Sprachen. Lzg. 1928, стр. 126—127.

языков, а суффикс *-baq*, встречающийся в кюринском и хиналугском языках, персидского происхождения.

Еще малочисленнее суффиксы с другими значениями.

Так, напр., для образования *nomina actionis* в лакском языке очень употребителен суффикс *-avu*, напр., *qıqavu* 'резание', 'ампутация', *ılavu* (*bulavu, dulavu*) 'давание', *taxsırlıavu* 'обвинение'; для образования *nomina instrumenti* аварский язык имеет суффиксы *-go, -dego*, андийский — суффикс *-dir*.

Очень редки в северо-кавказских яфетических языках имена существительные уменьшительные, увеличительные и ласкательные, образуемые при помощи особых суффиксов.

Особые суффиксы для *nomina diminutiva* имеют только ингушский язык и кабардино-черкесский. В первом имеются суффиксы *-g* и *-selg*, напр., *chalg* 'домик', *govtg* 'лошадка', *peşkoelg* 'печурка', *bœqhoelg* 'жеребенок', во втором — суффикс *-zej*, напр., *gedzej* 'курочка'.

Имена существительные увеличительные в кабардино-черкесском языке образуются суффиксом *-şxve*, напр., *vьneşxve* 'домище'.

Только в цахурском языке существует суффикс *-aw*, придающий оттенок ласкательности, напр. *dıxaw* 'сыннок', *jışaw* 'дочурка'.

3

Пока яфетические языки Кавказа были бесписьменными, пока они были призваны удовлетворять запросы быта, примитивного сельскохозяйственного и кустарного производств и несложного торгового оборота, ограниченность средств словообразования не ощущалась.

Но наступила эпоха социалистического строительства и культурной революции и предъявила иные, новые и огромные требования к этим языкам.

Превращаясь в национальные письменно-литературные языки, становясь орудием высокой социалистической культуры, яфетические языки Кавказа были поставлены в необходимость прежде всего разрешить грандиозную проблему словотворчества. Нужно было создавать на этих языках неисчислимый запас новых слов и терминов, запас, который мог бы удовлетворить требованиям школы, административно-государственного аппарата, общественно-политической жизни, науки и техники, искусства и литературы и т. д. Тогда и обнаружился недостаток средств деривации в современных яфетических языках Кавказа.

Чрезвычайно интересно проследить, как этот недостаток восполняется в процессе широко развернутого языкового строительства.

Прежде всего широко практикуются описательные выражения в виде словосочетаний различного типа: 1) существительное с определяющим его прилагательным, 2) существительное, связанное с другим существительным посредством управления, 3) причастие с управляемым им существительным, 4) существительное, согласуемое с ним и определяющее его причастие, имеющее при себе второе управляемое им существительное. Так, напр., в ингушском языке слово 'белила' передается словосочетанием *khej basar*, т. е. белая краска (тип первый), 'белок' переводится *fuy šod*, т. е. 'яйца слизь' (второй тип), 'белка' — *byarəš duarg*, т. е. 'орехи едящая' (третий тип), 'рыбак' по-чеченски *čerij liesun stag*, т. е. 'рыбы удящий' (или ловящий) человек' (тип четвертый), 'попутчик' по-лакски *xhullul halmaxsu*, т. е. 'пути товарищ' (второй тип) и т. п.

Во-вторых, там, где в прометейдских языках пользуются деривацией от одного общего корня, в яфетических языках прибегают к корневым (непроизводным) словам с разными корнями или даже к заимствованию иноязычных слов.

Так, напр., в ингушском языке 'соль' и 'соленый' обозначаются совершенно различными по корню словами: 'соль' — *tux*, а 'соленый' *diğə*. Другой пример: 'слово' по-ингушки *doš*, 'словесно', 'словесный' — *bağax*, а 'словарь' — *luğhat* (арабское слово).

В третьих, свойственная яфетическим языкам Кавказа неполная дифференцированность частей речи¹ дает возможность взамен образования одной части от другой посредством суффиксов употреблять одно и то же слово в качестве различных частей речи. Так, недостающие отглагольные имена существительные типа русских 'житие', 'учение' часто заменяются инфинитивами, которые в яфетических языках не утратили большей частью своего номинального характера.

Ср., напр., в ингушском языке *deşəg* 'учиться' и 'учение', *vaşəg* 'жить' и 'жизнь', в лезгинском (кюринском) *xisabun* 'вычислять' и 'вычисление', *rajun* 'делить' и 'деление', *sexivun* 'увеличивать' и 'увеличение' и т. п.

Таковы в основном те способы, при помощи которых современные яфетические языки Северного Кавказа восполняют недостаток деривативных средств для производства новых слов.

¹ Н. Я. Марр. Яфетическая теория. Баку, 1928, стр. 124.

С. П. ОБНОРСКИЙ

ЗАМЕТКИ ПО РУССКИМ ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ

Числительные представляют одну из наиболее важных категорий при изучении общего процесса происхождения и развития речи. Не даром яфетидология в одной из ранних линий своей работы сосредоточила специальное внимание на изучении именно числительных в различных языках. Результатами этих исследований, поскольку они обнародованы, является выпущенный в 1927 г. Институтом языков и литератур Запада и Востока при гос. Ленинградском университете сборник под заглавием «Языковедные проблемы по числительным». Последующие заметки, не касаясь общих проблем происхождения и развития категории числительных в едином процессе речевого творчества, имеют своей целью оттенить некоторые факты из области русских числительных, имеющие общее лингвистическое значение.

Зарождение числительных несомненно принадлежало старейшей эпохе в развитии языка, по мысли акад. Марра, — эпохе, предшествовавшей возникновению звуковой речи.¹ Действительно, потребность в выражении, хотя бы в скромном виде, идеи числа должна была ощущаться человеком с ранней поры его культурной и хозяйственной жизни. Рост последней рука об руку шел с расширением самой категории числительных. В свидетельствах отдельных языков мы имеем наглядные указания на этот поступательный процесс в развитии категории числительных. Индоевропейские языки обнаруживают уже богато развитую систему числительных. В основе ее лежит счет десятками, самый оборот числительных охватывает не только идею сотни, но уже и идею тысячи.² Конечно, в этих свидетельствах индоевропейской языковой ветви перед нами ступень поздняя в общем развитии языка. И, действительно, отдельные индоевропейские языки позволяют по пережиточным остаткам судить о более ранних этапах сложения числительных, и здесь самая система числительных оказывается и иною качественно, и по мере углубления в прошлое, выступает все в более и более упрощенном виде.

¹ Языков. проблемы, 45.

² Brugmann Grundriss, II, I, I.

Анализ отдельных индоевропейских языков, особенно германской ветви, вскрывает знакомство их в прошлом с 60-ричной системой счета.¹ Таково особенно показание старого германского *hund*, имевшего первоначальное значение 120 (т. е. 60×2), также показания германских языков, греческого и других языков, дающих иной тип образования числительных для 70 и далее сравнительно с типом их образования для 60, 50 и далее.² Те же германские языки,³ албанский и кельтский язык⁴ обнаруживают знакомство с 20-ричной системой счисления.⁵ Можно поставить вопрос, не ее ли реминисценцией является также черта некоторых русских диалектов — обозначение '30' посредством сочетания двадцать десять. Эта черта отмечена в Медынск. и Мещовск. уездах⁶ б. Калужской губ. (отв. на прогр. АН №№ 263 и 267), в Новосильск. у.⁷ б. Орловск. губ. (прогр. № 77: черта, не общая у говорящих), в Щигр. у.⁸ б. Курск. губ. (Халанский, Нар. говоры Курск. губ., 32: у цуканов, особенность, уже исчезнувшая из языка), в Егорьевск. у.⁹ б. Рязанск. губ. (прогр. № 133: черта, присущая более детям и старухам), в Мокш. у. б. Пенз. губ. (прогр. № 230). Такое же показание дает и украинский язык (в песенном тексте).¹⁰ И 60-ричная, и 20-ричная система счисления являются показателями пройденных уже категорией числительных этапов развития, подобно тому как на смену им уже в позднейшую пору явился счет сотнями, а далее и тысячами.¹¹ Можно думать действительно, что и 20-ричная, и 60-ричная система числительных возникли на базе иных, более простых, предшествующих систем счета. Таковыми были 10-ричная система и, видимо, система 12-ричная. Счет десятками, как единицей число-

¹ Ср. ее в финском (Brugmann *ib.*, 4), также в шумерском языке (Рифтин. Языков. проблемы, 177).

² Brugmann, *ib.*, 4—5; Брим. Языков. проблемы, 161—163.

³ Brugmann, *ib.*, 5; Брим, *ib.*, 162.

⁴ Brugmann, *ib.*

⁵ Ср. ее в языке индо-иранских племен по Гиндукушу (Розенберг. Языков. проблемы, 165 и сл.), также в баскском и иных языках не индоевропейской системы.

⁶ Здесь при двадцать десять последующий счет — тридцать один, также тридцать десять, но — сорок один и т. д.

^{7, 8, 9} Здесь также — тридцать десять = 40 и пр.

¹⁰ Гринченко. Словарь, I, 361.

¹¹ В живом русском (народном) языке числительное 100 до недавнего времени, повидному, было предельною цифрою, как единицей счета. Ср. обозначение идеи тысячи через посредство числительного 100: двадцать сот = 2000 б. Самарск. губ. (РФВ, ХLI, 43); обычно также употребление числительного 100 в значении — неопределенно много, напр. сто раз говорить и под., у ней сто причуд и под. С этой точки зрения максимальная мыслимая вообще цифра была бы сто сот, с ее значением реальным — 10 000, общим переносным — неопределенное безграничное множество. Ср. это сочетание в последнем значении в укр. поговорке: сто сот болячок ті на плечі! (из Лебед. у. б. Харьк. губ.) См. Гринченко, Слов., VI, 207!.

вой системы, свидетельствуется всеми индоевропейскими языками. Счет по 12 как будто позволительно предполагать на основе показаний германских языков, в частности из отмеченного выше значения герм. *hunda* как 120, ср. также др. исл. *þushund* = 1200 и др.¹ Однако и в этих системах счета, по 10, или по 12, мы должны также предполагать следы определенного и большого достигнутого этапа в развитии числительных. Первоначальный круг числительных, конечно, не мог быть столь богатым и их система — столь совершенной. Чрезвычайно показательно в исследовании вопроса о первичных судьбах сложения числительных строение числительного 8 в показаниях индоевропейских языков. Оно известно почти всем индоевропейским языкам в одной форме. Анализ ее² говорит о том, что в этом числительном, в древнейшем его виде, перед нами слово (очевидно, в первичном значении числительного 4, т. е. четырех протянутых, «заостренных», основных пальцев руки) в форме двойственного числа, т. е. его значение было 4×2 . Мы имеем основание сделать отсюда заключение, что оборот числительных в первичную эпоху обнимал лишь числительные 1—4, и первичный счет был счет четверками. Впрочем, если уже говорить о первичной эпохе, то осторожнее даже было бы предполагать о первоначальном сложении в качестве числительных лишь обозначений для 2—4. Обозначение единицы, этого абстрактного понятия, должно было сложиться в языке, как и в мышлении, позднее, как величины отрицательной (по отношению к 2—4). Не даром индоевропейские языки так не согласны в обозначении числительного '1'.³

Следующим этапом в развитии категории числительных было образование слова для идеи «пяти». Отсюда новая система — 5-ричная. Она лежит, вероятно, в основе позднейшей 60-ричной системы счисления. Следует поставить вопрос, не к ней ли восходит обозначение в украинском 15 в виде три п'ять. Ср. эту форму числительного в поговорке: поки три'ять (тижднів по рідві) не мине, то не буде тепла.⁴

5-ричная система счета сменилась далее 6-ричной в связи с образованием числительного 6. Эта система, по предположению Munkácsi, была основной системой счисления в финно-угорской языковой ветви.⁵

Трудно судить о происхождении и первичном значении числительного 7. Следующее же образование числительного 8, ясного (см. выше) и морфо-

¹ Брив, *ib.* 163.

² Brugmann, *ib.*, 3 и 19; Преображенский. Этим. словарь, I, 99.

³ Brugmann, *ib.* 6—7.

⁴ Гринченко. Словарь, IV, 284.

⁵ Поппе. Языков. проблемы, 126.

логически и семантически, явилось новым этапом в развитии категории числительных. Что это было так, об этом свидетельствует и дальнейшая очередная ступень в развитии категории числительных, именно сложение числительного для обозначения идеи «девяти». Соответствующее числительное известно в одной форме также почти во всех индоевропейских языках¹ и этимологически связывается с словом «новый», обозначая тем самым как бы «новое», вслед за числительным 8, числительное.² Понятно, что числительное 8 было не просто рядовым числительным, но, до образования 9, предельным в речи числительным, заключавшим известный период времени весь числовой оборот языка. Образование числительного 9 также имело значение этапа в речевом развитии, послужив базой 9-ричной системы счисления. Об этом свидетельствует наше русское, обычное уже лишь в фольклорных текстах, обозначение 27 в виде тридевятъ. Ср. 'за тридевятъ земель', Белоз. (Колосов, Заметки, 75), 'за тридевятъ морей', Кем. (Ончуков, Северные сказки, 151), 'за тридевятъ замков', 'за тридевятъ дверей', Каргоп. (Колосов, *ib.*, 188), 'выскоцит тиби тридевятъ молодцов', Петроз. (Ончуков, *ib.*, 206), 'запри их тридевети ключам', Нолин. (Прогр. № 68, прилож.). Но встречается этот же счет и в показаниях старой письменности: 'вѣрують... въ вилы ихже число ꙗко ꙗко сестрениць' (Слово христово, по так наз. Паис. сб., рукописи XIV—XV в.). Известно также тридев'ять, тридев'ятый (в значении 27, 27-й) в украинском языке.³ Замечателен, обязанный в конечном итоге памяти о старейшей 9-ричной системе счисления счет по 90. Он представлен свидетельствами старой Новгородской и Псковской письменности ('съ тремя девяносты', т. е. псковичей, Новгородск. IV летоп.; 'двѣ девяностѣ мужъ', Псковск. I летоп.; 'одиномъ девяностомъ 7 сотъ побѣди', *ibid.*), а, кроме того, известен по былинным текстам ('два девяноста мѣрныхъ версть', Был. об Иване гост. сыне).⁴

Числительные по происхождению одна из первичных языковых категорий, предшествовавшая возникновению в языке категорий рода, числа, падежа. Числительные поэтому представляли собою вообще слова неизменяемые. Позднее, в славянской языковой ветви, они сблизились с именами существительными, в связи с чем стали словами склоняемыми, а, кроме того, получили признаки рода и даже числа. Так, в русском языке все числительные вообще склоняемы. Числительное два обладает признаком рода муже-

¹ Brugmann, *ib.*, 29.

² Преображенский, *ib.*, 177.

³ Гривяченко. Словарь, IV, 282.

⁴ Срезневский. Материалы для словаря древне-русского языка. I, 650.

свого и среднего в отличие от формы того же числительного, но с признаком рода женского — две. В старом русском языке признаком рода обладало каждое числительное: форма дъ ва носила признаки мужеского рода, форма дъ вѣ — женск. и сред. р., форма триѣ — муж. рода, три — женск. и средн., четыре муж. рода, четыре — женск. и средн., числительные 5—10 все были женск. рода, числительные девяносто и съто — средн. рода. Этими родовыми соотношениями характеризовались числительные и в иных славянских языках на старшей стадии их жизни, причем в некоторых из них и посейчас сохраняется старина, утраченная русским языком. Ср. в белорусском и украинском два муж. рода, но две — (белор. — дзве, укр. — дві) не только женск., но и средн. рода, то же в чешском, словацком, словинском, или в словинском trije, štirje — муж. рода, но trí, štíri — женск. и средн. рода, и др. В отношении числа в старом русском числительное 2 склоняется по особому, так наз. двойственному числу, числительные 3 и 4 по множественному числу, числительные 5—9 по единственному числу, числительные девяносто и съто и по единственному и по множественному числу. Эта общая картина мутабельности системы числительных по линиям рода, числа, падежа, характеризующая современный или прослеживаемый исторически русский язык, соединяется подчас с ее нарушениями, в чем можно усматривать следы первичного облика числительных, как категории слов вообще неизменяемых. Так числительное сто по показаниям некоторых русских диалектов слово несклоняемое; соответственные свидетельства имеются из Чемб. у. б. Пензенск. губ. (прогр. № 228) и из б. Терск. обл. (РФВ, XLIV, 80).¹ Числительное 100 не склоняется и в ряде иных славянских языков — в чешском (иногда), словацком (обычно), сербо-хорватском и словинском.² В сербо-хорватском языке вообще большинство числительных несклоняемо: здесь склоняются лишь числительные 1—4. В современном русском языке в положении после предлога «по» от числительных 5—89 возможно употребить и форму дательного падежа (по пяти, десяти, семидесяти руб.), и «несклоняемую», т. е. исходную форму числительного в им. падеже (по пять, десять, семьдесят руб.), а от прочих числительных обычна в употреблении исходная их форма. Ср. в словинском обычное употребление числительных после предлогов в неизменяемой форме.³

¹ Несклоняемо также полтораста в б. Медынск. (прогр. № 263), Мокш. и Чемб. уездах (прогр. №№ 228, 230), б. Терск. обл. (1. с.).

² Отмечу, что несклоняемо в словинском и числительное 1000 — tisíc.

³ Флоринский. Лекция по славянскому яз. I, 471.

В отношении родовых соотношений следует заметить о форме числительных со значением 12 и 200. Первое числительное в старом русском, как и в иных старшей стадии славянских языках, звучало двояко: дѣва на десяте — при соединении с существительным муж. рода и дѣвѣ на десяте — в сочетании с существительным женск. или средн. рода. Из этих двух разновидностей числительного по неясной причине в русском языке стабилизировалась одна последняя форма — двенадцать, между тем во всех прочих славянских языках, также в белорусском и украинском, за числительным закрепилась первая разновидность с элементом два- в начальном члене сложения, с элементом в той форме, которая, можно думать, принадлежала числительному 2 в эпоху, когда в нем еще не обозначились родовые признаки. Диалектически в русском языке в этой форме (дванадцать) числительное отмечено лишь в Краснинском и Ельнинском уездах б. Смол. губ. (Гр. Моск. диал. ком., II, 88; Добровольский. Словарь, 160). Числительное 200 в старейшей стадии русской и вообще славянской речи представляло сочетание числительного (по средн. роду) дѣвѣ с соответственной формой (по двойственному числу) от сѣто, звучавшей в виде сѣтѣ. Ср. современное русское двести (дѣвѣ сѣтѣ → дѣстѣ → дѣсти, с редукцией конечного неударяемого гласного), укр. двісті, болг. двѣ стѣ и двѣ сти, польск. dwiesćie, чешск. dvě stě. Диалектически в русском, однако, обычно иное образование. Утрата в русском языке двойственного числа, приводящая к замене соответственных форм существительных (после числительного 2, а также 3 и 4) формами род. падежа единств. числа (2 — 4 дѣма, 2 — 4 сестрѣ), утрата формою числительного дѣвѣ значения средн. рода, каковой, согласно со сказанным выше, стал обслуживаться формою два, — вызвали образование для числительного 200 новой формы — два ста. Ср. ее в Никол., Пуд., Тотемск. уу. б. Волог. губ. (прогр. № 266; Мансикка, 160; РФВ, XVIII, 245), в Яранск. у. б. Вятск. губ. (Зеленин, 46), в Шадр. у. б. Пермск. губ. (Пермск. сб., II, 2, 164, 181), в Казанск. у. (прогр. № 94), в Егорьевск. у. б. Ряз. губ. (прогр. № 277), в Инсар. у. б. Пенз. губ. (прогр. № 231), в Ром.-Борисогл. у. б. Тамб. губ. (Кузнецов, 12), в Мешовск. у. б. Калуж. губ. (Чернышев, 164).¹ Замечательна комбинированная форма с сохранением в числительном — первого члена сложения в архаическом виде, но с заменой второго элемента сложения новообразованием. Она свидетельствуется с одной стороны украинским языком — укр. двіста, с другой стороны сербо-хорватским — двјеста.

¹ Ср. в песне: У шыроких у варот — Стаял девак карагот — Ишшо бап талпа — Мужиков ста два. Шагр. у. б. Курск. губ. (РФВ, III, 287).

Н. Н. ПОПШЕ

К СЛОВАРНОМУ ИЗУЧЕНИЮ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИХ ГОВОРОВ

Бурят-монгольский язык начал углубленно изучаться лишь недавно. Ничего не сделано, в частности, в области изучения лексического состава бурят-монгольского языка, особенно сравнительного изучения его. Между тем, уже теперь можно было бы наметить пути такого исследования словарного запаса бурят-монгольских говоров.

Изучение старых словарей, равно как и других источников по письменному монгольскому языку и живым монгольским языкам XIII—XIV ст., обнаружило уже, что такие старые памятники изобилуют словами, ныне встречающимися только в бурят-монгольских говорах. Так, напр., в экземпляре арабско-персидско-монгольско-тюркского словаря Мукаддимат ал-Адаб, восходящем к XIV ст., мы встречаем слово *اوناتقان* *onatan* «рассказ», которое всем ныне существующим монгольским языкам чуждо. Оно известно лишь в бурят-монгольском языке, где оно встречается в форме *ontoxo* в значении «былина» «героическое сказание» (ср.: Ц. Ж. Жамцарано. Произведения народной словесности бурят, т. I, Пгр., 1918, стр. XVIII).

В том же словаре мы находим слово *ايچاسون* *ičesün* «ива», которое известно еще по древнейшему памятнику монгольского языка Юань-чао-би-ши в форме *hičesün*, эквивалентом которого является нынешнее западно-бурятское *ošöhög* «ива» (см.: P. Pelliot. Les mots à h initiale, aujourd'hui amuie, dans le mongol des XIII-e et XIV-e siècles. JA, 1925, p. 217).

В отношении слов, ныне встречающихся только в бурят-монгольских говорах, особенно любопытным является Юань-чао-би-ши. Так, напр., неоднократно засвидетельствованное в нем слово *huni* «дым», имеющееся еще в словаре Ибн-Муханны, в настоящее время встречается опять-таки только в бурят-монгольском языке, ср. там *uñij* «дым» (ср. Pelliot, p. 238).

В Юань-чао-би-ши встречается больше нигде не засвидетельствованное слово *jügelü*, напр., в таком сочетании: *ja'uridaï urida jügelidü oron*.

büle'ē «Джауридай пошел раньше вешать мясо на шесте» (см.: А. Позднеев. Транскрипция палеографического текста Юань-чао-ми-ши, стр. 17) или, как переводит Палладий, «позволил ему участвовать в жертвоприношениях» (Тр. членов Росс. Дух. миссии в Пекине, IV, стр. 30). Слово *jügelü* ни в одном монгольском языке теперь неизвестно и встречается лишь в некоторых говорах бурят-монгольского языка, напр., агинском, эхритском и булгатском в форме *jüxeli* «шаманское жертвоприношение в виде повешенной на шест или на березу туши барана».

Во всех бурят-монгольских говорах распространено в настоящее время слово *tura*, имеющее в различных говорах несколько разные значения, а именно тунк., булгат., алар. *tura* «изба», селенг. «город». Слово это теперь не свойственно другим монгольским языкам, но засвидетельствовано в языке монгольской письменности в значении «крепость», а в Юань-чао-би-ши в значении «четырёхугольный щит» (P. Pelliot. Un passage altéré dans le texte mongol ancien de l'histoire secrète des mongols, p. 200). Интересно отметить, что слово это гораздо более распространено в тюркских и других языках восточной и западной Сибири, напр. ойрот., лебед., шорск., койб., хакасск., качинск., бараб., тоб., уйгурск. *tura* «дом», ойрот. «город», уйг. Махмуд Кашгарск. «бруствер», чагатайск. «баррикада», «щит», самоед. камассинск., кетск. *tura* «изба», джурдженск. *t'üh-läh* (= *tura*) «колонна, столб», манджурск. *tura* «колонна», гольдск. *tora* «вертикальный столб в юрте», ольча *tura* «колонна». Слово *tura*, как видно, за пределами монгольских языков широко распространено. Будучи очень старым и весьма распространенным термином, оно вероятно не стоит изолированно от латинск. *turris*. По поводу этого позволим себе заметить, что исследование некоторых языков Сибири совершенно неожиданно колеблет прежние попытки объяснения происхождения тех или иных слов европейских языков. Так, напр., русское «тюрьма», финск. *Suomi tyrmä* «тюрьма» пытались вывести из немецкого *Turm* (*Türme*), но наличие этого слова в теленгитск. *türmä* «тюрьма», в уйгурском (у Махмуда Кашгарского XI ст.) в этом же значении и в языке османской письменности *türbä* «мавзолей на могиле» ставят под сомнение теорию о заимствовании этих слов из немецкого.

В языке старой монгольской письменности хорошо известно слово *süldē* «гений-хранитель» (ср.: Б. Я. Владимирцов. О тибетско-монгольском словаре *Li-çihü gur-khan*, ДАН-В 1926, стр. 29—30). Слово *süldē* встречается еще теперь в ряде монгольских языков в языке шаманских гимнов и призываний. Таково, напр., название шаманских божеств *süldē jirēñ jüsēñ tengēr* «99 тенгриев Сюльдэ» у халха-монголов (см.: Б. Я. Владимирцов.

Этнолого-лингвистические исследования в Урге, Ургинском и Кентейском районах. Северная Монголия, II, Л., 1927, стр. 23) или ойратское *süldä* «штандарт, знамя», но больше всего оно распространено опять-таки в бурят-монгольских говорах, в шаманских призываниях: ср. эхритск. *höldö* «душа, дух», аларск. *höldö* «гений-хранитель».

Интереса заслуживает также бурят-монгольское название реки Лены *ülxe*. Слово это, как нарицательное, имеет в ряде говоров, напр., в говорах Боханского аймака, значение «середина реки». Из других монгольских языков это слово встречается теперь, насколько нам известно, лишь в монгорском (в провинции Гань-су в Китае) в форме *ts'morgiö* «долина с рекой посредине», но из древних памятников оно засвидетельствовано опять-таки в Юань-чао-би-ши (ср.: A. de Smedt et A. Mostaert. Le dialecte monguor parlé par les mongols du Kansou occidental. Dictionnaire monguor-français. Pei-p'ing, 1933, p. III).

Если в современных бурят-монгольских говорах можно найти множество слов, свойственных в основном еще только монгольским языкам XIII—XIV ст. и языку старой письменности, то естественно, что в бурят-монгольских говорах семантика многих, ныне широко распространенных во всех монгольских языках, слов значительно ближе стоит к таковой старых монгольских языков, чем где бы то ни было.

Не останавливаясь больше на вопросах, связанных со сравнительным изучением словарного запаса бурят-монгольских говоров и такового монгольских языков XIII—XIV ст., укажем еще, что бурят-монгольский язык обнаруживает особую близость, что касается не монгольских языков, к языкам тюрков Алтая. Достаточно указать, что бурят-монгольское слово, служащее для обозначения понятия «люди», «народ» *jon*, очень мало свойственное другим монгольским языкам, чрезвычайно характерно как раз для языков тюрков Алтая, ср. ойрот. *jon* «народ», «люди», шор., хакасск. *jon* «народ». Укажем, далее, что название высшего доброго божества алтайских тюрков-шаманистов *ülgän* стоит совершенно изолированно и лишь в языке шаманских призываний и эпических произведений бурят-монголов мы встречаем слово *ülgen* в качестве эпитета земли, напр., *ülgen jixe daiida* «Ульген — великая земля», что соответствует, примерно, «мать сыра-земля». Это бур.-монг. *ülgen* есть первоначально несомненно название шаманского земного божества. Таким образом, встает перед нами вторая проблема, а именно изучение бурят-монгольского словаря в связи с таковым языков тюрков Алтая, с которыми бурят-монголы, особенно западные, имеют очень много общего и в области материальной культуры: укажем здесь лишь

на восьмиугольную деревянную юрту, характерную как для алтайских тюрков, так и для западных бурят-монголов.

Естественно, что со своими ближайшими соседями якутами бурят-монголы имеют также много общего. Так, якутское слово *urasa*, обозначающее летнюю берестяную коническую юрту, мы встречаем теперь у бурят-монголов, напр., у баргузинских, в форме *urza* в значении конусообразного шалаша. Таких общих слов можно было бы привести еще большее количество, но поскольку нас интересует здесь только сама постановка проблемы, мы приведенными примерами ограничимся и укажем лишь, что бурят-монгольские говоры могут быть удовлетворительно изучены в словарном отношении лишь в связи с названными языками тюрков Алтая, якутским и, конечно, монгольскими языками древности.

С другой стороны, детальное изучение бурят-монгольских говоров поможет нам при чтении многих старых памятников монгольского письменного языка. Все это вполне естественно, если мы еще раз вспомним неоднократно делавшееся указание на чрезвычайную архаичность бурят-монгольского языка, обусловленную тем, что ни у одной монгольской народности пережитки родового строя не сохранялись так долго и в таком большом количестве, как именно у бурят-монголов.

И. Л. СНЕГИРЕВ

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ В ЯЗЫКЕ ЗУЛУ

Длительное господство кинетической речи создало определенные ценности, заветанные следующими поколениями на неизбежное использование в возникшем у них звуковом языке.

Н. Я. Марр. Яфетическая теория, стр. 95.

У кинетической речи большое преимущество перед звуковой, особенно ценное для первобытного общества, не обладающего сильными ушами взаимнообщения, чтобы втягивать в свою орбиту разноязычные племена, между тем линейная, собственно кинетическая речь общедоступна, как иероглифы и, еще более, пиктография.

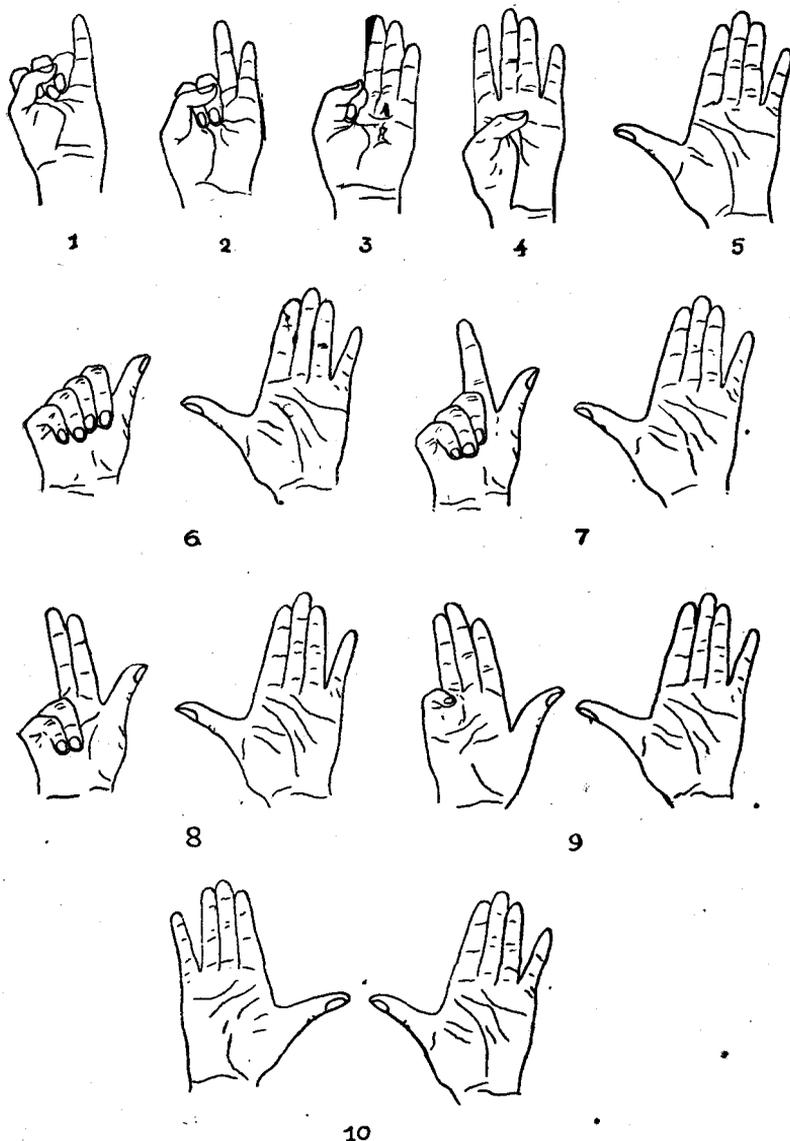
Ibid., стр. 96.

Характерной чертой категории числительных в языке Зулу на современном этапе его развития является совершенно необходимое сопровождение произносимого числительного ручным сигналом — жестом. Насколько сильна связанность числительных звуковой речи с изображением числительного рукой, мы увидим ниже, сейчас же отметим, что без предварительного ознакомления с ручными жестами невозможно правильное понимание ряда числительных.

Обычно счет ведется двумя руками. Начинают с левой руки сжатой в кулак, причем для единицы подымается мизинец, и прибавляем очередных пальцев счет доходит до пяти. Для шести подымается большой палец правой руки и в том же порядке счет доходит до десяти. После поднятия мизинца правой руки, для завершения числительного 10, необходимо сложить обе руки ладонями внутрь. Для числительных выше процесс начинается сначала и, если нужно, повторяется большое число раз, до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое числительное. После перехода к числу шесть необязательно держать левую руку с предшествовавшей пятеркой, — ее можно опустить. Также возможен счет при помощи одной правой руки. При последнем действии начинается с мизинца в сторону большого пальца и обратно.¹

¹ Мой осведомитель отрицал возможность счета двумя руками с мизинца правой руки, однако у Samuelson'a мы находим указание на это (Robert C. A. Samuelson. Zulu Grammar.

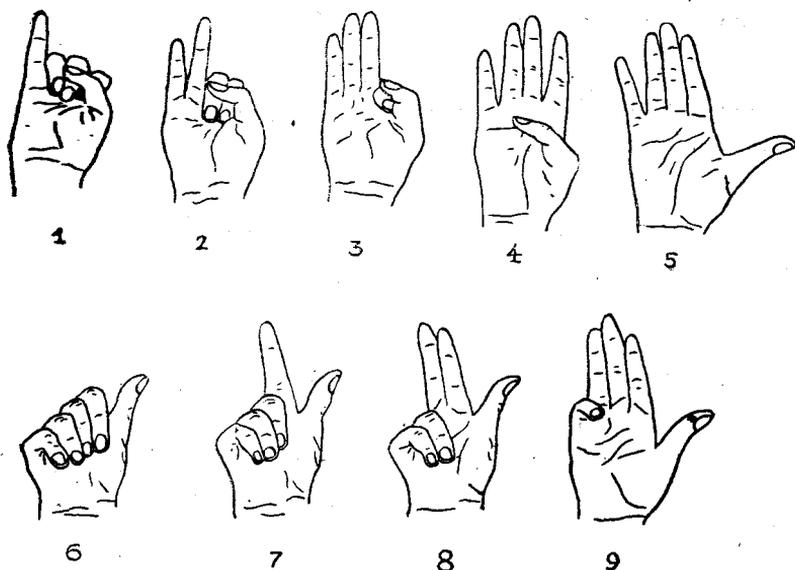
В таблице картина будет следующей:



Фиг. 1. Счет двумя руками, начиная с мизинца левой руки.

Как мы уже говорили, при передаче числительного неразрывно участвуют ручной и звуковой сигнал. Количественные числительные представлены в следующем виде:

Durvan, 1925, стр. 79). Это, конечно, свидетельствует, что в настоящий момент четкости начала счета уже не чувствуется и отстаивать тот или иной порядок, как правило, не приходится. Фиксируя современное состояние языка необходимо учитывать и все существующие



Фиг. 2. Счет одной правой рукой.

1. nye: ihashi elinye elimhlope 'одна белая лошадь'
2. bili: izinyoni ezimbili ezimbomvu 'две красных птицы'
3. tatu: indlovu ezintatu 'три слона'
4. ne: izita ezine eziyoyikekayo 'четыре страшных врага'
5. hlanu: izinsuku ezihlanu 'пять дней'
6. isitupa: izinkabi ezisitupa ezimnyama 'шесть черных быков'
7. isikombisa: amadoda asikombisa amakulu 'семь великих людей'
8. shiyangalombili: izisebenzi ezishiyangalombili 'восемь рабочих'
9. shiyangalolunye: izindhlu ezishiyangalolunye 'девять домов'
10. ishumi, amashumi: amakonyana alishumi 'десять телят'
11. ishumi nanye: incwadi ezilishumi nanye 'одиннадцать книг'
16. ishumi nesitupa: amapera alishumi nesitupa 'шестнадцать газет'
17. ishumi nesikombisa: imifanekiso eyilishumi nesikombisa 'семнадцать картин'
18. ishumi elishiyangalombili: izihlalo ezilishumi elishiyangalombili 'восемнадцать стульев'
19. ishumi elishiyangalolunye: amasere alishumi elishiyangalolunye 'девятнадцать ложек'
20. amashumi amabili: izikali ezingamashumi amabili 'двадцать воинов'

отклонения от «классической» нормы, чего не делает в интересах неприкосновенной чистоты Wanger (P. W. Wanger. *Konversations-Grammatik der Zulu-Sprache*. Marianhill, 1917, стр. 66).

30. amashumi amatatu: amadoda angamashumi amatatu 'тридцать мужчин'
40. amashumi amane: imiti engamashumi amane 'сорок деревьев'
50. amashumi amahlanu: izintombi ezingamashumi amahlanu 'пятьдесят девочек'
60. amashumi asitupa: amatshe angamashumi asitupa 'шестьдесят камней'
70. amashumi asikombisa: amabanjwa angamashumi asikombisa 'семьдесят узников'
80. amashumi ashiyangalombili: ingane ezingamashumi ashiyangalombili 'восемьдесят детей'
90. amashumi ashiyangalolunye: izingwenya ezingamashumi ashiyangalolunye 'девятьюсто крокодилов'
100. ikulu, amakulu: induku ezilikuлу 'сто палок'
200. amakulu amabili: abafazi abangamakulu amabili 'двести женщин'
222. amakulu amabili namashumi amabili nambili: izithebe ezingamakulu amabili namashumi amabili nambili namashumi amabili nambili 'двести двадцать два щита'
300. amakulu amatatu: izingubo ezingamakulu amatatu 'триста одеял'
567. amakulu amahlanu namashumi asitupa nesikombisa: imicwazi eyingamakulu amahlanu namashumi asitupa nesikombisa 'пятьсот шестьдесят семь пятен'
1000. inkulungwane, izinkulugwane: abahleli bayinkulungwane 'тысяча издателей'
3000. inkulungwane ezintatu: abafana bayinkulungwane ezintatu 'три тысячи мальчиков'
- 10 000. inkulungwane ezilishumi: izimbiza eziyinkulungwane ezilishumi: 'десять тысяч горшков'
- 60 000. inkulungwane ezingamashumi asitupa: izinganekwane ezingamashumi asitupa 'шестьдесят тысяч сказок'
- 100 000. inkulungwane ezilikulu: imizi eyinkulungwane ezilikulu 'сто тысяч деревень'

Как видно из вышеприведенного перечня количественных числительных они не принадлежат к одной грамматической категории. Часть из них являются простыми или составными прилагательными, другие имеют оформление классового префикса и входят в категорию имен существительных.

Распределяются они следующим образом:

Имена прилагательные		Имена существительные
простые	сложные	
1. nye	6. isitupa	10. ishumi, amashumi
2. bili	7. isikombisa	100. ikulu, amakulu
3. tatu	8. shiyangalombili	1000. inkulungwane, izinkulungwane
4. ne	9. shiyangalonye	
5. hlani		

Для количественных числительных наличны две формы употребления, которые можно опеределить как релятивную и предикативную.

Чрезвычайно распространена релятивная форма, обычная для имен прилагательных. Числительные следуют за определяемыми существительными; согласование выражается в префигировании релятивной частицы 'а' и префикса определяемого имени, причем частица 'а' претерпевает закономерное слияние с начальной гласной классового префикса (ihashi a-ili-nye) → ihashi elinye 'лошадь, которая одна' — 'одна лошадь', (umuntu a-umu-nye) → umuntu omunye 'человек который один' — 'один человек'; (abafazi a-aba-ne) → abafazi abane 'женщины которые четыре' — 'четыре женщины'.

Наряду с этим выступает предикативная форма. В ней числительное может стоять перед или после определяемого имени, имея в качестве префикса его личное местоимение, являющееся по существу разновидностью классового префикса.¹

ihashi linye, linye ihashi, 'лошадь она одна', 'она одна, лошадь', 'одна лошадь'

abafazi bane, bane abafazi 'женщины, они четыре', 'они четыре женщины' — 'четыре женщины'.

Все порядковые числительные являются именами существительными. За исключением 'первый', который идет по классу uku,² все количественные прилагательные принимают префикс isi.

Порядковые числительные употребляются в обычной притяжательной форме имен существительных, причем определяемое имя осмысливается как объект первого, второго и т. д. мест. Напр.:

¹ См. об этом И. Л. Снегирев. К происхождению местоимений. Местоимения третьего лица и классовые показатели в языке Зулу. Изв. Академии Наук, 1933, № 8.

² О классовых префиксах см. И. Л. Снегирев. Число классовых префиксов в языке Зулу. Сб. Язык и мышление, т. I, Л., 1933.

1. ukuqala: ihashi lokuqala 'первая лошадь'
2. isibili: inyoni yesibili 'вторая птица'
3. isitatu: indlovu yesitatu 'третий слон'
4. isine: isita sesine 'четвертый враг'
5. isihlanu: usuku lwesihlanu 'пятый день'
6. isitupa: inkabi yesitupa 'шестой вол'
7. isikombisa: indoda yesikombisa 'седьмой мужчина'
8. isishiyangalombili: isisebenzi sesishiyangalombili 'восьмой рабочий'
9. isishiyangalolunye: indhlu yesishiyangalolunye 'девятый дом'
10. ishumi: inkonyana yelishumi 'десятый теленок'
100. ikulu: induku yelikulu 'сотая полка'
1000. inkulungwane: umhlangano wenkulungwane 'тысячный митинг'

'Один' *nye* не является основным числительным. В порядковых числительных он заменяется *ukuqala* 'начало', 'начинать'. Основное его значение 'другой', что проявляется в относительной форме, равно как и в предикативной:

abanye bahle, abanye babi 'некоторые (одни) хороши, другие плохи'
umfazi omunye 'другая женщина'
manye amazwe 'другие страны'

По своему значению 'один' *nye*, возможно, увязывается с 'палец', хотя в двух формах числительных для 'восьми' и 'деяти' они различаются.¹

Значение числительных 'два' 'три' 'четыре' и 'пять' неясно. Сравнительный материал Банту не дает разъяснений. 'Шесть' *isitupa* является именем и значит 'большой палец'.² 'Семь' *isikombisa* образовано от каузатива глагола *ukukomba* 'указывать'.

Для 'восьми' и 'деяти', как мы уже видели выше, наличны сложные прилагательные *shiyangalombili* и *shiyangalolunye*. Они наряду с второй формой *tobaminwembili* и *tobaminwemunye* представляют описание кинетического сигнала соответствующих числительных. В дословном переводе

¹ В языке Зулу, Коса, Суази, Ндебеле и Нгони 'один' и 'палец' четко различаются. В северо-западных языках верхоя р. Замбези мы имеем одно слово *nye* (напр. в *Lujazi* по Н. Johnston'у. *A Comparative study of the Bantu and Semi-Bantu languages*, т. I, стр. 336 и 343, т. II, стр. 465, прим.). В Зулу мы имеем пример перехода *w* в *y*. Напр., *akuti wehle* ↔ *akuti yehle* (Bryant. *Zulu — English Dict.*, стр. 694 и 711).

² Правой руки, как правило, а не левой, как это указывает Н. Johnston (l. c., т. II, стр. 471). В Суто числительное шесть значит 'переход' от *tšelèla*, 'переходить' (от одной руки к другой).

они значат: 'опусти два сустава' (8), 'опусти один сустав' (9) 'согни два пальца' (8), 'согни один палец' (9).¹

'Десять' *ishumi* является основным числительным во всех языках Банту и повидимому обозначает 'все пальцы' (обеих рук). 'Сто' *ikulu* собственно значит 'много' ('большое число'). Открытым остается вопрос о 'тысяче', которая формально представляет собою уменьшенную форму от ста.

Таким образом, в звуковой речи Зулу нам даны числительные 1, 2, 3, 4, 5, 10. Остальные связаны целиком с ручными числительными в их оформлении кинетическим сигналом.

Вряд ли все ручные числительные Зулу являются новым явлением. Родившись в непосредственной обстановке начальных форм межплеменного обмена они исторически, благодаря своей социальной функции, явились своеобразным общепонятным *lingua franca*, что и способствовало их устойчивому сохранению. В развитии категории числительных звуковой речи они оставили яркий след своего влияния и до сих пор равноправно выступают с ними в языковой практике.

Содержание настоящей небольшой заметки лишний раз ставит перед нами вопрос о необходимости привлечения богатейшего материала живых африканских языков при решении генетических вопросов единого процесса глоттогонии и, в частности, вопроса о происхождении категории числительных, получившего свое четкое разрешение в работах Н. Я. Марра.

Ленинград, 31 января 1934.

¹ Та же ошибка у Johnston'a (т. II, стр. 478). *Ukushiya* 'опускать'; *uku toba* 'сгибать'; *ingalo* 'сустав руки и ноги'; *imunwe* 'палец'. Такого же характера числительные, описывающие другой жест, мы имеем в Куса и Суто.

В. В. СТРУВЕ

СТАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ЕГИПЕТСКОЙ ГЛАГОЛЬНОЙ ФОРМЫ „SDM. F“

В египетском языке, как и в близких ему семитических и хамитических языках, большую роль играли во все периоды именные предложения, т. е. предложения, в которых отсутствует глагол. В противоположность глагольным предложениям, именные предложения выражают состояние, а не действие. С другой стороны, египтологами так наз. Берлинской школы высказывалось положение, что главная форма древнеегипетского спряжения — форма *sdm. f* — восходит к именному предложению. Это наблюдение соответствует положению яфетидологии о примате имени существительного перед глаголом. Так как египтологи пришли к указанному установлению на основании конкретного материала, то поэтому и именное предложение в древнеегипетском языке приобретает для яфетидологии сугубый интерес.

В египетском языке надо различать две разновидности именного предложения:¹ адвербиальное именное предложение и номинальное именное предложение. В первом сказуемым является предлог с именем существительным или с местоименным суффиксом или с неопределенным наклонением. Напр., *tꜥ.f nk* 'хлеб его принадлежит тебе' (букв. 'для тебя'), или *rg. k m Mpnfr* 'твой дом в Мемфисе', или *mꜥꜥ m ꜥꜥꜥ.t* 'воин в хождении'.² В номинальном именном предложении роль сказуемого играет или имя существительное, или имя прилагательное, напр., *ꜥꜥꜥ ꜥꜥꜥꜥ* 'азиат враг', или *tꜥ.f hd* 'хлеб его белый'. Если в адвербиальном именном предложении подлежащее всегда стоит на первом месте, то в номинальном это правило не применяется столь последовательно. В тех случаях, когда имя прилагательное является сказуемым, то даже можно считать правилом, что ска-

¹ См. по всем вопросам, связанным с именным предложением в древнеегипетском языке, большое исследование К. Sethe. *Der Nominalsatz im Ägyptischen und Koptischen* (Abhandl. d. philolog.-hist. Kl. d. Königl. Sächs. Ges. d. Wiss., т. XXXIII, № 111), Лейпциг, 1916. и соответствующие отделы в грамматике Егман'а и Gardiner'а.

² Ср. Sethe, указ. соч., § 3.

зуемое (имя прилагательное) стоит на первом месте и вместе с тем всегда в мужском роде и в единственном числе, напр., *nfr wꜣwt.y* 'прекрасны мои дороги'.¹ В виду этого синтаксического правила, устанавливаемого на конкретном материале, можно предположить, что к номинальному именному предложению восходит и доминантная форма древнеегипетского спряжения: *sḏm* + местоименный суффикс, напр., 'слышу я, ты и т. д.' или *sḏm* + имя существительное 'слышит бог, царь и т. д.' Исходя из сближения с номинальным именным предложением, можно интерпретировать названную глагольную форму, как 'слушающий — я', 'слушающий — бог'.² Иными словами говоря, можно будет рассматривать *sḏm* как причастие, соответствующее по существу имени прилагательному. В качестве такового оно стоит на первом месте, хотя оно и сказуемое и, вместе с тем, оно не согласуется ни в роде, ни в числе с подлежащим. Мысль видеть в глагольной основе египетского спряжения причастие возникла сравнительно поздно. Первоначально видели в глагольной основе спряжение неопределенного наклонения.³ Основанием для определения глагольной основы *sḏm.f* послужила форма прошедшего времени *sḏm-nf* 'он слушал'. Здесь мы имеем ту же глагольную основу, что и в форме *sḏm.f*, но, связанные с глаголом местоименный суффикс или имя существительное стояли в дательном падеже, определяемом предлогом 'п', 'для'. Если это так, то форму *sḏm-nf* можно интерпретировать следующим образом: 'слушаемый для него', resp. 'слушаемый принадлежит ему'. Отношение принадлежности мы можем и в языках индоевропейской системы выразить таким же путем. Действительно, можно сказать *habeo domum* 'я имею дом' и *mihi est domus* 'мне есть (принадлежит) дом'. Поэтому и *sḏm-nf* 'слушаемый (принадлежит) мне', можно перевести 'я имею слушаемого', т. е. мы получаем полное соответствие с французским 'il a écouté' 'он имеет слушаемого', 'он слышал'.⁴

Окончательно можно было доказать наличие причастия страдательного залога в форме *sḏm.f* после установления так наз. проспективной релятивной формы.⁵ Релятивная форма *sḏm.w.f*, как известно, содержала в себе целое предложение — сказуемое, дополнение и подлежащее 'слушает его он', напр., *sn, sḏm.w.f* 'брат, слушает его он', т. е. 'брат, которого он слушает'.

¹ Sethe, указ. соч., § 32 и Erman, Gram. § 471.

² Sethe, указ. соч., § 38.

³ См. в первых трех изданиях египетской грамматики Ерман'а параграфы, относящиеся к спряжению.

⁴ Sethe, Aegypt. Ztschr., 47, стр. 140.

⁵ Честь открытия этой формы принадлежит В. Gunn, Studies in egyptian syntax. Paris, 1924, стр. 1 сл.

Как форма $\check{s}dm.f$ и релятивная форма имела свое прошедшее время, образованное приставкой дательного падежа n к подлежащему: $\check{s}dm.w-nf$ ‘слушаемый он для него’, т. е. ‘слушал его он’. Релятивная форма уже рано была интерпретирована, как причастие страдательного залога с присоединением к нему местоименного суффикса. На подобную интерпретацию прямо указывает наличие показателя грамматического рода в релятивной форме.¹ Напр. $sn.t, \check{s}dm.t.f$ ‘сестра, которую он слушает’, буквально ‘сестра слушаемая его’. Если бы релятивная форма совпала полностью с формой $\check{s}dm.f$, то можно было бы с точки зрения формальной считать доказанным, что форма восходит к причастию страдательного залога. Точный параллелизм между $\check{s}dm.w.f$ и $\check{s}dm.f$ было установлено в тот самый момент, когда была найдена релятивная проспективная форма, будущее время релятивной формы $\check{s}dmu.f$ resp. $\check{s}dmu.t.f$ ‘будет слушать его, resp. ее он’. Эта проспективная форма имеет свою параллель в одном из вариантов формы $\check{s}dm.f$, который может быть выявлен в глаголах с u , resp. w в качестве третьего радикала или в глаголах с тождественным вторым и третьим радикалами.² В той форме $\check{s}dm.f$, которая соответствует релятивной форме $\check{s}dm.w.f$, глагол mry ‘любить’ — удваивает свой второй радикал, теряя третий $mrr.f$. В форме $\check{s}dm.f$, соответствующей релятивной проспективной форме, тот же глагол mry может сохранить свой третий радикал или его потерять, но без удваивания второго радикала.

Для удобства читателя я сопоставлю 3 релятивные формы с 3 формами $\check{s}dm.f$, беря как образец глагол mry ‘любить’.

Релятивные формы	Формы $\check{s}dm.f$
1. $mrr.w.f$	1. $mrr.f$
2. $mry.f$	2. $mry.f, \text{ resp. } mrr.f$
3. $mrr.w-nf$	3. $mrr.n.f$

На основании данного сопоставления мы имеем право сделать вывод о полном тождестве релятивной формы и формы $\check{s}dm.f$. Тем самым можно считать с формальной точки зрения доказанным восхождение формы $\check{s}dm.f$ к причастию страдательного залога.³ Теперь надо, исходя из данного установления, окончательно интерпретировать форму $\check{s}dm.f$ с точки зрения

¹ Показатель мужского рода w не всегда отмечается в письме, но показатель женского рода t всегда выписывается.

² Эти 2 рода глаголов трактовались в египетском языке во многих отношениях тождественно. Глаголы с конечным u или w удваивали в некоторых формах свой второй радикал по аналогии с глаголами, в которых второй и третий радикалы тождественны.

³ См. ко всему сказанному Gardiner, Grammar, § 411 (стр. 326).

египетского языка той стадии, когда данная форма окончательно сложилась. Если $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m.f}$ причастие страдательного залога с присоединенным к нему местоимением, то из этого следует именной характер египетского спряжения. Первый исследователь, подчеркнувший со всей полнотой номинальный характер египетского спряжения, был не египтолог, а ассириолог А. Ungnad. Для него это следовало с непреложимостью из того факта, что глагол не имеет местоименного суффикса, если подлежащим является имя существительное: $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m n}\dot{\text{t}}\text{r}$ (слушает бог), а не $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m.f n}\dot{\text{t}}\text{r}$ (слушает он, бог).¹ Этот же вывод сделал вскоре после этого и Gardiner. Для него $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m.f}$ обозначает 'слушаемый его', т. е. местоименный суффикс указывает на принадлежность как и в таких случаях, когда он следовал за именем существительным. Следовательно, и $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m n}\dot{\text{t}}\text{r}$ надо интерпретировать как 'слушаемый бога'.² Правда, Gardiner не делает окончательный вывод из своего установления и не дает перевода формы $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m.f}$, приводимой в тексте в связи с дополнением. Ведь если стать на точку зрения интерпретации Gardiner'а, нам придется предложение $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m.f sn}$ 'слушает он брата' перевести 'слушаемый его (это) брат' или $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m n}\dot{\text{t}}\text{r nsw.t}$ (слушает бог царя) — 'слушаемый бога (это) царь'. Таким образом, основная форма египетского спряжения, которая в историческое время воспринималась как активная, первоначально являлась пассивной. Gardiner сам данного вывода из своего положения не делает и не вводит форму $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m.f}$ в состав предложения. Ведь если бы он это сделал и связал $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m.f}$ с дополнением, то пассивный характер египетского спряжения был бы с полной отчетливостью выявлен. Останавливается же Gardiner перед этим выводом в виду одного из правил древнеегипетского синтаксиса, которое для исследователя, стоящего на основе формального анализа, трудно или вернее невозможно согласовать с интерпретацией $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m.f}$ как 'слушаемый его'. Действительно, мы имеем следующее, всегда соблюдаемое, синтаксическое правило: местоименное дополнение следует непосредственно за глаголом, если подлежащее является именем существительным: $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m sw n}\dot{\text{t}}\text{r}$ 'слушает его бог', а не $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m n}\dot{\text{t}}\text{r sw}$ 'слушает бог его'.³ Теперь, если форма $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m.f}$ является пассивной, то спрашивается, почему же египтянин говорит в одном случае $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m.f n}\dot{\text{t}}\text{r}$ 'слушаемый его (это) бог', во втором же случае $\text{s}\dot{\text{d}}\text{m sw n}\dot{\text{t}}\text{r}$ 'слушаемый он бога', а не

¹ Ungnad. Das Wesen des Ursemitischen. 1925, стр. 23, прим. 2.

² См. Gardiner, указ. соч., § 411.

³ См. Егман, указ. соч., § 482. Я не останавливаюсь на других правилах, так как они по существу подходят под приведенное правило и, объяснив его, мы объясняем и те правила.

так же, как в первом случае sdm ntr sw , 'слушаемый бога он'. Эта особенность египетского синтаксиса, которая может быть объяснена лишь на основе лингвистического метода, заставила и Егман'а избежать вывода о пассивности конструкции формы sdm.f . Он переводит ее 'услышанный он' и оставляет открытой интерпретацию формы sdm.f , связанной с дополнением.¹ Он же не делает никакого вывода из того факта, что местоименный суффикс в форме sdm.f совпадает с пассивным суффиксом и продолжает его переводить как самостоятельное местоимение 'услышанный он', а не 'услышанный его'.² Правда, и с точки зрения формального анализа не приходится слишком резко различать местоименные суффиксы от самостоятельных местоимений. Дело в том, что и те и другие были весьма близки друг другу. Эта близость рельефно выступает в прилагаемом сопоставлении.³

Самостоятельные местоимения		Местоименные суффиксы
1-е л. ед. ч.	wy	\dot{y}
2-е л. м. р. ед. ч.	tw и kw	k
2-е л. ж. р. ед. ч.	tn	t
3-е л. м. р. ед. ч.	sw и fy	f
3-е л. ж. р. ед. ч.	sy	s
1-е л. мн. ч.	n	n
2-е л. мн. ч.	tn	tn
3-е л. мн. ч.	sn	sn

Действительно, мы видим полное соответствие между самостоятельными местоимениями и местоименными суффиксами. Мы можем местоименные суффиксы рассматривать, как сокращенные формы самостоятельных местоимений. Мы имеем ряд случаев, когда местоименный суффикс k (2-е л. м. р. ед. ч.) и f (3-е л. м. р. ед. ч.) выполнял функции самостоятельного местоимения. Напр. $\text{bw nt.k } \dot{y}m$ 'место, в котором ты находишься' или

¹ Указ. соч., § 248. В § 277 он даже предложение sdm sw ntr прямо переводит 'бог слушает его', не пытаясь даже сделать хоть какого-либо вывода из того факта, что sdm является пассивным причастием.

² Правда, он указывает на то, что в форме sdm.f глагол и местоименный суффикс были слиты в одно целое в противоположность sdm ntr , в котором имя существительное может быть отделено от глагола в том случае, если дополнение является местоимением. См. указ. соч., § 277.

³ Я не останавливаюсь здесь на вариантах самостоятельного местоимения, приводимых Егман'ом, указ. соч., § (5). Они при решении поставленной проблемы могут быть эллиминированы.

bw nb nty.f ūm 'каждое место, где он находится'.¹ Очень любопытен тот факт, что в наиболее древних текстах мы встречаем вместо tw самостоятельного местоимения 2-го л. м. р. ед. ч. его вариант kw, которое в отдельных случаях еще сокращается в k.² Подобное явление должно приковать наше внимание в виду того обстоятельства, что местоимения и первого и даже третьего лица можно обозначить тем же kw, resp. k. Действительно, в состав самостоятельного местоимения 1-го лица ūnk несомненно входит это k. Мы находим то же kw, resp. kwy или k как показатель местоимения первого лица единственного числа в так наз. псевдопартиципии: sdm.kw, resp. sdm. kwy, resp. sdm. k, 'меня слушают'.³ В связи с данным kw стоит и показатель первого лица единственного числа в вавилоно-ассирийском status indeterminatus šarr-aku 'я царь'⁴ в вавилоно-ассирийском пермансиве katm-aku 'я покрыт'.⁵ Наконец, это k мы можем установить и как показатель для третьего лица единственного числа, так, напр., в одном из постановлений Коптосского декрета А: 'царь не допускает, чтобы' ūt.kw sn r kꜣ.t nb.t 'их (т. е. людей храма Мина Коптосского) брали к себе к какой-либо работе'.⁶ Подобная универсальная значимость kw, resp. k очевидно указывает на то, что оно восходит к той отдаленной стадии мышления, когда отдельные местоимения еще не различались, а обозначалось лицо вообще. На данном этапе производительных сил это был тотем, т. е. то, с чем отождествлялось при диффузном восприятии действительности представление отдельного явления, опасного или полезного. Если же местоимение восходит в конечном итоге к тотему, то мы сможем преодолеть ту трудность, перед которой остановились Erman и Gardiner: настаивая на первоначальном пассивном значении глагольной формы sdm.k, мы сможем вместе с тем и объяснить вышеуказанную особенность египетского синтаксиса: sdm.f kw 'слушаемый его ты', но sdm kw ntr, 'слушаемый ты бога'.⁷ Объяснением этого своеобразного правила конструкции египетского предложения я и закончу мое небольшое исследование.

¹ Erman, указ. соч., § 549 А. См. также § 531, 543а. Erman готов видеть старое самостоятельное местоимение k в форме m.k, смотри § 386, и самостоятельное местоимение fu в отглагольном имени прилагательном sdm.ty.fy.

² Erman, указ. соч., § 149 А.

³ Там же, § 326.

⁴ Ungnad, Balyonisch-Assyrische Grammatik, § 26.

⁵ Там же, § 32.

⁶ См. Sethe, Götting. Gelehrte Anzeigen, 1912, стр. 710. Ср. также в Пирамидный текст 1435 сл.

⁷ См. выше, стр. 348.

В эпоху дородовую, когда при диффузном восприятии действительности представление отдельного явления, опасного или полезного, отождествлялось с тотемом, еще не было различения между активом и пассивом, а было лишь одно диффузное состояние: $q\ddot{d}b\ kw$ — ‘убиение тотем’, т. е. диффузное ‘убиение’ объединяло ‘убитое’ и ‘убивающее’. Это первичное предложение, слагаемое из состояния и тотема, сохранило в египетском языке вследствие застойности египетского общества,¹ свое доминантное значение и в последующие эпохи и обусловило тем самым строй осложненного египетского предложения. Последнее осложнилось уже в последующую родовую эпоху, когда при диффузном восприятии действительности ясное представление единичного, а, следовательно, и общего давало возможность различения актива и пассива. Тотем означает теперь также и место $q\ddot{d}b\ kw\ kw$ ‘убитое тотемом здесь’ (> я, гесп. ты, гесп. он).² Ясное представление единичного явления устанавливало объект действия тотема $q\ddot{d}b.kw\ qftu$ ‘убитый тотемом враг’. При дальнейшем росте производительных сил тотем перерастает в местоимения: $q\ddot{d}b.k\ qftu$ ‘убитый тобой (т. е. твой убитый) враг’. Язык начал в связи с дифференциацией актива и пассива различать местоимения самостоятельные и местоимения-суффиксы: $q\ddot{d}b.k\ sw$ ‘убитый твой он’. Но старое самостоятельное местоимение, восходящее в конечном итоге к тотему, настолько тесно слилось в первичном предложении с глаголом-состоянием, что оно сохранило свою непосредственную связь с глаголом в том случае, если подлежащим являлось какое-нибудь имя существительное: $q\ddot{d}b.kw\ qftu$ ‘убитый ты врага’, а не $q\ddot{d}b\ qftu\ kw$ ‘убитый врага ты’. Эта древнейшая связь глагола с местоимением (тотема) разрывается только в том случае, когда другое местоимение (тотем) вклинивается между ними: $q\ddot{d}b.\ k\ sw$ ‘убитый твой он’.

На основании сказанного, мы устанавливаем, что объяснение загадочного правила египетского синтаксиса дается само собой исследователю, стоящему на основе достижений нового учения о языке, начало которого положил 45 лет тому назад Н. Я. Марр, создавший эпоху в области всех общественных наук.

¹ О застойности египетского общества по сравнению с вавилонским и о причинах этой застойности я говорю обстоятельно в истории древневосточных обществ, подготовляемой мной к печати в течение текущего года.

² На то, что местоимением обозначалось место, указал независимо от яфетидологии а А. Ungnad, *Wesen des Ursemitischen*, стр. 23.

В. Г. ТАН-БОГОРАЗ

ДРЕВНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЯЗЫКЕ АЗИАТСКИХ ЭСКИМОСОВ¹

Азиатские эскимосы (самоназвание *jũt*), обитающие на крайних мысах северо-восточной Азии, от мыса Дежнева до мыса Чаплина, также на о. Лаврентия, который ныне принадлежит США, но население которого, вероятно, пришло с азиатского материка, являются самой западной ветвью эскимосской народности.

В различных статьях, написанных мною по-русски и по-английски, я приводил доказательства того, что эта западная ветвь эскимосов является также и наиболее древней ветвью.

Среди этих доказательств видное место принадлежит анализу языка азиатских эскимосов или, лучше сказать, трех эскимосских языков, которые существуют рядом на азиатском побережьи. Главный из этих языков распространен в поселках к северу и к югу от мыса Чаплина (*Indian Point*), в том числе в большом поселке *Ucasik*, также и на о. Лаврентия. Второй язык принадлежит поселку *Nuvokak* у мыса Дежнева и третий язык поселку *Serineq*, лежащему на юго-западе.

Таким образом, население в 1200 чел., живущее в близком соседстве на приморском побережьи в совершенно одинаковых условиях, имеет три языка, различающихся друг от друга довольно значительно. Уже это обстоятельство заставляет считать эти языки реликтовыми, уцелевшими от древней эпохи, когда эскимосская народность была гораздо более распространена в северо-восточной Азии.

Впрочем язык мыса Дежнева представляет во многом естественный переход от главного азиатского наречия к наречиям Аляски. Язык Дио-

¹ Прилагаемая статья написана как результат беседы, которую мы имели с Николаем Яковлевичем Марром три года тому назад в железнодорожном вагоне во время поездки в Москву. Мы ехали на «Красной стреле» в одном и том же купе. Я рассказывал Николаю Яковлевичу о древнейших элементах известных мне северных языков, и он предложил мне написать об эскимосском языке. Статья была написана тогда же, но одно время была забыта и только потом отыскалось опять.

мидовых островов, лежащих в Беринговом проливе, отнесется уже к наречиям Аляски.

Примечание. Система обозначения звуков соответствует единому северному алфавиту. Можно указать что:

ь — соответствует русскому *ы*. — э — глухой закрытый звук. —
ц — задний носовой звук. — q — задний гортанный звук. — с — русское ч.

Остальные звуки, примерно, как в латинском алфавите.

Центральный азиатский язык:	abañitūca	pajaritūca ¹
Язык мыса Дежнева:	pitua	pajaritua
	не имею	сестры не имею,
	т. е. никакой сестры	я не имею

Такое выпадение характерно также для различных эскимосских наречий Аляски.

Например: ekañrietoa 'я не имею саней' (Вагнун, А § 451).

К западу и к югу от эскимосских поселков на полярном и тихоокеанском побережья, а также и на тундре, обитают чукчи (самоназвание *u-ogawetlat*), приморские и оленные, которые говорят на чукотском языке.

В чукотском языке диалекты развиты слабо, во всяком случае северовосточные чукчи, оленные и приморские, говорят на одном и том же диалекте.

Напротив того, у коряков (самоназвание *пышью*), живущих южнее на тундре и на побережьях Берингового моря и Охотского моря, существует несколько диалектов или, вернее, языков, с довольно резко выраженными различиями. В частности, язык оленных коряков, живущих на тундре, определенно отличается от языка оседлых коряков, живущих в поселках, по побережью Берингового моря.

Мне пришлось изучить центральный язык азиатских эскимосов, сделать записи текстов с переводами, грамматическую сводку вместе с довольно обильной фразеологией и словарную сводку. По различным обстоятельствам эта работа не была раньше напечатана. Только теперь в сборниках, издаваемых Научно-исследовательской ассоциацией ИНС (Труды по лингвистике, том III, стр. 105—128), напечатан очерк по языку азиатских эскимосов.

¹ Все примеры взяты из текстов, собранных мною на месте.

Я сделал из своих материалов небольшое извлечение, которое, мне думается, представляет интерес с точки зрения яфетической лингвистики. Основное наречие азиатских эскимосов является если не древнейшей, то

	Чукотский язык	Эскимосские языки		
		центральный азиатский	южный азиатский	алаянский
Олень (домашний) . . .	qogaŋ	qojŋik	qornik	
Олень самец (домашний)	сьтпѣ	сьтпѣ		
Бурый медведь	кеџџп	каџпѣ		Kainga ср. Rink, с указанием Wp, что обозначает Северную Аляску.
Щука	tujke-tuj	tujkak		
Бумага, письмо (первоначальное значение: 'пестрина', 'резьба')	keli-kel	kaligak		galigak (Schultze A)
Серый	сьваго	sivago		
Маслак, мосталыга	ajmalqal	ajmalka		
Окно (букв. отверстие для света)	кегьсьп	кегьса		
Торговый значок (вз чужого племени)	ьпаалек	inirŋa		
Сирота	џеџвел	џџвали		
Гребень	тсьсупен	тсьсупѣ		
Двоюродный брат	уилџ-тумџп (связи-товарищ)	илоџ также ила (товарищ, спутник)		ила (Varnum A) сосед, товарищ; ила (Rink LCMws) товарищ
Тополь, а также белая сова (Strux пустеа)	тськџ	анџра с тем же самым двойным значением		

во всяком случае очень древней отраслю эскимосского языка. Но некоторые процессы, отмечаемые мною в этом наречии, должны представлять особый интерес.

Я начну с взаимоотношений между двумя языками: чукотским и эскимосским. Чукотский язык вместе с корякским и камчадальским при-

надлежит к одной и той же группе палеоазиатских языков, которую я назвал чукотской группой. Материальная и духовная культура чукоч и коряков, а также отчасти и камчадалов, обнаруживает глубокие следы эскимосского влияния. Можно пойти еще дальше и говорить не только о влиянии эскимосской культуры на чукоч и коряков, а прямо об эскимосской этнической струе в самом составе чукотской группы, или, по крайней мере, в составе двух указанных выше племен, оставляя камчадалов в стороне. Ближе всего связаны чукчи с эскимосами. Эта взаимная связь отразилась на языках обоих народов. Так, целый ряд слов, относящихся к сухопутным животным и промыслам и вообще к разным предметам и явлениям, приходившим из Азии, проник из чукотского языка в язык азиатских эскимосов и в некоторых случаях перешел довольно далеко на Аляску (см. табл. на стр. 355).

Список слов, заимствованный чукчами у эскимосов, однако, значительно длиннее. Он обнимает по преимуществу термины морской фауны и морского промысла.

Русский	Азиатско-эскимосский центральный	Чукотский	Американские эскимосские
Морской рассол	} tarjuk	teju-tej	tariok (Boas, Cumberland) соль
Морская вода		удвоение абсолютного падежа	
Самец-тюлень мелкой породы	tigak	tike-tik	tigang (Boas, Cumberland) tiggak (Boas, Labrador)
Сивуч	ulraq	utlęq	ularuak (Rink, M) кашалот
Белый дельфин	puzak	pureq	
Метательные шары для ловли птиц на лету	ablakaxtak	eplęqet	
Дыра	puttu	putty-[n,alęn]	putn (Petitot, M) puto (Rink LCMWn)
Направление ветра NNW	nekarjak	nikejen	nęgük север (Barnum, A)
Ящик	caqlak caqlarak (уменьшительное)	ceңы	sooloogowrooq (Kelly, A) tchuluga tciaok (Petitot, M)
Связки	kaңrak	keңer	
Он пляшет	puturakuk	puturerкн	

Будет любопытно указать, что другой член чукотской группы языков — коряцкий — в значительной степени свободен от этих позаимствованных слов. Так, в коряцком языке: 'рассол' *jamjam*; 'белый дельфин' *jiijidь*.

Азиатско-эскимосская система созвездий совершенно совпадает с чукотской, заключая в себе характерные чукотские рассказы о криво-спинном Орионе, который сватался к Плеядам. Орион по-чукотски *Rultenj*, по-эскимосски *Roltanik*. Плеяды называются одинаково у чукоч и у азиатских эскимосов «Группа женщин».

Напротив того, названия этой системы созвездий совершенно отличается от других эскимосских языков, даже от ближайшей Аляски.

Азиатско-эскимосская система месяцев также во многом совпадает с чукотской, отмечая, напр. на мысу Чаплина, осенью — месяц течки домашних оленей, а в другом варианте, на уединенном о. Лаврентия, отмечая месяц убоя тонкошерстных пыжиков, т. е. месяц больших осенних праздников, связанных у чукотских оленеводов с таким убоем. Конечно, у самих эскимосов ни на мысу Чаплина, ни на о. Лаврентия собственных оленьих стад нет и никогда не было.

У эскимосов Аляски в отличие от этого четыре названия месяцев связаны с дикими гусями.

Еще любопытнее взаимное заимствование чукотского и азиатско-эскимосского языков в области союзов. С одной стороны, чрезвычайно богатая и разветвленная система чукотских союзов почти целиком позаимствована азиатско-эскимосским языком. При сжатости эскимосской конструкции речи и при наличии собственных союзов эскимосского происхождения, это чужое богатство порой представляет излишнюю роскошь. Иные из чукотских союзов даже фонетически не вполне ассимилированы, так и употребляются в их странной чуждо-звучащей форме:

эским. *kaicun*, чукотское *qajcun* 'как будто';

эским. *коньгьн*, чукотское *qоньгьн* 'так что';

коньгьн kanliciga 'так что он приблизился к нему'.

Это явление связано со знанием чукотского языка, которое весьма распространено среди взрослого эскимосского населения, особенно среди мужчин, и в крайних поселках, на юге и на севере, доходит до двуязычности.

С другой стороны, можно отметить в чукотском и даже в коряцком языках употребление союзов коренного эскимосского происхождения,

общих азиатско-эскимосскому наречию, наречиям Аляски и даже Гренландии.

Чукотский	Коряцкий	Эскимосские			Русский
		азиатский	аляскинский	гренландский	
atau	atau	atak	ataka	taok	'все же'; 'все-таки'

В других элементах чукотского и коряцкого языков замечаются явные следы эскимосского влияния или, точнее говоря, эскимосская струя влетается в самую основу чукотско-коряцких языков.

Так, эскимосское окончание множественного числа глаголов и имен, общее для всех эскимосских наречий *t* (часто с предшествующей соединительной гласной), перешло и в чукотский язык для того же множественного числа, а в коряцком языке употребляется для двойственного числа.

Напротив того, эскимосское окончание *тык* 2-го л. двойств. ч. глаголов непереходящих перешло в чукотский язык для множественного ч. того же 2-го л. и тех же непереходящих глаголов. Впрочем, в азиатско-эскимосском наречии это окончание свойственно также и множественному числу, тем более что двойственное число в азиатско-эскимосском наречии вообще употребляется мало.

Чукотский	2-е л. множ. ч.	2-е л. двойств. ч.
	азиатско-эскимосский	аляскинский
qatvatъk	pîtъk	pētûk 'будьте'

Чукотская группа языков по основным своим свойствам совершенно отличается от языков Азии и тесно примыкает к языкам Америки. Но в этом своем родстве с американскими языками она проявляет смешанные черты.

С одной стороны, особенностями инкорпорации объектов и определений она уподобляется индейским языкам.

С другой стороны, весь строй суффиксов в общем и даже в подробностях, системы указательных местоимений и числительных, степени сравне-

ния и вся система спряжения глагола переходящего, сближают чукотскую группу языков именно с языком эскимосским. Можно сказать, что многие формы чукотского и коряцкого языков являются как бы эскимосскими формами, переведенными с эскимосского в какую-то другую языковую среду с иной фонетикой и иной семасиологией.

Так, напр., эскимосский формально-вспомогательный, существительного-глагольный корень *pi*, как бы замещающий реальные идеи формальными образованиями, имеет в чукотско-коряцком языке такой же точно параллельный корень *pike*. Значение этого формального корня так велико, что он оказал влияние на местную русскую речь и вызвал появление русского формально-заместительного глагола: 'то-делать' для непереходящего глагола и 'то-доспеть' — для переходящего глагола.

'Пришел к ним, а они то-делают, ужинают-да'.

Я пришел к ним, а они ужинают.

Если говорить об американоидности в лингвистике, то чукотско-коряцкая группа языков одновременно должна быть признана и индеоподобной и эскимойдной группой.

Все же основное строение чукотско-коряцкой группы языков существенно разнится от эскимосского и скорее приближается к индейским языкам.

В эскимосском языке слово и целая фраза составляются путемращения к одному основному корню ряда разнообразных суффиксов, не имеющих отдельного употребления, но придающих слову самые разнообразные оттенки. Слово, таким образом, часто вырастает до размеров фразы. Это наблюдается особенно в наречиях лабрадорском и гренландском.

В чукотской группе языков слово составляется путем комплексирования различных корней, прилагательного с существительным, существительного с глаголом или прилагательного, существительного и глагола вместе. В комплекс входят также различные префиксы и суффиксы; суффиксы, впрочем, развиты значительно меньше, чем в эскимосском языке. Многие корни прилагательных, а также и глаголов, не имеют отдельного существования и употребляются только в комплексах, но большинство образуют самостоятельные грамматические формы. Фраза составляется из ряда отдельных слов и комплексов, которые никогда не сливаются в одно образование, подобно эскимосским.

В чукотской группе языков есть также префиксы, отсутствующие в эскимосском языке.

Такое комплексное образование вполне подобно образованиям индейских языков.

Например: Pawnee tA-t-itkawit 'я рою грязь', tA — изъявительное наклонение, t — 1 лицо единств. 'я'; itkār 'грязь'; pit 'рыть' (pp сливаясь образует w).

Чукотское: t-ь-va-la-mna-gkьп 'я точу нож'. t — 1 лиц. единств. — 'я'; ь — соединительная гласная; va-la (основа) 'нож'; pне (основа) 'точить' (p в середине слова или группы слов изменяется в m; e переходит в a согласно правилам о гармонии гласных); gkьп глагольный суффикс настоящего времени.

Другие чукотские комплексы ближе к эскимосским:

Чук. aqa-qaqa-ewкь-vaьп.

'Худо-что (либо) говорить сущий', т. е. такой, которому нельзя делать никаких упреков, вспыльчивый.

Эскимосский (гренландский):

qajaq - ssua - qaq, - роца
'каяк большой владеть я'.

т. е. я имею большой каяк.

Чукотский комплекс, однако, состоит из четырех корней, эскимосский из одного корня и ряда суффиксов.

Азиатско-эскимосское наречие, несмотря на некоторое влияние соседнего чукотского языка, должно быть признано и по словарному материалу, и по грамматической конструкции, и по построению фраз исконным и истым эскимосским наречием.

Ближе всего оно примыкает к наречию западной Аляски, как оно представлено у Барнума, Шульце и Нельсона, и можно даже сказать, что в некоторых отношениях оно составляет с этим наречием отдельную подгруппу эскимосских наречий. Особенно схожи суффиксы лиц в системе спряжения глаголов переходящих, причастие, прилагательное, степени сравнения, наречие, числительное, местоимение личное и указательное, притяжательные формы имен.

Однако в словарном материале, рядом со словами, сходными с Аляской, есть другие, которые совпадают с наречиями центральных областей и даже Лабрадора и Гренландии, минуя промежуточные звенья.

Любопытно отметить пример совпадения чукотских форм даже с гренландскими, минуя ближайшие азиатские и аляскинские формы:

Русский	Чукотский	Эскимосские языки	
		альяскинский	гренландский
'бык', 'рыба' породы <i>gadus esocrius</i>	kanajo-[lɣɛn]	kaɟu kaɟuɟixak	kanajoq (Rink L. C.) kanajok (Kleinsmidt, G)

Сюда же примыкает совпадение азиатских форм с гренландскими, минуя аляскинские и центральные формы:

	Центральный азиатский	Северный азиатский	Аляскинский	Восточно-американские
Волк	amak	kil'unak	Kaglunak (Schultze, A)	amarok (Petitot, M) amarok (Boas Cumberland) amaraq (Rink, G) Все эти формы явно увеличительные. В Гренландии, притом же, волки не водятся, и amarok означает одно из сказочных чудовищ.

Однако, гораздо важнее дать некоторый анализ шаманского языка различных ветвей эскимосской народности. Шаманский язык называется языком духов, поскольку именно духи всегда разговаривают с шаманами на этом языке.

Рассматривая шаманский язык, мы не находим в нем никаких инородных лингвистических примесей. Это все тот же эскимосский словарный материал, те же обороты, хотя несколько приукрашенные.

Однако, обыкновенные люди стараются провести разделительную линию между собою и духами.

Если спросить у кого-нибудь из слушателей: «что он говорит?», т. е. вместе и шаман и его дух-помощник, слушатели ответят хором: «самі», т. е. «мы не понимаем». А между тем понять все же можно.

Поскольку шаманство является профессией, а шаманы — представляют элемент классового расслоения, то и язык шаманский является профес-

сиональным и классовым. Он придает камланию характер секретный и таинственный. Эта секретность весьма полезна для работы шаманов.

В словесном материале эскимосского языка, насколько можно судить по сводкам Кребера и моей, следует отметить три группы слов:

1) Слова, устарелые для данного наречия, но легко объясняющиеся из других наречий.

2) Слова условного характера, большею частью построенные описательно и основанные на намеках и обиняках.

3) Слова первобытного, общего, я сказал бы, даже «пучкового» характера.

Слова, напечатанные курсивом, относятся к шаманскому языку. Слова, напечатанные обычным шрифтом, относятся к обыкновенному языку.

Русский	Азиатско-эскимосский обыкновенный (центральный)	Азиатско-эскимосский шаманский	Обыкновенный и шаманский языки американских эскимосов по сводке Кребера
1. Человек . . .	juk	<i>taru</i>	<i>taugsak</i> (увеличит.) Kroeber, G человеческое существо <i>tagu</i> Вагнш, А человек
2. Женщина . . .	agnak, nulik		<i>nulisiaq</i> (увеличит. Kroeber, A) большая женщина

Однако, в шаманском языке несравненно многочисленнее слова так называемого условного характера, построенные описательно и основанные на намеках и обиняках.

3. Морж	ajbik	<i>tuwutalik</i> буквально 'клыкастый'	<i>tugadlik</i> (Kroeber, A) «клыкастый»
4. Дикий олень . . .	tuntun	<i>cerunalik</i> буквально 'лопастно' (рогий) или <i>abojalik</i> «ветвистый»	<i>kangiling</i> (Kroeber, C) 'имеющий верхушку'; идея та же самая, что у азиатских эскимосов, ибо подразумеваются оленьи рога, верхушка оленьей головы
5. Тюлень породы Phoca barbata	пыхсаq	<i>unalik</i> буквально 'усатый'	<i>unudlik</i> (Kroeber, A) «бородатый»

При внимательном рассмотрении указанной категории слов, мы находим, что особая условность шаманского языка прикрывает очень древний

подход к словообразованиям, восходящий, быть может, к каким-то первобытным эпохам. Давный объект, большей частью зверь, как предмет охоты, также человеческое существо, явление природы, определяется по своему внешнему, самому наглядному, бросающемуся в глаза, признаку.

- | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|
| 6. Солнце | sikirak | в шаманском языке определяется, как <i>pirazkan</i> 'светлое' | arngna (Kroeber, G) женщина; в шаманском языке эскимосов солнце определяется как 'женщина', также очень древний подход, соответствовавший представлению о месяце, как муже солнца-женщины |
| 7. Земля | nupa | <i>tutmalik</i> буквально 'топталце' | nupa на всех эскимосских наречиях |
| 8. Жилище (надземное, из шкур) | mantrak | <i>agizvik</i> 'заветерье', 'место, защищенное от ветра'. Жилище, как известно, начинается заслоном от ветра, например, у южноамериканских ботокудов. | mantrak (Bagnum A) 'летнее жилище' |
| 9. Собака | kikmik | но в шаманском языке определяется как <i>aralnik</i> 'на четвереньках ходящая' | kingmik (Kroeber, G) 'собака' |
| 10. Рыба породы <i>makia</i> , <i>eleginus</i> , <i>wachia</i> | eqaluwak | но в шаманском языке определяется как <i>paraskalik</i> 'хвостатый' | eqalik 'лосось' в различных эскимосских наречиях. Рядом с этим в американских шаманских наречиях лисица определяется как <i>ramiedlek</i> 'хвостатый'. Кит определяется как <i>vaprilik</i> 'толстохвостый' |
| 11. Женщина . . . | | kuruma 'расколотая' | kurasiaik (увеличит.) (Kroeber, A) очевидно, от глагола <i>kurrakä</i> «я раскалываю ее» |
| | | | Этот термин имеет повидному физиологическое значение |
| 12. Жена | <i>nulixa</i>
(моя жена) | | <i>zenidlie</i> (Kroeber, A) 'работница'. Высокая социальная значимость этого термина не требует объяснений. |
| 13. Стопа | | <i>isigkat</i> , но в шаманском языке <i>tungmetit</i> 'топталка' | |

14. Ухо	siut		siut (Kroeber, A); <i>nadlautik</i> 'слухалка'
15. Легкие			puaq 'то, чем дышат'
16. Глаз			isse, в шаманском языке варианты и производные от <i>tekuDNA</i> 'зрачок'. Kingnautik (Kroeber, A) инструментальная форма от kingnauk 'луч света, прошедший в отверстие'
17. Сердце			<i>umat</i> ; в шаманских языках различные образования от <i>tigalak</i> 'биение пульса'
18. Лодка	umia k		umia k; в шаманских языках варианты от <i>puqta</i> , 'поплавок'
19. Весло лодочное			awgip; <i>saxibawp</i> (Kroeber, A) 'толкалка'
20. Весло каяка			<i>saxilautit</i> (Kroeber, A) (двойств. ч.) 'двойная толкалка' (весло двуручное)
21. Сани			qamutik; но в шаманских языках варианты от корня <i>sizva</i> 'скользить', напр.: <i>siz-sua</i>
22. Нож	savik		<i>kripin</i> (Kroeber, A) 'орудие, режущее поперечно', тоже очень древнее техническое указание
23. Мертвец	tokamalri	<i>nabuxtalri</i> буквально 'на-взничь лежащий'	tokomalraa (Вагнум, А) 'мертвец'
24. Шаман	alijnalri буквально «страшилище»	<i>carujalik</i> 'владелец бубна'	caquja 'бубен' Tshapuak 'бубен' (Schultze, A)

Список этих слов наглядно-описательного типа можно было бы безмерно удлинить.

Слова более определенного уклончивого смысла сравнительно немногочисленны.

Клык (моржовый)

lija Kroeber, A '(его) шерсть'

Дликий олень

qumaxlak 'вшивый'

Однако, еще интереснее следующие совпадения шаманских языков:

Дикий олень	(Kroeber, G) <i>tadlanginik</i>	} Общий корень <i>tadlan</i> (буквально 'мелкая рыба')
Кит	(Kroeber, C) <i>tallanim</i>	
Лосось	(Kroeber, C) <i>mengeriak</i>	
Тюлень	(Kroeber, G) <i>mingneriaq</i> и даже (Kroeber, G) <i>mingok</i>	

Рядом с 'вшивым' тюленем имеем *kumagsajtiak* 'вшивый' для зайца.

Для нарвала и белого дельфина имеем общее название *pujaadjuak* 'большое морское животное', 'большая морская добыча'.

Повидимому, в древнейшем языке эскимосских охотников сложился общий термин: 'добыча', который мог даже переходить от морского зверя к сухопутному, несмотря на постоянное противоположение обоих видов промысла как в хозяйственном, так и в надстроечном отношении. Разумеется, и этот термин был не отвлеченным, а совершенно наглядным.

В том же направлении наглядности, однако, без точной спецификации, указывает следующий термин. Птица *tingmiak*, в шаманском языке Kroeber, C *kangirtauk* 'взлетающая' от корня *kangatiruk* 'она взлетает', 'поднимается вверх'. 'Взлетающее' вместо 'летающее' — есть также охотничье определение, ибо птица от приближения охотника взлетает.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Barnum** Reverend Francis. Grammatical Fundamentals of the language, as spoken by the Eskimo of the western coast of Alaska. Foston and London, 1901. Большая работа, относящаяся к аляскинскому диалекту (цит. Barnum, A. Alaska).
2. **Schultz**e, Augustus D. D., president of the Moravian College. Grammar and vocabulary of the Eskimo language of North Western Alaska, Kuskoquim district. Bethlehem, Pa, USA 1894 (цит. Schultze, A.)
3. **Rink**, Henri. The Eskimo tribes, their distribution and characteristics, especially in regard to language, with a comparative vocabulary. Copenhagen and London. 1887 (vol. XI. Meddelelser om Grønland). Сравнительная сводка эскимосских наречий (цит. Rink GGeLCM Wnsa, что обозначает вместе или порознь: Greenland, East Greenland, Labrador, Central Regions, Mackenzie, Western (north, south, asiatic).
4. **Petitot** R. P. E. Vocabulaire Francais-Eskiman, dialect des Tchiglit, des bouches du Mackenzie et de l'Anderson. Paris, 1876 (цит. Petitot, M — устье р. Мэкензи — Petitot, C — оз. Caribou на западном берегу Гудзонова залива).
5. **Kroeber** A. D. The Eskimo of Smith Sound. Appendix, comparative Vocabulary of Angakoq Language. Bulletin of American Museum of Natural History, vol. XII. New York. February 29, 1900.

В этой работе помещена сводка шаманского языка эскимосских наречий. Сводка обнимает полностью весь материал, собранный и обнародованный до времени ее издания,

и включает наречия Западной и Восточной Гренландии, залива Смита, Лабрадора, центральных областей, дельты Мэккензи и Аляски.

Наречия эти обозначены у Кroeber'a следующим образом: Западная Гренландия — G, Восточная Гренландия — Ge, залив Смита — S, Лабрадор — L, Центральные области — C, дельта Мэккензи — M, Аляска — A.

6. Boas, Franz. Der Eskimo Dialect des Cumberland Sundes. Separatabdruck aus Band XXIV der Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Wien, 1894 (цит. Boas Cumberland).
 7. Eskimo vocabularies, compiled by Ensign Roger Wells, jr. USN and Interpreter John W. Kelly. Washington, 1893 (цит. Kelly, A. Alaska).
 8. Kleinschmidt, S. Grammatik der grönländischen Sprache mit theilweisem Einschluss des Labrador dialects. Berlin, 1851 (цит. Kleinschmidt).
-

Г. Ф. ТУРЧАНИНОВ

К СТАДИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ КАБАРДИНСКОГО ГЛАГОЛА jə-ʕe-n 'ГОВОРИТЬ'

Наш интерес к кабардинскому глаголу jəʕeп 'говорить' выходит за пределы кабардинского языка.

Казалось, и без того ясный, тесно связанный с именем ʕe 'рука', глагол не нуждается в особых замечаниях и мог бы быть с успехом отнесен к числу фактов, лишней раз подчеркивающих значение кинетической речи, если бы одно обстоятельство, весьма принципиального характера, не обязывало к иному пониманию самой кинетической речи, ее взаимоотношений со звуковой.

Человеческая речь созидалась в процессе трудмагического восприятия окружающей действительности, и в этом трудмагизме представляла единство кинетико-звукового комплекса, в действе пляски-пения-мимики, с ударением, по диалектической взаимопроникновенности образующих его компонентов, в зависимости от этапа развития, то на кинетику (первый этап), то на звук (второй этап).

При таком понимании источников речи встречающаяся в нашей литературе терминология «кинетическая» герм. «ручная» речь не отражает действительного положения вещей, ибо все представления → понятия, которые оказываются связанными с рукой и имеют отношение к языку-речи, обычно воспринимаются как «переживания» от предшествующего ручного этапа в развитии речи, в то время как понятия с наличным в нем элементом со значением 'рука' свидетельствуют как раз не о переживаниях, а об одной из сторон в развитии от первоначального кинетико-звукового выражения представления о вещах-явлениях.

Кабардинский глагол jə-ʕe-n 'говорить' свидетельствует как раз о таком состоянии восприятия, ибо включая в себе представление ʕe 'рука', он не образует от нее, руки, самостоятельного глагола ʕe-n со значением 'говорить'; так как кинетической, в буквальном смысле слова, речи без соучастия

звука никогда не существовало, как не могло, в этом смысле, существовать функционального перенесения значения из кинетической речи в звуковую, в то время как элемент *жэ*, входящий в состав глагола *жэ-ре-п* 'говорить', отображая звуковой момент → звуковую речь, выявляется с функцией самостоятельного значения *жэ-п* 'говорить'. Свидетелем может быть хотя бы такая записанная Н. Ф. Яковлевым пословица; *dedəˀr ləm ʃeməʃesme, me s_ueˀe, jəu* — «кошка до мяса если не достает [букв. «касает(ся)], (от него) запах идет (букв. „воняет“), говорит»,¹ а отчасти и небезынтересное имеющее к этому отношению замечание Пага Тамбиева,² когда он, комментируя одну из записанных им песен, видит в этом *жэ* видоизмененное каб. *зэ* 'зев' *гесп.* 'рот', которое хотя и не решает вопроса о сущности этого *жэ* в составе *жэ-ре-п* 'говорить', но, как мы увидим ниже, освещает один из моментов в его развитии.

Только ориентируясь на высказанное выше, общеизвестное, по крайней мере, в кругах яфетидологов, положение о трудмагическом характере речи на начальных этапах ее развития, можно, с нашей точки зрения, иметь правильное суждение о стадильности разбираемого глагола, ибо он, как и его выдержанная глухая разновидность каб. *с_uə-ре-п* 'быть' ← *с_uə-ре* 'бытие', в последнем случае с большей сохранностью следов от первоначальной диффузности звукового комплекса, тяготеет к тому состоянию в представлении о действительности, когда и 'бытие' и 'речь-мышление' неразрывно связаны в диалектическом единстве. Первоначальный источник такого восприятия, как определили мы в другой работе,³ заложен в эпохе рыболовства-охоты, по мировоззрению — в едином понимании космоса, как небо,³ ↔ небо², надстроечно-астральном, с приобщением к магическому действию луны, космическому светилу, и связанному с ней по функции сопричастности представлению 'смерти' *гесп.* 'замерзания'.

Вот почему не только каб. *дэ-ğa*, адыг. *тэ-ğa* 'солнце' функционально оказалось *дэ* (луна) *ğa* (горячая) при шумерском *1-ди* 'луна', мегр. *ди-за* 'луна', а каб. *дэ-кэп* 'перемерзнуть', 'омертветь от холода' оказался букв. 'луной ободеть', 'остолбенеть' *гесп.* 'быть одержимым тотемом луны', но и каб. *жэ-с_u* 'ночь' в элементе *жэ* представило звонкую разновидность *шэ* / ши, у абхазов с удвоением *щэщэ* 'бог кузницы' собств. 'луны', ибо отдавание чести этому божеству связано с началом нового лунного года. У сванов в Лашхе этот же праздник называется *ши-ш-қуаш* собств. 'луна моле-

¹ Н. Яковлев. Материалы для кабардинского словаря, 1927 г., стр. 3.

² СММПК, XXV, раздел III, стр. 48.

³ Турчанинов. Теория лингвистических элементов и проблема сращения.

ние¹ и у них же это $шн-ш$ уже в составе $шн-ш-раг$ означает культовую, хоровую с пеннем пляску в честь луны,² т. е. с ориентацией на генетику, отложение в общественности магического → культового действия, которое на стадии космического мировоззрения сигнализирует момент вызывания движения магического действия луны и приобщение соучастников этой пляски-действия к ее (луны) природе.

Потому же самому это каб. $jə ← jə-s_н$ 'ночь' оказывается сопричастно к каб. $s_э ← s_э-ʕe$ 'холод', 'стужа', на той стадии небо³ ↔ вода (срав. при этом каб. $je-n$ 'течь') в дальнейшем, как показано в уже упомянутой работе, источнику $s_э-ʕe$ 'бытие', ибо на предшествующей стадии оно как $s_э-ʕe$ не иначе 'луны ($шн \searrow (s_н) → jə$) действие' гесп. 'рука' ($ʕe$).

Следовательно, при этих обстоятельствах глагол $jə-ʕe-n$ 'говорить' представляет не только дифференциальную разновидность $s_э-ʕe$ 'мороз', 'стужа', палеонтол. 'луны действие', но и сигнализирует один из моментов трудмагического действия, в который наравне с пляской входила и речь.

Это дает нам возможность датировать стадию возникновения глагола $jə-ʕe-n$ 'говорить'. Первично как имя-действие $jə-ʕe$ он оказывается в пределах еще трудмагического восприятия речи, когда из этого комплекса не выделилось $jə → jə-n$ 'говорить', уже ртом, и $ʕe$ 'рука' как орудие производства → $уэ-ʕe-n$ 'делать' букв. 'ему (коллективу) рука'.

Вот здесь-то и будет полезно привлечь то замечание, которое сделал П. Тамбиев относительно происхождения $jə$ в составе $jə-ʕe-n$ 'говорить'.

Приводимое им каб. $ze (← zə)$ 'рот', 'зев' выдерживает себя и как озвонченная разновидность $s_э → s_нe$ и как семантическая, ибо именованная соматических принадлежностей в микрокосме функциональна по космосу, иначе, ze это первично 'пропасть', 'дыра', гесп. небо³, эквивалент утвердившегося в глухой разновидности $s_нe$ 'дно', 'низ', т. е. тоже небо³, при которых нельзя не учесть не только русское, отложившееся в одной стадии ($zə →$) ↗ $zu \sim zi$ (каб. ze) в «зиять» 'раскрывать' рот' (при «зѣ-ва-ть ← *zey-va-te) и $ju ↔ jo \vee je$ (каб. $jə$) в «жуй», жевать», опять в связи со ртом, но и русск. «язык» гесп. «ѣзыкъ».

При оценке первого момента ($zə$) ↗ $zu \vee zi$ нужно отметить, что помимо корреспонденций, сложившихся в результате творческого взаимопроникновения обоих языков, участников строительства Причерноморской

¹ Н. Марр. О религиозных верованиях абхазов. ХВ, т. IV, вып. I, 1915, стр. 132, прил. 1.

² Н. Марр. В тупике ли история материальной культуры? стр. 100.

См. в честь Н. Я. Марра.

культуры, корреспонденций, которые не раз уже отмечались,¹ как каб. э / русск. и, здесь в дифференциальном различении значений, используются потенциальные возможности, заложенные в фонеме z , четко отраженные в ее аналитическом начертании ($z \leftrightarrow z + j$).

При оценке второго же $-ya-zy-k$ (серб. $ye-zl-k$) — видеть в созидании этого термина деятельных творцов, выходящих далеко за пределы Причерноморья яз-ов, гесп. аз-ов иначе языгов, с их причерноморскими одноименцами адыг-ами, в русском усвоении касог-ами (гесп. кас-ами), отложившими по общности совместного социально-исторического бытования осязаемый след не только в терминологии др. русск. «языкъ» 'народ',² «язычникъ» гесп. 'чужой', коми уэз 'чужой' и уэз-ау 'свекор',³ но и в именовании самого акта речевого взаимопонимания $ya-zy-k$ гесп. $ka-z \parallel ka-s$, как оно в основе др. русск. «казати» 'говорить', совр. русск. «с-ка-з-ать» — ртом, при «у-ка-з-ать» — рукой (ср. слов. $to\ mi\ ne\ ka\ je$ 'это мне не на руку', букв. 'это мне не рука') и русск. «ка-с-ать-¹ся» 'дотрагиваться' при каб. ʃe-sə-n ныне ʃe-ʃe-sə-n 'касаться', в обоих случаях и рукой и ртом.

Это $ya-zy$ ($\rightarrow ya-zy-k$) гесп. $ka-z \parallel ka-s$, дополняя каждое друг друга, выясняют, что они, подобно каб. ʃe-sə-n , образованы с участием компонента 'рука', и, при более глубоком к ним подходе, оказываются использующими в речетворчестве перемещение элементов. Если при $ka-s$ реально дано $\text{ʃesə} \rightarrow \text{ʃe-sə-n}$, то следует полагать, что при $ka-zy$ ($\parallel ka-j$) гесп. $ya-zy$ возможна форма $\text{ʃe-zə} \parallel \text{ʃe-jə}$ (последняя как раз дана с перестановкой элементов каб. $jə-ʃe \rightarrow jə-ʃe-n$ 'говорить'), и вот из них именно ʃe-zə , дифференцированная в ʃe-ze в кабардинском, означает 'врач' гесп. 'мудрый', первично знахарь, 'маг', в русск. «каженный», «скажённый» 'одержимый духом беса' гесп. 'тотема', с корнями в институте матерей-девственниц,⁴ где «каженик» как-то сохранил др. русский 'евнух', эволюционировавший в этой роли от практического руководителя трумагического, неразлучного с производством речи, процесса.

¹ Турчанинов. Черкесская культура по данным языка в интерпретации проф. Н. Ф. Яковлева. Язык и мышление, т. II.

² Н. Марр. Язык и современность. 1932, стр. 24—25.

³ Турчанинов. Теория лингвистических элементов и проблема скрещивания.

⁴ Г. Турчанинов, ц. с. — Н. Я. Марр. Языковая политика восточной теории и удмуртский язык. 1931, стр. 53—59.

Ф. ФИЛИН

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПОНЯТИЙ ИЗМЕРЕНИЯ (ТЕРМИН „ВЕРСТА“)

Слово «верста» давно уже привлекало внимание лингвистов благодаря огромному комплексу значений, который оно выражает. А. А. Потебня предполагал, что «верста», в конечном счете, восходит к слову «вертеть», через литовское *wags-ta-s* 'длина борозды', 'поворот плуга' и лат. *versus* 'поворот', 'в частности заворот плуга на конце нивы'.¹ Из этого действия вертеть, поворачивать происходит и значение 'борозды'. 'Борозда' впоследствии становится путевой мерой — 'верстой'. От значения 'борозды', как прямой, длинной линии, по его мнению, отпочковалось множество слов, обозначающих 'слой', 'разряд', 'ряд', 'сословие', 'класс', 'строка' и т. д. «От значения борозды, как идущей рядом с другою и равной с нею»² произошли такие слова, как «вѣрста» — 'пара', 'ровня', 'супруги' и пр. Наконец, от значения 'версты', как пройденного пути, отделились слова, обозначающие 'возраст'.

Данная трактовка слова «верста» явилась в свое время прогрессивной в смысле метода лингвистического исследования, поскольку А. А. Потебня сделал попытку наметить историческое развитие слова со сменой различных значений, в противовес мнениям, подобным мнению Потта, который выводил первоначальное значение «версты»... от расстояния между двумя столбами.

Отправной пункт Потебни (связь слова «верста» с «вертеть») впоследствии был принят, в основном, представителями индоевропеистики и держится до настоящего времени. Но для нас потебневская точка зрения на слово «верста» должна быть признана устарелой.

Как утверждал и сам А. А. Потебня, развитие мышления идет от конкретных образных представлений к отвлеченным понятиям.³ Почему же

¹ Из записок по русской грамматике, ч. I, изд. 2-е, Харьков, 1888, стр. 2.

² Там же, стр. 3.

³ Конечно, первоначальные образные «представления», имели в себе элементы логики и являлись категориями, выражающими группы предметов, также как и современные отвлеченные понятия в речи приобретают конкретность.

тогда весьма отвлеченное понятие вертеть легло в основу «верста» и почему в литовск. *warstas* и лат. *versus* 'поворот', 'вращение' выступают, как первые значения, а самая мера длины и мера площади, как производные? Теоретически такой процесс образования слова возможен, конечно, но уже в сравнительно позднюю эпоху. В данном же случае материал уводит нас в такую эпоху, когда этот процесс трудно предположим. Кроме того, доказательств первоначальности 'вертеть' не приведено никаких; эта мнимая первоначальность взята произвольно, по внешнему, физическому признаку поворота при пахоте. Из этих, чисто внешних, признаков, физических качеств предмета, поставленных вне каких-либо общественных отношений, исходит Потебня и при дальнейшем развертывании истории этого слова. Отсюда наивные предположения вроде того, что 'пара', 'чета', 'ровня' происходят прямо-таки от понятия двух параллельно расположенных борозд.

В основе огромного комплекса значений, на первый взгляд как бы хаотически сваленных в кучу, выражаемых словом «верста» и его дериватами, лежит общественная функция, вернее, общественные функции предметов, которые изменялись, а в соответствии с этими изменениями происходили переосмысления старого слова, создания новых слов, которые на первый взгляд иногда ничего общего не имеют со старым, если судить по внешним признакам предметов, которые они обозначают. В самом деле, что общего между внешними признаками «верста» в значении меры длины, равной 500 саж., и, скажем, польск. «*warsta*» — 'кольцо роста в дереве'?

«Верста» = 500 саж. — продукт совсем недавнего времени (нововведение Петра I). До начала XVIII ст. она обозначала меру длины в 700 саж., а еще раньше, в эпоху феодальных княжеств она обозначала различные величины, поскольку не было необходимости в какой-то одной, общей для всего государства мере длины. Каждый феодальный удел, даже каждая деревня имела свои особые меры длины. Впоследствии, когда появилась общая для русских мера, именно «верста» = 700 саж., значение этих местных мер начинает уменьшаться, хотя они сохраняются вплоть до настоящего времени в специфическом применении. Скажем, «длинник», сохранившийся в некоторых слоях населения на территории б. Тульской губ., который то равен 200 шагам, то 300.¹ По этой же линии идут и термины измерения площадей. Одной из распространенных единиц площадей на севере России являлась «выть», которая в различных местностях

¹ Дубенский район Московской обл.

и длину или площади поля передают чисто описательно.¹ Описательный характер этих терминов — продукт совсем позднего времени. Термины же, дошедшие до нас от более ранних эпох, восходят в конечном счете к производственно-материальным факторам (как показывают нам термины «выть», и др.) и связаны не только с измерением пространства, но и времени, и социальных отношений. «Верста», как правильно подметил Потебня, непосредственно связывается со значением 'борозды'. Литовск. *war-sta* первоначально 'борозда', затем мера длины вообще. Сербск. «врста» 'борозда'. Да и русское «бор-о-зда», со свойственным русскому языку полногласием (древне-литературное феодр. «бра-зда») является эквивалентом того же «верста», сохранившим более раннее значение. Фонетические соотношения обеих частей этих слов: *ver* √ *vor* / *bor* и *sta* → *zda*. несвойственные русскому языку, но вполне закономерные для языков яфетической системы, говорят о том, что живая связь между этими словами, вернее, выделение слова «верста» имели место в еще до-русском состоянии. «Верста» первоначально обозначала не только меру длины, но и меру площади. Лат. *verg-s-us* не только 'борозда', 'длина', но и 'площадь', но дошедшим памятникам, 'полевая мера в Кампании, равная 100 квадр. фут.', литов. *war-sta* точно так же мера площади, древне-русск. «бра-зда» 'борозда', но и 'нива', 'пашня'.

С этим кругом значений мы входим в ту эпоху, когда 'длина', 'линия' не отделялись в своем значении от 'площади', 'пространства обрабатываемой земли', поскольку хозяйство того времени еще не выдвинуло этой потребности. А если так, то, значит, не было еще собственно и меры измерения, как таковой. Это было обозначение 'местности', но не местности вообще, а местности, принадлежащей данному человеческому коллективу. Древне-русск. «вор», входящее в первый элемент разбираемого нами термина, — 'ограда', 'забор', 'преграда', 'огороженное или окопанное место', гесп. 'местность, принадлежащая коллективу еще с общественной собственностью'. Но эта местность обозначаемая термином «верста» и его эквивалентами, подлежит уточнению, именно — это в данном случае местность коллектива, так или иначе связанного уже с начавшимся земледелием. Отсюда не случайна близость древне-русск. «боро-н-ити», 'мешать', 'препятствовать', 'защищать', совр. «оборонять», «оборона» с чисто сельскохозяйственными

¹ «Се купи игумень Василей... оу глухомъ погости полъ дворища и полъ ѿгоро(2)дца... полполца брамои земли... и... полпоженки... и притеребъ. и полпутика мѣхѣви земли» (Купчая игумена Василия. Сев.-дв. гр. № 19. То же самое и в остальных грамотах).

терминами «боронить», «боро-н-а» (наличие «н» вряд ли может служить препятствием для привлечения этого термина, так как то же самое «н» имеется и в древне-русск. «бра-з-н-а», «бра-зд-а» 'пахня', 'нива').

Выделение «версты», как меры длины, связано, вероятнее всего, если сообразоваться с социально-экономическим развитием общества, с началом появления частной собственности на землю, причем эта мера получила свое название от 'борозды', производственного термина, обозначавшего не только площадь обрабатываемой земли, но и самый процесс обработки. До появления частной собственности вряд ли имелась потребность в мерах измерения длины и площади и «верста» обозначала все владения коллектива. Впоследствии с этим термином связывается понятие о 'собственности', 'власти'. Древне-русск. «бръзда», «бродза» — 'намордник'. «Бразды правления» — 'стоять у власти', 'средства для управления', выражение, которое проливает некоторый свет на позднейшее использование этого термина после появления частной собственности и образования государства. Сербск. «врстан човјек» — 'порядочный', 'почтенный'. «Сверстный человек», по «Домострою», слуга, выделяемый из двора для удовлетворения всякого рода прихотей феодалов, своего рода «козел отпущения» для гостей боярина на каком-нибудь пиршестве.¹

До появления социального неравенства термин в этой плоскости обозначал 'товарищ', 'один из коллектива', что сохранилось в русском «с-вер-ст-ник», «вер-ст-ник», 'принадлежащий к данной «версте», 'коллективу', позже 'товарищ', а также 'однолетка', 'ровесник', герм. 'принадлежащий к какому-либо возрастному слою коллектива'. Впоследствии, «верста» становится, с одной стороны, обозначением возраста вообще, с другой стороны, используется для обозначения семейных отношений. «И отгырвы врьсты въ многы възлзаша напасти», — Святосл. 1073 г.; «Отрочатыноу их врьстоу» (отроческий возраст), там же; «Яко и дети соуще верстою», Никон. Панд.; Проповедати... духовною и телесною врьстоюж» — Гр. Наз.; «(Он) беаше Епифану верста», Жит. Андр. Юр.: «Любаше Епифаня яко врсту свою» — там же и т. д. Санскр. वृ-त्ति 'возраст'. Как выражение семейных отношений древне-русск. «вьрста» значит 'чета', 'пара', 'супруги'.

¹ «А питие и еству и всякой обиход приносит один человек сверстной кому приказано». «Кому приказано сверстному человеку, что принести или о чем спроситца или о чем ему приказати — и всего на нем пытати и безчиния и невежества, а иному никому тута дела нет», стр. 35 по изд. А. С. Ораова. Встречается в «Домострое» в двух местах и требует особого разъяснения.

Ясно, что эти значения — продукт позднейшего времени, когда уже сформировалась индивидуальная семья. Первично же здесь обозначение поло-возрастного слоя родового общества, что вытекает из самого материала, поскольку «верста» — с одной стороны, 'товарищ', 'возраст', с другой 'супруги', — значения, объединенные одним и тем же словом, следовательно, в своем происхождении неразрывно связанные друг с другом, когда-то осмысливаемые, как нечто единое, и уже позднее дифференцированные.

Справедливость этой точки зрения поддерживается предыдущими материалами, именно «верста», в значении 'земельного участка', 'местности, занимаемой коллективом', а значит, и самого коллектива, поскольку то же слово обозначает членов коллектива; следовательно, первоначальное его значение относится к той эпохе, когда название коллектива и его членов и название его территории, стоянки совпадало, именно к эпохе первобытного коммунизма, если мы не хотим признать «верста» 'борозда', 'территория' и пр. и «верста» 'товарищ', 'возраст', 'чета' и др., лишь случайным фонетическим совпадением.

Древнейшее происхождение слова «верста» показывает нам и другие его многочисленные значения, обозначающие уже не 'стоянку', 'место' и статически 'возраст', а 'движение', 'время'. Другими словами, данный термин приводит нас к той стадии мышления, когда действие коллектива, трудовой процесс еще не мыслились дифференцированно от 'стояния', 'места', т. е. к стадии диффузного мышления. Литовск. *warsta* я лат. *versus* обозначают, кроме 'борозды' и 'меры площади', и 'движение', 'вращение', что и было принято индоевропейцами за первоначальное значение. Выше уже было указано, что совершенно неверно представлять отвлеченное понятие вращения за первичное. Оно настолько же «первично», насколько «первично» статическое понятие 'борозды' и 'пашни'. Работы Н. Я. Марра с неопровержимой ясностью установили, что в свое время и 'действие', и 'состояние', и 'время', и 'пространство' представлялись, как некий неразрывный комплекс. Наличие в значении «верста», *warsta* и других исторически-связанных между собою слов выражений 'действия' и 'состояния', 'времени' и 'возраста' и т. д., приводит нас к этому периоду мышления. Санскр. *vr̥-tta* 'состояние', лат. *ver-ter-e* 'ворочать', 'вертеть', 'кружить', 'пахать' (обращаю внимание на последнее значение 'пахать', которое позволяет привлекать данное слово в круг нашего рассмотрения, поскольку «верста» и его эквиваленты — сельскохозяйственные термины), лат. *ver-ter-e* 'вращать', 'вертеть', 'оборачивать', опять-таки 'пахать', 'вспахивать' и пр. Польск.

war-t-kość — 'быстрота'. Древне-русс. «бороздо» — 'быстро', 'борзо'. Русск. «вер-т-еть» также примыкает одной своей стороной к «верста», поскольку оно вышло из того же семантического ряда. Польск. war-sta, war-st-wa, war-szta 'кольцо роста в дереве', герср. 'круг', 'небо'. Не в этот ли комплекс входит и первый основной элемент русск. «вре-мя» ← ← *ver-men, *'вращение светил по небу'? В основе всего комплекса лежит название трудовой деятельности коллектива, надстроечно же тотема. И это не только теоретическое предположение. Польск. war-sta, war-st-wa 'строфа', 'песня', словинск. vt-st-nica 'строчка', польск. wier-sz 'строка', 'стих', литовск. war-s-na 'отдел', 'параграф' (чередование *d* и *n* отмечено выше: «бра-зда» — «бра-з-на»). В хорутанском сохранилась ver-sta (в той же самой форме, что и разбираемый термин «верста») — 'строка'. Вышеприводимое лат. ver-s-us значит также и 'оборот в пляске и хороводе', 'песня'. Осет. var-st 'измеренный', но и 'прощенный', 'угодный богу'. 'Ритм', 'стихотворение', 'песня', 'строфа', письменно 'строка' ← ← 'черта', 'знак', ясно показывают на свое культово-тотемистическое происхождение, как и 'письмо', 'знак', 'знамение',¹ производственно — это повторение трудовых действий (лат. versus — 'борозда', 'обороты при пахании', герср. 'весь комплекс земледельческой работы' и 'оборот в пляске и хороводе', 'песня' и др.), о чем литературы и материалов — более чем достаточно.

Общность культово-тотемистического происхождения 'песни', 'движения' и 'строки', 'черты', 'линии' показывают и наши материалы. Польск. war-sta, war-st-wa 'ряд', 'порядок', 'строй', 'пласт', 'залежь', 'прослойка (в руде, камне)', 'хлеб в рядах', 'слой камней', 'слой ткани'; чешск. vt-st-wa 'слой пыли на дороге', 'слой дерева', 'слой бумаги (10 листов)'; сербск. «вр-ст-а» — порядок 'ряд'; русск. диалект. (Ярославск.) «верста» — 'крайние ряды из больших камней на каменной мостовой', псковск. великолуцк. у. «г-вер-ста» — 'раздробленный мягкий камень'; верхнелужицк. «vog-szt-a» — 'слой снопов в клуне'; польск. wier-sz 'черта', 'линия' и т. д.

Если бы общность 'песни', 'работы', 'движения' и т. д. и 'черты', 'линии', 'площади-места' и др. произошла в позднее время, то как объяснить бы тогда общность этого происхождения? Объяснение родства слов по внешнему сходству обозначаемых предметов не выдерживает никакой критики, да и трудно найти такое сходство между этими словами, обозначающими самые разнообразные по внешнему виду предметы и явления. Эта общность

¹ См. Н. Я. Марр. Происхождение терминов книга и письмо. Сб. Книга о книге, Л., 1927.

происхождения порождена общностью социально-производственной функции обозначаемых предметов и по всем признакам характерна для диффузного мышления, именно тотемистической его стадии.

«Верста» и производные от этого термина слова на поздней своей ступени развития стали обозначать 'сравнивание', 'уравнивание', 'приравнивание' и т. д., как отвлеченные действия, всегда неразрывно связанные с измерением. Русский литературный язык вплоть до XIX в. включительно имел чрезвычайно богатое употребление этого слова в различных оттенках вышеприведенного значения. «Выверстать» (выверстать пол, выверстать мостовую; также — отплатить кому-либо: «он не упустил на чем-нибудь выверстать оказанные ему услуги», Словарь АН). «Заверстывать» — «зачитывать», «заменять», «заверстанный» 'замененный', 'зачтенный'. «Изверстывать» 'сходиться', 'съезжаться на близком расстоянии'. «Наверстывать» 'догонять' (слово, находящееся в широком употреблении и теперь). «Поверстывать» 'сравнивать', 'вменять', 'полагать', 'приводить', 'определять'. «Сверстывать» — 'сравнивать'. Типогр. «верстать». «Уверстывать» — 'уравнивать'. «Верстать в чины» — 'назначать в чины'. «Верстать помещьем» — обычай периода феодализма на Руси, когда отличавшегося в военных делах награждали «помещьем», «правом благородства» и пр. «Верстать окладом» — юридическое уложение феодальной эпохи, по которому назначался известный денежный оклад каждому, смотря по его имуществу; этот денежный оклад взимался в пользу «обесчещенного» с того, кто «обесчестил». «Верстать в рекруты» и т. д. Здесь целая тема для исследования. Слово «верста» было использовано, как обозначение измерения не только пространственных и возрастных, но и социальных отношений, причем в выражении социальных отношений выполняло свою службу в интересах господствующего класса. Постепенно оно теряет свой социальный базис, поэтому одно значение отмирает за другим. Одно из последних его значений 'мера длины в 500 саж.', типичный представитель феодального, позже феодально-помещичьего хозяйства, тоже в наши дни потеряло соответствующую базу и успешно изживается интернациональным термином даже в быту.

В заключение, несколько слов по формальной стороне дела. Термин «верста» двухэлементен (ver-st-a), сейчас с оформлением ж. рода; первый элемент совершенно ясен (В), для точного определения второго материалы, входящие в круг термина, совершенно недостаточны. Отсутствует конечный согласный, также и гласный, но полное восстановление элемента в данном случае вряд ли имеет какое-либо значение, поскольку не пред-

ставляется никакой возможности выявить его особую смысловую значимость, если таковая существовала. К тому же в настоящей работе мною имеется в виду уже двухэлементное сочетание, образующее единый комплекс с ему присущим семантическим значением. «St» является неизбежным спутником основного элемента В с самого его начала, прослеживаемого в данной статье, причем переосмысление слова «верста», на том или ином этапе его развития, относится не к изменению значения в каком-либо одном из его элементов, а к обоим сразу, что и позволяет нам установить пока однозначимость обеих частей. St(\rightarrow zd || sn \rightarrow zn \rightarrow t \rightarrow s), возможно, даже само по себе есть уже скрещенный комплекс (на что указывает чередование d || n, t || n), но для разрешения определенности этого комплекса материалов, приведенных в статье, недостаточно, и этот вопрос здесь остается в стороне, как и ряд других вопросов, связанных с трактуемым нами термином (оформление ж. рода, чередование огласовок и т. д.). Кроме того, st в данном случае не может быть позднейшим явлением, каким-то имманентным фонетическим сдвигом из tt, t, как то утверждают некоторые индоевропейцы, поскольку на это нет никаких реальных оснований; факты говорят о значительной давности этого звукового комплекса.

О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

ИЗ ДО-ГОМЕРОВСКОЙ СЕМАНТИКИ

1. 'ДРУГ'-'ДРУГОЙ'-'ДРУЖИНА'

У Гомера очень часто встречается слово 'друг', *ἑταῖρος*. Что это чисто-социальное слово означает не 'друг', а 'товарищ', известно из всех словарей. Первоначально *ἑταῖρος* значит спутник, соратник, сподвижник. Так, о Несторе говорится, что он «выстраивает друзей» (т. е. свои войска).¹ Идомеией обещает Агамемнону оставаться его 'другом', хотя по смыслу он 'союзник'.² Антиной в «Одиссее» говорит: «Дайте мне быстрый корабль и двадцать друзей»,³ где речь идет не о 'друзьях', конечно, а о 'соратниках'. Еще больше оттенено значение термина в сцене избрания спутника для Диомеда: Агамемнон предлагает Диомеду выбрать для себя друга в предстоящей вылазке. Диомед отвечает, что если ему велят это, он выбирает Одиссея, который и будет сопутствовать ему.⁴ Точно так же 'подруга', *ἑταῖρα*, означает 'спутницу': цитра — спутница пира, бегство — спутница страха⁵ и т. д. Есть ясные следы и того, что 'друг' был идентичен 'брату'; у Гомера оба эти термина появляются вместе. Так, Одиссей обращается к рабам Эвмею и Филотию: «Вы будете двумя друзьями и братьями Телемаха». ⁶ Здесь 'друг' однозначно 'брату', и нет никакой возможности толковать 'брат' в смысле кровного родства; напротив, и тот и другой термины носят социальный характер со значением 'близкого товарища'. В другом месте Гомер говорит: «Вражда — сестра и подруга. . . Ареса». ⁷ Здесь не сравнение, не уподобление, а тождество. Комплексное значение 'друга' и 'брата' сохранилось в слове *ἑτῆς*, что значит 'родной' и 'друг'; его социальный характер остался в смежном зна-

¹ П., IV, 294.

² *Ib.*, 286.

³ *Od.*, IV, 669.

⁴ П., X, 235 sqq.

⁵ *Od.*, XVII, 271, *Ib.*, IX, 2.

⁶ *Od.*, XXI, 216.

⁷ П., IV, 441.

чении 'гражданина'.¹ Троянки, выбежавшие навстречу Гектору, спрашивают о судьбе своих детей, братьев и друзей-родных;² конечно, в такую минуту их интересуют близкие, а не дальние, сородичи, и под словом *ἔτης* приходится понимать равно 'близкого друга' или 'близкого родного'. В XVI песне Илиады мы снова видим 'братьев' и 'друзей', соединенных вместе: Гера просит, чтоб Сарпедона погребли его «братья и друзья».³ О том, что *ἔτης* и *ἑταῖρος* разновидности одного и того же смысла, говорили уже древние.⁴ Точно так же и в мифах имеется целый ряд случаев, когда 'друг' и 'брат' уравниваются. Так, миф закрепил дружбу братьев Геракла и Ификла, Геракла и Иолая, сына Ификла. Но любопытен характер такого родства и дружбы: Геракл — сын Алкмены от Зевса; Ификл — сын Алкмены от Амфитриона. Между тем, известно, что Амфитрион — прозвище Зевса, и что в мифе земной брак Алкмены есть только аспект ее небесного брака.⁵ Таким образом, Геракл и Ификл не только 'братья' и 'друзья': мифологически они двуедины, подобно Амфитриону и Зевсу. Поэтому, и сын Ификла, Иолай, сохраняет 'дружбу' к Гераклу, но эта дружба выражается в том, что Иолай его верный 'спутник'. Такие же братья-друзья Кастор и Полидевк, Агамемнон — Менелай, Зет и Амфион, Орест — Электра, Гелла — Фрикс, Прокна — Филомела и др. Семантический генезис этой увязки объясняется тем, что в первобытно-коммунистическом обществе не было производственно-социальных предпосылок к таким формам сознания, которым было доступно восприятие единичности, и число один носило множественный, геср. двойственный, характер.⁶ Отсюда боги-близнецы⁷ и боги, расщепленные на-двое, соединенные в мифе мотивом дружбы, родства или вражды. С одной стороны, ответвляется цикл мифов о братьях-врагах, с другой, о братьях-друзьях. Его частностью является филиация мифов о братьях-любовниках одной и той же женщины и друзьях-любовниках. Из них огромное количество мифов говорит о любовной связи мужских богов и героев между собой, и это вовсе не «результат позднейшей порчи нравов», а, напротив, чрезвычайно древняя связь 'дружбы' и 'любви', как форма внутренней семантической увязки

¹ Aesch. Sup. 247, Phuc., V, 79, Hes. в. в. *ἔτης* πολιτής.

² II., VI, 239.

³ II., XVI, 456, ср. VII 295 и IX 464.

⁴ Apoll. lex. *ἑται: πολιται, ἑταῖροι, συνήθεις*.

⁵ Usener. Göttl. Synonyme. Kl. Schr., IV, 266 sqq.

⁶ Н. Я. Марр. К вопросу о происхождении арабских числительных, ЗКВ, V, 611, -сл. — Его же. В тушике ли история материальной культуры? Изв. Галич. 1933, вып. 67, -стр. 73, 101.

⁷ Usener. Zwillingsbildung. Kl. Schr., IV, 334 sqq.

(такова, напр., очень древняя увязка Зевса и Ганимеда, его двойника, позднее любовника).¹ Оттого-то у арабов 'друг' значит 'брат', а у вавилонян 'друг' это 'любовник', и Таммуз назван 'другом' Иштари; оттого и ныне из социального эфемизма, вместо 'любовник' или 'любовница' говорят 'друг', 'подруга', герр. 'подруга жизни' = 'жена'. Выветрившись из *ἑταῖρος*, значение 'любви', и именно 'общественной любви', осталось целиком в *ἑταῖρα*, поглотив и заслонив значение 'подруги'. Греческие гетеры по развитию, образованию и социальной независимости стояли неизмеримо выше греческих женщин, особенно жен: совершенно несомненно, что они, как институт, восходили к иной стадии развития общества, более древней, чем родовой строй.² Точно так же архаичен институт греческих мужских обществ, гетерий, т. е. товариществ, члены которых были 'друзьями' потому, что в первобытно-коммунистическом обществе они были 'братьями' в социальном значении этого слова;³ напротив, в христианских общинах такие 'товарищества' стали 'братствами'. О том, что *hetairoi* и *hetaira* были именами божеств, говорит Зевс Гетерий, Афродита Гетера и праздники Гетериды. О Зевсе говорили, что он получил это имя по покровительству друзьям, но Афродита? Как Гетера, она была божеством и гетеров-мужчин и гетер-женщин, что значило 'друзья', 'товарищи', 'подруги'.⁴ Вообще, название гетеры, приложимое к жрице общественной любви, 'общественной любовнице', не переставало означать 'подруги', и свободно-рожденные женщины, равно и девушки, могли называться гетерами.⁵ — О том, что 'друг' только один из аспектов единой сущности божества, говорят еще и наличие в мифах друзей-врагов, т. е. двух друзей, вступающих в поединок, словно это смертельные враги. Такой «поединок дружбы» в эпосе о Гильгамеше и в мифах о Тезее, о Пиритое и др. У Гомера он особенно архаичен. В VII песне Илиады Гектор вызывает ахейцев на единоборство, и его вызов принимает Аякс. Оба героя ожесточенно бьются весь день, и Гектор уже ранен; однако, из-за ночи бой откладывается до следующего дня. И вот два свирепых, непримиримых врага

¹ Параллельную реплику дает греческий архаичный быт: ср. у эфесов 'братьев' = 'друзей', у спартанцев 'любовников', выполнявших общественную функцию в воспитании молодежи (Plut. Luc., 17).

² Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Партгад., 1932, 66.

³ О социальной семантике 'брата' Н. Я. Марр. О полигении семантики ('брат' и 'крош') ИАН 1926, 781 слл. 'Брат' это 'друг'-двойник, 'товарищ по производству', 'себе подобный'. В тушке лн. . . 67.

⁴ Аполлодор у Athen., 571 с.

⁵ Athen., 571 d.

расстаются: они... дарят друг другу подарки, и отныне все будут говорить, что они сражались из-за вражды, но разошлись друзьями.¹ И так, 'борьба' переводит 'вражду' в 'дружбу', и в акте единоборства два 'врага' становятся 'друзьями'. Борьба, основной мировоззренческий образ раннего охотничьего общества, служит мифологической приметой друга. Бой двух друзей, бой за друга, бой взамен друга: Геракл за Тезея, Ахилл за Патрокла, Тезей за Пиритоя и т. д. Это «за» позднее, однако, чем «взамен» и «с» другом. Так, гомеровский Патрокл вступает в бой взамен Ахилла (еще до того, как Ахилл бьется за Патрокла). И что же? Патрокл выходит в бой не в собственном виде, а как двойник Ахилла: он переодевается в его вооружение, предводительствует его войском, повторяет его по внешности и по положению, уподобляясь ему целиком. И в этом назначении Патрокла: он должен быть Ахиллом для троянцев, и для них он — Ахилл.² Но только ли для них? В устах Ахилла Патрокл уравнивается с собственной ахилловой головой:³ в мифологическом плане Патрокл уподоблен Ахиллу и является его копией, двойником. Этим он и 'друг' его: их двое, но они едины, и лишь выступает то один, то другой. Они такие же 'друзья' как Геракл и Ификл, т. е. друзья-двойники, и два мифологических аспекта одной семантической сущности, которая передается мотивами 'родства', 'необычайного сходства', 'одинаковых функций' и 'одновременного рождения'. Так, Гектор и Полидамас, его друг, родились в одну ночь; Ификл рождается непосредственно после Геракла и т. д. В мифе много друзей-двойников: Тезей — Пиритой, Орест — Пилад, Диомед — Одиссей и др. Таковы же близнецы Кастор и Полидевк, 'братья'-друзья: один день Полидевк живет на небе, другой с братом в преисподней, и именно этим он 'настоящий брат'. Таковы и примерные 'друзья' сиракузяне Финт и Дамон: один из них хочет умереть за другого, и именно это показывает сиракузскому тирану, что они 'настоящие друзья'.⁴ Другими словами, один из друзей всегда имеет функцию умирания; 'друг' есть 'другой', 'один из двух', что значит по-гречески ἕτερος. Самое ἕταῖρος звучит по-ионийски ἕταρος; в то же время ἕτερος значит 'другой из двух', 'один из двух', не тот, а этот (alter). Наличие двойни — это как раз наличие двойника, двух существ и двух предметов; как 'другой' всегда один из двух (иной, не тот), так 'друг' непременно один.

¹ II., VII, 299 sqq.

² Ib., XI, 795, XVI, 278 sqq.

³ Ib., XVIII, 80 sqq.

⁴ Script. Poet. Hist. Gr., ed. Westermann, p. 345—346 и др. Шиллер сделал их героями баллады «Die Bürgschaft» по Hug. Fab., 257.

из двойни, непременно 'двойник' и такой же, следовательно, 'один из двух'.¹ В мифе можно быть другом только одного, — 'друг' всегда 'другой из двух'. По многозначным мифам видно, что верный, настоящий друг идет в пре-
~~двинутое~~ за своим двойником, или бьется за умершего друга, или умирает ~~за друга~~ 'за смерть', как и 'борьба', входит в семантический состав 'дружбы'.
 В ~~древности~~ и обычая мы узнаем, что 'друзья', действительно, несли загроб-
 ную функцию. Греческие аристократы держали при себе так наз.
~~друзья~~, т. е. первоначально 'спутников', 'свиту'; в условиях рабовладель-
 ческого общества 'колак' стало означать 'льстец', 'нахлебник'. Эти 'спут-
 ники', выродившиеся в низких льстецов и в презренные подонки общества,
~~обратили~~, однако, за собой название 'друзей' (φίλος, ἑταῖρος), а также 'близ-
 ники' (συνήδεις) и 'сожителей' (συνβίωται),² что указывает на их теснейшую
 связь с лицом, которому служили. Их былое назначение двойников связы-
 валось в том, что они были как бы 'зеркалом, передающим чужие движе-
 ния и аффекты',³ «тенью человека, с которым стояли или шли».⁴ Все их
 назначения сводились к тому, чтобы служить полной копией своего господина;
 они во всем пародировали его, не имея ни своих собственных мыслей, ни
 чувств, ни своей собственной жизни (отсюда — позднейшие формы лести
 и подхалимства, имеющие религиозные корни). Такой 'друг' уподобляется
 'собаке' и 'рабу', потому что и то и другое две метафоры 'смерти'; не будучи
 рабом социально, он должен был называться рабом, а его двойник, позднее
 господни, не будучи царем, царем назывался.⁵ Такой 'друг'-'колак' пол-
 ная параллель бытового характера к обрядовому 'царю-рабу' Сатурналий,
 где 'царь' метафорически нес функцию жизни, 'раб' — смерти. Вот так же
 'колаки' и 'друзья' составляли, дословно, 'свиту' ('спутников', 'сопроводи-
 телей') своего хозяина или царя, ту 'дружину' из 'друзей'-'двойников',
 которая первоначально дублировала царя в актах борьбы, жизни и смерти.
 Эта семантика 'дружинны' еще видна в кельтских древних обычаях. Так,
 Николай Дамаскин сообщает, что кельтский царь имел вокруг себя шесть-
 десят отборных мужей, которые жили и умирали вместе с ним, связанные
 следующим обетом: они делят с царем власть, носят одинаковую с ним
 одежду, ведут равный с ним образ жизни и умирают с ним вместе, будет ли
 это смерть от болезни, на войне или по иной причине. И никто, прибавляет

¹ ἑταῖρος — 'дружить', но и 'вдвоем действовать' (II. XIII 456).

² Ribbeck. Kolax. Abh. Säch. Ges. Wiss., 1884, IX, 69.

³ Plut. Symp. 53 A.

⁴ Ib., 53 B. Ribbeck, I. c.

⁵ Ribbeck, 8, 38.

историк, не мог сказать, чтоб кто-нибудь из них трусил или ускользал от смерти, когда умирал царь.¹ Эта множественная свита 'друзей', 'дружина', архаичней сольного друга, хотя во всей своей множественности она остается, одновременно, единичной, восходя по семантике к тотемистическому мышлению. Космическое мировосприятие дает себя, однако, чувствовать в этом образе 'царя', находящегося в окружении 'друзей', подобно солнцу, окруженному звездами. Так, в одном религиозном гимне к царю поется: «Он появляется... подобно богу, все друзья вокруг него, в середине же он сам, словно друзья — это звезды, а сам он — солнце».² Таковы же и римские 'клиенты', сперва 'друзья' и 'сопроводители' того, кого они должны называть 'царем' и 'господином', его 'свита', 'окружающие', 'сотрапезники'. Впоследствии это смиренные и подобострастные 'льстецы', которые хвалят все, что говорит или делает патрон, нахлебники, переносящие насмешки и унижения, особенно за 'едой'. Их главной обязанностью было утреннее посещение патрона: подобно тому, как в религиозной обрядности приветствовали рождение и эпифанию солнца, так здесь, в обрядности бытовой, толпа 'друзей' встречала в праздничных одеждах 'пробуждение' и 'появление' своего царя.³ У императоров эти клиенты носят имя 'друзей' (*amicī*) и 'спутников' (*comites*). Ежедневно на рассвете они приветствуют утреннее пробуждение императора, едят вместе с ним, сопровождают его в виде 'свиты', вместе с ним сражаются (*cohors amicorum*). Как колаки и параситы, эти 'друзья' теряют свою личность, подражая во всем императору и, по словам Эпиктета, едят у него за столом, как рабы у господина.⁴ Они не имеют своего собственного характера, заменяя его характером своего господина. При дворе Александра Македонского его 'друзья', гетеры и φίλοι, составляют 'свиту' его 'телохранителей', 'окружающих' и 'сотоварищей' в войне и в еде,⁵ его 'спутников' и 'слуг' (как Патрокл 'слуга' Ахилла). Каждый из них — 'другой' Александр, и этим его 'друг'.

¹ FHG III 418. По Тациту, у древних германцев дружина не приходила живой, если умирал вождь; он бился за победу, а дружина за него (Germ., 14). У галлов дружинники назывались *devoti*, обреченными смерти (Jul. Caes., B. G., III, 22).

² Итифаллик Деметрию Полиоркету у Athen. 253 d. О том, что сравнение здесь является культовым тождеством, см. Weinreich, Senecas Arosolocun., 1923, 45. Также ср. у Стация евхаристикон (благодарственный гимн) в честь Домициана, где он сравнивает возлежащего на пиру с друзьями императора с Юпитером, окруженным небесными светилами, а дворец Домициана с небом (Silv. IV, 2). По Н. Я. Марру 'товарищ' = 'году' и является 'двойником солнца' (В тупике ли... 69).

³ Mart., II 68, VI 88, IX 92, XI 24; Juv. V; Senec. Epist., 227 и др.

⁴ Mart. IX 79; Epict. Diss., IV 8, 41.

⁵ Связь дружины с едой и питьем основана на семантике еды. См. ниже, ст. 389. Так и у германцев пиры служили жалованьем дружины, Tac. 1. c. — Pauly-Wissowa сообщает

2. «НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ»

Одиссей встречается в подземном царстве Тиро, и та рассказывает ему, как Посейдон в реке с ней сошелся, а затем сказал: «Радуйся, богом любимая! Прежде, чем полный свершится год, у тебя два прекрасные сына родятся...» и т. д.¹ Итак, сперва зачатие, потом благовещение. И вестник это тот, кто только что был виновником этого акта.² Один гомеровский гимн передает, что Афродита, соединившись с Анхизом, говорит ему: «Сын будет у тебя... который наречется Энеем».³ В одном случае вестник благовещения и виновник зачатия — мужчина, в другом женщина. Мы так привыкли к благовещениям первого рода, что уже не замечаем тех случаев, когда активным началом является женщина, пассивным — мужчина. Но миф об Афродите и Анхизе очень интересен: это образчик матриархальных представлений. Женщина, доминируя в общественном производстве и культе, сама выбирает того, кого оплодотворяет, и потому благовещивает Анхизу. Но и он не нужен ей, поскольку производящее начало она сама; так матриархальное мышление создает представление о «непорочном зачатии». Дева Мария рождает без участия мужчины: это для матриархата характерно. Такой вариант у Луки.⁴ Этот же миф, прошедший через переработку патриархальных представлений, дан у Матвея: здесь ангел благовещивает не Марии, а Иосифу, и, возвещая рождение сына, называет его будущее имя и призывает не бояться.⁵ Такой же патриархальный вариант с теми же общими элементами — наречением сына и ободрением — есть и у Луки, но здесь он относится к рождению Иоанна: ангел благовещивает Захарии, но не Елисавете.⁶ Конечно, в виде неизбежной уступки имеются и здесь упоминания о женах, от которых родятся сыновья, но самый факт прихода ангела с культовой формулой к мужьям, а не к женам, достаточно говорит о перемене социальных ролей, а потому и религиозных воззрений. Греки и впрямь сохранили мифы с «непорочным зачатием» мужчины, без посредства женщины: так, Зевс рождает из головы Афины, из бедра Диониса.

о гетерах Александра, что этимология слова неизвестна, что завел их Александр, и что эти гетеры проникли в быт из эпоса...

¹ Od., XI 235 sqq. Пер. Жуковского.

² С. Я. Лурье. К источникам Гавриилады. «Пушкин». Сборн. статей, 1925, 4, прим. 13. И. Г. Франк-Каменецкий. Вода и огонь в библейской поэзии. ЯС, 1924, 146. E. Norden. Geburt des Kindes. 1924, 87 sqq.

³ Hymn. Ven., 191 sqq.

⁴ Luc., I 28—38.

⁵ Matth., I 20—22.

⁶ Luc. I, 11—20. Захария смущается и трепещет от благовестия, как и Мария...

рождается Загрей. Но ярче всего эта «теория» непорочного зачатия мужчины дана в «Эвменидах» Эсхила.¹ Аполлон является здесь ревностным апологетом матереубийцы Ореста. Архаичные богини смерти, дочери матери Ночи, Эриннии (Эвмениды) держат сторону убитой матери Клитемнестры; Аполлон — неженатый бог, бог без жены! — защищает Ореста и клеймит убийцу мужа — Клитемнестру. Эриннии — за женщину, Аполлон — за мужчин, Афина, рожденная мужчиной, поддерживает Аполлона. Но Аполлон оттого защищает матереубийцу, что отрицает материнство вообще; он говорит, что мать вовсе не родит ребенка, но только возвращает зародыш. «Родит тот, кто оплодотворяет» — говорит Аполлон, и даже мало того: «Можно стать отцом и без матери».² Материнство без матери — вот формула, передающая во всей полноте те социальные отношения, при которых женщина не играет ни малейшей роли и умалена до того, что в ней отрицается даже ее природа. Но не так ли считалась оплодотворителем Афродита, не так ли Мария могла зачать, «мужа не зная»? — Оба примера показывают, как мировоззрение строится по общественно-производственным отношениям, но не по биологическим данным.

3. «СТОЛОВЫЕ СОБАКИ»

В 23-й песне Илиады говорится о пышных похоронах, которые Ахилл устроил своему другу Патроклу. Среди загробных жертв Ахилл, между прочим, бросает в погребальный костер двух обезглавленных собак. Но это не простые, так сказать, собаки. Это «собаки повелителя», собаки столовые, *τραπέζης κύνες*. У Ахилла было девять таких собак, и двух он умерщвляет.³ Что здесь собака — носитель культовой семантики, говорит то, что эти столовые собаки принесены в качестве заупокойной жертвы герою, и что их именно девять. Если сопоставить, что собака была хтоническим животным, двойником смерти и стражем преисподней, то станет понятна и ее культовая связь с погребением. Но еще любопытней, что здесь не одна собака, а две; именно две собаки были божеством-близнецом смерти в Индии, и у греков собака ада, Кербер, изображалась с двумя головами.⁴ Бросанье собак в погребальный костер — акт, повторный смерти: во время похорон умерщвляются животные, изображающие смерть.

¹ См. критику на Бахофена, разбиравшего данный эпизод с точки зрения борьбы матриархального и патриархального права, у Энгельса, Происхождение семьи... 10 сл.

² Aesch. Eum. 658 sqq.

³ II., XXIII, 173.

⁴ О семантике 'двойни', 'двух' см. выше, стр. 384.

Но почему эти собаки столовые? Дело в том, что на ранних стадиях первобытно-коммунистического общества еда воспринималась космогонически; такая ее семантика уже устойчива у охотников, когда разрывание и проглатывание тотема представляется, как его уничтожение и обновление; известно, что еда представляла главный акт тотемических церемоний, во время которых общественный коллектив приобщался тотему и друг другу в нем. Отсюда, в земледельческой стадии, акт еды воспринимается в виде преодоления смерти и «живота вечного», бессмертия, воскресения. Еда богов — нектар, сома, амброзия — дает вечную жизнь и молодость; но рядом с нею стоит еда культовая, евхаристия, спасающая от смерти, а также еда бытовая с тем же первичным значением. Итак, мировоззренчески, акт еды — это акт смерти и ее преодоления, реновации. В силу тождества, основного в системе доклассового мышления, при столе, воспринимаемом хтонически, находятся собаки — смерть. Так при царе песет загробную функцию раб, при ядущих паразит. Выше я говорила, что семантические функции друга, раба и колака-паразита сливаются. Интересно, что паразиты (а их культовая роль давно выяснена) уподоблялись собакам. Паразит, как и собака, находится, прежде всего, при столе, во время еды и называется «столовый», как и наши собаки. Он сидит не за столом, но на земле, под тем ложем, где возлежит царь; ест он не как человек, а по собачьи; он ловит пищу, поднимая ее с земли, и часто, как собаку, его колотят палкой, нанося кровавые удары; он же, несмотря на боль, валяется перед хозяином.¹ Поздней, когда паразита уже сажают за стол, он должен занять столько места, сколько нужно собаке для лежанья.² Но за ним остается обычай «есть по собачьи», и часто он ест с земли.³ О паразите принято говорить, что он «лает», «виляет хвостом», «поджимает хвост»; его прозвище «машущая хвостом собака».⁴ Если паразитов специально держали при столе и если «столовый» было прозвищем и их и собак, то ясно, что они осмыслились, как те же самые «столовые псы». Именно в роли такого паразита оказывается евангельский Лазарь: он лежит на земле, нищий, и кормится (*χορτασθήναι* — глагол, прилагаемый к скотине) падающими со стола крохами, — а собаки лизут его язвы и даже, по духовному стиху, подбирают для него крошки и кормят его.⁵ Увязка понятна: это те же, что и Лазарь,

¹ Посидоний о парфянах, FHG, III 254.

² Plaut. Stich., 520.

³ Eupolis, Fr. 146 K.

⁴ Ribbeck, 93. Poll., VI, 123. Собака вообще называлась *τραπέσιτος*, Poll. III, 84, а паразиты *οὐ μέλας*, Ribbeck, 24.

⁵ Luc., XVI 21. Бессонов. Калики-перехожие. 1861, I, 56.

столовые псы. Гнойные раны Лазаря не от удара хозяина: вместе с рубищем нищего они являются метафорическими чертами Лазаря, как 'смерти'.¹ Но почему Лазарь, колаки и псы едят именно упавшие крохи? 'Пасть', 'упадать' значило 'умирать'; то, что падало со стола на землю, считалось загробным, и есть его ни в коем случае нельзя было; съесть упавшее со стола — значило умереть.² Точно так же и в сказках герои, проходящие фазу смерти, живут в собачьей конуре, ходят на четвереньках, едят с собаками. Когда им бросают под стол кости, хлеб или мясо, они схватывают с земли, вырывают у собаки и съедают.³ Олицетворение в собаке 'смерти' дается в двух метафорах, и собаки повелителя столько же служат при столе, сколько и при похоронах, когда их, обезглавив, бросают в смерть.

4. ДВА «ПОХИЩЕНИЯ ВЕСНЫ»

По одной из глав Бытия, Аврам из-за голода отправился с Сарой в Египет. Сара прекрасна; Аврам боится, чтоб его, как мужа, не убили, и просит ее выдать себя за его сестру. Фараон, узнав о красоте Сары, берет ее к себе. Авраму живется отлично; но «господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврамову». Фараон призывает Аврама и укоряет за обман. «И я взял, было, говорит он, себе ее в жену». Он возвращает Авраму жену и торжественно отпускает их из Египта.⁴ Рассказ темен. Почему бог наказал фараона и весь его дом за Сару? Ведь не фараон виноват, а Аврам, который выступает в исключительно позорной роли. Как фараон узнал, что Сара не сестра, а жена Аврама, и почему поставил это в связь с бедствиями своего дома? — На все эти вопросы отве-

¹ См. мою статью «Слепец над обрывом», Яз. и Литер., VIII, 232 сл. 'Нищета', как метафора смерти, сливается с метафорическим значением 'собаки'; так, в Галлии собак сравнивали с нищими. Н. Я. Марр. Яфетические зори на украинском хуторе. УЗИНВ I, 20. Ср. осколки мифа в аллегории язычницы: «Но ведь и щенята, сидя под столом, едят... где 'щенята' = язычники (Мгс., VII 28).

² «То, что упало, нельзя поднимать, чтоб не привывать есть без разбора, или потому, что это к чьей-нибудь кончине. Аристофан утверждает, что упавшее принадлежит мертвым (героям), говоря в «Героях»: «Не вкушайте того, что упало со стола». Diog. Laert., VIII, 34 и Arist. Fr. 305 K. Остатки со стола тоже были священны: они жертвовались богам, Wissowa. Röm. Rel., 1902, 30.

³ Tardel. Die Sage v. Robert dem Teufel. 1900, 2 sqq. Жданов. Василий Буслаев и Волх. Всеслав. ЖМНП, 1893, XII, 254 сл., где приводятся жития, саги и сказки с аналогичным мотивом, который объясняется, как «использование» евангельской легенды... Но этот мотив имеется и в эпосе; так же связаны с собаками нищие, в гнойных язвах, Одиссей и Тристан, и эти собаки архаичнее, чем они сами (см. мою статью в сб. «Тристан и Исоolda», стр. 104). В сущности, две собаки Ахилла — это он и Патрокл, 'двойники', два 'друга'. Ср. Н. Я. Марр. В тушике ли... 79, где 'друг' увязан с 'собакой'.

⁴ Быт., 12, 10—20.

чает XX гл. Бытия, где наш рассказ повторен. Авраам и Сарра отправляются в филистимский Герар, и Авраам выдает Сарру за свою сестру. Царь герарский, Авимелех, берет Сарру к себе. Тогда является во сне бог и открывает ему, что Сарра — жена Авраама, и что царь со всем домом умрет. Царь ссылается на обман Авраама и молит пощады. Но богу все известно, и это он сам удерживал царя от греха; теперь царь должен вернуть Сарру Аврааму, так как тот пророк, и по его молитве царь останется жив. Царь призывает Авраама и укоряет его за его поступок, а затем возвращает ему с большими дарами Сарру, реабилитируя ее перед всеми. «И помолился Авраам богу» — говорится в заключении — «и исцелил бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его и они стали рождать; ибо заключил господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраамову».¹ Итак, теперь все ясно. Авраам — пророк, любимый божеством, Сарра неприкосновенна. За то, что Авимелех берет ее к себе, бог угрожает смертью и ему, и его дому, и всему царству. Уже одним этим достаточно подчеркнуто, что Сарра не смертная женщина, а божество. За нее вступается сам бог, и Авимелеху ничего не остается, как с дарами и раскаянием вернуть ее Аврааму. И все же, несмотря на скромность Авимелеха, в продолжение всего времени, что Сарра жила у него, все женщины его дома были бесплодны. Вот те «тяжкие удары», которым бог поразил фараона в предыдущем рассказе. Но так ли невинен Авимелех? Он только что взял Сарру, и уже во сне является бог; когда же успело произойти бесплодие женщин? Ясно, что Сарра пробыла у Авимелеха какой-то длительный срок; ясно и то, что бог вызван вопрошавшей молитвой царя после катастрофы. — Но теперь посмотрим на начало Илиады. Агамемнон, аргосский царь, держит у себя прекрасную Хрисеиду. За ней приходит с выкупом Хрис, жрец Аполлона, но царь дерзко прогоняет его. Хрис в жаркой мольбе передает свое оскорбление богу. Тогда разгневанный Аполлон посылает на все войско Агамемнона мор. Тяжкое несчастье заставляет отца спросить о причине божьего гнева, и когда она становится известной, царь торжественно возвращает Хрису его дочь с богатыми дарами для бога. Хрис молится Аполлону, и по его молитве мор прекращается.² Итак, сюжеты одинаковы: царь удерживает пленницу, и за то божество посылает тяжкую

¹ Ib., гл. 20. Там же, гл. 26, 1, 6—12, рассказ приурочен к Исааку и Ревекке.

² II. I 8—486. Весь мотив гнева за Хрисеиду повторен в мотиве гнева за Брисеиду Ахилла-Зевса. Здесь этот же мрачный Агамемнон удерживает красавицу, затем с раскаянием и богатыми дарами возвращает Ахиллу, клянется богу, что Брисеида оставалась нетронутой и реабилитирует ее всенародно, II. XIX 238 sqq. Но здесь еще наглядней: Брисеида — прозвище богини плодородия, Афродиты (Hes. v. v. Βρισηΐς).

болезнь. Там и тут оскорблено само божество, карающее неплодием или смертью; там и тут молитва пророка-жреца вызывает исцеление. Но каждая версия сюжета, дополняя друг друга, позволяет восстановить цельный миф. Судя по Илиаде, Авимелех насильно удерживал Сарру, и этим навлек гнев бога; судя по Бытию, кара Аполлона имела целью остановить плодородие. Но есть ли такой цельный миф? Да, есть. Ведь так Аид удерживал Кору, и за то Деметра посылала бесплодие на всю землю. Так остановила плодородие на земле Иштар, когда ее возлюбленный, Таммуз, был удержан в преисподней. Начало Илиады и 12—20 гл. Бытия содержат греческую и иудейскую версии того мифа, которой особенно известен в вавилонском варианте об Иштар и Таммузе. Но Кору удерживает царь смерти, Таммуза — царица преисподней: это разъясняет ряд деталей. Так, и Авимелех и Агамемнон оказываются в роли богов смерти, — и недаром взяты в Бытии фараон и царь филистимлян — представители наиболее враждебных Израилю народов. А Сарра, прекрасная богиня света и плодородия, разделяет природу с Корой и Таммузом; она зиждительное начало земли, и ее скрyтие — это неплодие, ее появление — новая производительность. Вот почему завязка эпизода — бегство Авраама от голода; так и в варианте Исаак бежит к Авимелеху из-за голода, а при развязке начинает сеять и получает во сто крат больше ячменя; вот почему Сарру торжественно провожают с Авраамом, богом-паредом, наделяя богатыми дарами. Такова же и солнечная Хрисеида, Золотая, которую отвозят на остров бога-Солнца. Авраам и Хрис, любимцы и служители божества, представляют его самого. Судя по мифу о Коре и следам в Бытии, Сарра становится временной женой Авимелеха, и Хрисеида не в одних мечтах Агамемнона дублирует его жену, Клитемнестру:¹ языческий миф не скрывал, что она была беременна от Агамемнона.² Непорочность Сарры потребовалась в тот момент, когда жрецы стали выдавать этот миф за «священное писание»; «ревность» бога получает отвлеченное значение, и, в результате наслоения двух разнородных смыслов, Авраам становится трусом и «альфонсом».³

¹ II. I 112—115: «Мне очень хотелось», говорит Агамемнон о Хрисеиде, «взять ее в свой дом, и я даже предпочитал ее Клитемнестре, законной супруге, так как она ничем не хуже той ни телосложением, ни своим видом, ни душевными качествами, ни образом действий».

² Hug. Fab., 121.

³ Возможно, что это остатки его былой загробной функции. Ср. «Авраамово лono» и роль Авраама, по которой он принимает к себе умерших праведников и спасает от ада грешников. См. Евр. Энци., 1. 255. Как бог смерти, он мог, первоначально, быть прямым, а не косвенным виновником сокрытия Сарры и земного плодородия.

В. И. ЧЕРНЫШЕВ

ТЕМНЫЕ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Для полноты и ясности словаря русского языка, как и всякого другого, необходимо прилагать значительные усилия к сокращению области слов и выражений, темных в отношении истории, этимологии и значения. Темные словоупотребления неприятны, как пятна на пестрой, яркой и выразительной лексической ткани языка. Они портят тексты, затрудняют мышление, наталкивают говорящих и читающих на ложные идеи и заключения. Для значительного запаса темных слов русского языка нетрудно установить важнейшие группировки в зависимости от причин их происхождения.

I. Первая и основная — отживание старого лексического предания вследствие забвения прошлого, изменения руководящих жизненных тенденций и представлений, перемены бытовой и производственно-трудовой обстановки, передвижения составляющих общество социальных сил в отношении влияния на культуру и государство. В данных современного русского языка мы имеем прежде всего запас темных словарных архаизмов, которые в известной части могут быть выяснены изучением памятников письменности или показаниями недавно еще богатой живыми архаизмами областной русской речи и жизни. Приведем несколько примеров.

Абатур, абатур, оботур, оботур, абатура, батура, батюра. В таких, неодинаковых формах, но с весьма устойчивым содержанием (упрямый человек) данное слово известно в разных великорусских говорах:

Абатур. Упрямый человек. Б. Вологодск. губ. (Тр. Общ. люб. р. слов. Ч. I, М., 1822, 231. — Дилакторский. Словарь Вологодского варечия).

Абатур. «Владимирское речение, но у некоторых начальное здесь А заменяется буквою О и произносится вместо *Абатур* — *Обатур*. Впрочем, то и другое — одно и то же: своенравный, упрямый, околотень. Окончательное *тур* намекает что-то на *тура*, столь знакомого древнейшим нашим песням, и летописям; но филология не всегда (была) моим

делом».¹ Б. Московск. губ., б. Саратов. губ., б. Ярославск. губ. (Дополнение к Опытному обл. словарю), б. Рязанск. губ. (Даль). С иным ударением: *Аба́тур*. Упрямый, своенравный человек. Б. Вологодск. губ., б. Покров. у. б. Владимирск. губ. (Опыт обл. словаря).

Оботу́р. Упрямец, грубый, упорный, скрытный человек. Костромское, Владимирское, Тверское (Даль). С иным ударением: *Обо́тур*. Своенравный человек. Б. Олонецк. губ. (Куликовский).

Абату́ра. Упрямый человек. Б. Московск. губ., б. Ярославск. губ. (Дополнение к Опытному обл. словарю).

Бату́ра. То же, что абатур. Б. Рязанск. губ. (Опыт обл. словаря).
Бату́ра. Пустомеля. Белорусское.

Словарь древнерусского языка не представляет никаких данных для выяснения нашего слова, в языке украинском оно неизвестно, в других славянских языках, насколько мы знаем, тоже. Этимологическое истолкование слова *обату́р* пытался дать после Макарова и Даль, заметивший при слове *оботу́риться*: от *ту́рить*. Для признания такой этимологии встречается много затруднений: 1) необъяснима форма *абатур*; 2) признанию родства с глаголом *ту́рить* мешает и акцентологическая форма и значение слова *оботу́риться* (ожидали бы формы с ударением *оботу́риться*, в смысле гонять кругом); откуда, впрочем, трудно перейти к понятию «упрямиться»; 3) префикс *обо* обычно наблюдается перед слогом с выпавшим глухим, давая чередования типа *обогна́ть* — *обгоню́*, *ободрáть* — *обдеру́*, поэтому соединение с *ту́рить* должно дать слово *обту́рить* (как *обкуру́ть*, *обломить*), а не *оботу́рить*. А. И. Соболевский выставлял этимологию, объединяющую фамильные имена и прозвища Бутурлин, Батура, Аботур, подводя их к корню *бот* (РФВ, 1911, № 2, 402).

Важный материал для выяснения слова *абатур* дают нам тексты некоторых исторических памятников. В «Истории княжества Псковского» (Евгения Болховитинова, ч. III, 156) находим: *Въ лѣто 7089 августа в 20 день... приде подъ Псковъ градъ польскій король Аба́тур* (надпись на иконе богородицы в Покровской с пролома церкви). В «Псковской первой летописи» читаем: «Того же лѣта (7089), августа въ 18 день, приде король Литовской Стефанъ Обату́ръ со многими орды, 17 земель, подъ пресловущій градъ Псковъ съ нарядомъ, и стоялъ 30 недѣль подъ градомъ и стѣну розбивъ много приступалъ...» (Полное собр. русских летописей, т. IV, СПб., 1848, 319). В «Истории» Карамзина имеем: «Да сказывал мне

¹ М. Н. Макаров. Опыт русского простонародного словотолковника. Чтения в Обществе истории и древн. рос., 1845.

(Новосильцеву) князь Ягуб Воронежской: при мне-де к Б а т у р у приехал чауш от Турсково... (т. IX, примеч. 447, цитата из «Дел польских»). У Соловьева встречаем это наименование в передаче слов шляхтича Голубя: «Паны за посулы выбирают цесаря и Об а т у р у; но рыцарство всею Землею их не хочет...» (История России с древнейших времен, изд. 2-е, книга II, СПб., 1896, 256). На основании этих данных, заключаем, что великорусское областное слово *обатур* есть не что иное, как обратившееся в нарицательное название фамильное народное имя известного польского короля-полководца, Стефана Батория. Упорные штурмы крепко защищенного и храбро обороняемого Пскова разнесли имя и характеристику Обатура по всей Московской Руси, и сделали его общим названием безмерно упрямого человека.

Географическое распространение слова *обатур* как раз соответствует русской территории времен Ивана Грозного, с которым столкнулся Стефан Баторий в войне и мире. Это — великорусский центр в области между городами: Москва, Рязань, Кострома, Вологда, Ярославль, Тверь. В б. Архангельской губернии слово *обатур*, очевидно, неизвестно потому, что область Двины с Архангельском представляла особый торговый путь, мало связанный с торговлей Пскова. В позднее заселенной области южновеликорусских акающих говоров, именно в бывших губерниях Калужской, Орловской, Тульской, Тамбовской это слово также неизвестно. То же нужно сказать и о нижнем Поволжье, насколько оно заселено южновеликоруссами. В б. Симбирскую губернию слово *обатур*, вероятно, спустилось вместе с переселенцами из окающего центра. В подобном положении и обширная область Сибири, в которой слово *обатур* неизвестно. Конечно, переселенцы Сибири, как и других, позднее эпохи Ивана Грозного заселенных областей, могли более или менее знать исторического *Абатура*, но вообще очевидно, что живое историческое знание и предание держалось более в верхнем, делавшем историю и заинтересованном войнами и политикой слое населения: в сословии бояр, служилых людей, купечества и духовенства. Экономическое и правовое положение этих классов было таково, что им не было никакой нужды трогаться с места. В колонизацию пускалось исторически мало осведомленное и бедное, притесненное крестьянство. В нем исторические пережитки забывались скоро под напором нужд и потребностей текущей жизни.

Любопытно и показательное отсутствие слова *абатур* в области самого Пскова и в ближайших к нему областях Смоленска и Новгорода. Здесь *Абатур* был слишком хорошо известен, как живое историческое лицо,

и потому не мог перейти в отвлеченное нарицательное имя, представляющее носителя известного качества (упрямства). С другой стороны оценили Абатюра в Белоруссии, которая видела возвращение его войск после неудачного похода: он — много обещавший, но не исполнивший обещаний хвостун, *пустомеля*.

Мы не можем упустить из вида, что слова *Абатюр*, *Оботюр*, *Батура* были известны в русском языке уже с конца XV в., но исключительно как прозвища¹ и, в качестве таковых, не имели ясного лексического содержания. Это содержание, распространение и долгую жизнь дала приведенным словам историческая личность и деятельность Стефана Батория, с выдающимся качеством которого, непреодолимой настойчивостью, народная мысль прочно связала бессодержательное раньше слово.

Белый арап, *Белая Арапия*. В комедии Островского «Праздничный сон до обеда», картина II, явление 3-е, сваха Красавина сообщает купчихе Ничкиной в числе последних новостей: «Говорят, белый арап на нас подымается, двести миллионов войска ведет». На вопрос Ничкиной: «Откуда же он, белый арап?» Красавина отвечает: «Из Белой Арапии». В «Нови» Тургенева, гл. XIX, выводится старая няня Васильевна, которая «рассказывала шамкавшим голосом про всякие новости: про Наполеона, двенадцатый год, про антихриста и белых арапов». «Белая Арапия» Островского и других, понимаемая, обычно, как нелепое произведение невежественной фантазии, в действительности, термин народной географии, достаточно осмысленный и определенный. Он встречается не только у Островского и Тургенева. Раешник Левитова, в более нескладном сочетании понятий, может быть, с утравованной передачей обычной действительности, употребляет тот же термин: «А эфто, господа, город Китай,² в Беларапской земле на поднебесной выси стоит». Сцены и типы на сельской ярмарке, гл. III (Соч., т. 1, 16, изд. 1884 г.).

В простонародной литературе XVIII в., в произведениях фольклора, русского и южно-славянского, мы нередко встречаемся с термином *черный арап* для обозначения представителя негрского племени.³ Русские *князькини* и бывалые люди старого времени, знавшие этнологию и географию от ну-

¹ Н. М. Тушиков. Словарь древнерусских личных собственных имен.

² Очевидно, город, обнесенный известного рода стеною (ср. *Китай-город*, часть старой Москвы).

³ М. Комаров. Повесть о приключениях английского милорда. СПб., 1782, 59. — А. Веселовский. Две заметки. (Журн. м-ва нар. проsv. ССХLI, отд. 2, 174). — М. Халавский. Кого нужно разумеать под именем черных арапов в сербской народной поэзии (Русск. фол. вестн., 1882, т. VII, 113). — И. Абрамов. Царь-Максимилиан, 20 (Сб. ОРЯС, т. XC, № 7).

тешественников и гораздо более подвижные, чем мы, отличали от черных арапов белокожих представителей Аравии. Путешественник начала XVII в., Ф. А. Котов, определенно говорит, что живущие в Арабской земле «арапы нечерны» (Изв. ОРЯС, 1907, кн. 1, 119). В книге Г. Г. «Позорище странных и смешных обрядов при бракосочетаниях», СПб., 1797, стр. 41, тоже утверждается, что арабские бедуины принадлежат к числу белокожих (указание относительно женщин). Все это достаточно объясняет и оправдывает термины: *белый арап* и *Белая Аравия*, очевидно, слышанные Островскими и другими авторами от народа и переданные ими вполне объективно.

Босый волк. Уже Востоков в своем «Словаре церковно-славянского языка» обратил внимание на это выражение «Слова о полку Игореве».¹ Не так давно покойный акад. А. И. Соболевский посвятил ему любопытную заметку, в которой высказывает предположение, что *босый волк*, вероятно, особая разновидность названного зверя, может быть, белый волк.² Мы имеем еще иное реальное оправдание данного словоупотребления, исходящее из области местных верований. Именно, в б. Новоржевском уезде «босый волк» — детское пугало. «Не плачь, босый волк придет, съись тебя!» «Не бегай к речке, там тебя босый волк подхвяти!» и т. п. (Д. Стега, б. Ашевской волости, Бежаницкого района). В одной записанной нами в 1927 г. сказке б. Опочецкого у. *босый волк* оказывается владельцем какой-то, повидимому, чудесной «столицы»,³ находящейся под божницей, которую должен достать от него, после долгого путешествия, герой сказки. Здесь *босый волк* мифическое существо, очевидно, оборотень-волшебник. Он живет где-то на краю света. «Туда много ишло и ехало, а оттуда не видать!» Столицу *босого волка* охраняет конь — бурка-кавурка. Столик похищается, в отсутствие владельца, Иваном, служанкиным сыном, которому помогали три сестры *босого волка* Ср. *Волк волшебный* (Яворский. Памятники галицко-русской народной словесности. Киев, 1915, № 23, стр. 45—51, 297—301). Это волк-чудесный помощник героя сказки, подобно серому волку русских сказок; он в конце обращается в принца, которого сделала волком злая волшебница.

Крокодиловы слезы — притворные слезы, неискренние сожаления. Выражение объясняется из старой письменности. В «Повести бывшего посольства в португальской земле» бранденбургский мудрец на вопрос

¹ «А Игорь князь... вьвржеся на брзь комонь, и скочи съ него босымъ влькомъ, и потече къ дугу Донца» (Снимок с 1-го изд. 1800 г., М., 1920, стр. 40—41).

² Изв. по русск. яз. и словесности, 1929, т. II, кн. 1, стр. 185.

³ Очевидно, скамеечка или подставной столик.

португальского: какие звери являются начальствующими и королями? — отвечает: «... в рыбах снедаемых, само убиваемая белуга, в неснедаемых я змиина прирождения — великий кит именитый, иже и притворный во слезах коркодил» (Сиповский. Русские повести XVII—XVIII вв., СПб., 1905, 273—274). Еще яснее говорит Азбуковник, изданный Сахаровым: «Коркодил, зверь водный... Егда имать человек ясти, тогда плачет и рыдает, а ясти не перестает; а егда главу от тела оторвав, зря на нее плачет» (Сказания русского народа, т. 2, кн. V, 166, СПб., 1849).

Сукно наваринского дыму. Фрак П. И. Чичикова, спитый из сукна наваринского пламени с дымом или наваринского дыма с пламенем («Мертвые души», т. II, гл. 5, нумерованная), столь характерный предмет внимания для момента начинавшихся жизненных успехов бессмертного героя ловкой наживы, вызвал уже особую заметку Вл. Ф. Боцяновского: «Один из вещных символов у Гоголя».¹ Из текста Гоголя не совсем ясно, какого же цвета было сукно наваринского дыма? По одному варианту, Чичиков просит показать сукно «цветов темных, оливковых или бутылочных с искрою, приближающихся, так сказать к бруснике»² (Соч., изд. 10-е, под ред. Н. Тихонравова, т. III, 381); по другому, Чичиков желает получить сукно «больше искрасна, не к бутылке, но к бруснике чтобы приближалось» («Похождения Чичикова, или Мертвые души», М., 1855, т. II, 186). Ответ на наш вопрос дает картинка «Московского Телеграфа», 1828, кн. XX, 264, представляющая «Парижские моды» с изображением в красках и подписью: «Мущина. Пуховая шляпа. Фрак суконный, цвета Наваринского дыма, с стальными пуговицами». Цвет фрака на картинке — *коричневый!* Цвет с пламенем, очевидно, обозначает более светлые оттенки. Выяснение данного словоупотребления еще раз подтверждает нам, как все бытовое у Гоголя было реально и прочно обосновано.

Похмелье. Большой лексической особенностью языка А. С. Пушкина является почти постоянное употребление слова похмелье в значении действия пьющего вино и состояния опьянения.³

Крик, хохот, песни, шум и звон,
Разгульное похмелье... Женех.
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье.

¹ Сборник ОРЯС, т. CI, № 3, стр. 103—106.

² Бутылочный цвет — темнооливковый. Брусьяный, арханг. — красный, багряный, цвета брусники (Даль).

³ Ф. Е. Корш, Разбер вопроса о подлинности «Русалки» Пушкина по записи Д. П. Зуева (Изв. ОРЯС, 1898, т. III, кн. 3, 715—716).

Такое употребление вообще чуждо и русскому литературному языку и областным великорусским говорам, связывающим со словом похмелье значение головной боли, чувствуемой пившим после сна, следовавшего за неумеренным употреблением крепких напитков. В данном случае лексика Пушкина, действительно, весьма редкая, но ее нельзя признать совершенно исключительной, тем более индивидуальной. Примеры подобного употребления иногда встречаются у авторов, современных Пушкину, и авторов позднейших эпох. Они, впрочем, недоказательны, так как легко могут объясняться подражанием нашему поэту. Более убедительные примеры дают памятники и авторы предшествующей Пушкину эпохи или данные народной словесности.

Предлагаем здесь примеры из них с словом по х м е л ь е в значении: 1) выпивка, 2) опьянение.

Потом меня отдали под начал к монаху.
Я думал, что он подает мне вина чеплаху.
Ан он мне на по х м е л ь я дал чотки большие..

(Одиннадцать интермедий XVIII века. Изд. ОЛДП, 1915, № СLXXVII, 57).

Я разве не видал, как стоя ты качался?
С по х м е л ь я видно, брат?

(Судовщиков. Неслыханное диво, д. I, явл. 1. Изд. 1802 г., 4).

(Добрыня) пришедши к концу одной скамьи, присел и подвинулся, от чего сидящие на ней богатыри попадали... Тороп (с насмешкою в сторону):

С по х м е л ь я повалились.

(Державин, Добрыня, д. III. явл. 4).

Мила дружка к себе в гости зазову...
Налю рюмку, налю белого вина,
На серебряном подносе поднесу,
В по х м е л ь я дружка выпрашивать стану:
«Не одну ли ты сушишь, крушишь меня!»

(П. Никитская. Сборник песен, употребляемых простонародьем. Казань, 1900, 10—11).

Общепринятое выражение *спит с похмелья* более говорит об опьянении, чем о болезненном состоянии, его результате, почему в народных песнях *похмелье* и сопоставляется с словом *перепой*:

Старый спит с по х м е л ь я,
С великого перепоею.

(Соболевский. Великорусские народные песни, т. II, 294, № 348, песенники 1790 г. и 1791 г.).

Шематон. В гл. I «Капитанской дочки» старик Гринев, не желающий, чтобы его сын поступил на службу в Петербург и научился там «мотать да повесничать», говорит: «Нет, пускай он поступит в армию, да потянет ляжку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон». Это малоизвестное слово мы находим в «Новейшем российском всеобщем песеннике»:

Уж как знать, что ты пленилась,
В шаматона вдруг влюбилась?

Старик-муж, узнавший об увлечении жены шаматоном, говорит в конце песни:

«Петиметр ты проклятой,
Нарушил ты мой закон»

(М., 1803, ч. I, стр. 258. Начало песни: «Для чего ты просидела»).

Очевидно, слово *шематон* имело то же значение, что и петиметр. Ср. у авторов. — «Вижу, вы шаматоны какие-нибудь: убирайтесь-ка по добру, по здорову» (Лажечников. «Вся беда от стыда», акт 4-й, явл. 3-е. Значение: пустые, несерьезные люди. Т. XI, 78, изд. 1900 г.). «И что эти девки в таких шаматонах находят! Нет, чтобы в обстоятельного человека влюбиться — непременно что ни на есть мерзавца или картежника выберут» (о Клещевинове. Салтыков. «Пошехонская старина», гл. XVI). Покойный А. А. Шахматов некогда говорил мне, что слово «шематон» употребляется в живом языке б. Саратовск. губ. в значении: «дурной, развратный человек». Слово *шематонить* в значении: «бездельничать» есть у М. Горького в повести «Трое»: «Будет, говорит (отец — Якову), тебе шаматонить, возмись, дескать, за ум, . . . дело делай» (Рассказы, т. V, изд. 1901 г., стр. 123). В иной форме: *шуматонить* — лодырничать, ничего не делать, показано в б. Ярославск. губ. (Дополнения к материалам Якушкина). Основное значение очевидно: пустой человек, бездельник. Дурной, развратный человек — значение приводящее.

Часть слов литературного языка этимологически затемнилась вследствие утраты первоначальных наглядных значений. Последние открываются нам путем изучения истории и диалектов языка. Так, мы употребляем слова *вздор* и *чепуха* только в отвлеченном смысле. Слово *вздор* с конкретным значением «сор» (собственно то, что разорвано, оторвано) мы находим в сочинении Ф. Эмина «Непостоянная фортуна, или похождение Мирамонда». М., 1781, ч. I, 104: «в Египте народ гораздо нечист, и всякой *вздор* на улицу бросают». — Первоначальное значение слова *задор* (раздражение) объясняется из выражения плотников: строгать в *задбр* — строгать дерево или доски по направлению от вершины к комлю, причем дерево задирается.

Слово *чепуха* в первоначальном значении: «мелкие части чего-нибудь разбитого», мы узнаем из словоупотребления Ломоносова, писавшего: «Льды от ветру в чепуху разбиваются» (Краткое описание путешествий по северным морям, 1854, 55).

Подобно этому, ставшее чисто отвлеченным выражение: *держать в черном теле*, имеет слишком общий, недостаточно определенный смысл. Первоначальное значение его мы узнаем из «Инструкции дворецкому Ив. Немчинову» (Регула о лошадях, 1725 г.), подписанной А. П. Вольнским, в которой читаем: «Также смотреть, чтобы холостые кобылы были гораздо в черном теле: понеже которая очень сыта будет, то зело редко такая принять может» (Памятники древн. письм., XV, 1881, 37). Итак, *держать в черном теле* — собственно значит: умеренно питать, — в широком смысле: держать в физических лишениях (но не в строгости, как объясняет Даль).

II. В отношении социальных взаимных влияний на общеупотребляемый русский язык мы встречаем группы темных слов, появившихся в силу вторжения в литературный язык не всегда понятной областной речи (диалектизмы географические и этнографические). Вот несколько примеров.

Брюхом хочу, хочется — сильно хочется чего-нибудь. Это словоупотребление одно из любимых у Пушкина, как видно по его письмам: «брюхом хочется театра» (письмо к Гнедичу 27 сентября 1822 г.); «впрозы твоей брюхом хочу» (письмо к Вяземскому 19 февраля 1825 г.); «мне брюхом захотелось с тобою увидиться и поболтать о старине», (письмо к Н. И. Кривцову 10 февраля 1831 г.). Оно встречается и у Л. Н. Толстого: «Я стосковался по вас. Брюхом хочется общения с вашей душой» (письмо к Н. Н. Ге 25 февраля 1887 г.). Объяснение Дали односторонне: «брюхом захотелось — о причудливом и настойчивом желании». Примеры Пушкина и Толстого о причудливости не говорят. В живых говорах мне известно в б. Покровском у. б. Владимирской губ. в значении, показанном Далем.

Камча (камка). Слово это известно по сказке Пушкина «Жених»:

На сукна, ковряки, парчу,
На новгородскую камчу
Я молча любовалась.

Покойный акад. Ф. Е. Корш готов был отнести это слово к числу «выдуманных»,¹ но оно оправдывается текстами русских народных песен; между прочим из б. Псковской губ.

¹ Изв. ОРЯС, 1898, т. III, кн. 3, 710.

Сб. в честь Н. Я. Марра.

Три сестрицы стоят,
Три лебедушки,
Как одна в тафте,
Другая в камчи...

(П. В. Шейн. «Велокорусс», 64, № 347, песня из б. Великолукского у.).

В „Сборнике песен, исполняемых в народных концертах Дм. А. Агреева-Славянского“ (М., 1896, 81) также имеем:

По атласу я, маменька, по бархату хожу.
Я на белую камчу и глядеть не хочу.

(Песня из Верхнего Уфалея б. Пермск. губ.).

Нос. О неудаче, неуспехе мы говорим: *Остался, ушел с носом.* Нос, орган нашего обоняния, кажется, тут ни при чем. Вероятнее, первоначально речь шла о *носе* в значении «приношения» чего-либо к кому-либо, какого-либо обычного дара, напр. при сватовстве, при челобитьях судьям и под. В свадебных обычаях с. Чуфарова б. Арзамасского у., известных нам по рукописному сообщению К. Лебединского, 50-х годов прошлого столетия, в архиве Гос. Русск. геогр. общества, № 140, показаны словоупотребления, достаточно выясняющие данные выражения. Здешние крестьяне говорят: «С носом — с приносом (с предложением жениха). Ушел с носом, значит: «с непринятым даром». Очевидно, получил отказ. Обычный разговор при сватовстве: Сват: «Ходят ли грешны в рай»? Отец невесты: «Ходят да носят». Сват: «И я с носом. У меня жених, а у тея (тебя) невеста»...

Шипка. О лице, имеющем некоторое значение, в просторечии говорят: Он там *шипка*, он большая *шипка*. Это выражение, очевидно, взято из быта бурлаков. «Коренная шипка называется самый передний бурлак из всей артели, которая лямками тянет бичеву» (Зарубин. Темные и светлые стороны русской жизни. СПб., 1872, II, 124). По Далю, *шипка* — передовой на пути: передовой бурлак, передовая лошадь.

III. Для выявления темных мест социальной диалектологии хорошие примеры дает карточная терминология. В отношении таких игр, как *фараон*, *штосс*, *банк*, увлекавших военное и чиновное дворянство XVIII и XIX вв., мы имеем чрезвычайно ясные показания страсти к этим играм и прочное закрепление карточных терминов в памятниках литературы, начиная с Кантемира. Так как карточная терминология обычно не вводилась в наши словари, то большинству читателей не могут быть понятны некоторые места в произведениях Фонвизина, Пушкина, Гоголя, Л. Н. Толстого и многих других авторов. Бригадирша Фонвизина говорит: «Раздают по три карточки;

у кого **ни гус, тот и вышел** (Бригадир, д. IV, явл. 4). Иванушка обращается к советнице: «Мадам, мы оба беты» (д. IV, явл. 4). Сорванцев в «Разговоре у княгини Халдиной» говорит о проигрыше тысячи душ вследствие того, что у него «полтора ста карт убили в один вечер, из которых девяносто семь загнуты были сетелева». Для нас темен стих **Державина** в оде «На счастье»:

Вселенну в *трителево* гнуть.

Нам странно словопотребление в стихах Великопольского:

Глава «Онегина» вторая
Съезжала скромно на тузе,

но это — принятое у картежников выражение, которое мы встречаем еще у Сумарокова, рассказывающего в статье «О почтении автора к приказному роду», как один из играющих в *фаро* (фараон) поставил на карту превеликое село; банкир бросил четыре карты; поставивший данную ставку ассессор после пятой карты затрясся, «ибо село с карты съехало.. и... поехало ко президенту (игры) в карман». (Сочинения, X, 139, изд. 1787 г.). Незнакомые со словарем картежников не могут заметить **Каламбура Пушкина** в стихах:

Что? перестать или пустить на пе?
Признаться вам, я в пятистопной строчке
Люблю дезуру на второй стопе.

(Доник в Коломне, XII).

«**Пиковая дама**» его же в некоторых местах непонятна для не знающих игры в банк. Укажу, напр., выражения: играть *мирандблем*, ставить на *ружé*, выиграть *сонику*, ставить *семпелем*. Правда, в примечаниях к изданию «Просвещения» (СПб., 1904, т. V, 635—636) эти термины объяснены, но объяснение во всех указанных случаях дано более или менее неверное. У Л. Н. Толстого термины игры в банк и другие также встречаются в разных произведениях. (Тут *лежала*) «сколода изогнутых карт, завернутая в бумагу, на которой рукой *наша* написано было: «понтерки, на которые в 1814 году я в ночь 17 января отыграл все проигранное свое состояние» (Отрочество, вар. гл. XII, I, 315, изд. 1913). «Он странно играет, всегда *аребур* и не отгибается» (Встреча в отряде). «Он узнал некоторые ассигнации, которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки» (Два гусара, гл. II). «Ильин!.. зачем рутерок держишься? Ты не умеешь играть!» (Там же, гл. III). «Вы Ильину семпеля даете, а углы бьете» (Там же).

Вот объяснения данных терминов. *Аребу́р* — играть на оборот, на квит. — *Бет, лабет*, — штраф проигравшего. В устах Иванушки каламбур: мы в штрафе, мы — звери. — *Гнуть, загнуть* — увеличивать ставки. — *Мирандблем* играть — играть, ставя куш на две карты, при выигрыше — идти углом. — *Не* ставить, *нуться на не́* — идти на ставку, увеличенную предшествующим выигрышем. — *Пилус* — все три карты одной масти. — *Понтерка* — карта играющего, поставленная против банкмета. — *Рутёрка, руте́* — карта, которая в нескольких талиях первый раз выпадает налево и, таким образом, как бы обещает выигрыш в качестве понтерки. — *Семпель* — простая, не увеличенная ставка. — *Сетелева* — ставка, увеличенная в семь раз. — *Сбника* выиграть — выиграть с первой вскрытой карты. — *Транспорт* — ставка, увеличенная в 3 раза. — *Трантелево* — ставка, увеличенная в 30 раз. — *Угол* — ставка, увеличенная в два раза.

IV. Последняя, из рассматриваемых нами, причина образования темных слов языка коренится в условиях передачи речи путем графики, закрепляющей, между прочим, многочисленные промахи нашего слуха, зрения, голоса, письма и мышления.

Приведем несколько случаев, где темные, часто бессмысленные слова, являются вследствие ошибочного чтения источников, неточной записи слышанного или искаженной еще до чтения передачи слов в письме и печати.

В «Филологических разысканиях» Я. К. Грота (т. I, СПб., 1876, 433, 448) показано в числе «дополнений» к «Толковому словарю» Даля слово *прошохала* с таким текстом: «...прошохала об его будущем богатстве и об его смиренстве, захотела быть старинной дворянкой и нарочитится за него за муж» (Аксаков. Семейная хроника, 113). Нет никакого сомнения, что слово *прошохала* возникло из механического чтения неясно отпечатанного слова *пронохала*, с не оттиснутыми поперечными штрихами в буквах «н» и «ю». Это слово *пронохала* обычно всегда и печатается на соответствующем месте в изданиях «Семейной хроники» С. Т. Аксакова.

В «Русских народных песнях» П. В. Шейна (М., 1870, 159, № 109) читаем обращение сына к матери:

На что на горе зародила?

На что шутова оженила?

Перепечатаывая эту песню в «Великоруссе» (№ 367), Шейн избавился от темного слова *шутова*, изменивши текст:

По что меня молодца оженила?

Не ясно, откуда взята эта поправка? Очевидно, что слово *шутова* получилось из небрежного изображения и неосмысленного чтения началь-

ных букв слова «г» и «л». И содержание песни, и известные варианты говорят здесь за необходимость читать *глупова* (т. е. слишком молодого) вм. *шупова*.

В «Сборнике Кирши Данилова» (см. превосходное издание 1901 г., стр. 163) читаем: «Сам бы то я тое земчуженку проалмазил, посадил бы я на золотой свой спеченик». Что за слово *спеченик*? В печати нет вариантов к данной песне Сборника Кирши Данилова, но нам удалось познакомиться с замечательным рукописным песенником середины XVIII в., принадлежащим И. С. Абрамову, в котором нашелся вариант к данной песне, с совершенно ясно читаемым в данном месте словом: *спенечик*, т. е. шпенечик, дающим полный смысл тексту.

Приведем несколько предположительных поправок подобного рода к книге В. В. Сиповского «Русские повести XVII—XVIII вв.» (СПб., 1905).

«С год времени спустя, господин Кошкодавов, не захотя жить более на свете, о п о к и н у л» (стр. 89). Наверное: *опочинул*.

«И только с одним лакеем, отширшишь от всех охотников, прямо поскакал ко двору» (стр. 99). Должно быть: *отшибишь* — отбившись (б=п=р).

«Проезжие люди напервод их пребезмерно испужались» (стр. 103). Очевидно: *наперьод*. Ср. на стр. 107: *вперьод*, т. е. *вперёд*.

«Якоже и протейи, ко кралю португальскому» (прислал) (стр. 268). Очевидно *протчи*.

«Много ли мне земли на поможение тела надобно?» (стр. 272). Наверное: на *положение*.

«Сапоги соромятные, потковы медные» (стр. 289). Очевидно: *сыромятные*.

Из фольклорных изданий последнего времени особенное внимание привлекают: «Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия». Вып. I, М., 1911; вып. II, ч. I, М., 1917; ч. II, М., 1929. Это — самое замечательное собрание русских песен, изданное энергичными усилиями академиков Миллера и Сперанского, передавших сохранившиеся материалы с образцовой точностью. Печатавшие данные тексты представляли для их редакторов чрезвычайные трудности, вследствие беспорядочного содержания архива песен и утраты многих первоначальных записей, сохранившихся лишь в копиях. Ни копии, ни первоначальные записи не были достаточно строго проверены собирателем, П. В. Киреевским, смотревшим на свое собрание как на материал для выработки собственных сводных и исправленных редакций, более по принципам художественного чутья и вкуса, чем на основе изучения и точного установления существующих в живом

обороте текстов. Естественно, что в данном издании оказалось несколько мест, спорных в отношении передачи слов и затруднительных для их истолкования. Предлагаем, в виде опыта, некоторые поправки к темным местам данных текстов.

Твои кудри соломенные,
Уста твои шипицильные (I, 23, № 54).

Вероятно: *шипцильные*, от шипица, колючий кустарник.

Еще судят его ветляные,
Нашесточки дубовые,
Уключивки шелковые (I, 25, № 61).

Предполагаем чтение: *суда-то*.

Тебе полно коня томить,
Тебе полно ковра полетить (I, 35, № 87).

Описка, или опечатка. Очевидно: *полстить*: сбивать, мять ковер (войлочный).

Конем у ворот шурмовал,
Дубовые веревочки распатал (I, 47, № 121).

Повидимому, вместо: *копьем* шурмовал. Ср. пословицу: **Конем воевать, а копьем шурмовать** (Симони. Старинные сборники русских пословиц... 114, № 1318).

По морозу босиком,
По кровле нагишем! (I, 58, № 159).

Вероятно: *по кроле* (псковское слово), т. е. по кровле.

«Еще по нашим «счасном» (счастьем) попали в глаза ракитовые кусты» (I, 80, приговоры дружки). Предлагаем чтение: по нашим счаскам (счаскам), т. е. по нашему счастью.

Показался мне молодец
Почернее тела черного,
Побледнее листа капустного (I, 83, № 247).

Вероятно: *чела* (отверстия русской печи, через которое идет дым).

Стака релн ля с руж железа крепкие,
Кандалы тяжелые? (I, 208, № 748).

Может быть, видоизменение слова: *стокармили* — сточили напильником.

Таусен, а ты кложичка,
Таусен, а ты кочережечка (I, 295, № 1071).

Вероятно: *кложечка*, уменьш. от клюка, особый вариант слова **кдюшечка**.

Подно, дьявол, изшляться надо мной,
Пора ехать с пашениной домой (II, I, № 1341).

Следует: *измяться* — издеваться.

Застрелил он девицу,¹

Из (за?) частá куста,

Из (за?) частова кустика... (II, I, № 1529).

Поправка в скобках, повидимому, Киреевского, излишня: стрелять **можно** возможно из куста, скрываясь в нем.

Из Питера, из Карфета

Прислал милой билеты (II, II, № 2193).

Замечание Киреевского: «Вероятно: из Кронштадта: странное изменение!» Предлагаем чтение: *из корвета* — вид морского судна, малый фрегат.

Ему люди говорят:

Любовница твоя *раскирёная* была (II, II, 183, № 2350).

Повидимому: *раскорёная*, от корить (упрекать).

Поехали на скопы

На высокой лошади (II, II, 273, № 2707).

Может быть: *по снопы*. Ср. детскую колыбельную песенку Московск. у.:

Наша Дуня дура

Поехала по снопы

На высокой лошади...¹

Заряжали горшки плошками,

Стреляли, палили

Во город, во купник (Там же, 274).

Очевидно: город *кутник* — шутовое название *кута*, угла против нечи.

Достоверность подобных поправок зависит от более или менее удачного анализа условий происхождения возникающих ошибок. В основе **конечной** неверной графики, дающей несуществующие слова, лежит прежде всего возможность неправильной подмены нечетко изображаемых букв и частей их в рукописях сходными буквами и штрихами, принимаемыми при чтении: *пропозала* — *прошозала*, *шупова* — *шупова* и т. п. Этот анализ следует вести в пределах общих фонетических, морфологических, синтаксических и лексических возможностей и невозможностей для каждого данного словоупотребления. В исключительных случаях, когда тексты могут быть проверены по первоисточнику или повторяются в вариантах, решение сомнительных чтений и толкование темных слов значительно облегчаются показаниями этих источников. В общем же и здесь, как и для других случаев выяснения темных русских слов, необходимы словари языка современного, старого и областного гораздо более полные, чем мы имеем.

¹ Сборник ОРЯС, т. LXVIII, № 3, 88.

М. ЧХАИДЗЕ

ТЕРМИНЫ 'ГЛАЗ' И 'СОЛЬ' В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В марийском языке особенно бросается в глаза отсутствие более или менее устойчивых, стабилизовавшихся звуковых законов.

В части свистяще-шипящих звукосоответствий, несмотря на известное выявление их между языками луговых и горных мариев,¹ в общем в марийском языке мы наблюдаем определенную незавершенность этих звукосоответствий. Очень часто в одном и том же наречии или даже в слове одно и то же слово встречается почти со всеми огласовками (а || е ↔ ɪ ~ ɔ ↔ ɥ, ʉ ↔ ɵ и т. д.). В качестве примера можно взять термин 'глаз'; у луговых (вместе с восточными) он звучит: шпѣа, шпѣа, шпѣа, шпѣа, шпѣа, шпѣа, шпѣа; у горных: шпѣа, шпѣа, шпѣа.

Когда речь идет о свистяще-шипящих звукосоответствиях, нужно иметь в виду, что они не всегда выдерживаются — по вполне понятным причинам — даже в языках яфетической системы, где они представлены наиболее широко. Но даже при этих условиях марийский язык не может идти ни в какое сравнение в части звукосоответствий с языками яфетической системы. Напр., в марийском на поверхности языковых данных нигде не встречаем фактов комплексного чередования, т. е. чередования всего звукового состава элементов, тогда как между грузинским и мегрельским языками это почти обычное явление: груз. (свистящий) $\check{d}a-\check{g}^{\check{r}}a^{\check{l}}$, мегр. (шипящий) || $\check{d}o-\check{g}og$ 'собака'; груз. $ka-\check{z}$, мегр. || $ko-\check{z}$ 'человек', и т. д.

Неустойчивость звуковых законов является, новидимому, явлением, общим для всех языков Волкамья. Наличие ее в чувашском языке было уже отмечено акад. Марром: «Чувашский язык принадлежит к той ступени стадийного развития, на которой звуковые законы не получили еще даже стабилизации, свойственной хотя бы турецкому».² Естественно, подобные

¹ Н. Я. Марр. Первая выдвинженская яфетидологическая экспедиция по обследованию мариев. Л., 1930, стр. 14.

² Н. Я. Марр. Родная речь — могучий рычаг культурного подъема. Л., 1930, стр. 27; (о наличии этого явления в других финских языках см. ниже).

явления в языках Волкамья подвергали сомнению выработанные индоевропейцами звуковые законы для прометеидских языков. В связи с этим, не можем не привести слова Н. Я. Марра, отмечающего растерянность индоевропейцев при анализе звуковых законов чувашского языка: «отсюда целый ряд недоумений у специалистов старой лингвистической школы: им такое состояние звуковой системы, совершенно правильное на определенной стадии развития, представляется чем-то ненормальным и смущающим».¹

Совершенно правильно в этом утверждении подчеркнута закономерность данного языкового явления, наличного в чувашском (в марийском также), для определенной стадии развития речи. Языки Волкамья, понятно, не могли стоять и не стояли в стороне от единого глоттогонического процесса. Определенная степень неустойчивости звуковых законов в этих языках вполне соответствует той ступени стадияльного развития речи, к которой новое учение о языке относит языки финской системы, именно, к древнейшей стадии. Н. Я. Марр по этому поводу пишет: «Наименее выдержанная, с наибольшими трудностями для обобщающего учета **финская система**, которой присваивается и суоми, самая древняя, именно потому, что она захвачена нашими наблюдениями как будто сама в состоянии еще не той доработанности, какую прошли языки двух остальных систем, представляющих продукт от различных стадий, но всегда господствующе-классовых образований».²

Принимая во внимание единый процесс развития речи, новое учение о языке отводит исторически вполне определенное место конструктивным звукосоответствиям, наиболее четко представленным в языках яфетической системы. Н. Я. Марр пишет в докладе «Язык и письмо», что система фонетических законов яфетических языков приводится при яфетидологическом анализе «как ориентирующее средство... в изучении других систем, хамитической, семитической, прометеидской, урало-алтайской, в частности групп угро-финской, турецкой и т. д.».³

Применение этого ориентирующего средства позволило новому учению о языке вскрыть и в пределах марийского языка пережитки древних звукосоответствий, незамеченные индоевропейцами. К такому относится закон свистяще-шипящих звукосоответствий, действующий между языками луговых и горных мариев. Однако основной

¹ Ibid.

² Н. Я. Марр. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык. М., 1931, стр. 24.

³ Н. Я. Марр. Язык и письмо. ГАИМК, т. VI, вып. 6, 1931, стр. 7.

порок индоевропеизма в этом вопросе заключался не в том, что не примечались звуковые законы. По существу индоевропейское языкознание за сто слишком лет занималось только этим вопросом. Порок индоевропеистики заключался в отсутствии объяснения этих законов, в отсутствии правильного генетического толкования различных звуковых соответствий. О звуковых законах в марийском языке писал еще в 1889 г. М. Веске.¹ Веске не мог не заметить наличие закона свистяще-шипящих звукосоответствий, но для него закон этот по своей исторической значимости ничем не отличался от других законов; возникших на других этапах развития речи. Поэтому, естественно, у него получился ряд законов, где звукосоответствия $e \parallel a$, $o \parallel a^2$ стоят рядом с $a \parallel \ddot{a}$ (по нашему: $a \rightarrow \ddot{a}$) или $u \searrow \text{ы}^b$ — явлением позднейшего порядка. При таком подходе к указанным законам безусловно затушувывается их историческая преемственность.

Между тем, наше ориентирующее средство в приложении к марийскому языку сыграло определенную роль в уяснении не только вопроса о взаимоотношении луговых и горных марийских языков или наречий, как их обычно называют, но и в выяснении исторических путей формирования марийской речи в целом. Яркой иллюстрацией этого положения может служить работа Н. Я. Марра «Первая выдвигенческая яфетидологическая экспедиция во обследованию мариев».⁴

Можно идти дальше, пользуясь указанным «ориентирующим средством». Как известно, от комплексного чередования в марийском языке как будто не осталось и следа. Более того. Не находили факты чередования между $g \parallel l$, обычно исходных плавных в элементе (типа $sal \parallel \text{шог}$). Однако палеонтологический анализ позволяет вскрыть его в пережиточном состоянии и в марийском. Так, напр., мар. $\ddot{u}\text{-}\text{шkal}$ 'корова', термин двухэлементный ($\ddot{u}\text{-}\text{шkal}$), в некоторых говорах употребляющийся одноэлементно— шkal 'корова', в удмуртском и мордовском имеет типичное для свистящей группы звучание skal 'корова'. Его шипящий двойник должен был быть * шког , и мы его имеем в марийском с характерным для марийского языка раздвоением диффузного звука шк , с сохранением при этом шипящего ш в скрещенном термине шог-до 'олень', 'лось'. Что 'корова' появляется вместо 'олень' это вполне закономерно в линии функциональной смены животных, и живыми свидетелями этой стадильной связи 'олень' с 'коровой'

¹ Изв. Общ. арх., ист. и этногр. при Казанск. унив., т. VII, 1889.

² Цит. соч., стр. 20.

³ Цит. соч., стр. 22, 23.

⁴ Изд. Марийск. Общ. краеведения, Л. 1930.

выступают сами марины, называя 'олеия' (наряду с шогдо) kugushkal (букв. 'большая короа'); составители Марийско-русского словаря сочли нужным поставить против этого слова вопросительный знак.¹ Если у мариив термин шког использован с удалением спиранта k из шk в значении не только 'олеия', но и 'овцы', известной у них как культовое животное шог-ы-k 'овца', то у грузин этот термин сохранен с удалением ш, kog → gog ← ḡog в значении 'свины', известной у грузин тоже, как культовое животное.

Приведем другой пример: мар. күртцö 'железо', термин двухэлементный — күг-тцö, в архетипе kur-tno~kur-ton (АС), закономерный шипящий двойник должен быть kal-tan, и мы действительно его имеем в виде kal-au (au ↙ an по закону спирантизации сибилантов² соответствует tan) в смысле 'листовое железо'.³

Наконец, приведем еще более знаменательный пример с термином 'глаз' луг. шпџа, горн. sənžä, а то и шпџе. Совершенно не случайно, что с ним созвучно название 'соли' луг. шпџал горн. sənžal. Объяснение этого явления мы находим в линии функциональной связи, учитывая, что микрокосмический термин 'глаз', на стадии космического мировосприятия означал 'солнце', обозначал и 'соль', поскольку «значение, как выяснилось, определяется функцией»,⁴ и соль в хозяйственной жизни имела ту же функцию (в смысле предохранения пищи от порчи и т. д.) что и 'солнце'. Горно-мар. шпџе 'глаз', стало быть, является усеченной разновидностью *шпџел || sənžal 'соль'; но горно-марийцы усвоили этот термин с акающей разновидностью, тождественной с луговыми (луг. шпџал 'соль'), удержав, однако, характерные для горных свистящие согласные (s и ž в м. луг. ш и ž). Закономерный свистящий двойник должен звучать шпџел || sənžel, а комплексное шипящее чередование дало бы шпџаг. И нас несколько не удивляет, что этот термин в исконном виде появляется у мариив в топонимическом названии в значении гор. 'Санчурск' Шан-жаг-а. Не надо, конечно, думать, механически упростив вопрос, будто единолично гор. 'Санчурск' имеет какое-либо притязание к 'соли'; эту связь можно уяснить только приняв во внимание процесс высвобождения речи от полисемантизма и целого ряда коренных смен, имевших место не только в речи, но и в неразлучном с ней мышлении. И тогда окажется, что тот или иной термин, космически означая 'солнце',

¹ Марий Мутэр, 1926, М.

² Н. Я. Марр. Первая выдвигенческая... экспедиция..., стр. 16.

³ Оставляю в стороне вопрос о неоспоримой принадлежности термина *солонку* слову; об этом см. Марр — «В тупике ли история материальной культуры?» ГАННИК, вып. 67, 1933, стр. 85.

⁴ Н. Я. Марр. Книга о книге, 1, стр. 72.

впоследствии и 'соль', на определенной ступени означал и место творившего данный термин социального коллектива. Следовательно, Шапфага является одним из древнейших слов, и его возникновение ни в коем случае не следует относить к той эпохе, когда по данным письменных памятников гор. 'Санчурск' был построен, т. е. — к 1584 г.

Однако, чтобы вскрыть бесспорные связи анализируемого термина с целым рядом других терминов как внутри марийского языка, так и за его пределами, необходимо разделить его на составные элементы. Деление на элементы есть обязательное условие для правильного анализа истории данного слова. Известно, что принцип деления на элементы никем из индоевропейцев не применялся. Но можно смело утверждать, что если бы они его применяли, ничего бы качественно нового у них от этого не получилось; и это не потому, что принцип деления на элементы мало продуктивен сам по себе, а потому, что он требует гибкого диалектического подхода, чего не позволяет осуществлять индоевропейцам тот общий, в корне схоластический, метод, которым они пользуются при лингвистических изысканиях. В практике у нас не мало примеров, когда от учения об элементах брали только его формальную сторону. Но это с железной необходимостью приводило в дальнейшем к отказу от нового учения о языке в целом, а затем и выявлению своего враждебного отношения к нему.

Нельзя пройти мимо одного существенного замечания акад. Марра по вопросу о трудности восприятия элементов и пользования ими. «Трудность, — говорит Н. Я. Марр, — представляет то, что смена происходит не только в двух разрезах, идеологическом и формальном, но еще в двух по технике, — в технике мышления и технике формального построения. Трудность восприятия этих четырех лингвистических элементов, а с ними и правильного восприятия языкотворческого процесса, следовательно, и четких перспектив языкового строительства, не дважды, не трижды, а многократно возрастает от того, что речь в процессе своего развития пережила ряд стадий, сменявших и идеологию и оформление и технику во всех разрезах до расхождений по противоположности».¹

В новейшей работе Марра мы читаем: «Анализ по элементам чрезвычайно сложен и труден, однако именно потому, что он не формален, а идеологичен, увязан с техникой мышления».² Это новое в вопросе об элементах закономерно вытекает из неоднократного заявления Н. Я. Марра

¹ Н. Я. Марр. Язык и современность. ГАИМК, вып. 60, 1932, стр. 5.

² Н. Я. Марр. Предисловие к сборнику Н. Я. Марра «Язык и мышление», т. 1, 1933.

о том, что лингвистический элемент есть категория не только языка, но и, прежде всего, мышления.¹

Нужно признать, что действительный лингвистический анализ по элементам не совместим с формальным подходом к звуковым и иным явлениям речи. И утверждение Н. Я. Марра об идеологичности элементов значительно повышает их роль в наших лингвистических изысканиях.

После этих предварительных замечаний мне мало остается говорить об общих вопросах, связанных с интересующими нас марийскими терминами 'глаз' и 'солнце'. Приведу, главным образом, фактический материал, расположив его в известной стадийной преемственности.

Оба термина ('глаз' и 'солнцe') встречаются, как это отмечалось выше, в нескольких вариантах по различным живым говорам марийского языка: так, 'глаз' в луг. мар. шпѣа, шпѣа, шпѣа, шпѣа, шпѣа, шпѣа, шпѣа, шпѣа, горно-мар. sənzä, sindä, sənze, sinde. 'Солнцe': луг. шпѣал, шпѣал, шпѣал, шпѣäl, горн. шпѣäl, сапѣал. Но среди этих разновидностей имеется, с одной стороны, историческая преемственность и, с другой стороны, качественно различная степень расхождений. Из них, прежде всего, надо выделить разновидности с различной социальной огласовкой; таковы горн. -sindē (← *sēndē), луг. шапѣа^Г, два варианта, до конца выдержанных по законам свистяще-шипящих звукосоответствий. В свою очередь, sindē (← sēndē) является перебойной разновидностью сонѣо, невыдержанная разновидность которого представлена вариантом сәпѣа, луг. шпѣа и т. д. Остальные варианты восходят к одному из последних трех, но получены в процессе развития в одной и той же социальной среде (шпѣал ← шпѣал ↘ шпѣал → шпѣал и т. д.).

Оба термина являются скрещенными из двух элементов (СА) шпн-ѣал → шпн-ѣа. При прежнем толковании русского sol-n-ѣе (именно с родительным падежом на -н-) можно было соблазниться его формальным созвучием с мар. сшпѣе и отождествить их вплоть до признания тождества якобы функциональных частиц, признака род. падежа -н- в обоих терминах: русск. sol-n-ѣе, мар. *sə^Г-н-ѣе, тем более, что элем. А, -sil--sol ↘ səl (resp. syl), в марийском находим в производном от 'солнца' слове syl-ne 'красивый', и в целом ряде других значений.

Ограничиваясь прослеживанием разновидностей полного элемента (без усеченных его разновидностей), мы все же можем вскрыть широкие связи интересующего нас марийского термина (шпн-ѣа) с другими терминами,

¹ Н. Я. Марр. Язык и современность, стр. 5.

с одной стороны, в пределах марийского языка, с другой стороны — в масштабе широкого, почти мирового территориального охвата.

В пределах марийского языка. — эл. А, — $\text{ʃal} \searrow \text{ʃal}$, с огласовкой о, - ʃol использован по двум противоположностям: 1) космически-астрально: 'небо' в значении одного из трех 'небес'; 2) производственно: 'рука', технологически — 'кидать'. 'Небо', мар. (уфимск.) $\text{ʃol-e}+\text{m}$ 'град' (\leftarrow небо¹), мар. (горн.) $\text{ʃol-ta}+\text{m}$ 'ключ', 'источник' (\leftarrow 'вода'); $\text{ʃol-e}+\text{m}$ мар. (уфимск.) 'кидаю' (\leftarrow 'рука', ср. мар. kid-ʃol-o 'браслет'). В подъеме $\text{ʃol} \nearrow \text{ʃol}$, — противоположность руки, — $\text{ʃol-a}+\text{k}$ 'безрукий', ʃol 'около' (\leftarrow 'рука'), с другой эквивалентной $o \leftrightarrow u$ огласовкой $\text{ʃul-ly}+\text{m}$ 'ловкий'.

В целом, в линии космических явлений данный элемент нам дает в марийском: 1) положительно-космически: 'небо¹', (его противоположность — отрицательно-космическое, 'небо³' — см. ниже), 'солнце', или происшедшие от 'солнца' по признаку качества: ʃol-ga 'яркий', $\text{ʃol-gy}+\text{e}+\text{m}$ 'блестит', ʃol-t 'мерцание'; с падением о \searrow у, $\text{ʃyl} \searrow \text{ʃyl}$, с закономерным плавным г, шыг (уфимск.) $\text{шыг-a}+\text{ta}$ 'сильно греет' (\leftarrow 'солнце'), $\text{шыг-gy}+\text{a}+\text{m}$ 'улыбаюсь', шыг- ʃog (звукоподр.) 'гром'.

Если учесть закон спирантизации сибилантов, столь характерный для марийского языка,¹ то получим: дериват 'солнца', как его качество, технологически -шыг || шыл~уыл; мар. $\text{уыл-gy}+\text{e}+\text{m}$ 'блестит', \swarrow $\text{uol-gy}+\text{e}+\text{m}$ id; uol-ga 'сияет', $\text{uol-g-e}+\text{m}$ 'блистаю'; при восстановлении устойчивого спиранта $\text{uol} \swarrow \text{gol} || \text{gor}$, — за пределами марийского языка, — удм. gor-d 'красный', $\text{gor} \rightarrow \text{kor} \searrow \text{kou}$, в яз. суоми — kou 'заря', 'рассвет', мар. $\text{kou-e}+\text{m}$ 'виднеется', $\text{kou} \sim \text{kiy}$ (\swarrow kil), kil-to суоми 'блеск', 'глянец', мар. (горн.) kig 'правда', луг. ker-e ('правда' горн. $\text{kig-o}+\text{k}$ 'в самом деле'); при перебое $\text{kyl} \sim \text{tyl}$ удм.-мар., tyl 'огонь'. При акающей социальной огласовке $\text{tal} || \text{tag} \rightarrow \text{dag}$ груз. (гур.) dag 'хорошая погода'; со спирантизацией ua в сочетании с идеологическим дифференциалом о, мар. $o-\text{ua}$ 'ясный', 'хорошая погода', при утрате начального у удм. ag 'год' (\leftarrow 'небо', гезр. 'солнце'), арм. $\text{ag-e}+\text{v}$ 'солнце', качественно от солнца 'светлый', 'белый', мар. ($\text{ua} \leftarrow$) \sim ʃag-a 'светловолосый', 'белокурый'.

2) Такая же картина по линии отрицательно-космического 'неба³', гезр. 'море', 'вода'.² Мар. (горн.) Шиг р. 'Сура' (ср. удм. шиг 'река'), шиг \searrow шыг, мар. шыг- ʃa 'капля'; шиг \leftrightarrow шог 'накипь', 'грязь', || ʃol мар. (горн.)

¹ Н. Я. Марр. Первая выдвигенческая ... экспедиция ..., стр. 16.

² Правильность данной стадальной классификации материала интересующиеся могут проверить по работе Н. Я. Марра «В тупике ли история материальной культуры?», особенно стр. 22, 24.

шол-т-а+ш 'ключ', 'источник'; в подъеме шол ↗ ʃol мар. ʃol-тап р. 'Кама', с огласовкой свистящей группы ʃal ↘ шал || шаг, мар. шаг-la 'разливается вода' (← 'вода'); со спирантизацией: шар~каг мар. (горн.) каг-е+т 'овраг', (луг. ког-е+т 'овраг'), при экании: kel-ge 'глубокий', || *ker ↘ уег 'озеро', ей-ег речка' и т. д.

Микрокосмически 'солнце' выступает как 'глаз': мар. шп-ʃа^Г (элемент А, -ʃal) 'глаз'; хозяйственно он же — по функции 'солнца' — 'соль', мар. шп-ʃal (об элементе шп, см. ниже). С губной огласовкой — технологически: ʃul-ы+к 'пристально', ʃug-ge 'во все глаза', ʃug-iy 'облик', 'лицо'; в груз. в спирантизованном виде kur 'глаз' (в слове kur-ʃqal).¹

Попутно замечу, что элемент А использован в значении 'соли' не только в прометеидских языках (франц. sel, англ. sal-t русск. «соль» ← *sol-e и т. д.), но и во всех финских языках; удм. 'соль' sl-al ← səl-al (АА), суоми с сохранением дифтонга «ио» — suol-a 'соль' и т. д. Таким образом, из языков финской системы один марийский язык образует 'соль' с помощью элемента С, — шп-ʃal-.²

Но достаточно произвести беглый анализ терминов, ближайше связанных семантически с названием 'соли' как станет для нас очевидным широкое распространение на первый взгляд одиноко стоящего марийского слова 'соль' (вернее элемента С в нем) в целом ряде других языков. Хочу оговориться, что прослеживание разбираемого термина в широком кругу неродственных с мариями языков мне представляется чрезвычайно важным мероприятием. Оно лишней раз пробьет брешь в теории замкнутых «языковых семей» буржуазной лингвистики, обнажив тем самым факт единого глоттогонического процесса, в котором марийский язык был отнюдь не безучастным. Однако я вовсе не намерен представить здесь всю картину распространения данного термина. Отмечу лишь наиболее известные (главным образом, по трудам Н. Я. Марра) его разновидности.

Так, шп (шп-ʃа) с перебоем i~o дает удм. шп-ды 'солнце', букв. 'дита (ды) неба' (шп). Свистящая его разновидность шп (ср. англ. «sun», сап 'солнце'), с перебойным эквивалентом шп~шп баск. шп 'верить' (букв. 'иметь небо', гесп. 'бога'),³ русск. «син-ий». Его подъемный представитель тп чув. 'глаз', тур. ten-grı 'бог'; ten || тап брет. тап 'огонь' 'солнце'; тап → ʃап чанск. о-ʃап-и 'светать', мегр. ʃап-а-фа 'рассветать'.⁴ При

¹ Н. Я. Марр. Чуваша — яфетиды на Волге, стр. 14.

² Подробнее о 'соли' в языках различных систем, см. Н. Я. Марр. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык, стр. 42—44.

³ Н. Я. Марр. Иштарь, стр. 132.

⁴ Н. Я. Марр. К семант. палеонтологии в языках не яфетических систем, стр. 28.

сохранении африката $\text{tɪn} \leftarrow \text{tɪn}$ груз. 'перед', букв. 'на глазах' (\leftarrow 'глаз'); $\text{tɪn} \parallel \text{tɪn} \rightarrow \text{ʃɪn}$, гр. ʃɪn 'свет очей'. По линии космически-отрицательного: 'небо' = 'вода', 'река', — $\text{ton} \rightarrow \text{don}$, — Don , Dun-ay^1 и т. д. и т. п.

Но и в марийском языке данный термин имеет огромную поддержку; он выступает в самых различных — на первый взгляд — значениях, но вглядываясь беспорную связь между собой при учете стадильных смен в мировоззрении и речи. Отметим основные из этих значений.

Ограничиваясь областью космического мировосприятия, мы устанавливаем: 1) Положительно — 'небо'², $\text{ɧɪn} \sim \text{ɧɪn}$, мар. ɧɪn-ɪn рыл 'радуга', букв. 'солнечное небо' 'сияющее небо' (мар. рыл 'небо'). При водном $\text{ɧɪn} \nearrow \text{ʃɪn}$ (мар. ʃɪn 'душа' — осмысление позднейшего порядка), $\text{ʃɪn} \searrow \text{ʃɪn}$, мар. ʃɪn 'истина' (\leftarrow 'солнце'); ʃɪn ага 'май' (см. Марийско-русский словарь), букв. 'солнечное время'; ʃɪn-e-ɧt-a-ɧ 'летать' (\leftarrow 'небо'²) и т. д. 2) Отрицательно — ʃɪn 'мрак', ʃɪn yïd 'очень темная ночь' (yïd 'ночь'), ʃɪn-ej 'яма'. Спирантная его разновидность имеется в следующих вариантах: ($\text{ɧɪn} \parallel \text{ɧɪn}$, ср. горно-мар. ɧɪn-a-vyl 'радуга', $\text{ɧɪn} \sim \text{ɧɪn}$) мар. ɧɪn-o 'огниво', ɧɪn-daw id. (\leftarrow 'солнце'). Качественно по 'солнцу': ɧɪn-dag 'ясный', 'чистый'; социально: 'женщина' мар. (уфимск.) ʃɪn-day (иносказательно) 'женские груди' (ср. груз. d̄u-d̄u 'грудь', d̄u 'самка').

Подводя итог, мы должны отметить, что в марийском языке мы находим яркие следы полисемантизма, присущего древнему состоянию речи с космическим мировоззрением. Об этом недвусмысленно говорит Н. Я. Марр: «мы застаем марийский язык в процессе не совсем завершившегося освобождения из под бремени этой многозначности путем использования звуковых разновидностей одного и того же слова для закрепления за каждой из них особого значения, равно путем скрещенных образований и т. д.»³

20 XII 1933

¹ Там же, стр. 29.

² Н. Я. Марр. Первая выдвинутая. . . экспедиция. . . , стр. 19.

Сб. в честь Н. Я. Марра.

Р. ШАУМЯН

ARMENIACA — LESGICA

(Армяно-лезгинские лексико-морфологические параллели)

Н. Я. Марр на различных этапах развития яфетической теории, проливая свет на самые темные вопросы арменистики, прокладывая путь к дальнейшему ее развитию.

В то время как арменисты-индоевропеисты ограничивали изучение армянского языка кругом прометеидских языков, **Н. Я. Марр** упорной исследовательской работой над увязкой языков Армении с яфетическими языками Кавказа рассеивает фантастические иллюзии господствующей лингвистической школы о едином армянском языке и его изначальном родстве с так наз. индоевропейской семьей языков. В дальнейшем основатель яфетической теории благодаря палеонтологии речи окончательно освобождает арменистику от застоя формальной школы и впервые в истории лингвистики дает четкое определение языков Армении в их глоттогоническом процессе, как определенную стадию развития яфетических языков, характеризует их как переходные от одной системы языков к другой.¹

Не менее важным вопросом в истории изучения языков Армении является то, что **Н. Я. Марр** считал язык не монолитным целым или однородным массивом, а наслоением, отложившимся в процессе развития различных социальных группировок, как результат стадийных трансформаций. Таким образом, **Н. Я. Марру** удается сначала на фактах южно-кавказских языков — грузинского, мегрело-чанского и сванского, а затем абхазского и яфетических языков Дагестана — раскрыть тайны двух основных слоев, сибилантного (шипящего) и спирантного, прослеживаемых в языках Армении, что облегчает работу исследователя.²

¹ Н. Я. Марр. Индо-европейские языки Средиземноморья. ДАН, 1924, стр. 6.

² Н. Я. Марр. Яфетические элементы в языках Армении, I—XI, ИАН, 1911—1919, его же: К дате миграции мосохов из Армении в Сванию, ИАН, 1915; его же: К истории передвижения яфетических народов с юга на север Кавказа; ИАН, 1916 и др.; его же: К вопросу о положении абхазского языка среди яфетических, МЯЯ, V, 1912; его же: Непечатый источник истории кавказского мира, ИАН, 1917.

Трудность палеонтологического анализа, без которого немислимо яфетидологическое исследование языка, усугубляется недостаточной проработкой основных слоев, входящих в состав изучаемого языка. В целях рационализации дальнейшей исследовательской работы перед арменистом-яфетидологом стоит задача интенсивной работы над этими основными слоями. Задача отчасти облегчается тем, что Н. Я. Марром в этой области проведена громадная работа. Остается лишь пользоваться богатым опытом предшествующей работы на новых материалах, опираясь на последние достижения нового учения о языке.

Наличие богатого спирантного слоя в языках и диалектах Армении само по себе предопределяет их отношение к спирантным языкам как в отношении доминирующего слоя, так и типологии.

Юговосточное ответвление яфетических языков Дагестана, именуемое в науке лезгинской группой языков как по своему лексическому составу, так и по некоторым морфологическим элементам, настолько увязано с языками Армении, что требует к себе особого внимания. Интерес к этой группе языков возрастает еще вследствие того, что они до настоящего времени не были вовлечены в орбиту арменистических работ.

Общность между указанными языками прежде всего сказывается в лексике. Связь настолько древняя, что часто языковые факты дополняют друг друга и проливают свет на историю мышления тех отдаленных эпох, когда языки названных групп стояли на одной ступени стадияльного развития, а говорящие на этих языках долгое время находились в культурно-историческом общении.

Материалы языковых сходжений различны. Некоторые из них в силу длительных переоформлений настолько осложнились, что требуют палеонтологического анализа, другие же столь близки по своему внешнему оформлению и значению, что могут быть сопоставляемы без всякого углубленного анализа.

Так один и тот же звуковой комплекс *ged* в лезгинском языке означает и 'рыбу' и 'звезду'. Подобное семантическое совпадение для яфетидолога вполне естественно, в то время как для многих представителей индоевропеистики такое стечение столь различных значений является необъяснимым и следовательно случайным. В данном явлении нет ничего случайного, и если мы учтем известное положение палеонтологической семантики «часть по целому», то закономерность данного полисемантизма для нас станет очевидной.

Прежде чем перейти к анализу термина *ġed*, рассмотрим его в семантическом окружении языков лезгинской группы, имея в виду, что указанная форма в упомянутых значениях по законам палеонтологии должна восходить либо к 'воде', либо к 'небу', как часть к целому. В самом лезгинском 'вода' звучит *uad*, в агульском и рутульском *χed* ($y \parallel \gamma \nearrow k \rightarrow \check{g} \rightarrow \check{q} | \chi$), а в табасс. шаг ($ш \sim \phi \rightarrow y \parallel \gamma; r \sim d$); 'небо' же в большинстве случаев представлено одноэлементным комплексом (A): в лезг. *šaw*, агульск. *zaw*, рут. *qal*, цах. *qaw* и в табасс. *daw* ($\check{d} \sim \check{q}, l \sim w, z \nearrow \check{d}$). Если помимо указанных терминов привести еще ряд звуковых комплексов в значении 'звезды', в табасс. *qag*, в агульск. *šad* (кош. д. *haq*, кер. д. *qād*), то общность звуковых комплексов в значении 'воды' и 'звезды' для нас станет бесспорным фактом. Агульская же форма *tek* в значении 'рыбы' является как бы перебойным эквивалентом приведенных выше комплексов. Дезаспированная форма термина *ġed* в значениях 'рыбы' и 'звезды' наличного в лезгинском с глухим конечным согласным *get* ($\leftarrow ged \leftarrow *ġed$) представлена в обоих языках Армении в значении 'реки'. Эту форму как в первом, так и во втором случае, мы получаем без всякой натяжки, как это делается в индоевропеистике с сопоставлениями армянских терминов, когда их ухищряются подвести к той или другой арийской форме, чтобы возводить к праязыку. Лезгинскую форму *ġed* на основании рутульской *qageu* в значении 'звезды' мы бы имели право делить на элементы AC, что в конечном итоге можно было бы восстановить в виде архетипа $*\check{g}ew + \check{d}in$. Возьмем этот архетип и освободим от аффрикатности, тогда получим $*\check{g}ew + \check{d}in$, а в стянутой форме $ge\check{d}in \leftarrow ge\check{t}in$, что в армянском означает 'землю'. Если ту же самую восстановленную форму упростить так, чтобы первая часть звучала как бы на нижней ступени с чередованием по гортанному ряду спирантной ветви ($y \swarrow g \parallel \gamma \swarrow \check{g}$), а вторая часть с перебоем без сохранения аффрикатности ($\check{d} \sim \check{g} \rightarrow k$), то получим *uegkɪn*, означающий в армянском 'небо'. Эта последняя двухэлементная форма с соответствующим звуковым изменением, усечением первого элемента и ослаблением огласовки второго элемента, предстанет перед нами в виде *dukɛn*, что в феодальном языке Армении означает 'рыбу', в народном же звучит усеченно *duk* \rightarrow *duq*, а в карабахском диалекте *tükɛnə*, чему в лакском языке соответствует *šiki* в значении 'звезды'.

Таким образом мы видим как одни и те же термины, представляющие тождественные сочетания элементов с определенным кругом понятий, сохранились в языках Армении, претерпев ряд фонетических изменений в зависимости от различных уклонов в стадийном развитии рассмотренных нами языков. Схождение и расхождение всего материального фонда этих языков

указывает прежде всего на их полистадиальность, общность некоторых типологических черт и богатый спирантный слой.

Арменисты-индоевропейцы всячески старались выяснить этимологию терминов *get* 'река' и *getin* 'земля', но из этих сопоставлений ничего не получилось, кроме фантастических результатов. Так, Fr. Windischmann сравнивал термин *getin* в значении 'земли' с санскрит. *vedini* 'земля'.¹ Н. Hübschmann сопоставлял термин *get* 'река' с санскрит. *udaká*, греч. *ὕδωρ* (*údatos*) в значении 'воды', лат. *unda* 'волна', готск. *vatō*, др. верх.-нем. *vazzar*, лит. *vandū* и церк.-сл. *voda* 'вода'.² Были попытки сравнивать *getin* также с перс. *ك* в значении 'места'. Форму *get* возводили также к праформе **vedo* на основании санскритских *udán* 'волна', *udaka* 'вода' и *udadhī* 'море'.

Мне кажется, что дезаспированная форма *get* по отношению к лезгинским формам *ged* и *uad* и фонетически и семантически имеет более веские данные для сопоставления, чем приведенные выше формы из протемеидских языков, основанные больше на созвучии терминов, чем на законах семантики. В этом отношении семантическая палеонтология и фонетические законы, основанные на сравнительной грамматике яфетических языков, в большей мере способствуют выяснению генезиса рассматриваемых терминов, чем формальное и ни к чему не обязывающее констатирование голых фактов без всякого интереса к вопросам семантики и структуре привлекаемых языков.

Из приведенных выше примеров видно, что языки лезгинской группы еще не изжили той стадии своего развития, когда человеческая речь для определенного круга понятий не имела еще соответствующих им звуковых комплексов, а находилась в диффузном состоянии мышления и на последующих ступенях словотворчества от полисемантизма к моносемантизму использовала дериваты все одних и тех же лингвистических элементов. Отсюда общность элементов в передаче родственных понятий со столь слабой фонетической дифференциацией, что все разновидности их очень легко приводятся к некогда единому звуковому комплексу.

Теперь не мешало бы привести ряд примеров с тождественными основами-элементами, лишней раз подтверждающими лексические взаимоотношения между лезгинской и армянской группой языков.

¹ Fr. Windischmann. Die Grundlage des Armenischen im arischen Sprachstamme, Abhandl. d. Bayerischen Akad. d. Wiss., Bd. IV, Abt. II, 1846, стр. 7.

² Н. Hübschmann. Armenische Grammatik. 1 T., Armenische Etymologie. Lpz., 1897, стр. 434.

1) Группа общих терминов:

- лезг. **tet** (кур. г. **tet**), аг. (кош. д.) **tut**, (арч. **ḡanə** пчела), арм. **taṅd** | **taṅt** 'муха' (ср. дарг. **ḡanə** и анд. **tanda**),
- лезг. **gəṭ**, (кур. г. **kaṭ**), таб. **gatu**, аг. **geḡ**, арм. **katu**, груз. **kata** 'кошка',
- аг. **qil**, цах. **qəl** ↔ **qəg**, арм. **kuṭ** (в косв. п. ↘ **kəṭ**) 'рука',
- лезг. **meḡ** 'малина' 'ежевика', арм. **moṭ** 'малина', **moṭi** 'земляника',
- аг. **waz**, таб. **vaḏ**., арм. **a-mis** 'месяц',
- таб. **laḡ** 'бассейн', аг. **leḡ** ↔ **neḡ** 'река' (ср. сванск. **liḡ** ↔ **niḡ** 'вода'), арм. **hi** 'озеро',
- аг. **ḡur** (кош. д. **ṅul**), таб. **kul**, арч. **qor** 'село', арм. **gıwı** (диал. **geḡ**) 'село',
- лезг. **tal** стена, арм. **tal-q** 'ниша в стене',
- лезг. аг. **qaḡ** 'сука', арм. **qaṭ** 'сука',
- лезг. **yaṭ**, таб. **yaḡ**, арм. **yez**, **yezən** 'бык',
- лезг. **ḡüḡ** 'охота', арм. (диал.) **hōrs** 'охота',
- лезг. **kunḡ** 'холм', аг. (кер. д.) **gunt kas** 'собирать', арм. **gund** 'толпа', 'шар', 'мяч', арм. (караб. д.) **qūḡ** 'холм',
- аг. **ṭil** 'веревка', арм. **ḡel** 'нитка',
- арч. **ḡon** 'вино', арм. **gıṅı** (← *ḡıṅı) 'вино' (ср. груз. **ḡvıno** 'вино'),
- арч. **onḡ**, **qaḡḡi** 'голова', арм. (караб. д.) **kond** 'голова' в выражении **kondav əḡav** 'кивнул головой',
- арч. **hoḡi** 'трава' (ср. анд. **qotit** в том же значении), арм. **qot** (↘ ***hoḡ**) 'трава',
- арч. **ṭem** 'время', арм. **jaṃ** 'время',
- лезг. **ḡur** 'изморозь', арм. **ḡurt** 'холод',
- лезг. **tal** 'язык', арм. **taṭ** 'речь',
- уд. **papa**, рут. **piṅ**, арм. (диал.) **paṅı** 'мать',
- лезг. **dede** (ср. груз. **deda**) 'мать', арм. **tat** 'бабушка',
- цах. **siḡı**, удин. **uluḡ** (ср. чеч. **ḡerıḡ**), арм. (диал.) **keḡıḡ** 'зуб'.
 джекск. **būṅıḡ**, арм. **peḡıḡ** 'медь'; лезг. **qaḡ** 'град', аг. **qerḡ** 'градина', арм.
 * **karkut**, 'град'
- лезг. **taḡ**, таб., аг. **dar** 'дерево', арм. **taṭ** 'дерево'.

Интересно в этом отношении то обстоятельство, что лезгинская форма **taḡ** в лакском языке имеет видовое значение 'сосна', а ее спирантная разновидность **haḡ** в табассаранском (в агульском **dar**) имеет родовое значение 'лес' точно также, как в некоторых тюркских языках один и тот же термин, скажем, **aḡaḡ** в азерб. означает 'дерево', а в балкарском **aḡaḡ** 'лес'; повидимому, такое же значение имеет армянская скрещенная форма

antar (← *hanīar) 'лес', во второй части которой мы имеем десибиллованную форму термина tar.

II. Группа общих глагольных основ:

ар. ɣut-as, таб. üð-uz, арм. ut-el 'есть',
 лезг. qür-un, арм. qənd-al (r ~ nd | nd) смеяться, qərqənd-al 'ржать',
 лезг. qas-un, ар. katik-as, таб. kata-xūz (пов. н. katar), арм. kət-el 'кусать',
 удин. ak-sun 'смотреть', арм. akəp (диал. ак.) 'глаз', 'источник', 'колесо';
 akpark-el 'смотреть', 'рассматривать'.

Для языков лезгинской группы и вообще яфетических языков Дагестана очень характерно явление перебоя спирантных звуков в губной: уд. qur ~ лезг. fur 'яма', — явление, которое наблюдается в языках и диалектах Армении особенно в лорийском говоре эриванского диалекта, как напр. hogə ~ forə 'теленек', hog ~ for 'яма'; v ~ k, p ~ k, h ~ v в карабахском, как vozni ~ kozni 'ёж', putur ~ kutur 'маленький' hogə ~ vœgə 'земля', hogə ~ vœgə 'теленек' и т. д. Приведем еще ряд примеров с такими же перебойными эквивалентами по армяно-лезгинским схождениям: ар. biti ~ уд. kitī, арм. (диал.) kotī ~ pitī, kutur ~ putur, и все они одинаково означают 'маленький'; с этими примерами также связаны удино-армянские термины mitik / pəstik 'маленький' с подъемом губного звука и разложением аффриката t в st.

В ряде случаев можно констатировать факты сохранения языками Армении аффрикатности, в то время как лезгинские языки часто лишаются характеризованных согласных. Это можно объяснить опять-таки полистадиальностью языков лезгинской группы, которые в силу своего перехода в систему агглютинативных языков постепенно начинают терять свой прежний фонетический облик, хотя и в меньшей степени, но все же имея неуклонную тенденцию к упрощению системы согласных, напр., арм. žəḡ 'моль', лезг. tet (кур. г. fet) 'муха', лезг. tar (← *tar), арм. tar 'дерево' и т. д.

Помимо лексико-фонетических схождений между языками Армении и лезгинской группой языков, мы находим достаточно общих черт и в области морфологии. Так, напр., построение армянского предлога, гезр. послелого 'перед' aḡaḡ (диал. aḡaḡ, aḡaḡkə, aḡaḡ, 'y', ('около'+ 'глаз')) тесно связано с аналогичным образованием в лезгинской группе; таков лезг. послелог wīlq 'перед' от wīl 'глаз'+форм.-iq в значении 'под'='глаз'+ 'под', буквально 'под глазом'. Общность морфологических элементов в названных группах языков достаточно характеризует частицы отрицаний в глаголах. Лезг. — ə: awa 'есть', awaḡ 'нет'; арм. ka 'есть', ḡəka 'нет', ḡəhas

‘незрелый’, ‘неспелый’ и т. п. Здесь, как мы видим, разница в перестановке частиц.

Агульск. d- (в причастиях): от ‘бить’ *yaɣhas* отриц. прич. I будет звучать *darɣaf*; лезг. d-, t- и t'-: так, напр., от глагола *alqun* ‘прилепить’ отрицательные формы будут *dalqun*, *dalqana* и т. д., *emɨn* ‘месить’, отриц. форма *tɨmɨn* и т. д. Этим лезгинским частицам в армянском соответствуют t и dɟ (←d), как, напр., *tɣət* ‘невежественный’, ‘невежа’, *tɣeɣ* ‘некрасивый’, *dɟoɣ* ‘недовольный’ и т. д.

Не менее интересно появление в лезгинских языках отрицания *mɨ-* при повелительном наклонении, так в табас. *mɨfaɨn* ‘не делай’ от *aɣuɣ* ‘делать’, *mɨɨqan* ‘не убивай’ от *qiz* ‘убивать’. В агульском языке отрицательными частицами повел. наклонения являются также *ma*, *mɨ*, *mɨɨ*, которые иногда инфигируются, так, напр., *dɨwas* ‘тянуть’, отриц. повел. *madɨwa*, от *ɨzas* ‘донть’, *mɨza*, *fatɨɣas* ‘бросать’, *fatɨmɨɣa* ‘не бросай’ и т. д.

Таким функциональным соответствием в языках Армении является частица *mɨ*, которая часто в диалектах выступает в виде конечной прилепы *-mɨ* точно так, как в тюрских языках *-ma* | *-mä*; так отриц. форма повел. наклон. в тюрк. (азерб.) от *gälmäq* ‘приходить’ будет *gälmä*, от *geɣmeq* ‘уходить’ — *geɣma* и т. д.; в армянском будут соответствовать им *mɨ ga*, *geɣp. galɨmɨ*, *mɨ gna*, *geɣp. gnaɨmɨ* и т. д. Эти факты говорят за то, что нельзя их считать чем-то изначальным и замкнутым в кругу протометеидских языков, они являются одновременно достоянием языков более древних систем, и их появление в ряде протометеидских языков говорит лишь о процессе глоттогонического порядка, требующего более глубокого анализа, а не констатирования факта наличия их в языках одной системы, как присущих только ей одной.

Намечается также некоторая отдаленная связь между склонением народного языка Армении и одного из языков лезгинской группы. В арчинском удаляющий падеж, оканчивающийся на *-mɨ* соответствует армянскому (народному) исходному падежу на *-ə*. Здесь мы имеем лишь чередование согласных: в армянском свистящий аффрикат средней звонкости, а в арчинском глухой шипящий согласный, как результат падения шипящего аффриката такой же звонкости. Подобный случай чередования для наглядности можно схематически изобразить в следующем виде: $\dot{\mathfrak{z}}(\s) \parallel (\mathfrak{z}\s)$ ш.

Хотя на данном этапе изучения лезгино-армянских взаимоотношений трудно указать на конкретные случаи морфологических сходжений, однако, исходя из этих материалов, можно считать бесспорным то положение, что склонение феодального языка Армении следует норме флективных языков,

конкретно прометеидских языков, а склонение народного языка следует норме агглютинирующих языков, и это различие сказывается в большей мере во множественном числе, чем в единственном. Агглютинация народного языка может быть уточнена лишь благодаря сравнению со склонением лезгинских языков, которые находятся на определенной ступени развития агглютинативных языков и идут по норме финно-угорских языков с большим количеством падежей, причем лезгинские языки отличаются от двух разновидностей агглютинативных языков отсутствием винительного падежа. В этом отношении особое положение удинского языка с меньшим количеством падежей и наличием винительного падежа говорит за то, что он является переходной ступенью синтетически агглютинирующих яфетических языков в сторону системы тюркских языков.

Одной из характерных и общих черт народного языка Армении с языками названной группы является то, что ему свойственны послелоги и тождественные суффиксы множественности, не говоря о некоторых переживаниях архаичной системы в спряжении армянских глаголов, когда они были в почти аморфном состоянии, т. е. не имели соответствующих личных формативов и различались личными местоимениями. Такое состояние аморфности по сей день представлено в агульском языке, из чего можно заключить, что окончания 1-го, 2-го и 3-го лица в спряжениях позднейшее явление, и они образовались из личных местоимений.

На основании всех указанных признаков схождения между упомянутыми языками можно прийти к тому предварительному выводу, что в определенную эпоху они представляли две обширные группы языков — армянскую и албанскую, стоящих на одной стадии развития яфетических языков и в силу определенных социально-экономических сдвигов, происшедших в этих общественных группировках, они подверглись соответствующим трансформациям, приведшим к различным ступеням стадийного развития, вследствие чего подавляющее большинство языков армянской группы превратилось в диалекты, а албанская группа еще долго сохранила самостоятельность своих языков, представленных по сей день в лезгинской группе.

Дальнейший учет всех этих языковых взаимоотношений поможет нам установить законы звуковых корреспонденций, действовавших когда-то между этими обширными группами языков и пролить свет не только на историю развития и становления языков и диалектов Армении, но и на проблему албанского языка и албанской общественности, игравшей крупную роль в истории культурного строительства Кавказа.

М. ШИРЯЕВ

ВОПРОС О СКРЫТОЙ ПРЕФИКСАЦИИ В ПРОМЕТЕИДСКИХ (ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИХ) ЯЗЫКАХ

I

Процесс утраты значений в элементах морфологии, фонетически сохраняющихся, старая наука изучала лишь попутно, как и ряд других процессов. В результате многие сложные по составу слово-основы считаются доселе неразложимыми. Слова с такими основами фигурируют в сравнительных грамматиках индо-европеистов, иллюстрируя тонкости праязыковой фонетики. Сами же по себе они остались недоследованными. В задачу этимологов не входило выяснение исходных понятий, из которых данные слова развились: это совсем не нужно для построения праязыковых образцов и даже, будто бы, невозможно «при теперешнем состоянии науки»: в мертвых классических языках наука не в силах обнаружить нужные для этого материалы, а на живую речь и подавно никто не рассчитывает.

Дело, однако, показывает, что «теперешнее состояние науки» немедленно переходит в лучшее состояние, если точно и непредвзято следовать фактам. В конкретной речи хранятся образцы слов и форм, гораздо более древние, чем искусственно создаваемые «праязыковые» конструкции. При этом обнаруживается недопустимость смешения понятий генезиса и функции. Новое по употреблению не всегда ново по происхождению. Не тождественны также понятия древняя запись и древнее происхождение. Давняя запись элементов речи, представленная в так называемой древней письменности, совсем не гарантирует фактической, объективной древности записанных слов и форм ни со стороны их строя, ни со стороны взаимосвязей. Языки, ставшие известными в позднейшие эпохи, нередко удерживают в себе древнейшие разновидности искомых форм и связей. В этом индо-европеисты частично убедились на примере литовского языка, хотя научная ценность этого языка, как и других языков, явствует совсем не из тех предпосылок, которые были когда-то выставлены старой наукой.

II

Префикс, как средство уточнения основного значения слова, обычно теряет силу при исчезновении из языка тождественного ему предлога или же при утрате сходства с предлогом вследствие собственной фонетической деформации. Приставки, не существующие отдельно в виде предлогов, не осознаются даже при отчетливом различении модифицируемых основ. При ясных «хмара», «хмарно», «турять» (гонять), «угор» (олон.) и пр. непонятны губные элементы, дающие сочетания бухмара 'мгла', бухмарно 'туманно' (олон.), бутурять 'гонять' (смол.), литер. бу-гор, ба-хвалиться, или шипящие в чи-бурда 'некусная жидкость', ше-метнуться 'метнуться' (донск.), ше-мела 'помело' (смол.), олон. ш-мот 'расточительный человек', шо-болтать, шо-болтатце 'болтать', 'болтаться' и т. п.

В диалектах многочисленны случаи омертвления и чисто предложных приставок, главным образом к-, ко-: курск. ко-вылюга и вылюга 'извилистая черта' («ситец вилюгами»), к-муторно наряду с муторно 'затруднительно', донск. куцелёба 'лекарство из степных трав', ку-змирки, ку-жмарки 'игра в жмурки', олон. ку-лепетить 'лепетать', волог. ко-жилиться 'жилиться', 'употреблять усилие'.

Необычность подобных сложений затрудняет в известных случаях самое определение приставляемых частей. Действительно ли это префиксы? Тем не менее, как бы их ни назвать, приставной характер их совершенно очевиден. Иное получается при анализе соединений, в которых деформированы как приставка, так и следующая за ней основа слова. Разложение здесь требует специальных обоснований. Трудности возрастают при спайке редуцированного предлога с основой, неупотребительной в данном языке или в данную эпоху языка. В этом случае смысловое сращение соединенных частей неизбежно: префикс здесь неотделим, основа упрощается, она способна к приему новых префиксов.

III

В отдельных языках и языковых группах данное явление достаточно известно. Так, установлено, что в немецком путем сокращения *ge-* построены *g-lauben*, *g-leich*, *G-lied*, измененное *veg-* отложилось в *Fg-evel* и пр.

В русском не осознается, напр., социативное *s-* в *s-вора* 'связь', 'смычка', несмотря на сохранившуюся в иных сочетаниях основу *-вор-*, *-вер-*, *-вир-* и пр., со значением связи, смыкания, замыкания, *замка*, *засова* и далее — преграды, ограды: в параллель старо-письменному *за-вора*, *за-ворь*, *за-вирати* 'замыкать' («дверь градская желѣзными заворы завираема», XV в.), арханг. дает *s-вирать* 'смыкать', 'сшивать полотнища

сетей', новг. верать 'шить кое-как, на живую нитку', и вместе с тем 'засовывать', 'закладывать'; укр. за-вбра 'бревно для задвижки ворот', за-вірка 'ограда из кольев или веток'. Чистую именную основу дает старописым. вора, воръ 'ограда', 'преграда' («броды вси бяху заворены ворами», Пск. 2-я летоп.). То же в укр. вір (род. над. вбру) 'ограда из жердей'. Обезличенное *с-* деморфировано в донск. ш-ворничать 'связывать, шпивать полотнища сетей', ш-ворник 'шорник'. Наряду с ш- выступает шк- в шк-ворень (словинск. s-vôga, s-bga 'жердь', соединяющая переднюю часть телеги с задней посредством s-voгnіk'a, проткнутого сквозь «подушку»). Нарращение плеонастических префиксов видно в арханг. со-ш-воривать (при-ш-воривать) 'связывать, шпивать несколько сетей в одну снасть'.

Анализ прилегающих сюда лексических групп мог бы, впрочем, показать, что основа -вор- здесь не первична, как не первичен и словинский вариант -vôg-, более древний, чем древнеславянское построение.

IV

Сходный процесс словоразвития известен и на индийской почве.

Индианистика уже имела в виду возможность скрытых префиксов в санскрите. Установлено, что, напр., санскр. *raṣṭhān* (*t* перебральное) *ṛṣṭṛ* 'спина', 'верхняя сторона' через авест. *raṣṭiṣ* (ново-перс. *رشت* *ришт*) можно разложить в виде *raṣ-stha-*. Этимологи-индоевропейцы привлекают сюда значение «чего-то выступающего вперед, выпуклого», что связано будто бы с видом спины.

В этой этимологии, старой по времени, любопытно допущение, что в относимом сюда же греч. *pastās* 'передняя комната', 'портик' возможен префикс *ра-*, соответственно латинскому *ро-* (*postis*). Допущено также префиксальное *ра-* и в др.-инд. *raṣṭhavāt* (*t* перебр.) 'на спине носящий' (Uhlenbeck, *Wtb.*, 161).

На примере санскр. *ра-ш't-āt* 'сзади' (*पश्चात्*) в старой индо-европестике показано соответствие этого *ра-* первой части авестийского *ра-sk-āt*, литовскому *ра-*, слав. *по-*. Построена и праязыковая форма данного термина в виде **ро-зqо-*; главным корнем признано **seq-* 'следовать', и на индийской почве сюда отнесен глагол *saṭ-ate* (*सचते*) 'следует', 'идет за'.

Эта концепция принадлежит Уленбеку. Общего призвания она не получила, однако, необходимо отметить бесспорно правильную и жизненную мысль, положенную в ее основание: в отдельных языках возможны скрытые приставочные элементы, способные фонетически изменять следующую за ними часть слова и создавать в таких сочетаниях ложно-цельные основы.

V

Сведения об указанном процессе префиксации немедленно расширяются, если от праязыковых фантазий перейти к подлинной взаимосвязи понятий и исследовать слово не как повод к артикуляции фонем, а как средство мыслевыражения.

Можно взять хотя бы приведенное выше санскр. *saṭ-* (सत्-) 'следовать', препарированное индо-европеистами в *soq-* и брошенное без внимания.

По материалам, известным и старой науке, понятие «следовать за кем» относится в данном случае к группе значений: 1) быть при ком-либо, вместе с кем-либо, 2) исследовать, искать, смотреть, 3) преследовать, гнаться, охота и др.

Из фонетических вариантов *saṭ-* значительны формы, сохранившие долготу: санскр. *sāk-am* (साकम्) 'с', 'вместе с', готск. *sōk-jan*, англо-сакс. *sēs-an* 'искать'.

Конечное -к основы дают также ведийск. *sāk-ma* 'сопровождение', литовск. *sėk-ti* 'следовать', старо-слав. *сок-ъ* 'истец'.

Таковы данные конкретной речи.

Их число можно увеличить во много раз и расположить материал по-разному. Но с точки зрения подлинной языковой истории любая его группировка будет представлять собой чистейший хаос, пока исследователь не выяснит центральное понятие, породившее данные наименования. Какие бы «праформы» ни строить, не получится даже намек на историю без установления начального звуко-смыслового прототипа изучаемых фактов.

В данном случае решающим моментом является то, что санскр. *saṭ-ate* (सत्ते) 'следует' сближают со старо-сл. *соч-ити* 'искать'.

Дело в том, что этот термин, широко отраженный в живых славянских языках и русских говорах, построен по-особенному: в нем *с-* приставлено к глаголу «очить, смотреть», (←око): ср. словацк. *s-očít'* 'увидеть', 'заметить', польск. *z-oczyć*, чешск. *z-očítí někoho* 'увидеть'. В старой письменности «очить» выступает и с другими приставками: *об-очити* 'обнаружить', 'сделать очевидным', 'показывать', *в-очити* 'возвратить зрение'. От формы *очесе* построено *въ-очестити* 'взглянуть' и пр.

Основа *-ок-*, *-оч-* оказалась годной для обширного круга наименований благодаря многообразию функций слитого с ней предлога *с-*. В слав. языках ему, как известно, присущи даже взаимно противоположные значения сближения и разъединения. В польск. *z-oczyć* 'увидеть' предлог формирует совершенный вид. Но уже в варианте *z-oczył* 'видный', 'заметный' эта его роль изменяется в социативную («со-оч-ный»). Третья его функция видна

в возвратн. *z-oszuc się* (кому) 'скрыться из глаз'; управляя дат. падежом глагол этот, однако, оборудован аблативной приставкой, как старо-письм. *o-c-oшити* 'отделиться': «многы осошиша *отъ* него» (в иных случаях *o-c-oшити* значит 'отделять', как болг. *ot-c-oča* 'отделяю'). Основа этого *o-c-oш-ити* спирантизована, очевидно, в отличие от созвучного *o-c-oчити* 'отыскать'.

Социативная функция *с-, со-* в сложениях преобладает. Она вскрывается в олон. *в-с-очь* 'в глаза', 'лично' (как бы «в *со-очь*» «воочию»), волог. «ветер дует *в-с-очь*» ('прямо в лицо') и в сербск. *с-очити* 'сводить невесту с женихом' (ср. у Даля: *с-очи на-очи* 'лицом к лицу', 'с глазу на глаз', арханг.).

Но сербское *с-очити* значит также 'доносить (свидетельствовать) на вора', в соответствии с сущ. *с-ок* 'свидетель' (старо-сл. письм. 'истец').

Выясняется, следовательно, прямая связь санскр. *s-aṭ-*, *s-āk-* с санскр. же *s-ākṣ-in* (सक्तिन्) 'свидетель', *s-ākṣ-āt* (सक्तित्) 'в присутствии кого', 'на виду', 'перед' (сложено из преф. *sa-* и сущ. *акш-и* 'глаз').

Пример простого *к* вместо *кш* в исходе санскр. названия ока можно видеть в варианте *ап-ак-* (= *ап-ākш-*) 'безглазый', 'слепой' (Уленбек, *Wtb.*, 7).

VI

По установлении основного понятия и слова, развившегося в рассмотренные выше дериваты, можно определить принцип образования дальнейших производных, возникавших в различные эпохи истории человеческого мышления.

1. Сербск. (и чешск.) *бч-ит* 'очевидный', 'открытый', 'явный', параллельное глаголу *бч-итовати* 'открывать', 'объявлять', 'заявлять', вполне однородно со старо-сл. *с-очити* 'сказать', 'объявить'. Совершенный вид сменяется несовершенным в значении 'доносить'.

2. Тверск. *у-с-очить* 'попасть в цель' (= *у-с-ачить*) закономерно примыкает к *вятск.*, пенз. *с-ока*, *с-ок* 'бабка хребтом вверх', 'жох' (Даль. У Миртова донск. *с-ока*, *с-очка* 'биток в игре в айданчики'). Таким образом, санскр. *акш-а*¹ (अक्षः) 'очко', 'игральная кость' входит в число глазных терминов по двум признакам: по отверстиям на предмете (серб. *ока* 'очко на игральной кости') и по функции, как метательный снаряд (нем. *Würfel*), попадающий в цель или достигающий цели. Метание, как и прочие действия, первоначально осмыслено конкретно, как целевой акт. Отсюда схождения: метать, метить (куда), укр. *мета* 'цель' (санскр. अर्थः *artha*¹ 'предмет', 'цель'). Поэтому серб. *оцник*, *оцаник* 'прицел ружья' (русск. зрячка 'прицел') через словацк. *mat'* око 'метить' связано с болг. *с-оча* 'направляю оружие',

по-с-бка 'направление', на по-с-бка 'на глаз', 'приблизительно' (серб. одока 'на глаз').

3. По функции определяется и понятие петли, силка: донск. очки 'ячейки сети', польск. oczko 'петля чулка', смол. очёк 'глазок', 'дырочка в сетях рыболовных' (Добровольский. Смол. обл. словарь, 1914), чешск. oso па ртáку 'силок для птиц' (мн. ч. оса 'силки', в отличие от оси 'глаза').

Смысловая основа этому прослеживается в старо-письм. ячая 'связь', 'скрепление' (Срезневский. «Материалы»); здесь, следовательно, и звуковая разновидность основы ок- в форме яч- (*як-). Сюда отходит глагол о-с-очить в значении 'окружить', 'захватить' (Даль) и старо-письм. сущ. о-с-ока 'облава'. Ср. координацию значений в санскр. раш'- (पश्यति) 'глядеть' (← *глаз), раш-а^h (पशः) 'очко', 'игральная кость' и вместе с тем 'силок', 'петля', с дифференциалом s- в виде s-раш'- 'смотреть', 'связывать', а также 'трогать'. В старо-письм. слав. также наряду с слово 'петля' существовало слово сила 'кость игральная' (в Уставн. Кормчей: «силами играя... да извърженъ боудеть»).

4. Глагол -раш-а (पश्यति) в значении 'связывает' и 'трогает' полнее оформляется в варианте s-раш'-ауате 'трогает', 'схватывает' и 'соединяет', как старо-сл. осилати значит 'запутывать' (осило 'петля'), форма же осилвати означает 'собирать', 'соединять', а по иному осмыслению 'употреблять силу'.¹ Но первое значение санскритского sраштауате это — 'брат'. В форме же sраш'а^h (पशः) помимо значений 'трогание', 'ощущение' удержался и смысл 'соглядатай', 'шпион'. Таким образом «глядеть» осознано здесь как 'брат', 'воспринимать', 'хватать'. Этому точно соответствует арханг. «взять в глаза», т. е. всмотреться (Добавл. к Обл. великор. словарю). Поэтому диал. о-с-очить 'окружить', 'захватить' (Даль) неотделимо от этих смысловых разновидностей данного глагола.

5. В состав санскр. sa-dṛṣṭ'a (सदृश) 'подобный', а также 'сообразный', 'приличный' входит термин dṛṣṭi^b (दृष्टिः) dṛṣṭ'i, dṛṣṭ'ā) 'глаз'. Буквально, стало быть, sa-dṛṣṭ'a значит 'соочный'. Так именно построено старо-письм. слав. с-ъчьнь 'сообразный', 'приличный'.

В этой полосе значений большой интерес представляют термины лица (а также тела) главным образом в языках протоевропейской Европы. Однако, анализ этих терминов существен для выяснения совсем иных элементов слово- и формо-строения, ввиду чего их невозможно трактовать в связи с вопросом, поставленным в настоящем сообщении.

¹ Историческая общность понятий силы и силка явствует также из белорусск. пружки 'силки на рябчиков' и пружкий 'сильный' (Добровольский. Смол. обл. словарь).

Р. О. ШОР

СЕМАНТИКА ВЕДИЙСКОГО АОРИСТА

Построение грамматики на базе семантики грамматических категорий **в узике их развития** с развитием мышления и общества — таков путь, **точно намечаемый** новым учением о языке, единственный путь, который **может** привести к преодолению двухтысячелетнего ига тяготеющих над нами лингвистическим мышлением грамматических учений античной философии.

Бряд ли приходится сомневаться, что разрешение этой огромной и насыщенной для нашей науки задачи возможно лишь совокупными усилиями ученых, работающих в области самых разнообразных языков различных систем и стадий. Бряд ли необходимо доказывать, что широким обобщающим построением должен предшествовать тщательный анализ семантики отдельных грамматических категорий, углубленное изучение грамматических систем отдельных языков, вскрытие пережитков более древних грамматических стадий в языках более поздних стадий.

Пересмотреть хотя бы незначительный сегмент грамматики языка древне-индийского, одного из наиболее изученных языков, под углом зрения динамики грамматических значений, — такова задача предлагаемого очерка, посвященного вопросу о ведийском аористе.

Вопрос о значении ведийского аориста представляется не вполне разрешенным в существующей литературе. А именно: большинство исследователей, при определении основного значения этой формы, или незаметно отождествляют грамматическое значение вида с грамматическим значением времени или, выделяя ряд конкретных подоттенков в общем значении, определяемых большей частью определенным контекстом, ограничиваются их рассмотрением, не сводя их к дальнейшему единству грамматического значения. В виду того, что и новейшая работа Рену¹ не вносит существенных изменений в существующее положение вещей, представляется не бес-

¹ Renou. La valeur du parfait dans les hymnes védiques. Paris, 1925.

Сб. в честь Н. Я. Марра

полезным пересмотреть вопрос о грамматическом значении ведийского аориста.

Довольно часто вопрос о значении ведийского аориста разрешается в соответствующей литературе определением аориста, как относительно завершенного времени. А именно: значение древне-индийского аориста приравнивается к значению так наз. перфекта в современном английском или немецком языках. Так Макдонелл¹ поясняет следующим образом различие форм аориста и имперфекта: акаг — he has done; актпот — he did. Почти то же говорит Спейер:² «Основное значение имперфекта — рассказ о прошлых событиях, которые утратили свою актуальность и, следовательно, принадлежат истории. Аорист же должен рассказывать о прошлом, которое само по себе или через свои последствия продолжает оказывать влияние на настоящее, следовательно, о прошлом актуальном. Имперфект поэтому есть историческое время *par excellence*, аорист же покрывается приблизительно нашим (NB немецким) описательным перфектом: *ihāvasat — hier logierte er, ihāvātsīt — hier hat er logiert*».

Ср., далее, Уитней:³ «В древнейшем языке (аорист)... имеет общее значение завершенного действия или действительного перфекта». «Аорист древнейшего языка имеет значение собственно перфекта: т. е. он обозначает нечто прошедшее, которое завершено в отношении настоящего. ... В общем он обозначает то, что только что наступило: чаще всего то, что говорящий испытал сам».

Эти положения Уитней и Спейер подтверждают такими примерами, как:

pāgīmē gām aneṣata páru agnīm ahr̥ṣata | devēṣv akrata ṣṛávaḥ ká imāñ ā dadharṣati

они кругом корову обвели, кругом огонь обнесли, богам оказали почитание, — кто на них осмелится?

yám aíchāma mánasā sò 'yám āgāt

кого мы искали помыслом, тот пришел.

yénéndro haviṣā kṛtvu ábhavad dyumny ūttamáh | idám tát akri devā asapatnáḥ kilābhavam

которой Индра жертвой свершением достигал высшего блеска, то свершил я, о боги, — лишенным соперников я ведь стал.

citrām devánām úd agād ánikam

блестящая богов пришла толпа.

¹ A. Macdonell. Vedic Grammar. Strassburg, 1910, в Grundriss der indo-arischen Philologie, Bd. I, H. 4.

² I. S. Speyer. Vedische und Sanskrit-Syntax. Strassbourg, 1896, в Grundriss der indo-arischen Philologie, Bd. I, H. 6.

³ W. D. Whitney. Indische Grammatik, Leipz., 1879.

āvocāma námo asmaī

мы призывали славу ему.

Наряду с ведийскими гимнами привлекаются и материалы из брахман: *sá hāsmān jyóg uvāsa... tāto ha gandharvāḥ sām ūdire: jyóg vā iyām urvācī manuṣyēṣv avātsit...*

Она у него долго жила (перф.)... тогда гандхарвы сказали: долго ведь эта Урваши среди людей прожила (аор.).

tasya ha dantāḥ pedire: tam hovāca: apatsata vā tasya dantāḥ

его зубы выпали (перф.); он ему сказал: выпали (аор.) ведь его зубы.

yāsmāi mām pitādān naivāhām tām jīvantam hāsyāmīti

«кому меня отец отдал, того живого я не покину» — так (она сказала).

svayām enam abhyadētya brūyād: vrātya kvāvātsiḥ

сам к нему придя пусть скажет: «Вратья, где ты пробывал?»

yād idānīm dvaū vivādamanānv eyātām ahām adarṣam ahām aṣraṇsam

īti yā evā brūyād aham adarṣam īti tasmā evā ṣraddadhyāma

если бы теперь двое споря пришли бы (говоря): «я увидел», «я услышала», кто говорил бы: «я увидел», тому мы должны бы поверить.

Несколько иначе характеризует семантику древне-индийского аориста Дельбрюк.

В первой из своих работ «Altindische Tempuslehre» (1876) Дельбрюк определяет значение аориста, как «обозначение того, что только что совершилось».

«При наступлении утра говорят в аористе: „Мы только что достигли предела тьмы, появилась сияющая Ушьяс, она осветила мир», и т. д. «Нашими песнями мы пробудили ее. Савитар побудил ныне все твари к движению». В начале жертвоприношения говорят: „Мы возвысили голос, чтоб восхвалить богов“ (нашему немецкому языковому познанию здесь представляется более подходящим *praesens*, чем аорист). Когда зажжен огонь, говорят: „Теперь Агни родился, он сел как жрец“ и т. д. (86).

«Из этого обзора ясно, что аорист обозначает только что совершившееся». В качестве подтверждающего наблюдения Дельбрюк указывает, что при «*udya*» 12 раз является аорист, 6 раз перфект и только 2 раза имперфект. Преобладает аорист также при *pu* и *u*. Случай, где аорист является при *jyog*, Дельбрюк объясняет тем, что „говорящим в мгновение осознается длительность состояния“ (*dass dem Redenden die lange Dauer eines Zustandes im Moment zum Bewusstsein kommt*).

«Таким образом, — говорит он, — может считаться доказанным, что аорист в преобладающей массе случаев в Ведах обозначает только-что

совершившееся. Между настоящим и действием, обозначенным аористом, лежит только краткий промежуток. Разумеется, для этого промежутка нельзя установить объективной меры (примерно, день и т. п.); речь идет о том, что по субъективному мнению говорящего представляется только что наступившим. Часто этот промежуток так мал, что мы предпочли бы praesens...» (88).

Такое употребление аориста, по мнению Дельбрюка, типично и для брахман, причем аорист обозначает преимущественно пережитое самим говорящим: в Ведах Дельбрюк отмечает также описательное и вневременное употребление аориста, объяснить которое он затрудняется.

Те же воззрения высказывает Дельбрюк и в вышедшем в 1888 г. *Altindische Syntax*: «Индикатив аориста употребляется в Ведах, чтобы выразить то, что только что совершилось с точки зрения говорящего, в прозе — чтобы выразить то, что говорящий пережил сам» (280).

Анализируя подробнее факты применения аориста в брахманах, Дельбрюк принужден, однако, отметить не только случаи употребления аориста, подходящие под его определение, как

tásmād āha: úpa dhāsyāmy, úpa dadhāmy, úpādhām

потому он говорит: наложу, накладываю, наложил.

brahmacāryam āgām íty āha

в ученье я пришел — так говорит.

índro vṛtrám hatvá páram parāvátam agachad āpārādhām íti manyamānah».

Индра, Врѣтру убив, в крайнюю даль бежал — „он промахнулся“ думая.

Он принужден отметить и такие случаи, в которых аорист употребляется «не свидетелем события, но лицом, заключающим о нем по каким-нибудь признакам», и даже случаи, где аорист употребляется «просто для утверждения, констатирования некоторого события», как

tvāstā hatáputro víndram sómam āharat, tasminn índra upahavām
aichata, tám nópahvayata putrám me 'vadhīr íti

«Тваштар, лилась сына, без Индры Сому приносил, у него Индра приглашения искал, его он не приглашал (говоря): „сына моего ты убил“»

táto ha gandharvāḥ sām ūdire: jyóg vá iyám urváḥī manusyēṣv avātsīt
тогда Гандхарвы сказали: долго эта Урваши среди людей прожила.

índro vṛtrám ahan, tám devá abruvan — mahān vá ayám abhūd, yo
vṛtrám āvādhīd íti

Индра Врѣтру убивал, о нем боги говорили — «велик тот (стал), кто Врѣтру сразил».

Точно так же Дельбрюк отмечает наряду с употреблением аориста «для выражения действия, только что законченного к моменту речи», как

«sá bāndhuh śmāzīgṛāśya yām pūrvām āvocāma»

это смыл śmāzīgṛā, который сейчас мы разъяснили.

употребление аориста для обозначения действия давно прошедшего (даже в сочетании с purā, prāk):

etā vai yajñāśya mṛṣṭaya etāh śāntayas, tā bāijavāpayo vidām akraus,
tēsām mṛṣṭo yajñāh śānto 'bhūt.

Эти жертвы очищения, эти смягчения, их Байджавипи познали, их очищенная жертва смягченной стала.

jyesthā vā etān brāhmanāh purā vidām akran, tāsmaś tēsām sārṇvā
dīṣo 'bhijita abhūvan...

Старшие их брахманы прежде познали, поэтому им все страны подчиненными стали.

Далее он выделяет ряд случаев, где настоящее считается не от момента речи (von dem Standpunkt des Redenden), но от определенного условного момента времени, отмечая:

1) употребление аориста «для обозначения действия, являющегося непосредственным следствием ритуального акта», как

putrāśya nāma grhṇāti prajām evānu sām atānit

сыну имя дает, род таким образом продолжил.

hīn karoti sāmāivākah

hīn он совершает, sāmān таким образом совершил.

2) употребление аориста «для обозначения действия, предшествовавшего ритуальному акту», как

«tam vā etām agnīm sām aindhiṣata»

тот и этот огонь они возожгли.

Очевидно, что Дельбрюк, не уловив значения формы, исходит здесь из реального значения словосочетаний, и что определения его каждый раз не вскрывают всех случаев употребления аориста.

Впрочем, он признает это и сам: «Приходится признать, что и в Ведах и в прозе встречаются места, которые не могут быть подведены под эту формулу. Очевидно, если искать общую формулу, то для санскрита она окажется той же, какую ищут для греческого... Во всяком случае ясно, что индикатив аориста противоположен имперфекту тем, что он не описывает, а только сообщает, констатирует наступление действия... При аористическом выражении момент длительности совсем не принимается во внимание; действие просто констатируется, утверждается, как насту-

пившее. Поэтому неудивительно, что в аористе сообщается о событиях различной длительности, о событиях, длившихся весьма долго:

té ha devā ūcur ná vām ūpa hvayisyāmahe bahú manusyēsu samsr̥ṣtam
acāriṣtam

боги сказали: вас (двоих) не призовем, очень долго среди людей вы пробьли.

Наконец, в «Grundriss der vergleichenden Grammatik der indo-germanischen Sprachen», 1901, Дельбрюк старается примирить эти положения с выдвигаемой им там интерпретацией видовых значений глагола. Анализируя пример:

yajño vai devebhyo 'nnādyam udakṛāmat | te devā abruvan: yajño
vai no 'nnādyam udakramīt

«Das Opfer entlief den Göttern; da sprachen die Götter: Das Opfer ist uns entlaufen»

он замечает: «Ясно, что акрамīt не пересказывает еще раз того, что уже было рассказано посредством акṛāmat, но что оно лишь подтверждает его действительность. В акṛāmat действие изображается в его течении, в акрамīt действие дается само по себе, безотносительно к его началу, концу или продолжительности, т. е. дается пунктуальное действие».

Что же понимает Дельбрюк под определением «пунктуальное действие»? Не следует думать, что под словом «пунктуальный» Дельбрюк подразумевает то, что обычно означает словом «недлительный», т. е. чисто отрицательную характеристику; его определение носит более конкретный характер.

«Пунктуальным видом высказывается, что действие завершается одновременно с его началом... Древне-индийский аорист указывает на пунктуальный вид». Дельбрюк поясняет это таким примером: «Предположим, что кто-нибудь следит за гаснущей свечей и хочет констатировать словом миг потухания последней искры. Если он заговорит в момент потухания, то он отстанет от события; следовательно, сохраняя точность, он должен был бы сказать: „Сейчас погасла последняя искра“, т. е. употребить форму аориста».

И Дельбрюк предполагает целый ряд глаголов в древне-индийском, аористы которых искони имели пунктуальное значение:

a g ā t

grāñco 'gāma

обратясь вперед, мы пошли.

a s t h ā t

ūrdhvéva snāti dr̥ṣāye no asthāt

как выпрямившаяся моющаяся (женщина), она встала для лицезрения нашего,

abhūd

ābhūd a ketúr uśásaḥ purástāt

появился свет перед зарей.

ābhūd sómasya sūśutasya pītīḥ

настало питье Сомы хорошо-выжатого.

sākhābhūd açvīnor uśāḥ

подругой стала Ашвинов заря

āpāma sómam amṛtā abhūma

испили Сомы, бессмертными мы стали.

Это определение «мгновенного вида» дает Дельбрюку возможность включить в него свое старое определение древне-индийского аориста. Ведь при мгновенности действия прошлое должно совпадать с настоящим говорящего. А, следовательно, сохраняется в силе старое определение: «время действия аориста принадлежит прошлому, которое совпадает еще с настоящим говорящего. Это употребление, самое распространенное в Ведах».

И Дельбрюк повторяет свои примеры из «Syntaktische Forschungen»:

«При рассвете говорят в аористе: „Мы достигли конца темноты, явилась сияющая Ушас и т. п. Нашими песнями мы ее пробудили“. При начале жертвоприношения говорят: „Мы возвысили свой голос, чтобы восхвалить богов“. Когда зажжен огонь, то говорят: „Теперь родился Агни, он сел как жрец“. Когда закончено выжимание стеблей сомы, то говорят: „Теперь сома потек в сосуд“» и т. д.

Но употребление аориста в Ведах этими случаями не ограничивается, и Дельбрюк перечисляет формы употребления аориста, подлежащие другому объяснению.

Прежде всего он выделяет случаи «пунктуализированного действия», «когда действие, длящееся много времени до момента речи, стягивается в одно мгновение»:

«Урваши жила долго у него; тогда гандхарвы сказали: „долго прожила Урваши среди людей“».

Далее он выделяет случаи, когда момент действия аориста лежит за настоящим говорящего («имперфективное» употребление аориста). В этих случаях аорист встречается в сочетании с имперфектом и перфектом:

**ayoddhēva durmāda á hí juhvé mahāvīrām tuvibādhām ṛjīśām nātārid
asya sámṛtiṃ vadhānām**

как пьяный не-боец вызвал он великого могучего героя, не выдержал встречу его ударов.

yújam vájraṃ vṛṣabhāç cakra índro | nír jyótiṣā tāmaso gá adukṣat
спутником палицу могучий сделал Индра, светом из тьмы коров привел.

avadyám iva mányamānā gúhākar índraṃ mātá vīryeṇa nyṛṣtam áthód
asthāt svayám átkam vāsāna á ródasī aprṇād jáyamānah
уродством полагающая скрыла Индру мать мужеством полного, тогда он встал, одежду
надевая, оба мира он наполнял при рождении.

В последнем примере первый аорист (akar) выражает действие, предшествующее не только настоящему речи, но и другому прошедшему. Такое употребление аориста Дельбрюк называет «плюсквамперфективным».

Как же сохраняется в случаях последнего типа характеристика аориста, как «прошлого, захватывающего настоящего говорящего»?

Здесь показательны те объяснения, к которым прибегает Дельбрюк для случаев «вневременного», «гномического» употребления аориста.

По мнению Дельбрюка, время действия аориста определяется в случаях этого и близких типов от «условного настоящего» (von einer angenommenen Gegenwart aus bestimmt). При этом он различает две группы:

1) Действие аориста, как непосредственное следствие взятого безотносительно ко времени другого действия (einer für einen beliebigen Zeitpunkt in Aussicht genommenen Handlung), причем оба действия мыслятся данными. При этом прошлое действие аориста вливается (fällt hinein) в условное настоящее другого действия:

putrāsya náma grṇnāti prajám evānu sám atānit

сына имя берет (дает), свой род таким образом продлил

etád vái trtíyaṃ yajñám āpad yas chándāṅsy apróti

так он третью жертву получил, когда он размеры (стихов) получает.

2) Действие аориста мыслится наступившим перед частичным действием предположенной ситуации. Такие аористы встречаются в описаниях жертвоприношения, напр.:

yó vái sūnftāyai dōham véda duhá eváinām, yajñó vái sūnftāçravayéty
áiváinām ahvat, ástu çráuṣad íty upāvāsrāk, yajety úd anañit, yé
yajāmaha íty upāsadat, vaṣatkāreṇa dogdhi

Кто знает доение сūnftā, тот доит ее (для себя). Сунрета — жертва, ā çrāvaya — он ее призвал, с ástu çráuṣat он приложил теленка, с yája он его увел, с yé yajāmaha он ел (к корове), с помощью vaṣatkāga — он ее доит.

В этом случае частичные действия, выраженные аористом, мыслятся наступившими перед другими частичными действиями.

По мнению Дельбрюка, аорист в этих случаях не меняет существенно своего значения: он также относится к условной (angenommen) действи-

тельности, как и в данной. Момент прошлого или лежит в настоящем или за ним.

Наконец, в ведийской поэзии Дельбрюк устанавливает факт существования гномического аориста; но, вместе с тем, он считает почти все собранные им примеры спорными, так как все они могут быть перетолкованы как определяемые из условного настоящего.

Пример гномического аориста, наименее спорный:

ād asya ṣuṣmīno gāse vícve devā amatsata yādī gōbhir vasāyāte
тогда сильного соком все боги опьянились, когда он молоком одевается.

Впрочем, подробно охарактеризовав различные случаи употребления аориста (имперфективное, плюсквамперфективное), Дельбрюк оговаривается, что он не обозначает этими терминами каких-либо особых значений аориста, развившихся на почве старых отношений; он хочет передать только оттенки живого контекста. «В действительности же аорист имеет совершенно другое значение, чем имперфект: он констатирует, утверждает, что нечто случилось в прошлом».

Положения Дельбрюка целиком принимает Рену;¹ в своем исследовании о ведийском перфекте, в главе «Перфект и аорист», он так характеризует значение последнего:

«Аорист — время констатирования (le temps de la constatation). Его собственная область — выражение фактов прошлого, лежащих в пределах опыта говорящего, следовательно, фактов недавнего прошлого, тесно связанного с настоящим. Поэтому-то аорист обозначает события, которые поэт наблюдал в тот момент, когда он начинал свой гимн, и которые послужили причиной его создания: восход солнца, возжигание огня, выжимание сомы; он относится или к самому гимну, или к его автору. Предпочтительно он появляется в начале и в конце песни, чтобы ввести и заключить повествование.

Так, в противоположность jajāna (ājanaṇat), аорист ājījanat говорится о солнце, порожденном Савитаром (IV 53, 2a); о заре (VII 79, 3); о соме (IX 66, 24); о гимне (VIII 95, 5). Если в виде исключения он прилагается (X 134, 1—6) к рождению Индры, то это употребление дано в стихе-рефрене, возможно; заимствованном из другого текста и, без сомнения, под влиянием сравнения с зарей в первой строфе того же гимна».

Точно также arṅāḥ (за исключением 1 52, 13) постоянно прилагается к солнцу, к заре, к ночи, только что заполнившим пространство, но parṅāḥ

¹ L. Renou. La valeur du parfait dans les hymnes védiques. Paris, 1925.

символическое представление, данное в перфекте; так (IX 13, 6) — „капли разлились (ástgṅan) . . . сквозь овчину“, но 7 «капли разбежались (dadhanviré) с ревом как коровы к теленку“ . . .»

«Точно так же в гимнах к Заре функции аориста и перфекта четко разграничены: аорист обозначает здесь недавнее прошлое, перфект — давно прошлое и результат действия. Так (VII 77, 1) заря представлена известной силой, и глагольная форма — форма реализации:

úro guruce yuvatír ná yóṣā | vícvaṃ jīvam prasuvāntī carāyau
она блистает как молодая женщина, все живое побуждающая к движению.

Но 1d и 2 отмечают лишь факт ее появления:

ákar jyótir bádhamānā támānsi
она создала свет, прогнав тьму.

Подобным же образом интерпретирует Рену ведийские гимны к Агни, гимны Атхарва веды, — устанавливая всюду за формой аориста значение констатирующего времени. «Из этого аориста констатированья развивается в брахманах основное значение этой формы, как прошедшего времени прямой речи (prétérit du discours direct) и, дополнительно, употребление в значении настоящего».

С другой стороны, наряду с аористом констатированья, Рену отмечает в Ведах наличие «аориста повествовательного (un aoriste de narration), который исчезает в брахманах, но возрождается позднее».

Промежуточным этапом является обозначение фактов, приведившихся для расположения и датировки фаз рассказа; так (VII 98, 5)

yadéd ádevir ásaḥiṣṭa māyā | áthābhavat kévalah sómo asya
когда он побеждал безбожные хитрости, тогда стал его собственным Сома.

Отсюда частое употребление аориста после союзов времени, когда глагол находится в прошедшем или настоящем. В собственно же повествовательном употреблении аорист встречается в Ригведе лишь в отдельных случаях, обычно в гимнах Индре I и X книги. При этом многие из случаев повествовательного употребления подлежат, по мнению Рену, особому истолкованию. Так, гимн I 33, где Дельбрюк отмечает многочисленные повествовательные аористы, говорит о близких поэту предметах (semble d'un caractère familier). Аористы VI 27 указывают, что дело идет о недавнем подвиге Индры: adhāt в VII 88, 4 является не повествовательным, а констатирующим. Аористы V 40, 8 образуют заключение рассказа, и т. д. и т. д.

Таково у Рену разрешение вопроса о значении ведийского аориста.

Подводя итоги всему сказанному выше, не трудно установить два основных момента в перечисленных попытках определить значение ведийского аориста.

С одной стороны, ряд исследователей стремится установить в употреблении аориста соотнесенность со временем говорящего, другими словами, подменить в определении этой формы значение вида значением времени. Таково определение Макдонелла и Спейера, отчасти Уитнея; сюда же можно отнести и попытки Дельбрюка установить соотнесенность аориста к реальному настоящему или к «условному настоящему» говорящего, и его учение об имперфективном и плюсквамперфективном употреблении аориста.

Нетрудно убедиться в несостоятельности этих определений. Действительно, ни один из примеров Спейера и Уитнея не дает основание приписывать аористу функцию так наз. перфекта. Это признают и сами исследователи: так, Спейер замечает, что «с точки зрения говорящего не всегда можно принять значение актуального прешлого» для аориста; точно так же Уитней указывает, что его различия не соответствуют положению вещей в Ведах, и что многие случаи употребления аориста допускают двойное истолкование.

Так же не находит себе опоры в значении формы соотнесенность аориста к реальному или «условному» настоящему говорящего, которой оперирует Дельбрюк. Для приводимых им примеров:

ád asmād anyó ajanīṣṭa távyān
тогда от него другое родилось сильнейшее
nātārīd asya sámṛtiṃ vadhānām
не выдержал встречу его ударов
nīr jyótiṣā tāmāso gā adukṣat
светом из тьмы коров он привел
áthód' asthiāt svayám átkam vásāna
тогда он встал сам, одевая одежду,

и других подобных примеров характерно именно отсутствие соотнесенности к настоящему речи, абсолютный характер высказыванья в отношении различий в проявлении глагольного действия во времени.

Наконец, нельзя не отметить претиворечий в определенных названных выше исследователей; так как положения Спейера и Уитнея о перфективном употреблении аориста опровергаются указаниями Дельбрюка на случаи имперфективного и плюсквамперфективного его употребления.

Несравненно интереснее попытки другого рода — определить значение формы аориста, именно как формы вида, а не как формы времени. Сюда относятся характеристики аориста, как формы констатирования действия в прошлом (Дельбрюк, Рену), притом действия пунктуального или пунктуализированного (Дельбрюк), влияющего в настоящее говорящего (Уитней, Дельбрюк, Рену) или лежащего в пределах его индивидуального опыта (Рену).

Остановимся прежде всего на тех специфических признаках, которые исследователи присоединяют к общему значению «констатирования действия в прошлом».

Легче всего опровергаются положения Дельбрюка о мгновенности этого действия. Действительно: совершенно очевидно, что нет никакого основания приписывать мгновенность действия аористам глаголов становления и движения, приводимым Дельбрюком. Почему мы должны мыслить жест «выпрямляющейся, совершающей омовение женщины» мгновенным подобно погасанию искры? Что мгновенного в таких высказываньях, как

grāṅso 'gāma

обратясь вперед, мы пошли...

ābhūd sōmasya sūsutasya pītīḥ

настало сомы, хорошо выжатого, питье...

sākhābhūd aṣvīnoḥ uṣāḥ

подругой стала Ашвинов заря...

Так же мало убедительны и утверждения Дельбрюка о «пунктуализированном действии» в других случаях применения древне-индийского аориста. Почему, когда одно лицо говорит о другом: «она долго прожила среди людей», мы должны предположить, что оно мыслит длительное действие «станутым в один миг?» Ясно, что и здесь мы имеем объяснения, примысливаемые ad hoc к более или менее подходящему контексту.

На нескольких случаях подходящего контекста основано и положение о «действии прошлом, но влияющем в настоящее говорящего». У европейских ученых это положение возникло бесспорно под влиянием индийской грамматической традиции,¹ которая, как всегда, при утрате отчетливого сознания грамматического или реального значения, оперирует с определенным контекстом, объясняя непонятное место. Что это определение не покры-

¹ Согласно с указаниями Rāṇiṇi (Ш 2, 110, Ш 3, 135) аорист обозначает прошлое вообще, притом прошлое, близкое к настоящему или связанное с ним непрерывностью действия. По комментарию Ratañjali непрерывность предполагает отсутствие перерыва сна между обоими действиями.

вает значительного числа случаев ведийского аориста, ясно уже из того, что Дельбрюк принужден, наряду с «настоящим говорящего», прибегать к «условному настоящему», выделять «симперфективное и плюсквамперфективное употребление» аориста, наконец, наряду с «опытом говорящего» допускать «умозаключение говорящего на основании некоторых доступных ему признаков». Впрочем, к примерам Дельбрюка мы еще вернемся несколько ниже.

Из реального же значения контекста исходит и Рену в своем утверждении de la valeur familière et «vivante» de l'aoriste védique. Характерно уже то, что он, говоря о грамматическом значении глагольной формы, разбивает тексты по реально-семантическим признакам — гимны к заре, гимны к огню, гимны к коме и т. д. — и исходит из конкретного значения целого стиха в каждом отдельном случае. Ясно, что ему довольно часто приходится отводить, как сомнительные, такие стихи, как напр.:

ubhé yád indra ródasī āpaprāthoṣā iva | mahāntam tvā mahīnām sam-
rājāṃ carṣaṇīnām devī jānītry ajījanad bhadrā jānītry ajījanat

О Индра, тебя, который наполнил (перф.), как заря, оба мира, великого самодержца великих людей богиня родительница родила (аор.), счастливая родительница родила...

хотя аористические формы глагола в них не вызывают никакого сомнения. С другой стороны, ему приходится прибегать к весьма значительным натяжкам, чтобы доказать, что сфера употребления аориста всегда соответствует сфере деятельности говорящего. Действительно, на каком основании, напр., в стихах:

yénāgnīr asyā bhūmyā | hástam jagráha dáksīṇam ...

чем Агни этой земли взял (перф.) правую руку ...

Агни оказывается существом мифическим, а в стихах:

bhāgas te hástam agrahit | savitā hástam agrahit

Бхага взял (аор.) твою руку, Савитар руку взял ...

Бхага и Савитар — существами, близкими (familiers) говорящему?

Таким образом, приходится признать неудачными все попытки исследователей более уточнить данное ими общее определение ведийского аориста, как формы констатирующей, утверждающей действие в прошлом; все сделанные ими попытки оказываются лишь привнесением в значение формы реального значения известного контекста.

Остается теперь спросить, насколько удовлетворительно и это общее определение ведийского аориста. Здесь прежде всего нельзя не указать на

слишком широкий характер определения; на отсутствие в нем специфицирующего признака. Действительно: ведь всякий praeteritum вообще утверждает, переносит действие в прошлое. А с другой стороны, понятие «констатирования» настолько неопределенно, что, как мы видели, оба оперирующие им исследователя существенно расходятся в вопросах о том, где проложить грань между «констатирующим» и «повествовательным» аористом (ср. выше оценку «повествовательного» аориста Дельбрюка, которую дает Рену).

Итак, нельзя признать правильным ни релятивно-временные определения ведийского аориста, ни попытки заменить определение грамматического его значения реальным значением известного контекста. А между тем, если — не подбирая искусственно примеров с известным реальным значением, — читать подряд гимны Ригведы, то во всех случаях употребления аориста отчетливо выступает¹ одно и то же грамматическое значение не времени, но вида, т. е. формы, служащей для передачи качественных различий обозначаемого глаголом действия, в данном случае характеризующей это действие, как включающее момент его пресечения.

Для вневременного характера семантики аориста особенно показателен тот факт, что момент пресечения действия не дифференцируется по его отношению ко времени глагольного действия и выражается одной и той же формой вне зависимости от того, падает ли он на начало или на конец действия; так же отсутствует дифференциация по отношению ко времени говорящего, т. е. учет релятивно-временных отношений, как это ясно из несостоятельности приведенных выше толкований аориста. Другими словами, значение аориста не включает в себе категории времени, но лишь дает характеристику качества действия. И то же значение, как значение грамматическое, можно установить во всем богатом материале, собранном упомянутыми выше исследователями.

Несколько примеров:

A. kuvít sómasyáram iti

«разве я не напился сомы?» так (я говорю).

aíbhir dade vṣṣnyā paúnsyāni | yébhír aukṣad vṛtrahátyāya vajrí

с теми он обрек бычьим силами, с которыми возрос для убийства Врытры обладатель-
-палицы...

úd asya śúṣmād bhānúr nárta | bíbharti bhāram pṛthiví ná bhūma

от его пламени как бы сияние изшло, он несет как земля великое бремя...

¹ Разумеется, для исследователя, привыкшего оперировать видовыми формами.

upasthāyaṃ carati yāt samārata

вблизи он бредит, как только соединил-свои-члены...

sá vardhitá vārdhanah pūyāmānah | sómo mīdhvān abhí no jyótiṣā
āvit | yēnā nah pūrve pitārah padajñāh | svarvīdo abhí gā ādriṃ
uṣṇān

тот укрепител, укрепляющий, очищенный Сома, оросив нас блеском, укрепил, которым
наши древние отцы путеведы ищущие-света ради коров скалу жгли.

çivāh satír úpa no goṣṭhām ākas | tāsām vayām prajāyā sām sadema
кротких хороших (коров) в наш хлев он пригнал, с их потомством мы да пребудем...
utā bruvantu no nīdo | nīr anyātaç cid ārata | dādhanā índra id dúvah
пусть говорят наши хулител: «еще другое они утратили, совершая Индре служение»...
prāsūto bhakṣam akaram carāv āpi | stōmam cemām prathamāh sūrīr
ún mṛje

призванный вкусил я из сосуда, и гимн этот, первый по-блеску, я принимаю.

yó āçvasya dadhikrāvno ākārīt sámiddhe agnā uṣaso vyūṣtau | ānāga-
sam tám āditiḥ kṛnotu

кто коня Дадхикравана воспел при возженном огне, при всыльщике зарю, бесовным
того Адити да сделает...

sá rāyās pōṣam sá suvīryam dadhe yām vájo víbhvān ṛbhāvo yām āviṣuh
тот достиг обилия богатства, тот (достиг) мужества, кого Ваджа Вибхван Рибху коге
укрепили...

ādevo yād abhy aūhiṣṭa devān svārsātā vṛnata índram ātra

когда безбожник подстерег богов, для-получения-света они избирают тогда Индру...

hansā iva çreniço yatante yād ākṣiṣur divyām ājnam āçvāh

словно гуся в стае, кони строятся в ряд, когда они достигли небесного пути...

yād īm ganāsya raçanām ājīgaḥ çúcir ankte çúcibhir góbhīr agnīh

когда он пробудил веревки толпы, чистый умащается чистым маслом Агни...

yó vām dūtó ná dhiṣnyāv ājīgar áchā sūnūr ná pitārā vivakmi

который вас как вестник, о щедрые, пробудил, как сын с родителями я говорю...

āpeta vīta ví ca sarpatāto 'smā etām pitāro lokām akran

отойдите, расступитесь, расползитесь, ему это место устроили праотцы...

B. diví me anyāh pakṣo 'dhó anyám acīkṣam

на небо мое одно крыло, а другое я поволок...

samudrād ūrmīr mádhumāñ úd ārad úpāñçunā sām amṛtatvām ~~amṛt~~

(начало гимна)

из моря волна обильная-медом поднялась, выжиманием-стеблей-сома она сама
амвросией...

prā vepayanti párvatān ví viñcanti vānaspātīn | pró ~~āra~~ maruto
durmādā

они сотрясают горы, они расщепляют могучие деревья | ~~вперед устрашения~~ мы ошьяев,
о Маруты...

právin nú vīró jaritāram ūtī (начало гимна)

услыли герои певца помощью...

**vāyaç cit te patatrīno dvipāc cātuspad arjuni úsaḥ prārann ṛtūṅ ānu
divó ántebhyas pári** (начало гимна)

и птицы крылатые, и двуногие, и четвероногие, о белая заря, устремились к жертвенному времени с концов неба...

**sādhvīm akar devāvītiṃ no adyá yajñāsya jihvām avidāma gúhyām | sá
áyur ágāt surabhír vāsāno bhadrām akar deváhūtiṃ no adyá** (начало
гимна)

благоприятной он сделал трапезу богов, ныне жертвы тайный язык мы нашли, благоуханный одеянный силой он пришел, счастливой он сделал молитву нашу ныне...

úpo adarçi çundhyúvo ná vākṣo nodhá ivāvīr akṛta priyāni...

она появилась, как грудь прекрасной, не как вымя, она открыла предести...

ābodhy agnīḥ samīdhā jānānām (начало гимна)

пробужден Агни зажигательным-деревом людей...

ābodhi hótā yajāthāya devān ūrdhvó agnīḥ sumānaḥ prātār asthāt
(начало гимна)

пробужден жрец для почитания богов, прямой веселый Агни рано встал...

**āçocy agnīḥ samidhāno asmé úpo adṛçran tāmasaç cid ántāḥ | āceti
ketúr uśasaḥ purástat...** (начало гимна)

блеснул Агни, зажженный среди нас, показали пределы тьмы, засиял вещей перед зарей...

pári suvāno giriṣṭhāḥ | pavitre sómo akṣāḥ (начало гимна)

выжаты, пребывающий на горах, в цеделе заструился сома...

sá çuṣmī kalāçeṣv ā punāno acikradat

он огненный в горшках очищающийся завыл...

prāṅco agāma nṛtāye hāsāya

обратись-вперед пошли мы к пляске, веселью...

C. ābhūr v aukṣīr vy ù áyur ānaḍ

ты стал и возрос и силу обрел...

tvām valāsya gómató 'pāvar adrivo bílam

ты Валь богато-коровами открыл пещеру, о камнемататель...

abām pūro mandasāno vy airaṃ náva sākāṃ navatiḥ çambarasya

я опьяненный разрушил девять и девяносто крепостей Шамбары...

bahvīḥ sámā akaram antár asmin

многие годы провел я у него...

úra te gá ivākaraṃ (конец гимна)

к тебе как бы коров я пригнал...

āvocāma námo asmaí (конец гимна)

провозгласили славу ему.

úra te stómān raçurá ivākaram (конец гимна)

к тебе гимны как пастух я пригнал...

Нетрудно убедиться, что в указанном выше общем значении вида реальное значение глагола и всего контекста создает ряд подоттенков.

Так, первая группа приводимых примеров характеризуется как бы завершенностью действия по отношению к остальному контексту; это и есть «перфективный» тип Макдонелла и Спейера, хотя в действительности в нем отсутствует оттенок актуальности по отношению к настоящему говорящего, и имеется несоотнесенная законченность (пресеченность) действия.

Характерным для второй группы является подотенок результативности — момент пресечения мыслится по отношению к предшествовавшей готовности, способности действия проявиться, качество глагольного действия дано как результат в наступлении действия. К этому «результативно-ингрессивному» типу относится большая часть примеров Дельбрюка — примеры «мгновенного» действия и, в особенности, примеры «прошлого, вливающегося в настоящее говорящего».

«При рассвете говорят в аористе: „Мы достигли конца темноты, явилась сияющая Ушас и т. п.“ При начале жертвоприношения говорят: „Мы возвысили свой голос, чтобы восхвалить богов“. Когда зажжен огонь, то говорят: „Теперь родился Агни, он сел как жрец“. Когда закончено выжимание стеблей сомы, то говорят: „Теперь сома потек в сосуд“ и т. д.

Наконец, для третьей группы примеров — в отличие от «результативно-ингрессивного» типа — моментом пресечения действия является момент окончания действия, которое само по себе могло быть длительным. К этому «детерминированному» типу относятся и случаи «пунктуализированного действия» у Дельбрюка. Для мышления, неразрывно связывающего глагольное действие с его протеканием во времени, т. е. для мышления более поздней стадии возможность объединения столь различных ситуаций во времени в одной грамматической категории придает последней характер расплывчатого полисемантизма.

Но непредубежденное углубление в текст вскрывает другое: архаизм семантики аориста, предшествующей развитию временной семантики в глаголе¹ и дающей не релятивно-временную, а качественную характеристику действия — явление, которому нетрудно найти многочисленные параллели в категориях глагола языков до-флективной стадии развития.²

¹ На довременный характер аориста акад. Н. Я. Марр указывает в своей работе «Язык и мышление», стр. 19.

² Богатый материал параллелей — см. у Л. Леви-Брюля «Первобытное мышление». М., 1930, гл. IV, 2.

Л. В. ЩЕРБА

О „ДИФФУЗНЫХ ЗВУКАХ“

В последнее время Николай Яковлевич Марр ввел в обиход понятие «диффузного звука», заимствовав его, очевидно, из физиологии центральной нервной системы, где говорится о диффузном центральном раздражении, т. е. недостаточно локализованном и дифференцированном, распространяющемся на другие участки нервной системы. В этом смысле можно, очевидно, говорить о диффузном раздражении того или другого двигательного аппарата вообще, и далее, повидимому, о диффузной речевой артикуляции, т. е. такой артикуляции, в которой в силу недостаточной дифференцированности раздражения с абсолютной необходимостью участвуют ненужные с точки зрения ожидаемого полезного действия группы мускулов. Однако, остается совершенно неясным, в применении к речи, какое действие в каждом отдельном случае следует считать бесполезным. Совершенно очевидно, что в произношении, например, русского *n* мягкого (*нь*) участвует, кроме губной мускулатуры, обуславливающей самый шум этого согласного, также и мускулатура языка, поднимающегося в своей средней части к твердому небу и обуславливающего этим его «мягкий» (высокий) тембр. Однако, это действие никак нельзя считать бесполезным, а еще менее неотделимым, так как именно благодаря его наличию или отсутствию мы различаем слово *цель* от слова *цел*.¹

Итак, сложность артикуляции, повидимому, не дает еще никакого права называть ее диффузной, а поэтому возникает совершенно законный вопрос, какие же именно реальные звуки следует называть «диффузными», а если таких реальных примеров нельзя указать, то нужно ли самое понятие «диффузного звука». Я полагаю все же, что оно отвечает чему-то реальному, ибо необходимость этого понятия всегда ощущалась. Только раньше говорилось о «счленораздельных звуках», причем, однако, что такое «счленораздельные звуки», было неясно и в прежние времена. Бодуэн пытался

¹ Не может быть речи о том, что артикуляция *n* мягкого была диффузной в прошлом, так как категория мягких так или иначе является в русском языке вторичной.

определить «членораздельность», как строгую количественную соотносительность членов звукового ряда, считая, очевидно, отсутствие такой соотносительности за «нечленораздельность». В этом, конечно, есть доля истины, которая, однако, далеко не разрешает вопроса, и мне кажется, что он получит большую определенность, если мы рассмотрим некоторые словечки русского языка, зачисляемые в ту недифференцированную кучу слов, которая называется «междометиями», как например: *тфу*, *тьфу*, *фу*, *тпру*, *брр* и т. п., и сравним их с теми внеязыковыми звуками, от которых они, очевидно, произошли.

Прежде всего совершенно очевидно, что мы имеем здесь дело с двумя рядами совершенно разных произношений: «слова» произносятся более или менее так, как пишутся (за исключением, может быть, слова *тпру*, о котором ниже); произношением же соответственных внеязыковых звуков мы сейчас займемся.

Жест, звуковое следствие которого соответствует слову *тфу*, употребляется для удаления изо рта постороннего тела. Например, швея так сплевывает откупленную ниточку, грудной ребенок створожившееся молоко и т. п. Так как удаляемый предмет находится на языке, то кончик языка смыкается с верхней губой, затем за затвором накапливается воздух, и посторонний предмет в момент взрыва выносится усиленной струей воздуха. При этом получается сначала своего рода губное *t*, а затем нечто вроде губно-губного *f*. Все это, конечно, имеет некоторый тембр, который ввиду небольшого губного отверстия, необходимого для получения сосредоточенной струи воздуха, может отдаленно напоминать гласный *и* (русское *у*). Вот этот-то «диффузный», «нечленораздельный» звуковой комплекс и транспонируется в русские языковые членораздельные *тфу*, *тьфу* (и дальше *фу*), немецкое *pfui* и т. п. Этот внеязыковый комплекс неразложим, ибо он ничему не противопоставляется, не входит ни в какую звуковую систему — в этом его «нечленораздельность», или «диффузность» в случае его лингвистического употребления обществом, не имеющим выработанной звуковой системы, а употребляющим в виде знаков несколько таких неразложимых комплексов: отдельные части не имеют повода выделяться, а потому и не выделяются. Но, входя в уже существующую языковую систему, этот комплекс к ней приспособляется и расчленяется, противопоставляясь другим словам, частично схожим, частично различным с ним по звукам.

Не могу указать происхождение внеязыкового звукового жеста, отвечающего русскому *тпру*; ясно только, что он произносится не так, как соответственное «слово». Начинается он с переднеязычного глухого затвора, одновременного с губным. Затворы эти необходимы, очевидно, для нако-

пления воздуха (раскатистые звуки требуют много воздуха),¹ и без взрыва разрешаются губным звонким *г*. Все это, конечно, получает ту или другую тембровую окраску, которая, естественно, может иметь отдаленно губной характер. И этот действительно неразложимый «счленораздельный», «диффузный» комплекс транспонируется в русское языковое *тпру*, в котором, однако, *р* бывает и губное и языковое, очевидно, в зависимости от того, чем является для говорящего в данную минуту это звуко сочетание — «словом» или «профессиональным жестом» (понятно, что это в свою очередь находится в связи с принадлежностью говорящего к той или иной профессиональной группировке).

Наконец, слову *бrr* отвечает жест общего сотрясения всего организма от холода или от отвращения, который ведет при достаточной энергичности аффекта к произнесению звонкого губного *г*, являющегося несоизмеримым с нашей языковой системой и транспонирующегося в два звука «слова».

Все эти примеры — а их можно подобрать много — показывают, что «счленораздельность» звуков или, смею думать, то, что Николай Яковлевич Марр называет их «диффузностью», состоит в отсутствии их соотносительности, но не в потоке речи, как думал Бодуэн, а друг ко другу в звуковой системе данного языка. Совершенно естественно думать, что на заре человеческой речи несколько внеязыковых звуковых жестов человека, начинавших употребляться с речевыми намерениями, были сложными артикуляциями (комплексами артикуляций — одновременных и последовательных) и при своей малочисленности не образовывали системы по своим сходствам и различиям друг с другом, а потому, не разлагаясь на звуковые элементы, противопоставлялись друг другу целиком и являлись таким образом «словозвуками», если можно так выразиться. Это были «диффузные» или «счленораздельные» звуки, которые были диффузными с биологической точки зрения только в том смысле, что говорящие не умели их дифференцировать, не имея к тому повода.

Я полагаю, что «фонематический анализ китайской звуковой системы, сделанный не с точки зрения фонетики европейских языков, а с точки зрения китайского языка, в котором «слова» никогда не делятся морфологическими границами на отдельные звуки, обнаружит для нас некоторую² «диффузность» китайских «словозвуков».

¹ Впрочем, я полагаю, что смычка может иметь здесь и иное происхождение: она в качестве остановки, может быть, является в данном случае инстинктивным выразительным движением.

² Говорю «некоторую», так как наличие понятия рифм в китайском языке свидетельствует все же о каком-то двучленном делении китайских «словозвуков».

А. БЕСКРОВНЫЙ

К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩИХ И ОТВЛЕЧЕННЫХ ПОНЯТИЙ¹

От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности.

Ленинский сборник, IX, стр. 183.

Процесс образования общих и отвлеченных понятий, как он разъяснен в философии марксизма основоположниками ее (Марксом—Энгельсом—Лениным), полностью подтверждается в новом учении о языке, подошедшем к анализу конкретных лингвистических фактов с диалектико-материалистическим методом.

Поскольку в языке, этом «практическом реальном сознании» на стадии развитого мышления, отражение познаваемой природы облекается в форму образования понятий, представляющих в своей сущности выделение и охват свойств, признаков, общих различным чувственным восприятиям вещей; постольку каждое слово в своей семантике выступает, прежде всего, как диалектическое единство общего и конкретного.

«Конкретное потому конкретно, что оно есть сочетание многочисленных определений, являясь единством многообразного.

«... оно представляет собою исходный пункт в действительности и, вследствие этого, также исходный пункт созерцания и представления» (К. Маркс. Введение к критике политической экономии. Соч., XII, стр. 191).

На стадии полисемантизма, и даже ранее, в эпоху перерастания кинетической речи в звуковую, конкретное, представляя собою осознание с известной стороны явления, в практике трудового коллектива, определялось в виде непосредственного физического восприятия, ощущения, именно жестом. Диффузный звуковой комплекс, впоследствии элемент A dag (l) со своими разновидностями dol, del, dey, dl, de и т. п., закрепившись за

¹ О происхождении самого термина 'понятие' см. в сб. I «Письменность и Революция», 1933, статью Н. Я. Марра «Письмо и язык», стр. 23.

семантическими рядами представлений: 1) из области производственно-социальной жизни 'рука' — 'женщина' (где 'рука', как образ производства отражала способ технологического восприятия явлений коллективно-трудовой жизни, а 'женщина' ('мать') — образ осознания общественного строя на стадии матриархата), и 2) из области космического восприятия мира в трех его плоскостях: 'рука' — 'земля' — 'небо' — 'вода' ('небо среднее', 'небо верхнее', 'небо нижнее'), — в достаточной степени соответствовал конкретному, образному мышлению, содержа в себе, как в зародыше, развившееся в дальнейшем могучее средство, подлинный конденсатор мысли — обобщение.

Каждый член ряда разрастался в полисемантический пучок дериватов по законам: функциональной семантики, отождествления и расщепления, вмещаая в один словесный образ множество практически осознанных и идеологически осмысленных признаков, свойств, сторон объективной реальности. Напр.: («рука») || → «дла-нь», укр. «дол-о-н-я», «дел-а-ть» «дел-о»; «дей-ать», «дел-и-ть», «дл-и-ть», «дл-и-на», «о-де-ть», «де-ть», «да-ть», «дар-и-ть», «дар», «у-дар», «др-а-ть», «раз-дор», «дер-у», и т. д.

(«Земля») || → «дол», укр. «дол-ів-к-а», «раз-доль-е», «у-дел», «ю-доль», «дол-я», «даль», «дол-г-ий», «дли-н-н-ый», «дол-г-о», «дол-г».

И если в современном русском языке элементом А [da (r || l)] представлены многочисленные термины различных степеней обобщения и отвлечения значений протяженности пространства и времени, возникших в практике осознания многообразных функций естественного орудия труда (а также кинетической речи), в результате расщепления идеи протяженности, первоначально 'места', 'пространства' ← 'рука' — 'земля', все же «общее» в полисемантическом пучке — особого качества, так сказать, диффузного порядка: оно не совпадает с понятием «общего» понятийного мышления, отличаясь от этого последнего не только количественно, но прежде всего характером диалектического единства в многообразии.

Ранняя стадия: 'рука' (= диффузное многообразие значений из области производства, космических и общественно-тотемических представлений) — жест (диффузное многообразие кинетических образов).

Каждый член ряда в речевом акте на этой стадии является диффузным — общим, а в сумме — конкретное.

Поздняя стадия: (современная): конкретное ← 'рука' (= сумма осознанных признаков особенного) — орган тела → общее.

Итак, процесс образования общих понятий неразрывно идет путем анализа и синтеза: с одной стороны, извлечения из «общего-диффузного»

частного, с другой — конденсирования в одном, общем, все более возрастающего запаса частных признаков «особенного», отвлекаемых от своих конкретных вещей, которые сами в свою очередь представляют, в процессе углубления нашего познания, сумму единства противоположностей.

С развитием тотемического представления о коллективном единстве выступает в подлинном смысле общее понятие тотем.

На более высокой стадии развития коллективной жизни наиболее общие понятия абстрагируются от своего непосредственного конкретного значения: наименование тотема приобретает настолько широкое значение, что оно используется в качестве заместителя самого имени в его конкретном значении и, следовательно, функционирует уже с «отвлеченным» значением, так сказать, первого порядка.

Таким образом, начальная степень обобщения и отвлечения заложена в самой технике мышления на стадии развитого тотемического строя.

В процессе возникновения и нарастания категорий речи, являющихся в своей сущности уже отвлеченными понятиями, первое «отвлеченное» понятие, наименование тотема, вернее «замтотем», становится в кардинальной роли в развитии категорий речи.

Проблема грамматических категорий, социально детерминированных в исторической перспективе их возникновения и нарастания, т. е. в их внутренней взаимосвязи и диалектическом движении, решается в новом учении о языке в плане вскрытия самой техники мышления — основы всякой грамматической системы, точнее ее стройки на известной ее стадии.

В грамматической категории заключена всеобщность: синтез осознанных в своем социально-производственном содержании признаков, свойств или качеств предметов, явлений, в ходе трудовой практики тех или иных человеческих коллективов.

И, само собой разумеется, грамматические категории не стабильны. Процесс их развития отражает рост познания реального мира, стало быть, — развитие мышления и его техники, что идеологически неразрывно с качеством самого мировоззрения в его становлении на узловых этапах, как некоей цельной системы функциональной взаимосвязи языка и мышления, с одной стороны, и способа производства материальных ценностей, т. е. техники в системе общественно-производственных отношений — с другой.

Следовательно, каждая категория речи — результат длительнейшего исторического развития содержания, как процесса осознания качественного многообразия отношений данной вещи, явления к другой, и закрепления этого содержания (семантики), как суммы единства противоположностей,

в структурно-функциональных связях (форме) данной категории в строе языка определенной его системы, на определенной стадии его развития.

«Познание есть отражение человеком природы. Но это не простое, не непосредственное, не цельное отражение, а процесс ряда абстракций, формулирование, образование понятий, законов и т. д. . . . в охватывают условно, приблизительно универсальную закономерность вечно движущейся и развивающейся природы. . . . Форма отражения природы в познании человека; эта форма и есть понятия, законы, категории и т. д.

«Человек не может охватить, отразить, отобразить природы всей, полностью, в ее „непосредственной цельности“, он может лишь вечно приближаться к этому, создавая абстракции, понятия, законы, научную картину и т. д. и т. п.» (Ленинский сборник, IX, стр. 203).

В современной русской речи, в диалектике развития понятия «дол-г», как общего значения функции своего орудия 'рука', слово — категория речи, существительное, еще служит общим понятием, поскольку в его семантике содержится известная сумма признаков, свойств, явлений, мыслимых в тождестве с понятием самой вещи — вместилища этой суммы, хотя уже на границе отвлеченного понятия; где критерий того и другого будет уже не только количественный охват частных признаков в общем, но и, что особенно важно, осознание слова, как разряда явлений в мышлении и строе языка, т. е. категории со своим спецификом «всеобщности вещи, предмета», а не «признака» или «процесса», присущего «вещи», как его носителю.

Таким образом, в диалектике развития понятий: а) 'пространства' — «дл-и-т-ся» и «дл-и-н-а», «дел-и-т», «дол» и «дол-я» и б) 'времени' — «дол-г-ий», «дол-г-о», «про-дол-ж-а-ю», «дол-г-о-та», формативы (суффиксы и флексии) категорий «предмета» и «процесса» с их «признаками», пройдя свою историю различных степеней отвлечения, как рефлексы заместителей имен (детерминативов), именно социальных терминов, следовательно, конкретных представлений, в синтезе со своими основами на стадии флективности переходят в свою противоположность: основа термина («дел-» || «дол-»), некогда конкретное имя, становится таковым лишь при условии слияния с грамматическим показателем, носителем уже отвлеченной идеи, без него же — приобретает лишь общее значение. Таковы: «даль» и «дол-г», будучи выразителями предметности, приобретают наиболее широкое значение из числа общих понятий данного круга представлений. Наряду же с этим, основы с более или менее конкретным значением в синтезе с суффиксом отвлеченного характера, напр., *-ство, сме, -ота, -ость*, получают также отвлеченное значение, именно субстантивированных поня-

тий признака, свойства, процесса: «дол-г-ота», «дел-и-м-ость», «дей-ство», «дей-ств-ие».

Исторически общие и отвлеченные понятия могут взаимно переходить одно в другое. Так, «деять (и)» и «делать» различаются как абстрактное и общее, а с суффиксом — *ство*, вносящим отвлеченное значение, «дей-ств» рядом с «дей-ств-ие» будут различаться: первое — общее, второе — абстрактное.

В абстрактном же понятии «дол-г» одновременно содержатся все три значения: конкретное, что в украинском языке именуется «бор-г», — общее понятие известного значения и отвлеченное — в значении «сознание обязанности».

«Законы абстрактного мышления, восходящего от простейшего к сложному, соответствуют действительному историческому процессу» (К. Маркс. Соч., XII, стр.193).

К. Р. МЕТРЕЛИДЗЕ

О ХОДЯЧИХ СУЕВЕРИЯХ И „ПРАЛОГИЧЕСКОМ“ СПОСОБЕ МЫШЛЕНИЯ

(Реплика Леви-Брюлю)

Чтобы вначале же очертить общие контуры и сразу ввести читателя в курс излагаемого, мы сейчас же формулируем в виде вопросов те положения, к которым мы пришли в результате анализа, как к выводам и заключениям, и которые лежат в основе настоящей статьи.

1. Действительно ли магическое мышление, описываемое Леви-Брюлем,¹ является исключительным уделом примитивного сознания, и правда ли, что иной способ мысли недоступен так наз. примитивному сознанию?

С другой стороны, не наблюдается ли время от времени магический строй мысли и у людей современного нам культурного круга рядом с обычным причинно-следственным мышлением в реальном плане. Когда именно наблюдается и что бы это могло значить?

2. Правильно ли, что источником магического образа мыслей является особое устройство сознания на той ступени развития, которая описывается Леви-Брюлем? или, быть может, это зависит также и от материала мышления, от объектов и задач осмысления, от состава, строения и взаимного расположения данных (объективных) самого опыта.

Приведем ряд фактов в качестве примеров магического мышления и установим общие им черты. Примеры эти мы будем брать большею частью из работ самого Леви-Брюля, чтобы на его собственном материале показать возможность и необходимость иного толкования.

Какое-нибудь частное явление, напр. порубка дерева, может вызвать согласно поверию сильнейшее волнение моря. «На Никобарских островах, — рассказывает один путешественник, — некоторые вожди племени муси, лапаты

¹ Из многих публикаций Леви-Брюля укажем следующие основные: «Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures», Paris, 1922. «L'âme primitive», Paris, 1927. «La discussion. La mentalité primitive (Bull. de la Société française de philosophie, 1923).

и других явились ко мне и просили меня не начинать работы по постройке моей палатки до возвращения их людей из Чаура. Дело в том, сказали они, что вследствие этой новой работы море может разбушеваться, как это однажды случилось по причине порубки дерева на их кладбище у берега моря. Это заставляет их опасаться, как бы их люди не утонули» (стр. 24).¹

Дурное или хорошее происшествие с портретом соответственно отражается на судьбе изображенного в нем лица. Netherwick рассказывает о туземцах Центральной Африки: один из вождей сперва позволил себя сфотографировать, а потом, видимо убоившись фотографии, просил отправить ее подальше. Фотография была послана в Англию. Через несколько месяцев после этого он заболел и болезнь была приписана дурному случаю, который мог произойти с фотографией (стр. 28).

Повсюду встречается поверие, сохранившееся и до наших дней, что произнесенным словом можно вредить, что имя, название имеют силу и могут оказать на вещи и события прямое воздействие. Отсюда же разного рода заклинания, заговоры, колдование словом, а также обычай непрямого наречения, напр., в некоторых районах Грузии до самого последнего времени избегают произнести название змеи (gveli): вместо него говорят uqsenebeli, т. е. «тот, чье имя нельзя упомянуть»; оспу не называли ее настоящим именем, а всегда как «господние гости». Не говорили (и до сих пор еще не говорят, несмотря на то, что мало кто этому верит) «оспа свирепствует» или «у нас оспа», а вместо этого всегда: «к нам изволили пожаловать господние гости», опасаясь, что непочтительный прием, оказанный этой болезни, может разгневать ее, и тогда болезнь беспощадно возьмется за больного и не отстанет, не умертвив. Такое объяснение дают сами хранители этих обычаев.

Количество таких примеров можно было бы умножить по желанию. В этой области, как известно, собран колоссальный материал. Фрезер пытался чисто эмпирическим путем классифицировать эти материалы и установить ряд групп и подгрупп магии: гомеопатической, симпатической, контактной и т. д.

Мы ставим вопрос: типологически, не то же ли самое, не такой же ли, по существу, тип мышления представляют обиходные суеверия, распространенные повсюду и в наши дни, как, напр., следующие, взятые из различных областей провизорно, без всякой системы и последовательности:

¹ Леви-Брюль. Первобытное мышление, русский перевод, 1939. В дальнейшем все ссылки на эту работу, с указанием соответствующих страниц, даны в скобках.

Если черная кошка пересекла дорогу — это предзнаменование несчастья и следует обойти или совсем уж возвратиться назад. Сюда же относится и поговорка о «черной кошке, пробежавшей между» двумя, что якобы ведет к взаимным неприятностям и ссоре.

Если день для кого полон разного рода неудачами и неприятностями, про него говорят: он, видимо, встал сегодня с левой ноги.

Подсчет неизвестного числа предметов, напр., при помощи отрывания лепестков с приговариванием да — нет. Успех или неуспех задуманного, исполнение или неисполнение желания сигнализируется или даже «зависит» от ответа, на котором процесс остановится. Вариация на ту же тему: игра «любит — не любит», распространенная некогда у гимназисток и институток и т. д. •

Если зеркало разбилось — это предвестник большой неприятности.

Заметив впервые новую луну, кто сразу подумает о желаемом, желанное исполнится.

«Счастливые» и «несчастливые» вещи, принадлежности одежды, туалета, разного рода амулеты и т. д., в которые верят, носят с собой при ожидании судьбы и в дни, особо важные для данного лица. В школе дети в день экзаменов берут камушки в карман, чтобы быть твердыми, — «сердце как камень».

Когда звенит в ушах — это предзнаменование несчастья (смерти кого-либо), происшедшего в направлении, куда обращено вещее ухо, и т. д. и т. д. — таких суеверий бесконечное множество. Они встречаются повсюду и не только по причине общей культурной отсталости, малообразованности и темноты. Они распространены в кругах великосветских джентльменов, просвещенных артистов, государственных деятелей, ученых и т. д. не в меньшей мере, чем в массах, и в значительно большей степени чем в кругах пролетариата.

Раз эти суеверия постоянно оживают, возрождаются, циркулируют в известных кругах, а многие из них создаются, «изобретаются», как новые, раз они столь живучи, — очевидно существуют определенные объективные условия, которые их поддерживают, и источники, которые их постоянно питают. Если сознание людей определенных социальных кругов столь часто проявляет склонность к суевериям и пристрастие к ирреальным мыслительным сопоставлениям то должны, повидимому, существовать объективные основания, поддерживающие такие тенденции сознания, ибо нарочно нельзя быть суеверным. Мы полагаем, что существование подобных суеверий имеет реальную основу в объективном составе и строении опыта. Они находят

опору прежде всего в таких условиях жизни, где успех человека зависит не столько от его стараний, сколько от чуждых обстоятельств, воздействовать на которые он не в силах, где нет уверенности в том, что определенное действие и известное средство приведет непременно к цели, где по объективным причинам не может существовать наперед предусмотренного результата и точно рассчитанного целеосуществления, где очень часто все зависит от игры случая, не подлежащего контролю и воздействию, как, напр., положение охотника, рыболова и т. д. Такие условия по существу своему и объективно суть «условия судьбы», «гадательные условия».

В таких «гадательных» условиях приходилось человечеству жить долгий период. Высказывая же сейчас в общей форме заключения, к которым мы пришли в результате анализа, можем сказать, что магический способ мысли возник и утвердился в период господства, главным образом, охотничьего хозяйства и под прямым влиянием непостоянства условий жизни на этой ступени развития. Тем более, что по данным истории материальной культуры и палеонтологии речи, эти состояния (т. е. период магического мышления и охотничьего хозяйства), хронологически совпадают и покрывают друг друга. Чтобы укрепиться в этом предположении, достаточно сравнить верования, обычаи и вообще духовную культуру племен охотничьих, где бы они ни встречались, начиная от американских индейцев до наших сванов, с духовным обликом племен, не дошедших еще до охоты (как, напр., племя кубу, живущее в лесной части о. Суматры, описываемое В. Фольдем, не знающее никаких обрядов, даже во время похорон, никакого магизма, никаких нереальных страхов и не имеющее никаких представлений о сверхреальном, сверхчувственном, кроме представлений вещественно реальных), или уже перешедших эту стадию развития. К этому прибавляется еще одно обстоятельство громадной важности: на этой стадии впервые становится возможным разделение труда по социально-производственным группам и происходит общественная дифференциация, а впоследствии, с сосредоточением магическо-обрядовых сторон жизни в руках особых лиц и особой касты, мы имеем дело уже с элементами социальных отношений господства, подчинения, вынуждения, присвоения и внутри-общественной борьбы. Особенно же знаменательно, что к этой же ступени развития относится, по прозорливому утверждению Н. Я. Марра, возникновение звуковой речи, входящей изначально в так наз. «труд-магическое действо» в качестве магического средства производства и общения.

Но в «положении судьбы» и «гадательной ситуации» приходилось бывать не только примитивным, в них приходится по временам и теперь

попадать людям, в особенности связанным с известными отраслями деятельности, дохода, положения и т. д. И тогда склонность к нереальным связям и ко всякого рода суевериям можно наблюдать не только у первобытных, но даже и в самых интеллигентных кругах.

Они встречаются у весьма образованных и культурных людей почти всякий раз, когда они попадают в условия, где успех и удача зависят от стечения обстоятельств и факторов, которых они не в силах ни предвидеть, ни влиять на них, ни изменить их.

В самом деле, в каких кругах более всего распространены эти суеверия?

Среди людей, преданных азартным играм (карты, тотализатор, рулетка и т. д.), нет такого действительно страстного игрока, который не верил бы в различные предзнаменования об исходе игорного дня, и не был бы полон всяких суеверий. Здесь встречаются известные общие, так сказать, традиционные игорные суеверия, которые, по возможности, соблюдаются всеми, напр., относительно ссужения денег во время игры, перехода счастья в другие руки и т. д. Здесь же встречаются частные и личные предзнаменования, будто бы испытанные и проверенные тем лицом, которое придерживается их, разного рода личные амулеты, как взять карты, когда прикупать и т. д. В общем, этот класс людей наиболее суеверен.

В театральном мире, когда артисту или режиссеру неизвестно, как их работу примет «многоголовое и всеильное существо», сидящее в театре, когда они в напряженной тревоге, не случится ли неожиданная, непредвиденная заминка на сцене, не пустит ли по нечаянности невец «петуха». В этой профессии встречается очень большое количество суеверных, и суеверие доходит иногда до поразительных мелочей. Притом любопытна статистика распределения количества суеверных в артистическом мире: чем ниже квалификация артиста и чем меньше претензий он имеет, тем меньше он суеверен, и чем выше артист — тем более он суеверен. Повидимому, здесь играет роль определенная примиренность со своим положением первых и постоянная тревога за себя вторых. Роль дурных или хороших предзнаменований здесь могут играть самые незначительные, не имеющие к делу никакого отношения вещи. Малейшее изменение раз принятого порядка в их уборной комнате грозит отказом от роли, срывом спектакля и т. д.

Участники биржевой игры, покупающие и продающие ценные бумаги в надежде повышения или понижения и не могущие участвовать в закулисных манипуляциях биржевых акул, — всегда полны разного рода суеверий.

Моряки, в особенности старого флота, парусных судов, мало устойчивых против неожиданностей стихии и в высшей степени зависимые от капризов погоды.

Участники военных операций, когда человеческая жизнь зависит от случая, не поддающегося никакому контролю. Существует целый кодекс специальных фронтовых суеверий вроде запрета зажигания папиросы третьему лицу от одной спички, нарушение чего будто бы предвещает смерть одного из этих трех и т. д.

Нет почти такого, хотя бы высококультурного и интеллигентного, человека, страстно преданного охоте, который в области, имеющей хоть какое-нибудь отношение к комплексу охоты, не был бы подвержен в сильнейшей степени разного рода бессмысленнейшим суевериям, ставящим в связь явления, которые никакого отношения не имеют ни между собою, ни к охоте. Это, однако, не мешает ему же быть во всех других областях своей деятельности, кроме охоты, высоко рациональным человеком с прекрасным чувством реальности, всесторонне взвешивающим во всех других случаях все вещи и события по их разумным основаниям и реальным причинам.

Таким образом, установлен важный факт, что суеверия распространены преимущественно среди людей, поставленных в зависимость от колебания обстоятельств, в ходе которых люди не могут участвовать, которые нельзя учитывать, контролировать, изменять. Суеверия имеют место в условиях, где люди объективно поставлены в гадательную ситуацию, где они не столько активно сами строят свою судьбу, сколько вынуждены ее ожидать и где они сознают это свое положение зависимости от судьбы. Таким образом, возникают как бы известные гнезда суеверий, где они находят прибежище и почву. А рядом с этим в соседних областях опыта они не прививаются, не держатся, не имеют успеха.

Объясняется это тем, что если существуют подобные «условия судьбы», то существует, следовательно, постоянное поле опыта, держащее сознание в состоянии суеверного напряжения, тревоги и страха. Когда же устраняется такая ситуация и люди становятся зависимыми, главным образом, от себя самих, от своей деятельности, падает и суеверие, отгесняется из сознания склонность к нереальным сопоставлениям, мистическим связям и т. д., равно как устраняется основание для мифологического мышления и мифотворчества вообще.¹ Эта мысль с чрезвычайной образностью фор-

¹ Или же мифологические и суеверные мотивы переключаются и переосмысливаются таким образом, что не содержат в себе ничего магического. Напр., обычай прикрывания рта

мулирована Марксом: «Разве был бы возможен тот взгляд на природу и на общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческого искусства, при наличии селфакторов — железных дорог, локомотивов и электрического телеграфа? Разве нашлось бы место Вулкану рядом с Roberts et C^o, Юпитеру рядом с громоотводом, и Гермесу рядом с Crédit mobilier. Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения и, следовательно, исчезает вместе с действительным господством над последними» (Маркс. Введение к «Zur Kritik der Politischen Ökonomie»).

Поставьте дикаря в эти условия жизни — отпадут все его суеверия, страхи, тревоги и прочие образования магического способа мышления без всякой агитации и убеждения словом. Поставьте, с другой стороны, человека культурного в положение, зависимое от судьбы,¹ и он, сам себе удивляясь, станет строить связи и заключения самые невероятные с точки зрения последовательного мышления, станет делать самые чудовищные сопоставления и начнет гадать по всяким мелочам. Заведутся у него «счастливые» и «несчастливые» галстуки, перочинные ножи, разного рода амулеты и т. д., которые никакого реального отношения с тем, что его действительно волнует и тревожит, разумеется, не имеют.

Нужно сказать, что одни из этих суеверий — общего характера и традиционны, вроде поверий о «разбитом зеркале», «черной кошке»; другие — частного и личного порядка и импровизируются каждым от себя. Я знал одного артиста, человека высококультурного во всех отношениях, который придавал суеверное значение всевозможным мелочам, связанным с его сценической деятельностью, будучи убежден, что они приносят ему удачу или неудачу. Во все дни, более или менее важные и ответственные для него, он надевал, напр., самый истрепанный свой костюм только потому, сознался он однажды, что «эта пара много раз испытана, как наиболее счастливая из всех других. При ней всегда удача». Другая пара, с давних пор вышедшая из употребления, осталась совершенно новой, так как первый же день ее носки был полон для ее хозяина неприятностями всякого рода. Особенное пристрастие этот человек проявлял к своим галстукам, которые у него были распределены по степеням от «наиболее счастливых»

при зевании (а позднее перекрещивание рта), бывший когда-то предохранительным жестом от злого духа или болезни, которые могли проскочить в тело через открытый рот, теперь имеет рационализированный смысл: «неприлично, мол, в обществе показывать открытый рот».

¹ «Условия судьбы» дикаря не являются, разумеется, таковыми же и для культурного сознания. См. приложение.

(которые, к слову говоря, находились в плачевнейшем состоянии, что, однако, не мешало нежной привязанности к ним благодарного хозяина) — до «наиболее несчастливых», которые очень редко бывали в употреблении. То же относительно обуви и вообще всех мелочей. Это — суеверия, по существу, индивидуального характера.

Можно, таким образом, отметить, что существуют суеверия, так сказать, «официальные», т. е. традиционные суеверия, и существуют суеверия частные, импровизируемые каждым на основе своего собственного опыта, суеверия индивидуального порядка.

Первые, т. е. традиционные формулы суеверия, по своему смыслу, разумеется, отличны от вторых, импровизируемых в отдельных случаях, ибо первые представляют некоторый исторический клубок, образовавшийся вокруг определенных объектов суеверий, составляющих как бы их ядро («черная кошка», «змея», «луна» и т. д.).

Нет сомнения, что они представляют остатки ранее существовавших воззрений и способов мышления, где эти объекты, надо думать, играли особую роль и имели иной смысл; с ним могли быть связаны представления культового порядка, тотемные, магических сил или еще иные.

Традиционные формулы суеверий несут дополнительный исторический смысл, которого нет у суеверий индивидуальных. Постолюк же не подлежит сомнению, что традиционные суеверия требуют иного подхода и метода анализа, чем эти, изобретаемые при каждой надобности, ибо первые отражают в себе древние слои мировоззрения и мышления, тогда как вторые представляют, хотя чрезвычайно странные и необычайные, но все же только лишь сегодняшние мысли, возникающие при известных условиях и существующие в определенных областях опыта.

Но, с другой стороны, не подлежит сомнению также и то, что эти два ряда явлений имеют несомненно нечто общее. Это общее — прежде всего в тех силах, которые поддерживают существование и тех и других. Причины, их порождающие, и источники, их питающие, должны быть одними и теми же.

Мы ставим себе целью выяснить механизм мысли при суеверном магическом способе мышления и, вообще говоря, мышления в нереальном плане. Почему люди предпочитают такой способ мышления и каково строение поля сознания при этом?

Сознание во всех подобных случаях поставлено в следующее положение: события, в которых заинтересован субъект, складываются и протекают независимо от него, он не в силах воздействовать на них и изменять их; он

не хозяин своей удачи и своей судьбы. Не он сам строит, обуславливает и создает свой успех; события складываются без него, чуждыми силами и навязываются ему. Опыт протекает при этом, как множество частных данных (вещей, фактов, происшествий) и неизвестно, какое из них имеет отношение к желаемому результату и влияет на него. Если бы результат создавался руками субъекта, последовательными его действиями и весь ряд отношений строился бы им самим, ему тогда были бы известны, какие из этих данных имеют отношение к делу и какие нет, он бы умел отличать реальные настоящие связи от нереальных.

Но этого нет, а потому все данные для него равноценны; любое из этих данных может играть роль всякого другого. Любой факт, каждое частное событие или отдельно взятая деталь может здесь играть столь же успешно роль знамения, как и всякая другая. В этом смысле не существует здесь никакого отличия настоящих и реальных от ненастоящих и мнимых отношений. Свобода допущений — неограничена, ибо опыт по своему объективному строению не может опровергать одно допущение в пользу другого, но он не в силах также и подтверждать какое-нибудь из них.

Раз сознание вынуждено осмыслить объективно бессмысленный комплекс, т. е. связывать и соотносить факты, объективно не стоящие в прочных и проверенных связях, — единственная связь, которая возможна при этом, может быть только произвольно устанавливаемой связью, а не смысловой, подмечаемой сознанием в объектах, ибо опыт таковых не имеет и не обнаруживает, в реальном плане их связь немыслима.¹

Следовательно, мышление здесь есть мышление произвольное, не считающееся с реальными и объективными данными вещей не потому, что

¹ Вероятнее всего, что магическое мышление не есть самая начальная стадия в развитии человеческого сознания. По мнению акад. Н. Я. Марра, собственно магической стадии мышления предшествовал значительный период времени господства ручной речи и реального мышления. Животные, напр., никогда не бывают суеверными, они не знают никаких нереальных страхов, нереальных примет, знаков и т. д. Дети до известного возраста также не проявляют никаких суеверий. Для того, чтобы стать суеверным, требуется не только попадать или находиться в «положении судьбы», но и уметь замечать, что находишься в таком именно положении. Животные, не поднимаясь до этой высоты осмысления, никогда не создают себе суеверий, магического комплекса, мистических примет и т. д., они видят только прямые значения, реальный смысл и свойства вещей, поскольку это им доступно, но никогда не воображают дополнительно к этому магических качеств, сил и т. д. Действительно, первобытное общество, следует полагать, не знало магического мышления, они не знали магии, не колдовали, — об этом яркие свидетельства дают рисунки, статуэтки, предметы обихода и т. д., относимые к эпохе раннего палеолита, и их сравнение с такими же документами более поздних эпох, начиная с позднего неолита, где явно выступают магические воззрения.

будто бы тип мышления сам по себе таков (т. е. что мышление мистично), как это думает Леви-Брюль, а потому, что строение опыта таково, что реальных связей между вещами и событиями не обнаруживает.

До сих пор — все исследователи искали разгадку своеобразия мышления примитивных в самом сознании дикарей; между тем, причины эти следует искать не столько в самом сознании, сколько в тех объективных социальных и исторических факторах, которые поддерживают определенные формы мысли, питают и формируют их или не поддерживают и опровергают их.

Нельзя не заметить, что между нынешними обиходными суевериями и магическим мышлением примитивных, описываемым Леви-Брюлем, есть много общего,¹ что типологически они стоят близко друг к другу. Характерными для них обоих являются следующие черты:

1) Связь устанавливается часто между явлениями, не имеющими объективно никакого отношения друг к другу и не состоящими ни в какой реальной связи.

2) В этом смысле устанавливаемая связь «случайна» и «произвольна».²

3) Связь, устанавливаемая таким образом между вещами и событиями, в большинстве случаев — не связь реальной причинности, а связь в каком-то нереальном плане, магического влияния и параллельных соответствий, знамения, приметы и т. д. При этом часто не существует различия между реальным планом и внереальным и произвольным.

Во всех этих случаях мы имеем дело с типом мышления, во многом напоминающим рассуждения некоторых сторонников бесконтрольного эмпиризма, вроде тех, которые считают возможным экономические кризисы поставить в зависимость от солнечных пятен, или появление кометы считают знамением предстоящих общественных бедствий, войн и т. д.

В суевериях, как и при магическом мышлении, вместо реальных причин мы имеем дело со «знамениями», «приметами», которые не сами воздействуют и вызывают события, а служат «символами», «приметами».

¹ Что здесь мы имеем дело с одинаковыми мыслительными структурами, этого не отрицает и Леви-Брюль. «Я не думаю оспаривать, — говорит он, — что все эти факты мистического способа мысли встречаются и в нашем обществе и что подобная структура мышления (мышление „партиципациями“) встречается только у первобытных». Но Леви-Брюль считает эти пережитки в системе логического мышления своего рода атавизмами, нарушающими единство мышления. См. Леви-Брюль. Первобытное мышление, русск. пер., 1930, стр. 4, 71, 320.

² Произвольность связей и соотношений, устанавливаемых магическим мышлением, отмечается и признается почти всеми исследователями культурно отсталых племен (Тэйлором, Фразером, Леви-Брюлем, Турнвальдом, Г. Фишером и т. д.).

Эти два ряда могут совершенно независимо друг от друга протекать, как два параллельных ряда. Между ними никакого реального соприкосновения может не быть. Магическая и суеверная зависимость устанавливается между такими явлениями в виде «параллельных соответствий».

Северо-американские индейцы, говорит Леви-Брюль, часто принимают затмение за предвестие смерти, войн, болезней. Знамение, однако, может и не предшествовать возмещаемому несчастью, оно может произойти и после несчастья: «дикари, видя лунное затмение 1642 г. — повествуют иезуитские отчеты — заявили, что их не удивляет большое избиение, учиненное ирокезами над некоторыми их соплеменниками зимой этого года, так как они видели в лунном затмении знамение этого бедствия, однако наступившее позднее самого несчастья» (стр. 190).

При этом способе мышления любое явление может рассматриваться как знамение и как причина другого, долженствующего случиться позже. Но также и наоборот — последовавшее событие тоже может рассматриваться как «причина» предшествовавшего ему во времени. В связи с этим, справедливо замечает Леви-Брюль, очевидно, мы искажаем эти представления магического способа мышления, истолковывая их в духе нашего закона реальной причинности, который предполагает необратимое временное отношение между причиной — antecedентом и вытекающим из него следствием (стр. 190). На самом же деле эти явления соединены здесь иной связью, чем связью реальной причины.

В Танне (Новые Гебриды) «кажется почти невозможным определить, как идеи туземцев ассоциируются между собою. Однажды ночью на землю выползла черепаха и отложила в песок свои яйца. Она была поймана в этот момент. Никогда на памяти туземцев не случалось ничего подобного. Они сейчас же сделали заключение, что христианство явилось причиной того, что черепаха снесла яйца на берегу. Туземцы сочли поэтому нужным отдать черепаху миссионеру, который принес сюда новую религию» (Леви-Брюль, стр. 45).

«Однажды вечером, — рассказывает Fr. Sagard о северо-американских индейцах, — когда мы беседовали о животных страны, я, желая показать туземцам, что у нас во Франции водятся зайцы и кролики, при помощи теней моих пальцев изобразил против света на стене фигуры этих животных. По чистой случайности туземцы на следующий день наловили рыбы больше обыкновенного; они решили, что причиной богатого улова были именно те фигуры, которые я им показал, и принялись упрашивать меня, чтобы я каждый вечер делал то же самое (стр. 45).

Во всех подобных случаях, по мнению Леви-Брюля, связь между этими явлениями «состоит в мистической связи между предшествующим и последующим, которую представляет себе первобытный человек и в которой он убежден как только он себе ее представил... по представлению первобытного одно обладает способностью вызвать появление другого» (стр. 46). Это объяснение ничего еще не говорит о том, почему сознание примитивного связало именно эти явления между собой, почему оно поставило улов в зависимость от игры теней на стене, а не от лая собаки, от покотившейся звезды или какого-нибудь другого частного явления, происходившего в то же время.

Вот это обстоятельство, оказывается, не имеет никакого объяснения общего характера, потому что, как показывает материал, относящийся к состоянию мышления на этой ступени развития, действительно никакой необходимости нет в том, чтобы сознание дикаря поставило улов непременно в зависимость от теневых фигурок. Оно с такой же легкостью может ставить его в зависимость от любого другого частного явления, и чаще всего так и поступает. С удивительной легкостью отказываясь от одного виновника, ставят на его место любого другого, третьего, десятого, столь же не относящихся к делу, как и первый.

В Новой Гвинее «в то время, когда я поселился со своей женой у моту-моту, — говорит Эдельфельдт, — свирепствовал по всему побережью род эпидемии плевроита... Нас, естественно, обвинили, меня и жену, в том, что мы привезли с собой посланца смерти и стали требовать громкими криками, чтобы мы, а вместе с нами и учителя полинезийской школы, были подвергнуты смертной казни... Следовало, однако, указать непосредственную причину эпидемии. Сначала обвинили бывшего у меня несчастного барана: пришлось его убить, чтобы успокоить туземцев. Эпидемия не переставала косить людей и туземцы взялись за двух моих коз, которых, однако, удалось спасти. В конце концов, проклятия и обвинения туземцев оказались направленными на большой портрет королевы Виктории, который был прибит к стене нашей столовой. До эпидемии туземцы приходили часто посмотреть этот портрет и целыми часами глядели на него. Теперь это безобидное изображение превратилось в причину разрушительной эпидемии» (стр. 45).

Сначала виновником несчастья являются чужестранцы, потом баран, затем две козы, а затем еще портрет, висящий на стене. Это безразличие объекта обвинения, где вместо одного виновника может быть выставлен любой другой, эта легкость, с которой примитивное сознание может ставить

в связь любые явления с любыми, не имеющими друг к другу никакого отношения — все это доказывает с очевидностью, что объективно безразлично сопоставление тех или других явлений: они не контролируемы реальными, объективно существующими связями, все они в равной степени случайны в отношении к искомому событию и в одинаковой мере не относятся к делу; потому и способ связи заключается здесь в том, что связываются вещи и события, между которыми никакой связи не существует. Но это, вместе с тем, единственный способ связи, какой в этих условиях может быть вообще установлен, а потому такой и устанавливается.

Естественно возникает вопрос: почему же сознание выбирает из множества данных вещей и событий именно бессмысленные, т. е. такие, которые объективно к делу не относятся, почему оно хватается именно все мнимое и ложное, делая их виновниками, а не ищет причин более правдоподобных и более реальных?

Правомочен был бы такой вопрос в том случае, если бы объективный состав и строение опыта давало возможность такого различия, если бы опыт что-либо сообщал о реальных факторах и причинах в отличие от нереальных и мнимых. А если этого нет, если все, за что бы ни брались, столь же мало содействует удаче, сколь и любое другое, не относящееся к делу, если в конечном счете результат (удача или неудача) все-таки не зависит от субъекта и наступает независимо от того, берется, ли он за вещи, имеющие реальные отношения к этому,¹ или за вещи, не имеющие к нему никакого отношения, — то в таком положении действительно любое частное явление может играть роль хорошей или дурной приметы, предзнаменования и т. д. столь же успешно, как и всякое иное.

Стало быть, где же человеку в таких случаях искать и как ему найти более близкие и к делу относящиеся связи, если все, что ему дается в опыте, одинаково не относится к делу и результат наступает независимо от всего этого?

В этих условиях сознание устанавливает случайные и нереальные связи между явлениями не потому, что сознание само, как таковое, мистично и не потому, что в нем укоренились и сидят «коллективные представления» с присущими им свойствами мистического характера (напротив того, сами традиционные объекты культа могли приобрести всяческие силы и свойства и стать универсальными агентами только на том основании, что опыт не препятствовал строить всякие бессмысленные и внереальные связи,

¹ Во время охоты, напр., незначительное постороннее явление, врываясь неожиданно и точно рассчитанный план действий, может все перепутать.

и культовый объект мог свободно выступать виновником всего), а потому, что других, более правдоподобных и реально связанных, событий опыт в этих случаях ему не дает. Потому и получается, что в области магических отношений девизом для первобытного мышления, по определению Леви-Брюля, могла бы служить формула «любая причина может вызвать любое следствие». Нет такого превращения, нет такого странного, невозможного действия на расстоянии и нет таких вещей, которых не могло бы представить и связывать суеверное мышление.

Но в тех областях практической деятельности и мышления, где опыт более реально построен и человек является творцом своего положения, — и мышление примитивного строит столь же реальные связи, как и наше. Об этом мы будем говорить ниже.

В тесной связи с этим стоит еще один вопрос, выдвинутый Леви-Брюлем в качестве положения, что «мышление первобытных непроницаемо для опыта», что, яко бы, «опыт ничему не может их учить».

Нужно сказать, что здесь дело обстоит несколько иначе и несколько сложнее, чем это изображается Леви-Брюлем. Будет в высшей степени неточно, если не неправильно, сказать, что «опыт не в состоянии их ни разуверить, ни научить чему-нибудь» (стр. 47). С фактической стороны просто неверно, будто опыт никогда не изменяет мнения примитивных, будто они не заменяют одних предположительных виновников (по нашему — причин) другими. Напротив, они часто это делают, но весь вопрос в том, что они могут или могли бы с таким же успехом и не делать этого, ибо новые заключения, которые они делают вместо отвергаемых, вполне равноценны первым. Когда, напр., не удастся одно обвинение, выставляется другое, третье и т. д. Когда в занесении эпидемии не удалось обвинить непосредственно людей, обвинили барана, когда баран был устранен, обвинили коз, а затем обвинение пало на портрет. Опыт, как видите, влияет и даже как будто «корректирует». Но, отказываясь от одних связей и сопоставлений, делаются другие сопоставления, ничуть не лучшие, а в точности такие же произвольные, как и первые. Отвергая одни связи и принимая другие, такие же произвольные, сознание в подобных случаях все-таки находится в сетях нереальных связей и сопоставлений, постоянно ими питается и не покидает своей позиции. Так что в конце концов безразлично, отказываются ли от первоначально принятых связей и ставят на их место другие, или не отказываются от них. Это не имеет никакого значения, ибо и то и другое равноценно — способ мышления остается тем же. То, что они при этом не изменяют способа мыслимых связей и что все новые

сопоставления остаются такими же произвольными, как и раньше, — причина этого, как мы видели, в условиях жизни и данных мышления, в материале осмысления, т. е. в определенном строении опыта.

Когда Леви-Брюль говорит, что «опыт не учит и не может их научить чему-либо», то это вполне согласуется с основными воззрениями социологической школы Дюркгейма, согласно которым, сознание примитивных наперед заполнено мистическими категориями и представлениями, под которые подводится все преподносимое эмпирическим опытом, и которые, таким образом, ставят свою печать мистического на все окружающее. Выходит, что опыту действительно нечему их учить, да и не может опыт их учить. Здесь не опыт научает людей, а, наоборот, сознание диктует свои законы опыту. Здесь не мышление строится согласно данным опыта, не сознание приспособляется к обстановке, а, наоборот, — весь опыт и всю вещественную действительность сознание строит в мыслях согласно своим категориям. Как мы увидим дальше, это кантовская точка зрения, распространенная на область примитивного сознания. Мы же говорим о том, что такому способу мышления, мышлению в нереальном плане, суеверному способу мышления людей учит именно опыт, такое строение опыта, в котором нет указания на различие реального плана от нереального.

Мы исходим из того, что не сознание предписывает свои законы, принципы и категории действительности, а, наоборот, мышление строится согласно действительности и сообразно требованиям опыта. Сознание определяется вещественными условиями, объективным составом и строением опыта: каково строение и состав опыта, таково и сознание. К такому же заключению нас приводит анализ материала, излагаемого Леви-Брюлем, и нам кажется, что Леви-Брюль этому материалу до известной степени навязывает принципы и предположения социологии Дюркгейма.

Многих исследователей поражало то, что если даже причина события наглядна, дикари ее не замечают, а вместо того ищут магического агента. «Казалось бы, что тяжелой раны от удара копьём вполне достаточно, чтобы объяснить смерть раненого. Тем не менее, если раненый умирает, абигоны в своем безумии доходят до того, чтобы верить, будто не оружие убило человека, а злодейское искусство какого-либо колдуна», замечал без смущения Добрицхофер.

«Укус змеи, удар молнии, рана копьём и т. д. не являются по представлениям примитивных действительными виновниками смерти человека, они, так сказать, только довершают акт „обреченности“ человека» (Леви-Брюль, стр. 248).

Леви-Брюль отмечает, что «примитивные часто твердо верят в связи, которые никогда не оправдываются на деле» (стр. 47). А разве что-нибудь из того опыта, с которым люди имеют дело в этих условиях, оправдывается когда-либо с непреложностью, чтобы им быть вообще в состоянии сопоставить и судить, что оправдывается и что нет? Разве этот человек, который лежит сейчас мертвым перед ними, умирал когда-нибудь до этого от раны? Разве он первый раз получил рану, и сколько вообще людей, не умиравших от раны? Опыт не показывает им, что причина смерти в ранении, напротив того, опыт дает им возможность думать, что виновником даже этой смерти от удара копьем в грудь может быть всякое частное, никакого отношения к этому не имеющее явление. Таких представлений уже не может быть в обществе, в котором тело человека так или иначе изучалось, напр., применением системы пыток, как в средневековье. Здесь уже приблизительно известно, повреждение каких частей тела вызовет верную смерть.

В той области, где люди своим непосредственным участием не строят вещи в опыт, — там опыт не дает им опоры для заключений об однозначной необходимой связи между явлениями, — опыт в этих случаях представляет для них стечение и последовательность фактов, не имеющих друг с другом однозначно смысловой связи, а имеет магические всевозможные отношения, конечный результат которых предопределяется не человеком, а судьбой, роком. Интересно было бы с этой точки зрения выяснить, какую давность имеет представление о судьбе. По всем данным, это представление много древнее, чем представление о реальной причине; с другой стороны, данные языка и мифотворчества указывают, что на известной ступени развития представление о судьбе, роке играло чрезвычайно важную роль в мировоззрении людей, и это продолжалось до тех пор, пока не выступило представление о единоличном божестве, всемогущем, всеведущем и т. д., где рок переосмыслился и был заменен божественным промыслом и предопределением.

Исходным положением у Леви-Брюля в толковании первобытного мышления служит допущение, что сознание примитивных наперед одержимо определенными представлениями, категориями мышления, которые управляют всем мышлением и всеми поступками этих людей, подобно тому, как нашим сознанием и мышлением владеют известные логические категории, без которых яко бы невозможно никакое мышление. Только вместо наших логических категорий первобытное мышление располагает «коллективными представлениями», традиционно навязываемыми каждому отдельному созна-

нию с необходимостью. Все мышление и все поступки примитивных находятся постоянно во власти этих «коллективных представлений».

Возражая против общего положения, будто для того, чтобы мыслить, необходимы, кроме объектов мысли, дополнительно к ним еще какие-то особые категории мышления, будто мышление невозможно без этих категорий, мы, однако, не отрицаем того факта, что в практике мышления всегда можно найти те или иные трафареты, известные традиции мысли. Традиционные формы мышления, разумеется, существуют и до известной степени обременяют актуальное мышление. Тем более не подлежит сомнению существование этих традиционных форм мышления на той стадии развития общества, где чрезвычайно распространены различнейшие объекты культа, магические обряды, институты и т. д.; это факт, и мы не думаем его оспаривать. Мы не утверждаем также и того, что объекты культа и культовые представления людей могли бы возникнуть указанным нами путем, путем произвольных сопоставлений, связей и гаданий.¹

Мы останавливаем внимание читателя на следующем вопросе: пусть известные вещи приобрели значение культовых объектов, — будь это какое-нибудь тотемное животное, солнце, дерево или еще что-нибудь другое; но каким образом возможно, чтобы сознание могло их мыслить виновниками событий, не имеющих к этим вещам никакого реального отношения? Известно, что для магического сознания вещи, выступающие как объекты культа, являются часто самыми универсальными деятелями и могут быть виновниками самых разнородных, а иногда и прямо противоположных событий или явлений. Мы говорим, что культовые объекты могут для примитивного сознания выступать в роли универсальных деятелей — агентов, и, действительно, выступают в качестве виновников самых разнообразных явлений на том основании, что на этой стадии развития общества строение опыта в известных областях позволяет мыслить любую вещь виновником любой другой вещи или события. Тем более, объекты культа могут быть таковыми в отношении ко всему, а, следовательно, они могут быть универсальными деятелями и виновниками. Культовые объекты могли

¹ Напротив того, мы полагаем, что культовые объекты и культовые представления этим путем не могли сложиться, ибо при произвольности мыслительных связей происходило бы не накопление и конденсация мистических сил и свойств вокруг определенных объектов, как их носителей, а, напротив того, происходило бы постоянное рассеивание их на всевозможные предметы, следовательно, мы не имели бы локализацию магических свойств вокруг определенных объектов, т. е. не имели бы культовых объектов. Культовые представления возникали и культовые объекты утверждались по другим причинам и основаниям.

приобретать всеохватывающие и самые универсальные познавательные функции, только в условиях такого опыта.

Однако неправильно будет думать, будто мышление примитивных всегда и при всех случаях подчинено «закону партиципации», будто иных форм мышления, кроме магических и «партиципационных» в практике примитивных не встречается. Мы отмечаем, что фактически неверны утверждения Леви-Брюля о том, будто «для первобытного сознания не существует никогда просто физического факта (стр. 25), без всякого наслоения кульгово-магических свойств и характеристик», будто текущая вода, дующий ветер, падающий дождь и вообще любое явление природы, звук, цвет и т. д. никогда не воспринимаются в обычном порядке и в прямом смысле, а всегда лишь в их магическом значении и мистическими свойствами.¹

Утверждению такого одностороннего мнения, будто между нами и дикарем в отношении мышления, чувств, поступков всегда существует полная разница и нет ничего общего, много содействовало то обстоятельство, что исследователи были слишком односторонни в собирании материалов, а потому и в их толковании. Чаще всего в записную книжку заносился материал, наиболее поражающий своей необычайностью, странностью, причудливостью, и чрезвычайно мало собирался материал, вполне обычный и для нас и для всех вообще. Потому-то, читая некоторые вещи, часто кажется, что речь идет о какой-то другой планете и других существах, и получается общая картина, подобающая более перу писателя с сильным воображением, чем приличествующая научному методу. В действительности таких людей, состоящих сплошь из причуд, мистических страхов и постоянного колдования, нигде не встречается, потому что таких нет и никогда их не было.

Достаточно беглого взгляда на разницу, существующую между обыденными действиями без ворожбы и колдованиями и действиями, сопровождающимися культовыми и магическими обрядами, чтобы убедиться, что жизнь этих людей не состоит целиком из колдовства. Всегда имеется некоторая область деятельности, где они не ворожат, а просто смотрят, просто видят прямое значение вещей, просто судят и просто поступают. Обыденные явления — течение воды, падение дождя, полет птицы, ветер и т. д. могут часто стать для этих людей предметом магических мыслей,

¹ «Сознание первобытного, — говорит несколько далее Леви-Брюль, — уже наперед заполнено коллективными представлениями, под влиянием которых все предметы живые существа, неодушевленные вещи или орудия, приготовленные рукой человека, мыслятся всегда обладающими множеством мистических свойств» (разрядка наша — К. М.). (Леви-Брюль. Первобытное мышление, стр. 47.)

гаданий, предзнаменований, — возможно, эти же вещи служат или служили им объектами культа; вообще говоря, магические представления играли, разумеется, громадную роль в жизни обществ и в истории мышления на протяжении чрезвычайно большого периода, но воспринимаются ли всегда и во всех случаях эти повседневные явления так (в магическом их значении и в нереальном плане связей), или только при известных случаях? При каких случаях это происходит, а при каких нет — вот в чем вопрос. Хотя и «вода» и огонь» и «солнце» и т. д. имели (как это установлено путем палеонтологических изысканий яфетической теорией), а у некоторых народов и сейчас имеют культовое значение и магический смысл, однако не во всех случаях повседневной жизни и обыденной деятельности люди отдавали себе отчет в этом, и отнюдь не при всякой встрече с этими объектами вспоминали об этом. В обыденной жизненной практике все это часто и не приходит в голову, иначе и жить было бы невозможно. Пили воду и повседневно потребляли ее, не всегда вспоминая о том, что это страшное существо, святое, благотворящее нечто и т. д. И при обращении с огнем не всегда были объаты суеверным страхом и тревогами. Одним словом, их жизнь не состояла, не могла состоять из одного только сплошного колдования. Нет такого положения, чтобы магический способ мышления целиком владел всеми помыслами и поступками людей, наряду с этим всегда встречается у них и другой тип мышления, а именно мышление, строящееся вполне в реальном плане. Леви-Брюль слишком часто упускает из виду это обстоятельство, а оно чрезвычайно важно для составления правильной картины о примитивном сознании.

Хотя Леви-Брюль и заявляет в одном месте, что «эти свойства (мистического характера и закона партиципации) относятся только к коллективным представлениям и их ассоциациям», а что касается индивидуальных поступков, то «рассматриваемый индивидуально в той мере, в какой он мыслит и действует независимо, если это возможно, от коллективных представлений, первобытный человек будет чувствовать, рассуждать и вести себя чаще всего так, как мы это от него ожидаем. Заключение и выводы, которые он будет делать, будут такими, какие и нам кажутся вполне разумными для данной обстановки. Если он, например, убил две штуки дичи и подобрал только одну, то он задает себе вопрос, куда же девалась вторая и всячески будет ее искать. Если его захватит врасплох дождь, то он станет искать убежища. Если он встретит дикого зверя, то он постарается убежать от него и т. д. Но из того, что в случаях подобного рода первобытные

люди будут рассуждать, как мы, что поведение их будет похоже на наше, из этого вовсе не следует, что умственная деятельность примитивных повинуетя тем же законам, что и наша... Самый материал, которым орудует эта умственная деятельность, уже подвергся действию „закона партиципации“» (стр. 50).

Нельзя в этих словах не заметить противоречия. Если мышление примитивных всегда, целиком одержимо определенными категориями и мистическими формами, тем более, если «всякий материал, которым оно оперирует, уже заранее обработан в этом смысле и полон мистическими свойствами и элементами» — тогда всякая частная умственная деятельность отдельного индивида должна подчиняться тем же законам. Поскольку коллективные представления, *eo ipse* категории мышления, остаются в силе, то и в частном порядке невозможно мыслить или поступать иначе, как исходя из этих категорий и в согласии с ними, невозможно, чтобы индивидуальные мысли расходились с категориями мышления, подобно тому, как в системе кантовской философии, например, невозможно мыслить в частном и индивидуальном порядке вне категории пространства, времени, причины и других априорных форм. Если бы дело действительно обстояло так, как это изображает Леви-Брюль, то дикари ни в каких отношениях не могли рассуждать и поступать так, как это делаем обыкновенно мы. Они и в индивидуальном порядке должны были чувствовать, рассуждать и поступать каждый раз совершенно иначе, чем на самом деле поступают. А между тем этого-то не наблюдается. Напротив, наблюдается вот что: только в известных случаях и в определенных обстоятельствах примитивные воспринимают те или иные объекты, как носителей магических сил и свойств и тогда может случиться, что они будут выставлять под дождем или совершать над водой церемонию, прежде чем ее вышить; в других же случаях обыденной жизни смотрят на эти вещи просто и здраво с точки зрения их прямых практических функций. «Вода», «солнце» и т. п. только в известных случаях воспринимаются как обладатели магических сил и свойств, но отнюдь не всегда.¹

С другой стороны, и наше мышление, достигшее наиболее высокой ступени развития, не всегда свободно от проявления магического типа

¹ В заключительной главе своей книги «Первобытное мышление» Леви-Брюль старается осветить эти факты, как явления более поздней ступени в развитии первобытного мышления, где, по его мнению, происходит, так сказать, локализация магических сил вокруг определенных частных предметов, «которые представляются как бы конденсаторами, пустыми мистической силы», и тем самым яко бы другие предметы, разгрузившись от магических свойств, делаются мирскими (стр. 311—315).

мышления. Существуют обстоятельства, ситуации и условия, попадая в которые даже вполне культурное сознание делает мыслительные сопоставления и устанавливает связи, подобные типу мышления примитивных. В то же самое время мы не можем их рассматривать как лишь случайные, атавистические рендивы, воскрешение пережиточных и ныне совершенно мертвых способов мысли. Напротив того, можно наблюдать, как люди, попадающие в «гадательные условия судьбы», часто сами сочиняют себе всякие новые магические связи, предзнаменования, приметы, изобретают новые формы суеверий. Леви-Брюль отмечает, что и у нас, наряду с реальным планом мышления, наблюдаются случаи и ирреального типа мышления, магические формы мыслительных связей,¹ но считает он их просто пережитками, «свидетельствующими о существовании более древнего умственного состояния, имевшего когда-то большое распространение» (стр. 42).

Но какое основание имеют эти формы мышления существовать и на сегодняшнем этапе развития, пусть даже как пережитки и почему эти пережитки сохранены нами, почему человек и ныне прибегает к этим формам и способам мысли, на все подобные вопросы Леви-Брюль лишен возможности дать сколько-нибудь удовлетворительный ответ. А между тем, раз эти два типа мышления, две мыслительные структуры существуют рядом и бок-о-бок друг с другом, стало бы постольку же существуют факторы и объективные условия, поддерживающие как один способ мысли, так и другой, прямо ему противоположный. И смотря по тому, какие факторы и условия господствуют вокруг людей, в их сознании будет превалировать тот или иной тип мышления.

Чрезвычайно важно по своему методологическому значению признание Леви-Брюля в предисловии к русскому изданию его книги в том, что «не существует двух форм мышления человечества, одной пралогической, другой логической, отделенных одна от другой глухой стеной, а есть различные мыслительные структуры, которые существуют в одном и том же обществе и, часто, в одном и том же сознании» (стр. 4).

Эти два типа мышления могут существовать вместе. Если у нас и поныне встречаются магические способы мысли, в виде суеверий,

¹ Даже в нашем обществе, — говорит он, — далеко не исчезли еще представления и ассоциации представлений, подчиненные закону сопричастности. Они сохраняются более или менее независимые, более или менее ущербленные, но нескоренные, бок-о-бок с теми представлениями, которые подчиняются логическим законам... наша умственная деятельность является одновременно и рациональной и иррациональной. Практический и мистический элементы сосуществуют в нем с логическими (стр. 320).

то на той стадии развития, которую описывает Леви-Брюль, наряду с «партиципативным» и «мистическим способом мысли» в некоторых областях опыта имелись элементы и реального мышления.

Это сосуществование двух мыслительных структур, и в те и в наши времена, объясняется тем, что в условиях жизни и деятельности всегда встречались, в более или менее выраженной форме, две структуры опыта: сектор опыта, где люди сами творили свое положение и определяли свое существование, и сектор опыта, где люди зависимы от игры случая, которую невозможно предвидеть. В последнем случае приходилось прибегать к магическим формам мысли, гаданиям, знаменьям и т. д., что в общем составляло нереальный сектор, магический строй мыслей.

В первом же случае, в той области опыта, где осуществление намерения и настойчивость человека являются решающим фактором, где человек практически ставит вещи в реальные зависимости друг к другу и сам создает свою судьбу, сам строит условия своего существования, во всей этой области человек и свои мыслительные связи строит реально, делает реальные сопоставления и, вообще говоря, мыслит в реальном плане.

Во втором случае строение и объективный состав опыта таковы, что реальных связей между вещами и событиями не дают, а потому и сознание устанавливает чрезвычайно случайные, шаткие и внереальные отношения.

Следует отметить, что неверно общераспространенное мнение, будто ум человеческий не терпит противоречивых мыслей. Сознание очень часто в истории своего развития было полно нелепейшими противоречиями. Если практика и опыт людей разноречивого состава и разного строения, то мышление прекрасно мирится с самыми абсурдными противоречиями.

Лучше всего эта зависимость способа мысли от объективного строения опыта подтверждается тем, что нереальный тип мышления, магические связи и суеверия наблюдаются только в определенных областях деятельности, а не распространяются целиком на весь опыт. Магические связи и суеверия чаще всего имеют тенденцию локализоваться вокруг определенных объектов и сферы деятельности; у охотника, напр., вокруг всего того, что относится к области охоты, у игрока — вокруг комплекса «испытать счастье» и т. д., одним словом в тех областях деятельности, в которых люди более всего подвержены капризу случая и фактов, не зависящих от человека. Эти же люди вне этого комплекса (охота, игра и т. д.) большей частью совсем не суеверны и не признают никаких суеверий вообще. Чем же другим можно было бы объяснить поразительный факт,

что человек в одной области суеверен (напр. комплекс охотника, игрока), а рядом, в других областях опыта, у него не наблюдается никаких суеверий? Еще более разителен тот факт, что в определенных условиях, а именно в ожидании решения судьбы и при невозможности помочь делу, почти каждый становится до известной степени суеверным и прибегает к бессмысленным гаданиям, которые при других обстоятельствах никогда еще не пришли ему в голову.

Вопрос различного строя мыслей и разных способов мышления на той или иной стадии развития есть, собственно говоря, вопрос преобладания того или иного типа мышления, а не наличия исключительно только одного какого-нибудь типа и тотальной разнородности. На описываемой Леви-Брюлем стадии развития преобладает тип магического мышления; в наши же времена господствующим является мышление в реальном плане.

Это одно уже создает качественное различие между этими двумя ступенями развития мышления. Поскольку условия существования первобытного общества (особенно охотника), зависимость людей от враждебной стихии, представляли не эпизодические, а постоянные условия их жизни и деятельности, постольку и магический способ мыслей встречался у них не как эпизодическое явление, ютящееся в определенных областях опыта (как, напр., у сегодняшнего интеллигентного охотника, игрока и т. д.), а охватывал всю сферу опыта первобытного человека и всю область мышления всего общества. Магическое мышление было господствующим типом мышления. Первобытное общество в целом на этой ступени развития мыслило главным образом магическими комплексами, в форме магического сопрячания, и на все сознание первобытного этот строй мыслей клял свой колорит.

Если сегодня у современного нам культурного человека, у охотника и игрока, всплывают в некоторых областях опыта магические комплексы мыслей, они не находят никакой поддержки в других областях опыта, а в обществе они встречают иронию, враждебный прием, поэтому принуждены ютиться на задворках, в замкнутых обществах (охотников, игроков, духовидцев и т. д.) и в ограниченной сфере опыта, не смея выходить за эти пределы. В первобытном же обществе магический способ мысли не только не встречал препятствия в общественном мнении, но находил широкую поддержку как во всех областях опыта, так и во всем обществе. Магия имела широкие гражданские права, это было господствующим способом мысли.

Это, однако, не должно означать, что на этой ступени развития не существовало никаких зачатков мышления в реальном плане.

В высшей степени характерно, что эти два типа мышления, эти две мыслительные структуры, часто существуя бок-о-бок, никогда все-таки не смешиваются, каждый из них остается своеобразным и непохожим друг на друга. Сколько бы элементы магического мышления ни переплетались с реальным типом мышления, сколько бы они ни пересекались и ни перемешивались между собой, они никогда все-таки не сближаются, разница между ними не стирается, они не становятся одинаковыми, напротив того, яркое типологическое различие всегда остается между ними.

Леви-Брюль всячески старается подчеркнуть, что магическое мышление яко бы не противостоит логическому, будто оно не есть алогическое или антилогическое. Нужно ли это делать?

Поскольку такой тип мышления существует, он, разумеется, противостоит логическому и рациональному способу мысли и постольку же является именно «алогическим» и «антилогическим».

Эти две мыслительные структуры, существуя часто рядом, никогда не сливаются, не переходят одна в другую, они не ассимилируются. Между ними нет постепенного перехода, эволюции одного типа в другой, один не составляет продолжения и развития другого.

Могут возникнуть сомнения, возможно ли так резко разграничивать эти два типа мысли? В истории развития не совершался ли постепенный переход и перестраивание одной формы мысли в другую, магического способа в реальный и обратно. И разве не существует масса случаев, которые можно считать пограничными, где яко бы невозможно судить, имеем мы дело с магической связью или со связью мыслимой в реальном плане. Напр., про вечернее зарево на горизонте говорят, что это примета к дождю, не ведая ни о каких метеорологических законах. Собака завывает — это предвестник чьей-либо смерти.

Нужно сказать, что дикарь по поведению птичек прекрасно, напр., разбирается в том, что происходит по ту сторону кустов, даже не имея никакого представления о существовании общего закона причинности. Поведение птиц (спугнутых, издающих крики или спокойно сидящих) есть для него показатель известных происшествий, которых он прямо не видит, но ни в коем случае не магическая примета. Поведение птиц в этом случае стоит для него в реальной связи и зависимости с тем, что происходит за кустами.

Когда же ведун гадает по полету птиц о судьбе человека или о предстоящих событиях, здесь мы имеем построение магического порядка и мистическую связь, ибо зависимость в реальном плане здесь не предполагается. Если бы при этом рассуждали так: птица чувствует каким-то образом несчастье, которое должно произойти с человеком и под влиянием этого летит таким-то образом, тогда здесь не было бы никакого суеверия, а лишь сильно выраженная фантазия, вранье, ошибка, но во всех случаях предполагалась бы реальная связь и реальная зависимость между этими явлениями.

Характерным для магической связи, магической приметы, знамения является то, что предполагается параллельное течение событий и параллельные соответствия между ними, а не прямая связь и не прямая зависимость одного от другого.

Нельзя про то или иное знамение наперед говорить, мыслится оно в реальном плане, как реальная примета, или в мистическом плане параллельного соответствия. Нужно посмотреть и узнать, как оно на самом деле мыслится, если мы не хотим наши произвольные мнения навязать действительности. «Лягушки квакают — это к дождю», — это может быть мыслительным построением вполне реальным, а именно, когда хотят сказать, что лягушки имеют обыкновение усиленно квакать, предчувствуя дождь физиологически тем или иным образом; и даже в тех случаях, когда думают что кваканье лягушек влияет на атмосферу (воздух, тучи и т. д.) и вызывает ливень, — это будет заблуждение, абсурд и т. д., но все же мышление, старающееся установить реальные связи, и постольку же мышление во вполне реальном плане. В этих случаях предполагается вполне реальная связь между явлениями, и поведение лягушек является реальной приметой.

Но, с другой стороны, эта же примета может мыслиться как магическая, как связь нереальная и мистическая, напр. в том случае, когда полагают, что кваканье лягушек — это само по себе нечто вещее или что дождь может это слышать или что дождь находится во власти лягушек и т. п.

Не следует смешивать ошибочные заключения, даже самые абсурдные и дикие, с магическим планом мысли. Уже то обстоятельство, что имеется возможность говорить о неверности заключения и об ошибке, с очевидностью свидетельствует о том, что тут мы имеем дело с реальным планом мысли, а не магическим, ибо в последнем случае не существует никаких ошибок, в параллельных соответствиях не может быть и не бывает никаких «оши-

бок», «несоответствий» и ничего невозможного; здесь все возможно; если амулет не действует, это значит — другой противоамулет уничтожает магическую силу этого, или сам он потерял силу.

Не следует также фантастический план мышления принимать за магический: человек может взлетать в воздух, стоять на облаках, слезы его могут образовывать ручей и т. д. — все это в фантазии возможно мыслить все еще в реальном плане, не беря в помощь магические силы и отношения.

Быть может в некоторых случаях действительно возможно говорить о смещении реального плана мысли с нереальным, когда, напр., болезнь представляют как какую-то чуждую, злую силу, проскочившую в организм и разьедающую его или когда смерть представляют как особое существо, стерегущее человека.

Реальный план мышления и магическое мышление, — здесь мы имеем дело с двумя совершенно разными строениями мысли; это с особенной очевидностью обнаруживается в тех случаях, когда расстраивается магический комплекс и из его же составных частей строится рациональный контекст.

Человек убежден в магической силе чеснока, будто бы действующей как магический предохранитель от болезней. Помогите ему переключить этот магический комплекс мысли, напр., осмыслить этот же чеснок в этом же контексте несколько иначе. Подскажите ему, напр., что эта вещь имеет дезинфицирующие свойства (убивает микробы), и посмотрите, что произойдет в строении мыслей. Старый комплекс с магическим способом связи сразу распадается или совсем отбрасывается, и те же вещи, которые раньше воспринимались в иной связи, смыкаются сознанием в совершенно новый контекст, с иным способом связи, а потому в ином осмыслении и в ином плане. Здесь ясно видно, что первоначальный мыслительный комплекс не развился и не ремонтировался в новый, а целиком расстроился или оказался отброшенным, от него отказались, и сознание построило совершенно иного рода сочетание, образовало совершенно новый контекст, состоящий хотя из тех же объектов, что и первый, но ничего общего с первым не имеющий.

В этом смысле развитие и переход одной мыслительной структуры в другую не наблюдается. Мышление в реальном плане ни в коем случае не составляет развитой формы магического мышления. Развитие мышления состоит в том, что оно отбрасывает магические формы и способы, отбрасывается от них и строит мыслительные контексты совершенно другим образом и в другом плане и действительное развитие и усовершенствование обеспечено только такому способу мысли, реальному мышлению.

Поскольку эти два типа мышления сосуществуют, они всегда составляют две обособленные и противоположные структуры.

Когда мы говорим о сосуществовании рядом двух структурно и качественно различных способов мысли, это, разумеется, не значит, будто они представляют готовые формы и постоянные категории сознания. Это должно значить, что в одном случае сознание составляет контексты и располагает материал как реальные зависимости, а в другом случае располагает материал параллельными соответствиями в плане не прямых и нереальных воздействий.

Борьба между этими двумя способами мысли заключается не в эволюции одного типа мышления в другой, а в том, что один из них, в той или иной области деятельности и практики, получает перевес и вытесняет противоположный способ мысли. Процесс этот продолжается до тех пор, покуда определенный способ мышления не утверждается — как господствующий за счет искоренения других, противоречащих ему в общественно-исторической практике.

Отвергается ли этим преемственность и стадийность в развитии мышления? Нисколько. Правда, этим вопрос несколько усложняется, но это не плохо, — потому что вероятнее всего история мышления представляет не одну гладкую прямую и простую последовательность стадий, а внутри каждой стадии имеются свои противоречия. Вопрос стадийных смен придется учитывать и в развитии магических форм (ибо на разных ступенях они представляют далеко не одно и то же), и в развитии реального типа мышления.

Объективные возможности и перспективы развития, которые имеет реальное мышление, совершенно несравнимы с теми, какие имеются на стороне магического мышления. Последнее не имеет никаких опор для развития в смысле уточнения познания и приближения к действительности, ибо в этой области не существует правильного в отличие от ложного и принуждено вращаться всегда в области традиционно культовых образований, приписывая им познавательные функции, тогда как мышление в реальном плане, сколько бы идеологических извращений ни наслаивалось на нем, развивается, как указывал Ленин, именно в этом направлении. Происходит это потому, что социально-вещественная действительность, в соответствии с которой строится это мышление, само имеет бесконечные возможности развития.

Религиозные верования, надо полагать, представляют в значительной степени тупик, идущий от магического способа мысли. Развитие их

не приводит к реальному типу мышления. Реальный план мышления, научное мышление, не возникает из религиозных идей. Религиозные воззрения, сколько бы они ни развивались, никогда обычно не перестраиваются в научный способ мысли. Это система воззрений и способ мыслей, от которых отказываются, которые отбрасывают, которые вытесняются, но никогда не перестраиваются в действительное научное мышление.

При таком понимании вопроса преемственность в развитии мышления не отвергается. Только преемственность эту придется понимать не в смысле самостоятельного развития одних форм мысли из других, а таким образом, где каждую форму мысли и стадию мышления надо будет рассматривать, как функцию от определенных материально-исторических условий. Преемственность в развитии мышления следует понимать, как развитие его (мышления) под непосредственным влиянием и под давлением социально-исторических условий жизни, формирующих сознание людей.

Конечно, сознание, поставленное перед непривычными ему задачами, новыми проблемами и новым материалом, будет делать попытки старыми навыками освоить и осмыслить новый материал, разрешить новую ситуацию или проблему посредством привычных ему традиционных приемов, но оно будет терпеть неудачи до тех пор, покуда материал не навяжет ему решения, действительно отвечающего задаче, следовательно, не обучит его новому способу мыслесложения, разбивая этим старые навыки, традиционные способы мысли и старые иллюзии. Таким образом, объективный состав задач, встающих перед сознанием, объективное строение опыта является одним из решающих факторов в формировании способов мышления; сознание вынуждено отказываться от способов мысли, не приводящих к решению, искать и находить новые формы и новые способы.

Заключения, к которым мы приходим, можно формулировать следующим образом: люди суеверны не потому, что существуют суеверия (как это получается, согласно теоретическим построениям Леви-Брюля), а суеверия существуют потому, что люди суеверны. Людей же делают суеверными условия их существования.

* * *

Вопросы первобытного сознания часто стояли в центре теоретического интереса. Существует ряд теорий, пытающихся объяснить необычайные сочетания и непонятный для нас ход мыслей у примитивных.

Предполагали, что это происходит от разного рода страхов, которыми будто постоянно окружены дикари, от удивления перед необычайными и непонятными явлениями, грозой, звездным небом, или явлениями сна, от

рефлексий и размышлений дикарей над этими непонятными им явлениями и т. д. Все это создавало, яко бы, у первобытных людей представления о разных духах, невидимых силах и т. д., которыми они населяли мир.

При этом теоретики редко отдавали себе отчет: откуда берутся страхи? как могли люди изобрести себе мнимые страхи? Ведь животные не знают человеческой формы страха, они не знают никаких нереальных страхов. И страх как таковой, напр. страх животный, никаких идей не создает, ничего нового не прибавляет к предметному содержанию сознания.

Или, — откуда берется способность удивляться? Чтобы уметь удивляться, для этого нужна весьма высокая ступень развития мышления; способность удивляться не есть дар природы. Попробуйте удивить, напр., корову и вы увидите, какие непреодолимые трудности это представляет. От состояния смущения до способности удивляться и замечать, в чем дело, — громадное расстояние, которого не перейти ни одному животному.

Вообще говоря, почему какие-либо явления могут быть для первобытных «необычайными»? Что может быть более обычного для существ, населяющих землю, чем звездное небо, гроза и т. д.?

Разве существуют для первобытного сознания какие-нибудь явления, непонятные ему? Многие этнографы часто отмечали, что «народы, стоящие особенно низко по развитию, обычнее всего никакого интереса не проявляют даже к вещам совершенно необычайным и новым для них». Вещи эти оказывались чрезмерно далекими от их умственного кругозора, чтобы удивить их. А с другой стороны, все явления природы настолько им привычны и обычны, что никаких вопросов и мыслей не возбуждают. Ни одно явление природы для дикаря не является непонятным; в этом смысле они «все знают», «все понимают», они «всеведущи».

Входить подробнее в критику этих очевидно несостоятельных взглядов мы не будем. Представители английской антропологической школы (Г. Спенсер, Тэйлор, Фрэзер и др.), беря в основу своих теоретических построений о первобытной психике анимистическую гипотезу, переносили опыт и представления современного им религиозного сознания (умевшего легко представлять существование особых духовных агентов, вроде духов, существующих отдельно от тела, чертей, ангелов и т. д.) на дикарей. Дикарям приписывали способ мыслей и рассуждений, вовсе им не свойственные, и теория заставляла их мыслить на подобие философов.¹

¹ «Повидимому, первобытных людей более всего занимали две группы биологических вопросов (причины сна, смерти и т. д.). Наблюдая эти явления, древние философы дикаря (!), вероятно прежде всего сделали очевидное (?) заключение, что у каждого человека есть

Почти все исследователи первобытной психики (Спенсер, Тэйлор, Фрэзер, Боас, Риверс и даже Вундт и Фрейд) предполагают тождественный тип мышления и умственного механизма у всех обществ, на всякой стадии их развития. Большинство из них, исходя из предпосылок классической ассоциативной психологии, полагало, что законы ассоциаций, естественное и неизбежное применение принципа причинности должны были везде породить одинаковое мышление.

Новую позицию заняла в этих вопросах французская школа, считающая своим основоположником Эмиля Дюркгейма. Дюркгейм и Леви-Брюль усматривают существенную разницу между мышлением примитивных и нашим, качественное различие между ними, и выставляют положение, что всякая попытка объяснить мышление первобытных тем менее достоверна, чем она правдоподобней кажется с точки зрения нашего мышления.

Это качественное различие, по мнению названных авторов, состоит в том, что первобытное мышление опирается на иные категории мышления и исходит из мыслительных принципов, совершенно чуждых нашему. Если наше мышление обычно движется в формах логических категорий, то первобытное мышление целиком определяется «мистическими представлениями», присущими сознанию на этой ступени. Эти теоретические предпосылки, в основном, как это легко видеть, совпадают с априористическими принципами кантовской гносеологии и повторяют кантовскую точку зрения с той лишь поправкой, что трансцендентальные категории заменяются «коллективными представлениями» и вместо трансцендентального а priori вводится, так сказать, социальное а priori.

Об этом говорит сам Дюркгейм. «Основное положение априоризма гласит, что знание состоит из двоякого рода элементов, не сводимых друг к другу (из эмпирически данных ощущений и априорных категорий. — К. М.). Наша гипотеза, — говорил Дюркгейм, — удерживает целиком этот принцип».

Дюркгейм, как и Кант, полагал, что формы и категории рассудка, согласно имманентным законам, эмпирически данный материал организуют в тот или иной стройный мыслительный опыт. Он следующим образом рисовал отправное положение своих теоретических построений: «В основе наших суждений имеется известное число существенных понятий, которые управляют всей нашей умственной жизнью; философы со времен Аристотеля

называют их категориями разума... Они являются как бы основными рамками, заключающими в себе мысль. Последняя может освободиться от них, только разрушивши самое себя... Они составляют как бы костяк мысли.¹

Дюркгейм при этом настаивает только на одном, на социальном происхождении этих категорий мышления, которые Кант и кантианцы считали трансцендентальными. В остальном же он остается в полном согласии с основными принципами кантовской теории познания.² Попытка Дюркгейма состоит в конце концов в том, чтобы подвести социологический фундамент под отвлеченно логические категории и принципы кантовской гносеологии, чтобы аисторические тенденции рационалистической метафизики неизменных и абсолютных форм мышления смягчить социологическими коррективами, вводом в них исторического момента и момента развития.³

Леви-Брюль, поскольку он является продолжателем идеи Дюркгейма, исходит из тех же предпосылок. Сознание первобытного, по его мнению, находится целиком во власти известных мистических представлений. «Коллективные представления, которыми одержимо первобытное сознание», представляя собою «не продукты рассуждения, а продукты веры», являются категориями, согласно которым первобытное сознание строит весь свой опыт и все свои поступки. «Коллективные представления» являются для первобытного сознания тем же, чем для нас логические категории (стр. 90).

Однако, эти понятия первобытного сознания глубоко отличны от наших, а, следовательно, отличны от наших и эти умственные операции первобытных (стр. 72). «С одной стороны, они не имеют логических черт и свойств, с другой стороны, не будучи чистыми представлениями... они обозначают или, вернее, предполагают целый комплекс таинственных сил и свойств, приписываемых предметам».

¹ E. Durkheim. *Les formes élémentaires dans la vie religieuse et le système totémique en Australie*. Paris, 1913. Цитировано по русскому переводу последней главы этой книги, помещенной в „Новые идеи в социологии“, сб. № 2, стр. 27—28.

² „Категории мышления, — говорит Дюркгейм, — не только не зависят от нас, но, напротив, они предписывают нам наше поведение. Эмпирические же данные имеют диаметрально противоположный характер. Ощущения и образы относятся всегда к определенным объектам... В силу этого мы можем относительно свободно распоряжаться эмпирическими данными, имеющими подобное происхождение. Правда, когда ощущения переживаются нами, они нам навязываются фактически. Но юридически мы остаемся хозяевами их и от нас зависит рассматривать их так или иначе, представлять их себе протекающими в вном порядке и т. п. По отношению к ним ничто не связывает нас“ (ibid., стр. 35).

³ Категории человеческой мысли, — говорит Дюркгейм, — никогда не закреплялись в одной неизменной форме. Они создавались, уничтожались, пересоздавались беспрестанно. Они изменялись в зависимости от места и времени“ (ibid., стр. 36).

Представления примитивного сознания «даны всегда в известной связи в предвосприятиях, предпонятиях и почти, можно сказать, в пред-рассуждениях» (стр. 72).

Иначе говоря, они действуют в пределах примитивного мышления в точности по образу и подобию кантовских «антиципаций опыта», т. е. строят опыт по предписаниям сознания. Мысль Леви-Брюля заключается в том, что «характер связей этих представлений предопределен одновременно с этими представлениями» и что «в установленных таким путем предассоциациях особенно проявляется перевес партиципации и слабость связей собственно интеллектуального мышления» (стр. 62).

Если Тэйлор говорил «о дикаре философе» и рисовал мышление первобытных как анимистическое мышление, согласно которому «дикарская теория мира» приписывает будто все явления произвольному действию личных духов, которыми первобытное анимистическое сознание заполняло весь окружавший его мир, — то поправка Леви-Брюля заключается в том, что вместо рефлексии отдельных дикарей, создававших представления о духах, он выдвигает «коллективные представления» как социальные образования сознания, «обросшие толстым слоем традиционных мистических свойств», и вместо личных духов, как квази-реальных причинных объяснений, он выставляет действие основного закона первобытного сознания — закона сопричастия (*la loi de participation*), согласно которому примитивное сознание наделяет мистическими силами, влияниями и свойствами все доступные ему явления.

Нельзя не признать, что по сравнению с анимистической гипотезой и теорией преанимизма идеи Леви-Брюля представляют громадный шаг вперед. Это бесспорно, равно как и то, что чрезвычайно много ценного и истинного в работах и Дюркгейма и Леви-Брюля. Но дело не в этом, а в порочности тех основных предпосылок, которые сначала же направляют все исследование по неверному пути: они заключаются в рассмотрении категорий мышления, как отправных пунктов анализа.

По мнению Дюркгейма, а также и Леви-Брюля, все поступки, деятельность, мышление и весь опыт людей определяются особыми категориями, присущими сознанию. Таким образом, оказывается, что сознание предписывает законы воспринимаемому им миру. Полное «коллективными представлениями», «предвосприятиями», «предассоциациями», настроенное заранее мистически, сознание кладет эту печать на всю окружающую реальность, приписывая вещам и событиям предвзятый мистический смысл. Соответственно этому и «реальность, в которой живут и действуют примитивные,

сама является мистической» (стр. 21), потому что сознание поставило на нее свою печать и сообщило действительности мистические качества.

Все восприятия людей оказываются целиком мистическими, потому что традиционные коллективные представления вносят в восприятие любых объектов определенные мистические элементы (стр. 29).

Все действия и поступки первобытных ориентированы мистически и имеют в виду мистические воздействия (стр. 148—200), потому что мир, в котором приходится действовать им, есть мир, наделенный сознанием, мистическими свойствами и смыслом.

Почему это так, — этого вопроса Леви-Брюль не освещает. Он полагает, что коллективные представления, которые владеют людьми, позволяют им видеть мир только в таком свете. И отсюда (от этих категорий первобытного сознания), как с установленного факта, он начинает свой анализ. «Что касается нас, — говорит он, — мы начинаем с анализа этих представлений без всякой предвзятой мысли относительно умственного механизма» (стр. 14).

Леви-Брюль не касается того, откуда взялись такие формы мышления и мыслительные связи мистического порядка, почему они утвердились.

Несмотря на то, что в общей программе школы Дюркгейма это требование, вообще говоря, фигурировало, как положение о том, что «категории мышления» не представляют неизменных форм и что они «изменяются в зависимости от времени и места» (Дюркгейм) и требование вскрытия социальных основ происхождения этих категорий, основные установки этой школы (опирающейся исключительно на данные самого сознания и исходящей из имманентных сознанию категорий) не позволяют ей покинуть рамки сознания и искать причины и основания того или иного строения мышления вне пределов сознания, в объективно-материальных факторах и исторических условиях опыта не позволяют ей из хорошего пожелания сделать столь же хорошие и конкретные выводы. Далекое не безупречное построение Дюркгейма, будто люди мыслят в формах, взятых по аналогии от строения общества, создавая свои категории мышления (напр. коллективные представления) просто по образцу организационных форм самого общества. Если бы структура общества непосредственно, всеми своими формами так прямо и переносилась в систему мышления и строение мыслей являлось прямым повторением по аналогии организационных форм общества, то сознание при таком механистическом повторении было бы неспособно что-либо разрешать, оно потеряло бы весь свой смысл, оно не помогало бы людям, а только мешало бы им.

Когда Леви-Брюль доказывает, что «пралогическое» мышление примитивных отлично от нашего и ориентировано иначе, что в его основе лежат другие категории, отличные по существу от наших, когда, таким образом, особенности примитивного мышления хотят объяснить особенностями категорий этого мышления, — то здесь дело сводится просто к тавтологии. Во-первых: то, что подлежит объяснению и доказательству, здесь бездоказательно принимается в качестве предпосылки и делается фундаментом всех дальнейших рассуждений.

А, во-вторых, при такой постановке вопроса пришлось бы признать, что «коллективные представления» первобытных до сих пор еще владеют нашим мышлением, поскольку обиходные суеверия того же типа и порядка распространены повсюду и встречаются даже у весьма просвещенных людей. Так и поступает Леви-Брюль, допуская возможность сохранения магического мышления в качестве атавистических пережитков (стр. 42 и 320).

Это, однако, представляется маловероятным, ибо приводит к абсурдному и противоречивому представлению о каких-то биологических и бессознательных атавизмах в актуальном мышлении.

Мы полагаем, что дело не в категориях мышления, как таковых, будто бы определяющих формы мышления и даже самой действительности, а в различном строении мыслей в зависимости от того, какой материал приходится осмысливать, с каким объективным составом и какой диспозицией опыта приходится иметь дело общественному сознанию. Ответ на все выдвинутые выше вопросы следует таким образом искать в самом материале осознания. Определенный материал требует определенных ему соответствующих форм мысли, допускает одни приемы осмысления и противится другим.

С этой точки зрения становится вполне понятным, что даже культурные люди, будучи поставлены действительно в гадательные условия жизни, могут усвоить ряд бессмысленных суеверий, т. е. проявлять тип мышления, вполне подобный магическому, который Леви-Брюль считает исключительным уделом первобытных. И это случается не потому, что в них внезапно просыпается дремлющая психика первобытного дикаря с его мистическими идеями и «коллективными представлениями», а потому, что они действительно заново начинают магически строить свои мысли и верить в них. Если бы люди не помнили и не знали никаких традиционных суеверий, они в этих условиях все равно стали бы импровизировать их, что в действительности мы и наблюдаем.

Все до сих пор существующие теории и классическая школа (Г. Спенсер, Тэйлор, Фрэйзер), и теория преанимизма, и школа Дюркгейма в объяснении явлений сознания исходили из факторов, имманентных сознанию, из законов, норм или категорий сознания. Классическая школа исходила из положения тождественности законов, присущих будто бы самому мышлению при всех условиях и во все времена. Школа же Дюркгейма исходила из особых категорий, присущих опять-таки сознанию, но различных на разных ступенях его развития.

В этом состояло основное заблуждение всех буржуазных исследователей примитивного мышления. Факторы, образующие те или иные определенные способы мыслей и причины, движущие сознание людей, следует искать не в самом мышлении, а вне его, в объективной социальной действительности, как это делали основоположники марксизма.

Когда говорят о материально-вещественной или объективно-исторической обусловленности форм сознания и способов мышления, вопрос во всех этих случаях касается зависимости сознания от объективного состава и строения опыта. В чем, напр., выражается роль общественных отношений в формировании способов мышления, каким образом общественные отношения являются факторами мыслесложения, как они могут влиять на склад мыслей и обуславливать формы общественного сознания?

Многие думали, что здесь существует зависимость такого порядка, что мышление просто повторяет и прямо берет организационные формы, характеризующие общество, делая их нормами мышления. Думали, что существует прямое соответствие и аналогия между общественным строем и строем мыслей. При этом заботились только о том, чтобы как-нибудь установить внешнее сходство между организационными формами общества и формами мысли. На подобные взгляды опираются теоретические построения Дюркгейма и Мосса. Так думают любители упрощения сложных и глубоких вопросов. Некоторые часто пытались, напр., субординацию и иерархию понятий (родовых, видовых и т. д.) в учении традиционной логики толковать, как прямое перенесение феодально-сословной общественной иерархии в область мышления. Несмотря на то, что здесь, быть может, не исключена возможность кое-каких соответствий, все же подобные рассуждения представляют бессмыслицу, ибо здесь мы имеем дело с двумя областями, сущность зависимости между которыми ничуть не становится более понятной, от того что устанавливается чисто внешняя аналогия между ними. Вообще говоря, путем чисто внешних сопоставлений, при известном усилии, подобного рода соответствия можно проводить везде и в чем угодно.

Это является грубейшим извращением основной идеи марксизма и подобная вульгаризация недопустима.

Формы мышления и состояние общественного сознания зависят, по мнению Маркса, от социально-производственных условий и общественных отношений в том смысле, что последние определяют потребности людей, расставляют их известным образом, группируют интересы вокруг определенных задач, разделяющих и сплачивающих людей в известные социальные образования. Они образуют классы, группы, прослойки и т. д. и соответствующие им интересы, выдвигают определенные проблемы, заставляют действовать в определенном направлении, ставят перед людьми известные задачи на разрешение и т. д.

Таким образом, общественные отношения, социальные интересы, классовая борьба являются факторами, формирующими общественное сознание, поскольку они определяют интересы людей, ставят задачи, выдвигают новые объекты, темы, проблемы и т. д. и сообщают сознанию людей определенное целевое направление, отвечающее их интересам. Синтетический каучук, азот, стратосфера и т. д. не всегда могли быть предметом человеческих стремлений и мыслей. Их выдвинули определенные общественно-исторические условия, подобно тому, как задачи пролетариата как класса, или вопросы внутриатомной энергии, высоких давлений, глубоких вакуумов и т. д. не могли стоять в IX или XVI вв.

Новые объекты и задачи диктуют сознанию, поскольку оно занято ими, определенные способы, формы и приемы их осмысления. Мышление в этих случаях не просто воспроизводит тот или иной общественный строй — это было бы бессмысленно — а действует каждый раз, согласно смыслу этих объектов, строит мыслительные диспозиции, разрешающие данные задачи.

В. АДРИАНОВА-ПЕРЕТИЦ

СИМВОЛИКА СНОВИДЕНИЙ ФРЕЙДА В СВЕТЕ РУССКИХ ЗАГАДОК

Среди современных направлений в этнологии нельзя не отметить течение, представленное школой З. Фрейда. Его теория, и в целом и в частности, подвергалась за последние годы серьезной критике в марксистской литературе, так как, по справедливому замечанию одного критика, «положительная оценка некоторых элементов учения Фрейда вовсе не исключает ряда существенных возражений против его формально-психологической теории в целом».¹ В частности, что касается его этнологических построений, то его попытку приравнять психику невротика к психике первобытного человека, конечно, нельзя признать полностью удачной, но некоторые выводы и Фрейда и его школы, касающиеся области бессознательного и ее обнаружений у человека, должны быть учтены при изучении первобытного творчества.

Для этнологии, несомненно, интересна та часть учения Фрейда, которая трактует о символике сновидений, как непосредственно примыкающая к вопросу о формах ассоциативной деятельности, протекающей в области бессознательного. Конечно, при толковании этой символики легко впасть в субъективность и произвольность, если действительно пользоваться при этом «общими правилами символики», в чем упрекает Фрейда цитированный выше критик (стр. 63). Но справедливость требует отметить, что и сам Фрейд считал эту часть своей теории лишенной еще прочного фундамента и нуждающейся в поддержке со стороны разных специалистов, в том числе и фольклористов. Как бы предчувствуя возражения и обвинения в произвольности своих толкований, Фрейд сам ставит вопрос: «Откуда же нам узнать значения этой символики сновидений», о которой лицо, видевшее сон, или не дает нам совсем никаких сведений, или, в лучшем случае, только весьма недостаточные? . . . Из сказок, мифов, водевилей и острот, из фольклора, т. е. науки о нравах, обычаях, поговорках и песнях народов, упо-

¹ И. Д. Сапир. Фрейдизм и марксизм. Под знаменем марксизма, 1926, № 11, стр. 63. См. в честь Н. Я. Марга.

требляемых в поэзии и в обыденной жизни, в выражениях нашего языка. Здесь повсюду встречается та же символика, и во многих из указанных случаев мы ее понимаем безо всяких указаний. Если мы подробно станем изучать эти источники, то найдем столько параллелей к символике сновидений, что получим твердую уверенность в правильности нашего толкования».¹

Таким образом, сам Фрейд предлагает при толковании снов не ограничиваться «общими правилами символики», а подкрепить это толкование бытующими в языке вообще и в частности в поэтическом языке образами, т. е. теми образами, которые, быть может, тоже зародившись в области бессознательного, уже стали достоянием сознания и потому могут быть объяснены без необходимости прибегать при этом объяснении к произвольным истолкованиям.

Не задаваясь целью исчерпать весь материал, я хочу в настоящей заметке попробовать иллюстрировать наблюдения Фрейда над символикой сновидений поэтикой русских загадок. Как же основания можно выдвинуть для подобного сближения двух, казалось бы, таких далеких одна от другой областей?

Сравнительно-историческое изучение памятников устного творчества давно уже показало, что устная символика обладает большой устойчивостью; ее образы повторяются у народов географически и культурно настолько разъединенных, что о заимствовании между ними не может быть и речи. Эта повторяемость опирается с одной стороны на свойственные человеку законы ассоциативного мышления, с другой — на сходство определяющих содержание мышления условий социально-экономической жизни. Загадки представляют типичный образец такого ассоциативного мышления: это развернутые метафоры, построенные на тех или иных видах ассоциаций по сходству. Рассматривая тот материал, который Фрейд называет символами сновидений, мы видим, что в большинстве случаев это тоже простые или развернутые метафоры, вытекающие из ассоциаций по сходству либо внешнего вида предметов, либо их функций, либо эмоциональной окраски. Они также в массе, по наблюдениям психоаналитиков, у представителей разных языковых и культурных (точнее — классовых. В. А.) групп сохраняют общую линию своего образования. Их повторяемость в смысле общей направленности, очевидно, также опирается на законы ассоциативной деятельности. Вот почему возможно сопоставление символов сновидений с загадками: и те и другие строятся одним путем, и при наличии одного исходного пункта,

¹ З. Фрейд. Лекции по введению в психоанализ, вып. 1, М., 1922, стр. 165.

... сходство и в результате ассоциации, т. е. возникновение того же замещающего образа. То обстоятельство, что во сне происходит без участия сознания, а в загадке он сознается уже после, не делает эти две области несравнимыми.

... считает, что сновидение выражает символически только определенные моменты своих скрытых мыслей. Очень малым количеством символов изображаются такие предметы, как «человеческое тело в целом, родители, братья, сестры, смерть, нагота» (op. cit., стр. 159), зато все, что касается сексуальной жизни, передается с помощью необыкновенно богатой символики (стр. 160—165). Толкование именно этих сексуальных символов вызвало особенно много возражений среди критиков этой части учения Фрейда. В соответствии с материалом Фрейда, и из русских загадок придется извлечь по преимуществу те, которые носят сексуальный характер.

Это обстоятельство создает одно большое затруднение для исследователя. До недавнего времени собиратели фольклорного материала по своим собственным или по цензурным соображениям пропускали в изданиях многое, касающееся этой области. Так оставались вне поля зрения исследователя целые группы сказок, песен, в этом направлении были вычищены и все наиболее крупные сборники русских загадок. Садовников (Загадки русского народа, примеч., стр. 314) в своем издании оговорил этот пропуск. В примечании к загадке о замке и ключе он пишет: «Почти все загадки о замке и ключе очень двусмысленны, и некоторые не могли войти в этот сборник. Процент подобных загадок довольно велик и, можно смело сказать, что они принадлежат к числу самых распространенных. Дети загадывают их, не стесняясь, парни со смешками, бабы и девки — на ушко. Последнее, впрочем, редко: разве уж загадка такая, что все в ней своим именем названо, но и из нее, как из песни, слова не выкидывают, только предупреждают, что она нехорошо загадывается».

Подобная цензура изданий должна быть учтена исследователем, чтобы появление группы загадок сексуального характера в новейших записях не навело на мысль о возникновении их в последнее время. Часть таких загадок с более или менее затупеванной основной темой встречается, конечно, и в старых изданиях, но они там разбросаны среди прочего материала, и истинный смысл их иногда даже с трудом распознается. Между тем, сам народ строго обособляет загадки сексуального характера, объединяя их общими терминами — «про мужика», «про бабу», «про мужика и бабу». В эти группы попадают и такие загадки, сексуальный оттенок которых на первый взгляд и незаметен.

Такие циклы загадок оказались в значительном количестве в материалах, привезенных сотрудниками б. Гос. Института истории искусств из их экспедиций на Север — в Заонежье, на Мезень, Пинегу и Печору — в 1926—1929 гг. Немало привезено их в 1932 г. с Терского берега Н. П. Колпаковой. Всматриваясь в эти загадки, мы видим, что они разделяются на две группы: «нехорошие», по народной терминологии, загадки с простой отгадкой и простые загадки с «нехорошей» отгадкой. И те и другие могут быть использованы при проверке сексуальных символов сновидений.

Имея отчетливо выделенную самими носителями их группу загадок с явным или скрытым, но во всяком случае ясно сознаваемым сексуальным содержанием, мы можем и из печатных сборников извлечь аналогичный материал. Тогда видно будет, что и прежние собиратели встречали подобные загадки, но не всегда считали нужным отметить особое отношение к ним самого народа. Любопытно сопоставить иногда с русскими загадками очень близкие к ним порою загадки того же типа, записанные или у народов, живущих на территории Союза, или у соседей: обычно эти загадки еще откровеннее обнаруживают свой сексуальный характер.¹

Весь этот материал я рассматриваю параллельно с теми символами, которые установил на основании своих наблюдений Фрейд. Но разбить загадки на две такие группы, на какие разделяет символы сновидений Фрейд, — мужские и женские — трудно, так как в большинстве случаев их разгадка парная: загадка чаще объединяет оба элемента.

Как выше указано, не все загадки, которые можно привлечь в качестве комментария к символам Фрейда, носят сексуальный характер, но их мало, как мало и у Фрейда несексуальных символов сновидений. Остановимся в первую очередь на них.

«Дом» в целом — по Фрейду, — человек; иногда этот символ детализируется — дом с гладкими стенами обозначает мужчину, с балконами и дру-

¹ В дальнейшем, кроме рукописного материала, собранного указанными выше экспедициями, хранящегося частью в Архиве ИАЭ Академии Наук СССР, и материала, любезно предоставленного мне Н. П. Колпаковой, пользуюсь следующими печатными изданиями загадок: Садовников. Загадки русского народа. СПб., 1875; Худяков. Верхоянский сборник; Лесков. Загадки корел Олонецкой губ. Жив. ст., 1893, IV; Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-зап. края, II; Самойлович. Загадки туркиен. Жив. ст., 1909, II—III; Заварин. Османские загадки, собранные в Брусе. М., 1912; Добровольский. Загадки Смоленск. у. Жив. ст., 1905, I—II; Романов. Белорус. сб. I—2; С. Малов. Рассказы, песни, пословицы и загадки желтых уйгуров. Жив. ст., 1914, 1915, I—II; Котвич. Калмыцкие загадки и пословицы.

...стали — женщину (ор. cit., стр. 159). В загадке — ... женщина: «Хлеб на углу избы лежит, а в хлебе крыса ...», 1703). То же «баня»: «В бане порог выше каме- ...», 1704).

...ду, дети — маленькие звереныши (стр. 159). Ср. ...-крыса, или у корел — мышенок: «Скребется в углу, пу- ... мышенок в брюхе» — беременная женщина (Лесков, Загадки ... губ. 538. Живая старина, 1893, IV).

«Двери», «ворота» — у Фрейда женские символы (стр. 162); в за- ... — «Стоит баба поперек, одна рука в избе, а другая на дворе», «Две ... кланяются, а вместе не скоуются» — двери (Садовников, 78, 79, 84); ... — «Два подъячих водят Марью вертячу» — петли и дверь (Садовни- ... 90).

«Печь» — женский символ у Фрейда (стр. 162) — встречается в за- гадках обих типов: «Стоит баба в углу, а рот в боку» — печь и чело (Са- довников, 127); ср. в польской загадке: «Stoji ranna w murze w szegwonym karturze» (Kolberg, Lud VIII, cz. IV, 244). Рядом с этими большое число загадок, заносимых крестьянами в особую группу, также отгады- ваются — печь.

В следующих загадках будут часто встречаться парные отгадки, по- этому перечислю наиболее распространенные символы обеих групп Фрейда: «Все, что торчит вверх, длинное» — может быть мужским символом, напр., палки, зонтики, деревья, колья, карандаши, ручки, молотки (стр. 161). «Все предметы, ограничивающие полое пространство, способное быть чем-нибудь наполненным», могут быть женскими символами, напр., сосуды, коробки, ящики, чемоданы, карманы, комнаты (стр. 162).

В загадках имеем такие парные отгадки, включающие параллели и к мужским и к женским символам: «пест и ступа», «палец и кольцо», «кольцо и свайка», «перо в чернильнице», «сковородка и сковородник», «крючок и петля», «колодезь и оцеп»; у уйгуров к числу таких парных символов можно прибавить следующие: «игла и нитка», «пуговица и петля» (С. Малов, Рассказы, пословицы и загадки у желтых уйгуров. Жив. ст., 1914, стр. 313).

В тот же ряд женских символов в загадке входят — «бочка» — ср. в свадебных песнях девица-сосуд (чаша, бочка), (см. Потебня, Объяснение малорусских и сродных народных песен, I, стр. 7), «бадьа», «корзина», «самбар».

В загадках других народов женские символы берутся из того же ряда предметов: у корел — «корытце», у калмыков и туркмен — «сундук», у туркмен — «капкан».

Отмеченный Фрейдом мужской символ «рука» в загадке тянет за собой соответствующий женский — «рукавица». Следует заметить, что в загадках подобного типа мы имеем иногда как бы двойную символику: — рука-колотушка, рукавица-мохнушка, и каждая пара вызывает представление о мужском и женском начале.

«Открывающий ключ» у Фрейда назван мужским символом (стр. 165); в загадках, чрезвычайно распространенных и разнообразных на эту тему, он появляется вместе с парным к нему «замком».

По Фрейду — «что проникает в тело, острое — ножи, кинжалы — мужской символ (стр. 161). В загадке здесь в пару появляются «ножны». В параллель к таким загадкам следует отметить, что в украинском языке слово «пихва» обозначает одновременно — ножны и влагалище (Рос.-укр. словник. УАН під ред. ак. Кримського I, 81; Е. Тимченко, Рус.-малорус. слов. I, 37, 258).

У Фрейда — «предмет, из которого течет вода — водопроводный кран, чайник, фонтан — может быть мужским символом» (стр. 161). В русской загадке, в соответствии с бытом, такую роль чаще всего играет самовар, причем самоварная труба выступает в виде женского символа (ср. на Терск. бер. тот же женский символ — труба в другой паре — «труба в саже и флюгер»). В примечаниях к своим загадкам Садовников пишет (стр. 317): «Эта загадка про самовар — одна из самых ходячих, но на Волге и около Москвы она загадывается иначе, в форме, неудобной для печати. Роль самоварной трубы играет девица, роль самовара — добрый молодец». Загадку о самоваре знают и другие народы, но у них она выражена еще откровеннее.

«Веник» или «помело», как мужской символ, в загадке обычно встречается в паре с баней или печью.

В соответствии с женскими символами Фрейда — «яблоки, персики, вообще плоды» (стр. 163) — в загадках находим «малину» (в некоторых вариантах с парным мужским символом — стержень в малине), вообще «ягоду на кусту», «орех» (последний иногда и как мужской символ); но морозка в русских загадках обычно ассоциируется с мужским началом.

«Несомненно женским символом» Фрейд считает улитку и раковину (стр. 163). В загадке на тему «ключ и замок» этот символ встречается в качестве вторичного.

«Рот», как женский символ (см. Фрейд, стр. 163), в русских загадках не находят, но туркменам он известен.

К «специальным символам для изображения полового акта» Фрейд относит «некоторые ремесленные работы», не детализируя это понятие (стр. 163), а «инструменты разных производств он считает мужскими символами» (стр. 170). В русских загадках это представление связывается чаще всего с тканьем или прядением, далее — то же обозначает «месить тесто в квашне», «сети плести», «лавку шоркают веником», «ключами трясут и ящик отпирают», «сажают хлеб в печь», «полощут белье в проруби», «помелом печку опаживают» и даже «впотьмах спички ищут».

Интересное объяснение, в связи с занятием земледелием, записано на Суре для одной загадки, которая обычно обозначает «веник и пол» или «ножик и квашня»: «Старик старушку шангил-лангил, заросла у старушки шанга-ланга» — «орют поля и засевают, земля и закрывается» (рукопись). Здесь чувствуется несомненный отзвук старого образа — «мать-сыра земля», вообще земли, как женского начала (ср. у Фрейда, стр. 169). Тот же мотив посева встречаем в загадке на тему беременная женщина: «Посеял бог пшеницу, этой пшеницы не выжать ни попам, ни дьякам, ни простым мужикам, пока бог не подсобит» (Сибово, рукопись). Ср. в славянской песне — символ: орать — любить (Потебня, О некоторых символах в славянской народной поэзии, стр. 120).

У Фрейда не встречаем в числе сексуальных символов «о н». Между тем загадки на эту тему соединяются с представлением о половом акте.

Заканчивая обзор загадок на сексуальные темы, приведу две загадки, проникшие в былинку о Ставере Годиновиче. Когда он не узнает свою жену, переодетую в мужское платье, она напоминает ему о себе такими загадками:

А помнишь ли, Ставер да сын Годинович,
Как мы с тобою в грамоте учились ли,
А моя была чернильница серебряна,
А твое было перо да позолочено,
Ты тут помакивал всегда, всегда,
А я помакивал тогда, тогда.
— Я с тобой грамоте не учивался.

А помнишь ли, Ставер да сын Годинович,
А мы с тобою сваячкой игравали,
А мое было колечко золоченое,
Твоя то была сваячка серебряна,
Ты тут попадавал всегда, всегда,
А я попадавал тогда, тогда. (Гильфердинг, Онеж. был., 1, стр. 101).

«Перо и чернильница», «кольцо и свайка» — это те же самые символы, которые мы встречали выше в загадке. В одном варианте, помещенном

у Рыбникова, сексуальный смысл кольца — свайки прямо раскрывается. Когда Ставер и после загадок не узнал жену, —

Тут грозен посол Васильюшко
Вздыхал свои платья по самый пуп,
И вот молодой Ставер сын Гоудинович
Признал кольцо позолоченое (IV, 35).

О. Миллер в примечаниях пишет по поводу этого варианта: «Это дополнение отличается эпическим простодушием, можно сказать даже целомудренною передачею того, что поставленное вне условий устно-народной поэзии, представлялось бы просто циническим» (т. IV, стр. XII—XIII).

Это замечание может быть отнесено и к значительной части разобранных выше загадок: вряд ли в них следует видеть повышенный эротизм; скорее это простое, естественное ассоциирование сексуальных предметов и переживаний с окружающими человека явлениями. Какие-либо искусственно притянутые сюда сравнения встречаются очень редко и, во всяком случае, они не характерны для сексуальной загадки.

Какие же выводы дает сопоставление символики сновидений, предполагаемой Фрейдом, и соответствующих загадок? Несомненно, путь возникновения образов, заменяющих сексуальные представления, в обеих областях один и тот же — везде можно отметить одни и те же ассоциации по сходству. Сравнение направляется в круг предметов и явлений повседневного быта, поэтому отдельные образы варьируются в зависимости от среды, где они возникают, и от эпохи их создания. В этом отношении загадки разобранного нами типа представляют, несомненно, отражения разных исторических эпох, но в сохранившемся материале трудно рассмотреть что-либо, выходящее за пределы земледельческой эпохи. Наиболее распространенные символы — дом, печь, земля, предметы домашнего обихода — все это уже аксессуары оседлого быта. Но делать отсюда вывод о позднем возникновении такого типа загадок, конечно, нельзя. Причина, вероятно, заключается в том, что цензура всякого рода, вообще косо смотревшая на устное творчество, начиная с принятия у нас христианства, подобные темы преследовала особенно строго. И даже в тот период, когда уже велась научная регистрация устно-поэтического материала, загадки «про мужика и бабу» лишь случайно попадали в научный кругозор. Поэтому всякие вопросы исторического порядка относительно этих загадок приходится оставить именно в области вопросов. Мы видим лишь их общую направленность, отмечаем их тесную связь с бытом, их многообразие, сравнительно с загадками на другие темы. То же многообразие сексуальных символов наблюдает Фрейд и в сновидениях.

Свойственная человеческой психике вообще склонность к ассоциированию в сексуальной области, как видно из рассмотрения загадок, проявляется чрезвычайно широко, но формы этого ассоциирования, те заменяющие образы, которые становятся на место сексуальных представлений, конечно, всецело определяются содержанием мышления ассоциирующего субъекта, т. е. отражают в каждый данный исторический момент его классовую сущность. Вот почему изучение образного поэтического языка, одну из разновидностей которого представляет загадка, может дать для психоаналитика лишь указание на то, в каком направлении должно идти толкование символов сновидений, но оно не позволяет механически переносить готовые символы из одной области в другую. Если у русского, сейчас широко знающего в своем быту, напр., самовар, он легко ассоциируется с мужским и женским началом, то не надо забывать, что не так давно еще этот символ был бы для него совершенно невозможен. Таким образом, как ни полезно вообще для психоаналитика знакомство с поэтическим языком и в частности с фольклором, но не менее важно для него и знакомство с содержанием психики каждого отдельного субъекта, чьи сны подлежат истолкованию. Конечно, в свете фольклорного материала учение Фрейда о символике сновидений перестает быть «экстравагантным», по выражению Л. Я. Штернберга (*Этнография*, 1926, № 1—2, стр. 41); мы видим, что отмеченные им у больных символы далеко не произвольны, но их многообразие и в фольклоре заставляет быть особенно осторожным в толковании каждого отдельного символа. Во всяком случае, символика загадок уже показывает, что сотрудничество психоаналитика с фольклористами может быть чрезвычайно плодотворным, принимая во внимание то большое значение, которое Фрейд придает в своей системе возможности вскрыть истинный смысл сновидения.

Д. К. ЗЕЛЕНИН

МАГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СЛОВ И СЛОВЕСНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Н. Я. Марр первым среди языковедов ввел в свою лингвистическую систему учение о магической функции языка. «Начальная звуковая речь, — пишет он в своей «Программе общего курса учения об языке», — культовая, собственно, магическая».¹ «Употребление первой звуковой речи не могло не носить характера магического средства; отдельные ее слова не могли не ценить, как чародейство».² Собранные и изученные мною фактические материалы по вопросу о магической функции слов и словесных произведений, частью уже опубликованные в печати,³ вполне подтверждают это положение яфетической теории, которое не было пока с желательной полнотой развито и мотивировано нашими яфетидологами.

Магическая функция слов и словесных произведений выявляется перед нами, главным образом, в тех словесных запретах-табу, которые сохранялись до недавнего времени у самых различных народов земного шара. Учеными этнографами эти словесные запреты зафиксированы большею частью уже в обломках — чаще в окаменелых переживаниях и редко в живом их бытовании, только, конечно, уже далеко не полном. Самое существование этих словесных запретов не оставляет никакого сомнения

¹ Н. Я. Марр. Яфетическая теория. Баку, 1928, стр. 63.

² Н. Я. Марр. О происхождении языка. «По этапам развития яфетической теории», М.—Л., 1926, стр. 327.

³ Д. К. Зеленин. Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии, ч. II: Запреты в домашней жизни. (Сб. МАЭ, IX, Л., 1930, стр. 1—166). Сравнить первую часть того же труда в Сб. МАЭ, VIII, 1929, стр. 1—151: Запреты на охоте и иных промыслах; ср. Русское закудыкать, в журн. «Slavia» VIII, 1929, стр. 493—502. — Dm. Zelenin. Die religiöse Funktion der Volksmärchen (Internationales Archiv für Ethnographie, XXXI, 1930, № 1/2, стр. 21—31); переработанное и дополненное издание этой последней статьи напечатано на русском языке в сборнике в честь акад. С. Ф. Ольденбурга под заглавием: «Религиозно-магическая функция фольклорных сказок». — О магической функции звуков вообще см. мою статью: Магическая функция примитивных орудий (Изв. АН СССР, Отд. общ. наук, 1931, № 6, стр. 713—754). Приведенные в этих моих работах факты и частные выводы здесь не повторяются; здесь дается лишь общая концепция, синтетические выводы из всей массы этих фактов.

в том, что на известной стадии развития общества звуковая речь осознавалась, как имеющая вредные, опасные для человека последствия или стороны: запрещать могли и должны были только то, что считалось именно вредоносным, опасным, так как запреты-табу первоначально были простыми нормами первобытного права.

В чем же заключалась эта вредоносная сторона звуковой речи?

Анализ всех имеющихся в нашем распоряжении научных фактов, относящихся к магической функции слов и словесных произведений, приводит нас к выводу, что вредоносная сторона звуковой речи была осознана человеческим обществом по сравнению с более древнею кинетическою или линейною речью. Это была именно шумливость, звучность словесного языка, резко отличающая его от бесшумной линейной речи. Будучи крупным достижением и достоинством звуковой речи, поскольку последняя, в полную противоположность кинетическому языку, слышна и понятна также и тем, кого в данный момент не видно, на большом расстоянии, — звучность-шумливость языка одновременно представляла собою и некоторый недостаток, так как она тем самым выдавала присутствие и все тайны говорящего человека его врагам (ср. пословицу «язык мой — враг мой»).

Анализируя словесные запреты-табу, мы устанавливаем три их разновидности, и взаимоотношение между этими тремя разновидностями проливает свет на историю развития магической функции слов.

Древнейшая из этих трех разновидностей еще не выделяет звуковую речь из иных звуков и шумов, производимых человеком. Изучая древнейшие обереги-амулеты, которыми примитивное общество мнило защитить себя от злых духов и которые служили одновременно простейшими средствами самозащиты и обороны человека от вредных животных и насекомых, — мы находим в числе этих оберегов также и шумы-звуки, а именно: шумы, производимые человеком непосредственно своими голосовыми органами, напр. свист, равно как производимые человеком с помощью разных приспособлений — трещоток, труб, свистков и т. п., и, наконец, звуки, издаваемые некоторыми домашними животными. Свист и крик человека, треск, стук и рев сделанных человеком приспособлений, звон добытых им металлов, лай собаки и пение петуха — всё это служило оберегами-амулетами человека от злых духов и демонов (Магич. функция, стр. 732 и след.). И этот тип оберегов характеризует собою уже не первый, а второй этап в развитии обороны человека от злых духов. На первом этапе человек, обороняясь одними и теми же своими орудиями-оберегами одновременно от вредных животных и от злых демонов, пытается истребить этих своих врагов, убить

их. На втором этапе он только отпугивает их от себя, так как у него теперь есть более или менее постоянное жилище, где он чувствует себя в безопасности. Крики, свист, и иные шумы служат именно для отпугивания, почему мы и относим их ко второму этапу самозащиты человека. На третьем этапе орудия-обереги подменяются их магическими символами, что потом заменяется прямым обманом демонов. На четвертом этапе общество заключает тотемические союзы-договоры с тотемами, которые потом превращаются в духов; и эти договоры вскоре также были пронизаны обманом со стороны человека. На пятом этапе применение оберегов-амулетов против злых демонов совсем запрещается.¹ К этим трем последним этапам относятся и языковые табу-запреты, поскольку они являются уже религиозными надстройками; они представляют собою в одних случаях обман демонов, а в других — простое запрещение применять звучащие амулеты-обереги против злых духов.

Запрещение оберегов означает собою отказ человека от борьбы с злыми духами. Вместо прежней своей борьбы с демонами человек предпочитает теперь угождать и заискивать перед демонами, чтобы снискать себе их благоволение. А эта новая тактика человека в его отношениях к злым демонам знаменует собою новую стадию в развитии человеческого общества — появление вождей и владык, и вообще начало классового расщепления. Свой новый подход заискивания и угождения своим земным владыкам человек перенес и на злых демонов, с которыми он прежде боролся, как равный с равными.

Но первая ступень в развитии языковых запретов была еще чисто производственной, а не религиозной; она имела дело еще не с злыми духами, а с животными, и развилась не в процессе обороны и защиты, а в процессе нападения — охоты. Тут еще о магизме и о магической функции языка можно говорить только разве очень условно. Тут мы имеем запрет чисто производственного характера.

Дикие звери крайне чувствительны ко всякого рода шумам и звукам. В человеке звери видели своего врага, и все человеческие шумы и звуки их особенно пугали, отпугивали. Линейная речь была бесшумна, и в этом было ее преимущество перед новой звуковой речью, преимущество с точки зрения охотников. Попытки пользоваться звуковой речью в процессе охоты, вблизи зверей, охотники естественно должны были запрещать. И это было

¹ Д. К. Зеленин. Развитие представлений о злых духах в примитивном обществе. Антирелигиозник, 1933, № 4, стр. 14. — Ср. он же. Тотемический культ деревьев у русских и у белорусов. Изв. Академии Наук СССР, 1933, № 8, стр. 592.

сначала вполне рациональным производственным правилом, которое только впоследствии получило тот новый вид словесных табу-запретов, когда одни слова считаются табуированными, а другие служат для их замещения. Первоначально же вообще запрещалась в известные моменты охоты всякая звуковая речь охотников, и разрешалась только линейная речь, хотя эта последняя и имела большое неудобство — не действовала на расстоянии. В создавшихся после на почве этих охотничьих запретов специальных охотничьих языках мы еще часто встречаем в числе подставных слов (замещающих запретные термины) указательные местоимения, которые явно заменили собою прежние жесты линейной речи (Табу слов, II, стр. 159). Со зверей отпугивающее действие звуковой речи было потом перенесено и на лесных демонов, уже в качестве религиозной надстройки.

Следующая, вторая разновидность словесных запретов имеет иную предпосылку — не отпугивающее действие звуков, а призывное. Звуковой речи приписывается теперь магическая сила, привлекающая к говорящему злых духов, напр., демонов болезней и других. На этом основании запрещалось произносить имена чорта, лихорадки, оспы, и всех других болезней, имена умерших людей, змеи, волка и других демонических животных, которые мыслятся теперь уже не объектами охоты, а воплощениями нечистой силы. Известные пословицы и изречения: «легко на помине», «накликать», «про вовка помовка, а вовк у хату», «*lupus in fabula*», «*lupus in segmone*» — отражают именно эту фазу в развитии магической функции слов. Эта же самая разновидность магической функции оказывается преобладающею и для словесных произведений, в частности для сказок, рассказывание которых якобы привлекает к человеку лесных демонов; и на этом основании скотоводы запрещали рассказывание сказок летом и днем, так как лесные духи, приходя в жилище скотовода слушать сказки, похищают детенышей домашних животных из утробы их матерей или иначе, а охотники, напротив, пользуются в лесу этими же самыми сказками, как одним из своих производственных орудий, задабривая ими лесных демонов (Relig. Funktion, S. 26).

Третья разновидность слов, сохранявших еще не так давно магическую функцию, характеризуется новым взглядом на слово — как на приказ, который немедленно же выполняется. Содержание, семантический смысл произносимых слов и изречений сразу же, как бы чудесно, осуществляется на деле. Такого рода магическая сила приписывалась именам божеств, напр., у древних египтян, у магометан, иногда — именам чертей: знающий таинственное имя бога или чорта тем самым имеет полную власть над этим

божеством или духом (Табу слов, II, стр. 114 и сл., стр. 124). Аналогичная магическая сила приписывается личным именам в тех случаях, когда семантическое значение личного имени воздействует на природу носителя имени в желанном направлении (стр. 120 и сл.). Основанные на этой же разновидности магической функции языка проклятия имеют своим необходимым условием власть проклинаящего над проклиняемым, и эта власть сводится в сущности к отношениям личной собственности — на своего ребенка, на свою скотину и т. п. (там же, стр. 17—18). Общее условие для всего этого этапа в развитии магической функции слов — отрешенность слова от связи его с действием, с обрядом. На предшествующих этапах магическая функция слов в аналогичных же случаях, в тех же личных именах и проклятиях, основана на тесной связи слова с соответствующим действием, как, напр., магическая передача через посредство личного имени свойств тѣзки, т. е. одноименного человека или животного (стр. 118, 129, 144 и сл.), передача через имя же чар и порчи, проклятие путем призыва доброго божества (стр. 16—17), защита от демонов при посредстве обмана — путем скрывания втайне своего имени, замены его в опасные моменты, путем наречения «худых имен» (напр., «сор»), мимо которых черти должны пройти без всякого внимания (стр. 123, 126, 129, 136 и др.).

Произнесению имени доброго божества приписывалась особенно чудесно-мощная магическая сила. С развитием сомнений в мнимых чудесах возможность этого магического воздействия через посредство слова была ограничена известной условной обстановкой, главным образом — присутствием духов или божества. Напр., при «открытии небес», причем через щели в небе, якобы видели небесное божество, всякое выраженное человеком в словах желание немедленно же исполняется на деле (стр. 25—26).

Идея слова-приказа, который немедленно же и как бы чудесно выполняется, могла развиваться только в эпоху существования вождей, владык, которые имели полную власть над большим коллективом людей. Т. е. здесь можно предполагать уже существование классового общества, о чем говорит и личная собственность, отразившаяся в моменте проклятий. Чудесная сила божественного имени свидетельствует о сильном развитии анимизма и даже организованных религий.

Таким образом, насколько магическая функция звукового языка выясняется из всей суммы известных нам словесных табу-запретов, эта магическая функция языка оказывается пронизанною четырьмя разными идеями, а именно: 1) звуковой язык — оберег, 2) язык — призыв, 3) язык — приказ,

и 4) язык заменяет собою действие, дело. Предпосылки всех этих идей нам понятны.

1) Шумы пугали животных; ими человек оборонялся от вредных животных, и на почве этой оборонительной функции шумов развилось идеологическое представление о том, что шумы отпугивают также и злых демонов. Охотники сначала не проводили еще различия между звуковым языком и прочими шумами, производимыми человеком. Вместе с этими шумами, напр., свистом, криками, равно как и треском сделанных человеком трещоток, ревом труб, звуковая речь получила в их глазах апотропеическое значение оберега. Сказки и всякое длительное повествование местами сохраняли еще за собою эту апотропеическую функцию оберега от злых лесных демонов (Религиозно-магическая функция фольклорных сказок, стр. 227—228).

2) Звуковая речь производит различное, до противоположности, впечатление и воздействие на слушателей: одних, особенно зверей, она пугает, отпугивает; других она призывает, привлекает. Диалектическое соединение в звуковой речи этих двух противоположных свойств нашло себе отражение и в идеологическом ее преломлении: звуковой речи была приписана магическая функция — с одной стороны, оберега, с другой — призыва: звуковая речь и прогоняет демонов; подобно тому как она пугает животных, и одновременно привлекает демонов. Разница лишь в том, что апотропеическая функция оберега приписывалась звуковой речи вместе и одновременно со всеми иными шумами, производимыми человеком, а магическая функция призыва — только одной звуковой речи, уже в отличие ее от всех прочих шумов. Очевидно, эта вторая магическая функция, призывная, развилась несколько позднее первой: если там звуковая речь не выделяется из массы прочих шумов, то здесь такое выделение бесспорно и вполне отчетливо. Можно думать, что развитию первой, апотропеической, функции особенно способствовали условия охоты, где отпугиванье шумами зверей легко могло дать в идеологическом преломлении отпугиванье теми же шумами демонов, тем более, что самое представление о злых демонах могло развиться из представлений о вредных животных.¹ Вторая магическая функция звуковой речи, призывная, должна была сильнее развиться у магов, которые имели свою специальность призывать демонов и которые, по теории Н. Я. Марра, принимали особо активное участие в организации звукового языка. Призывная функция языка исконна, она свойственна также и кинестической речи; но звуковой язык призывает также и тех, кого в данный момент не

¹ Антирелигиозник, 1933, № 4, стр. 13. — Магич. функция, 716 и 754.

ища. **Примитивный звуковой призыв**, «ауканье» в лесу — даже и в наше время **еще своего рода «диффузными» звуками.**

Древнейшие сохранились объясняемые призывной функцией звуковые магические табу произносить имена злых демонов; но легенды о значении имени бога в организованных религиях, напр. в иудаизме¹ и других, не оставляют сомнения, что магическая функция звукового языка считалась действующею не только на злых демонов. Маги должны были широко пользоваться ею, о чем можно заключать по той силе, которая приписывается заклинаниям, молитвам и богослужебным песнопениям в самых различных религиях и ритуалах.

3) **Магическая сила слова-приказа была в сущности лишь дальнейшим развитием этой призывной функции языка.**

Между двумя указанными выше, противоположными пониманиями магической функции языка происходила борьба, так как резкой грани, взаимной оторванности между магами и охотниками тогда еще не было. Победителями в этой борьбе оказались маги. Магическая функция призыва оказалась более живучею в идеологии. Мало того, она получила дальнейшее свое развитие — в том, что слову была приписана новая магическая функция чудесного приказа, повеления. Не исключена возможность, что эту последнюю функцию маги первоначально приписывали лишь словам одних только демонов и потом — своим собственным словам, в отличие от слов простых смертных.

4) Но еще прежде развития этой новой функции слова-приказа, начавшееся классовое расслоение общества, появление вождей и владык, повело к новой религиозной идеологии: вместо прежней прямой и открытой борьбы с демонами общество начинает применять по отношению к демонам тактику обмана и угодничества. О тактике обмана речь у нас будет ниже, а тактика угождения проявилась прежде всего в запрещении оберегов, т. е. в запрещении средств активной борьбы человека с демонами. Вместе со всеми прочими оберегами были запрещены и звучащие обереги, в том числе и звуковая речь. Но так как, при данных на этой стадии — степени развития производительных сил и сложности социальных отношений, общество уже не могло удовлетвориться одною кинетическою речью, то вместо звукового языка в его целом запреты коснулись большею частью лишь отдельных категорий слов. Охотники, теперь уже скрываясь от лесных демонов, которые мыслились владельцами стад лесных зверей, запрещали слова, теснейшим образом связанные с животными и с процессом охоты — имена зверей,

¹ Ср. третью заповедь Моисея: «Не произноси имени господа бога твоего всуе!»

Сб. в честь Н. Я. Марра.

названия своих охотничьих орудий и т. п. Вместо этих запретных имен они стали употреблять «подставные» слова, согласно с новой тактикой обмана. В домашней же жизни запрету подлежали прежде всего имена демонов, согласно с магической функцией призыва.

Тактика обмана развилась еще сильнее, нежели тактика угождения демонам. Охотники обманывали в лесу первоначально зверей, а после — лесных духов, сначала употребляя в моменты охоты одну лишь кинетическую речь вместо звуковой, а потом — употребляя разного рода «подставные» слова, часть которых (указательные местоимения) явно восходят к жестам кинетической речи. Впоследствии охотники стали называть в лесу зверей ласкливо-почтительными и родственными эпитетами: матушка, тетушка, дед, приятель и т. д.; свое оружие именовали невинно-приятными словами в роде: подарок (о пуле, прежде очевидно о стреле), зять и т. п.; стали во время охоты в лесу пользоваться чужими языками, которые мыслились как непонятные туземным зверям и местным демонам. По отношению к прочим, не-лесным демонам практикуются эти же самые способы обмана; сверх того, человек скрывал от злых демонов, особенно в критические моменты опасности, свое личное имя, давал своим детям и скотине «худые» имена, чтоб злые демоны не интересовались их носителями, и прибегал к разным другим хитростям и уловкам.

На тех этапах развития, когда человек мыслит магически, он часто подменяет словесными запретами пищевые, половые и иные табу-запреты действий. Тут также имеется тонкий обман демонов: магическое мышление легко допускает замену целого частью, а слово признается одною из частей предмета или лица. Подменить целое частью, заменить, напр., пищевые запреты словесными, т. е. вместо воздержания от употребления той или иной пищи воздерживаться лишь от употребления словесных ее обозначений, от одного произношения названий этой запретной пищи и т. п., — всё это весьма выгодно для человека. Русские и коми-охотники запрещали произносить на охоте слова: женщина, девица, и в этом нужно видеть, если не полную, то частичную замену прежних половых запретов в сезон охоты. Подобным образом в тотемизме запрет убивать и съедать животное-тотема подменяется, полностью или частично, запретом произносить имя тотема.¹ Р. Турнвальд прав, когда он считает словесные запреты тотемизма возникшими на почве распада этой системы верований.²

¹ James Frazer. Totemism and Exogamy. I, London, 1910, стр. 16 и др.

² Rich. Thurnwald. Die Psychologie des Totemismus. «Anthropos», XIV—XV, 1919—1920, № 1/3, стр. 510.

Обман демонов при помощи словесного языка имеет еще одну разновидность — в виде своеобразного отношения примитивного человека к слову. Известно, что для примитивного человека, так же как и для современного человека, название или слово представляется не символом или знаком предмета, а свойством, атрибутом этого предмета. Свойство предмета, как реальная часть, иногда даже как сущность предмета, может быть названо именем, лица. В частности, личное имя человека — это существенная часть личности. Так наз. «тёзки», т. е. носители одного и того же личного имени, имеют в этом имени общую, связующую их часть. Через личное имя, как через одну из составных частей человека, легко магически воздействовать на носителя данного имени (Табу слов, II, стр. 118, 139). В связи с такими представлениями, в обществе, где личность уже вполне выделилась из коллектива, магическое действие, обряд часто подменяется словом, которое прежде применялось в этом обряде рядом и параллельно с действием (ряд характерных примеров такой замены рассмотрен мною в Табу слов, II, стр. 126—139). В период начавшегося разложения первобытно-коммунистической религиозной идеологии, в тех случаях, когда выполнение обряда или магического акта связано было с теми или иными трудностями, — оно стало сознательно заменяться одной его словесною частью. На этой почве пищевые, половые и иные запреты действий частично подменялись одними словесными запретами, выполнять которые человеку так легко, во всяком случае много легче, нежели воздерживаться от вкусной пищи и т. п.

В этих случаях мы имеем право говорить об особой разновидности магической функции слов, о разновидности, которую можно назвать символическою. Хронологически появление этой символической функции слова нужно будет отнести к ранним сравнительно временам, а именно — между первую, апотропейческую и вторую, призывною магическими функциями слова. Обман демонов появился ранее тактики угождения демонам, ранее молитв. Он появился на почве разложения первобытно-коммунистической религиозной идеологии.

Более позднюю стадию развития той же тактики обмана демонов мы имеем в тех случаях, когда человек, угождая враждующим между собою демонам, избегает употребления имени одних демонов, а равно и имен их слуг и подданных, находясь в царстве другого, враждебного первому демона; напр., запрещают произносить имена лесной дичи на воде, и обратно, так как между лешим и водяным предполагается исконная вражда. То же самое правило применяется и по отношению к организованным религиям, включая

и христианство, на какой почве, напр., охотникам и рыбакам запрещается произносить на охоте слова: «церковь», «поп» и т. н.

Всё сказанное выше дает нам право сделать еще и некоторые иные выводы. Процесс замены линейной речи звуковой, ко времени которого нужно относить возникновение магической функции слова, происходил в истории человечества не так рано. — Прimitивное общество относилось к своему звуковому языку, как к одному из своих производственных орудий. Вместе со всеми прочими простейшими орудиями труда, которые применялись также и в процессе самозащиты человека, звуковой язык получил функцию оберега, которая и является древнейшей магической функцией языка. На почве запрета прежних оберегов, служивших для борьбы с демонами, возникли языковые запреты, анализ которых дал нам возможность восстановить всю эту картину далекого прошлого.

Надстроечно-идеологическое преломление в человеческом сознании простейших орудий, как магических оберегов-амулетов, отразило в себе все те этапы, когда в росте производительных сил общества происходили крупные сдвиги, все переломные моменты в развитии примитивной техники. Эти именно сдвиги, произведшие особо сильное впечатление на человеческое общество, и преломились в религиозно-надстроечной форме оберегов-амулетов. В истории языка таким сдвигом, очевидно, был момент замены линейной речи звуковой. В новом звуковом языке на человека особенно сильное впечатление произвели три свойства: 1) способность отпугать вредных и опасных зверей, 2) сила призвать к себе словом человека на большом расстоянии, когда этого человека даже не видно, 3) способность передать словом свою волю, свое желание отдельным лицам и большому коллективу людей молниеносно-быстро и категорически. — Эти три особенности звукового языка и отпечатались в той магической надстройке, которая выросла на звуковую речь в виде кратко обрисованной нами выше магической функции слов и словесных произведений.

С. И. МАКАЛАТИА

КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ РИТУАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ У ГРУЗИН-МОХЕВЦЕВ

Мохевцы¹ — христиане, но в их религиозном мировоззрении много языческих верований, наблюдаемых у афетических народностей, верований, которые в качестве пережитков сохранились до наших дней. Таких пережитков много, но насколько позволяет размер нашей статьи, мы здесь остановимся лишь на некоторых ритуальных обрядах.

Общественно-экономическая формация мохевцев не переступала в своем развитии стадии родового быта. Занимаются мохевцы исключительно овцеводством. Поэтому в религиозном мировоззрении народа культ барана играет особо важную роль. Идол барана находится в сел. Цдо в 3 км к северу от ст. Казбек. Здесь на высоком холме стоит полуразрушенная четырехугольная каменная постройка, на северной стене которой помещен идол барана, высеченный из андезита; его называют «Квирикс-кочи» (კვირიკის კოხი), т. е. баран Квирия.

Идол невелик, высота его 0.52 м, длина 1 м. К голове идола приделаны бараньи рога, у ног лежащего идола расставлены ритуальные колокольчики, навешены посвященные богомольцами по обету железные шейные обручи² с колокольчиками.

Хатоба (праздник) в честь этого барана Квирия устраивается в третье воскресенье после пасхи; сюда идут с жертвенными баранами богомольцы. Здесь у идола Квирикс-кочи режут жертвенного барана

¹ Мохевцы, грузины-горцы, живут по Военно-Грузинской дороге от Дарьяльского ущелья до Крестового перевала. Страна называется «Хеви», что в переводе значит «ущелье». Центром Хеви является ст. Казбек (с. бел. Степанцинда). Язык и грамотность у мохевцев грузинские, численность населения около 6000 душ.

² О ритуальном значении шейных обручей (гривес) у грузин-горцев см. Sergi Makalathia. Einige ethnographisch-archäologische Parallelen aus Georgien. Mitteilungen d. Anthropol. Ges. in Wien Bd. IX, 1930, стр. 361—363.

и просят у него размножения баранты и мужского пола. Пастухи и овцеводы из весеннего приплода баранты режут здесь первого ягненка и молят о защите от хищников.

В этом ритуале культ барана связан с божеством Квирия, которое у грузин является божеством плодородия,¹ а Цдойского идола мохевцы называют бараном этого Квирия. В лице этого идола мохевцы поклоняются богу Квирия, прося у него размножения и покровительства своей баранте.

Что скотоводы-мохевцы почитали главное божество, олицетворяя его в форме барана, это подтверждается ритуалом другого главного праздника мохевцев, «Спарсангелозоба» (სპარსანგელობა).

Хати (молеельня) Спарс-ангелози находится на вершине высокой горы (около 4000 м над ур. м.), около ст. Казбек, и разукрашена турьими рогами.

В настоящее время молеельня Спарс-ангелози заброшена, и на праздник редко кто поднимается. Праздник бывает в середине июля по старому стилю. В прежние времена сюда стекалась вся Мохевия с жертвенными баранами и для поклонения бараньему идолу, называвшемуся сперва бараном «Цверис-ангелози» (წვერის ანგელოზი — Ангел высот), а впоследствии бараном Спарс-ангелози (персидский ангел).²

Идол был деревянный и изображал стоящего барана с серебряными рогами, с крестом на спине и был разукрашен серебряными пластинками. Этого идола видела Уварова.³ В настоящее время идол исчез неизвестно куда, но, по всей вероятности, он припрятан служителями хати.

На праздник Цверис-ангелози выносили идол барана Цверис-ангелози, и богомольцы ему поклонялись, обходя трижды вокруг босиком на коленях, а некоторые по обету обходили, держа на голове плоские камни и прося покровительства, здоровья и счастья. Деканоз (жрец) благословлял моля-

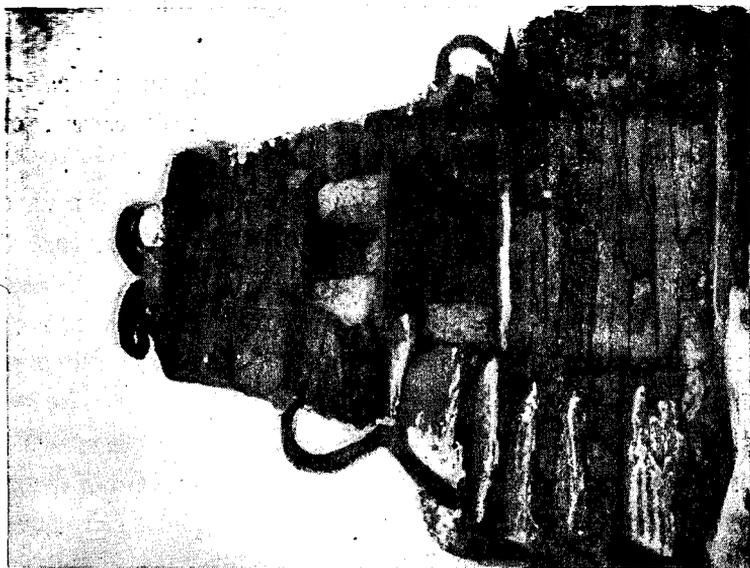
¹ Квирия в грузинском языческом пантеоне бог плодородия (Проф. И. Джавахишвили, История Грузии. Тифлис, 1928 г., стр. 56—70, (на грузинском языке).

² Прежде вершина этой горы и молеельня назывались «Цверис-ангелози» и здесь поклонялись Ангелу высот. Но по преданию, когда персы опустошили Грузию и забрали многих пленных, среди них оказалась одна набожная мохевка, которая накануне праздника Цверис-ангелози со слезами просила бога отправить ее на этот праздник. В Персии к ней ночью является ангел, дарит ей серьги и приказывает следовать за ним. Ангел, сидя на голове быка, ехал впереди и освещал ей дорогу. Бык нигде не останавливался; когда пришли в Хеву, он прямо поднялся на вершину Цверис-ангелози, где мохевцы праздновали свой праздник. Здесь бык упал, и персидский ангел слетел. Быка там же принесли в жертву, а серьги освобожденная пленница повесила в дар бараньему идолу Цверис-ангелози. С тех пор место это стало называться Спарс-ангелози.

³ Уварова. Кавказ. Путевые заметки. 1887 г., стр. 96—97.



Фиг. 1. Бараний идол «Кыргенс-Ючи».



Фиг. 2. Хати (моельня) «Снарс-ангелози».

щихся «дрошой» (დროშა — знамя хати), на котором были привешены колокольчики, звон их заглушал рев жертвенных животных, пение и веселие празднующих мохевцев.

После славословия Квирия и Цверис-ангелози деканоз резал жертвенных баранов, молящиеся же дарили идолу кольца, браслеты, ожерелья и иные дары, чтобы снискать его милость.

В этом празднике, как мы видим, идол барана связан с культом Цверис-ангелози, который являлся покровителем альпийских пастбищ, на которых пасется баранта мохевцев.

Суеверный мохевец чтит в лице бараньего идола самого Цверис-ангелози, хранителя альпийских пастбищ, прося у него для баранты хороших пастбищ и защиты от хищников.

Итак, баран Квирия и баран Цверис-ангелози в религиозном представлении мохевцев являлись двумя сверхъестественными силами, дающими людям экономическое благосостояние: Квирия способствовал размножению баранты, а Цверис-ангелози доставлял баранте пищу и безопасность.

Таким образом почитание барана Квирия и Цверис-ангелози являлось надстройкой, исходившей из экономического базиса мохевцев — овцеводства.

Древность культа барана, в связи с овцеводством, у мохевцев подтверждается археологическими находками в центре Хеви на Казбеке (Степанцминда).

При диалектическом подходе к анализу Казбекских вещественных памятников мы имеем интересную параллель между этнографическими пережитками и археологическими данными.

Казбекский клад бронзовых статуэток не раз опубликовывался.¹ Среди его вещей имеются изображение баранов и итифаллические фигурки на бараньих (турьих) рогах² с подвешенными колокольчиками. К сожалению, археологи ограничиваются формально-типологическим описанием этих статуэток, не привлекая местного этнографического материала и не давая правильного научного объяснения.

¹ В. Б. Антонович. Дневник раскопок, веденных на Кавказе осенью 1879 г. V Археологический съезд в Тифлисе, М., 1879 г., стр. 253—255. — Уварова. Степанцминда у станции Казбек. Мат. по археол. Кавказа, вып. VIII, М., 1900, стр. 139—155. — Коллекция Кавказского музея. Археология, т. V, Тифлис, 1902, стр. 11—19. — А. М. Tallgren. Caucasian Monuments. The Kazbek Treasure. Eurasia Septentrionalis Antiqua V. Helsinki, V, 1930, стр. 109—181. — Fr. Bayerns. Untersuchungen über die ältesten Gräber und Schatzfunde in Kaukasien, Berlin, 1885, стр. 41—51. Казбекский клад бронзовых вещей датируется приблизительно XIII—IX вв. до н. э.

² Уварова. Материалы по археологии Кавказа, т. VIII, стр. 144, рис. 124, табл. LXX, I.

Формально-вещеведческим изучением Казбекского клада на основании культурно-исторического сравнения и анализа проф. Таллыгрин не смог дать другого объяснения, кроме разнообразных миграций и заимствований.¹ А между тем казбекские бронзовые фаллические фигурки находят прекрасное объяснение в пдойском идоле Квириис-кочи.

В казбекских бронзовых фаллических фигурках мы имеем изображение самого Квирия, который является божеством плодородия (фаллос), а бараньи рога, на которых стоит фигурка, указывают на культ барана, имеющий параллель в пдойском идоле Квириис-кочи (баран), которому поклонялись доисторические предки наших мохевцев.

Но фаллическое божество Квирия, по религиозным представлениям мохевцев, имеет свою женскую параллель, которую называют «Квирахвтис-швили» (კვირახვთის შვილი), дочь бога Квирия. Квирахвтис-швили поклонялись исключительно женщины-мохевки. Хати (молельня) Квирахвтис-швили помещается в сел. Пхелша (ფელშა) в развалинах крепости, где стоит женская кукла выс. 0.54 м.

Изображение Квирахвтис-швили одето в белое платье и разукрашено ожерельем, бусами, кольцами, на нее навешены серьги и колокольчики. Здесь праздники справляли женщины накануне вознесения, на празднестве священнодействовала женщина-деканоз, одетая в белое платье. Женщина-деканоз должна была быть целомудренной девицей, которую выбирали на один год.

¹ Op. cit., стр. 120—181; его же, Variétés, ESA, VIII, 1933, стр. 238—242, 51.



Фиг. 3. Кукла «Квирахвтис-швили».

Женщины-богомольцы шли в Пхелша с приношениями, становились на колени у хати Квирехвтис-швили, а деканоз произносил молитву, прося у Квирехвтис-швили плодovitости и здоровья.

Больные и бесплодные женщины по обету приносили и посвящали идолу куклу. С этой целью больная обходила деревню и собирала пожертвования: куски материи, серебряные монеты, бусы, кольца и другие украшения. Во все это наряжали куклу, и в день праздника Квирехвтис-швили приносили и посвящали идолу. Из приношений женщины там же справляли обед и веселились.

Таким образом, в ритуале Квирехвтис-швили кукла являлась символом женского плодородия, как Квиреис-йочи символом скотского плодородия, и оба момента были выражением основных интересов социально-экономической жизни мохевцев: благополучия семьи и стада и их умножения.

А. И. МАЛЕНИН

ПОЛЕМИКА ПРОТИВ „ЗАКОНА УБЫВАЮЩЕГО ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ“ В ДРЕВНОСТИ

«Закон убывающего плодородия почвы» был пущен в ход представителями буржуазной политической экономии. За него с восторгом ухватились такие «критики» и искажители марксизма, как русский писатель С. Н. Булгаков и немецкий социал-демократ Давид. Как известно, «закон» этот встретил блестящий отпор со стороны В. И. Ленина в его работе «Аграрный вопрос и критики Маркса», которая писалась и печаталась одновременно за период времени с 1901 по 1908 г.¹ После этого капитального труда ни один сколько-нибудь добросовестный исследователь не может и заикнуться об упомянутом «универсальном законе».

Любопытно, что аналогичная мысль об ослаблении производительной силы земли возникала уже в классической древности. Одним из наиболее ярких проявлений ее служат заключительные стихи II книги римского поэта-материалиста Лукреция в его замечательном произведении «О природе» (1 в. до н. э.):

Так-то с течением дней и великие стены вселенной
Рухнут, и тлеющий прах их развалин наполнит пространство.
Пища обменом веществ обновляет живые созданыя,
Пища им силу дает, их от гибели пища спасает.
Тщетное рвенье! Живительный сок в ослабшие жилы
Уж не течет, уж его не вливает скуная Природа.
Да, ее старость настала; Земля, утомившись родами,
Лишь мелкоту создает — да, Земля, всего сущего мать,
Та, что животных пород родила исполненные гуши...
Как? или ты думаешь, друг, что с поднебесья цепь золотая
Всех их, одну за другой, потихоньку на землю спустила?
Или что на берег скалистый морские их вынесли волны?
Нет; родила их все та же Земля, что и ныне питает,
Та, что и желтые нивы, и сочные винные лозы
Собственной силой создала нам, смертным, на пользу.

¹ В. И. Ленин. Собр. соч., изд. 2-е, т. IV, стр. 179—189, и т. XI, стр. 298—299.

Их и растим мы и холим, и что же? Весь труд свой влагая,
 Даром изводим волов мы, крестьянскую силу изводим,
 Даром наш плуг разъедает земля; уж не кормит нас поле;
 Меньше становится жито; растет лишь лихая работа.
 Чаще уж пахарь-старик, головою седую качая,
 Стонет, что злая година весь труд его рук погубила;
 Прошлые дни вспоминая, что некогда было, и ныне
 Что наступило, — он славит отцов благодатные годы.
 Стонет пред чахлой лозой виноградарь, и дни проклинает
 Жизни своей, и в молитве напрасной богам досаждаёт:
 «Да», говорит, «в старину благочестия более было;
 Так-то на мелких наделах привольнее жили крестьяне.
 Нежели ныне, когда и земли и скота стало больше».¹

Это пессимистическое настроение поэта вполне объяснимо из условий переживаемой им тогда эпохи. Не надо забывать, что это было время гражданских войн и все большего и большего скопления земельной собственности в немногих руках. Благами этих имущественных привилегий Лукрецию, принадлежащему к средним классам общества, пользоваться не приходилось.

Легко заметить, что мысль о слабеющей производительности земли связана у поэта с другой, более общей — «о неизбежной старости рода человеческого». Акад. Н. И. Бухарин² вполне справедливо называет эту вторую теорию «старой-престарой» и совершенно правильно отвергает ее. Но Лукреций был далеко не одинок. Высказанные им мысли умерно держались среди современных поэту агрономических писателей. Это видно из той яростной полемики, которую возбуждает против них представитель следующего поколения (1 в. н. э) Люций Юний Модерат Колумелла в своем трактате «О сельском хозяйстве» (*De re rustica*). Уже в самом начале труда, обращаясь к молодому другу, такому же богатому помещику, как и он сам, Публию Сильвину, Колумелла писал: «Я часто слышу, как первенствующие лица нашего государства винят то бесплодие почвы, то суровые климатические условия, уже давно вредящие полевым плодам. Некоторые же, как бы стараясь до известной степени смягчить вышеупомянутые жалобы, полагают, что чрезмерное плодородие предшествующего времени утопило и истощило землю, и она не может доставлять смертным питания с прежней щедростью. Публий Сильвин, я уверен, что эти доводы совершенно далеки от истины, так как нельзя думать, будто природу, наделенную постоянным изо-

¹ Стихи 1148—1174. Перевод проф. Ф. Ф. Зелинского. «Из жизни идей». Изд. 3-е, испр. и дополн. СПб., 1916, стр. 195—196.

² Н. И. Бухарин. Теория исторического материализма. Изд. 5-е стереотипное, ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 305.

близем, постигло, словно какая болезнь, бесплодие; с другой стороны, всякий разумный человек не может поверить тому, что земля, получившая в удел божественную и вечную юность и называемая общей матерью всех, так как она все производила и будет производить, состарилась подобно человеку».

Еще более подробно и основательно те же мысли развиваются в начале II книги трактата: «Публий Сильвин, ты спрашиваешь меня, почему я в первой книге, сряду же вначале, опроверг старое мнение почти всех писавших о земледелии, которые полагали, будто земля состарилась, утомленная и истощенная давностью времени и продолжительной работой людей. Я не замедлю с ответом на это. Отлично знаю, что ты преклоняешься пред авторитетом как других знаменитых писателей, так особенно Тремелия, который, для назидания потомству, опубликовал с большим изяществом и умением очень много наставлений по сельскому хозяйству. И, вот, он-то, увлеченный чрезмерным расположением к старым писателям, трактовавшим ту же тему, пришел к ложному мнению, будто мать всего земля, как удрученное старостью существо женского пола, стала непригодной для произведения потомства. Я мог бы и сам признать это мнение, но только под тем условием, если бы не появлялось вообще никаких плодов. Ведь и старческое бесплодие у людей обнаруживается не тогда, когда женщина перестает рожать двойни или тройни, а когда она становится вообще бессильной для всякого зачатия. Поэтому, по прошествии молодости, ушедшая способность к деторождению не возвращается к женщине, хотя бы ей предстояла в дальнейшем и долгая жизнь. А, наоборот, земля, заброшенная или добровольно, или в силу какой-либо случайности, при ее новой обработке с большой лихвой возмещает земледельцу время своего отдыха. Поэтому не дряхлость земли является причиной ее малого плодородия. Ведь если наступит старость, то тут нет возврата, нельзя опять ни помолодеть, ни возмужать. С другой стороны, и усталость почвы не уменьшает плодов земледельца. Действительно, только безумцы способны притти к такому мнению, будто поля могут утомляться от обработки и движения, как это бывает у людей после усиленных телесных упражнений или слишком больших тяжестей. Но как же быть, спрашиваешь ты, с выставляемым Тремелием положением, что девственные и лесистые местности после первой обработки дают весьма обильный урожай, а вслед за тем далеко не в такой степени удовлетворяют труд земледельца. Приводимый Тремелием факт очевиден, но причина его не выяснена до конца. Если пустырь подвергается распахке, то почва его становится плодородной не потому, что она долго отдыхала и более

молода, а потому, что она много лет жирела, как от обильного корма, от росшей на ней древесной листвы и трав и потому может легче производить и выращивать хлебные злаки. Но как только разрытые плугами и боровами корни трав и срубленные железом рожи перестанут питать мать своей зеленью..., то лишенная прежнего питания земля тощает. И так, если поля теперь не очень оправдывают наши надежды, то это происходит не от утомления, как полагали очень многие, и не от старости, а от нашей косности. Можно получить большой урожай, если, так сказать, обновлять землю частым своевременным и умелым удобрением».¹

Блестящий французский эссеист Марта в своей известной книге о Лукреции² высказывает предположение, что Колумелла здесь прямо отвечает на сегования Лукреция. С этим трудно согласиться. Во-первых, известно, что поэму Лукреция, как яркую проповедь материализма, старались не замечать не только его ближайшие современники, но такое отношение к ней проявлялось и почти на всем протяжении существования античного мира. Во-вторых, самый текст Колумеллы показывает, что его полемика направлена против более значительного и достойного противника, равного автору трактата «О сельском хозяйстве» по своему классовому и имущественному положению. Этим противником скорее всего мог быть неоднократно упомянутый в тексте Тремелий. Его сочинение не дошло до нас, но известно, что он был знатного происхождения, достиг претуры и особенно старался о красноречивом изложении своего предмета, благодаря чему имел большое влияние на современников.

Точка зрения Колумеллы вполне понятна. Он писал в эпоху окончательного создания крупной земельной собственности, латифундий, которые их владельцы могли, под тяжелой эгидой абсолютизма, обрабатывать вполне спокойно и беспрепятственно, опираясь на огромное количество говорящих и полуговорящих орудий (*instrumenta vocalia et semivocalia*), т. е. рабов и скота.

¹ L. Iuni Moderati Columellae opera quae exstant. Recensuit **Vilhelmus Lundström**. Fasciculus alter rei rusticae librum primum et secundum continens. **Gotoburgi MCMXVII**, pp. 5 et 51—52.

² Le poëme de Lucrèce: Morale — religion — science. Par **Constant Martha**. Quatrième éd. Paris, **Hachette**, s. a, p. 323.

Т. С. ПАСЕЕК

КРУГ ЧУВАШСКИХ ПРАЗДНИКОВ

«Вопрос о стадиях — это одна из важнейших сейчас обрабатываемых проблем в диалектико-материалистическом понимании истории развития человека», пишет акад. Н. Я. Марр, в одной из последних своих работ.¹ Новое учение о языке путем палеонтологического анализа огромного количества лингвистического материала вскрывает древнейшие из стадий в языке и мышлении, ставя перед историей материальной культуры в целом ряд новых заданий, одно из которых — выявление и прослеживание на конкретном материале стадиальных переоформлений различных общественных группировок.

В настоящей работе делается попытка привлечь к исследованию чувашские этнографические источники, сохраняющие, как и чувашский язык, в весьма четких формах пережитки предшествующих стадий. Материалы эти, как указал акад. Н. Я. Марр, представляют огромный интерес не только для выяснения вопросов средиземноморской, западноевропейской культуры, но также и глубоко теоретический научный интерес в проблеме происхождения человеческой речи вообще.² Специальной темой сейчас является рассмотрение круга чувашских праздников, преимущественно в части, касающейся цикла общественных до-христианских молений с культом плодородия земли в основе. Следует указать, что имеющиеся исследования по истории чувашской религии — В. А. Сбоева, Н. И. Золотницкого, В. Магницкого, Г. Комиссарова, К. Прокопьева и др.³ можно использовать лишь как источник, с учетом их методологической устарелости, нередконося-

¹ Н. Я. Марр. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык. Уч. зап. Научно-иссл. инст. народов Советского Востока при ЦИК СССР, вып. I, М., 1931 г., стр. 104.

² Н. Я. Марр. Чуваша-яфетиды на Волге. Чебоксары, 1926, стр. 18.

³ В. А. Сбоев. Известия об инородцах Казанской губернии. Казань, 1856. — Н. И. Золотницкий. Корневой чувашско-русский словарь. Казань, 1875. — В. Магницкий. Материалы к объяснению старой чувашской веры. Казань, 1881. — Гурий Комиссаров. Чуваша Казанского Заволжья. Изв. Общ. археол., ист. и этногр. при Казанск. унив., т. XXVII, вып. 5. — К. Прокопьев. Изв. Общ. археол., ист. и этногр. при Каз. унив., т. XIX.

щей отпечаток совершенно определенных миссионерских заданий. При всех указанных недостатках ценность этих описаний как материалов несомненна, так как они явились в результате длительного общения с чувашами и непосредственных наблюдений; в ряде же случаев авторами были сами чуваша, которым языческое мировоззрение отцов и дедов, хотя бы по детским воспоминаниям, было родным и близким.

Изучение чуваш велось до последнего времени изолированно, без привлечения материалов всего района Приволжья в целом, что, как неоднократно указывал в своих работах акад. Н. Я. Марр, является методологически неправильным, влияющим на понимание чувашских источников. Общность целого ряда основных черт, независимо от племенной принадлежности, наблюдается на Волге и у западных финнов — мари, мордвы, и у тюрков — казанских татар, и у русских. Эта общность прослеживается и в языке, как и в общественных молениях, в культе предков, знахарстве и не только по сходным внешним признакам, но и по смыслу религиозных представлений, у тех и у других неразрывно между собою связанных, явившихся в результате стадальной близости в развитии общества. Выяснение понимания самой сути того или иного явления у чуваш, возможно часто лишь с привлечением материалов соседних народностей. Шаманство, следы которого прослеживались в деятельности чувашских «йомзь» — знахарок, получают новое освещение, если их рассматривать на общем фоне шаманизма. В культе предков у чуваш многие черты совершенно ясно выступают только тогда, когда привлекаются материалы их соседей — мари, мордвы, и обратно — многие мордовские и мари́йские обряды разъясняются при сопоставлении их с чувашскими.

Если религии отдельных народностей Поволжья не были достаточно разработаны, то тем более неполны единичные попытки прежних исследователей проводить их сравнительное изучение. И Сбоев, и Магницкий, и другие привлекали сравнительный материал, но они подходили к этому только с точки зрения установления заимствования слабым народом у племен, более сильных политически или культурно. Как характерный пример такого направления можно привести мнение В. А. Сбоева; оно, пожалуй, наиболее последовательно и вычлукло его формулирует: «господствовавший первоначально у чуваш, чистый дуализм, — пишет В. А. Сбоев, — был, может быть, заимствован или от последователей древней Зороастровой религии, или от соседних некогда чувашам хазар, исповедовавших еврейскую, вероятно, не совсем чистую религию».¹ «Чистый дуализм состоял в поклоне-

¹ В. А. Сбоев. Заметки о чувашах, 1856.

нии Торе и Майтану. Тора был богом добра и света; его местопребывание — высочайшая область мира. Как у доброго, так и злого бога были духи служебные. Из них-то чуваши впоследствии сделали особенные, самостоятельные божества. Таким образом, из единого доброго бога составилось несколько богов, из которых каждый представлял собой одно какое-нибудь свойство прежнего единого доброго божества и каждый носил название Тора, с прибавлением свойства, им представляемого. К этим божествам присоединились потом и обоготворенные силы природы и за ними напоследок явились боги, покровители полей, домов, лесов, урочищ и проч.»¹ Сами чуваши ничего не создали, привнесенный со стороны образ единого божества только деградировал в чувашской среде, выродившись в какие-то беспорядочные языческие суеверия. Причина эта лежит, по мнению В. А. Сбоева, в отсутствии религиозной системы и регламентации. «Чувашки никогда не имели, — пишет В. А. Сбоев, — религиозного законодателя».² Следует вспомнить обычно приводимый здесь рассказ о том, как чувашки не получили писанного религиозного закона и как его съели овца и корова: «русским, татарам и чувашам вера была дана так. Раз русский, татарин и чуваш ночевали вместе в одной избе и вот рано утром услышали голос во сне, говорящий: «идите — берите книгу и веру». Татарин, тотчас же надев калоши, выскочил из избы первый, за что и получил книгу и три жены. Русский также получил книгу и веру, но, как вышедший вторым, получил одну жену. Чуваш же обувался в онучи и лапти и замешкался. Бог, подождав немного, бросил книгу и ушел. Вышел чуваш, а книгу-то давным давно едят корова и овца, и остался чуваш без книги и закона, в воле Керемети и мирских богов. Впрочем, чувашки, как им кажется, не в проигрыше. По смерти, говорят они, за неимением у них закона, верховный бог судить их не станет, не почему скажет».³

Действительно, писанного закона у чувашки не было, и, пользуясь отрывочными литературными источниками, или же подходя к этому вопросу с точки зрения описания более или менее курьезных суеверий, не трудно прийти к мысли, что религиозные верования чувашки представляли собою хаотическое нагромождение магического типа обрядов, совершавшихся каждым по своему усмотрению и фантазии, без всякой определенной цели, лишь для того чтобы иметь случай на этих праздниках хорошенько поесть и напиться.

¹ В. А. Сбоев. Известия об инородцах Казанской губ. 1856.

² В. А. Сбоев. Известия об инородцах Казанской губернии, Казань, 1854, стр. 54—55.

³ В. Я. Смелов. Нечто о чувашских языческих верованиях и обычаях. Приложение к В. Магнацкому, указ. соч., стр. 246.

При рассмотрении чувашских праздников, вырванных из общей массы, без попытки анализа их во взаимной связи, как заимствованных из других религиозных систем, не принималось во внимание и то, что чуваша, имеющие свой язык и богатую народную литературу, казалось бы, могут иметь и свою религиозную систему. Система эта существовала, и если она и не была разработана теологическим законодательством, то все же она далеко не случайна и бессмысленна, а с точки зрения чуваша была целесообразна и объединена основной, заложенной в ней идеей.

Эту идею и смысл чуваш не всегда мог объяснить достаточно связно, очень многое стерлось, выродилось, приспособилось к новым общественным условиям. Но все же при более внимательном анализе вполне достаточно имеющихся фактов, чтобы определить эту идею. Следует только подходить к анализу религиозных верований чуваш, не ограничиваясь одним вопросом, как совершался тот или иной обряд, т. е. не ограничиваться рассмотрением этого обряда лишь по его внешней форме и изолированно от других, но ставя вопросы семантики и генезиса, не отрывая религиозных представлений и всей системы мышления от создавших их социально-экономических условий. При такой постановке вопроса, отличающейся от формального, чисто описательного методологического подхода стремлением вскрыть смысл, разобраться в генезисе того или иного обряда, а также рассмотрением отдельных чувашских молений в той хронологической последовательности и взаимной связи, в которой они совершались, — удастся выявить в, казалось бы, бессмысленных и разрозненных фактах чувашской религии закономерность и объединяющую их, в представлениях чуваша, причинно-следственную связь.

При простейшей рабочей классификации культово-обрядовых действий чуваш возможно разделить их на несколько частей.

I. Цикл общественных, родовых праздников-молений, совершаемых всеми жителями деревни, нередко целой округой.

II. Круг молений частных, семейно-родовых, совершаемых каждой семьей отдельно. Это благодарственные моления богам, покровителям домашнего очага, двора, пчельника, колодца и др.

III. Культ злого, гневного духа Керемети.

IV. Культ предков.

Материалы для рассмотрения разбираемой темы оказываются сосредоточенными, преимущественно, в обрядах двух первых категорий.

Новый год у чуваш по времени совпадает со второй половиной марта, первыми числами апреля, с началом сельскохозяйственных работ. Первым

праздником в новом году являлось моление, справлявшееся в момент яровой пашни — **Agadu**. В переводе термин **Agadu** значит 'свадьба плуга'. По-чуваши **ага** 'плуг',¹ **ду** 'свадьба'. Праздник свадьбы плуга, в котором невестой является земля, совершался ежегодно каждым домохозяйством отдельно, но в один и тот же день всей деревней. Справлять **Агаду** было обязательным, иначе уклонившемуся от всей сельской общины после этого «житья не будет», как говорили чуваш. Нужно заметить, что в старину у чуваш обыкновенно засевали землю под плуг или под соху, а затем уже ее заборанивали. Моление **Agadu** совершалось в поле, в момент, когда на полосе оставалось пройти последнюю борозду и прикрыть последние засеянные семена. К этому дню в доме напекались лепешки, специальные для **Agadu**, хлеб, наваривались каша и яйца. Всю еду в кошме выносили на поле, при этом должна присутствовать вся семья. Перед молитвой, произносившейся старшим в семье, из всех лепешек и хлеба вырезали куски и клали так же, как яйца, в землю, в последнюю засеянную борозду, а остальное раздавали присутствующим. Борозда запахивалась плугом, который во время этого обряда стоял наготове.

Перед посевом всегда узнавали у «йомзи» — чувашского знахаря-колдуна, кому в семье первому выносить на поле зерно и в какой день. Указанный «йомзей» (самый счастливый или безгрешный человек; часто выбор падал на детей) должен был после полуночи, до восхода солнца, вынести, чтобы никто не заметил, в шапке, или в поле одежды несколько горстей семян и разбросать их на своем загоне.²

Аналогичные обряды имелись и у ближайших соседей чуваш; у мари существовал праздник **ага раугет**, совершавшийся также перед началом весенней пашни (**ага раугет** 'праздник плуга').³ В некоторых районах у чуваш во время **Agadu** устраивались скачки и различные состязания в силе, беге, борьбе.⁴ У казанских татар, у которых весенняя пашня обычно сопровождалась особым обрядом **saban du** ('свадьба плуга'), такие же со-

¹ В переводе название чувашского плуга **ага риш** означает 'голова пашни' (**риш** по-чуваши 'голова', **ага** 'пашня'). Чувашский **ага риш** представляет собою больших размеров деревянный плуг с увеличенных размеров пятой, отвалом и парой колес вперевд дышла. Обычно в него впрягали 4-х лошадей. В некоторых районах Чувашии такой плуг был в употреблении еще лет 30—40 тому назад. Ближайшие аналоги **ага риш** мы находим в татарском **saban du**.

² См. В. Магницкий. Материалы к объяснению старой чувашской веры. Казань, 1881, стр. 18—23 и сл., а также записи, сделанные лично во время командировки в Чувашскую республику в 1925 г. в сел. Урмары.

³ В. Магницкий, указ. соч., стр. 23.

⁴ По записям, сделанным лично во время командировки в Чувашскую республику в 1925 г. в сел. Аликово.

стязания были особенно развиты. Обычно они же у чуваш сопровождали свадьбы вообще, что еще более подчеркивает именно свадебный характер праздника Agadu.¹ У казанских татар мусульманство заслонило сущность этого праздника как языческого религиозного обряда свадьбы плуга, но не смогло побороть сопровождавших его увеселений и игр. Они сохранились до последнего времени как бы нечто самостоятельное.

Чувашский Agadu по своему содержанию и внешней форме, в которой он выражался, явление не единичное и изолированное. Он хорошо известен у ряда земледельческих народов в связи с культом матери-земли, и семантика его совершенно очевидна.

Следующим по времени, после Agadu, молением являлся Soməg-đuq ('моление о дожде'), совершавшимся в старину ежегодно и обязательно до начала периода Şınde. Справляли это моление в одном и том же месте, непременно у воды. Напекали дома лепешек, наваривали кашу, и при произнесении слов молитвы о даровании дождя старик или — «Йомзя» брал частицы приготовленной еды и бросал их в воду. На этом молении, необходимым для роста хлебов, приносилась специальная жертва воде, состоявшая из воробьев и яиц, которые бросались в воду. По окончании моления и трапезы все присутствующие, не раздеваясь, купались. Возвращаясь к дому, полагалось друг друга и не бывших на молении обливать водой, или же прямо толкать в воду. Особенно старались спихнуть молодых парней и девушек. Soməg-đuq, кроме этого обязательного срока, нужно было совершать в случае засухи повторно.² Обряд имел целью обеспечить необходимый для произрастания хлебов дождь.³

Не касаясь сейчас при рассмотрении Soməg-đuq, так же, как и других привлекаемых обрядов, всех сторон их семантики, в частности, значения воды в связи с культом женского божества и его конкретных преломлений в земледельческой религии Приволжья, необходимо все же указать

¹ Личные записи во время командировки в 1925 г. в Чувашскую республику, сел. Аляково.

² См. Г. Комиссаров. Чуваша Казанского Заволжья. Изв. Общ. археол., ист. и этногр. при Казанск. унив., т. XXVII, вып. 5, стр. 381. — А. Иванов. Чувашские праздники. Изв. Общ. археол., ист. и этногр. при Каз. унив., т. XIV, стр. 147. — Личные записи, сделанные в 1925 г. во время командировки в Чувашскую республику, сел. Алдиарово, Норусово, Урмаи и др. — В. Магницкий, указ. соч., стр. 32.

³ В Янтиковском районе Чувашской республики моление «Soməg-đuq» совершалось обычно на берегу оз. «Eļđ gülli», находящегося около дер. Алдиарово. По представлениям чуваш, дождь поднимается из этого озера. Часто во время молитвы о даровании дождя, провизносившей стариками, собравшиеся видели, рассказывали чуваша, как дух, живущий в озере, выезжал на вороных конях, и тогда чуваша могли считать, что молитва их услышана и засуха прекратится. (Личные записки, сел. Алдиарово).

на то, что роль воды в *Şomæg-şuq* отнюдь не ограничивается только реалистическими представлениями о необходимости дождя для урожая. Это — одна утилитарно-рационалистическая сторона вопроса и логическое понимание происходящих в природе явлений; другая — это комплексный магический образ воды как производящего женского начала, причем обе они в религиозном сознании не разграничивались.¹

Затем, в начале июня, во время цветения ржи начинался праздник *Şiñde*. Объяснения Магницкого этого термина сводятся к пониманию его как описательного — «новое лето» (*şu, şine, şuq* — по-чуваши — 'новый'; *jaу* — по-татарски — 'лето').²

Акад. Н. Я. Марр в своих работах останавливается на анализе этого термина, семантически связанного в языках «яфетической» системы со значением 'света', 'блеска', 'глаза-неба' (по-груз: *şin* — 'глаз'), 'светила', в конечном счете 'солнца'.³

Şiñde у чуваш длился больше недели, дней двенадцать, и особыми обрядами не сопровождался. Это скорее — не праздник, а период, отмечавший особое состояние земли, являвшееся следствием *Agadu* и *Şomæg-şuq*. Земля предполагалась в это время беременной. В период *Şiñde* запрещалось чем-либо беспокоить землю, пахать, рыть, рубить лес, бросать тяжелое на землю, недопустимо было даже стирать. Для чуваша этот период был периодом полной бездеятельности. Нарушение кем-либо покоя *Şiñde* влекло бедствие для всех, и потому за исполнением запретов строго следили. В. Магницкий пишет: «о времени наступления *Şiñde* обычно оповещают, отбирают подозрительные предметы, могущие послужить орудиями, нарушающими запретные дела во время *Şiñde*». ⁴ И если в это время бывает град, значит кто-то нарушил покой земли. Того, на кого падало подозрение, избивали до смерти. Ограничения *Şiñde* чрезвычайно осложнены и запретами, основанными на принципах симпатической магии.

Те же запрещения, какие налагало на чуваш *Şiñde*, находим и у мари, причем время соблюдения их называлось у них *Şinqsa*. В материалах ре-

¹ См. Б. А. Латынин. Мировое дерево — дерево жизни в орнаменте и фольклоре Восточной Европы. Изв. ГАИМК, вып. 69, 1933.

² В. Магницкий, указ. соч., стр. 34.

³ Н. Я. Марр. Родная речь — могучий рычаг культурного подъема. I, Восточный инст. им. Енукидзе, ЦИК СССР 1930, вып. 35, стр. 21, 39, 40—41. — Н. Я. Марр. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык. Уч. Зап. Н. Инст. народов. Сев. Севера, М., 1931, вып. I, стр. 44. — Н. Я. Марр. Чуваши-яфетиды на Волге. Чебоксары, 1926 г.

⁴ В. Магницкий, указ. соч., стр. 34—35. — Г. Комиссаров, указ. соч., стр. 390, а также записи, сделанные лично в 1925 г. во время командировки в Чувашскую республику, в с. Ишаки, Урмары, Ослабы.

лигиозных верований мари об этом имеются свидетельства, но значительно менее четкие; известен ряд очень интересных судебных дел, возникших в связи с нарушением *Şinqsa*.¹

В Черемисско-русском словаре Троицкого мы находим слово *Şengsa*, означающее время 'цветения хлебов', время, в которое мари не производят никаких земледельческих работ.² Этот период *Şiñde* у чуваш и *Şengsa* у мари несомненно следует сопоставить с той порой, когда по великорусским повериям бывает «земля-мати-имениница».

Вслед за *Şiñde* в половине июня (20-е числа) справлялось моление *оу-Şиç* (по-чуваш. — *оу* — 'поле'). Оно совершалось целой деревней и требовало огромных, по бюджету крестьянина-чуваша, расходов. Заранее собирались деньги для закупки необходимых жертвенных животных — лошадей, овец, гусей, уток, выбирали стариков руководить молением. Оно длилось обычно целую неделю. Для каждого поминаемого бога резали специальные жертвенные животные: *Мон-Туге* — лошадь, *Туга амэш* — барана и т. д.³

Перед тем, как закалывали жертвенное животное, его обливали водой, и если оно встряхивалось, то значит эта жертва угодна богу.⁴

Бывало, что, несмотря на усердное направление *Агадиш* и *Şомэг-Şиç*, наступала засуха, земля оставалась бесплодной. Тогда совершался обряд так наз. «кражи земли». Сделав необходимые приготовления и, главное, найдя из своего округа молодого человека-жениха, отправлялись в местность, где земля принесла уже обильные плоды. Ехали одни мужчины, свадебным поездом, на нескольких телегах, с колокольчиками, песнями, и там потихоньку крали с поля хлебные колосья, выкапывая их вместе с землей и стараясь не встряхнуть ее с корней, вскачь возвращались обратно. Жених должен был рассыпать землю по полям своей деревни.

Невестой в данном обряде является земля; к ней ехал свататься специально выбранный парень, ее жених. Подъехав к засеянному урожайному полю, он вместе со всеми кланялся земле и брал к себе в повозку как

¹ В. Магницкий, указ. соч., стр. 37.

² В. П. Троицкий. Черемисско-русский словарь. Изв. Общ. археол., ист. и этногр. при Казанском увив., т. XI, приложение, 1893.

³ Чувашский пантеон, по указаниям В. А. Сбоева и Магницкого, состоял из 77 богов. *Оу Şиç* является одним из главных молений, на котором поминали этих богов и приносили им жертвы.

⁴ В. Магницкий, указ. соч., стр. 25—27 и сл., а также записи, сделанные лично во время командировки в Чувашскую республику в 1925 г. в сел. Урмары, Ишаки, Алдиарово и др.

бы украденную невесту — землю. Участь этого жениха «страшна», как говорили чуваш; он не доживет до старости и должен будет преждевременно умереть. Обычно роль жениха брал на себя кто-нибудь из сирот или бедняков.¹

Обряд «кражи земли» так же, как и *Agadu*, имеет ярко-выраженный свадебный характер, — невестой снова является земля. Это — как бы повторная свадьба, справляемая в случае неуспеха первой — *Agadu*. В предполагавшейся неминуемой смерти жениха явно выступают пережитки человеческого жертвоприношения, когда-то сопровождавшего такую свадьбу, при которой жених матери-земли должен был стать жертвой, как это известно из аналогичных обрядов у других народов.

Этим обрядом заканчивались основные праздники из того цикла, который был охарактеризован мною как первый цикл общественных молений (родовых).

Особого праздника «рождения урожая», связанного с началом жатвы, у чуваш отметить нельзя, но справлявшийся в этот момент обряд «развязывания серпов» следует выделить. Более чем вероятно, что в нем заключены элементы рождения урожая как явления, закономерно завершающего весь разнообразный цикл земледельческих праздников — *Agadu*, *Şomər-şuq*, *Şiñde* и т. д., но состояние источников не позволяет вскрыть эти элементы с достаточной полнотой. Жатву в деревне начинал кто-нибудь один, уважаемый всеми человек, считавшийся, по указанию «йомзи», удачливым. Он выносил серпы на полосу и развязывал соломенный жгут, которым они были связаны в прошлом году по окончании жатвы, когда совершался обряд «связывания серпов». Последний остававшийся на полосе сноп не сжинался, а загибался и закапывался колосьями в землю, последним же сжатым пучком серпы связывались и в таком виде оставались до будущего года.²

Обряд также имеет ряд аналогий, в частности у великоруссов и на Украине.

Осенью у чуваш начинался ряд благодарственных молений. Хотя их по формальным признакам следует выделять особо, они непосредственно связаны с разобранным выше циклом и являются его естественным продол-

¹ В. Магницкий, указ. соч., стр. 40—43; по сведениям, которые мы находим у Магницкого, в Ядринском районе таким же обрядом в случае засухи похищали воду. В женихи выбирали старика, которому недолго оставалось жить; также личные записи, сделанные во время командировки в 1925 г. в Чувашскую республику — в сел. Латышево, Ишаки и др.

² См. личные записи, сделанные во время командировки в Чувашскую республику в 1925 г. в сел. Ишаки, Алдиарово и др.

жением, в их общей обусловленности, хозяйственного земледельческого процесса.

По окончании молотбы хлеба каждый домохозяин совершал у себя дома благодарственное моление богу овина (авен рутте — 'овинная каша') за его помощь и охранение овина от огня. Обычно в этот вечер варилась каша, закалывали петуха, из которого делался суп, и вся семья отправлялась на гумно, где близ деревянного столба на току читалась молитва около специально разведенного огня. Во время благодарственной молитвы несколько раз кланялись столбу. В огонь бросали ложку каши. В этот же день на крышу овина вешался нарочно оставленный необмолоченный сноп ржи.¹

Вслед за этим наступало моление о «новом хлебе и новом пиве» (Sга џиqleme). До него употребление хлеба нового урожая, а также пива было запрещено.

Sга џиqleme обычно протекало очень торжественно с приглашением всех родственников и друзей. Угощение готовили из новых запасов — варили пиво, выпекали хлеб. Старший в семье, или «йомза», брал сначала каравай хлеба, а потом ковш с пивом и, держа его в правой руке, обращался к открытому окну и двери, произносил благодарственную молитву и просил на следующий год послать урожай.²

Вслед за окончанием периода земледельческих работ и разобранных выше связанных с ними праздников, для чуваша наступало время молений духам-покровителям домашнего очага.³

В начале зимы, в ноябре, справлялись и основные поминки по умершим, во время которых ставились⁴ надмогильные антропоморфные столбы «йоба». Кроме праздников, которые были мною разобраны выше, насколько мне известно, у чуваш не существует молений, совершавшихся ежегодно. Существовало еще несколько общественных молений, справлявшихся в случае бедствий, мора на скот, повальной болезни, но они стояли отдельно от основного рассмотренного религиозного цикла праздников.

При связном рассмотрении и последовательной смене, праздники эти отражают картину стройной системы религиозного мировоззрения с культом плодородия земли, в основе. Весь процесс рождения урожая отражается

¹ В. Магницкий, указ. соч., стр. 43—44. — Г. Комиссаров, указ. соч., стр. 390.

² В. А. Сбоев. Изв. об инородцах Казанской губ., стр. 46—47, 50—51. — В. Магницкий, ук. соч., стр. 56—58.

³ В. Магницкий, указ. соч., стр. 42—55.

⁴ См. работу Б. А. Латыгина и Т. С. Пасек. Sur la question de kamennye baby ESA IV, ч. II, Les Ioba Tschouvaches, Helsinki, стр. 300 и сл.

в них для чуваш образно, вполне реалистично, сообразно с течением — зарождением и развитием жизни в живом организме. В первом празднике в Агадш находим момент брака земли с плугом, второй *Somэг-шш* имел целью вызвать воду — дождь, оплодотворяющую силу, необходимую для матери-земли. В результате этих обрядов земля становилась беременной, и наступал период *Shnde*. Специальное, наиболее торжественное общественное моление *оу шш* должно было обеспечить благополучное течение этого процесса и способствовать росту и созреванию хлебов. Если же все это не приводило к желаемой цели, то прибегали к похищению — краже из другого места невесты-земли, способной оплодотвориться, и совершали как бы повторную свадьбу.

Процесс оплодотворения земли у чуваш отражается в образных вполне реалистичных представлениях, но силы, участвующие в нем, остаются не выделенными, не персонифицированными. Среди пантеона чувашских божеств мы встречаем бога, оплодотворяющего землю, хранителя земли и воды, бога изобилия, бога, создавшего землю, отца и мать земли, но функции и характеристика каждого в отдельности относительно слабо выражены и дифференцированы.¹ Как в каждой религии имеются различные наплавования, у чуваш наряду с указанными чертами образов божеств в земледельческом культе встречаем и вполне развитое представление об антропоморфизованном образе божества. Если культ плодородия земли ясно выступает в чувашской религиозной системе, то его связь с плодородием вообще не вполне четко выявлена. Трудно сказать, соответствует ли это действительному положению вещей, или же такой вывод является следствием недостаточности зафиксированных наблюдений, или же наконец именно в этой части произошло наибольшее выветривание и, таким образом, нам особенно трудно анализировать это явление.

У соседей чуваш, у мари, отдельные черточки выступают более заметно. Так, у луговых мари во время ага раугеш — праздника брака земли, от имени богов благословляли молодых, вышедших замуж после прошлогоднего праздника. У казанских татар ко дню *Saban-sh* все женившиеся в этом году жертвовали полотенца, шедшие потом на призы, и вся молодежь участвовала в устраивавшихся скачках и играх.²

Некоторый намек на связь с судьбою молодых, не вступивших еще в брак, находим и у чуваш в обряде, совершавшемся по окончании моления

¹ В. Магницкий, указ. соч., стр. 29—30. — В. А. Сбоев, указ. соч., стр. 105—106. — Н. Золотницкий. Корневой чувашско-русский словарь. Казань, 1875, стр. 378 и др.

² В. Магницкий, указ. соч., стр. 27.

Agadı, когда молодежь начинала кидать в поле яйца и палки, по положению которых старики или «йомзи» гадали им о свадьбе.¹

Наиболее ярко, среди приволжских народностей, связь культа плодородия земли с плодородием вообще выступает у мордвы.²

Возвращаясь к основному циклу общественных праздников, следует остановиться еще на чувашском календаре. Календарь чуваш — не астральный, а связан преимущественно с разными земледельческими работами. Год насчитывает в некоторых районах у чуваш до 15 «месяцев».³

Материалы приводятся с толкованием, даваемым Золотницким.⁴

1. *Nogus-uyh* (*uyh* по-чувашски «месяц»; *nogus* по-персидски «новый год») — «месяц нового года», соответствовал марту.

2. *Roĵ-uyh* (*roĵa* по-чувашски «пустой», «праздний», «свободный») — месяц, свободный от земледельческих работ, соответствовал началу апреля.

3. *Agā-uyh* (*aga* по-чувашски «плуг», *ag-* «пахать») — месяц пахни плугом, сеяние ярового хлеба, соответствовал апрелю—маю.

4. *Şın-uyh* (*şın* по-чувашски «лето») летний месяц, соответствовал началу и середине июня.

5. *Sürtme-uyh* (*şut* по-чувашски «гноить») — паровой месяц, пора удобрения полей под озимый посев, соответствовал июню.

6. *Ķeġ-uyh* (*ĳiĳ* по-чувашски «девушка») — месяц невест (девушек), соответствовал первой половине июля. В этот период у чуваш бывало самое большое число свадеб.

7. *Ud-uyh* (*ud* по-чувашски «сено») — месяц сенокоса, вторая половина июля.

8. *Şorla-uyh* (*şorla* по-чувашски «серп») — месяц серпа, соответствовал августу.

9. *Idem-uyh* (*idem* по-чувашски «ток») — месяц молотбы, соответствовал сентябрю.⁵

10. *Avəp-uyh* (*avəp* по-чувашски «овин») — овинный месяц, соответствовал октябрю.

¹ В. Магницкий, указ. соч., стр. 20.

² См. работу Б. А. Латынина. Мировое дерево — древо жизни в орнаменте и фольклоре Восточной Европы. Изв. ГАИМК, вып. 69, 1933.

³ Н. Золотницкий, указ. соч., стр. 192. — В. А. Сбоев, указ. соч., стр. 160—161).

⁴ Приводимые сопоставления, сделанные Золотницким, напр., чувашского с персидским языком, понимаются им как заимствование из последнего.

⁵ Н. Золотницкий, указ. соч., стр. 196, приводит еще название этого месяца *iudim uyh* (*iudem* по-чувашски «лен») — месяц, в котором собирается лен. Сбором и обработкой льна и конопли в старину занимались одни женщины, и поэтому это название употреблялось только в их разговорах.

11. Iuba-uyh (iuba по-чувашики 'надмогильный столб') — месяц осенних поминок и постановки надмогильных столбов.

12. Ӣуq-uyh (Ӣуq по-чувашики 'моление' 'жертвоприношение') — месяц жертвоприношений, соответствовал декабрю.

13. Рапӑав-uyh (рапӑав по-чувашики 'рождество') — рождественский месяц, соответствовал декабрю и первой половине января.

14. Мон (или asl) kӑrlaӑ (mun или asl по-чувашики 'главный', kӑrlaӑ 'приводить в оцепенение') — месяц большого оцепенения, соответствовал январю.

15. Kizic kӑrlaӑ (kizic по-чувашики 'меньший') — месяц меньшего оцепенения, соответствовал февралю.

Таким образом, «месяц» у чуваш являлся тем периодом, в котором протекали основные хозяйственные события жизни, преимущественно его земледельческие работы. На время, свободное от земледельческих работ, падали «месяцы» поминок, «месяц» невест, благодарственных жертвоприношений, и наконец два зимние месяца — январь и февраль, получившие названия в связи с явлениями, происходящими в природе.

Положение Маркса и Энгельса о религии первобытно-коммунистического общества, о том, что «бессилие первобытных людей перед природой, низкая степень производительных сил труда и соответственная связанность отношений людей в рамках процесса, созидающего их материальную жизнь»,¹ удается, как мне кажется, с достаточной четкостью иллюстрировать и на чувашском материале.

Жизнь чуваша, весь процесс в течение всего хозяйственного года, борьба чуваша с природой и активное воздействие его на нее — проходили по строго построенной религиозной системе, в основе которой лежал цикл земледельческих общественных молений.²

Система эта конечно ниоткуда не принесена, не является деградируемым производным каких-либо более развитых, оформленных религий (мусульманство, еврейство и т. д.), а представляет собою закономерное отражение основного (для стадии распада рода) вида хозяйственной деятельности чуваш — земледелия, исконного на данной территории. В разнообразных общественных молениях с культом плодородия земли в основе, в котором весь земледельческий процесс отражается в представлениях со-

¹ См. статью Лукачевского «Происхождение религии». *Антарелигиозник*, № 2—4, 1932.

² С. С. Кутяшов в своей статье «Против национализма в чувашской этнографии», подвѣргая критике заметки в чувашской газете «Канаши» — Н. Я. Золотова. *Древние чувашские боги*, — касается и этого вопроса (*Советская этнография*, № 1—2, 3—4, 1931, Л.).

образно зарождению и развитию жизни в человеческом организме, не удается наблюдать еще, как указывалось, ясных черт антропоморфизации этого процесса, находить персонифицированные представления о земледельческих божествах, об их функции в производстве. Микрокосм и макрокосм не противопоставлены в мышлении чуваша, но диффузно слиты и магически воздействуют друг на друга.

«Бог, — пишет акад. Н. Я. Марр, — как отвлеченное понятие, да и вообще антропоморфизованные представления о духах, божестве — позднее явление, — ему предшествует предмет культа по космическому мировоззрению — небо-земля-солнце, луна и т. д.»¹

В основе разобранных чувашских молений лежит мировоззрение с представлениями о «женщине-матери», «матери-земле», тождественное тому, что вскрывает палеонтологический анализ в языках яфетической стадии. Представления «женщины-матери» органически сливаются с землей. Чувашские земледельческие праздники, начиная с первого весеннего моления *Agadıw*, неразрывно связаны с моментами брака, зачатия, рождения. Окончание этого цикла общественных молений — с представлениями о смерти. Именно осенний период года у чуваш посвящен поминкам; ноябрь (*tuwa-uuh*) является месяцем всеобщего совершения поминок с постановкой антропоморфных надмогильных столбов — *tuwa*.

Акад. Н. Я. Марр в своей работе «Зима || смерть» указывает, что первопричиной возникновения представления о смерти, а соответственно и появление выражающего ее слова, была конечно не своя смерть, но «хотя бы соплеменная, коллективная, всеобщая смерть природы».²

В чувашском материале мы застаем следы такой неразделенности представлений о смерти человека и зимнем умирании природы. «Смерть остается увязанной с предварительно выявленной в сознании смертью в природе. «Брак», «любовное соединение», «рождение» не отделимы от семантического пучка «весны», «лета», с его дериватами «обилие», «плодородие», «урожай», «тепло», «свет», в их космической увязанности с явлениями неба — солнцем, огнем, растительностью. В противоположном аспекте с теми же космическими объектами увязан семантический пучок «зимы», «скудости», «холода», «мрака».³

¹ Н. Я. Марр. Постановка учения об языке в мировом масштабе и абхазский язык. Изд. Лев. Вост. инст. им. Енукидзе, вып. 28, Л., 1928, стр. 38.

² Н. Я. Марр. Зима || смерть. Изв. Академии Наук, 1927, стр. 329.

³ И. Г. Франк-Камеицкий. Сб. «Тристан и Иольда». Тр. Инст. языка и мышления, т. II, 1932, Л., стр. 272.

Начало года у чуваш с его весенними молениями *Agadı, Somäg-Şiq, Оу-Şiq Şiñde* связаны с моментами «брака», «зачатия», «рождения», конец года («холод» — «срак») посвящен поминкам, культу предков, соответствующим по времени общему умиранию в природе.

Н. Я. Марр в своих исследованиях по Поволжью неоднократно останавливался на вопросах стадиальной и генетической близости чуваш, финнов; тюрков, славян, показывая на конкретном лингвистическом материале всю непрочность племенных границ между всеми этими общественными группировками в Восточной Европе. Религиозная система чуваш, с земледельческим культом в основе, прослеживается сейчас и у ряда других поволжских народностей, независимо от их племенной принадлежности, у финнов, у мордвы, у мари.

Она не является ни заимствованной ими друг у друга, ни занесенной сюда извне. Это — не скопление случайных суеверий, а стройная система мировоззрения, возникшая на основе их хозяйственной деятельности. В своем автохтонном развитии она уходит корнями в глубь стадиальных наслоений, далеко за пределы всяких этнических образований в Восточной Европе.

Языческая религия Поволжья с земледельческим культом в основе в своем генезисе восходит к древнейшему земледелию в районе Поволжья, хронологически восходящему к периоду развития индустрии бронзы, к эпохе родовых отношений, к средней стадии курганов с так наз. «скорченными и окрашенными костяками». Пройдя ряд стадиальных переоформлений в период феодализма, этот земледельческий уклад выступает на Волге в государстве болгар.

У чуваш мы наблюдаем последние звенья этого ряда в виде пережитков, но настолько четко удержавшихся, что они являлись доминантом системы религиозных представлений.

Москва.
1933 г.

Э. К. ПЕКАРСКИЙ

ПЕСНЯ О СОТВОРЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ

(Перевод) ¹

I

Восстал я от сна, от ложа, встал, смотря напротив своими водяными глазами величиною с десятикопеечную монету. Встал, оглядывая окраину беспредельной обширной страны. Когда я так оглядывал, на самом востоке на внутренней опушке стройного темного леса, подобного ровно срезанному хвосту тельного (в теле) коня, со стороны приветливого восточного небосклона выплыло-обступило узорчатое облако, подобное рябой груди тетерки, сидя глотающей орехи. Имея своим дыханием теплый воздух, имея неясную (за дальностью) сизую дымку, имея у подножия сильную жару, раскрылась бахромчатая дорога богини Iäjäxçit, раскрылся разукрашенный путь богини А́йысыт, проложилась благодатная дорога У́бсöгöй — бога — ах, други! стал я смотреть, обдумывая (размышляя). Когда я так смотрел, со стороны восхваляемого в молитвах желто-белого неба, со стороны благодатного беспокойного белого неба, девяносто девять У́бсöгöй-божеств, толпою появляясь, собираясь и дружась, говорят, не без основания предопределили. Говорят, сказали: пусть, обратившись в девяносто девять песчаных речек, с шумом протекая и соединяясь, превратятся в девятипроточное незамерзающее море. Говорят, восемьдесят восемь добрых божеств, собираясь в толпы, восклицая и заклиная создали; «превращаясь в восемьдесят восемь пальчатых притоков, зигзагообразную реку, соединяясь, образуя тинистую воду, растекаясь, вливаясь, будьте восьмипроточным морем Арат!» сказали,

¹ Якутский текст песни был собственноручно написан покойным песенником К. Г. Оросиным (см. о нем «Образцы народной литературы якутов». СПб., 1911, т. I, ч. 1, стр. 1, прим. 1) 3 февраля 1889 г. и был передан мною врачу-якуту П. Н. Сокольникову для перевода. От него, очевидно, песня эта попала в редакцию издававшегося в Якутске журнала «Саха Саната», в котором напечатана (1912 г., № 3) без моего ведома и разрешения, с массой опечаток и искажений.

говорят, создавая. Семьдесят семь Іәјәхсіт-матушек, снабжая семенами, ветками и корнями, высказывая благопожелания, говорят, сказали: «Делаясь семьдесят семью разукрашенными речками, превращаясь в воду корней, выступая, колыхая и вздрагивая (волнуясь, растекаясь), пусть будет с семью руслами Сіәрән далаі».

II

Оказывается, стала иметь в окружении немерзнущие моря, сбоку теплые моря, подпорами Ледовитые моря, ровнями для нее послужило Черное море, потолками (матицами) синие моря; оказывается, поселилась морская очень сильная рыба, не имея связи с землей, без связи с небом, незаметно обертывающихся суставов, не видно колес вращения, не видно, как она плавает (плавно двигается), подобно свободному деревянному плоту, незаметно, чтобы она путешествовала подобно судну русского человека — приносящая пользу, жалеющая мать вселенная, оказывается, вот как создавалась. Ну, друг! Если я, песенный человек, запою, игривый человек затяну (воспою): оказывается, имеет нижней частью груди (со стороны груди) сильный ветер, махалкой (для нападения или защиты) развивающуюся молнию; оказывается, разыгрался Ороі-бұраі; оказывается, Бура Дохсун разразился; оказывается, сходятся темные тучи, собираются в стаю белые тучи, соединяются алые тучи, соединяются серые тучи, (и образуя) водянистую тучу, вбирающую влагу и склизкую, оказывается, выходят смешиваясь в морскую воду. Оказывается, создано так, что сильный ветер, морскую воду вздымая, всплескивая и волнуя, поднимая для того, чтобы пошла у матушки земли цветы, просачивает на землю как бы через ячейки золотого сита.

III

Стал я думать: кто же так устроил? И когда так стоял и смотрел наверх в сторону зримого людьми лучезарного белого неба и когда я вглядывался вверх на ту сторону этого неба, (оказывается) восьмислойное (восьмислойное) желтое небо разошлось (расслоилось? прояснилось?). Опять я стал смотреть наверх в ту сторону желтого неба, подобного яйцу утки-турпан. И когда я так стоял, оказывается, есть живущие верхушки чистого места, в блестящем открытом надворье, на ярко желтом оживленном месте девяти-слойного, возвышенного, обширного и совершенно белого неба имеющие своим подножием молочное озеро, имеющие молочно-белое тело, жаркое дыхание, трости из полой травы, махалки из лиственной травы Ёрун-ар-

то́й он и **Ўрун-арыны-хотун**. Затем, оказывается, этот **Ўрун-ар** славится, как **отец восьми небес** и назначенный господин девяти небес, и эта **Ўрун-арыны**, или **восьмь семи** небес, из всех добрых духов и всех людей подсолнечного улуса. Вот как я вдумался, он, оказывается, снабдил осью-солнцем (серединою телом в виде пребелого солнца) вот это видимое светло-синее небо, **матрицами** сделал плеяды, опоясал созвездием Ориона, закрепил звезду **Венерой**, связал созвездием Медведицы, разукрасил-устроил бесчисленные **звездами**, предопределил, чтобы обширное небо было руководимо (было на поводу) **однешенькой** луной. Хотя я и пропел, хотя я и рассказывал, хотя я и вымолвил, и сам не знаю что дальше говорить. Я не узнал, чтобы обширное небо имело связь с землею хотя бы посредством волосяной нити, не увидел, чтобы оно имело связь с верхним миром величиною с нитку, не увидел, чтобы оно со средним миром (землею) имело связь с нитку бисера, не думаю, чтобы я мог сказать, что оно (небо) имеет приблизительно такую-то высоту и ширину.

IV

Стоял я на восточной части счастливого глинистого холма средней серой земли с испаряющимися водами, сваливающимися деревьями и поднимающимся над горизонтом солнцем. Стоя таким образом, я стал размышлять. Когда я так стоял, **взошло**, имея своим основанием темный лес-колок, отражаясь на травянистой речке, **трехлучистое** пребелое солнце и **засияло** над тремя странами (по всей земле).

Окаймляясь каменною горою, опираясь на темно-синие леса, **взошло**, блестя и сверкая, **ласковое** **восьмилучистое** ясное солнце, одну за другой осветило поверхности **восьми** стран.

Затем я стал **вглядываться**: оказывается, имея мысами земляные горы, окраинами (по сторонам) **каменные** горы, равнинами **лежащие** горы, **матрицами** массивные горы, **ложем** **маленькие** горы, **столбами** (подпорою) **лесистые** горы, **каймою** **ступенчатые** горы, скалистыми хребтами **ледяные** горы, устроился этот **средний мир** (т. е. земля); оказывается, имеет **дерновину**, заросшую травой, основание из глины, переслоена песком, днище из **огнеупорной** глины; чтобы могла она (земля) **выкормить** (воспитать) **среднего** мира людей и скот, оказывается, **разукрасил** травянистыми речками; **создалась**, оказывается, **устраиваясь** (обосновываясь) **реками**, имеющими сильное и бурное течение. Устремил я свои взоры в сторону **искрасна-белой** окраины **восьмибодной** **радостной** **весьма** **обширной** матери земли: стал я **всматриваться** и **вникать** в устройство **девятибодной** **обширной**, **постоянной**

(неизменной) узорчатой земли; стал я смотреть далее в сторону семибодной с травами в основательных изгородах темнобурой словно ремень земли. Когда я так смотрел, оказывается, имеет она елани, выделяющие масло и жир, пространства которых не в состоянии перелететь утка-турпан, из белой глины неизменные поля, которых не может облететь птица журавль; имеет, оказывается, яркие поля, которых не в состоянии облететь птица стерх, поющая наподобие скрипки, звонко выкрикивающая, имеющая цветные ноги, ободки на глазах, с чернотой на концах крыльев; оказывается, имеет она листья словно пластинки, мягкую пушистую траву, сизодымчатую, с цветками, что коральки; имеет, оказывается, траву восьмиветвистую, растущую по пригоркам, трилистную осоку, девятилистный батлачик, семилистную полевицу.

V

Затем я стал вдумываться-вникать, устремляя взоры в нижнюю сторону невысокой горы. Когда я так смотрел, оказывается: имеет стройные темные леса, подобные подрезанному хвосту тельной лошади, крупные темные леса-особняки, подобные подрезанному хвосту молодого коня; имеет она рощи березовых деревьев, подобные женщинам с серебряными украшениями спереди и сзади, в рысьих дохах и в шубах с бобровой опушкой, пляшущим хватая друг друга за кисти рук; имеет листья из серого шелка, доходящие до темного ремня на спине саврасого иноходца-жеребенка; оказывается, вытянулись-выросли высокие леса; подобные столпившимся важным людям; имеет шелковую хвою по самую шею чалого иноходца-жеребенка; имеет тальники словно битое серебро, растущие кустами мелкие тальники (однолетки) словно витое серебро, ягоды величиною с годовалого теленка (буруна), землянику величиною с трех годового бычка, шиповник величиною с откормленного быка, черную смородину величиною с молодую корову; имеет плетью красную лисицу, махалкой сиводушку, игрушкой самого старого лося, постелью шкуру старого медведя, ложе из серого волка, подушку из шкур песцов и лисиц, одеяло из лучшего белчьего меха, жертвоприношения из рысьих шкур — вот какое богатство, оказывается, имеет богатый темный лес.

VI

Вот я стал смотреть, думая: «что же делается с величественными и быстрыми реками?» Когда я смотрел таким образом — оказывается, будучи о восьми протоках, смешиваясь, прославляясь, обращаясь в масло чухонское,

протекают; оказывается, будучи о девяти протоках, превращаясь в сливочное масло, протекают быстро и извилисто; оказывается, будучи о трех протоках, превращаясь в целый остров, плавно протекают; с (крупным) хрищем, словно дорогой мамонтовый клык, берега подобные золоту, заросли тальником, подобные вигому серебру. Вот эти имеющие быстрое течение речки и реки, оказывается, волнуются своими очень большими тайменями, — оказывается, они колеблются своими большими щуками; оказывается они кипшат своими быстрыми запыхавшимися, задохшимися стерлядями; имеют, оказывается, неподвижные длинные заливы, издающие глухой гул, где плавают парами, волнуют воду несметное число, чего ни сосчитать, ни наименовать, множество превосходных рыб; оказывается, имеют они обширные, каменистые, бурные мелководные места; изголодавшиеся, оказывается, отсюда поели, отощавшие, насытив — отсюда окрепли; здесь удалась настоящая забойка для ловли рыбы; здесь, оказывается, имеют место тальниковые морды. Это значит: таковы, говорят, бывают речки, имеющие обильное счастье.

VII

Эта полезная мать-вселенная, оказывается, таким образом сотворилась наш батюшка Белый Небожитель господь, жалея, оказывается, создал; эта мать-вселенная, оказывается, натянула на себя попону словно изящное серебро, убрала свои волнистые как шелк косы (т. е. траву), принарядилась, оказывается, кистью из серого шёлка, стала иметь, оказывается, предельное местопребывание, стала, оказывается, иметь у подножия обильное довольство, стала, оказывается, иметь под собою широкое богатство; стала, оказывается, иметь огромный жбан словно глубокое озеро; стала, оказывается, иметь жертвы в виде желтых березок с половиною елани-поля. Кумыс сивой кобылы, приправа белой кобылы, лоснящейся кобылы кумыс — оказывается, выставились кожаные бадьи, в семи местах увешенные пучками конской гривы, скучились деревянные кувшины, кривослойные в девяти местах, уставились близко друг к другу кубки в шести местах с пальчатыми узорами, установились в ряды круговые чаши с бороздчатой резьбой, установились парами кожаные меха, имеющие побрякушки величиною с половиною белой кобылы; говорят, имеют они (меха) с нарезками в виде уторов горлышко из крупной березы и массивные мутовки.

Взывая к девяти небесам посредством крепко-волнистого хвоста поздно родившегося светлосерого жеребенка, наливая в деревянный кубок с девятью пучками конской гривы кумыс, сдобренный маслом в виде комьев с яйцо

утки-гоголя, говорят, взывали к девяти небесам. Оказывается, сюда собирались круглоголовые; оказывается, сошлись-собрались имеющие кафтаны с разрезами сзади; оказывается, здесь познакомились имеющие кафтаны с перехватами; якутский народ, последние остатки старинных людей, собираясь и сходясь таким образом между собою, оказывается, проходят мимо, приглядываясь друг к другу. Оказывается, голодные здесь ели; оказывается, здесь согревались озябшие; оказывается, изголодавшиеся здесь восстанавливали свои силы и, погода, проходили мимо. Это значит, пестрым ковшем (с четырьмя углублениями) устроили пестрый кумысный праздник. В настоящий период времени вся созданная вселенная (земля), оказывается сплошь одна и та же (одинакова).

Л. П. СЕМЕНОВ

К ВОПРОСУ О МИРОВЫХ МОТИВАХ В ФОЛЬКЛОРЕ ИНГУШЕЙ И ЧЕЧЕНЦЕВ

В дооктябрьскую эпоху фольклор ингушей и чеченцев не подвергался систематическому, подробному изучению. Собираание и издание образцов этого фольклора носили отрывистый характер. Запись текстов производилась, большей частью, на русском языке. Опубликовывался, главным образом, эпический жанр; прочие виды фольклора — песни, пословицы, загадки — представлены были очень незначительным количеством образцов или вовсе не привлекали внимания ученых и краеведов-одиночек.

Однако и в тех, далеко не полных, материалах по изучению словесного творчества ингушей и чеченцев, какие увидели свет в дореволюционное время, содержалось много чрезвычайно ценного для науки. Ссылки на ингушский и чеченский фольклор можно найти, напр., в трудах акад. В. Ф. Миллера («Кавказские сказания о циклопах», в *Этнограф. обозрении* 1890 г., № 1); акад. А. Н. Веселовского (*Из истории романа и повести*. Вып. 2. Славяно-романский отдел, СПб., 1888); Г. Н. Потанина (*Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе*. М., 1899); М. М. Ковалевского (*Закон и обычай на Кавказе*. М., 1890, т. I); П. К. Услара (*Народные сказания кавказских горцев. Сборник сведений о кавказских горцах*. 1868 г., т. I и др.); Г. Ф. Чурсина (*Очерки по этнологии Кавказа*. Тифлис, 1913); Л. Лопатинского (комментарии в *Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа*, тт. XXII, XXVIII, XXIX) и др. Чеченские мотивы интересовали Пушкина, Лермонтова, Л. Толстого, Фета и других наших писателей дооктябрьской эпохи.¹

В послеоктябрьскую эпоху чечено-ингушская поэзия впервые становится предметом специального изучения. Прежде фольклористы из числа самих ингушей и чеченцев работали в чрезвычайно трудных условиях, без

¹ См. об этом в нашей статье: *Ингушская и чеченская народная словесность* (Изв. Ингушского научно-иссл. института краеведения, 1928, 1).

какой-либо поддержки со стороны государственных и общественных научных организаций, и кадры их были немногочисленны (Ч. Ахриев, У. Лаудаев, Т. Эльдарханов, И. Мутушев и др.). Теперь изучение устной поэзии выполняется национальными научно-исследовательскими институтами и обществами, находящимися в городах Орджоникидзе и Грозном. Собираением и анализом ее образцов заняты многие местные научные работники — З. К. Мальсагов, Х. Ошаев, Д. Д. Мальсагов, О. А. Мальсагов, Т. Беков, А. Мациев, Л. Ахриев, М. Ф. Аушев и другие, а также научные работники Ленинграда и Москвы — проф. А. Н. Генко, проф. Н. Ф. Яковлев, Е. М. Шиллинг и др. Изучение национального фольклора входит в учебный план аспирантуры Ингушского научно-исследовательского института. Ингушскими и чеченскими научными организациями выпускаются специальные сборники с материалами и статьями по фольклору на родном и русском языках. Образцы ингушской и чеченской поэзии появляются в русских переводах и переложениях М. И. Слободского, К. Гатуева и других поэтов. Появляются статьи, посвященные устному творчеству чеченцев и ингушей, — Х. Ошаева, Д. Д. Мальсагова, О. А. Мальсагова и др. М. Н. Покровский приводит данные чеченского фольклора в своей статье «Дипломатия и войны царской России в XIX в.».

Однако, в дореволюционное и даже настоящее время высказывались мнения о скудости чечено-ингушского фольклора, — конечно, глубоко ошибочные мнения. Так, напр., в статье У. Лаудаева «Чеченское племя» встречаем такие строки: «Чеченцы весьма бедны преданиями, да и те сбивчивы, во многом неправдоподобны, так что в них трудно отличить истину от сказочного» (Сб. свед. о кавказ. горцах. 1872, VI, 17). Еще более резкую недооценку национального фольклора горцев находим в книжке А. М. Аршаруни и С. Г. Гайкуни — По Ингушетии (М., 1931): «Ингушский народный сказ беден, ограничен так же, как бедно и примитивно хозяйство горца-ингуша, примитивны его орудия производства, ограничен его кругозор и поле деятельности» (стр. 92). Не приходится распространяться о том, как ошибочны эти высказывания о советской Ингушии, внесшей столько героических страниц в историю революционного движения на Северном Кавказе и имеющей высокие достижения на фронте социалистического строительства;¹ что же касается суждения о «бедности» и «ограниченности» ингушского фольклора, то и оно, разумеется, совершенно не соответствует действительности; напротив, в отношении содержания, изобразительных

¹ См. сборник Советская Ингушетия к 15-й годовщине Октября. Орджоникидзе, 1932.

средств, композиционных приемов чечено-ингушский фольклор чрезвычайно богат.

Как старинный фольклор, так и фольклор революционной эпохи заслуживает широкого и тщательного изучения. Перед исследователями стоит много вопросов, едва затронутых или совершенно неразработанных, и к их числу надо отнести и вопрос о связи чечено-ингушского фольклора с мировым.

Одним из важнейших достижений советской фольклористики является использование ее яфетидологией, выдвигающей на первый план не формальные моменты (сюжетосложение, заимствование мотивов, анализ личных имен и проч.), а стадиальный подход. Большой интерес представляют многие труды акад. Н. Я. Марра, а также опыт коллективного изучения мотивов о Тристане и Исольде у различных народов, в том числе — кавказских, выполненный группой палеонтологической семантики мифа и фольклора б. Яфетического института Академии Наук СССР («Тристан и Исольда». Труды Института языка и мышления, II, 1932). «Там, где видим заимствование, — говорится во вступительной статье этого сборника, — палеонтологический анализ обнаруживал одинаковую идеологическую продукцию, вызванную одинаковым этапом общественного развития; где факт считался унаследованным с неба или впервые самостоятельно рожденным, палеонтология вскрывала его долгое пребывание в неоформленном или совершенно измененном виде. Отсюда — и тот разрыв с современной западной наукой, который вытекает с полной неизбежностью из формулировок Н. Я. Марра» (О. М. Фрейденберг. Целевая установка коллективной работы. «Тристан и Исольда», 6).

Касаясь устной нахской (чечено-ингушской) поэзии, отмечаем, что вопрос о связях этой поэзии с мировой затрагивался пока случайно, попутно с другими темами. Настоящая статья является первым опытом суммирования ряда мировых мотивов, получивших на территории Чечни и Ингуши своеобразное развитие. Размеры нашей статьи не позволяют подробно остановиться на привлекаемом нами материале, но мы полагаем, что и этот предварительный, краткий очерк окажет содействие дальнейшему, более широкому и углубленному изучению данной проблемы.

Акад. Н. Я. Марр в своем исследовании «Иштарь» указывает, что с вавилонским божеством Иштарью в «различных разрезах семантического клубка» выплывают: «Иштарь — небо и другие сродные, долевыя выявления — «вода», «дождь», «плодородие», «птица» и пр. (Яфетический сборник, V, 112—113, 153).

Если обратиться к ингушской мифологии, к ингушским культовым языческим пережиткам, не трудно подметить ряд характерных черт, сближающих Иштарь с местным божеством Тушоли, символизирующим плодородие. Культ Тушоли был широко распространен в горной полосе, родине ингушей. Храмы, посвященные ей, находились в ущельях рр. Ассы и Армхи. Особенно примечателен храм Тушоли в сел. Кок; в этом храме стояло деревянное изображение божества с металлической маской, хранящейся ныне в Ингушском областном музее.¹ С именем Тушоли было связано почитание удода (по-ингушски *tušola kotcem*; название это складывается из наименования божества плодородия *Tušol* и слова *kotcem* ('курица'), символизирующего весну, возрождение природы. Перед тем же храмом находился каменный фаллический памятник, также символизировавший плодородие; перед этим памятником совершались моления о даровании детей, а во время засухи справлялся обряд вызывания дождя.²

Культ Тушоли (= Иштари) включает в себе, как видим, пережитки тотемизма (удод) и матриархата (плодородие, дождь). К образу дождя, влаги приближается и другое ингушское божество — Хинана (мать вод), также являющееся отзвуком матриархата.³

Н. М. Дрягин отмечает, что один из мотивов ингушской легенды о Колай-Канте (соблазн пастуха-девственника с целью обольстить его и тем лишить его силы) напоминает некоторые моменты библейского мифа о Самсоне, вавилонского эпоса о Гильгамеше и позднейших вариантов, относящихся к феодальной эпохе, в романе «Тристан и Исольда» (Тристан и Исольда, 197).⁴

¹ Воспроизведение этой маски см. в статьях Е. М. Шиллинга. Ингуши и чеченцы (сборник «Религиозные верования народов СССР». Москва, 1931, II, 33) и А. А. Захарова *Études sur l'archéologie de l'Asie-Mineure et du Caucase. Revue hittite et asiatique. P., 1931, V.*

² Изображение памятника см. в статьях Е. М. Шиллинга (назв. соч., стр. 34) и И. П. Щелькина (Архитектура ингушских святилищ. Изв. Ингушского научно-иссл. института. 1930, II—III, 442). Упомянутый памятник доставлен теперь в Ингушский обл. музей. Аналогичные памятники известны и в других местностях Кавказа, напр., в Балкарии, под названием «Кил-дур», 'стоящий камень' (см. Ган. Опыт объяснения кавказских географических названий. Сб. мат. для опис. местн. и племен Кавказа, 1909, т. 40, стр. 32), и в Закавказьи (см. статью Ростомова. Ахалкалакский уезд в археологическом отношении, в Сб. мат., XXV, 43—45, с рис.).

³ Хij 'вода', папсе 'мать'. Легенду о Хинане см. в статье Г. А. Вертепова. В горах Кавказа (Терский сб., VI). С Иштарью, олицетворяющей огонь, солнце (см. Н. Я. Марр. «Иштарь», 132—133) можно сблизить также ингушское божество «Поуз» «мать солнца»; имя этого божества сообщено нам Х. Б. Ахриевым.

⁴ Мотив, сходный с мотивом соблазна Самсона Далилой, отмечен У. Лаудаевым в названной его статье (стр. 18) в чеченском эпосе. Ряд мотивов чечено-ингушского фольклора,

К стадии патриархально-родового строя восходит значительное число ингушских и чеченских мифов, соприкасающихся с мифами евреев, греков, немцев и многих других народов Востока и Запада.

В фольклоре народов всех стран существуют сказания или анекдоты о мудрых или глупых людях. Образцы этого жанра, очень разнообразные и остроумные, встречаем в эпосе чеченцев и ингушей, причем местные мотивы, сохраняя глубокое своеобразие, нередко соприкасаются с мировыми мотивами. Следующая чеченская сказка совпадает по фабуле и различным ее деталям с древне-еврейским преданием о мудром суде Соломона.

«Жил-был один молодой чеченец. У него были две жены, которые жили в одной сакле. Через год у каждой жены родилось по сыну. В одну ночь уложили женщины детей в люльку и легли спать, каждая подле своего ребенка. В полночь одна из женщин заметила, что ребенок ее мертв. Недолго думая, она взяла живого ребенка соседки, уложила в свою люльку, а своего мертвого положила к ней. На утро между матерями поднялся спор: каждая женщина считала живого ребенка своим. Услыхал об этом муж и, не зная как рассудить женщин, обратился к старикам. Старики судили, рядили, но тоже не могли примирить женщин и передали это дело на рассмотрение знаменитым в то время судьям, которые жили в селении Маисти. Приехали судьи, потребовали женщин и живого ребенка. Один из судий взял ребенка на руки и, обращаясь к женщинам, спросил: «Чей это ребенок?» Обе женщины отвечали: «Мой». — «Если каждая из вас считает ребенка своим, то, чтобы прекратить ваш спор, я разрублю его пополам», сказал судья. — «Руби, как хочешь, а ребенок мой» — сказала одна из женщин. Другая же с рыданиями бросилась к судье и умоляла его не резать ребенка, а лучше отдать чужой матери. Судья передал ребенка последней женщине, т. е. той, которая была связана с ним сердцем. Муж заявил, что он еще ни разу не видал своих детей и не знает, кому какой из них принадлежал». (А. Россикова. Путешествие по центральной части горной Чечни. Зап. Кавказск. отд. Русск. геогр. общества, 1896, XVIII, 222).

Здесь повторены многие подробности популярного еврейского мифа, но в то же время видна конкретная локализация: действие происходит в Чечне, знаменитые судьи проживают в чеченском селении Маисти.¹

соприкасающихся с мотивами других народов Кавказа и Востока, отмечается также в статье Н. М. Драгина. Анализ нескольких карачаевских сказаний (Яфетический сборник, 1930, VI).

¹ «Знанием адата аул Мааст славился у чеченцев перед всеми аулами их обществ, а потому тяжбы, которые не могли быть разобраны в каком-либо другом месте, поступали в Мааст» (Лаудаев, 50).

Отсутствует упоминание о царе, не характерное для данного края; здесь, как того требует патриархально-родовой строй, выступает суд стариков.

Близ ингушского сел. Салги (Хамхинского общества) находятся развалины сел. Магате, название которого произошло, по преданию, от имени «ученейшего мудреца Магала»,¹ обладавшего священной книгой, из которой он почерпал свою мудрость и знания (Ч. Ахриев. Ингуши. Сб. свед. о кавказ. горцах, VIII, 15). Существуют рассказы о «догадливых женах», выручающих находчивостью своих близких (см. названную статью Россиковой, 221—222). Подобные мотивы распространены и у других народов.

Параллельно с ними развиты и мотивы о недогадливых или глупых женах (Россикова, указ. соч., 218—220; Далгат. Стравичка из сев.-кавказск. богатырского эпоса. Этногр. обозрение, 1901, IV, 66—68), о недогадливом мельнике (Сб. свед. о кавказских горцах, IV, от. II, 33). Ч. Ахриев, отмечая предание о том, будто жители одного из горных ингушских селений, Накист, отличаются тупоумием, сделал большую ошибку, поняв это в буквальном смысле: «жители аула Накиста, — говорит он, — в самом деле имеют самые ограниченные умственные способности» (Сб. свед. о кавказ. горцах, IV, 2). В чеченском эпосе существует цикл анекдотов о недалекости ауховцев (Лаудаев, указ. соч., 37—38).

В действительности же, мы встречаем здесь лишь условную локализацию; такое территориальное приурочение является традиционным в анекдотическом жанре очень многих народов. У древних народов, напр., прослыли глупцами жители фракийского гор. Абдеры, хотя тот же город был родиной многих знаменитых людей — Демокрита, Протагора и других. Фольклор о глупцах чрезвычайно широко распространен у многих народов; таковы, напр., мотивы у русских — о пошехонцах, у англичан — о готемитах, у немцев — о шильдбюргерах, фокбекерцах, об Эйленшпигеле и т. п. Большая литература по этому вопросу собрана проф. Н. Ф. Сумцовым в монографии «Анекдоты о глупцах» (Сборник Харьковского ист.-фил. общ., 1899, XI, 118—315).

К этому циклу надо отнести и рассказ о Цазике и орхустойцах. Орхустойцы имели 60 матерей и 60 быков. Они убили у Цазика быка; Цазик уверил орхустойцев в том, что в одном ауле обменивают кости на золото; орхустойцы убили своих быков, отправились менять их кости на золото; но над ними лишь посмеялись. Они убили мать Цазика. Он уверил их, что существует аул, где мертвых меняют на здоровых. Орхустойцы убили собственных матерей, но были вновь осмеяны. Они бросают Цазика

¹ По другим вариантам его звали Маго.

в воду, но он спасается и путем нового обмана получает 60 баранов, будто бы подаренных ему морем. Орхустойцы тоже желают получить такой подарок от моря и тонут в нем. (Ч. Ахриев. Из чеченских сказаний, в Сб. свед. о кавказ. горах, V, 42—46). Подобный сюжет, как указывает Г. Н. Потанин, имеется у монголов (назв. соч., 488—489). Наличие мотива об убиении матерей свидетельствует о том, что сказание в этой части сложилось уже в эпоху разложения матриархата.

К этому же циклу надо отнести очень популярные у чеченцев и ингушей шуточные сказки о мулле Наср-Эддине, который изображается то как умный, находчивый человек, одурачивающий других, то как очень пустоватый, часто попадающий, из-за своей недалекости, в смешное положение.¹ Мотивы о Наср-Эддине, как известно, широко распространены в тюркской поэзии, у крымских татар и других народов. Общее сходство можно отметить в имени главного персонажа, в стиле анекдотического жанра, в традиционных сюжетах. Отметим, напр., следующий известный мотив.

Наср-Эддин взял у соседа на время котел; возвращая ему этот котел, он вложил в него маленький котел, который будто бы родился от большого. Сосед поверил этому. В другой раз Наср-Эддин опять просит соседа одолжить тот же котел. Сосед с радостью соглашается, но уже не получает его обратно: Наср-Эддин заявил, что котел «умер». «Никто, как бог, — сказал он — «в прошлый раз он повелел ему родить, а теперь прекратил дни его жизни, и сын его пусть будет тебе утешением» (Н. Семенов, указ. соч., 150—151). Тот же сюжет, с незначительными изменениями, встречаем в эпосе крымских татар,² ширванских армян.³

С восточным эпосом связывает ингушский наличие мифов о дэвах. В боковом разветвлении Ассинского ущелья, так наз. Галгачие, считающемся, по преданиям, родиной ингушей, дэвам приписывают построение циклопических сооружений, развалины которых имеются близ сел. Дош-хакле, и больших полуподземных склепов близ сел. Карт. Дэвы, по местным преданиям, были древнейшими обитателями этих мест; их сменили нарты, и уже после нартов на р. Ассе расселились ингуши. Некоторые ингушские фамилии считают своими родоначальниками нартов. В нашей статье «Нартские памятники в фольклоре ингушей и осетин» (Владикавказ, 1930 г.) мы отмечали, что даже при изучении одного из мотивов нартского эпоса

¹ См.: Бартоломей. Чеченский букварь. Тифлис, 1861, 32—53 стр. — Н. Семенов. Туземцы сев.-вост. Кавказа. СПб., 1895, 147—156 стр. — Т. Эльдарханов Чеченские тексты. Сб. мат. для описания местн. и племен Кавказа, XXVIII, отд. III, 22—35.

² А. Кончевский. Сказки, легенды и предания Крыма. 1930, стр. 23—24.

³ Фольклор Азербайджана и прилегающих стран. Баку, 1930, I, 164.

ингушей и осетин — о «нартских» вещественных памятниках — мы затрагиваем чрезвычайно интересные проблемы не только общекавказского, но и мирового значения.

Некоторые мотивы ингушского и чеченского эпоса сходны с мотивами греческого эпоса. Одна из ингушских легенд передает следующее.

Великан без одной руки и одного глаза (он не был, собственно, одноглазым, а лишь потерял один глаз) рассказывает такую историю.

«Нас было семеро братьев. Мы тоже вышли померяться силой, считая себя сильнее всех на свете. Идем мы и встречаем пастуха, огромного роста, одноглазого, погоняющего огромное стадо баранты. При одном виде его мы все перепугались и спрятались в череп лошади, лежавший тут же недалеко (и лошади в те времена были большие).¹ Подбежала к нам огромная собака пастуха, потащила череп со всеми нами и положила у ног его. — «Спасибо тебе, моя собака, за гостинец», сказал пастух, продел палку в дыру черепа и, положив нас на плечо, пошел себе дальше, как ни в чем ни бывало. Придя домой, он изжарил шестерых братьев моих на вертеле, съел их и лег спать, оставив меня на утро для закуски. Когда он заснул, я взял шампур, накалил его в огне и одним ударом пронзил ему глаз. — «А! Ты лишил меня глаза; погоди же, все равно ты не уйдешь от меня теперь», сказал пастух и утром стал выпускать баранту по одной штуке и по спине каждого барана водил рукой, ища меня. Видя неизбежность моей гибели, я взял, разрезал козла и, надев на себя его шкуру, прошел мимо пастуха, обманув его таким образом. Вышедши из пещеры, я погнал все стадо и, отойдя далеко, крикнул ему: «Ты съел моих шестерых братьев, но я спасся и лишил тебя глаза, отомстив тебе хоть сколько-нибудь, и теперь угоню твое стадо». Как только я сказал это, пастух бросил огромную скалу в направлении, откуда слышался мой голос, и этой скалой оторвал у меня одну руку и лишил одного глаза. Так вот совет мой вам: не считайте себя сильнее всех на свете, а живите себе каждый для себя». (Далгат, указ. соч., 44—45).

Этот вариант имеет много сходных черт с гомеровским (Одиссея, IX песнь), а именно: 1) упоминание об одноглазом великане-пастухе, 2) появление в его пещере путников (в ингушском варианте их семь, в греческом — тринадцать), 3) пещера, в которой укрывался одноглаз с барантой, 4) гигантская дубина великана, 5) людоедство, 6) оставление героя для съедения в последнюю очередь, 7) ослепление великана посредством острого накаленного орудия, 8) бегство героя из пещеры при посредстве

¹ Замечание рассказчика.

козла (Одиссей и его спутники подвешиваются к баранам, здесь — используется шкура убитого козла), 9) ощупывание слепым великаном спины баранов в надежде задержать виновника ослепления, 10) угон стада великана спасшимся смельчаком, 11) выкрикивание героем насмешливых слов, 12) бросание великаном по направлению голоса беглеца обломков скалы.

Ряд отдельных мотивов того же греческого сказания встречается в других образцах ингушского эпоса.

Так, напр., Полифем прикрывает вход в пещеру следующим образом:

Кончив, чтоб вход заградить, несказанно великий с земли он
Камень, который и двадцать два воза четырехколесных
С места б не сдвинули, поднял: подобен скале необъятной
Был он; его подхвативши и вход им пещеры задвинув,
Сел он и маток доить принялся надлежащим порядком.

(Одиссея, перев. Жуковского, IX, ст. 240—244.)

В параллель можно привести такое место из ингушского эпоса: «Всех овец Колой-Кант загонял в огромную пещеру, имевшую вход на подобие ворот; вместо дверей, он приставлял плоский камень, который могли передвигать только 60 человек; он же сам одной рукой ставил его» (Ч. Ахриев, в Сб. свед. о кавказ. горцах, IV, 4). В том же предании находим мотив метания громадного камня, причем это является выражением и силы и гнева: «Колой-Кант, видя, что его отделяет Терек от орхустойцев, и желая показать им свою силу и ненависть к ним, схватил длинный плоский камень, ударил его о землю, говоря, что он швырнул бы их тоже о землю, если бы они попались ему в руки. Орхустойцы тоже, как бы в ответ ему, ударили такой же камень о землю» (там же, стр. 7).¹

В ингушском варианте нет некоторых существенных подробностей, характерных для греческой фабулы, но не для ингушской, описывающей быт горцов, живших в континентальной части Кавказа; напр., в нем нет упоминания о море, о корабле, об утонченном вине, которым Одиссей опоил Полифема. В греческом сказании описываются мореходы (Одиссей и его спутники) и жители приморской полосы (Полифем и другие циклопы). Ингушское сказание переносит нас в центральную часть Кавказа, в ее горную обстановку; местность и быт горцев обрисованы в реалистических чертах: здесь говорится о пастухах горной полосы, об их стадах, о прирученной собаке (деталь, отсутствующая в греческом варианте), о пещере, служившей обиталищем для пастухов и их стад; такие пещеры, используемые до последнего времени, известны нам во многих местах горной Ингушии (на Столовой горе и др.).

¹ Мотив метания тяжелого камня встречаем также в VIII песне Одиссея (ст. 186—203).

В части, касающейся великана-одноглаза, ингушское повествование очень сжато, по сравнению с греческим, но необходимо иметь в виду, что приведенный нами эпизод о встрече с циклопом и избавлении от него — лишь отрывок из более пространного рассказа о приключениях нескольких великанов, состязавшихся в силе (Далгат, указ. соч., 43—45). В греческом мифе о циклопе героем является царь, в ингушском — простой крестьянин-скотовод. «Одной рукой он везет тридцать арб сена». В ингушском повествовании, как и в греческом, заметны черты глубочайшей древности (упоминание о людоедстве) и поздние наслоения (упоминание об арбе).

Другой, менее сходный с греческим, вариант о циклопе вплетен в ингушскую сказку Лял-Султа. Здесь важны следующие подробности: упоминание о великане, о съедении им пятерых путников, изжаренных на вертеле, о бегстве героя, от имени которого ведется рассказ (Ч. Ахриев. Сб. свед. о кавказ. горцах, IV, 13). Этот вариант имеет сходство с первым: в обоих рассказывается о путниках, спрятавшихся в гигантский череп (человеческий или конский), о собаке, притащившей этот череп с людьми в жилище великана-одноглаза. Отмечаем, кстати, что упоминание о гигантских костях человека является традиционным для ингушского фольклора.¹

Третий ингушский вариант встречаем в сказке «Зорбаш или семиголовый минотавр». Содержание его вкратце следующее: некий человек случайно попал в пещеру к «зорбашу»; стадо быков и баранов пас белый козел; человеку угрожала гибель; кошка, бывшая в пещере, научила его нагреть шампур и выколоть глаз спящему чудовищу; человек так и сделал; по совету той же кошки, он убил белого козла и надел его шкуру; «зорбаш» стоял у входа, который он заваливал большим камнем, и начал выпускать стадо; первым вышел пленник и отправился во свояси» (Фольклор Азербайджана и прилегающих стран. Баку, 1930, II, 183—184).

Миф о циклопе имеется и в чеченском эпосе. В легенде «Путешествие нарта» повествуется об одноглазом великане-людоеде, съевшем семерых путников, о счастливом спасении восьмого, который уцелел, подвязав себя, как это делают товарищи Одиссея, к козлу. Окончание иное: герой убивает одноглаза, чудесным образом оживляет семерых нартов, от которых оставались только кости, и все восьмеро благополучно возвращаются домой. (Сб. матер. для опис. местн. и племен Кавказа, 1897, XXII, отд. III, Сказки и легенды чеченцев в русском пересказе, 15—16). В чеченской легенде тоже встречаем упоминание о собаках пастуха-одноглаза; эта под-

¹ См. Ч. Ахриев. Сб. свед. о кавказ. горцах, VIII, 6. — Далгат, указ. соч., IV, 50. — В. Ф. Миллер. Мат. по археологии Кавказа, I, 17.

робность является традиционной для чечено-ингушского варианта о циклопе.

Мотив о великанах-людоедах известен в кабардинском эпосе,¹ мингрельском, дагестанском, осетинском, а также у многих других народов, в частности — у финнов, карелов, сербов, русских, румын, французов, немцев, арабов (Тысяча и одна ночь) и др. Каждый из этих мотивов имеет свои особенности, характеризующие те или иные общественные формации и быт различных стран; напр., одноглаз живет в пещере, избе или дворце, в приморской местности или в глубине гор, лесов; иногда вместо великана выступает великанша, тоже пожирающая людей (Лихо); герой избегает опасности вполне благополучно или получает тяжелые увечья и т. д. Традиционным композиционным приемом в значительном числе вариантов служит форма рассказывания от первого лица, придающая необычайному новествованию особую живость и иллюзию правдивости, так как говорит «очевидец».²

В ингушском фольклоре встречаем еще один крайне интересный мотив, сближающий греческий эпос с кавказским.

«Когда Хидыр-Марза состарился, сыновья его поженились, а к нему потеряли должный почет и уважение, он не вытерпел такого унижения и отправился к своему присяжному брату, предку нынешней осетинской фамилии Тугановых. В то время присяжного брата его не было дома, а были у него кабардинские гости. В том доме находился лук, подаренный Хидыр-Марзою еще в молодости своему присяжному брату. Кабардинцы, не обращая никакого внимания на пришедшего старика, жалкого на вид, стали натягивать лук, но никто из них не мог этого сделать. Тогда Хидыр-Марза сказал: «Поддай мне сюда». Кабардинцы засмеялись, сказав: «Ну-те, подайте ему, посмотрим», и подали лук Хидыр-Марзе. Марза натянул лук как следует, не спеша, и выпустил стрелу в перекладину. Стрела, пробив перекладину, наполовину вонзилась в потолок. Тогда кабардинцы, объятые ужасом, с удивлением стали смотреть на старика» (Далгат, 64—65).

Этот отрывок из сказания про Хидыр-Марзу по ряду характерных подробностей очень напоминает историю возвращения Одиссея, — прибытие

¹ П. Остряков. Народная литература кабардинцев и ее образцы (Вестник Европы, 1879, VIII). Связь кабардинского эпоса с Илиадой и Одиссеей видна и в наличии других мотивов, — напр., о похищении Елены (см. Сб. мат. для опис. местн. и племен Кавказа, XII, текст кабардинского предания и комментарии В. Ф. Миллера).

² О связи чеченского и ингушского вариантов о циклопах с эпосом других народов см. еще в следующих источниках: М. Н. Комаров. Эскурсы в сказочный мир. М., 1886 г. — В. Ф. Миллер. Кавказские сказания о циклопах (Этногр. обозр., 1890, № 1). — Далгат, указ. соч., 47—49, 52.

его под видом жалкого старика в свой дом, презрительное отношение к нему беспечных гостей, их неудачные попытки испробовать тугой лук хозяина и посрамление Одиссеем хвастливых гостей искусной стрельбой из лука (Одиссея, XVIII—XXI песни).

В ингушском варианте многое изложено иначе: встреча Хидыр-Марзы с гостями не заканчивается для них трагично; герой, соответствующий Одиссею, здесь раздваивается: хозяин дома, Туганов, отсутствует (как Одиссей), и победу над гостями одерживает его присяжный брат, с виду жалкий старец (как Одиссей); отсутствует мотив сватовства, объясняющий в греческом эпосе присутствие гостей, и пр. Однако, в том же ингушском сказании встречаем еще одну подробность, в которой есть элементы мифа об Одиссее: присяжный брат, возвратившись домой, принимает ближайшее участие в Хидыр-Марзе, хорошо кормит и поит его, и тот через некоторое время настолько восстанавливает силы, что едет с Тугановым в лихой набег, из которого они возвращаются с пленными и богатой добычей. Здесь характерен мотив «омоложения» героя, который вновь, как Одиссей, из хилого старика превращается в могучего и отважного воина, поражающего многочисленного неприятеля.

В данном ингушском сказании видно сплетение подробностей, восходящих к различным эпохам. Побратимство, гостеприимство, натягивание богатырского лука, — мотивы, характеризующие патриархально-родовую стадию. Упоминание об огнестрельном оружии, принадлежавшем тому же Хидыр-Марзе, о борьбе с осетинскими аристократами («Куртатинскими князьями») — внесены эпохой разложения родового строя, которое подготавливало почву для феодализма, не успевшего развиться у ингушей и чеченцев до кавказской войны в такой степени, как это мы наблюдаем у осетин, кабардинцев или черкесов. «У черкесов аристократический строй мало-по-малу уступал место демократии: у чеченцев аристократия совсем еще не успела сложиться ко времени войны. Если первые дают нам картину развитого феодального общества, напоминая Европу XI—XII вв., то вторые не меньше напрашиваются на аналогию с германцами Цезаря и Тацита. Чечня конца XVIII в. — страна дофеодальной, патриархальной демократии». (М. Н. Покровский, Завоевание Кавказа, в сборнике Ленинизм и национальный вопрос. Ростов на Дону, вып. VII, 218). Характерен эпизод побратимства Хидыр-Марзы с осетинской дворянской фамилией Тугановых. Хидыр-Марза принадлежал к фамилии, которая стала возвышаться над другими ингушскими фамилиями; в этом же сказании говорится, что Хидыр-Марза поучает сына брать из военной добычи не равную с другими, а двой-

ную долю (см. *Далгат*, указ. соч., 64). Здесь видно различие между «слабыми» и «сильными» фамилиями; с бедной, зависимой от других, фамилией Тугановы, как аристократы, не братались бы.

Чрезвычайно интересна для нас следующая поэтическая ингушская песня в диалогической форме, приближающаяся, как мы отмечаем ниже, к феодальной поэзии южной Европы:

витель. Горе вам, небесные тучи.

девица. Какое же горе небесным тучам?

витель. Ангел Гавриил гоняет их буйно, не позволяя плакать теплым дождем. Не горе ли и той, да умрет она, кто меж равными себе не находит желанного: выходишь ты за него — куропатку, да куропатки лишившись, вернешься ты назад.

девица. Если куропатки лишившись, вернусь я назад, черной галкой обернувшись, в горах я стану водиться.

витель. Если в горах ты станешь водиться, обернувшись черною галкою, в черного барса превратившись, забьюсь я в горы.

девица. Если забьешься ты в горы, превратившись в черного барса, белой птицей обернувшись, взлечу я на небеса.

витель. Если взлетишь ты на небеса, обернувшись белой птицей, в белого ястреба превратившись, полечу и я за тобою.

девица. Если за мной погонишься ты, превратившись в белого ястреба, рыбой обернувшись, на дне реки стану я рыбой плавать.

витель. Если на дне реки станешь ты плавать рыбою, обернувшись рыбою, в мягкошерстного бобра превратившись, за тобой погонюсь я...

Далее следует ряд новых превращений: она — лисица, он — охотник с борзыми; она — напиток в княжеской чаше, он — уздень, вышивающий эту чашу; она — шелковый чулок княгини, он — башмак, обнимающий чулок. Заканчивается диалог следующими словами:

«Как первый и последний стихи корана завершают его божественность, так черные брови твои завершают твою красоту. Под кабардинской палаткой крымский хан, когда стал бы расстегивать на груди твои золотые крючки, сильнее, чем трескаются золотые камни от огня из дубовых деревьев, забьется в груди львиное сердце. Что удержало бы меня среди других юношей?

Сказав это, он схватил ее и скрылся с нею». (Фольклор Азербайджана и прилегающих стран, III, 201—202).

Другой вариант этой песни, до сего времени очень популярный у ингушей, сообщен нам Хаджи-Бекиром Ахриевым, которому приносим за это глубокую благодарность.

«— Когда, как грозные тучи от битвы, люди разрубают друг друга острыми пашками, не могу забыть тебя.

— Мало толку, что ты любишь, когда не люб ты мне. Взовьюсь в небо я синей птицей.

— О! Если прилетишь в небо — бескрылым я буду летать возле тебя.

— Брошусь с синего неба, превращусь в цветок.

— Превратясь в цветок, корнями этого цветка найдешь меня.

— Если найду корнем под собой — быстрым зайцем убегу от тебя.

— Лягавой собакой я буду возле тебя.

— Избавиться от тебя я брошусь рыбой в воду.

— Железным крючком я опущусь в воду и буду возле тебя.

— Холодным трупом я лягу в могилу.

— Окутав белым саваном, я буду с тобою.»

Обилие образов и искусное противопоставление одних из них другим — придают высокую художественную ценность этой песне, аналогии к которой можно найти и у других кавказских народов; таков, напр., кумыкский песенный диалог, употреблявшийся в игре «сарын»; в нем находим ряд сходных превращений: белый голубь — ястреб; рыба — железный крюк; концовка та же: девушка говорит, что умрет и скроется в сырую землю; юноша отвечает: «тогда я умру, лягу в ту же сырую землю — и там, взамен всех, один останусь с тобою». (Сборник свед. о Терской области. Владикавказ, 1878, I, 202—203).

Ряд черт, встречающихся в приведенных ингушских вариантах, относится к поздней эпохе, приблизительно — к XVIII в.: упоминание о «княжеской чаше», о «чулке княгини», о коране (мусульманство стало проникать к ингушам с XVIII в.), о крымском хане; подобные детали могли войти лишь по заселении ингушами равнинной части нынешней их территории и при более тесном общении с кабардинцами. Основа же диалога — старинный обряд умыкания девицы, типичный для эпохи родового строя, и более древние мотивы, отмечаемые нами далее.

Тот же любовный диалог известен у романских народов. Он использован знаменитым провансальским поэтом Мистралем в поэме «Мирейо». Диалог очень длинен; отмечаем сравнения, сходные с ингушскими: она — рыбка, он — рыбак, она — птичка, он — охотник, она — роза, он — мотылек. Последнее превращение: она: «если ты переступишь порог обителя, ты найдешь вокруг меня всех монахинь, так как увидишь меня в саване»; он — «о, Магали, если ты станешь несчастной мертвой, я тогда стану

«... и т. д. Будешь моей» (С. В. Соловьев. Очерки из истории новой провансальской литературы. СПб., 1914, 272—273).

Аналог вставлен в поэму Жана Экара — Miett et Horé; аналогия превращения: 1) рыбка — пловец, 2) угорь — рыбак, 3) берег ручья, 4) роза — пчела, 5) звезда — облако, 6) монашеский священник, 7) мертвая монахиня — земля, принимающая ее.

Аналогичный мотив встречаем также в балладе А. Толстого «Сватоводы»; в ней характерны следующие сравнения: 1) женихи — рыбаки, невесты — рыбки; 2) женихи — охотники, невесты — куницы (А. Толстой. Полн. собр. соч. СПб., 1907, I, 309—310).

В отмеченных нами любовных диалогах есть поздние элементы, напр., религиозные мотивы — мусульманские (упоминание о коране в ингушской песне) и христианские (упоминание о монашине и священнике в провансальской песне), но первоначальная основа возникла на тотемистической канве, слагающейся из образов, взятых из мира животных и растений; этот первоисточник, поэтизирующий любовь — страсть, соприкасается и с фольклором об Иштари — богине любви и плодородия, в ипостасях которой, как указывает Н. Я. Марр, встречаем образы — птицы и рыбы (Иштарь, 153—154, 162—169).¹ Н. Я. Марр отмечает, что чеченское слово Dele (бог), сванское Daļ (богиня охоты, богиня страсти), то же название, встречающееся у бацбиев или цова-тушин, обозначающее наименование вообще бога, и ряд других аналогичных слов — связаны с именем Иштари — Астерии — Афродиты (там же, 157).² По его же разъяснению — i-штар 'жена', по яфетической семантике собственно 'женщина' из тройного значения слова 'рука, женщина, вода', но 'вода' дает 'водное небо' или 'небо-воду', слово же I-штар, и без начального придатка элемента позднейшего скрепления, есть разновидность слова saļ, означающего 'женщина'» (там же, 126).³

Иногда в нескольких словах чечено-ингушского фольклора слышны отзвуки многих тысячелетий. Напр., в ингушском эпосе упоминается о том, что нарт Батыг-Шертга «часто умирал и опять воскресал (ходил на тот свет и возвращался на этот)». (Далгат, указ. соч., 36).

¹ Характерны и другие сравнения возлюбленной — со звездой, ручьем (водой), также напоминающие нам символические образы Иштари, (ср. Иштарь, 125, 129 и др.).

² См. еще сб. Тристан и Исольда, 142, примеч. 1 — об ингушском наименовании божества.

³ Ср. ингушское слово «isti» 'замужние женщины', 'женщины' (см. З. К. Мальсагов. Ингушская грамматика со сборником ингушских слов. Владикавказ, 1925, стр. 164); чеченское — «stie» — 'жена' (см. З. Д. Шерипов. Краткий русско-чечен. словарь. Грозный, 1928, стр. 41).

Мотив сошествия в загробный мир, получивший большое развитие в языческой поэзии (легенды об Иштари и Таммузе, об Одиссее и др.) и христианской, был, как видим, известен и нахскому эпосу. Совершенно очевидно, что парт Батыг-Шертга означает божество, периодически умирающее и воскресающее. «Герой, в надземной фазе солнечный, всегда имел подземное соответствие в стране мрака, куда он спускался для преодоления темных сил и триумфальной победы над ними, знаменовавшей выход» (О. Фрейденберг. Сюжетная семантика Одиссеи. Сб. Язык и литература. Л., 1929, IV, 60). С библейским фольклором совпадает ингушское поверие о том, что «бог сотворил человека из земли, а из ребра человеческого сделал женщину» (Ч. Ахриев, в Сб. свед. о кавказск. горах, VIII, 8).

Глубоко прав Н. Я. Марр, указавший на то, что, игнорируя яфетидов, «нельзя сделать ни шагу далее в вопросе о составе и происхождении первоначального населения Средиземноморья и Древнего Востока, т. е. всего древнего мира. Без учета не только культурного, но и этнического наследия яфетидов нет материальной возможности реально разъяснить и сложную культуру древних исторических народов Средиземноморья и их племенной состав, также очень сложный» (Яфетиды, в сб. Восток, 1922, I, 83).

Приведенные нами примеры, число которых можно было бы значительно увеличить, убедительно доказывают, что изучение горского фольклора, в частности — чечено-ингушского, имеет далеко не местный интерес. Всестороннее и детальное освещение величайших памятников мирового эпоса — мифов об Иштари, Одиссее, Тысячи и одной ночи, романа Тристан и Исольда и т. п., а также шедевров мировой литературы, выросших на фольклорной почве, невозможно теперь без привлечения обильных, чрезвычайно своеобразных по содержанию и высоко-поэтических по форме аналогий из фольклора кавказских народов, в котором встречаем полустертые или явственные следы смены различных общественных формаций и которым так широко пользуется Н. Я. Марр. Богатый, но еще мало изученный, материал находим, в том числе, в устном творчестве ингушей и чеченцев, в котором выявляются соответствия образам — Иштари (Тушоли), Одиссею (Хидыр-Марза), Озирису (Батыг-Шертга) и другим прославленным персонажам мирового эпоса. В свою очередь, этот местный материал во фрагментарных и неясных частях может быть расшифрован в свете палеонтологического анализа при помощи более полных вариантов легенд, известных нам в фольклоре других народов Запада и Востока.

И. И. ТОЛСТОЙ

ИНВЕКТИВНЫЕ ПЕСНИ АТТИЧЕСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА В ДРЕВНЕЙ КОМЕДИИ

Тот своеобразный драматический жанр, который носит название древнеаттической комедии и который находит свое законченное выражение в произведениях Аристофана, включает в себе два разнородных начала: элемент инвективы и элемент бытовой сценки. Инвектива фиксирует внимание зрителя на отдельных моментах текущего политического дня и на определенных, политически- или общественно-важных, лицах; в бытовой сценке перед зрителем выступают не лица, а типы, представители различных профессий. И драматическая техника, там и здесь, иная: в первом случае происходит борьба главного персонажа с противными ему силами, и пьеса получает форму агона; во втором дается эпизодическая картинка.

Бытовая сценка, как форма, имеет длинную, предшествующую V в., историю; продолжает развиваться она и позже, после Аристофана. Элемент драматизованной инвективы, напротив, появляется, как литературный вид, только в V в., лишь у Аристофана и старших и младших его современников, и существует не долго: к началу IV в., после блистательной, но краткой жизни, он уже отмирает. И, однако, именно он, а не бытовая сценка, определяет собой характер самого жанра, развертывающего свое драматическое действие постоянно в форме атаки.

Политическая программа комедии консервативна. Тяготеет комедия к старине и питает отвращение ко всему новому: к новой политике, к новой морали, к новым людям, к новым вкусам и новым веяниям, к новым направлениям в литературе. То, что делается теперь, говорит комедия, то, чем теперь по глупости увлекаются, во что верят теперь, может привести народ только к гибели. В старину было лучше. Теперешние деятели — люди продажные, мелкие, и либо негодяи, либо безумцы. Они не сравнимы с устойчивыми, благочестивыми, былыми сынами отечества, с «маратономахами». Спасительный выход из положения найден мог бы быть в том

только случае, если бы теперешние руководители государственной машины решили вернуться к старому. Но на это, конечно, надеяться печего.

Таковы общие настроения комедии. Объекты ее атаки это испорченная городская молодежь, посещающая школы софистов, и сами софисты; это кожевник Клеон, крупный промышленник, вождь радикальной партии, и его единомышленники; врагом комедии оказывается и «корабельная чернь»: значит, весь город, от пирейских корабельных низов до юных аристократических мечтателей, занимающихся ненужной никому философией, стремящихся постигнуть сущность вещей и умеющих элегантно носить гиматий. А друзья? Друзья, это Дикеополь, богатый крестьянин, которому досаждают в его сельском хозяйстве война; мирный крестьянин Тригей; трезвые обыватели Евельпид с Писфетером; бедный мужик Хремил, которого очень скоро бог богатства, Плутос, за его к нему усердие, делает богатым; Эсхил, поэт старинных устоев и старой морали, по контрасту с развратителем Еврипидом; родовитые всадники: *nota bene* — в борьбе против Клеона, то есть только как временные политические союзники. Положительный тип в комедии это зажиточный аттический крестьянин, сидящий сам на земле и сам занимающийся ее обработкой, отчасти собственными руками, отчасти рабским и наемным трудом. Лишь ему симпатии комедии принадлежат всецело, над ним одним не смеется она. И побеждает в комедии именно он, компенсируя тем свое фактическое поражение в реальной жизни. Итак, с одной стороны, город, испорченный, развращенный; с другой — здоровая и городом недовольная аттическая деревня.

Этот классовый субстрат идеологической программы древней комедии, без сомнения, обусловлен особенностями ее истории; и не случайно, конечно, античное предание о зарождении комедии связывает ее начала с моментом крестьянских обид и шумных протестов деревни. В Поэтике Аристотель¹ указывает, что мегарцы, стремясь защитить дорическое происхождение комедии, пробовали опираться на этимологию термина «комодь» (*κωμῶδες*),² «комопесенники», который они толковали по-своему: по их мнению, в состав этого слова входило выражение «кома» (*κῶμη*), «деревня», слово, мало употребительное в Аттике, где вместо него предпочитают говорить «демос» (*δῆμος*); самый же термин произошел, говорили они, от того, что унижаемые городом комопесенники эти ходили, «блуждали», по деревням, «комам». Афиняне с этим не соглашались: свою коме-

¹ Aristotelis de arte poetica, III, 1448 a.

² Термин этот соответствует позднему выражению «комички», однаково обозначая как поэтов, так и актеров комедии.

Это они создали исконно-аттической и первую часть слова «комопесенники» ~~прямое производное~~ от старинного выражения «комос» (*κῶμος*), которым в Афинах обозначалось выступающее под защитой сельского бога Диониса ~~песни~~ подвыпивших людей, распевających песни.

Отметим: и афиняне, и мегарцы одинаково ассоциируют термин «комос» с представлением о процессии; и процессия эта в нашем предании состоит из крестьян, приниженных городом. Кайбель справедливо заключил на основании Поэтики Аристотеля, что та историческая традиция, на которую ссылались мегарские доряне, говорила о недовольстве крестьян и об их, направлявшихся против притеснителей, песнях: такие песни и дорянам, и Аристотелю были, очевидно, известны.¹ Отсюда заслуживает также внимания и следующий, сохранившийся в схолиях к Дионисию Фракийскому, наивный рассказ о том, как произошла комедия.² Согласно этому рассказу, в стародавние времена аттические крестьяне, когда их притесняли афинские горожане, гурьбой отправлялись ночью в Афины, подходили там к дому обидчика и, не называя имени его — а по другому варианту, наоборот, указывая его имя, — шумели перед дверями, громко жалуясь на обиды. К утру процессия удалялась, а жестоко проученный таким способом обидчик впредь зарекался обижать крестьян. С течением времени и государство поняло и оценило общественную пользу крестьянских выступлений и само пригласило крестьян выступать с обличительными речами уже открыто, днем, перед публикой: и вот отсюда-то будто бы и произошла афинская обличительная комедия.

Перед нами типичная этиологическая легенда, имеющая в виду объяснить историю возникновения комедии. Не трудно различить в ней и антикварные справки. Такой справкой является, например, замечание, будто крестьяне остерегались произносить имя обидчика: ученый намек на позднейший закон, изданный в Афинах в архонтство Морихида, в 440 г., и запрещавший поэтам выводить в комедии высмеиваемое лицо под его настоящим именем. Вся эта ученость, однако, лишь обрамление основного ядра легенды, предания о ночных, протестующих, деревенских шествиях, которое само по себе легко может восходить, действительно, к историческим, бытовым фактам.

Что в шествиях, упоминаемых Аристотелем, крестьянами распевались песни, об этом ясно свидетельствует уже самый термин «комопесенники».

¹ G. Kaibel. Die Prolegomena περὶ κωμῶδίας. Abhandl. d. Ges. d. Wiss. z. Göttingen, hist.-phil. Kl. N. F. 2, 1899, стр. 45.

² G. Kaibel. Comicorum Graecorum fragmenta. Berlin, 1899, I, стр. 12.

Вероятно, эти песни были сродни тем «тележным издевкам» или «насмешкам с повозок» (*συχώματα ἐξ ἀμαξῶν*), которые имели место в Афинах в обрядовом обиходе праздника Антестерий, древнейшего среди аттических празднеств, посвященных Дионису, богу, со второй половины VI в. оказывающегося как раз патроном афинского государственного театра: во второй день Антестерий по афинской городской площади медленно, одна за другой, вереницей двигались через праздничную толпу деревенские повозки с крестьянами, распевавшими задорные песни и осыпавшими встречных бранью и пряными шутками.

Вспомним сакральную обстановку этого «цветочного» праздника, справлявшегося в «Цветочном» месяце «Антестерионе», первом весеннем месяце, когда вместе с травами и цветами выходили из-под земли и души покойников. Скрещивались символы жизни и смерти, образы плодородия и зиждательной сексуальной силы чередовались с тревожными призраками теней усопших, от которых живые спешили отгородиться: откупались жертвами, заслонялись апотропеями, отпугивали громким криком и шумным весельем. Как и теперь в Италии переулки и площади в дни Бефаны, так и тогда улицы древних Афин и далекие пригороды оглашались криками, шумом, свистом. Момент выкриков, ругани был типичен для Антестерий, стилистически вполне отвечал настроениям этого шумного, южного карнавала.

«Издевки с повозок» бытовали в Афинах на протяжении длинного ряда веков, и поэты древней комедии могли слышать их ежегодно, хорошо были с ними знакомы, знали тематику их и их внешнюю форму. Обряд был так характерен, а шутки отличались такой изысканной грубостью, что и то и другое вошло в Афинах издавна в поговорку. В пылу речи, бросая с трибуны упрек противнику в грубости выражений, Демосфен, обращаясь к Эсхину, говорит ему негодуяюще: «ты орешь, как с повозки»¹.

Аналогичную картину давали и так называемые «гефиризмы» или «мостовые ругательства», связанные с обрядовой обстановкой другого, осеннего, праздника: с торжественным элевсинским шествием. Когда процессия афинского гражданства, с кумиром Диониса во главе, возвращалась из Элевсина в город, то в момент ее перехода через речку Кефис близ Афин, ее на мосту встречала другая толпа, поджидавшая возвращавшихся и осы-

¹ Demosth. XVIII, 122. *βοῶς*... *ὄτρην ἐξ ἀμαξῆς*. На тот же обряд намекают и выраженные «шутки процессии» (*πομπεῖαι*) в переносном значении, «непристойности», и глагол «στυχεῖσθαι» в значении «грубить», в той же речи Демосфена (XVIII, 11 и 124). К этой специальной фразеологии, а также к обряду «шутки с повозок» вообще, см. замечания Стефана Сребрного: Steph. Srebrny. *Comodumena I, Eos XXXII, 1929, стр. 535 сл.*

павшая шедших ругательствами и шутками. У Гесихия сохранилось интересное замечание: насмешки направлялись против «видных граждан» (εις τοὺς ἐνδοξοὺς πολίτας).¹

Когда говорят, что древняя комедия вышла из народного фарса или что она зародилась в условиях народной песни, то сами по себе слова «народный», «народ» обычно звучат безжизненной общей формулой: живой становится она только тогда, когда уясняется жизненное содержание жанра, его творческие социальные стимулы, иначе говоря, тогда, когда он открывает нам свое классовое лицо. Не подлежит сомнению, что в обычае громких, уснащенных обценными образами, ругательств, бросаемых в толпу, не последнюю роль играл элемент примитивной магии слова. Окрестный воздух, окружавший демона плодородия, насыщался образами сексуальной жизни, дрожал от раскатов смеха и крепких слов, откровенно обозначавших понятия злительной и плодоносящей силы, и это должно было магически действовать на плодородие почвы и на плодовитость скота и самих людей. Обценность, служащая одной из главных примет литературного стиля древней комедии, берет начало в тех же сакральных истоках, но политическая физиономия комедии свое объяснение находит не в них. Прежде всего и ближе всего она определяется основным характером самого «комоса», того особого деревенского шествия, которое являлось одним из своеобразных традиционных средств классовой борьбы древнегреческого крестьянства, так как «комосы» того именно типа, какой имеет в виду Аристотель, были не просто праздничными процессиями, а политическими деревенскими манифестациями, протестовавшими против разного рода обид и, под покровом бога Диониса, смело и громогласно изобличавшими классового врага. Острые слова и горькие речи естественно чередовались здесь со злобно-веселыми песнями, совершенно так же, как и в обряде праздника Антестерий насмешки крестьян получали нередко форму песенную, прямое указание на что мы находим в схолиях к Демосфену: крестьяне, сидя на повозках, стихи свои и говорили, и «пели».² Прибаутки чередовались, стало быть, с песнями, некоторое представление о которых могут дать несомненные подражания им у поэтов древней комедии, стремившихся, видимо, передать их живую форму, подвижную и гибкую, приспособленную, подобно форме русской деревенской частушки, к быстрому вбиранию в себя злободневщины. Эрнст Вюст, ища в новом фольклоре параллелей к этому античному деревенскому жанру, сравнивает его с немецкими «Rüpel-Lieder», типичными для обстановки старого крестьянского обычая

¹ Hesych. S. v. γαφῆρις.

² Schol. ad Demosth., XVIII, 122.

«Haberfeldtreiben»:¹ толпа, состоящая главным образом из крестьянских молодых парней, скрывающих свои лица под масками, направляется ночью к дому того лица, поведением которого она почему-либо недовольна, и, громко позоря его и уличая в тех или иных проступках, устраивает ему под окнами «кошачий концерт». Мы видим картину, очень близкую той, какую дает в схолиях к Дионисию Фракийскому рассказ анонима о ночных выступлениях аттического крестьянства:² этот рассказ, на первый взгляд представляющийся таким искусственным, таким неправдоподобным, будто нарочно созданным самими Грамматиками, на деле оказывается содержащим зерно несомненной правды. Грамматиками он только оформлен, по существу же он описывает явление, бытующее и сейчас в живой, нам современной, действительности.³

Тот же древний обычай народной самозащиты имели в виду и законы Двенадцати Таблиц в Риме: распевание песен на улице, перед домом, с целью опорочить доброе имя римского гражданина, они считали преступлением столь тяжелым, что наказанием за него они определяли смерть.⁴ «Окцентация» (occentatio), дословно «опевание», таков в римском законодательстве прилагаемый к этому преступлению специальный термин, фигурально, но очень точно передающий суть самого акта. Римской окцентации родственны романские «charivari» и многочисленные другие, того же порядка явления.⁵ Родствен ей, конечно, и аттический крестьянский «комос», с песнями и ругательствами расхаживающий по деревням и городкам Аттики. Генетически восходит и он к тем древнейшим обычаям стихийной народной расправы или «суда народного», позднейшими дериватами которых являются такие обычаи, как немецкий «Haberfeldtreiben» или как шуточный суд в обряде «деревянной лошади» северного Уэльса.⁶

¹ Ernst Wüst. *Skolion und Γεφυρισμοί in der alten Komödie*. Philologus, 1921.

² См. выше, стр. 589 сл.

³ L. Radermacher, *Aristophanes' Frösche*. Wien, 1922, стр. 6.

⁴ Cicero de re publica, IV, 10, 2. August. de civ. dei, II, 9. — См. H. Usener. *Italische Volksjustiz*. Rheinisches Museum, LVI, 1900, стр. 3. Kleine Schriften, IV, стр. 358.

⁵ H. Usener, ук. соч., стр. 381. Литературное изображение родственной ситуации имеем мы и в четвертой главе Майской ночи Гоголя, там, где парубки ночью гурьбой обступают хату ненавистного им головы и поют хором песню, в которой высмеивают его глупость и похотливость. А в одной из авантурных повестей Франциска Квеведо, указанием на которую я обязан О. М. Фрейденберг, мы встречаемся с интересным случаем «charivari» в форме выступления театрального. См. *Les oeuvres de D. Francisco de Quevedo. Villegas, nouvelle traduction de l'Espagnol*, I. Bruxelles 1698, стр. 39 сл. (цитирую по французскому переводу, которым я пользовался): ночью, в Мадриде, перед домом того лица (куртизанки), против которого «charivari» направлено, останавливается повозка и, при мерцающем свете факелов, разыгрывают на ней сатирического характера сценку, где в главной роли выводится сама обвиняемая. В Англии, в Уэльсе, в обряде «деревянной лошади» инсценируется настоящий шуточный суд: см. L. Radermacher. *Kalenden-Masken und Komödien-Masken*. Philologus, 1932, стр. 384 сл.

⁶ См. L. Radermacher, ук. соч., стр. 384 сл.

Угнетатели 'аттического крестьянства ближе в наших источниках не определяются: это город вообще, место, где живут власть имущие. В VI в., вплоть до эпохи Солона и Пизистрата, и ранее власть в Аттике находится в руках родовой крупноземлевладельческой аристократии, стремящейся закабалить крестьянство. Крестьянство и родовая знать это в то время два враждующих лагеря. О жестокости классовой борьбы у мегарцев достаточно красочно свидетельствует феогнидовский сборник. А на обычай обличительных выступлений деревенской аттической молодежи, «рассказывавшей по селениям» и оглашавшей свои деревенские жалобы, указывал впоследствии и Варрон, черпавший, несомненно, из греческого источника.¹ В эпоху Аристофана четко уже обозначился процесс классового расслоения аттической деревни: протестует не вся она, а лишь один ее слой, богатые мужики. Радикальное правительство тогдашних Афин опиралось на элементы, классово чуждые мелкоземлевладельческим слоям сельской Аттики, и те инвективные, типа гефиризм и насмешек с повозок, песенки, мотивы и формы которых проступают местами сквозь литературный текст Аристофана и других, ему современных, комиков, отражает идеологию именно этих слоев. Аттические деревенские песенки эпох более древних, в зависимости от иной картины классовых группировок; могли быть, разумеется, выразительными совсем других умонастроений, восходить к иной классовой идеологии.

¹ Diomedis artis grammaticae libri III: H. Keil. Grammatici Latini I, стр. 486; G. Kaibel. Comicorum Graecorum Fragmenta I, стр. 57 сл. «comoedia dicta ἀπὸ τῶν χωρῶν. χωραὶ enim apellantur pagi, id est conventicula rusticorum. Itaque iuventus Attica, ut ait Varro, circum vicos ire solita fuerat et quaestus sui causa hoc genus carminis pronuntiabat».

И. Г. ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ

К КОСМИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ 'КАМНЯ' И 'МЕТАЛЛА'

В изображении небесного Иерусалима в Откровении Иоанна нашла отражение противоположность реального и фантастического мира, с чем связано дальнейшее противопоставление неба и преисподней. Поскольку небесный и подземный мир в основных чертах параллельны реальному земному миру, мы находим изображение небесного Иерусалима в виде города, окруженного стенами с городскими воротами; только в фантастических чертах, выраженных в метафоре золота и драгоценных камней, сказывается его небесная природа. Точно так же и подземный мир в вавилонской мифологии окружен стеной, и богиня Иштарь, требуя впуска, угрожает разбить ворота и засовы.¹ Отголоски подобных воззрений мы находим и в библейской поэзии, несмотря на всю скудость материала, касающегося загробного мира. «Обитатели тьмы и преисподней окованы скорбью и железом... Они взывают к Иегове в скорби своей, и он спасает их от бедствия. Он выводит их из тьмы и преисподней и расторгает их оковы... Он сокрушает медные двери и ломает железные засовы» (пс. 107, 10-16). Врата преисподней, помимо данного псалма, упоминаются еще и в кн. Иов (38, 17). Там же находим представление о металлическом небе: «можешь ли ты, как он (т. е. как бог) распластать небо, твердое как зеркало литое?» (37, 18). Таким образом, в изображении неба и преисподней мы встречаемся с упоминанием металлов. Точно так же в античной мифологии, наряду с медным чертогом Гефеста на Олимпе² и с медным небом у Гомера³, мы находим упоминание о металлических стенах подземного царства у Вергилия.⁴

Однако, использование металлов для конкретного изображения потустороннего мира предполагает фактическое наличие металлов в реальном

¹ Миф о схождениях Иштарь в преисподнюю; русск. перев. в выдержках у Тураева. Ист. древн. Востока, 1913, т. I, стр. 129. См. также В. Шнейко: «Восток», I, стр. 10.

² Ил. 18, 369-371.

³ Ил. 5, 504; Од. 3, 2. См. М. Альтман, ЯЛ IV, стр. 30.

⁴ Эп. 6, 680.

быту. От предшествующей стадии до нас дошли представления о небе, в которых роль металлов заменена камнем. Согласно библейской космогонии, небесный свод, служащий для отделения верхних вод от нижних, мыслится состоящим из твердой, плотной массы. Обозначение небесного свода как «тверди» выражено в еврейском тексте термином (צִרְתָּ), употребительным в технике обработки металлов и служившим первоначально для обозначения металла.¹ Представление о небесном своде из прочного вещества нашло отражение в позднем апокрифе, в котором содержится вариант легенды о вавилонском столпотворении со следующей любопытной подробностью. Когда башня была доведена до значительной высоты (363 локтя!), строители взяли бурав и пытались пробуровать небо, говоря: «Давайте, посмотрим, является ли небо глиняным, медным или железным». Тогда бог поразил их слепотой и смешал их языки.² Наряду с металлическим небом, в библейском фольклоре находим ясно выраженные черты представления о каменном небе. Камень с древнейших времен почитается воплощением божества; с того времени как последнее получает индивидуальные черты небесного божества, воспринимаемого конкретно как небесный свод, камень становится символом неба. Отсюда представление о небесном чертоге, построенном из камней и окруженном каменной стеной. «Ветры дали мне крылья... и понесли меня на небо. Я вошел и приблизился к стене, выстроенной из кристаллических камней и окруженной огненными языками. Пройдя через огненные языки, я приблизился к большому дому, построенному из кристаллических камней. Стены дома были подобны полу, выстланному камнями, и основание дома было из кристалла. Потолок же был как путь звезд и молний; между ними — огненные керубы, и небо их (т. е. небо, несомое керубами) состояло из воды» (Непосч 14, 8-13). Упомянутые здесь «кристаллические камни» переданы в греческом тексте словами λίθοι χαλάζης, что является переводом еврейского אבנים חלביות; последнее выражение означает «камни града», т. е. камни, падающие с неба в виде града.³ Упомянутый термин встречается в описании битвы между израильтянами и хананеями в кн. Ис. Навина, где Иегова преследует бегущих неприятелей, «бросая в них большие камни с неба» (гл. 10, 11).

Представление об упавших с неба камнях является рационализацией представления о небесной природе камня, как культового объекта. Воплощенному в камне божеству с самого начала присущи космические черты,

¹ См. Н. Марр. ПЭРЯТ, стр. 70; ср. стр. 95 сл.; стр. 214.

² Греч. Апокалипсис Баруха, гл. 3 (Kautzsch. Апокр., II, стр. 450).

³ См. Kautzsch. Апокр., II, стр. 245, прим. g.

но на ранней стадии развития мифологических воззрений сам космос представляется непрозрачным. Только при более четком противопоставлении неба и земли возникает потребность в этиологической легенде, в целях согласования унаследованных верований с изменившимся представлением о мире. Ранним образом мы имеем дело с рационализирующим мышлением, когда для изображения неба пользуются в первую очередь цветными или прозрачными камнями. В легенде о Моисее подножие Иеговы изображается как «сапфир, ясный как само небо» (Исх. 24, 10). В описании колесницы Иеговы у Иезекиила небесный свод характеризуется как кристальный (Иез. 1, 22), а в близком по концепции описании в Откровении Иоанна мы находим «перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу» (Откр. Иоанна 4, 6). В других случаях, однако, символом божества или Мессии служит камень, без какого-либо указания на его природные свойства. Начертанные на камне семь глаз, которые обозначены в источнике как «семь глаз Иеговы, охватывающие (взором) всю землю» (Зах. 3, 8-9 и 4, 10), характеризуют камень как символ небесного божества, поскольку упомянутые «семь глаз» являются несомненно отражением небесных светил. Далее; наряду с уподоблением бога «скале» (что могло бы быть истолковано по линии «защиты»), мы находим также обозначение Иеговы как камня (Быт. 49, 24) с последующим перенесением метафоры на Христа в Новом завете.¹

Указанные представления, несомненно, связаны с космической семантикой камня, как культового объекта. Основными атрибутами древнепалестинского святилища являются «массеба» и «ашера», т. е. каменный столб и воздвигнутый рядом с ним ствол дерева с обрубленными ветвями. Оба названных предмета мы обычно находим в качестве культовых объектов перед алтарем на так наз. «высотах», т. е. в святилищах, устраиваемых под открытым небом. Если ашера, стоящая в связи с культом дерева, служила символом женского божества, как олицетворения земного плодородия, то стоявший рядом каменный столб служил, повидимому, воплощением солнца. На это указывает обозначение подобных столбов как שֶׁמֶשׁ, от слова שֶׁמֶשׁ солнце.² Таким образом, столбы эти могут рассматриваться по аналогии с египетским обелиском,³ служившим также символом солнца. Если здесь божество, воплощенное в камне, воспринимается как солнце, то в других случаях камень, как культовый объект, является символом

¹ Деян. апост. 4, 11; Посл. к римл. 9, 33.

² См. Rob. Smith. Rel. d. Semiten, стр. 144; стр. 67, прим. 83; ср. Gesenius-Buhl. Handwb. üb. d. AT. s. v. שֶׁמֶשׁ и указанную там литературу.

³ См. Erman. Aegypt. Religion. 1909, стр. 55.

неба. Это особенно наглядно выступает в легенде о Иакове, как основателе вефильского культа. Иаков видит во сне ведущую на небо лестницу, по которой восходят и нисходят ангелы. Камень, служивший ему изголовьем во время сна, Иаков сделал культовым объектом; он помазал его маслом и посвятил ему, как божеству, десятую часть своих доходов. Название местности «Вефиль», что истолковывается как «дом божий», первоначально принадлежало самому камню, а место, где он воздвигнут, характеризуется как «врата неба» (Быт. 28, 10 22).

В сообщенном тексте мы находим отголосок старинных воззрений, согласно которым камень является воплощением космического божества на стадии, предшествующей резкому разграничению неба и земли. «Врата неба» мыслятся еще на поверхности земли. Египетская мифология сохранила нам предание, по которому небо и земля первоначально были неразлучны и солнечный бог правил людьми на земле. Рассердившись на людей за их замыслы против него, солнце поднялось на небо, и с этого времени бог воздуха встал между небом и землей.¹ Только при наличии противопоставления неба и земли возникает представление о лестнице, соединяющей эти два, уже резко разграниченные, мира. Лестница, которую Иаков видел во сне, имеет для себя аналогию в египетских верованиях;² отголоски ее мы находим и в верованиях современных первобытных народов. Из приводимых Фрэзером³ аналогий обращает на себя внимание предание, наличное у племени *тораджа* (в центральной части Целебеса). Однажды прекрасный юноша, именуемый «господин солнце» женился на девушке из племени *тораджа*. Когда рожденный этой женщиной ребенок чем-то огорчил своего отца, солнечный бог в досаде на род людской поднялся на небо по вьющемуся растению. Мать ребенка попыталась подняться на небо вслед за мужем, но последний перерезал вьющееся растение, служившее лестницей; тогда женщина вместе с растением упала на землю, и оба они превратились в камень, который до сих пор носит название упомянутого вьющегося растения. Характерно, что и здесь мотив лестницы, ведущей на небо, дан в тесной связи с представлением о камне, как воплощении мифического лица, стоящего в тесной связи с солнечным богом.

Несмотря на протест библейских пророков против культа массеб, которые по Второзаконию должны быть уничтожены вместе с «высотами»,

¹ Там же, стр. 35.

² См. Frazer. *Folklore in the Old Testament*, т. II, 1919, стр. 52. — Breasted. *Religion and Thought in Ancient Egypt*, стр. 111 сл.

³ Назв. соч., т. II, стр. 52 сл. (в русск. перев. однотомного издания: «Фольклор в Ветхом завете». Соцэргиз, 1931, стр. 219 сл.).

святилищный камень играл существенную роль в официальном культе Иеговы. Столбы, воздвигнутые Соломоном у входа в иерусалимский храм, являются, во всей вероятности, разновидностью массеб и выполняли здесь ту же функцию, что и обелиски египетских храмов. Но мы имеем и прямое известие о том, что у входа в храм стояла массеба (2 кн. цар. 12, 10); в еврейском тексте Библии слово «массеба» заменено здесь словом «алтарь», но греческий перевод указывает на то, что первоначально речь шла о массебе. Гункель¹ справедливо отдает предпочтение греческой версии, ссылаясь на то, что и в другом месте (Ис. 19, 19) массеба является неотъемлемой принадлежностью культа Иеговы. В талмудической литературе упоминается священный камень, стоявший в «святом святых» наряду с ковчегом завета. В храме послепленной эпохи, не имевшем, как известно, ковчега, камень этот служил единственным культовым объектом; на него священник выливал кровь жертвенного животного.² В талмудическом фольклоре упомянутый камень является краугольным камнем мироздания. «Палестина расположена в центре мира, Иерусалим — в центре Палестины, храм — в центре Иерусалима, святое святых — в центре храма; в центре святого святых находится камень перед ковчегом завета; с этого камня началось мироздание.³ Сотворение мира началось с того, что бог бросил в море камень, стоявший впоследствии в «святом святых».⁴ По другой версии, бог закрыл этим камнем отверстие бездны (водного хаоса), и на этом камне, стоявшем в «святом святых», было начертано имя Иеговы.⁵ Таким образом, в этих легендах проглядывает космическое восприятие камня, как культового объекта; согласно талмудическим преданиям, камень, стоявший в «святом святых» играл ту же роль в мироздании, какая в библейской космогонии приписывается небесному своду: он послужил для ограждения водной стихии, заполнявшей собой все мировое пространство.

Дальнейшее указание на роль камня в культе Иеговы мы находим в легенде о «скрижалях союза». Согласно Второзаконию, речь идет о двух каменных плитах, на которых рукой Иеговы написаны были десять заповедей, произнесенных им перед всем народом на вершине горы, окруженной огнем (Вт. 4, 11-13; 5, 19; 9, 10). Когда эти скрижали были разбиты Моисеем (Вт. 9, 17, ср. Исх. 32, 19), Иегова вторично написал те же запо-

¹ Handkomm. Nowack'a, Genesis, 1901, стр. 290.

² Јома 5, 2; см. Strack. Kommentar z. N. Testam. aus Talmud u. Midrasch., III, стр. 179; стр. 183.

³ Tanch. Qedösch. 169 b; см. Strack, назв. соч., т. III, стр. 182 сл.

⁴ Јома, 54 b; см. Strack, назв. соч., т. III, стр. 182.

⁵ Targ. Ierusch. I, Ex. 28, 30; см. Strack, назв. соч., т. III, стр. 183.

веди на двух других каменных плитах, изготовленных Моисеем, и с этого времени «скрижали союза» (между народом и Иеговой) хранились в специально для этого изготовленном деревянном ящике (Вт. 10, 1-5). Если не считать эту легенду совершенно произвольным вымыслом, то наиболее правдоподобным представляется давно высказанное предположение, что «скрижали союза» являются позднейшим переосмыслением двух каменных фетишей, служивших культовыми объектами. В более древнем источнике (Элогист?) мы находим прямое указание на то, что не только надпись на скрижалях, но сами скрижали являются изделием бога (Исх. 32, 16). Возможно даже, что самое упоминание о надписи является в данном месте позднейшей вставкой,¹ как это является общепризнанным в отношении предшествующего ст. 15. Во всяком случае, о содержании надписи здесь не упомянуто ни единым словом, и, по общему смыслу рассказа, скрижали, разбитые Моисеем, представляются сами по себе священными, поскольку они принесены с вершины горы, на которой обитает божество, — что является указанием на небесное происхождение камней. Согласно талмудическому преданию, скрижали изготовлены были Моисеем из ценного камня, взятого от небесного чертога Иеговы.² Исходя из обрисованной выше роли священных камней в культе Иеговы, имеем основание полагать, что древний слой библейской легенды ставил скрижали, как каменные фетиши, в связь с Моисеем, подобно тому, как он приписывал последнему сооружению двенадцати каменных массеб перед алтарем Иеговы (Исх. 24, 4).

С этой точки зрения взаимоотношение каменных скрижалей и золотого тельца, как культового объекта, представляется в существенно ином свете, нежели исходя из тенденций Второзакония, лежащих в основе окончательной редакции легенды. Первоначально речь идет не о противопоставлении десяти заповедей золотому тельцу, а о двух одинаково правомерных для давнего уровня религиозного сознания изображениях божества — в виде каменного фетиша или же в виде литого идола, имеющего форму быка. Мы имеем дело с двумя стадиями оформления культового объекта, отражающими соответственные этапы развития мифологических представлений. Культ священных камней, как пережиток глубочайшей древности, сохраняет свое значение и в последующий период, преимущественно благодаря космическому осмыслению камня, как культового объекта. Наряду с этим, на протяжении развития родового строя постепенно утверждается культ быка,

¹ На это указывает выражение לִשְׁלֵל (см. ожидаемого שִׁלַּל), нигде более не встречающееся в Ветхом завете.

² Ier. Scheqal. V, 49a (Ned. 38a); на этот текст обратил мое внимание И. Н. Винников.

как отражение земледельческой культуры Палестины. В религии земледельческих стран, наряду с культом животных, существенную роль играет почитание космических сил, которые нередко мыслятся воплощенными в домашних животных. Так, в Египте бык и корова являются воплощениями солнца или небесного божества. Аналогичные верования мы имеем основание предполагать и для религии Палестины. Иегова, как показывает анализ библейских текстов, является олицетворением космического божества, объединяющего в своем образе черты грозового и светового божества.¹ Изображение Иеговы в виде быка означает, что бык, на данной стадии развития религии, является воплощением небесного божества. Отсюда роль быка в изображении колесницы Иеговы у Иезекиила, которая, как мы попытались показать в другом месте,² представляет собой символическое изображение неба. С другой стороны, использование металлов и цветных камней в иконографии космического божества, носящего уже антропоморфные черты, является дальнейшим развитием космического осмысления камня, как культового объекта, поскольку массеба, как мы видели выше, является воплощением солнечного или небесного божества.

Отсюда семантическая связь камня и быка, как двух символических выражений одного и того же божества, что получает дальнейшее подтверждение в наличии в культовом инвентаре алтаря, снабженного рогами. При этом рога являются наиболее существенной частью алтаря. Именно они окропляются кровью жертвенного животного (Лев. 4, 7); прикосновение к рогам алтаря обеспечивает безопасность преступника, ищущего убежище в святилище;³ отсечение рогов равносильно уничтожению самого алтаря (Ам. 3, 14). Однако, первоначально алтарем служит каменный столб или свободно лежащий камень, на который выливается кровь жертвенного животного; только впоследствии, наряду с каменным столбом, появляется алтарь, который представляет собой модификацию каменного фетиша.⁴ Таким образом, алтарь, как и последний, является символом самого божества. Совмещение в одном культовом объекте элементов камня и быка отражает сочетание представлений, находящее параллельное выражение в культовой легенде, ставящей одно и то же мифическое лицо в тесную связь то с камнем, то с быком. Выше было упомянуто, что, согласно библейской

¹ См. мою статью «Пережитки анимизма в библейской поэзии». «Евр. Мысль», 1926, стр. 42-80.

² См. мою статью «Колесница Иеговы», ЯС, VI, стр. 64-80.

³ I кн. цар. I, 50; 2, 28.— К вопросу об алтаре, снабженном рогами, см. Volz. Bibl. Altert., стр. 25.

⁴ О развитии алтаря из священного камня — см. Rob. Smith. Bel. d. Semiten, стр. 153.

легенде, Иаков считался основателем культа массебы в Вефиле; воздвигнутый им камень является воплощением небесного божества.¹ Мы знаем, однако, что первоначально Иаков был древне-палестинским божеством, а библейская легенда сохранила нам историзацию мифа о борьбе Иакова с водной стихией (Быт. 32, 25-33). В указанной легенде мелькает представление о Иакове как световом божестве (32, 32), воплощенном в образе быка. Дело в том, что в результате борьбы у Иакова оказалась поврежденной бедреная жила, и на этом основании «дочные сыны Израилевы не едят вертлюжьей жилы, которая на суставе бедра, потому что он (противник Иакова) коснулся вертлюжьей жилы на суставе бедра Иакова» (32, 33). Подобное истолкование культового обряда могло возникнуть лишь на почве представления о Иакове как о божестве, воплощенном в быке. В довершение сказанного, древний поэтический текст, вложенный в уста Иакова, называет Иегову «быком Иакова» и «камнем Израиля» (Быт. 49, 24). Поскольку Иаков и Израиль являются двумя именами одного и того же лица, упомянутый текст сохранил нам отголосок представления о тесной связи Иакова, как божества, с камнем и быком.

То же сочетание представлений — семантическая связь камня и быка — нашло отражение в мифологических элементах легенды о золотом тельце. В самом начале рассказа обращает на себя внимание следующая деталь, в которой мелькает глухой отголосок представления о Моисее, как о божестве. Самое желание народа иметь литой идол божества митиврируется следующим образом (в словах, обращенных к Аарону): «Сделай нам бога, который шел бы впереди нас, потому что этот человек Моисей, который вывел нас из Египта, — мы не знаем, что с ним сделалось» (Исх. 32, 1). В передаче того же мотива легенды в Коране² евреи говорят Аарону: «Мы не перестанем поклоняться тельцу, пока Моисей не вернется к нам». Мы как будто имеем здесь намек на предшествующую стадию легенды, в которой золотой телец являлся заменой самого Моисея, как божества. Это впечатление усиливается благодаря тому обстоятельству, что длительная задержка Моисея на горе и беспокойство народа по поводу его отсутствия дублирует в дальнейшем рассказе с отказом Иеговы предшествовать народу в его дальнейших странствиях, что вызывает в народе такое же смущение и необходимость заменить божество каким-нибудь культовым объектом. Известно, что в лице Моисея мы имеем дело с мифическим образом, лишь впоследствии преобразенным в народного героя; прежде чем стать основа-

¹ См. выше, стр. 598.

² Сура 20, 90 и сл.

телем культа, Моисей сам был божеством. В другом месте мне пришлось остановиться подробнее на присвоенных Моисею мифологических чертах, свойственных также Иегове, как космическому божеству.¹ Поскольку последний мыслится в виде быка, тот же образ переносится и на Моисея. О рогах быка у Иеговы, как божества, выведшего народ из Египта, дважды упоминается в старинном поэтическом тексте (Числ. 23, 22; 24, 8); сюда же относится образное выражение о «возвышении рога Мессии».² На вавилонских памятниках рога, являясь атрибутом божества и в антропоморфном изображении, перенесены также на царя.³ Египетские памятники изображают небесную богиню то в виде коровы, то в виде женщины; в последнем случае рога перенесены на корону богини. С этой точки зрения становится понятным изображение Моисея с рогами в христианском искусстве, что по мнению Holzinger'a,⁴ основано на «черезчур дословной» передаче библейского текста (Исх. 34, 29; ср. ст. 30 и 35) Вульгатой: *cognita erat species vultus ejus* («вид лица его был рогатый»).

Образ Моисея, сходящего с горы с каменными скрижалями в руках и снабженного на голове рогами, воспринимаемыми как исходящее от него сияние (Исх. 34, 29-35), представляет собой типическую мифологему, в которой отдельные черты, отражая последовательные этапы в развитии представлений о данном божестве, приобрели уже характер атрибутов, выражающих каждый в отдельности то же божество, что и вся композиция в целом. Первоначально божество мыслится воплощенным в горе или скале, позднее — в искусственно воздвигнутом столбе или в каменном фетише. С течением времени присущий божеству космический характер получает более четкие очертания, и, являясь олицетворением света, огня или неба, бог представляется в то же время воплощенным в зверином образе, который в условиях развитого земледелия приобретает черты домашнего животного. Дальнейшей модификацией является замена камня металлом, в частности, золотом, что в сочетании с звериной природой божества приводит к образу золотого тельца.⁵ Отсюда отдельные элементы композиции, как атрибуты или окружение антропоморфно изображенного божества. При этом безразлично, будут ли упомянутые элементы скомпонованы в пластический образ, как бы суммирующий в совокупности деталей весь пройденный путь раз-

¹ См. мою книгу «Пророки-чудотворцы», 1925, стр. 53 сл.; 85 сл., 97.

² См. Volz., назв. соч., стр. 25.

³ См. изображение Нарамсина: Bezold. *Ninive und Babylon*, стр. 41.

⁴ См. Kautzsch. *Heil. Schrift.*, стр. 138 прим. h.

⁵ На роли золота в культе я подробнее останавливаюсь в другой работе, имеющей появиться в печати под заглавием «Золотой телец».

вития, или же эти элементы носят характер сюжетных мотивов, слагающихся в той или иной последовательности в миф, данный в форме повествования. В обоих случаях мы имеем дело лишь с двумя различными способами переработки одних и тех же представлений, отложившихся в процессе стадийного развития верований. Но в компоновке пластических образов мифологии, как и в созданных мифом повествованиях, сказывается рационализирующая тенденция, обусловленная потребностью согласовать унаследованные верования с изменившимися на почве реальной истории представлениями о природе и обществе.

МАРК АЗАДОВСКИЙ

ОБ ОДНОМ СЮЖЕТНОМ СОВПАДЕНИИ

(„Смерть атеиста“ в романе Оммулевского и у Ипполита Тэна)

Методика компаративизма требует для каждого сюжетного совпадения искать причинной связи в совместной жизни совпавших сюжетов. Они включаются в единую цепь, каждое звено которой является тесно связанным с другим, образуя единый эволюционный ряд. Чем необычнее сюжетное положение, тем более оснований имеет предположение об их взаимозависимости. Литературоведческие дискуссии последнего времени, которые велись вокруг вопроса «влияний» и «заимствований», касались, главным образом, анализа причинной связи и углубленной социальной интерпретации этих явлений, — но основной вопрос, самый факт неизбежности и необходимости гипотезы влияния и заимствования считался незыблемо установленным. Чтобы не загромождать краткой заметки примерами, отсылаем к «последним словам» в этой области — статьям: Влияния литературные и Заимствования в Литературной Энциклопедии (тт. II и IV).

Конечно, было бы бессмысленно и в корне неправильно отрицать литературное взаимодействие в целом или его отдельные моменты. И «влияние», и «заимствование», и «подражание» — все это бесспорные факты, но их роль не следует гипертрофировать. И, прежде всего, необходимо поставить вопрос: всякое ли «совпадение» является обязательно «заимствованием», в какой бы форме ни трактовалось последнее.

В настоящей заметке нам хотелось бы обратить внимание на одно очень редкое и весьма своеобразное сюжетное положение, чрезвычайно близко совпадающее у двух разных писателей и где, как-будто, совершенно немислимо ставить вопрос о какой-либо зависимости одного от другого.

В замечательном по своему историческому значению и теперь незаслуженно забытом романе писателя-шестидесятника Оммулевского «Шаг за шагом» есть яркая и сильная сцена смерти одного из персонажей, доктора Ельникова. Доктор Ельников — типичный представитель революционного

просветительства 60-х годов, последовательный и убежденный материалист. В своем городе — действие происходит в Восточной Сибири — он ведет огромную «просветительную» работу: бесплатно лечит бедных, организует вместе со своим другом, героем романа — Светловым, школы, принимает участие в организации движения рабочих местного стекольного завода и т. д. Но его собственные дни сочтены, так как он тяжело болен чахоткой. Во время предсмертной болезни за ним ухаживает его старый гимназический товарищ, Созонов, ушедший в мистику и монашество, стремящийся во что бы то ни стало «спасти душу» заблудшего. Он приводит к умирающему священника.

«При виде священника, глаза Ельникова остановились на нем как-то неподвижно, почти бессмысленно; только слабая улыбка искривила сухие губы доктора.

— Благослови вас бог — перекрестил его отец Иоанн. Батюшка неслышно подставил стул к самой кровати, сел на него и стал что-то тихо говорить больному.

— Крайняя односторонность! — громко молвил он, наконец выслушав, в свою очередь, чуть слышно ответ Анемподиста Михайлыча, и широко развел рукавами рясы.

— Может быть, батюшка... — уже несколько слышнее отозвался Ельников.

— Ну, я и говорю: крайняя односторонность — с прежним движением повторил отец Иоанн.

И, придвинувшись еще ближе к кровати, священник начал снова нашептывать что-то больному. Анемподист Михайлыч только нетерпеливо качал головой; все та же слабая улыбка чуть заметно змеилась у него на посиневших от волнения губах.

— Я ведь и не спору, батюшка... — заметил он тихо.

— Опять это крайняя односторонность с вашей стороны...

— Не могу же я лгать в последние минуты, когда не лгал всю жизнь — раздражительно и с горечью на этот раз возразил доктор.

— Я и говорю: крайняя односторонность.

Отец Иоанн еще шире развел рукавами рясы, снова перекрестил больного, сказал ему на прощанье: «а впрочем, благослови вас бог!» — и неохотно вышел из комнаты, с грустным сожалением покачивая своей седою, как лунь, головой. Немного погодя, туда вошел Созонов с аптечным пузырьком в руках.

— Не надо уж... — слабо махнул ему рукой Ельников и опять повернулся к стене: — притерпелся...

Странную фигуру представлял из себя в эту минуту будущий иннок: смесь какого-то суеверного ужаса, уныния и малодушного страха за свое самовольство придали Созонову что-то неизобразимо жалкое. Он ждал от

больного выговора и, кажется, был бы радехонек последнему: но Анемподист Михайлыч упорно молчал, тяжело дыша. Созонов постоял — постоял перед кроватью, раза два неловко сморкнулся, попытался в самый дальний угол комнаты и тихохонько уселся там на стул, подперев локтями голову и колени.

Так прошел час, другой...

В половине второго больной сделал движение, тревожно откинулся на подушке и едва слышно спросил:

— Темно или светло теперь?...

— Совсем день уже-с, Анемподист Михайлыч... — пояснил Созонов, робко кашлянув в руку.

— Ааа... — протянул доктор: — понимаю...

Он сделал усилие и провел рукой у себя по глазам, как бы желая удостовериться, на месте ли они у него.

— Окажи, брат, ты мне, Созонов... последнее одолжение, — несколько помолчав, попросил напряженно больной, — возьми вон там... на окне... старую книжку журнала... без переплета; растрепанная такая... Почитай ты мне отсюда... хоть позитивную философию... Огюста Конта; там... она — должна быть... Мысли у меня мутятся...

Созонов как-то испуганно встрепнулся весь, точно внезапно разбуженная птица, быстро отыскал книгу, развернул ее и сел возле кровати.

— Я бы вам лучше-с... — заикнулся-было он.

Но его удержал какой-то непонятный, энергичный жест Ельникова, сделанный при самом начале этой фразы.

— Читайте же... Созонов, — раздражительно поторопил доктор. Началось чтение — медленное, несвязное, неуклюжее. Странно как-то было видеть Созонова с книжкой журнала в руках; еще страннее казалось выходявшее из уст этого человека учение знаменитого мыслителя: оно как будто теряло свой смысл.

Так прошло еще с полчаса.

— Созонов, батюшка... — прервал вдруг Анемподист Михайлыч чтеца, стараясь приподняться на локте.

— Скажи ты, брат, Созонов... большой поклон... от меня... Светловушке... скажи... что... что...

Больной глубоко вздохнул, остановился на этом вздохе — и не договорил; только кровать как-то болезненно скрипнула за доктора, — и таинственная, мертвая тишина воцарилась в комнате...»

Этот эпизод принадлежит, несомненно, к замечательнейшим страницам русской (дореволюционной) художественной литературы. Как-будто это единственный пример художественного изображения смерти воинствующего атеиста. Подчеркиваю: воинствующего, ибо сама по себе смерть атеиста или материалиста не раз служила предметом изображения русских писателей, но это единственный случай, когда такое изображение дано

в плане боевой непримиримости. Особенно замечательна деталь: чтение над умирающим вместо Евангелия — Курса позитивной философии Огюста Конта.

И, однако, несмотря на всю исключительность и своеобразие этого эпизода, он не одинок в мировой литературе. Совершенно аналогичный эпизод встречается в незаконченном романе Ипполита Тэна Etienne Maugan. Роман открывается смертью отца героя, которая описана следующим образом:

«В конце темной, маленькой лестницы он [Этьен] вдруг увидел комнату, наполненную светом. Посреди священник в белом стихаре, рядом с ним мальчик-клирошанин, держащий в одной руке пузырек с елеем, а другой — протирающий глаза, так как его также разбудили внезапно. Этот сельский священник, этот ребенок в грубых башмаках и с грязными руками были каким-то пятном в изящной и всецело светской комнате. Отец Этьена остановил их вежливым движением, попросил аббата не так беспокоиться, указал ему на кресло, предложил погреться и заговорил с ним о погоде. Затем он подозвал Этьена, ласково улыбнулся ему и сказал:

— Этьен, постарайся не особенно печалиться — это ни к чему не ведет и только пачкает носовые платки. Трудись хорошенько, мой бедный мальчик, это единственное средство покупать себе бифштексы и не стать чахоточным. Господин аббат, позвольте мне быть невежливым; я хотел бы остаться наедине с Этьеном мою последнюю четверть часа. Ступай, Катерина, ты можешь зайти к типографу и заказать карточки с извещением о моей смерти.

При его изысканной любезности у него был до того повелительный тон, что все повиновались ему. Он приказал ребенку достать том Вольтера Задиг, и читать громко. Это продолжалось с полчаса; каждый раз, как Этьен повертывал страницу, он смотрел на своего отца и видел, как его легкое дыхание подымало простыню. Читая, он не особенно дрожал, так как в комнате не было ничего печального. Душистые лепешки догорали в вазе. Красные и синие вербены грациозно склонялись над камином, и в очаге горел веселый огонь.

Когда Этьен принялся за рассказ о грифах, он заметил, что одеяло не шевелится более и что у отца глаза опущены, а рот открыт. Он умолк, боясь разбудить его. В это время вернулась служанка и сказала, зарыдав: «Он умер!».

Глубокое сходство этих двух эпизодов совершенно бесспорно. Различны фигуры героев, различна социальная среда, в которой разворачивается действие, но основные черты этого сюжета совершенно идентичны: отказ от услуг священника и чтение вместо Евангелия светской книги: у Омюлевского — Конта, у Тэна — Вольтера. Однако, вопрос о каком-либо

займствовании абсолютно сразу же отпадает: роман Омюлевского впервые появился в 1870 г., в журнале «Дело»; Тэн писал свой роман в 1861—1862 гг. Он хотел изобразить в нем литературно-педагогическую богему 40-х годов в Париже. Но, написав несколько глав, он оборвал работу и больше уже не возвращался к ней. Написанные главы при жизни его в печати не появлялись и были впервые опубликованы только в 1909 г. в журнале «Revue de deux Mondes» с предисловием Поля Бурже.¹ Осенью 1910 г. эти отрывки вышли отдельной книгой в издании Hachette под заглавием «Fragments inédits» и вскоре же одновременно появились два русских перевода.²

Таким образом, очевидно и бесспорно, что ни Омюлевский не мог знать Тэновского романа, ни тем более — наоборот. Можно было бы предположить, что оба романа или, вернее, оба эти эпизода восходят к какому-либо общему, третьему источнику. Однако, в данном случае, такая гипотеза должна также сразу отпасть. Если в самом деле существует такой общий для Тэна и Омюлевского источник, то его, видимо, приходится искать где-то среди весьма редких и малоизвестных сочинений. На поверхности литературы, среди памятников, более или менее общеизвестных, такого нет.³ Конечно, такой блестящий эрудит, как Тэн, вполне мог опираться на какой-нибудь малоизвестный и редкий памятник, — но совершенно не представляется возможным допускать такое предположение по отношению к сравнительно малообразованному Омюлевскому, к тому же весьма посредственно знавшему иностранные языки. Объяснение этого поразительного совпадения нужно, несомненно, искать на каких-то иных путях, совершенно оставляя в стороне вопрос о займствовании.

Принципиально-новая постановка проблемы сходства сюжетов дана Н. Я. Марром. Учению о влияниях и займствованиях противопоставлено

¹ Etienne Maugan par I. Taine avec une introduction de M. Paul Bourget, de l'Académie française. Revue de deux Mondes, 1909, Mars-Avril: Livraisons du 15 mars et 1 avril.

² Этьен Мэран. Посмертный роман Ипполита Тэна. Перевод Б. Рунт. Рус. Мысль 1911, № 1—2. — Этьен Мэйран. Отрывки из романа Ипполита Тэна. Перевод Ф. С. Вестн. Европы, 1911, № 1. В наст. статье цит. по переводу Б. Рунт.

³ Я оставляю в стороне ряд произведений, где упоминается в той или иной форме предсмертное чтение стихотворений или вообще страниц любимого писателя; пример Яков Пасынков Тургенева, где герой перед смертью читает Лермонтова. В настоящем очерке меня интересуют произведения, где этот прием имеет определенную идейную направленность (в данном случае антирелигиозную). Вообще же, «смерть с книжкой поэта в руках» — не только литературный прием, но и явление бытового фольклора: так, напр., по рассказу П. В. Анненкова умер с книжкой Беранже в руках. В. Л. Давыдов (дядя А. С. Пушкина); сам Беранже рассказывает в своей автобиографии подобное о Людовике XVIII, якобы умершем также при чтении Беранже (См. М. Алексеев. Беранже и французька пісня, — в книге: П. Беранже. Вибрані пісні. Хар. — Київ. 1933, стр. 72).

учение об органическом единстве и исторической закономерности развития сюжета: генезиса сюжета и дальнейшей его эволюции. Решение проблемы возможно только на путях исследования семантики сюжета. Содержание и форма сюжета представляются, как некое определенное общественно-историческое явление. Чрезвычайно удачно это сформулировано Б. В. Казанским в его этюде, посвященном античным аспектам сюжета «Тристана и Исольды». «Сюжет возникает, как явление идеологической надстройки, — пишет он, — и его оформление необходимо подчиняется требованию и совершается в категориях общественной идеологии, в формах общественной мысли, обусловленных данной социальной исторической эпохой и средой. Материал, из которого он строится, т. е. темы и мотивы, не произвольно и не механически заимствуются, а подчиняясь той же закономерности творчества и тем же идеологическим требованиям и предпосылкам, которые обуславливают, больше того, образуют основную концепцию сюжета».¹

В концепции школы Н. Я. Марра сюжет является, во-первых, идеологическим явлением, во-вторых, общественно-историческим. Научный анализ сюжета немислим «без твердой опоры на общественно-историческую действительность». Самая сущность сюжета — не что иное, «как своего рода способ плетения сюжетной ткани, присущей данной идеологической системе, как надстройке над определенной общественно-исторической стадией».²

Эти положения выработаны на анализе фольклорных материалов и фольклорных явлений; но они вполне применимы ко всей области литературоведения, — и в свете их становится понятным и перестает казаться неожиданным и замечательное совпадение сюжетов в романах Тэна и Омюлевского. Исторические корни этого сюжета — вполне ясны. Религиозное вольнодумство французской буржуазии первой половины XIX в. и воинствующий материализм русского разночинства были достаточно распространенными исторически определившимися явлениями, чтобы появилась потребность в художественном их обобщении. Можно назвать ряд произведений, где эта тема затронута в том же плане, как ее взяли Тэн и Омюлевский (но без характерной в данном случае для обоих сюжетов специфики). Этот поворот темы можно назвать «смерть атеиста». В качестве примера, можно указать «Отцы и Дети» Тургенева, «Доктор Паскаль» Золя и некоторые другие. В таком повороте сюжета тема приобретает особую остроту и силу. Смерть — последний акт борьбы с предрассудками и господствующими

¹ Б. В. Казанский. Античные аспекты сюжета Тристана и Исольды. Тристан и Исольда, Тр. Инст. языка и мышления, II, 1932, стр. 120.

² Ibid., 122.

щим мировоззрением, которую ведет атеист в капиталистическом обществе. Со смертью же связывается последняя попытка общества отвоевать — хотя бы у постели умирающего — свои позиции. Это последний момент жизненного пути, связанный с торжественно-умиленной обстановкой прощания с родными, их молений о примирении, появления священника, святых даров и т. п. Ослабевший физически, умирающий не всегда находит духовные силы для дальнейшей борьбы с властно вторгающимся врагом — и так наступает момент торжества последнего. Раскаявшийся или примирившийся с «небом» перед смертью атеист — одна из популярнейших тем и не только у представителей реакционного крыла. В русской литературе, напр., эту тему разрабатывал Лесков.

Социально-классовые позиции художника сказываются в изображении этого момента с наиболее резкой и выпуклой отчетливостью. Так, чрезвычайно характерна для Тургенева та примиренческая позиция, которую занимает в его романе Базаров:

— «Евгений, — продолжал Василий Иванович и опустился на колена перед Базаровым, хотя тот и не раскрывал глаз и не мог его видеть, — Евгений, тебе теперь лучше; ты, бог даст, выздоровеешь; но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина. Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но еще ужаснее... ведь, на век, Евгений... ты подумай, каково-то...»

Голос старика прервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.

— Я не отказываюсь, если это может вас утешить, — продолжал он, наконец, — но мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

— Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это все в божьей воле, а исполнивши долг...

— Нет, я подожду, — перебил Базаров. — Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж! Ведь и беспамятных причащают».

В романе Омулевского можно видеть до некоторой степени ответ Тургеневу. Ему противопоставлено здесь действительное мировоззрение революционного разночинца, не знающего уступок и отвергающего компромисс — особенно в этом пункте. Смерть — не отказ от пропаганды, но последний и высший момент ее. Художественное изображение Омулевского нашло блестящее подтверждение в последующей практике народовольцев с их неизменным отказом от священника перед казнью или смертью в тюремной больнице.

Иной является позиция Тэна — представителя умеренной либеральной буржуазии. Для него атеизм — не страстное убеждение и тем более не орудие борьбы за переустройство мира. Атеизм в его изображении, как позже у Анатоля Франса, только один из элементов скептического равнодушного мировоззрения, которое дает возможность вести спокойную, без лишних тревог и волнений жизнь. Это мировоззрение человека, которого сам Тэн характеризует, как «умного эгоиста» (*«égoïste très spirituel»*). «Он заботился лишь о том, — рассказывает о нем автор, — чтобы приятно истратить свое состояние; так он прожил все, не высчитывая, сколько у него остается, потому что от счетов болит голова, и не особенно беспокоясь о своем сыне, потому что от беспокойства болят нервы».

Таким образом, во внешне вполне сходной сюжетной форме отразились два совершенно различных мирозерпания, две резко противоположных социальных позиции. Но внешне они совпали, так как каждому нужно было найти художественную формулу логического конца жизненного пути атеиста.

Последовательный атеизм находил свое завершение в последнем акте этого жизненного пути и вместе с тем выражал свою подлинную внутреннюю сущность. Это сказывается и в форме обращения со священником: — возражения и протесты у Омудевского; равнодушно-пренебрежительный тон у Тэна, — и, наконец, особенно в выборе книги, чтением которой заменяется обычное напутствие евангельского текста.

Замена евангельского текста другим также совершенно органически входит в данный сюжет. Этот момент символического выражения противопоставления двух мирозерпаний. В таком значении этот прием довольно часто встречается в мировой литературе. Как пример, можно вновь напомнить тех же «Отцов и Детей» Тургенева, где этот прием использован в несколько пародическом плане: Аркадий «с ласковым сожалением на лице» отвмывает у отца «Цыган» Пушкина и кладет «брошюру Бюхнера».

Для революционного разночинца, доктора Ельникова, смерть — последний момент пропаганды; Конт для него не просто любая материалистическая книга, но в полном смысле «новое евангелие», каким в действительности и был для шестидесятников «курс позитивной философии», — замена евангелия иронической повестью Вольтера — последний жест атеиста-буржуа, представителя французского общества 40-х годов, растерявшего свои идеалы и ищущего убежища в равнодушном скептицизме.¹

¹ Напомню читателю эпизод о грифах, на котором заснул вечным сном старик Мэран. «По утрам, — рассказывает Вольтер, — в библиотеке Задига собирались ученые, а вечером

В задачи настоящей заметки не входит подробный, исчерпывающий анализ сюжета «смерти атеиста». Ее задача в другом: подчеркнуть принципиальную необходимость анализа сходных и совпадающих сюжетов вне путей влияния и заимствования. Если бы случилось так, что Тэн опубликовал бы сам свои незаконченные главы и они появились бы в начале 60-х годов, то само-собой, что ни один историк литературы ни на минуту не усумнился бы в прямой зависимости текста Омудевского от романа Тэна. В теоретическом плане это было бы осмыслено, как использование писателем одного класса материалов чуждого и враждебного класса.

А между тем совершенно ясно, что в данном случае сюжетная схема у того и другого писателя сложилась в результате органического процесса отображения реальной обстановки и определенного движения идей. А такой вывод имеет уже более общее значение, и, думается, вообще уже наступает пора для пересмотра многих суждений и выводов, основанных на гипотезе влияния и заимствования.

Ленинград,
февраль 1934

у него обедало хорошее общество». Но вскоре он узнал, как опасны ученые: однажды поднялся великий спор о законе Зороастра, запрещавшем есть грифов. «Как можно запретить есть грифов, — говорили одни, — если такого животного не существует?». «Оно должно существовать, — говорили другие, — ибо Зороастр запретил его есть». Задиг попытался примирить их, сказав: «если существуют грифы, то мы не станем их есть; если же их нет, то тем более. Таким образом, мы все исполним закон Зороастра» и т. д.

Н. А. БЕЛГОРОДСКИЙ

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРСИДСКОЙ СТИЛИСТИКИ

Классовый момент в стилистике современного персидского литературного языка

Необходимо признать, что современный персидский язык во всех его проявлениях крайне слабо изучен. Европейские грамматики, учебники и словари, рассматривающие персидский язык, в большинстве случаев, не отражают всех тонкостей языка, а лишь дают самое элементарное представление о нем; большая часть из них на сегодняшний день устарела. Они пестрят, кроме того, фактическими ошибками.

Особенно слабо изучены, как мне кажется, синтаксис и стилистика. Это обстоятельство отчасти извиняет недостатки настоящей статьи. Статья построена исключительно на материалах наблюдений, собранных мною в течение шестилетнего пребывания в Персии; эти наблюдения я пытаюсь систематизировать и насколько возможно объяснить.

В этой статье я не занимаюсь лексическими особенностями языка отдельных классов современного персидского общества во всей их совокупности и даже не рассматриваю стилистических особенностей в языке отдельных классов и классовых прослоек этого общества (и то, и другое несомненно существует, но выходит из пределов задач, поставленных настоящей статьей). В статье речь идет лишь о стилистических особенностях современного литературного персидского языка (следовательно, языка — в основном высших классов), применяемого в сношениях (в разговоре или в переписке) внутри того же класса и с представителями других классов, т. е. с лицами, равными и неравными в социально-классовом отношении.

Эти языковые факты, сложившиеся в большинстве очевидно в период наивысшего развития в персидском обществе феодальных производственных отношений, в настоящее время несколько утратили свою классовую экспрессивность, превратившись частично в атрибуты правил вежливости

(кстати и последние всегда не лишены классового характера, но в данном случае не об этом речь). В большинстве же случаев их классовая семантика сохранилась еще достаточно ярко, и тогда, при адекватности материальной семантики нескольких конкретных слов или оборотов, мы имеем различные лексические или морфологические оболочки этих слов, либо, наконец, различные синтаксические конструкции, в зависимости от классового характера употребления этого слова или оборота.

Подобные «семантические эквиваленты»¹ можно проследить в различных областях современного персидского языка, а именно: 1) в сфере лексики: в глаголах, именах, местоимениях, предлогах, 2) в сфере морфологии и 3) в сфере синтаксиса. Следовательно, мы можем говорить о стилистических особенностях социально-классового порядка персидской лексики, морфологии и синтаксиса.

В большинстве подобных языковых фактов мы имеем, как правило, три различные формы (лишь иногда — две), эквивалентные, однако, своей материальной семантике. Эти формы таковы:

1. Обще-классовая:² обычно по форме — основное, первоначальное значение слова или оборота применяется в отношении лиц, равных по своему социально-классовому положению в обществе; в настоящее время в разговоре среди равных чаще всего применяется в отношении третьих и обычно отсутствующих лиц (غایب).

2. Классово-подчиненная: по форме метафорическая, обычно пренебрежительная, применяется лишь в отношении нижестоящих на социальной лестнице, либо в настоящее время в разговоре среди равных употребляется первым лицом (منکلم) в отношении себя.

3. Классово-господствующая: по форме метафорическая, применяется в отношении представителей господствующих классов, либо лиц вообще стоящих выше по социальной лестнице; в настоящее время в разговоре среди равных обычно применяется при обращениях, т. е. в отношении вторых лиц (مخاطب), как более «вежливая». В случае же, если собеседник ниже по своему социальному положению (без всякого ущерба для «вежливости»), применяется первая форма.

¹ Этот термин считаем весьма условным; его условность в том, что в подобных словах обычно при адекватности материальной семантики (в особенности, напр., в переходных глаголах, предлогах и т. п.) налицо, однако, все же какое-то различие в значении социально-классового порядка; это различие, кстати, пожалуй было бы правильно назвать «классовой семантикой слова».

² Примеченную в этой статье терминологию — обще-классовая, классово-подчиненная и классово-господствующая форма — следует считать условной; употреблена нами за неимением какой-либо другой установившейся для этого рода явлений терминологии.

Приведем ряд примеров, иллюстрирующих и подтверждающих высказанные положения; я не пытаюсь, однако, охватить этими примерами всего словаря подобных «семантических эквивалентов».

1. ГЛАГОЛЫ

گفتن — «говорить, сказать»; форма обще-классовая, отвечает первоначальному основному значению этого слова; в настоящее время в кругу равных употребляется лишь в отношении отсутствующих третьих лиц и то даже в таких случаях обычно во множественном числе, наприм., **ارباب بهمن اردشير بمن گفتند** — Господин Бехмен Ардешир мне сказал (досл. «сказали»).¹ Кстати, в то же самое время про слугу, хотя бы и присутствующего, будет сказано так: **نوکر من حسن آقا گفت که ارباب** — «доклады в а т ь» (сложный глагол — дословно «делать доклад») классово-подчиненная форма, эквивалентная глаголу **گفتن**; в настоящее время в разговоре среди равных может быть употребительна лишь говорящим (т. е. в 1-м лице); во взаимном разговоре лиц разного общественного положения никогда не будет употребительна говорящим даже про себя, если его собеседник определенно ниже по своему социальному положению; в разговоре с выше стоящим, в 1-м лице употребляется как обязательная.

فرمودن — «приказывать»; форма классово-господствующая, по своей материальной семантике в настоящее время соответствует основной форме — **گفتن**, т. е. употребляется собственно не в значении «приказывать», а в значении «говорить», но обычно лишь тогда, когда это действие исходит от лица — представителя господствующих классов. Этим как бы подчеркивается, что все, что ни скажет подобное лицо, есть приказ. В настоящее время в качестве вежливого оборота в литературном языке употребляется также в кругу равных, вообще в отношении второго лица, т. е. в отношении собеседника, и реже — в отношении третьего лица (и в том и в другом случае обычно во множественном числе). Классовая экспрессивность этой формы в значительной степени сохранилась. В отношении лиц нижестоящих по классово-социальной лестнице даже при вежливом разговоре не применимы обороты с глаголом **فرمودن**. Напр., даже при вежливом разговоре со слугой хозяин не скажет **شما فرمودید**; он скажет **شما گفتید**.

¹ О классовом значении этой и подобной ей форм множественного числа будет сказано дальше.

(в этом شما «Вы» будет заключаться признак вежливости этого разговора). Говоря слуге شما گفتید, хозяин может быть про себя также будет говорить (بنده عرض کردم), но в этом отнюдь нет равенства, так как от слуги в отношении себя он будет ждать обращения (в самом скромном случае) شما فرمودید. Мне известен случай, когда слугу, не выдержавшего нужного стиля и допустившего в отношении господина выражение شما گفتید, господин прервал и сказал من نه فقط گفتم بلکه من فرمودم — «я не только сказал, но я «приказал», подчеркнув этим, что оборот گفتن «говорить» был употреблен «неуместно» (بی موقع).

Само собою понятно, такая разница в выборе глаголов عرض کردن گفتن и فرمودن проводится отнюдь не только лишь в разговоре помещиков с крестьянами, непосредственных нанимателей с лицами, ими нанятыми, или начальствующих лиц со своими подчиненными, но и вообще в разговорах между собою лиц разного общественного положения.

Из ознакомления со стилистическими особенностями этих первых трех «семантически эквивалентных» глаголов мы можем вывести заключение, что их стилистическое различие в настоящее время заключается отнюдь не только в том, какое из них более вежливое (опять подчеркиваю, что классовый момент и в этом есть), но также и в самом классовом характере их употребления. Оба эти момента в конкретном диалоге переплетаются между собой, причем схема их взаимоотношения такова: при прочих равных условиях (т. е. в разговоре с равными) говорящий в отношении себя употребляет пониженную форму, а в отношении собеседника, наоборот, повышенную (требование вежливости), в отношении третьего лица — общую, но лишь только разговор ведется с неравными, нижестоящими, говорящий применяет в отношении и себя и собеседника общую форму, в то же самое время требуя для себя, как обязательной, — третьей формы. Напр., в разговоре, где участвуют трое помещиков или купцов и кто-либо из крестьян и наемных служащих, говорящий помещик про себя скажет بنده عرض کردم, обращаясь к собеседнику-помещику скажет جناب عالی فرمودید, про третьего помещика или купца — حاجی آقا فرمودند, и про крестьянина کربلائی محمد گفت или про слугу, حسین آقا گفت, т. е. по русски дословно «я доложил», «Вы приказали», «Хаджи-Ага приказали», «Кербалаи Мохаммед сказал», «Хоссейн-Ага сказал», что в материальном отношении абсолютно эквивалентно между собой, т. е. «я сказал», «Вы сказали», «Хаджи-ага сказал», «Кербалаи Мохаммед сказал», «Хоссейн-ага сказал».

Возьмем другую группу семантически эквивалентных глаголов. **آمدن** — «приходить»: обще-классовая форма, основное первоначальное значение глагола в настоящее время в кругу равных употребляется лишь в отношении третьих лиц и при том обычно во множественном числе, например, **حاجی آفا آمدند** «Хаджи-Ага пришли». Либо подобно глаголу **گفتن** употребляется в отношении вторых лиц, но при условии, если второе лицо в социальном отношении ниже первого, напр., **احمد آفا شما کی آمدید** — «Ахмед-ага, вы пришли?», а если в отношении третьего лица, не равного (более низкого) положения, то уже, конечно, в единственном числе **محمد علی آمد** — «Мохаммед Али пришел». **حدمت رسیدن** — дословно «достигать до услужения»: классово-подчиненная форма, — по своей материальной семантике эквивалентная предыдущей; в кругу равных употребляется лишь говорящим (т. е. первым лицом), но никогда в отношении второго или третьего лица. Стилистическая сфера распространения и схема употребления — аналогична рассмотренному глаголу **عص کردن**.

تشریف آوردن — дословно «приносить присутствие» (в свою очередь слово **تشریف** в значении «присутствие» уже не первоначальное; в первоначальном значении **تشریف** — «облагораживание» (подразумевается, для окружающих облагораживанием является ваше присутствие); классово-господствующая форма. В настоящее время употребляется в значении «приходить», но только в кругу равных в отношении вторых и даже третьих лиц (никогда относительно себя) и никогда в отношении ниже стоящих лиц. Стилистическая сфера распространения и схема употребления этого глагола, следовательно; аналогична таковым глагола **فرمودن**. Любопытно заметить, если еще в отношении глагола **فرمودن** можно считать, что в условиях полуфеодалных производственных отношений в Персии что-либо сказанное в устах помещика и крестьянина не является эквивалентным по своей обязательности для окружающих (действительно, помещик не только «говорит», но тем самым отчасти и «приказывает»), что же касается непереходного глагола «приходить», здесь стилистическая разница между глаголами **آمدن** и **تشریف آوردن** исключительно классового порядка: она лежит в сфере их употребления.

Мы остановились более подробно на этих двух группах «семантически эквивалентных» глаголов, как на наиболее ярких в своем роде. В отношении некоторых можно заметить, что там будут не по три формы в каждой группе, а по две: 1) обще-классовая (она же классово-подчиненная) и 2) классово-господствующая. Таковыми являются, например: «уходить» —

1) رفتن и 2) نشريف بردن и «есть» (и «пить») 1) خوردن и 2) ميل كردن или मिल فرمودن; «понимать»: 1) فهميدن и 2) ملتفت شدن и т. п.

Нет нужды подробно останавливаться на разборе каждой: он будет приблизительно аналогичен приведенным выше. Попробуем представить в виде таблички наиболее употребительные «семантические эквиваленты» без попытки, однако, этой табличкой их исчерпать.

Русский эквивалент	Обще-классовая форма	Классово-подчиненная форма	Классово-господствующая форма
Говорить	گفتن	عرض كردن	فرمودن
Приходить	آمدن	{ خدمت رسيدن شرفياب شدن مشرف شدن }	تشريف آوردن
Уходить	رفتن		تشريف بردن
Присутствовать . .	بودن		تشريف داشتن
Есть (пить)	خوردن		{ ميل كردن ميل فرمودن }
Посмотреть, } Взглянуть }	نگاه كردن		{ ملاحظه كردن ملاحظه فرمودن }
Понимать	فهميدن		ملتفت شدن
Делать ¹	کردن		نمودن ²
Хотеть, желать . .	خواستن		ميل داشتن

2. ИМЕНА

Приблизительно такого же характера явление, что мы видели в стилистике глаголов, можно заметить и в стилистике имен. Приведем примеры.

پسر — «сын, мальчик»; обще-классовая форма соответствует основному значению этого слова; среди равных применяется в отношении третьих лиц, либо в разговоре с нижестоящими.

بنده زاده — дословно «рожденный рабом», что соответствует понятию «мой сын»; классово-подчиненная форма «семантически эквивалентная»

¹ Главным образом в случаях употребления этого глагола в качестве вспомогательного.

² Главным образом в письменном языке.

предыдущей, применима в отношении говорящего (1-го лица) в разговоре среди равных, но в разговоре с нижестоящим вышестоящий этой формы не употребляет, он тогда скажет *پسر من* (требуя, понятно, от своего нижестоящего собеседника, в отношении его сына, формы *بنده زاده*).

آقا زاده — дословно «рожденный господином», что соответствует понятию «Ваш сын»; классово-господствующая форма, «семантически эквивалентная» двум предыдущим; применима в отношении вторых лиц и в разговоре среди равных, или при обращении к вышестоящим, однако, не применима в обращении к нижестоящим.

Дальнейшие примеры будут аналогичны приведенным; поэтому нет надобности разбирать их все подробно; приведем некоторые ходовые в виде сокращенной таблички, аналогичной той, которая составлена нами по глаголам, опять-таки не пытаюсь их все исчерпать этой табличкой.

Русский эквивалент	Обще-классовая форма	Классово-подчиненная форма	Классово-господствующая форма
Сын	پسر	بنده زاده	آقا زاده
Отец	پدر		آبوی
Брат	برادر		اخوی
Жена	زن		{ اعمال ¹ اهل البيت
Женщина	زن		خانم
Письмо	مکتوب	عریضه	{ تعليقه رقیمه
Подарок	—	انعام	پیشکش
Слово	حرف	عرض	فرمایش (م. ч. فرمایشات)
Квартира, дом . .	خانه	بنده منزل	دولت سرا

Как мы видим, в отношении некоторых имен, в качестве классово-господствующей формы, выступают уже не метафорические обороты,

¹ В отношении персидских эквивалентов русского понятия «жена» в словах *عیال* (дословно — «семья») и особенно в выражении *اهل البيت* (тоже — «семья», и в частности, «семья пророка», т. е. Мохаммеда) заключается также элемент своего рода «табу», переплетающийся в данном случае с явлением эвфемизма; этим определяется характер метафор, избранных для замещения слова *زن* в значении «жена». Слово *زن* в значении «женщина» имеет эквивалент *خانم*, что стилистически соответствует русскому — «дама», «мадам».

а арабские эквиваленты персидских слов, примененных в классово-подчиненной или обще-классовой формах, как, напр., парные эквиваленты: پدر и آبی یا برادر و آبی. Очевидно, не случайно, что для стилистически более высокой формы избирается именно арабский эквивалент,¹ а для более низкой сохраняется персидский. И во всех прочих случаях, если мы имеем в употреблении в персидском языке парные эквиваленты, из которых один — собственно персидское слово, а другой — арабское, стилистическая сфера обращения арабского эквивалента будет преимущественно среди господствующих классов. Очевидно это объясняется тем, что после арабского завоевания довольно долгое время арабский язык был в Персии по сути дела классовым языком правящих классов, а персидский, так сказать, народным языком.

3. МЕСТОИМЕНΙΑ

Элементы классовой стилистики можно наблюдать и в персидских местоимениях, особенно в личных местоимениях. Рассмотрим их по отдельности. Проследим их в обычном порядке расположения русских личных местоимений.

«Я» — 1-е л. ед. числа. Обычное местоимение для этого من; обще-классовая форма соответствует первоначальному значению слова; в виду того, что персидские правила вежливости требуют вообще для говорящего пониженной формы, форма من (как нейтральная) обычно употребительна лишь в разговоре с нижестоящим.

Что касается классово-подчиненной формы, то таковых будет несколько. Наиболее употребительная из них بنده, что дословно значит — «раб» (стилистически несколько напоминает русское «покорный слуга»). Сфера распространения этого слова чрезвычайно обширна. Употребляется говорящим в разговоре с равным или вышестоящим. Менее употребительно حقیر,² что дословно значит «презренный»; в отдельных сочетаниях в этом же значении (т. е. «я») могут быть употреблены также следующие слова: جا,³ что дословно значит «слуга», دعاگو — дословно «говорящий молитву» (т. е. молящийся за вас), محلی — дословно «искренно преданный» (подразумевается «вам») и др.

¹ А в некоторых случаях — турецко-монгольский, как, напр., в приведенном слове, что связано с монгольским нашествием и образованием в тот период господствующей прослойки из монголов. По объему статьи мы не имеем возможности заняться освещением семантических истоков классовой окраски того или иного приводимого нами конкретного слова.

² Главным образом в письменном языке.

³ Также больше в письменных оборотах.

В классово-господствующей форме в значении местоимения чаще всего употребляется соответствующее местоимение **ما** — «мы».¹ Для документов и официальных сношений этой же классовой формы и в этом же значении употребляется **اینها**, что дословно — «эта сторона».

«Ты» — 2-е л. ед. числа. Обычное местоимение для этого **تو** обще-классовая форма соответствует первоначальному значению слова; стилистически форма **تو** распространения этого слова значительно уже русского **ты**. Почти во всех случаях оно заменяется словом **شما**, т. е. «Вы»; в силу этого же самый факт нейтральности местоимения **تو** сообщает ему классово-подчиненную окраску. Стилистически русское местоимение «ты» почти эквивалентно персидскому **شما**, и поэтому в переводах с русского на персидский местоимения «ты» почти всегда его можно передавать персидским **شما**; что же касается передачи на персидский язык русской стилистически повышенной формы «Вы» (при употреблении ее в значении единственного числа), то для таковой будет несколько форм, как это мы сейчас увидим дальше.

«Он» — 3-е л. ед. числа. Первоначальное личное местоимение третьего лица единственного числа **او** — «он»;² обще-классовая форма; в отношении равных или вышестоящих лиц мало употребительная, ее заменяет в этих случаях классово-господствующая форма **ایشان**, что дословно значит «они» (формально 3-е лицо множественного числа); еще более повышенная форма **معظم له** — дословно, «уважаемый», «великий».

«Мы» — 1-е л. мн. числа. Основное значение, — классово-нейтральная форма **ما**; но так как эта форма зачастую употребляется, как мы видели, в материальном значении единственного числа («я»), для случаев, когда необходимо подчеркнуть действительную множественность субъектов, применяется форма **ماها** (обычно множественное путем прибавления суффикса **ها** к местоимению **ما**). В силу этого, при переводе на русский язык зачастую слово **ما** приходится переводить местоимением «я», а слово **ماها** — местоимением «мы». В качестве классово-господствующей формы, в особенности в официальных случаях, употребительная форма **اینها**.³

«Вы» — 2-е л. мн. числа. Основное значение — обще-классовая форма **شما**; однако, как мы видели, частота употребления его в значении

¹ Употребляемое иногда **ما** — «мы», вместо «я» в языке персидских крестьян, очевидно много происхождения и восходит к еще более ранним общественным формациям.

² В отношении неодушевленных предметов, кстати сказать, часто заменяемое указательным — **آن**.

³ Главным образом в письменном языке.

единственного числа стилистически сводит его до уровня русского «ты». Отсюда большое количество более высоких форм для этого значения; в качестве таковых употребительны следующие: آن — جنابعالی — حضرتعالی — بزرگوار — آن جناب — سرکار¹

Отсюда опять аналогичное явление, подобно предыдущему случаю, — необходимость изыскать форму, которая отражала бы материальную семантику множественности этого местоимения, и здесь образуется аналогичная предыдущей форма شماها, что обозначает «вы» во множественном числе, тогда как остальные представляют из себя «Вы» (с большой буквы) — в значении единственного числа.

«Они» — 3-е л. мн. числа. Основная форма — обще-классовая ایشان. Общепринятой классово-господствующей формы нет, все же иногда употребляется форма آن حضرات и некоторые другие. В виду частого употребления местоимения ایشان в значении единственного числа здесь также возникает необходимость иметь какое-то нейтральное личное местоимение третьего лица с определенно материальным значением множественности; для этого образуют форму آنها (множ. число от указательного местоимения آن — «тот»).

Подытоживая сказанное о личных местоимениях, для стилистического перевода их на русский язык можно было бы предложить следующую табличку; от искусства переводчика зависит стилистический выбор одного из них при переводе конкретного текста или разговора.

Единственное число			Множественное число		
Лицо	Русск.	Персидский	Лицо	Русск.	Персидский
1	я	دعاگو بنده من محصل حقیر چاکر اینجانب ما	1	мы	ماہا اینجانبان
			2	вы	حضرتعالی جنابعالی شما آن بزرگوار آن جناب سرکار آنها شماها
2	ты	شما تو	3	они	ایشان انها
3	он	ایشان آن او معظم له جناب ایشان			

Следует сказать несколько слов также о стилистике притяжательных местоимений. Прежде всего необходимо заметить, что в качестве притя-

¹ Преимущественно в письменном языке.

жательных местоимений могут выступать почти все перечисленные личные местоимения в изафетной связи с соответствующими именами. Например *بندہ عیال* — «моя жена», *عریضۂ حقیر* — «мое письмо», *یل واغون قند سرکار* — «один вагон Вашего сахара», *اسباب های جنابعالی* — «Ваши вещи», *خانه ایشان* — «его дом» и т. п. Однако, кроме этого есть ряд прилагательных, употребляемых в качестве эпитетов, подчеркивающих более высокое общественное положение собеседника, которые, в силу частоты употребления их в этом значении, потеряли значительную долю экспрессивности, как эпитеты, стилистически превратившись по сути дела в притяжательное местоимение (так их и следует в большинстве случаев переводить на русский язык). В качестве подобных примеров, в особенности для второго лица мн. числа, можно привести несколько, напр.: *مبارک* «благословенный», *شریف* «благородный», *عالی* — дословно «высокий»: их все приходится в большинстве случаев переводить русским притяжательным местоимением «Ваш»: *احوال شریف* «Ваши дела», «Ваши обстоятельства»; *رقیمہ شریفہ* «Ваше письмо», *وجود مبارک* «Ваше существование», «Ваше самочувствие» и т. п.

4. ПРЕДЛОГИ

Отдельные элементы классовой стилистики можно наблюдать даже в сфере персидских предлогов, хотя казалось бы это такая узко-техническая область языка, которая не может непосредственно отражать социально-классовых отношений. Примеры в этой области, правда, будут весьма ограниченными. Так, персидский предлог *به*, до некоторой степени соответствующий в своем употреблении дательному направлению, при обращении к вышестоящим в общественном положении, заменяется словами *خدمت* и реже *شرفیاب*. Напр., *این کاغذ را بندہ دیروز خدمت شما دادم* — «Это письмо я вчера передал Вам», или *انشا لله فردا شرفیاب میشوم* — «Надеюсь, я завтра приду (к Вам)».

Упомянутое слово *خدمت* может кроме того заменить собою предлог *پیش* «у» в таких, напр., случаях: *این کتاب خدمت شما است* ¹ «Эта книга у Вас?» (ответ на этот вопрос последует приблизительно такой *نه خیر پیش من نیست* «нет, у меня нет»).

Все перечисленные стилистические формы предлогов носят классово-господствующий характер, так как сфера их применения ограничивается

¹ Подобная фраза иногда даже допустима и без глагола-связки *است*, т. е. в данном случае: *این کتاب خدمت شما*.

обращениями к вышестоящим и, по крайней мере, — к равным, но отнюдь не к нижестоящим.

5. МОРФОЛОГИЯ

В морфологии мы имеем употребление одних морфологических форм вместо других для придания соответствующей классовой окраски обороту. Общее правило — в целях придания обороту классово-господствующей окраски — вместо единственного числа применяется множественное. В феодальном мышлении очевидно лицо, стоящее во главе производственных отношений, представлялось настолько значительным и важным, что по своему значению воспринималось, как эквивалентное целой группе лиц подчиненных классов того общества. Более или менее сильные остатки аналогичного явления мы можем наблюдать в языках многих народов, переживших феодальный период.

Конкретно из области классовой стилистики персидских морфологических форм мы можем отметить следующие:

1) Употребление 3-го лица ед. числа вместо 1-го лица ед. числа — классово-подчиненная форма, очевидно определявшаяся в свое время субъектом типа *بنر* и т. п.

2) Употребление 2-го лица мн. числа вместо 2-го л. ед. числа — классово-господствующая форма.

3) Употребление 3-го лица мн. числа вместо 3-го л. ед. числа — классово-господствующая форма.

4) Употребление 3-го лица мн. числа вместо 2-го лица мн. и 2-го лица ед. числа — классово-господствующая форма.

Подобные стилистические замены одних морфологических форм другими можно заметить во многих примерах, приведенных выше; поэтому воздержусь от новых, хотя таковых можно было бы привести достаточное количество.

6. СИНТАКСИС

Синтаксис современного литературного персидского языка, пожалуй, наиболее слабо исследованная область языка. Поэтому очень трудно говорить о классовых стилистических особенностях персидского синтаксиса, поскольку даже обычные нормы его в европейской и нашей востоковедной литературе точно не определены. Однако, как удалось заметить, проникновение классового момента в персидский синтаксис требует в нем в боль-

шинстве случаев следующих стилистических изменений (это, правда, не носит безусловно обязательного характера).

Прежде всего, для придания обороту классово-подчиненной окраски предпочитают пассивные конструкции, напр., вместо *عرض میکنم* «докладываю, говорю» — *عرض میشود* «докладывается», или вместо *عرض دارم* «имею сказать» — *معروض میدارد* — дословно «доложенным имеет» и т. п. В то же время классово-господствующие обороты обязательно сохраняют (иногда даже когда это и не вызывается необходимостью) активные конструкции.

В условных фразах для подчеркивания классово-господствующей формы предпочитается то, что называется во многих грамматиках «2-е будущее»¹ вместо сослагательного наклонения, в эквивалентном значении, напр., — вместо *اگر شما پول بدارید* — «если Вы имеете деньги».

Для придания обороту классово-пониженного характера вместо настоящего времени изъявительного наклонения применяют простое прошедшее, употребляемое, как это случается в персидском языке довольно часто, в сослагательном значении: напр., вместо *عرض دارم* — «имею сказать» или «имею доложить» — *عرض داشتم* — «имел бы сказать», «имел бы доложить».

7. ФРАЗЕОЛОГИЯ

Все приведенные замечания о классовом моменте в персидской стилистике можно отчетливо проследить в конструкциях и лексическом оформлении персидской фразы. Понимание всех этих моментов имеет не только теоретический интерес, но и большое практическое значение. Не говоря уже о том, что для активного владения языком требуется понимать все эти особенности и уметь ими в необходимой мере владеть, для пассивного владения языком необходимо понимать классовую сущность и феодальное оформление фразы, дабы смочь переводить ее на русский язык свойственными последнему стилистическими средствами, иначе получаются нелепые громоздкие фразы, подчас лишённые всякого смысла, и зачастую дающие крайне неточный, формальный перевод.

Кроме приведенных примеров дадим еще несколько отдельных элементарных стереотипных классово-окрашенных фраз, в которых можно заметить ряд стилистических элементов, отмеченных нами выше.

¹ Применяю этот термин в качестве условного, за неустановленностью в наших грамматиках какого-либо другого; персидские грамматика считают эту форму прошедшим сослагательным.

Персидский текст	Дословный перевод на русский	Смысловой перевод на русский
1 فرمايشات سرکار همیشه صحيح است ¹	1 «Приказания господина всегда правильны».	«Вы правы», «Ваши слова правильны».
2 مارا مرخص کنيد ²	2 «Отпустите нас».	«Разрешите уйти», «Хотим уйти».
3 تکليف مارا معين کنيد ³	3 «Определите нашу обязанность».	«Что вам делать?»
4 عرض ميشود بخدمت سرکار ⁴	4 «Докладывается к услугам господина».	«Разрешите сказать». «Я вам говорю»
5 اختيار داريد	5 «Имеете волю»	«Не может быть?» «Что Вы?»
6 چه عرض کنم ⁵	6 «Что доложу?»	«Что бы Вам сказать?»; «Как сказать».
7 چه طور است وجود مبارک ⁶	7 «Какое есть благословенное существование».	«Как Ваше самочувствие», «как Вы себя чувствуете?»

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ко всему этому следует добавить, каков действующий в настоящее время процесс развития этих стилистических особенностей и каковы дальнейшие перспективы этого процесса. Как уже было вскользь отмечено, классовая экспрессивность подобных стилистических оборотов на сегодняшний день частично утрачена, и они — на пути превращения в стереотипные формулы правил вежливости. Прогрессивно-настроенная персидская молодежь, некоторая часть активно, некоторая — пассивно, ведет борьбу с этими явлениями языка, стараясь освободить свой язык от этих феодальных наслоений. Но поскольку в стране еще живы полуфеодалные классовые отношения, само собой понятно, и полуфеодалная стилистика не могла еще быть вполне отброшена. Во всяком случае, на сегодняшний день эти стилистические явления еще продолжают существовать и рассчитывать на то, что они исчезнут в самый кратчайший срок — невозможно. Ибо примеры других языков показывают, что подобные феодальные пережитки в языке сохраняются значительно дольше, чем сами феодальные производственные отношения, хотя с исчезновением последних они теряют свое классовое содержание и свою классовую насыщенность и как бы становятся мертвыми, сохраняя еще довольно продолжительное время свою форму.

Октябрь 1933 г.

1 См. характер употребления слов فرمايشات و سرکار.

2 См. «мы» — ما в пассивной конструкции и вообще построение всей фразы в том смысле, что «мы» являемся объектом «Вашего» разрешения.

3 Фраза, до некоторой степени аналогичная предыдущей.

4 Пассивная конструкция; слово سرکار в значении местоимения «Вы».

5 Активная конструкция 2-го лица, не вызываемая необходимостью.

6 مبارک — в значении притяжательного местоимения «Ваше».

М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ

З ІСТОРИЧНОЇ ФАБУЛІСТИКИ КІНЦЯ ХVІІІ В.

Історична фікція: історії видумані умисно, з певною тенденцією — фамілійною класовою або патріотичною, схоплені з устного обороту, або скомпановані, через непорозуміння чи з метою пояснити неясне, або хибно сприйняте, нарешті чиста фантастика, з емоціональною настановою і без неї: фантазія для фантазії, гра уяви.

Така історична фабулістика всіх цих категорій в великій масі, хоч і не рівною течією влилася до тої історично-краєзновчої літератури ХVІІІ в. що вийшла на місце київської церковної схоластики і приготвила ґрунт для української літератури першої половини ХІХ в.

Я назвав її в одному з попередніх своїх звідомлень «літературою канцеляристів». Рясна історична фабулістика — одна з характеристичних прикмет цієї літератури.

Українська історіографія, перебувши стадію великої залежності від цієї фабулістики в середніх десятиліттях ХІХ в., зневажливо відмежувалась від неї при кінці століття, але принесена нею, тільки потроху виключається з наукового обороту, і з ролі фактичного історичного матеріалу стає предметом літературної історії.

Тут, в сфері літературної історії значіння історичної фабулістики величезне. Вона поруч фольклору була підоймою літератури тематики перших десятиліть ХІХ в.

Подібно як підробки під народню поезію значно ефективніш стимулювали літературну творчість, ніж це робили автентичні твори масового репертуару¹ — так і продукти історичної фабулістики показували себе активнішими з свого погляду, ніж автентична історична традиція або матеріал документальний.

¹ Це показали студії К. М. Грушевської над текстами дум та історичних пісень «Українські народні думи», т. I, 1928; т. II, 1930; студії над історичною пісенністю, ще не опубліковані, відомі мені з рукопису.

І це річ цілком натуральна і легко зрозуміла. Як у підробках під фольклор, так і в цих історичних фікціях, матеріал подавався вже приготований: постілізований в аспектах свого часу, відповідно до певних соціальних чи патріотичних вимог, і до літературного смаку; тому він більше був суголосний своїй літературній верстві, ніж матеріал автентичний, легше нею сприймався і ефективніш стимулював її своїм ілюзорним авторитетом. Тим пояснюється що, скажім, «Історія Русов» або «Запорожская Сторина» далеко сильніше вплинули на літературну творчість 1830—1840-х років, ніж автентичні хроніки та непідроблені думи або пісні. *Similia similibus!*

З огляду на це великого інтересу набув сам механізм творення цієї фікції, як певний підготовчий процес літературного відтворення, репродукції. На жаль, дослідів в цьому нагрямі досі велось мало, маємо тільки випадкові екскурси в цю сферу, і не завжди щасливі.

Давніші дослідники в такій фабулістиці дозирали більше слідів реальної традиції, мовляв не зафіксованої тільки в раніших писаннях. Потім стали більше наполягати на тенденційність творчості. Одно і друге безсумнівне, але, поруч того, треба більше звернути уваги на взаємини і впливи сучасної літератури — друкованої і писаної, місцевої і закордонної, на процес навертовання в ній пояснень, поправок і толковань до коротких хронікерських звісток старших джерел, і наростання в цім процесі тематики — фікції, часом навіть несвідоме, спонтанне.

Так студіюючи найбогатшу скарбницю української історичної фабулістики «Історію Русов», я помітив, наприклад, що в ній поважне місце займають ампліфікації мотивів і гадок, підданих французькими публікаціями 1780-х років: Левека, Леклерка, Шерера.

Всі ці автори, живши в Росії в 1760—1780 рр. були свідками ліквідації старого укр. життя, політичної автономії, соціальних і побутових форм, потім планів відновлення гетьманства, козацького війська, Січі і под; чули що говорилось на сітеми, що набрали певної актуальності і в західно-європейських літературних кругах, особливо завдяки Вольтеровій «Історії Карла XII», вважали потрібним освітити їх з свого боку. Леклерк при тім підчеркував свою інтимну освідомленість в укр. справах, близькість до останнього гетьмана і до Запорозького війська (за його заслуги, мовляв, вписано його навіть до реєстру козацького!).

Шерер відкликувався до таємничих київських рукописів і славив київські книгосховища, де містились, на його думку, разгадки не знать яких історичних секретів, з другої сторони — посилався на усні інформації, зібрані

в високих російських кругах. Екскурси цих письменників в сферу російської політики, про до України і самих укр. подій, сильно стимулювали історично-політичну гадку українських авторів, настроювали їх на свobodніше трактування історичних том, осмілювали не держатися викладу старших джерел, а шукати нових підходів до подій і нових розв'язок історичних загадок. Шерер в цм напрямі дав особливо багато. Про нього в укр. історіографії прийнялась гадка, що він, мовляв, просто списав «Короткий опис історі Малоросіі» в II томі своїх «Annales de la Petite Russie»; тим часом він додав до них дуже багато від себе і тут, а ще більше в I томе своєї праці — дарма що закрався посылкою на «Київські рукописи».

Ці його посланки на київські джерела зробили своє діло, а його «анекдоти» з російського двірського і політичного життя, що здобули сенсаційний успіх в 1790-х рр. — друкувались і передруковувались без кінця в 1790-х рр., придбали йому репутацію людини глибоко втаємничої в секрети російської політики, тому його вказівки і натяки на різні обставини і події української історії сприймалися з особливою увагою і часом розгортувалися в цілі перспективні малюнки дуже ефектовні і важні в наслідках. Відкладаючи докладніше обговорення цих впливів до спеціального обслідування «Истории Русов», що збираюсь подати до друку, я поки що вкажу кілька прикладів безсумнівної залежності і фабулістики від екстроваганцій «анналів» (Шерера), як животрацію літературного походження деяких фантастичних історій, що заповнили уяву українських письменників першої пол. ХІХ в.

Візьмім, наприклад, славу «реформу козацького війська» переведену, мовляв, в I-ій пол. ХVІ Остафієм Ружинським. Ця історія так ефектно розповіджена в «Истории Русов» і відти сприйнята не тільки Марковичем, але і Костомаровим і Антоновичем, — має своїм джерелом додатки Шерера. В «Кор. Описі» перефразованім в «Аналах», була тільки гола згадка про «гетьманів» Дм. Вишневецького і О. Ружинського: «Послѣ того былъ гетманъ запорожскій Дмитрій князь Вишневецкій. Послѣ того былъ же гетманъ запорожскій Евстафій князь Ружинскій», і далі: «По довольномъ же времени Ляхи усовѣтовали въ работѣ и подданствѣ людей малороссійскихъ украинскихъ держать; но которые не привыкли невольничей службы держать, обрали себѣ мѣсто пустое около Днѣпра низше пороговъ Днѣпровыхъ на житло». Шерерові сподобалося звязати тіснище це оповідання з «гетьманством» Ружинського, і він докинув при тім кілька слів про його діяльність у війську: він зробив всі зусілля, щоб загартувати козаків, зробити їх витривалими на втому і всяку нужду і призвичаїти до війни (endurcir les Cosaques, les accoutumer à la fatigue et à la peine et les aguerrir).

Ті що не хотіли піддатись цій дисципліні, подалися за пороги, в пустині, що вони собі разробили (*défrichèrent*) і т. д. Ця коротка примітка Шерера, докинена ним, очевидно, з власної інвенції, в «Истории Русов» була разгорнена в яскравий, деталізований образ реорганізації козацького війська, що зісталась підставою його устрою, на гадку авторів «Истории Русов» на всі пізніші часи: «Первымъ его стараніемъ было произвести в Малороссіи реформу войскамъ и устроению ихъ другимъ отъ прежняго образомъ», він, Ружинський, «спресъкая своевольства и построения, учредилъ въ Малороссіи 20 непремѣнныхъ казацкихъ полковъ, в двѣ тысячи каждый, назвалъ их по знатнѣйшимъ городамъ» і т. д.

Фантастична біографія Хмельницького в «Ист. Русов», що надхнула була Гоголя темою для історичної драми («Выбранный усть»), продуманої ним «до останньої нитки в одежі», але не положеної на папір, — як виявляє порівняння, теж походить від Шерера. Він оповідає, що коли Хмельницький попав в турецьку неволю *deux ans après un tartare nommé Jaris, l'acheta et le mena en Tartarie; il dut sa liberté au roi de Pologne qui le fit officier de sa garde* (II с. 15, 17.)

В основі лежить текст «Кор. Опису» Хмельницького «Зѣновія в полонъ взято, откуда по двохъ годахъ выкупленъ яссиромъ татарскимъ». Цей «ясир татарський» у Шерера перемінівся в *un tartare nommé Jaris*; Шерер від себе додав, що від татар Хмельницького викупив король (в I т. його *Annales*, с 147, X-го викупає з неволі його мати) і взяв його до своєї гвардії. В «Истории Русов» X-кий «полоненъ Турками и ими проданъ изъ Царьграда в Крымъ тамошнему мурзѣ, именовъ Ярысу»; король, знаючи його персонально за незвичайні успіхи в науках, «выкупивъ его изъ Крыму своею суммою, оставилъ у дѣлъ при своемъ кабинетѣ и въ чинахъ своей гвардіи». Тому коли Чаплинський арештував X-го за ширий відзив про Кодацьку Фортецю, «Чаплинскому въ наказаніе за своевольный и оскорбительный поступокъ его надъ гвардейскимъ офицеромъ обрѣзанъ былъ чрезъ стражника Скобического одинъ усть» — що й піддав Гоголеві мотив для драми і за мало що не ввійшов у велику літературу.

Ще один приклад, фантастичний кінець гетьманства Демка Многогрішного, що замість арешту і заслання, в «Истории Русов» помирає від ран в Батурині і хорониться з великою честью. Лазаревський, выступаючи з здогадом, що автором «Истории Русов» був Гр. Полетика, вказував на цю вигадку як на доказ його авторства: мовляв Полетика, вважаючи себе родичом Многогрішного с з фамілійних мотивів захотів звеличати його таким славним кінцем.

Але Полетяка в тім не винен: так перемінив оповідання «Кор. Опису» Шерер:

История Русов (ст. 171)

В 1672 г. февраля 7 дня Многогрѣшный отъ ранъ своихъ умеръ и съ великими почестями, военными и церковными в Батуриѣ погребенъ. Всѣ чины и народъ съ чистосердечнымъ сокрушеніемъ оплакивали сего достойного ихъ начальника. Онъ — при всей своей нарочитой кротости, былъ хороший вождь въ войскѣ, отличный политикъ и справедливый судія въ правлении. После Зиновія Хмельницкого одному ему приписать можно превосходныя качества. Для донесенія царю о смерти гетманской отправился въ Москву писарь ген. Карпъ Мокривичъ съ другими старшинами. Царь принялъ ихъ очень милостливо, сожалѣлъ много о умершемъ гетманѣ, столь достойномъ его уваженія и довѣренности, и, наконецъ, советовалъ чиновникамъ онимъ выбрать себѣ такого гетмана, который бы подобился характеру М-го, а онъ общаеетъ и словомъ царскамъ увѣряеетъ содержать ихъ и народъ Малороссійскій на точномъ основаніи первоначальныхъ статей Зин. Хмельницкого.

Шерер II, 135.

Pendent la carême... les plus anciens généraux ayant avec eux le Secrétaire Carp Mokrievitsch, se rendirent de Baturin à Moskow, pour annoncer au czar la mort de leur hettman D. Mnogogreschnoi (c'est ce hettman qui avoit soumis la plus grande partie de la Petite-Russie sous l'obéissance du czar). Ce prince les reçut favorablement, confirma de nouveau leurs privilèges et s'engagea à observer exactement la capitulation faite avec Chmelnizki et de ne jamais envoyer dans la suite ses voievodes dans l'Ukraine.

Краткое описание Малоросии, с. 273.

О средопостѣ старшина генеральная, съ писаремъ Карпомъ Мокривичемъ согласясь, Дамиана Многогрѣшного гетмана в заику Батуринскомъ ночью на постелѣ взяла и на воз заложивши под шкурою, повезли чили послали на Москву; свойственныя же его полковники наутрѣ разбежались, а иныхъ в Москву зъ братами и женою его Многогрѣшного на вѣчное житіе побрано. Сей гетманъ Украинну Малороссійскую всю смирилъ под руку е.ц. в-ва, и за преступленія Бруховецкого и прежних гетмановъ прощение и амнистію испросилъ, такожъ статемъ старого Хмельницкого подтвержденіе и новыхъ дабы не быть воеводамъ постановленіе učinилъ.

Як бачимо «История Русов» тільки деякими рисочками прикрасила оповідання Шерера, а в головнім іде за ним.

Шерер перефразовує «Кор. Описъ» але не знати звідки так різко міняє арешт Многогрѣшного на смерть. Найпростіше пояснення, здається мені, що в копії «Кор. Описъ» ним використований, текст в цім місці був зіпсований, було щось упущене, і Шерер силкуючись відгадати зміст, скомпонував таку «оригінальну» розв'язку відомість про смерть замість арешту.

Так представляється мені це тепер, може чи принесе інше точніше об'яснення. Тим часом наведені мною приклади показують нам, якими дорогами, між іншими, наростала і наверхтовувалась історична фабулістика в українській творчості кінця ХVІІІ віку.

Ю. Н. МАРР

ПЕРСИДСКИЙ ПРОТОТИП ПОЭМЫ „НЕКТО В БАРСОВОЙ ШКУРЕ“

Использование нового метода в изучении литератур Персии и Кавказа, метода, который рассматривает литературы отдельных, как мы раньше думали, стран, а как выясняется теперь, скорее общественно-производственных слоев, не обособленно друг от друга, а в едином глотто- и, если можно так сказать, мито-гоническом процессе, открывает перед нами такие широкие горизонты и дает возможность усматривать в отдаленнейших эпохах такие детали, о которых мы и мечтать не могли.

Но вот в чем беда. Есть метод, но где те, кто будет его прилагать? Те, кто усвоил хотя бы в общих чертах метод, не владеют в достаточной мере материалом. А те, у кого основательный багаж по знанию фактов, либо не могут, т. е. не в состоянии, либо не желают, либо боятся усвоить новый метод. А главное, не решаются применять его в своих работах, потому что его применение означает бесповоротный отказ от старого мышления, от старой науки, решительный разрыв с учеными старой школы, что не всякому легко сделать.

Приложение или проверка положений, выработанных яфетидологией, на лексике персидских авторов, и, более того, на тех или иных фактах историко-литературного порядка, дало крупный результат.

В 1931 г. я предложил организовать в Институте кавказоведения комиссию и приступить к коллективному изучению эпохи и произведений Незами, Хакани и Руставели. На себя я взял тогда подготовку к изданию сводного текста оды Хакани, обращенной к Андронику Комнени, которую и привожу к концу. Комментарий к оде, и основанный на нем перевод, является продуктом коллективной работы, так как в него вливаются справки, указания, конъектуры и даже исследования по отдельным вопросам целого ряда специалистов. Но постоянным моим сотрудником по этой теме являлся К. И. Чайкин, который дал несколько исследований, выясняющих исторические даты и дающих характеристику расплывчатого и, можно сказать,

даже неизвестного нам, персидам, XII в., особенно в приложении к северу Персии и к странам и общественным кругам, лежащим в пределах персоязычного культурного мира, предполагающего в соответственные времена наличие соответственного базиса. Я упомянул об этом потому, что в процессе работы над одой и переписке и обмене мнениями мы затрагивали и другие вопросы историко-литературного характера. Таким совместным рассмотрением отдельных исторических сообщений, считааемых непреложно доказанными, нам удалось установить их проблематичность.

Нам удалось обнаружить далеко не персидские элементы — имена героев, имена восхваляемых и современников, сюжеты — в творчестве или в окружении «истинно персидских» поэтов.¹ В одном из своих писем К. И. Чайкин, рассуждая по поводу социальных факторов, определявших «ренессанс» персидской литературы и последовавшую за нею реакцию, во время которой попы и разного рода реакционеры сумели уничтожить все, что написал Онсори (как известно, сохранились только его оды и мелкие стихи, а из больших поэм, только строчки, приводимые для аттестации значений слов в словарях), замечает: «Хээфом у Онсори, видимо, написаны обе другие [кроме Вамек и Азра] поэмы, а именно *خنگ بت و سرخ بت* [букв. Белый идол и Красный идол] и *نور و عین* [букв. 'Река || канавка и Источник']. Первая из них, как будто, должна быть на тему о «бамьянских идолах», т. е. в ней могла быть использована легенда, к этим идолам относившаяся. Следовательно, тематика может быть буддийская... Но, что касается второй поэмы, то относительно ее у меня вот какое предположение: в Лобаб оль эльбаб [древнейшем обзоре, начала XIII в.] она названа *نور و عین*. Между тем в *مجملة التوارخ*² [по статье Мохэсселя в журнале Кавэ, № 46] среди всяких повестей, известных в первые века Ислама, и, быть может, оставшихся от сасанидской Персии, встречаем *شاد بھر و عین الحیات*

¹ Н. Я. Марр (Грузинская поэма Витязь в барсовой шкуре, стр. 428, прим. 3) по поводу имени 'Avšandil' указывает, что «окончание -il может быть пережитком сванского ласкательного или уменьшительного суффикса -il. С этим окончанием в сванском появляются и имена, так женское имя Mind-il». Любопытно, что при пересмотре правивших на Кавказе в XII в. «мусульманских» династий было встречено имя с этим же окончанием — Ahmäd-il, см. печатающуюся книгу 'Хакани, Незами и Руставели'. Это окончание может читаться также uäl (напр. Ahmäd-uäl, в произношении современных тегеранских ученых), что по существу дела не меняет. Чтение *قشمیریل* Qāšmīrīl (если не предположить описки в первой части этого имени) подтверждено размером в калькуттск. изд. Вис о Рамин, 14,7.

² Повидимому аноним XII в. н. э., написанный в 520—1126. В Европе представлен уникальной рукописью в Bibliothèque Nationale в Париже (Бартольд, Туркестан, стр. 28). Подробное описание этой рукописи сделано мирза Мохаммед ханом Казвини *بیست مقاله*, II, стр. 167.

[букв. Счастливец и Источник жизни || Ключ живой воды], ту, о которой сказано:

اندر عهد بهمن بن گشتاسب قصه شاد بهر و عين الحيات بوده است

[т. е.: во времена Бәһмәна, сына Гоштаспа, существовала повесть о Шадбәhre и Айнольһәйят]. Думаю, что приведенное в «Лобаб» название есть ничто иное, как искажение названия, имеющегося в Моджмеле».

Чайкину был недоступен первый том современной хрестоматии *سخن و سخنوران* Бәдиоззәмана,¹ который имеется у меня. На стр. 102 там сказано: «От Онсори остался диван, заключающий некоторое количество из его касид. По сообщению Мәджмә' оль Фосәһа [обзор, составленный Реза коли ханом һедайәт] он состоял из 30 000 стихов. Ему приписывают также несколько месневи[йных поэм, а именно] *عين الحيات و شاد بهر*, из которых ни одно не дошло до нас; и тут же, сославшись на *آثار البلاد* Казвини, делает примечание: «*سرخ بت و خنک بت* — название двух каменных идолов в Бамьяне».

Если бы не реакционное движение, изъывшее из обращения все эти три памятника, то мы располагали бы этими неизвестными нам сюжетами² в обработке одного из величайших мастеров не только своего круга и времени, но, пожалуй, и в мировом масштабе.

Как бы то ни было, с Онсори может произойти то же, что и с знаменитым романом Вис о Рамин [Вейс о Рамин в современном персидском произношении], так начисто изгнанным из Персии, что долгое время мы знали только один экземпляр этой нечестивой вещи, только одну рукопись, сохранившуюся, и то с лагунами, где-то на окраине, в Индии.³

¹ Оценка этого достойного труда дана мной вкратце в сообщении: Забытая заметка акад. В. В. Бартольда. ИОН, 1933, № 3, стр. 267—268.

² Предположения европейских специалистов, выдаваемые ими за неоспоримый факт, относительно содержания одной из повестей — Вәмек и Азра, — как выяснилось при рассмотрении этих предположений Чайкиным, — лишены основания и базируются на недоразумении. Сообщение на эту тему печатается в изданиях ЭФАН.

³ Я имею в виду подлинник издания Nassau Lees. К. И. Чайкин сделал мне выписку из работы К. Н. Графа: *Wis o Ramin* (ZDMG, 1869, XXIII, 375—376). Граф, отметив, что в основу печатного издания была положена рукопись неизвестного времени и происхождения, сообщает, что берлинская рукопись из коллекции Шпренгера (№ 1378 f^o) — копия изданной, только без указания лагун и с пропусками непонятых слов. Затем он говорит об оксфордской рукописи. Она описана впоследствии в каталоге Эте, 460, но время и место написания также не указаны. Р. А. Галунов прислал мне выдержку из т. III каталога Блоше (*Catalogue des Manuscrits persans, Paris, 1928, № 1203; Schefer 72—Supplément. 1380*). Там описана копия, сделанная, для османского султана Мохаммеда III, сына Мурада III (1574—1595) [по Лэн-Пулю (стр. 166) — это годы правления Мурада. Мохаммед правил с 1595 по 1603]. Эта же рукопись описана Блоше в каталоге коллекции восточных рукописей Шефера (Париж,

От т. М. Хубуа я знаю, что еще один экземпляр и, по словам т. Фетрета, полный, обнаружен на другой окраине — в Бохаре. Этот же роман оказался еще в одном «уголке» персокавказского мира. В уголке для персистеров, разумеется, не для нас. Персистеры, даже самые свободные от предрассудков, не желают считаться с существованием чего-либо рядом с Персией, или в самой Персии, что не было бы Иранским или Ираном. [А что значит «Иран»?]. Поэтому и такие, органически связанные с Персией, области, как Кавказ во всех его частях, слоях, напластованиях попросту, для чистоты построений, отбрасываются или на них не хотят смотреть.

Словом, Вис о Рамин имел колоссальный успех в созвучной, но инородной среде, где реакционная цензура было бессильна, в Грузии.¹ Об этом мы имеем неоспоримые свидетельства в виде дошедших до нас многочисленных списков грузинского перевода, точнее, переводов. Не здесь ли искать нам и утраченных поэм Онсори?

Проделать работу по выяснению содержания этого месневи, с помощью словарей-ферхенгов с одной стороны, а с другой — используя знакомство с памятниками грузинской светской литературы и в первую очередь с 'Витязем в барсовой шкуре' совершенно необходимо, чтобы осуществить наметившиеся возможности и выяснить ряд вопросов относительно сюжетов поэм обоих мастеров.

Но возвращаемся к упомянутому роману, не важно, в обработке Онсори или кого другого. Имена его героев встречаются ни больше ни меньше, как у древне-грузинских одописцев.

Н. Я. Марр² на стр. 428—429 пишет: «Так как грузинское прозаическое изложение персидской повести, использованное поэтом, повидимому долго ходило по рукам, как излюбленное чтение, еще до переделки его Шотой в поэму, то можно было бы думать, что замена письменной грузинской формы Шаггер → Шагел народной Таггер → Тагел нашла место еще в той прозаической грузинской повести. Но против этого следующее обстоятельство.

В двух литературных памятниках — в V оде в честь царицы Тамары и во вступлении истории той же царицы — имеется перечень всех выдающихся влюбленных пар с упоминанием, несомненно, наших героев из той

1900), под № Р. 1380. В примечании указано, что она переписана для «Султана Мохаммеда (II), сына Мурада (+1481)». Мохаммед II по Лэн-Пулю (там же) правил с 1451 по 1481.

¹ Следует оговориться, что все-таки и в переводном изводе повести угрожала судьба, постигшая ее в Персии.

² Грузинская поэма Витязь в барсовой шкуре Шоты из Рустава и новая культурно-историческая проблема. ИАН 1917, стр. 415—446 и 475—506.

же, очевидно, прозаической повести, но имена их там иные.¹ Одна из двух относящихся сюда строф оды (V, 23) гласит:

«Безумный от Осано, впился взорами в Тамару: готов он хулить свою судьбу, то, что он столько мук претерпел».²

В истории Тамары «безумный от любви к Осано» назван по имени в первоначальной персидской его форме — Шаһгар,³ прототипе грузинского письменного Шагел и народного Тагел. Следовательно, имя возлюбленной Тариела первоначально звучало Osano точнее Hussān-aš, что по-арабски значит «красавица», а вместе с определением на персидском языке nēst-andare-dāhān, — у Шоты играющим роль имени, — «бесподобная красавица».

В другой строфе той же оды сказано (V, 25):

«Зазорно Шатбиеру, жизнерадостному душою, что он так много перенес трудов, чтобы обрести Алат».⁴

Варианты к упоминаемым здесь именам по различным спискам дают возможность, что мужское звучало Шат-bahr или Шат-behr (šādbahr), а женское — Ап-al-ауāš. Из них Шādbahr по-персидски значит «жизнерадостный», и его грузинский поэт заменил именем Автандил, а Ап-al-

¹ Ср. Н. Марр. Древне-грузинские описцы, стр. 99—100. «Наличные в этих стихах [V, 23, 25] имена встречаем в грузинских летописях (Вахтанг. редакция, изд. Grosset стр. 284; список царицы Марии, изд. Такайшвили, стр. 414). Но здесь они звучат отлично: в «Осано» стоит «Оснаоза (в списке ц. Марии: ოსნავზა «Оснавза»), в «Шатбиер» — «Шадбавар» (в Вахтанг. редакции: ზადბერ ბადბერ), в «Алат»ы—«Аналат» а (в списке ц. Марии: ანალიეტა «Аналиет»а). Между прочим в Летописях назван по имени и «обезумевший от Осано» — Шарнар (შარნარ-არ, в списке ц. Марии с обычным смешением ზ с ე в церковном письме: ზარნარ-არ Баһар). Имя представляет, очевидно, передачу персидского شهریار Шаһрияр, в грузинском (стр. 100) звучащего часто, напр., в переводе Шах-нама, и შარნარ Шарнир или შარნარ Шариед. Какая форма правильнее в том или другом случае — это дело дальнейшей детальной разработки вопроса о каждом из этих имен в отдельности».

² [Грузинский текст:

Osanos geti
Ars šenaγveti:
Gmos šavis bedi,
Šmo natandevad].

³ С курьезным прибавлением греческого окончания — ос: შარნარ-არ-ოს Шаһгар-ос, см. изд. Grosset, стр. 284, сп. ц. Марии: ზარნარ-არ-ოს Ваһар-ос в. შარნარ-არ-ოს Шаһгар-ос.

⁴ [Грузинский текст:

Ugavs šatbiers,
Gulad lakbiers
Aladisa rad
Dašvga modevad].

ḥ'auāḏ по-арабски значит «источник жизни», и вместо него в нашей поэме народное грузинское имя თობთობ, т. е. отражение света.

Какими соображениями руководился Шота при изменении имен в каждом отдельном случае, трудно сказать, но ясно, что, во-первых, грузинский поэт даже имена изменял по своему вкусу, причем иногда вводил грузинские народные формы персидского имени, как, напр., Тагег → Тагел → Тага, или вовсе заменял их грузинскими именами, напр., «Փიანი».¹

Комментарии, думаю, излишни. При просмотре цитат из месневийных вещей Онсори, написанных хэфифом, наличных в словаре Асади (изд. Хорна) удалось обнаружить одно имя — Samänd. Стихи даны под словом لوس (27^в), которое толкуется, как «приятная, прельстительная речь и чрезмерная униженность (или смирение)»

(گفتارخوش و فریبنده باشد و فروتنی بیش از اندازه)
چون بیامد بوعده بر سامند * آن کنیزک سبک زبام بلند
برسن سوی او فرود آمد * گوئی از جنبشش درود آمد
جان سامند را بلبوس گرفت * دست و پا و سرش ببوس گرفت

Частица به в начале второго стиха может произноситься как долгий слог. Но и краткий слог не нарушил бы размера, так как хэфиф может начинаться и долгим и кратким слогом. Схема размера: ~---|~---|~

Возможный смысл отрывка следующий:

Когда прибыл, как [было] обещано, Самэнд², Та девица легко с высокой крыши По веревке спустилась к нему. Ты сказала бы, что от ее движений исходили приветствия.

Она стала ластиться к самому [букв. 'к душе', 'перед душой'] Самэнду. Она стала целовать его руки, ноги и голову.³

При обсуждении изложенного выше в одном из заседаний ИК ЗФАН было высказано предположение, не это ли имя передает загадочный Sala || Salman.⁴

¹ Впрочем, намечается и другая возможность, которую предложил в беседе со мной Н. Я. Марр. *مِن الْحَيَات* 'источник жизни' палеонтологически — 'солнце', 'драгоценный камень' приводит нас к *Nestan dargedan*.

² Е. Э. Бертельс в своей статье *Стиль эпических поэм 'Унсур' (ДАН-В, 1929)*, на стр. 48, переводит это имя словом 'конь', предполагая очевидно, хотя не оговаривает этого, что здесь параллельная форма термина *sāmand*, означающего 'конь', позднее, с уточнением, 'конь соловой масти'.

³ Е. Э. Бертельс (л. с.) переводит: «Когда конь по обещанию подошел, то девушка ловко спустилась с высокой крыши по канату. Конь запрыгал, словно приветствуя ее, а она начала ласкать его и целовать ему ноги и голову».

⁴ См.: Н. Я. Марр. *Вступительные и заключительные строфы Витязя в барсовой коже*, стр. ХLI и сл. Пользуемся случаем указать, что имена героев упоминаемой там

Мы имеем в виду, во-первых, отрывок из Витязя: *Misni veg gasdlen patjri veg Kaen vegza Salaman*. Его терзаний не вынести бы ни Каэну, ни даже Салману.¹ «Сале гесп. Салману собственная судьба кажется (одним) терзанием и болезнью; [он раскаивается], что лишился рассудка (от любви) из-за других, [а не из-за тебя, Тамары]».²

На этом пока заканчиваю. Быть может внимательный пересмотр ферхенгов с сохранившимися в них стихами Онсори даст нам что-нибудь более вещественное, более убедительное. Но даже, если этого не будет, мы уже располагаем основанием расширить круг работ над Руставели и увидеть то, чего доселе не замечали работники и исследователи ни кавказского, ни «иранского» мира.

Абастуман, 20 IX 1933.

персидской поэмы, по крайней мере в обработке Джами, будут *Salamān* [с долгим а после l] *vā Āvsal*.

¹ 1316₁₄; цит. соч., стр. ХLI.

² Цит. соч., стр. ХLIII.

A. BORISOV

SOME NEW FRAGMENTS OF ISAAK ISRAELI'S WORKS

Isaak ben Solomon Israeli (Arabic—Abū Ya'kūb Ishāk ben Suleimān al-Isrā'īlī al-Miṣrī¹ al-Kairūwānī,² † c. A. D. 932) was known in the Arabian East mostly as a medical writer; as early as the 13th century Ibn Abī Uṣaibi'a,³ after Ibn-Ṣā'id,⁴ mentions Israeli's monograph «De febre» (كتاب الحميات) as one having no equal. As to Israeli's philosophical works, they were far from being popular, neither among the Muslims, nor among his own co-religionists.⁵ This can be seen from the contemptuous remark in Moses Maimonides' famous letter to Samuel Ibn Tibbōn;⁶ it is also shown by the fact, that no original Arabic Ms. of Israeli's philosophical works was ever found, except one little fragment from «The Book of Definitions» (كتاب الحدود و الرسوم).⁷ Thus, his philosophic system, somewhat indistinct as far as concerning its main ideas, devoid almost of any elements of Judaism and, as usual for the first stage of Muslim thought being syncretic, is known to us only from Hebrew and Latin translations.⁸

By the close of his extraordinarily long life⁹ Isaak Israeli had left a considerable literary inheritance, some philosophical treatises included.

¹ Haji Khalfa. *Lexicon bibliographicum*, ed. G. Flügel (Leipzig—London, 1835—1858), II, p. 51.

² Idem, V, p. 59.

³ *Kitāb 'Ujūn al-Anbā' fī Ṭabaqāt al-Aṭibbā'*, ed. A. Müller (Königsberg, 1865), II, p. 37.

⁴ *Kitāb Ṭabaqāt al-Umam* ou les catégories des nations par Abou Qāsim ibn Ṣā'id, publié... par le P. Louis Cheikho S. J. (Beyrouth, 1912), p. 88.

⁵ As it is known, «Isaak Israelita» was far more famous among the western European scholastics; see I. Guttmann. *Die Scholastik des Dreizehnten Jahrhunderts in ihren Beziehungen zum Judenthum*. Breslau, 1902, p. 55 sqq.

⁶ *Sepher Pe'er ha-Dōr*. Amsterdam, 1765, fol. 28 recto.

⁷ Published by H. Hirschfeld in *JQR*, XV, p. 689 sqq.

⁸ About these translation see M. Steinschneider. *Die hebr. Übersetzungen des Mittelalters*. Berlin, 1893, p. 389 sqq.

⁹ Ibn Ṣā'id (loc. cit.), 'Abd al-Laṭīf al-Baġdādī (*Rélation de l'Égypte*, trad. par S. de Sacy, Paris, 1810, p. 43) and Ibn Abī Uṣaibi'a (loc. cit.) tells us that he lived more than one hundred

However, even the titles of some of them have not been preserved; Ibn Sa'id and Ibn Abi Uṣaibi'a mentioned only the most important, being silent about the rest.

I

One of these forgotten works of Israeli is a small treatise, apparently, bearing the title «Book of Substances» (كتاب الجواهر). As early as 1876 in the account of the famous (2d) Firkowitch's Collection of Hebrew and Hebrew-Arabian Mss. (now in the Leningrad State Public Library) Ad. Neubauer stated that among the treasures of this collection, «Isaak Israeli's unknown treatise, called كتاب الجواهر»,¹ was found. However this laconic remark did not attract any attention, though not only some chapters in different handbooks,² but even some special monographs³ were devoted to our author during the last fifty years.

It is doubtless, the three sheets of the treatise above mentioned that now form № 1243 2d Firkowitch's Collection hebr. arab. nova, were meant by Ad. Neubauer when he wrote his account; these sheets bear the full title and the author's name, that being the reason of considering them as an independent unit of the inventory.⁴ Of course, one could scarcely hope to form an adequate idea of the character of the treatise having only those three sheets; but in 1929 I succeeded in finding, also among the fragments of nova, some 15 sheets more of the same Ms. of «The Book of Substances» (2d. Firk. Coll. hebr. arab. nova № 1197). Thus, a fragment of 18 sheets

years (تيف على مائة سنة). The statements of Hebrew writers are obviously based on those of Ibn Sa'id—see Jsaak Lattes, *Kirjat Sepher*, ed. Ad. Neubauer (Mediaeval Jewish Chronicles Oxford, 1895), II, p. 233 and Abraham ben Hisdai in the preface to the Hebrew translation of Israeli's «Book of Elements» (*Sepher ha-Jesödöt*) ed. S. Fried. Das Buch über die Elemente. Drohobycz, 1900, p. 1. Abraham ben David (in *Sepher ha-Ḳabbalah*) and Abraham Zakuto (in *Sepher Jūhasin*) don't say a word about Israeli.

¹ Oxford University Gazette, VII, № 237, p. 6.

² M. Steinschneider, op. cit., p. 388 sqq.; idem, Die arabische Literatur der Juden (Frankf. a/M, 1902), p. 38 sqq.; S. Poznansky, «Anṣe Ḳairūān», in Harkavy-Festschrift (St.-Petersburg, 1908), p. 207 sqq.; C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur (Weimar, 1898), I, p. 235 sqq.; D. Neumark. Geschichte der jüdischen Philosophie des Mittelalters (Berlin, 1907), I, p. 412 sqq.; Grätz, Geschichte der Juden, ed. Eppenstein (1909) V, p. 268 sqq.; V. Husik, History of Mediaeval Jew. Philosophie (New York, 1918), p. 1 sqq.; J. Guttman, op. cit., p. 55 sqq.—etc.

³ S. Fried, Das Buch über die Elemente (Lpz., 1884); M. Steinschneider, «Isak Israeli», in Monatsschrift, XLIV (1900), p. 528 sqq.; S. Guttman, Die philosophischen Lehren des Isaak b. Salomo Israeli (Münster 1911); P. Erlangen, Isaac Judaeus, Leben, Werke u. Bedeutung für Hali Abbas und die medizinische Schule von Salerno (Tübing. Dissertation, 1922).

⁴ In the written inventory of these Mss., made by P. Kokowzoff: «№ 1243—a fragment of the treatise Kitāb al-Gawāhir by Isaak Israeli—3 sheets».—The Ms. is written in Hebrew character.

was obtained, and this yielded us a possibility of judging the document with greater security.

The full title of this book is: «The Book of Substances, upon the compilation of which from the sayings and the texts of the ancients worked the perfect master Abū Ya'qūb Ishāq ben Suleimān al-Isrā'īlī, the physician, — grace and favour of God be with him!»¹ This treatise presents an answer to the question of a certain dialectic — «on the substance that is generic in reality and the substance called generic relatively and metaphorically».² The treatise is written in the form of a dispute, so much favoured by the Mutakallimūn and the early Arabic philosophers; it tells us with prolixity and numerous repetitions that the first creations were two simple substances — Matter (مَبْدِي) and Form (صُورَة), while Intellect, being the first link in the chain of emanation, consists of these two simplest elements. Further, the author considers «the diversity of substances and the preference of one substance to another, according to their spirituality and degree»,³ as depending on three causes: the first is, how the Light (التُّور), proceeding from the Might and Will (من القدرة والارادة), spreads; the second is, how the different substances receive the Light one from another; and the last is the difference of the giver and the receiver, the act of giving and the act of receiving.⁴ The succession of substances is as follows: a) the Intellect (العقل), the most noble and sublime of substances, being directly under the influence of Might and Will; b) the Rational Soul (النفس الناطقة) that receives its Light from the Intellect and requires instruction (التعليم) and practice (الرياضة) for being able to transfer the potential into the state of actuality; c) the Animal Soul (النفس الحيوانية) that receives the Light from the Rational Soul and possesses the corporeal senses; d) the Vegetable Soul (النفس النباتية), having only the instinct of reproduction (الشهوة لتولد), receives the Light from the Animal Soul; e) the Nature (الطبيعة), the sub-

¹ Fol. I r. — كتاب الجواهر مّا عنى بجمعه من اقاويل الاوائل ونصوصهم الاستاد الكامل ابو يعقوب اسحق بن سليمان الاسرائلى المتطبّب رحمة الله عليه ورضوانه.

² Fol. I v. — مسألة لبعض الجدليين مّا عنى بشرحها وتكلف بإيضاحها. اسحق بن سليمان الاسرائلى الفيلسوف فى الجواهر الجنسى على الحقيقة والجنسى على المجاز والاضافة وهو كتابه المشهور بكتاب الجواهر.

³ Fol. 10 r. — اختلاف الجواهر وتقديم (تقدّم؟) بعضها على بعض فى الروحانية والمرتبة.

⁴ Fol. 10 v. — الاختلاف الواقع بين المفيد والمفاد والافادة والاستفادة.

thus, being obviously produced by Isaak Israeli, it is not a part of «The Book of Substances». After I had carefully studied the sheet I came to the conclusion that it was a part of the Arabic original of Israeli's psychological treatise, the Hebrew translation of which, bearing the title *Sepher ha-Ruah weha-Nepheš* («The Book on Spirit and Soul») was discovered and published by M. Steinschneider.¹ This renowned scholar did not find any ground to doubt Isaak Israeli's authorship of the text published by him. However, he considers it as being not an independent text, but a part of some other treatise of our author. He suggests that it could be a part of the treatise *מקלה פי שרצו המים* (Gen. I, 20), a fragment of which, also in Hebrew translation, had been found and published by S. Sachs.²

The text of the fragment found by me is given here along with the corresponding lines of the Hebrew translation published by M. Steinschneider.³

THE ARABIC ORIGINAL

עלוי* (?) ולذلك قال ال الهام אשר
נתנה¹ לניבה² العاقل³ ويرجع البلمغ
و الرطوبات للماء واللحم والعظام التي⁴
هي نرايية ارضية للارض كما ساعا
الكتاب عفر واما النفس فهي اعلى
الاشياء وهي مع الملائكة فوق الفلك كما
قال ونتمني لך מהלכים בן העמדים
חאלה⁵ فدل على ثوابها بينوتها مع
الملائكة⁶ اذ الملائكة في رضوان الله عذا
اذا كانت منحرفة⁷ الى جهة العقل الاعلى⁸
ومنى كان انحرافها الى درجة النفس
البهيمية استحققت⁹ العقاب كما قال وهي
نפש ادוני צרורה בצרור החיים את יי
אלהיך ואת נפש אויביך יקלענה בתוך

THE HEBREW TRANSLATION

ולזה אמר והרוח תשוב אל האלהים
אשר נתנה¹ ותשוב הרוח אל האויר
והליחה והליחיות אל המים והבשר
והעצמות אשר הם עפריים וארציים
לעפר כאשר קראם הספר עפר ואולם
הנפש היא יותר נכבדת שבענינים והיא
עם המלאכים כי המלאכים ברצון השם
וזה אם תהיה נוטה אל מדרגת השכל
והחכמה וכאשר תהיה נשיותה אל מדרגת
הנפש הבהמית העונש כמאמר הספר
היתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים
את ה' אלהיך וכו'² ולא אמרה אשת
נבל זה המאמר מהשנת מחשבתה כי
אם ממה שנת אמת לה מן הספר השופע

¹ *Ha-Karmel*, 1871, p. 401 sqq.

² *Ha-Tehijah*, 1850, p. 39 sqq.

³ P. 408.



כף הקלע^א وهذا القول قائله مما صح
 عندها من الخبر المستفاض عند جميع
 الاسرائيلية فصَحَّ عند ذلك انَّ الثواب
 والعقاب للنفس وذلك انا رأينا الكتاب
 يقول روح הולך ולא ישוב^ב ولا يصف الروح
 بثواب ولا بعقاب الآ روح ذاهب ولا يرجع
 وقد شبهوا^ג الاوائل النفس

[verso] ايضا بالنور وذلك انهم قالوا^ד
 خلق الله العقل نورا^ה فلما قامت طبيعته
 وذاته انبعث من فيه شعاع وضياء
 كالشعاع المنبعث من في مكاب(?)^ו الزجاج
 والمرايا المنصوبة في كواء الحمامات اذا
 سقط عليها شعاع الشمس فتكون من ذلك
 طبيعة النفس الناطقة وكان نورها وضيائها
 اقل من نور العقل وضيائه ذلك لما بين
 النفس وبين باريها من مرتبة العقل
 فاكتسبت ظلًا ودثورا اعنى ظلًا لما حال
 العقل بينها وبين نور الخالق والضياء
 المحض اعنى الحكمة التامة والنور
 الخالص ولذلك لزمها الجهل وافتقرت الى
 التعليم واما العقل فلا يجهل لقربه من
 الحكمة والنور الخالص والضياء المحض^ז
 ولما قامت طبيعة النفس العقلية انبعث
 من فيها شعاع فتكون من ذلك طبيعة
 البهيمة ولذلك صارت ظانة متوهمة...

עם (על) כל האנשים המשכילים
 המאמינים והם הנביאים ונתאמת עם זה
 הנמול והעונש וזה ראינו הספר יאמר
 רוח הולך ולא ישוב^ב ולא יכנס הרוח
 כנמול ולא בעונש כי אם הרוח הולך
 ולא ישוב וכבר דמו הראשונים ג"כ
 הנפש בבהירות וזה כי הם אמרו ברא
 השם בהירות ובעבור שעמד טבעו
 ואמתו התפשט מן הניצוץ האורה
 הניצוץ המתפשט מבח הטבעיות
 והמראות המונחות בחלון המרחצאות
 הכתים אשר תפול עליהם ניצוץ השמש
 ותהיה מזה כח הנפש המשכלת והיא
 בהירותה ואורה יותר מעט מבהירות
 השכל ואורו וזה למה שבין הנפש ובין
 בוראה ממדרגת השכל וקנתה צל ואופל
 ר"ל חושך ומה שקרה השכל בינה ובין
 אור הבורא ית' והבהירות המופלג ר"ל
 החכמה השלמה והבהירות הנקי והאור
 המופלג ובעבור שעמד טבע הנפש
 המשכלת התפשט ממנה ג"כ ניצוץ
 ותהיה מזה טבע הנפש הבהמית ולזה
 שבה חושבת ומדמה...

a — Sic in Ms. b — Eccl. XII, 7. c — Haec verba desunt in transl. hebr. d — In Ms.
 الذي. e — Zach. III, 7. f — Verba a فوق ad الملائكة desunt in transl. hebr. g — In Ms.
 منسرفة. h — In Ms. الاعلا. i — Hoc verbum deest in transl. hebr. k — 1 Sam. XXV, 29.
 l — Ps. LXXVIII, 39. m — In Ms. شبهوا. n — In Ms. قالو. o — In Ms. نور. p — In Ms. مكاب.
 q — Verba ab ولذلك ad المحض desunt in transl. hebr.

III

The Hebrew translation of Israeli's «Book of Definitions» was done by a certain Nissim ben Solomon,¹ whose dates can not be exactly determined. However, M. Steinschneider remarked that Isaak Latif who lived at the end of the 13th century had quoted in his book *Ša'ar ha-Šamaim* (I, 14) Israeli's book «The Definitions of Things» (*Gebūlē ha-Debarim*) either directly from the Arabic text or from some other source.² Thus, there may have existed another Hebrew translation of «The Book of Definitions» that has not been preserved and has not left any definite traces.

Quite recently I succeeded in finding the proofs confirming this supposition: I found some four sheets from this second translation of «The Book of Definitions» among the fragments of Hebrew Mss. of the 2d Firkowitch's Collection (hebr. №№ 388 and 412).

I give here as example a few lines from the translation discovered by me, along with the text of Nissim ben Solomon's translation.³

THE TRANSLATION OF NISSIM BEN SOLOMON

המאמר במדות השכלי אמר הפילוסוף
השכל מינות הדברים רצה באמרו
מינות הדברים הנצחיים התמידיים אצלו
לעד עומדות וכאשר רצה שידע דבר
מהם שב אל עצמותו וימצאם עומדים
וידעם מהם בבלתי מחשבה והתבוננות
וזה מוקש מן הנראה שאנחנו נמצא
האומן המשכיל החרף במלאכתו
כשרוצה לעשות דבר במלאכתו שב אל
עצמותו וימצאהו אצלה וידעהו ויעשהו
ואעפ שיהיה בין שתי החכמות הפרש
מבואר מפני כי השכל ידע ידועיו בבלתי
מחשבה והשתדלות לדתיחות עצמותו
תמיד מבלתי שישתנה ולא יתרבה ולא
ישיגו תוספת ולא חסרון ולא ענין מן
הענינים...

THE SECOND TRANSLATION

המאמר במדות השכלי אמר הפילוסוף
השכל מינות הדברים רצה באמרו
מינות הדברים הנצחיים התמידיים אצלו
לעד עומדות וכאשר רצה שידע דבר
מהם שב אל עצמותו וימצאם עומדים
וידעם מהם בבלתי מחשבה והתבוננות
וזה מוקש מן הנראה שאנחנו נמצא
האומן המשכיל החרף במלאכתו
כשרוצה לעשות דבר במלאכתו שב אל
עצמותו וימצאהו אצלה וידעהו ויעשהו
ואעפ שיהיה בין שתי החכמות הפרש
מבואר מפני כי השכל ידע ידועיו בבלתי
מחשבה והשתדלות לדתיחות עצמותו
תמיד מבלתי שישתנה ולא יתרבה ולא
ישיגו תוספת ולא חסרון ולא ענין מן
הענינים...

¹ Published by H. Hirschfeld, Festschrift zum 80 Geburtstag M. Steinschneider's (Leipzig, 1896), p. 131 (hebr.) sqq.

² M. Steinschneider. Die hebräische Übersetzungen des Mittelalters, p. 390.

³ P. 135.

Even from this quoted extract notwithstanding its extremely small size, we can see that the terminology of the translation newly found is simpler than the strange terminology of Nissim ben Solomon's translation. Unfortunately the Leningrad fragment does not yield the clue for identifying the author, neither does it help to determine where and when the translation of «The Book of Definitions» included in this fragment was written.¹

¹ I am much indebted to N. Marr, Director of the State Public Library at the time of my studying the Firkowitch collections of Mss. in custody of the Library. The present paper is a partial result of these studies.

Л. Т. ГЮЗАЛЬЯН

ПЕРСИДСКАЯ НАДПИСЬ КЕЙ-СУЛТАНА ШЕДДАДИ В АНИ

Во время археологических работ в Ани, при постепенном обнаружении обвалившегося эпиграфического материала, наряду с другими, были собраны также и те надписи на арабском и персидском языках, которые были прочтены впервые на месте Ханьковым в 1848 г. Большинство их было издано вторично с исправлением неточностей, допущенных Ханьковым, иногда даже с восполнением того, чего тогда зафиксировать он не мог.¹

Исключение в этом отношении составила персидская надпись Кей-Султана Шеддади на центральном анийском минарете, обвалившаяся при его падении в 1880 г., но впоследствии собранная в течение двух археологических кампаний.

Первые находки относятся к 1904 г., когда Н. Я. Марром случайно были подобраны два камня этой надписи, — 2-й и 4-й, перенесенные, неизвестно кем, от развалин упавшего минарета к главному собору. Текст их, с восполнением пробелов по чтению Ханькова, был приведен в отчете Н. Я. Марра «О раскопках в Ани в 1904 г.».² Находка эта, однако, не дала оснований для нового чтения надписи, так как текст обнаруженных камней был прочтен Ханьковым правильно, в восполненных же частях были повторены допущенные им ошибки.

Остальная часть надписи была собрана в 1911 г. во время раскопок на месте упавшего минарета, причем, как сообщалось в докладе Н. Я. Марра «X археологическая кампания в Ани», надпись была откопана почти вся по частям.³

¹ См. В. Бартольд. Персидская надпись на стене анийской мечети Мануче и Н. Марр. Отчет Анийского музея древностей за 1915 г., стр. 20—24.

² Изв. Арх. Ком., вып. 18, стр. 94. См. также: Н. Марр. Краткий каталог Анийского музея, стр. 9.

³ Зап. Вост. отд., т. XXI, стр. XLVI (протоколы). Из протокола не явствует, что текст надписи приводился в докладе в новом чтении, других же данных, относящихся к ее изданию, обнаружить не удалось.

Так как указанный доклад не был издан, рукопись же и фотографии не избежали общей участи арийских материалов,¹ установить точно, что именно было собрано и с какими пробелами — не оказалось возможным. В сохранившейся части личных дневников Н. Я. Марра зафиксированы находки отдельных фрагментов надписи, относящихся к ее началу и концу. Там же упоминается, что сохранность некоторых камней оказывалась настолько неудовлетворительной, что требовалось немедленное их фотографирование, так как при переворачивании они осыпались. Поэтому есть основание предполагать, что надпись была собрана в настолько неудовлетворительном виде, что не могла служить основанием для переиздания.

Не могли способствовать переизданию надписи и известные ранее материалы, сводившиеся к красочному эстампажу, святому Абихом в 1844 г. (Архив ИВАН, III, 117а) и двум карандашным зарисовкам Кестнера, представляющим собой: первая копию надписи, а вторая — общий вид минарета, выполненный им в 1850 г. и вошедшим в его *Album d'Ani* (Архив ИВАН, III, 117са). Эстампаж не достаточно ясен и не может служить основанием для восстановления текста надписи, что же касается зарисовок, то из них полезна лишь вторая, помогающая выяснить местоположение надписи на минарете, являясь кстати в то же время и материалом для суждения о форме и размере последнего, ибо единственная фотография с минарета, снятая за год до его падения местным любителем старины Кюркчяном, в настоящее время недоступна.

Для восстановления же текста надписи служит другая фотография, снятая тогда же Кюркчяном с надписи на минарете, единственный отпечаток с которой посчастливилось найти И. А. Орбели в 1913 г. в Эривани. Несмотря на свой малый размер, фотография очень удачна и не утратила своей четкости при увеличении (см. табл. между стр. 632 и 633).

Надпись помещалась на северо-восточной стороне восьмигранного минарета, невысоко над землей, и, как видно на фотографии, занимала 23 камня разной величины, расположенных в четыре ряда от правого угла грани. Поверхность этих камней обтесана более тщательно для нанесения на них надписи, что отличает их от соседних. Надпись содержала 8 строк, из них 6 представляли основной текст на персидском языке, 7-я — обычную на арабском языке дату, 8-я же являлась армянской скрепой. Длина строк до 1.4 м, при общей высоте надписи в 0.9 м и при высоте отдельных букв до 11 см. Исполнена надпись почерком *nass*, причем знаки *س* и *ش* имеют

¹ Как известно, все эти материалы погибли в конце 1917 г. на Северном Кавказе при перевозке из Петрограда в Тифлис.

по два написания, знак же > образует лигатуры с ر и ی. Диакритические точки отсутствуют в арабской части текста, в персидской же части представлены лишь местами.

В основном персидском тексте резчик оставил недописанным местоимение کی (لی, стр. 4), пропустил слово عزّ или جلّ и допустил ошибку: گرفتار вместо گرفتار (стр. 6). В армянской скрепе недописан знак Է (t), а знак Պ заменен схожим по начертанию грузинским знаком Դ. Вообще знаки армянского письма выведены крайне неумело, что относится и к остальной части надписи, исполненной, при общей грубости письма, с несколько большей тщательностью. Следов повреждений, если не считать слегка осыпавшихся частей, надпись не носит и читается свободно.

Надпись появилась впервые в 1849 г. в «Bulletin» Академии Наук¹ в статье «Quelques inscriptions musulmanes d'Ani et des environs de Vakou» в виде извлечения из письма Ханыкова, представленного Дорном и Броссе, снабдившими статью несколькими примечаниями. В одном из примечаний, Дорн, указывая на неудовлетворительность эстампажа, снятого Абигом, все же допускает на его основании разночтение во 2-й строке надписи, существенно меняющее ее содержание и, как увидим дальше, несомненно правильное.

Двумя годами позднее надпись была издана самим Ханыковым в его «Excursion à Ani», вошедшей в «Troisième rapport» Броссе.² Об эстампаже Абига Ханыков не упоминает и очевидно им не пользовался. Текст надписи, приведенный им в отчете о поездке, несколько расходится с текстом, изданным Дорном и Броссе, хотя в обоих случаях дан один и тот же перевод.

В третий раз надпись появилась в труде «Ширак»³ мхитариста Алишана, перепечатавшего текст со второго издания Ханыкова и заменившего французский перевод надписи армянским, следуя переводу Ханыкова.

Как сообщает Ханыков в своем отчете, он нашел надпись, покрытую черной краской, оставшейся после снятия с нее эстампажа Абигом, и читал ее при морозе в 24°. Этими неблагоприятными условиями и нужно объяснить то не вполне удовлетворительное чтение, которое было предложено Ханыковым и которое с небольшими расхождениями между двумя указанными выше изданиями, оговоренными ниже в примечаниях, представляется в следующем виде.

¹ VI, стр. 193—197. См. также: Mélanges Asiatiques, I, 1849, стр. 70—73.

² Стр. 135—197. Броссе устанавливает обратный порядок последовательности изданий. См. об этом его: Les ruines d'Ani, стр. 31.

³ Венеция, 1881, стр. 59 (на армянском языке).

Текст из отчета Ханыкова

من کی سلطان بن¹ محمود بن شاور بن منوچهر الشدادی از برای جان فرازی
جد و فرزندانم² چنان فرمودیم کی بنیه و دوستی³ و قطابی ارس⁴ نی⁵ مسجد
ابو المعمران استادکان⁶ کوسپند اشتر خرید. و فروخت هم اینجا فرمودیم کی نکند
هر کی در این فرمان طعنه زند در خشم خدای و تعالی گرفتار باشد فی تاریخ سنه خمس
و تسعین و خمسایه

ՈՐ ՀԱՍՏ ԳՈՒՀԵՆ ԱՒԻՐՀՆԻՆ⁷ ՅԱՍՏՈՒԾՈՅ⁸ ԱՄԵՆ⁹

Ханыков, не сумевший прочесть наиболее существенной части надписи (вторую половину 3-й и начало 4-й строки) и переведивший надпись не полностью и не без некоторой натяжки, понимал ее так:

«Moi, Kei-Sultan, fils de Mahmond, fils de Chaour, fils de Manoutchar,¹⁰ Cheddadi; pour le salut de l'âme des mes ancêtres et enfants, nous avons ordonné ainsi: que leur réciprocité, leur amitié et leur unité soient agrandies! Nous défendons aux possesseurs de vendre devant cette mosquée d'Abu-'l-Maamran des moutons et des chameaux, et tout homme qui ne respectera pas cet ordre sera puni de la colère de Dieu: dans l'année 595 de l'hégyre (1198—9).

Ceux qui observent ceci fidèlement sont bénis de Dieu».

Ошибочное понимание Ханыковым содержания надписи, как воспреещения владельцам скота торговать баранами и верблюдами перед мечетью, было повторено вслед за ним Броссе в его «Les ruines d'Ani»¹¹ и не так давно И. А. Орбели в его «Кратком путеводителе по городищу Ани».¹²

¹ Пропущенное Ханыковым *بن* восстанавливается по первому изданию.

² Во втором издании ошибочно *فرزندانم*

³ В примечании к первому изданию Дорн указывал на возможность чтения *بنیه* *فروشی*.

⁴ В первом издании *قطابی*, дальше *ار سر* с вопросительным знаком.

⁵ В первом издании *لی*.

⁶ В первом издании непонятное при данном чтении предложение от *بنیه* до *استادکان* включительно заключено в скобки.

⁷ В первом издании ошибочно *արհիհի*.

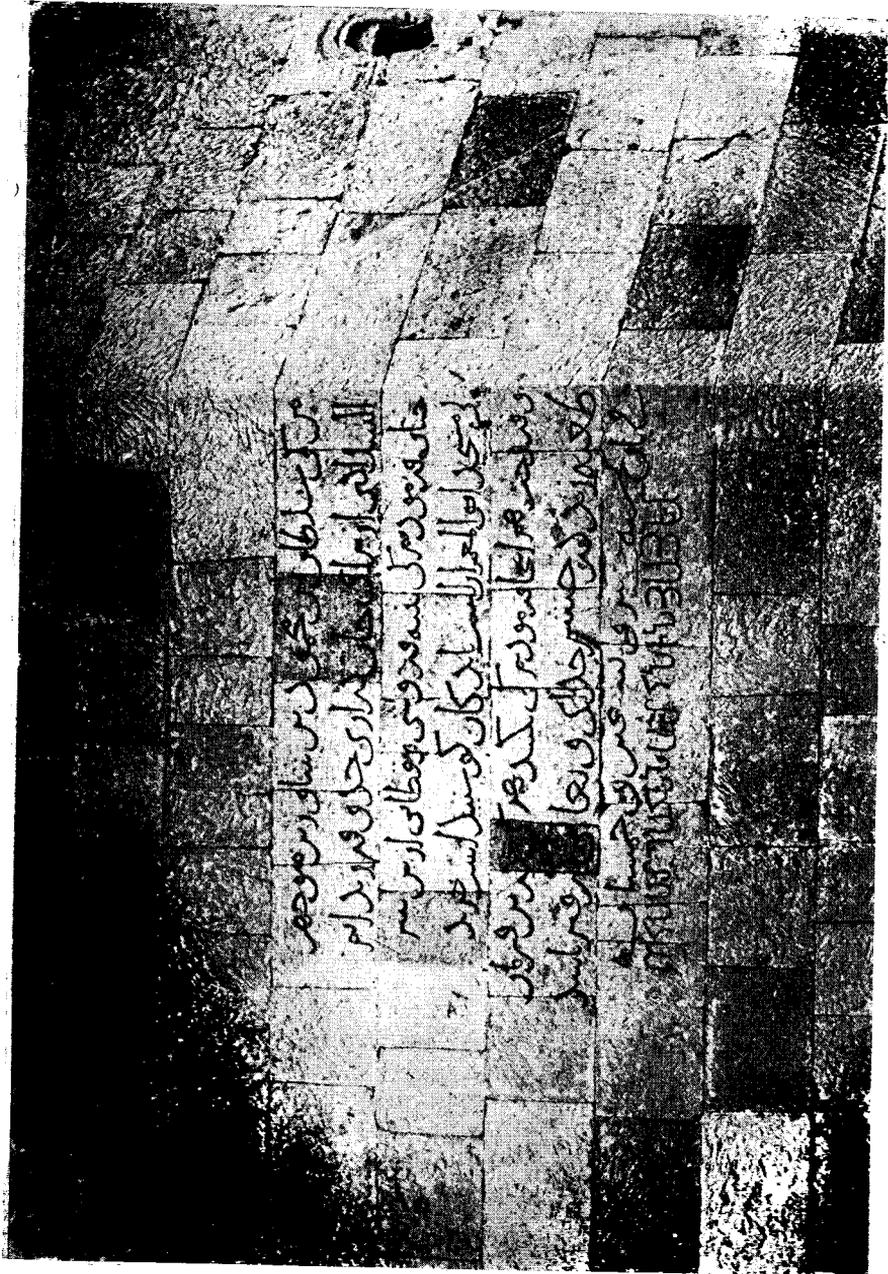
⁸ В первом издании сохранено под титлом сокращенно.

⁹ В первом издании *ամեն*.

¹⁰ В первом издании Manoutchehr.

¹¹ Стр. 31.

¹² Стр. 23.



Передняя надпись Кей — Султана Шедади на большом минарете в Ани.

Между тем, текст надписи, допускающий, правда, некоторые разночтения, говорят совсем о другом и сводится к следующему:

من کی سلطان بن محمود بن شاور بن منوچهر
 الشدادی از برای جان درازی جد و فرزندانم
 چنان فرمودیم کی پنبه فروشی و قطنی ازین سر
 کی مسجد ابو المعمران است تا بدان کوی سبیل است خرید
 و فروخت هم اینجا فرمودیم کی بکنند هر کی درین فرمان
 طعنه زند در خشم خدای [عزّ] و تعالی گرفتار^۱ باشد
 فی تاریخ سنه خمس و تسعین و خمسماية

ՈՐ ՀԱՍՏԴՍՂՈՒՆԻ ՊԱՀԵՆ ԱՒԲԶՆԻՆ ՀԱՍՂՈՒԾՈՅ ԱՄԷՆ

Перевод

Я, Кей-Султан, сын Махмуда, сына Шавара, сына Манучахра Шеддади, ради долголетия моих предков и потомков, повелели мы: продажа хлопка и хлопчато-бумажных изделий от этого места,

где находится мечеть Абуль Магмаран до лавки на улице Себиль допускается.

Торговлю здесь же производить повелели мы. Всякий, кто этим приказом

пренебрежет, будет пленником гнева (дословно: в гневе) [всеславного] и всевышнего бога.

В летосчисление года пятьсот девяносто пятого (1198—1199 хр. эры).

Те, кто твердо сохраняют, да будут благословенны богом, аминь.

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕКСТУ

Стр. 1. Строка прочтена Ханыковым правильно, спорным является лишь вопрос о произношении имени شاور, которое Ханыков передает как Chaour. Имя это, как стянутую форму персидского شاهور (см. словарь Vulliers'a), правильное было бы читать Шавар.

¹ В надписи ошибочно گرفتار.

Стр. 2. Выражение *از برای جان درازی* 'ради долгоденствия' обычная и в армянских надписях Ани форма: *Վանն յերկարկենդանութեանն* или *վանն արկշտտութեանն*.

Предлагаемое Ханьиковым *از برای جان فرازی* в переводе *pour le salut de l'âme* едва ли могло быть употребительным в надписях, разве только в поэзии.

Стр. 3. Правильность чтения даже на основании одного эстампажа *پنبه فروشی* 'продажа хлопка' была отмечена своевременно и Дорном. Остановившись на чтении *دوستی و پنبه*, Ханьиков принужден был связать с ним по смыслу и дальнейшее, что фигурирует у него в виде непонятных *قطابی* *ار سر* в первом издании и *قطابی ارس* во втором. Вместе с предшествующим всей фразе местоимением *کی*, он все вместе переводит как: *que leur reciprocité, leur amitié et leur unité soient agrandies!*, что едва ли не слишком вольный перевод.

На самом деле, окончание строки читается совершенно свободно; мы там имеем после союза *و* арабское *قطانی* 'продажа хлопчато-бумажных тканей' и персидское *ازین سر* 'отсюда', 'от этого места', 'с этого края'.

Стр. 4. В начальной лигатуре *لی* Ханьиков видел, повидимому, предлог *بی*, переданный им в переводе словом *devant*. Удлинение в надписи первого знака этой лигатуры до высоты знака *ل* можно было бы объяснить или отсутствием у резчика нужного трафарета, тем более, что лигатура эта встречается в надписи один лишь раз, или же неудачным выбором подходящего трафарета, возможность чего можно было бы подтвердить как указанной выше заменой армянского знака сходным по начертанию грузинским, так и опиской, допущенной резчиком в части персидского текста. Непонятно, почему, остановившись на этом, Ханьиков, тем не менее, сохранил в первом издании лигатуру без изменений, во втором же заменил ее словом *نی*, никак не объясняющим перевод, если не допустить, что здесь имеется опечатка и что это следовало бы читать *بی*.

Однако, исходя из окончания третьей строки, правильнее было бы видеть в непонятной лигатуре недописанное местоимение *کی*, в котором недостает верхней наклонной черты, отличающей знак *ک* от знака *ل*. Допустить это тем легче, что для изображения единственный раз действительно встречающейся в надписи лигатуры *لی* (6-я строка, термин *تعالی*) использован другой трафарет, отличающийся тем, что первый знак имеет в нем более прямую форму и соединительная черточка в нем более длинна, чем в трафарете, использованном в данном случае. То же самое мы встречаем

в надписи еще четыре раза в изображении относительного местоимения کی (строка 1, 3 и 5; в последней два раза). Кроме того, если всмотреться внимательно в изображение местоимения کی, то нетрудно убедиться, что оно вырезалось в два приема и что верхняя наклонная черта первого знака, повидимому, выводилась отдельно и после остальной части лигатуры; поэтому—то высота этой черты и колеблется и, в первых двух случаях, приходится ниже, чем в двух последующих.

Неправильно передано Ханыковым и название мечети ابو المعبران, в котором следовало бы видеть арабское имя. Между тем, устанавливаемое им чтение Маашгап чуждо не только арабскому, но и персидскому языкам. Исходя из употребительных в арабском معبر Маэмаг или Муэамаг, было бы правильное читать название как Абуль Маэмаран или Абуль Муэаммаран. В следующей форме استادگان Ханыков видел начало استادگان и переводил это как possesseurs, связывая по смыслу с дальнейшим, в чем он видел اشتر گوسپند. Не говоря о том, что начертанное отдельно и графически не связанное ни с чем است не допускает такого чтения, самый термин استاد в этом смысле может относиться лишь к владельцу лавки или мастерской, но никак не к владельцу скота.

Видеть в дальнейших словах объекты торговли گوسپند و اسپ (но не اشتر, как это читает Ханыков) нельзя как по содержанию надписи, так и с точки зрения общего стиля ее письма. Наличие диакритических точек в термине سبيل и форма его конечного знака ل исключает эту возможность. В тех случаях, когда мы действительно встречаем знак > в таком же сочетании (ср. فرزندانم — 1 стр., برکان — 4 стр., بکنند — 5 стр., باشد و زند — 6 стр.), он имеет более короткую форму и начертан более низко в сравнении с другими знаками.

Непонятная с первого взгляда форма است, если не принять в ней испорченное при начертании надписи слово, может иметь два объяснения. Или это неподдающееся чтению окончание названия мечети, или же это глагольная частица است, первый знак которой, приходясь к краю камня, представляется на фотографии, так же как и на эстампаже, слитым со вторым.

Рассматриваемая как глагольная форма, است заключает собой вводное предложение, начинающееся со слова کی, и устанавливает первый из крайних пунктов площади, отводимой под торговлю хлопком и хлопчатобумажными тканями. Следующая фраза تا برکان کو سبيل است устанавливает второй пункт торговой площади на улице Себиль и заканчивает предложение от начала надписи. В этой последней фразе требует пояснений

термин **دكان**, в обычном употреблении означающий 'лавка', 'мастерская'. Раскопные работы обнаружили как на прилегающей к мечети улице, так и вообще в этой части города большое количество лавок-мастерских. К сожалению, детальное изучение этого района не было осуществлено, и у нас нет оснований отдать предпочтение одной из этих лавок-мастерских перед другими, основываясь на данных раскопок. Но некоторые предположения все же можно сделать. Если допустить, что в надписи предусматривалась одна из обычных в этом районе лавок-мастерских, то преимущество должна получить первая из тех, что располагались против мечети. Но не лишено было бы основания и другое предположение, что по примеру других гостиниц-каравансараев в Ани, и в этом районе могло бы находиться, называвшееся также **دكان**, специальное помещение, служившее как местом остановки для приезжавших в город торговцев хлопком и изделиями из него, так и местом хранения их товаров.

Стр. 5. Отсутствие диакритической точки в глагольной форме **کنند** допускает ее чтение как в положительном — **بکنند**, так и в отрицательном **نکنند** смысле. К последнему склоняется Ханыков, который, не поняв, что здесь начинается новая фраза, связал ее с предыдущей. Однако построение последней фразы, развивающей смысл первой, заставляет предположить обратное. Эту фразу можно было бы понять в отрицательном смысле при следующем построении: **خرید و فروخت هم فرمودیم که اینجا نکنند**; в таком случае частица **هم**, придавая предыдущему смысл 'торговлю же', противопоставляла бы всю фразу предыдущей по содержанию. Но, поскольку эта частица сочетается непосредственно с последующим **اینجا** и приобретает смысл 'здесь же', 'на этом же самом месте', начало же фразы **خرید و فروخت** лишь дополняет содержание рассмотренных выше объектов **پنبه فروشی و قطانی**, то и вся фраза получает положительный, а не отрицательный смысл. В результате получается, что определяемый указом район отводится не только под продажу хлопка и хлопчато-бумажных тканей, но и под торговлю вообще. Здесь мы имеем дело с районом, который, повидимому, являлся торговым центром города в конце XII и в начале XIII века, и поэтому понятно, что здесь и было обнаружено скопление лавок-мастерских, о чем находим указания в сохранившихся материалах анийских работ.

Стр. 6. Восстановление эпитета бога **عزّ** (может быть и **خلّ**) вызывается наличием изафета в слове **خدای**, так же, как и наличием союза **و** между ним и эпитетом **تعالی**.

Вопрос о торговой жизни Ани, в частности о товарном обмене города с прилегающей округой до сих пор не получил в литературе достаточного освещения. Не малое место должны занять в нем торговля хлопком и производство хлопчато-бумажных изделий, достаточным основанием чему служит разбираемая нами надпись. Однако, ни эпиграфический материал, ни данные раскопок не дают никакого материала для этого.

Было бы естественно искать в районе, отводившемся, согласно надписи, под продажу хлопка, следы мастерских хлопчато-бумажников. Из упомянутых выше дневников анийских работ видно, что раскопки обнаружили остатки мечети с непосредственно прилегавшими к ней четырьмя рядами лавок-мастерских, инвентарь которых дает достаточно оснований рассматривать их не как ткацкие мастерские, а как мастерские слесарных и металлических дел (Дневники, листы 349—382).

Поскольку последние располагались вокруг мечети с юго-восточной, южной и западной сторон, то становится понятным, почему надпись была начертана на северо-восточной грани минарета и почему в ней говорилось о площади от мечети и до улицы Себиль, в которой, как увидим ниже, нужно видеть основную магистраль, перерезающую Ани в направлении с севера на юг до вышгорода и названную сотрудниками Н. Я. Марра по археологическим работам в Ани «Улицей Марра». Отсутствие плана раскопанной площади затрудняет точное определение ее, однако понятно, что речь тут должна идти о районе, отходящем к северу и к северо-востоку от мечети.

Для объяснения названия улицы нам приходят на помощь археологические данные. Как известно, под «Улицей Марра» проходила магистраль анийского водопровода, питавшего водой как вышгород, так и самый город. В непосредственной близости от мечети, с той ее стороны, которая была обращена к улице, были обнаружены раскопками 1911 г. большие водоемы, о которых находим следующие указания в дневниках Н. Я. Марра.

„Перед восточной «мечетской» дверью, казалось вдоль восточной стены, узкое длинное отделение, с севера замыкающееся громадным каменным кубом. Этот куб из черного камня (выс. 0.82 м, шир. 1.33 м, толщ. более 1.03 м — остальная часть пока завалена), действительно, существует на расстоянии 2.10 м от восточной «мечетской» двери на север...

В средней части открылся амбар с круглым зевом (диам. 0.90 м, выс. 2.75 м). В нем оказалась чистая, точно просеянная земля, большей частью зола. При выкачивании земли найдены обломки глиняной посуды, в большинстве цветной, как просто поливной и одноцветной глазированной,

так и расписной. В собрании из амбара имеется и почти цельный экземпляр чанаг'а винного цвета; из кусков сложилась часть чаши голубоватой, там же найдена была скорлупа яйца" (листы 305—314).

К несчастью, сохранившаяся часть дневников обрывается, и восстановить полностью картину, обнаруженную раскопками, не оказывается возможным. Некоторое основание для предположения о том, что в этом абмаре нужно видеть водоем, дают нам остатки обнаруженных в нем обломков глиняной посуды. Еще большую уверенность получаем мы при рассмотрении значения термина *سبيل*.

В словаре Vullers'а термин объясняется так: *و فارسیان بمعنی وقف* 'Персы употребляют в значении всякого дарения вообще, а специально воды, напитков, сахара и подобных им'.

В словаре Dozy находим более детальное разъяснение:

«Enfin le mot s'emploie par catachrèse dans le sens de fondation pieuse, objet qui, en vue de Dieu, est livré sans frais à l'usage du public, Maml. 1.1; de sebil est en général chaque offrande volontaire, faite en vue du bien public pour l'amour de Dieu et afin d'obtenir de lui une récompense, comme le sacrifice de ses biens et de sa vie dans la guerre sainte, la construction de puits ou de citernes au bord de la route dans un pays mal pourvu d'eau, d'aqueducs, de Khâns dans un district mal peuplé, de réservoirs d'eau dans les rues. Ce sont surtout les derniers qu'on appelle ainsi en Syrie».

Нахождение чана и амбара близ мечети, вдобавок с той ее стороны, которая была обращена в сторону главной улицы, дает нам лишнее основание видеть в них водохранилища типа *سبيل*, построенные с целью безвозмездного пользования для всех желающих. Если принять это предположение, то станет ясным и то, что термин *سبيل* употреблен в надписи в нарицательном значении, как название главной анийской магистрали, и что магистраль могла получить это название благодаря наличию в ней водопровода и водохранилищ, хотя также допустимо объяснить название магистрали другим значением термина *سبيل* 'путь', 'тропа', как это наблюдается в других восточных городах в отношении главных их улиц.

В собранных в Ани надписях четыре раза встречаются упоминания о водопроводных сооружениях; в надписи на западной стене собора, магистр Аарон сообщает о проведении им воды в Ани (*ԱՄԻ ԶՈՒՐ . . . Ի ՄԷՋ*

ԱՄՐՈՅԻՍ); на восточной стене церкви Тиграна hОненца владельцы ее извещают, что ими восстановлен бездействовавший старый водопровод и проведена к церкви вода (ԲԵՐԱՔ ԶԶՈՒՐՍ); в большой надписи на южной стене той же церкви, строитель ее, в числе других даров, принесенных им церкви, упоминает также: 'в городе вотчинную баню и мил' (Ի ՔԱՂԱՔԻՍ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԲԱՂՆԻՍՆ ՈՒ ՄԻԼՆ); наконец, Абул Гариб Пахлавуни сообщает в надписи на пятой грани к западу от двери построенной им церкви: 'и воздвиг мил у этой церкви Спасителя' (ԵՒ ԿԱՆԳՆԵՑԻ ՄԻԼ ԱՌ [ՍՈՒՐՔ Փ]ՐԿԻԶՍ).¹

Упомянутый в двух последних надписях термин *мил* обычно разъясняется как 'водопровод', 'водопроводная труба'.² Однако выражение ԿԱՆԳՆԵՑԻ ՄԻԼ может относиться лишь к надземному сооружению и должно переводиться: 'воздвиг (или: поставил) мил'. В тех случаях, когда действительно говорится о сооружении водопровода, употребляются выражения вроде приведенных выше: ԱԾԻ ԶՈՒՐ или ԲԵՐԱՔ ԶԶՈՒՐՍ, и термин *мил* в них вовсе не встречается. Подобное же выражение мы находим в начале приведенной выше надписи владельцев церкви Тиграна hОненца, в которой говорится: ՎԱՂ ԲԱՐԵՊԱՇՏ ՏԻԳՐԱՆ ԶՈՒՐ ԷՐ ԲԵՐԵԼ Ի ՎԱՆՔՍ ՈՒ Ի ՅԱՆՏԻՐՈՒԹԵՆԷ ԽԱՂՏԵԼ ԷՔ ՈՒ ԿՏՐԵԼ 'Раньше благочестивый Тигран провел воду в эту обитель и от отсутствия попечения [водопровод] стал поврежден и перестал действовать'. Наконец, в тех случаях, когда сообщается о сооружении водопровода, то указывается и направление, как в надписи магистра Аарона: Ի ՄԵՋ ԱՄՐՈՅԻՍ 'внутри этой крепости (Ани)', или, как в последнем случае: Ի ՎԱՆՔՍ 'в эту обитель'; в надписи же Абул Гариба сказано, что *мил* был сооружен: ԱՌ[ՍՈՒՐՔ Փ]ՐԿԻԶՍ 'у этой церкви Спасителя'.

Согласно указания И. А. Орбели, приведенного им на память, во время археологических работ в Ани, близ церкви Абул Гариба Пахлавуни было обнаружено сооружение, напоминающее собой водоем. Если увязать данные надписи с этим указанием, то получим основание допустить, что в данном случае термин *мил* нужно понимать как водоем и что это значение закрепилось за ним ко времени начертания надписи, т. е. к началу XI в.

¹ Саргисян, *Տեղագրական և Փոքր և Մեծ Այս*, стр. 119, 128, 127, 121; «Ширак», стр. 70, 79, 76, 83. Надпись магистра Аарона см. также: В. Н. Бенешевич. Три анийские надписи... (Анийская серия, VII), стр. 2.

² Н. Я. Марр. О халдском *mil*-и «камень»... Изв. Акад. Наук, 1917, стр. 1279—1282. — Л. З. Мсерянц. К интерпретации Ванских надписей. Археол. изв. и зам., 1894, № 3 и 4, стр. 136—147. — Его же. К интерпретации Ванских надписей (Сб. статей по филологии и лингвистике в честь Ф. Е. Корша), М., 1896, стр. 391—399; — Его же. О так называемых «ванских» (урартских) лексикальных и суффиксальных элементах в армянском языке (из второго тома Тр. XI археол. съезда в Киеве), М., 1902, § 1, стр. 9—11.

Для выяснения того, сохранял ли термин это значение и в начале XIII в., когда была вырезана надпись Тиграна hОненца, данных не имеется. Упоминание *мил* наряду с баней в этой надписи может говорить как в пользу понимания его в значении 'водопровод', так и в пользу понимания его как 'водоем'. Район же бани, к которой, новидимому, примыкал *мил* и которая помещается между церквями Абул Гариба и Тиграна hОненца, не был раскопан. Тем не менее, поскольку упомянутый раз в надписи Абул Гариба *мил* относится к водоему, то и в этом случае есть основание видеть в нем водоем, а не водопровод.

Не располагаем мы также данными для выяснения того, являлись ли упомянутые в надписях водопроводные сооружения сооружениями благотворительного характера, рассчитанными не только на служителей одаряемых церквей, но и на нужды населения. Единственное прямое указание мы находим в надписи магистра Аарона, который сообщает, что провел воду в Ани 'на радость и освежение жаждущих' ՅՈՒՐԱԽՈՒԹԻԲՆ ԵՒ Ի ԶՈՎԱՅՈՒՄՆ ԾԱՐԱԲԵՍՅ). Но в данном случае мы имеем дело с византийским правителем города, на обязанности которого лежала забота о снабжении населения водой. В надписи владельцев церкви Тиграна hОненца, после сообщения о проведении ими в церковь воды, имеется указание ԵՒ ՀԱՍՏԱՆԵՑԱՔ, что можно понять как: 'и укрепили [за церковью]' или 'установили [за служителями церкви определенное число поминовений в году за души восстановителей водопровода]', что как будто не противоречит тому, чтобы водопровод мог быть рассчитан и на общественные нужды.

Таким образом упомянутые сооружения *мил* можно связать с водоемами типа *себиль*. Тот факт, что в надписи Абул Гариба Пахлавуни упоминается о построении *мил* 'у (а не: при) церкви', с одной стороны, — и отсутствие в надписи указания о каких-либо обязательствах, возлагаемых дарителем на служителей церкви, с другой, — дают основания полагать, что *мил* мог быть рассчитан не на одни лишь нужды церкви. Кроме того, если просмотреть все то, что было принесено в дар церкви Тиграном hОненцом, ее строителем, крупным владельцем и ростовщиком, то не трудно убедиться, что среди объектов дарения нет ничего, что не представляло бы собой объекта эксплуатации или доходного предприятия. Поэтому, упоминание *мил* в этом числе дает основание предположить, что ставший к началу XIII в. объектом какой-то эксплуатации, *мил* мог быть рассчитан первоначально только лишь на широкое потребление.

Все это, однако, не разрешает вопроса о том, что могло побудить правителя города издать специальный указ о торговле хлопком. Едва ли

тут могла играть роль близость к питьевой воде и забота об удалении от нее хлопкового рынка. Да и кроме того, вопрос здесь не в одном лишь хлопковом рынке. Выделив для него специальный район, правитель города велит производить там и всякую торговлю вообще. Ясно, что тут мы имеем дело с перемещением рынка из одного городского района в другой, на что должны были быть особые причины.

Если вспомнить, что это происходило в период особенно сильного роста ремесленно-городской жизни на Ближнем Востоке и при властвовании в Ани династии Шеддади, которая, покровительствуя торговой жизни города, довела его до небывалого до тех пор расцвета, то придется признать, что скорее всего здесь играла роль забота о концентрировании торговой жизни вокруг центральной мечети и о поднятии тем самым ее благосостояния в городе, преобладающее большинство культовых зданий в котором составляли христианские храмы. Небольшим намеком на последнее могла бы послужить армянская скрепа под разобранныю нами надписью.

Помимо рассмотренных выше данных, надпись Кей-Султана включает в себе и указание, могущее быть использованным для политической истории города. Еще к первому изданию надписи была приложена составленная Ханьковым родословная Шеддади, которую ему удалось дополнить благодаря обнаружению надписи Кей-Султана. Значение последней для политической истории города было подчеркнуто и Броссе в его «*Les guines d'Ani*».¹ И хотя надпись датирована 1198—1199 годом, что едва ли может вызвать какие-либо сомнения, тем не менее, даже в таком солидном издании, как русский перевод «Мусульманских династий» Лен-Пуля, мы находим указание, что город Ани в 1174 г. был окончательно присоединен к Грузии.² Это тем более ошибочно, что надпись Кей-Султана была начертана накануне утверждения в Ани рода Долгоруких. Надпись дает основание более точно датировать события, связанные с историей города.

¹ Стр. 32.

² Стр. 295.

В. ДОНДУА

К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГРУЗИИ ПО АНИЙСКОЙ НАДПИСИ (1218) ЕПИФАНИЯ

В грузинской книге Калмасоба¹ один из героев, настоятель монастыря, оправдывается от взводимых на него обвинений в том, что он, монах, создает своему монастырю благополучие несправедливым путем угодничества перед властью имущими, доводя к тому же всякими вымогательствами «семьи до разорения», в тексте: *ოჯახების წახდენით* (стр. 166—167). А в оправдание своей монастырской практики он своему собеседнику-обличителю, Иоанну, тоже монаху, приводит такого рода доводы:²

სსუანიც ბევრს რასმე მწამობენ, მაგრამ
თუ ასე არა ვქმენ, მონასტერი ნაკლულევანე-
ბაში მოვა. და ამ საქმით ეს სოფელი აღვეუქმნე,
წიხქლი, ჭვარი და სსუა მამულები ბევრი
უქვმატე ჩემს მონასტერს.

Кроме тебя, — обращается он к Иоанну, —
другие тоже не мало в чем меня обвиняют;
но если поступать мне не так, а иначе, то
это будет только в ущерб монастырю. Между
тем, поступая именно так, идя именно этим
путем, только и достиг я того, что построил
монастырь эту деревню, эту мельницу, ви-
ноградник, приобрел ему новые угодья.

И далее:

მე უწინ არ მინდოდა მსოფლიურს საქ-
მეში გარევა, და რადგან გავერიე, და არ მო-
მეშენებ, მცირე რამ მსოფლიურიც უნდა ვი-
ხმარო...

Сперва я не хотел было вмешиваться
в мирские дела; но раз вмешался, раз не от-
стал от меня, то тут надобно мне немного
и мирского искусства.

В этих коротких словах настоятель монастыря достаточно ясно вырази-
л свое убеждение, что внутренние противоречия в жизни церкви были
неустранимы, как бы ни порочили они это установление в глазах людей;
что на «мирских» корнях церковной деловой жизни естественным образом
вырастали такие плоды, которые сам настоятель монастыря называет

¹ Царевич Иоани. კალმასობა. Изд. «Цискари», Тифлис, 1862.

² Там же.

«мирским искусством», в тексте: მცირე სამ მსოფლიური, его же обличитель — «разорением семей»; что, если, по определенной закономерности, для монастыря так необходимы и собственная деревня, и собственная мельница и собственный виноградник, то соответственно и всякий хороший его настоятель неизбежно становится выше всяких предрассудков и приемлет «мирское искусство» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Высказываясь так, настоятель монастыря, кстати сказать, не просто «герой произведения», а лицо историческое из грузинской деревни Хашми (ук. соч., стр. 151), по времени — начала XIX ст., тем самым прямо подает руку представителям собственного социального класса, не только современникам, но и отдаленным предкам, в данном конкретном случае, тем практикам из грузинской феодально-церковной среды, о которых говорит интересующая нас надпись католикоса Епифания.

В дальнейшем изложении мы имеем в виду подвергнуть исторической критике свидетельское показание католикоса Епифания о том, как конкретно осуществлялось в его время все то же «мирское искусство» в социально-экономической жизни грузинской церкви. Ввиду особого характера нашего главного источника, надписи, нужно сперва подвергнуть критике соответствующий текст.

I

Перед нами грузинская лапидарная надпись с датой 1218 г., открытая среди развалин Ани,¹ восстановленная² и интерпретированная акад. Н. Я. Марром (Надпись Епифания, католикоса Грузии. Изв. Акад. Наук, 1910, стр. 1433—1442).

Имея в своем распоряжении фотографию надписи в издании Н. Я. Марра, особо текст надписи в его же чтении при русском его переводе en regard (там же), — мы здесь попытаемся восполнить в тексте некоторые из наличных в нем лакун и разъяснить более или менее трудные для толкования места. Так как в этом отношении может помочь и предварительный учет архитектоники надписи, начнем с нее.

1. Надпись эта, как известно, свидетельствует о том, как в 1218 г. в грузинской религиозной общине в Ани церковные поборы привели к конфликту, и к каким мерам принужден был прибегнуть грузинский (мцхетский) патриарх, желая уладить вопрос (см. ниже). Надпись представляет собою акт, именно так называемую уставную грамоту, чему в гру-

¹ Б. столица (на р. Арпа-чае) армянского царства.

² Из фрагментов числом 44 и более.

этим дипломатической терминологии, как это нам представляется, соответствует დაკვეილობის წიგნი dakveilobis tigni¹ (Ив. Джавахишвили. ქართული სოკელთა-მცოდნეობა, Тифлис, 1926, стр. 47). В акте в основном соблюдаются обычные приемы составления грамот: он заключает в себе характерные клаузулы, — за tenor specialis следует конечный протокол с его удостоверительной частью, рукоприкладствами, датой и пр. К тому же сам автор надписи окрестил акт названием გაგებულო gagebuli² (строки 18—19 надписи), а этим термином в грузинской дипломатике как раз обозначается та, основная, часть грамоты, в которой определяются обязанности сторон (ук. соч., стр. 98—99). В грузинской дипломатике синонимом gagebuli служит ბრძანებულო brđanebuli³ (там же), а в армянской скрепе надписи обращение католикоса как раз соответственно названо словом հրամայիւր hramanq.³

2. В грамоту автор ввел необычайно, для эпиграфических памятников, подробный рассказ, по грузинской терминологии (ук. соч., стр. 95—97), თხრობის ღებობა,⁴ именно «рассказ о том, какой судьбе подверглись грузинские хуцесы (священники), с одной стороны, и грузины-миряне, с другой, «до возникновения сделки».⁵ В этот рассказ в общем вошли указания католикоса, что а) грузинские священники в анийском приходе, требуя мзды за требы, не стеснялись никакими «правилами» (строки 4—6 надписи); б) миряне-грузины перестали «почитать» священников (строки 10—11) и производить взносы (строки 11—12).

А этот нарративный элемент автор вводит в грамоту особым, по крайней мере, для составителей грузинских актов, манером: он тут прибег к риторическим приемам выражения мысли, откликаясь на евангельские мотивы, и таким образом дал пастве не сухую грамоту — «исходящую», а живым языком составленное обращение, своего рода проповедь. Этим самым он отдал дань вкусам времени: в армяно-грузинском мире не менее, конечно, значения придавалось проповеди, чем, например, на Западе, где в глазах современников «прелат без умения проповедовать подобен колоколу без языка»;⁶ но еще важнее было то, что он отдавал дань все тому же «мирскому искусству»: он шел на примирение сторон (см. ниже), а про-

¹ Букв. 'определяющая (поборы) книга'.

² Букв. 'то, что определено'.

³ Букв. 'веление'.

⁴ Букв. 'рассказ'.

⁵ Закавыченные слова заимствованы из А. С. Лаппо-Данилевский. Лекции. Очерк русской дипломатики, Пгр., 1920, стр. 86 сл.

⁶ Л. П. Карсавин. Основы средневековой религиозности, etc. Зап. Ист.-фил. фак. СПб. унив., ч. 125, Пгр., 1915, стр. 262.

поведь, по понятиям верующих, имеет ту силу, что «как солнце озаряет . . . темную душу, как чистый источник, увлажняет сухое сердце».¹

Надпись в общем поддается расчленению на пять главных частей. Из них первая целиком посвящена именно рассказу.

Католикос, обращаясь к клиру, начинает так:²

- 1 იტყუს კმა ს აღმართა: «უსასუილოდ მი-
ტილიეს, უსასუილოდ მისცემლით», ესე იგი
არს
- 2 გეტყუს || ღმერთი უკვდავი: ჩემდა რაამე
გიცემიეს მადლის მისთვის, რომელი ჩემ-
გან მიი-
- 3 ღვთ? თქვენცა ჰყიდილი ღიღსა || მადლსა ჩემ-
გან უსუიღულსა. უკუეთუ მე უსასუილოდ
მომიცემიეს,
- 4 არცა თქვენგან ჟერ არს სუიღა ღოც || ვათა
ერისა მიმართ

Божественный глас говорит: «даром полу-
чили, даром отдавайте» (Мф. 10, 8), т. е. го-
ворит вам бессмертный бог: «дано ли вами
мне что-нибудь за благодать, которую вы
получили от меня? И вы еще продавали вели-
кую благодать, когда она не продана мною.
Если мною дана безвозмездно, то и вам не
подобаает продавать молитвы народу».

И далее (строки 5—6):

- 5 ყოვლად უწეს || [ა] არს აღება თქვენგა-
ნაცა³ გურგუნთა კურთხევისათუს ასისა
ღრამის[ა]. . .

Полное нарушение правил и с вашей сто-
роны брать за венчание сто драм . . .

Тут напрашивается аналогия: эти же самые мотивы нашли свое выражение в светской грузинской литературе XVIII в., именно в одном стихотворении Давида Гурамишвили,⁴ отражение до такой степени яркое, что это стихотворение могло бы, пожалуй, с большим успехом итти за стихотворение, непосредственно откликающееся на надпись Епифания. Вот одна выдержка из него с буквальным ее переводом. Обращается поэт к священнику:

- მღვდლო, რაც ღმერთმან მადლი მოგმა-
ღლა,
არც ავიწონა, არც განვიღლა;
ღაუფასებელს არ დასდვა ფასი

Священник, благодать, которую бог тебе
дал,
Ее он на весах не свешивал и на аршин
не отмеривал;
На неопценимое он не поставил цены ни-
какой,

¹ Там же.

² Текст с переводом как здесь, так и ниже, воспроизведен по изданию Н. Я. Марра (см. выше, стр. 666).

³ А не თქვენგანცა (Н. Я. Марр, ук. соч., 1437₁₇).

⁴ მღვდელთ ვერება ღვთის გურამიშვილისა. ღვთისთაბი. Изд. П. Умкашვილი, Тифлис, 1894, стр. 284.

არც ერთი და არც ათისი.
უხსუდილოდა მღვდლობის კურთხევა,

მოგცა ღირსებით მარჯვენეს მთხვევა;

ახე გიბრძანა: ვით შენ მოგცეცა,
უხსუდილოდა სხვათ მიეც შენცა.
ახლა მე თქვენა ამას გვედრებ,
ღუთის ნაწყალობევს ნუ დანაუვედრებ;

მკვდრისა პატრონსა საკვილიოს დროსა
ბევს ნუ შეუკვეთთ სამარსს-სამკვდროსა...

Ни в единицах, ни в тысячах.
Он тебе безвозмездно благодать священ-
ническую

Дал и то достоинство, что тебе к руке
прикладываются;

И повелел тебе: как дано тебе,
Так и ты безвозмездно давай другим.

Теперь я вас прошу о том:
Дарованного от бога не жалейте для дру-
гих:

В час смерти умирающего его родным
Не определяйте высокой платы за погребение,
да за поминавание, и т. д.

В отношении документального построения характерным для надписи является это отсутствие в ее вступительной части обычных для грамот формул, например, так называемого богословия, по грузинской терминологии, ქებულეა qebuleba¹ (Ив. Джавахишвили, ук. соч., стр. 94); иными словами, надпись предлежит без начального протокола, по-грузински называемого თავი თავი² (там же, стр. 89). Этот конкретный случай уклонения разбираемого документа от типического формуляра данной группы актов, пожалуй, главным образом и оттеняет в памятнике элемент проповеди.

Вторая часть надписи читается так (строки 4—10):

4 აწ ხსონო ჩემო ანელნო ხუტესნო,
5 ნუ იქნებოთ დასაბრკოლებელ||სიციყუთ და
ნუცა გარდაკვებოთ³ მოციქულთ მცნებასა
ცულისა და წარმავალისათუს, ყოვლად
6 უწესს||[ო] არს აღება თქუენგანცა გურ-
გუნთა კურთხევისათუს ასისა დრამისა.
7 [ერგანისა ხ⁴ ჯერ⁵] || არს. თ[უ] ძალი⁵
ედვას პური აჭამოს. ეგრეთვე მკუდრისათუს,
8 რომელი ქირს... || ...უფრო შესჭირდების
მისისა სულისა. ეკლენივე ახისსა ცფი-

Итак, священники анийские, на вас я упо-
ваю, не будьте соблазном для (божьих) слов
и не преступайте апостольской заповеди из-
за пустого и преходящего. Полное нарушение
правил и с вашей стороны брать за венчание
сто «драм», [а следует половину их].⁴ У кого
возможность, пусть накормит; так же и в от-
ношении мертвого: если что нужно..., еще
более нужна будет забота о душе, столько же
из ста тифлисских («драм») да будет дано

¹ Букв. 'хваление'.

² Букв. 'глава'.

³ Для объективного префикса ჰ(*გარდაკვებოთ), который, как то указал мне К. Д. Дон-
дуа, предлагает восстановить проф. Шанидзе, в соответствующей дефектной части надписи
явно не остается места. См. Акакий Шанидзе. სუბიექტ. პრეფ. შერეუ პირ. და ობიექტ. პრეფ.
შესამე პირისა ქართულ ფონებში. Тифлис, 1920, стр. 55, прим. 2.

⁴ Здесь лагуна восполняется мною (см. ниже, стр. 673).

⁵ А не арსთ ძალი (Н. Я. Марр, ук. соч., стр. 1438).

9 ლურისა მიეტეს და [თუ ძალი ედვას]¹ || ჰუ-
 რი აჭამოს და სსუა წაღება ძალისა
 ეზნად. ყოველი მისაცემელი მღ[ღელთა
 10 უზრკოლ] || გუბელი იყავნ თქუენდა მოსა-
 ცემ[კე]ლადა. მკუდრნო ამის ქალაქისნო
 11 ქართველნო. რ... ცა... [იგი] || პირველად
 დიდად პაციფცემლით. მღღელთაგან გიკმს
 ლოცვა და წირვა. ნუ გეწუნიების მათუს
 12 მა[ლი] || სა ებრი მისაცემელი. უფროსად
 მხიარულებით მისცემლით თუნიერ დაჭირე-
 13 ბისა. რამეთუ მხიარ[] || ულებით მისცე-
 მელი უეკუარს ოჯალას. და თქუენ გიყ-
 (უ)არდენ ვითარცა მამანი სულიერნი და
 14 მათ უეკუარლით ვ[ითარცა] || შეიღნი სული-
 ერნი. ლოცვასა ნუცა თქუენ დააკლებით
 და ნუცა თქუენ. ყოველსა ზედა უ-
 15 ფროსად საღმრთოა [იგი] || სიუკუარული
 ერთმან ერთისაა მოიგეთ და ამით მიეციო
 სასურველ საღმრთოთა მცნებათა

[и у кого возможность],¹ и накормит, а, кроме того, можно еще брать священникам [порцию] по состоянию, всякое же даяние священникам [не-возбран]но да будет вам (священникам) дано. Жительствовавшие в сем городе грузины! (Надлежит помнить), как сильно вы раньше почитали их! От священников вам требуется моление и богослужение: не досаждаете на посильное даяние им. Больше всего давайте с радостью (2. Коринф. 9,7), без принуждения, ибо господь любит радостное даяние. Любите вы их, как духовных отцов, и они да любят вас, как духовных детей. Служб (в церквах) ни вы (священники) не пропускайте, ни вы (миряне), но более всего стяжайте божественную любовь друг к другу и таким путем воздайте желаннейшую из божьих заповедей.

Это основная часть надписи, в которой находят выражение условия, долженствовавшие определить взаимоотношения священников с мирянами: в ней дано то, что на Западе в дипломатике называли *tenor specialis*,² а в Грузии *gagebuli*.³

Первые две части надписи вместе заключены клаузулой (строки 15—16):

6 ესე მე ეციო || ანეს⁴ კათოლიკოსსა⁵ ჩე-
 მითა კელითა დამიწერია, ოდეს ანის[სა]⁶
 ეკლესიანი ვაკურთხენ.

Это написано мною, католикосом Епифанием⁴ собственноручно, когда освятил в Ани⁶ церкви.

6. Далее следует примечание (см. ниже) к «*gagebuli*».

17 ცფილური ასი დრამა || იგი იყოს: დანგი
 ერთი გ მიეტეს.⁷ და ზროხის ცვაფი რომელ.
 ერთობ წაგილია აქამდის, აწ სა-

Те сто тифлиских «драм» [за требы] пусть останутся, но с уплатой одного «данга» за три;⁷ что касается коровьей шкуры, до сих

¹ Здесь лакуна восполняется мною.

² Ив. Джавахишвили, ук. соч., стр. 137.

³ См. выше, стр. 667.

⁴ В труде И. А. Джавахишвили ქართული საფას-საზომთა მცოდნეობა (ისტორიის მიზანი, etc.; кн. III) Тифлис, 1925, в Предисловии в.მ. ეციფანე, по ошибке, значитса სკეფანე.

⁵ Однако, ср. «*აღმწიგნობის*» *kađađikosin* (строка 20 надписи).

⁶ А не анис ეკლესიანი «анийские церкви» (Н. Я. Марр, соотв. место), (ср. ქართლის ცხოვრება, изд. Такайшвили, Тифлис, 1906, стр. 510₁₄ et pass.: ანისის).

⁷ См. ниже, стр. 672.

18 წირავდ || ვე მისცემლით თუთო შოღღსა.
ჩუგნ¹ საეკლესიოთა წესთაგან რად შევიცვა-
ლებით?

пор вы (священники) брали целиком, отыные вы (ириные) давайте им по ремню, чтобы они служили (вам). К чему нам¹ менять церковные правила?

7. Ниже следует конечный протокол, по грузинской терминологии, ბოლო ხოლ²:

9 ვინცა ესე ჩემი გა[ტე] || ბული შეცვალოს,
არ[ავე] ცვალოა მან³ ზრძინება ღმრთისაგან
და მისთა წმიდათაგან? ქორონიკონსა ულჳ
ძე. იღს. ხუ თქუ ვიხარო ჩი[ხეაყხუ ხა]
ჩუ[ტე]ლი. ხუ უარაჲმ ამჩრჲყ ვართაგნი
აქაჲსნი. ირ ჯაბართილინი წრანანტ ხე...

«Кто это мое распоряжение изменит, не [изменит ли он]³ веление от бога и святых его? Хроникона 438.

Летосчисления (арм.) 667-го я, владыка Григорий, архиерей, епископ, я Вахрам, эмир сего города, мы свидетельствуем, что сие веление (грузинского) католикоса...».

Эта часть, обычно заключающая в себе специальное рукоприкладство კელბოულობა *qelgbuloba*⁴ дающего грамоту с датой სთავადავი *savdalavi*, лишена первого. Но зато надпись «своеручная», т. е. писана автором «своей рукою», и к ней применен, повидимому, тот принцип, что «подписи писца не требовалось, ибо он сам писал грамоту и, в сущности, значит, в вышеприведенной формуле снабжал ее своею подписью».⁶ Правда, такое неприменение специального рукоприкладства и не вытекает из правила (см. ниже, стр. 690).

Несколько своеобразно формулирована религиозно-правственная санкция: «Кто это мое распоряжение...» и пр., на которую до известной степени опирается акт (см. ниже, стр. 673). Специальный интерес вызывает и последняя в надписи клаузула с удостоверительными рукоприкладствами послухов (см. ниже, стр. 690).

8. Особого внимания заслуживает клаузула, трактующая о тифлисских драмах и коровьей шкуре: в порядке преемства клаузул, за заключительной формулой — «это написано мною» и пр., непосредственно должны были следовать санкция и, затем, рукоприкладство с датой.⁷ Уже это дает основание — введенную в их промежуток клаузулу «сто тифлисских драм» и пр. рассматривать как примечание: заключив во второй

¹ А не შოღღს. და ჩუგნ «И к чему нам...» (Н. Я. Марр, соотв. место).

² Букв. 'конец'. Ив. Джавахишвили, ук. соч., стр. 118.

³ Конъектура принадлежит К. Д. Дондуа (см. ниже, стр. 673—674).

⁴ Ив. Джавахишвили, ук. соч., стр. 114.

⁵ Букв. 'счет'. Ив. Джавахишвили, ук. соч., стр. 115.

⁶ С. А. Лаппо-Данилевский, ук. соч., стр. 97.

⁷ Ив. Джавахишвили, ук. соч., стр. 118.

части надписи подлинную «выпись», католикос снабжает ее в третьей примечанием, как раз не в пример тем пастырям, которым Каетмир посвятил три любопытные строчки:

Ивой пиша проповедь, выпись позабудет,
От него доходам вред; а в них церкви права
Лучшие основаны и вся церкви слава.

Примечание это с предыдущей частью автор мог бы связать словом კიდევ kideve, букв. 'а еще', как это допускает грузинская грамота царя Александра 1392 г.¹

С другой стороны, в коррективе нуждается вышеприводимый русский перевод этого примечания: «Те сто тифлиских драм за требы пусть останутся, но с уплатой одного данга за три». При таком чтении выходило бы, что католикос, в начале надписи определив сколько тифлиских драм полагалось брать за требы, в конечной части это самое определение подвергает существенной оговорке.

Для католикоса, очевидно, важна была другая сторона вопроса. Дело в том, что надпись различает двух типов драма: просто დრამა драм и ტფილისის დრამა тифлисская драм (подробнее см. ниже). В городе Ани, по крайней мере, в грузинской среде, наряду с драмом, повидимому, знали и тифлисская драм. Постановление в общем гласит: за венчание не сто драм, а такая-то часть их, за поминовение — такая же часть из 100 тифлиских драм.² И в связи с этим католикос, очевидно, для точности, считает нужным к сказанному присовокупить в виде примечания: «(В дополнение к сказанному выше) о тифлиских 100 драмах: (при этом счете) надлежит платить (монетой) данг один г» (см. ниже). В клаузуле выражению ოცო ოულს должно соответствовать аналогичное ტფილისის ოქნება³ букв. 'что будет' в смысле 'составит'. Из возможных чтений этого места наиболее логичным и синтаксически правильно построенным должно, как нам кажется, явиться предлагаемое.

II

9. Из остающихся в надписи лакун некоторые поддаются восполнению.⁴ В обращении к священникам католикос определяет, сколько им взи-

¹ Ф. Жордания. ქრონიკები, II, стр. 198.

² Судя по строкам надписи 6, 8, 16—17, Епифаний в основу счета кладет сотню.

³ Е. Такашвили. Грузинские древности, т. III, стр. 139: ქიზიუში მანჯანოკზედ სამი სცილი ქალაქის სცილით, რომელიც სამი სცილი ოქნება, ოთხმოცდაცხრამეტი მისხალი აბრეშუმი შორავისა არის.

⁴ См. выше.

мать за венчание (строки 5—7): из текста видно, что взимание по 100 драм он считает «полным нарушением правил», и мы бы ожидали тут же конкретного указания с его стороны относительно размера справедливого гонорара; а как раз в этом месте у нас имеется пропуск и, затем, слова ახს. თ[უ] ძალი ედვას, ზური აჭამოს, «(следует). У кого возможность, пусть накормит (священника)». Ясно, что плату в 100 драм за венчание католикос не мог заменить такой, можно сказать, невинной добровольной повинностью, как ზურის ჭამა puris tama, букв. 'ядение хлеба', в надписи — 'трапеза'. Как указано ниже, при самых разнообразных случаях трапеза рассматривалась, как церковно-бытовое обязательство верующих, и это в соответствующих актах выражалось совершенно трафаретно: «если может, пусть накормит». Кстати, это выражение повторяется в надписи же Епифания, там, где говорится об умерших (строки 8—9 надписи; см. ниже, стр. 680). Потому в пропуске будем подразумевать определение денежной платы, которую католикос считал справедливой, и соответствующее место в тексте восстановим, примерно, в следующем виде: «... нарушение правил... брать за венчание сто драм [следует взимать их половину]. У кого возможность, пусть накормит (священника)», в тексте: უწყსო ახს ადებოა სისს დრამის [ერგასისა ხ ჯერ] ახს. თ[უ] ძალი ედვას, ზური აჭამოს.

10. Далее, где говорится относительно заботы о душе и определяется соответствующий размер платы за поминовение умерших, католикос постановляет: «столько же (т. е. столько, сколько определено выше за венчание) из тифлиссских ста драм да будет дано», и, затем, опять трафаретная фраза: «если может, пусть накормит», в тексте: (სულისთვის) «ეგდენივე (რამდენიც გვარკვიობის კურთხევისთვის) სისს ტფილურის მიეტეს და[თუ ძალი ედვას] ზური აჭამოს (тут в строчку вводится нами თუ ძალი ედვას «если может»). Эти слова: «столько же из ста тифлиссских драм» за поминовение лишней раз доказывают, что выше католикос определяет плату за венчание в драмах.

11. Наконец, об одном еще пропуске в надписи. Обычно в конечный протокол грамот включается, как известно, специальная религиозно-нравственная санкция в виде, напр., такой трафаретной формулы в русских актах: «аще кто преступит сия правила... да будут прокляты в сей век и в будущий».¹ В грузинских актах соответствующая формула гласит примерно так: ვინცა კცმან... შესწავლეს, კრულმცა ახს (Ф. Жордания, ქრონოგრაფი. I, стр. 188₁₀: «кто это (определение) нарушит, да будет проклят»).

¹ Устав св. Владимира о церковных делах и о десятинах, изд. Арх. ком., Пгр., 1915, стр. 71.

Эта часть в грамотах на грузинском языке обозначается термином ბრძანებულება ბრძანებულება ბრძანებულება, ¹ букв. 'воздаяние за грехи'. Эта формула обычно варьируется, но в надписи католикоса она, судя по оставшимся от нее следам (см. строка 19 надписи), в такой мере уклоняется от шаблона, что пропуск в ней затруднительно восстановить.

А там начертано: «кто это мое распоряжение изменит, не... веление от бога и святых его». Выход намечается в вопросительном обороте речи, именно, это место может гласить следующее: ვინცა ესე ჩემი ბრძანებულება შეცვლის, არაუკუ ცვლას მან] ბრძანებულება ღმრთისაგან და მისთა წმიდათაგან? «Кто это мое распоряжение изменит, тем самым не изменит ли он веления от бога и святых его?». В пользу этого чтения говорит уже одно то, что вопросительный оборот речи можно считать характерным вообще для надписи. У католикоса помимо этого имеется в тексте еще два вопросительных предложения: один случай (строка 2): «... говорит вам бессмертный бог: «дано ли вами мне что-либо за благодать, которую вы получили от меня?» и второй случай (строка 18): «К чему нам менять церковные правила? И потом, вся надпись проникнута духом «христианского» миролюбия: католикос в обращении к народу вразумляет его, увещевает; выдерживая топ до конца, он нарушителя его определений не анафематствует, «свирепствуя во словесах», а кротко и риторически вопрошает: «Зачем нам менять церковные правила?»; мол, изменить мое распоряжение было бы это не равносильно ли нарушению веления от бога и святых его?»

Если бы приведенные соображения по части восполнения пропусков оказались верными, тогда в надписи осталось бы, до поры до времени, не считая большой лакуны в армянской ее скрепе, два не восстановленных пропуска, по существу, впрочем, не вредящих тексту (см. строки 7 и 10 надписи).

III

12. В кратком трактате Епифания о конфликте, возникшем в грузинской церкви, не случайно нашли себе место такие реалии, как: а) ღრძბუძე драм 'драхма' (строка 6 надписи) наряду с б) თფილური драм (то, что мы предлагаем вниманию читателя в форме тфилурдрам), resp. თფილურ 'тифлисский драм' (строки 8, 16—17), в) ღრძგო დანგ, г) ზრუნის ტყავი 'шкура коровья', (строка 17) наряду с д) შილტო შოლტ (строка 18).

Перечисленные факты, из которых данг, драм и тфилурдрам — нумизматические, исторически получив, по крайней мере, в феодальной Армении

¹ Ив. Джавахишвили, ук. соч., стр. 111.

и Грузии определенное социальное содержание, так и сохранились здесь вечными символами определенных форм эксплуатации народа. В частности, по поводу драм в быту у грузин-гурийцев Н. Я. Марр замечает (ук. соч., стр. 1441), как эта статья церковных доходов «использована была в начале XX в. последним революционным движением в Гурии, да и вообще в Грузии».¹

Поучительна с точки зрения развития «мирского искусства» в практике церкви история шкуры. Шкура в церковном обиходе является переживанием язычества.² Любопытный в этом отношении пример дает Свания, которая за шкурой осязательно сохранила культовое ее значение: после ритуального заклания животного, как о том любезно нас осведомил этнограф А. З. Ониан, так наз. мулзоны (сванские маги) шкуру оставляют исключительно себе, и, что особенно характерно, христианским священникам здесь, в соседстве с мулзонами, от шкуры ничего не достается. А в тех уголках Грузии (как и Армении), где взяла верх официальная церковь, шкура вошла в обычную для феодального мира номенклатуру повинностей. О старом культе могла напоминать разве только традиция, в силу которой, напр., крестьяне из грузинской деревни Питловап шкуру, против других продуктов, обязывались доставлять не церкви вообще, а лично священнику.³

Из означенных реалий для нас специальный интерес представляют т ф и л у р, герр. т ф и л у р драм, и данг, как нумизматические названия, и ш о л т, как единица измерения шкуры.

Тфилур, грузинское название драма, имеет общий корень с названием города Т и ф л и с⁴ и буквально значит 'тифлисский'. Таким образом, название т ф и л у р прямо указывает на т и ф л и сское его происхождение, точно как «новгородка» на новгородское происхождение соответствующей монеты. Это не должно бы подлежать сомнению тем более, что по одному памятнику XIII—XIV вв. параллельно с т ф и л у р имеем и ქალაყი qalaqi.⁵ Груз. qalaqi означает буквально 'городской', а 'городской' в определенных случаях понимается в грузинской среде, как т и ф л и сский, потому что в Грузии «город» — это Тифлис, точно как πόλις в определенной среде

¹ Речь о революции 1905 г. (Н. Я. Марр это писал в 1910 г.).

² Н. Я. Марр, ук. соч., там же.

³ Ф. Жордания. ქრონიკები, II, стр. 273.

⁴ Ср. tfil-ur с Tfil-is (грузинское название г. Тифлиса). Ср. tfilurda в значении 'тифлисских (жителей)' (К. Кекелидзе. ქართული ლიტერატურის ისტორია. Тифлис, 1923. I, 382g).

⁵ Ф. Жордания. ქრონიკები, I, Тифлис, 1892, стр. 264; также Ив. Джавахишвили. ქართული სავსე-საზომო მცოდნეობა, стр. 70.

может обозначать *Κονσταντινούπολις*. Таким образом, тфилурдрам и калакурдрам типологически сродственные термины, обозначающие, может быть, одну и ту же денежную единицу;¹ калакур в смысле 'тифлисский' в грузинских памятниках употребляется и применительно к мере веса литр, так, имеем ქალაქური ლიტრა qalaquri litra 'городской литр', но имеем также, по Ив. А. Джавахишвили,² ტფილის-ქალაქური ლიტრა tphilis-qalaquri litra, букв. 'тифлиско-городской литр', — тут вскрывается название Тифлиса в народной его форме ტფილის-ქალაქი Tphilis-qalaqi, 'Тифлис-город'.

§ 10. Существеннее было бы установить стоимость тфилурдрама, или тфилура. Но это весьма затруднительно: этот вид драма мы встречаем единственно в надписи Епифания и, может быть, в упомянутом выше памятнике, где имеем калакурдрам. С другой стороны, Н. Я. Марр в изданном им Синодике Крестного монастыря в Иерусалиме³ в агапе № 203 (стр. 51) наблюдал выражение თფილურ ღირსი ღირსი, что, по раскрытии титла, казалось бы, должно читаться как თფილურ ღირსი ღირსი и означать, таким образом, опять-таки, монету тфилур; в примечании же к этому выражению агапа Н. Я. Марр указывает, что еще легче прочесть это слово с предшествующим ему словом ოცეა gvaу 'восемь': ოცეა თფილურ ღირსი, с раскрытием титла, gvaу ღირსი ღირსი 'восемь кусков лар'.⁴ И точно, последнее чтение, «восемь кусков лар», как убеждаемся, неоспоримо именно по следующим соображениям: как нужно предположить (об этом ниже), тфилур по своей стоимости незначительно разнится от ღირსი драм, гесп. თეთრი მემი, букв. 'белая (монета)'; и в таком случае при чтении спорного слова как тфилур пришлось бы признать несуразность редакции данного места в агапе, потому что оно читается так:

მს 2 ა ოცეა ოცეა ოცეა || მს სტრი: 3 გ: 5 ე ||
 ოცეა ოცეა ოცეა || ოცეა ოცეა, მს სტრი ოცეა || ოცეა ოცეა ოცეა
 ოცეა ოცეა ოცეა ოცეა || ოცეა ოცეა ოცეა ოცეა ||
 ოცეა ოცეა ოცეა ოცეა || ოცეა ოცეა ოცეა ოცეა ||

В то время, когда Крестный монастырь в лето 26 (по груз. кроникону) отобран был у персов, тогда восемь тфилур (თფილურ ღირსი) и тысячу белых мы (имя рек) расходовали на (выкуп) монастыря.

А это соответствовало бы редакции: мы, такие-то, расходовали на выкуп монастыря 8 драм и 1000 белых, или, что то же, 8 драм и 1000 драм! С другой стороны, когда принимаем допущенное Н. Я. Марром чтение gvaу ღირსი (а не ღირსი) ღირსი 'восемь кусков лар', соответствующее место в агапе получает полное осмысление.

¹ Ив. Джавахишвили, ук. соч., стр. 1.

² Ук. соч., стр. 71.

³ СПб., 1914, Bibliotheka Armeno-Georgica, III.

⁴ Подробнее см. там же, прим. 2; см. его Надпись Епифания etc., стр. 1439, прим. 1.

В самом деле, ლარა (ლარი) л а р это 'шелковая ткань', 'парча',¹ вообще всякое 'сокровище', 'красный товар' и пр.; в феодальной Грузии была специальная государственная сокровищница სკვარა salago, где хранились всякие лары. Лары шли за деньги: так, в дарственной грамоте 1259 г. грузинский эристав («герцог») Кахай, как очевидец, свидетельствует,² что после разгрома Багдада (1258) Хулагу-ханом, дешево распродавался всякого рода алан (военная добыча), «у меня же, говорит Кахай, не было денег (სსსუიდელი); пошел, взял займы у ортагов л а р и б е л ы е, обходил и покупал драгоценные камни, жемчуга» и т. д. Очевидно, что здесь л а р и б е л ы е одинаково представляют покупательное средство. И не случайно, что как здесь, так и в упомянутом агапе тоже «лар» и «белые» стоят рядом.³

Соответственно с этим, означенное место в агапе должно понимать в том смысле, что на нужды монастыря расходованы были 8 кусков лар (გვაუ ღავი ლარი) и 1000 белых. Остается с выражением «восемь кусков лар» сопоставить выражение ხუთასი თავი სტავრა ღიდასი ღავი სავრა «пятьсот кусков ставры» (Джуаншер. ცხოვრება ვახტანგ გორგასლის. ქართლის ცხოვრება, изд. Е. Такайшвили, *347, стр. 150₁₂).

§ 11. Таким образом, тфилурдрам оказывается засвидетельствованным только в анийской надписи, и это обстоятельство, кстати, подсказывает мысль, что название т ф и л у р выработалось в самом Ани в соответствии с калакур «городской», термином, неудобопонятным для не-грузин. За такой уникальностью случая, когда попадаетеся нам тфилур, делается невозможным определить соотношение его с просто драмом; в виду этого мы бы ограничились указанием, что одно противопоставление Епифанием двух сумм: в 100 драм и в тифлисских 100 драм, судя по означенному месту надписи (см. выше, стр. 672), сразу выявляет какую-то разницу между тфилур и драмом. Но, с другой стороны, повидимому, эту разницу определяет Епифаний в своем примечании (строка 16—17), которое мы читаем так: «(в дополнение к сказанному выше) о тифлисских 100 драмах: (при этом счете) надлежит платить (монетой) данг один г». На основании данного примечания мы склонны «данг один г» рассматривать как определитель разницы между тфилур и драм и в тфилуре видеть именно монету «данг один г».

¹ С. Орбелиани. ქართული ლექსიკონი, изд. 2-е. Тифлис, 1928, S. v.

² Ф. Жордания. ქრონიკა, II, стр. 134.

³ См. также Wakhoucht. Description géographique de la Géorgie, изд. Brosset. S.-Petersb., 1842, p. 20₁₅: «თქონი ანუ ლარნი» ღერი ანუ ლარი.

Стало быть, определение последней дало бы возможность определить стоимость тфилур. С одной стороны, определенный интерес представляет то, что Ив. А. Джавахишвили (цит. соч., стр. 31) в памятнике XIII—XIV вв. наблюдал термин $\text{ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ}$ *danḡi* 'двойной данг', откуда названный ученый заключает, что современники, наряду с двойным, должны были знать и недвойной, по меньшей мере, простой данг ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ *danḡi*. Этот факт, как будто, мог бы навести на мысль, что один данг г надписи, по аналогии с двойным и простым, есть тройной данг ($г=3$); и тогда пришлось бы видеть в нем обозначение курса денег, так как двойной данг обозначал именно курс денег (там же); но, с другой стороны, следует заметить, что в надписи обычные количественные понятия выражаются не цифрами, а прописью: ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ *asī* *vm.* буквы ᄃᄂᄃᄂᄃ — г 'сто', $\text{ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ}$ *egḡi*, *vm.* буквы ᄃᄂᄃᄂᄃ — а 'один'; а в нашем примере имеем *danḡi erḡi g* «данг один г».

Уже одно это внушает мысль, что буква *g* с числовым значением должна являться нумизматическим знаком, обозначающим, может быть, нарицательную цену данга, и что «данг г» представляет частичное воспроизведение легенды соответствующей монеты.

Для вопроса особенный интерес приобретает тот факт, что время царствования Тамары нам сохранило медную монету выпуска 1200—1208 гг. с надчеканом, представляющим собой сочетание двух включенных в паз-прямоугольник знаков: церковно-грузинской заглавной буквы ᄃᄂᄃᄂᄃ *D* и, как предполагается, арабской цифры ᄃᄂᄃᄂᄃ *g* ($=3$).¹ В букве ᄃᄂᄃᄂᄃ усматривают сокращение слова $\text{ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ}$ *DANGI* в значении монеты; осмысление же арабского знака ᄃᄂᄃᄂᄃ затруднительно.² Однако, с другой стороны, не исключается возможность, что безотносительно к весу данной монеты надчекан обозначает данг 3, определяя, таким образом, ее как 3-жданговую, по нарицательной цене.³ Такое толкование знаков надчекана приобретает более реальный смысл, когда мы его сопоставляем с тем, что сказано выше о «данг один г», рассмотренном нами в соответствующем контексте надписи. Мы склонны последний *terminus technicus* и надчекан рассматривать как взаимно осмысляющие друг друга факты: как раз к тому времени, от какого происходят надпись Епифания и в ней упомянутая монета «данг один г», восходит, по своей древности, и интересующая нас монета с ее надчеканом

¹ Е. А. Пахомов. Монеты Грузии (Зап. Нумизм. общ., т. I, вып. IV, СПб., 1910, стр. 103 сл., 126).

² Ук. соч., стр. 126.

³ С. Какабадзе. $\text{ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ ᄃᄂᄃᄂᄃ}$ в Bull. Hist., II, Тифлис, 1924, стр. 76.

ДЗ = **данг 3**, т. е. 3-хданговый драм, в котором и находит, следовательно, **монета из** надписи Епифания свое материальное лицо.

При убедительности сказанного нам осталось бы внести соответствующий корректив в чтение 16—17 строк надписи и представить его в таком виде: «(в дополнение к сказанному выше) о тифлисских 100 драмах: (при этом счете) надлежит платить 3-хданговым драмом».

§ 12. Помимо денег, народ платил клиру натурой. Надпись Епифания называет коровью шкуру как гонорар за литургию (строка 18). Епифаний в пользу священников определил один шолт шкуры. В уточнение определения шолта, как единицы измерения, имеющегося у Н. Я. Марра,¹ мы можем указать, что коровья шкура, как нас любезно осведомил о том этнограф Арсен Ониан, в сванской практике измеряется в 15—20 шолт. Шолт в Свании определяется как кусок шкуры длиной около 65 см, шириною около 20 см; сванский шолт рассчитан на выделку пары лаптей. Это и дает нам основание думать, что католикос обеспечил священников лаптями (см. ниже, стр. 681). Питлованцы точно так же должны были платить Самтависской церкви, очевидно, шкуру на пару лаптей.² Шкуру, как вид церковных поборов, встречаем и в других памятниках: так, анийская надпись, армянская, которая годом старше епифаньевой, называет *ճորժ* *տող* 'шкура', которую обыватели (армяне в данном случае) платили в каждую пасху церквам (см. анийскую надпись 1217 г. Алишан. *Շիրակ*, стр. 68).

IV

Итак, для определенного промежутка времени мы располагаем документом, надписью Епифания, который бы явился ценным вкладом в изучение интересующего нас вопроса, даже когда бы он исчерпывался одним голым перечнем означенных повинностей. А он содержит в себе свидетельство и гораздо более важное: он именно говорит о том, как налаживалось само взимание подати в пользу клира; т. е. акт католикоса ставит нас перед вопросом, едва ли не самым важным в истории «мирского искусства» в церковном строительстве. В дальнейшем изложении мы и будем ориентироваться на эту сторону свидетельского показания католикоса.

Благодаря своему хозяйственному, веками накопленному, опыту грузинское духовенство, как и армянское, имело, конечно, огромные достижения в деле организации аппарата эксплуатации подчиненных. Достаточно данных одной дипломатической местной литературы, чтобы заключить о пре-

¹ Ук. соч., стр. 1436.

² Ср. Ф. Жордания, ук. соч., I, стр. 265.

Сб. в честь Н. Я. Марра.

восходной налаженности здесь учета всех возможных поступлений церкви — момент, важность которого так красочно выразил Кантемир (см. выше, стр. 672).

Между прочим, надо полагать, что католикос Епифаний в своих решениях исходил из определенных норм, которые должны были существовать в его время. Это вопрос, который требует дальнейшего исследования. Здесь укажем следующее.

По определению католикоса, дополнительно к плате за венчание и за поминование мирянам вменяется в обязанность накормить священника (строка 7—9): «если может (тот, кто должен священнику), пусть накормит (Հյճօ հճմօւք րոյ աթամօ)». И в монастырском быту кормление жертвователями обитателей монастыря хлебом, в грузинском широком значении слова, применялось в больших размерах. Так, вышеупоминаемый эристав Нахай в грамоте, дарованной им Рконскому монастырю, повелевает: «Пусть да будет справлен (подразумевается за счет дарителя) хороший агап из четырех блюд, но так, чтобы хлеба было вдоволь (букв.: досыта *მსდგნდ*) и с вином. Чтобы и нищие, сколько бы их ни оказалось у входа (монастыря), наедались досыта; немощным же и больным, кто не в силах будет приходить, чтобы продукты посылались на дом» (Жордания. *ქალბოჯბო*, II, стр. 135). В агапах характерно выражение: «пусть и хлебом будет накормлен священник» *Հյճօցս յճյուգյւք Բյճյւնէ* (Н. Я. Марр. Синодик Крестн. мон., стр. 22 сл.).

Вообще известна извечная забота церкви о привнесении в свою практику обмена «благодати» (ср. строки 2—3 надписи) на материальные блага известных организационных принципов. Это было связано с тем положением дела, что, с одной стороны, именно этот обмен, повседневный, должен был обеспечить, в основном, существование массе священников; с другой же, «звякание медяков» в церкви давало тем более отрицательного эффекта, что главной участницей обмена выступала широкая масса населения, как раз наиболее чувствительная к повинностям. Руководящие круги выхода должны были искать в максимальном нормировании поступлений (см. ниже). Сообразно с такой задачей, напр., пункт пятый канонических постановлений Алванского собора (488 г.) гласил:

*Եթէ ազատ է, եթէ շինական եւ եթէ այլոր
յաշխարհականաց ի տարոյն զաշտարագ մի՞
խափաննցէ, այսինքն զմտեւոց յիշատական,
որպէս եւ կարողն է. եւ անմասն մի՞ արասցնն
զմտեալն ի վաստակոց իրեանց. եւ մոռնալ
մարդոյն եթէ ձի է՝ մի ձի գոր եւ կամի եւ եթէ*

Азат ли, шинакан (крестьянин) ли, или кто другой из мирян одну литургию в год нерушимо да блюдет (давая служить ее священнику), подразумевается, в память об умершем, смотря по возможности. И да не оставит его (умершего) без доли в его труде:

արքայն է՛ մի արքայն արք Եւ Կամի, յիզնոցիս
այլց:

если у умершего были лошади, пусть дает из них церкви одну, какую хочет, если быки — одного быка, какого хочет».¹

Организационные мероприятия в основном сводились к выработке таксы, долженствовавшей обеспечить священникам, так сказать, прожиточный минимум и тем согласованной, следовательно, с принципами церковных правил: плата за требы должна была составлять «цену одежды и пропитания», как это формулировано, между прочим, в одном из пунктов постановлений армянского Сисского собора (1243 г.).

Католикос Епифаний в своих определениях хуцесов (священников) обеспечивает, между прочим, и шкурой коровьей, но в размере, необходимом для выделки пары лаптей, — «паек», который одинаково считался скудным как в условиях армянской церкви XII в., так и в условиях русской церкви петровского времени: как Нерсеса Клаэнского (1166 г.) вызывают на резкое замечание «запачканные туфли» священников, точно так же и Посошкова (ум. 1726) их «лапти растоптанные и во всяком кале обвалянные».²

Однако, поскольку церковь органически была связана с общесоциальной системой феодальных отношений, в ней, конечно, так же неустранимы были внутренние противоречия, как и в остальном феодальном мире. Широкое участие в хозяйственной жизни понуждало духовенство приспособлять статьи дохода к законам рынка, ломать, где представлялась возможность, старые церковные официальные определения, нарушать «апостольские заповеди».

Но обратимся к фактам, засвидетельствованным в надписи Епифания, оговорившись, что в нашу задачу входит рассмотрение не взаимоотношений между церковью и народом вообще, охватывающих и земельные и прочие отношения: нас здесь интересуют те отношения между членами церкви, которые исходным своим пунктом имели именно повседневную практику обмена «благодати» на материальные блага, — то самое, о чем трактует надпись Епифания.

V

Определения католикоса, при учете сказанного нами выше, могут быть сведены к следующему основному:

¹ Моисей Каганкатвацц. *Պատմ.* М., 1860, стр. 66.

² Посошков. Книга о скудости и о богатстве, etc. Москва, 1842, стр. 31.

а) за венчание 50 драм¹ против взимаемых 100 драм; б) за службу 50 фѣлурдрам против взимаемых 100 фѣлурдрам и 1 шолт против 1 целой шкуры с сохранением в силе угощения в виде: а) трапезы и б) аршива (წაღებანა).²

Из этих определений можно усмотреть, что миряне «переплачивали» процентов на 50 при уплате фѣлурами и процентов на 83—85 при уплате шкурой. Уплата целою шкурою (ძირღ)³ тяготила и армянскую религиозную общину в том же городе Ани (Н. Я. Марр. Надпись Епифания, стр. 1440).⁴

Эти факты уже в таком своем виде должны были явиться достаточно убедительными в глазах католикоса Епифания, чтобы он мог заговорить об анархии в церкви и заговорить почти таким же языком, каким говорил перед лицом аналогичных фактов Зураб, современник нашего настоятеля монастыря, тоже герой упомянутой нами книги Калмасоба (см. выше, стр. 665).

Зураб, критикуя служителей церкви, характеризовал их в следующих словах (Журн. «ცისკარი», 1868, II, стр. 99):

ახე რომ მონათლებ ვისმე, იმ უმარწვილის ნათლის, ან ღელ-მამას გამოართმევენ მონათლავსა.

დაქორწინებენ ვისმეს, საუღრის კარსაც დაუკეტენ, ვინემ არას მისცემენ, და ჯვარის საწერსაც გადასდევნიებენ, იმასაც არ დასჯერდებიან. ხალიჩა და ფარჩაც უნდა ქვეშ გაუშალონ შექორწინეთ, რა[ა] ისიც იმათ წაიღონ; მოკვდებან ვინმე, სასაფლაოს ფასს, სამცვეროს,⁵ საწირავს, კიდევ წლის შაბათის საწი-

Так что, крестят ли младенца, взыщут с восприемника или с родных; венчают ли кого, запирают двери и не выпускают его из церкви, пока не уплачено им. Взыщут за венчание, и все не удовлетворятся: подвенечным родственники должны еще постлать под ноги ковер, также и парчу, чтобы потом их взяли себе венчающие. Умер ли кто, взыщут за могилу, взыщут саимтвери,⁵ взыщут за литургию, особо еще за службу, приходя-

¹ По постановлению Константина Мономаха, епископ с жениха брал 1 золотую номисму и с невесты 12 локтей пряжи (Н. Скабаланович. Византийское государство и церковь в XI в. СПб., 1884, стр. 967, прим. 1).

² Груз. *tağebaυ* букв. 'взятие (с собой)'.
³ Арм. *moğđ* 'шкура'.

⁴ Пример католикоса Епифания, заменившего повинность в виде шкуры ее частью, допускает соответствующий корректив к указанному месту в работе Н. Я. Марра, где речь о снятии еп. Григорием с армянского населения «повинности в виде шкуры»: здесь дело могло ограничиться заменою целой шкуры ее частью. Армянская надпись, на которую ссылается Н. Я. Марр, дефектна.

⁵ Саимтверио — плата священнику за службу в память об умершем, падающую на субботу в годовщину смерти, или на 9-й или на 15-й день со дня смерти. В виде саимтверио давали 10 руб. деньгами, постель умершего, одежду, ковер (ხალიჩა), или — в память об умершей — ее личак, предметы роскоши и т. п. — Этими сведениями мы обязаны кахетинцу Е. Карбелашвили.

რავს და პანაშვილისას გამოართმევენ, ხასლის განახლავს საშობაოს — იმასაც გამოართმევენ. აგრეთვე, — ნიშანს ეძახიან, — კარგი ცხენი ჰყავს ან კარგი თოფ-იარაღი აქვთ, მასცა წაიღებენ და ცაბლას¹ ხომ, ასიც მივიღეს ხასულაოზედ, ერთს ლუქმას გლახაკსაც არ დაუღებენ წილს; ამასთან ქვეშაგებს, ცანისამოსსაც შევდრისას მთლად წაიღებენ, ესრეთ დაახლეობენ ერთს ოჯახს და სხვა საკანონოები რაღა მოგახსენო საზოგადოდ.

щуюся на субботний день в годовщину смерти, взыщут и за панихиду. Взыщут и за освящение дома на рождество. Точно так же и нишан: есть у родных умершего хороший конь, или хорошее оружие, — и это отнимут. А с табл,¹ будь бы их хоть вся сотня доставлена на кладбище, ни куска даже нищему не предложат. Заодно отнимут (у родственников) и постель умершего, и одежду его, отберут целиком. Так разорят семью. А о прочих взысканиях в счет эпитимии вообще нужно ли говорить».

А грузинский иерарх Епифаний, как свидетель аналогичных явлений, восклицает, обращаясь к священникам: «Полное нарушение правил и с вашей стороны брать...» и пр. (строка 6 надписи); или еще: «К чему нам менять церковные правила?» (строка 18). Впечатление, получаемое от этих слов тем сильнее, чем оригинальнее и все выступление произносившего их: этой критике интимной жизни церкви именно со стороны духовного чина и именно через посредство «печатного слова» (надпись) едва ли найдем мы аналогию вообще в писанной истории народов Кавказа.

Уже одни методологического порядка соображения толкали бы нас на заключение, что побудить католикоса к такому выступлению не могли означенные факты хозяйственной жизни сами по себе. Но об этом говорит и сам памятник: по надписи, католикос непосредственно реагирует на определенные настроения и действия живого народа; народ в лице анийской общины сам воздействует определенным образом на клир и через него на иерарха (см. ниже). Прочитируем еще раз соответствующие слова католикоса в русском переводе:

«Жительствующие в сем городе грузины! [надлежит помнить] как сильно вы раньше почитали их! От священников вам требуется моление и богослужение: не досадуите на посильное даяние им! Больше всего давайте с радостью, без принуждения, ибо господь любит радостное даяние (2. Коринф. 9, 7). Любите вы их, как духовных отцов, и они да любят вас, как духовных детей. Служб (в церквах) ни вы (священники) не пропускайте, ни вы (миряне), но более всего стяжайте божественную любовь друг к другу и таким путем воздайте желаннейшую из божьих заповедей» (грузинский текст см. выше, стр. 670). А из этих слов следует тот прямой вывод, что в Ани, в дни Епифания, в грузинской общине не только стали тяготиться

¹ Табл — местного характера «скутья».

церковными повинностями и уклоняться от них; кроме того, упала посещаемость церквей (ср. ниже, стр. 688 сл.) и, в нарушение «желаннейшей из божьих заповедей» (строка 15 надписи), поколебались взаимная «любовь» клира и народа и «почитание» священников.

Здесь, между прочим, обращает на себя внимание момент обстоятельности надписи, обеспечивающей уразумение причинной связи между явлениями: рассказ (нарративный элемент), внесенный католиком в акт, дает представление как о причинах конфликта (социально-экономический фактор), так и следствиях, из них вытекающих (брожение в общине и обусловленное им выступление католика). Это обстоятельство вносит новый момент и в оценку самого памятника: в таком своем виде этот памятник может послужить некоторым подспорьем при суждении об обстоятельствах, в которых протекали другие конфликты данного порядка и которые, как правило, оказываются ступеванными в передаче у историков, в известиях вроде следующего:

Յամս Վաչականայ՝ Աղուանից արքայի, բազում հակառակութիւն լրնէր ՚ի մէջ աշխարհականաց եւ եպիսկոպոսաց, քորեպիսկոպոսաց եւ քանականաց, ազատաց եւ քամկաց: Ապա կամ եղի արքայի աննել ժողով յԱղուէնն բազմամբոյն տտեան¹...

«В годы Вачагана, царя алван, — свидетельствует Моисей Каганкатвацц,¹ говоря о причинах созыва в Алвании (кавказской) духовного собора (488 г.), — много было распрей между мирянами, епископами и священниками, хореепископами, азатами и рамиками. Тогда соизволил царь устроить собор» и пр.²

Но и при такой своей слаженности надпись, взятая сама по себе, еще не может удовлетворить любознательности, возбуждаемой ею в читателе. В частности, слова католика: «Больше всего давайте (священникам) с радостью, без принуждения» (строка 12) оставляют место для ряда недоуменных вопросов: так, не были ли причины, побудившие поступиться интересами клира (см. выше, стр. 682), еще серьезнее, чем уклонение мирян от церковных повинностей или непосещаемость церкви? Не был ли связан сам факт приезда мцхетского католика в Ани, где он освятил церкви (строка 16), с какими-нибудь эксцессами со стороны горожан, т. е. не имел ли здесь места тот же случай, что и в 1105 г., когда армянский патриарх

¹ Моисей Каганкатвацц, *Պատմ.*, стр. 65.

² Из пункта 4 протокола собора (там же, стр. 66) видно, что междоусобия возникли в связи и с разверткой среди населения «плодов» (пшеница, ячмень и пр.) в пользу клира.

Барсеѣ должен был экстренно вернуться из своей деловой поездки обратно в свой престольный город, все в тот же Ани, в виду начавшихся там «разного рода беспорядков»?¹

Эти вопросы тем более закономерны, что относятся к той же самой общественной среде, которая имела большие традиции социально-экономической борьбы. Скажем несколько слов о ней.

VI

Общественные элементы, непосредственно выступающие в надписи, это анийские хуцесы² (строка 4 надписи) и «жительствоющие в сем городе (Ани) грузины» (строка 10). Здесь под «грузинами» подразумеваются не одни национально грузины, но и конфессионально грузины (армяне-халкедониты, преимущественно) (Н. Я. Марр, ук. соч., стр. 1441).

Характер и размеры церковных поборов, давшие повод к распрям, диктуют нам мысль, что в надписи отразились интересы, прежде всего, более демократических групп горожан: в «жительствоющих в Ани грузинах», следовало бы, на наш взгляд, видеть в ряду купцов и ремесленников вообще — мясников, вишоторговцев, содержателей гостиниц-фундуков, или мешочников³ и др.

Для надлежащего понимания сути дела, может быть, существенно необходимо было бы привлечь сюда же и жителей пещерного квартала города, по своей внутренней жизни, однако, так мало нам знакомого.⁴

Таким образом, надпись нас вводит в городскую мелкобуржуазную среду в ее, так сказать, домашней обстановке — момент, и сам по себе любопытный: это редкий пример в данном случае в писанной истории Грузии, когда грузин мы видим участниками деловой, будничной жизни в инациональном городе: в этой истории несомненно сложные формы их участия в жизни городов Кавказа; по вполне определенным причинам, отобразились в аспекте военно-политических интересов: на ее страницах грузины обычно выступают или в моменты подготовки у них похода против того или иного из соседних городов, или во время битв под их стенами.

В этот период (XII—XIII вв.) общего развития центров Кавказа в Ани «все росло, развивалось, перестраивалось» (Н. Я. Марр. Зап. Вост. отд., XXI, стр. LXX). Развитие строительных работ при эффективном

¹ Вардан. Всеобщ. история. Венеция, 1862, стр. 113.

² Груз. ზუგუბნი ღიფესი 'священник'.

³ См. надпись магистра Баграта в изд. В. Н. Бенешевича, Анийская сер., VII, стр. 21, СПб., 1921.

⁴ Н. Я. Марр. Ани. Книжная история и раскопки на месте городища. Л., 1935, стр. 14.

росте торгового капитала¹ должно было сильно увеличить удельный вес рабоче-ремесленного класса общества. Надо учесть и правопорядки, существовавшие в бывшей столице. Ани, после пережитых потрясений, уже со времени Шеддадидов (3 четв. XI в.), «получает значение города, как такового, самостоятельной независимой единицы» (И. Орбели. Развалины Ани. СПб., 1911, стр. 19). Соответственно с таким положением Ани, воссоединившими его впоследствии царями Грузии этот «богатый город... представлялся то тому, то иному князю, природно близкому армянам, на кормление, а то отдавался целиком местной городской бытовой власти и получал нечто вроде самоуправления» (Н. Я. Марр. Ани, стр. 40). Здесь власть с князем, эмиром и архиепископом разделяют старейшины города, которых грузинский источник называет *აზვადბო*,² букв. 'главари', а параллельно армянский называет красочным именем *քաղաքացիք*,³ букв. 'горожане'. В свете фактов истории и археологии Ани, с его князем и архиепископом во главе управления, представляется типичным средневековым городом, который имеет свою торговую «сторону» и дышит каким-то «новгородским» духом.

Исследования Н. Я. Марра, как известно, лично руководившего археологическими раскопками Ани,⁴ прочно установили тот факт, что анииская беднота имеет богатую событиями собственную историю социально-экономических движений. На поворотных пунктах истории движение перерастало в разрушительную войну «против замков». Так резко выраженные в развалинах Ани акты насильственного разрушения блиставших некогда построек должны быть поставлены в причинную связь и с такого порядка движениями.⁵ Вне такой связи не должен был находиться, судя по духу его передачи у Аристакеса Ластивертского, и факт поджога царского дворца в вышгороде Ани.⁶ В «будни» недовольство массы выливалось в менее эффективное «возмущение». Активности анииского населения должны быть, в значительной мере, обязаны своим происхождением, в частности, те льготы, своего рода вольности, которые городу даровались время от времени и которые имели в виду облегчить положение народа, разорявшегося от военных действий и от рук местных собственников.

¹ Н. Я. Марр. Ани. Книжная история etc., стр. 40.

² ჯავადნი.

³ քաղաքացիք.

⁴ 1892—1917 гг.

⁵ Н. Я. Марр, ук. соч., стр. 29—30.

⁶ Аристакес. *Չամբարհիւ*. Тифлис, 1912. Стр. 166.

В этой общей атмосфере города, понятно, исключительный эффект должно было дать «полное нарушение правил» со стороны духовенства. А это «полное нарушение правил» в практике духовенства, в свою очередь, было обусловлено, как заметили выше, самой природой общественных отношений, как они сложились ближайшим образом в самом Ани. Прежде всего, Ани переживал время, когда «очевидно, происходил переход княжеских и дворянских вотчин в руки крупных капиталистов, с которыми, если соперничал еще какой-либо класс, то исключительно духовный, особенно властное и тогда еще население монастырей» (Н. Я. Марр, ук. соч., стр. 40). Такое широкое участие в хозяйственной жизни, требования феодальной эксплуатации имений, служб, мельниц или лавок, — все это, как сказано выше, ориентировало духовенство именно на предписания рынка, толкало на разрыв с «апостольскими заповедями» (строка 5 надписи). «Полное нарушение правил» в значительной мере было обусловлено, очевидно, и тем фактом, что в городе Ани духовенство составляло непомерно высокий процент населения. Местное предание исчисляет анийские церкви в количестве «1001».¹ А по эл-Джаффари, «большинство» священников и монахов того государства² находятся в том месте.³ Это же в общем подтвердили археологические раскопки Ани.⁴

Многочисленность клира и везде усугубляла трудности регулирования доходов и доходных мест. Специальный интерес представляет, между прочим, тот факт, что эти трудности приводили к конфликтам уже внутри духовенства: известный протокол руис-урбнисского (грузинского) духовного собора (1103 г.) констатирует, что скопление в стенах одного монастыря множества монахов рождает «много распрей и конфликтов», в грузинском тексте: მრავლის შებოთის და განხეთქილების მიზეზს შემოღებს სიმრავლე მათი (Жордания. ქრონიკები, II, 64).

Дела улаживались методами «мирского искусства», по своей сложности далеко за собою оставлявшими те, о которых говорил настоятель монастыря (см. выше, стр. 665). Иные из этих методов принципиально ничем не отличались от тех, которые, по традиционным понятиям, бытовали только в практике городских

¹ История царицы Тамары. ისტორიანი და აზმანი... ქართლის ცხოვრება, изд. Такайшвили. *598, стр. 367.

² Т. е. грузинского царства.

³ Т. е. в Ани. Цитата из эл-Джаффари по тексту, воспроизведенному в выдержках у Н. Я. Марра, ук. соч., стр. 72.

⁴ См. И. Орбели. Краткий путеводитель по городищу Ани. Анийская серия № 4, СПб., 1910, стр. I—VI (Список развалин, etc.).

цехов позднейшей эпохи. Под этим углом зрения склонны мы рассматривать, наир., пункт вышеозначенного протокола, который запрещает служить литургию за одного человека или «за одну душу» многим священникам совместно и на одном алтаре, особенно «на главном престоле», в груз. тексте: *თავად საკურთხეველს ზედა დიდის კვლესიის*.¹ По этому самому принципу, храм Санаинского монастыря, по свидетельству Сероба,² имел, очевидно, издревле, 40 приделов и «в случае необходимости отслужить литургию по душам в бозе почивших, в один день совершается 40 таковых, по числу престолов».

Все эти трудности и противоречия, понятно, с особенной остротой должны были испытываться в условиях анийской жизни, именно горожанами, как эксплуатируемым приходом.

С другой стороны, — независимо от масштаба, в каком в действительности могли выразиться протесты грузинских мирян против «полного нарушения правил» и те осложнения, реагируя на которые католикос обронил слово о «принуждении», — возникает вопрос об истинном значении, какое могло иметь в обращении католикоса это самое слово о «принуждении».

Опыт истории церкви и армянской и грузинской говорит, что эта организация нередко прибегала к сильным средствам воздействия на непокорных. Об эффективности такой меры, как закрытие церквей, ясное представление дает нижеследующий факт.

Грузинское духовенство, считая себя униженным в царстве, а по сему становясь в оппозицию к светской власти, грозно напоминает царю Давиду (около 1263 г.) о возможном опечатании церквей, заявляя ему:

*რამცა დაგვიპირებოა, მისნი მქნელნი ვართ: არცა მიჭრონსა გავჭკნისთი, საქართველოას ეკლესიათა დავჭებდეთ, სუცესთა დავაუენებთ წირვისა და ნათღვისა და სამკურნოთა ზიარებისაგან*³ и т. д.

если все это, о чем дерзновенно делаем представления, не будет удовлетворено согласно существующих порядков, что решили, и сделаем: мирю будем держать под замком, опечатаем церкви по всей Грузии, священникам велим не совершать чина литургии или таинства крещения или причащения умирающих³ и т. д.

При всей скудности соответствующего материала, все-таки можно констатировать, что при обострении отношений между сторонами, ослаблении внутренней дисциплины, повидимому, и отдельным представителям клира удавалось прибегать к закрытию церкви, несмотря на всю серьезность такой меры. Любопытно, что грузинский эристав Кахай (около 1259 г.),

¹ Жордания, ук. соч., стр. 65.

² Ссылка у Меликсет-Бехова. Изв. Кавк. ист.-арх. инст., т. III, Тифлис, 1925, стр. 54.

³ Bull. Hist., I, Тифлис, 1925, стр. 222.

призывая божью кару против всех тех, которые не то, чтобы непосредственно сами нарушили подписанную им дарственную грамоту на имя Рконского монастыря, но остались бы равнодушными зрителями такого нарушения, не освобождает от такой тяжелой ответственности также и любого монаха этого монастыря: если мол, в случае нарушения завещания, монастырская братия «будь бы там хоть один единственный монах, не закроет за собой дверей и не прекратит служб, пусть дает в этом ответ богу» (Ф. Жордания, ук. соч., II, стр. 136).

Этот опыт, кстати сказать, дает основание для предположения, что в анийской грузинской общине в 1218 г. могло иметь место и такое закрытие церквей. Может быть, такого именно толкования требуют слова католикоса: «Служб (в церквах) ни вы (священники) не пропускайте, ни вы (миряне)» (строка 14 надписи). На непосещение служб со стороны мирян священники, в свою очередь, могли ответить прекращением служб, именно как мерою воздействия.

Другие известия говорят и о мерах, еще более действенных, вплоть до применения, при сложных обстоятельствах, и холодного оружия. Так было, в частности, в Мтиулети (в Грузии), обращение которой протекало при поддержке, оказанной цилканскому епископу отрядом арагвского эристава.¹

Армянский автор, Степан Орбелиан (*Պատմ.*, стр. 230 и сл.), в свою очередь, рассказывает, как церковь завладела Цуром с крепостью и угодьями, подвергнув изгнанию местных жителей, «людей варварских и скверных». В таком аспекте слова католикоса: «Больше всего давайте (священникам) с радостью, без принуждения» могли бы получить тот смысл, что мирянам посылалась определенная угроза. Но такая их интерпретация противоречила бы действительному положению вещей. Прежде всего, все обращение католикоса составлено в примирительном тоне. Этот момент и определил, по нашему крайнему разумению, ту, вышеотмеченную, особенность надписи, что религиозно-нравственная санкция в последней не содержит обычных для данного ряда памятников проклятий. Католикос, вводя в соответствующую клаузулу акта слова из евангелия (2. Коринф. 9,7): «Больше всего давайте с радостью», очевидно, для большей выразительности прибегнул к литературному приему сравнения и к ним присовокупил слова: «без принуждения».

Вообще католикосу Епифанию его положение представителя интересов грузинской церкви в стенах Ани едва ли позволило бы говорить здесь с «грузинами» (см. выше, стр. 685) языком повелителя. Характер его обра-

¹ Bull. Hist., II, Тифлис, 1925, стр. 18.

щения в конечном счете должен был определиться тем положением вещей, что в грузинских владениях, составлявших часть коренной Армении, «особо сильно было развито... чувство вольности в Ани» (И. Орбели. Развалины Ани, стр. 24), и что «Иноземные и иноверные правители Ани, раз они утверждались в нем, обыкновенно снискивали расположение анийцев неукоснительным соблюдением законности и широкою терпимостью к местным учреждениям» (ук. соч., стр. 25). Особо надо учесть правовое положение грузинского иерарха в Ани. В той постановке, какую вопрос о юрисдикции католикоса получил в работе Н. Я. Марра, он сводится к следующему: имеем ли мы в армянской скрепе надписи (см. выше, стр. 671) простое свидетельство или легализующее ее утверждение (Н. Я. Марр. Надпись Епифания, стр. 1440). Не решая вопроса, тем не менее, мимоходом отметим черты надписи, которые, как это нам представляется, должны говорить о таком именно легализующем значении армянской скрепы: это наличие в скрепе самостоятельной даты (тоже 1218 г.). Может быть, не случайно и то обстоятельство, что в акте рукоприкладство нашло в устах католикоса такую формулировку: «Эго написано мною», в то время как в иных аналогичных документах грузинского происхождения последняя представлена осложненной: «Сие в том виде, в каком выше оно написано мною, ниже собственноручно утверждаю» ქსე ვითა ზემო ღამნიქროს ქვემოთ კელითა ჩემითა ღამნიტკიცობის (из 1020 г. грамоты католикоса Мелхиседека);¹ не случайно, может быть, и отсутствие в надписи «государевой руки» სსუფლად კელი საუფლო ღელ,² подписи грузинского царя. Наконец, при наличии в скрепе свидетельства представителей армянской стороны, мы не досчитываемся подписи грузинского анийского епископа: этот последний, с титулом სჯელო ანელი,³ администрировал, как то засвидетельствовано в одном памятнике, грузинскую церковь в Зариштиане, Ширвоине и Магасберете.⁴

VII

Рассматривая, таким образом, конфликт под углом зрения общей ситуации Ани, с учетом соотношения сил, отметим еще одно обстоятельство, придающее особый смысл интересующему нас эпизоду истории страны. Упомянутый выше цилканский епископ констатировал, что мтиулы были вновь обращенными, «а посему мы не могли наложить на них ника-

¹ Жордания, ук. соч., II, стр. 35.

² Ив. Джавахишвили, ук. соч., стр. 114.

³ Букв. 'анийский'.

⁴ Жордания, ук. соч., стр. 53—54. Названия городов мы воспроизводим в транскрипции, данной в тексте.

ких сборов в пользу епископа». Другое было соотношение сил в Ани, где выступает католикос Елифаний. Напротив того, историческая традиция говорит об этом городе, как об «одном из богомолий христиан» (эл-Джаф-фари, см. выше, стр. 687, прим. 3). Но сила вещей заключалась в той живой действительности, в которой наряду с другими центрами Кавказа жил Ани и которая характеризуется такими явлениями, как грузинский ренессанс (Ив. Джавахишвили. ქართველ ერის ისტორია, кн. II, стр. 648, Тифлис, 1913), завоевание в Грузии светской письменностью прав гражданства и т. д. Нельзя не оценить всего показательного значения того факта, что горожане Ани, когда представится к тому случай, проявят достаточно бюргерского свободомыслия и чувства юмора, чтобы священника одеть в костюм комедийного героя.¹

И наш интерес к конфликту, засвидетельствованному в надписи Елифания, определяется, в конечном счете, не столько моментом эффективности его, сколько самим фактом, что в нем участвуют именно обыватели города, мещане, в общем, набожные в духе времени, покорные силе вековых традиций своей могущественной церкви.

При такой постановке, вопрос об участии в данном конфликте грузин-мирян перерастает в широкую проблему о месте народных движений в истории кризисов, пережитых христианской церковью на Кавказе в ее прошлом.

Нельзя не отдать должного чувству реализма идеологов местной церкви, правильно мысливших благополучие этого учреждения не иначе, как при условии, когда бы тверды были в вере сами носители идеи феодального правопорядка. В известном агиологическом рассказе об обращении Грузии устами «просветительницы» Нины царю Мириану дается совет воздвигнуть церковь там, «где убеждения князей тверды суть», в грузинском тексте: სწავლა მოკვართა გუნება მტკიცე აღს.²

А в этом указании, помимо всего прочего, кроется и тот смысл, что официальная церковь с ее кодексом законов «мирского искусства» не могла иметь опоры в «убеждениях» народных масс.

И армянский автор, Нерсес Ламбронский (XIII в.), и грузинский, Вахушти (XVIII в.), подытоживая каждый для своего времени опыт собственной церкви, одинаково находили, что церковную организацию губили светские князья.

¹ По Аврааму Критскому (*Филлиппар.*, Вагарш, 1870, стр. 104), англицы ради смеха ставили высокому ростом проповеднику низкую кафедру, а низкому — высокую.

² Леонти Мровели. *ქართველ ისტორია*, Тифлис, 1906, *255, стр. 92).

По словам Нерсеса Ламбронского, в странах Ближнего Востока, в Сирии, Киликии, Памфилии и т. д. в начале XII в. еще множество было армянских поселений и их князей.

...*ხი ჳე ყაყაიხი ხქანიოცრის მრეხი დაქძმ. სასკან აკურან ქამანსაღი იჯ ჳნხაღ ჳ იორც 'ხ უიგანტ 'ხ გიღარ ხერხანგ ჳამ ქამან ხღეხეხი სათიოიქ ჳამ ხაქსიოიუარან... ირჯაფ უიგა გარძან ჳარც მერ ამნხსის 'ხ მიორიოცრის გარძა...¹*

И по сие время (1198), — говорит автор, — не оскудела еще власть их (т. е. князей). Но до сих пор (начиная со времени вторжения крестоносцев в эти страны) не построено ими нигде, ни в городе их, ни в селе, ни одной церкви божьей или подворья епископского... Чем более возвышались они, тем больше развращались наши (национальные) правопорядки¹ и т. д.

В общем таков же подход к явлениям у царевича Вахушти, который для грузинской церкви засвидетельствовал следующее:

სოლო მონასტერნი, რომელნი ცალიერნი დავსწერენით აწ სუცის სამარად, მამულნი მათნი მიუხვამთ აწ მთავართა ანუ აზნაურთა მათნი შეწირულობანი, ანუ მეფეთა სიზრად მოსულნი დაუსადგურებით მუნ. და უამთა ცვლილობითა შერჩომითა მათ. არღარა დაუსვამთ წინამძღვარი, და უსაზრდელობითა მონაზონთათა აწ ცარიელნი არიან...²

...Что же касается монастырей, — о которых сказано выше, что теперь пустуют, пребывают при одном иерее каждый, — то их имения присвоены князьями да дворянами, теми, кем они были пожертвованы. Частью имения тех монастырей были заселены, по воле царей, теми, кто нашли у этих царей убежище. С течением времени все эти имения оказались закрепленными за занявшими их. Уже никто более не ставил в монастырях тех настоятеля. И, когда монахи остались без пропитания, монастыри тоже опустели».²

Но это — подход односторонний. Научное кавказоведение вопросы ставит в иной плоскости. В исторической концепции Н. Я. Марра на р д н ы е д в и ж е н и я в прошлой жизни местной церкви справедливо получают значение ф а к т о р а. Теперь мало сказать, что князья, феодальные собственники умели наносить удары на церковь. Мало сказать, что и по своему набожные обыватели вроде нашего Зураба (см. выше, стр. 682) имели достаточно здравого смысла, чтобы критиковать порочность практики служителей культа.

Теперь мы можем констатировать, что такие же, по своему набожные, обыватели еще в условиях XIII в. способны были создавать обстановку, в которой пастырям приходилось снова возвращаться к старой теме, убеждать паству, что ей «от священников требуется... моление и богослужение» (строка 11 надписи), и с опаской взывать (строка 15): «К чему нам менять церковные правила?».

¹ Нерсес Ламбронский. *სურբრედაბიოცრის*, Венец., 1847, стр. 527.

² Wakhoucht. *Description géographique de la Géorgie*, pp. 276—278.



Н. Я. Марр в 1910 г.

В. А. КРАЧКОВСКАЯ и И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ

ИЗ АРАБСКОЙ ЭПИГРАФИКИ В АНИ

(Надпись на мечети Манучехра).

„Les inscriptions à elles seules donneraient à Ani le droit d'être l'objet spécial d'études approfondies. Elles sont d'une importance inappréciable pour les études sur les questions non seulement philologiques mais économiques et sociales, locales et générales“.

(N. Marr, la ville arménienne en ruines d'après les fouilles de 1892—1898 et de 1904—1917. Rev. d. Ét. Arm., I, Paris, 1921, p. 406).

Вспоминая 45-летний юбилей научной деятельности Н. Я. Марра, нельзя забыть о том что он почти совпадает с 40-летием его археологических работ в Ани. Ряд археологических кампаний, начатых в 1892 г. и прерванных только тогда, когда Ани оказался за пределами нашей страны, воскресил древнюю столицу Армении; представившаяся картина и по богатству материала и по совершенству археологического метода могла находить себе параллель только в раскопках Ольвии. И количество и качество открытий влекло к Ани не только непосредственных участников археологических работ, но и представителей самых разнообразных специальностей. Эпиграфические находки в Ани стояли на одном из первых мест по своему богатству и внутреннему содержанию. Посвященные им работы захватывали не только армянские, но и персидские и греческие надписи; каждая из них может служить блестящей иллюстрацией вывода Н. Я. Марра в одной из его последних, посвященных Ани, общих работ о том, что анийские надписи важны для выяснения не только местных, но и общих вопросов. В этой богатой серии многоязычных и разнотипных надписей, арабские, насколько нам известно, не были еще предметом специального исследования, однако, многие связанные с ними «общие вопросы» уже намечены трудами Н. Я. Марра и некоторых из ближайших его сотрудников по работам в Ани (И. А. Орбели, Г. Н. Чубинова).

Памятники христианского культа и гражданская архитектура, равно как эпиграфика Армении, неизбежно приводили к вопросам мусульманско-

иранских влияний, следы которых чрезвычайно разнообразны и глубоки.¹ Кроме архитектуры, они заметны во всем быту армянского средневековья. Язык, поскольку о нем дает представление армянская эпиграфика, пользуется рядом арабских, а также иранских и позднее монгольских терминов;² не меньший след остался в титулатуре³ и совершенно еще не выяснен вопрос, была ли армянская эпиграфика в какой-либо мере под влиянием некоторых арабских традиционных формул. Каждая из этих тем в сущности заслуживает отдельной монографии.

Связь с халифатом установилась с первого века хиджры. То в борьбе с арабами и мелкими полузависимыми мусульманскими эмирами, то подчиненные халифским наместникам, то в мирных сношениях армяне приходили в контакт с культурой арабов. Очень рано у них привились арабские имена.⁴ Смешанные браки еще более усиливали связи.⁵ Если давнее соприкосновение с арабской речью отсюда несомненно, то о знакомстве с арабским письмом свидетельствуют сами памятники. Правда, очень ранние (трех первых веков хиджры) памятники арабской эпиграфики на почве Армении пока неизвестны, но они несомненны в близких к Армении областях — Азербайджане и Дагестане, как из непосредственного знакомства с ними европейских путешественников и ученых, так и из арабских источников.⁶ Во всяком случае, одним из ближайших территориально является надгробие 308 г. х. из Байлакана (в Арране), изданное Н. Ханьковым.⁷ С другой стороны,

¹ Н. Я. Марр. Об учреждении Анийского археологического института. ИАН, 1910, стр. 439.

² См. И. А. Орбели. Армянские надписи на камне, XV, г. 5-й, т. V, II, 1916, стр. 151, 1 (وقف; ملك); он же: Колокол с анийскими орнаментальными мотивами XII—XIII в. ЗВО, т. X, 1910 (СПб., 1912, стр. 035, 1). — Г. Н. Чубинов. Отчет Анийского музея древностей за 1916 г., Анийские древности, III, II., 1918, стр. 13, 20.

³ И. А. Орбели. Армянские надписи на камне, № 4, № 6, стр. 141, 149. — Н. Я. Марр. XI Анийская археологическая кампания. Т. P., т. XIII, стр. 59. — Г. Овсепян. Потомство Тарсаица Орбеляна и Минахатуны, XV, г. 2-й, т. II, СПб., 1913, стр. 236—237. — Бакрадзе. Кавказ в древних памятниках христианства. Зап. Общ. Люб. Кавказск. арх., кн. I, Тифлис, 1875, стр. 33 сл. — Brosset. Quelques inscriptions musulmanes d'Ani et des environs de Bakou. Extrait d'une lettre de M. Khanukof. Bull. hist. phil. Ac. St. P. VI, 1849, № 13, 197 = Mém. As. I, 1852.

⁴ Н. Я. Марр, *op. cit.*, 36, 37, 38, 1; 41; 59; N. Marr. Ani, la ville arménienne en ruines. . . Rev. d. Ét. Arm. I, 401. — И. А. Орбели, Колокол, ЗВО, т. XX, 035, 1).

⁵ Н. Я. Марр. Ани, столица Армении. Историко-археологический набросок. Братская помощь пострадавшим армянам. М., 1899, 209. — V. Minorsky. Tiflis, E. I. IV, 818. — W. Barthold. Ani, E. I. I, 372.

⁶ Répertoire Chronologique d'Épigraphie Arabe, I, Le Caire, 1931, № 43, = *Djahshiyārī* f°40 b (158 г. х.).

⁷ N. Khanikoff. Mémoire sur les inscriptions musulmanes du Caucase, J. A. V série, 1862, 104—105, рис. 2; Répertoire Chronologique d'Épigraphie Arabe, III. Le Caire, 1932, № 1031; ср. P. Schwarz, Iran im Mittelalter, VIII, 4, 1144—1145.

в грузинской эпиграфике засвидетельствовано употребление арабских цифр в обозначении грузинской пасхалии 223, соответствующей 394 г. х. (1003 г. н. э.).¹

О глубине проникновения этих течений в народный быт в раннюю эпоху судить пока трудно; гораздо яснее видно их отражение в costume правящего класса по ряду скульптурных изображений царей-ктиторов, лучшее из которых восходит к первой четверти XI в. (Гагик I), в характерной одежде типа халата и чалме со стилизованными арабскими буквами.²

Таким образом, ни арабский язык, ни шрифт не были чужды христианскому населению Закавказья и задолго до появления сельджуков во владениях Багратидов мусульманская культура отвоевала уже многие позиции в армянской среде. В XII и XIII вв. эти явления значительно усилились, захватывая несомненно широкие круги населения. Влияние на архитектуру выразилось ясно не только в самом типе построек (напр., гостиниц), но и в декоративных приемах и орнаменте, с широким применением штука, изразца и других не-армянских методов.³ На гражданском строительстве оно сказалось раньше, церковные сферы поддались позднее, но и тут даже арабский язык ютится под кровлей церкви⁴ и крышкой гроба.⁵ О роли арабского и персидского языков и мусульманских норм в прикладном искусстве и быту красноречиво свидетельствует множество остатков керамических стеклянных и металлических изделий и прочих декоративных деталей, добытых раскопками.⁶

Причина этих явлений не только в общем окружении, но и в событиях второй половины XI в., давших сильный толчек. Снашествием Альп Арслана, завоеванием (456/1064 г.) и затем продажей багратидской столицы Бену-

¹ Brosset. Sur l'emploi des chiffres arabes dans une inscription géorgienne du XI s., J. A., 3 série, 1837, t. III, 465—472.

² Н. Я. Марр. О раскопках и работах в Ани летом 1906 г. Предварительный отчет, Т. Р., кн. X, 3, 19—46, рис. 16, табл. XIII; N. Marr. Ani, la ville arménienne... Rev. d. Ét. Arm. I, 404. — И. Орбели. Каталог Анийского музея древностей, вып. I, Анийская сер., № 3, 1—5, рис. 1.

³ И. Орбели. Армянское искусство, Новый энциклопедический словарь Брокгауз-Эфрон, т. III, 670. — Г. Н. Чубинов. Отчет... за 1916 г., 17, 21. — Marr. Ani, la ville arménienne... 401 сл.

⁴ Н. Я. Марр. XI Анийская археологическая кампания, 30. — Г. Н. Чубинов, op. cit., 21—22; ср. также 12 сл. и 20.

⁵ И. Орбели. Каталог, 36.

⁶ Н. Я. Марр. Реестр предметов древности из VI (1907 г.) археологической кампании, в Ани, Анийская сер. № 2, СПб., 1908, 2, 5, 6, 30, 46—71. Он же. Краткий каталог Анийского музея. Анийская сер., № 1, СПб., 1906, 9. Он же. XI Анийская археологическая кампания, 8—61. N. Marr. Ani, la ville arménienne... 405. — И. Орбели. Каталог, 18, 19, 24, 32, 57, 68—70, 81, 83—84, 101, 115, 120—121. — Г. Н. Чубинов, op. cit., 21.

Шеддэдскому эмиру (464/1072 г.)¹ открывается новый период в жизни города Ани. Начало мусульманского эмирата почти совпадает с серьезным ударом Византии в битве с сельджуками при Мелазгерде.² Продажа Ани была достаточно важным политическим актом: сельджуки этим приобретали союзника и обеспечивали свой фланг.

Из арабских надписей начала этого периода в Ани известны до сих пор только две. Они несколько освещают деятельность первого эмира Манучехра. Вполне естественны его заботы о самозащите и восстановлении солидных укреплений города. Действительно, путешественник Abich открыл в 1845 г. на одной из башен внешней анийской стены времени ц. Смбага куфическую надпись хорошей сохранности с именем Манучехра, но без даты.³ Эту надпись по копии Abich'a издал Ханыков.⁴

Столь же естественной по условиям времени была забота о создании мечети. Изучением городища в разные периоды установлено существование по крайней мере трех мечетей в Ани. От одной, так наз. мечети Абу-л-Ма'амрана, ко времени посещения Ханыкова оставался только минарет, впоследствии упавший, с персидской надписью шеддэдского эмира Кай Султана и датой на арабском языке 595 г.⁵ Другая, уже значительно разрушенная, стояла над обрывом к реке, у самой стены X в., построенной ц. Ашотом. Кроме того, при раскопках 1917 г. были найдены части надписи грандиозными куфическими буквами, которые Н. Я. Марр считает остатками третьей мечети.⁶ Известно также, что анийский собор, законченный при Гагике I, был в XI в. превращен в мечеть и христианский культ в нем был восстановлен лишь после грузинского завоевания 1124 г.⁷

¹ N. Marr. *Ani, la ville arménienne*... 397. — W. Barthold. *Ani*, 372. — В. Бартольд. *Мусульманские династии*, СПб., 1899, 294—295.

² A. Vasiliev. *Histoire de l'Empire Byzantin*, I, Paris, 1932, 469—470.

³ См. И. Орбели. *Краткий путеводитель по городищу Ани*, СПб., 1910, 21, план № 28. — Н. Марр. *Ани, столица Армении*, 209.

⁴ N. Khanukof. *Excursion à Ani en 1848. Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l'Arménie, exécuté en 1847—1848*... par M. Brosset, 1^{re} livraison. *St. Pétersb.* 1849, *Troisième Rapport*, 138, 139, 146, с 1 рис.; *Quelques inscriptions musulmanes d'Ani et des environs de Basou, extrait d'une lettre de M. Khanukof*. *Bull. hist. phil.*, t. VI, 1849, № 13, col. 193a = *Mél. As. I*, 1852, 72. — M. Brosset. *Les ruines d'Ani*, 58.

⁵ N. Khanukof. *Excursion à Ani*... 136; *Bull. hist. phil.* VI, № 13. 193 s. = *Mél. As. I*, 1852, 70s. — Н. Марр. *Ани, столица Армении*, 210. Он же. *Раскопки в Ани в 1904 г.*, ИАК, вып. 18, 1906, 94. Он же. *X археологическая кампания в Ани, доклад XII*, 1911, ЗВО, XXI, 1912, XI.VI. — И. Орбели. *Путеводитель*, 23.

⁶ N. Marr. *Ani, la ville arménienne*, 401.

⁷ Бакрадзе, *op. cit.*, 84. — Н. Марр, ЗВО XXI, XLVII. — В. Бартольд. *К вопросу о полумесяце как символе ислама*, ИАН, 1918, 475—476.

Особенно интересна мечеть с минаретом над обрывом к Ахуряну. История этой постройки, несмотря на неоднократные упоминания в литературе, все еще не совсем ясна. Н. Я. Марр полагал,¹ что «заново был возведен лишь минарет, а молельня была... приспособлена в здании, первоначально служившем каким-то присутственным местом...» В небольшом (по измерению Lynch 47 × 41 фут.) здании сталактитовые своды изящного узора этого потолка покоились на шести массивных колоннах.² Вследствие различия материала И. А. Орбели³ относит «нижний этаж и часть верхнего до высоты капителей, — все из самого твердого красного не анийского камня»⁴ к первоначальной постройке в конце X в.; относительно остальных частей он колеблется между концом XI и XII в.⁵ Один из позднейших исследователей, Н. Glück считает субструкции до-мусульманскими, основную постройку — времени Манучехра и покрытие около 1200 г.⁶ Все доступные нам источники умалчивают о михрабе, который должен был появиться в здании, как только оно стало мечетью, независимо от того, использована была старая постройка или выстроена заново; беглое замечание Н. Я. Марра, что мечеть не была ориентирована по кыбле, этот вопрос не разрешает.⁷

О способах кладки мечети и минарета некоторые соображения приведены в статье Г. Н. Чубинова.⁸ Его наблюдения над постройками в Ани сводятся к следующей группировке. Кладка древнего типа отличается от позднейших косой обработкой шва. Для второго периода (XI и большая часть XII в.) характерна ровная кладка без специального подчеркивания швов; среди примеров этого типа упомянута башня с надписью Манучехра и минарет интересующей нас мечети. В третий период (с конца XII — начала XIII вв. или со второй трети XIII в.) «каждый ряд кладки вниз

¹ Ани, столица Армении, 202, 203, 210.

² Lynch. Armenia, I, London, 1901, 377. Довольно подробное описание мечети Муравьева — Путешествие в Грузию и Армению II, 260—288, цитировано Ханьковым, Excursion à Ani, 129—136. Совершенно ошибочно у Н. Saladin. Architecture, Manuel d'Art Musulman, I, 443 план здания описан, как «quinconque»; эта система распределения дала бы расстановку четырех колонн по углам квадрата с пятой в центре, что не соответствует действительности.

³ Краткий путеводитель, 6.

⁴ Ср. Н. Марр. Описание дворцовой церкви в Ани, Анийские древности, I, 3, прим., I.

⁵ И. Орбели, *ibid.*: «В XII веке был выведен заново потолок, на месте старой башни построен возвышающийся теперь восьмигранный минарет с надписью بِسْمِ اللّٰهِ и здание обращено в мечеть». Он же. Армянское искусство, 669.

⁶ Н. Glück u. E. Diez. Die Kunst des Islam, Propyläen-Kunstgeschichte, V, Berlin, 1925, 540; ср. 41—42.

⁷ Отчет Анийского музея древностей за 1915 г., Анийские древности II, Игр., 1917, 23. Цитируется в дальнейшем сокращенно: Отчет за 1915 г.

⁸ *Op. cit.*, 16—17.

отстает от отвеса на $\frac{1}{2}$ — 1 см». Исследователь попутно замечает, что этот способ не применен «в кладке стены с текстом ярлыка „хасинджу“».

Из наблюдений Г. Н. Чубинова вытекает, что кладка минарета и стены с монгольским ярлыком однотипны. По устному сообщению Н. Я. Марра, вся северозападная стена была переложена целиком. Именно она приковывала к себе особенно взоры исследователей, благодаря существованию на ее наружной поверхности нескольких надписей различных эпох. Уже в 1848 г. повреждения были настолько велики, что от расположенной ниже прочих трехязычной надписи оставались небольшие фрагменты;¹ многострочный персидский текст ярлыка Абу Са'ида² был в сохранности; наконец, горизонтальный куфический фриз, протянутый приблизительно на полувысоте стены, уже тогда не имел ни начала, ни конца текста.³

Особый интерес возбуждает в настоящее время монументальная арабская надпись. Предположение Ханькова, что она прежде опоясывала всю мечеть, повидимому, лишено основания, хотя Brosset повторил его целиком;⁴ позднейшие исследователи эту гипотезу обошли молчанием, вместе с тем не опровергнув ее. Из изображений мечети у Lynch⁵ и у Н. Я. Марра,⁶ видна еще одна наружная стена, повидимому юго-западная, с дефектным рядом кладки на высоте замков арок, но без следов куфической надписи. Впрочем, оба изображения не отвечают современным требованиям.⁷ В 90-х годах прошлого века стена упала целиком; все надписи оказались погребенными в груде камня. Тем временем, успешное продвижение археологических работ в Ани требовало особых хранилищ для реалий, эпиграфических и архитектурных фрагментов. Таким хранилищем стала с 1904 г. мечеть, обращенная в музей и подвергнутая с этой целью ремонту.⁸

¹ N. Khanukof. Excursion à Ani, 136. — M. Brosset. Les ruines d'Ani, 31. — Н. Я. Марр. Отчет... за 1915 г., стр. 20 сл.

² N. Khanukof. Note sur le yarligh d'Abou Saïd, Mém. As. II, 61—68. — Brosset. Les ruines d'Ani, St. Pétersb., 1860, 30. — В. В. Бартольд. Персидская надпись на стене Анийской мечети Мануче, Анийская сер., № 5, СПб., 1911; ср. Н. Марр. Новые материалы по армянской эпиграфике. ЗВО VIII, 77—80; ЗВО XIX, XXXVI. — Marr. Ani, la ville arménienne. — И. Орбели. Краткий путеводитель, 22.

³ Общий вид стены до ее падения в 90-х годах XIX в. см. у В. В. Бартольда, op. cit. табл. 1; ср. И. Орбели, loc. cit.

⁴ Ruines d'Ani, 31.

⁵ Op. cit., рис. 80.

⁶ Ани, столица Армении, стр. 201, фиг. 1.

⁷ Изображения мечети у M. Brosset, Ruines d'Ani, Atlas, 1^e livraison St. Pétersb., 1861, табл. X и L. Alichan, Description de la Gr. Arménie, 4^o, Venise, 1855, рис. на стр. 33 дают только общее представление о здании. И в позднейшей работе «Отчет... за 1915 г.» Н. Я. Марр связывает надпись исключительно с северозападной стеной.

⁸ Эта стадия зафиксирована в изображении у Н. Glück u. E. Diez, op. cit., 221.

Осенью 1916 г. пришлось ремонтировать и минарет, трещины которого были стянуты обручами летом 1917 г.¹ Площадка перед мечетью, заваленная обломками, была расчищена во время археологической кампании 1908 г.² Здесь найдены были между прочим части арабской куфической надписи и перенесены в музей.³ Все заботы о поддержании анийских древностей⁴ были катастрофически прерваны эвакуацией Ани в 1918 г., и с этого времени реальная связь с интересующими нас важными памятниками прекратилась.⁵

Особенно ценной представляется поэтому одна фотография, снятая А. А. Калантаром летом 1914 г. в помещении музея, с изображением ряда фрагментов арабской эпиграфики, собранных в различное время на анийской территории и размещенных на стеллажах.⁶ Весь верхний ряд занят несколькими большими плитами и их фрагментами; всего видно восемь отдельных кусков одного стиля. Взглянув на некоторые из них, легко убедиться, что мы имеем дело именно с остатками куфического фриза мечети; часть из плит точно идентифицируется по таблице у В. В. Бартольда,⁷ по содержанию совпадает с текстом, опубликованным Н. Ханьковым и довольно близко к изображению по рисунку Abich'a. Из этих фрагментов только на двух больших плитах уже известный нам текст по редакции Ханькова, а основная часть его утрачена или не уместилась на снимке. Взамен появились новые фрагменты, Ханькову неизвестные; очевидно они свалились со стены ранее посещения его и Abich'a и были настолько засыпаны обломками, что он их не нашел при поисках трехязычной надписи.⁸ При основательной расчистке площадки в 1908 г. Н. Н. Тихоновым⁹ они обнаружались тем же порядком, как найдены были многие другие надписи в Ани.

Подходя к изучению содержания новых фрагментов, необходимо возобновить прежде всего в памяти текст в той форме, как он был известен

¹ Г. Н. Чубинов, *op. cit.*, 2, 2.

² Н. Я. Марр, ЗВО XIX, XXXVI.

³ Н. Я. Марр. Краткий каталог Анийского музея, 9. — И. Орбели, *loc. cit.*

⁴ Н. Я. Марр. Записка о деятельности Кавказского Историко-археологического института, ИАН, 1918, 1472—1473. Азиатский сб. нов. сер., 1918.

⁵ Н. Я. Марр. Отчет Кавказского Историко-археологического института в Тифлисе за 1918 г., Отчет Академии Наук за 1918 г., Пгр., 1919, 204—205.

⁶ За возможность воспользоваться ею приносим А. А. Калантару глубокую благодарность.

⁷ См. выше, стр. 710, а.

⁸ *Op. cit.*, 140.

⁹ См. Н. Я. Марр. Отчет... за 1915 г., 23.

зали, что именно сочетание форм al-sultān al-mu'azzam šāhanšāh al-a'zam характерно для сельджуков, и хотя отдельные части титула, а также параллельные формы (sultān al-salāṭīn, malik al-mulūk) встречались у мусульман и ранее, эта комбинация присуща только им. Составные части ее заимствованы у буидов, восходя к древне-иранской традиции.¹ Поэтому неполный эпитет к титулу شاهنشاه должен быть восстановлен, как الأعظم.

Во второй редакции текста, принадлежащей Н. Я. Марру, удачно использованы из числа вновь найденных камней два с именами Малик Шāха и Альп Арслāна.² В виду большой редкости издания приводим ее целиком.

[هذا المسجد] بناه الامير الأجل شجاع الدولة ابو شجاع منوچهر بن شاور في دولة مولانا
السلطان المعظم سونشاه الا [.....] المقلب ابى فتح ملك شاه بن الب
ارسلان.

Совершенно ясно, что в данном случае титул принадлежит султану Малик Шāху.

До сих пор известны были несколько текстов с именем Малик Шāха. Из них четыре мраморных плиты 475 г. х. были укреплены на северных и южных гранях двух столбов, поддерживающих купол мечети Валида в Дамаске.³ Они имели приблизительно одинаковое содержание, с перечислением в иерархической последовательности тех правителей, от которых зависел тогда Дамаск. Схема конструкции этих текстов следующая: басмала; кораническая цитата; строительная формула начиналась с... امر بعمارة هذه; формула, вводящая имя халифа... فى خلافة الدولة العباسية وأيام; титулатура и имя Малик Шāха, которые для нас особенно интересны, вводились той же формулой, как в анийском тексте мечети, но далее представляют частью варианты, частью отсутствующие у нас титула и имена
فى دولة السلطان المعظم شاهنشاه الأعظم سيد ملوك الأمم ابى الفتح ملك شاه بن
محمد (بن داود بيمين امير المؤمنين)⁴

¹ M. van Berchem. Amida. Matériaux pour l'histoire et l'épigraphie musulmanes du Diyar-Bekr, Paris-Heidelberg, 1910, 38, п. 4.

² См. Отчет... за 1915 г., 23 внизу; см. отчет... чит. абй الفتح так как на камне, обозначенном № 15, табл. VIII, 6 и фотографии А. А. Калантара ясно виден соединенный алм и поврежденный алмф. Использовать эту работу Н. Я. Марра оказалось возможно только благодаря любезному устному указанию И. А. Орбели; в списке научных трудов Н. Я. Марра (Нюетический сб., VI, Л., 1930) она не значится.

³ M. van Berchem. Inscriptions arabes de Syrie. Syrie du Nord (отд. отт. из Mém. de l'Inst. Ég. Le Caire, 1897), 13—15, 91—94.

⁴ Дополнение в скобках было только на одной из четырех плит.

Имя губернатора Дамаска, родного брата Малик Шāха, Тутуша, вводилось словами *أَيام أُخِيَة* и присвоенными ему титулами с куньей в другой форме, чем у Малик Шāха *بن ملك الاسلام ناصر امير المؤمنين*; затем шли титула везира *نيزام аль-мулька السيد الاجل* *في أَيام* и последним упоминался собственно строитель; текст заканчивался датой.

Кроме дамасских текстов, сохранились от позднейшего периода правления Малик Шāха три текста в Амиде: два — на выступах стен амидской крепости (482 и 485 г. х.), третий во дворе мечети (484 г. х.).¹ Они отличаются от дамасских тем, что Малик Шāх, в данном случае строитель, стоит на первом месте. . . *امر بعمله*, титула его гораздо многочисленнее. При этом и в Дамаске, и в Амиде неизменным остается основной султанский титул сельджуков, с традиционными эпитетами *sultān al-mu'azzam šāhansāh al-a'zam*. В трех амидских текстах, в свою очередь, остаются одинаковыми титула на *dīn* и *dawla* *جلال الدين جلال الدولة*. В Дамаске их нет, вероятно по недостатку места: и так на каждой плите умещено по 17 строк довольно мелким шрифтом. В остальных титулах единообразие не проведено и только надпись Амидской мечети объединяет два титула, встречающиеся на двух различных плитах Дамаска, а именно ² *مولى* и ³ *سید ملوک الامم* *العرب والعجم*. Титулатура и имя губернатора во всех амидских текстах введена формулой *في ولاية*. Вся схема амидских текстов в их официальной части полнее.

Краткого указания на общую структуру текстов с именем Малик Шāха достаточно, чтобы определить место новой части в изучаемом тексте и ее отношение к уже известной. Прежде всего необходимо оговориться, что Ханьков не транскрибировал нескольких букв, видных на рисунке перед словом *امير*, но ими не могло исчерпаться начало текста. Изданный рисунок передает шрифт искаженно, изменяя общие пропорции и расположение отдельных букв, напр., произвольно снижены на уровень строки буквенные группы, которые лежат значительно выше, как *شأ [ور]* и *منو [جهر]*; кроме того абсолютно игнорированы растительные элементы фриза; получился как бы остов подлинного шрифта, но все же не настолько отступивший от оригинала, чтобы им нельзя было частично пользоваться. Непрочтенные буквы

¹ М. van Berchem. Amida, №№ 16—18.

² Текст, изданный М. v. Berchem'ом = А, см. Inscriptions de Syrie, 14.

³ Текст изданный Кау = В, ibid. 91.

рисунка. . . *البار* . . . должны быть восстановлены как *[الإنارة الأمير]*, исходя из начертания *нун-алифа* в слове *مولانا*, кроме подстрочной лигатуры, которая не обязательна; для *рā* — такая же форма в имени *منوچهر*. Предложенное Н. Я. Марром чтение *بناه* неудобно по конструкции и из графических соображений, оставляя неиспользованной первую высокую букву. Если принять первую низкую букву за начальное *бā*, вторую за конечный *алиф*, а следующую за лигатуру *нун-алиф*, получится совершенно невозможная форма *باناه*. Предполагать в этой группе букв остаток слова *مارة* [ع. . . нельзя, вследствие совершенной ясности низкой вертикальной буквы типа *бā*. Непонятной остается одна вертикальная черта над *мīm*ом левее *лām-алифа*, который сам затруднений не представляет, но появление ее легко может быть объяснено неточностью рисунка от руки, если вспомнить другие ошибки, например соединение *дала* *الدولة* и аналогичные явления в копиях надписи железной двери в Гелатах.¹

Связывая эти слова с надписью, надо представить себе в начале текста какую-то строительную формулу с наименованием постройки Манучехра, в которую входил на последнем месте минарет.² Формулы такого типа общеизвестны и были очень распространены. Эпитет *الاجل* с определенным членом требует определенного же члена и для предшествующего титула *الامير*. Что эмир Манучехр был инициатором, вытекает из контекста: его имя предшествует султанским титулам и кунья в именительном падеже. Лучшую аналогию дает в этом случае надпись башни, опубликованная Ханьковым по рисунку Abich'a.³

(1) *بسله (2) امر ببناء هذا البرج الامير الاجل (3) منصور شجاع الدولة ابو*
(4) *شجاع منوچهر بن شاوور*

В этой надписи к титулу эмира, тоже с определенным членом, прибавлен второй эпитет *النصور*, который вероятно был связан с какими-то военными заслугами Манучехра; титул на *dawla*, имя и кунья в одинаковой форме с текстом мечети. Поэтому можно предположить в начале надписи строительную формулу в виде . . . *[امر ببناء هذا المسجد والإنارة]*, что могло бы уместиться на двух камнях (см. фиг. 1).

¹ См. Chr. Fraehn. Erklärung der arabischen Inschrift des eisernen Thorfluegels zu Gelathi in Imerethi, Mém. Ac. I. d. Sc. VI^e série. Sc. hist. III, 1836, 531—546.

² Обычно в строительных текстах мечетей с минаретом, слово, обозначающее мечеть, всегда предшествует минарету.

³ Excursion à Ani, 143, 146; рис. стр. 143. См. M. Brosset, Ruines d'Ani, 58, ссылку на табл. LXIV альбома Кестнера.

⁴ Читается так *vm. لادولة* (у Ханькова опечатка).

Из сказанного выше ясно, что слова . . . دولة فى указывают правящего султана и требуют родигельного падежа. В султанском титуле точно соблюдена традиционная сельджукская форма: слово, следующее за شهنشاه, должно быть обязательно эпитетом الأعظم. Никакая другая среда не могла оценить дипломатическую тонкость этого титула в такой мере, как население Армении. В народной памяти еще был свеж титул Багратидских царей шаханшах, который они носили с I четверти X в., получая инвеституру от халифа.¹ Анийцам он был знаком особенно близко по надписи около статуи ц. Гагика I.

Восстанавливая дальше текст, необязательно предполагать в нем другие титула Малик Шаха из тех, с которыми мы познакомились по надписям в Дамаске и Амиде; редакция могла быть как полной, так и сокращенной и зависела между прочим от длины фриза, которую Н. Я. Марр исчислял в 16 камней.² Рассуждая теоретически, следовало бы ожидать прежде всего титулов на *din* и *dawla*³, но среди новых фрагментов их следов не заметно. Поэтому, допуская возможность пропуска, за султанским титулом приходится поместить имя и кунью Малик Шаха, которые устанавливаются без всяких сомнений. Национальное имя Альп Арслана приведено без всяких титулов, подобно амидским редакциям. Кунья дамасских текстов Малик Шаха сильно отличается от них: предпочтение отдано его мусульманскому имени Мухаммад, а в одной из редакций упомянут и дед Давуд. Но они существенно разнятся от официальной куньи Тутуша в них и еще в одном его тексте в Дамаске 482 г. х., где уже Малик Шах не упоминается.⁴ На вопрос, была ли в анийской надписи формула вассалитета, которая была уже присвоена Альп-Арслану и Тогрулу и должна была бы стоять после имени и куньи правящего султана, приходится ответить отрицательно, так как никаких следов ее в фрагментах нет. Что касается эмира Манучехра, он, вероятно, этого титула не имел: его нет в надписи на башне, а на мечети текст от куньи Манучехра переходит прямо к формуле, вводящей имя султана.

Из новых фрагментов на фотографии до сих пор не оговорены два куска направо, на углу полки. Не принадлежа к старой части текста, они пока не связываются удовлетворительно и с новыми дополнениями. Большой

¹ Н. Я. Марр. О раскопках и работах в Ани летом 1906 г. 36, 42—46. — Lynch. op. cit., 336, I, 349.

² Отчет. . . за 1915 г., loc. cit.

³ О них см. выше.

⁴ Ср. М. van Berchem. Inscriptions arabes de Syrie, 14, 93—94.

фрагмент виден не так отчетливо, как все остальные, вследствие ракурса и расположения под углом, но хорошо виден на табл. VIII, 4 у Н. Я. Марра. Первые пять букв в лигатуре читаются ясно. Над буквой типа *'айна* лежит несоединенная конечная типа *бā*, во внутренний угол которой вдвинут листок близлежащего побега *المغرب* (Фиг. 2 — крайний фрагмент направо, фиг. 3 D).¹ После этой группы несоединенный *амф*, низкая буква типа начального *бā* в лигатуре с последующей, на границе с изломом, небольшой конец которой над строкой отогнут направо. Аналогичную лигатуру мы имеем в слове *الفتح*. Единственно подходящее чтение первого слова *المغرب* представляет затруднение со стороны его связи с текстом. Чтение Н. Я. Марра *المغلب* не допускается начертанием *рā*; оно ни в коем случае не может быть принято за *лām*, так как последний обязательно должен соединяться с последующим *бā*. Для второго слова возможны два варианта: *آنى* и *ابى*. Первый не подходит по контексту; второе чтение *ابى*, как его принял Н. Я. Марр, допустимо по существу и напрашивается само собой, притом обязательно в родительном надеже, в зависимости от формулы *فى دولة . . .* раз в надписи сохранилось *الفتح*. В таком случае, фрагмент должен предшествовать плите со словами *[. . . المغرب ابى] الفتح ملك شاه بن* и первое слово ничем иным, как остатком сложного султанского титула быть не может. Правда, ни в одном из указанных текстов Малик Шаха такого титула не установлено, но тенденция к широте притязаний есть в тексте мечети Амиды, в виде *مولى العرب والعجم*, титула очень



Фиг. 2. Фрагменты надписи Манучхра по фотографии А. А. Калантара.

¹ Рисунок фиг. 3 исполнен только по фотографии А. А. Калантара. При разворачивании ракурса камня D на плоскость шрифт оказался сжат немного теснее, чем на таблице VIII, 4, без каких-либо существенных искажений.

распространенного.¹ У внука Малик Шāха, Махмуда, он сохранился полностью:² у сына Мухаммада³ и последнего великого сельджука султана Санджāра⁴ усложнялось начало. В надписи аййубидского султана Наджм ад-дин Сāлиха 647/1249 на одной из башен Каирской цитадели объединены два титула *سلطان المشارق والمغارب* и *سلطان العرب والعجم*.⁵

Последняя форма отличается от предлагаемого нами чтения множественным числом. Атабег Джебзйры, Махмуд ибн Синджар Шāх на инкрустированном бронзовом тазе 605/1208 г. назван *ملك امراء الشرق والغرب*.⁶ Можно указать еще варианты на двух бронзовых блюдах мосульского атабега Дулу (631—657 г. х.) *أجل ملوك الشرق والغرب* (Мюнхенское блюдо) и... *ملك ملوك* (неизвестное блюдо).⁷ Перечисленных вариантов достаточно, чтобы убедиться в возможности предложенного чтения. Как пример распространенности подобных форм в литературе той эпохи, можно привести одну цитату из ал-Бундāри.⁸

Буквы последнего фрагмента, который в редакции Н. Я. Марра не использован,⁹ совершенно четки (см. фиг. 2, второй справа; фиг. 3С). Справа у излома часть вертикальной буквы, может быть типа *bā*, в лигатуре со второй типа *rā*. Две следующих можно принять безразлично за *fā*, *kāf* и *vāw*. Относительно транскрипции их возможен ряд предположений, для каждого из которых есть сомнения. Не перечисляя всех гипотез, остановимся лишь на двух. Как известно, у Малик Шāха был сын Баркийārūк, беспокойное правление которого началось в год смерти отца (485 г.). Видеть его имя здесь, с точки зрения эпиграфики, мешают два обстоятельства. Во-первых, отсутствует *амф* долготы *سروى*. Во-вторых, имя Баркий-

¹ M. van Berchem. Eine arabische Inschrift a. d. Ostjordanlande, ZDPV XVI, 1893, 92 со ссылкой на Ign. Goldziher, Muhammedanische Studien I, глава 'Arab und 'Agam; M. van Berchem, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, 1^{re} Partie, Égypte I, Index v. v. — G. Wiet. Objets en cuivre, Catalogue général du Musée arabe du Caire, Index général, v. v. — F. Sarre. Metall, №№ 42, 43, 46; ibid. E. Mittwoch, 70. — В. Крачковская(я). Материалы к эпиграфике мусульманских сборок Музею Местецк ВУАН (Каталог), Київ, 1930, 111.

² M. van Berchem. Amida, № 20.

³ Ibid., № 19: *مالك رقاب العرب والعجم*.

⁴ Sykes, Historical Notes on Khurasan, IRAS, 1910, 1140; *سید سلاطین العرب والعجم*

والعجم

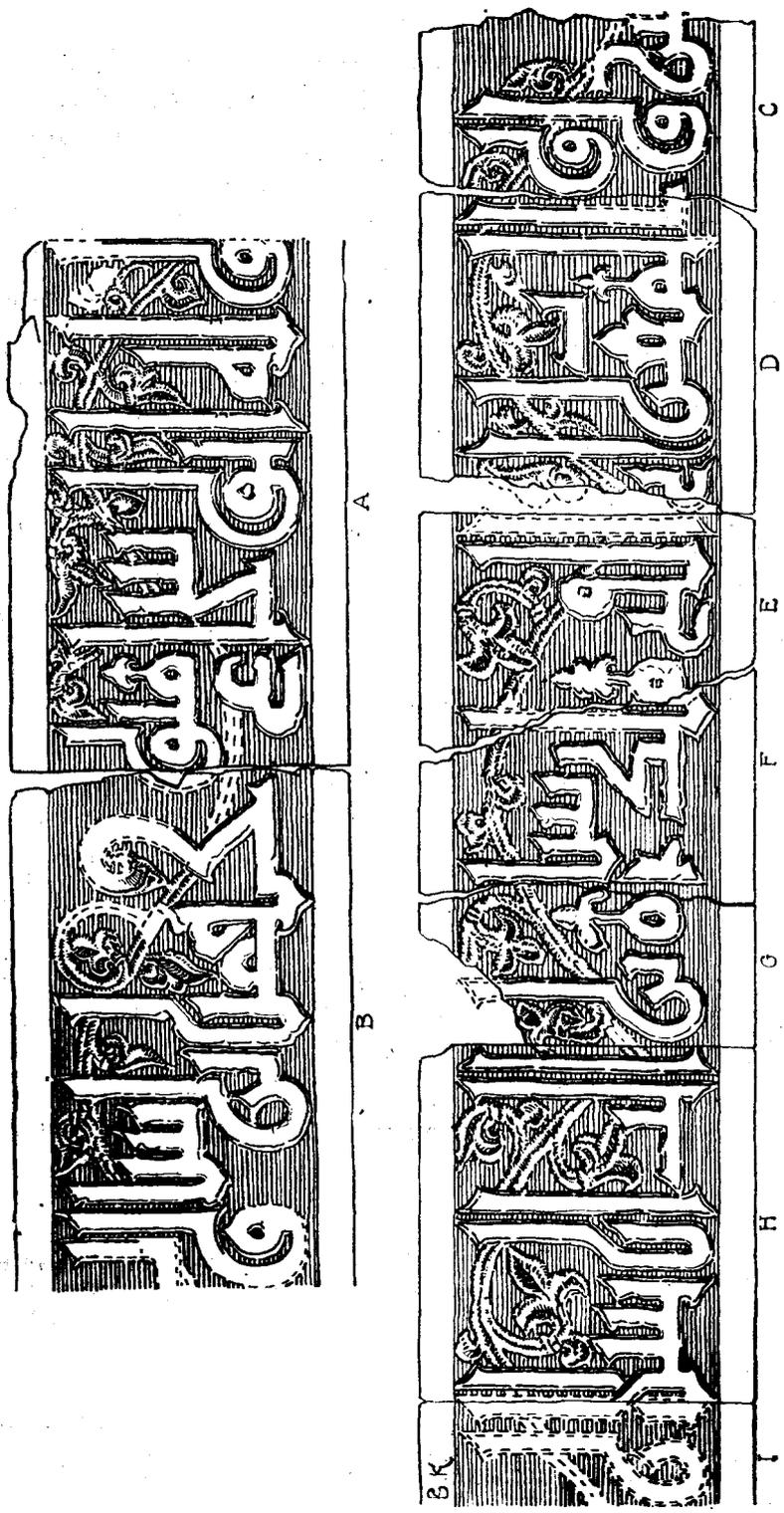
⁵ G. Wiet, op. cit., 39.

⁶ F. Sarre, op. cit., № 19.

⁷ Тексты издал M. van Berchem, Monuments et inscriptions de l'atābek Lu'lu' de Mossul, Orientalische Studien, Theodor Nöldeke... gewidmet, I, 205—206.

⁸ Начало XIII в. См. Th. Houtsma. Histoire des Seldjoucides de l'Iraq par al Bondāri, d'après Imād ad-din al-Kātib al-Isfahāni. Leide, 1899, 56: *ودانت له المشارق و المغرب*.

⁹ См. Отчет... за 1915 г., т. VIII, 5.



Фиг. 3, А—І. Образцы прирета фриза мечети Манучехра.

ārūka, если он поминался, как правящий султан, должно предшествовать кунье с именем отца и деда, начинающейся с بن; но у левого излома виден настрочный зубчик, который начальному ба принадлежать не может. Последний аргумент существеннее первого, так как долгота нередко в надписях опускалась и в нашем тексте есть уже один пример в титуле شهنشاه.

Здесь нужно учитывать и хронологические рамки надписи Манучехра, к рассмотрению которых мы пока и перейдем. Имя Малик Шаха в тексте дает датировку 465—485 г. х. Первая дата совпадает с началом правления Манучехра, так как Альп Арслан был убит в год продажи Ани. Продолжительность правления у европейских исследователей определяется различно. Одна группа (Lynch,¹ пользуясь последним Saladīn,² Diez)³ считает его очень длительным, с датой смерти 1110 г., что составляет 38 лет. Совершенно противоположных взглядов держатся Denison Ross, Zambaur и Sachau. Первый⁴ осторожно ссылается на Kai-Kā'ūs, писавшего в 468 г. х. о Манучехре (Faḍlūn b. Abū-l-Aswār) в прошедшем времени, указывает на запутанность генеалогии Шеддәдидов и приводит генеалогию его потомков по Хавыкову.⁵ Zambaur⁶ решительно относит смерть Манучехра к 466 г. х.; эту же дату указывает Е. Sachau⁷ на основании турецкого источника. Н. Я. Марр говорит о взятии Ани (1124 г.) Давидом Возобновителем и уводе в плен анийского эмира «Абулсувара», сына Манучехра,⁸ а Бакрадзе⁹ — о восстановлении власти Шеддәдидов в Ани в 1126 г. при внуке Манучехра, «Падлуне», примыкая таким образом ко второй группе. Если дата смерти верна, и источники надежны, то правление продолжалось всего два года, совершенно отпадает возможность упоминания Баркийārūka, а надпись датируется 465—466 г. За время Малик Шаха говорит и более полная кунья его.

Предположив, что чтение в предшествующем фрагменте المغرب правильно, можно искать другие части титула [المشارق والمغرب]. Это возможно, если считать первую букву за остаток *shīna*; сомнение вызывает

¹ Op. cit., I, 365, 377.

² Op. cit., 343.

³ Die Kunst der islamischen Völker², Handbuch der Kunstwissenschaft. Athenaeon, 6. д. 90; ср. Н. Glück und E. Diez, op. cit., 540.

⁴ Banū Shaddād, E. I., IV, 264.

⁵ Bull. Ac. St. Pétersb. VI, 1849, 195.

⁶ Manuel de Généalogie et de Chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hanovre, 1927, 184

⁷ См. его Verzeichniss Muhammedanischer Dynastien, Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1923, Phil.-hist. Klasse, № 22, 14.

⁸ Ани, столица Армении, 209.

⁹ Op. cit., 84.

только упомянутый зубчик слева, который должен в таком случае принадлежать *алифу*. Из прочих *алифов* ни один такого поворота направо не имеет; только у дополнительного ствола под *алифом* شَا крупный выступ на строке в виду излишка места (Фиг. 3 F). Установив такой расчет в одном случае, можно допустить его и в другом. Неясность края фотографии не позволяет точнее определить, подходили ли изломы этих фрагментов друг к другу. Но есть еще один тонкий критерий проверки, который нельзя игнорировать: сочетание шрифта с орнаментом.

Переходя к палеографическому анализу надписи, полезно вспомнить, что ни персидского ярлыка Абу Са'ида сверху, ни трехязычного текста внизу еще не было, когда красивый арабский фриз протянулся на глади стены. Его декоративное значение строителями было учтено и прекрасно использовано. Плоский куфический шрифт не особенно высокого рельефа, с покатыми гранями, отличается тщательностью контуров, отделки и стилистической выдержанностью. Вершины и окончания по большей части имеют одинаковый косой срез с небольшим клином, при равномерной толщине стволов. Пропорции очень удачные. Четкая горизонталь надписи лежит отступя от нижнего края приблизительно на четверть ее высоты. Буквы подстрочными поворотами, клинообразными и килевидными лигатурами внизу, высокими вершинами и поднятыми окончаниями наверху захватывают поле во всю ширину. Конечные *рā*, *м̄им*, *нūн*, *вāv*, как правило, подняты вверх, образуя дугообразный изгиб или излом в зависимости от надстрочной формы этих букв (напр., вокруг петли *вāv*, Фиг. 3 А, дуга почти в $\frac{3}{4}$ окружности; у *нūн* кривая короче и плосче, Фиг. 3 В, G; у *рā*, Фиг. 3 В, Н, ствол изломан параллельно низкой части),¹ но никакого излишества не видно; примером этого служит *бā* с концом на строке *الْب*. Эта архаическая форма избрана тут, конечно, чтобы, сохранив две пары высоких вертикалей, избежать неудобной здесь пятой и раздвинуть их (см. *الْب ارسلان* Фиг. 3 Н, Д). Плетение стволов, за исключением одного *منوْجهر*, Фиг. 3 В не встречается. Для изображения конечного *хā* служит только небольшой подстрочный кончик, без настрочного выступа, одинаковый с конечным *йā* (Фиг. 3 Е, Д.). Начальные *д*, *з*, *б*, *в* отличаются красотой изгиба высокой шейки; их вершины, вместе с *м̄имами* принадлежат к тем немногим буквам, в очертание которых входят растительные элементы.² Скрамность в пользовании ими

¹ Ср. каменные фризы мечети Хакима у S. Flury, *Ornamente der Hakim-ud Azhar, Moschee, Materialien zur Geschichte der älteren Kunst des Islam, Heidelberg, 1912, т. XXIV, 1, 3.*

² Повидимому *б* — *в* принадлежат к красивейшим по форме и тонкости отделки во фризе, но неясность изображения в цитированной работе В. В. Бартольда не позволяет зарисовки деталей впрямь до получения оригинальной фотографии Кюркчяна, которой пользовался

зависит исключительно от декорации фона. В целом, шрифт значительно проще и спокойнее, чем каирские образцы V в. в штуке.¹

Через весь фриз протянут волнообразный побег, нигде не пересекающий буквенных стволов, но как бы проходящий за ними. Стебель двойной, состоит из двух шнуров, разделенных бороздкой, ясно виден в подъеме, но значительно ступшевывается и не везде идеально подогнан в нижних частях, особенно при переходе с одной плиты на другую. Диапазон его колебаний уже самого фриза: вверху не до края, внизу только до основной горизонтали шрифта. От побега отходят в различных направлениях мелкие побеги с листиками и полулистами, легко, непринужденно, без соблюдения симметрии. Все внимание устремлено на достижение общего равновесия, поэтому вверху, где меньше буквенных элементов, больше растительной декорации; под строкой их нет совершенно.² Для поддержки ритма, побег кое-где подчиняет себе шрифт. Это ясно видно там, где он как бы продолжает направление ствола *джйма* (фиг. 3 В *منوچهر*) или, опускаясь, сливается с ним (дуга от *фа* الفاع до *нуна* بن между именами Малик Шāха и Альп Арслāна, фиг. 3 Е — G). Такая тенденция привела к необходимости вытянуть некоторые низкие буквы (دولة — *а*, جهر — *е*, الفاع — *а*) и вынести часть букв выше основной горизонтали (см. фиг. 3 А, В, С, D, F). Подъем, начатый на переломе *вава*, и следующий подъем не сошлись бы, если вынесенные вверх буквы опустить на общий уровень строки (фиг. 3, А, В).

Сочетание куфической монументальной надписи с волнообразным побегом нельзя рассматривать как результат случайного вдохновения; напротив, это определенная разновидность шрифта. Первый исследователь, S. Flury, издавая надпись на резной двери Махмуда в Газне (см. фиг. 4), определил ее как «Wellengankenkuḫ». Корни такой декорации он ведет от 'аббасидской резьбы IX в., так наз. «Schrāgschnittstil», и образование развитого волнообразного побега около 1000 года — от прежних отдельных листов цветущего куфи.³ Пересмотр куфических надписей разных областей привел его к убеждению, что происхождение нового типа не западное, а восточное, где изобретательность в смысле разновидностей арабского шрифта проявилась сильнее.⁴

Н. Я. Марр при своей работе. Изображенный в Отчете... за 1915 г. т. VIII, 3 камень № 8 с остатками слова السلطان разбит и тоже для указанной цели не достаточен.

¹ Cp. S. Flury, op. cit., т. XVI, 2, XVII.

² Cp. S. Flury, Das Schriftband an der Türe des Mahmud von Ghazna (988—1030), D. Isl. VII, 220.

³ Op. cit., 224—226.

⁴ Ibid., 224. Cp. Diez, op. cit., 68.

Мы не можем касаться здесь всего приведенного им параллельного материала, кроме указания на распространение «Wellenrankenkuḫī» в заставках коранов с 500 г. х.¹ В связи с этим, хочется отметить одну, более раннюю, заставку в коране II в. хиджры² (см. фиг. 5). Здесь заглавная строка суры охвачена сверху и снизу двумя симметричными, волнообразными побегам. Внутри светлых стеблей пущена темная жилка, что производит такое же впечатление, как стебель с бороздкой надписи. Сообразно эпохе, нет поднятых окончаний, а потому высота *алфа* равна опусканию *нун*. Если



Фиг. 4. Куфи с волнообразным побегом на двери Махмуда в Газне.

переписать заглавие нашим шрифтом, нижний побег станет ненужным, верхняя половина рисунка заполнится поднятыми окончаниями и волны стебля, не доходя до горизонтали, только окажутся немного выше, чем на анийском фризе, подобно побегу в Chargird³ (см. фиг. 6).

Этот пример ясно показывает, что «Wellenrankenkuḫī» существовал тогда в коранической живописи, когда не было еще развитого цветущего куфи, и отсюда перешел в монументальный шрифт. Геометрически связь анийского побегам с кораном гораздо сильнее, чем с надписью на двери в Газне, где одностовольный правильный побег, с ответвлениями по окружности, движется по всей ширине надписи; мелкие побегам превратились в сильно стилизованные арабески.⁴ В Ани, как на позднейших образцах в Египте, побег не опускается за пределы горизонтали,⁵ его придатки нату-

¹ Ibid, 223; ср. его [же]: Le décor épigraphique des monuments de Ghazna, Syria VI, 1925, 86.

² См. Ahmed Moussa, Zur Geschichte der Islämischen Buchmalerei in Aegypten, Cairo, 1931, т. XVIII (29), стр. 46, 60.

³ Дата его 455—485 г. х. установлена E. Herzfeld'ом D. Isl., XII, 1922, 98—101. Ср. S. Flury, Das Schriftband an der Türe des Mahmud von Ghazna, 224. Изображения см.: E. Diez, op. cit.,¹ рис. 90. idem,² рис. 231. H. Glück und E. Diez., op. cit. ?292b. — J. Strzykowski, Altai-Iran und Völkerwanderung, Lzg., 1917, 125, рис. 119. — E. Diez. Churasanische Wandgemälde, I, Berlin, 1918, таб. 19, № 1—2.

⁴ S. Flury, op. cit., табл. VII, 1; Islamische Schriftbänder, 40, рис. 12. См. также его: Le décor épigraphique des monuments de Ghazna, 86, рис. 11.

⁵ S. Flury. Das Schriftband an der Türe des Mahmud von Ghazna, 219—220.

ральнее, без заметного арабескового перерождения, которое так сильно в Газне и надписи кайруанской мақсұры Сиди 'Оқба (406—453 г. х.). Резьба листков достаточно глубока и техника «Schrägschnittstil»'я сильно чувствуется.

Пользуясь правильностью расположения волн анийского фриза, можно попытаться соединить два последние фрагмента в предложенном порядке и сблизить с остальными (см. фиг. 3 С — D). Дуга побега восходит из конца *рā* меньшего фрагмента и не доходит до зенита у излома слева; на большем дуга достигает зенита над *мймом* и слегка понижается к высоким стволам; при соединении кусков дуга должна сойтись на нужной высоте. К одинаковому результату мы придем, приложив справа к изображению на табл. VIII, 4, № 14 фрагмент табл. VIII, 5. Восстановив таким образом почти полную плиту с правильной дугой, мы видим, что на следующей (в порядке текста) плите с именем Малик Шāха дуга образует вполне нормально следующий подъем. Это обстоятельство подтверждает правильность предложенного чтения и места фрагментов во фризе.

Любопытно, что все прочие надписи Малик Шāха совершенно отличаются по стилю. Дамасские тексты, с мелким шрифтом, многострочны, проще фатимидских надписей¹ Египта, лишены побегов и декоративных украшений.¹

Шрифты амидских текстов² иной по своим декоративным задачам: он гораздо развитее; его вычурные, плетеные буквы, с обилием растительных, орнаментальных придатков и мелких побегов, ничего общего с волнообразным анийским фризом не имеют. Из предшествующих надписей Амиды кое-где есть некоторое сходство в деталях; например, в надписях эмира Ахмада 426 г. х.³ есть *абвы*, близкие к анийским; в особняком стоящей надписи эмира Насра 460 г. х. — клинообразные вершинки и окончания, большая простота букв и некоторое сходство в лигатурах.⁴ Характерные для Амиды в XI в. поднятые окончания, в одних частях ствола очень тонкие, в других толстые — в анийском фризе мечети совершенно отсутствуют.⁵

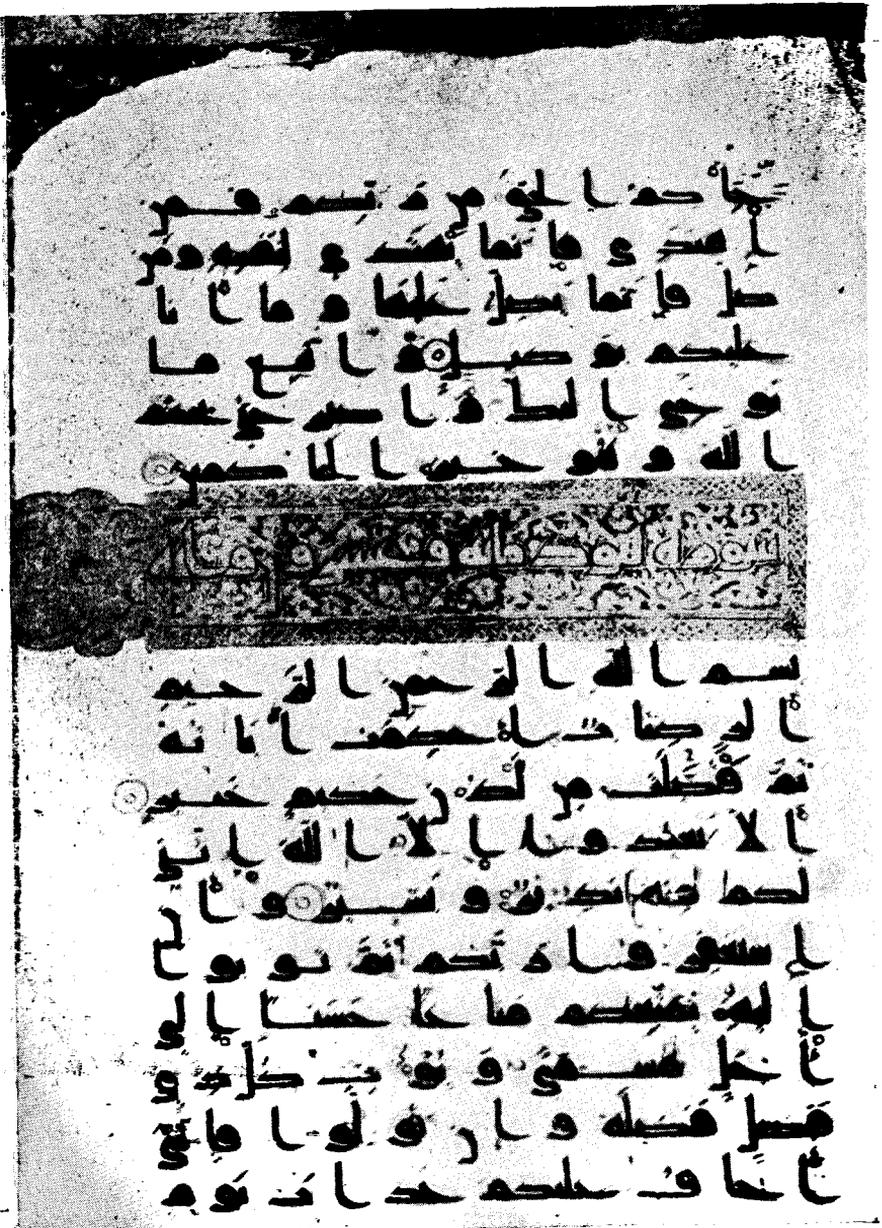
¹ Ср. M. van Berchem. Inscriptions arabes de Syrie, 13, табл. IV, рис. 7.

² См. M. van Berchem. Amida, pl. VII—VIII.—S. Flury. Bandeaux ornementés à inscriptions arabes, Syrie, I, 1920, табл. XXXVI A-B, XXXVII, XXXVIII A-B; S. Flury. Islamische Schriftbänder, табл. IX—XI, рис. 4.

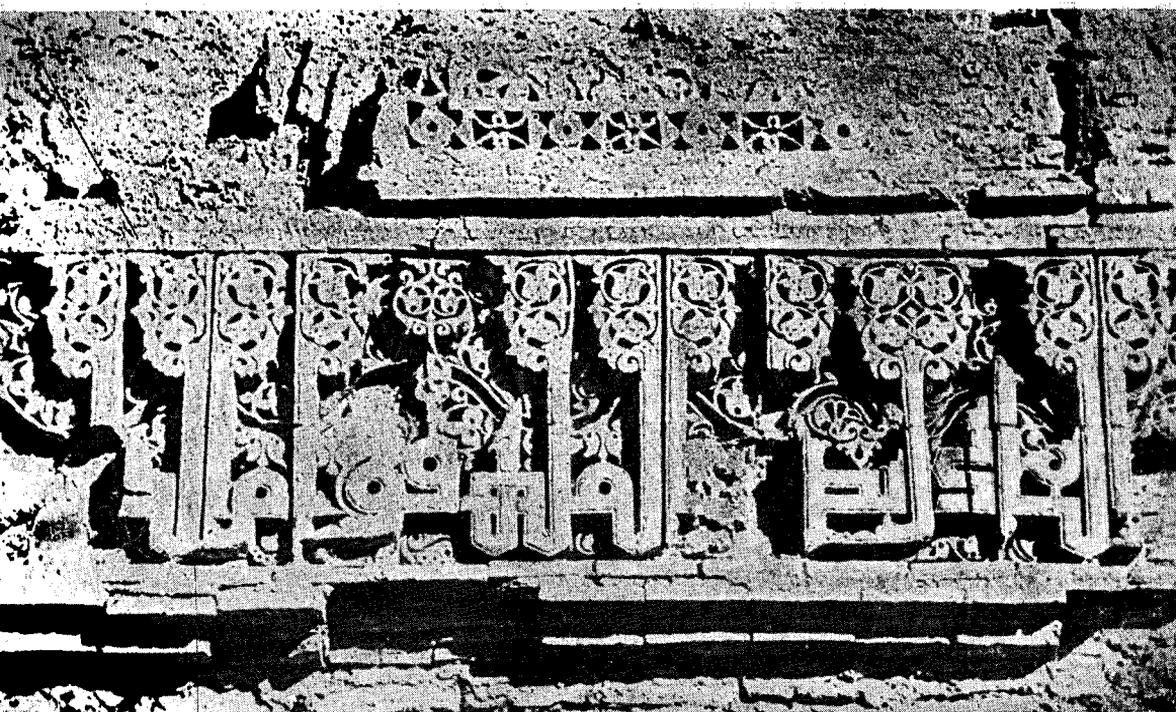
³ S. Flury. Bandeaux ornementés, табл. XXIII-XXIV. Он же. Islamische Schriftbänder, Taf. II—III, A 16 = M. van Berchem, op. cit., № 8—9.

⁴ S. Flury. Islamische Schriftbänder. Taf. VIII, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14, 17 = M. van Berchem, op. cit., № 14. S. Flury. Bandeaux ornementés, табл. XXXV.

⁵ Гораздо большую связь с амидским шрифтом можно установить в надписи эмира Манучехра на башне, но ей мы предполагаем посвятить особое исследование



Фиг. 5. Заставка корана II/IX века из мечети 'Амра в Кабре'.



Фиг. 6. Фриз мечети в Харгирде (455—485 г. х.).

Итак, надпись Манучехра не зависит от надписей Малик Шāха в палеографическом и декоративном отношении; частично она от них отступает и по своей орфографии. Титул шāханшāх во всех цитированных текстах пишется شاعنشاه, а на мечети появляется новый вариант, кроме отмеченных М. van Berchem¹: первый *алиф* пропущен. Для имени Малик Шāха известны два варианта: в текстах Амиды 482 и 484 г. х. в одно слово — ملكشاه,² в Дамаске 475 г. х. и Амиде 485 г. х. — в два слова ملك شاه,³ последнюю форму мы видим и в Ани. Имя Алья Арслāна в Ани совершенно правильно [الب ارسلان]⁴, совпадает с куньей Тутуша в Дамаске,⁵ но в Амиде в кунье Малик Шāха везде البرسلان. Имя отца Манучехра, Шāвур, в отличие от текста башни, имеет только один *вау* شاور.

Если в надписях Малик Шāда не находится стилистических аналогий, естественно возникает вопрос, каково было отношение куфического фриза мечети к мусульманской эпиграфике Кавказа. Параллели вне Ани неизвестны; немногочисленные надписи того же периода отличаются по стилю и декоративным задачам и палеографически мало исследованы, а потому не могут привлекаться для сравнений. Что касается Ани, ответ яснее. На фотографии А. А. Калантара ниже остатков фриза мечети изображены три архитектурных фрагмента, повидимому от одного памятника, с куфическим фризом средней величины и один фрагмент мелким шрифтом в две строки; на всех четырех — кўфй с волнообразным побегом. Это указывает на его излюбленность в мусульманской архитектуре Ани.

В литературе неоднократно отмечалось обилие веревчатого, плетеного орнамента и побегов в армянском искусстве, особенно часто в Ани. Ставить, однако, двойной побег фриза мечети в прямую зависимость от армянской декорации не приходится, так как побег, одиночные и двойные, с первых веков хиджры широко распространены во всех отраслях искусства мусульманских стран. Чтобы не нагромождать примеров и для удобства сравнения сохранить единство материала, достаточно сослаться на каменную орнаментiku мечети Хākима в Каире (393/1003 г.).⁶ Самая идея декоративного сочетания шрифта с растительным орнаментом вообще, волно-

¹ Amida, 394.

² Ibid., № 16 и 18.

³ Ibid., № 17; M. van Berchem. Inscriptions arabes de Syrie, p. 14.

⁴ Нуи быи на следующей плите.

⁵ M. van Berchem. Inscriptions arabes de Syrie, 93.

⁶ См. S. Flury. Ornamente der Hakim- und Azhar-Moschee, табл. XIX, XX 2, XXIV — XXIX, XXXI 2—3, XXXIII — XXXIV. О связи орнаментики ранне-мусульманских надгробий Каира с коптским двойным побегом указано в работе В. А. Крайневской, Арабские надгробия Музея палеографии Академии Наук СССР. Тр. МУП, III, Л., 1929, 87—90, фиг. 1.

образным побегом в частности, как мы видели, — ранняя и не армянская. Лишь с XII в., когда цветущий кӯфӣ достиг апогея и укреплялся в эпиграфике насхӣ, появляются в армянском шрифте растительные элементы, притом одновременно в горельефных надписях¹ и рукописях с миниатюрами.² Происхождение нового типа армянской палеографии совершенно не выяснено и при обсуждении его вряд ли можно будет обойтись без влияния арабской эпиграфики, как не обошлось и европейское искусство в эпоху возрождения.³

Из растительных деталей фриза мечети Ману́чехра надо остановиться на форме листьев и почти систематически повторяющейся подробности — отделении листка от побега одной или двумя поперечными нарубками. Пятилопастных виноградных листьев нет совершенно, но много тройных листков разной величины и контура, часть которых заставляет вспомнить геральдическую лилию (см. особенно фиг. 3 В).⁴ Трехдольные полулистки, преимущественно строгого полупальметного типа, чередуются с двудольными и однодольными. Такое разнообразие придает побегу натуралистический вид, но не дает оснований рассматривать его, как стилизацию лозы. На антрвольте ц. Гагика I, напротив, характер лозы не подлежит сомнению⁵ и вполне заслуживает сближения с ранне-мусульманским виноградным орнаментом.⁶ В орнаментике Ани найдутся растительные детали одного характера с фризом мечети, выполненные глубокой резьбой, как видно из другой детали ц. Гагика,⁷ с парными противолежащими полупальметками строгого рисунка и прекрасной работы. Но на мусульманских памятниках это один из распространеннейших мотивов. Обратимся опять к камнерезным украшениям мечети Хәкима, где найдется немало сходных листков, правда без перехватиков стебля. Во дворце испанских омайядов 368 г. х. Medina Azahra необычайное богатство и разнообразие архитектурного орнамента в камне, мраморе и керамике, великолепного рисунка и техники, сравни-

¹ См. Н. Мapp. Ани, столица Армении, 218 (ц. Григория XII в.). Он же. О раскопках и работах в Ани летом 1906 г., табл. XVII. Он же. Новые материалы по армянской эпиграфике, ЗВО VIII, 74, рис. 3 (на стр. 73). — И. Орбели. Два серебряных ковша XVI в., ХВ, V, 1916, 2 прим. 1. — Г. Освeян, Атлас, табл. 13.

² См. J. Strzygowski, Beiträge zur Kunstgeschichte des Mittelalters von Nordmesopotamien, Hellas und dem Abendlande (Amida) 369, рис. 320 (1198 г.), рис. 313 (1272 г.).

³ См. Th. Arnold, Islamic Art and its Influence on Painting in Europe, Legacy of Islam, 153—154.

⁴ Cp. L. A. Mayer, Saracenic Heraldry, Oxford 1933, 22—24, табл. V.

⁵ Н. Мapp. О раскопках и работах в Ани летом 1906 г., рис. 14.

⁶ E. Herzfeld. Der Wandschmuck der Bauten von Samarra, 212, рис. 310. E. Diez, Op. cit. рис. 47. — E. Kühnel. Die islamische Kunst (A. Springer. Handbuch der Kunstgeschichte VI), о. о. 395, рис. 385. — S. Flury. La mosquée de Nāyin, Syria 1930, 46 сл. табл. IX₁. Он же. Die Gipsornamente des Dēr-es-Surjāni. D. Isl. VI, 75—78, 84—85, рис. 2 a-d, 3 a-c.

⁷ Н. Мapp, op. cit., рис. 12.

тельный материал очень обилен.¹ Не должно смущаться, что и тут пере- хватки не везде: их можно найти с избытком на многих памятниках IV в. х. и позже, всевозможной техники и в различных странах ислама; одни пере- секают только внутреннюю часть сходящихся или расходящихся двойных побегов,² другие охватывают стебель одиночным, двойным или тройным кольцом, третьи сидят свободно в виде браслета.³

Констатируя широкое и давнее применение аналогичных мотивов в мусульманской орнаментике, нет необходимости усматривать в анийском фризе местную армянскую традицию, как бы прочной она не казалась. Правильнее искать для армянского и мусульманского искусства общих корней этого направления. Для многих сторон обеих культур неиссякаемым источником, как известно, был Иран. И на этот раз приходится обратиться к самому центру его, в один из наиболее блестящих периодов. Раскопки в Ктезифоне немецкой экспедиции 1928/29 г.⁴ и немецко-американской 1931/32 г.⁵ дают исчерпывающий сравнительный материал VI—VII вв. н. э. в богатейшей штукатурной декорации гражданской архитектуры. Здесь можно найти глубокую резьбу пальметок,⁶ вытянутых в виде фризov и побегов,⁷ тройные листки, почти не отличающиеся от деталей фриза мечети;⁸ двойные стебли и побеги во всяких комбинациях и необычайно четкие перехваты стеблей представлены прекрасными фрагментами. Усвоение сасанидских форм мусульманским искусством облегчалось тем более, что ранне-мусульманские постройки возникали рядом или на остатках предшествующей эпохи. Так, на руинах Ктезифона найдены мусульманские сооружения IX в., план и разнообразное убранство которых находит себе

¹ Velázquez Bosco, Medina Azzahrá y Alamiriya, Madrid, 1912, табл. X 3—4, XVII, стр. 68, рис. 21, табл. XXXIII.

² Ср. S. Flury, Ornamente der Hakim- und Azhar-Moschee, табл. XXVI 1.

³ Ibid., табл. XXVI, XXVII I. Для краткости приведем несколько точно датированных памятников, от Ани очень далеких: E. Kühnel, Maurische Kunst, Berlin 1924 (Die Kunst des Ostens IX), табл. 18 (960 г.), 15 (970 г.), 116 (1026 г.), 113 (1049 г.). — G. Marcais, Manuel d'Art Musulman, Architecture I, fig. 156 (1008 г.): ср. рис. 155 A' — А. В христианской орнаментике Ани эти элементы повидному ранее XIII в. Ср. Г. Н. Чубинов, op. cit. 26. — Н. Мара, XI Анийская археологическая кампания, рис. 44 и цитированный орнамент ц. Гагика.

⁴ O. Reuther, Die Ausgrabungen der Deutschen Ktesiphon-Expedition. Staatliche Museen in Berlin. Islamische Kunstabteilung, 80 38 стр. См. рецензию В. Крачковской, Библиография Востока, выд. 2—4 (1933), ИАН, Ленинград 1934, 118—120.

⁵ Die Ausgrabungen der zweiten Ktesiphon-Expedition. Winter 1931/32. Staatliche Museen in Berlin—Metropolitan Museum of Art, New York. Vorläufiger Bericht. Berlin 1933. 80, 35 стр. Рецензия печатается в Библиографии Востока.

⁶ O. Reuther, op. cit., рис. 14, 16, 18.

⁷ Die Ausgrabungen der zweiten Ktesiphon-Expedition, рис. 21, 23, 25, 29, 32 и др.

⁸ O. Reuther, op. cit., 18.

ряд параллелей в нитукак жилищ Самарры¹ — одного из крупных центров аббасидской культуры. Материал из раскопок в Ктезифоне показал еще одну сторону сасанидского наследия, прочно освоенного мусульманским и армянским искусством.

Это, конечно, только немногие из тех «местных и общих» вопросов, которые по меткому замечанию Н. Я. Марра связаны с любой надписью Ани. Специальные «эпиграфические» выводы в результате монографического изучения данного памятника могут быть, как нам кажется, сформулированы с достаточной определенностью и уверенностью.

Прежде всего, благодаря этому исследованию устанавливаются два дополнения к известному тексту на мечети. Первое извлечено из рисунка, опубликованного Н. Хальковым по копии Abich'a и представляет конец строительной формулы со словом [ال]تارة «минарет». Так как до эмира Манучехра в Ани не было мечети, очевидно в надписи говорилось о ее постройке одновременно с минаретом. Нижние части старого здания X в. могли быть при этом конечно использованы. Судя по кладке, новыми были верхние части, вся стена с куфической надписью и минарет. Надпись подтверждает документально мнение, высказанное Н. Я. Марром, что минарет был выстроен Манучехром.² При каких обстоятельствах могла произойти его капитальная перестройка в XII в., «на месте старой башни», как полагал И. А. Орбели,³ пока неясно. Для окончательного установления истории всей мечети требуется полный пересмотр всех наблюдений и археологических материалов, которыми обладают преимущественно работавшие на месте, с привлечением текста в новой, расширенной редакции.

Второе дополнение дали новые фрагменты надписи мечети. При помощи их установлено в тексте наличие 1) полного султанского титула сельджуков, 2) одного из сложных султанских титулов, не встречавшегося прежде в известных немногочисленных текстах с именем Малик Шāха, 3) формулы, показывающей вассальную зависимость эмира Манучехра от Малик Шāха. Надпись, а вместе с нею и мечеть с минаретом, датируются точнее, по имени Малик Шāха, между 465—485 г. х., а если дата смерти Манучехра у E. Zambaur'a и E. Sachau правильна, то постройка мечети относится к 465—466 г. х.⁴

¹ Ibid., 34 сл. См. также: Die Ausgrabungen der zweiten Ktesiphon-Expedition, 9, 10, 14, 23—26, 27—28.

² Ани, столица Армении, 210. Ср. выше, стр. 709, 1.

³ Краткий путеводитель, 6.

⁴ Может быть следовало бы в связи с надписью пересмотреть вопрос о монете с именем Манучехра и Малик Шāха, упомянутой Е. А. Пахомовым в очерке истории ширван-шахов-керанидов. См. его Краткий курс истории Азербайджана... Баку, 1923, 96.

В настоящее время текст получил следующую расширенную редакцию:

[بِسْمِهِ اَمْرٍ بَيْنَاءِ هَذَا الْمَسْجِدِ¹ وَاَلِنَارَةَ الْاَمِيرِ الْاَجَلِّ شِجَاعِ الدَّوْلَةِ اَبُو شِجَاعٍ مَنْوُجَّرِ
 بِنِ شَاوْرِ فِي دَوْلَةِ مَوْلَانَا السُّلْطَانِ الْعَظِيمِ شَهْنَشَاهِ الْاَلِ الْعَظْمِ ... الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
 اَبِي الْفَتْحِ مَلِكِ شَاهِ بِنِ الْبِ اَرْسَلَانِ ...]

«[Б а с м а г а. Приказал построить эту мечеть и ми]нарет эмир славнейший Шуджā ад-даула Абу Шуджā Манучехр сын Шавура в правление султана возвеличенного, царя царей ве[личайшего . . . вос]тока и запада Абу-л-фатх Малик Шāха сына Альп Арслā[на . . .]».

Если судить по расчету Н. Я. Марра относительно общей длины надписи, уместившейся примерно на 16 камнях, и считать, что лакуна в начале захватывала два камня, то места для *بِسْمِهِ* пожалуй не было; но лакуна в середине текста не захватывала камней № 11—13, так как нам неизвестно лишь одно слово, т. е. титул, предшествующий определениям *المشرق والمغرب*. Одновременно нужно заметить, что имя Альп Арслāна не уместилось на одной плите; следовательно был еще один камень в конце текста, вероятно с пожеланием султану или датой.

Проект надписи как в текстуральном, так и в декоративном смысле исходил не из армянской, а из мусульманской среды. Можно считать теперь определенным и палеографический тип надписи мечети, на распространенность которого в Ани указывают другие фрагменты фотографии, — «куфий с волнообразным побегом (*Wellenrankenkufi*)» его старейший эпиграфический предшественник на двери Махмуда в Газне (998—1030 г.) и прототип в миниатюрной живописи корана II в. х. В орнаментике фриза устанавливается преемственность форм от ранних мусульманских памятников, причем могут быть отмечены некоторые параллели армянского орнамента и общие для мусульманского и армянского искусства корни в новооткрытых сасанидских памятниках VI—VII вв. и. э.

Ленинград. Сентябрь 1933.

¹ Термин «масджид» здесь вероятнее, сообразно с размерами мечети, тем более, что роль «джāми» мог играть собор.

Б. А. ЛАТЫНИН

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ИРРИГАЦИИ

При археологических исследованиях в Средней Азии невольно обращает на себя внимание одна чрезвычайно характерная особенность в топографическом расположении памятников, относящихся к ранним, домусульманским стадиям. В густо заселенных, хорошо орошаемых в настоящее время зонах они встречаются, как правило, крайне редко и сосредоточиваются у предгорий, куда ирригационные каналы не заходят и где возможен, и то не всегда, лишь богарный посев зерновых злаков.

Подойти ближе к этому явлению пришлось при работах 1930 и 1933 гг. в Ферганской долине, где такое распределение древних памятников прослеживается особенно резко. Огромные участки незаселенной, выжженной солнцем предгорной степи покрыты многочисленными городищами и холмами—тепе, представляющими собой остатки разрушившихся глинобитных строений, возводившихся последовательно, в течение длинного ряда лет, на одних и тех же местах. То едва заметные, расплывчатой формы, то с крутыми склонами и достигающие высотой 20—30 и более метров, эти тепе являются молчаливыми свидетелями каких-то, очевидно, весьма существенных изменений, происходивших здесь в отдаленные периоды истории человеческого общества и заставивших население покинуть места прежнего своего обитания. В хорошо орошенных и густо заселенных, нижерасположенных районах, наоборот—памятники встречаются гораздо реже и принадлежат опять, как правило, к более поздним эпохам.

Отчего это зависит и как объяснить такое явление?

Гипотеза о том, что в позднейшее время мы имеем значительное сокращение обрабатываемых земель и что древние памятники лучше уцелели в покинутых районах, а в зонах, оставшихся обитаемыми, они оказались с течением времени полностью уничтоженными, едва ли может быть принята, хотя процесс разрушения памятников путем использования насыпей тепе на удобрение полей и на выделку саманного кирпича для построек имел и

имеет, к сожалению, свое место. Кроме крайней маловероятности самого факта резкого сокращения орошаемых участков, оставалось бы непонятным самое главное, а именно то, — какая причина вызвала это сокращение и притом не в единичном случае, а на огромных пространствах и в удаленных друг от друга пунктах.

Гораздо более вероятным в данном случае будет предположить не сокращение обитаемой площади, а перемещение населения, первоначально сконцентрированного в предгорной степи и затем передвинувшегося в расположенные ниже зоны долин. Однако, для того, чтобы принять такое предположение, необходимо уяснить себе, что вызвало и что сделало возможным это перемещение населения.

Огромные покинутые городища с их оплывшими, но все еще высокими валами, группы тянувшихся до самых гор тепе, многочисленные выходы культурного слоя, насыщенного обломками керамики, костями, углем и т. п. в естественных и искусственных обнажениях почвы, среди незаселенной выжженной степи, невольно наталкивают на мысль о каком-то катастрофическом, внезапном событии, прервавшем здесь культурную жизнь.

Быть может, это запустение есть результат одной из еще неизвестных нам волн завоевателей степняков, одна из начальных страниц длительной борьбы кочевого Турана с оседлым, земледельческим Ираном, ранний вариант сожженных монголами городов и пирамид из отрубленных голов, со оружавшихся позже Чингис-ханом?

Возможно также думать, что население куда-то совсем ушло, переселилось. Ведь вопрос идет об Азии, о Ферганской долине, расстилающейся у подножья Памира, репутация которого, как прародины белокурых арийцев, хотя несколько и померкла, но отнюдь не вовсе погибла.

Оба предположения в канонах совсем недавно господствовавшей, а может быть и поныне господствующей еще местами исторической школы, могли бы быть приняты без особых возражений, по меньшей мере, как вполне вероятные. Резкий перелом в ходе развития исторического процесса охотно объяснялся внешними причинами: завоеванием или переселением. Так и здесь. Пришельцы разрушили и уничтожили на своем пути старые поселения, местность запустела, и затем, по прошествии какого-то времени, они стали возникать вновь, но уже на иных местах.

Не менее убедительна была бы гипотеза о том, что древние насельники края куда-то переселились, а сменившие их «народы» или «племена» осели на иных местах. Можно было бы высказать и смелое предположение о том, куда они переселились, напр. в Шумер, центральную Европу или в Китай.

и подкрепить это формальными аналогиями из области материальной культуры. Таковые, кстати, имеются в виде расписной, иногда и со спиральным орнаментом, архаического типа ферганской керамики. Гипотеза была бы ничуть не хуже многих иных существующих, того же характера высказываний.

Новое учение о языке, выдвинутое Н. Я. Марром, яэтидология, особенно в тех частях этого учения, которые имеют ближайшее и непосредственное отношение к истории ранних стадий человеческого общества, не позволило, к сожалению, при работах в Средней Азии удовлетвориться такими объяснениями. Говорю—к сожалению, так как приходилось отказываться от тех широких, чрезвычайно заманчивых и, тем не менее, в корне неверных перспектив, которые могли бы быть открыты при работах в Фергане перед археологом, стоящим на позициях традиционного индоевропеизма, хотя бы и в востоковедческом его преломлении. Пропадало и обаяние памирской прародины и арийские прапредки и еще многое другое, что придало такой романтический колорит отчетам Помпелли и Шмидта об их раскопках тепе у Анау. Нужно было подходить ко всему совсем с другой стороны и прежде всего сделать попытку глубже разобраться в фактических материалах.

Почва, пригодная для земледелия, ценится в Фергане чрезвычайно высоко. Тщательно возделывается буквально каждый клочек, который может быть отведен под посев хлопка, риса, джугары, люцерны, бахчевых сортов и т. п. Лёссовые отложения, перекрывающие сверху третичные галечные конгломераты, весьма плодородны, но лишь при непрерывном условии обильного их орошения, осуществляемого в Фергане весьма сложными и развитыми системами искусственной ирригации. Там, где есть вода, тянутся оазисы сплошных возделанных полей и насаждений; там, где воды нет,—начинается полупустынный ландшафт, хотя слой лёсса и имеет еще достаточную мощность. Ближе к горам, где наружу начинают выступать подстилающие галечники, граница орошенных и не орошенных земель особенно заметна. В прямом, а не переносном смысле, можно стоять одной ногой в зеленющем оазисе, другой—в пустыне, вовсе лишенной растительности.

Потребность в земле, которая может быть орошена и использована под земледелие, настолько велика, что нередко примеры искусственного создания почвенного слоя. Так, если на бесплодные галечные поля в предгорьях может быть проведена вода из арыков, то их делят на небольшие участки, выравнивают скат до горизонтального положения, окружают невысокой оградкой, которая задерживала бы сток воды, и затем последова-

тельно, в несколько приемов, заливают для того, чтобы отстоявшиеся и осевшие на дно частицы лёсса, обильно взвешенные в мутной воде, постепенно образовали слой, на котором можно будет производить посев. Конечно, это применяется лишь в зонах, где нет обычного недостатка в воде. Иногда на такие участки землю и привозят издалека, причем в этих случаях особенно страдают древние тепе, нередко полностью разбираемые на увеличение почвенного слоя и на удобрение полей. При всем этом недостатке земли огромные площади лёссовой, плодородной, но недоступной для орошения предгорной степи лежат, как указывалось, сейчас пустыми.

Приходится констатировать, хотя это и звучит несколько странно, что отсутствие земли в Фергане еще не является препятствием для земледелия, отсутствие же воды, и при наличии плодородной почвы, исключает его совсем, а если оно в отдельных местах и возможно без искусственного орошения, то лишь в виде небольших, малопродуктивных, всегда ограниченных и находящихся всегда под угрозой засухи богарных посевов. Существование земледелия здесь определяется не землей, а водой.

В настоящее время в Фергане в ходу две основные системы ирригации. Более простая использует небольшие речки и ручьи, сбегające с гор. Головные, весьма несложные сооружения устраиваются там, где поток выходит на плоскость, и разбирают его обычно полностью. Вода расходится по веерообразной сети небольших арыков, размеры которой, а, следовательно, и размеры данного оазиса, зависят от дебета горной речки.

Гораздо сложнее устройство систем, выводимых из больших рек. Для того, чтобы какой-либо участок мог быть орошенным, вода для него должна быть отведена где-то значительно выше, в том месте, где абсолютная высотная отметка уровня реки превышает высотную отметку намеченного к орошению участка настолько, чтобы вода по чрезвычайно точно привелированному и имеющему необходимый уклон руслу магистрального канала могла самотеком дойти до этого участка.

Бурное течение рек у выхода их из горных ущелий и высокие каменистые берега чрезвычайно, однако, затрудняют, а порой даже делают и невозможным устройство головных заборных сооружений на верхнем течении, и их приходится возводить ниже там, где эти препятствия легче преодолимы. Таким образом, если уровень реки у выхода ее из ущелья равен, предположим, 500 м над ур. м., а уровень речной террасы в этом месте имеет отметку 550 м, то все части ее, лежащие выше 500 м., не могут быть орошены, а следовательно, и использованы для земледелия, хотя по всем другим условиям они и были бы для него вполне пригодны.

Такая мертвая зона при небольшом падении склона долины становится весьма значительной, особенно если по указанным условиям головные сооружения могут быть устроены лишь много ниже выхода реки из ущелья. Приходится признать, что ирригационные системы, выведенные из больших рек, давая возможность обводнить гораздо большие площади, чем системы, использующие горные ручьи, имеют в то же время и крупные недостатки, а само устройство их доступно лишь при определенных топографических условиях.

Постройка и постоянное возобновление сложных головных сооружений, прорытие магистральных каналов, по которым иногда на десятки, а то и сотни километров нужно провести воду до распределительной сети, покрывающей те нижележащие участки, которые уже могут быть орошаемы, требуют применения труда больших организованных людских коллективов. Испортить головное сооружение, прервать поток воды в канале чрезвычайно легко, а последствия от этого будут весьма и весьма значительными, так что определенная структура общества и политическое объединение хотя бы в границах области, использующей одну крупную ирригационную систему, но на всем ее протяжении, являются неперенными условиями, предпосылками для самой возможности возникновения и использования такой системы. Это становится достижимым лишь на относительно поздней ступени развития общества, во всяком случае не ранее выделения классов и применения труда рабов или крепостных феодала, который и владел системой. При устройстве больших новых систем значительные, относительно высоко расположенные площади все же должны были оставаться неорошенными и незаселенными.

Со всеми этими вопросами, казалось бы, и не имеющими прямого отношения к археологии, пришлось столкнуться вплотную при работах 1930 и 1933 гг. в Ферганской долине. Без постановки их нельзя было что-либо понять в многочисленных памятниках, обследованных в Междуречьи Нарына и Кара-Дарьи, по Соху, Шор-су, на Нарыне у Уч-Кургана и др. Надо было или пойти по традиционному пути и призвать на помощь спасительного «завоевателя» и «переселяющегося прапредка», или сделать попытку разобраться хотя бы в основных моментах истории ирригации во всех ее этапах, в том числе и наиболее ранних.

Удовлетвориться историей ирригации, составленной по данным только письменных источников, освещающих сравнительно поздние эпохи, и которая пришла к выводам, что ирригационная сеть за все исторически известное время, т. е. за то, которое освещают эти письменные источники, и вплоть

до русского завоевания, не потерпела существенных изменений ни в своих размерах, ни в способах ее устройства, было невозможным. Вещественные памятники, фактические источники истории материальной культуры говорили иное. Именно в предгорной степи, которая при существующей системе орошения остается лишенной воды и незаселенной, археологическое обследование обнаруживает огромное количество памятников ранних стадий. Внимательное изучение их показывает, что рассеянные в предгорьях тепе городища принадлежат несомненно оседлому земледельческому населению. Об этом говорит и характер древних глинобитных построек, оплывшие развалины которых скрывают в своей толще насыпи тепе, и весь комплекс вещественных находок, с его своеобразной орнаментированной керамикой, имеющей ближайшие аналогии в архаических слоях земледельческих поселений Анау, Северной и Южной Персии, и каменными ручными зернотерками, являющимися самой обычной находкой для тепе Ферганы. Вся совокупность признаков, которые определяют эти памятники, указывает на то, что они относятся к каким-то ранним общественным группировкам, развивавшимся на основе земледельческого хозяйства, невозможного здесь, однако, без применения искусственного орошения.

Осенью 1933 г. на правом берегу Нарына, в так наз. Кызыл-Ярской степи, недалеко от выхода реки из ущелья, в зоне, в которой, по крайней мере начиная с эпохи мусульманского завоевания (VII—VIII вв. н. э.), а вероятнее—еще с гораздо более раннего времени, и по сегодня, орошение, оседлое население и земледелие отсутствовали, были обнаружены не только группы многочисленных тепе и городища, но и реальные следы теснейшим образом связанной с ними, весьма своеобразной, древней ирригационной системы, благодаря которой тут некогда и было возможным существование оседлых поселений.

Кызыл-Ярская степь, занимая высокую террасу правого берега Нарына от обрыва к современной галечной пойме и до гор, постепенно расширяется и понижается к юго-западу, так что скат ее имеет пологий наклон от гор к Нарыну и вниз по течению реки. Первый большой арык, несущий воду вдоль берега, за несколько десятков километров к Намангану, выведен на правом берегу, значительно ниже выхода Нарына из ущелья на плоскость, за железнодорожным мостом у Уч-Кургана. Поля, орошаемые арыками, выведенными из небольшой горной реки, начинаются еще ниже, у кишлака Чарташ.

Степь почти перпендикулярно пересечена от гор к Нарыну несколькими оврагами, которые в своих устьях, у обрыва к пойме, глубоко про-

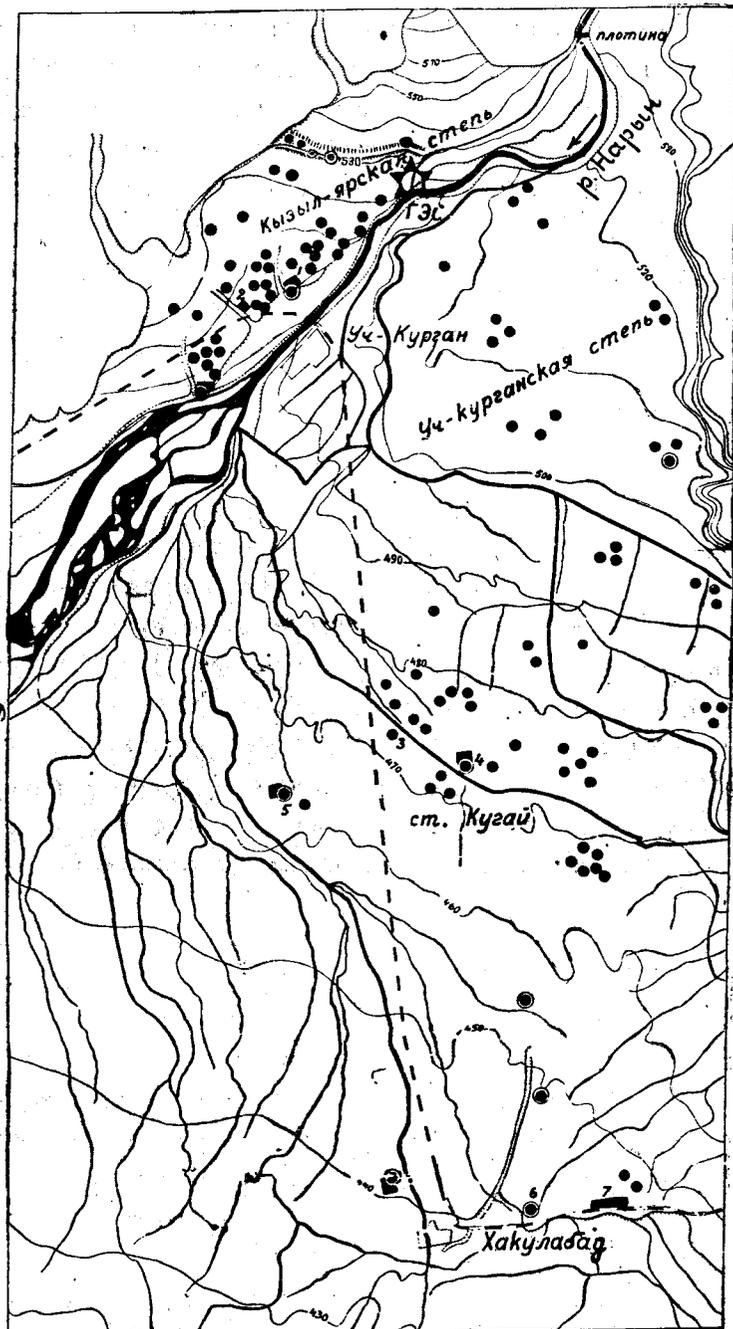
резаю верхние мощные слои лёсса и подстилающие их галечные наносы и конгломераты, приобретают каньоновобразный характер. Древние памятники сосредоточены в юго-западной части степи и как бы обрываются у сильно оплывшего, но еще прекрасно заметного глинобитного вала, проходящего через всю степь так же, как и овраги—от гор к реке. Наружный, северо-восточный скат вала более крутой, внутренний, юго-западный—покатый, и у его подошвы, будучи конструктивно связанной с валом, проходит по всей



Фиг. 1.

его длине лоткообразная выемка, представляющая собой также оплывшее и местами разрушенное ложе древнего канала. В толщу вала включено несколько холмов—тепе. Два из них достигают высоты 6—7 м и сильно сближены. Между ними вал прерывается, и здесь проходит теперь дорога. Возможно, что и раньше здесь был проход или ворота в стене, отгораживавшей и защищавшей и связанный с ним магистральный канал и густо населенную, судя по количеству лежащих за стеною тепе, зону, пользовавшуюся водой из этого канала.

Одним своим концом вал и связанный с ним канал подходят к горам. Здесь было устроено головное сооружение древнего магистрального канала, прилегающего к валу. Вода, забранная в этой точке, имеющей высотную отметку, превышающую уровень окрестной степи, имела сток, который регулировался высотой ложа и наклоном канала, и поступала в распределительную сеть, расходящуюся по юго-западной части степи. Становится



Условные знаки: Вал и гребный канал. Городище. Тепе с прилегающими к нему городищами. Тепе средних и малых размеров.

1. Городище №1; 2. Городище №2; 3. Раскопанное тепе; 4. Ах-тепе. 5. Моль-тепе у Иатта-тузаль; 6. Моль-тепе у Хакулабад; 7. Городище у Хакулабад.

Фиг. 2.

понятным теперь, почему канал был конструктивно связан с валом, который не только огораживал его и орошенные участки, но и давал возможность, путем прокладки канала по внутреннему скату его насыпи, давать желаемый уклон стоку воды:—не слишком малый, чтобы она не застаивалась, не слишком большой, чтобы избежать размыва русла бурным течением. Попадала в канал, видимо, лишь часть сбегавшего с гор потока, остальная масса направлялась в овраг.

Такая система ирригации, использующая весенние воды, весьма близка, по существу, к системам, разбирающим воду горных ручьев. Поливка могла



Фиг. 3.

производиться только весной, что, впрочем, за недостатком воды, нередко имеет место и в сети, выведенной из небольших речек. По местным условиям весенней поливки вполне достаточно для получения хорошего и постоянного урожая зерновых злаков (ячмень, пшеница). Базу для развития поливного земледельческого хозяйства она обеспечивает вполне.

Обследование предгорной так наз. Уч-Курганской степи левого берега Нарына дало аналогичную картину. Только в последние годы, на основе современной техники, удалось вывести из Нарына новый большой канал, головная часть которого расположена на достаточно высокой отметке для того, чтобы вода могла быть отведена на остававшиеся ранее незаселенными участки степи. На вновь орошенных землях созданы теперь хлопковые совхозы, но все же значительная зона остается неиспользованной и орошение ее из реки невозможным.

Степь левого берега покрыта древними тепе, тождественными и внешне и, как это выясняется при их более углубленном исследовании, по своей стадильной и культурной принадлежности остаткам земледельческих поселений правого берега. Проведенные изыскания не позволили еще обнаружить древние оросительные системы, на основе которых существовали в Уч-Курганской степи эти поселения. Вероятно, следы каналов сильно пострадали, если только не совсем уничтожены при прокладке новой ирригационной сети, проведении дорог, постройке зданий в совхозах, а, главное, при тракторной запашке целины. Надо искать их головные части в предгорьях, которые не могли еще быть достаточно детально исследованы при работах 1930—1933 гг.

Представляется, однако, несомненным, что по своему принципу древние ирригационные системы в Уч-Курганской степи были аналогичны системе, обнаруженной на правом берегу в Кызыл-Ярской степи, т. е. также собирали и использовали воду сбегаящих с гор весенних потоков.

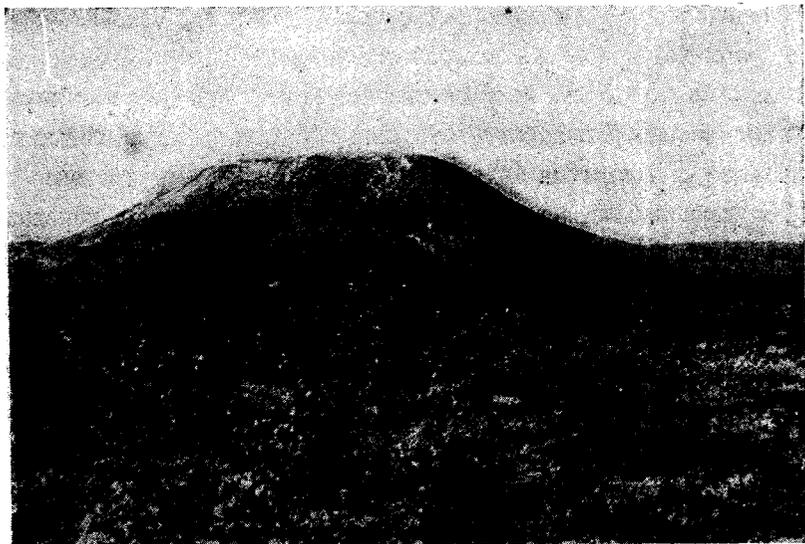
Сделанных наблюдений далеко еще недостаточно, чтобы полностью восстановить процессы, обусловившие перемещение зон орошения и развивавшегося на его базе интенсивного поливного земледелия, но основные моменты этого, полагаю, намечаются уже довольно ясно.

Вначале земледелие сосредоточивается в предгорной степи там, где небольшие ирригационные системы, не требующие сложных головных сооружений, нивелировки и прорытия длинных и глубоких магистральных каналов, а также устройства сильно разветвленной распределительной сети, могут быть проложены и поддерживаемы в порядке с относительной легкостью силами коллектива, объединяющего довольно ограниченное число людей. Наиболее удобными для этого являются участки, прилегающие к ручьям, сбегаящим с гор. Немногочисленность таких участков и ограниченность водных ресурсов орошающих их ручьев должны уже очень скоро поставить пределы расширению питаемой ими сети, а следовательно, и расширению границ используемой под посевы земли. Приходилось обратиться к освоению и менее удобных зон, где ирригация может быть устроена на весьма близком принципе использования потоков, сбегаящих с гор только весной, при таянии снегов.¹

¹ Описанные системы едва ли являются первоначальной стадией ирригации. Наиболее ранней фазой ее, видимо, было так наз. лиманное орошение, использовавшее воду ручьев значительно ниже выхода их на плоскость, там, где происходило замедление и постепенное затухание потока. Судить об этой стадии в Фергане, за неимением конкретных материалов, пока не приходится. Также не касаюсь сейчас некоторых других, кроме отмеченных, систем орошения, не имеющих в Ферганской долине вовсе или встречающихся местами лишь как

Развитие производительных сил общества, получившее мощный толчок введением в хозяйство поливного земледелия даже в таких примитивных его формах, заставляет не только искать новых пригодных для посевов земель и позволяет осваивать их этим, несколько более сложным способом устройства ирригация, но обуславливает и дальнейшие изменения в развитии техники и в структуре общества.

Все увеличивающиеся противоречия между способом производства и производственными отношениями взрывают переживший себя родовой строй.



Фиг. 4.

Выделяются классы, происходит объединение в более крупные племенные коллективы, для которых становится необходимым и вместе с тем доступным разрешение гораздо более трудной задачи выведения больших каналов из крупных рек и освоения обширных, ранее не занятых районов, которые теперь, на новой стадии развития общества, обладающего и техническими возможностями и предшествующим опытом и структурой, позволяющей организовывать труд больших коллективов, становятся доступными для заселения.

Проведенная с громадным трудом, но зато обильная и поступающая весь сезон и на большие по размеру площади вода обуславливает изменение способов обработки почвы и состава возделываемых злаков. Если вспомогательные. И устройство плотин, которые поднимают уровень воды, отводной в арыки, и черпанье ее особыми приспособлениями, так наз. чигирами, применяемые иногда в Ср. Азии, являются способами разрешения той же, в основном, проблемы подачи воды на поля, лежащие выше отметки русла реки.

участки, прилегающие к небольшим речкам и ручьям, орошавшиеся уже и ранее, с перенесением на них более сложных приемов устройства заборных сооружений и проведения длинных магистральных каналов, выработанных теперь техникой ирригации из больших рек, могут быть значительно расширены, и население их, приспособившееся к новым условиям, остается на обжитых местах, то участки, орошаемые системами, выведенными из пересыхающих летом весенних потоков, забрасываются и пустеют.

Причиной этого явились не разрушения завоевателей, не переселения прежних насельников края и замещение их новыми пришельцами, а закономерные, неизбежные, в данных конкретных условиях, стадийные изменения в самом ходе развития исторического процесса.

И система хозяйства и общественные отношения, при которых они имели такое большое значение, отжили свой век. Долгие годы, десятки столетий эти участки степи будут никому не нужны, будут стоять незаселенными с рассеянными по ним молчаливыми холмами-тепе, городищами и едва заметными следами древних каналов, по которым когда-то текли оживлявшие их струи воды. Только теперь, когда снова остро ощущается недостаток земли, доступной для орошения, а уровень техники и структура общества ушли несоизмеримо вперед, они опять начинают привлекать внимание.

В этом разрезе затронутая тема, устанавливая, что орошавшиеся и густо заселенные предгорья лишь на последующих стадиях общественно-хозяйственной жизни утратили свое значение, быть может представит не один только академический, отвлеченно-научный, но и практический интерес.

Дело идет о десятках тысяч гектаров в одной лишь Ферганской долине. Не окажется ли целесообразным в наших условиях и на уровне современной техники, используя давно забытый принцип ирригации, применимость которого для предгорной степи устанавливают произведенные исследования, опять направить сюда воду весенних потоков и получить обширную добавочную площадь, если не для хлопка, то для зерновых?

Историко-археологические изыскания, и притом весьма еще недавно начатые в этом направлении, не могут, конечно, претендовать на разрешение проблемы полностью. Пойдя по новому пути, намеченному Н. Я. Марром, отказавшись от простой лишь регистрации фактов и поисков причин изменений, хотя бы и резких, только в завоеваниях и переселениях и пытаясь проследить и вскрыть имманентные, обусловленные закономерностью исторического процесса, в его конкретных вариантах, подлинные движущие силы процесса, они лишь говорят о реализации их выводов для использования вновь некогда обводненных и заселенных плодородных массивов.

СТ. ЛИСИЦИАН

КОШУН-ДАШ. МЕГАЛИТИЧЕСКОЕ ГОРОДИЩЕ В СИСИАНЕ (ЗАНГЕЗУРЕ)

Одним из основных вопросов, возникающих при анализе составных элементов культуры современной Армении, следует признать вопрос о тех формах экономической, социальной, духовной и материальной жизни, которые являлись как бы начальными, исходными формами для дальнейшего ее развития. Бесспорно, вполне обоснованы поиски, предпринимаемые некоторыми антропологами, следов пещерного человека на Армянском нагорьи, как переходного звена от европейского неандертальца к недавно открытому синантропу Дальнего Востока. Однако, весь археологический материал, раскрытый как случайными (при ливнях, горных работах, новостройках и т. п.), так и преднамеренно произведенными раскопками, не заводит нас в более глубокую древность, чем, в лучшем случае, неолит, причем и отнесение тех или иных предметов к этой эпохе возбуждает большие разногласия среди специалистов. Материал этот в большей своей части происходит из Закавказских областей и в сравнительно меньшей степени из турецких и персидских провинций. К сожалению, как в Закавказьи, так и, в частности, в районах его, лежащих на Армянском нагорьи, дело раскопок не поставлено достаточно широко, с подчинением определенному плану и системе, с координацией работ отдельных республик и отдельных в них учреждений, с привлечением необходимых подготовленных сил из представителей как местного научного мира, так и из других частей Союза. При такой ограниченности и односторонности наличных археологических данных неудивительно, что Гос. Культурно-исторический музей ССР Армении при последней реэкспозиции археологического сектора по общественным формациям не был в состоянии выставить стадию, соответствующую неолиту в Армении, и начал, на основании предметов от эпохи металлической (бронзы и железа), с показа картины разложения родового быта, используя для этой цели по преимуществу экспонаты тех районов Советской Армении, которые входили в со-

став владений ванских царей. Так как включение племен и родов этих районов в орбиту интересов ванско-халдских царей сопровождалось изменением хозяйственных отношений в них и вызвало переход к новым общественным формам, то приходилось из археологического материала выделять все то, что относится к периоду после установления халдского владения, от того, что предшествовало этому и сложилось на месте значительно раньше и что может быть названо дохалдской, доурартийской культурой этой области, с самой общей хронологической датировкой. Выработке критериума для отнесения предметов к дохалдскому и халдскому периодам может оказать большую методическую услугу привлечение сравнительного материала из тех районов, куда не проникало оружие ванских завоевателей, и не заходило, а если и заходило, то в крайне незначительной степени, культурное их влияние. К таким районам относятся северная и северо-восточная периферии Армянского нагорья за линией горных цепей, окаймляющих бассейн р. Ахуреана (Западного Арпа-чая) с Карса-чаем и бассейн Севанского озера, нынешние Лорийский и Казахский районы, Нагорный Карабах и Зангезурско-Мегринский угол. Из этих районов наиболее изолированным и потому наиболее долго сохранявшим старые формы жизни был Зангезурско-Мегринский, так как стремление ванских царей занять прежде всего земли, лежащие по рр. Касаху и Ахуреану, и непосредственно затем земли по р. Занге и западному и южному берегам Севанского озера, продиктовано было направлением важнейших путей сообщения из Араратской равнины к Черному морю, к бассейну среднего и нижнего течений р. Куры, а эти пути пролегли далее по р. Ахуреану с Карса-чаем через Басен-Эрзерумский, по р. Касаху через Лорийский, по р. Занге и Севанским берегам, с одной стороны, через Казахский район, с другой, по Зодскому перевалу и долинам рр. Тертера и Хачена через Нагорный Карабах, оставляя в стороне Зангезурско-Мегринский угол. Очень показательны, что клинописи, отмечающие линии продвижения ванских войск, не обнаружены в части приаракской равнины восточнее рр. Гарни-чая и Веди-чая и в пределах Нахичеванской республики, куда так легко было проникнуть из-за Аракса, из укрепленного царем Менуагор. Менуаинили (около Ташбуруна), у подошвы Арарата, а также из бассейна Урмийского озера и Макинской провинции, где ванские цари довольно прочно обосновались: в последнюю войну русским командованием поддерживалась самая удобная и легкая связь с Ваном именно через Макинское ханство и Урмию — Дильман. Несомненно, что-то мешало наступлению ванских войск от подошвы Арарата и через Маку-Маранду в восточную

часть приаракской равнины. Причину следует искать в естественно-исторических условиях этой части, значительно отличавшихся от нынешних.

Целый ряд данных твердо устанавливает факт наличия обширных болот, начиная от р. Карасу (Сев-джур; вытекает из оз. Айгр у подошвы Арагаца-Алагёза) до селения Камарлу и значительно восточнее. Так, подробности пути бегства Анака и преследования его сторонниками убитого им царя Хосрава определенно указывают, что еще в III в. нашей эры эти болота занимали очень обширное пространство и были непроходимы; они и носили название «Великих болот» — *Ubdawdor*; в них водились большие стада кабанов, охота на которых составляла одно из любимых развлечений феодальной знати и царей. Жалкие остатки этих болот дошли до наших дней и в последние годы почти совершенно осушены. Если царь Аргисти, продолжая начатое отцом Менуа расширение северных границ ванского государства и присоединение земель в бассейне р. Аракса, предпочел, продвигаясь из Менуахинили, обойти болота с запада и, перейдя реку, укрепил Армавирский холм, как исходный пункт для дальнейших завоеваний и как административный центр для своих владений в этой области, если в дальнейшем и его преемники держались этого западного обходного пути, это можно объяснить только тем, что более короткий восточный путь был неудобен и затруднителен вследствие распространения глубоких болот далеко на восток. Таким образом, восточная часть Араратской равнины была защищена от посягательств ванских царей из Менуахинили. В дальнейшем, когда Аракс удалился из-под стен Армавира к югу,¹ новая столица, судя по сказаниям, записанным Моисеем Хоренским, была перенесена значительно западнее, в Ервандашат, но это положение продолжалось, видимо, недолго: область столиц на долгие века перекинулась на восток от Великих болот, по нижнему течению р. Гарни (др. Азат), в район нынешнего Камарлу. Такую переброску военно-административного центра с западной окраины болот на восточную Моисей Хоренский ставит в зависимость от удаления р. Аракса на юг от Армавира. Правильнее и точнее было бы искать причину этого обстоятельства в постепенном, по мере удаления Аракса на юг, высыхании северных и восточных краев болот и в освобождении таким образом восточного обходного пути, открывавшего по р. Гарни более короткое, чем по р. Занге, сообщение с южным (Зодским) берегом оз. Севана, откуда далее, опять по долинам рр. Тертера и Хачена,

¹ Старое русло реки прослеживается с полной ясностью до сих пор и известно в народе под армянским названием *Ջր Սրիզ* или тюркским *قیرلی سیریز* «Сухого Аракса».

легко было достигнуть мингечаурской переправы на нижней Куре. Эти последствия отступления северных и восточных полос болот стали выявляться ко времени основания столицы Арташата (Артаксаты) у впадения р. Гарни в Аракс, около начала II в. до н. э.¹

Не следует ли по аналогии с этими фактами и отказ ванских царей от пользования для проникновения на Араратскую равнину и для укрепления затем своего владычества там более коротким и удобным путем от бассейна Урмийского озера и Макинской провинции объяснять также заболоченностью приаракских берегов в Шахтагинском и Джульфо-Ордубатском районах? Еще в I в. н. э., по свидетельству Страбона, живо было в памяти населения воспоминание о том, что когда-то на месте Мегринского прорыва была запруда, и перед нею Аракс образовывал озеро. И не являются ли болота у Дарашамбской переправы, известные до последнего времени под именем «Шамб» (заросших камышом болот), остатком более обширных заболоченных пространств, мешавших свободному продвижению ванских завоевателей через эту восточную часть Араратской равнины? Вопрос, для успешного разрешения которого необходимы совместные изыскания археолога и почвовед-геолога.

Каковы бы ни были причины, остается факт, что ванские цари ничем не отметили своего пребывания нигде в этом крае и в прилегающем к нему за Алагязским хребтом Зангезурско-Мегринском районе, ни клинописными надписями, ни какими-либо сооружениями, обеспечивающими свободное и безопасное сообщение их столицы Биайны-Вана с приаракскими владениями. Этот край и, тем более, Зангезурско-Мегринский район были изолированы от непосредственного воздействия их хозяйственной и государственной политики, и потому сохранившиеся здесь древнейшие памятники особенно ценны для выяснения основных черт сложившейся в северной части Армянского нагорья, по Араксу и его притокам дохалдской культуры.

Среди этих древних археологических памятников наибольший интерес представляют остатки городища в двух километрах к СВ от Сисианского районного центра Караклиса, носящие в народе название Копун-даша, т. е. «Войсковых камней». По своей обширности и комплексной сохранности они являются уникальными в северной части Армянского нагорья.

¹ Одним из примеров существования болот и мелких озер во многих местностях Армении в дохалдскую эпоху и, пожалуй, во время халдского владычества может служить Кырбулагская или Эларская равнина, безусловно, когда-то озеро, вокруг которого на возвышенностях и их склонах сохранилось много древних поселений и у выхода из которого начерчена ванскою клинописью известная надпись.

Городище расположено на мысу, образованном ущельем, прорытым ручьем, впадающим с левой стороны в р. Базар-чай, и другим ущельем, спускающимся постепенно к первому, и занимает довольно обширную площадь,¹ отрезанную от выступа мыса тянущимся с юга на север, от ущелья до ущелья, рядом вертикально установленных остроконечных камней-менгиров.

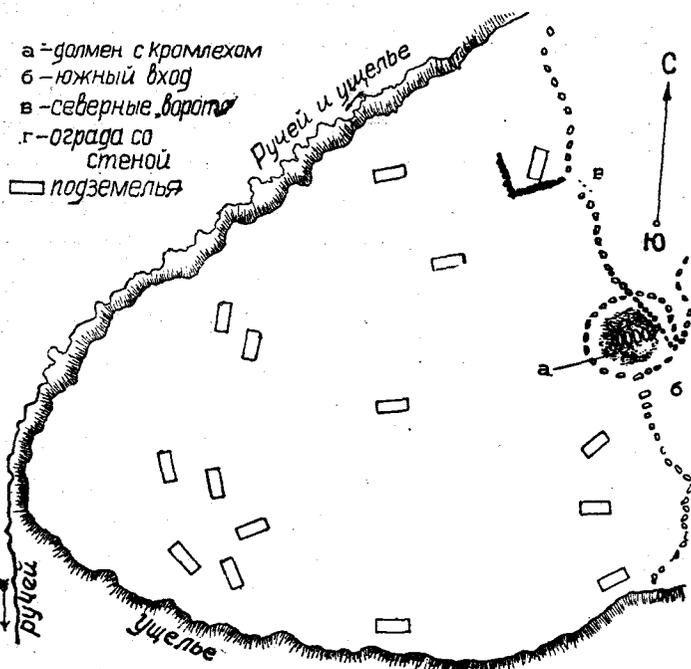
На сравнительно низком холме, ближе к южному концу этого ряда, красуется великолепный кромлех с долменом по середине (фиг. 1). Это почти правильный круг из высоко торчащих на определенном расстоянии друг от друга камней с радиусом в 14—15 м. Долмен (а) сложен из двух рядов вертикально установленных плоских камней, покрытых широкими толстыми (до 40—50 см толщины) плитами (фиг. 2). Направление оси долмена В—З с выходом, обращенным на В. Он раскрыт хищническими раскопками, произведенными, по сведениям, собранным на месте, преподавателем Шушинского реального училища Рёслером, изрывшим не один могильник в Н. Карабахе и в Зангезуре; костяк и инвентарь содержащегося здесь погребения извлечены и исчезли. Долмен весь покрыт курганом из камней различной величины, начиная с самых маленьких осколков и до довольно больших глыб; нет следов земляной насыпи, свнесенной затем ветром или размытой дождевыми ливнями (фиг. 3). По всей вероятности, здесь мы имеем дело с одним из проявлений той психологии, которая еще теперь побуждает каждого благочестивого прохожего кидать камень на некоторые из священных мест, отмеченные могилою какого-либо «святого» или почему-либо почитаемого покойника. В данном случае допустимо высказать предположение, что долмен был местом погребения пользовавшегося особым почетом и уважением лица, являвшегося покровителем

¹ Первое описание памятника с рисунками от руки дано учителем Е. Мелик-Шахназаряном в вып. XIII «Сб. мат. по опис. местн. и племен Кавказа» (1892 г.), где неправильно, видимо, по вине редакции, Сисавский Караглис смешан с Караглисом Памбакским, и местонахождение городища указано неправильно. Позже, в 1898 г., Е. Лалаян в издававшемся им журн. «Этногр. Обзор». (*Ազգայնական Հանդես*) дал вторичное краткое описание, перенесенное отдельным изданием: *Հնդգագրի գաղտն. 5. I. Միմիսի. Երևան, 1898* г. с приложением фотографического снимка общего вида кромлеха, повторенного им в книге: *«Հնդգագրի պատմության հիմնարկի հայաստանյան Յերբան». 1931* г. с заметкой в одну строку. Этот же снимок воспроизведен Х. Самуэляном в кн.: *Հին Հայաստանի Գեոգրաֆիա 5. Ա. Երևան գր. Յերբան. 1931*. В обоих последних изданиях памятник ошибочно (опечатки) назван Кошундагом. Материалы для настоящей статьи собраны мною в 1931 г. во время моей работы в качестве руководителя научной экспедиции, организованной Гос. Культурно-историческим музеем ССР Армении, и пополнены некоторыми данными, сообщенными мне Е. А. Байбуртяном, принимавшим участие в экспедиции, направленной в сентябре-октябре с. г. Институтом истории культуры Армении в Сисавский район для регистрации археологических памятников.

и защитником населявшей городище общины. Не случайность, что он расположен у самого входа в городище.

По народному преданию в долмене погребен военачальник, а под отдельно стоящими камнями его воины: отсюда и название (тюркское) городища: «Войсковые камни».

Выстроившиеся в круг (фиг. 4) остроконечные камни, высотой до 2 и более метров, при основании в 1—1.75 м шириной и в 0.75—1.5 м тол-



Фиг. 1. Схематический план Кошун-даша.

щиной, имеют у вершины по одному, в редких случаях по два отверстия. На одном камне у отверстия край отбит и проделано новое. Ясно, что эти отверстия предназначены были для продевания каната, на котором эти массивные камни при помощи применения животной (а может быть и человеческой) силы приволакивались на место их установки, как практикуется до сих пор у местных крестьян (фиг. 5). За недостатком времени нашей экспедиции не удалось выяснить путем осмотра всех окрестностей, откуда были доставлены как эти расположенные в круг камни, так и другие камни того же характера, поставленные стоймя вне круга центрального кромлеха. Камни были или на месте каменоломни грубо обработаны, или нарочно подобраны так, чтобы их можно было поставить широким основанием вниз и высоко торчащим острием вверх. К сожалению, на основании изучения



Фиг. 2.



Фиг. 3. Кошун-даш. Центральный дольмен.

царапин у отверстий нельзя было точно установить, просверлены ли они были металлическим орудием или камнем. С одной стороны у отверстий имеются воронкообразные углубления для помещения в них узла (с камнем или деревянным брусом) на конце каната, как делают и теперь местные крестьяне в таких случаях.

Линия стоячих камней, идущая с некоторыми изломами от ущелья к ущелью, пересекает кромлех, задевая задний край долмена. Они тянутся плоскими сторонами наружу с узким входным перерывом (б) до кромлеха и с более широким (в) уже за ним, значительно дальше к северу; у перерывов камни стоят плоскими сторонами поперек линии ряда, лицом друг к другу. Другой ряд таких же камней отходит очень короткой полудугой от кромлеха в северо-восточном направлении.

По всему выступу мыса, внутри стен, вне кромлеха там и сям в беспорядке разбросаны длинные углубления, подземелья, длиной от 3 до 5 и более метров, шириною от 2.5 до 3 м и высотой до 2 м и выше. Стены этих вытянутых прямоугольных помещений сложены из крупных плоских камней, без цемента, причем края верхнего ряда сильно выдвинуты вперед во внутрь (фиг. 6), отклоняясь от вертикальной линии нижних рядов. Образующийся между этими выступами во внутрь узкий промежуток перекрывается сверху цельными широкими и относительно не очень толстыми плитами, образующими потолок. Чтобы не дать верхнему ряду камней в стене опрокинуться во внутрь, они уложены с таким расчетом, что большею и толстою своей частью ложатся вне стен, на наружной земле, и внутренние концы не садятся под давлением плит потолка¹ (фиг. 7). Впрочем, теперь во многих из этих помещений потолочные плиты и верхние ряды стеновых камней уже обвалились (фиг. 8), и представляет немало трудностей расчистить пол от них для производства систематических раскопок. Местные жители, искавшие в этих подземельях клады, дают очень сбивчивые показания о том, что они в них находили. По свидетельству большинства, там не было обнаружено человеческих костей. В пользу того, что это были не погребальные склепы — долмены, а именно жилища, говорит то, что почти всегда перед ними имеются огороженные мелкими камнями неправильные участки, напоминающие крестьянские дворы. Эта привычка строить жилое помещение глубоко в земле до сих пор сохраняется во многих провинциях Армении, в частности, в Зангезуре, где при этом еще и теперь немалое число жителей ютится прямо в пещерах, из которых

¹ Этот способ разрешения проблемы перекрытия повторяется и в нынешних крестьянских жилищах Армении с переходом от каменной техники частично к деревянной.



Фиг. 4.



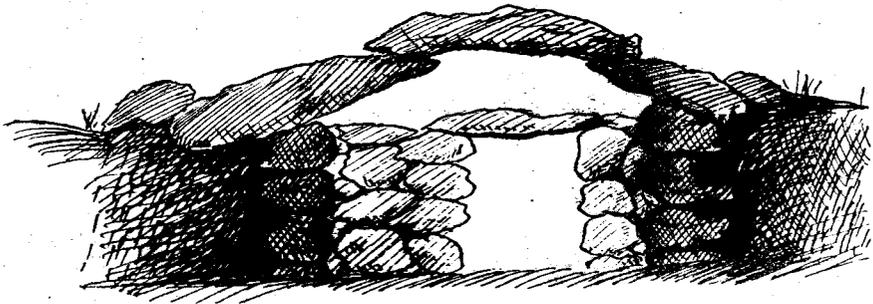
Фиг. 5. Общий вид кромлеха. Кошун-даш.

некоторые снабжены сводчатыми выступами-балконами (фиг. 9). Нередко эти пещеры расположены высоко и к ним поднимаются, цепляясь за канат. В Зангезуре прочнее, чем где-либо в другой части Армении, держится



Фиг. 6.

до сих пор поклонение пещерам, напр. св. Якова у гор. Гориса или в Хустунской скале недалеко от Кафанских медных рудников.



Фиг. 7. Жилище в Копун-даше.

Одно из таких жилищ пещерного типа помещается недалеко от внешнего ряда стоячих камней, у «северных» ворот; здесь двор обведен более высокой стеной (д) из крупных камней (фиг. 10). Двор этот сравнительно небольшой, и если он и свидетельствует о привилегированном положении его обитателей, то, во всяком случае, хозяйство этих обитателей не могло быть значительным. От «ворот» идет вдоль стены двора улица. Значительно



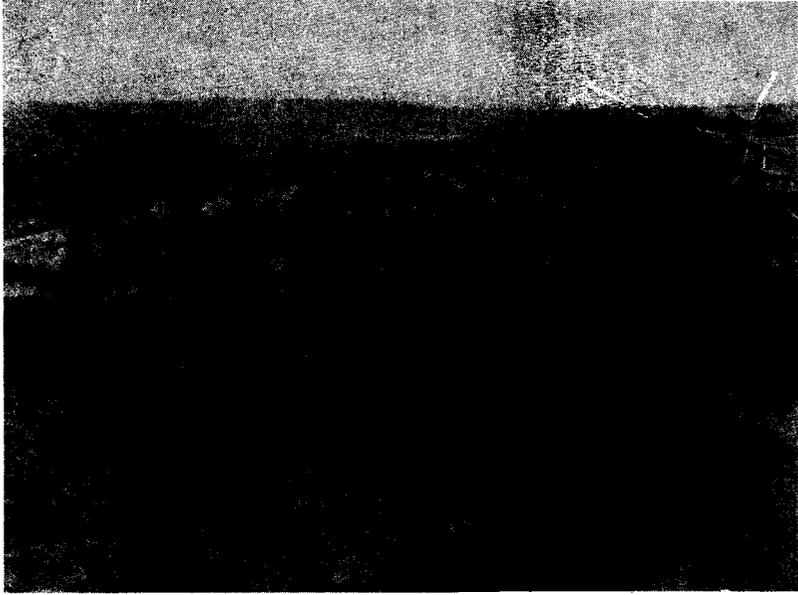
Фиг. 8.



Фиг. 9.

более узкие проезды ясно вычерчиваются в других частях городища между дворами.

Восточнее всего этого комплекса стоячих камней и подземных жилищ, в 80—100 м, тянется уже теряющаяся в земле прямая линия стены из значительно более мелких камней. Это не те «циклопические» камни, которыми выложены под Эриванью и выше по р. Занге и в бассейне Севанского озера или на склонах Арагаца, в области халдских завоеваний, толстые стены крепостных сооружений, указывающих на довольно высокое



Фиг. 10.

развитие военного дела и на уже начинающемся выделении из родовой общины «специалистов» этого дела: в Сисианском районе сооружение, напоминающее такой тип, обнаружено последнею (в октябре с. г.) экспедицией Института истории культуры ССР Армении лишь у с. Уза. В Кошун-даше нет и акрополя, столь обычного в более поздних городищах местожительства военного вождя и близких к нему лиц. Отдельные долмены без мощного кромехового кольца, без следов расположенных кругом под их сенью жилищ, встречаются и в Зангезуре. Так, по дороге из с. Татева в с. Алидзор, по переходе через естественный «Чортов» мост на Базар-чае, едва на расстоянии одного километра влево, в местности Севакашкар, по словам местных жителей, находятся «жилища язычников» (*լիւսիւզաշիր տներ*) из всажённых в землю камней, покрытых толстыми цельными плитами, не-

сомненно, долмены. В 1 км от гор. Гориса в направлении к с. Еришен (или Веришен) у дороги имеется нарушенный долмен с нагроможденной кучей камней, как в Кошун-даше-Куруча. Это место считается священным («Хач»); сюда приходят больные, преимущественно ревматики, или их родственники в ночь на среду после Пасхи, возжигают восковые свечи, смазывают землю из-под этих камней больные места (или берут с собою для больного); приходя и уходя, надо сохранять полное молчание и не оглядываться; нарушивший это требование должен вернуться домой. С другой стороны, отдельные кромлехи более «скромного» типа зарегистрированы и в других местностях Зангезура, напр., в том же Сисианском районе, по правой и левой стороне дороги, ведущей от Кошун-даша в Караклис, с простым погребением посредине (уже совершенно разоренным) и маленьким кольцом низких и сравнительно маленьких камней. В районе нередко раскрываются погребения ящичного типа, откуда извлекают с костяком и глиняную посуду и бронзовые предметы. Они приписываются великанам «оузам»... Среди всех этих памятников Кошун-даш стоит особняком. Его центральный долмен с величественным кромлехом представляет скорее открытый храм и место сборища для жертвоприношений и совещаний у могилы предка, а само городище должно быть отнесено ко времени еще крепких родовых связей. Во всяком случае, исключительный характер этого памятника и важность вопросов, которые могут быть разрешены при детальном его изучении, вызывают необходимость производства исчерпывающих раскопок на территории городища. Имеется полная уверенность в том, что эти раскопки в одном из углов яфетического мира дадут картину более древней общественной формации, чем эпоха разложения родового строя.

Я. А. МАНАНДЯН

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ИТИНЕРАРИЙ В АРМЯНСКОЙ РУКОПИСИ X СТОЛЕТИЯ

I

В печатном моем труде «О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей древних времен» (Эривань, 1930) приведен в русском переводе (стр. 171—173) средневековый армянский итинерарий, который известен из изданий «Лисьей Книги» (Амстердам, 1668—1669 гг., Марсель, 1676—1678 и 1683 гг.; французский перевод Марсельского текста 1683 г. помещен у Сен-Мартена в его «Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie», II, стр. 395—397). Итинерарий этот, как удалось выяснить после выхода в свет означенного моего труда, тождествен с тем итинерарием, который имеется в Эчмиадзинской рукописи 971—981 гг. (№ 2679, по каталогу Геворьян № 102).

Армянский текст древнейшего этого списка, собственноручно переписанный и любезно присланный мне для издания ученым библиотекарем Государственной Центральной рукописной библиотеки в Эчмиадзине Сенекеримом Тер-Акопяном, представляет, несомненно, особый интерес, так как им устанавливается предельная дата возникновения итинерария — до 971—981 г. н. э.; кроме того, список этот имеет сравнительно с печатными изданиями некоторые подробности, а в самом начале текста дает крайне ценные сведения о древних милях и стадиях, которые, как увидим, являются ключом для точного и бесспорного определения расстояний итинерария.

Приводим текст нового списка в русском переводе лишь с теми различиями Марсельского издания «Лисьей книги» (1683 г.), которые существенны для содержания итинерария.¹

(Обозначения: Е = Эчмиадзинская рукопись № 2679, М = Марсельское издание «Лисьей Книги» 1683 г.)

¹ Армянский текст будет напечатан в подробном моем исследовании о Манассе Хоренском («Խորենացու Աշխարհացոյցը և Խորենացու տեղեկածի լուծումը»)

«О знании расстояний в милях. Стадий (*μικτήρ*) 170 шагов, шаг 6 стоп, стопа 16 пальцев, миля 7 стадий: по персидскому счету стадий 143 шага, миля 1000 шагов, фарсах 3 мили».

Заглавие и весь этот отрывок имеются только в Е.

1. «Из Двина в Карин 200 миль; из Карина до пограничного рва¹ 100 [М 120]; отсюда в Колонию 90; отсюда в Неокесарию 100; отсюда в Амасию 80; отсюда в Неокесарию² 100; отсюда в Амасию 80; отсюда в Гангру 105 [М 130]; отсюда в Ангору 80; отсюда в Константинополь 120³ [М 320]; отсюда в Рим 90 (sic)⁴ [М 6000]».

2. «Из Двина в Хлат 170 миль; отсюда в Хлимар 80; отсюда в Урфу 180, отсюда к реке Евфрату 40; (отсюда в Эмесу 150),⁵ отсюда в Дамаск 120 [М 100], отсюда к горе Фавору 90; отсюда в Иерусалим 100».

3. «Из Двина в Бертокунк 60 миль; отсюда в Партав 160; отсюда к Каспийскому морю 90».

Расстояния в Е соответствуют вполне расстояниям в М.

4. «Из Двина в Нахичеван 70 миль; отсюда в Гандзак Шахастан 120; отсюда в Ктезифон 370; отсюда в Куфу 70; отсюда в Басру 140; отсюда к Персидскому заливу 20.»

Расстояния в Е соответствуют расстояниям в М.

5. «Из Гандзака в Ниневию⁶ 120 (М 100); отсюда в Низибин 120;⁷ отсюда в Урфу 150».

6. «Из Нахичевана в Ардебиль 200 миль; отсюда в Пайтакаран 60; отсюда к Каспийскому морю 50». Весь этот отрывок не имеется в М.

7. Из Двина в Кулы 50; отсюда в Котачевх⁸ 120 (М 105); отсюда в Тифлис 140; отсюда в Хунаракерт 70; отсюда в Партав 100».

8. Из Иерусалима в город Александрию 500; отсюда в Пентаполис 1000; отсюда в Триполис 350 (М 300); отсюда в Африку 1500 (М 1030); отсюда в Септе 900; отсюда к океану⁹ 2000 (М 1000).
Конец расстояний в милях».

¹ М «до рва, отделяющего страну армян от страны греков».

² М «в Неокесарию» (*h' vrb'k'ar*), Е ошибочно «в Никию» (*h' vrb'k'ar*).

³ Расстояние из Ангоры в Константинополь показано в Е 120 миль, а в М 320; предпочтительнее, несомненно, 320.

В Е $\zeta = 90$, вероятно, описка вм. $\zeta = 3000$.

⁵ В Е пропущено расстояние от р. Евфрата в Эмесу, М. «*μικτήρ ἄρην*» 150 *μικτήρ* (= в Эмесу)».

⁶ Под Гандзаком подразумевается, несомненно, Гандзак Шахастан и под Ниневией — Мосул.

⁷ В М пропущено расстояние из Ниневии в Низибин.

⁸ Е *h' vrb'k'ar*, М *h' vrb'k'ar*.

⁹ М «к неизвестному океану».

II

В приведенном новом списке особенно ценно, как отмечено выше, имеющееся за заглавием сообщение о стадиях и милях. В сообщении этом упоминается стадий, равный 170 шагам, и стадий «по персидскому счету», равный 143 шагам. Под последним стадием, как выяснено в подробном моем труде «Весы и меры в древнейших армянских источниках» (*Կշիւները և չափերը հնագույն հայ աղբյուրներում*), *Յերևան* 1930), древние армянские писатели подразумевают стадий персидской линейной системы, называемый в египетско-арабской системе *ghalva*, равный 230, 112 м. *Ars. Soukry. Géographie de Moïse de Corène d'après Ptolémée. Venise, 1909, стр. 82 и 88*). В пространной редакции «Географии Моисея Хоренского» длина этого персидского стадия определена не в 143, а в 144 шага (см. *J. A. Decourdemanche. Traité pratique des poids et mesures des peuples anciens et des arabes. Paris, 1881, стр. 4*). Чтение $\delta\mu\eta$ (= 144) вм. $\delta\mu\eta$ (= 143), как видно из подробных вычислений в метрологическом моем труде, следует признать более правильным. Поэтому шаг этот будет равен $230.112 : 144 = 1.598$ м.

При определении имеющегося в списке другого стадия следует иметь в виду, что длина его обозначена в круглой цифре. На самом же деле, стадий этот, как нетрудно догадаться при внимательном метрологическом обследовании, был равен не 170, а $171\frac{3}{7}$ шага ($1200\frac{1}{7}$).

Линейные и путевые меры приведенного отрывка, на основании изложенных данных и пояснений, выразятся, следовательно, в следующих отношениях:

1. Шаг $\frac{1}{14}$ персидского стадия = $230.112 : 144 = 1.598$ м;
2. Стопа = $\frac{1}{6}$ шага = $1.598 : 6 = 0.266\frac{1}{3}$ м;
3. Палец = $\frac{1}{16}$ стопы = $0.266\frac{1}{3} : 16 = 0.016\frac{31}{48}$ м;
4. Стадий = $171\frac{3}{7}$, т. е. $1200\frac{1}{7}$ шага = $1.598 \times 171\frac{3}{7} = 273.9\frac{3}{7}$ м;
5. Миля = 7 стадиям = 1200 шагам = $1.598 \times 1200 = 1917.6$ м;
6. [Фарсах = 3 милям = $1917.6 \times 3 = 5752.8$ м];
7. Стадий «по персидскому счету» = 144 шагам = $1.598 \times 144 = 230.112$ м;
8. Миля персидская = 1000 шагам = 1598 м;
9. Фарсах = 3 милям = $1598 \times 3 = 4794$ м.

Вычисления эти не подлежат сомнению, так как приведенные линейные и путевые меры вполне реальны и имеются все в сравнительной метрологии Декурдеманша (см. «*Traité pratique*», стр. 67, 68, 76, 82, 88, 133).

и 135). Первая миля и соответствующий ей фарсах являются арабскими путевыми мерами, которыми, как известно, обозначены расстояния в средневековых арабских итнерариях. Вторая же миля соответствует, действительно, персидской новой миле, которая была тождественна с римской милей в 5000 вавилонских стон ($= 0.3196 \times 5000 = 1598$ м).

Не подлежит также никакому сомнению, что в основу приведенного итнерария положена арабская миля, равная 1917.6 м. Проверить это нетрудно данными самого итнерария. Указанное в нем между Двином и Нахичеваном расстояние в 70 арабских миль, составляющее 134 км ($1917.6 = 134.232 \times 70$ км), соответствует, действительно, расстоянию между нынешним Арташаром, находящимся на месте Двина, и гор. Нахичеваном. По прежнему почтовому тракту расстояние из Нахичевана до сел. Камарлю, которое лежит в нескольких километрах к югу от Арташара, составляет и теперь 127 км. Следовательно, вышеизложенные наши выводы подтверждаются вполне и этими реальными данными.

III

Так как приведенный итнерарий сохранился в рукописи 971—981 гг. и расстояния в нем обозначены в арабских милях, то вполне ясно, что время его появления следует предположить в VII—X вв. К этому, именно, времени, на основании некоторых косвенных указаний его содержания, и был отнесен памятник в труде моем «О торговле и городах Армении» (стр. 171). В настоящее время, мне кажется, возможно более точное определение его времени, так как в нем, как выяснили дальнейшие мои изыскания, имеются точки соприкосновения с армянской «Географией», которая была написана в IX в. Моисеем Хоренским (см. тезисы моего доклада — «Разрешение проблемы Хоренского». Эривань, 1933, стр. 12—13).

Характерны к этом отношении следующие совпадения:

1. В обоих памятниках упоминаются города Куфа и Басра, которые были основаны арабами и стали крупными центрами торговли после III в.. Первый из этих городов назван в приведенном списке, как и в «Географии Хоренского», *Ափրափ*. Наименование это, как правильно указано у Сен-Мартена, соответствует сирийскому названию гор. Куфы — *Akoula* (см. «Mémoires historiques et géographiques», II, стр. 313—314). Другой же город Басра приведен в вышеозначенном списке и в пространной редакции «Географии» в форме *Βασιρ* или *Βάριρ* (см. изд. Сукри, арм. текст, стр. 41). Следует отметить, что города *Ափրափ* и *Βασιρ* встречаются впервые у армянского историка VIII в. Леонтия (СПб., 1887, стр. 126).

2. В «Географии Хоренского» упоминается в области Аруастане, называемой Ассирией, город Ниневия (см. изд. Патканова, СПб., 1877, русск. пер., стр. 64). Этот же город, лежавший между Гандзаком Шахастаном и Низибином и тождественный с нынешним Мосулом, значится также в приведенном армянском дорожнике. В армянских источниках гор. Ниневия встречается впервые у историка VII в. Себеоса (см. «История императора Иракла», изд. Патканова, СПб., 1879, стр. 23, 56, 80 и 94).

3. Описывая Ливию, автор «Географии» дает сведения о провинциях Пентаполисе, Триполисе и Африке, упомянутых также в интересующем нас дорожнике, и указывает далее, что «Мавритания Тингитана начинается от пролива Септе», т. е. нынешнего Гибралтарского пролива (изд. Патканова, русск. пер., стр. 23—24). Этот же пролив Септе упоминается, как мы видели, в приведенном армянском дорожнике.

4. В «Географии Хоренского» упоминается «Неизвестный Океан», лежавший к северу и востоку от островов Тулиса и Сканде, вне 63° северной широты (см. русск. пер. Патканова, стр. 7 и 14). С этим океаном тождествен, несомненно, упомянутый в дорожнике «Океан» (находившийся на расстоянии двух или одной тысячи миль (E 2000, M 1000) от Септе) и названный в «Лисьей книге» «Неизвестным Океаном».

Всматриваясь в приведенные общие географические данные итинерария и «Географии», нетрудно усмотреть, что между этими двумя памятниками существует какая-то связь. Эту связь вскрывают, главным образом, те совпадения, которые указаны в последних двух пунктах. И можно, мне кажется, предположить, что пролив Септе и «Неизвестный Океан», не встречающиеся в других армянских памятниках, могли быть известны автору итинерария из «Географии», заимствованной, главным образом, из «Хорографии» Палпа Александрийского.

Что предположение это не лишено основания, в этом едва ли можно сомневаться, так как о времени возникновения итинерария имеется и другое косвенное указание. Армянский ученый Алишан, имевший под рукою новые данные о «Расстояниях в милях» (вероятно, из рукописей Венецианской библиотеки), сообщает в одном из своих примечаний в «Айрарате» (Венеция, 1890, стр. 412—413), что о занимающем нас дорожнике имеются сведения, устанавливающие близкую его связь с «Географией Хоренского» и с трудами Палпа Александрийского. Следовательно, по высказанному времени возникновения итинерария имеются, как видим, некоторые споры.

В моем исследовании о Хоренском выяснено, мне кажется, бесспорно и окончательно, что древнеармянская «География» составлена Моисеем

Хоренским в эпоху политического усиления Багратидов и экономического возрождения Армении, в IX в. Можно поэтому с уверенностью предположить, что и интересующий нас итинерарий является произведением Багратидской эпохи и написан в том же IX в.

Так как время итинерария и время «Географии» совпадают, то вполне возможно и даже вероятно, что автором итинерария мог быть составитель «Географии», Хоренский. Кроме отмеченной близкой связи этих памятников и вероятной зависимости итинерария от «Географии», важно в этом отношении и то, что итинерарий помещен в некоторых рукописях след за «Географией». Возможно поэтому, что он был подлинной частью «Географии Хоренского» и был помещен в конце в виде приложения.

Можно надеяться, что для окончательного выяснения этого вопроса об авторстве Хоренского найдутся данные в тех рукописях, которые недостаточно обследованы.

IV

При изучении и датировке памятников древнеармянской письменности путеводной нитью служила для меня та общая концепция социально-экономического развития Армении, которая отмечена вкратце в труде моем «О торговле и городах Армении». Не подлежит, конечно, никакому сомнению, что во всех означенных памятниках находила свое отражение идеология, главным образом, господствующих классов и что содержание их соответствовало очень часто текущим потребностям, а иногда и практическим запросам определенной эпохи. По нашему убеждению, памятники вроде «Географии» и «Расстояний в милях», представляющие особый интерес для городской буржуазии и армянского купечества, могли появиться в Армении в эпоху развития торговли и международных сношений, именно в IX в. Отнести их к первым векам арабского владычества было бы крайне сомнительно, так как VII—VIII вв. были для Армении временем продолжительного экономического упадка и застоя международной торговли.

Мы видим, таким образом, что вышеуказанное время возникновения приведенного средневекового итинерария подтверждается и этим общим соображением.

9 сентября 1933 г.

Л. М. МЕЛИКСЕТ-БЕКОВ

К ВОПРОСУ ОБ ОБЫЧАЕ КУВАДЫ НА КАВКАЗЕ В СВЯЗИ С ЯЗЫКОВЫМИ ПЕРЕЖИТКАМИ МАТРИАРХАТА¹

По вопросу о сущности матриархата в научной литературе, как известно, не замечается полного единодушия во взглядах. В то время как одни рассматривают матриархат в прямом значении термина, именно как противоположение патриархату, в смысле абсолютной гинекократии (женовластия), другие, наоборот, трактуют о нем, матриархате, в несколько более узком или, вернее, условном понимании термина, именно в смысле так наз. «материнского права» (Mutterrecht) или господства когнатического принципа родства, т. е. счета по матери или утробному родству, взамен агнатического принципа родства, т. е. счета по отцу или кровному родству, наличному при патриархате. Мало того, патриархат и матриархат, как определенные системы родового строя, рассматривались в гомохроническом разрезе, другими словами, институты эти призывались атрибутами чуть ли не различных рас, в частности патриархат — присущим, как выражались, «эллинской мужевластной цивилизации» и т. п.

В настоящий момент, однако, не может быть спора относительно того, что патриархат и матриархат или, вернее, матриархат и патриархат надлежит рассматривать не в гомохроническом, а диахроническом разрезе, притом как исторические категории, характеризующие соответствующие стадии развития одного и того же коллектива,² независимо от его «расового» происхождения или географической среды.

Что матриархат и патриархат надлежит рассматривать именно в разрезе стадияльной смены одного другим, видно по целому ряду реликтовых

¹ В основе настоящей статьи лежит соответствующее сообщение (на тему «К вопросу об обычае кувады на Кавказе»), читанное автором в заседании Секции ист. мат. культуры ИК Академии Наук 21 XII 1932.

² С. Я. Вольсон. Социальная браки и семьи (Опыт введения в марксистскую генетику), Минск, 1929, стр. 129—132. Библиографию новейшей литературы по вопросу см.: Б. Богачевский. К вопросу о матриархате. Сообщения ГАИМК, 1931, январь, стр. 34—37.

переживаний, которые прослеживаются, между прочим, и в бытовой действительности Кавказа.

Как бы легендарны ни были сведения об амазонках, сообщаемые в различных версиях греко-латинскими авторами (Страбон, Диодор Сицилийский, Филострат Младший, Аврелий Августин, Евсевий Кесарийский, Гиппократ и др.), одно несомненно: сведения эти недостаточно серьезно оценены такими исследователями вопроса, как Е. Г. Вейденбаум¹ и А. Амфитеатров.²

Между тем, прослеживание некоторых, заключающихся в сказаниях об амазонках, деталей чрезвычайно важно для локализации самих сказаний на восточном Юго-Кавказе (Закавказье), поскольку амазонки жили, по словам Страбона, «неподалеку от гаргареев, у Кавказских гор», в районе, граничившем, по Филострату Младшему, с р. Али, что ниже названных гор. Если под «гаргареями» разуметь племя под тем же именем (gargaraῖοι), хорошо известное из древнеармянских источников, как жившее в пределах древней Аг'вании или Албании (ср. название р. Гаргар, гесп. Каркар, в Карабахе), а под Али р. Алазань (ср. Али-су || Эли-су), то станет понятно, почему легенда об амазонках должна приобрести в наших глазах определенную ценность, в особенности после обнаружения в одной из трупоб. В. Кавказа, южнее Дагестана, близ нын. Закатал, остатков племени ясаев, что по-аварски значит «девичий народ».³

Разделяя взгляд А. Амфитеатрова⁴ о полной невозможности «амазонизма» в тех формах, которые повествуется древними, мы, тем не менее, полагаем, что некоторые, вкрапленные в сказаниях об амазонках, сведения способны до некоторой степени приподнять завесу над тем периодом общественного развития, который можно считать переходным от матриархата к патриархату, когда материнская власть постепенно шла к упадку, а отцовская начинала зарождаться.

Это — тот период, с которым связывается обычай куйды или кувяды (couvade), зафиксированный в «письменных» источниках впервые Аполлоном Родосским (Argonautica, II, 1010—1013) относительно тибаренов, а затем Страбоном (Geographica, III, 4, 17) относительно западных иберов: В частности, о тибаренах Аполлоний говорит: «У этого народа мужчины, когда жены родят им детей, ложатся в постель с повязанными голо-

¹ Е. Г. Вейденбаум. Кавказские амазонки. «Знание», СПб., 1872, № 9—10, стр. 246—298.

² А. Амфитеатров. Армения и Рим. СПб., 1910, гл. X — Женские царства в Малой Азии.

³ Ср. корреспонденцию в газ. «Правда», 1927, от 7 VIII.

⁴ А. Амфитеатров. Цит. соч., стр. 355.

вами и стонут, а жены кормят их вкусною пищею и устраивают им послеродовые купанья».¹

Валерий Флакк (*Argonautica*, V, 147—149) указывает, что «у тибаренов... беременная женщина обвязывает мужу голову повязкой и ухаживает за ним, окончив свои роды».² Плутарх (*De proverbiis Alexandrino-gum*, I, 10) замечает, что «тибарены после родов своих жен сами обвязывают себе головы и ложатся в постель».³ Анонимный схолиаст к Аполлониеву *Argonautica* говорит, что «в земле тибаренов женщины после родов ухаживают за своими мужьями, как свидетельствует Нимфодор в „Обычаях“».⁴

Все эти указания греческих и латинских авторов, связываемые с тибаренами, как раз и приводят нас к тому обычаю, который известен в научной литературе под названием *couvade* и суть которого состоит в симуляции родов мужчиною, ложащимся в постель с повязанною головою и стонущим в ожидании угощения его вкусною пищею и устройства как бы «послеродового» купанья.

В таком виде *couvade* применительно к вышеупомянутым тибаренам почти полвека тому назад (1890) разъяснял М. М. Ковалевский, когда, касаясь Аполлония Родосского, говорил: «Общепраспространенность в среде тибаренов обычая куйды, состоявшего в том, что при родах муж ложится в постель и симулирует акт рождения, указывает на то, что отеческая власть только зарождалась в их среде».⁵

Находя, что «лингвистически утверждаемые связи Средиземноморья с яфетическим Востоком вскрываются», между прочим, «и реальными чертами таких общественных явлений, как матриархат с господством женского начала не в одном пантеоне с полиандрией», Н. Я. Марр в 1920 г. мимоходом касался кувады, считая ее «характерной бытовой древностью, отмечаемой у иберов западных и восточных, малоазийских тибаренов».⁶

Кувада, как бытовая древность, являющаяся отдаленным отголоском, пережитком переходной от матриархата к патриархату эпохи, за последнее время отмечена и в различных уголках Кавказа.

Там, согласно лично сообщенным нам еще в 1924 г. т. Бурбушиным, тогда студентом Тифлисского Гос. Политехнического института, сведениям,

¹ В. В. Дятлов. *Scythica et caucasica*, I, 414.

² *Ibid.*, II, 204.

³ *Ibid.*, I, 499.

⁴ *Ibid.*, I, 428.

⁵ М. Ковалевский. *Закон и обычай на Кавказе*, I, стр. 26.

⁶ Н. Марр. *Яфетический Кавказ и третий этнический элемент etc.*, стр. 41; N. Marr. *Der japhetische Kaukasus und das dritte ethnische Element etc.*, S. 72.

разыгрывание мужчиной родовых мук и последующих актов повязки головы и послеродового купанья им отмечено в Зангезуре среди некоторых тюрков-кочевников (кахтийцев).¹

С. Д. Лисициану, обследовавшему в 1928 г., по поручению б. Кавказского Историко-археологического института, населенные зоками районы Нахичеванской автономной республики в археологическом и этнографическом отношениях, также удалось зафиксировать сведения относительно интересующего нас обычая, о чем в соответствующей информационной газетной заметке читаем: «Между прочим, по свидетельству старожилов, [у зок] сохранился обычай симулирования мужчиной родов вместе с женщиной».²

Кстати, тут же, в районе Нахичеванской республики, отмечены элементы старуховластия (старухократии).

Грузинский этнограф Ф. Сахокиа, касаясь мегрельского обычая *squash m̄doḡnafa* подкатывания ребенка, практикуемого при усыновлении ребенка бездетною женщиною, находит, что он «напоминает таковой же обычай у некоторых африканских племен, который в литературе принято называть «сопваде» или «высиживанием», с тою только разницею, что в отличие от мужчины, фигурирующего в описании Аполлония Родосского, в данном случае симулирует роды бездетная женщина. «За несколько дней до совершения обряда усыновления, — так описывает Ф. Сахокиа обычай подкатывания ребенка, — будущая «мать» симулирует роженицу в последней стадии беременности: на живот она накладывает подушку, так, чтобы он казался выпученным; движется, вообще, медленно, кряхтя и переводя дух. Соседки с полною серьезностью относятся к ее положению, справляются о времени наступления родов... Наконец, наступают самые «роды»: роженица ложится в постель, стонет, как пред наступлением настоящих родов. Повивальная бабка вертится вокруг нее, дает ей советы, успокаивает... и в это время «подкатывает» ребенка. Отсюда и название самого процесса: «скуаш миторгинапа» («подкатывание сына»). При крике «новорожденного» все торопятся поздравить «роженицу» с благополучным разрешением сыном. Роженица еще несколько дней остается в постели, причем ей дают в подобных случаях специальный «тибу» (суп).³ При сопоставлении мегрельского обычая *squash m̄doḡnafa* подкатывания ребенка, с тем, который описан в отношении тиб-

¹ Л. Меликсет-Бекков. Введение в историю государственных образований Юго-Кавказа [Caucasica, I], Тифлис, 1924, стр. 26.

² «Заря Востока», 1928, от 28 IX (№ 224).

³ Ф. Сахокиа. По Мингрелии (Брачные обряды). Этнографический очерк. «Петроградские Ведомости», 1916, № 176.

ренов у Аполлония Родосского, Ф. Сахокиа, между прочим, опирается на существующий в литературе взгляд, что названные тибарены являются предками современных мегрелов.¹

В армяноведной литературе существует попытка связать этимологию слова *haġazat*, resp. *haugazat*,² признаваемого обычно «заимствованием» из зендского *hadōzāta*-пехл. **hadazāt*,³ в значении 'единокровного брата' или 'сестры', 'родного', 'близкого', 'родственника' и пр. и пр., с обычаем кувады. Правда, возведение *haġazat* к *haġ+a-zat*, вернее к **haug+a-zat* (по аналогии с *rauzat*), в значении 'отделившийся от отца', отпавший от отца, в этой литературе давно было известно, как известна была и форма *haugazat*,⁴ однако, Н. Аѳбалян в специальной статье, посвященной этому слову,⁵ сам того нисколько не подозревая, вновь возвращается к давно существующей этимологии путем восстановления *haġazat* в **haugazat*, где *haug* (род. п. мн. ч. *haġ-š*, им. п. мн. ч. *haġ-q* и пр.) 'отец', а — соединительная гласная, а *zat* означает 'отделить', 'удалить', 'отпасть'; при этом он пытается выяснить его значимость на основе социального порядка: по его мнению, в этом термине мы имеем отражение той эпохи, когда, с постепенным разрушением матриархального строя и зарождением отеческой власти, отцы заинтересованы были в нормировании, в противовес когнатству, агнатства признанием ребенка исходящим или отделившимся именно от отца. Отсюда, *haġazat*, resp. *haugazat*, — языковое отложение того социального «правопорядка», к которому относится кувада, т. е. переходной от матриархата к патриархату эпохи.

Все эти только что приведенные нами данные относительно кувады на Кавказе, как видим, вполне соответствуют тому положению, которое установилось в генетической социологии, и которое весьма удачно формулировано С. Я. Вольфсоном: «Я полагаю, — читаем у последнего,⁶ — что кувадой мужчина, начинавший играть в обществе более значительную, нежели женщина, хозяйственную роль, выступал против традиционного отношения к женщине, как к единственной производительнице потомства. Кувадой отец как бы демонстрировал свое соучастие в акте рождения ребенка. Потому стоит особого внимания то обстоятельство, что к такой

¹ Ibid.

² Ср. ζ. Ահազատի Հայրէն արմատիկան բնութիւնը. IV, 171.

³ Н. Hübschmann. Armenische Grammatik, 180; Ահազատի, op. cit., IV, 171—173; рец. Н. Марра на книгу А. Томсона в ЗВО, V, 318.

⁴ См. предыдущие примечания.

⁵ Ы. Ահազատի Հայրէն. «Հայրէն արմատիկան», 1927, стр. 182—185.

⁶ С. Я. Вольфсон. Цит. соч., 183—184. О куваде вообще там же, стр. 182—185.

демонстрации мужчина стал прибегать лишь с тех пор, как хозяйственная роль женщины начала падать, а его собственная, наоборот, расти. Кувады почти не знает общество развернутого матриархата, когда женщина выступает хозяйственным гегемоном, но она — очень частый спутник общества, в котором эта гегемония начинает переходить из рук женщины в руки мужчины. Кувада типична для эпохи распада матриархальных отношений».

Если кувада является пережитком, характерным для переходной от матриархата к патриархату эпохи, то, не в меньшей степени, пережитками той же эпохи могут быть признаны и некоторые другие бытовые явления на Кавказе в связи с языковыми пережитками матриархата.

Известно, что грузинский язык сохранил нам достаточно пережитков эпохи матриархата, отражающих почетное положение женщины перед мужчиной, как, напр., в сочетании слов: *ded-mama* 'мать и отец', *ႃol-qmar-i* 'жена и муж', *da-ႃma* 'сестра и брат', *qal-vaj-i* 'дочь и сын', *dedamႃil-mamamႃil* 'свекровь и свекор', *dedal-mama-i* 'самка и самец' и пр., а не наоборот, находящем себе аналогию, между прочим, и в соответствующей идеограмме у халдов.¹ Но грузинская действительность, не говоря о широком «распространении» именно в ней «культы» женщины вообще,² сохранила нам и бытовые и языковые факты, ведущие нас, как и кувада, к эпохе смены матриархата патриархатом.

Так, древнегрузинский историк Леонтий Руисский (Мровел-и), повествуя о деятельности царя Фарнаджама, принявшего огненоклонство и «вызвавшего из Персии огнепоклонников и магов» для «глумления над идолами», сообщает, как этот поступок возбудил большинство из эриставов Картлии, которые обратились за помощью к армянскому царю, сообщив ему: «Наш царь переступил закон отцов [госр. предков] наших и не служит богам — владыкам Картлии, ибо принял отеческую религию [госр.

¹ И. Мещанинов. Идеограммы и детерминативы в халдских надписях. ЯС II, 1923, стр. 92.

² См. специальную литературу: ღ. ზქნძე. ქართველი ქლედი «ისტორიული მიმოხილვა», ტფ. 1891.—Н. Марр. Культ женщины и рыцарство в поэме Витязь в барсовой коже (Этнод). ТР, XII, 1910, стр. I—VI.—М. Джанашвили. Грузинки и грузины.—К материалам по истории и древностям Грузии и России, его же, Тфл. 1913, стр. 85—93.—შ. ღალიანი. ქართველი ქლედი. ისტორიული წყაროების და აწეუბის ცვაზნისი—ღ მიხედვით. (მოკლე მიმოხილვა მე—XII სუკუნემდე). — «კრებული» ივ. ჯვანაშვილის რედაქციით. ტფ. 1915, გვ. 3—8.—ვ. გურგო. ქალთა კულტი საქართველოში. გზ. «საქართველო». 1915 წ. №№ 143 და 147, и др.

отеческий закон] и оставил религию матернюю [гесп. закон матерний] (Հայրենի Երկրո մայրն էս հայրենի Երկրն զբարեւ.)»¹

Особо приходится остановиться на грузинском термине *guḡnis-deda*, буквально означающем мать плуга, которому в древнеармяно-грузинском словаре XVIII в., основанном на *index*-е армянской грамматики Мхитара Севастийского,² соответствует арм. *maṭkal*, вернее говоря, арм. *maṭkal* объяснено как *guḡnis-deda* в значении пахаря. Правда, *guḡnis-deda* в настоящее время означает 'пахарь', но истинный смысл термина, как справедливо указывает И. А. Джавахишвили,³ не может быть понят вне матриархальной обстановки, когда земледелие являлось женским лишь занятием, и плугом управляла женщина, почему она и называлась 'матерью плуга'; с торжеством патриархата, тот же термин, по закону функциональной семантики, закрепляется за 'пахарем-мужчиной'. Потому-то 'мать плуга'-женщина в церемониале «пахания реки», хорошо известном из этнографической литературы вообще и кавказоведно-грузиноведной в частности,⁴ выступает в мужском одеянии, другими словами говоря, женщина симулирует в данном случае мужчину так же, как мужчина женщину в кувате.

Вышедшей из матриархальной обстановки, но впоследствии осложненной чертами патриархального строя, несомненно, нужно признать и легенду об Амيرانе, поскольку сам Амيران носит прозвище «Дареджанис-дзе» (по матери), а не «Сукалмахис-дзе» (по отцу), и поскольку имя «Сукалмах» (*Su+kal+ma-ǰ*),⁵ восходящее к семантическому пучку «вода» = «женщина» — «рыба», выявляет собою элементы также женского начала.

То же самое следует сказать относительно арм. *aregakən* = груз. *mzis-ṣnal-1*, композита, буквально означающего 'солнце-глаз',⁶ где в первой

¹ *Հայրենի Երկրն մայրն էս հայրենի Երկրն զբարեւ.*, изд. М. Brosset (то же Н. Марра), стр. 34—35. — Изд. Е. Такайшвили, по списку И. Марра, стр. 25. Ср. то же в древнеармянском переводе груз. летописей (*Համարան արամեաբէնի Հայ. Կենտրոնի*, 1884, էջ 27): *Պատմութ. զհայաստ մարց իւրոց ե պատմէ զհայրենի կրօնն.*

² Искр. в виду рукописные экземпляры различных коллекций, относительно которых готовятся работы И. А. Абуладзе.

³ Изд. *Հայրենի Երկրն մայրն էս հայրենի Երկրն զբարեւ.*, I. Գրք. 1930, գვ. 265—268.

⁴ См. библиографию литературы по вопросу: Գ. Բոգոս. *Գեոգրաֆիկական և արվեստագիտական հետազոտություններ հայրենի Երկրի վերաբերյալ*, IV, 1927, գვ. 224, շրջ. 2, а также: Г. Ф. Чурсан. *Армяне Закавказья* (Краткий этнографический очерк). Научн. Зап. Закавказск. Комм. Унив. им. Э. См. т. I, Тел. 1931, стр. 255—256.

⁵ Относительно *kalma-ǰ* подробно см. Н. Марр и Я. Смирнов. *Византизм в Армении*. Л. 1931, стр. 18 et pass. (предисловие Н. Я. Марра).

⁶ Об этом термине подробно см.: Է. Բեկանյան. *Հայրենի արմատական բառերը*, I, 663—672. — А. Meillet. *Sur arew, aregaki et p'aylikn* в «*Monumenta armenologica*». Wien, 1927, 757—762.

части мы имеем *ageg*, *gesp. agew* ← **awg-eg* 'день-самка', *gesp. солнце-самка*,¹ причем эта самая *ageg*, одновременно — и древне-армянское название месяца начала весны, совпадающего с мартом, которое М. Brosset сопоставлял с груз. *igrisa*, вернее, *igrika*, в том же значении месяца.² Но что солнце в грузинском и армянском фольклоре олицетворяет собою женское начало, — это общеизвестный факт.³

Тифлис, 18 X 1933

¹ Относительно *awg* || *amg* || *amga* см. Н. Марр. К пересмотру распределения шумерского словаря. ДАН, 1927, стр. 9.

² М. Brosset. *Extrait du manuscrit arménien n° 114 de la Bibliothèque royale, relatif au calendrier géorgien*. Journ. Asiatique, X, 171, 530—531.

³ Грузинские материалы собраны у И. Джавахишвили. ქართველ ერის ისტორია, I, изд. 3-е, Тфл., 1928, стр. 53—54 (то же в изд. 1-м 1908, стр. 110—111; в изд. 2-м 1913, стр. 117—118); ср. рус. пер.: Л. Меликсет-Бек. Страна св. Георгия, Изв. Кавказск. Отд. Русск. Геогр. общ., т. XXIV, 1916, стр. 226. Арм. материалы собраны нами в Джавахии в 1929 г.: *արեւը կինը ամս է, լուսինը տղամարդ* 'солнце-женщина, луна-мужчина'. О культе солнца у армян см.: Գ. Մ. Արեւը հայ ժողովրդի կան համարի մէջ. Հանդէս ամսորեայ. 1929, էջ 634—650. — Кстати, в связи с изложенным, быть может, правильнее было бы арм. *ogt-ord* → *awtord* (*awg+o-ord*) возвести не к *ugh^o/+ord* 'женщина-дитя, девушка', как это делает Н. Я. Марр (Готгентоты-с-редиземноморья, ИАН, 1927, стр. 410.— Яфетические зори на украинском хуторе. Уч. Зап. Инст. этн. и нац. культур народов Востока, I, 1930, стр. 2; и др.), а как *awt* [1]+*ord* 'день-дитя, солнце-дитя, девушка'.

Е. А. НАХОМОВ

ГАНДЖИНСКИЙ КЛАД 1929 г. И ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ АРАБСКОЙ ТОРГОВЛИ В ЗАКАВКАЗЬИ

Нахарарский строй, продукт начавшегося распада под влиянием феодализирующих факторов строя родового, господствовал еще в эпоху появления арабов в Армении, Албании, Грузии и в самом Иране, лишь медленно подтачиваясь постепенно развивавшейся городской жизнью. Вопреки летописным традициям, он не был чем-то прочно, раз навсегда оформленным, непрерывно менялся в частностях, в хронологическом разрезе, и далеко не был одинаков в различных областях одновременно, хотя общая физиономия выкристаллизовалась у него вполне отчетливо. В процессе своего эволюционирования, при отсутствии сильных потрясений извне, только под продолжающимся воздействием упомянутых выше факторов, он постепенно утрачивал бы черты, роднившие его с родовым строем и все более приближался бы к строю типично-феодалному, даже при более спокойном положении на Переднем Востоке, чем это было в VII—VIII вв. н. э. Еще перед арабским завоеванием наметился главный, пока еще слабый, по крайней мере в пределах Закавказья, противник как нахарарского строя, так и феодализма — города, становившиеся опорными пунктами торгового слоя.

Экспансия арабов сопровождалась рядом обстоятельств, обзор которых не входит в тему настоящей статьи. Отметим лишь, что эти обстоятельства дали возможность торговым группам Переднего Востока организовать и использовать в собственных интересах накопившийся запас энергии кочевых арабских племен. Результатом оказалось обострение борьбы за власть между группами в той или иной степени феодализированными и группами торговыми, и перелом в пользу последних в среде как завоевателей, так и завоеванных. Анализ реальной обстановки этой борьбы весьма сложен, так как необходимо учесть то, что и арабские завоеватели и господствующие классы закавказского населения были сами по себе далеко

не однородны, и на их составных частях отражались многочисленные перекрестные влияния их взаимоотношений и их положений в общественной структуре.

Эти предпосылки необходимо иметь в виду при изучении развития торговли арабского времени в Закавказье и того значения, которое она имела в истории последнего в VII—XI вв. н. э.

Главным источником при этом изучении, являются, конечно, дошедшие в значительном количестве сочинения арабских географов и историков, тем более компетентных, в качестве осведомителей, что они, по своему социальному положению, в подавляющем большинстве случаев, были тесно связаны с торговыми группами своего времени. К сожалению, наиболее обстоятельные данные относятся ко второй половине указанного времени и гораздо слабее освещают начало и первую половину его. Туземные армянские и другие источники того времени дают меньше материалов, чем арабские, опять-таки в зависимости от социального лица их авторов, стоявших ближе к группам феодальным.

Письменные источники, как бы ни было соблазнительно использование их одних, требуют неперемennого корректирования на основе привлечения реалий и, при расхождении данных, преимущество принадлежит последним, если имеется гарантия, что значение этих реалий понято правильно.

В этом смысле, для истории восточной торговли громадную ценность представляет топография кладов, в первую очередь — монетных, а затем и вещевых. По Закавказью, мы в этом отношении не избалованы: в составленный мною перечень кладов удалось занести, кроме находок единичных монет, не более 8—10 кладов арабских монет, количеством от десятка до нескольких сот в каждом,¹ причем большинство их относится к IX—X вв., из более же ранних отмечено лишь три клада,² не получивших, однако, надлежащего освещения в нумизматической литературе. При таких условиях, фиксированная находка каждого клада арабских монет от времени VII—VIII вв. представляет значительный научный интерес. Одному из подобных кладов и посвящена настоящая статья.

В июле 1929 г. в Гандже мною был приобретен клад халифских монет. Точное место находки продавец указать не мог или не хотел, но из беседы выяснилось, что оно находилось где-то в ближайших окрестностях Ганджи и что находка была сделана за несколько лет перед тем. По словам продавца же клад этот попал к нему в руки полностью и затем не рассеи-

¹ Е. А. Пахомов. Монастырские клады Азербайджана и Закавказья. Баку, 1926.

² Там же, №№ 72, 73, 76.

вался, так как монеты оказались сильно окисленными и не годились на переплавку, на пробу которой пошло лишь несколько единичных экземпляров. Еще несколько распалось на куски и было выброшено.

Действительно, все наличные экземпляры оказались покрытыми с поверхности густым слоем одинаковой темнокоричневой окиси, нередко затрагивающей тело монеты, а в некоторых случаях, — пронизывающей ее насквозь. При самом легком нажиме они ломались и крошились на мелкие кусочки, не дававшие в изломе даже вида металлического серебра. Это-то и сохранило их от переплавки. Весь клад хранился владельцем в отдельном мешочке и не смешивался им с другими, бывшими у него же, старинными монетами. Благодаря хрупкости монет и многократным, вероятно, перетряхиваниям мешочка, многие экземпляры распались на кусочки.

Заинтересовавшись составомклада, эпохой его зарытия и тем, что он, по всем признакам, дошел почти полностью и без посторонних примесей, я приобрел все, что было в наличности. При разборе, в нем оказалось около 120 экз. совершенно целых дирхемов, около 50 — более или менее обломанных по краям или до половины и 17 обломков, не подходивших к остальным и являвшихся, следовательно, остатками раскрошившихся самостоятельных дирхемов. Монет рубленых умышленно, характерных для кладов севера СССР и Западной Европы, но не попадающихся в находках Закавказья, не было и здесь: все обломки тут были явно результатом небрежного обращения с монетами, ставшими хрупкими, благодаря окислению при долгом лежании в земле, и распавшимися лишь в руках находчиков клада в новейшее время.

Таким образом, количество наличных монет, сохранившихся полностью или в частях, доходило до 187, судя же по сведениям, данным продавцом клада, их общее число в находке могло немного превышать 200 штук. Эти 187 экземпляров состояли исключительно из омайадских и аббасидских дирхемов. Монет незадачных среди них почти не было, если не считать небольшого обломка омайадского дирхема, на лицевой стороне которого сохранились начала 2 последних строк символа веры, обрывок даты:

.....روفى سنة تسع وثـ (чекан) Мерва года девятого и вось-

(мидесятого), и часть трех слитноточечных кругов от ободка, а на обороте: концы всех 4 строк символа с 9 во 2-й строке, часть охватывающего их слитноточечного круга и обрывок, за ним, обычной круговой надписи. Остальное обломано. Насколько мне известно, дирхемы Мерва 89 года в литературе до сих пор не упоминались.

По месту чекана монеты распределялись следующим образом:

	Кол. экз.		Кол. экз.
1. Арран 146 (Т. 754), 155 (Т. 844—4 экз.)	5	15. Сук-ал-ахваз 98	1
2. Ардешир-хурре 95, 96, 97	3	16. ал-Аббасия 152 (Т. 808)	1
3. Армения 95 (4), 98, 99, 102, год сбит (омайад.) 146 (Т. 753—2 экз.), 155, (Т. 845—4 экз.), год сбит (аббасид.)	15	17. Керман 91 (2), 92	3
4. Истахр 92, 96 (2)	3	18. Махи 93	1
5. ал-Андалус 106, 108, 114	3	19. ал-Мубарска 109	1
6. ал-Баб 120	1	20. ал-Мухаммедия 150 (Т. 790)	1
7. ал-Басра 100 (3)	3	21. Мерв 89, 90, 92 (2), 110	5
8. ат-Теймера 91	1	22. Мейсан 80	1
9. ал-Джезира 130	1	23. Нехр-тира 95	1
10. Джонди-сабур 91, год сбит (омайад.)	2	24. Херат 95	1
11. Дарабджерд 92, 93 (2), 94, 95	5	25. Хамадан 93	1
12. Димешк 87 88, (8), 89 (2), 90, 93, 94, 100 (2), 104, 105, 108, 111, 114, 122, 124, год сбит (омайад.) (4)	22	26. Васит 85 (2), 86 (3), 87 (4), 89 (7), 90, 91 (4), 92 (4), 93 (7), 94 (8), 95 (5), 96 (3), 97 (2), 99 (3), 103, 105, 107, 108 (2), 109 (4), 110 (4), 112 (2), 113, 117, 119 (2), 120 (3), год сбит (омайад.) (8)	88
13. ар-Рей 145 (Т. 743), 147 (Т. 764)	2	27. Город сбит — 86, 92, 96, 128, 144, год сбит (омайад. — 13, аббас. — 1) (14)	19
14. Сабур 82, 93	2		
		Итого	187

По годам чеканки те же 187 экземпляров располагаются так:

	Кол. экз.		Кол. экз.
80 г. Мейсан	1	105 г. Димешк, Васит	2
82 г. Сабур	1	106 г. ал-Андалус	1
85 г. Васит (2)	2	107 г. Васит	1
86 г. Васит (3), гор. сбит	4	108 г. Васит (4), ал-Андалус, Димешк	3
87 г. Васит (4), Димешк	5	109 г. Васит (4), ал. Мубарека	5
88 г. Димешк (3)	3	110 г. Васит (4), Мерв	5
89 г. Васит (7), Димешк (2), Мерв	10	111 г. Димешк	1
90 г. Васит, Димешк, Мерв	3	112 г. Васит (2)	2
91 г. Васит (4), Керман (2), ат-Теймара, Джонди-сабур	8	113 г. Васит	1
92 г. Васит (4), Мерв (2), Истахр, Дарабджерд, Керман, гор. сбит	10	114 г. ал-Андалус, Димешк	2
93 г. Васит (7), Дарабджерд (2), Димешк, Сабур, Махи, Хамадан	13	117 г. Васит	1
94 г. Васит (8), Дарабджерд, Димешк	10	119 г. Васит (2)	2
95 г. Васит (5), Армения (4), Ардешир-хурре, Дарабджерд, Нехр-тира, Херат	13	120 г. Васит (3), ал-Баб	4
96 г. Васит (3), Истахр (2), Ардешир-хурре, гор. сбит	7	122 г. Димешк	1
97 г. Васит (2), Ардешир-хурре	3	124 г. Димешк	1
98 г. Армения, Сук-ал-ахваз	2	128 г. гор. сбит	1
99 г. Васит (3), Армения	4	130 г. ал-Джезира	1
100 г. ал-Басра (3), Димешк (2)	5	144 г. гор. сбит	1
102 г. Армения	1	145 г. Армения, ар-Рей	2
103 г. Васит	1	146 г. Армения (2), Арран	3
104 г. Димешк	1	147 г. ар-Рей	1
		150 г. ал-Мухаммедия	1
		152 г. ал-Аббасия	1
		155 г. Армения (4), Арран (4)	8
		Год сбит — Васит (8), Димешк (4), Армения, Джонди-сабур, гор. сбит (14)	28
		Итого	187

Первая из приведенных таблиц указывает, что клад составился с резким преобладанием в нем дирхемов Васита (83 экз. — ок. 44.4%), наиболее продуктивного из омайядских монетных дворов. Его дирхемы расходились повсеместно, куда только доходила арабская торговля раннего времени. Обращает на себя внимание значительное количество (22 экз. — ок. 11.85%) чекана Димешка, обычного в кладах южнее Закавказья, но в самом Закавказье встречающегося редко, к чему придется вернуться ниже. К этим двум основным группам примешаны небольшие количества омайядского чекана нескольких других, преимущественно иранских городов, представленных каждый единичными экземплярами. Из более отдаленных областей, Закаспий дал 5 экз. (ок. 2.6%) Мерва, северная Африка — 1 дирхем ал-Мубареки (ок. 0.5%) и Испания — 3 экз. ал-Андалуса (1.6%). Закаспийский чекан шел, вероятно, через торговые месопотамские центры, а испанский и африканский — вдоль северного побережья Африки, а затем — через Сирию. Комплекс перечисленных групп характерен для находок местностей более южных, чем Закавказье, для которого такой состав является необычным и невольно вызывает предположение, что старейшая часть клада — не результат сбора в Закавказье, а составила где-то на юге, возможно — в Сирии, и уже целым штоком была доставлена в Закавказье, где и получила примесь местного омайядского чекана Арминии и ал-Баба (9 экз. — ок. 4.8%). Закавказский чекан гораздо обильнее представлен в позднейшей, аббасидской части клада, в которой Арран и Арминия дают 12 экз. из 18. По всему же кладу закавказских монет насчитывается 21 (ок. 11.2%).

Просмотр второй таблицы показывает, что даты клада охватывают промежуток в 76 лет, причем последние по времени монеты помечены 155 г. (771—772 г. н. э.); следовательно, клад был зарыт в конце третьей четверти VIII в.

Обычно, в кладах число монет по годам чеканки увеличивается по мере приближения к моменту зарытия, достигая максимума за 1—3 года до него, но разбираемый клад дает иную и очень любопытную картину: на одно десятилетие 87—96 хиджры (706—715 гг. н. э.) падает 82 экз., или ок. 43.9% всего клада. Получается впечатление, что в его основу легло ядро, собранное еще в исходе I в. хиджры, т. е. в первой четверти VIII в. н. э. Последующие приращения этого ядра распределяются более или менее равномерно, незначительными (1—5 экз.) количествами по каждому году, с наклоном даже к уменьшению. Так, года с 101 по 110 дают 21 экз. (ок. 11.2%), года с 111 по 120 — 13 экз. (ок. 7%), а года с 121 по 130 —

только 4 экз. (ок. 2.1%). За все это время чекан Закавказья (Армения, ал-Баба) играет в кладе роль не большую, чем чекан других областей. На 130 г. (747-748 г. н. э.) приток новых монет обрывается, и проходит более десятка лет (131—143 хиджры, 748—761 г. н. э.), ничем в кладе не представленных. Не лежали-ли за это время накопленные деньги спрятанными без движения и без пополнения их? Кстати сказать, это были как-раз года смут и неурядиц в Закавказьи: после падения омайадов в 132 г. хиджры, аббасидам пришлось вести упорную борьбу за утверждение там своей власти и, конечно, длившаяся несколько лет война не способствовала продолжению собирания сбережений. Последние 12 лет (144—155 хиджры, 761—772 г. н. э.) перед зарытием клада не только опять значительно пополняют клад (17 экз. — ок. 9.1%), но и характер этих пополнений определенно местный: большинство их состоит из чекана Закавказья (Арран, Армения) или из монет, обычно встречаемых в здешних находках (ар-Рей, ал-Мухаммедия, ал-Аббасия).

Находки омайадских дирхемов в Закавказьи не представляют особенной редкости, но громадное большинство их состоит из чекана только Васита, с небольшой примесью местных монетных дворов — Армии, Дебия, ал-Баба и др., находки же средне- и южно-иранских городов являются как очень редкие исключения. В этом отношении разбираемый клад также резко уклоняется от нормы, давая в своей омайадской части около $\frac{1}{2}$ числа монет не-васитских. Это обстоятельство тоже говорит в пользу предположения о том, что основное ядро клада составилось не в Закавказьи. Вместе с тем, этот ранний клад арабских монет показывает, что уже тогда вполне определенно намечалась тяга арабских дирхемов с юга на север, достигшая постепенно, в последующие 2 столетия такой интенсивности, что серебряная монета стала начисто уноситься на север и совершенно перестала оседать в Закавказьи, где дирхемы IX в. и особенно X в. являются чрезвычайно редкими. Во второй же половине VIII в., как показывают частные находки единичных дирхемов этого столетия, к сожалению, очень редко точно фиксируемые в литературе, но лично мне известные в значительном числе, а также весь состав рассматриваемого клада, эта тяга была еще слаба и позволяла как чеканенным на месте, так и заносимым извне и курсировавшим здесь дирхемам, оседать отдельными экземплярами и даже целымикладами.

Еще одно обстоятельство надо отметить для данного клада: все экземпляры его, по очистке от окиси, оказывались неизменно совершенно неоттертыми и, очевидно, почти не бывшими в обращении. Это позволяет думать,

что клад был не просто торговой ценностью, в состав которой, как обычно бывает в кладах, попадают, наряду с очень хорошими, экземпляры потертые, часто обрезанные и т. п. Здесь видно старание подобрать монеты только хорошие, непотертые, может быть — для местных — только что выпущенные. Отсюда получается характеристика их владельца не как торговца, спрятавшего свой оборотный капитал, а как мелкого держателя, видевшего в своем сокровище запас на черный день и заботливо прибавлявшего к нему ежегодно хоть по несколько дирхемов, еще не утративших своей полновесности при обращении.

В восточном Закавказьи еще в VII в. обрывается ряд кладов, характеризующихся совместным нахождением в них монет сасанидских, византийских и первых арабских, и указывающих на те различные источники, из которых черпали свои денежные средства имущие слои населения. К VIII в. арабская торговля настолько охватывает Закавказье, что ее главное орудие — дирхем совершенно вытесняет своих соперников: сасанидскую драхму, пережившую на некоторое время сасанидское государство, и византийский милиарисий. Но в то же время общественный строй все еще базируется на нахарарстве и не заметно крупного скопления денежных капиталов в руках населения постепенно арабизирующихся закавказских городов. Находки представляются еще или единичными экземплярами или мелкими кладами, так что рассматриваемый приходится считать одним из крупнейших для своего времени. Не заметно той мощи денежных капиталов, на которую единогласно указывают все источники для IX — X вв. Нет еще и такого развития отлива серебра на север, как в указанные только что столетия: это подтверждается и оседанием монет VIII в. в Закавказьи и наблюдениями Р. Р. Фасмера над северными кладами.¹

Вот этот переходный момент социальной структуры, когда арабизированный город Закавказья еще не окончательно одолел нахараро-феодального владельца и не окончательно превратился в торгово-промышленного посредника между югом и севером и характеризует разбираемый клад. Его владелец еще не охвачен потоком торговли с севером, еще не смотрит на свои дирхемы, как на орудие лишь торгового оборота и обогащения, как это сделал бы горожанин Ганджи IX в., но в то же время для него ясно значение денег и он старается прикупить их возможно более, как это сделал бы и всякий, принадлежащий к феодальным кругам в эпоху, когда

¹ Р. Р. Фасмер. Закавказьинский клад купеческих монет VIII—IX в. Изв. ГАИМК, VII, 2 (1931), стр. 12.

феодалному натуральному хозяйству начинает, явно для окружающих, противопоставляться развивающееся хозяйство денежное.

Резюмируя все сказанное, решаю предложить следующую схему истории этого клада, может быть, и безусловную в отношении субъективности построения некоторых частей ее, а потому и предлагаемую лишь в качестве одного из возможных решений задачи.

Основой клада послужила небольшая сумма, порядка около сотни дирхемов, полученная мелким держателем, не-торговцем, в 710-х годах, в пределах Сирии. Здесь же, а может быть, с переездом владельца куда-нибудь в Месопотамию, собранная сумма продержалась лет около 25, пополняясь ежегодно откладываемыми мелкими сбережениями, в размере 1—5 дирхемов. В 740-х годах владелец перевез весь свой капитал в Армению, возможно, в район Двина, где и прибавил к нему несколько дирхемов Армии, под которой при омайядах подразумевался, повидимому, именно этот город. Наступившие затем смутные времена омайядо-аббасидской войны вынудили владельца прекратить пополнение своих сбережений и припрятать их на все 750-е годы, после которых мы встречаемся с нашим держателем уже в районе Ганджи, где он вновь начинает прибавлять к капиталу от времени до времени по несколько местных монет Аррана, аббасидской Армии (вероятно, уже Берда'а) и курсировавших здесь же дирхемов ал-Мухаммеда и др., но попрежнему хранит накопления, не пуская их в торговый оборот. Так дело шло до 772 г., около которого клад был зарыт владельцем в землю и пролежал в ней нетронутым следующие одиннадцать с половиною столетий.

М. А. ПОЛИЕВКОВ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ СЕВЕРНО-КАВКАЗСКИХ ФЕОДАЛОВ XVII ВЕКА

В приказных делах XVI—XVII вв. Московского государства сравнительно редко — по крайней мере в делах Посольского приказа — попадают документы частной переписки. Тем больший интерес представляют такие документы, в особенности, если они, по своему ли содержанию в целом, по отдельным ли частностям, или по форме, проливают свет на некоторые более или менее крупные проблемы. Такой интерес представляет и документ, который публикуется в приложении к настоящей заметке; правильное — документ, по отношению к которому сама эта заметка является только сопроводительным комментарием. Этот документ — письмо шамхала Тарку Сурхая к астраханскому воеводе князю Григорию Сунчалеевичу Черкасскому (хранящееся в «делах кумыцких» Посольского приказа, в Архиве феодальной и крепостнической эпохи [ГАФКЭ] Центрархива РСФСР), в котором Сурхай жалуется на терских воевод, «отлучивших» его от Москвы своими «грубостями». Имеющее своим содержанием сравнительно частный вопрос — трения между одним, правда, очень крупным местным кавказским феодалом и московскою администрациею на Тереке, это письмо освещает и более крупные вопросы — взаимоотношения между отдельными группами местной феодальной аристократии, отношения этих групп к Москве и политику в это время самой Москвы на Кавказе.

Письмо не датировано, но легко поддается приблизительной датировке. Сурхай пишет вскоре после прибытия Черкасского «в сю украину, в Астрахань». Григорий Сунчалеевич был назначен первым воеводою в Астрахань в 1660 г.; но это было уже второе служебное назначение в Астрахань. Еще 22 марта 1655 г. ему было велено быть первым воеводою «у горских черкас и астраханских татар», на каковой должности он и оставался до конца этого года: уже в феврале следующего 1656 г. мы его видим на придворных торжествах в Москве, и здесь его имя часто упоминается вплоть

до середины 1658 г.¹ Положив месяца два на путь от Москвы до Астрахани и столько же на обратный, заключаем, что Черкасский был в Астрахани приблизительно с июня по ноябрь 1655 г. К этому промежутку времени и надо приурочивать письмо Сурхая. Оригинал письма в делопроизводстве Посольского приказа по кумыцким делам не сохранился: оно дошло до нас в переводе, современном подлиннику. Можно думать, что Черкасский, по возвращении к началу 1656 г. в Москву, счел нужным представить письмо Сурхая в Посольский приказ, высшее учреждение, ведавшее в то время все пограничные дела. Здесь с него и был, очевидно, сделан перевод. Отсутствие подлинника объясняется какой либо случайностью.

Письмо было послано с сыном Сурхая Казбулатом, которому поручалось сделать к нему какие-то устные дополнения: «а про мои слова скажет тебе сын мой Казбулат». Сурхай, очевидно, не все доверял бумаге. Он предпочел бы устную беседу. Не имея возможности идти таким путем, он избирает для этого вместо себя наиболее доверенное лицо и поручает ему вести разговор с Черкасским: вновь прибывший в Астрахань московский воевода, сам природный кавказский феодал, был для Сурхая, все же, свой человек. Вообще, все письмо написано в очень интимном тоне, и в этом, пожалуй, главный его интерес. Хотя, конечно, не лишено интереса и самое содержание письма, и нам придется еще его касаться.

И автор письма, шамхал Сурхай, и его адресат, князь Григорий Сунчалеевич Черкасский — представители одной и той же социальной среды, северо-кавказской феодальной аристократии. Но эти две ветви одного и того же социального корня далеко разошлись друг от друга в своем дальнейшем развитии. Возникновение шамхальства относится, по преданию, как известно, к эпохе арабского господства на Кавказе (VII—IX вв.), когда один из арабских военачальников, Шах-Баал-бин-Абдулла был сделан вали (правителем) Дагестана и упрочил свою наследственную власть над всею этою странюю, а его собственное имя, при его преемниках, обратилось в их владельческий титул, как это обычно бывает в подобных случаях (Шах-Баал = шахмал = шамхал; как Карл = краль = король; и т. п.) Первоначальной резиденцией шамхалов был Кумух; постепенно она передвигается в Буйнак и наконец в Тарку, — все ближе к Каспийскому морю. К этому времени начинает вырастать торговое значение прикаспийского пути, и шамхалы, укрепившись в Тарку, строят на этом свое благополучие,

¹ См. биографию Г. С. Черкасского в Русском Биографическом Словаре, т. «Чаадаев — Швитков», стр. 209 (СПб., 1905). Биография имеет исключительно фактически-справочное значение о главных моментах в жизни Черкасского.

взимают пошлины с проходящих торговых караванов, развивают береговое право, т. е. попросту грабят проходящие мимо суда, застигнутые бурей, активно втягиваются в прикаспийскую торговлю.¹ По мере того, однако, как выросло значение шамхалов в Тарку, как сильных владетелей на прикаспийском торговом пути, продолжавших сохранять горделивый титул «вали Дагестана», их фактическая власть над внутренними горными областями этой страны утрачивалась. Одновременно с этим идет процесс распада шамхальского рода и оседания отдельных его ветвей в отдельных владениях, как, напр., так называемые «крым-шамхалы» («на половину шамхалы»), оседающее в Буйнаке, постоянные соперники и противники шамхалов в Тарку.

В этом процессе распада и оседания по отдельным владениям, шамхалы и их боковые ветви, когда-то пришедшая феодальная верхушка арабской крови, сращивается родственными узами с остальной массой местных, главным образом, кумыцких, но также и кабардинских феодалов. Но долго еще остается, однако, сознание родового превосходства над этой массой, а тем более над среднюю феодальную прослойку местного общества. Когда в 1574 г. умер шамхал Чубан, владевший почти всем краем от Терека до Кайтага и от Аварии до Каспийского моря, четыре его сына, Андия, Герей, Эльдар и Магомет, все рожденные от дочери уцмия Кайтагского (второй после шамхала крупный местный феодал, так же, по преданию, арабского происхождения), поделили между собою владения отца и постановили избирать шамхала поочередно из своих четырех домов. Сыном этого Герей и был автор письма к Григорию Черкасскому, а брат Герей, Эльдар, приходился Сурхаю дядею. Пятый сын Чубана, Султан-Бут, как рожденный от дочери черкесского узденя, был устранен братьями от этого семейного раздела и только позднее силою добился от братьев удела между Сулаком и Терекон. Чередование шамхальства между родами четырех сыновей Чубана не проходило, конечно, безболезненно и вызывало дальнейшие

¹ Вот характеристика Тарку как прибрежного стратегического пункта, которую мы находим в русских документах: «... место угрожаемое, стена самородная каменная и двор тут Шевкалов, и лесу и пашни у того города тут много, и к городскому делу каменн и извести тут много, и воды ключевые в том городе есть многие родники, а на истоках стоит мельница... на само верку стоит башня каменная, и с тое башни ночью очищают из варяду до моря и на все сторожи». (С. Белокуров. Сношения России с Кавказом, вып. I, 1578—1613 гг., стр. 401 и 404 в «Чтениях в Общ. Истор. и Древн. Росс.», 1888, кн. III). Об активном участии шамхалов в прикаспийской торговле — в тех же вышеупомянутых «делах кумыцких», как, напр., 1621, 1626, № 1, 1630, 1634 гг. и др. Нередко вместе с нослами шамхала приезжали в Москву и его «купчины» как с своими собственными, так и с «продажными шамхальскими товарами»; ср. в интересующем нас письме Сурхая: терские воеводы попустительствуют, по заявлению Сурхая, казакам, грабящим его торговые караваны.

между ними распри «кровь»). После Чубана последовательно были шамхалами его сыновья: Андия, Герей и Эльдар («Ильдар»), женившийся в 1626 г. на вдове кабардинского князя Сунчалаея, отца Григория Сунчалеевича Черкасского, на что и намекает в своем письме Сурхай («а мать твоя княгиня мне мать названная»). После Эльдара и после долголетней борьбы шамхальство к 1643 г. снова перешло в линию Герея, в лице сына последнего, Сурхая, чем обходилась линия четвертого сына Чубана, Магомета, и чем была вызвана, повидимому, распри между сыном Сурхая Казбулатом и «Магометовыми детьми», о чем точно также мы узнали из письма Сурхая. Эта постоянная борьба за шамхальство¹ облегчала вмешательство во внутренние счеты «шах-баалидов» (да простят нам этот термин) тех более крупных сил, для которых шамхальство стояло на пути к прикаспийской торговой магистрали — для Персии, Турции и Москвы; а на почве такого вмешательства для отдельных ветвей шамхальского дома возникала необходимость ориентироваться, в зависимости от условий момента, на одну из этих сил.

В XVI в., когда идет борьба за прикаспийский торговый путь между Турцией и сефевидской Персией, борьба, в которую к концу этого века включается и Москва, шамхалы тяготеют к Турции и ее вассалу Крыму, также пробывавшемуся к Каспийскому морю через свои причерноморские владения (приазовские, «малые» ногаи и Черкессия), но встречавшему на своем пути средостение в Кабарде. В XVII в., когда при Аббасе I на Каспийском побережье Кавказа утверждается Персия, шамхалы — ее пограничные с севера вассалы, пользующиеся большою самостоятельностью. Их отношения за все это время к Москве довольно сложны. Они дают ей решительный отпор, когда с ее стороны обнаруживается явное стремление продвинуться за Терек и утвердиться на Койсу, как это было, напр., в 1604 г.² В то же время они не прочь использовать содействие Москвы в своей внутренней борьбе за шамхальство и в интересах безопасности своих владений и своей каспийской торговли считают нужным поддерживать

¹ О шамхалах см.: «Шамхалы Тарковские» («Сб. свед. о кавказских горцах», I, Тифлис, 1868); из более новой литературы: у Аббас-Кули-Ага-Бакиханова Гюлистан — Иран (Тр. Общ. обл. и изуч. Азербайджана, вып. IV, Баку, 1926), passim; для целей настоящей статьи главным образом стр. 43 и 88. О борьбе между потомками шамхала Чубана (и об отношении к этому Москвы), кроме того — в указанном в предыдущем примечании издании С. Белокурова, стр. 530—544 («1610—1614 гг. О сношениях Тарского воеводы Петра Головина с Гиреем, Салтан-Магмутом и др. кумыцкими князьями»). О женитьбе Эльдара на вдове Сунчалаея — в вышеуказанных «делах кумыцких». 1626, № 1.

² См. об этом в названных выше работах С. Белокурова, стр. CV — CX, и А.-К.-А. Бакиханова, стр. 89.

внешне-корректные отношения с соседом, напиравшим на них с севера, «учиняясь в подданстве» этому соседу. Отец Сурхай, Герей, и его дядя Эльдар дают московскому царю так называемые «шертные записи» (клятва на коране в верности) и получают от него как бы инвеституру на шамхальство, оставаясь в то же время в верности у Персии. Такой политики держался и сам Сурхай, старавшийся упрочить шамхальство наследственно в своем доме.¹ Но такое ориентирование временами на Москву шамхалов Тарку и других кумыцких феодалов никогда не было длительной прочной основой их политики, не было, так сказать, их «политической традицией», на которой они строили бы упрочение своей социальной силы на Кавказе. Это всегда был с их стороны преходящий тактический маневр, за которым скрывались заботы о сохранении своей политической независимости. В XVI и XVII вв. шамхалы в Тарку остаются серьезным преткновением на прикаспийском торговом пути для всякого, кто, как Москва, пытался прочно утвердиться на этом пути.

Обратимся теперь к другому представителю кавказского феодального мира, московскому воеводе князю Григорию Сунчалевичу Черкасскому. Князей «Черкасских» (т. е. черкесских) было очень много в рядах московской аристократии XVI и XVII вв. Возводившие все свою генеалогию к полуполюгендарному родоначальнику Инагу (также, по преданию, арабского происхождения), все эти черкасские князья не были разветвлением одного какого-нибудь рода: «князь черкасский», на московском языке того времени — скорее нарицательное имя, чем собственное, указывающее не столько на генеалогическое, сколько на этническое (а вместе с тем и географическое) происхождение. Большинство этих Черкасских были выходцы из черкесов пятигорских и главным образом кабардинских. Москва, утверждаясь во второй половине XVI в. на Тереке, из всех кавказских народностей раньше всего вошла в соприкосновение с черкесами, и опять-таки главным образом с наиболее многочисленным восточным их ответвлением — кабардинцами. Пользовавшиеся большою долею независимости под властью Крыма, все черкесские племена борются в это время против попыток Крыма превратить эту власть в нечто более реальное и тем самым облегчить себе продвижение к Каспийскому морю (о последнем было уже сказано выше). Одновременно с этим Кабарда (т. е., конечно, кабардинская феодальная верхушка) старается закрепить свое социальное преобладание не только над местными, кабардинскими же, общественными низами,

¹ См. «Кумыцкие грамоты» за 1614—1643 гг. (в том же архивохранилище, где я выше названные «дела кумыцкие»).

но и над другими более к западу лежащими черкесскими племенами, а также над своими ближайшими кавказскими соседями, как, напр., над осетинскими и чеченскими племенами. Для кабардинской феодальной аристократии, если не для всей сплошь, то во всяком случае для определенных ее групп, при таких условиях, соглашение с своим новым соседом на Тереке, Москвою, могло представляться довольно соблазнительным, благо, к тому же, сам этот сосед устремлялся на Кавказе, до поры до времени, в несколько иную сторону, к прикаспийскому торговому пути, и не склонен был поощрять какое бы то ни было усиление Крима, а тем паче в ту сторону, куда устремлялся он сам.¹ Начало родственных связей кабардинской аристократии с московским феодальным миром было положено в 1561 г. женитьбою, во втором браке, главы этого мира, царя Ивана Грозного, на кабардинской княжне Мариан Темгрюковне. Пользуясь своими придворными связями, черкасские князья с этого времени широкою волною вливаются в ряды московской служилой аристократии, рождаются с наиболее значительными и богатыми семьями этой аристократии, занимают ряд видных постов в московской военной и гражданской администрации, в начале XVII в. оказывают существенную поддержку новому московскому правительству, между прочим, и на Тереке, и таким путем упрочивают свое социальное положение и у себя дома, на Кавказе. Ориентация на Москву постепенно начинает пользоваться большою популярностью среди кабардинской феодальной аристократии; в некоторой части этой аристократии она делается своего рода политической традицией. Типичным представителем такой ориентирующейся на Москву кабардинской аристократии был и адресат шамхала Сурхая, его свойственник, князь Григорий Сунчалеевич Черкасский.

Григорий Сунчалеевич был один из многочисленных, осевших со второй половины XVI в. в Москве потомков черкасского князя Идара, внучкой которого была вторая жена Грозного Мариан Темгрюковна. Григорий Сунчалеевич доводился внучатым племянником Мариан Темгрюковне и ее двоюродному брату Борису (до крещения — Хорошай) Канбулатовичу,

¹ О черкесах и в частности о Кабарде и социальной позиции кабардинской аристократии см. С. Белокуров, *op. cit.*, стр. главным образом XXXIII—I, IV—XIII и XXVIII—XXIX. — Сталь. Этнографический очерк черкесского народа. Кавказск. Сб., XXI, Тифлис, 1900 (очерк Сталя был составлен в 1852 г.). — Сефер-Бей-Сиюхов. Черкесы — адыге (ист.-бытовой очерк). Изв. Общ. любит. изуч. Кубанск. обл., VII, Краснодар, 1922. Из источников, почти современных интересующей нас эпохе; Ferrand. Voyage de Crimée en Circassie, 1702, Recueil des voyages au Nord, X; русский перевод: Путешествие из Крима в Черкессию в «Русском Вестнике», 1842, № 4. Ксаверию Главани. Описание Черкессии, 1724 (Тифлис, 1893; франц. и русск. тексты; на обложке и титульном листе ошибочно «1729» вм. «1724»).

сделавшему большую карьеру при Грозном и женатому на сестре Федора Никитича Романова. Борис Канбулатович приходился, таким образом, двоюродным братом первому царю из дома Романовых, Михаилу Федоровичу, а через него и сам Григорий Сунчалеевич был в довольно близком родстве с своим государем, царем Алексеем Михайловичем. Его отец Сунчалей Канклычев (или Янглычев) оказал в свое время большие услуги Москве: он спас ее положение на Тереке в критические для Московского государства 1603—1614 гг., за что и был пожалован большими владельческими правами за Терек и сделан «над окоцкими черкасы князем». Сам Григорий Сунчалеевич пользовался неизменным благоволением при дворе, приумножил свое состояние выгодной женитьбой — на богатой княжне Прасковье Никитичне Одоевской и через жену породнился с верхушкой московского боярства. И детей своих недурно пристроил князь Григорий: сын его, Данила Григорьевич, был женат на Марии Петровне Шереметевой, а дочь Елена сделала хорошую партию, выйдя замуж за князя Юрия Юрьевича Трубецкого. Шереметевы, Трубецкие, Одоевские, все это — тесно сплоченные верхи московской служилой аристократии XVII в. Большим московским вельможею¹ приехал в 1655 г. этот северно-кавказский феодал в Астрахань, и здесь ему на первых же порах пришлось встретиться с своим старым свойственником, шамхалом Сурхаем, стоявшим теперь «на том берегу».

Далеко разошлись жизненные пути обоих кавказских феодалов, и такое расхождение не было, как мы уже знаем, результатом их личных вкусов, симпатий и антипатий. Это расхождение отражало на себе ту общую социально-политическую ситуацию, которая слагалась со второй половины XVI в. на Северном Кавказе, в значительной степени под воздействием наступательной политики на Кавказ Московского государства. В этом смысле и письмо Сурхая к Черкасскому — само по себе незначительный документ — получает значимость, как иллюстративный материал к большому историческому вопросу.

Определенно выразившееся со второй половины XVI в. наступление Москвы на Казань было, как известно, прямым продолжением захвата ею

¹ Вот только жизнь свою как-то плохо кончил этот вельможа: в 1672 г. он был убит в своих вотчинах «неизвестными людьми». В подготовляемой нами в настоящее время работе о первых этапах русского наступления на Кавказ найдут свое место и Черкасские. Данные о них как из напечатанных, так и из неопубликованных источников, были выбраны для этой работы, по нашей просьбе, проф. С. Б. Веселовским, за что и приносим ему здесь нашу искреннюю благодарность. В частности, о роли отца Григория Сунчалеевича Черкасского, Сунчалей Канклычева в 1603—1614 гг. на Тереке см. у С. Белокурова в названном выше издании, стр. СХI, 517—521 и 535—561.

Поволожья, что давало в обладании Московского государства и большие земельные пространства, соблазнительную приманку для землевладельческого класса, и волжский торговый путь на всем его протяжении до Астрахани, не менее соблазнительную приманку для московского торгового капитала. При наступлении на Кавказ не могло быть речи об освоении новых больших земельных пространств, хотя бы просто в силу местных орографических условий и состояния военной техники того времени, которой было не под силу преодолеть эти условия. Другое дело прикаспийский торговый путь, прямое продолжение волжской артерии: утвердиться здесь представляло прямой интерес для московской торговли, крупное участие в которой принимал, как известно, сам глава московского феодального мира «государь царь и великий князь московский». Этому благоприятствовали здесь отчасти и те же орографические условия, издавна создавшие на Каспийском побережье Кавказа главный путь сообщения через Кавказ с севера на юг. Вклинивание в Кавказ со стороны Каспийского побережья и было главным стержнем кавказской политики Москвы в данную эпоху. Оставляем в стороне всю очень усложненную обстановку этой политики; не будем касаться даже такого существенного ее момента, как происходившая в это время борьба за Кавказ Турции и Персии, борьба, в которую включалась теперь и Москва. Остановимся только на тех отношениях, какие сложились у Москвы, на почве такой политики, к верхам северно-кавказского феодального мира.

Наступая на Кавказ, Москва определенно делала ставку на эти местные феодальные верхи. В XVI—XVII вв. отдельные владельцы Кавказа, всколыхнутого в это время борьбою за него Турции и Персии, колебались между этими двумя главными политическими силами мусульманского мира. Обοим этим ориентациям — или на Персию, или на Турцию — московская политика противопоставляла и насаждала на Кавказе третью — ориентацию на Москву. Москва всячески задаривала и старалась привлечь к себе различными благостынями своих ближайших соседей на Кавказе (а такими и были кабардинские и кумыцкие владельцы), требуя от них взамен этого, «учинения в верности». Такой политики Москва держалась на протяжении всего своего кавказского фронта по Тереку, но ближайшие цели, которые ею при этом преследовались, на отдельных участках этого фронта были различны. Левый фланг этого фронта, приблизительно от устьев Терека до впадения в него Сунжи (кумыцкая низменность) был флангом активного наступления Москвы на Кавказ; центр и правый фланг (от Сунжи и выше) — районом, сопровождавшим это наступление дипломатической работы. Стараясь привлечь

на свою сторону отдельных кумыцких владетелей, Москва зорко следит за тем, чтобы все эти владетели не сплачивались между собою, чтобы здесь не сложилось некоторого внушительного целого, которое затруднило бы для нее самое продвижение с Терека на Койсу и дальше, к прикаспийскому пути. А такую преградою для Москвы и было, как мы уже знаем, шамхальство в Тарку. Привлекая на свою сторону «черкасов горских и кабардинских», Москва, не задаваясь до поры до времени какими-либо широкими захватническими планами за средним Терекком, старалась использовать этих «черкасов» как своих союзников — отчасти в целях того же своего наступления на Прикаспий, особенно тех из них, чьи владения были ближе к кумыкам. Такого надежного союзника и создала себе Москва в лице Сунчалая (т. е. с Сунжи, где были его владения) Янгличева, санкционировав, как было сказано выше, его владельческие права за Терекком; несколько позднее жалованные грамоты на Терскую область и на терские пошленные сборы получил внук Сунчалая, Казбулат Муцалович, племянник Григория Сунчалеевича. Терские воеводы, обычно, в ответственных случаях ничего не предпринимали, не «поговоря с Сунчалеем мурзою Янгличевым». Иногда результатом таких совещаний были мероприятия, направленные непосредственно против комплекса кумыцких феодалов в целом. Так, когда в 1610 г. можно было опасаться нападения кумыцких владетелей на Терский город, Сунчалей послал мурзу Хорошая приводить отдельных из этих владетелей под «царскую высокую руку, чтоб кумыцких князей тем развести и меж ими учинить рознь и от их бы приходу тем оберечи... Терской город». В иных случаях, когда шамхал Тарку не проявлял достаточной податливости, терским воеводам рекомендовалось прямо «позадирать» его.¹

Шамхал Тарку в пререканиях с московской администрацией на Терекке, и один из «Сунчалеевичей» — высшая местная инстанция этой администрации (Терек административно «тянул» к Астрахани), такая комбинация вполне соответствовала общему положению дел в то время на Кавказе, создававшемуся, в значительной степени, в связи с наступательной политикой Москвы на Кавказ. Но именно благодаря такой своей обыденности и отсутствию в нем чего-либо незаурядного письмо шамхала Сурхая к Григорию Сунчалеевичу Черкасскому приобретает большой интерес, как иллюстративный материал.

¹ О пожаловании Казбулата («Касбулата») Черкасского на Терек см. его биографию в «Русском Биографическом Словаре», т. «Чалалей — Шингилей», стр. 216—217, СПб., 1906. О миссии к кумыкам мурзы Хорошая — у С. Белокурова в назв. выше издания, стр. 530 и сл.; о «задирании», как о средстве воздействия на шамхала — там же, стр. CVII.

Московское правительство, конечно, не предписывало прямо терским воеводам «громить» Сунчалеевы «животы», хотя вряд ли было против смиривания кумыцких узденей. Терские воеводы, конечно, не были ангелами кротости и чистоты. Но сетования на них Сурхая, в данном случае, были не совсем по адресу: ему надо было сетовать на кого-то и на что-то выше. С другой стороны, и у терских воевод, и у самой Москвы были свои счеты с Сурхаем: он неоднократно нападал на других местных владельцев, находившихся под покровительством Москвы, а в 1649 г. даже убил одного из них — мирзу Казыя Мундарова. В 1652 г. он задержал возвращавшегося из Палестины через Кавказ в Москву Арсения Суханова и отпустил его только после того, как получил большой выкуп.¹ В глазах местной московской администрации он был, как говорится, «не на хорошем счету»; быть может даже самое его письмо было вызвано его желанием реабилитировать себя в глазах вновь прибывшего в Астрахань воеводы. Во всяком случае Сурхая «отлучили» от Москвы не «несколько недобрых воевод», перебивавших на Тереке: их разлучила общая конъюнктура того времени, и, прежде всего, противоречие интересов Москвы и шамхалов в прикаспийских частях Кавказа.

Все это, очевидно, понимал и хорошо осведомленный в московских делах Григорий Сунчалеевич Черкасский. Ни из чего не видно, чтобы обращение к нему Сурхая имело какие-либо дальнейшие последствия. Да вряд ли и входило в расчеты Черкасского принимать слишком близко к сердцу интересы его прежнего кавказского свойственника, противоречившие классовым интересам той московской служилой аристократии, с которой он теперь прочно связал свою судьбу. Он предпочел поступить совершенно по-бюрократически: по возвращении в Москву сообщил письмо Сурхая куда следует и на этом, повидимому, и успокоился.

Приложение

ПИСЬМО ШАМХАЛА ТАРКУ СУРХАЯ К АСТРАХАНСКОМУ ВОЕВОДЕ КНЯЗЮ
Г. С. ЧЕРКАССКОМУ

Перевод с кумыцкого письма, что пишет к боярину и к воеводе ко князю Григорью Сунчалеевичу Черкасскому Суркай шавкал Тарковский.

Благодатному, храброму, милостивому исконному брату нашему, великого государя воеводе князю Григорью Сунчалеевичю Гирай хан шевкалов сын

¹ Те же «дела кумыцкие» 1649, стр. 21; Проскинитарий Арсения Суханова 1649—1653, пох ред. Н. И. Ивановского (Православный Палестинский сборник, VII, 3, стр. 119, 120, СПб., 1889).

с любовью поклоняется. Потом слово мое то — С тобою у нас сходство не внове, при предках наших повелось; вами Русь позналц, а мать твоя княгиня мне мать названная; головы наши и дома были заодно, и по вашему слову аманатов в Русь давали. А как Терской город погибал, в то время и я сам был городом и караулом, да и ныне берегу. Учинился было холопством, и в Терском городе несколько недобрых воевод перебивало, о чем мы говорили, того не учинили. Узденей наших, товарищей наших люди бежали в Терской город, и они их крестили, нам не отдали. И караван наш терские казаки погромили, у моего человека 100 тюменов живота взяли и донским казакам продали, мы у них выкупали. Многие животы у нас погромили и поимали. Меж нами шерть была издавно; терским воеводам говорили, шерть нарушили, шерть стала на них. А шерть была ваша: а московских русских людей нам у себя неволею не держать, им иных¹ наших холопей не примать и не держать. Пред отцем моим Гиреем и при дяде Ильдар-хане, как была честь нам и детям нашим, того не чинили. Много нам грубости чинили. А Терской город и ныне оберегаю, великому государю служу. А ему великому государю учинился холопом, хотячи кумыцкую землю в целости соблюсти.

И ныне божием изволением, великого государя повелением приехал ты всю украину, в Астрахань, служить государю. И божиею милости вельмитвоему здоровью и пришествию мы обрадовались, и хвалу богу воссылаю. А ныне у сына моего Казбулата с Магометовыми детьми учинилась ссора и убийства. И приехали ко мне, и я ту кровь утолить велел и замирил. А с тобою голова моя и дом мой заедино, а не врознь, на то бог свыше зритель. Великому государю служу, а отлучили нас и кумычен терские воеводы. А про мои слова скажет тебе сын мой Казбулат, а я желаю твоему здоровью. А которые ваши дела будут в сей стороне, и вам бы отписать, и твое слово будет исполнено. А терские воеводы нашего челобитья государю не доносят, и грабежного взятого живота моего и убекских² холопей не отдают, дружбы не чинят, и листов наших государю не доносят.

Дела Кумыцкие: (около) 1650 г. № 2. Перевод с письма от Тарковского Сурхая Шевкала к астраханскому воеводе князь Григорию Черкасскому о бережении города Терек; о невыдаче оттуда узденей и о унятии терских казаков от нападения. Документ не датирован; никаких помет на нем нет. Оригинал письма в «делах кумыцких» не сохранился.

¹ Так в подлиннике.

² Так в подлиннике. Очевидно ошибка; возможно два варианта или убекских, что вполне согласуется с контекстом, но трудно допустить в булгарском отношении, или убекских, что вполне допустимо в булгарском отношении, но, например, не по существу, контексту, но прямо из него не вытекают.

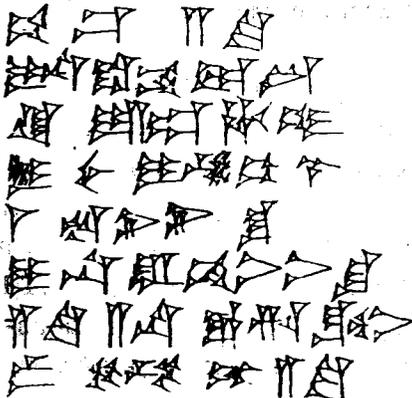
А. П. РИФТИН

СТАРОВАВИЛОНСКИЙ ДОГОВОР ОБ АРЕНДЕ ИЗ СИППАРА

Договоры об аренде из эпохи первой вавилонской династии включают в себя одну группу документов, в которых в качестве владельца арендуемого недвижимого имущества фигурируют жрицы бога Шамаша. Эти документы происходят из Сиппара и имеют клаузуальный состав, характерный только для этой категории документов. Их отличие состоит именно в том, что арендатор, помимо обычной арендной платы, приносит жрице продукты к праздникам и небольшую сумму денег, названную 'удовлетворением' за поле. Монастырь, где проживали жрицы, указывается как место уплаты арендной платы, добавочных продуктов и денег. Публикуемый ниже договор относится к указанному выше типу документов из Сиппара и до сих пор еще не был издан. Он принадлежит Московскому Музею изобразительных искусств № Гол. 5220. Дата на документе отсутствует, но по палеографическим данным его составление падает на время правления Хаммурапи (1955—1913 до н. э.). Печатаей на документе также нет.

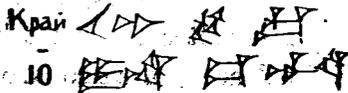
Привожу автографию, транскрипцию, перевод и комментарии

5



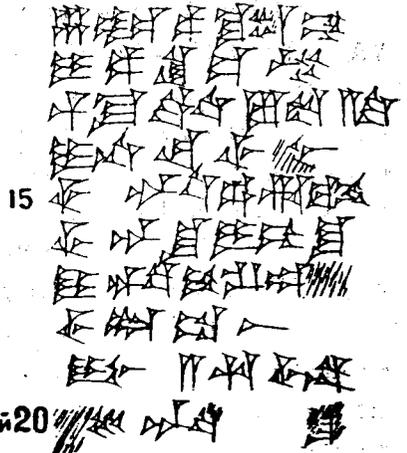
Fragment of a cuneiform document, consisting of approximately 10 lines of text. The characters are arranged in vertical columns, typical of ancient Mesopotamian writing.

Край 10



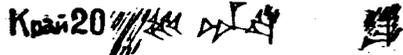
Fragment of a cuneiform document, consisting of approximately 2 lines of text. The characters are arranged in vertical columns.

15



Fragment of a cuneiform document, consisting of approximately 10 lines of text. The characters are arranged in vertical columns.

Край 20



Fragment of a cuneiform document, consisting of approximately 2 lines of text. The characters are arranged in vertical columns.

	ТЕКСТ	ПЕРЕВОД
Лиц. 1)	12 ikû eklam i-na ma-am-ka-nim itti ya-ar-ha-tum mârat i-zi-ga-tar	12 ikû поля в (местности) Шамкânum; у Yarphatum, дочери Izigatar,
	5) ¹ warad-i-lî-шу mâr nara-am-i-lî-шу eklam a-na e-ri-шу-tim û-ше-ši bilat eklim	Warad-i-lî-шу, сын Narâm-i-lî-шу, поле для возделывания арендовал. Оброк (с) поля,
Край	12 gur ше am	12 гур зерна,
	10) i-na bit ^d шамаш	в храме Шамаш'а (он отмерит).
Обор.	6 isinni 20 (kâ) zîd-ше 1 шê- gam i-ra-kî-iz-zi	К 6 праздникам 20 kâ ячменной муки, 1 (куском) мяса он обеспечит ее.
	$\frac{1}{2}$ shkîl kasram udu-nîta eklim i-na-dî-шî-î[m]	$\frac{1}{2}$ сикля серебра — 'баран' поля — он отдаст ей.
	15) mahar ^d шамаш-e-ri-ba-am mahar i-lu-шî-î-bî-шî mâr ^d шамаш-ka-ri-ra-ad mahar li-ша?-rum mârat a-hu-шî-na [mahar] amat- ^d шамаш [...]	Перед Шамаш-eribam, перед Пиши-îbîшî, сыном Шамаш-ka-ri-râd, перед Lîmagum?, дочерью Ahîшîna [перед] Amat- Шамаш [...]

1) 1 ikû = 35 ар. 28. 36 кв. м.

2) Шамкânum — название местности около Сиппара. См. Ungnad VAB VI № 60, 7. 17. 23.

3) Yarphatum — владелица поля — жрица бога Шамаша. На это указывает доставка арендатором, помимо арендной платы, добавочных продуктов к праздникам, уплата добавочных денег и место уплаты — храм Шамаша. См. стр. 10—14 нашего текста. Не исключена возможность, что эта же самая Yarphatum фигурирует в двух других договорах об аренде AJSL XXIX, 154, 6, 11 (HG VI 1689) и СТ XXXIII, 45^b, 2 (HG VI 1707).

8) шêšî — соответствует шумерскому 'îb-ta-è-a', 'îb-ta-an-è' дословно 'он вывел'. Первоначальный смысл этого термина указывает, помимо, на то, что аренде недвижимого имущества предшествовала сначала аренда движимого, в частности, скота. Koschaker в „Neue Rechtsurkunden“ стр. 96 сл. прекрасно показал, что «шарту» 'Pfand' первоначально отно-

силось лишь к движимому имуществу и только впоследствии к недвижимому. См. там же стр. 97, прим. 1. К нашему термину см. Landsberger ZDMG 69, 506; Walther ABGW стр. 37, прим. 4.

9) 1 gur — 252.6 литра. 1 gur зерна с likû поля — обычная величина арендной платы в эту эпоху. См. Schwenzner MVÄG стр. 76 и 124. Уплата производилась по свидетельству большинства текстов «*ma ûm ebûim*» 'ко времени жатвы'.

10) *ma bit* 'шамаш' 'в храме Шамаша' — место уплаты арендной платы, как и у Friedrich, Sippar № 28, 15, 51, 10 и т. д. Другие документы указывают место уплаты «*ma bâb gagim*» 'в воротах монастыря' (*passim*) или «*ma ri artim*» (CT VI, 48^b, 13; XXXIII, 48^b, 8; BE VI, 72, 11; Friedrich Sippar № 28, 14; AJSL XXIX, 154, Obv. 9; 161 Rev. 1; 299, Rev. 1 XXX, 48, Rev. 2; 68, Obv. 10), согласно Landsberger'у 'in der Oeffnung des Fensters' (HG VI стр. 104).

11) Дача прибавочных продуктов называлась *mîmrûtu* См. CT II, 43, 9; VIII, 42^c, 13; Friedrich № 2, 14; № 5, 11; № 28, 19; № 42, 16; AJSL XXXIX, 158, Rs 3.

13) *UDU-NITA* — 'баран' — дает, наконец, нам полное написание идеограммы, которая не дошла до нас в CT XXXIII, 48^b (HG VI 1692) и AJSL XXIX, 155 (HG VI 1687). Как видели уже Koschaker и Ungnad (HG VI, 1685 прим. 3), чтение этой идеограммы «*nebahum*» 'Abfindung', исходя из AJSL XXIX, 161 Rs, 4 сл. (HG VI 1688): 1 *shûl kasram ne-ba-ah eklim i-na-ad-dî-in* '1 сикль серебра, удовлетворение за поле он отдаст'. К 'nebahum' см. еще CT IV 22^c, 6; VS VII № 28^{/39}, 13^{/17}; Gautier Dilbat № 2 Rs 1; № 21, 7; Ungnad ABPh № 150, 20. К значению см. Ungnad OLZ 1909, 480 сл.

Смысл этой клаузулы остается еще темным. Повидимому, как мне сообщил И. Н. Винников, мы имеем дело с пережитком тех эпох родового строя, когда отдача имущества за пределы рода была связана с удовлетворением покровителей рода — духов предков и т. п. То обстоятельство, что эта клаузула встречается только в тех документах, в которых владельцем арендуемого имущества является жрица бога Шамаша, с вероятностью указывает на культовый характер этого пережитка и на среду, где пережитки подобного рода могли стойко держаться. К тому же малая величина суммы, уплачиваемая арендатором, подчеркивает внеэкономический характер этой придачи. Koschaker справедливо предполагает, что 'sie haben aber kaum etwas zu tun mit den häufig vorkommenden Vorauszahlung auf den Pachtzins' (HG VI стр. 105 № 685 Anm. 3).

Соблазнительно поставить в связь с этой придачей арендатора придачу покупателя в купчих (нум. *dirig-ga* = акк. *watrum*), в связь по происхождению, так как в купчих придача впоследствии получила смысл перфекционирования сделки, см. *San Nicolò SAKT* стр. 16 сл.

Следует также обратить внимание на то, что идеограмма для 'peba-hum' — *UDU* и *UDU-NITA* обозначает 'баран', 'овца'.

С одной стороны это указывает на некую шумерскую традицию, а с другой на тот период шумерского общества, когда скот выполнял функцию денег. Что это было действительно так, показывает сравнение с шум. «таш» 'коза', 'мелкий скот', употреблявшимся в смысле 'процент', 'прирост', 'подать'. (*Del. Sum. Glossar*, стр. 183, IV *máš*; *Deimèl ŠL* № 76; ср. также *таш-а-ша-ga* = *ni-ri-é eḫl* в K 4350, IV 73 (II R 11, 73e = *ASKT* стр. 53). См. прим. к 8 стр. нашего текста. Об обширном скотоводческом хозяйстве шумерского общества нам говорят тысячи документов эпохи третьего тысячелетия до н. э. Возникший в такой обстановке семантический переход 'скот' → 'деньги' нам хорошо известен из многих других языков, начиная с латинского 'resunia', араб. مال, русск. 'скот', 'скотница' = 'казна' и т. д.

Вероятно, в связи с этим стоит и акк. 'kaḫkadu' 'капитал', дословно 'голова' ср. араб. رأس مال 'голова' скота, имущества, сравни также и 'капитал' — 'caput resuniae' — в средневековой латыни.

С. Н. ЧЕРНОВ

О СМЕРДАХ РУСИ XI—XIII ВВ.

В настоящей работе о русских смердах XI—XIII вв. я хочу остановиться только на некоторых, как мне представляется, важнейших сторонах проблемы, связанных с общим пониманием «смердовства» в его генезисе и постепенном развитии, отнюдь не пытаясь обнять своим рассмотрением все ее крупные вопросы и мелкие недоумения.

Первый вопрос, который естественно встает при всякой работе по истории смердов — вопрос об их социально-экономической сущности: что они — городское, торгово-промышленное, или сельское, земледельческое, промысловое и скотоводческое население? Источники, которыми мы располагаем, не дают на этот вопрос согласного ответа. Так, известное место Ипатьевской летописи, с описанием результатов военных действий около Бельза под 6729 г., говорит: «вся земля поплена бысть: боярин боярина пленивши, смерд смерда, град града, яко же не остатися ни единой вси пленени», — конец правильнее в списках X. и П. «веси не плененеи». Здесь смерды поставлены рядом с горожанами и этим очень выразительно от них отличены, им противопоставлены. Но та же Ипатьевская летопись под 6667 г. рассказывает, что во время попытки Ивана Берладника взять боем Ушницу находившиеся в городе смерды стали перебегать на его сторону: «а смерди скачуть черес заборолу к Иванови и перебеже их 300». Ясно, что смерды, о переходе которых на сторону Берладника говорит источник, находились в городе. Но ни из чего не следует, что они составляли собой городское население или его часть; возможно предположить, что они оказались в Ушнице в связи с развитием военных действий в ее окрестностях. Лаврентьевская летопись содержит по вопросу о смердах в городе одно весьма неясное упоминание, под 6604 г., в знаменитом ответе князя Олега Святославича князьям, его противникам, Святославу и Владимиру Мономаху, на их предложение «поряд положить о Русьстей земли пред епископы, и пред игумены, и пред мужи отомъ, и пред людьми

градьскими»: «несть мене лепо судити епископу, ли игуменом, ли смердом». Формально правильным будет вывод из этих слов Олега, что не только «люди градьские», но и «мужи отец» княжеских, т. е. старшая дружина князей, включая бояр, — смерды; но этот вывод, как давно указано, решительно противоречит всему, что мы знаем о смердах, — значит, его надо как-то ограничить, — может быть признанием, что в городе смердами было одно только городское в специальном смысле слова население, — «люди градьские». Однако и при этом нельзя забывать, что, по словам летописи, Олег дал свой ответ, «восприим смысл буй и слова величава». Поэтому естественно предположить, что Олег употребил слово смерд с намерением больно задеть им или и «мужей отец» княжеских и «людей градьских», или же только одних последних. В связи с этим следует припомнить, что Никонская летопись, под 6685 г., приводит гордые слова раздраженных ростовцев о владимирцах: «несть бо свое княжение град Владимир, но пригород есть наш, и наши смерди в нем живут и холопи, каменосечцы и древодели и орачи», — тоже «слова величава», сказанные в «смысле буюм»... Новгородская летопись дает для рассматриваемого вопроса одно указание, под 6524 г., заключая свой рассказ о победе Ярослава над Святополком «Окаянным» словами: «Ярослав иде Киеву и седе на столе отца своего Володимера; и нача вое свое делити: старостам по 10 гривен, а смердом по гривне, а новьгородьчем по 10 всем; и отпусти я домовь вся». В этом отрывке летопись ставит смердов рядом с новгородцами, таким образом решительно различая их друг от друга, как бы даже друг другу противопоставляя. При этом нельзя не вспомнить новгородские договорные грамоты с князьями, с их решительным запрещением князьям «закладников принимать... ни смерда, ни купчины» и со столь же категорическим предписанием им отпустить уже принятых закладников, чтобы они могли снова «потянути» по своей старой принадлежности: «кто купец — тот во сто, а кто смерд, а тот... в свой погост».¹ Зная, что представляет собой новгородский погост, необходимо признать противопоставленных горожанам-«купчинам» смердов сельским населением. Однако, Тверская летопись в рассказе о новгородских событиях 6739 г. говорит: «розопрешася смерди Новгородци Степан Твердиславль с посадником с Вездом Водовиком». Такое выражение летописи — «смерди» — никак не может быть отнесено в смысле определенного социального обозначения к самому Степану

¹ Собрание государственных грамот и договоров, 1, СПб., 1813, № 1, 3 и др. При цитатах из летописей и ссылках на них не делаю указаний на страницы, так как проверка легко может быть сделана по указанным годам. Их издания общеизвестны.

Твердиславию, сыну и внуку выдающихся новгородских государственных деятелей; очевидно, оно должно быть отнесено к самим новгородцам. Но восприняла ли здесь сама поздняя летопись, если не «смысл буй», то «слова величава»?

Кроме приведенных летописных текстов, надо принять во внимание и знаменитое «выграшание Кюриково», которое едва ли не связано — и в мере значительной — с землями и практикою Господина Великого Новгорода; оно формулирует: «А смерд дея помолвих, иже по селом живоуть, а покаются оу нас, оже то дружи ядят веверичиноу и ино». Правда, такое нарочитое определение способно навести на мысль, что вопрос, к которому оно принадлежит, касается не всех смердов, а только их сельской части. Но несколько далее в явное противопоставление именно — смердам идет речь о горожанах («в городе семь мнози»); значит, определение только подчеркивает сельское состояние смердов.¹

Пересматривая сведенный материал, видим, что и для галицко-волынского юго-запада, и для новгородского севера смерды не возбуждающих сомнения текстов одинаково — сельское население. Вместе с тем приходится отметить, что для смердов Приднепровья и Центрального Междуречья источники не содержат бесспорных указаний к решению вопроса об их принадлежности к городскому или сельскому населению.

Но и для Приднепровья и для Центрального Междуречья никоим образом нельзя сомневаться в одном: в том, что смерды, как ни решать вопрос об их проживании в городах, вне городов жили, — примеры этого в Лаврентьевской летописи, под 6579 и 6611 гг.

Переходя к известиям о смердах, как сельском населении, надо прежде всего остановиться на замечательном рассказе Лаврентьевской летописи, под 6579 г., о происшествии на Белоозере с неким мужем кн. Святослава Янем Выпатичем и волхвами. Для целей настоящего исследования в этой интереснейшей заметке источника важно указание летописи, что ее герой, конечно, по ее передаче — считал волхвов смердами еще до того, когда начал собирать об них сведения: «чья еста смерда», спросил он об них, — значит, уже не сомневался в том, что они «смерды». Очевидно, в его представлении они должны были быть смердами, — может быть, потому, что в местности, где он собирал дань и тогда находился, сплошь жили смерды.

В свете этого его представления понятными становятся некоторые глухие указания источников на дань, которая взимается со смердов большого

¹ Русская Историческая библиотека, изд. Археогр. ком., ныне Ист.-археогр. инст. Акад. Наук СССР, VI, изд. 2-е, табл. 47—48.

района — напр., Новгородской летописи, под 6677 и 6701 гг., а также Воскресенской, под 6704 г. Против этого впечатления не идут и материалы других летописных текстов, а также договоров с их распределением смердов по погостам; иногда же они даже поддерживают его своим содержанием — в частности Ипатьевская летопись указанием, что в окрестностях Бельза, где смерд пленил смерда, не осталось «ни единой веси не плененеи». Очевидно, смерды, действительно, основная, определяющая масса вне-городского, сельского населения.

Следующий вопрос, основного значения, связанный с общею проблемою о смердах XI—XIII вв. — вопрос о том, на чьих землях они сидели, — значит, в зависимости от кого были и на кого в том или другом смысле и тем или другим образом работали. Этот триединый вопрос ведет к признанию или отрицанию смердов на частновладельческой земле, находящихся в зависимости от ее владельцев и на них работающих.

Недавно, в 1923 г., известный историк проф. С. В. Юшков опубликовал большой специальный очерк «К вопросу о смердах». Через два года после того он же выступил с новым исследованием, обширным по размерам и очень интересным по содержанию, «Феодализм в Киевской Руси».¹

Одним из любопытнейших наблюдений проф. С. В. Юшкова над положением смердов древней Руси несомненно является его вывод о существовании смердов на частновладельческих землях. Это его наблюдение, если оно оказывается правильным, открывает для историка обширное поле возможностей в постановке и разрешении самых глубоких и сложных вопросов из истории раннего русского феодализма. Но так как работа в этой ответственной области настоятельно требует максимальной осторожности в оперировании с различным материалом наших источников, решаюсь предложить пересмотр решенного им вопроса. Но сначала — несколько замечаний о выводах проф. С. В. Юшкова.

Он говорит, что «до нас дошли ряд косвенных или прямых указаний на существование особой группы смердов, находившихся в отношениях к дружине, вотчинникам и вообще к частным, если можно так выразиться, владельцам и, быть может, даже к церкви». Эти «косвенные или прямые указания» проф. С. В. Юшков видит в некоторых частностях летописного рассказа о Долобском съезде 1103 г., в одной из статей договора новгородцев с польским королем Казимиром IV в 1470 г., в рассказе псковской летописи о столкновении псковичей с вел. кн. Иваном III Московским и всея

¹ См. Ученые записки Саратовского Государственного университета по педагогическому факультету за 1924 г. и по юридическому факультету за 1926 г.

Руси в 1493 (?) г. и, наконец, специально для вопроса о «церковных» смердах в грамоте вел. кн. Киевского Изяслава Мстиславича монастырю св. Пантелеймона, близ Великого Новгорода, в 1136 г. К сожалению, из этих «косвенных или прямых указаний» только два — первое и последнее — имеют отношение к, так сказать хронологически, Киевской Руси, причем второе из них топографически выходит, принадлежа земле Новгородской. Остановимся сначала на нем.

К сожалению, проф. С. В. Юшков очень сжал пересказ своих наблюдений о «церковных» смердах, как будто его толкование единственного источника, который можно привлечь к вопросу об их существовании, покоится на старом материале и давних и прочных достижениях. Он говорит в тексте: «Перечень данных, свидетельствующих о существовании смердов, находящихся в особом отношении к частным владельцам, не могу не закончить указанием на передачу смердов церковным учреждениям вместе с землей, на которой они сидели. Именно по грамоте Изяслава Мстиславича смерды передаются в распоряжение Пантелеймоновскому монастырю», — и только. В примечании к этому месту текста он дает выдержку из грамоты Изяслава и свои пояснительные замечания к ней: «В грамоте говорится: ¹ «Се аз князь великий Изяслав Мстиславичь, по благословению епискупа Нифонта, испрошав еси у Новагорода святому Пантелеймону землю село Витославиць и смерд и поля Ушьково и до Прости». Обыкновенно издатели слово «смерд» воспроизводят с большой буквы и как будто понимают под этим словом село. Но если бы князь Изяслав действительно дал два села: Витославиць и Смерд, то было бы сказано или села Витославиць и Смерд, или село Витославиць и село Смерд (т. е. так, как, напр., в грамоте «Ростислава Смоленского»: «село Дросинское со изгой... и село Ясинское и с бортниками»); между тем в грамоте сказано село Витославиць, т. е. одно село. Кроме того, «Смерд» не является подходящим для названия села; если бы было, напр., сказано Смердово, то тогда никаких недоразумений не возникало [бы]. Таким образом естественнее считать, что «смерд» не означает второе село, а смердов, живших в селе Витославцах и переданных в распоряжение монастыря. Этим по вопросу о «церковных» смердах проф. С. В. Юшков и ограничился.

При рассмотрении выписанного отрывка естественно сосредоточить внимание на толковании проф. С. В. Юшковым грамоты кн. Изяслава. В са-

¹ Привожу этот отрывок по современному правописанию. Грамота напечатана у В. Н. Бенешевича в «Сборнике по истории церковного права, преимущественно русской церкви до эпохи Петра Великого». Пгр., 1915, стр. 101.

мом деле, как надо читать ее — со «Смерд», как полагали ее старые и новые издатели, или же со «смерд», как предлагает читать новейший исследователь, и соответственно разумеет второе село, по первым, или же население единственного села по второму. Рассмотрим мнение проф. С. В. Юшкова. Его первый аргумент касается способа выражения и производит впечатление сильного. Действительно, было бы естественным ожидать одной из двух им предложенных комбинаций: или села Витославиць и Смерд или село Витославиць и село Смерд; приводимый им в подтверждение второй из возможных комбинаций пример грамоты кн. Ростислава Смоленского делает эту комбинацию особенно вероятной. Однако грамота кн. Ростислава у него приведена примером в такой микроскопической выдержке, что естественно обрвать приводимый им текст контекстом и восстановить опущенные в середине цитаты слова, — правда очень немногие. Справка в изданиях¹ дает такой текст: «Село Дросенское, со изгой и с землею святей Богородици и епископу и село Ясенское, и с бортником и с землею и с изгой, святей Богородици». Думается, что, выкидывая из него в середине слова «святей Богородици и епископу» и отсекая в конце «святей Богородици», как он это делает, проф. С. В. Юшков совершенно искажает основной смысл текста: «село Дросенское со изгой и с землею» по грамоте идет «святей Богородици и епископу», а «село Ясенское и с бортником и с землею и с изгой», — «святей Богородици», — первое вместе «святей Богородици и епископу», второе — лишь одной «святей Богородици»; у проф. же С. В. Юшкова выходит так, что оба села с «землею» и населением идут одному и тому же субъекту прав. Но раз субъекты прав на села Дросенское и Ясенское не одни и те же, и поэтому в грамоте отдельно обозначаются для каждого села, разрывая их перечисление, совершенно естественна постановка слова «село» для каждого названия: «село Дросенское . . . и село Ясенское». Против изложенных соображений можно возражать, пожалуй, лишь одним путем — доказывая неправильность расчленения, как субъектов прав на «села» «святой Богородицы» и «епископа». Но мне представляется совершенно невозможным установить неправильность этого расчленения: отмеченное мною противоположение субъектов прав фигурирует не в одном изученном отрывке, а проникает собой всю грамоту кн. Ростислава. В самом деле, создавая епископию, князь озабочен «о немъже епископу быти живу и с клиросом своим. И, разрешая свою заботу, дает: «святей Богородици и епископу» прощеников с их платежами и судом, а также десятину со

¹ Напр., у Бенешевича, стр. 107.

всяких «даней» и других поступлений, два села, землю, сеножати и два «уезда», воск, огород с людьми при нем и тетеревника с семьею. Первое «прощеников с их платежами и судом», он дает вместе «святей Богородици и епископу». Но затем уже почти везде господствует строгое разделение. Так, «дани» и другие поступления, повидимому, распределяют на три группы: одна идет вместе «святей Богородици и епископу» и очевидно делится между ними, вторая — одному епископу, а третья одной «святей Богородици». Далее идут названные выше села Дросенское и Ясенское, из которых первое назначено «святей Богородици и епископу», а второе одной «святей Богородици»; затем «земля», которую он дает «святей Богородици и епископу», и угодья, отдаваемые одной «святей Богородици». И наконец из личного хозяйства князя следует «осм капий воску и на горе огород с капустником и с женою и с детьми святей Богородици» и «тетеревник» с семьею «святей Богородици и епископу».

Таким образом можно сказать, что вся грамота кн. Ростислава озабочена распределением даруемых князем прав меж «святою Богородицею» и епископом. Такое построение грамоты создало и необходимость прослеженной формулировки, с повторением слова «село». Но грамота кн. Изяслава не имеет заданий этой грамоты, — и поэтому не имеет ее формулировок...

Кстати, если бы эта грамота разумела под «смерд» население, а не географическое название, она несомненно сказала бы «село» Витославиць со смерды», — в этом случае она никоим образом не могла бы отойти от оборота, который практикуется в грамоте кн. Ростислава.

По изложенным основаниям нельзя признать этот аргумент проф. С. В. Юшкова достаточным.

Другой аргумент проф. С. В. Юшкова ведет нас на замечательное совещание Долобского съезда, к речам «дружины Святополчей» и самого Владимира Мономаха. По его заключению, дружина Киевского князя оттого и говорила о смердах, а Владимир Мономах оттого и добивался ее согласия на поход, что они сидели на ее землях, от нее зависели, на нее работали и своим разорением или гибелью создали бы ей материальные трудности, — и только. Однако, едва ли возможно принять, как обязательный, такой вывод автора. Дело в том, что, как это давно установлено, князья в нормальных условиях, видимо, вообще предпочитали действовать, в частности начинать войну, с согласия своей дружины, а Владимир Мономах, пожалуй, в особенности. Поэтому аргумент от Долобского съезда никоим образом не может заставить нас принять гипотезу проф. С. В. Юшкова.

Другие исследователи, устанавливавшие наличие в «Киевской» Руси «освоенных феодалами смердов», обычно пользовались фактами более позднего времени или методом «косвенных улик»; конечно, ни те, ни другие никоим образом не могут заменить отсутствующих в наших источниках прямых указаний на факты XI—XIII вв.¹

Однако наши источники содержат разнообразный материал для обратного решения вопроса, который проф. С. В. Юшков ставит, а проф. Б. Д. Греков и другие энергично поддерживают.

Прежде всего — «Русская Правда».

«Краткая Русская Правда» упоминает смерда в «Правде Ярославичей», — как раз в тех ее статьях, которые могут быть названы уставом княжого двора или хозяйства. Это: ст. 23, 25 и 31. По ним совершенно несомненна тесная связь смерда именно с князем и в них нет ни намека, ни тени его связей с землевладельцами княженья.²

«Пространная Правда» несколько раз упоминает смерда. Прежде всего — ст. 13 «Пространной Правды», вызвавшая так много споров и заслуживающая особого внимания: ее чтение «смерди холоп», конечно, ошибочно, и несомненно надо читать, как в «Краткой», «смерд и холоп». Она принадлежит к комплексу статей, говорящих о наказании за убийство: 1, 3 и 9—14, соответственно 18—24 Краткой. Очень важно отметить, что в этом комплексе единственно при определении наказания за убийство рядовича прибавлено «также и за бояреск». Из этого, конечно, никак нельзя сделать вывода, что наказания за убийство других лиц боярского хозяйства не полагалось, или что в нем таких лиц вовсе не было, или что в их число как раз не входили те, кого именует «Правда» перед рядовичами и после них. Но все-таки нельзя не принять во внимание, что относительно смерда никак не указано, что он бывал и «бояреск», как бывал рядович.

Далее, в ст. 41 «Пространная Правда» упоминает смердов, как возможных воров. При этом она определяет их словами: «оже платять князю продажу». Особенное значение это упоминание смердов приобретает в связи со ст. 42, которая определяет: «Аже будут холопи татие, любо княжи, любо боярстии, любо чернечь, их же князь продажею не казнить, зане

¹ Сводка «указаний источников» наиболее полно дана проф. Б. Д. Грековым в обстоятельной работе «Рабство и феодализм в древней Руси»; там же перечислены работы других исследователей, в основном примыкающих к точке зрения проф. Б. Д. Грекова и С. В. Юшкова. Работой проф. Б. Д. Грекова я пользовался по корректуре, им мне любезно предоставленной.

² Должен оговорить, что считаю смерда не работником на княжой земле, а данником князя, — конечно, натурою.

суть несвободны: то двоиче платить ко истьцю за обиду». Из сопоставления, которое «Правда» здесь делает, смердов с холопами, явствует, что смерды, которых князь «продажею . . . казнить» — свободные люди, в глубокое отличие от холопов, которых он, наоборот, и «продажею не казнить». Сопоставляя это обстоятельство, следует заключить, что смерды не могли быть и названы: «боярстии» или «чернечь». Но еще неясно, были ли они и назывались ли «квяжи» . . .

Ст. 71 «Пространной Правды» говорит о наказании смерду, который «мучить смерда без княжа слова». Ее естественно сопоставить со ст. 72 о наказании, как будто также смерду, за «муку огнищанина»: оно оказывается в 4 раза больше, в то время как вознаграждение пострадавших смерда и огнищанина определяется одинаково в одну гривну кун. В этих статьях характерно то, что «мука» смерда и огнищанина одинаково не может произойти «без княжа слова». Очевидно, смерд в каком-то смысле «княжой» — и только «княжой», так же, как и огнищанин.

Ст. 85 определяет правила наследования после смерда. Ее основное положение «Аже смерд оумреть, то задницу князю» может быть понятно лишь в связи и сопоставлении со ст. 86, которая устанавливает, что «в боярех любо в дружине», «коже не будет сынов, а дчери возмут»: статья говорит, что после смерда единственные наследники — сыновья и что если их нет, то наследство, как выморочное, идет князю, хотя бы у смерда оставались и «дчери», которым, впрочем, полагалась «часть», но лишь в том случае, если они не замужем.¹

Статья опять устанавливает особое положение смерда в отношении князя: только о нем и княжих боярах и дружинниках говорится в этих статьях о наследовании.

Естественно слагается впечатление, что смерд «Пространной Русской Правды» не имеет никакого отношения к не-княжескому частному землевладению.

Конечно, можно поставить вопрос так: можно сказать, что «Пространная Правда» потому не говорит о боярских и монастырских смердах, что не имеет случая о них упомянуть. Но такая постановка вопроса была бы совершенно неправильна: ведь как раз «Пространная Правда» много говорит о частном хозяйстве, в частности сельском, и очень внимательно определяет взаимоотношения меж владельцем земли и хозяйства и его рабочей силой (напр. и особенно — целостный замечательный устав о закупах!); при таких условиях трудно предположить, чтобы «Пространная Правда» обо-

¹ Ср. Карамзинский сп., ст. 103.

шла своим вниманием смерда на частновладельческой земле, если бы его на ней знала.

Обратимся к летописям.

Упоминания летописи о смердах или не дают материала к разрешению поставленного вопроса, или же решают его в смысле подтверждения мысли о связи смердов с княжею организацией и княжьим хозяйством. При этом, за исключением записей Лаврентьевской летописи под 6579 и 6611 гг. (ср. Ипатьевскую под 6611 и 6619 гг.), летописные данные не содержат мест, позволяющих пытаться поддерживать противоположное решение. Впрочем, что касается ее записи под 6579 г., то из вопроса Яня, «чья еста смерда», никак нельзя выводить обязательно заключения, что он или летописец знали о существовании смердов, сидящих на частновладельческой земле. Дело в том, что «вопрос» Яня мог иметь и другое значение. Янь находился в земле своего князя—Белоозере, а о волхвах знал (вернее, должен был знать), что они пришли из Поволжья, «от Ярославля», и мог предполагать, что они явились в Поволжье, откуда двинулись на Белоозеро, из каких-нибудь других мест. Нам, к сожалению, не очень ясно, кто из князей владел в 1071 г. Поволжьем, а обычное предположение, что в это время оно находилось под властью Святослава, в сущности говоря, основано как раз на том летописном рассказе, который нас сейчас занимает¹ и в котором собственно нигде это ни прямо не сказано, ни намеком не дано понять. Поэтому можно предполагать, что в пришедших «от Ярославля» волхвах Янь имел все основания видеть смердов не своего, а чужого князя. Но даже допустив, что Поволжье, и в частности Ярославль, в 1071 г. принадлежали Святославу, легко понять затруднительное положение Яня: ведь пришедшие «от Ярославля» волхвы могли быть не ярославскими смердами, а, напр., новгородскими, — тогда его власть на них никоим образом не простиралась. Так как летописная заметка под 6661 г. так же, как и сейчас разобранный, не заставляет принимать смердов сидящими на частновладельческой земле, можно считать, что в летописном материале нет такого, который вынуждал бы это делать. Зато многое в нем ведет к признанию смердов находящимися в сфере княжей организации.² Обращаю в особенности внимание на

¹ Ср. М. С. Грушевский «История Украины-Руси. Л., 1905, стр. 45—46 и 62 (прим.), а также А. Е. Пресняков «Княжое право в древней Руси». Очерки из истории X—XII столетий, СПб., 1909, стр. 41—42 (вкл. прим.).

² Подробный анализ некоторых текстов здесь, как и в других местах, см. в назв. книге А. Е. Преснякова и статье Б. А. Романова. «Смердий конь и смерд (в летописи и Русской Правде)», напеч. в Изв. ОРЯС, XIII (1908), кн. 3, стр. 18—35 (на тит. л. и обл. отд. отт. яв. «Летописи» стоит «Летописях»).

следующие упоминания Новгородской летописи о смердах в рассказах о смене князей.

Так, в 6644 г. новгородцы «вьсадиша» своего князя Всеволода с семьею «в епископль двор», под стражу, а потом «пустиша» его «из города . . . , а Володимира, сына его прииша» князем. «А се, — говорит летопись, — вины его творяху» — и во главе перечня его «вин» ставит: «1, не блюдеть смерд». Как бы в пояснение и дополнение к этому Новгородская летопись, под 6737 г., рассказывает о приходе в Новгород княжить «князя Михаила из Чернигова» и его первых распоряжениях на новом княжении. В их числе одно касалось смердов: «и вда свободу смердом на 5 лет даний не платити, кто сбежал на чюжую землю, а сим повеле кьто седе живеть, како уставили переднии князи, тако платити дань». Можно догадываться, что распоряжение нового князя вызвано бегством многих смердов с земли, на которой они сидели, как на своей, «на чюжую землю» — очевидно, с государственной на частную, вызванным, о чем легко сообразить по всей второй части, повышением той «дани», которую до этого времени они платили, видимо, без особенных затруднений. Если первый текст не препятствует предполагать, что, кроме смердов, которых «блюдеть» князь, есть и еще смерды, долг «блюсти» которых падает на частных землевладельцев, то второй текст как бы категорически утверждает, что законно существуют только смерды первого рода, сидящие на государственной земле и подведомственные князю.

Перебирая материал других источников, который мог бы быть использован для доказательства обратной мысли о существовании частновладельческих смердов, необходимо отметить, что при обсуждении вопроса о смердах иногда привлекается интереснейшее место из рассказа Киево-Печерского Патерика о том, как одному из его героев Феодору Пещернику «служили бесы по его повелению»; в этом отрывке о них между прочим замечено, что они «аки смерды мелют и древа носят на гору», покорно исполняя работу, делать которую им приказал Феодор. Однако, в древнейшей редакции рассказа мы читаем иное: «аки рабы куплены работают и древа носят на гору». Так как та часть Патерика, в которой содержится означенный рассказ, сложилась на рубеже первой и второй четвертей XIII в., естественно считать, что в это время сравнение работающего на других еще делалось только с рабами, но отнюдь не со смердами, время которых, видимо наступило позже.¹

¹ См. у П. Мрочек-Дроздовского. Исследования о Русской Правде. Приложения к второму выпуску, М., 1886, стр. 208—209, и «Патерик Киевского Печерского монастыря»,

Но не показывает ли соседство во времени этого рассказа со вторым из приведенных перед ним новгородским, что это время в момент его сложения уже готовилось наступить, хотя еще и не скоро наступило?

Каковы были повинности смердов в отношении к князю, — для Новгорода: в отношении к Господину Великому Новгороду? Прежде всего следует заметить, что смерды не несут никаких работ по княжескому хозяйству, — значит, в Новгороде по хозяйству республики. Это следует из того, что ни один источник, при многих упоминаниях о смердах, не говорит ни слова об их работах в хозяйстве князей, — наоборот, Лаврентьевская летопись, под 6611 г., рисует картину самостоятельного хозяйства смерда. Зато в источниках имеется несколько указаний на платеж смердами дани. Так, Лаврентьевская летопись, под 6579 г., рассказывает о сборе Янем Вышавичем дани со смердов на Белоозере. Новгородская летопись содержит ряд ценнейших указаний. Напр., под 6677 г. она рассказывает о вооруженном столкновении новгородцев с суздальцами в Заволочьи; сказав о том, что оно закончилось крупной победой первых над вторыми, летопись продолжает: «и отступиша Новгородци и опять воротивъшеся, възвзяши всю дань, а на Суздальскихъ смърдахъ другую и придоша сторови вси». Очевидно, новгородцы взяли дань, во-первых, в своем Заволочьи и, во-вторых, на оккупированных ими суздальских территориях, населенных смердами. Эта «другая» дань взята новгородцами, конечно, так сказать, явочным порядком оккупации, а не в силу мирного договора, которого в это время меж ними и «суздальцами» заключено еще не было: как раз на самый конец года падает новая и исключительно громкая победа новгородцев над ними. Под 6701 г. в Новгородской летописи идет рассказ о походе воеводы Ядря с ратью на Югру. Видимо, застигнутая врасплох, Югра, потеряв один «город», стала «копить вое» в другом; новгородцы же, развивая успех, «придоша» к нему, но оказались не в силах обложить его со всех сторон. Повидимому, им оставалось штурмовать новый опорный пункт Югры. Тогда, оттягивая приступ и усныпя бдительность врагов, Югра стала «льстьюбою» заверять их, «что копит сребро и соболи и ина узорочья» и просить: «а не губите своих смерд и своей дани». Здесь Югра, доселе независимая от Новгорода, обещая ему прекратить сопротивление и вступить в зависимость от него и платить ему дань, называет себя его смердами. Под 6737 г. содержится изложенный рассказ о платеже дани новгородскими смердами. Таким образом, Новгородская летопись говорит о трех

в серии Археографической комиссии «Памятники славяно-русской письменности», СПб., 1911, стр. 118.

видах платежа дани смердами: 1) новгородскими смердами, 2) чужими смердами по праву военной оккупации и 3) народом, признающим себя новгородскими смердами, в силу вступления в новгородское подданство. Воскресенская летопись под 6704 г. рассказывает, что новгородский князь Ярослав, прогнанный новгородцами «от себе», «иде в Новый Торг», где «прияша его» князем «новоторжци с челобитием», и «княжа в Торжку и по волости той и дани пойма и верх Мсты, за Волоком, дани пойма на смердех по своей воли». Здесь князь Ярослав, в представлении автора летописи, собрал дань не только в Торжке, который, приняв его князем, так сказать, отложился от Новгорода, но и на территориях, которые не входили в состав его «волости» и были захвачены Ярославом: там ему платили дань по его «воле» новгородские смерды,¹ — случай как будто обратно аналогичный второму из приводимых Новгородскою летописью. К сожалению, нет никаких известий о платеже смердами дани южнее р. Волги. Но, кажется, и нет никакой возможности полагать, что они ее южнее извиистой линии великой реки не платили. Наоборот, суровые постановления «Русской Правды» о праве наследования у смердов едва ли не заставляют принять платеж смердами дани, как не подлежащий никакому сомнению факт, — особенно при отсутствии всяких сведений об их работе в княжьем хозяйстве и четкой картине самостоятельного хозяйства смерда, нарисованной летописью в рассказе о съезде князей на Долобском озере.²

Из других повинностей смердов несомненна военная, о которой дают возможность заключать три известия летописей: Новгородской, под 6524 г., о участии смердов в военных операциях Ярослава против Святополка «Окаянного», и Ипатьевской, под 6729 г., об участии смердов в военных действиях около Бельза, и под 6754 г., о наборе князем Ростиславом против Романовичей «смерд многих пыщев» и их решающем участии в кампании. Не так ясны некоторые другие летописные указания, напр., Лаврентьевской, под 6604 г., в составе «Поучения» Владимира Мономаха о том, что половцы захватили в полон некоего «Семцю, . . . одного живого ти смерд неколико», или Ипатьевской, под 6627 г., про то, что некоторые «Угре и Ляхове» «смерды избьени быша». Б. А. Романов на основе очень внимательного анализа летописных известий о княжеском съезде на Долобском озере пришел к заключению, о повинности смердов поставлять лошадей для организуемых князьями походов. К сожалению, летописная пере-

¹ Первоначальный текст записи подвергся ощутимой порче. Ср. в Новгородской 1-й летописи, где, впрочем, слова «смерд» нет.

² Лаврентьевская, под 6611 г.; Ипатьевская, под 6611 и 6619 гг.

дапа прений чрезвычайно кратка, но и при этом его наблюдение обладает значительной долей вероятности.¹

О том, как смерды были организованы, имеется очень немного известий, причем они все относятся к Новгороду. Так, из рассказа Новгородской летописи, под 6524 г., мы узнаем о существовании смердых старост, о которых, впрочем, летопись не говорит, что они смерды, — во это с полной несомненностью следует из того, что они никак не могут быть старостами новгородцев, потому что получают награду вровень с ними и в 10 раз более, чем смерды, а между тем в перечне летописной заметки кроме новгородцев и смердов, не упомянуто никакой другой группы; очевидно, старост и надо считать смердыми. Новгородские договоры указывают, что смерды были организованы в погостах, но не раскрывают существа и приемов их организованности. Они имеют участки земли, закрепленные за ними и в своих границах особыми грамотами.²

Других сведений об организации смердов ни для Новгорода, ни для иных территорий нет.

Что касается вопроса о национальности смердов, то одно несомненно, что смердами была основная масса населявших Восточную Европу славян, без различия племен, но, кажется, можно думать, что в числе смердов были и некоторые из финских племен. Во-первых, смерды упоминаются на территориях, заселенных не одними русскими, а и финнами, во-вторых, волхвы, с которыми встречается на Белоозере Янь Вышатич, несомненно были финнами, — а они оказались смердами черниговского князя: и, наконец, в третьих, по рассказу Новгородской летописи, выше уже пересказанному, Югра, изъявляя покорность Новгороду и обещая платить ему дань, называла себя его «смердами». Были ли смердами люди турецких племен или литовцы, мы не знаем.

¹ Назв. соч., 1 и сл.

² Н. И. Серебрянский приводит в списке XIII в. грамоту того же столетия: «От великого князя Александра и от посадника Твердила. Стояли Лочко и Иван и все Рожитчане, тяжучися с Радишею и с Кузмою и с червьцы Спасовскими про мх, что червьцы Кузма и Радиш почали лишати мха Лочка и Ивана и всех Рожитчан. И Лочко и Иван и все Рожитчане выложили смердью грамоту; аже в грамотах мх Лочков и Иванов и всех Рожитчан. И не посудихом грамоте, но велехом им ходити по мху и по смердией грамоте; а между мху и воде по полуперетерге, да в половину озерка, да по Маложевскую межу по великое роткне межа мху и воде; а Радишу и Кузме и спасовских червьцов мха лишихом; а боле тяжи ненадобе. — А у грамоты печать свинчатся, а на ней на кове человек». Эта судная грамота, выданная двумя любопытнейшими и очень яркими политическими деятелями Великого Новгорода в. кн. Александром Ярославичем Невским и посадником Твердиславом Степаноничем, показывает, что в XIII в. существовали особые смердые грамоты, в которых — неясно, наряду с каким другим содержанием — обозначались, с точным проведением меж, или границ, земельные владения смердов. См. книгу Н. И. Серебрянского «Новское монашество», М., 1908, приложения.

Итак, смерды — основная, определяющая, масса сельского населения русских государств XI—XIII вв., как славянского, так и финского происхождения, сидящая на княжеской — для Новгорода на государственной — земле, еще не освоенной частным боярским землевладением.

Из этого положения надо сделать надлежащие выводы. Во-первых, необходимо признать эксплуатацию смердов материальной базой княжой власти: изучать темы междукняжеских отношений или «вече и князь» надо, очевидно, с живым учетом смердов; для истории Новгорода это имеет, пожалуй, особое значение. Во-вторых, столь же необходимо установить, что частное землевладение этого времени строилось не на смердах, а на рабах, на закупах, которые стояли на грани между свободой и рабством, на мелких промежуточных группах, как изгой и т. д. Правда, вскоре и, повидимому, уже в XIII в., положение смердов резко изменилось к худшему, к освоению части их боярским и церковным землевладением.¹ Но до половины века это изменение, видимо, еще только намечалось, хотя в Галиции уже может быть и начало осуществляться, а в Новгороде, пожалуй, уже стояло на ближайшей очереди.² Эти успехи крайних юго-да и северо-запада тогдашней Руси чрезвычайно характерны: как раз в этих ее частях наибольшей силы достигло боярство.

Из всего сказанного следует, что, кажется, есть возможность осмыслить некоторые тексты, которые ранее были оставлены без полноты изучения. Так, кн. Олег Святославич в своем ответе на предложение князей, своих противников, повидимому, просто хотел сказать, что старшая дружина князей и городское вече находятся в сильной зависимости от князей — как смерды; так, ростовцы в несколько подозрительном,³ конечно, рассказе Никоновской летописи, называя своими смердами владимирцев, также хотели указать на их от себя зависимость. Так, Тверская летопись⁴ назвала Новгородцев смердами с высоты своих аристократических тенденций, в смысле «вечевых мужиков». Вместе с тем становится понятным, почему, как об этом рассказывает Ипатьевская летопись, смерды перебежали из осажденной Ущицы к Ивану Берладнику: формально это был не

¹ Предмет, которому надеюсь посвятить особое разыскание.

² Ипатьевская летопись, под 6748 г. и Новгородская, под 6737 г.

³ Никоновская летопись, повидимому, уже не ясно представляла себе, чем были смерды XI—XIII вв. Едва ли не потому она ввела в свой рассказ и холопов, которых встретила со смердами в известном рассказе о дипломатических переговорах блока южных князей с Ростиславичами: «а холопы наша выдайта и смерды». См. Лаврентьевскую летопись, под 6608 г.

⁴ Для нее традиции и терминология XI—XIII вв. также уже, повидимому, не совсем ясны.

только перемышльский княжич и звенигородский князь, но и галицкий князь, шедший отвоевывать у сильного противника отнятые столы Звенигорода и Галича, которому смерды Ушицкого района были обязаны повиновением; но, кроме этой формальной стороны, была и другая: в середине XII в. в Галицкой земле уже чрезвычайно возрастает боярская сила, что при малочисленности княжого рода естественно приводит к тому, что бояре становятся во главе крупных городов и частей государства, — через это смерды входят в фактическую зависимость от них, в гораздо большей степени, чем в других русских государствах, — при таких условиях изгнанник Иван должен был казаться смердам знаменем реставрации старых порядков.

Таким образом, в XIII в. начинается новое положение смердов. В связи с этим, нельзя не пожалеть, что именно с этого времени термин «смерд» начинает все реже встречаться в источниках. При этом невозможно не заметить, что там, где он употребляется, он сохраняет — по крайней мере, ближайшее время — старое значение сельского населения, сидящего не на частновладельческой земле, меж тем как другие термины (напр., «сироты») обозначают и это население. Отлагая до ближайшего разыскания изображение судьбы смердов и термина «смерд» в XIII—XV вв., ограничусь сейчас одним замечанием-вопросом.

То, что термин «смерд» охватывает основную для XI—XIII вв. массу сельского населения, сидящую на государственной или княжеской земле, не должно ли показывать, что это термин особого значения? Такое впечатление усиливается, когда соображаешь, что смердов знало и «западное» славянство — опять-таки, как сельское население. Начинает казаться, что этот термин уходит в отдаленные глубины истории, даже пред-истории, где он, конечно, имел не социальное, а племенное, значение, — оттого его и сохранила основная сельская часть славянства. Мне кажется, что такое впечатление от русских источников XI—XIII вв. и сведений о западно-славянских смердах идет навстречу тем соображениям, которые привели Н. Я. Марра, в связи с работой С. В. Юшкова, к так сформулированному выводу: «Русь же нам сохранила сибилантную разновидность smer (\check{r} sp \check{r}) термина $\dot{\text{r}}$ — ber в форме зубного мн. числа smer-d. Русская, не только речь, но и общественность термин этот унаследовала, как сословную кличку, что есть обычная судьба доисторических племенных названий, как, напр., «плебен» из «пеласгов» на Апеннинском полуострове, «гледх» из «колхов» на Кавказе у грузин и т. д.»¹

¹ Н. Я. Марр. По этапам развития афетической теории, М. — Л., 1926, стр. 221—22. Об афетической теории, из журн. «Новый Восток», № 5, М., 1924.

Настоящее разыскание, в значительной части посвященное вопросу о «частновладельческих» смердах, устанавливая, что в XI—XIII вв. (до половины XIII в.) их, за исключением Галиции, несомненно не было, показывает, что подчиненное власти князей-«находников», основное сельское население Восточной Европы продолжало носить свое старое племенное имя, как социальное обозначение. Чрезвычайно любопытно, что утрата им своей — конечно, очень относительной — свободы впоследствии привела те группы сельского населения, которых утрата коснулась, к принятию нового социального обозначения. Не значит ли это, что в термине «смерд» было значение, несовместимое с зависимостью от частного лица?

Ленинград, 14 I 1934

Эта работа была уже написана, когда глубокоуважаемый мой товарищ проф. С. В. Юшков представил мне в устной беседе некоторые объяснения по вопросу о «частновладельческих» смердах, совпадающие, как мне кажется, с моим пониманием вопроса. С нетерпением жду опубликования новой работы талантливейшего историка.

Когда эта работа была уже сдана в печать, вышли в издании ГАИМК два исследования проф. Б. Д. Грекова: «Очерки по истории феодализма в России. Система господства и подчинения в феодальной деревне» и «Рабство и феодализм в Киевской Руси», — последнее в сопровождении «прений» по одноименному докладу проф. Б. Д. Грекова и его «заключительного слова». В «прениях» напечатана и речь автора настоящего разыскания; в «заключительном слове» проф. Б. Д. Грекова ей посвящено несколько страниц. Пересмотрев материал и суждения проф. Б. Д. Грекова в обоих исследованиях и «заключительном слове», автор не нашел в них ничего, что заставило бы его изменить мнения, изложенные в названной речи и настоящей статье. Но вместе с тем он не может не признать, что аргументация проф. Б. Д. Грекова, как она дана в развернутом виде на страницах означенных его исследований и особенно «заключительного слова», нуждается в дополнительном пересмотре. Он надеется, что сможет это сделать в близком же будущем.

Ленинград, 11 XI 1934

И. И. ЯКОВКИН

К ВОПРОСУ О РОЛИ ПОНТИФИКОВ В ДРЕВНЕРИМСКОМ ЛЕГИСАКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Как известно, характерной особенностью древнеримского легисакционного процесса было деление его на две стадии — *jus* и *judicium*. Домогаясь осуществления своего права, истец в присутствии ответчика заявлял перед магистратом (претором) свои исковые требования и, затем, после выполнения тяжущимися ряда обязательных для них формальностей, дело переходило во вторую стадию — к частному судье (в более раннюю эпоху, как полагают некоторые исследователи — к жреческой коллегии понтификов). В литературе можно найти немало остроумных попыток объяснения подобного осложнения в разрешении гражданского спора, но все-таки, в порядке подведения итогов, приходится признать, что сколько-нибудь четкой картины генезиса древнеримского гражданского процесса в целом романисты в своих весьма солидных и тщательно проработанных трудах не дают. Одни из них (как, напр., Puchta, Keller) были склонны рассматривать указанную выше стадийность процессуальных отношений как *uralte Einrichtung* древнего Рима; другие (в том числе Huschke, Bethmann-Hollweg, Pernice), наоборот, полагали, что она явилась результатом реформ или в эпоху царей или даже в начале республики. Но при этом как те, так и другие одинаково оперировали в своих рассуждениях большей частью голыми юридическими понятиями и постулировали в качестве не подлежащей сомнению истины тезис о наличии специфических особенностей юридического мышления древних римлян. Получалась, таким образом, не лишенная изящности, но исторически нежизненная схоластическая конструкция, ни на один шаг не подвигавшая нас в изучении тех социальных отношений, на почве регулирования которых создавалась такая сложная система гражданского процесса. С иными установками подошел к данной проблеме Pönging. Его идея о третейском суде, как необходимом коррективе самоуправления, представляла достаточно прочную почву для построения соци-

логически обоснованной схемы развития отношений между тяжущимися, с одной стороны, и не окрепшей еще государственной властью — с другой, но поскольку в центре внимания автора стоял индивидуальный квирит (добавим, с резко выявленными атрибутами буржуазного собственника), а не класс, не эксплуатирующая группа, интересы которой защищались этим рудиментарным государственным аппаратом, постольку автору не удалось разрешить стоявшей пред ним задачи, и восстанавливаемая картина двухстадиального процесса оказалась чрезвычайно туманной и искусственной. В частности, как отмечалось уже его критиками, автору не удалось даже найти сколько-нибудь исторически реального объяснения тех мотивов, которые побуждали созданного его воображением квирита проводить сначала ряд сложных и весьма обязывавших его формальностей перед магистратом, а затем уже идти и домогаться действительной защиты своего права перед избранным им самим судьей. Не подлежит, конечно, сомнению, что скудость и неясность показаний источников усугубляет в данном случае трудности, перед которыми стоит историк-юрист, но все-таки, думается, это не может служить абсолютным противопоказанием для попытки вскрыть социальную сущность указанной выше сложности судопроизводственных форм. Необходимо только заранее уточнить методологические установки предстоящей работы и совершенно точно отдать себе отчет в том, что анализу подлежат не нормы, не веления законодателя, а формы принудительного регулирования общественных отношений, созданные для защиты интересов господствующего класса. Это даст возможность прежде всего с достаточной научной обоснованностью расширить рамки исследования и с надлежащей плановмерностью привлечь к изучению материал, вскрываемый в других правовых системах. В частности, как нам представляется, весьма интересные наблюдения могли бы быть почерпнуты по данной теме из публикаций документов древневавилонского права. Но само собой разумеется, на страницах настоящего беглого этюда такое глубокое обследование не может быть произведено, и посильная задача, которую мы ставим сейчас перед собой, заключается в ориентировочной наметке путей изучения второй стадии легисакционного процесса — *judicium* и той роли, какую играли тут представители жреческой коллегии понтификов.

Хотя в литературе, как указывалось выше, довольно часто встречаются указания на то, что функции *judices privati* в древнюю эпоху выполняли в Риме понтифики, но прямого подтверждения этого в источниках найти нельзя. Поэтому неудивительно, что историку-юристу приходится обращаться здесь к помощи лингвистики, но и тут, однако, не подыскивается

готового ответа, который мог бы направить нас к разрешению данной проблемы. Для того, чтобы найти отправную точку всех дальнейших разысканий, необходимо, конечно, овладеть самым термином *pontifex*, а этим-то как раз и не может похвалиться западно-европейская лингвистика. Большинство юристов и филологов принимают объяснения классиков (*pontifices a ponte sublicio appellatos tradunt—Servius Ad Verg. II. 166.*) и на этом основании готовы видеть в этой жреческой коллегии что-то вроде корпорации древнеримских инженеров; другие считают это слово производным от *facere in ponte* (= приносить жертву на мосту), третьи ищут корень в оскском и сабинском *rompre*, *ponti* (*quinque viri*); не имела также никакого успеха попытка отнести образование термина понтифик к эпохе свайных построек и т. д. Научное значение всех этих догадок лучше всего характеризуется признанием проф. Ростовцева, еще недавно заявившего о том, что значение данного слова продолжает оставаться неизвестным. Выход из такого безнадёжного положения постарался найти Н. Я. Марр. Пользуясь методом яфетического языкознания, он вскрывает содержание, скрытое в этом слове, отправляясь от следующего сообщения Геродота об аргиппаях: Ζῶντες δὲ ἀπὸ δεινδρέων. ποντικὸν μὲν οὖνομα τῷ δεινδρέῳ ἀπ' οὗ ζῶουσι, μέγας δὲ κατὰ συκὴν μάλιστα κη... ἰσοὶ γὰρ λέγονται εἶναι. οὐδὲ τι ἀρήκιν ὄπλον ἐκτέαται. καὶ τοῦτο μὲν τοῖσι περιοικέουσι οὗτοι εἰσι οἱ τὰς διαφορὰς διαίροντες, τοῦτο δὲ, ὃς ἂν φεύγων καταφύγη ἐς τοὺτους ὑπ' οὐδενὸς ἀδικέεται. οὖνομα δὲ σφι ἐστὶ Ἄργιππαῖσι (IV, 23).

В этом тексте внимание Н. Я. Марра останавливается на себе термин *ποντικὸν* и, анализируя форму *ποντ* (которой по свистящей группе, очевидно, будет соответствовать *rog* ←→ *rug*), он приходит к выводу, что в архетипе это — *raḷan*, двойник греческого *βάλανος* 'желудь, дуб'.¹ В другой своей работе Н. Я. Марр мимоходом снова возвращается к данной теме и указывает, что путь к разъяснению понтифика уже намечился, и уловлен его двойник на Кавказе в лице верховного вершителя от священного дерева дуба, именно, грузинского сановника *ḱkondidel*.² Этот, по словам Н. Я.,

¹ Н. Я. Марр. Скифский язык. Сборник «По этапам развития яфетической теории». М. — Л., 1926, стр. 371.

² Н. Я. Марр. Карфаген и Рим. Сообщение ГАИМК, IV, 1929, стр. 402. Было бы чрезвычайно интересно присоединить к этим лингвистическим наблюдениям сообщение Плиния о кельтских друидах: *Nihil habent Druidae (ita suos appellant magos) visco et arbore in qua gignatur (si modo sit robur) sacratius. Iam per se roborum eligunt lucos, psculla sacra sine earum fronde conficiunt, ut inde appellati quoque interpretatione graeca rovaunt Druidae videri (Natur. histor., XVI. 95).* Но это должно было бы составить предмет специальных разысканий. Для термина друид — писал Н. Я. Марр — намечился источник новый; во-

еще не окончательный лексический анализ приводит нас в поисках следов понтифика «с 'желудем-дубом' вместо 'хлеба'... в эпохи до-земледельческой да и до-скотоводческой культуры» (По этапам..., стр. 373). Нам думается, что означенный вывод нужно понимать в том именно смысле, что в сообщении Геродота мы имеем дело с пережитками ушедшего в глубокое прошлое хозяйственного строя, которые использовались святыми древододами для укрепления своего авторитета вещателей справедливости. Нет надобности, конечно, специально оговаривать при этом, что мы подходим к рассказу Геродота, как к сообщению о реальных фактах, хотя в этом именно отрывке об аргиппаях проф. Ростовцев улавливает у историка тон некоторого сомнения (Скифия и Боспор, стр. 85, прим.). Но если, таким образом, по объяснению Н. Я. Марра, в термине понтифик древность выражала представление о людях, живших по старине, не вкушавших ни мяса, ни хлеба, а потому святых, а потому авторитетных в суде и в расправе, то нельзя вместе с тем не признать, что для историка-юриста, занимающегося исследованием той или иной позитивной системы права, приведенный рассказ Геродота окажется недостаточным уже по тому одному, что он не дает возможности выявить какие-либо характерные черты того социального строя, который обслуживали аргиппая. В этом отношении несравненно более насыщен содержанием всем известный рассказ Цезаря о галльских друидах (*De bello gallico*, VI, 13). Причисляя последних к господствующему классу, закабаленному народ, Цезарь так описывает положение галльского плебса: «*plerique cum aut aere alieno aut magnitudine tributorum aut injuria potentiorum premuntur, sese in servitutum dicant nobilibus, quibus in hos eadem omnia sunt jura quae dominis in servos*». Функции охраны этих прав знати выполнялись по Цезарю друидами, которые «*fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt et... si de hereditate, de finibus controversia est idem decernunt*». В определенный срок они собирались *in loco consecrato*; сюда «*omnes qui controversias habent conveniunt, eorumque decretis judiciisque parent*». Этот образ классового судьи в одежде жреца-мага настолько ярок и, вместе с тем, настолько реален в своей юридической сущности, что невольно рождается желание воспользоваться его зарисовкой для того, чтобы при помощи аналогии оживить во многом неясную фигуру понтифика. Нетрудно предвидеть, однако, что подобная попытка будет встречена с большим недоверием уже просто потому,

прос идет о тяжбе, возникающей во многих случаях между этрусским племенем и альпийским племенем садами (По этапам развития фетишеской теории, стр. 165). О культе деревьев, в частности, дуба и орешника у греков, см. Евг. Кагаров «Культе фетишей растений и животных в др. Греции». СПб., 1913, стр. 99 и 144.

что в науке долго господствовало убеждение о том, что Рим особенно рано («в первобытную эпоху») достиг обособления светского права от сакрального, *jus* от *fas* и что этим, между прочим, он выполнил «возложенную на него историю культурную миссию». Поэтому, естественно, не может быть и речи о каком-либо сближении римских институтов с институтами других правовых систем древности, особенно тех, на которых по предположению должно было сказаться влияние жреческих организаций. Правда, в настоящее время после появления в свет трудов Lambert'a, Binder'a и других все это звучит уже некоторым анахронизмом, но не нужно забывать, что конструкция римского процесса получила свое научное оформление в эпоху догматизма и что поэтому ее построения не всегда гармонируют с результатами исторических разысканий последней четверти века. Достаточно, примера ради, подвести некоторые итоги разысканий по одной из основных форм легисакционного процесса, так наз. *la sacramento*. Можно спорить (и в действительности многие спорили) о том, какое содержание вкладывал древний Рим в понятие *sacramentum*, но, если последовать за большинством авторов, писавших на эту тему, и встать на ту точку зрения, что мы имеем здесь дело с присягой сакрального характера, то будет вполне последовательным признать, что после принесения такой присяги пред магистратом, дело переходило в руки понтификов и решалось ими в качестве частных судей по существу. Однако, по мнению некоторых, такой именно вывод и противоречил бы как раз положению о раннем обособлении *jus civile* от сакрального права, и в виду этого один из авторитетнейших романистов прошлого века, Karlowa, счел необходимым предложить следующий компромисс — понтифики рассматривали только вопрос о том, было ли *sacramentum justum* или *injustum*, а затем на основании их заключения претор передавал дело *tres arbitri*, которые определяли, что должна платить сторона, *qui vindiciam falsam tulit* (Röm Rechtsgesch., I. S. 274).

Оставим в стороне вопрос о догматической безупречности всего этого построения, но по существу дела приходится признать, что либо мы получаем здесь уже не двух-, а трехстепенный процесс, либо роль понтификов сводится к роли экспертов, неизвестно даже при ком — при магистрате или при арбитрах. Гораздо последовательнее поступил в этом случае другой, не менее известный романист Girard, который кратко, но безапелляционно заявил, что все разговоры об участии понтификов в процессе в качестве *judices privati* основаны большие «на предвзятых идеях, чем на текстах». Это, конечно, несколько не умаляет в его глазах их роли в качестве древнейших юристов, но таковая, с его точки зрения, развилась, главным образом, из их функ-

ний хранителей архивов царской юстиции (Manuel du droit Rom., IV édit., p. 976, n. 6).

Перед нами, следовательно, новое ответвление в трактовке понтификов — это не судья, самостоятельно выносящий решение по делу, а всего на всего эксперт (правда, чрезвычайно авторитетный), помогающий судье при постановлении приговора. В такой интерпретации функции понтификов читатель усмотрит несомненно много общего с положением вещателей германского права, которые, по признанию многих, являли собой именно *personifizierte Rechtsbuch, aber kein Richter*. Между прочим, сравнительно недавно эта точка зрения на древнего англо-германского юрисконсульта получила новое подтверждение в труде П. Г. Виноградова, полагавшего, что *Law giver* никогда не смотрел на себя как на автора императивных приказов отдельному лицу или общине. Его прямой задачей было отыскание существующего права и разъяснение его смысла в применении к данному акту. Но вместе с тем, это и не судья, ибо он не решает отдельных казусов, а формулирует лишь обычай страны (*Outlines*). Неясность и, пожалуй, даже противоречивость, которые можно вскрыть в этой формулировке, легко объясняются с нашей точки зрения крайней догматизацией института вещательства, пережившего в своем развитии ряд этапов, обусловленных в конечном счете соотношением тех социальных групп, интересы которых обслуживали вещатели. В Швеции, напр., лагмен — крупная фигура в борьбе общины с королевской властью; когда наступает отмирание судебной власти общины, лагмен начинает сам творить суд и объявлять бесправными правонарушителей. В Норвегии, наоборот, в XII в. *logmadr* стоит в рядах королевских чиновников и постепенно превращается в судью. В Германии в эпоху варварских прав приговоры выносились *secundum obsega iudicium et populi justitiam* и т. д. Словом, возможно без особой боязни впасть в ошибку, притти к выводу, что в борьбе за охрану своих интересов господствующий класс старался закрепить за собой не только монополию осведомленности в праве, но и возможности применения правовых положений в жизни. Поэтому так категорически отмежевывать функции вещателя от функций судьи, во всяком случае, не приходится. Кроме того, наблюдения, приведенные Schröder'ом (не подтверждающиеся, однако, в силу специфических особенностей в скандинавских странах), позволяют притти еще к одному чрезвычайно интересному для нас выводу, а именно, о сосредоточии в древности этих функций вещания в руках жрецов. «*Neque animadvertere, neque vincere ne verberare quidam nisi sacerdotibus permissum non quasi in poenam nec ducis jussu, sed velut deo imperante quem*

adesse bellantibus credunt» (Tac. Germ. VII). Здесь снова, таким образом, мы подходим, уже с другой стороны, к той роли жрецов, которую вскрыл в общественном строе кельтов в цитированном выше отрывке о друидах Цезарь, ибо несомненно, что, чиня суд и расправу, друиды, вместе с тем, занимались на годичных собраниях вещанием права (Rechtsvortrag).

Рим не оставил нам таких ясных свидетельств, и поэтому приходится отчетливо сознавать необходимость сугубой осторожности в подходе к таким темам, как данная, когда отсутствие ссылок на источники может квалифицироваться как *bodenlose Vermuthung* (Mitteis). Предвидя эту опасность, мы все-таки должны преодолеть без помощи цитат одну из больших трудностей в нашем вопросе, которая заключается в противопоставлении *jus* и *fas*. Н. Я. Марр в указанной выше работе лингвистически доказал искусственность такого противопоставления, однако, чтобы избежать упреков в беспочвенности наших правно-исторических утверждений по данному поводу, подойдем к вопросу с другой стороны, следуя по стопам того же самого Mitteis'a. По его утверждению, в Риме не могло существовать такого внутреннего противоречия между этими двумя системами права, какое наблюдалось, напр., в христианском средневековьи, ибо в Риме религия была государственной религией, и жречество являлось только органом государства (Röm. Privatrecht, S. 22). Конечно, такая этатизация римской религии является не чем иным, как искусственным сужением проблемы. Настоящий свой аспект последняя приобретает только при постановке вопроса о классовом характере римской религии и о классовом лице римского жречества. Вопрос этот в полном своем объеме (даже в отношении понтификов) требует, разумеется, специальных изысканий: для наших же целей достаточно указать, что в древнем Риме жрецы (resp. — понтифики) не выделялись как самостоятельная социальная группа, а продолжали оставаться носителями интересов того патрициата, из состава которого они вышли.

При таких условиях противопоставление между *jus* и *fas* сводится, очевидно, только к тому, что *fas*, являясь системой защиты патрицианских интересов, опиралось в качестве санкции на веления божества, а *jus* — на норму, установленную в самом общественном строе. Норм законодательного характера древность почти совершенно не знала, и при неокрепшей государственной власти регулирование социальных отношений осуществлялось на основе божественных заповедей, запретов и заклинаний магов-жрецов. Но одних этих запретов, одних заклинаний было недостаточно; нужно было дать жрецу возможность карать за нарушение его запретов, т. е., иначе говоря, нужно было дать ему право суда

над теми, кто эти его запреты нарушал. Отсюда — уголовная юрисдикция жреца, отсюда его авторитет, необходимый для третейского разбирательства гражданского спора. Мы не видим решительно возможности допустить, что деятельность жреца в этой области могла ограничиваться одними только консультациями; наоборот, с нашей точки зрения, гораздо последовательнее эту консультационную работу рассматривать как прямое последствие той судебно-посреднической деятельности, какая лежала на него. Далее, нам кажется также очевидным, что понтифик и только понтифик, обладавший всей суммой знания тогдашней магии-юриспруденции, мог с каким-нибудь успехом выполнять роль частного судьи, требовавшую как никак какой-то осведомленности, какого-то юридического кругозора, и, наконец, только он один в обстановке того времени мог создать, и именно путем судебного приговора, то новое право, которое могло обслуживать развивавшийся оборот. «В древнейшую эпоху — писал П. Г. Виноградов — греческое право, как и римское, развивалось в теснейшей связи с судоговорением. Царь и старейшины родов, а с нашей точки зрения прежде всего жрецы, постановляли решения, которые становились прецедентами» (История правоведения. М., 1908, стр. 24). Судебное право понтификов, таким образом, составляло основную по массе и наиболее раннюю по времени своего возникновения часть *jus civile*. Но это высказанное, между прочим, когда-то, Herieng'ом, но недостаточно обоснованное предположение о судебнопосреднической деятельности понтификов нуждается в одном коррективе. Для того, чтобы основанная не столько на принуждении, сколько на официальной близости судьи к божеству судебная власть понтифика была реальной властью, необходимо бы было одно, а именно, чтобы божество этого жреца признавалось всем населением, среди которого он действует. Если мы вспомним о наличии родовых культов, если, не углубляясь вовсе в проблему, добавим, что религиозные верования плебса отличались от верований патрициата, то мы вправе будем назвать Рим сложной и по этническому и по социально-культурному составу общиной. Естественно, что для отправления правосудия в такой обстановке нужны были особые условия — тяжущихся нужно было заставить в случае надобности признать авторитет жреца, т. е., иначе говоря, заставить пойти к нему на суд. Здесь, думается нам, и может наметиться линия смыкания приведенного выше построения с разысканиями И. А. Покровского, который, как известно, утверждал, что в раннем Риме функции магистрата в стадии *injura* были именно полицейско-административные. Он заботился только о том, чтобы прекратить самоуправство сторон и понудить их обратиться к судье, т. е. при-

знать авторитет того приговора, который вынесет патрицианский жрец-судья.

Так мыслится нам картина древнеримского процесса. Многое здесь, конечно, подлежит уточнению; вероятно, многое не учтено либо из-за недостатка места, либо вследствие недостаточного знакомства с новой литературой, отсутствующей в ленинградских собраниях. Но задача нашего очерка была дать только набросок того пути, по которому, нам кажется, следует идти в разработке проблемы, и, если направление взято правильно, то дальнейший коллективный труд историков права и лингвистов преодолеет и этот, пока еще неосвоенный, перевал в понимании истории античного права.
